



Баирон





БАЙРОН

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПЕРЕВОД
С АНГЛИЙСКОГО



Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1953

Составление и редакция переводов

Р. М. САМАРИНА

Вступительная статья

А. ЕЛИСТРАТОВОЙ

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН

1

Англия первой четверти XIX века выдвинула двух великих представителей поэзии революционного романтизма. Это были Байрон и Шелли.

Уже в первые десятилетия после смерти Байрона в отношении к его наследию с чрезвычайной резкостью проявилась борьба двух Англий — Англии собственников и эксплуататоров и Англии трудящихся масс. Энгельс пишет в «Положении рабочего класса в Англии»: «Шелли, гениальный пророк *Шелли*, и *Байрон* с своим чувственным пылом и горькой сатирой на современное общество имеют больше всего читателей среди рабочих; буржуа читает только так называемые «семейные издания», оскопленные и приспособленные к современной лицемерной морали»¹. Глубокая оценка прогрессивного общественного содержания творчества Байрона и Шелли, высказанная Энгельсом, нашла отражение в чартистской прессе 40-х годов.

Между тем буржуазные биографы, комментаторы и издатели Байрона в Англии силились вытравить из творчества великого поэта именно то, на чем и было основано его величие, — его мятежный, прометеевский пафос. Фальсификаторы от литературоведения всячески отрицали идейную связь Байрона с освободительными устремлениями народных масс.

Передовая общественная мысль России, начиная с декабристов и Пушкина, критически анализируя Байрона, всегда умела ценить, как главное и ведущее, гражданский, социально-обличительный дух его поэзии и освободительный характер его деятельности.

Русская революционно-демократическая критика в лице Белинского создала свою целостную социально-историческую концепцию творчества Байрона, во мно-

гом приближающуюся к точке зрения, сформулированной Энгельсом.

Белинский зло издевался над биографическим толкованием творчества Байрона, выдвинутым английской буржуазной критикой. «Видите ли, — говорят они: он был несчастен в жизни, и оттого меланхолия составляет отличительный характер его произведений». Коротко и ясно! Этак легко можно объяснить и мрачный характер поэзии Байрона: критика будет и недолга и удовлетворительна. Но что Байрон был несчастен в жизни — это уже старая новость: вопрос в том, от чего этот одаренный дивными силами дух был обречен несчастью? Эмпирические критики и тут не задумаются: раздражительный характер, ипохондрия, — скажут одни из них, — и расстройство пищеварения, прибавят, пожалуй, другие, добродушно не догадываясь в пизменной простоте своих воззрений, что подобные малые причины не могут иметь своим результатом такие великие явления, как поэзия Байрона»¹.

С замечательной глубиной Белинский противопоставляет антиисторическому «эмпиризму» буржуазных критиков требование *общественно-исторического* истолкования творчества Байрона. «...Всякий великий поэт потому велик, что корни его страдания и блаженства глубоко вросли в почву общественности и истории... Чтоб разгадать загадку мрачной поэзии такого необъятно колоссального поэта, как Байрон, должно сперва разгадать тайну эпохи, им выраженной»².

Байрон, подчеркивает Белинский, «умер в неприимой вражде с «своей родиной»³. В поэзии Байрона он усматривает «энергическое отрицание английской действительности»⁴ и объясняет его реальными

¹ В. Г. Белинский, Собрание сочинений в трех томах, М. 1948, т. 2, стр. 484—485.

² Там же, стр. 485.

³ Там же, стр. 515.

⁴ Там же, стр. 109.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. III, стр. 520.

экономическими и социальными противоречиями английского буржуазного общества: «...нигде так не сжата, так не стеснена общественная свобода, как в Англии. Нигде нет ни такого чудовищного богатства, ни такой чудовищной нищеты, как в Англии. Нигде так не прочны общественные основы, как в Англии, и нигде, как в ней же, не находятя они в такой опасности ежеминутно разрушиться, подобно чересчур крепко натянутым струнам инструмента, ежеминутно готовым лопнуть»¹.

Белинский не говорит прямо о связи байроновского «отрицания» с движением рабочего класса Англии, но в общем контексте его воззрений на социальное развитие западноевропейских стран совершенно ясно, что антагонистические, напряженные до близости к революционному взрыву противоречия между интересами труда и капитала представляются ему той почвой, на которой смогло возникнуть и развиться творчество Байрона. В этом контексте становится понятным и поразительный по исторической прозорливости тезис Белинского: «Байрон... есть намек на будущее Англии». Белинский противопоставляет, таким образом, Англию будущего — Англию народа — той собственнической, буржуазной Англии, где «человек... ничего не значит сам по себе, но получает большее или меньшее значение от того, что он имеет, или чем он владеет»².

Белинский резко и настойчиво противопоставляет реакционному романтизму революционный романтизм Байрона. «Байрон и не думал быть романтиком в смысле поборника средних веков: он смотрел не назад, а вперед»³; «он был провозвестником нового романтизма, а старому нанес страшный удар»⁴.

Высоко ценя «прометеевское», то есть гражданское, революционно-гуманистическое содержание поэзии Байрона, Белинский вместе с тем настаивает и на органической противоречивости Байрона. «Читая Байрона, видишь в нем поэта глубоко лирического, глубоко субъективного, а в его поэзии — энергическое отрицание английской действительности; и в то же время в Байроне все-таки нельзя не видеть англичанина и притом лорда, хотя, вместе с тем, и демократа»⁵.

В публицистике и поэзии Байрона воплотились элементы демократической культуры, порождавшиеся условиями жизни трудящейся и эксплуатируемой массы его родины. Байрон был взволнованным свидетелем, заступником и певцом первых, еще стихийных и незрелых выступлений рабочего класса Англии; он был поборником раскрепощения порабощенного ирландского народа; национально-освободительные движения в Испании, Италии, Греции нашли в нем живой отклик и горячую поддержку.

¹ В. Г. Белинский, Собрание сочинений в трех томах, М. 1948, т. 2, стр. 108.

² Там же, стр. 514.

³ Там же, т. 3, стр. 160.

⁴ Там же, стр. 237.

⁵ Там же, т. 2, стр. 109.

Прогрессивным, освободительным течениям своего времени обязан Байрон страстностью, идейной непримиримостью и поэтической силой своего творчества. Но вместе с тем их внутренние противоречия, их слабые стороны и временные поражения в борьбе с реакцией создавали почву для скептицизма, скорби и уныния в поэзии Байрона.

Деятельность Байрона относится к тому периоду, когда, по словам Маркса, «классовая борьба между капиталом и трудом была отодвинута на задний план: в политической области ее заслоняла распря между феодалами и правительствами, сплотившимися вокруг Священного союза, с одной стороны, и руководимыми буржуазией народными массами — с другой; в экономической области ее заслоняли раздоры между промышленным капиталом и аристократическим землевладением...»¹ В этих условиях сравнительной неразвитости общественных противоречий *буржуазной* Англии, которым предстояло выступить в обнаженной форме лишь позже, в эпоху чартизма, Байрон, искренно сочувствуя освободительным устремлениям эксплуатируемых трудящихся масс и выступая против своекорыстной политики собственнических классов своей страны, еще не порывал до конца с буржуазным индивидуализмом. Отсюда — напряженная противоречивость всего его творчества.

В отличие от своих политических и идейных противников, приспешников аристократической реакции против французской революции и связанного с нею просветительства, Байрон считает французскую буржуазную революцию событием огромного прогрессивного значения. Байрон нередко подымается в своих лучших произведениях до пророческих предсказаний будущих революционных переворотов, которые в корне изменят лицо общественной жизни людей. Эти грядущие общественные потрясения Байрон мог мерить лишь одной известной ему исторической меркой — меркой *буржуазной* революции.

Но, исходя в своих политических идеалах из идейных принципов буржуазной демократии, Байрон наотрез отвергал практические формы воплощения этих принципов, существовавшие в Англии. Он издевается над английским парламентаризмом. Борьба за так называемую парламентскую реформу в Англии, как он не раз подчеркивал, увлекла бы его лишь в том случае, если бы она вышла из берегов мирного развития и превратилась в революционную «драку».

По мере того как расширялся кругозор поэта в ходе социально-исторических битв, свидетелем и участником которых он был, он все более решительно причисляет к своим врагам наряду с феодально-монархическим деспотизмом и деспотизм частной собственности.

Идея борьбы за свободу, вдохновляющая Байрона и придающая единство всему его творчеству, была вместе с тем полна противоречий. В них отразились исторические противоречия самого демократического движения

¹ К. Маркс, Капитал, Госполитиздат, 1951, т. I, стр. 12.

в Англии. Тенденции буржуазного индивидуализма временами проявляются в поэзии Байрона в идеализации одинокого героя-бунтаря, который борется за свободу для себя, но не для других. Пушкин нащупал самое уязвимое место байроновского романтизма, заметив в «Евгении Онегине», что

Лорд Байрон прихотью улачвой
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

Но освободительная борьба народных масс была для Байрона почвой, прикасаясь к которой он, подобно Антею, обретал новые силы. Если романтизм Байрона был активным и революционным, если Байрон звал к познанию и переустройству действительности, то этим он обязан тому, что в его творчестве нашли выражение насущные интересы, страсти и устремления английских рабочих и ирландских крестьян, испанских партизан, итальянских карбонариев и греческих повстанцев.

Временные поражения народных освободительных движений, кажущиеся триумфы реакции создавали основу для пессимистических настроений в поэзии Байрона. Так называемая «мировая скорбь» Байрона не была, однако, ни столь всеобъемлющей, ни столь беспредметной, как это нередко пыталась представить буржуазная критика. Картины грандиозных космических потрясений и катастроф служат у него выражением не только скорби о тщетности человеческих стремлений, но и пророческого предчувствия грядущих общественных переворотов. Постоянно споря сам с собою и постоянно опровергая собственную созерцательную скорбь живым опытом народной борьбы в прошлом и настоящем, Байрон снова и снова возвращается к гордому утверждению полноправия человеческого разума и воли и их непобедимости в борьбе за свободу.

Эти противоречия отражаются и в эстетике Байрона. Уже начиная с ранних произведений, романтическая зашифрованность и фантастичность в изображении жизни сочетаются у него с элементами реализма, которые решительно берут верх в произведениях последнего периода. Но на протяжении всего творческого пути Байрона краеугольным камнем его эстетики является убеждение в моральной и гражданской ответственности писателя. Образ «поэзия — оружие» проходит через все его суждения о собственном творчестве. Одно из своих антиправительственных стихотворений он выразительно называет «ручной гранатой». Этот воинствующий, публицистический характер поэтического творчества Байрона и делает его поныне, как и при жизни писателя, ненавистным для буржуазных реакционеров всех мастей.

2

Джордж Гордон Ноэль Байрон родился в Лондоне 22 января 1788 года. Отец его принадлежал к старому, но обедневшему аристократическому английскому роду; мать, шотландка, происходила из богатой дворянской

семьи. Родители будущего поэта разошлись вскоре после его появления на свет. Отец его, промотав состояние жены, уехал, спасаясь от кредиторов, во Францию, где умер в 1791 году. Раннее детство Байрон провел с матерью в Шотландии. Они жили бедно и уединенно. С детских лет жизнь Байрона омрачалась его врожденной хромотой, которая, впрочем, не помешала ему стать впоследствии прекрасным пловцом, боксером и наездником. Первые детские впечатления будущего поэта связаны с нежной любовью к природе Шотландии, которую он привык считать своей родиной. Воспетая Бернсом горная Шотландия, где в крестьянском быту еще не стерлись в ту пору пережитки прежних патриархально-родовых отношений, навсегда осталась в его памяти символом свободы.

Десяти лет Байрон унаследовал после смерти двоюродного деда титул лорда и родовое поместье Ньюстэд в Ноттингемском графстве. В прошлом монастырь, доставшийся Байронам после ликвидации церковных земель при Генрихе VIII, Ньюстэд был дорог Байрону своей живописностью и историческими воспоминаниями. Но все в нем говорило о безвозвратном упадке прошлого феодального могущества.

Ноттингемское графство было примечательно не только памятниками феодального средневековья и преданиями о легендарных подвигах народного заступника Робин Гуда и его друзей — разбойников. Ноттингем — крупный промышленный центр тогдашней Англии — стал уже с конца XVIII века одним из первых и важнейших центров рабочих волнений.

Байрон рос в переломный период английской и мировой истории. Он был современником французской буржуазной революции и последовавших за нею значительных народных движений. Он был очевидцем промышленного переворота, который в корне изменил социальный облик Англии, стер с лица земли целые классы — самостоятельных крестьян, как и самостоятельных ремесленников, и развязал новые классовые антагонизмы между буржуазией и ее могильщиком — пролетариатом.

С детства Байрон интересовался политикой; в школьные годы — в Харроу — с увлечением упражнялся в ораторском искусстве. В составленном им в 1807 году списке прочитанных книг на первом месте стояли труды историков. Круг чтения молодого поэта был очень широк и свидетельствовал о его живом интересе к литературе Просвещения. Среди прочитанного Байрон отмечает Вольтера, Руссо, Локка, Гиббона.

В современной ему Англии сочувствие молодого Байрона вызывали представители «демократического меньшинства» в парламенте. Но народная, «внепарламентская оппозиция», стоявшая за плечами этого парламентского меньшинства, с ее скрытыми, но могучими силами, была ему в эту пору еще чужда и незнакома. Поэтому будущая его деятельность рисовалась молодому Байрону как деятельность одинокого борца.

Летом 1807 года вышел первый сборник стихотворений Байрона — «Часы досуга».

«Часы досуга» заключали в себе немало подражательного и незрелого. Но вместе с тем в этом поэтическом сборнике кое-что уже позволяет предугадывать будущего Байрона. Характерны демократические настроения молодого поэта. В стихотворном послании Бичеру «в ответ на его совет чаще бывать в обществе» Байрон говорит о своем глубоком презрении к светской черни. Не находя счастья ни в знатности, ни в богатстве, он горит лишь мечтой о славе, о доблестной гражданской деятельности: «Если подвиг военный меня увлечет или к службе в сенате родится призвание...»

Эти порывы в условиях тогдашней Англии были обречены оставаться романтическими иллюзиями. «Сенат», как возвышенно, в духе классицизма, именовал молодой поэт палату лордов, мог на практике оказаться для него лишь реакционной парламентской говорильней; войны, которые вело правительство его родины и в которых он, как британский аристократ, мог бы принять участие, не только не были войнами за свободу, но носили заведомо захватнический и контрреволюционный характер. Отсутствие выхода в реальную жизнь, к плодотворной общественной деятельности борца-трибуна, проявляется в грустной мечтательности, в обращении к природе как прибежищу от раболепия и фальши светской жизни. В стихотворениях «Лэчин-и-Гэр» и «Хочу я быть ребенком вольным» с большой поэтической силой звучит мотив трагического разрыва между мечтой и действительностью.

Есть основания думать, что именно независимый и демократический характер первого литературного выступления Байрона обусловил враждебный прием, оказанный «Часам досуга» «Эдинбургским обозрением» — довольно влиятельным органом либерально-буржуазного направления. На редкость грубая по своему тону рецензия «Эдинбургского обозрения» была составлена как беспепелляционный приговор молодому поэту, обвинявшемуся в отсутствии «живости» и «фантазии». Эффект рецензии был, однако, прямо противоположен тому, на какой могли рассчитывать «эдинбургские обозреватели». Байрон не только не сложил оружия, но, напротив, перешел в наступление. Его сатирическая поэма «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809), содержавшая уничтожающую отповедь литературным противникам, уже не заключала в себе ничего ученического.

«Английские барды и шотландские обозреватели» должны по праву рассматриваться не только как первое зрелое произведение Байрона, но и как важное событие в истории идейно-политической борьбы в английской литературе. Поэма Байрона была первым манифестом нового, прогрессивного лагеря английской литературы.

Байрон ополчается в своей сатире и против реакционных романтиков, и против буржуазно-либеральной литературы своего времени. Он решительно отвергает идеализацию феодального средневековья, возникавшую на почве аристократической реакции против

буржуазной французской революции. Его полемика с Вальтером Скоттом, как автором «Песни последнего менестреля», «Мармиона» и других поэм, заставляет вспомнить пронизательное суждение Белинского, по словам которого Байрон «наделал много вреда и несколько не принес пользы средним векам»¹. Байрон осуждает Скотта-стихотворца за поэтизацию феодальных раздоров и усобиц, за прикрашивание облика феодального рыцарства.

Молодой Байрон обращается к Скотту-поэту с призывом отказаться от искусственно идеализованной «готической» трактовки средневековья и обратиться к правдивому изображению значительных, узловых событий в истории его родины — Шотландии.

Но если со Скоттом Байрон спорит, увещевает, говорит как с равным, то к реакционно-романтическим поэтам так называемой «озерной школы» он относится с нескрываемым, принципиально обоснованным презрением. В творчестве Вордсворта, Кольриджа и Саути Байрона возмущает прежде всего антиобщественный характер их эстетики, их презрение к земному, мыслящему человеку, отрешение от разума во имя мистики.

Байрон требует восстановить в своих правах человеческое, разумное, общественно-значимое содержание литературы. Он выдвигает принцип ответственности поэта перед читателями и призывает литературу стать ближе к жизни — руководствоваться «правдой» и «природой».

Развитию этих мыслей была посвящена поэма «По стопам Горация», написанная уже в Греции, в 1811 году, как продолжение «Английских бардов и шотландских обозревателей».

В своей борьбе с литературными противниками Байрон опирался на эстетическую теорию и художественное творчество писателей буржуазного Просвещения.

Но уже с самых первых лет литературной деятельности Байрона его отношение к просветительскому наследию определяется не рабской почтительностью ученика-подражателя, а сознательным сочувствием новатора, пролагающего искусству новые пути в новой исторической обстановке. В «Бардах и обозревателях», иронизируя над поэтической «реформой» реакционных романтиков, он решительно предостерегает и от слепого следования эстетике классицизма:

Ахейскую цевницу золотую
Оставьте вы — и вспомните родню!

В поэме «По стопам Горация» обращает на себя внимание замечательное сатирическое отступление, характеризующее нравы буржуазной Англии и их враждебность искусству. Байрон противопоставляет здесь общественные условия, в которых расцветало искусство древней Греции, тем условиям, в которые оно поставлено в капиталистической Англии. Коммерческие ра-

¹ В. Г. Белинский, *Собрание сочинений* в трех томах, М. 1948, т. 3, стр. 237.

счета, с детства покрывающие «ржавчиной» душу «питомцев Сити», не оставляют места для поэзии.

Уже здесь, хотя и в наивной, романтической форме, Байрон выступает против уродующей, калечащей силы частной собственности.

Заграничное путешествие Байрона в 1809—1811 годах было новым этапом в приобщении молодого поэта к общественной жизни. Европа и Ближний Восток, по которым лежал путь Байрона, в то время представляли собою театр военных действий. Молодой путешественник увидел своими глазами испанских партизан-гверильясов, давших могучий отпор наполеоновской интервенции. Он увидел Грецию, томящуюся под пятой турецких янычар и собирающую силы для национально-освободительной борьбы. Вместе с тем и на Пиренеях, где британская армия под командованием Веллингтона участвовала в войне против Наполеона, и на Мальте — средиземноморской военной базе британского флота — Байрон мог наблюдать в действии и весьма критически оценить внешнюю политику реакционного правительства Великобритании.

Путешествие Байрона не только обогатило его множеством поэтических наблюдений над новой для него природой и нравами незнакомых стран, но и чрезвычайно расширило общественно-политический кругозор поэта. Оно внушило ему живой интерес и уважение к культуре других народов — черты, несовместимые с островным шовинизмом господствующих верхов его родины. Уже со времени первого путешествия Байрон с увлечением изучает турецкий, новогреческий и албанский языки и фольклор, знакомится с итальянским, которым впоследствии, живя в Италии, владеет свободно, а в дальнейшем, в 1816 году, принимается и за изучение армянского языка¹. Эта широта международных культурных и политических интересов не противоречила патриотизму Байрона, но, напротив, укрепляла его.

Плодом путешествия Байрона были две первые песни «Паломничества Чайльд-Гарольда» — поэмы, к которой восходит начало литературной славы поэта и в Англии и за ее пределами. Поэма была издана в марте 1812 года. Успех ее был настолько велик, что до конца года она выдержала пять изданий. Читатели по праву увидели в «Чайльд-Гарольде» не только яркий и глубоко эмоциональный личный путевой дневник, но и попытку страстного критического обобщения тех животрепещущих исторических событий огромного масштаба, очевидцами и участниками которых они были.

«Паломничество Чайльд-Гарольда» в этом смысле было первым из произведений Байрона, к которому была вполне приложима замечательная характеристика Белинского: «Байрон писал о Европе для Европы;

¹ Байрон написал предисловие к грамматике армянского языка, составленной при его участии в Венеции армянским монахом, отцом Паскалем Ашаром. В этом предисловии Байрон выражает горячее сочувствие «угнетенному и благородному народу» Армении и называет ее одной из самых интересных стран земного шара.

этот субъективный дух, столь могучий и глубокий, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько к изображению современного человечества, сколько к суду над его прошедшей и настоящей историей»¹.

«Паломничество Чайльд-Гарольда» было действительно судом над прошедшей и настоящей историей Европы. Сам Байрон настаивал на политическом характере своей поэмы.

В первых песнях «Чайльд-Гарольда» с большой силой, но вместе с тем и с большой противоречивостью, проявились демократические тенденции поэзии Байрона.

Автор «Чайльд-Гарольда» в своем суде над историей тогдашней Европы исходит прежде всего из участи народа, из оценки положения народных масс. Более того, он приближается, хотя еще и стихийно, путем догадок, основанных на историческом опыте Европы его времени, к представлению о народе как основной прогрессивной, движущей силе истории.

Эти демократические черты байроновской философии истории проявляются и во второй песне «Чайльд-Гарольда», где поэт предается раздумью о судьбах поработенной Греции, и, в особенности, в первой песне, где Байрон с необычайной для своего времени глубиной вскрывает противоречия войны с Наполеоном, которую вела Испания в союзе с Англией.

Байрон одинаково осуждает в первой песне «Чайльд-Гарольда» и агрессию Наполеона, и попытки Англии, под видом восстановления «законной» феодальной монархии Фердинанда VII, укрепить свои позиции на Пиренеях. Трактовка испанских событий в первой песне поэмы была прямым вызовом правительственной британской пропаганде. Байрон ставил под сомнение способности британского военного командования. Он не скрывал недоброжелательства местного населения к англичанам: в примечании к строфе 21 Байрон писал о многочисленных убийствах англичан в Португалии, а также в Сицилии и на Мальте — опорных пунктах английской экспансии на Средиземном море. Презрение Байрона к британской военщине отразилось и в «Прощании с Мальтой», написанном одновременно с первыми песнями «Чайльд-Гарольда». В связи с греческим вопросом Байрон разоблачает лицемерные притязания Великобритании на роль арбитра европейских свобод. В примечаниях ко второй песне «Чайльд-Гарольда» он с уничтожающей иронией сравнивает положение греков, этих своего рода «ирландских католиков Востока», поработенных Турцией, с положением ирландцев под властью англичан.

Войнам «правителей-анархов, удваивающих страдания людей», Байрон уже в первых песнях «Чайльд-Гарольда» противопоставляет освободительную борьбу народов.

Эта мысль проходит красной нитью через всю оценку испанских событий в первой песне «Чайльд-Гарольда»

¹ В. Г. Белинский, Собрание сочинений в трех томах, М. 1948, т. 3, стр. 504—505.

да». Война Веллингтона и Фердинанда VII против Наполеона вызывает в Байроне лишь негодование и скорбь о человеческих жертвах, приносимых тремя нациями кровавым «псам войны». Но совсем по-другому говорит Байрон о народно-освободительной борьбе испанских партизан — крестьян и ремесленников — против наполеоновской агрессии. В строфах 85—86 первой песни «Чайльд-Гарольда» он с замечательной для своего времени глубиной противопоставляет феодально-аристократическим верхам Испании (с которыми именно и блокировалась в своей внешней политике на Пиренях тогдашняя Англия) испанский трудовой народ. Только с этим народом и связывает Байрон понятие патриотизма:

Неблагодарным был лишь «благородный»,
Лишь знать сдалась врагу, ведя расчет холодный.

Партизанское народное движение в Испании представлено в «Чайльд-Гарольде» совершенно конкретными, жизненными образами, среди которых в особенности выделяется высокопозитивский образ партизанки — участницы обороны Сарагоссы, получившей прозвище Сарагосской девы.

Но Байрон остро ощущает противоречивость положения испанского народа, чья борьба за свободу с иноземным захватчиком вела в конце концов, как казалось поэту, лишь к укреплению испанской феодальной монархии. В действительности, в ходе испанской национальной борьбы с наполеоновской агрессией, выкристаллизовались и самостоятельные демократические элементы движения, ставившие себе целью революционные социально-политические преобразования в самой Испании. Этот процесс еще не был ясен Байрону в пору создания «Чайльд-Гарольда», и поэтому горечь бесперспективности применяется к глубокому уважению, с каким он пишет об испанском народе, сражающемся за свободу. Представление о трагическом неравенстве сил борющегося за свою свободу народа и захватнических сил агрессора (а отнюдь не индивидуалистическое презрение к народной борьбе) служило почвой, на которой в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» могли возникать и развиваться пессимистические настроения.

Судьбы Греции, о которых Байрон размышляет во второй песне поэмы, давали ему повод для скорбных дум, питавшихся неясностью перспектив освободительного движения, подъем которого был еще делом будущего. Так же как в отношении к Испании, Байрон и в отношении к Греции обнаруживает большую прозорливость, отказываясь связывать какие-либо надежды с «освободительной» миссией каких бы то ни было иноземных союзников, в том числе и британских захватчиков. «Владыка вод, свободный Альбион» увозит последнюю добычу, отнятую у «растерзанного града», — с гневной прощай восклицает поэт, вспоминая позорные действия британского эмиссара, лорда Эльджина, похитившего, «как гарпия», национальные сокровища афинского Акрополя.

Байрон с благоговением воскрешает во второй песне «Чайльд-Гарольда» предания о величии древней Эллады. Контраст между героическим прошлым Греции и ее униженным, порабощенным состоянием в настоящем составляет лейтмотив всей этой песни.

Но эллинизм Байрона отнюдь не исключает из круга его интересов и симпатий и другие народы Балкан и Малой Азии. Отвращение к турецкой тирании не мешает ему отзываться с уважением о национальных качествах турецкого народа. Идя и здесь вразрез с официальной позицией господствующих классов, он отказывается сводить вопрос о борьбе за независимость Греции к борьбе «креста с полумесяцем». Отказ от религиозных предрассудков в постановке национального вопроса позволял молодому поэту на основании его собственных живых наблюдений судить о балканских народах значительно глубже и многостороннее, чем большинству его соотечественников. В свете современного положения албанского народа, создавшего свою народно-демократическую республику и проложившего себе широкую дорогу к творческой исторической деятельности, особенно волнуют читателя те строфы «Чайльд-Гарольда», которые Байрон посвятил народу Албании.

Байрон рассказывает о радушном гостеприимстве, которое оказали чужестранцу Гарольду албанцы, когда, спасаясь от бури, он вынужден был искать у них приюта (случай автобиографический). Сердечную участливость этих мужественных, стойких и душевных людей он с горечью противопоставляет равнодушию, которое при подобных обстоятельствах выказали бы, по его словам, его соотечественники. Он описывает народные пляски албанцев, приводит в стихотворном переводе их воинственную песню, а в примечаниях к «Чайльд-Гарольду» сообщает текст албанских песен, записанных им в подлиннике, с подстрочным английским переводом (свидетельство того, насколько заинтересовал его национальный характер и культура этого народа).

Так, в первых песнях «Паломничества Чайльд-Гарольда» на авансцену выдвигаются, в качестве собирательного, коллективного героя, народы современной Европы — испанские партизаны, албанские воины, греки, которых поэт призывает к борьбе за свободу.

В этом прежде всего заключалось идейное и художественное новаторство поэмы. За несколько лет до появления первых исторических романов Скотта, — где общественная активность народа должна была предстать лишь как фактор исторического прошлого, — Байрон смело и глубоко выразил в «Чайльд-Гарольде» свое представление о народе как носителе действительного патриотизма и свободолюбия, как животворной силе современного общественного развития.

Однако демократические тенденции поэзии Байрона, вызревавшие в первых песнях «Паломничества Чайльд-Гарольда», оставались именно *тенденциями*. Они определяли собой наиболее новаторские черты поэмы, с ними было связано заключающееся в ней зерно реализма, но они не складывались в стройную систему идей

и образов. Поэма служила полем битвы противоречивых начал в мировоззрении молодого поэта: Байрон-«демократ», по терминологии Белинского, спорит в ней с Байроном-«лордом». Отсюда проистекала и специфическая противоречивость всего строя поэмы: «судьба человеческая» и «судьба народная» выступали в ней не слитно, но противостояли друг другу; лирический и этический план повествования оставались разобщенными. В поэме, собственно, оказывались три героя: народ, аристократический «скиталец» Чайльд-Гарольд и сам автор, незримо, но неотлучно сопровождающий читателя на протяжении всего «Паломничества».

Отношение Байрона к образу Чайльд-Гарольда в первых песнях поэмы остается двойственным. В образе Чайльд-Гарольда отразились индивидуалистические черты мировоззрения Байрона; вместе с тем в трактовке этого образа проявилась и глубокая неудовлетворенность молодого поэта программой буржуазного индивидуализма.

Отразив в образе Чайльд-Гарольда некоторые черты собственной биографии и характера, Байрон то поэтизирует их, то подвергает критическому сомнению. Горделивое одиночество Гарольда, его самоотстранение от светских стяжательских интересов привлекают поэта как форма романтического протеста против буржуазно-аристократической Англии. Но Байрон уже не может удовлетвориться только таким протестом. Его тяготит индивидуалистическое себялюбие, он не может примириться с гарольдовой позой равнодушного созерцателя жизни. В отличие от своего «скитальца», с холодной невозмутимостью взирающего на все, что предстает его разочарованному взгляду, сам Байрон на протяжении обеих песен поэмы взволнованно и пристрастно вмешивается в повествование. Его личная судьба не сливается еще в его сознании с судьбами борющихся народов: он судит о них извне, не отождествляя себя с ними; но его несмолкающие лирические комментарии и оценки происходящего не оставляют у читателя сомнений в том, на чьей стороне глубокое сочувствие поэта, кого он считает правым, кого виновным перед своим судом. В «гарольдов плащ» безучастного одиночества охотно рядились эпигоны-подражатели Байрона. В действительности, для самого Байрона это романтическое одеяние было тесно уже в пору создания первых песен поэмы.

В отличие от своего героя автор «Чайльд-Гарольда» рвется к жизни, к общественной борьбе.

Об этом свидетельствовала и биография Байрона, в которой его возвращение в Англию открыло новую, богатую содержанием главу.

Возвращение на родину поставило его перед фактом рабочих волнений, знаменовавших собой бурный, хотя еще и стихийный подъем новых освободительных сил, вызванных к жизни развитием капитализма в Англии.

Реакция разгромила руководство демократической партии, которая могла бы возглавить рабочее движение

в Англии. Принятые в 1799—1800 году антирабочие законы на целую четверть века поставили на нелегальное положение рабочие объединения.

Но, несмотря на террористические правительственные меры, вопреки законам против рабочих союзов, рабочие объединялись в тайные общества, зачастую весьма многочисленные; в лице так называемых луддитов рабочие открыто вступили в борьбу с капиталистами-предпринимателями.

Рабочее движение, известное под общим названием луддитского движения (по имени легендарного Лудда, которого рабочие повстанцы называли своим предводителем и «королем»), принимало самые разнообразные формы. Чаще всего это были вооруженные нападения на фабрики, сопровождавшиеся разрушением машин и станков.

Значение луддитского движения для формирования мировоззрения и творчества Байрона несомненно, хотя буржуазные биографы и комментаторы обычно нарочито обходят молчанием этот вопрос. Как уже было отмечено выше, Ноттингэмское графство, где вырос Байрон и где находилось его родовое имение, было издавна, еще с 70-х годов XVIII столетия, одним из центров так называемого движения «разрушителей машин». В Ноттингэме не раз имели место вооруженные выступления рабочих трикотажной промышленности, терпевших тяжелые лишения и стоявших перед угрозой голодной смерти: технические нововведения до неслыханных размеров усилили безработицу.

Сам Байрон в своей знаменитой первой парламентской речи (27 февраля 1812 г.) засвидетельствовал, что он, как очевидец, был знаком с ходом луддитского движения в Ноттингэмшире. Воспроизведенный им образ «обреченного на голодную смерть и отчаявшегося народа» был знаком ему по незабываемым личным впечатлениям.

Историческое значение луддизма как одной из первых, ранних форм рабочего движения, конечно, во всем своем объеме еще не могло быть осознано Байроном. Подобно самим луддитам, он склонен был видеть в этом движении борьбу за восстановление докапиталистических «справедливых» форм производства. Но Байрон отразил в своих выступлениях по рабочему вопросу стихийный массовый протест луддитов против буржуазно-аристократической, эксплуататорской Англии. Значение рабочего движения в Англии 10—20-х годов для формирования и развития мировоззрения и творчества Байрона трудно переоценить.

В своих взглядах на всю совокупность острейших экономических, социальных и политических вопросов, выдвинутых луддитскими «волнениями», Байрон резко разошелся не только с «торийской олигархией», но и с вигской «оппозицией».

Переписка Байрона показывает, что руководители вигской либеральной парламентской оппозиции пытались заранее «обработать» его предстоящее выступление в палате лордов по вопросу о «разрушителях машин»,

чтобы ввести его в русло своей политической программы. Байрон решительно воспротивился этим попыткам.

На общем фоне парламентских дебатов по поводу билля о смертной казни для разрушителей станков речь Байрона резко и принципиально выделяется как *единственное* выступление, вдохновленное не собственническими вожделениями и не фракционными внутрипарламентскими распрями, а горячим сочувствием к английским трудящимся и глубокой тревогой за их судьбу. Байрон был, конечно, далек от того, чтобы говорить от лица рабочих-луддитов. Но с его гневной речью в затхлоу атмосферу палаты лордов ворвались отзвуки народного возмущения против эксплуататорских классов Англии.

Отголоски народного гнева слышны были в горькой иронии, с какой Байрон говорил о рабочих, уличенных, «на основании самых неопровержимых улик», в «тягчайшем преступлении — в бедности»; они были слышны в обвинении, которое он дерзко бросил в лицо паразитической правящей верхушке, открыто заявив о ее коррупции. В речи Байрона звучала угрожающая обличительная интонация. Чего стоят пресловутые победы британского оружия на континенте, спрашивал он, «если страна ваша потрясена внутренним раздором и вам приходится посылать ваших драгун и ваших палачей против ваших собственных сограждан». Вспоминая через десять лет о своих выступлениях в палате лордов, Байрон записал: «Смущение или волнение, которое я при этом испытывал (а я испытывал в большой степени и то и другое), вызывалось не столько качеством, сколько количеством слушателей и тем, что я думал скорее о *публике вне парламента*, чем о лицах внутри него. Ведь я знал (как и все знают), что сам Цицерон, а вероятно и Мессия никогда бы не смогли повлиять на голосование хоть одного лорда королевской спальни или епископа» («Разрозненные мысли»).

Кровавый законопроект, каравший разрушение станков смертной казнью, был принят парламентом вопреки одинокому протесту Байрона. Через три дня после его выступления в палате лордов, 2 марта 1812 года, в газете «Морнинг кроникл» появилось без подписи автора гневное стихотворение Байрона «Ода авторам билля против разрушителей станков». Судьба этого стихотворения знаменательна. Вплоть до 1880 г. оно совершенно игнорировалось английским буржуазным «байроноведением», а в позднейшее время включалось в собрания сочинений Байрона лишь с крайней неохотой. Злостные попытки умалить значение «Оды», скрыть ее от читателей свидетельствуют о том, как ненавистно буржуазной Англии это стихотворение Байрона и как велика поныне его взрывчатая сила. Действительно, «Ода авторам билля против разрушителей станков» замечательна не только как один из первых образцов политико-сатирической поэзии Байрона. Это едва ли не первое в истории всей английской литературы произведение, где сформулирован столь резко вывод о *бесчеловечности* капиталистического способа производства и буржуаз-

ной эксплуатации. В лаконических строках «Оды» Байрон-сатирик сумел с редкой для своего времени проициательностью и резкостью заклеймить эксплуататорский, антинародный характер британской парламентарной «свободы»: он показал, как законодательство, суд, полиция, армия послушно охраняют интересы капиталистической наживы, враждебные интересам трудящегося человечества. В заключительной, четвертой строфе «Оды» с еще большей силой, чем в его парламентской речи, звучит тема народного гнева и возмездия, ожидающего душителей луддитского движения.

Знаменательно, что, правдиво отражая в «Оде» существеннейшие классовые противоречия тогдашней английской жизни, Байрон приближается здесь и в самой поэтической форме к той ясности и простоте, которые станут характерными чертами его эстетики в дальнейшем, в пору укрепления реалистических тенденций в его творчестве. Кровавую, трагическую «прозу» неравной борьбы луддитов с господствующими классами Англии Байрон смело переводит на язык поэзии. Дело было, конечно, не просто в том, что английская политическая лирика заговорила, без перифраз и обиняков, о столь необычных в тогдашней поэтической лексике вещах, как мануфактура, станки, катушки, чулки, цены... Новаторство Байрона заключалось в том, что в простой, необычайно доступной, доходчивой форме, как, например, в классической по своей разоблачительной силе фразе: «и ценятся жизни дешевле чулка», он сумел дать сгусток самых мучительных, непримиримых противоречий буржуазного развития Англии. «Ода авторам билля против разрушителей станков», как и парламентские речи Байрона, показывает, что предпосылкой возникновения реалистических тенденций в творчестве Байрона служило критическое проникновение в глубь классовых антагонизмов его времени, возможное лишь на почве приближения поэта к массовым прогрессивным народным движениям.

Второе выступление Байрона в парламенте (21 апреля 1812 г.) было также посвящено одному из самых узловых противоречий английской общественно-политической жизни. На этот раз речь шла об ирландском вопросе. Выступая с поддержкой реформистского предложения графа Дономора о создании комитета для разбора претензий ирландских католиков, Байрон воспользовался этим как поводом, чтобы разоблачить и заклеймить всю угнетательскую политику Англии в отношении ирландского народа.

Речь Байрона свидетельствовала о том, как мало иллюзий он питал в отношении попыток крохоборческого реформистского «облегчения» участи четырехмиллионного ирландского народа. Ирландские крестьяне, по его горькому замечанию, ничего не проиграли бы, родись они неграми. Британских реакционеров — вершителей ирландской политики — Байрон презрительно сравнивает, перефразируя старую поговорку, с мышами, которым кажется, что они произведут на свет гору.

Парламентская деятельность Байрона открыла ему глаза на лжедемократизм британской парламентской системы. Вопреки его пылким и убедительным призывам, Ирландия осталась, как и была, тюрьмой для своего народа. Кровавые репрессии обрушились на рабочих-луддитов. Реакция торжествовала победу внутри страны.

Навсегда изверившись в «парламентском балаганстве» («Дневник», 14 ноября 1813 г.) и не находя, до поры до времени, реальной общественной опоры для своего протеста за стенами парламента, потрясенный кажущимся триумфом внутриполитической и международной реакции, Байрон вступает в полосу мучительного духовного кризиса.

Трагически напряженный конфликт между страстной жаждой революционизирующей общественной деятельности и отсутствием для нее реальной исторической почвы в условиях наступления политической реакции определил характер так называемых «восточных поэм» Байрона.

Это условное и не вполне точное название объединяет поэмы: «Гяур» (1813), «Абидосская невеста» (1813), «Корсар» (1814), «Лара» (1814) и написанные в 1815 и изданные в начале 1816 года одним сборником поэмы «Осада Коринфа» и «Паризиана».

Содержание «восточных поэм» характеризуется пылким, всеотрицающим протестом против феодально-буржуазной действительности. Протест этот, более чем когда-либо ранее у Байрона, романтически абстрактен. Поэт здесь не видит для себя никакой опоры в реальной жизни своего времени. Герой Байрона, как и он сам, выступает в «восточных поэмах» как трагически одинокий бунтарь. У этого героя нет ни прошлого, ни будущего: нарочитая фрагментарность «восточных поэм» как бы подчеркивает его отъединенность от общества, с которым он находится в состоянии непримиримой смертельной вражды. Ярость отчаяния, обреченная против буржуазно-аристократического деспотизма, которую Байрон уловил и воспринял в народных массах Англии, кипит и клокочет в «восточных поэмах». Но эта ярость отчаяния облекается здесь в форму сугубо бесперспективного, романтического, оторванного от реальной исторической почвы индивидуального бунта. В самом выборе тем, ситуаций, героев «восточных поэм» заключался дерзкий вызов: автор живописал поэтическими красками характеры и поступки, которые, с точки зрения буржуазно-аристократического мира британских собственников, являлись пределом беззакония и преступности. Преступники в глазах общества, они в действительности, с байроновской точки зрения, оказываются одновременно и его жертвами, и судьями, и грозными исполнителями приговора.

Между строк, в зашифрованной романтической форме, но с нарастающей поэтической силой, в бунтарских поэмах 1813—1815 годов развивается мысль об ответственности общества за судьбу человека. В «Гяуре», «Корсаре», «Ларе» заключена горячо волнующая Байрона гу-

манитическая тема — тема несбывшихся героических возможностей, неиспользованных сил, могущественной энергии, таланта, чувства, не нашедших себе истинного применения.

Пусть я в темнице бы, тайком,
Жил ядовитым пауком,
Чем дни безделье считать
И размышлять да созерцать.—

воскликает в отчаянии Гяур, терзаемый мыслью о бесплодности своих нерастрченных чувств. Мучительно тяготится навязанным ему бездействием Селим. Корсар, герой «Корсара», рожден с «сердцем, созданным для нежности», которое обстоятельства заставили окаменеть и обратиться ко злу. Лара «в своих юношеских грезах о добре опередил действительность», и это трагическое сознание неосуществимости его идеалов превратило его, человека, «наделенного большой способностью к любви, чем земля дарует большинству смертных», в одинокого и угрюмого затворника.

«Восточными поэмами» Байрон продолжал свою борьбу с реакционным романтизмом.

Излюбленные герои поэтов «озерной школы» — блаженные юродивые, кающиеся грешники, благочестивые пастыри, божьи избранники, слепо следующие мистической воле промысла, — встретили могучих противников в мятежных бунтарях Байрона. Знаменательно, что, за исключением разве лишь одного эпизода «Осады Коринфа» (явление Альпу тени Франчески), мистический элемент, царивший в поэзии «озерной школы», совершенно отсутствовал в «восточных поэмах», да и в «Осаде Коринфа» он не имел сколько-нибудь существенного значения для идейного замысла поэмы (достоинство которой Пушкин справедливо усматривал «в трогательном развитии сердца»). Судьба героев этих поэм решалась на земле, в земных битвах. Характерно, что туман, скрывавший очертания социальной судьбы героев «восточных поэм», стал понемногу рассеиваться, начиная с «Ларя».

В «Ларе» бунт одинокого героя сливается, по ходу сюжета, с антифеодальной народной борьбой: феодал по рождению и положению в обществе, Лара становится вождем восставших крестьян. В этом решении герой преобладают еще скорее мотивы личной мести и самосохранения, чем сознательное единение с народом. Самый образ восставшего народа в «Ларе» разработан гораздо менее глубоко, чем в «Чайльд-Гарольде», где Байрон стоял намного ближе к жизни. Недисциплинированность, стихийность крестьянского восстания дает пищу романтическим обобщениям о бессмысленности всякой войны. Антиисторические тенденции романтизма Байрона проявляются в «Ларе» в пессимистически-универсальном заключении о суетности всякой борьбы, под любым лозунгом, с любыми целями.

Но при всей беспросветности этих выводов Байрон и здесь не приходит к смирению, к отречению от борьбы. Картина народного восстания, которое возглавляет

Лара, является идейной и художественной вершиной поэмы, хотя бесперспективность восстания и очевидна.

По сравнению с «Ларой» шаг вперед в преодолении индивидуалистического бунтарства представляет собой «Осада Коринфа». Образ Альпа — ренегата-венецианца, изменившего родине и перешедшего на сторону турок, — во многом сродни Гяуру, Корсару, Ларе. Но теперь поэт не смотрит на мир глазами индивидуалиста-отщепенца, мстящего обществу за свои обиды. Он принимает теперь для своей оценки происходящего общественный критерий. Речь идет о борьбе с турецкими захватчиками, о родине, находящейся в опасности и преданной героем поэмы из злобного самолюбия.

В соответствии с этим новым идейным замыслом поэмы Байрон перестраивает по-новому и систему образов: ренегату Альпу, который оказывается, при всей своей храбрости и стойкости, мнимым героем, в поэме противостоит образ старого военачальника, патриота Минотти. Подвигом Минотти и завершается поэма: когда сопротивление туркам, ворвавшимся в осажденный Коринф, становится безнадежным, Минотти взрывает пороховой погреб и погибает сам вместе с наступающими врагами.

Осуждая Альпа, Байрон раскрывает его внутреннее смятение и душевную опустошенность и подходит, таким образом, к развенчанию эгоистической антиобщественной сущности индивидуалистического бунта.

Пути преодоления индивидуалистического бунтарства «восточных поэм» намечаются в эти же годы в лирической поэзии Байрона в «Еврейских мелодиях» и в так называемом «наполеоновском» лирическом цикле.

«Еврейские мелодии» были написаны Байроном на рубеже 1814—1815 годов. Настроения трагического одиночества, глубокой скорби и отчаяния, характерные для «восточных поэм», выражаются с огромной поэтической силой в некоторых стихотворениях этого сборника, как, например, в переведенном Лермонтовым «Душа моя мрачна» и в «Солнце бессонных». Но в центре «Еврейских мелодий» поэтически обобщенная тема исторических судеб народа, который рвется к свободе и ненавидит своих угнетателей. Личный подвиг приобретает здесь общенародное патриотическое значение. Дочь Иевфая (в одноименном стихотворении) идет на смерть ради свободы своей родины. В стихотворении «Ты кончил жизни путь» утверждается единство героя и народа: родина хранит в своих песнях память о своих освободителях.

Байрон с детства хорошо знал Библию. Его обращение к библейским образам в «Еврейских мелодиях» было естественно подготовлено предшествующими традициями английской литературы. Именно в библейскую поэтику облекся в XVII веке, в творчестве Мильтона и его соратников, революционный опыт английского народа — участника и двигателя английской буржуазной революции. Библейские предания о прошлом древнего еврейского народа служат Байрону как бы романтическим иносказанием, за которым скрываются неот-

ступные тревожные размышления о настоящем и будущем народов современной Европы.

Ведущей прогрессивной идеей «Еврейских мелодий» было утверждение несокрушимости народного самолюбия. Но это утверждение носило не материалистический, а идеалистический характер. Движение истории представало здесь в романтически-мистифицированной форме, как свершение воли бога, ниспровергающего тиранов и дарующего свободу народу. В иносказательном плане эта романтическая картина грозной божьей кары, постигающей деспотов, была исполнена животрепещущим революционным политическим смыслом. Такие стихотворения как «Поражение Сеннахериба» и «Видение Валтасара» представляли собой своего рода романтические пророчества неотвратимого исторического крушения реакционных режимов, навязываемых народам Европы Священным союзом.

В парламентских речах и «Оде авторам билля против разрушителей станков» Байрон открыто угрожал господствующим классам своей страны возмущением народа. В «Оде с французского» — значительнейшем стихотворении так называемого «наполеоновского» цикла — он снова переводит на язык современной ему политики библейский романтический образ огненных письмен на стене валтасарова дворца.

Указанный цикл объединяет политические стихотворения Байрона, написанные после окончательного разгрома Наполеона при Ватерлоо и опубликованные одновременно в английской оппозиционной прессе в 1815—1816 годах: «Прощание Наполеона», «С французского», «Ода с французского» и «Звезда Почетного легиона (с французского)».

Отношение Байрона к Наполеону в течение долгого времени оставалось крайне противоречивым. Оно пряснялось, освобождаясь от антиисторической идеализации, лишь постепенно и мучительно, в ходе социально-политической борьбы 10—20-х годов. В «Оде с французского», резко отличающейся по глубине мысли от первых, идеализирующих Наполеона стихов того же цикла, Байрон приходит к смелому выводу об одинаковой враждебности интересам народа *любой* тирании—будь то империя Наполеона или реставрированная монархия Бурбонов.

Для автора «Оды» Ватерлоо — отнюдь не конец революционной эпохи, а, напротив, начало новых освободительных битв народов.

Конкретное общественно-политическое содержание намеченного в «Оде» идеала «справедливости», «единого для всех закона» было неясно поэту. Но образ народа как единственного надежного поборника свободы знаменовал собою новое и плодотворное направление в поэзии Байрона по сравнению с индивидуалистическим бунтарством «восточных поэм».

«Ода с французского» была опубликована в марте 1816 года, в разгар травли, принудившей Байрона покинуть Англию.

Повода для расправы с Байроном реакция искала давно. Его смелые выступления в парламенте, дерзкое политическое и религиозное свободомыслие его поэзии, самая его популярность, в свете которой меркла имена стихотворцев реакционно-романтического лагеря, — все это вызывало растущее озлобление правящих кругов. Это озлобление прорывалось и ранее. Антиправительственные стихотворения Байрона, в том числе его ядовитые эпиграммы на принца-регента, получали широкую огласку среди читателей. Некоторые из них распространялись в рукописных списках, как, например, «Виндзорская пиитика» или «На посещение принцем-регентом королевского склепа». Когда, в начале 1814 года, Байрон опубликовал открыто под своим именем одну из таких эпиграмм («Строки к плачущей леди») во втором издании «Курсара», вся правительственная пресса пришла в бешеную ярость.

Политическими причинами была вызвана и травля Байрона в 1816 году. Разрыв Байрона с женой, получивший скандальную огласку, был использован реакционными кругами для того, чтобы свести свои счеты с поэтом. Против Байрона были пущены в ход все возможные средства. Его имущество было описано, дом занят полицейскими приставами; газеты с воем и улюлюканьем рвали в клочья доброе имя поэта; при появлении в «свете» его встречали оскорбительными враждебными демонстрациями.

Буржуазно-аристократические правящие круги Англии не смогли ни сломить, ни обезоружить Байрона, но им удалось изгнать его. 25 апреля 1816 года Байрон навсегда покинул родину, так же, как годом позже, при таких же обстоятельствах, вынужден был уехать из Англии другой ее величайший поэт — Шелли.

3

Пребывание в Швейцарии, где Байрон поселился летом 1816 года, было для него периодом глубокого духовного кризиса. Потрясенный обрушившимися на него преследованиями, крушением своей семейной жизни и навязанным ему разрывом с родиной, Байрон в своих стихах, обращенных к сестре («Стансы к Августе» и «Послание к Августе»), первоначально воссоздает все происшедшее как личную, индивидуальную трагедию, как «войну многих против одного». Но, несмотря на ликование противников, Байрон отказывается признать себя побежденным. «Хотя душа моя и отдана на муки, она не будет их рабой», — восклицает он в «Стансах к Августе».

Разлука с родиной, отсутствие связей с народно-освободительными движениями на континенте, зрелище торжества победителей в стане реакции и горечь личной обиды — все это предельно обостряет внутренние противоречия байроновского романтизма. Именно в эту пору с большей силой, чем когда-либо ранее или впоследствии, звучат в поэзии Байрона настроения траги-

ческого отчаяния. В Швейцарии была написана «Тьма» — едва ли не самое безотрадное произведение Байрона, рисующее картину постепенной гибели человечества на страшной, погруженной в мрак земле, которую больше не освещает погасшее солнце. Байрон, несмотря на многие колебания и идейные кризисы пронесший сквозь все свое творчество в целом твердую веру в достоинство человеческого разума и воли и глубокое отвращение к мракобесию и мистике реакционного романтизма, в эту пору более чем когда-либо склоняется к уступкам идеалистическим влияниям. С особенной силой это проявляется в стихотворном «Отрывке», где жизнь представляется «лишь видением», мертвецы — подлинными наследниками земли, а живые — лишь пузырями на ее поверхности. Однако важно подчеркнуть, что этот отрывок остался незаконченным. Как бы ни было бурно отчаяние, овладевавшее иногда Байроном, реальная жизнь, общественные судьбы человечества слишком горячо волновали его, чтобы он мог надолго успокоиться в меланхолическом созерцании.

В драматической поэме «Манфред» (1817) воплотились в своем наивысшем напряжении противоречия, раздиравшие в эту пору творчество Байрона. «Манфред» — вершина индивидуалистических бунтарских устремлений поэта, но вместе с тем он знаменует и банкротство его индивидуализма.

Индивидуалистический бунт личности против общества предстает в «Манфреде» как обобщенная философско-этическая проблема. При этом, несмотря на сугубо фантастический колорит «Манфреда», здесь все же слышится поступь истории.

Вопреки средневеково-готической обстановке действия, Манфред основными чертами своего духовного облика принадлежит новому времени. В нем полное и ярче, чем в каком-либо из предшествующих образов, созданных Байроном (за исключением разве лишь автобиографического лирического героя первых песен «Чайльд-Гарольда»), отразилось крушение просветительских иллюзий и «начало конца» буржуазной революционности. Полны глубокого значения слова Манфреда в беседе с аббатом:

Да, мой отец! И я, когда был юн,
Знал светлые мечты и вдохновенья,
Хотел усвоить ум других людей
И просвещать народы...

.....
..... Но все прошло;
В мечтах я обманулся.

«Древо знания — не древо жизни», — возражает просветителям Байрон устами Манфреда.

В полемике Байрона с внеисторическим идеалистическим представлением буржуазных просветителей о всеобщей силе разума как средства гармонического переустройства мира отразился, хотя еще очень односторонне, новый исторический опыт, порожденный французской буржуазной революцией и ее результатами. Отразился в образе Манфреда и личный опыт самого Байрона, за-

ставивший его извернуться в «официальных» формах политической борьбы.

Но при всей горечи, с какой Манфред отзывается о претензиях просветительской «философии» быть наукой о счастье человечества, он оказывается силен, могуч и независим — хотя и несчастлив — именно как *свободно мыслящий человек*. В этом смысле Байрон и в «Манфреде» — в противоположность реакционным романтикам — сохраняет верность гуманистической этике Просвещения. На протяжении всех символических сцен этой драматической поэмы Манфред отказывается поступить своим достоинством, свободой своей *человеческой мысли*, независимостью своей *человеческой воли*, невзирая на любые опасности и на любые соблазны. Даже умирая, он отказывается признать себя побежденным.

«Мораль» «Манфреда», таким образом, имела отчетливо бунтарский характер. Но Манфред на протяжении всей драматической поэмы выступает как лицо трагически одинокое. «Прометеева искра», которую, по его словам, он с гордостью в себе ощущает, горит в нем не для блага других людей, из нее не может возгореться пламя всенародного дела.

Интеллектуальное могущество Манфреда, романтически воплощающее в себе, по Байрону, скрытые возможности человеческого разума и воли, по существу бесполезно, так как лишено всякой связи с жизненной практикой «огромной производящей народной массы»¹ (Энгельс). Будучи в состоянии повелевать силами природы и силами истории, Манфред требует от них всего лишь «забвения» — искусственного и недостижимого иллюзорного душевного покоя. В этой поразительной диспропорции между героическими возможностями Манфреда и бессодержательностью его устремлений заключается действительная разгадка роковой обреченности Манфреда.

Одновременно с такими сугубо романтическими произведениями, как «Тьма» и «Манфред», где жизнь преломляется в фантастических образах-символах, Байрон, как бы споря сам с собой, создает в период своего пребывания в Швейцарии и произведения, более непосредственно отражающие общественную действительность и призывающие к продолжению борьбы. В «Шильонском узнике» (1816) и примыкающем к нему «Сонете к Шильову», в отрывке «Прометей», в «Монодии на смерть Шеридана» и в особенности в третьей и четвертой песнях «Паломничества Чайльд-Гарольда», из которых последняя была написана уже в Италии, поэт снова утверждает, что смысл жизни и искусства — в борьбе за свободу.

«Шильонский узник» — первая поэма Байрона, герой которой не одинокий романтический бунтарь или созерцатель, а общественный деятель, чья борьба связана с прогрессивными устремлениями его народа. Поэ-

ма написана под впечатлением от посещения Шильонского замка (на Женевском озере), где в течение шести лет, с 1530 по 1536 год, томился Франсуа Бонивар, республиканец и вольнодумец, заключенный в тюрьму по приказу герцога Савойского за то, что боролся за независимость Швейцарии. Впоследствии Байрон сожалел, что слишком поздно познакомился с историей Бонивара во всех подробностях, — в противном случае, писал он, «я постарался бы придать больше достоинства своей теме, попытавшись восславить его мужество и доблесть». Но основной мотив поэмы — глубокое сочувствие страданиям человека, который вместе со своими близкими идет на муки ради своих убеждений, — звучал в тогдашних условиях пламенным вызовом реакции.

«Сонет к Шильону», написанный после окончания поэмы и предпосланный ей в первом издании, как бы договаривает то, что могло казаться самому автору недосказанным в тексте «Шильонского узника». Это — гимн во славу бессмертной свободы, которой не страшны кандалы и тюрьмы; мученичество ее сынов — залог раскрепощения их родины.

В «Прометее» Байрон обращается к героическому образу древнего мифа, который с детства занимал его воображение. Образ Прометей для Байрона — «символ судьбы и силы» человечества. Какие бы беды ни были уготованы человеку, он может противостоять им, как равный, побеждая даже самой своей смертью, — такова идея, пронизывающая все стихотворение Байрона. Оно звучит как мужественный призыв к сопротивлению всяческому угнетению и тирании, как гимн героической стойкости борцов за свободу. Прометей трагически одинок в своем подвиге; в этом смысле он еще несет на себе печать индивидуализма, отличавшего прежних героев Байрона. Но самый подвиг его совершен во имя человечества, и высшая вина его в глазах богов — в том, что он не пожелал, подобно богам, презреть «страдания смертных в их печальной реальности». Это напоминание о «печальной реальности» страданий человечества связывает романтический протест Байрона с действительной жизнью. Характерно, что в эту же пору, в 1816 году, Байрон создает свою «Песню для луддитов» — первое в истории английской поэзии прямое обращение к рабочим с призывом бороться против угнетателей.

Кризис, переживавшийся поэтом, и выход из этого кризиса получили отражение в третьей и четвертой песнях «Паломничества Чайльд-Гарольда». Третья песня была написана в Швейцарии и опубликована в конце 1816 года. Четвертая песня (написанная летом 1817 г. в Италии, куда Байрон переехал осенью 1816 г.), вышла в 1818 году.

В последних песнях «Чайльд-Гарольда», как и в лирике швейцарского периода, запечатлена вся горечь личных оскорблений, выпавших на долю Байрона в связи с семейным разладом и разрывом с родиной. Третья песня открывается волнующим обращением поэта к ма-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. 2, стр. 299.

ленькой дочери Аде, которую ему уже не суждено было больше увидеть. Но, как и в первых песнях «Чайльд-Гарольда», перед нами не просто интимный путевой дневник, а свободный лирический монолог мыслителя, наблюдающего жизнь и размышляющего о ее законах. Публицистичность и ранее составляла отличительную черту «Паломничества Чайльд-Гарольда»; в последних двух песнях она проявляется с особенной силой. Свое вынужденное изгнание поэт пытается первоначально осмыслить как бегство от общества — более того, от людей вообще. Природа — Рейн, Альпы, Средиземное море, — которую он описывает с глубоким лирическим чувством восторга, предстает у него как истинное царство свободы и гармонии. Возникает прямое противопоставление природы обществу: «шум больших городов для меня — пытка», — пишет Байрон. Поэт, однако, не находит удовлетворения в эстетическом созерцании природы. Швейцария для него — не только снежные вершины Альп. Это — родина Руссо и приют Вольтера. И Байрон вводит в третью песнь «Чайльд-Гарольда» замечательную характеристику обоих великих французских просветителей, подчеркивая революционизирующий характер их идей. Тема французской революции настойчиво привлекает к себе поэта. Это не интерес к прошлому: в опыте 1789—1794 годов Байрон ищет уроков для современности, для настоящего и для будущего. Строфы, посвященные революции в третьей и четвертой песнях поэмы, полны уверенности в том, что, несмотря на временные победы реакции, революционная ситуация возникнет снова и исход ее будет иным. Не надо предаваться отчаянию, час расплаты «пришел, приходит — и придет». Пронизывающая все творчество Байрона мысль о вечном движении бытия приводит теперь не к скорбному выводу о суетности людских трудов и стремлений, а к страстному утверждению грядущего торжества свободы. Обращение к свободе, чей стяг, изодранный в битвах, реет наперекор ветрам (строфа 98 четвертой песни), звучит и сейчас как вдохновляющий боевой призыв.

Так, снова обретая смысл жизни в освободительной борьбе, поэт уже не бежит от людей. Творения человеческих рук, памятники искусства и старины теперь говорят с ним не менее красноречиво, чем стихии природы. В четвертую песню «Чайльд-Гарольда» входит, как одна из основных тем, величая национальная культура Италии, запечатленная в ее архитектуре, скульптуре, живописи. Обращение к этой теме — одно из первых свидетельств растущего внимания Байрона к национально-освободительной борьбе итальянского народа.

4

Переезд в Италию открыл новый, чрезвычайно плодотворный период в творчестве Байрона. Уже в первых произведениях, созданных в Италии, он ищет нового, жизненно-конкретного политического содержа-

ния, а вместе с тем и новых, более ясных и четких поэтических форм.

Байрон приехал в Италию в ту пору, когда там с новой силой подымалось народно-освободительное движение, руководимое карбонариями и направленное на свержение австрийских оккупантов и абсолютистских режимов, насильно навязанных итальянскому народу после Венского конгресса. Байрон вскоре стал участником итальянского революционного движения, более того, одним из вождей местной карбонарской организации. Полиция Болоньи, Рима и Венеции с напряженным вниманием следила за Байроном и его друзьями, считая его опаснейшим врагом существующего реакционного режима. Дом Байрона в Равенне стал, как видно из переписки и дневников самого поэта, настоящим тайным арсеналом, где хранилось оружие, накопленное для ожидавшегося со дня на день революционного восстания. Он стал одновременно и тайным генеральным штабом восстания.

Из нового практического революционного опыта Байрона, из непрерывного напряженного ожидания революционного взрыва, на близость которого он то и дело намекает в письмах к своим английским друзьям, родилась историческая трагедия Байрона «Марино Фальеро, дож Венеции». За нею последовали трагедии «Сарданапал» и «Двое Фоскари».

Трагедия «Марино Фальеро» была написана Байроном в разгар революционных событий, вспыхнувших в Неаполе, где в первой половине июля 1820 года одержала победу революция, свергнувшая абсолютистский режим и распространившаяся по другим областям Италии.

Хотя сюжет «Марино Фальеро» был заимствован из далекого прошлого средневековой Венеции и хотя Байрон отнюдь не хотел создавать в этой пьесе искусственную политическую аллегорию на современность, его трагедия явно имела актуальный, остро-политический смысл. Можно сказать, что она заключала в себе и оценку состояния национально-освободительного движения в Италии и попытку взвесить и оценить его будущее.

В центре трагедии Байрона — история республиканского заговора, к которому примыкает возмущенный несправедливым решением Совета Десяти престарелый дож Венеции Марино Фальеро. С большой глубиной и художественной выразительностью социальных обобщений Байрон рисует различные противоборствующие друг другу силы, временно объединившиеся для борьбы с общим врагом — тиранической олигархией венецианской знати. Марино Фальеро как бы воплощает в себе черты той итальянской дворянской аристократии, которая принимала участие в движении карбонариев, но оставалась сама, как это ощущал и Байрон, очень далекой от кровных нужд и стремлений трудовых масс итальянского народа. Противоречия в среде заговорщиков усугубляются тем, что сами они чрезвычайно далеки, как подчеркивает всем развитием своей трагедии Байрон,

от народных масс Венеции. Именно это в конечном счете оказывается причиной рокового поражения заговора. Эта мысль о гибельности для освободительного движения отрыва его руководящей верхушки от народных масс с предельным поэтическим лаконизмом выражена Байроном в финале трагедии. Казнь арестованных заговорщиков во главе с Марино Фальеро совершается во дворе, куда не допущен народ. Народные толпы, сгрудившись перед решеткой наглухо запертых ворот дворца на площади Святого Марка, тщетно рвутся к месту казни. В уста одного из представителей толпы Байрон вкладывает знаменательные слова: «Знай мы заранее, что готовят — мы бы с оружием сюда пришли, взломали б решетку!» Народ оказывается и неосведомленным о целях заговорщиков, и бессильным помочь им в решающий момент. Казнь свершается — и только после того, как палач провозглашает гибель «изменника» Марино Фальеро, ворота открываются и толпа оказывается лишь свидетельницей последнего акта неудачного восстания венецианских республиканцев.

Так в «Марино Фальеро» Байрон, не нарушая верности историческим образам своей трагедии, не превращая ее в сухую аллегорию, сформулировал в поэтической форме свое заключение о силе и слабости карбонарского движения в современной ему Италии.

Несмотря на трагический исход пьесы Байрона, она была написана в расчете на то, чтобы мобилизовать передового читателя к борьбе за свободу. Характерен монолог Израэля Бертуччо во второй сцене второго действия трагедии. Предусматривая возможность поражения восстания, Бертуччо, однако, и в этом случае отказывается признать себя побежденным:

В смерти за идею

Нет гибели! Пусть плаха выпьет кровь,
Пусть головы на солнце сохнут, руни
Повиснут пусть на башнях и вратах —
Дух будет реять всюду! Минут голы,
Других постигнет тот же черный рок,
Но будет мысль расти неудержимо,
Глубокая, и, сокрушив иные,
Мир приведет к свободе наконец!

По сравнению с «Марино Фальеро» другие примыкающие к нему исторические трагедии — «Сарданапал» и «Двое Фоскари», написанные под впечатлением разгрома национально-освободительного движения в Италии, отличаются нарастающим пессимистическим мотивом.

После крушения карбонарского движения Байрон уже не находил в итальянской истории достаточно вечною опоры для своих творческих поисков. От гражданско-политических «исторических трагедий» он обращается снова к романтической философской драме, первым опытом которой был «Манфред».

Мистерия «Каина», написанная в 1821 году, представляет собою итог романтических исканий Байрона. В этой драме, несмотря на ее, по видимости, далекую от действительности библейскую тему, Байрон, как и в пред-

шествующих «итальянских» трагедиях, предается размышлениям о судьбах народов в условиях реакционного политического режима Священного союза, но на этот раз — в более отвлеченной, романтической форме.

Сам Байрон связывал замысел «Каина» с «Манфредом». Но если Манфред, как исключительная личность, был противопоставлен в своем трагическом одиночестве массе трудящегося «простого народа», то Каин представляет собой как бы воплощение свободной человеческой личности, борющейся за свои права против существующей тирании. Эта тема была облечена в «Каине» в мифологическую одежду. Байрон переосмыслил древнюю библейскую легенду, создав в своей мистерии величественный героический образ Каина. Первый убийца, заклейменный господином проклятием, каким рисовала Каина Библия, предстал у поэта, по его собственному определению, не только как «первый убийца», но и как «первый бунтарь» на земле.

Религиозное богоборчество «Каина» само по себе имело необычайно актуальное прогрессивное значение в ту пору, когда была создана эта драма. Недаром в трагедии «Каина» приняли участие единым фронтом и органы реакционной политической прессы и церковники всех мастей.

В богоборческих мотивах «Каина» обнаруживается преемственная связь Байрона с гуманизмом буржуазных просветителей XVIII столетия. Моральное оправдание Каина представляло собою по существу оправдание «естественного» человека, с его земными стремлениями, с его земными правами.

Противопоставляя Каина, с его жадной жаждой знания, с его стремлением любой ценой отстаивать свою свободу мысли, с его отказом подчиниться тираническим установлениям божественного произвола, смиренным и покорным Адаму, Еве, Авелю, Байрон создает еще один образ бунтаря-революционера, родственник героям его ранних поэм и «Манфреда». Но теперь этот образ освобождается от романтических «преувеличений», которые в эту пору сам Байрон резко осуждает, критически оглядывая свой творческий путь. Под романтической оболочкой библейских легенд в образе Каина и противостоящих ему персонажей мистерии проступает жизненное и современное общественное содержание. Если Каин воплощает в себе лучшие освободительные устремления человечества, то в образе Авеля как бы обобщаются все те черты рабского смирения, трусости, примирения со своей участью, которые представители реакционного романтизма, литературные и политические противники Байрона пытались привить читателям. В сюжете Каина с Авелем в романтической форме в сущности идет спор двух мировоззрений: идеологии, лежащей в основе революционного романтизма, с одной стороны, и реакционного романтизма — с другой. Весьма характерно, что, несмотря на свою привязанность к брату, Каин не раз повторяет на протяжении драмы, что в основе авелева благочестия лежит не любовь к богу, а трусость, страх, лицемерие. Самое же убийство Авеля Каином ока-

зывается, по замыслу драмы, как бы «спровоцированным» коварным и тираническим произволом деспота Иеговы.

Каин, первый убийца традиционной библейской легенды, предстает перед читателями как благородный и мужественный поборник прав и свободы всего поработанного человечества. Но Каин одинок, и бунтарство его не имеет перед собой ясных перспектив и целей. В «Каине» еще проявляется та же отчужденность революционного романтизма Байрона от жизненной практики, какая сказывалась и в «Манфреде» и в большинстве романтических поэм молодого Байрона. Опорой человека в его борьбе за свободу оказывается, согласно идеалистической концепции Байрона, его дух: «Дух не может угашен быть, коль стал он сам собой и средоточьем всех вещей». Эти особенности «Каина», делая его итогом романтических исканий Байрона, существенно отличают его от политических сатир и «Дон-Жуана», где проблема борьбы за свободу решается по-иному, соотносясь непосредственно с национально-освободительной борьбой народов Европы и получая таким образом материалистическое, историческое осмысление.

Политические сатиры Байрона — «Ирландская аватара», «Видение суда» и «Бронзовый век» — принадлежат, наравне с «Дон-Жуаном», к числу блистательнейших побед, одержанных им в итальянский период. Поэтическое новаторство, отличающее эти поэмы, подготовлено юношескими сатирическими опытами Байрона. Но расцвет сатирического таланта поэта, проявившийся здесь с такой полнотой, смог произойти лишь на почве революционного подъема начала 20-х годов, когда, по представлению самого Байрона, его поэтическое «оружие критики», направленное против реакции, служило дополнением «критики оружием». Недаром в тексте «Видения суда» Байрон образно датировал смерть своего подсудимого — Георга III (1820) — «первым годом второй зари Свободы», как бы давая понять читателю, что после временного торжества реакции история вступила в новую революционную фазу своего развития. В политических сатирах Байрона идет речь и о поражениях и об изменах. Но основное в них — глубоко мотивированное и потому сокрушительное по своей поэтической силе презрение к лагерю реакции. Идейной опорой этого уничтожающего презрения служит вера в победоносный исход освободительных усилий народов Европы и Америки.

Политические сатиры 20-х годов свидетельствуют о чрезвычайной чуткости Байрона ко всем изменениям в международной общественно-политической ситуации. Он пользуется любым возможным поводом, чтобы дать бой силам реакции.

В «Ирландской аватаре» этим поводом послужил ирландский вопрос. Эта небольшая сатирическая поэма, поразившая Гете, как «верх ненависти», была написана Байроном под свежим впечатлением ликующих сообщений раблепной английской прессы о триумфальном въезде английского короля Георга IV в Дублин — столицу поработанной Ирландии. Поэт с глубоким воз-

мущением напоминает о том, что рабство, цепи и голод — вот все, чем подарило британское правительство ирландский народ. С гневным сарказмом разоблачает поэт гнусное лицемерие затейливой в Ирландии кампании по сбору народных пожертвований на постройку дворца в подарок Георгу IV, дворца «в обмен на рабочий дом и тюрьму» — удел обездоленных ирландских бедняков — и предупреждает ирландцев, что они смогут добиться свободы лишь путем борьбы, но не путем компромиссов и реформ.

Язвительные сатирические обличения Байрона проникнуты вместе с тем глубоким лирическим чувством: с законной гордостью он вспоминает о том, как горячо любил поработанную Ирландию и как отстаивал ее свободу.

Сочетание точной и резкой сатирической критики с бурной лирической страстностью проявляется особенно выразительно в «Бронзовом веке» — самой значительной из политических сатир итальянского периода.

«Бронзовый век» был задуман как сатирический обзор событий истекшего 1822 года, отмеченного революцией в Испании и контрреволюционными происками держав Священного союза.

Для изыскания решительных средств борьбы с революционной «опасностью» в Европе в Вероне был созван в ноябре 1822 года конгресс Священного союза. Конгресс этот ознаменовал свою деятельность тем, что отказался выслушать представителей восставшей Греции, подтвердил «законность» вывоза негров-рабов из Африки в Америку и развязал руки французскому правительству Людовика XVIII для вооруженной интервенции в революционной Испании.

В своей политической сатире, написанной по живым следам событий, Байрон подвергает уничтожающей критике руководителей европейской реакции. Он создает великолепные сатирические портреты Людовика XVIII «жирноголового» (как называл его Маркс), Александра I, Веллингтона и др., где каждый штрих заострен против раблепной и подлой лести реакционной прессы. Глубже, чем когда-либо ранее, проникая в социально-историческую сущность периода Реставрации, он обнаруживает связь феодально-монархической реакции с интересами крупного капитала. «Бронзовый век» содержит непревзойденное по своей проициальности и резкости разоблачение материальной, экономической подоплеки, определяющей «высокую» политику господствующих классов Англии.

Как и в «Дон-Жуане», Байрон разоблачает в «Бронзовом веке» роль финансового капитала в консолидации европейской реакции. Ротшильды — «банкрты — маклеры — бароны» и им подобные опутали сетью своих операций весь земной шар: «Они контролируют все страны и всех государей», они поддерживают «обанкротившихся тиранов», они подавляют восстания и спекулируют на их успехах; у каждой нации они вырезают, наподобие Шейлока, свой «фунт мяса» поближе к сердцу.

В «Бронзовом веке» Байрон, наконец, окончательно развенчивает наполеоновскую легенду. Для идеологов Священного союза Наполеон был коварным авантюристом без роду и племени, злодейски посягавшим на божественное право «законных» королей. Для Байрона историческое преступление Наполеона заключается теперь в том, что, узурпировав власть и установив свой военный деспотизм, он свел к нулю демократические завоевания французской революции.

Пламенным пафосом проникнуты неумирающие строки «Бронзового века», адресованные героическому народу Испании. Великолепно по своей идейной глубине и поэтической силе изображение поэта к воспоминаниям о Москве, о могучем патриотическом подъеме русской Отечественной войны 1812 года, опрокинувшем и разгромившем наполеоновскую армию. В «Бронзовом веке» Байрон глубже и полнее, чем где-либо ранее в своем творчестве, уясняет себе великую роль русского народа в освобождении Европы от ига Наполеона. Он славит патриотическое единство и самопожертвование русского народа, на первом месте называя русских солдат и крестьян. В пророческих строках поэмы он провозглашает пожар Москвы предвестником и символом грядущего революционного переворота, который освободит весь мир. Так в качестве освободительной, революционизирующей силы истории в «Бронзовом веке» выступает собирательный героический образ борющегося народа.

Замечательное сочетание революционного романтического пафоса с трезвым реализмом, с пониманием материальных отношений, составляющих почву общественного развития, характеризует сатирические поэмы Байрона — в первую очередь «Бронзовый век» и «Дон-Жуана» — как новую ступень в его творческом развитии.

Над «Дон-Жуаном» Байрон работал, живя в Италии, в течение нескольких лет. Поэма печаталась с 1819 по 1824 год.

Вершина творчества Байрона — поэма «Дон-Жуан» представляла собою своего рода сатирическую энциклопедию общественной жизни Европы. Байрон сам подчеркивал этот общественно-сатирический характер замысла своего произведения, заявляя, что его задача — «сатира на злоупотребления в современном обществе, а не прославление порока». Байрону не удалось осуществить до конца широко задуманный им план поэмы. Этому помешала его преждевременная смерть. Всего им было написано шестнадцать песен «Дон-Жуана» и начало семнадцатой. Судя по переписке Байрона, поэма должна была провести героя через множество разнообразнейших приключений на море и на суше во всех важнейших странах Европы. Она должна была через посредство главного героя показать читателю в критическом освещении противоречия общественной жизни одного из самых бурных периодов европейской истории — периода французской буржуазной революции.

Действие первых песен поэмы разыгрывается именно на рубеже 1780—1790 годов (в восьмой песне поэмы Дон-Жуан участвует во взятии штурмом Изаиила рус-

скими войсками под командованием Суворова в 1790 г.). Вершиной поэмы и ее финалом должно было служить изображение самих событий французской буржуазной революции; в ее бурях и должен был погибнуть герой.

Уже в тех песнях «Дон-Жуана», которыми мы располагаем, бросается в глаза широта социально-исторического фона, «удивительное шекспировское разнообразие», так восхищавшее в этой поэме Пушкина.

Это «удивительное шекспировское разнообразие» проявляется и в содержании поэмы и в ее поэтической форме. В «Дон-Жуане» Байрон достигает поистине виртуозного мастерства, используя все богатства английского литературного языка. Легко и свободно он переходит в своих октавах от высокого обличительного пафоса к шутовой веселости, от философского раздумья — к прозе повседневного быта, от лирической нежности — к язвительной насмешке, соответственно видоизменяя и синтаксический строй, и интонацию, и лексику своего стиха. Блистательно владея искусством намека, Байрон пронизывает свою беседу с читателем множеством непринужденных ассоциаций, свободно вводит в свои стихи, если нужно, и политический анекдот, и литературную полемику, и газетную справку... Гораздо более богатый, гибкий и разносторонний, чем язык его ранних бунтарских поэм, язык Байрона в «Дон-Жуане» поражает вместе с тем своей простотой. Но это отнюдь не нарочитая, искусственная простота. Простота поэтической речи «Дон-Жуана» порождается богатством живого, развивающегося народного английского языка, смело и творчески использованного Байроном в соответствии с богатством идейного содержания его поэмы. Недаром этот подкупающе простой и увлекательный язык «Дон-Жуана» представляет такие трудности для перевода как благодаря необычайному разнообразию жизненных «реалий», так и благодаря изобилию тончайших смысловых и эмоциональных оттенков.

Школой реалистического мастерства для Байрона в «Дон-Жуане» послужили, вероятно, и его дневники и переписка, принадлежащие к замечательным памятникам английской реалистической прозы. Полно и непринужденно раскрывается в них душевный мир великого поэта, передового мыслителя и общественного деятеля своего времени. И в размышлениях о ходе политических событий, и в рассказе о творческих замыслах, в лирических признаниях, в блестящих полемических выпадах и сатирических оценках, в точных и ярких картинах быта Байрон-прозаик поражает своим лаконизмом, выразительностью языка и глубиной содержания.

Итальянские дневники и письма, относящиеся к периоду подъема карбонарского движения, когда Байрон с оружием наготове, в напряжении всех сил ждал сигнала к восстанию, сделали бы честь большому мастеру реалистической прозы.

Этот опыт реалистического изображения жизни, накопленный Байроном в непринужденной мемуарно-эпистолярной прозе, не предназначавшейся для печати, отразился еще раньше в его блестящей, искрящейся

весельем и сатирической злостью поэме «Беппо» (1818) и со всей полнотой проявился в «Дон-Жуане».

Нарисовав картину ханжеской и косной феодально-монархической Испании, где вырос Дон-Жуан, поэт переходит далее к изображению самых различных ситуаций. Кораблекрушение и ужасы голодной смерти, спасение Жуана дочерью греческого пирата Ламбро, невольничий рынок, гарем турецкого султана и военный лагерь русской армии накануне штурма Измаила, екатерининский двор в Санкт-Петербурге, Лондон, куда в качестве чрезвычайного посланника Российской империи направляется еще недавно бездомный авантюрист Дон-Жуан, — таково необычайное разнообразие положений, в которые ставит своего героя Байрон.

Сатирическое обозрение деспотических и реакционных режимов XVIII века, развернутое в «Дон-Жуане», имело по своему внутреннему смыслу прямое отношение к современности, было направлено против тирании Священного союза.

Вся поэма, начиная с уничтожающего стихотворного посвящения придворному поэту Бобу Саути и реакционному министру Кэстлери, была проникнута ядом политической сатиры и революционным негодованием огромной силы. «Лишь революция сумеет мир спасти от адской скверны», — провозглашал поэт.

Именно эта страстная сила сатирического обличения придала поэме, которая в противном случае рисковала бы рассыпаться на множество отдельных пестрых авантурных эпизодов, ее внутреннее идейное и художественное единство.

Байрон ополчался в своей поэме против современного ему общества, хотя и перенес действие поэмы в конец XVIII века. Местами это приводило к известным анахронизмам, смещению исторических масштабов: современные Байрону читатели во многих случаях не могли не чувствовать, что речь идет об их эпохе, а не о событиях отцовских или дедовских времен.

По мере того как развивалось повествование, все определеннее проступали основные линии сатирического наступления Байрона на твердыни феодально-буржуазного общества. Поэт с такой же ненавистью, как и в «Бронзовом веке», восставал против власти частной собственности, уродующей человеческие отношения. Он насмешливо предлагал своим читателям внимательно приглядеться к греческому пирату-душегубу Ламбро и посмотреть, так ли уж он отличается от respectableных джентльменов, чьи капиталы нажиты по существу такими же разбойничьими способами. Он заявлял, что в современном мире и аристократическая придворная честь и воинская доблесть покорны власти денег. Капитал царит и при дворе и в военном лагере. С непримиримой резкостью Байрон противопоставлял народную справедливую освободительную войну преступным захватническим войнам.

Война священна только за свободу,
Когда ж она — лишь честолюбья плод,
Кто бойнею ее не назовет?

Исполнено горечи и пламенного гнева предостережение, обращенное к Англии — ненавистной тюрьнице народов, предательнице свободы в Европе.

Политическая сатира Байрона подкрепляется последовательной борьбой поэта против идейной реакции его времени. Он издевается над рабованием поэтов «озерной школы», клеймя их как политических ренегатов. Он прямо полемизирует с идеалистической философией, служившей в его время идеологической опорой феодально-аристократической реакции против французской буржуазной революции и просветительства. Замечательно, в частности, его выступление против Беркли, столпа английского идеализма. Байрон увидел самое уязвимое место идеалистической философии Беркли. С насмешкой говорит он о том солипсистском тупике, куда заводит своих последователей Беркли, превращая, по меткому определению поэта, «всю вселенную в сплошной вселенский эгоизм».

По замыслу Байрона «Дон-Жуан» должен был служить доказательством действительности человеческого разума как средства познания и критики объективной действительности. В этом источник глубокого жизнеутверждающего пафоса поэмы «Дон-Жуан», которую Байрон по праву называл «самой нравственной из всех поэм».

Вместе с тем в «Дон-Жуане» с большой силой проявляются острые противоречия всего творчества Байрона. Они сказываются и в разобщенности социального и личного плана поэмы; они проявляются и в колебаниях поэта при решении основных, краеугольных вопросов, поставленных в поэме.

Образ Дон-Жуана носил полемический характер, как и весь замысел поэмы. В противоположность реакционному романтизму, с его призывами к обузданию греховных порывов человеческой плоти и разума, к смирению перед божественным промыслом, санкционирующим существующий порядок вещей, Байрон строит свою поэму как вызывающее оправдание земной чувственной природы человека со всеми его страстями и устремлениями. В этом смысле история похождения Дон-Жуана занимает Байрона отнюдь не просто своей пестротой и анекдотичностью. Он стремится продемонстрировать читателю естественность «грехопадений» своего героя. Он срывает с действительных отношений людей ханжеские покровы буржуазной морали, присваивая себе право открыто и в полный голос говорить о подлинной, неприкрашенной жизни.

Было бы ошибкой думать, что в образе Дон-Жуана Байрон стремился, как это ложно приписывали ему его литературно-политические враги, унижить и осмеять человека. Напротив, в понимании Байрона именно его Дон-Жуан, столь своевольный в нарушении всех запретов лицемерной морали, оказывается истинно нравственным человеком в моменты решающих жизненных испытаний. Это он перед угрозой голодной смерти, находясь среди озверевших от голода людей, носящихся по морским волнам на утлом плоту, отказывается

поддержат свою жизнь человеческим мясом. Это он среди опьяненных яростью боя солдат находит в себе достаточно сострадания и мужества, чтобы спасти жизнь маленькой турчанки Лейлы. В изображении свободных любовных отношений Дон-Жуана и Гайдэ, дочери пирата Ламбро, Байрон создает высокопоэтическую картину того, чем может быть человеческое чувство, не скованное и не развращенное эгоистическими интересами собственнического мира. Любовь Гайдэ и Дон-Жуана Байрон изображает как истинное таинство, бесконечно возвышающееся над жалким состоянием брака как купли и продажи, как сделки, какой он становится в условиях буржуазно-феодальной «цивилизации».

Но вместе с тем Байрон показывает и непрочнось этого счастья. Оно разбивается при первом соприкосновении с реальной жизнью. Руссоистская идиллия естественных отношений между людьми, намечающаяся в эпизоде любви Дон-Жуана и Гайдэ, оказывается грубо разрушенной вмешательством тирании, основанной на власти собственности. Всем содержанием своей поэмы Байрон внушает читателям мысль о гнусной фальши и противоестественности существующего собственнического строя, где преуспевает лишь тот, кто поступает своими чувствами и принципами и оскверняет свое человеческое достоинство ради личной выгоды. В авторских отступлениях «Дон-Жуана» уже звучит мотив, предвосхищающий Бальзака: в «цивилизованном» обществе успех равносителен преступлению.

При виде уродливого мира, ставшего тюрьмой народов, у автора «Дон-Жуана» временами неудержимо прорываются скорбь и негодование. Но скорбь Байрона в «Дон-Жуане», при всех противоречиях этой поэмы, не безысходна. Внимательный читатель поэмы находил в ней надежду на будущее. Настанет время, указывал читателю Байрон, когда современное ему общество будет казаться людям столь же странным и чудовищным, как скелет мамонта. Через головы поколений Байрон обращается к этим новым людям, гражданам нового общества, со словами, исполненными пламенной ненависти к деспотизму и веры в торжество свободы.

Обличение собственнической «цивилизации», захватнических войн и хищнического буржуазного индивидуализма характерны и для других поздних произведений Байрона, в частности для его драмы «Преображенный урод», трагедии «Вернер, или наследство» (1822) и поэмы «Остров, или Кристьян и его товарищи» (1823).

Драма «Преображенный урод», опубликованная посмертно в 1824 году, не была закончена Байроном, и судить о ее замысле в целом можно лишь предположительно. Драма эта не принадлежит к числу сильнейших произведений Байрона; отчасти, как указывает он сам, она была подражанием «Фаусту» Гете. Наиболее существенной стороной этого романтического произведения, представляющей интерес для современного читателя, является отчетливо проступающая сквозь оболочку причудливой фантастики тема осуждения хищнического властолюбия агрессоров, разоблачения несправедливых

захватнических войн. В изображении разбойничьих орд Филиппа Бурбона, которые, подобно волчьей стае, несутся на штурм осажденного Рима, грабя и убивая все, что попадется на пути, Байрон гневно клеймит антинародную политику военных захватов. Драма обрывается многозначительной сценой, где хор итальянских крестьян славит радости мирной жизни, как бы споря со злобещей песней кондотьера Цезаря, напоминающей о разгуле войны.

Трагедия «Вернер» во многом напоминает сюжеты ранних романтических «восточных» поэм Байрона. Герой трагедии, молодой Ульрих, тоже разбойник, изгой, отщепенец, бегущий от общества и восставший против его законов. Новым, однако, является то, что Байрон как бы срывает с движущих стимулов, определяющих поведение его героев, поэтизирующие их романтические покровы. Деньги и порождаемые ими эгоистические, хищнические страсти оказываются основным побудительным мотивом действий героев. «Вернер» в этом смысле дает грубое, неприкрашенное изображение развращающей роли частной собственности.

Критика собственнической «цивилизации» лежит и в основе «Острова», но оборачивается здесь другой своей стороной: миру бесчеловечных собственнических отношений Байрон противопоставляет здесь иной мир, куда еще не успела проникнуть власть денег. В этой поэме, написанной на основании подлинные факты, Байрон показывает, какое действие оказало на предшественников «цивилизованного» европейского мира приобщение к первобытной жизни тихоокеанских диких островитян, живущих в условиях первобытно-общинного строя.

Сюжет «Острова» Байрона опирается на сообщение лейтенанта Блая о мятеже, вспыхнувшем на военном корабле «Баунти». Восставшие матросы под командой моряка Кристьяна, высадившись в 1789 году на одном из островов Товарищества, укрывались некоторое время от грозивших им преследований, пока не были в конце концов найдены посланной за ними карательной экспедицией.

Байрон не использовал всех возможностей, которые давала избранная им тема. Ограниченность его романтизма проявилась в «Острове» уже в самом замысле поэмы, в трактовке матросского мятежа. Байрон не захотел поставить это событие в центр своей поэмы. Основная, ведущая мысль «Острова» связана не столько с историей матросского бунта, сколько с изображением контраста двух общественных состояний. Это контраст между «грязью цивилизации» и естественной, первобытной жизнью обитателей цветущего острова, куда еще не ступала нога буржуазных колонизаторов. Естественное состояние островитян, с точки зрения Байрона, блаженно именно потому, что они не знают ни собственности, ни эксплуатации.

С глубоким лиризмом Байрон рисует поэтические картины счастливой и радостной жизни людей, живущих в гармонии с природой и друг с другом. Прирожден-

денная склонность человека к добру, к чистоте нравов, не испорченных лживыми предписаниями ханжеской морали, облагораживающая роль свободного чувства — таковы основные идейные предпосылки байроновской идиллии. Она рисует золотое детство человечества таким же, каким оно представлялось когда-то Руссо.

Вместе с тем идиллия Байрона в сознании самого поэта предстает скорее как утопия, поэтическое воспоминание о прошлом «золотом веке» человечества, но не как реальная программа будущего. Гром пушек карательной экспедиции, присланной на остров за взбутовавшимися матросами, заглушает простодушные лирические песни счастливых тайтян. Вслед за карателями предстоит явиться и колонизаторам.

Как ни прекрасно естественное состояние первобытных людей, еще не знающих частной собственности, неравенства и угнетения, возврат к нему, как понимает поэт, невозможен.

Поэт ищет выхода не в мечтах о добуржуазном «золотом веке», он стремится к переустройству современной, реальной общественной действительности. Байрон не мог удовлетвориться уделом созерцателя. Жизнь в Италии после разгрома карбонарского движения тяготила его. Он рвался к борьбе. Вести об освободительной войне греческого народа против турецкого гнета окрыляли его. Изорванное знамя свободы снова реяло против ветра — и Байрон поспешил стать под это знамя. В июле 1823 года он отплыл на корабле «Геркулес» в Грецию, для участия в военных действиях.

Прибыв в Кефалонию, Байрон направился оттуда в Миссолонги — греческий порт, где его с нетерпением ждали представители греческого правительства. Переезд был опасен. Судно, на котором находился сам Байрон, потерпело кораблекрушение и с трудом спаслось от турецкой погони.

В Миссолонги Байрон был встречен восторженно, народной манифестацией и воинскими почестями. С присущей ему жаждой активной деятельности он отдает свою энергию на создание греческих военных частей в Миссолонги. Так называемый Кефалонский дневник и позднейшие письма Байрона дают представление о его кипучей, еще совершенно недостаточно изученной деятельности в Греции. Байрон с жаром и знанием дела входит во все области практической работы по укреплению греческого освободительного движения, стремясь координировать все его силы. Он ведет переговоры с греческими лидерами, заботится об организации обороны и подготовке наступления, о своевременной оплате солдат, о снабжении, о медикаментах, об обучении новобранцев, щедро расходуя, в случае необходимости, и свои личные средства. Он принимает меры для укрепления воинской дисциплины, налаживает обмен военнопленных, организует борьбу со шпионажем.

Для поэтического творчества Байрона борьба, в гущу которой он окунулся, была могучим источником вдохновения. Последние стихотворения Байрона, написан-

ные в Греции, немногочисленны, но проникнуты глубоким чувством и принадлежат к числу замечательных произведений его лирики. Среди них — воинственная «Песнь к сулиотам», боевой призыв, обращенный к албанским воинам-горцам, несущий следы народно-песенной традиции, «В день моего тридцатилетия», стихотворный отрывок «Из дневника в Кефалонии» и др. И здесь в лирике Байрона порою прорываются индивидуалистические мотивы. Это особенно ясно в стихотворении «В день моего тридцатилетия», открываемом скорбными размышлениями об ушедшей юности, неразделенной страсти, которая, как одинокий вулкан, пылает в груди поэта.

Но Байрон-борец, поэт-гражданин, споря с самим собой, возвышается над этими эгегическими настроениями: «Восстань, как Греция восстала, мой гордый дух! Уразумей, откуда ты ведешь начало, — и на смерть бей!»

Чувство глубокой личной ответственности и тревоги за судьбы народов пронизывает прекрасные строки из дневника в Кефалонии — своего рода завещание Байрона и итог всего его творчества, — опубликованные впервые лишь в 1901 году и мастерски переведенные Александром Блоком:

Встревожен мертвых сон, — могу ли спать?
Тираны давят мир, — я ль уснулю?
Созрела жатва, — мне ли медлить жать?
На ложе — колючий терн; я не дремлю;
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...

Труды и лишения лагерной жизни в осажденном городе подорвали силы Байрона. Он заболел лихорадкой и умер в Миссолонги 19 апреля 1824 года. Умирая, он думал о Греции: «Я отдал ей свое время, средства, здоровье — теперь отдаю ей жизнь! Что мог бы я сделать еще?»

Смерть Байрона была отмечена в Греции национальным трауром. «Он умер в чужой стране и среди чужестранцев, — вспоминал его друг Гамба, — но нигде не мог бы быть более любим и искреннее оплакан». Греческое национальное правительство отдало праху поэта воинские почести; на гроб его, покрытый черным плащом, были возложены шлем, меч и лавровый венок. Тело Байрона было отправлено в Англию.

Правящие круги его родины отнеслись к памяти поэта с такой же враждебностью, какую преследовали его при жизни. Вестминстерское аббатство, национальная усыпальница великих деятелей Англии, гостеприимно открывающая свои двери всякого рода пигмеям, угодным реакции, не допустил в свой «Уголок поэтов» прах Байрона. Он был погребен в захолустной церкви в местечке Хакнолл, неподалеку от Ньюстада. Надпись над его могилой, составленная по распоряжению его сестры, гласила, что здесь покоятся останки автора «Паломничества Чайльд-Гарольда», который «умер в Миссолонги, в Западной Греции, 19 апреля 1824 года, при

героической попытке вернуть этой стране ее древнюю свободу и славу».

Творчество Байрона входит неотъемлемой составной частью в демократическую культуру английского народа. Ни гонения, ни клевета не помешали сбыться заветному желанию поэта, мечтавшего «остаться в памяти народной, пока язык Британии звучит». Прогрессивная общественность Англии и всего мира дорожит благородным подвигом Байрона — поэта-гражданина, борца за мир и свободу народов, одного из суровых и безукоризненно правдивых обличителей правящих классов, как охарактеризовал его Горький.

Творчество Байрона, проникнутое гневным сатирическим презрением к убийцам и палачам народов и пламенной верой в торжество освободительных стремлений человечества, живет и поныне, участвуя в великой борьбе могучего лагеря мира, демократии и

социализма против международной реакции. Когда по указке американско-английских империалистов фашистская реакция казнила одного из вождей коммунистической партии Греции, Никоса Белояниса, митинг протеста, посвященный памяти этого благородного сына греческого народа, был проведен в Лондоне у подножия памятника Байрону. Этот символический факт — красноречивое свидетельство того актуального, боевого значения, которое имеет в наше время наследие великого английского поэта — патриота и демократа. Трудящиеся Англии сплачивают силы, чтобы отстоять свои демократические свободы, национальный суверенитет и независимость своей родины, подло растоптанные и проданные за доллары реакционной буржуазией. Свободолюбивая поэзия Байрона обретает новый смысл и жизненность, воодушевляя народ Англии в этой борьбе.

А. Елистратова.

ЛИРИКА и ЭПИГРАММЫ

**ПРИ ОТЪЕЗДЕ
ИЗ НЬЮСТЭДСКОГО АББАТСТВА**

Ньюстэд! Ветром пронизана замка ограда,
Разрушеньем объята обитель отцов.
Гибнут розы когда-то веселого сада,
Где разросся безжалостный болиголов.

Воеет ветер; трещит от любого порыва
Щит с гербом, говорящий в унынии нам
О баронах в броне, что вели горделиво
Из Европы войска к палестинским пескам.

Роберт сердца мне песней не жжет раскаленной,
Арфой он боевого не славит венка,
Джон зарыт у далеких твердынь Аскалона,
Струн не трогает мертвого барда рука.

Спят в долине Креси Поль и Губерт в могиле,
Кровь за Англию и Эдуарда пролив.
Слезы родины предков моих воскресили;
Подвиг их в летописном предании жив.

Вместе с Рупертом в битве при Марстоне братья
Бились против мятежников — за короля.
Смерть скрепила их верность монарху печатью,
Напоила их кровью пустые поля.

Тени предков! Потомок прощается с вами,
Покидает он кров родового гнезда.
Где б он ни был — на родине и за морями
Вспоминать вашу доблесть он будет всегда.

Пусть глаза отуманила грусть расставанья,
Это — не малодушие, а прошлого зов.
Уезжает он вдаль, но огонь состязанья
Зажигает в нем гордая слава отцов.

Вашей храбрости, предки, он будет достоин,
В сердце память о ваших делах сохранит;
Он, как вы, будет жить и погибнет, как воин,
И посмертная слава его осенит.

1803

ПОДРАЖАНИЕ КАТУЛЛУ

(Елене)

О, только б огонь этих глаз целовать
Я тысячи раз не устал бы желать.
Всегда погружать мои губы в их свет —
В одном поцелуе прошло бы сто лет.

Но разве душа утомится, любя.
Все льнул бы к тебе, целовал бы тебя,
Ничто б не могло губ от губ оторвать:
Мы все б целовались опять и опять;

И пусть поцелуям не будет числа,
Как зернам на ниве, где жатва спела.
И мысль о разлуке не стоит труда:
Могу ль изменить? — Никогда, никогда.

1804

ЭММЕ

Пора настала — ты должна
С любовником проститься нежным.
Нет больше радостного сна —
Одна печаль пред неизбежным,

Пред мигом горестным, когда,
Оковы страсти расторгая,
В страну чужую навсегда
Уйдет подруга дорогая...

Мы были счастливы вдвоем;
И мы не раз с улыбкой вспомним
О древней башне над ручьем,
Приюте наших игр укромном,

Где любовалась ты подчас
Притихшим парком, речкой дальней...
Прощаясь, мы в последний раз
На них бросаем взгляд печальный...

Здесь, на лугу, среди забав,
Счастливых дней прошло немало:
Порой, от беготни устав,
Ты возле друга отдыхала,

И дерзких мушек отгонять
Я забывал, любуясь спящей,
Твое лицо поцеловать
Слетался вмиг их рой звенящий...

Катались мы не раз вдвоем
По глади озера лучистой,
И, щеголяя удалством,
Я залезал на вяз ветвистый.

Но минули блаженства дни:
Я, одинокий, как в изгнание,
Здесь буду находить одни
Бесплодные воспоминанья...

Тот не поймет, кто не любим,
Тоску разлуки с девой милой,
Когда лобзание мы длим,
Прощаясь с той, кем сердце жило.

И этой муки нет сильней:
Конца любви, надежд, желаний...
Последнее прощанье с ней,
Нежнейшее из всех прощаний.

805

КАРОЛИНЕ

Не безучастен, не суров —
Мольбу в глазах, слезу печали
Я с болью встретил; больше слов
Твои мне вздохи рассказали.

Не ты одна в тоске любовь
И чаянья похоронила —
И эта грудь точила кровь
И в горе тягостном изныла.

Огонь страданья на щеках
И трепет наших губ сливались,
И чуял я: в твоих слезах
Мои бесследно затерялись.

И пламень щек моих погас,
Слезами орошен твоими, —
Ты лишь вздыхала в горький час,
Мое пытаюсь молвить имя.

Но все напрасно: не дано
Нам рок слезами потревожить —
Воспоминание одно
Судил он нам, чтоб скорбь умножить.

Прощай, любимая, прощай!
Ах, побеждая сожаленье
О радостях минувших, знай:
Одна надежда нам — забвень!

1805

ПЕРВОЕ ЛОБЗАНИЕ ЛЮБВИ

Прочь, тонкости литературных затей!
Сплетения суетной лжи разорви!
Под лучами пленительных, нежных очей
Опьянен буду первым лобзаньем любви.

Рифмачи, вас фантазия держит в плену,
Пасторальные страсти оставьте свои!
Я сонеты холодные ваши кляню,
Не знакомы вы с первым лобзаньем любви.

Если помощи ты не дождешься от муз,
Не придет Аполлон — ты его не зови!
Тогда поцелуя отведай ты вкус,
Вдохновение — в первом лобзанье любви.

Сочинительством я не займусь ледяным;
Жеманный ханжа, что мне крики твои!
Голос сердца в поэзии незаменим —
Жар, пылающий в первом лобзанье любви.

Занимательны и пастушки и стада,
Но они не разбудят волненья в крови;
Аркадии грезы бледнеют всегда
В сравнении с первым лобзаньем любви.

Человек от Адама до наших времен
Не всегда был несчастен; Эдем, оживи!
Не полностью рай на земле упразднен —
Он жив еще в первом лобзанье любви.

Наслажденья пройдут, пыл остынет страстей
Уносятся годы, как их ни лови!
Всех радостных воспоминаний милей
Будет память о первом лобзанье любви.

1805

ОТРЫВОК

Бесплодные места, где был я сердцем молод,
Анслейские холмы!
Бушуя, вас одел косматой тенью холод
Бунтующей зимы.

Нет прежних светлых мест, где сердце так любило
Часами отдыхать,
Вам небом для меня в улыбке Мэри милой
Уже не заблестать.

1806

ЛЮБВИ ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ

В саду нашей жизни под смертной росой
Любовные розы должны расцвести,
Но время цветы беспощадной рукой
Срывает в последнем любовном прости.

Напрасные ласки не радуют нас;
Клянемся сквозь годы любовь пронести,
Но можем расстаться уже через час
С предсмертным последним любовным прости.

И шепчут мечты в утешение нам:
«Сойдемся еще мы на нашем пути!»
Утаить удается обманчивым снам
Яд, скрытый в последнем любовном прости.

Взгляните! Вот двое: любви молодой
Дано было только в их детстве цвести;
Едва расцвела — и увяла зимой
В холодном последнем любовном прости.

Красавица! Льешь ты слезу за слезой.
Я знаю, тебя невозможно спасти!
Безумье рассудок разрушило твой,
Померкший с последним любовным прости.

Кто этот страдалец? Чуждаясь людей,
В лесные пещеры решил он уйти.
Он ветру кричит о печали своей,
Горам — о последнем любовном прости.

И сердце его отвращеньем полно —
Былых утешений уже не найти!
Отчаяньем черным оно сожжено —
Сгорело в последнем любовном прости.

Он завидует душам, закованным в сталь:
Кто может по жизни бесстрастно брести,
Тому и восторгов минувших не жаль,
Нет горя в последнем любовном прости.

Уходят надежды, мы к смерти идем,
Любовь изменяется, как ни грусти!
Рождение страсти — в огне молодом,
А саван — в последнем любовном прости.

Астрейя дает нам законы свои:
Должны наслажденья к возмездью вести.
Для тех, кто привержен святыне любви,
ИскуПЛенье — в последнем любовном прости.

На жертвенник, светом горящий святым,
Кипариса и мирта венок опусти!
Сочетается мирт с наслажденьем твоим,
Кипарис же — с последним любовным прости.

1805

ОСКАР ИЗ АЛЬВЫ

Повесть

1

Как нежен лунный свет в ночи
Над Лорою в небесной сини!
Здесь больше не звенят мечи.
Спят Альвы древние твердыни.

2

А было время — при луне
Шли войны в тяжелых латах,
Луна сверкала на броне
И на доспехах их богатых.

3

Здесь воин у багровых скал,
Над мрачным морем наклоненных,
Свой вздох последний испускал
Среди рядов опустошенных.

4

И тот, кто смерть свою встречал,
Кому уж выпал скорбный жребий,
Слабей, взор свой обращал
К луне, что угасала в небе.

5

Любви лампадой столько раз
Она бойцам светила в очи
И в смертный им светила час,
Как факел погребальный ночи.

Увял могучий гордый род,
И башни Альвы поседали,
Рог на охоту не зовет,
И смолкло славных битв веселье.

7

Кто был последний в клане том?
Зачем покрыты башни мохом?
Зачем, в молчанье гробовом,
Они лишь ветра внемлют вздохам?

8

Когда ж бушует буря — там,
В том замке, звуки раздаются,
И ввысь, к полночным небесам,
Над ветхою стеной несутся.

9

И сотрясает бури стон
Щит Оскара во мгле туманной,
Но нет вокруг щита знамен,
Не видно черного султана...

10

Родился Оскар в ясный день,
Был счастлив Ангус, и вассалы
Сошлись под сводов старых сень
И кличем оглашали залы.

11

Пронзителен волюнок хор,
Жаркое подано оленью,
И льется песнь родимых гор
Во славу первенца рожденья.

12

Песнь боевая жгла сердца,
И на пиру поверил каждый,
Что сын могучего отца
В бой горцев поведет однажды.

13

Год минул. Счастье вновь пришло
С рождением мальчика второго,
И в замке Ангуса светло,
И в старых залах праздник снова.

14

Отец учил их лук сгибать,
И с детства, средь шотландских взгорний,
Они умели лань догнать,
С борзыми в быстром беге спора.

И с юных лет они вдвоем
В ряды бойцов вступили смело,
Играли тяжким палашом
И метко направляли стрелы.

16

Был Оскар смугл. Кудрей волной
Играл, бывало, ветер дикий,
А светлый Аллен был иной,
Задумчивый и бледноликий.

17

Героем храбрый Оскар был,
Глядел открыто и правдиво,
А младший мысль свою таил
И говорил сладкоречиво.

18

Сакс перед ними падал в прах,
Когда в бою их сталь звенела,
Был Оскару неведом страх,
А сердце чувствовать умело.

19

Но лжива Аллена краса,
И взор обманчив лучезарный:
Внезапной мезтью, как гроза,
Врагов он настигал коварно.

20

Однажды в замок дочь прислал
Гленелвон знатный издалека;
Он земли Кенеса давал
За дочерью голубоокой.

21

И руку Оскар предложил
Тогда красавице невесте.
Доволен Ангус: дорожил
Старик родства такого честью.

22

Как радостен волюнок звук,
Как сладки свадебные песни,
Хор голосов звучит вокруг
Все веселее, все чудесней.

23

Как ярок алых перьев цвет!
На пир пришел герой суровый,
И юноша, накинув плед,
Пришел, вождя послушный зову

24

Не о потехе боевой,
О мире песнь волынки пели,
Стекался праздничной толпой
Народ на брачное веселье.

25

Но где же Оскар? Торжество
Ужель забыл жених бесстрастный?
Где Аллен, младший брат его?
И гости ждут и ждут напрасно.

26

Вернулся Аллен, наконец,
И скромно подошел к невесте...
«А Оскар где?» — спросил отец.
«Не знаю. Не были мы вместе».

27

«Ужель забыть о свадьбе мог
Он, по скалам итсеясь за ланью?
Иль в море Оскара челнок
Блуждает среди волн в тумане?»

28

«Нет, — молвил Ангус, — нет! Его
Ни лань не завлечет, ни море!
Что сдержит сына моего,
Когда он к милой мчится Море?»

29

Друзья! Ищите сына! В путь,
Не медля, Аллен мой, за братом!
Пока не найден Оскар, будь
Неутомимым и крылатым!»

30

В смятенье все. И мчатся прочь,
И зычны кличи над скалами!
Округу укрывает ночь
Своими темными крылами.

31

Но имя Оскара в почи,
Звучит — увы! — повсюду тщство,
И солнца первые лучи
Дол озаряют безответный.

32

Три дня, три ночи вождь искал
Во всех пещерах горных сына,
Но всякий след исчез меж скал,
И множит скорбь вождя седины.

33

«Мой Оскар! Старости моей
Верни, о боже, утешенье!
Иль да изведает злодей
Всю силу праведного мщенья!»

34

Коль Оскар свой обрел конец
И на утесе пал пустынным,
Пусть, обездоленный отец,
Я мертвым лягу рядом с сыном!

35

О нет, душа! Спокойной будь!
Придет мой сын — живой, счастливый!
Господь! Ты стон мой позабуди!
Прости мне ропот нечестивый!

36

Но пусть рассыплюсь прахом я,
Коль он исчез во мгле забвенья!
Надежды Альвы! Честь моя!
За что такое мне мученье!»

37

Так он стонал, и все ж покой
Целитель-Время возвратило
И всемогущею рукой
Страдальцу слезы осушило.

38

Надежда, что вернется сын,
То теплилась, то погасала,
И Время год еще один
Отцу докучно отсчитало.

39

А Оскара все нет и нет...
Светило путь свой неизменный
Свершило вновь. И скорби след
В душе стирался постепенно.

40

И Аллена признал отец
Своей единственной отрадой,
И сердце Моры, наконец,
Досталось юноше в награду.

41

Ведь Аллен статен и красив,
А Оскар скрыт сырой землею,
А если он, неверный, жив...
Что ж! Пусть блаженствует с другою!

42

И Ангус молвил: «Через год,
Коль тщетны будут ожиданья,
Надежда всякая умрет,
Я сам назначу день венчанья!»

43

Был месяцев неспешен шаг,
Но утро ясное настало,
И у влюбленных на устах
Улыбка счастья засияла!

44

Как радостен волынок звук,
Как сладки свадебные песни,
Хор голосов звучит вокруг
Все веселее, все чудесней!

45

Собрался в Альве клан родной
Опять на праздник в старом зале.
И песни радости былой
Опять под сводом зазвучали.

46

Но кто ж тот гость, что торжество
Мрачит, угрюмый, словно камень,
И пред огнем очей его
В камине меркнет синий пламень?

47

Одет он в черное. Пером
Кровавым шлем его украшен,
Неслышна поступь, но, как гром,
Его нездешний голос страшен.

48

Уж полночь. И в последний раз
Обходит чаша круговая...
В честь жениха пьют в этот час,
Любовь и счастье призывая.

49

Вдруг странный гость поднялся. Он
В толпу гостей вперяет взоры.
Все смолкли. Ангус поражен.
В смущении зарделась Мора.

50

«Старик! — вскричал он. — Тост хорош!
Ты пил за сына дорогого!
Прекрасен брачный пир — и все ж
Я тоста требую другого!

51

Благословляют как один
Все жребий Аллена завидный!
Но где, старик, твой старший сын?
Зачем же Оскара не видно?»

52

«Ах! — молвил Ангус, оросив
Слезами сморщенные щеки.—
Погиб ли Оскар, или жив,
Он сердце мне разбил, жестокий!»

53

Три года он не предстоит
Тоской измученному взору!
Бежал ли Оскар, иль убит,
Но Аллен — старости опора!»

54

«Так! — молвил гость, и гнев зажег
Глаза его нездешней силой.—
Мне Оскара неведом рок!..
Что, если он не взят могилой?»

55

Что, если к тем он, чья любовь
Его манит, еще вернется
И близок он? И Бэлтен вновь,
Быть может, для него зажжется?»

56

Наполним до краев вином
И высоко поднимем чаши!
Во здравье Оскара мы пьем,
Да будут громки кличи наши!»

57

«Спасибо, гость, за речь твою!
Жив мальчик мой иль нет — не знаю!..
Но я с тобой за сына пью
И полный кубок поднимаю!

58

Твой тост был смел! Но отчего
Дрожит, бледнея, Аллен гордый?
Пусть пьет в честь брата своего
И полный кубок держит твердо!»

59

И вдруг подобен мертвецу
Стал Аллен, речи той внимая,
И капли пота по лицу
Текли, друг друга обгоняя...

Им трижды кубок поднят был,
Но кубка не коснулись губы!
Он гостя гневный взгляд ловил —
И опускал в бессилье кубок.

«Да разве так родную кровь
Ты должен чтить, жених счастливый?
Коль это — братская любовь,
Что ж злобою назвать трусливой?»

Глумлением жених взбешен:
«На брачный пир мы брата просим!»
Сказал — и, ужасом сражен,
Дрожа, он бросил кубок оземь!

И некий призрак вдруг возник
И возгласил: «Вот мой убийца!»
И в сводах тот отдался крик,
И буря стала в окна биться!

Свет замигал, и стихнул зал,
И гость исчез, а над толпою
Проплыл, одет в шотландский плед,
Тот призрак тенью роковою...

Опоясан ремнем, и шлем на нем
Украшен черным султаном,
И рана в груди, и призрак глядит,
Сверкая взглядом стеклянным.

Трижды, будто смущен, улыбнулся он
Отцу, что склонил колени,
Трижды бросил свой взор он на брата в упор,
Что лежал на полу без движенья.

И гром гремит, и огонь летит
По небу от края до края,
И на крыльях бурь улетает в лазурь
Призрак, дивным огнем сверкая.

Кто на камнях, повергнут в прах,
Средь зала распростерт пустого?
Но в жилах вновь струится кровь
И старца раздастся слово:

«Эй! Лекарей сюда скорей!
Пусть на меня мой Аллен взглянет!»
Но кончен путь, не дышит грудь,
И Аллен никогда не встанет!

А Оскар, хладен, как земля,
Стрелой пронзен, лежит в долине,
И ветер, кудри шевеля,
Печально веет над пустыней!

Кто был ужасный гость — о том
Никто не знал в старинном зале,
Но все в виденье огнем
Мгновенно Оскара узнали.

Да, злобы демонская власть
Стрелу убийцы окрылила,
И зависть распалила страсть
И ядом сердце напоила.

Летит стрела недолгий миг...
Чья брызжет кровь струей багряной?
И Оскара султан поник,
Пал наземь витязь бездыханный!

Ведь гордость Аллена была
Уязвлена прелестной Морой!
Увы! На адские дела
Порой зовут девичьи взоры!

На одинокий тот курган
Со страхом погляди, прохожий!
То проступает сквозь туман
Убийцы свадебное ложе!

Там Аллен гордый погребен,
Останки воина зарыты:
Клан не склонял над ним знамен,
Что кровью братскою облиты.

Где бард, где менестрель седой,
Что Аллена прославить может?
Героя петь — их долг святой,
Но кто убийце песню сложит?!

Струнам певучим не звенеть
Над позабытою могилой...
Ведь мысль одна убийцу петь
Мгновенно арфу бы разбила!

И если б вольного певца
Там песни славы прозвучали,
То стоны брата, вопль отца
Проклятьем песне б отвечали.

1805

ЛЭЧИН-И-ГЭР

Пусть баловней роскоши, преданных негам,
Сады и веселые виды влекут —
Верните мне горы, покрытые снегом,
Любви и свободы священный приют!
Как сердце горам Каледонии радо,
Там грозы гремят — за ударом удар,
Там вместо фонтанов шумят водопады,
И сумрачный мне по душе Лох-на-Гарр!

И мне вспоминается вольное детство;
Носил я шотландскую шапку и плед,
И видел в лесистых нагорьях наследство
Героев, которых давно уже нет.
Бродил я до сумерек: звездным сияньем
Сменялся на небе закатный пожар.
И в час возвращенья старинным преданьем
Тревожил мне душу седой Лох-на-Гарр.

«В шумном дыхании вихря ночного
Чьи голоса все слышней и слышней?»
То мчатся и кличут герои былого,
Взнуздав урагана свирепых коней.
Зимы ледяная летит колесница.
Морозный к горам подымается пар,
И предки мои — там, где облако мчится, —
Скрываются в бурях твои, Лох-на-Гарр.

«Дивное не возвестило виденье,
Что изменила вам, смелым, судьба?»
О да, вам Куллоден сулил поражение,
Не к пиру победы вела вас борьба.
В земле безмятежен ваш сон величавый,
Стал склепом для вашего клана Бремар,
Но в песне волынки звучит ваша слава,
И сумрачный вторит певцу Лох-на-Гарр.

Давно я оставил пустынные склоны,
Но скоро увижу Шотландию вновь.
Она мне дорожке полей Альбиона —
К шотландским горам не остынет любовь.

Британии смирной скучны мне красоты,
Но северных не забываю я чар —
Мне дороги скал исполинских высоты,
И сумрачный манит меня Лох-на-Гарр.

1806

СТРОКИ, АДРЕСОВАННЫЕ ПРЕПОДОБНОМУ БИЧЕРУ В ОТВЕТ НА ЕГО СОВЕТ ЧАЩЕ БЫВАТЬ В ОБЩЕСТВЕ

Милый Бичер, вы дали мне мудрый совет:
Приобщиться душою к людским интересам.
Но, по мне, одиночество лучше, а свет
Предоставим презренным повесам.

Если подвиг военный меня увлечет
Или к службе в сенате родится призванье,
Я, быть может, сумею возвысить свой род
После детской поры испытанья.

Пламя гор тихо тлеет подобно костру,
Тайно скрытое в недрах курящейся Этны;
Но вскипевшая лава взрывает кору,
Перед ней все препятствия тщетны.

Так желание славы волнует меня:
Пусть всей жизнью моей вдохновляются
внуки!

Если б мог я, как феникс, взлететь из огня,
Я бы принял и смертные муки.

Я бы боль, и нужду, и опасность презрел —
Жить бы только, как Фокс; умереть бы, как
Чэтам.

Длится славная жизнь, ей и смерть не предел:
Блещет слава немеркнущим светом.

Для чего мне сходиться со светской толпой,
Раболепствовать перед ее главарями,
Лыстить хлыщам, восторгаться нелепой молвой
Или дружбу водить с дураками?

Я и сладость и горечь любви пережил,
Исповедовал дружбу ревниво и верно;
Осудила молва мой неистовый пыл,
Да и дружба порой лицемерна.

Что богатство? Оно превращается в пар
По капризу судьбы или волей тирана.
Что мне титул? Тень власти, утеха для бар.
Только слава одна мне желанна.

Не силен я в притворстве, во лжи не хитер,
Лицемерия света я чужд от природы.
Для чего мне сносить ненавистный надзор,
Попустому растрчивать годы?

1806

Минуло все! Уж и во сне
Надежды луч не светит мне.
Я мало знал счастливых дней:
Холодным вихрем мой рассвет
Был омрачен. Я шлю привет
Любви, надежде, жизни всей!
Скажу ль — и памяти о ней?

1806

ДЖОРДЖУ, ГРАФУ ДЕЛАВАРУ

Друг другу мы дороги были когда-то;
Привязанность в детстве кратка, но верна;
Меня вы любили любовью брата,
И столь же была моя дружба нежна.

Но дружба изменчива; дружбе возможно
Погибнуть мгновенно в порыве одном;
Она, как любовь, велика и тревожна,
Но все ж не горит негасимым огнем.

Мы с вами нередко по Иде бродили.
Не скрою, что радости ведали мы!
Дни нашей весны так безоблачны были,
Но близятся бури суровой зимы.

Прошедшего память не вызовет ныне,
Нам юность не будет мила с этих пор.
Коль сердце кольчугой сковала гордыня,
То прежняя радость — отныне позор.

Но, Джордж, дорогой (все ж я вас уважаю,
Я близких моих не унижу, о нет!),
Упущенный случай вернуть вам желаю,
Пусть снимет раскаянье данный обет.

Корить вас не буду. Хоть дружба остыла,
Но злоба не знается с сердцем моим;
Спокойная мысль мою душу смягчила:
Мы оба не правы, и оба простим.

Вы знали, что сердцем, душою, делами
Я вам послужил бы — явись лишь нужда!
Что я, не считаясь с пространством, с годами,
Любви был и дружеству предан всегда.

Вы знали — но думать о прошлом не нужно;
Порвалась непрочная дружества нить,
И поздно грустить вам, вздыхая недужно,
О друге, что вы не смогли оценить.

Расстанемся — встретиться можем мы снова.
Раскаянье мне вас вернет, может быть.
Хочу одного лишь — возврата былого.
Мы с вами о ссоре должны позабыть.

1806

Когда б я мог в морях пустынных
Блуждать, опасностью шутя,
Жить на горах, в лесах, в долинах,
Как беззаботное дитя, —
Душой, рожденной для свободы,
Сменить, наперекор всему,
На первобытный рай природы
Надменной Англии тюрьму!

Дай мне, судьба, в густых дубравах
Забуть рабов, забыть вельмож,
Лакеев и лстецов лукавых,
Цивилизованную ложь!
Дай мне у моря голубого
Бродить среди любимых скал,
Дай лишь одно мне: видеть снова
Места, где в прошлом я мечтал!

Я мало жил, но сердцу ясно:
Весь этот мир — не для меня!
Увы, я смерти жду напрасно
На склоне меркнувшего дня.
Мечтал я встарь душой блаженной,
Что мною найден к счастью ключ, —
Зачем открыл мне ложь вселенной
Твой, Правда, ненавистный луч!

Любил я — где любовь былая?
Друзья? Друзей пропал и след.
Томится сердце, остывая,
Но для него надежды нет.
Порой тоску мою глухую
Смирит вино на краткий срок,
И смех мой весел, я пирую,
Но сердцем — сердцем одиноком.

Как скучно слушать за стаканом
Того, кто нам ни друг, ни враг,
Кто приведен богатством, саном
В толпу безумцев и гуляк.
О, дайте круг надежный, верный,
Где дружбу я найти бы мог —
И брошу праздник лицемерный,
Веселья ложного предлог.

И вы, красавицы, богини —
Прошла, прошла моя весна!
Увы, улыбка ваша ныне
Душе холодной не нужна.
Без сожалений свет мишурный
Переменю на мир другой,
Где на груди стихии бурной
Желанный обрету покой.

Туда, к угрюмому безлюдью!
Я к людям злобы не таю,
Но дух мой дышит полной грудью
Лишь в диком, сумрачном краю.
О, в этой жизни, слишком тесной,
Где взять орлиные крыла,
Чтобы душа в простор небесный
Свободно улететь могла!

1806

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ПОД СТАРЫМ ВЯЗОМ НА КЛАДБИЩЕ ХАРРОУ

Родная сень! К земле клоня листы,
Под вешним ветром тихо ропщешь ты,
А я — один — сижу в тени твоей,
Где встарь шумел веселый круг друзей —
Тех, кто, быть может, в дальней стороне
О прошлых днях грустят подобно мне.
Сюда взойдя извиистой тропой,
Как сладостно люблюсь я тобой,
Мой старый вяз, чей шелест влек меня
Мечтать на склоне меркнувшего дня!
Здесь надо мною тот же темный свод,
Здесь тот же мир, лишь я теперь не тот.
А ветви тихо стонут в вышине,
О днях былых напоминая мне,
И говорят: пока ты здесь, поэт,
Прими последний дружеский привет!

Я знаю, в час, назначенный судьбой,
Остынет грудь, страстей умрет прибой.
И мнится мне: отрадней смерти ждать —
Ах, если смерть отрадной может стать!
Коль сердцу там могила суждена,
Где лучшие ты ведал времена,
Где молод был, где счастлив был не раз,—
Там будет легче встретить смертный час.
Пускай же здесь, где праздновал весну,
В краю надежд утраченных, засну,
Простерт под зыбким пологом листвы,
Благословленный шелестом травы,
Укрытый мхом, знакомым с детских лет,
Покрыт землей, что сберегла мой след,
Овеян снами юности моей,
Оплаканный друзьями юных дней,
Их тесным кругом в памяти храним
И позабытый миром остальным.

1807

К АННЕ

О Анна! Меня вы обидой сразили.
Я думал, что гнев мой навек заклеил вас,
Но женщины вечно над нами царили:
На вас я взглянул — и едва не простил вас.

Я верил, что вновь не смогу уважать вас,
Но с вами в разлуке не прожил бы дня;
При встрече хотел подозреньем терзать вас —
Улыбкой своей вы смирили меня.

Я клялся, юнец, ослеплен возмущеньем,
Жестоко и вечно презреньем казнить вас...
При встрече сменился мой гнев восхищеньем.
И ныне желаю, как прежде, любить вас.

Красавица, с вами возможна ли ссора?
Смиренно теперь о прощенье молю вас
И только скажу в заключение спора:
Неверною станьте, когда разлюблю вас!

1807

ТЩЕСЛАВНОЙ ЛЕДИ

Зачем, беспечная, болтать
О том, что шепчут втихомолку,
А после — слезы проливать
И упрекать себя бестолку?

О, ты наплачешься со зла,
Под смех наперсниц вероломных,
За весь тот вздор, что ты плела
Про вздохи юношей нескромных.

Не верь прельщающим сердца
Любезникам благообразным:
Падешь добычею льстеца,
Не устояв перед соблазном.

Словечки ветреных юнцов
Ты с детским чванством повторяешь.
Поддавшись им, в конце концов
И стыд и совесть потеряешь.

Ужель, когда в кругу подруг
Ты рассыпаешь ворох басен,
Улыбок, реющих вокруг,
Коварный смысл тебе не ясен?

Не выставляйся напоказ,
Храни свои секреты свято.
Кто поскромней, ведь та из вас
Не станет хвастать лестью фата.

Кто не смеется из повес
Над простофилюю болтливой?
В ее очах — лазурь небес,
Но до чего слепа — на диво!

В любовных бреднях — сущий рай
Для опрометчивой хвастуни:
Поверит, как ни привирай,
И тут же выболтает втуне.

Красавица! Не пустословь.
Во мне не ревность рассуждает.
Твой чванный облик не любовь,
А только жалость вызывает.

1807

РАССТАВАНИЕ

Помнишь, печалась,
Склонясь пред судьбой,
Мы расставались
Надолго с тобой.

В холоде уст твоих,
В сухости глаз
Я уж предчувствовал
Нынешний час.

Был этот ранний
Холодный рассвет
Началом страданий
Будущих лет.

Удел твой — бесчестье.
Молвы приговор
Я слышу — и вместе
Мы делим позор.

В толпе твое имя
Тревожит любой.
Неужто родными
Мы были с тобой?

Тебя называют
Легко, не скорбя,
Не зная, что знаю
Тебя, как себя.

Мы долго скрывали
Любовь свою,
И тайну печали
Я так же таю.

Коль будет свиданье
Дано нам судьбой,
В слезах и молчанье
Встречусь с тобой!

1808

НАДПИСЬ НА ЧАШЕ ИЗ ЧЕРЕПА

Не бойся: я — простая кость;
Не думай о душе угасшей.
Живых голов ни дурь, ни злость
Не изойдут из этой чаши.

Я жил, как ты, любил и пил.
Теперь я мертв — налей полнее!
Не гадок мне твой пьяный пыл,
Уста червя куда сквернее

Быть винной чашей веселей,
Чем пестовать клубок червивый.
Питье богов, не корм червей,
Несу по кругу горделиво.

Где ум светился, ныне там,
Умы будя, сверкает пена.
Иссохшим в черепе мозгам
Вино — не высшая ль замена?

Так пей до дна! Быть может, внук
Твой череп дряхлый откопает —
И новый пиршественный круг
Над костью мертвой заиграет.

Что нам при жизни голова?
В ней толку — жалкая крупица.
Зато когда она мертва,
Как раз для дела пригодится.

Ньюстэдское аббатство, 1808

НУ ЧТО Ж! ТЫ СЧАСТЛИВА

Ну что ж! Ты счастлива. Я знаю —
И мне сдружиться бы с судьбой:
Я, примирясь, тепло встречаю
Завидный, светлый жребий твой.

Блажен твой муж — я это видел,
Но боль снести хватило сил...
Как я его бы ненавидел,
Когда б тебя он не любил!

Дитя смеется. Ревность злую,
Казалось, сердце не снесет,
Но ради матери целую
Я улынувшийся мне рот.

Целую и таю страданье:
Ребенок — зеркало отца.
Но в мать — глаза, и глаз сиянье
Пленило чувства до конца.

Прощай! На ваше счастье жалоб
Не проронил бы я, скорбя,
Но это сердце снова стало б
Твоим, о Мэри, близ тебя.

Вдали от вас я мнил надменно:
«С годами юный жар погас»,
Не знал, что сердце неизменно,
Пока не пробил встречный час.

Не дрогнул я, хоть неотступно
Предстала взорам страсть моя.
Но эта страсть теперь преступна,
И, встретившись, не дрогнул я.

Смятенье чувств найти готовый,
Твой взор разочарован был:
В моих глазах покой суровый —
Покой отчаянья застыл.

Прочь, сон весны, печали полный!
Воспоминанье, не гори!
Где Леты сказочные волны?
Затихни, сердце, иль умри!

2 ноября 1808

Но, мнится мне, сияет свет
Сквозь сумрак тучи грозовой;
Печали на мгновенье нет:
Я знаю — сердцем ты со мной.

Ты будешь плакать обо мне —
Я плакать не умею сам,
И слезы дороги вдвойне
Моим всегда сухим глазам.

Пылал когда-то в сердце жар,
Такой же, как в груди твоей;
Но нет для мученика чар,
И обольщений, и страстей.

Так ты оплачешь боль мою?
Скажи об этом мне опять.
А если ты грустна, молю —
Не надо за меня страдать.

1809

ДАМЕ, СПРОСИВШЕЙ АВТОРА О ПРИЧИНЕ ЕГО ОТЪЕЗДА ИЗ АНГЛИИ

Перед изгнаньем Человек
С порога рая оглядел
Все то, что покидал навек,
И проклял жалкий свой удел.

Но, странствуя в чужих краях,
Привык он к тяжкому ярму.
Вздыхнул он о минувших днях,
И труд забвенья дал ему.

Миледи! Может, и со мной
Случится то же, в добрый час.
Быть может, я найду покой,
Когда не буду видеть вас.

Уеду я в далекий край,
Покину навсегда ваш дом.
Мне трудно видеть светлый рай
И не желать остаться в нем.

2 декабря 1808

ТАК ТЫ ОПЛАЧЕШЬ БОЛЬ МОЮ?

Так ты оплачешь боль мою?
Скажи об этом мне опять.
Но если ты грустна, молю —
Не надо за меня страдать.

Разрушены мои мечты,
Печально холодеет грудь.
Когда умру я, только ты
Придешь, чтоб надо мной вздохнуть.

НАПОЛНЯЙТЕ СТАКАНЫ!

Песня

Наполняйте стаканы! Не правда ль, друзья,
Веселей никогда не кипела струя!
Пьем до дна — кто не пьет? — Если сердце полно,
Без отравы веселье дарит лишь вино.

Все я в мире изведаль, что радует нас,
Я купался в лучах темнопламенных глаз,
Я любил — кто не любит? — но даже любя,
Не назвал я ни разу счастливым себя.

В годы юности, в бурном цветенье весны,
Верил я, что сердца неизменно верны,
Верил дружбе — кого ж не пленяла она? —
Но бывает ли дружба вернее вина!

За любовью приходит разлуке черед,
Солнце дружбы зашло, но твое не зайдет,
Ты стареешь — не всем ли стареть суждено? —
Но лишь ты чем старше, тем лучше, вино.

Если счастье любовь уготовила нам,
Мы другому жрецу не откроем свой храм,
Мы ревнуем — не так ли? — и друг нам не друг.
Лишь застольный, чем больше, тем радостней круг.

Ибо юность уходит подобно весне,
И прибежище только в пурпурном вине,
Только в нем — ведь недаром! — признал и мудрец
Вечной истины кладезь для смертных сердец.

Упущеньем Пандоры на тысячи лет
Стал наш мир достояньем печалей и бед.
Нет надежды — но что в ней? — целуйте стакан,
И нужна ли надежда! Тот счастлив, кто пьян!

Пьем за пламенный сок! Если лето прошло,
Нашу кровь молодит винограда тепло.
Мы умрем — кто бессмертен? — но в мире ином
Да согреет нас Геба кипящим вином!

1809

ТЕХ ДНЕЙ ЗАБЫТЬ МНЕ НЕ ДАНО

Тех дней забыть мне не дано,
Когда глубоко и всецело
С тобой мы были заодно
И ты душой моей владела.

С тех пор как ты, лукавый друг,
Впервые мне в любви призналась,
Я претерпел немало мук,
Тебе неведомых, как жалость;

Но нету муки глубже той,
Чем дума о любви ушедшей,
Как ласка лживая, пустой —
В тебе пустой, в тебе отцветшей.

И вдруг — отрада: второпях
Ты с уст недавно обронила,
Что память о минувших днях
Ты в сердце будто сохранила.

О злая, как ты мне мила!
Пускай с любовью ты простилась,
Но, видно, нежность ожила,
Коль память в сердце сохранилась.

От этой мысли мне легко,
Страданий нету и в помине:
Пусть от меня ты далеко,
Ты навсегда моя отныне.

1809

ДЕВУШКА ИЗ КАДИКСА

Не говорите больше мне
О северной красе британки;
Вы не изведали вполне
Все обаянье кадиксанки.
Лазури нет у ней в очах,
И волоса не золотятся;
Но очи искрятся в лучах
И с томным оком не сравнятся.

Испанка, словно Прометей,
Огонь похитила у неба,
И он летит из глаз у ней
Стрелами черными Эреба.
А кудри — ворона крыла:
Вы б покаялись, что их извивы,
Волною падая с чела,
Целуют шею, дышат, живы...

Британки зимне-холодны,
И если лица их прекрасны,
Зато уста их ледяны
И на привет уста безгласны;
Но Юга пламенная дочь,
Испанка, рождена для страсти —
И чар ее не превозмочь,
И не любить ее — нет власти.

В ней нет кокетства: ни себя,
Ни друга лаской не обманет;
И, ненавидя и любя,
Она притворствовать не станет.
Ей сердце гордое дано:
Купить нельзя его за золото,
Но неподкупное — оно
Полюбит надолго и свято.

Ей чужд насмешливый отказ;
Ее мечты, ее желанья —
Всю страсть, всю преданность на вас
Излить в годину испытанья.
Когда в Испании война,
Испанка трепета не знает,
А друг ее убит — она
Врагам за смерть копьём отмщает.

Когда же, вечером, порхнет
Она в кружок веселый танца,
Или с гитарой запоет
Про битву мавра и испанца,
Иль четки нежною рукой
Начнет считать с огнем во взорах,
Иль у вечерни голос свой
Сольет с подругами на хорах —

Во всяком сердце задрожит,
Кто на красавицу ни взглянет,
И всех она обворожит
И сердце взорами приманит....

Осталось много мне пути,
И много ждет меня приманки,
Но лучше в мире не найти
Мне черноокой кадиксанки!

1809

Не знал я, отплывая вдаль,
Прочь от родного сердцу края,
Что вновь изведу печаль,
Края иные покидая.

Но здесь, где зелень так скудна,
Где вся природа сникла в муке,
Где весела лишь ты одна —
Мне страшен горький час разлуки.

Пусть скрылся Альбион крутой
И синий вал преграды множит —
Года промчатся чередой,
И встречу с родиной, быть может.

Но ни в пустыне водяной,
Ни знойным полднем на чужбине,
Ни возвратившись в край родной —
Увы! не встретить мне отныне

Ту, кто сумела сочетать
Всех прелестей очарованье,
Кого увидеть — значит стать
Рабом любви — прости признанье!

Прости признание тому,
Кто не проронит впредь ни слова:
Далекий сердцу моему,
Я вновь твой друг, и верь мне снова.

Прелестной странницы черты
Увидев их, кто, полн участия,
Не станет другом Красоты,
Которую гнетет несчастье?

Кто бы сказал, что ты смогла
Пройти тропой опасной смело,
Что ты от деспота ушла
И вихрь крылатых бурь презрела?

Я поплыву, мой друг, к стенам
Когда-то вольной Византии,
Дворцы Востока встречу там
В ярме турецкой деспотии.

Но пусть года дадут стране
Всю мощь, всю славу воскресенья,
Не блеском близок город мне —
Он город твоего рожденья.

Мне жить, где ты живешь, нельзя:
Со мной простилась навсегда ты...
Что ж, радостью утешусь я
Жить там, где ты жила когда-то.

Сентябрь 1809

Как одинокая гробница
Вниманье путника зовет,
Так эта бледная страница
Пусть милый взор твой привлечет.

И если после многих лет
Прочтешь ты, как мечтал поэт,
И вспомнишь, как тебя любил он,
То думай, что его уж нет,
Что сердце здесь похоронил он.

14 сентября 1809

**СТАНСЫ, НАПИСАННЫЕ ПРИ ПРОХОДЕ
МИМО АМВРАКИЙСКОГО ЗАЛИВА**

Вот берег Акциума, весь
В сиянье лунном обозначен;
За женщину когда-то здесь
Мир побежден был и утрачен.

Теперь смотрю: лазурь вокруг,
Вот Римлян водная могила —
Здесь гордость Честолюбья вдруг
Любви венец свой уступила.

Флоренса! Песнь любви моей
Пусть будет в мире несравнимой,
С тех пор как с песнею Орфей
Из ада смог уйти с любимой.

Будь царства вместо рифм даны,
Флоренса нежная, поэтам —
Я, как Антоний в дни войны,
Занес бы меч над целым светом!

Но ныне — мир к твоим ногам
Не кину я, поэт смиренный...
Зато, Флоренса, не отдам
Тебя — за все миры вселенной!

14 ноября 1809

**СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
ВПАВЬ ДАРДАНЕЛЛ МЕЖДУ СЕСТОСОМ
И АБИДОСОМ**

Леандр, влюбленный эллин смелый,
О девы, всем известен вам:
Переплывал он Дарданеллы
Не раз наперекор волнам.

Декабрьской ночью, в час бурливый,
Он к Геро на свиданье плыл,
Пересекая ширь пролива, —
О, их удел печален был!

Я плыл под ярким солнцем мая;
Сын века хилого, я горд,
Устало тело простирая:
Какой поставил я рекорд!

Леандр, как говорит преданье,
Во тьме декабрьской ночи плыл,
Ища любви и обладанья;
Меня ж толкал тщеславья пыл.

Пришлось обоим нам несладко,
И гнев богов нас поразил;
Он — утонул, я — лихорадку
В воде холодной захватил.

9 мая 1810

ЭПИТАФИЯ САМОМУ СЕБЕ

Природа, юность и всеильный бог
Хотели, чтобы я светильник свой разжег,
Но Романелли-врач в своем упорстве страшен:
Всех трех он одолел, светильник мой погашен!

Октябрь 1810

ПЕСНЯ ГРЕЧЕСКИХ ПОВСТАНЦЕВ

О Греция, восстань!
Сиянье древней славы
Борцов зовет на брань,
На подвиг величавый.

К оружию! К победам!
Героям страх неведом.
Пускай за нами следом
Течет тиранов кровь.

С презреньем сбросьте, греки,
Турецкое ярмо,
Кровью вражеской навеки
Смойте рабское клеймо!

Пусть доблестные тени
Героев и вождей
Увидят возрожденье
Эллады прежних дней.

Пусть встает на голос горна
Копьеносцев древних рать,
Чтоб за город семигорный
Вместе с нами воевать.

Спарта, Спарта, к жизни новой
Подымайся из руин
И зови к борьбе суровой
Вольных жителей Афин.

Пускай в сердцах воскреснет
И нас объединит
Герой бессмертной песни,
Спартанец Леонид.

Он принял бой неравный
В ущелье Фермопил
И с горсточкою славной
Отчищу заслонил.

И, преградив теснины,
Три сотни храбрецов
Омыли кровью львиной
Дорогу в край отцов.

К оружию! К победам!
Героям страх неведом.
Пускай за нами следом
Течет тиранов кровь.

1811

ПЕРЕВОД ГРЕЧЕСКОЙ ПЕСНИ

Гайдэ, о моя дорогая,
В твой сад я вхожу по утрам,
Прекрасную Флору встречая
Меж роз в твоём образе там.

Гайдэ, о тебе лишь тоскую,
Твою красоту я пою.
И песню тебе подношу я —
За песню боюсь я свою.

Как дерево благоухая,
Прекрасней цветущих ветвей,
Сияешь, Гайдэ молодая,
Ты юной душою своей.

Но блекнут все прелести сада,
Раз милая так далека.
О, дайте скорее мне яда!
Цикута мне слаще цветка.

Любой отравляет напиток
Цикуты безжалостный сок.
Меня он избавит от пыток —
Как сладок мне яда глоток!

Я плачу, тебя умоляя:
Вернись и останься со мной!
Ужель не увижу тебя я?
Так двери гробницы открой!

В победе уверена скорой,
В меня ты метнула копье.
Копьем беспощадного взора
Ты сердце пронзила мое.

Одной лишь улыбкой своею
Могла бы спасти меня ты.
Надежду я в сердце лелею,
Но сбудутся ль эти мечты?

В саду опечалены розы,
И нет в нем моей дорогой.
Я лью вместе с Флорою слезы —
Гайде здесь не будет со мной.

1811

ПРОЩАНИЕ С МАЛЬТОЙ

Прощай, благословенный край!
Жара, сирокко, пот, прощай!
Дворец, куда я — ни ногой!
Дома, где я бывал порой!
Прощай, ступенек гнусный ряд!
(Их пешеходы не простят!)
Прощайте, торгаши-банкроты!
Толпа, что всех бранит за что-то!
Здесь писем нет в мешках почтовых,
Ума — в кривляках бестолковых!
Прощай, проклятый карантин!
Ты дал горячку мне и сплин!

Прощусь со скукою балета
И с шаркунами Ла-Валетты.
О Питер, разве ты — виновник
Того, что вальсу чужд полковник?
С прекрасным я прощаюсь полом,
Прощаюсь с красным я камзолom —
Он не краснее лиц надменных
Всех важничающих военных.
Я еду, но не знаю сам
Зачем, к туманным небесам
И к дымным городам. Они
Всеми, что мерзко здесь, сродни.

Прощай, о Мальта, но не вы,
Сыны чистой синевы!
Все берега окрестных вод,
И вражески сожженный флот,
И все улыбки и обеды
Про ваши говорят победы.
Словоохотливая муза
Для вас, надеюсь, не обуза?

И, без сомненья, мадригал
Я б миссис Фрэйзер написал,
Когда б его я расценил
Достойным капельки чернил.
Я дал бы без труда стихи вам:
Здесь мне бы не пришлось быть
льстивым.

Она достойна всех похвал.
Но что мой праздный мадригал?
Непринужденности полна,
Радушна и мила она.
Ее удел и так чудесен —
Зачем ей помощь наших песен?

Я Мальту выругать не смею —
Военную Оранжевую.
Нет, я грубить не стану порту,
Нет, не пошлю я Мальту к чорту,
Я только, глядя из окна,
Спрошу: «На что она нужна?»
В уединении моем
Я буду вирши плесть потом
И пить, пока я в состоянье,
Две ложки в час по предписанью.
Всех шляп ночной колпак полезней
Благословляю я болезни.

26 мая 1811

ЭПИТАФИЯ ДЖОЗЕФУ БЛЭКЕТУ

Прохожий! Здесь лежит в тиши
Союз подметок и души,
Бедняга Джо оставил свет,
Он был сапожник и поэт.

На коже делал он стежки
И в кожу облекал стишки!

Здесь должен ты легко ступать,
Чтоб башмаков не истоптать,
Да будет форма башмака
Изящна, как его строка.

Он мастерство свое любил,
Он Аполлону верен был.
Войдет в потомство он ужели
Как мастер кожи и прюнели?

Нет, я надеюсь, милый Блэкет,
Что слава добрая не блекнет!

1811

Не надо слов, не надо слов
О времени чудесном том,
Когда я был душою твоей.
Священна память тех часов —
Пока мы оба не умрем,
В воспоминанья ты со мной.

Забить ли мне — забыть ли нам,
Как сердце билось у тебя?
Играл я прядью золотой;
К безмолвным наклоняя губам,
Угадывал признание я —
Я знал: я был любим тобой.

Упрек и вызов мне сверкал
Во взгляде сладостных очей,
Склонялась ты на грудь ко мне.
Тебя в объятьях я сжимал
Все пламеннее и тесней,
И губы таяли в огне.

Смежала очи томно ты,
Лазоревый скрывался взгляд
Под покрывалом дивных век.
Ресницы в блеске черноты,
Бывало, на щеку скользят,
Как перья ворона на снег.

Вчера я видел чудный сон,
Мне спилось: я с тобой опять.
Мне очи дороги твои.
Пусть был другими я пленен,
Глазам их не дано сиять
Восторгом истинной любви.

Не надо слов, не надо слов.
Пусть сладостная власть мечты
Для нас то время возродит.
Мы не забудем тех часов,
Пока не станем — я и ты —
Бесчувственной могильных плит.

1812

ЗАБЫТЬ ТЕБЯ! ЗАБЫТЬ ТЕБЯ!

Забить тебя! Забить тебя!
Пусть в огненном потоке лет
Позор преследует тебя,
Томит раскаяния бред!

И мне и мужу своему
Ты будешь памятна вдвойне:
Была ты неверна ему,
И демоном была ты мне.

1812

О ты, на чьем крыле должны
Мгновенья совершать полет,
Ход чьей зимы, бег чьей весны
Нас только к смерти приведет.

О время! Тяжесть благ твоих
С рожденья давит на меня.
Я мужественнее других —
Один несу все бремя я.

Я не хочу, чтоб грусть мою
Друг верный разделит со мной.
Кого любил я, те — в раю,
Ты даровало им покой.

Им — радость, для меня же нет
Мучений в будущей судьбе.
Мой долг страданьем долгих лет
Я заплатил сполна тебе.

Страданье помогало мне
О власти забывать твоей.
В его мучительном огне
Терял я счет часов и дней.

Бывало на душе светло —
Ты уносило радость прочь.
Хоть мглой ты свет заволокло,
Не сделало печальной ночь.

Тогда мой дух средь темноты
Был близок небу твоему,
Я знал, что не бессмертно ты, —
Светила мне звезда сквозь тьму.

Теперь надежды луч погас;
Часы считать и проклинать —
Хоть эта роль скучна для нас,
Ее приходится играть.

Есть бегу твоему предел.
Он для тебя несокрушим.
Тогда мы крепким сном от дел
И бурь грядущих опочим.

Бессилен будет натиск твой,
И думать мне теперь смешно,
Что с безыменной плитой
Тебе бороться суждено.

1812

ПЕРЕВОД
ГРЕЧЕСКОЙ ЛЮБОВНОЙ ПЕСНИ

Увы! С мучением моим
Любовный жар неразлучим;
Душа сомнением больна,
И черен день, и ночь темна.

И все острее тоска моя,
И гибну от печали я.
Зачем же яд любовных стрел,
Безумный, я узнать хотел?

Я б вольных птиц предостерег —
Любовный страшен всем силоч:
Огнем объята роковым,
Надежда улетит как дым.

Не знал на воле я забот,
Весной был весел мой полет;
Теперь в искусной западне
Я бюсь — и нет спасенья мне.

Кто не был милой нелюбим,
С мученьем незнаком таким,
Со взглядом сумрачным, с тоской,
Со сдержанностью ледяной.

Моею ты была в мечтах.
Теперь мечты разбиты впрах,
Растаял воск, увял цветок —
Бессильный, у твоих я ног.

О жизнь моя! Глаза твои
Не говорят мне о любви.
Не узнаю я дорогой —
Подруга, стала ты другой.

Я слезы бурной лью рекой.
Кому удел завиден мой?
Спасти от горя моего
Твое лишь может волшебство.

Меня свела с ума любовь,
И в жилах застывает кровь.
В тебе же состраданья нет,
И ты ликуешь мне в ответ.

Так не страшись налить мне яд —
Истемой смертной я объят.
Я гибну у любви в плену,
Свое рожденье я кляню.

Терпеньем счастья не вдохнуть
В мою израненную грудь.
Увы! Узнал я наконец,
Что радость — горестей гонец.

1812

ОДА АВТОРАМ БИЛЛИЯ
ПРОТИВ РАЗРУШИТЕЛЕЙ СТАНКОВ

Лорд Эльдон, прекрасно! Лорд Райдер, чудесно!
Британия с вами как раз процветет.
Врачайте ее, управляя совместно,
Заранее зная: лекарство убьет!
Ткачи-негодяи готовят восстанье;
О помощи просят. Пред каждым крыльцом
Повесить у фабрик их всех в назиданье!
Ошибку исправить — и дело с концом.

В нужде, негодяи, сидят без полушки.
И пес, голодая, на кражу пойдет.
Их вздернув за то, что сломали катушки,
Правительство деньги и хлеб сбережет.
Ребенка скорее создать, чем машину,
Чулки — драгоценнее жизни людской.
И виселиц ряд оживляет картину,
Свободы расцвет знаменуя собой.

Идут волонтеры, идут гренадеры,
В походе полки... Против гнева ткачей
Полицией все принимаются меры,
Двумя мировыми, толпой палачей.
Из лордов не всякий отстаивал пули;
О судьях зывали. Потраченный труд!
Согласья они не нашли в Ливерпуле,
Ткачам осуждение вынес не суд.

Не странно ль, что если является в гости
К нам голод и слышится вопль бедняка,
За ломку машины ломаются кости
И ценятся жизни дешевле чулка?
А если так было, то многие спросят:
Сперва не безумцам ли шею свернуть,
Которые людям, что помощи просят,
Лишь петлю на шею спешат затянуть?

1812

ПОДРАЖАНИЕ ПОРТУГАЛЬСКОМУ

В кипенье нежности сердечной
Ты «жизнью» друга назвала:
Привет бесценный, если б вечно
Живая молодость цвела.

К могиле все летит стрелой;
И ты, меня лаская вновь,
Зови не «жизнью», а «душою»,
Бессмертной, как моя любовь.

1813

НА ПОСЕЩЕНИЕ ПРИНЦЕМ-РЕГЕНТОМ КОРОЛЕВСКОГО СКЛЕПА

Клятвопреступники нашли здесь отдых вечный:
Безглавый Карл и Генрих бессердечный.
В их мрачном склепе меж надгробных плит
Король некоронованный стоит,
Кровавый деспот, правящий державой,
Властитель бессердечный и безглавый.

Подобно Карлу, верен он стране,
Подобно Генриху — своей жене.
Напрасна смерти! Бессилен суд небес!
Двойной тиран в Британии воскрес.
Два изверга извергнуты из гроба —
И в регенте соединились оба!

1814

ВАЛТАСАРУ

И негу сладострастных снов
И пир покинь, о царь кичливый!
Взгляни: сверкает пламень слов,
Их предвозвестия правдивы.
Зовясь помазанником лживо,
Тиран на трон всходил не раз.
Из всех ты — худший. Терпеливо
Кончины жди. Настал твой час.

Прочь розы с головы седой —
Они лишь юности пристали,
Тебе нейдет их цвет живой,
Как и венец и блеск регалий.
Ведь на тебе их презирали
Рабы; дела твои алмаз
И жемчуг кровью запятнали.
Все брось, достойно встретить свой час.

Легки извечно на весах
Опустошенные мгновенья —
Душа ушла, оставив прах,
И с юных дней ты — жертва тленья.
Ты стоишь смеха и презренья,
Но безнадежность учит нас
Над тем лить слезы сожаленья,
Кто не способен от рожденья
Ни жить, ни встретить смертный час.

1814

ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ

(1814)

1. ОНА ИДЕТ ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Она идет во всей красе —
Светла, как ночь ее страны.
Вся глубь небес и звезды все
В ее очах заключены,

Как солнце в утренней росе,
Но только мраком смягчены.

Прибавить луч или тень отнять —
И будет уж совсем не та
Волос агатовая прядь,
Не те глаза, не те уста
И лоб, где помыслов печать
Так безупречна, так чиста.

А этот взгляд, и цвет ланит,
И легкий смех, как всплеск морской,
Все в ней о мире говорит.
Она в душе хранит покой
И если счастье подарит,
То самой щедрою рукой!

7. ДОЧЬ ИЕВФАЯ

Если смерть юной девы нужна,
Чтоб отчизна была спасена
От войны, от неволи, от бед...
Мой отец! свой исполни обет!..

Я свою уж забыла печаль,
С жизнью мне расставаться не жаль,
И, убитой любимой рукой,
Будет мил мне могильный покой.

Но, отец! кровь моя так чиста,
Как минуты последней мечта;
О, открой мне объятья свои
И пред смертию дочь осени!

И хоть плачет Солим за меня,
Не смущайся, будь твердый судья!
Чтоб отчизна не знала цепей,
Не жалею я жизни своей.

Но когда кровь застынет моя
И в груди уж не будет огня,
Вспоминай иногда, мой отец,
Что с улыбкой мной встречен конец!

9. ДУША МОЯ МРАЧНА...

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшись по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унес, —
Они в груди моей проснутся,
И если есть в очах застывших капля слез, —
Они растают и прольются.

Пусть будет песнь твоя дика. — Как мой венец,
Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.
Страданиями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал — теперь она полна,
Как кубок смерти яда полный.

10. ТЫ ПЛАЧЕШЬ

Ты плачешь — светятся слезой
Ресницы синих глаз.
Фиалка, полная росой,
Роняет свой алмаз.
Ты улынулась — пред тобой
Сапфира блеск погас:
Его затмил огонь живой,
Сиянье синих глаз.

Вечерних облаков кайма
Хранит свой нежный цвет,
Когда весь мир объяла тьма
И солнца в небе нет.
Так в глубину душевных туч
Твой проникает взгляд:
Пускай погас последний луч —
В душе горит закат.

11. ТЫ КОНЧИЛ ЖИЗНИ ПУТЬ...

Ты кончил жизни путь, герой!
Теперь твоя начнется слава,
И в песнях родины святой
Жить будет образ величавый,
Жить будет мужество твое,
Освободившее ее.

Пока свободен твой народ,
Он позабыть тебя не в силах.
Ты пал! Но кровь твоя течет
Не по земле, а в наших жилах;
Отвагу мощную вдохнуть
Твой подвиг должен в нашу грудь.

Врага заставим мы бледнеть,
Коль назовем тебя средь боя;
Дев наших хоры станут петь
О смерти доблестной героя;
Но слез не будет на очах:
Плач оскорбил бы славный прах.

13. ПЕСНЬ САУЛА ПЕРЕД ПОСЛЕДНЕЙ БИТВОЙ

Если, о войны, меч иль копье
Сердце в бою остановит мое —
Бросив меня, продолжайте свой путь,
Бейтесь с противником грудью о грудь.

Воин, несущий мой лук и мой щит!
Если отряд от врага побежит,
Брось мое тело пред тем, кто удел
С мертвым царем разделить не хотел.

Братья, прощайте! Но только с тобой
Я не расстанусь, мой сын дорогой.
Ждет нас корона, и власть, и почет,
Если же гибель — то царская ждет!

16. ВИДЕНИЕ ВАЛТАСАГА

Царь на троне сидит;
Перед ним и за ним
С раболепством немым
Ряд сатрапов стоит.
Драгоценный чертог
И блесит и горит,
И земной полубог
Пир устроить велит.
Золотая волна
Дорогого вина
Нежит чувства и кровь;
Звуки лир, юных дев
Сладострастный напев
Возжигают любовь.
Упоен, восхищен,
Царь на троне сидит —
И торжественный трон
И блесит, и горит...
Вдруг неведомый страх
У царя на челе
И унынье в очах,
Обращенных к стене.
Умолкает звук лир
И веселых речей,
И расстроенный пир
Видит (ужас очей!):
Огневая рука
Исполинским перстом
На стене пред царем
Начертала слова...
И никто из мужей,
И царевых гостей,
И искусных волхвов
Силы огненных слов
Изъяснить не возмог.
И земной полубог

Омрачился тоской...
И еврей молодой
К Валтасару предстал
И слова прочитал:
Мáni, фекел, фарес!
Вот слова на стене,
Волю бога с небес
Возвещают оне.
Мáni значит: *монарх*,
Кончил царствовать ты!
Град у персов в руках —
Смысл средней черты;
Фарес — третье — гласит:
Ныне будешь убит!..
Рек — исчез...Измучен,
Царь не верит мечте.
Но чертог окружен
И...он мертв на щите!..

17. СОЛНЦЕ БЕССОННЫХ

Бессонных солнце, скорбная звезда,
Твой влажный луч доходит к нам сюда.
При нем темнее кажется нам ночь,
Ты — память счастья, что умчалось прочь.

Еще дрожит былого смутный свет,
Еще мерцает, но тепла в нем нет.
Полночный луч, ты в небе одинок,
Чист, но безжизнен, ясен, но далек!..

22. ПОРАЖЕНИЕ СЕННАХЕРИБА

1

Ассирияне шли, как на стадо волки,
В багреце их и в злате сияли полки,
И без счета их копья сверкали окрест,
Как в волнах галилейских мерцание звезд.

2

Словно листья дубравные в летние дни,
Еще вечером так красовались они;
Словно листья дубравные в вихре зимы,
Их к рассвету лежали рассеяны тьмы.

3

Ангел смерти лишь на ветер крылья простер
И дохнул им в лицо — и померкнул их взор,
И на мутные очи пал сон без конца,
И лишь раз поднялись и остыли сердца.

4

Вот расширивший ноздри повергнутый конь,
И не пышет из них гордой силы огонь,
И, как хладная влага на бреге морском,
Так предсмертная пена белеет на нем.

5

Вот и всадник лежит, распростертый во прах,
На броне его ржа, и роса на власах;
Безответны шатры, у знамен ни раба,
И не свищет копье, и не трубит труба.

6

И Ассирии вдов слышен плач на весь мир,
И во храме Ваала низвержен кумир,
И народ, не сраженный мечом до конца,
Весь растаял, как снег, перед блеском творца!

НА БЕГСТВО НАПОЛЕОНА С ОСТРОВА ЭЛЬБЫ

Прямо с Эльбы в Лион! Города забирая,
Подошел он, гуляя, к Парижским стенам —
Перед дамами вежливо *шляпу* снимая
И давая по *шапке* врагам!

1815

ОДА С ФРАНЦУЗСКОГО

I

О Ватерло! мы не клянем
Тебя, хоть на поле твоём
Свобода кровью истекла:
Та кровь исчезнуть не могла.
Как смерч из океанских вод,
Она из жгучих ран встает,
Сливаясь в вихре горних сфер
С твоей, герой Лабэдойер
(Под мрачной сенью тяжких плит
«Отважнейший из храбрых» спит...),
Багровой тучей в небо кровь
Взметнулась, чтоб вернуться вновь
На землю. Облако полно,
Чревато грозами оно,
Все небо им обагрено;
В нем накопились гром и свет
Неведомых грядущих лет;
В нем оживет Полюнь-звезда,
В ветхозаветные года
Вещавшая, что в горький век
Нальются кровью русла рек.

Под Ватерло Наполеон
 Пал — но не вами сломлен он!
 Когда, солдат и гражданин,
 Внимал он голосу дружин
 И смерть сама шадила нас,—
 То был великой славы час!
 Кто из тиранов этих мог
 Поработить наш вольный стан,
 Пока французов не завлек
 В силки свой собственный тиран?
 Пока, тщеславием томим,
 Герой не стал царем простым?
 Тогда он пал — так все падут,
 Кто сети для людей плетут!

III

А ты, в плюмаже снежнобелом
 (С тобой покончили расстрелом),
 Не лучше ль было в грозный бой
 Вести французов за собой,
 Чем горькой кровью и стыдом
 Платить за право быть князьком,
 Платить за титул и за честь
 В обноски княжьей власти влезть!
 О том ли думал ты, сквозь сечу
 Летя на гневном скакуне,
 Подобно яростной волне,
 Бегущей недругам навстречу?
 Мчался ты сквозь вихрь сраженья,
 Но не знал судьбы решенья,
 Но не знал, что раб, смеясь,
 Твой плюмаж затопчет в грязь!
 Как лунный луч ведет волну,
 Так влек ты за собой войну,
 Так в пламя шли твои солдаты,
 Седыми тучами объаты,
 Сквозь дым густой, сквозь едкий дым
 Шагая за орлом седым,
 И сердца не было смелей
 Среди огня, среди мечей!
 Там, где бил свинец разящий,
 Там, где падали все чаще,
 Под знаменами героя,
 Близ французского орла
 (Сила чья в разгаре боя
 Одолеть его могла,
 Задержать полет крыла?),
 Там, где вражье войско смято,
 Там, где грянула гроза, —
 Там встречали мы Мюрата:
 Ныне он смежил глаза!

По обломкам славы шагает враг,
 Триумфальную арку повергнув в прах;
 Но когда бы с мечом
 Встала Вольность потом,
 То она бы стране
 Поллюбилась вдвойне.
 Французы дважды за такой
 Урок платили дорогой:
 Наполеон или Капет —
 В том для страны различья нет,
 Ее оплот — людей права,
 Сердца, в которых честь жива,
 И Вольность — бог ее нам дал,
 Чтоб ей любой из нас дышал,
 Хоть тщится Грех ее порою
 Стереть с поверхности земной;
 Стереть безжалостной рукой
 Довольство мира и покой,
 Кровь наций яростно струя
 В убиств бескрайние моря.

V

Но сердца всех людей
 В единенье сильней —
 Где столь мощная сила,
 Чтоб сплоченных сломила?
 Уже слабеет власть мечей,
 Сердца забились горячей:
 Здесь, на земле, среди народа
 Найдет наследников свобода:
 Ведь нынче те, что в битвах страждут,
 Ее сберечь для мира жаждут;
 Ее приверженцы сплотятся,
 И пусть тираны не грозятся:
 Прошла пора пустых угроз.—
 Все ближе дни кровавых слез!

1815

ЗВЕЗДА ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА

1

Звезда отважных! На людей
 Ты славу льешь своих лучей;
 За призрак лучезарный твой
 Бросались миллионы в бой;
 Комета, Небом рождена,
 Что ж гаснет на Земле она?

2

Бессмертие — в огне твоём,
 Героев души светят в нём,
 И рокот славных ратных дел

Твоею музыкой гремел;
Вулкан, горящий над землей,
Ты жгла лучами взор людской

3

И твой поток, кровав и ал,
Как лава царства затоплял;
Ты потрясала шар земной,
Пространство озарив грозой,
И солнце затмевала ты,
Его свергая с высоты.

4

Сверкая, радуга растет,
Взойдя с тобой на небосвод:
Из трех цветов она слита,
Божественны ее цвета;
Свободы жезл их сочелал
В бессмертный неземной кристалл.

5

Цвет алых солнечных лучей,
Цвет синих ангельских очей
И покрывала белый цвет,
Которым чистый дух одет, —
В соединенье трех цветов
Сияла ткань небесных снов.

6

Звезда отважных! Ты зашла,
И снова побеждает мгла.
Но кто за Радугу свобод
И слез и крови не прольет?
Когда не светишь ты в мечтах,
Удел наш — только тлен и прах.

7

И веяньем Свободы свят
Немых могил недвижимый ряд,
Прекрасен в гордой смерти тот,
Кто в войске Вольности падет.
Мы скоро сможем быть всегда
С тобой и с ними, о Звезда!

1815

ПРОЩАНИЕ НАПОЛЕОНА

(С французского)

Прощай, о страна, над которой восстала
Тень славы моей, что росла без границ!
В анналы твои моя доблесть вписала
Немало блестящих и мрачных страниц.

Когда, завлеченный побед метеором,
Свернувши с пути, проиграл я войну,
Меня трепетали народы, которым
Был страшен я даже в позорном плену.
Прощай же, о Франция! Венчан тобою,
Тебя превратил я в бесценный алмаз;
Ты пала, подкошена трудной борьбою,
С тобою расстаться я должен сейчас.
Сердца ветеранов отчаянье ранит,
Хотя одолели мы множество бед;
Орел мой, орел мой уже не воспрянет
К высокому солнцу, к светилу побед.
Прощай же, о край мой! Но если свободы
Ты снова услышишь знакомый призыв —
Фиалок надежды увядшие всходы
Ты вновь оживишь, их слезой оросив.
Меня призовешь ты для гордого мщенья,
Всех недругов наших смету я в борьбе,
В цепи, нас сковавшей, есть слабые звенья
Избранником снова вернусь я к тебе!

1815

ПРОМЕТЕЙ

Титан! На наш земной удел,
На нашу скорбную юдоль,
На человеческую боль
Ты без презрения глядел —
Но что в награду получил?
Страданье свыше всяких сил
Да коршуна, что вновь и вновь
Пьет кровь твою — живую кровь,
Скалу, цепей печальный звук,
Невыносимый пламень мук
Да стон, что, в сердце погребен,
Тобой подавленный, затих,
Чтобы о горестях твоих
Богам не смог поведать он.

Титан! Ты знал, что значит бой
С жестокой мукой... ты силен,
Ты пытками не устрашен,
Но скован яростной судьбой.
Всесильный Рок — глухой тиран,
Вселенской злобой обуян,
Творя на радость небесам
То, что стереть способен сам,
Тебя от смерти отрешил,
Бессмертья даром наделил.
Ты принял горький дар как честь,
И Громовержец от тебя
Добиться лишь угрозы смог:
Так был наказан гордый бог;
Свои страданья возлюбя,

Ты не хотел ему прощенье
Его судьбу — но приговор
Открыл ему твой гордый взор.
Он понял твой ответ безмолвный,
И задрожали стрелы молний...
Ты добр — в том твой небесный грех
Иль преступленье: ты хотел
Несчастьям положить предел,
Чтоб разум осчастливил всех!
Разрушил Рок твой мечты,
Но в том, что не смирился ты,
Титан, воитель и борец,
В том, чем была твоя свобода,
Сокрыт величья образец
Для человеческого рода!
Ты символ силы, полубог,
Ты озарил для смертных путь —
Жизнь человека, светлый ток
Бегущий, отменяя муть...
Отчасти может человек
Своих часов предвидеть бег:
Бесцельное существование,
Сопротивление, прозябанье...
Но не изменится душа,
Бессмертной твердостью дыша,
И чувство, что умеет вдруг
В глубинах самых горьких мук
Себе награду обретать,
Торжествовать, и презирать,
И Смерть в Победу обращать.

Диодати, июль 1816

НАДПИСЬ НА ОБОРОТЕ РАЗВОДНОГО АКТА В АПРЕЛЕ 1816 г.

Ты поклялась, потупя взор,
Что любишь, что ты мне верна!
Один лишь год прошел с тех пор —
И вот словам твоим цена!

ПОСЛАНИЕ К АВГУСТЕ

Сестра моя! Коль имя есть святых,
Тебе я дам его, как зов приветный.
Хоть разделяет нас простор морей,
Не слез прошу, а нежности ответной.
Где б ни был я, ты для души моей —
Луч сожаленья, сладостный, заветный.
Две цели мне оставлены судьбой:
Для странствий — мир, очаг и кров — с тобой.

Что странствия? О, лишь бы цель вторая
Дала мне гавань радости. Но вот
Мы разошлись, твоя судьба другая,
И уз ее твой брат не разорвет.
Капризен суд судьбы: он, повторяя
Удел отцов, к беде меня ведет.
Гул непогоды дед встречал на море,
А я на суше — непокой и горе.

Когда, внук моряка, я среди других
Стихий спознался с бурей мировую
И погибал на рифах потайных,
Не видимых, не обойденных мною, —
Моя вина. Не тратя слов пустых,
Защиту ошибок не прикрою.
Плывя, я знал, что рок грозит бедой, —
Своих несчастий верный рулевой.

На мне вина. Вся жизнь моя — расплата;
Мой каждый день глухой борьбой чреват,
И, омрачив дар бытия богатый,
Судьба иль воля без путей кружат.
Нехватит сил — казалось мне когда-то,
Из бранных уз я вырваться был рад.
Теперь не так. Я жду — пусть жизнь продлится:
Я посмотрю — чему еще случиться?

Хоть я и молод, но не раз видал
Надменных царств и королевств крушенье.
И понял я: о, как ничтожно мал
Поток моих тревог, что мчал в кипенье
И в ярости свой дикий, пенный вал!
Скажу теперь я, обрета терпенье,
Что мы недаром груз скорбей своих
Несем — хотя бы ради них самих.

То вызов ли неласковой судьбине,
Отчаянье ль, что за бедой идет,
Как и она, со мной сдружившись ныне,
Иль чистый воздух солнечных высот
(Легко порой ничтожнейшей причине
Придать нам сил, чтоб сбросить тяжкий гнет),
Но я теперь покою странно предан,
Что в дни затишья не был мной изведен.

Как в детстве, на ручей, лужайку, сад
Смотрю со свежим чувством, умиленно.
Они о тех местах мне говорят,
Где я до школы жил. Вновь покоренный,
Я узнаю природы ясный взгляд,
Его встречаю, сердцем размягченный,
И чудится; влюбленным сердцу быть,
Хоть, как тебя, вовек не полюбить.

Здесь сладостный источник размышленья
В красотах Альп раскинулся у ног.
Пусть краток миг восторгов, восхищенья —
Глубоких чувств нас увлечет поток.

Я не заброшен: глушь уединенья
Дала мне все, чего желать я мог.
Вид озера великолепен. Все же
Скромнее наше, но душе дороже.
О, если б ты была со мной! Но я
Безумец, вновь желанье лелея, —
Уединенье славит кисть моя,
Его ль предам, о прошлом сожалея?
Их много — сожалений, но, тая
Их в скрытном сердце, замолчу скорее:
Для философии — отлива час,
Прилив печали встал слезой у глаз.

Я вспомнил озеро у замка. Годы
Покажут, сохраню ль его навек.
Хотя прекрасны Леманские воды,
Мне не забыть столь милый сердцу брег.
Разрушить память мне должны невзгоды,
Чтоб образ твой или его поблек,
Хоть разлучен со всем, что б ни любил я,
Все потерял иль с болью уступил я.

Дары земли раскрыты предо мной,
Возьму один — природы щедрой краски.
Сливаясь с небом, я вкушу покой,
Познаю солнца некаждые ласки;
Отбросив груз апатии немой,
Природы лик увижу я без маски.
Она мне друг. Пусть будет и сестрой,
Пока опять не свихнусь я с тобой.

В себе все чувства укрошу я строго,
Но это — нет: все радует мой взор,
Как утром жизни, у ее порога.
О, если бы, толпе наперекор,
Я шел всегда той утренней дорогой,
Я был бы праведней, чем до сих пор,
Я дремлющим страстям не нес бы дани,
Ты слез не знала бы, а я страданий.

Я ложность честолюбия постиг.
Любовь и слава? Рос я вместе с ними,
Они пришли, хоть не искал я их,
И дали все, что были в силах — имя.
Все ж не они венец забот моих,
Я был знаком с исцаньями иными.
Все позади, покончено с борьбой,
К обманутым причислен я судьбой.

С меня в грядущем даже рок жестокий
Потребует лишь крохи прежних сил:
Я пережил namного жизни сроки —
Затем, что много в жизни пережил.
Бессменно бодрствуя, удел высокий
Я нес и сном огня не угасил.
Весь путь мой — четверть века, но хватило
Его бы и на век Мафусаила.

Приму все то, что даст остаток дней.
Благодарю года, что подарили
И счастья краткий миг душе моей
Среди борьбы, в тишете моих усилий.
И в настоящем я не стал черствей,
И свежесть чувств мне судьбы сохранили.
Гляжу вокруг: глубоких мыслей строи
Склоняется пред вечной красотой.

Сестра моя! Уверен, дорогая,
В твоем я сердце, как и ты в моем.
Мы не откажемся, сердца сплетая,
От этих уз. И, вместе ль мы живем,
Иль разлучает нас судьба слепая, —
Мы об руку к закату дней придем.
Смерть медленно иль быстро подкрадется —
Связь первых дней последней оборвется.

1816

СТАНСЫ К АВГУСТЕ

Когда сгустилась мгла кругом
И ночь мой разум охватила,
Когда неверным огнем
Едва надежда мне светила,

В тот час, когда, окутан тьмой,
Трепещет дух осиротелый,
Когда, молвы страшась людской,
Сдается трус и медлит смелый,

Когда любовь бросает нас
И мы затравлены враждою —
Лишь ты была в тот страшный час
Моей немеркнущей звездой.

Благословен твой чистый свет!
Подобно оку серафима,
В годину злую бурь и бед
Он мне сиял неугасимо.

При виде тучи грозовой
Еще светлее ты глядела,
И, встретив кроткий пламень твой,
Бежала ночь, и тьма редела.

Пусть вечно реет надо мной
Твой дух в моем пути суровом.
Что мне весь мир с его враждой
Перед твоим единым словом!

Была той гибкой ивой ты,
Что, не сломившись, буре внемлет
И, словно друг, клоня листья,
Надгробный памятник объемлет.

Я видел небо, все в огне,
Я слышал гром над головою,
Но ты и в бурный час ко мне
Склонялась плачущей листвою.

О, ни тебе, ни всем твоим
Да не узнать моих мучений!
Да будет солнцем золотым
Твой день согрет, мой добрый гений!

Когда я всеми брошен был,
Лишь ты мне верность сохранила,
Твой кроткий дух не отступил,
Твоя любовь не изменила.

На перепутьях бытия
Ты мне прибежище доньне,
И верь, с тобою даже я
Не одинок в людской пустыне.

24 июля 1816

СТАНСЫ К АВГУСТЕ

Когда время мое миновало
И звезда закатилась моя,
Недочетов лишь ты не искала —
И ошибкам моим не судья.
Не пугают тебя передраги,
И любовью, которой черты
Столько раз доверял я бумаге,
Остаешься мне в жизни лишь ты.

Оттого-то, когда мне в дорогу
Шлет природа улыбку свою,
Я в привете не чаю подлога
И в улыбке тебя узнаю.
Когда ж вихри с пучиной воюют,
Точно души в изгнанье скорбя,
Тем-то волны меня и волнуют,
Что несут меня прочь от тебя.

И хоть рухнула счастья твердыня
И обломки надежды на дне,
Все равно, и в тоске и унынье
Не бывать их невольником мне.
Сколько б бед ни нашло отовсюду,
Растеряюсь — найдусь через миг,
Истомлюсь — но себя не забуду,
Потому что я твой, а не их.

Ты из смертных, и ты не лукава,
Ты из женщин, но им не чета.
Ты любовь не считаешь забавой,
И тебя не страшит клевета.

Ты от слова не ступишь ни шагу,
Ты в отъезде — разлуки как нет,
Ты на страже, но дружбе во благо,
Ты беспечна, но свету во вред.

Я ничуть его низко не ставлю,
Но в борьбе одного против всех
Навлекать на себя его травлю
Так же глупо, как верить в успех.
Слишком поздно узнав ему цену,
Излечился я от слепоты:
Мало даже утраты вселенной,
Если в горе наградою — ты.

Гибель прошлого, все уничтожа,
Кое в чем принесла торжество:
То, что было всего мне дороже,
По заслугам дороже всего.
Есть в пустыне родник, чтоб напиться,
Дерево есть на лысом горбе,
В одиночестве певчая птица
Целый день мне поет о тебе.

1816

СТАНСЫ

1

Ни одна не станет в споре
Красота с тобой,
И, как музыка на море,
Сладок голос твой!
Море шумное смирилось,
Будто звукам покорилось,
Тихо лоно вод блестит,
Убаюкан, ветер спит.

2

На морском дрожит просторе
Луч луны, блестя.
Тихо грудь вздымает море,
Как во сне дитя.
Так душа полна вниманья,
Пред тобой в очарованье:
Тихо все, но полно в ней,
Будто летом зыбь морей.

1816

СТАНСЫ ДЛЯ МУЗЫКИ

Надежду счастьем не зови:
Лишь время даст оценку им —
Мечтам об истинной любви,
Что так ревниво мы храним.

Для памяти всего милей
То, чем надеялись мы быть;
Но лишь свои утраты в ней
Дано надежде растворить.

Ах, все обман! Что может дать
Грядущего неверный путь?
Чем были — нам уже не стать,
На то, чем стали, — не взглянуть.

1816

СОН

I

Жизнь наша двойственна; есть область Сна,
Грань между тем, что ложно называют
Смертью и жизнью; есть у Сна свой мир,
Обширный мир действительности странной.
И сны в своем развитии дышат жизнью,
Приносят слезы, муки и блаженство.
Они отягощают мысли наши,
Снимают тягости дневных забот,
Они в существованье наше входят
Как жизни нашей часть и нас самих.
Они как будто вечности герольды;
Как духи прошлого, вдруг возникают,
О будущем вещают, как сивиллы.
В их власти мучить нас и улаживать,
Такими делать нас, как им угодно,
Нас потрясать виденьем мимолетным
Теней исчезнувших — они такие ж?
Иль прошлое не тень? Так что же сны?
Создания ума? Ведь ум творит
И может даже заселить планеты
Созданиями, светлее всех живущих,
И дать им образ долговечней плоти.
Виденье помню я, о нем я грезил
Во сне, быть может, — ведь безмерна мысль,
Ведь мысль дремотная вмещает годы,
Жизнь долгую стучает в час один.

II

Я видел — двое юных и цветущих
Стояли рядом на холме зеленом,
Округлом и отлогом, словно мыс
Гряды гористой, но его подножье
Не омывало море, а пред ним
Пейзаж красный растелился, волны
Лесов, полей и кое-где дома
Средь зелени, и с крыш их черепичных
Клубился сизый дым. Был этот холм
Среди других увенчан диадемой
Деревьев, вставших в круг, — не по игре
Природы, а по воле человека.

Их было двое, девушка смотрела
На вид, такой же, как она, прелестный,
А юноша смотрел лишь на нее.
И оба были юны, но моложе
Был юноша; она была прекрасна
И, словно восходящая луна,
К расцвету женственности приближалась
Был юноша моложе, но душой
Взрослее лет своих, и в целом мире
Одно лицо любимое ему
Сняло в этот миг, и он смотрел
С боязнью, что оно навек исчезнет.
Он только ею и дышал и жил,
Он голосу ее внимал, волнуясь
От слов ее; глядел ее глазами,
Смотрел туда, куда она смотрела,
Все расцветив, и он всем существом
Сливался с ней; она, как океан,
Брала поток его бурливых мыслей,
Все завершая, а от слов ее,
От легкого ее прикосновенья
Бледнел он и краснел — и сердце вдруг
Мучительно и сладко так сжималось.
Но чувств его она не разделяла
И не о нем вздыхала, для нее
Он только брата заменял — не больше.
Ей, не имевшей брата, братом стать
Он смог по праву дружбы детскою.
Последним отпрыском она была
Из рода древнего. Название брата
Он принял нехотя, — но почему?
Он смутно понял то, когда другого
Она вдруг полюбила, и *сейчас*
Она любила, и с холма смотрела —
Быть может, на коне послужном мчась,
Спешит возлюбленный к ней на свиданье.

III

Внезапно изменилось сновиденье.
Увидел я усадьбу и коня
Оседланного пред старинным домом.
В часовне старой, бледен и один,
Тот самый юноша шагал в волненье.
Потом присел к столу, схватил перо
И написал письмо, но я не мог
Прочсть слова. Он голову руками,
Поникнув, обхватил и весь затрясся,
Как от рыданий, и потом, вскочив,
Написанное разорвал в клочки,
Но слез я на глазах его не видел.
Себя принудил он и принял вид
Спокойствия, и тут вновь появилась
Пред ним владычица его любви.
Она спокойно улыбалась, зная,
Что им любима, — ведь любви не скроешь,

И что душа его омрачена
Ее же тенью, и что он несчастен.
Она и это знала, но не все.
Он вежливо и холодно коснулся
Ее руки, и по его лицу
Скользнула тень невыразимых мыслей,—
Мелькнула и пропала в тот же миг.
Он руку выпустил ее и молча
Покинул зал, не попрощавшись с ней.
Они расстались, улыбаясь оба.
И медленно он вышел из ворот,
И вспрыгнул на коня, и усакал,
И больше в старый дом не возвращался.

IV

Внезапно изменилось сновиденье.
Стал взрослым юноша и среди пустынь
На юге пламенном нашел приют.
Он впитывал душой свет яркий солнца,
Вокруг все было странно, и он сам
Другим стал, не таким, как был когда-то.
Скитался он по странам и морям,
И множество видений, словно волны,
Вдруг на меня нахлынули, но он
Был частью их; и вот он, отдыхая
От духоты полуденной, лежал
Средь рухнувших колонн, в тени развалин,
Надолго переживших имена
Стронтелей; паслись вблизи верблюды,
И лошади стояли у фонтана
На привязи, а смуглый проводник
Сидел на страже в пышном одеянье,
В то время как другие мирно спали.
Сиял над ними голубой шатер
Так ясно, и безоблачно, и чисто,
Что только бог один был виден в небе.

V

Внезапно изменилось сновиденье.
Любимая повенчана с другим,
Но муж любить ее, как он, не может.
Далеко от него в родимом доме
Она жила, окружена детьми,
Потомством красоты, — но что случилось?
Вдруг по лицу ее мелькнула грусть,
Как будто тень печали затаенной,
И словно от невыплаканных слез
Поникшие ресницы задрожали.
Что значит грусть ее? Она любима,
Здесь нет того, кто так ее любил.
Надеждой, плохо скрытым огорченьем
Не может он смутить ее покой.
Что значит грусть ее? Ведь не любила

Она его и он об этом знал,
И он, как призрак прошлого, не мог
Витать над ней и омрачать ей мысли.

VI

Внезапно изменилось сновиденье.
Вернулся странник и пред алтарем
Стоял с невестой, доброй и прекрасной,
Но Звездным Светом юности его
Лицо прекрасное другое было.
Вдруг выразилось на его челе
Пред алтарем то самое смятенье,
Что в одиночестве часовни старой
Его так взволновало, и сейчас,
Как и тогда, вдруг по его лицу
Скользнула тень невыразимых мыслей,—
Мелькнула и пропала в тот же миг.
И он спокойно клятву произнес,
Как подобало, но ее не слышал.
Все закружилось, он не замечал
Того, что совершалось, что свершится,
Но старый дом, старинный зал знакомый,
И комнаты, и место, и тот день,
И час, и солнце яркое, и тени —
Все, что ее когда-то окружало,
Ее — его судьбу, — назад вернулось
И встало между ним и алтарем.
Как в час такой могли они явиться?

VII

Внезапно изменилось сновиденье.
Владычицу его любви постигла
Болезнь душевная, и светлый ум
Куда-то отлетел, ее покинув.
В ее глазах погаснул блеск, а взор
Казался неземным, и королевой
Она в своем волшебном царстве стала.
Витали мысли у нее бессвязно.
Мир образов, незримых для других,
Стал для нее знакомым и обычным.
Считают то безумием, но мудрый
Еще безумнее, ведь страшный дар —
Блеск меланхолии, унылой грусти.
Не есть ли это правды телескоп?
Он приближает фантастичность далей,
Показывает обнаженной жизнь
И делает действительность реальной!

VIII

Внезапно изменилось сновиденье.
Был странник, как и прежде, одинок,
Все окружающие отделились

Иль сделались врагами, и он сам
 Стал воплощенным разочарованьем,
 Враждой и ненавистью окружен.
 Теперь все стало для него мученьем,
 И он, как некогда понтийский царь,
 Питался ядами, и, не вреда,
 Они ему служили вместо пищи.
 И жил он тем, что убивало многих,
 Со снежными горами он дружил,
 Со звездами и со всемирным духом
 Беседы вел! Старался он постичь,
 Учась, вникая, магию их тайны,
 Была ему открыта книга ночи,
 И голоса из бездны открывали
 Завет чудесных тайн. Да будет так.

IX

Мой сон исчезнул и не продолжался.
 И страшно было, что судьба обоих
 Так ясно обозначилась во сне,
 Как и в действительности, — и безумьем
 Закончила она, несчастьем — оба.

Июль 1816

ТЬМА

Я видел сон, не все в нем было сном.
 Погасло солнце яркое, и звезды
 Без света, без путей в пространстве вечном
 Блуждали, и замерзшая земля
 Кружилась слепо в темноте безлунной.
 За утром утро шло без света дня,
 О всех своих страстях забыли люди,
 И в ужасе застыли все сердца
 В эгоистической мольбе о свете.
 Все жили у костров: дворцы и троны
 Монархов венценосных, и дома,
 И хижин; домашние все вещи
 Сжигались — так исчезли города.
 Сходились люди у жилищ горящих,
 Чтоб друг на друга раз еще взглянуть,
 А жившие у факелов вулканов
 Счастливей других себя считали.
 Весь мир жил в ужасе одной надеждой;
 Леса зажгли, но и лесной пожар
 Недолго длился, догорали с треском
 Стволы деревьев — и сгушался мрак.
 А пламени отчаянные вспышки
 Какой-то неземной, ужасный вид
 Всем лицам придавали, и одни,
 Упавши ниц, рыдали, а другие
 Задумчиво сидели улыбаясь;

А трети погребальный свой костер
 Питали топливом и беспокойно
 Глядели ввысь, на сумрачное небо,
 Покров земли умершей, и, во прах
 Повергнувшись, с проклятиями вопили,
 Зубами скрежеща; и птицы с криком
 Махали крыльями, боясь взлететь,
 Все звери стали робкими, ручными,
 Гадюки ползали у ног толпы,
 Шипели, извиваясь, не кусая,
 Их убивали люди и съедали.
 Между собою все вели войну,
 Ценою крови пища покупалась,
 И каждый тайно, прячась от других,
 Угрюмо, жадно ел. Любовь исчезла:
 Одна лишь мысль осталась на земле —
 О смерти неизбежной и бесславной.
 Всем внутренности волчий голод грыз,
 И люди мерли, их не хоронили;
 И жадно тощие съедали тощих.
 Кидались на своих хозяев псы,
 И лишь один остался верен трупу,
 К нему не подпускал зверей и птиц,
 Людей голодных, кинуться готовых
 На мертвечину: но у тела пес,
 Забыв про пищу, с безутешным воем
 Лизал ту руку, что не отвечала
 На ласку ласкою, — пока не сдох.
 От голода все вымерли; лишь двое
 В живых остались в городе огромном,
 Они врагами были и сошлись
 У пепла тлеющего алтаря,
 Церковную там уложили утварь
 Не для церковного употребления.
 Они костлявыми руками рылись
 В золе чуть теплой и дышалем слабым
 Пытались пламя слабое раздуть,
 Но тщетно, и потом в глаза друг другу
 При вспышке глянули и, закричав
 От ужаса, вдруг мертвыми упали —
 Так поразил обоих вид ужасный,
 Хотя они не знали — чье лицо
 Так дьявольски обезобразил голод.
 Пустынею безлунной стал весь мир,
 Лишенный света, зелени и жизни,
 Стал комом смерти, комом твердой глины.
 Озера, реки и моря застыли,
 Ничто их глубины не возмущало;
 Сгнивали корабли без морячков,
 Их мачты рассыпались, и над бездной
 В дремоте гибли корабли без бурь.
 Уснули волны, замерли приливы,
 Исчезла их владычица луна,
 В недвижимом воздухе не дули ветры,
 Пропали тучи. Не нуждалась Тьма
 В их помощи — она Вселенной стала.

Диодаты, июль 1816

ПЕСНЯ ДЛЯ ЛУДДИТОВ

Как за морем кровью свободу свою
Ребята купили дешевой ценой,
Так будем и мы: или сгинем в бою,
Иль к вольному все перейдем мы житью,
А всех королей, кроме Лудда,—долгой!

Когда ж свою ткань мы соткем и в руках
Мечи на челнок променяем мы вновь —
Мы саван набросим на мертвый наш страх,
На деспота труп, распростертый во прах,
И саван окрасит сраженного кровь.

Пусть кровь та, как сердце злодея, черна,
Затем, что из грязных текла она жил, —
Она, как роса, нам нужна:
Ведь древо свободы вспонит нам она,
Которое Лудд посадил!

Декабрь 1816

К БЮСТУ ЕЛЕНЫ, ИЗВАННОМУ КАНОВОЙ

В своем чудесном мраморе светла,
Она превыше грешных сил земли —
Того природа сделать не могла,
Что Красота с Кановою смогли!

Ее постичь уму не суждено,
Искусство барда перед ней мертво!
Бессмертие приданым ей дано —
Она — Елена сердца твоего!

25 ноября 1816

ТОМАСУ МУРУ

Вот и лодка у причала,
Скоро в море кораблю.
Скоро в море, но сначала
Я за Тома Мура пью.

Вдох я шлю друзьям сердечным
И усмешку — злым врагам.
Не согнусь под ветром встречным
И в бою нигде не сдам.

Пусть волна ревет в пучине,
Я легко над ней пройду.
Заблужусь ли я в пустыне,
Я родник в песках найду.

Будь хоть капля в нем живая —
Только капля бытия, —
Эту каплю, умирая,
Выпью, друг мой, за тебя.

Я наполню горсть водою,
Как сейчас бокал — вином,
И да будет мир с тобою, —
За твое здоровье, Том!

Июль 1817

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ШУТКУ

Читал я «Кристабель»:

Певуча, как свирель!

Читал «Миссионера»:

Прекрасен, вне примера!

Листал я «Ильдери»:

Гм-гм!

Минутку посвятил «Анжуйской Маргарите»:

И не смотрите!

Перевернул страницу «Ватерло»:

Не повезло!

На белоснежную взгляд бросил «Рильстон-Доз» —

Лежи себе в покое!

И пр., и пр., и пр.

Март 1817

ТОМАСУ МУРУ

Чем сейчас занят,

О Томас Мур?

Чем сейчас занят,

О Томас Мур?

Мечты ли манят,

Рифмы ль тиранят,

Сердце ль кто ранит,

О Томас Мур?

Но карнавал близко,

О Томас Мур!

Да, карнавал близко,

О Томас Мур!

Маски средь блеска,

Шума и треска,

Струнного всплеска,

О Томас Мур!

1817

* * *

Не бродить нам вечер целый
Под лунной вдвоем,
Хоть любовь не оскудела
И в полях светло, как днем.

Переживет ножны клинок,
Душа живая — грудь.
Самой любви приходит срок
От счастья отдохнуть.

Пусть для радости и боли
Ночь дана тебе и мне —
Не бродить нам больше в поле
В полночь при луне!

1817

ЭПИЛОГ

Есть прок и в глупости осла
И в неразумии болвана.
Я не встречал со школьных дней
Кого-нибудь, кто был глупей,
Чем Вильям Вордсворт — без обмана.

Так глуп он, что любой глупец
Уступит Вильяму Вордсворту,
И я б хотел, чтоб «Питер Белль»
И автор одного отсель
За глупость улетели к чорту.

Малютке с лишком десять лет.
Увидел свет он в девяносто
Восьмом году и мнит, что мог
Затмить Шекспира — очень просто.

Он миру чудный дар принес;
Виль Вордсворт, слушайся совета:
Доволен местом будь своим
И похвалой, которой чтим
Ты от Бьюмонта-баронета.

1819

СТАНСЫ

Кто драться не может за волю свою,
Чужую отстаивать может.
За греков и римлян в далеком краю
Он буйную голову сложит.

За общее благо борись до конца,
И будет тебе воздаянье.
Тому, кто избегнет петли и свинца,
Пожалуют рыцаря званье.

Ноябрь 1820

СТАНСЫ, НАПИСАННЫЕ ПО ДОРОГЕ МЕЖДУ ФЛОРЕНЦИЕЙ И ПИЗОЙ

Ты толкуешь о славе героев? Довольно!
Все дни нашей славы — дни юности вольной.
И стоит ли лавр, пусть роскошный и вечный,
Площа и цветов той поры быстротечной?

На морщинистом лбу мы венцы почитаем.
Это — мертвый цветок, лишь обрызганный маем.
Что гирилянды сединам? — пустая забава.
Что мне значат венки, раз под ними лишь слава?

О слава! Польщенный твоей похвалою,
Я был счастлив не лестью, не фразой пустою,
А взором любимой, моей ясноокой,
Что, пленившись тобою, раскрылся широко.

Там тебя я искал, там тебя и нашел я,
Милых взоров лучи в твои перлы возвел я:
Где они освещали мой взлет величавый,
Там — я ведал — любовь, там — я чувствовал —
слава!

1821

ЭПИТАФИЯ ВИЛЬЯМУ ПИТТУ

От смерти когтей не избавлен,
Под камнем холодным он тлеет;
Он ложью в палате прославлен,
Он ложе в аббатстве имеет.

Январь 1820 г.

В ДЕНЬ МОЕЙ СВАДЬБЫ

Новый год... Все желают сегодня
Повторений счастливого дня.
Пусть повторится день новогодний,
Но не свадебный день для меня!

2 января 1820

ЭПИГРАММА

Люди — стадо буйных ослов,
Мир — овса непочатый куль,
Каждый долю урвать готов,
А первый из них — Джон Буль.

1820

ЭПИГРАММА НА ВИЛЬЯМА КОББЕТТА

Твои, Том Пэйн, он вырыл кости,
Но, бедный дух, имей в виду:
К нему ты здесь явился в гости,
Он навестит тебя в аду.

Январь 1820

ПЗ МАРЦИАЛА

Перед тобою — Марциал,
Чьи эпиграммы ты читал.
Тебе доставил он забаву,
Воздай же честь ему и славу,
Доколе жив еще поэт.
В посмертной славе толку нет!

1821

НА СМЕРТЬ ПОЭТА ДЖОНА КИТСА

Кто убил Джона Китса?
— Я,— ответил свирепый журнал,
Выходящий однажды в квартал. —
Я могу поручиться,
Что убили мы Китса!

— Кто стрелял в него первый?
— Я,— сказали в ответ
Гэрро, Саути и Милмен, священник-поэт.—
Я из критиков первый
Растерзал ему перья!

Июль 1821

НА САМОУБИЙСТВО БРИТАНСКОГО МИНИСТРА КЭСТЛЕРИ

I

О Кэстлери, ты — истый патриот.
Герой Катон погиб за свой народ,
А ты отчизну спас не подвигом, не битвой —
Ты злейшего ее врага зарезал бритвой.

II

Что? Перерезал глотку он наемни?
Жаль, что свою он полоснул последней!

III

Зарезался он бритвой, но заранее
Он перерезал глотку всей Британии.

1822

ПЕСНЬ К СУЛИОТАМ

Дети Сули! Киньтесь в битву,
Долг творите, как молитву!
Через рвы, через ворота:
Бауа, бауа, сулиоты!
Есть красотки, есть добыча —
В бой! Творите свой обычай!

Знамя вылазки святое,
Разметавшей вражьи строи,
Ваших гор родимых знамя,—

Знамя ваших жен над вами.
В бой, на приступ, стратиоты,
Бауа, бауа, сулиоты!

Плуг наш — меч: так дайте клятву
Здесь собрать злагою жатву;
Там, где брешь в стене пробита,
Там врагов богатство скрыто.
Есть добыча, слава с нами —
Так вперед, на спор с громами!

1823

ИЗ ДНЕВНИКА В КЕФАЛОНИИ

Встревожен мертвых сон,— могу ли спать?
Тираны дают мир,— я ль уступлю?
Созрела жатва,— мне ли медлить жать?
На ложе — колкий терн; я не дремлю;
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...

1823

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА О ГРЕЦИИ

Что мне твои все почести и слава,
Народ-младенец, прежде или впрямь,
Хотя за них отдать я мог бы, право,
Все, кроме лавров,— мог бы умереть?
В тебя влюблен я страстно! Так, пленяя,
Влечет бедняжку птичку взор змеи —
И вот спустилась пташка, расправляя
Навстречу смерти крылышки свои...
Вессильны ль чары, слаб ли я пред ними —
Но побежден я чарами твоими...

1824

В ДЕНЬ МОЕГО ТРИДЦАТИШЕСТИЛЕТИЯ

Миссолопи, 29 января 1824 г.

Пора мне стать невозмутимым:
Чужой души уж не смутить;
Но пусть не буду я любимым,
Лишь бы любить!

Мой сад — в желтеющем уборе,
Цветы осыпались давно:
Червь точит грудь, и только горе
Мне суждено.

Огонь бесплодный сердце гложет
Не озарит он кругозор;
Он только погребальный может
Зажечь костер.

Надежд и мук любовной доли,
Забот ревнивых не хочу;
Но бремя чувственной неволи,
Как цепь, влачу.

Нет! Эта мысль пусть не смущает
Мне душу здесь, в стране борьбы,
Где слава головы венчает
Или гробы.

Здесь меч поднял народ-повстанец,
Здесь греков славная земля;
Как на щите своем спартанец,
Свободен я!

Встань, как Греция восстала,
Мой гордый дух! Уразумей,
Откуда ты ведешь начало,—
И насмерть бей!

Пора унять порывы страсти:
Не мальчик ты. В суровый час
Будь равнодушен к нежной власти
Прекрасных глаз.

Жаль молодости невозвратной —
Так жить зачем? За светлый край
Ступай, боец, на подвиг ратный
И жизнь отдай!

Достойней нет солдатской доли;
Могила — здесь, перед тобой.
На вольной воле, в чистом поле
Найдешь покой.

ПОЭМЫ и САТИРЫ

ПО СТОПАМ ГОРАЦИЯ¹

Что если вдруг, не угождая моде,
Наш Лоуренс не будет льстить природе
И на своих полотнах — ей на стыд —
Заказчика в кентавра превратит?
Иль фрейлине художник вместо трена
Даст рыбий хвост — не фрейлина, сирена?
Дюбост, мы помним, очернил, как мог,
В граверском сплине то, что создал бог,
И вежливость, для глупостей помеха,
Бесстыдного не заглушила смеха!
Поверь мне, Мосх, — искусников таких
Напомнит бард, чей сумасбродный стих
Рождает сонмы образов убогих,
Ублюдков безголовых и безногих.

И барду и художнику порой
Дозволено пустить в мишень стрелой;
Но, милость эту испросив, должны мы
Быть милосердны к ближним и терпимы,
А не винить напрасно нежный пол,
Что он на свет чудовищ произвел;
Змею в гнезде не выведет орлица
И агнец у тигрицы не родится!
Вступление мы склонны растянуть
(Как речь в парламенте) и скомкать суть.
Бессмыслица на выпрепнем звучанье
Пройдет, как пагость в скромном одеянье.
Так бард иной берет высокий тон,
Чтоб расписать ручья весенний звон,
Дубравы Гранты, гроты и куртины,
Кинге Колледж, волны Кэма, свод старинный
И красками старается блеснуть,
Рисуя радугу... иль Темзы муть.

Клен пишешь — клен и есть; а бурю — боже —
На вывеску кабацкую похоже!
Амфору превратишь в горшок, и вот
Его пиита-постник бережет,
А критик взял и — в Лету, осмеяв...
(Не страшен критик? Да, пока не прав!)

Итак, какая б ни предстала цель нам,
Должно творенье быть простым и цельным.

Кто пишет рифмами, едва ль не всяк
(Внимай, ты сам из племени писак!)
Тем или этим обольщен соблазном:
Я кратким быть хочу — а стал неясным;
Один упал, гонясь за мишурой,
Другой витеет: он внутри пустой;
Тот ползает, страшась летать, как все мы,
И сучит нить одной и той же темы,
Выписывая с толком, не спеша,
Льва на волнах иль на сосне ерша.

Сам над собою суд держи суровый
Иль ты впадешь, страшась порока, в новлй.
Художников непогрешимых нет,
И ограничен в мастерстве поэт,
Как и портной: сошьет вам Слушире брюки,
Но фрак — фрак отдают в другие руки².

¹ Подстрочные примечания к поэме «По стопам Горация» принадлежат Байрону; даются в сокращенном виде.

² Обыкновенные смертные обыкновенно довольствуются одним портным и одним счетом; но более взыскательные господа почитают невозможным доверить облачение нижней половины своего тела создателю одежды для верхней. Я говорю применительно к началу 1809 года; имела ли место с тех пор какая-либо реформа, я не знаю и не желаю знать.

По мне ж, то значит — Аполлона стать
С Вулкановой ногою сочетать
Иль пещной черноокой, чернокошой
Красавице... дать дулю вместо носа.

Любезный автор! Не бери ты темы
Не по плечу; учти объем поэмы
И с силами своими соразмерь.
Где выбор счастлив, только там, поверь,
Найдут поэты прелесть острословья
И ясный строй, гармонии условие,
И там течет естественно у них,
Исполнен мысли, сладковзвучный стих.

Учись же части с целым сочетать
И частность, не жалея, отмечать,
Когда она не вяжется с дальнейшим, —
Чтоб строгим был отбор и стиль точнейшим.
Хвала перу, которое подчас
Недостававшим словом дарит нас.
Пусть неизвестно или устарело —
Коль нет иного, слово ставь ты смело
(Пускал же Питт такое в обиход,
Чего словарь обычно не дает¹.
Изобретай и ты, но волюность эту
Не часто разрешил бы я поэту).
Из новых слов у нас для тех кредит,
Которым галльский черенок привит.
Что Чосер мог, в том Драйдену б едва ли
Иль зрелой музе Попа отказали.
Вноси, что можешь — кто же не велит?
Как Вальтер Скотт вносил, как Вильям Питт,
Прибавившие рифмами и рыком
Богатства к мешаным родным языкам.
Итак: законна ныне и в веках
В парламенте реформа — и в стихах!

Как лес меняет свой наряд весенний,
Так увядает прелесть выражений.
Мы должники судьбы: она пришла —
И пали прахом мысли и дела!
Пускай по королевскому велению —
Иль на призыв купца — поток теченье
Бурливое смирит в канале вдруг,
Осушенные топи взрежет плуг
И встанет порт над хлябью первозданной
Укрыть суда от злобы океана —
Все сгинет, все! Пребудет доле то,
Что в звонкий стих любовно отлито.
Итак, хотя не вечно все земное,
Но все же, сгинув, оживет иное.
Властительной привычке подчинен
Язык поэзии. Таков закон.

¹ Мистер Питт был довольно либерален в своих добавлениях к нашему парламентскому языку, как это показывают многие издания, особенно же «Эдинбургское обозрение».

Война богов и ангелов — о ней нам
Пронел Мильтон стихом благоговейным;
Он завещал, слепец, в какую речь
Рассказы о божественном облечь.

Тягучий станс — тот у любви на службе
И для попреков мил ревнивой дружбе.

Но рифму ль увенчать, иль белый стих?
На Геликоне первым кто из них?
Об этом критик спорит кудревато,
Залутав спор, как тяжбу адвокаты.

В сатиру сплин, себялюбив и зол
(Примером Свифт и Драйден), рифму введ.

А белый стих законом наших дней
В трагедии царит — и верен ей.
Альманзор в рифму плел свой бред. Но впору
Забывать сегодня выспренность актеру.
Комедия ж для шуток и острот
Обыденную прозу предпочтет.
Не то чтоб наши Бомонты и Бены
Из-за стиха нехороши для сцены,
Но стала скромность Талии мила —
Хоть не щадит смиренницу хула.

Завет мой прост: язык героя строй
В согласье с тем, что чувствует герой.
Не сплошь рыдать вещунье Мельпомене,
Не сплошь резвиться Талии на сцене;
Иль мы и не заметим, как супруг,
Учтивый Таунли, тон повысит вдруг.
Шекспир порой царю в стихе откажет,
Где будничное в прозу лучше ляжет,
И в нафос не впадет с «Ревуном»
Повеса Галь — ни с царственным отцом.

Но не довольно, бард, со всем искусством
Чеканить стих — дышать он должен чувством;
О чем ни пел, куда ни звал бы стих,
Он должен властвовать в сердцах живых.
Буди в нас боль отрады иль печали,
Как ты захочешь, лишь бы мы не спали!
Поэт, ты наших жаждешь слез — но нет,
Мы льем их там, где лил их ты, поэт!

Когда б Ромео, родины лишенный,
Для горя не нашел ни слез, ни стопа,
Я посмеялся б иль зевнул. Всему
Свое лицо: надменному уму —
Поджатый рот, двуличью — хитрость вида,
И гневно смотрит гневная обида.
Лиц внутренний природой создан был;
Актер ей подражает — в меру сил.
Природа явит сердце то к вершине
Взнесенным, то увязнувшим в трясины;
Чтоб мысль и чувства выразить стихом,
Она язык дала нам толмачом;

Поизносился он — и в наше время
Непрочь отбросить здравой мысли бремя:
Бренчит, гремит и зал полупустой
Смешит чем хочешь — лишь не острой!

Ты проверяй себя: «Что я рисую?
Придворную ли жизнь, или простую?
За смехом я гонюсь иль за слезой?
«Лир» или «Лице-слуга» — кто мой герой?
Пишу я школяра или Мерлина,
Джон Буля иль скитальца Перегрин?»

Шотландский, дублинский, певуч ли, груб
Родимый говор всем на сцене люб,
И уроженец Вилтса иль Уэлса
На земляка бы ввек не нагяделся!

Преданью ль, вымыслу ль итти вослед?
Кого волнует, жил герой иль нет?
Но важно, чтобы верили поэту:
Так быть могло б, как он представил это!

Дрокэнсира ты пишешь? Пусть же он
Неистовствует, позабыв закон;
Дать хочешь бабью злобу? Есть на это
Неукротимая жена Макбета;
Спор зла с добром, поруганную честь —
Есть Констенс, Гамлет, чорт и Ричард есть!
Но если, новым замыслам покорный,
Захочешь ты свернуть с дороги торной,
Пусть верен будет сам себе герой
И до конца в согласии с собой.

Легко ль пройти, где пал, кто лучше нас?
Как оживить затасканный рассказ?
И все ж разумней взять сюжет готовый,
Чем сослепу плутать в интриге новой.
Однако ты не рабски подражай
И не слова, а мысли повторяй;
Не по пятам за прототипом следуй,
А следуй в том, чем он снискал победу.

Ты ж, юный бард, по воле злой судьбы
Трепещущий перед судом толпы,—
Пока поэмы нет в твоей тетради,
Не начинай, как Боулс, бога ради!
«Стремление к возвышенным трудам!..»
А что при всех потугах дал он нам?
Пригорков Саути не достиг, которым
Эпическую мышь родить бы впору!
Иначе некогда касаньем рук
Будил слепец смиренной лиры звук!
Нежннее флейты легкого дыханья
«О яблоке и первом ослушанье»
Он говорит — по ширится охват,
И вторят песне земли, небо, ад:
Вторгается во все, и неуклонно

Он нам свидетельствует о свершенном;
На мелочь не позарится, когда
Она прямому замыслу чужда
И нам дает, усилив наше зренье,
Не мглу от яркости, но луч в затменье;
А если правду с вымыслом сведет,
Никто границ меж ними не найдет.
Прельстить желаешь публику? Но раньше
Слух ублажи столговой великанше.
Ты жаждешь, чтоб овациями зал
Паденье занавеса провожал?
Я расскажу, как их списать поэту:
По книге жизни возрастом приметы
Учи всечасно; наблюдай по ней
Изменчивость сердец в измене дней:
Сперва младенец, не вошедший в разум,
Приверженный забавам и проказам,
Потом юнец, чей опыт и разврат
Его двадцатый год опередят.

Конец ученью! Он избавлен ныне
От дьявольской¹ виргильевой латыни.
Скучна молитва, лекций не понять,
И он спешит от Тэвела сбежать
В «Луга Фордхэма» (злополучный Тэвел,
Рачительный искоренитель плевел!
Меж сорванцов и педагогов он,
Как между двух воюющих сторон).
Взыскания, задачи, сходки, споры
Не заслонят ни лошадей, ни своры;
Со старшим груб, с ровесником сварлив,
Но с тароватым жуликом учтив
И любит лишь картеж да проститутку
(Хоть их клянет, обжегшись не на шутку).
А книгу разве с горя (в храм наук
Иных введет скучающий недуг).
Обобран, кредиторами измаян,
Пробился сквозь семестры до «М. А.» он,
Магистр Искусств! Но выше Клуб и Ад²,
Скажу вам, шулерское званье чтят!

Растратив пыл, ложится в дрейф юнец,
Благоразумный, как его отец:
Женат на деньгах, взял друзей по рангу,
Купил земли, не доверяя банку;

¹ Гарвей, сей «циркулятор» циркуляции крови, нередко в порыве восторга отбрасывал Виргилия со словами: «В этой книге — дьявол!» А тот тип, который рисую я, тоже мог бы отбросить книгу прочь, но, пожалуй, сказал бы при этом: «Пусть ее к дьяволу» — и не по нелюбви к поэту, а по вполне законному отвращению к гекзаметрам. В самом деле, школьное терзание «долгими и краткими» способно внушить человеку неприязнь к поэзии на всю его остальную жизнь — и, возможно, к его же благу.

² «Ад» — так зовется игорный дом, где вы рискуете мелочью, но где вас изрядно палуют. «Клуб» — приятное чистилище, где вы теряете больше, но якобы без обмана.

Сидит в сенате, сына ж держит там,
В почтенном Харро, где учился сам;
Нем, коль нельзя по общему примеру
Кричать «ура!» И прочит сына в пэры.

Но старость подошла, немеют члены;
Чтоб не согнали, сходит он со сцены.
Он копит. Скупостью с ветвей сняты
Тщеславия багряные листы.
Ведет процентам счет и — хоть не очень —
Наследника долгами озабочен;
Там купит, здесь продаст; учел, сметлив,
Уроки жизни — смерть одну забыв.
Брызглив, придирчив, туп и привередлив,
Все времена он славить рад — промедлив
Хвалить свое! И вот, полузабыт,
Угас и, неоплаканный, зарыт.

Но возвращаю к драме стих послушный
И к предписаньям, как они ни скучны.
Хоть зрительниц мы легче прослезим
Тем, что покажем, а не скажем им,
Все ж многое, что в хронике хранится,
Вытаскивать на сцену не годится.
Слух все снесет, пред чем сробел бы глаз,
А ужас чувство приглушает в нас.
Я — бритт, но галлом не боюсь прослыть я,
Внушая избегать кровопролитья.
Вид крови, хлещущей из ран, претит
В трагических местах — но только вид!
Волнует нас игра страстей, не бойня...
От ней тошнит, а на душе спокойней.
Не на глазах у зрителей Макбет
Свершает то, чем потрясет он свет.
И у кого смотреть достало б ночи,
Как черный Губерт жжет младенцу очи?
Ирину Джонсон удушил, а зал
Спас бедную¹ — ну это ль не провал!
Бог милостив! Изгнал наш век терпимый
Метаморфозу вон из пантомимы:
Осмондова арапа Льюис сам
Змеей средь эльфов не представит нам.
Где радость или скорбь не знает меры,
Там зритель вовсе не дает им веры.
Но, боже! Автор в наши дни таков,
Что героинь он высинить готов!²

¹ «Ирина должна была произнести две строки с петлей на шею; но зрительный зал заголодился: «Убийство!» — и она вынуждена была уйти со сцены живой». — См. Босуэл «Джонсон».

² В послесловии к «Привидению в замке» мистер Льюис говорит нам, что хотя в те времена, когда протекает действие драмы, чернокожие в Англии не были известны, он допустил этот анахронизм, дабы усилить сцену; и если бы он мог произвести впечатление, «представив свою героиню синей (цитирую его дословно), то синей бы ей и быть».

О Дон Поэт! Молю, коль не дурак ты!
Хоть толпы смертных нагони ты в акты,
Но духов не тревожь — иль сам же, друг,
Спасайся лучше в пресловутый люк!
Первей всего, что мерзко в жизни нашей,
Я оперу, как Дэннис, гнал бы взащей,—
Где все нам — гнев, любовь, убийство, суд,
Вплоть до морали — в пенью поднесут!
О, дар друзей заморских, дар последний
Гесперии и Галлии соседней!
(Наполеон в «эмбарго» не включал
Шпионов, шлюх, певцов — их он сплавлял.)
Наш пышный город, там простерший стогны,
Где пахарь хлеб растил (а ныне, согнан,
О хлебе молит) — строг и величав,
Не признает недорогих забав.
Глядишь, уселся, заплатив за место,
Торговый туз под пыткой оркестра:
Вскрапнуть он рад бы — но ведь это срам!
И пытку bis'ом он удвоит сам.
А там толчись «аллеей мод» в тревоге
За свой наряд и за большие ноги,
Всю ночь без роздыха, пока сигнал
К исходу занавес, упав, не дал.
За что ж страдает он? Могу сказать я:
Уплючено — за кресло и за платье!

Итак, этрусский евнух, процветай!
Дай скрипок нам и дурня не валяй!
Актером древле был слуга господень³
(Плясал Давид — и богу был угоден).
Село любило в праздник рождества
Игру и шутки ряженых сперва;
Потом средь совершенств, позднее сданных
В архив, явились Панч с кумой Джоанной
И всё ревяться — терпит, как на грех,
Бенволио их неприличный смех,—
Сей пэр, пороки гнавший без потачек:
Бокс, нищенство, божбу — все, кроме скачек⁴.

Сменила фарс комедия — и тут
Весну принес ей пересемешник Фут
Неистовый! Первейшему вельможке
Он спуску не давал и в шутку, боже,
Серьезнейшие вещи обращал:
Парламент, церковь, суд и арсенал,

³ «Первые театральные представления, называвшиеся «Мистериями» и «Правоучениями» («Моралитэ»), обычно разыгрывались на рождество — сперва монахами (как единственными знавшими грамоту людьми), а позднее — священниками и студентами университетов. Действующими лицами этих пьес были обычно Адам, отец небесный, Вера, Иорон и т. д. и т. д. — См. Уортон, «История английской поэзии».

⁴ Бенволио никогда не бьется об заклад; но всякий, кто содержит скаковых лошадей, тем самым поощряет все виды зла, связанные с ипподромом. Воздержание от пари отдает фарисейством. Разве это снимает вину? Не думаю. Что-то я не слыхивал, чтобы сводил слуха целомудренной, потому что она сама лично не совершает прелюбодеяния.

Законы, армию и государство,
И моду, и поповское коварство...
Ты нынче нем, наш Йорик, бедный Фут!
Кто любит смех, все о тебе вздохнут.

Но нам смешна напыщенность жаргона
Для королей — создание гистриона.
«Хрононготонтолог умрет!» — и в роль
Вошел, не ходит, шествует король.

С тобой бы, Мосх, нам посмеяться шумно
Хоть глупостям, когда не шутке умной!
К тебе из кельи цинрика ужель
Для свифтовского «Vive la bagatelle!»¹
Не выйду я, дабы предаться здесь нам —
В Элладе, как везде, — пирам и песням!
Нам Евфрозина скрасит каждый час
И даже в смертный не покинет нас!
В постель нам, как язычнику Платону,
Подсунет фарсов томик незаконный!²

Вернемся к драме! Дух ее чуть жив
В цепях Вальпола; блеском ослепив,
Коррупция ее сразила; светом
Предпочтена ей опера с балетом.
Но Честерфилд, своим статьям вразрез,
Возвысил голос за свободу пьес³,
Не оробев перед мигренью пэров
И злясь на тупость лордов-камергергов.
Отменим акт! Пусть вновь бушует смех
На сцене — дома хватит слез про всех!
Пусть дуралей рогов от нас не прячет,
Пусть Эстифанья «Медный лоб» дурачит;
Скудна мораль — но это мы простим,
Не лекций, развлеченья мы хотим!
А тем, кто под влияньем пьес склонились
К добру или злу — придай им силы, Виллис!
Ну, а пример Мак-Хиза? Бросьте, вздор!
Не по нему — сложился раньше вор!
И сколько б Кольер их ни клял досужий,
От пьес ни лучше мир не стал, ни хуже.
Пощады, методист, для сцен, для пьес!
Не жги ты Друри, если б он воскрес!
Но что звать к ханжам? В земном усердьи
Небесное не дышит милосердьи,
И пуританин, как папист, готов
Вздыхать в душе о времени костров.
Как зрит Сервета казнь Кальвин суровый,
Так сектам упиваться б жертвой новой;
Солиму гимн и в наши дни поют,
И греховодники о вере врут,

¹ Да здравствует шутка! (Франц.)

² Под подушкой у Платона в день его смерти был найден том «Мимов» Софрона. — См. Бартемея, де По или, если угодно, Диогена Лаэртца...

³ Его выступление по поводу «Акта о Цензуре» — один из лучших образцов его красноречия.

Пока спешит казнить слуга господень
Тех, кто ему особенно угоден.
И Симеон⁴ подчас копытом бьет,
Где Бакстер лишь лопатой толкнет⁵.

Кто следует природе, пишет так,
Что это легким мнит потом простак,
Но десть испишет, ногти обкусает
И свой провал в унынии признает.

Умолкни, пастораль! Ну кто бы мог
Поспорить с Попом в прелести эялог?
Но учит он, изысканный чрезмерно,
И Филипс наш, цинизму слишком верный,
Как трудно меру знать — и в остроте
Не впасть в ошибки эти или те.

Вульгарный автор ныне осужден:
Изыщный вкус вошел у нас в закон;
А грубость шутки, непристойность слога
Нам нравилась у Свифта, но, ей-богу,
В наш милый век их ставит под запрет
И мещанин — не только высший свет.

Мир вам, ошибки Свифта! Скрасил вас
Он остроумьем, коим Гудибрас
Один ему равнялся несравненный,
Чей автор достиг свой предрезновенно
Усек на две стопы — и тот с тех пор
У фаворита муз вошел в фавор.
Хоть осмысленник по закону моды
В высоком строе годен лишь для оды,
Скотт взял его — и стало ясно всем,
Что этот стих не чужд сложнейших тем
И, мастерски меняемый, он выше
Порой и героических двустийшии,
Особенно в любви и войнах: тут
Изменчивости столько и причуд —
То нега, то порыв страстей высокий —
Их исказил бы рифм повтор далекий.

Бывает, тонких судей оттолкнет,
Что нравится другим — нестрогий счет.
Бард извинится, но нельзя ж на этом
Английским успокоиться поэтам!

А можно ль барду умерять свой пыл,
Чтоб критик полстроки не разбил?
Все отсекает, к чему придаться б мог он,
Ради патента на исправность слога?
Жизнь изгонять из строк, боясь хулы
За промахи, — не ради похвалы?

⁴ Мистер Симеон — первый заира среди сектантов и гонитель «Добрых творений». Его доблестно поддерживает Джон Стигис, виноградарь того же вертограда; но лучше уж я промолчу, ибо, как узнал Джонни на молитвенном собрании, «нет надежды для смеющихся».

⁵ «Банстеровы лопата для толстозадых христиан» — таковое дополнительное название книги, которая имела когда-то успех и сейчас, кажется, снова входит в моду.

Вы, ищущие совершенства, рады
Читать всю жизнь творения Эллады.
А наши деды прожили без дум
О том, чем нехристь свой тревожил ум;
Кто и умел читать, обыкновенно
Всех выше ставил Чосера и Бена;
Его пленить капризный, легкий мог,
Но уж никак не благонаправный слог.
Пусть греческий мы чтим канон — а все же
От дедов отречься нам негоже!
Мы — эрудиты, нам не в труд теперь
Изысканное отличить: но верь,
Огрех стиха мы, не смутившись этим,
Порой не ухом — пальцами отметим.

На наших островах, не знаю, встарь
Кто первой трупной был; и в инвентарь
Бездомной музыки в кочевые годы
Входила ль, как у Фесписа, подвода?
Но со времен Шекспира, спору нет,
Театры помпой изумляют свет,
И Мельпомена блещет на престоле
Игрой алмазов, отлитых в Бристоле.

В комедии старинной сочный смех
И вольность шуток развлекают всех,
Хоть непристойность вне законов сцены —
По крайней мере в пьесе современной.

Бард предприимчив: все б он испытал!
Но не услышат в Англии похвал
Те, кто к английским темам обратятся,
Тупицам предоставив пробавляться
Игривостью французской иль слезой
Немецкою. Где тот язык живой,
Который поэтической по праву,
Не только философской, хочет славы?
Но бард спешит, как будто не подстать
Ему, как Попу, строки шлифовать.

Ты ж, лорд пера, чей глаз по томам рыщет,
Злорадствуя, когда оплошность сыщет!
Оступимся — пощады нам не дашь...
На ломкий ноготь пробуй мрамор наш!
Безумными нас Демокрит находит,
Но критик злей; он сам с ума нас сводит.

Страшится смеха бард, но, как на грех,
Он сам порой напросится на смех:
Ленив, неряшлив, продранные локти,
Не брит неделю, с год не чистил ногти,
Шарахается от людей, чудак,
И под жильем облюбовал чердак.

Немного рифм, а мыслей вовсе нет,
И признан ты поэтами, поэт.
Настаивай хоть бочку чемерицы,
Твой разум к толку век не обратится.

Над озером живи ты, как Вордсворт,
Да с Блейком¹ раздружись ты, гривой горд,
Издай стихи — и побегут вприпрыжку
За вашим благобардием мальчишки.

Пред тем как сесть писать, — дав свой зарок:
Как Бейс, я моюсь с головы до ног.
Когда ж сей мерой не унял я желчи,
Нет стилия в мире бешеной и колче!
Но так как (самолюбие ль виной?)
Мне славу легкой не купить ценой, —
Как жернов, стану я работать даром,
Сам притупясь, точить с упрямым жаром
Чужую сталь; писать, уча других,
Как надобно слагать приятный стих
По стройному горациеву ладу...
И на своем примере, как не надо!

Хоть и не принято, а стоит все ж
Задуматься, когда перо берешь;
Что писано на тему, ты разведай,
Прочти — и до источников проследуй.

Кто, помня долг пред родиной своей,
Простил врагов и ублажил друзей;
Кто держится, не разжигая злости
Ни в брате, ни в отце, ни просто в госте;
Не требует нигде и никогда
Реформ сената, церкви и суда;
Кто, мудрый тайным помыслом, не речью,
Учтет (и с пользой!) слабость человечью —
Вот чей пример пленить поэта б мог,
Вот на кого равнять и жизнь и слог!

Бесхитростный рассказ, в котором больше
Ума, чем тонкого умения, дольше
В сердцах и мыслях властвует порой,
Чем звонкий стих, изящный, но пустой.

Моя Эллада! Не твоих сынов ли,
Служивших беззаветно не торговле,
Мельчащей дух, — искусству и войне,
Взыскала муза? А у нас в стране
Мальчишкам (кроме тех, кого научат
Скандовкой раньше, чем письму обучат)
Отцы долбят: «Где грош убережешь,
Там, мальчик мой, ты в барыше на грош!»
— О, чадо Сити! Вычти из полкроны
Два шиллинга. — А карапуз смысленный:
«Шесть пенсов!» — Bravo! быстро сосчитал!
Удвоишь, плут, отцовский капитал!

¹ Цырюльник, столь же именитый, как сам Лицин, но лучше оплачиваемый; он может, подобно Лицину, стать в один прекрасный день сенатором, обладая для того более высокой квалификацией, нежели большинство остригаемых им голов — ибо он независим.

Кто с малых лет испорчен ржавью этой,
Того напрасно прочить нам в поэты.
Локк учит, что родитель будет прав,
Стихи подальше от детей убрав.
Он рек, и не один: «Влиянья бредней
Лирических нет ничего зловредней!»
В богатых древле Дельфах нет сейчас
Ни золота, ни серебра про нас;
Зане Парнас, как ведомо Европе,
Беднее Ира¹ иль ирландской копн².

Развлечь, наставить — эта цель иль та
(Когда не обе) бардом принята.
Будь, поучая, краток до предела,
Чтоб наставленья в памяти засело;
На дыбе долгих слов она, что воск;
Кладь лишняя, как спину, горбит мозг.

Фантазию представь ты правдой взору,
А сказкой тешить лишь младенца впору;
Поверить чуду мало кто готов,
Нам неуютно в чревах у китов.

Милы прикрасы юности нестрогой,
Но зрелость просит мысли хоть немного.
Иль скажем так: для всех ты, бард, хорош,
Когда к морали острый смысл привьешь;
Тогда тебя улыбкой дарит критик
И богомольный опекает нытик;
Великодушный Лонгман, поглядишь,
Тебя издал, учуяв, где барыш,—
И вскоре мода Лондона кичливо
Перешагнула Твид и два пролива.

Кто без греха? Бывает, арфа вдруг,
Из тона выпав, даст фальшивый звук,
Иль голос подведет певца — о ужас! —
И только писк он выдавит, натужась;
Сплошает пес, не даст огня кремень
И пуля (к чорту!)³ не найдет мишень.

Где все живой играет красотою,
Нас не должно пугать пятно, другое,
И мы простим и людям и стихам,
Порок природы здесь — и стили там.

¹ «Igo paupregior» [«Беднее Ира» (лат.) (Ред.)]. Это тот самый бедняк, который вступил в кулачный бой с Улиссом из-за фунта жареной козлятины: он лишился ее — и впридачу еще подложники зубов. — См. «Одиссея», п. 18.

² Ирландский золотой рудник в Уинкло дает золота ровным счетом на понюшку — или на позолоту одной фальшивой гинеи.

³ Поскольку мистер Поп взял на себя смелость послать к чорту Гомера, перед которым был в превеликом долгу, — «И Гомер (чорт его побери) призывает», — следует считать установленным, что можно кого угодно в порядке поэтической вольности послать к чорту. Я во всяком случае позволю себе сослаться в свое оправдание на столь знаменитый прецедент.

Но если насмех недругу и другу
Презрел советы автор и с натугой
Все дергает фальшивую струну,
Тогда нещадно с ним веди войну!
Он пропадет, как Гевард: сей повеса
Вдруг разрешился неплохою пьесой.
Не верили сперва. Но аноним
Раскрыт — и что ж? — простилась слава с ним!

Заснет Мильтон, и каждому обидно;
Все ж в длинной вещи роздых взять не стыдно.

Поэмы, что картины: на одни
Гляди вплотную, выдержат они;
Другие ж лучше с расстоянья. Эта
Тень предпочтет, другая просит света,
И строгий глаз судьи не страшен ей:
Чем дольше смотришь, тем она новей.

Ревнитель муз! Влечение ль, или случай
Тебя увлек ползти парнасской кручей,
Одумайся: заветной высоты
Достичь немногим — впрямь ли взыскан ты?
Суд, государство, церковь, флот наградой
Венчают ум не первого разряда;
При здоровом смысле в гору там идут;
Не всяк тот Эрскин, кто морочит суд!
Поэзия ж не знает середины,
Здесь тот на дне, кто не достиг вершины;
У всех в презренье серенький поэт —
У бога, у людей и у газет.

Мой Джеффри! Рог пропел! Призывный рог!
Во мне огонь, с каким взирать бы мог
Умильный каледонец на томленье
Саутиан в застенке обозренья,
Иль для прикрытья «благолепных дел»
Эклектик веру б набожно раздел,—
Огонь, с каким вступать нам должно в битву:
Лети, мой славный сокол, на ловитву!
Мчись, гордость Дунедина! В добрый час!
Бег по тебе равняет мой Пегас.
Встань, Джеффри мой! О, никогда, запомни,
На меньшего не наострить перо мне!
Ты на примете у меня — и вот
«Бить не могу я этот жалкий сброд!»
Жестокий сак! Ужель расторгнешь узы,
Моей свободно избранные музой?
Хулитель милый песен школьных дней,
Встань, мсти за злобу зрелости моей!
Меня ты ранил, незадетый,— ныне ж
На дерзкого ужель ты меч не вынешь?
Как, ты ни слова? Так я низко пал,
Что мне пощаду беспощадный дал?
Нет больше ярости в тебе, нет злобы
На знать, на олухов чистойшей пробы,
Потомственных; иссяк острог запас
О недоросле, ползшем на Парнас?

Затем ли на Скамандре, как и всюду.
 Я вел мечту не к Трое, к Голируду,
 А домоседка — ненависть моя
 Была с тобой, пока скитался я?
 Но хватит слов! Что разбирать обиды!
 Алексей отвернулся от Кориды.
 На Джеффри зря стихов не траять, поэт,
 И гнева страстного не жди в ответ.
 Что ж? В критики пошлет другого сына,
 Полуживого с голоду, Эдина;
 Другой придет шотландец — не остер,
 Но рыбных рынков первый горлодер.

Как вместо рыбы жаба на пиру
 Наш оскорбляет глаз и как икру
 Не ешь ты с чесноком или с вареньем, —
 Такую смесь почли бы преступленьем. —
 Как нынче мак в пирог хоть не клади,
 Так и в стихах: лишь лучшее в чести.
 Позвать гурмана на бифштекс наивно;
 Стихи, когда не восхитят, противны.

Плохим стрелкам носить ружье не в честь!
 Кто не пловец, не должен в воду лезть;
 И прежде, чем в кулачный бой ввязаться,
 У Джексона не грех поупражняться.
 Рапира ль, палка ли, кулак — во всем
 Владение сопряжено с трудом.
 Но пятьдесят тупиц без проволочек
 Вам нарифмуют по сто тысяч строчек.
 — А что такого? С честью ж я сижу
 В «гнилом местечке»; захотел — пишу!
 Потомок тех я, с кем сидел бы кворум,
 Кто вольно жил в имении, в котором
 Остался я наследником прямым
 Конюшен, псарни и впридачу к ним
 Доходов всех, какими те владели,
 Причем двойной плачу налог, — так мне ли
 При родословной, безупречной столь,
 Скрывать мою «аттическую соль»?

Так мыслит чернь дворянская. Но вам
 К тому б таланта нужно хоть на грамм.
 Возьмите ж это в правило, бросайте
 Печатать тренкьян в манере Саути,
 А тот, бог даст, передохнет пять лет,
 Пока Талабой вновь подарит свет.
 Эх, Саути, надо б вам (обиды к чорту!)
 Три новых вещи сжечь и пол четвертой...
 Пустой совет! Что издано, назад
 Пирожники, увы, не возвратят!
 Хотя «Мэдок», подласться к «Иоанне»,
 Вернуться в Квито мог бы... в чемодане¹.

¹ Подобно «Ричарду» сэра Бленда Бургесса, десятую книгу которого я прочел на Мальте, на крышке чемодана со штампом «Эйрес, 19 Конспурстрит». Если это встретит недоверие, придется мне купить и показать чемодан.

Назон и Ламприер твердят: Орфей
 Лютейших за ухо водил зверей,
 Всех, кроме жен, — и, заиграй сейчас он,
 Львов Тауэра пустил бы, верно, в пляс он.
 И Амфион (вот истый менестрель!)
 Не звал бы Рена строить цитадель.
 Поэт в Элладе правил суд, и лирой,
 Констеблей лучше, там служил он миру:
 Громил прелюбодеянье, сзывал
 Собrania по графству, укреплял
 Без десятины церковь, блюл законы
 И подсекал реформой власть короны.
 Зато на всю Элладу и Восток
 Он славился как жрец и как пророк —
 Духовный пастырь, по двойному праву
 Склонявший царства под свою державу.

Потом пришел князь эпоса Гомер;
 Как битвы петь, он дал векам пример.
 И вот Тиртей ведет войну для Спарты
 (Хромой стратег, он все ж годился в барды);
 Противилась Ифома много лет,
 Но стены песней сокрушил поэт!

Оракулы стихами неуклонно
 Вещали миру волю Аполлона.
 Так если стих прекрасен и не в срам
 Бессмертному — его ль стыдиться нам?

Знай, муза — женщина: мы без ума,
 Она ж то чопорна, то страсть сама;
 Злей новобрачной в первом страхе, кротче
 Ее же, но к исходу новой ночи;
 Лютей жены: трепещут пэр и мэр —
 Вчера покорна, нынче гренадер!
 Во взоре ласка, в сердце камень, право:
 На людях — лед, а с глазу на глаз — лава.

Где в стих ты вложишь пыл и мастерство
 Там и природа оживит его.
 Без гения, без внутреннего жару
 Претит искусство; но с природой в пару
 Оно всеильно — если крепость уз
 Для них святее, чем для нас союз.

При тренировке к бегу иль ристаньям
 Готов ко всяким юноша терзаньям:
 Трудись, когда зовут в кафе друзья,
 Нельзя вина и к девушке нельзя.
 Кто не поет? Но, чтобы петь с эстрады,
 Пройти тернистый путь певице надо.
 То ль дело рифмачи! Рифмач сказал:
 «Есть у меня поэма вам в журнал!»
 Сел, мигом настроил и мчитесь к прессу —
 Как будто душу уноса от беса.
 Бегут печатать; шрифты нарасхват;
 К прилавку стать все скопом норовят
 Сановники, девица, пастор хилый...

И баронеты — глянь — спешат в чернила
 Кровавые окрасить пятерни!
 Проси налчных, не сморгнут они:
 Резвится Поллион — хоть вдвое требуй!
 (Так банк впервой открыл кредиты Фебу.)
 А эти кто? Как ток, из головы
 Орфея хлынувший? Те, кто мертвы:
 Цветут посмертно — вырыли, поди ты,
 Всех из могил, а ведь живьем зарыты!
 В любом журнале ты найти бы мог
 Подвижников стиха мартиролог.
 Мне ль не жалеть их? Промелькнут, как гости,
 Кто в «Мансли мэгэзин», кто в «Морнинг посте»:
 Там автор первые приткнул стишки
 И тотчас выпек том... под пирожки.
 Так брось, мудрец, бряцать! Пусть баронеты
 Да лорды бредят музой иль поэты
 Криспиновой породы — менестрель,
 Усвоивший дорийский слог и эль.
 Внимай той песне, сладкой и снотворной,
 Что пел для Ллофта¹ чеботарь проворный²,
 И уши у того под нежный звук,
 Как у Мидаса, вытянулись вдруг.

Для ссор грядущих впрок один друид
 Кропает вирши — жалкой мести вид.
 Мозг намозолив, он печатать будет
 Ошибки те, что дружба не осудит.
 (Когда не дружба, эгоизм, ей-ей,
 Внушить бы мог не путать падежей!)
 Что стыд ему? Он все себе позволит,
 Он желчной прихоти своей мирволит.
 Пренебреженьем мнимым он задет,
 Улыбкой, шуткой — и уже в памфлет
 Спешит излить сокрытую обиду,
 Как, впрочем, и положено друиду...
 Услышал он свой слишком шумный смех,
 Стихотвореньем ты снискал успех —
 О, трепещи! Писаку злорада гложет.
 Прости тебя господь, а он не может:
 Что ж! В одах не расцвел его венец,
 Так пусть цветет в сатире наконец;

¹ Этот благонамеренный джентльмен загубил одного превосходного сапожника и был повинен в поэтических грехах многих бедных тружеников. Вслед за Натаниелем Блумфилдом и его братом Бобби ударился в пение весь Сомерсетшир; и эпидемия не ограничилась одним этим графством. Так же и Пратт (который был прежде умней) подхватил заразу покровительства и загубил одного бедного малого по имени Блэнкет, произведя его в поэты; но тот не перенес операции и помер, оставив в крайне бедственном положении одну дочь и два тома «Посмертных произведений»... Покровители бедняги Блэнкета, несомненно, повинны в его смерти, и они должны были бы ответить перед судом...

² Приношу извинение Натаниелю: он не чеботарь; он портной: правда, он просил Нейпля Ллофта не указывать профессию в предисловии к двум парам обуви... тыфу... песен, предлагаемых вниманию публики, но патрон пропустил просьбу мимо ушей...

Им не подняться, песням тем зловонным.
 Летейским травам, хилым, липким, сонным;
 Но, вскормленные грязью, о, теперь,
 Теперь они... раскупятся, поверь!
 Когда иной богатый бард (откуда?)
 В природе разве есть такое чудо?),
 Когда иной придворный строчкогон
 Иль пары-рифмачи (их легион!),
 Всех проводив, оставив одного лишь
 Священника (ты беден, так изволь уж
 Зевать в ладони!), засадят бедняка
 Читать их драмы вслух у камелька, —
 Как скорбно тот листает текст, скучнее,
 Чем проповедь, и в десять раз длиннее!
 Но не жалеть же глотку, коль приход
 Обещан вам, а ректор хвор. И вот,
 В седьмом поту, священник поминутно
 Роняет (бог ему судья!): «О, чудно,
 Божественно!» — и полуночный зал
 Следит, как чтец, охрипший от похвал
 (Какими искони за горький хлеб свой
 Зависимое платит рабство),
 Такт отбивает сапогом, глаза
 Таращит так, что в них блестит слеза,
 И в набожном восторге замирает:
 Притворщик вечно роль переиграет!

К высокому стремясь, не верь ты всем,
 Кто хвалит пышный слог твоих поэм:
 Когда, прослушав, скажет друг: «Исправь-ка;
 Здесь выкинь стих, а тут нужна добавка»,
 Не ты, намучившись, ни полстроки
 Не выправишь, и скажет друг: «Сожги!» —
 Мгновенно брось в огонь бумагу эту:
 Совета ты просил, так верь совету.
 Когда ж не правишь ты, как бард, упрям,
 Того, что оправдать не можешь сам,
 Когда решил ты выкормить ублюдка,
 Больное чадо своего рассудка³ —
 Что ж, я молчу! К чему здесь толк да суд?
 Здесь уговаривать — напрасный труд.

Но если мысль тебе всего дороже
 (Как добрым критикам — и бардам тоже)
 И если друг, придирчив и суров,
 Перечеркнет тебе немало строк, —
 Смирись, откинь прикрасы те и эти;
 Пусть друг смеется, а не все на свете.
 Брось луч на то, что слишком уж в тени,
 Где смысл двоится, строчку измени;
 Нам друг, что «Джонсон» — слова не оставит
 Нелепого, пустяк, и тот поправит.
 Ведь и пустяк наносит крупный вред,
 И критик выжмет из него обед⁴.

³ «Чадо рассудка» — Минерва первая родилась из головы Юпитера, открыв собой ряд других столь же непостижимых порождений на земле, как «Мэдон» и пр., и пр.

⁴ «Кусок хлеба для критиков». Слова Бейса в «Репетиции».

Все, как рылейной стонущей струны,
Как вредного воздействия луны,
Поэтовых страшатся излиятий —
Как кельнер фиц-рифмаческой гортани:
Ты слушай семь минут, а и одна,
Как поздравительная речь, длинна,
Как год конца аренды: бунт сегодня,
Притихнув, ждет, чтоб лендлорд плату поднял.
Случись такому, бормоча свой вздор,
Не видя, где канава, где забор,
Брести и вдруг, на взлете необычном,
В колодец свергнуться и крикнуть зычно:
«Веревку! Гибну!» — ни одна душа
Не кипится спасать; все не спеша
Пройдут, подумав: «Утопился сдуру —
И пусть, коль так угодно трубадуру!»
Из случаев премногих приведу
В пример один — и подведем черту.

Жил некто Баджел, рифмоплет и плут;
По глупости (иной превратен суд),
В хандре, в долгах, преследуем законом,

Он прыгнул в Темзу — чтоб прослыть Катоном¹.
С тех пор пошло: топись, травись поэт
Иль вешайся — ему запрета нет.

Спасти самоубийцу вы могли бы,
Но, жизнь презрев, не скажет он спасибо:
Он смерть избрал свободно — так ужель
Лишится этой славы менестрель?

Да и стихи порой, могу сказать я,
Терзают совесть барда, как проклятье.
Хлебнул² он в праздник скверного винца
Иль опозорил с девкой прах отца —
И вот, томим рифмаческой чесоткой,
Он воет, злей медведя за решеткой.
А вырвется — вскачь от его стихов
Спасаются простак и острослов.
Но кто попался в когти, с тех — о боже! —
С живых скандовкой он сдирает кожу,
Зондирует, вошел ли в мясо клык,
И кровь сосет... как подлый ростовщик.

1811

¹ На его столе была найдена записка с такими словами: «Что свершил Катон и что оправдал Аддисон, не может быть дурно». (Аддисон вовсе не «оправдал»; а если бы и так, это не меняет дела.) Он приглашал свою дочь принять участие в прогулке на реку; но мисс Баджел посчастливилось избежать этой последней отцовской милости. Так пел сей льстец, низкопоклонствовавший перед «Аттиком» и гонитель Попа!

² Если выражение «хлебнул винца» покажется изменным, я позволю себе сослаться на горадиев оригинал, где читатель найдет кое-что еще более низменное; и если он сумеет перевести слова Горация «*Minxerit in patrios cineres*» и т. д. [«Помочился бы в пепел отцов» (лат.) (Ред.)] благопристойным двустушием, я вставлю оное двустушие на место своего.

ПРОКЛЯТИЕ МИНЕРВЫ

Афины, монастырь капуцинов, 17 марта 1811

Мсдлительно с небес в морской простор
Садится солнце у Морейских гор;
Не скрыто северными облаками,
Сверкает ярко солнечное пламя
И золотит зеленую волну,
Свой желтый луч бросая в глубину.
И Гидры остров и Эгины скалы
Бог радостный дарит улыбкой алой,
Свой край любимый осветить он рад,
Хотя здесь алтарей его не чтят.
Целуют тенью горные вершины
Залив непобедимый Саламина!
Их голубые кручи в вышине
Блестят в его пурпуровом огне,
Обозначая путь небесный Феба,
Займствуя оттенки красок неба,
Пока не спустится он на покой
За темною Дельфийскою скалой.

Афины, вечер был вот так же светел,
Когда мудрейший муж час смерти встретил.
Смотрели лучшие твои сыны,
Как меркнул день,— минуты сочтены!
О, нет еще — горит в горах сиянье,
Все длится драгоценный час прощанья!
Но мрачно солнце для печальных глаз,
И отблеск розовый вершин погас,
И проливал угрюмый свет с лазури
Феб, что всегда сиял, лица не хмурия,
Но прежде, чем последний луч потух,
Был выпит яд — и сгинул светлый дух.
Смерть презирал он, страхом не тревожим,
И жил и умер так, как мы не можем.

Но вот вдали с Гиметовых высот
Царица ночи тихий свет свой льет,
И лик ее, сверкающий в лазури,
Не омрачен туманом близкой бури.
Ее лучистый отблеск отражен
Мерцаньем белых мраморных колонн,
Ее эмблема голубого света —
В мозаике блестящей минарета.
Разбросанные рощицы оливок,
Где Кефиз гонит скудных вод разлив,
И кипарис, мечети страж всегдашний,
Турецкий павильон с цветистой башней,
И храм Тезея, — пальма лишь одна
Растет там, одинока и грустна,—
Все красотою взоры привлекает,
И лишь слепой ее не замечает.

Простор Эгейский яркоголубой
Стихии не мутят своей борьбой,
И волны катятся чредою мирной,
Сверкая ширью золотой, сапфирной;
Лишь там вдали мрачится синева,
Где встали темной грудой острова.

Так в храме беломраморном Паллады
Я любовался красотой Эллады.
Ее искусства, подвиги до нас
Дошли, как поэтический рассказ.
И в час, когда стоял я в древнем храме,
Не раз уже разграбленном врагами,
Ты возникала, как виденье сна,
Излюбленная славою страна.

Часы текли, и вот к зениту близко
Диана вознесла сиянье диска.
Звучали отзвуки моих шагов
В святилище исчезнувших богов,
В твоём, Паллада, храме! И Геката
Уже светила сумраком заката.
Средь мрамора холодного могил
Я только эхо мертвое будил,
Любуясь каждым мраморным обломком,
Что Греция оставила потомкам.
И вдруг сама Паллада предо мной
Явилась, освещенная луной!

Сама Минерва! Ах! Но не такую
Она сражалась под стенами Трои!
Не в том подобье и не с тем лицом,
Что Фидий изваял своим резцом.
Не в прежнем боевом и грозном виде,
Без головы Горгоны на эгиде.
Был шлем иссечен, сломано копье,
И не грозило смертью острое.
В ее руках увяла ветвь оливы,
Она ее держала молчаливо,
Туманила небесная слеза
Ее большие светлые глаза.
Сова над головой ее кружила
И ухала пронзительно, уныло!

«О смертный! — молвила богиня. — Стыд,
Позор тебя, британец, тяготит.
Вы были прежде первенцы свободы,
Но вас теперь уже не чтят народы,
Всех меньше я. Паллада вам не друг.
Причину хочешь знать? Взгляни вокруг.
Ведь меньшие мне причинили раны
Пожары, войны, варвары, тираны, —
Грабителей турецких, готских злей
Пришел грабитель из земли твоей!
Что сохранилось в оскверненном храме —
Сочти реликвии пред алтарями.
Что сделал Кекропс, чем Перикл велик,
Что в век упадка Адриан воздвиг,
То после них Аларих, Эльджин, двое
Грабителей, свершили остальное.
Откуда Эльджин вор пришел ко мне —
Написано здесь четко на стене.
Паллада вопиет о воздаянье,
Внизу здесь имя, наверху — деянья!
Всем показали грабежа пример —
Король вестготов и шотландский пэр!
Один — добычу взял, как победитель,
Другой — ее похитил, как грабитель.
Ведь если лев добычу растерзал,
Его объедки жадно рвет шакал.
Один ел мясо, а другой со злости
Обгладывал оставленные кости.
Но суд богов за преступленья строг:

Что Эльджин приобрел, чем пренебрег!
Смотри — там грязное другое имя.
Диана свет свой не прольет над ними.
Возмездья требует ужасный вид,
Венера за Минерву тоже мстит!»
В глазах ее сверкало гневно пламя,
Я возразил ей робкими словами:
«О дочь Юпитера! Такой вины
Не признают Британии сыны.
Свой гнев излей ты над другим народом:
Ведь твой грабитель был шотладец родом.
В чем разница? Беотия у вас —
Что наша Каледония сейчас.
Страной той дикой с дней ее начала
Богиня мудрости не управляла.
Ее природа, скудная сама,
Дает немного пищи для ума.
Земля бесплодная рождает плохо,
Ее эмблема — цвет чертополоха.
Ее считают лучшею из стран
Посредственностью, софистика, туман.
Ветра с туманных гор, с болот холодных
Там разжижают мозг голов бесплодных,
И мысль, как слякоть мутная, течет
Иль замерзает, словно снег и лед,
И тысячи различных чванных планов
Ее детей вдалеке гонят из туманов,
И за поживою на запад, юг, —
Не к северу, — они уходят вдруг.
Вот так — будь проклят день и год позора! —
Она к тебе прислала пикта-вора.
Все ж Каледония кой-чем светла,
Ведь Пиндара Беотия дала.
Немногие ученые, поэты,
Спасаясь, рыскают по белу свету,
Стряхнув родной страны нечистый прах,
Чтобы блистать умом в чужих краях.
Народ несчастный, может быть, спасется,
Коль десять праведников в нем найдется».

«О смертный! — молвила богиня мне. —
Я речь веду здесь о твоей стране.
В отпущение за преступленья это
Не дам я впредь ей мудрого совета.
В молчанье выслушай мой строгий суд,
Вам дни грядущие его несут.
На голову преступника проклятье,
На все его потомство без изъятья!
Да будет искры разума лишен
Его потомок каждый, как и он!
А если будет в ком-нибудь рассудок,
То, значит, в роде он своем убудок!
Пусть, пригласив художников к столу,
От глупости он слышит похвалу.
Пусть хвалят вкус изысканный патрона,
Продажа — вот в чем вкус его врожденный,
Ведь продал государству — о, позор! —

Сокровища награбленные вор.
Сам дряхлый Вест — в Европе наихудший,
А в бедной Англии художник лучший —
Сказал, что он с искусством стал знаком
Восьмидесятилетним стариком.
Пусть приведут боксеров из Сент-Гиля,
Чтоб с ними изваяния сравнили.
Пусть поглядят, забывши драки пыл,
На «лавку мрамора», что лорд открыл.
В ворота входят щеголи и фаты,
Болтать, бездельничать они все рады.
А девушки, поднявши грустный взгляд,
На статуи гигантские глядят.

С толпою в залу тусклый сумрак втерся,
Но все же виден мощный мрамор торса.
С тех пор как изменился человек, —
Каким был мужественным древний грек!
Вид тех и этих среди толпы безличной!
Завидуют все красоте античной.
Цвет юношей таких давно исчез.
Увы! Сэр Гарри ведь не Геркулес!
Толпой проходят зрители, глаза,
И редко кто-нибудь среди музея,
Награбленным богатством восхищен,
Клеймит презреньем вора, возмущен.
Его дела при жизни не простятся,
И проклянут в могиле святотатца!
Безумец жалкий сжег Эфесский храм,
И передан позор его векам.
Как Герострату, Эльджину с ним вместе
Готовится посмертное бесчестье;
Его с проклятьем будут поминать —
Черней на нем позорная печать.

Столетиям грядущим в поученье
Пусть встанет он на пьедестал Презренья!
Не одного его возмездье ждет,
Оно постигнет также твой народ.
Британия сама его учила
Так поступать, когда есть власть и сила.
Взгляни на Балтику — в огне она,
У вас идет с союзником война.
Не так советовала вам Паллада,
Ведь соблюдать все договоры надо.
Она от вероломства отлетит,
Оставив с головой Горгоны щит:
Дар роковой вас всех друзей лишает
И к Альбиону ненависть внушает.

Народ у Ганга, сбросив рабства гнет,
Империю всю вашу потрясет.
Там голову подняло Возмущенье,
Готовит Немезида вам отмщенье.
Поднимет Инд разливом бурный гнев,
От вашей крови северной зардев.
Вас гибель ждет! Я вам дала свободы,
Не разрешив поработать народы.

Испания вас за руку берет,
Выгалкивая из своих ворот.
Свидетелем будь, светлая Баросса!
Скажи, кто мужественно там боролся!
Союзник-Лузитания не раз
Спасала от меча бежавших вас.
О, славный бой! Измождены, устали
От голода вдруг отступили галлы.
Но отступленьем выигранный бой
Повлек три пораженья за собой!
Взгляни на то, что делается дома.
Отчаянье глухое вам знакомо.
Хоть слышен в Лондоне Разгула шум,
Но в нем Грабеж и Голод, он угрюм!
Здесь так иль иначе ограблен всякий,
И не дрожат, всего лишившись, скряги.
Кто воспоеет теперь «кредит бумажный»?
Не даст он взлета гнилости продажной.
Я всех премьеров за уши драла,
Но боги не исправят их дела.
Один лишь — государство обанкротив,
Мне внял, да поздно, — сделал все напротив!
Потом связался с Ментором другим,
Хотя Паллада не дружит с таким.
В парламенте ему внимали тупо,
Хоть говорил он, как обычно, глупо.
Как некогда лягушкам, был вам дан
Для почитанья царственный чурбан.
Вы чтите олуха-аристократа,
Египет лук обожествлял когда-то.

Ловите же, ведь дан вам краткий день,
Могущества исчезнувшего тени!
Вам не поможет наглое пиратство,
Пошло все прахом — сила и богатство!
Фонд золотой, что мир весь восхищал,
Давно растаял по рукам менял,
И ваши торгаши толпой наемной
Не процветают от торговли темной.
От набережных праздные купцы
Не шлют свои тюки во все концы,
Глядят на переполненные склады,
Ведь никому товаров их не надо.
Ткачи голодные, кляня судьбу,
Сломав станки, выходят на борьбу.
Где государственныи тот муж в сенате,
Советы чьи пришлись теперь бы кстати?
И руководства тон в речах угас,
К интригам даже вкус пропал у вас.
Одни лишь секты сумасшедшим бредням
Подвержены на острове соседнем.

Палладе не хотите вы внимать,
И правят вами фурии опять.
Они несут стране пожаров пламя,
Терзая грудь кровавыми руками.

Идет борьба, и не добьется галл,
Чтоб он в оковы бритта заковал.
Знамена, строй полков и блеск парада —
Беллона ими любоваться рада.
Рокочут трубы, барабаны бьют
И вызов наперед врагам всем шлют.
Герой, услышавший призыв отчизны,
На подвиг рвется, не жалея жизни,
И бьется сердце юное в груди,
Предчувствуя бой славный впереди.
Но все же лавры дешевы, поверьте,
Добытые ценою только смерти!
Разруха любит не сражений дни,
День милости ее страшной резни.
Сраженья отгремят, начнется вскоре

Ее промоченное кровью горе:
Вы слышали, что делает она,
Застрелен муж, похищена жена,
Разграблен дом, врагами сжато поле,
Все странно тем, кто не привык к неволе.
Скажи, как будут лондонцы с равнин
Смотреть, как вспыхнет город-исполин?
Спасаясь бегством, наблюдать, как пламя
Взлетит над Темзой красными столбами?
Не хмурься, Альбион! Ведь факел твой
Зажег на Рейне пламень роковой,
И к вашим берегам он донесется,
Кто раздувал его, тот не спасется.
Ведь жизнь за жизнь — небес, земли закон,
Кто поднял меч, тот будет им сражен!»

ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА

ПРЕДИСЛОВИЕ

(к первой и второй песням)

Большая часть этой поэмы была написана в местах, которые автор пытался в ней изобразить. Она была начата в Албании, а часть поэмы, посвященная Испании и Португалии, была сочинена на основании наблюдений, сделанных автором во время пребывания в этих странах. Быть может, эти замечания необходимы для установления степени точности описаний. Места, которые автор пробовал описать, расположены в Испании, Португалии, Эпире, Акарнании и Греции. Поэма сейчас останавливается на описании Греции; прием, который будет ей оказан, определит, рискнет ли автор повести своих читателей к столице Востока, через Ионию и Фригию: эти две главы являются только пробными.

Вымышленный герой изображен для того, чтобы придать произведению связность; это, однако, не означает, что автор намерен не допускать отступлений. Мои друзья, мнение которых я высоко ценю, высказали предположение, что меня могут заподозрить в намерении описать действительно существующее лицо в этом вымышленном герое, Чайльд-Гарольде; я прошу разрешения раз и навсегда отвести такое подозрение: Гарольд — дитя воображения, введенное для указанной выше цели.

В некоторых, совсем незначительных и частных подробностях можно найти повод для подобного предположения; но основные черты героя, я надеюсь, не дают никаких оснований для этого утверждения.

Быть может, не стоит даже говорить о том, что титул «Чайльд», как в «Чайльд-Уотерс», «Чайльд-Чайльдерс» и т. п., употреблен как более всего соответствующий старинному стихотворному складу, который принят автором. Прощальная песня в начале Первой песни была навеяна прощанием лорда Максвелла в «Пограничных песнях», изданных Скоттом.

Могут быть обнаружены некоторые незначительные совпадения между первой частью поэмы, в которой идет речь о Пиренейском полуострове, и различными стихотворениями на испанские темы, напечатанными за последнее время; но эти совпадения будут случайными, так как вся поэма, за исключением нескольких заключительных строф, была написана в странах Ближнего Востока.

Спенсера строфа, согласно мнению одного из наших наиболее выдающихся поэтов, допускает выражение самых разнообразных чувств и мыслей. Доктор Битти по этому поводу замечает: «Не так давно я начал писать поэму стилем и стихосложением Спенсера, причем я намерен дать полный простор своим желаниям и быть забавным или возвышенным, чувствительным или холодным, нежным или сатирическим — согласно своему настроению; потому что, если я не ошибаюсь, размер, который принят мной, может быть использован для выражения различных чувств».

Укрепленный в своем мнении таким авторитетным суждением и примером одного из величайших итальянских поэтов, я не буду извиняться за попытку достичь такого же разнообразия в этой поэме; если моя попытка окажется неудачной, я должен

буду найти удовлетворение в том, что ошибка заключается в выполнении, а не в замысле, который освящен творчеством Ариосто, Томсона и Битти.

Лондон, февраль 1812.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРЕДИСЛОВИЮ

(к первой и второй песням «Паломничества Чайльд-Гарольда»)

Я ждал до тех пор, пока почти все наши периодические журналы не принесли свою обычную критическую дань новому произведению. Я ничего не имею против их критического суда: мне не пришло спорить с их несущественными возражениями. Тем более, что, быть может, если бы они были менее любезны, они были бы более искренни. Поэтому, благодаря всех вместе и каждого в отдельности за терпимость, я осмелюсь высказать свое соображение по одному только поводу. Среди многих порицаний, которые справедливо вызвал очень неопределенный образ «странствующего Чайльда» (который, как я утверждаю в противовес многочисленным намекам на обратное, является вымышленным лицом), было замечено, что, помимо несоответствия во времени, он очень *нерыцарственен*, так как времена рыцарей были временами Любви, Чести и т. д. Но дело в том, что доброе старое время, когда процветала «любовь добрых старых времен, старинная любовь», было самым распутным временем из всех возможных. Тот, кто сомневается в этом, может справиться у Сент-Пале. Клятвы рыцарей соблюдались ничуть не лучше всех других клятв; и песни Трубадуров не были менее непристойны и, несомненно, были менее изысканны, чем песни Овидия. В «Дворах любви», «Советах любви, рыцарства и доблести» было гораздо больше любви, чем рыцарства и доблести. Смотри по этому поводу Сент-Пале и Роллана.

Какие бы возражения ни вызывал Чайльд-Гарольд, этот в высшей степени неприятный герой, он во всем был совершенным рыцарем — «рыцарем-тамплиером, а не слугой». Между прочим, я боюсь, что сэр Тристрем и сэр Ланселот были не лучше, чем им следовало быть, хотя они и были очень поэтическими героями и настоящими рыцарями «без

страха», но не «без упрека». Если история учреждения «ордена Подвязки» не является басней, рыцари этого ордена в течение нескольких столетий носили знак графини Сэлисбери, не отличавшейся особенно хорошей славой. Довольно о рыцарстве.

Берку не следовало жалеть о том, что дни рыцарства миновали, хотя Мария-Антуанетта была так же целомудренна, как и большинство тех, в честь кого ломались копья и выбивали из седла рыцарей. Еще с дней Баярда и вплоть до времен сэра Джозефа Бенкса (самых невинных и прославленных из всех древних и новых веков!) можно найти немного исключений, противоречащих этому утверждению; я боюсь, что внимательное изучение заставит нас не оплакивать омерзительных шутовских представлений средневековья.

Теперь я предоставляю «Чайльд-Гарольду» жить таким, какой он есть; было бы, конечно, любезнее и — без сомнения — легче изобразить приятного героя. Было бы легче прикрасить его недостатки, заставить его больше действовать и меньше высказываться, но он был задуман не как образец, а как пример, показывающий только то, что раннее развращение ума и нравственности ведет к пресыщению старыми наслаждениями и к разочарованию в новых и что даже красоты природы и влияние путешествий, все побуждения (за исключением самого могущественного — честолюбия) потеряны для души, так устроенной, вернее — ложно направленной. Если бы я продолжил поэму, этот образ углубился бы по мере приближения к концу; потому что контур, который я был намерен заполнить, был, с некоторыми изменениями, портретом современного Тимона, может быть — поэтического Зелуко.

Лондон, 1813.

Посвящение

ИАНТЕ

I

Ни в тех краях, где я блуждал недавно,
Прослывших царством высшей Красоты,
Ни в тех мечтах, что сердцу своенравно
Внушают вздох о бренности Мечты,
Ни в снах, ни в яви нет такой, как ты!
Ты предо мной — и все ж бы я прославить
Не мог твои лучистые черты:

Нет сил твой блеск глазам чужих представить,
А видевшим тебя что песнь могла б добавить?

II

Ах, будь вовек такую, как сейчас,
Весны твоей исполни обещанья;
Лей теплый свет души из дивных глаз,
Будь образом любви и обаянья,
Невинное и чистое созданье!
А та, кто нежит юности твоей
Растущий цвет, глядит в твоё сиянье,
В нем видя радугу грядущих дней.

Где твой небесный блеск развеет мглу скорбей.

III

О пери Запада! Я старше вдвое,
Чем ты, — и это хорошо, я рад:
Бесстрашно может красотой такую
Мой безлюбивый упиваться взгляд.

Мне не блеснет — счастливцу — твой закат;
Вдвойне счастливцев, я избегну рока,
Что юным, чьи сердца кровоточат,
Твой взор сулит: сколь чувство ни глубоко,
Сладчайший час Любви с терзаньем слит жестоко.

IV

И пусть твой взор, газели дикой взор,
То ярко смелый, то пугливо зыбкий,
Пленяя на лету, слепа в упор,
В мой глянет стих, не пожалев улыбки
Прелестных губ, чей очерк нежно-гибкий
Меня бы так, не будь я другом, влек!
Да, улыбнись — и не ищи ошибки
В том, что ребенку спеть я песню мог,
Но чистой лилией мой заверши венок.

V

Будь именем над строчками моими!
Пока друзья найдутся у меня,
Предстанет им твоё, Ианта, имя
В «Гарольде» первым, дольше всех звеня.
Когда ж умру, к тебе мой дар склоня,
Хоть пальчиком к моей притронься лире,
Тебя воспевшей в первом блеске дня.
Вот памятник мне лучший в этом мире:
Робка Надежда — пусть, но Дружба смотрит шире.

Песнь первая

1

О Муза! Пусть для грека ты богам
Была сродни, дочь песни вдохновенной!
Но стольким ты внушила пыл глупцам,
Что не зову тебя с горы священной.
Да! Твой ручей я видел несравненный,
Вздыхал, входя в Дельфийский храм пустой,
Где все молчит, лишь ключ лепечет пенный, —
Но дряхлых муз я не спугну струной,
Моля их снизойти до песни, столь простой...

2

В Британии жил юноша когда-то,
Жил, не стремясь итти благим путем;
Дни он губил средь грубого разврата,
Во мраке он безумствовал ночном.
Увы! Бесстыдным упоен грехом,
Он весь в соблазнах погрязал бесчестных;
Он мало что ценил в кругу земном,
Помимо женщин и утех телесных
Средь наглых бражников — и знатных и безвестных.

3

Он Чайльд-Гарольдом звался. Называть
 Не стану род его. Издревле ведам,
 Славнейшим он, возможно, был подстать
 Благодаря былым своим победам.
 Но грешный внук марает мутным следом
 Весь род, могучий в давние года;
 Ни прах гробов, добытый гербоведом,
 Ни прозы вязь, ни сладких рифм вода
 Не расцветят злодейств, не освятят стыда.

4

Гарольд мой грелся, мухой беззаботной
 Скользя в лучах, не ведая того,
 Что раньше ночи, в буре мимолетной,
 Такое может согнуть существо.
 Лишь треть пути прошел он своего,
 Но был постигнут больше чем бедою:
 Уж наслажденья не влекли его,
 Край предков — мерзкой стал ему норою,
 Где, как отшельник, он: один с самим собою.

5

Ведь он прошел весь лабиринт Греха,
 Содеянного зла не искупая;
 Брал всех, одну любя — но жениха
 Та не нашла в нем, навсегда чужая.
 Счастливая! Она спаслась, не зная
 Нечистых губ: он, мигом утолясь,
 От прелести в распутство убягая,
 Ее богатством золотил бы грязь,
 Над мирным очагом презрительно смеясь.

6

И вот Гарольд глубоко сердцем болен
 И хочет бросить хоровод пьянчуг.
 Порой он слезы удержать не волен,
 Но гордость в лед их превращает вдруг.
 Бродя один во власти тайных мук,
 Внезапно он решил уплыть за море,
 Родимый край сменив на знойный юг;
 Сыт наслажденьем, рад он встретить горе,
 Для смены места он и в ад сошел бы вскоре!

7

И Чайльд покинул замок родовой,
 Огромное, столь ветхое строенье,
 Что рухнуло б оно — не встань стеной

Пилястров тяжких мощное крепление.
 То монастырь был, впавший в запустенье.
 Гнездилося суеверье в тех стенах;
 Там нынче — дев пафосских смех и пенье.
 Былое вновь почувял бы монах,
 Коль древний сказ не жмет о сих святых отцах.

8

Нередко средь безумного разгула
 Мрачила боль гарольдово чело,
 Как тень любви, что грубо обманула,
 Как ненависти смертное крыло.
 Нищей заботы это не влекло:
 Он не из тех открытых душ, которым,
 Излив печаль, легко смотреть светло,
 И, нетерпим к советам и укорам,
 Тоски он не вверял друзей холодным взорам.

9

Всем был он чужд, хоть всех гуляк скликал
 К своим столам, в беседки и трельяжи;
 Отлично знал он этих прихлебал,
 Бездушно льстящих каждой пьяной блажи.
 Нет, не был люб он и подругам даже:
 Лишь власть и пышность женщину манит,
 И сам Эрот у этих благ на страже;
 Для женской моды всякий блеск — магнит,
 И где Маммоне путь — там Серафим бежит.

10

У Чайльда мать была: хоть не забыл он
 Ее, но все ж решил тайком уйти;
 Любимую сестру не посетил он
 Перед началом грустного пути;
 Другьям, коль были, не сказал «прости».
 Не думайте, что сердце в нем стальное:
 Кто знал, что значит сердце принести
 Немногим в дар, тот знает, как такое
 Прощанье не целит, а только мучит вдвое.

11

Свой дом, очаг, земель наследных круг,
 Веселых дам, даривших наслажденье,
 Чьих глаз лазурь, шелк локонов, снег рук
 Аскета вовлекли бы в прегрешенье,
 И пенных кубков дорогой чекан,
 И роскоши соблазн — без сожаленья
 Он бросил, чтоб, чрез земли мусульман
 И зыбь морей, достичь экваторьяльных стран.

Надулся парус, ветер взмыл, играя,
 Как будто рад нести скитальца вдаль;
 Грань берега поблекла меловая,
 И с пеной вод слилась небес вуаль.
 И тут ему, быть может, стало жаль
 Родной земли, но замер вздох печали
 В его груди, и с губ его едва ль
 Сорвался вздох, а люди вокруг рыдали
 И бризу резвому боязнь свою вверяли.

Когда же солнце кануло в волну,
 Взял арфу Чайльд, на ней простые трели
 Порою брал он, трогая струну,
 Когда вокруг чужие не глядели;
 Он легких струн касался еле-еле —
 Чтоб гимн прощальный с сумраком сплести;
 Летел корабль, его крыла белели,
 И землю взор вдали не мог найти:
 И спел в просторы Чайльд «последнее прости»:

Прощай, прощай! Мой брег родной
 В лазури вод поник.
 Вдыхает бриз, ревет прибор,
 И чайки вьется крик.
 Скрывают солнце волн хребты,
 У нас одни пути.
 Прощай же, солнце, с ним и ты,
 Родной мой край, прости!

Недолг срок — и вновь оно
 Взойдет, а я привет
 Лишь морю с небом шлю: давно
 Земли родимой нет.
 Пуст отчий дом, остыл очаг,
 И вихрь золу разнес;
 На гребне стен пророс сорняк,
 У входа воеет пес.

Ко мне, мой паж, сюда, сюда!
 Что стонешь, слезы льешь?
 Страшна ли гневных волн гряда,
 Иль ветер кинул в дрожь?
 Отри глаза: он прочно сбит,
 Корабль наш, и едва ль
 Легчайший сокол мой летит
 Его быстрее вдаль.

«Не страшен мне гремучий вал,
 Не страшен ветра вой,
 Но диво ли, сэр Чайльд, что стал
 Печален я душой?
 От матери любимой я
 И от отца далек;
 Кто, кроме них, мои друзья?
 Лишь вы да в небе бог.

Отец, благословляя в путь,
 Не выдал боль свою;
 Но мать рыдала — не вернуть
 Любимца ей в семью!»
 — Оставь, оставь! Они чисты,
 Те слезы, как твой дух;
 Будь простодушен я, как ты —
 Мой взор бы не был сух...

Ко мне, мой йомен, стойкий друг!
 Что бледен ты стоишь?
 Врага-француза ль вспомнил вдруг?
 Пред бурей ли дрожишь?
 «О нет, сэр Чайльд! Не страшно мне
 За жизнь: не трус я, нет!
 Но мысль о плачущей жене
 Со щек сгоняет цвет.

У замка, у озерных вод,
 С детьми живет жена;
 Отца ребенок позовет —
 Что вымолвит она?»
 — Оставь, оставь, мой друг! Ты прав,
 Ясна твоя печаль.
 Меня же мой бездумный нрав
 Влечет со смехом вдаль.

Кратка печаль подруг и жен;
 Кто верит им? Тотчас
 Утехой новою зажжен
 Огонь их юных глаз.
 Ведь счастье... мне не жаль его,
 Не страшно близких гроз;
 Больней, коль нету ничего,
 Что стоило бы слез!

Один я в мире средь пустых,
 Необозримых вод;
 Зачем скорбеть мне о других?
 Кто обо мне вздохнет?
 Быть может, пес повоет мой,
 Но, у другого сыт,
 В меня ж, прибредшего домой,
 Свои клыки вонзит.

Мой бриг! С тобой привольно мне
Средь пенистых зыбей,
Неси меня к любой стране,
Лишь не к родной моей!
Привет, привет, о волны, вам!
А там, в конце пути —
Привет пещерам и пескам!
Мой край родной, прости!

14

Вдаль, вдаль, корабль! Давно уж нет земли;
Бискайских бурь докучен рев бессонный;
Четыре дня — и вновь земля вдали,
Ликуют все; взор ловит восхищенный,
Куда ни глянь, скалистой Синтры склоны,
И Таго мчит свой дар в глубины вод —
По слову сказки, прах золотодонный,
И бриг, послушный лоцману, плывет
Меж тучных берегов, где серп колосья жнет.

15

О боже! Где страна найдется лучше?
Что за дары дало ей божество!
Что за плоды среди зелени дремучей!
И вид с холмов — для взора волшебство!
Лишь человек здесь худший враг всего.
Но если бог бичом возмездья станет
Разить презревших заповедь его —
Тройной стрелою гром грозящий грянет
Над галльской саранчой, и злобный враг отпрянет.

16

Как Лиссабон красив на первый взгляд!
Он отражен во влаге благородной,
Чье дно поэты золотом мостят;
И флот несметный по стремнине водной
Теперь плывет: встал Альбион холодный,
Чтоб силой лузитанцев оберечь;
Они же, в дикой чванности природной,
Брезгливо лижут руку ту, чей меч
За них же вознесен — французский гнев отвлеч!

17

Но кто бродил по городу, что раем
Вдали казался, — отвращенье вдруг
Испытывал: он стал неузнаваем,
Для иностранца гадко все вокруг;
Вид гнусный у дворцов и у лагуч,

Народ неряшлив: с детства в мерзкой дряни
Кишет привык; сорочка и сюртук
У всех грязны; и слуги и дворяне
Там, не страшась чумы, немывы, ходят в рвани.

18

Ничтожные рабы! Зачем, зачем
Одет в Природы чудные уборы
Ваш край? Вон — Синтры царственный эдем
И пестрый лабиринт: ущелья, горы.
Увы! Кто может охватить просторы?
Нет у пера, нет и у кисти сил
Для всех красот, сильней слепящих взоры,
Чем те, какими бард обворожил
Весь мир, когда глазам Элизий приоткрыл!

19

Здесь монастырь, над бездной вознесенный;
Стволы седые пробковых дубов
Вдоль троп крутых: мох, зноем опаленный;
Теснины, где нет солнца для кустов;
Лазурь недвижных вод у берегов:
Потоки, в дол струящиеся с пика;
В зеленой дебри золото плодов;
Извивы лоз в выси, над ивой дикой,
Всё — цельность красоты, могуче-многоликой.

20

Карабкаясь извилистой тропой,
Задерживая шаг на повороте,
Чтоб новой насладиться красотой,
В обитель «Всех скорбящих» вы войдете.
Там, среди мошей, почивающих в дремоте,
Легенды вам расскажет тощий «брат»:
Здесь грешники покараны, в том гроте
Святой Гонорий жил года подряд:
В надежде рай обрести жизнь обратил он в ад.

21

Но, здесь и там, вы, прыгая по скалам,
Заметите ряды крестов простых,
Склоняющихся к тропкам одичалым.
Не набожность тут воздвигала их:
То — хрупкий памятник деяний злых;
Где нож убийцы жизнь исторг со стоном,
Поставлен крест из досточек резных;
Их — тысячи по рошам и по склонам:
В краю кровавом жизнь не вверена законам.

По скатам гор и в долах короли
Здесь прежде в замках жили, отдыхая;
Но дикими цветами заросли
Руины, славу предков вспоминая.
Вот Башни Принца. Там подобье рая
Ты, Ватек, богатейший в мире бритт,
Себе когда-то создал, забывая,
Что если Злато все дары сулит,
То кроткий мир души распутных нег бежит.

Здесь жил ты, наслаждаясь вечным пиром,
Средь вечных гор укрывшись от тревог;
Теперь, как нечто проклятое миром,
Как ты, твой дивный замок одинок.
В густых бурьянах нет к нему дорог;
Ворота настезь; в залах пусто, тленно...
Для мыслящего — новый здесь урок:
В земных уладах все непрочно, бренно;
Стремнина времени уносит их мгновенно.

А вон — дворец. Вожди собирались в нем.
О дом, мишень для английских проклятий!
Бес, карлик-бес, венчаный колпаком
Дурацким, зубы скалит в той палате.
В пергаментной одежде, при печати,
Он черный свиток с важностью несет,
Украшенный гербами гордой знати, —
И подписи покрыли свиток тот;
В них пальцем тыча, бес хохочет во весь рот!

«Конвенция» — тот бес-пигмей. Он в замке
Марьяльва ввел всех рыцарей в обман,
На скудный ум их надевая лямки;
Он радость наций превратил в туман;
Здесь Глупостью с Победы снят султан;
Политикою верх одержан в споре
Со Шпагой... Лавр вождям не нашим дан;
Наш лавр увял средь лузитанских взгорий:
Не побежденным здесь, а победившим горе!

Лишь кончился воинственный собор,
Британцам имя Синтры омерзело!
И министерство, потупляя взор,
Краснело бы, когда б краснеть умело!

О, как потомство примет это дело?
Нас все народы мира осмеют,
Коль у героев славу отнял смело
Враг, в битве битый, победивший тут,
Куда столетия перстом Презренного ткнут!

Так думал Чайльд, бродя в пустыне горной
Один, среди красот. Но он бежать
Задумал и отсюда, непокорный,
Неугомонный, ласточке подстать;
Хотя он здесь учился размышлять,
Задумывался, к созерцанию склонный,
А тайный голос звал лишь презирать
Дни юности, безумно расточенной, —
Но перед истиной взор он гасил, смущенный.

Коня, коня! Пусть исчезает, пусть —
Прелестный край, уже для сердца милый!
Он рад сменить мечтательную грусть,
Но не на страсть, не на бокал постылый.
Он мчится вдаль, пока иссякнут силы:
Нет пристани, беспечный путь манит,
И много должен видеть быстроекрылый,
Покуда жажду странствий утолит
Иль мудрым опытом жар сердца охладит.

Но в Мафре хоть на миг помедлить нужно:
Здесь был несчастной королевы кров;
Здесь двор и церковь выступали дружно,
Сменяя пышность месс на блеск пиров;
Вот смесь дворянчиков и чернецов!
И здесь же Вавилонская блудница
Такой чертог воздвигла, что готов
Забить любой всю кровь, что там дымится,
И пасть пред пышностью, в какую Зло рядится.

Средь тучных долов, романтических гор
(О, если б там не в рабстве люди жили!),
Среди красот, что так пленяют взор,
Брел мой Гарольд, куда мечты манили.
Безумцами всегда ленивцы мнили
Сменивших кресло перед очагом
На трудный путь, бегущий мили, мили!
Но воздух гор столь сладостен, и в нем
Та жизнь, какую лень в свой не заманит дом!

31

Снижаются холмов бесплодных склоны;
Долины мельче и бедней. И вон —
Лишь горизонтном бледным окаймленный,
Простор равнин уходит в небосклон:
Испания!.. Стада со всех сторон;
Руно их ценно торгашам проворным;
Но должен быть пастух вооружен:
Испания — в борьбе с врагом упорным:
Вставай же с ним на бой иль будь в ярме позорном!

32

Размежевать Испанию с Сестрой,
Какой еще другой границы надо?
Пока две королевы меж собой
Не сблизились — не Таго ль им преграда?
Не Сьерры ль темной гордая громада,
И не стена ль зубчатая — оплот?
Там нет ни стен, ни рек, ни водопада,
Ни скал ужасных, ни хребтов, как тот,
Что меж Испанией и Галлией встает:

33

Лишь ручеек там вьется серебристый,
Без имени, прорезав свежий луг;
Два трона спорят у воды струистой,
Но на клюку опершийся пастух
Беспечно смотрит, как поток меж двух
Держав-соперниц кротким светит глянцем:
Здесь в пахарях — по-княжьки гордый дух,
Им разница ясна меж лузитанцем,
Подлейшим из рабов, и коренным испанцем.

34

Но в двух шагах за жалким рубежом
Клубятся волны мощной Гвадианы,
Угрюмый рокот разнося кругом,—
Поток, в романсах некогда венчанный,
Здесь в старину схватились вражьи станы,
Здесь рыцари и мавры,— все, кто смел,—
В сверканье лат рубились. Здесь тюрбаны
И шлемы сыпались — и заалел
Поток стремительный, катясь по грудам тел.

35

О милый край, романтики обитель!
Где знамя то, что развернул Пелаг,
Когда, за Каву мстя, ее родитель
Призвал врага — и готской кровью враг

Все горы залил? Где кровавый стяг,
Что вел сынов твоих, вивась победно,
И мавров гнал в их африканский мрак,
Чтоб Крест алел, встав над Луною бледной,
И мавританских жен терялся стон бесследно?

36

Кто не поет о славных тех делах?
Увы! Таков героя лавр исконный!
Коль пал гранит, и летописи — прах,
В народной песне жив он, воскрешенный.
Глянь с неба, Гордость, в твой феодал законный,
Гляди: твой подвиг в песне той возник!
Хранят ли славу книги и колонны?
Иль надобен простых былин язык,
Коль в гробе — лезть и лжет историк-клеветник?

37

К оружию, испанцы! Пробудитесь!
Вас рыцарство, былой ваш бог, зовет!
Пусть не летит с копьем каленым витязь
И алым шарфом небо не метет,
Но все ж сквозь дым, сквозь ядер грозный лет,
Сквозь гром орудий голос льется ярый
При каждом выстреле: «На бой! Вперед!»
Ужели он слабей той песни старой,
Что в Андалузии врагам несла удары?

38

Чу! Слышите ужасный стук копыт?
Ужель не всюду грохот битвы слышат?
Не видят крови, что с клинков бежит?
И знамя избавленья не колышат,
Спасая братьев от тиранов? Пышат
Разрывы бомб. Идет кровавый пир.
Вопят равнины: «Тысячи не дышат!»
В сирокко серном мчится Смерть-вампир;
Он топнул — рдяный Бой,— и весь потрясся мир.

39

Гляди! Гигант встал на вершине горной:
Его кудрей кровавых реет мгла;
В руках зажал он стрелы смерти черной
И взорами сжигает все дотла;
Глаза блуждают: рдяная зола
Из них летит, и у железной пятки
Присела Смерть — считать итоги зла:
Три мощных войска тут сойдутся в схватке —
Лить кровь, чей дух и вкус для божества столь
сладки!

Клянусь! Великолепный бой (для тех,
Чей друг иль брат не там — в игре кровавой):
Как ярко блещет под лучом доспех
И стяг шитьем сверкает, величавый!
Псы битвы — здесь и жадно ждут облавы,
Рычат и воют, разева пасть;
Всем в травле быть, не всем в дележке славы;
Храбрейшим — гроб награда! Стольким пасть,
Что и не счесть Резне, попировавшей всласть!

41

Три войска здесь — для жертвы богу битвы;
Три стяга взмыли в голубую гладь;
Три языка возносят врозь молитвы:
Галл, бритт, ибер — но всем Победу звать!
Враг, друг и жертва (глупый друг, чья рать
Льет кровь за всех — без пользы, для химеры)
Сошлись — не проще ль дома умирать? —
Кормить ворон в долинах Талаверы
И кровь лить на поля, чьей жажде негу меры.

42

Там — гнить шутам честолюбивых снов!
Дерн — их покров, но Слава — их награда!..
Софистика! Они — в мильон голов —
Тиранами терзаемое стадо,
Коль деспотам мостить сердцами надо
Свой путь — куда? к пустой мечте вдали! —
Где та душа, что самодержцам рада?
Где отыскать им свой клочок земли,
Коль не считать могил, где тлеют короли?

43

О Албуэра! Пядь земли кровавой...
Когда коня прищпорил мой герой,
Кто знал, что здесь, гонясь за ратной славой,
Враги сойдутся на смертельный бой?
Мир павшим! Пусть восторженной слезой
Им честь воздаст, ликуя, вождь могучий!
Коль не погонят новых на убой,
Скликать зевак то имя будет тучей,
В венце из рифм дрянных войдя в стихок летучий.

44

Но хватит о любовниках Войны!
Пусть жизнь на карту ставят, жадным взором
Следя за славой. Тем, кто сражены,
Не встать, — лишь вождь прославлен общим хором!

Но стыдно было б оскорблять укором
Тех, кто на смерть за родину идут
По найму: ей они бы стать позором
Могли, погибнув средь домашних смут
Иль, проще, на грабеж сменив почтенный труд.

45

Спешит Гарольд: его манит Севилья,
Отважно отразившая врагов;
Но ей — свободной — вновь грозит Насилье:
Вот-вот Вторженье перепрыгнет ров,
Стопой топча изящный строй дворцов.
Час пробил! Нам не совладать с судьбою,
Коль мчит Разгром своих голодных псов, —
Не то не сокрушили б Тир и Трою,
И правило б Добро, поправ Резню пятою.

46

Но что Севилье близкий миг конца?
В пирах и песнях рай ее непрочный:
От ран страны — кровь не струят сердца,
Здесь — лишь забав струится сок цветочный;
Не рог войны, а лютни звон порочный
Звучит: все пали пред Безумьем ниц;
Свершает похоть свой обход полночный,
И, окаймлен безмолвным злом Столиц,
Всё вьется нежный Грех у дремлющих бойниц.

47

Не то — крестьянин; с трепетной женою
Он прячется, поднять не смея глаз:
Что, если виноградник их войною
Испепелен?.. Уже в вечерний час,
Покуда луч Венеры не погас,
Дробь кастаньет не мчит струя зефира...
Монархи! Слава — бремя лишь для вас;
Вкусите вами рушимого мира,
И барабанный бой замрет — на благо мира!

48

Погонщику — чем скоротать свой путь?
Псалом, балладу ли, иль что другое,
Веселое, поет он, ширя грудь,
Бубенчикам внимая средь покоя?
Нет! Он поет «Viva el Rey!»; Годоя
И рогносца Карла он клянет,
И день, когда, лукавых глаз игрою,
Страсть в королеву влил предатель тот,
И блуд предательству окрасил кровью рот!

Здесь, на равнине,— гребень скал суровый;
 Вдоль гребня башен мавританских ряд;
 Здесь землю всю изранили подковы,
 Луга испепеленные лежат:
 Здесь враг свирепый рыскал наугад.
 Там — лагерь был и цепь костров пылала;
 Народом здесь оплот драконий смят,
 И пахарь, горд, глядит на эти скалы,
 Политые — его и вражьей — кровью алой.

50

Кого ни встретишь на пути,— берет
 У каждого значком украшен алым;
 Взглянув, поймешь: соратник или нет.
 Но горе тем, кто этим знаком малым
 Не подтвердят любви к стране: кинжал им
 Грозит везде, удар его жесток;
 Раскаяться пришлось бы жадным галлам,
 Когда бы скрытый под плащом клинок
 Мог палаши тупить и пушки гнать с дорог.

51

В горах Морены на утесах черных
 Железный груз: тяжелых пушек строй;
 Куда ни глянь — стволы орудий горных;
 Щетина палисадов над тропой
 Разрубленной; рвы, полные водой;
 Пикеты; кони под обвисшей вяло
 Травой навесов: седла с кобурой;
 Цейхгаузы, упрятанные в скалы,
 Крутые кучи бомб, дымящие запалы —

52

Все бой сулит. А деспот, чей щелчок
 С других, слабейших, скинул их короны,
 Покуда ждет, хотя не медля б мог
 Свой жезл поднять. Но скоро легионы
 Его пройдут, сметая все препоны:
 Стань, Запад, жертвой мирового Зла!
 Испания! День близок, обагренный,
 И коршун галльский, хищно взвив крыла,
 Сметет в Аид, как сор, твоих сынов тела!

53

И всем погибнуть? Юным, гордым, смелым?
 Чтоб деспот наглый стал вдвойне спесив?
 Лишь смерть или рабство быть должны уделом?
 Пасть или жить, бесчестьем жизнь купив?

Ужели небо, людям предрешив
 Судьбу,— навек отвергнет их моления?
 Ужель ничто — отваги смертной взрыв,
 Совет ума, патриотизма рвенье,
 Сталь мужа, пыл юнца и воина уменье?

54

Не потому ль испанка, пробудясь,
 Забыв свой пол и женские повадки,
 Гитару кинув, с саблей обручась,
 На гимн войны напев сменила сладкий?
 При виде ран дрожала в лихорадке,
 При воплях сов бледнела точно мел —
 А вот глядит на штыковые схватки,
 На лезвий блеск, идя меж павших тел
 Стопой Минервы — там, где Марс бы оробел.

55

Удивлены вы? Ах, когда б вы знали
 Ее в былом, среди счастливых сцен,—
 И черный взор, пронзавший мрак вуали,
 И голос в грусти нежных кантилен,
 И смоль кудрей, искусство взявших в плен,
 И стройный стан, сверхженственно изящный,—
 Поверили б, что с сарагосских стен
 Она, смеясь в лицо Горгоне страшной,
 Всех к славе поведет, в безумство рукопашной?

56

Убит жених — слез от нее не жди;
 Пал вождь — на пост она опасный встанет;
 Друзья бегут — им станет на пути;
 Бегут враги — им вслед с отрядом грянет.
 Кто лавр душе погибшего протянет?
 Кто отомстит за смерть вождя стократ?
 Кто вновь в сердца мужей надеждой глянет?
 Кто истреблять бегущих галлов рад,
 Гонимых женщиной у рухнувших преград?

57

Но амазонкой не назвать такую:
 Для нег любви испанка рождена;
 Пускай, в боях с мужчиной соревнуя,
 В ряды бойцов она вовлечена, —
 То — нежный гнев голубки, что должна
 Клевать ладонь врага, где бьется милый;
 По нежности и смелости она
 Всех выше дам с их болтовней постылой:
 В ней — благородней дух, в красе — не меньше силы.

Любовь касанье нежное свое
 На подбородок ей напечатлела,
 И поцелуи с пышных губ ее
 Вот-вот спорхнут, но словит их лишь смелый.
 Как чудно дик прекрасный взор! Хоть стрелы
 Кидал ей в щеки Феб,— не сожжены,
 А чуть смуглее стали — плод созрелый.
 В сравненье с нею — северной жены
 Так бледны все черты и тусклы и скучны!

59

А ну, края, любезные поэтам,
 А ну, гаремы той земли, где рад
 Красавиц дальних я дарить приветом
 (К ним даже циник обратил бы взгляд).—
 А ну-ка ваших пери, что сидят
 Век взаперти, не зная страсти чистой,
 С испанкою сравните наугад!
 Испания — вот рай пророка истый;
 Небесных гурий там сверкает взор лучистый!..

60

Вот, наконец, ты предо мной, Парнас!
 Не в бредовой мечте неуследимой,
 Не в образах, давно пленявших нас,—
 Но в диком взлете мощи несравнимой,
 Вознесший льды в простор небес родимый!
 И странно ли, что здесь поется мне?
 Позволь же скромной песне пилигрима
 Ждать эха горного в ответ струне,
 Хоть музы и крылом не двинут в вышине!

61

О давняя мечта моя! Чье имя
 Как божество восходит в вышину!
 Ты — здесь! Увы! Пред взорами твоими
 Стыжусь будить ничтожную струну!
 Твоих певцов едва я вспомяну,
 Дрожа, колени преклонить спешу я;
 Ни петь, ни вдохновляться не дерзну,
 Лишь на корону туч твоих гляжу я,—
 Она восторгом встреч горит, мой дух чаруя!

62

Счастливей столько царственных певцов,
 Что дома видят все одно и то же,—
 Священные места, предмет их снов,
 Ужель я мог бы созерцать без дрожи?

Пусть Аполлон свое покинул ложе
 И стала гробом келья пиерид,
 Но некий дух здесь нежно реет все же,
 Вдыхает в ветре, в гротах тишь хранит
 И легкою стопой вдоль звонких вод скользит.

63

Пока прощай! Пусть я прервал напевы,
 Чтобы к тебе восторженно прильнуть;
 Испанские пусть позабыты девы,
 Чей рок тревожит всех свободных грудь,—
 Здесь, близ тебя, моей слезе сверкнуть!
 Продолжу сказ. Но о стране священной
 Позволь на память взять мне что-нибудь:
 Дай с древа Дафны мне листок нетленный,
 Надежду не сочтя мою мечтой надменной!..

64

Но, дивный Холм, и в древности не мог
 У мощных скал ты видеть хор стройнее;
 И жрица Дельф, которую обжег
 Огонь небес, в пифийском гимне млея,
 Дев не видала, что могли б сильнее
 Внушать любовь, чем андалузок строй,
 Созревших, зноем страсти пламенея.
 Жаль, что им не дан сумрак рощ густой,
 Здесь сохранившихся, где Славы нет былой!

65

Красой, богатством, древностью и силой
 Горда Севилья — дивный уголок,
 Но дальний Кадикс, всем гулякам милый,
 Распутной славой их сердца привлек.
 Ах! Сладостен твой страстный путь, Порок!
 Коль в жилах кровь кипит — твоим соблазнам
 Магическим кто б не поддастся мог?
 Ты, ангел-гибра, служишь вкусам разным
 И манишь обликом своим многообразным.

66

Когда стремниной лет Пафосский рай
 Был смыт,— в позор властительной богине,—
 Бежала Нега в столь же теплый край,
 И, верная одной лишь влаге синей,
 Туда ж Венера бросилась — и ныне
 Средь белых этих стен открыто ей
 Святилище; но посвящен святыне
 Храм не один: горят во тьме ночей
 Огни бессмертные у тысяч алтарей.

С утра до ночи, с ночи до Авроры,
 Что робко рдеет над толпой гуляк,
 В гирляндах роз гремят напевом хоры
 Над суетой затей, проказ и драк.
 «Прощай надолго!» — здесь промолвит всяк
 Утехе тихой. Кто предел поставит
 Разгулу? Тут у набожности знак
 Простой: все беды исповедь исправит.
 Молитва и любовь здесь вместе жизнью правят.

Но как проводят здесь, у христиан,
 Воскресный день, покоя день блаженный?
 Он торжеством пьянящим осян:
 Вот рев; то бык, царь леса несравненный;
 Сломав копьё, он дышит кровью пенной
 Коня и всадника, их вздев на рог;
 И жадный крик несется над ареной:
 Безумит всех вид выпавших кишок,
 И даже дамский взор восторженно-жесток.

Вот «день седьмой», для блага нам открытый!..
 Твой, Лондон, день молитвы не таков.
 Нарядный клерк, мастеровой умытый
 Пьют кислород недельный во сто ртов.
 Насмных кэбов, дрожек, бегунков
 Летит поток: всех пригороды манят,
 Всем Бретфорд иль Харроу шлют свой зов;
 Иная ж кляча до того устанет,
 Что каждый пеший хам острить над нею станет.

Кто мчит красоток в лентах по реке;
 Кто по шоссе (там безопасней) катит;
 Те в Ричмонд, в Уэр стремятся налегке;
 Те, на Хайгет вползая, силы тратят.
 Где смысл? О тени Фив, тут смысла хватит:
 Торжественный там будут славить Рог
 В перстах у Тайны; клятвой ей уплатят
 Все парочки; хлебнут пивка в залог
 Любви — и пляс пойдет, пока блеснет восток.

Дурят везде; и ты других не плоше,
 Прекрасный Кадикс, чудо синих вод:
 За четки вмиг хватаются святоши,
 Лишь девять раз твой колокол пробьет;

Почти что каждый к Деве пристаёт
 (Единственной в твоих стенах, пожалуй),
 Моля скостить грехов предлинный счет;
 Потом и старый в цирк бежит и малый,
 Слуга и барин: всех восторг равняет шалый.

Пуста арена; цирк уже набит;
 Здесь тысячи теснятся у ограды;
 Еще труба не скоро прозвучит,
 Но опоздавшим нет уже пощады.
 Здесь доны, гранды, стаи дам, чьи взгляды
 Умеют метко стрелы слать в сердца,
 Но дамы и лечить сраженных рады:
 Никто не встретил смертного конца
 От непреклонности, как лжет нам стих певца.

Все смолкло вдруг. Склоняясь в поклонах важных,
 В сиянье пик и золоченых шпор,
 На стройных конях четверо отважных,
 Готовы к бою, вышли на простор;
 Дыбятся кони; шарфы выют узор.
 Тому, кто победит в игре опасной,
 Восторг толпы и женщин страстный взор
 Наградой будут: более прекрасной
 Не получал ни вождь, ни государь всевластный.

Плащом сверкнув, свой показав наряд,
 Стал в самом центре матадор проворный,
 Но только пеший. Он владыку стад
 Сразить готов. Вот весь манеж просторный
 Он обошел: не встретится ли вздорной
 Помехи бегству? Ведь вооружен
 Он только шпагой; ловкость не зазорна;
 Здесь нет коня — других спасает он —
 И часто, весь в крови, на гибель обречен.

Взвыл трижды рог! В рядах, подперших стену,
 Все замерло: глазами цирк приник
 К распахантому стойлу. На арену
 Одним прыжком влетает мощный бык.
 Он землю роет, разъярен и дик,
 Но на врага не прыгнет он вспею:
 Мотая лбом, цель ищет он й миг,
 Чтоб ринуться; он плеть хвоста тугую
 Взметнул — и рдеет глаз сквозь пленку кровяную.

Вдруг он застыл, усталился. Скорей
Беги, храбрец! Вскинь шпагу! Вот желанный
Твой миг: умри иль увернись ловчей,
Наскок безумный обманув нежданно!
В крупяде четкой конь метнулся рьяный;
Весь в пене бык; но ранен он: с боков,
И здесь, и там течет поток багряный;
Бык мечется: не различить врагов;
Под градом дротиков он испускает рев.

И мчится вновь; что дротики и шпаги?
Что скакунов измученных бросок?
Пусть боец не потерял отваги —
Удар неверен, и скользит клинок.
Пал первый конь: вонзился в брюхо рог;
Грудь у второго пронзена, и — боже! —
Кровавый хлещет из нее поток.
Но, ранен насмерть, конь, в последней дрожи,
Встает и всадника умчать стремится все же.

Ярсь, в крови, затравлен, запален,
Бык в центре встал, вращая дико взоры.
Весь в дротиках, в обломках копий он
Средь вражеской, уже усталой, своры.
Тут вокруг него разыграли матадоры.
Багряный плащ взлетел, сверкнул клинок;
Вновь напролом — порыв, как буря скорый!
Увы! Уже коварный плащ облек
Ему глаза. Конец. Он рушится в песок.

Там, где с хребтом загривок слит могучий,
Как в ножны сталь воткнулась — в самый стык.
Стоит, дрожит, объятый болью жгучей,
И валится, триумфа слыша крик,
Приконченный, без корч и стопа, бык.
Вся в мишуре, въезжает колесница;
Труп взвален (для толпы — отрадный миг);
Коней пугливых четверня косится
На тушу темную и прочь с арены мчится.

Столь дикий спорт юнцам испанским люб
И девушкам. В кровавых развлечениях
Их дух жесток становится и груб:
Сладка им месть, восторг в чужих мученьях.

От кровников покоя нет в селеньях!
Хоть весь народ фалангою сплошной
Встал на врага, — увы! Есть люди: день их
Проходит в кознях за чужой спиной,
И, мелкой злобе дань, сок жизни бьет струей.

Теперь же Ревность, и замки, и ставни,
И тощий страж, дуэнья, — ни к чему:
Все, чем сердца душил обычай давний,
Свободный дом преобразя в тюрьму, —
С ушедшим веком кануло во тьму.
Чья девушка была вольней испанки,
Что до войны, клокочущей в дыму,
Плясала, взвев кудри, на полянке,
Где месяц, Князь Любви, сиял в глаза смугланке?

О! Много раз Гарольд любил — иль сон
О том видал; ведь счастье — сновиденье;
Теперь душою своенравной он
Остыл, хоть не испил струи забвенья;
В нем твердое теперь сложилось мнение,
Что лучший дар Любви — ее крыла:
В прекрасной, в юной, в нежной — наслажденье,
Но, сколь в ключе том влага ни светла,
Она в любой цветок свой горький яд влила.

Он не ослеп, на красоту взирая,
Но был, любуясь, только мудрецом;
Тут не мораль, пугающе-святая,
К нему слетела, овладев умом,
Но страсть сама сожглась в огне своем,
И грех, себе ж построив склеп веселий,
Навек замуровал надежды в нем.
О жертва нег! Тоска и жизнь без цели
Печатью Каина твой лоб запечатлели!..

Издалека толпу он созерцал,
Но не холодным и враждебным оком;
Он сам бы с нею пел или плясал —
Но разве весел тот, кто сломлен роком?
Что в нем тоску спугнуло б ненароком?
Все ж гнал он беса из души своей —
Раз, в комнате красавицы, в глубоком
Раздумье, песню вдруг сложил он ей,
Прелестной, как в былом подруги лучших дней:

О нет, не смейся, что угрюм я,
 Что в жизнь улыбки не принес!
 Дай бог тебе не знать безумья
 И ранних и бесплодных слез!

Что спрашивать о тайнах скуки,
 Сломавшей юные цветы?
 Зачем искать причины муки,
 Какой не исцелишь и ты?

То не любовь, не чувство злое,
 Не честолюбья тайный зуд
 Внушают мне презреть бывшее
 И прочь от новых снов зовут.

То скука, чей источник пресный
 Во всем, на всех путях земных,
 Мертвит мне образ твой прелестный
 И даже чары глаз твоих.

То грусть, упорная, тупая,
 Какой терзался Вечный Жид;
 Ей грань запретна гробовая,
 А жизнь покоя не сулит.

Как от себя уйдет изгнанник?
 И где свой успокоит ум?
 Я — неизбывной боли данник,
 И жизнь мне точит Демон Дум!

Другим доступны упоенья
 Те, что отвергла жизнь моя;
 О, пусть их длится сновиденье,
 Пусть не пробудятся, как я!

Блуждать я должен — и блуждаю,
 С проклятьем прошлому в груди;
 Одна утеха мне: я знаю,
 Что ад остался позади.

Но что же? Нет! О том ни слова!
 Молю: смягчи пытливый взгляд;
 Шути — но не срывай покрова
 С мужской души, где замкнут ад!

85

Прощай, прекрасный Кадикс, и надолго!
 Забудут ли, как твой оплот стоял?
 Лишь ты, средь робких, знал веленья долга,
 Восстал ты первым и последним пал.

И если, вражий отражая вал,
 Родную кровь ты пролил, то народный
 Вонзился в грудь предателю кинжал:
 Неблагородным был лишь «благородный»,
 Лишь знать сдалась врагу, ведя расчет холодный.

86

Таков народ испанский. Станный рок!
 За волю встал крестьянин, вечно пленный;
 Без короля, он трон крепить помог;
 Вассал, он в бой пошел, хоть сюзерены
 Бежали, став лакеями Измены;
 Он, нищий, предан родине своей;
 Он путь к Свободе в гордости нетленной
 Обрел; разбитый, бьется он сильней;
 Его пароль — война, «война вплоть до ножей!»

87

Кто про испанцев знать побольше хочет,
 Все должен тот об их войне прочесть.
 Здесь всё орудья быстрой смерти точит
 И на пришельцев подымает месть.
 Тяжелый меч, сапожный нож — всё есть:
 Любой клинок для воина годится,
 Чтоб охранить жены любимой честь,
 Чтоб в грудь врагу проклятому вонзиться,
 Чтоб корчами его дать людям насладиться!

88

И что ж? — Слезу прольем на этот прах?
 Ведь смрадом дышит ширь полей сожженных;
 Ведь кровь детей на вражеских руках...
 Так пусть же псы сожрут непогребенных,
 Пусть коршун в трупах роется зловонных,
 Чья плоть не всем стервятникам годна!
 Пусть рдеет кровь, белеет кость на склонах,
 Чтоб не забылась гнусная война
 И смог наш ввук понять всю боль, что нам дана!

89

Увы! Борьба еще не отгремела:
 Ползут когорты с Пиренейских гор;
 Тьма впереди; как знать решение дела?
 Взор пленных стран глядит на страшный спор:
 Коль даст врагу Испания отпор,
 Цепей спадет побольше, чем навито
 Рукой Пизарро. Странно: мир простер
 Свою оливу бедным детям Квито,
 А мать Испания нашествию открыта!

Ни крови ток, что в Талавере рдел,
 Ни чудеса бароссской бранной нивы,
 Ни Албуэра, в горах мертвых тел,
 Не оградили прав страны строптивой.
 Когда же червь спадет с ее Оливы?
 Когда страна свершит кровавый труд?
 В ночь — столько дней уйдут в тоске пугливой,
 Покуда франки хищные уйдут,
 Чтоб Древо Вольности могло привиться тут!..

А ты, мой друг!.. Стои мучи безысходной,
 Из груди рвись, в мою струну вплетен!..
 Срази тебя меж храбрых меч холодный,
 То Дружке Гордость пресекла бы стон.
 Но ты без лавров, не в бою, сражен
 Болезнью, — мне лишь незабвенно милый! —
 Бескровный прах твой — меж убитых он,
 Где каждый взыскан Славою легкокрылой
 И мирным сном заснул, сойдя в покой могилы?

Мой самый ранний, самый чтимый друг,
 Душой, для всех остывшею, любимый!
 Хоть в жизни ты меня покинул вдруг —
 Во сне являйся, по-земному зримый!
 И по утрам, в тоске неутолимой,
 Мою утрату вновь почту слезой,
 На гроб твой дальний мчась мечтой таймой,
 Пока в земле не обрету покой
 И мой избуду плач с оплаканным — с тобой!..

Вот первый тур гарольдовых скитаний.
 Отчет о прочих будет после дан,
 Коль вам не скучно от моих писаний,
 И рифмами я снова буду пьян.
 Не слишком ли?.. Умолкни, критикан!
 Терпенье! Мой герой направил взгляды,
 По воле рока, в дали славных стран,
 Где, средь развалин, — тень искусств Эллады,
 Что варвары еще не смяли без пощады.

Песнь вторая

Дочь неба синеглазая, приди,
 Богиня Мудрости! Увы: поэтам
 Твой образ песню не зажег в груди!..
 Вот он, твой храм, не уступивший летам,
 Войне, огню, хоть твой алтарь при этом
 Погас. Но хуже лет, огня, войны —
 Ужасный скиптр: власть варваров, что светом
 Твоим священным не озарены,
 Каким досель умы глубокне полны.

Предвечный град! Священные Афины!
 Где властных воль и светлых душ лучи?
 Ушли, сверкнув, — и стали сном руины...
 Народ, кто первым к Славе звал мечи, —
 Теперь истлел... И это все? Учи
 Урок, школяр, их славой удивленный!
 Бойцов оружие, риторы плащи —
 Их нет! Над каждой башней обомщенной
 Скользит, во мгле веков, тень мощи истребленной.

Встань, сын зари! Приблизься! Но не тронь
 Урн беззащитных; подойди к могиле,
 Где спит народ, чей отблестал огонь,
 К жилью богов, чьи алтари остыли!
 Все культы новой уступают силе:
 Был Зевс; теперь Аллах; иным векам —
 Иной... покуда людям не внушили,
 Что праздны жертвы, празден финнам...
 Дитя Сомнения! Ведь на песке — твой храм!

В цепях земли стремишь ты к небу взоры,
 Тварь жалкая! Иль мало знать, что ты —
 Живешь? Иль жизнь — столь чудный дар, который
 Вновь нужен людям — вне земной черты,
 Неважно где, хоть в недрах пустоты
 Небесной? Вновь своей мечтой усталой
 Ждешь благ, и бед, и прочей суеты?
 Взгляни и взвесь прах этой урны малой:
 Он — ста проповедей значительней, пожалуй.

Или курган возвышенный разрой,
Где спит герой, на побережье дальнем;
Над ним рыдал народов скорбный строй,
Теперь — никто; и воинам печальным
Там не стоять кордоном погребальным,
Где полубоги укоряли рок...
Приветом череп ты почти прощальным.
И это храм, в котором реял бог?
Сам червь разрушенной той кельей пренебрег!

Гляди: растрескан свод, пробиты стены,
И залы пусты, и в грязи портал;
Здесь — Честолюбья был дворец надменный,
Жила душа, и разум обитал;
Взгляни в глазницы, в черный их провал,—
В тайник ума и мудрости лучистой,
В приют страстей, чей взлет узды не знал...
Все мудрецы, святые и софисты
Вернут ли жизнь в сей дом, пустынный и нечистый?

Ты не солгал, острейший ум Афин:
«Мы знаем только то, что нет познания».
К чему ж бояться роковых судьбин?
У всех свой крест; лишь слабый длит стенанья,
Сам выдумав, вообразив страданья.
Лови же то, что Рок иль Случай дал!
Стигийский брег — вот наше упование:
Там не навяжут пьяному бокал,
Там — ложе тишины, чтоб смертный вечно спал.

Но если впрямь, как мнилось людям чистым,
За черным бегом будем жить душой
(К позору саддукеям и софистам,
Безумный скепсис выхвалявшим свой),—
Как сладко с теми, кем наш путь земной
Был облегчен, молиться вместе: снова
Услышать каждый голос дорогой
И тени встретить мудрецов былого —
Бактрийских, эллинских, чье правде учит слово!

А ты,— чья жизнь угасла вдруг и с ней
Любовь, чтоб я любил и жил напрасно,—
Брат сердца, смерти верить ли твоей,
Коль в памяти ты светишь так же ясно?

О встрече — да! — мечтать я буду страстно
И той мечтой пустую грудь займу!
И если память гробу не подвластна,
То будь что будет: сладостно уму
Знать, что блаженный рай дан другу моему!

Позволь присесть на глыбе нерушимой,
Где мраморный когда-то столп стоял:
Тут, сын Сатурна, был твой трон любимый,
Других прекрасней. Дай мне тронный зал
Вообразить, каким он тут блистал.
Увы! И взор Фантазии не может
То возродить, что смысл столетий вал;
А гордый прах — и вздох не потревожит:
Грек с песней тут мелькнет, да ношу турок сложит.

Но кто из всех, ограбивших тот храм
На высоте, где медлила Паллада
Престол свой древний дать на слом векам,
Был гаже и тупей? Стыдиться надо,
Шотландия: твое то было чадо!
Я рад, что не твое, моя страна.
Сын вольности — друг пленных! Но ограда
Святынь печальных все же снесена,
И смысла алтари строптивая волна!

Пикт современный хвастает бесстыдно,
Расхитив то, что Гот, Осман, Века —
Щадили! В нем, как брег шотландский, видно,
Бесплодно сердце и душа жестка,
Коль ум замыслил, коль смогла рука
Забрать Афин останки вековые!
Рать их сынов не стала вкруг, робка,
Но, с матерью деля печаль, впервые
Тогда лишь взвесила оковы Тирании.

Как! По-английски нам упомянуть,
Что Англия слезам афинян рада?
Ее рабы Афинам взрыли грудь —
Молчи о том! чтоб не стыдиться взгляда
Европы! Дань растерзанного града
Владыка вод, свободный Альбион,
Умчал — защитник слабых! В жажде клада,
Как гарпия, разгреб руины он,
Чей строй был Временем и Гнетом пощажен.

Но где же был твой грозный щит, Паллада,
 Что преградил Алариху пути?
 Где твой Пелид, чья тень все цепи ада
 Расторгла, чтобы снова, во плоти,
 В убранстве бранном в страшный день притти?
 Ужель Плутон не выпустил героя,
 Чтоб град его от хищника спасти?
 За Стиксом он бродил, в стране покоя,
 Забыв о тех стенах, где знал он счастье боя.

Лед в сердце том, что на тебя глядит,
 О Греция, не как на прах любимой;
 Тупой лишь взор слезой не окропит
 Разбитых стен — святыни, увозимой
 Рукой британца! Град неповторимый
 Он должен бы не грабить, а беречь —
 И все ж приплыл он, жадностью знобимый,
 Чтоб в грудь твою направить новый меч
 И зябнувших богов на север свой увлечь!..

А где Гарольд?.. Но разве мы забудем
 Перенести угрюмца за моря?
 Он не жалел того, что жалко людям:
 Подруги нет — ей лгать, в мечтах паря,
 Друг не придет, скитальца одаря
 Объятием в минуту расставанья...
 Давно душой погаснув, как заря,
 Гарольд отплыл, ни вздохом на прощанье
 Не удостоив край раздора и страданья.

Кто плыл хоть раз в раздольях синих вод,
 Тому знакома красота морская:
 Фрегат подборист; ветер-быстролет
 Резвится, белый парус напрягая;
 Порт, шпицы, берег — тают исчезая;
 Даль распахнулась, хороша до слез;
 Конвой разбросан, как лебяжья стая;
 Отваги полн лобой лентяй-матрос:
 Так весело волну взрезает острый нос!

А сам корабль — мирок военный! Пушки
 Закреплены; под сетью каждый фут;
 Слова команды хриплой — и, друг к дружке
 Теснясь, по вантам моряки ползут;
 Крик боцмана веселый — и бегут

В руках канаты в ловкой передвижке;
 Морской кадет пищит порою тут,
 Хвалу иль брань кидая всем в излишке,—
 И все покорствуют искусному мальчишке.

На палубе ни пятнышка — блестит!
 Там вахту держит лейтенант спокойный.
 А вон святыня — мостик, где стоит
 Лишь капитан: другие недостойны.
 Он страх внушает важностью пристойной;
 Он слов не тратит с младшими — таков
 Морской уклад; зато — удачны войны.
 Любой закон, будь он весьма суров,
 Коль силу множит он, — британец чтить готов.

Дуй, ветер! дуй сильней, гонитель килей,
 Пока еще не отгорел закат:
 Там, чтоб суда отставшие подплыли,
 Взять рифы должен флагманский фрегат.
 Ах, тошно медлить, если бриз крылат,
 Из-за корыт, плывущих где-то сзади:
 Мы столько миль, пока часы летят,
 Прошли бы в ночь! А так — внимай в досаде
 Плеск вялых парусов ленивцев этих ради!

Луна взошла. Какая ночь! Бегут
 И пляшут волны в переливе лунном!..
 Теперь везде к парням девчонки льнут,
 И жаль, нельзя побыть на берегу нам.
 Тут корабельный Арион по струнам
 Лихой рукой лихой мотив погнал;
 Кругом — толпа; и вдруг в задоре юном
 Матросский пляс вокруг затоптал,
 Как будто палубу не зыбил мерный вал.

Сбегая в Кальпе гранью крутобокой,
 Глядит Европа с Африкой на нас;
 Край мавров смуглых с краем Черноокой
 В лучах Гекаты бледной спят сейчас.
 Испанский берег услаждает глаз:
 Так четки скалы, склоны, лес дремучий,
 Хоть он мрачнее в свете поздних фаз;
 Но жутки тени мавританской кручи,
 На пляж упавшие зубчато и колюче.

В такую ночь невольно вспомнишь ты
 О днях любви, ушедшей без возврата!
 Душа, оплакав мертвые мечты,
 Вновь друга ждет, унынием объята.
 Страшна ли старость, что придет когда-то,
 Коль и юнцам лжет радость и любовь?
 Увы! когда нет милой, друга, брата,
 Что смерть сама? Лишь остановит кровь!..
 Ах, годы счастья! Кто б не стал мальчишкой вновь?

24

За борт клонясь, глядишь на лик Дианы,
 Удвоенный в колеблемой волне;
 Душа, забыв надежды, чувства, планы,
 Невольный сон таит о прошлом дне.
 И нет души столь мертвой, где б на дне,
 Не крылось нечто — очень дорогое,
 Что борет мысль и просит слез во сне...
 О, это горе, жгучее и злое!
 Как сердце от него освободить больное?

25

Мечтать в ущелье, где шумит поток;
 Бродить в лесу тенистом и безвестном,
 Где человек не пролагал дорог
 И вольный зверь не замкнут в круге тесном;
 Карабкаться по кряжам поднебесным,
 Меж вольных стад, которым чужд овчар;
 Следить с вершин за падуном отвесным —
 Не одиночество, а лучший дар
 Природы, утолить способной сердца жар!

26

Но в толчее, в толпе гудящей, сирю
 Внимать и видеть, чувствовать, владеть,
 Влуждаться усталым постояльцем мира,
 Где некого и некому пригреть,
 Где роскошь не желает и глядеть
 На скорбь, где чувства нету и в помине,
 Где, лишь умри, улыбки не стереть
 У тех, кто льстят, и льнут, и лезут ныне,—
 Вот одиночество! вот где живешь в пустыне!

27

Отрадней жить, как благостный монах,
 Каких встречаешь в уголках Афона:
 Он вечером, на страшных крутизнах,
 Глядит в лазурь волны и небосклона,

Столь чистую, что путник потаенно
 Замедлит шаг в священном месте том
 И, покидая благостное лоно,
 Вздохнет, что жизнь пошла иным путем,—
 И в ненавистный мир воротится потом.

28

Про долгий путь писать нам нет охоты,
 Где все следы не медля сметены,
 Про штиты, штормы, галсы, повороты,
 Про все капризы ветра и волны,
 Про смех и горе, что заключены
 С матросами в крылатой цитадели,
 Про ветер в лоб и ветер со спины,
 Про зыбь и тишь, туманы, рифы, мели...
 Вдруг утром радостным: «Земля!» — и мы у цели

29

Но островам Калипсо — в бездне вод
 Двум сестрам хрупким — уделю внимание;
 Усталым здесь улыбку бухта шлет,
 Но меж утесов не звучат рыданья
 Царицы-нимфы, длившей ожиданье
 Того, кто смел ей предпочесть жену,
 Чей юный сын, склонясь на увещанья
 Наставника, здесь прыгнул в глубину,—
 С двойной утратой оставя жизнь одну.

30

Нет бедной нимфы, нет изящной славы;
 Но все ж, юнец, не верь и берегись:
 Здесь смертная взшла на троп лукавий,—
 На новую Калипсо не поткнись!..
 О Флоренс! Если б мог я извиться высь
 Душой бескрылой,— быть бы ей твоею;
 Но разве я сказал бы: «Отзовись!»
 Моих даров на свете нет беднее,
 Я сострадания испрашивать не смею!

31

Так думал Чайльд, встречая взор ее
 Лучистый — с восхищеньем, но бесстрастно.
 Амур держал поодаль острине,
 Хоть сам держался в близости опасной;
 В былом дары он принимал всечасно,
 Но знал, что жрец теперь уже не тот,
 Что сердце волновать ему — напрасно,
 Что вновь пред алтарем он не падет...
 Божок сумел понять, что власти не вернет.

Красивой Флоренс было очень странно,
 Что некто, слывший пылким, не согрет
 Лучами глаз, сверкнувших из тумана,
 Где каждый видел (вправду или нет)
 Свой рок, закон, надежду, кару, бред —
 Все, что Красе внушается рабами;
 Не дико ли? В мужчине юных лет
 Не вспыхнуло, хотя б для виду, пламя,
 Ито по сердцу любой, как та ни хмурься, даме!

33

Ей невдомек, что сдержанный юнец,
 Чью душу скрыла гордая немота,
 Был хитрым уловителем сердец
 И широко раскидывал тенета,
 И травли не чуждался, коль охота
 Шла за хорошей дичью; но сейчас
 К таким забавам охладел он что-то,
 Да и пленись он нежной синью глаз,
 3 толпе вздыхателей он все ж бы не увяз.

34

По-моему, тот женщин знает плохо,
 Кто вздохами ведет с их сердцем спор:
 Раз ты уже у ног — что им до вздоха?
 Нет! восхваляй твоей богини взор,
 Но не как раб, не то тебе отпор
 И всем мольбам, как их ни строй умело;
 Коль ты умен — всю нежность на запор;
 Явись рывком, круши защиту смело,
 Язвы, потом врачуй — и будет в шляпе дело!

35

Вот подтвержденный временем урок,
 Но ученик наказан будет строго;
 Да, сорван плод, что так манил и влек,
 Но, жалкий приз, он стоил слишком много:
 Где юность? честь? Душа и мысль убога.
 Таков твой дар, увенчанная страсть!
 Надежды — в прах, и, в качестве итога,
 Родится боль, которой не заклясть,
 Хотя б сама любовь не потеряла власть!

36

Вперед! Не будем медлить. Сколько взгорий
 Пройти должны мы по крутым тропам,
 Должны проплыть так много лукоморий,
 Со вдумчивой печалью в сердце. Там

Края красивей, чем людским мечтам
 Вообразить под силу или новым
 Нарисовать Утопиям, что нам
 Урок дают, как в мире сем суровом
 Стать лучше (если нас проймешь подобным словом)

37

Ты, мать Природа, всех других добрей,
 При всех обличьях — в облике едином;
 Дай мне прильнуть к нагой груди твоей
 Всегда твоим, хоть нелюбимым, сыном!
 Но ты прекрасней диким и пустынным
 Лицом, — где грязь культуры не легла;
 Меня вела ты по таким теснинам,
 Где ни одна душа бы не прошла!
 Но в гневе яростном ты мне вдвойне мила.

38

Албания! Где Искандер поднялся, —
 Пример юнцам и мудрым людям свет, —
 Чей тезка здесь же в битву ополчался,
 Тесня врага величием побед.
 Албания!.. Склоняю взор. Привет,
 Кормилица крутая непокорных!
 Здесь нет креста: повсюду минарет,
 И полумесяц блещет в дребнях горных
 Над каждым городом средь кипарисов черных.

39

Плыл Чайльд-Гарольд вдоль голых берегов,
 Где Пенелопа над волной грустила;
 Вдоль острова, где — в памяти веков —
 Приют Любви, Лесбиянки могила.
 Как песнь бессмертная не сохранила
 В груди Сафо огонь бессмертный тот,
 Кем в стих влита нетленной жизни сила?
 (Коль вправду лиру жизнь такая ждет,
 То лишь она эдем, где счастлив смертный род.)

40

В осеннем нежном греческом закате
 Левкадский мыс, как долгожданный дар,
 Увидел Чайльд — и пожалел утрата.
 Он много мест, где битв ревел пожар,
 Видал: Лепанто, Акции, Графальгар,
 Но равнодушно; он не под военной
 Звездой рожден; воинственный угар
 Ему был чужд, кровавых схваток сцены
 Противны, и смещон наймит войны надменный.

Но, увидав вечернюю звезду
Над мысом Сафо, выдавшимся круто,
Он всей душою ощутил беду,
Последнего больной любви приюта.
Когда корабль, от носа и до юта
Покрытый тенью, плыл у древних скал,
Он слушал грустный плеск воды, как будто
Привычную тоску переживал,

Но бледный лоб ясел и мягче взор сиял.

Рассвет. Холмы Албании суровой;
Обрывы Сули; вдалеке возник,
Влача пурпурно-серые покровы,
В снегах каскадов, Пинда резкий пик.
Лишь тьма ушла, открылись в тот же миг
Жилища горцев; там добычи ищет
Волк; там орел острить свой клюв привык;
Но человек свирепей волка рыщет,

Да буря зимняя, вся содрогаясь, свищет.

Теперь Гарольд уже один вполне;
Речь христиан сменив на речь Востока,
Он бродит по неведомой стране,
Что хвалят все, но только издалека.
Неприхотлив, он шел навстречу рока
И с мужеством опасности встречал;
Край дикий столь приманчив был для ока,
Что трудный путь скитальца не смущал,

Сносившего и зной и непогоды шквал.

Кой-где кресты «георгиевской грани»,
Хоть христианство здесь угнетено
И толстый поп не чванится, как ране:
И клир и «мир» здесь презрены равно.
Ах, Суеверь! В чем ни глянь оно:
В обличье ли святых, пророков, девы,
Креста, Луны — в нем явлено одно:
Разор для всех, священникам — посевы!

Алмазы чистых вер средь этой грязи — где вы?

Вот гавань Амвракийская, где мир
На женщину, на мотылька, променял:
С азийскими князьками триумфир
Там флот повел; разгром был несомненен,

И страшный бой — напрасной кровью вспенен!
Вон августова память: Град Побед,
Что оказался, как и цезарь, тленен.
Венчанные убийцы! ключ всех бед!
Ужель для их игры ты, боже, создал свет?

От скал угрюмых сумрачного края
Гарольд пробрался в глубину долин
Иллирии, хребты одолевая, —
В места, что миф не вспомнил ни один.
И в Аттике прославленной картин
Таких немного; в Темпе несравненной
Нет прелести подобной; исполнил
Парнас — и тот, классический, священный,
Гордился б красотой, за мрачным берегом пленной

Вдоль пиндских круч и ахерузских вод
Он, обойдя столицу, путь свой правит
Туда, где вождь Албании живет,
Кто нрав свой грозный беззаконным ставит
Законом и — рукой кровавой — правит
Народом беспокойным: но порой
Горсть горцев дерзких непокорство явит:
Из горных гнезд бросает вызов свой —
И золотом лишь пыл им гасят боевой.

Монашка-Цица! Крохотный, счастливый
Клочок святой земли! Взглянуть с горы:
Вверху, внизу — всех красок переливы,
Вся магия их радужной игры!
Лес, кряж, река — их пестрые дары
Лазурь небес в гармонию сливает;
А с дальних скал, что вскинулись, остры,
Столл водопада грозно ниспадает
И душу ужасом и радостью ласкает.

В леске, который на холме растет,
Что высотой гордиться б мог законно,
Не будь иных вокруг него высот,
Касающихся гордо небосклона,
Весь белый скит укрыт уединенно.

Там калофер живет; он не суров,
Он путника накормит — и влюбленно
Тот будет помнить в чередѣ годов
Чудесный этот край, природы блеск и зов.

50

Здесь он уют найдет в разгаре зноя:
Свежа трава и темен древний лес,
И крылья ветра, грудь его покоя,
Берут прохладу от самих небес;
Земля — внизу, и гнет земной исчез
Пред негой чистой; солнечное жало
Безвредно тут сквозь лиственный навес —
И пусть лежит он, пилигрим усталый,
Следя, как мирный день в закат струится алый.

51

Раскинулся отсюда и туда
Естественный амфитеатр вулканов —
Химерских Альп угрюмая гряда.
А в долах — жизнь: там козы мчатся, пранув,
Там бег ручьев, зыбь елей-великанов
Ленивая. Там черный Ахерон,
Издrevле — царство гробовых туманов!
Ну, если вправду это ад, Плутон, —
Не нужно рая мне: Элизий посрамлен!

52

Здесь башня ни одна не омрачала
Прелестный вид: Янину скрыл откос
Вон тех холмов. Людей и сел здесь мало,
Лачуги редки между скудных лоз.
Но по обрывам стайки легких коз
Рвут зелень, и, стада пася умело,
На жарком солнце жметя под утес
Задумчивый пастух в кафтане белом
Или в свой грот бежит под ливнем ошалелым.

53

О где, Додона, вековой твой лес?
Твой вещий ключ и твой оракул строгий,
И гулкий дол, где прорицал Зевес,
И Громовержца вечные чертоги?
Забыто все!.. А человек убогий
Скулит о смерти!.. Замолчи, глупец!
Твоей судьбы не избежали боги!
Дубы и мрамор — всё крушит резец.
Народам, языкам, мирам — один конец!

54

Эпир смягчился, расступились горы;
Взор отдыхает, от высот устав:
Пред ним долин нарядные просторы,
Где и весной пышней не встретишь трав.
Здесь несказанна красота: стремглав
Бежит река, прорезав дол зеленый,
И вдоль нее — зыбучий строй дубрав,
Чьи тени пляшут по волне студеной
Иль под луною спят в тиши завороженной.

55

Вот солнце отошло за Томерит;
Ревет Лаос, бег напрягая скорый;
Ползут ночные тени; и спешит
Гарольд пройти речные крутогоры
Опасные. И, точно метеоры,
Вознес огни мечетей Тепилен
Над башнями. Чайльд ближе. Разговоры
И звон оружия слышит он у стен,
И бриз разносит звук, долиной взятый в плен.

56

Чайльд башню обошел, — гарем безгласный,
И, став под грузной аркою ворот,
Дом оглядел, где деспот самовластный
Средь раболепья общего живет
И роскоши безумной. От хлопот
Гудит весь двор. Кругом рабы, солдаты,
Дервиши, евнухи и всякий сброд.
Снаружи — форт, внутри — дворец богатый,
Где люди всех племен волнением объаты.

57

Внизу, вдоль стен громадного двора,
В богатых чепраках и в седлах кони;
Везде оружие — целая гора,
И странный люд теснится на балконе.
Порой, коня прищпоря, как в погоне,
Татарин, в шапке, прыгает из ворот.
Здесь турок, мавр, албанец, грек; их брони
И платья в пестрый слиты хоровод,
И барабан глухой ночную зорю бьет.

58

Красив албанец в юбочке с подбором,
В чалме, с ружьем в насечке золотой
И в куртке, шитой золотым узором;
Вот, в алых шарфах, македонцев рой;

Делъ в ужасном колпаке, с кривой
Тяжелой саблей; грек лукавый, лстивый;
Нубиец смуглый, жертва пытки злой;
Вот бородатый турок молчаливый;
Он — власть, и он молчит, надменный и спесивый.

59

Кого здесь нет? У всех довольный вид,
И всё у них, у зорких, на примете;
Вон бьет поклоны важный исламит;
Те — трубки курят, кости мечут эти;
Албанец гордо бродит; в полусвете
Грек что-то врет, сыскав удобный миг,
Среди толпы. О! строгий зов с мечети!
То муэдзина заунывный крик:
«Един господь — Аллах! К молитве! Бог велик!»

60

Пост Рамазана был тогда суровый:
Весь долгий день все молятся вокруг;
Но, только в ночь уйдет закат багровый,
В свои права пиры вступают вдруг.
Вновь суета; толкуются тучи слуг,
Чтобы столы под грузом блюд ломились;
Балконы вмиг пустеют; говор, стук
Внутри дворца в единый гул смешались,
И мечутся рабы, поспеть повсюду силась.

61

Но здесь не слышно женщины: она
Всегда в чадре, в гареме, под охраной,
Душой и телом мужу предана;
Свобода ей не кажется желанной;
Прирученное сердце постоянной
Любовью к детям пламенеет в ней
(Что выше той любви благоуханной?),
И, нежная, растит она детей,
И с чувством матери не спорит зов страстей.

62

В киоске пышном, где струя фонтана,
Взлетев, кропила мрамор с вышины,
Где все — прохлада, где покой дивана
Звал к неге сладкой, обещая сны,
Сидел Али, муж бедствий и войны.
Но все черты внушительного лика
Такою были благостью полны,
Что и не скажешь: пред тобой — владыка,
С нечистой совестью, свирепствовавший дико.

63

Нельзя сказать, что всякому, кто сед,
Страсть не к лицу, как дело молодое;
Твердил Гафиз: любовь сильнее лет;
О том же пел теосец на покое.
Злодейство ж, к воплям жалости глухое,
Постыдно всем, а старцу — высший стыд:
Тигринный зуб лицо изрежет злое!
Кровь кличет кровь, и время месть сулит:
Кто кровью начинал, в конце — в крови лежит!

64

Здесь, в уголке, для глаз и слуха странном,
Усталый путник отдых дал ногам
Средь роскоши, привычной мусульманам;
Но скоро скучен стал огромный храм
Богатства и распутства, где ислам
Пресыщенный от городского смрада
Укрыт; попроще — лучше было б там;
Ведь сердцу нег искусственных не надо:
В восторгах пышности — лишь горечь, не услада.

65

Албанцы дики, но не лишены
Высоких свойств — лишь надо бы созреть им.
Кто сносит лучше трудности войны?
В каком бою бегущими их встретим?
Твердыни гор — их родина, и этим
Горам суровым души их сродни;
Их страшен гнев, им в дружбе — верь, как
детям;

Коль долг велит им кровь отдать — взгляни:
Бестрепетно идут вслед за вождем они.

66

Чайльд их видал, в чаду военной страсти
Вокруг вождя смыкающих ряды;
И встретил вновь, и был у них во власти,
Когда случайно жертвой стал беды.
Злой человек прижмет вас в миг нужды;
Они ж Гарольда приняли как друга.
У нас дороже ценятся труды,
И помощь мы предоставляем туго,
И отогнать соблазн — редчайшая заслуга!

67

Случилось так: снесло его фрегат
К обрывам Сули, стонущим в прибое;
Кругом пустыня, тьмою мир объят;
Сойти — опасно, быть на судне — вдвое.

У всех тревога: место здесь такое,
 Что где-нибудь уже в засаде ждут.
 Рискнули все ж, тая сомнение злое:
 Коль франк и турок ненавистны тут —
 Что, если резать их, как было встарь, начнут?

68

Все вздор! Им руку дали сулиоты,
 Путь указали меж болот и скал —
 Грубей рабов, но полные заботы.
 Очаг — сушить одежду — запыхал;
 Свеча зажглась; вино лилось в бокал;
 Простой приносят ужин — все готово.
 Дух дружелюбия редкий здесь витал:
 Принять скитальца, поддержать больного...
 Урок счастливому, укол стыда для злого!

69

Когда же Чайльд решил тот горный край
 Покинуть, слух к нему дошел тревожный:
 Повсюду — шайки; режут то и знай,
 И вся округа стала бездорожной.
 Тут нанял он себе конвой надежный,
 Чтоб Акарнанский лес пройти густой,
 Людей, которым жизнь доверить можно.
 И вот он плещет — белый Ахелой,
 И взор уходит в даль Этолии пустой.

70

Где Утракей замкнул лиман свой круглый,
 Куда волна, мерцая, спать идет,
 Листвой своею рощи машут смуглой
 В полночный час над лоном сонных вод,
 Лишь западный им что-то бриз шепнет,
 Синь не встревожив ласкою воздушной.
 Гарольда гостем принял угол тот;
 Он там бродил, отнюдь не равнодушный,
 Очарованию той полночи послушный.

71

На мягком пляже ряд костров светил;
 Кончался пир, осушены все чары;
 Случайный путник тут бы рот раскрыл
 От ужаса: что это? явь иль чары?
 В ночном безмолвье пляс начался ярый;
 В родной забаве всяк блеснуть умел:
 Сняв сабли, кругом стали паликары,
 Рука в руке, — и в плеске фустанелл
 Весь завертелся клан, и дикий гимн взгремел.

Чайльд любовался, в отдаленье стоя,
 Разгулом этим чистым, без прикрас:
 Веселье он не презирал простое,
 Да и хорош был в полночный час
 Тот варварский, но благородный пляс —
 На дерзких лицах света переливы,
 Проворство жестов, черный пламень глаз,
 До пояса спадающие гривы

И хора хриплого нестройные мотивы:

Тамбурджй, тамбурджй! Твой сигнал боевой
 Шлет надежду отважным и кличет на бой;
 Каждый горец на гром твой далекий встает:
 Иллириец, химарец и мрачный сульот.

Кто смелей, чем угрюмый сульот — при мече,
 В снежнобелой рубашке, в косматом плаще?
 Ястребам и волкам оставляя стала,
 Он свергается в дол, как с утеса вода.

Коль химарец друзьям не прощает обид,
 Неужели же недруга он пошадит?
 Меткой пулей сразит он врага своего;
 Вражье сердце — мишень, что прекрасней всего.

Македония — племя бесстрашных пришлет;
 Те забудут на время горячку охот;
 Обагрят они шарф кровью вражеских ран,
 Раньше чем возвратится в ножны ятаган.

И паргасский пират, у своих берегов
 Бледным франкам готовящий участь рабов,
 Спрячет в бухте укромной фелюгу — и вмиг
 Новых пленных погонит в прибрежный тайник.

Не ищу наслаждений, что деньги дают:
 Слабый должен купить, но булатом — берут;
 Он добудет красавицу, розы нежней,
 Многих девушек вырвет из рук матерей.

Молодая красавица нравится мне:
 Убаюкает лаской, споет в тишине;
 Многозвучную лютню прилетит ей брать
 И о смерти отца своего распевать.

Вспомни гибель Превезы! Какая судьба!
 Победителей крик, побежденных мольба,
 Всюду пламя пожаров, добычи дележ,
 Всем красивым — пощада, богатых — под нож!

Что мне страх? что мне жалость? Их надо
 забыть,
 Если хочешь визирю как должно служить.
 С той поры, как Луна стала солнцем земли,
 Не бывало вождя светозарней Али!

Злой Мухтар, сын визиря, к Дунлю спешит,
Пред его бунчуком задрожал московит,
А когда, брызжа кровью, делы налетят,
Много ль русских гяуров вернется назад?

Меченосец! Визиря клнок обнажи!
Твой сигнал обещает войну, тамбурджий!
Гляньте, горы: в долины сбегает наш след;
Мы с победой придем — или знайте: нас нет!

73

Ты, Греция, прекрасный прах веков,
Бессмертна в смерти, велика в упадке;
Но кто же вдохновит твоих сынов
Оковы сбить, стереть их опечатки?
Тех нет, кто древле, в боевом порядке
Стояли насмерть в скалах Фермопил,
Врагов уничтожая без оглядки!
О, кто бы дух твой гордый воскресил
И, перейдя Эврот, расторг бы плен могил?

74

О, Дух Свободы! С горсткой Фразибула
Держа оплот филийский, мог ли он
Провидеть мглу, которой захлестнуло
Аттический прозрачный небосклон?
Не Тридцатью тиранами согбен
Прекрасный край: владыка — в каждом хаме;
Народ лишь робко ропщет, устрашен
Турецкой плетью. Где бывшее пламя
Речей и дел? Умрут, как рождены,— рабами!..

75

Лишь вид у них такой, как был. И тот,
Кто видит прежний блеск в глазах народа,
Готов поверить, что опять сверкнет
И в их груди твой вечный луч, Свобода!
Но здесь мечтают — лишь пройди невзгода —
Тотчас наследье прадедов вернуть;
Чужой защиты кланчат год от года,
А сами туркам не подставят грудь,
Чтоб в списках Рабства край свой падший зачеркнуть.

76

Наследственные узники! Забыли?
Кто хочет воли — цепи сам дробит?
И разве гнет не сдастся правой силе?
Вас не спасут ни галл, ни московит.
Да, деспот ваш пред ними побежит,

Но вам от них не ждать свободы! Тени
Илотов торжествуют: враг разбит,
Грек падает пред каждым на колени;
Века позора — здесь, и в прошлом — дни свершений!

77

Быть может, взятый у гяуров град
У турок вновь гяуры б отобрали,
И давний гость, надменный франк, назад
Пришел бы — в недоступном жить Серале,
Иль шайка вахабитов, что украли
Сокровища пророка, вдруг прошла б
Тропой кровавой в западные дали,—
Здесь все равно свобода не выросла б:
Здесь вечно рабский труд влачит извечный раб.

78

Но как тут начинают куролесить
В канун поста! Раскаяньем томим,
Грехи тут каждый должен перевесить
Ночной молитвой, голодом дневным.
Но прежде чем во власянице к ним
Придет прощение, дано немало
Всем поразвлечься способом любым:
То в пестрых масках влиться в крутень бала,
То к ряженным примкнуть в разгуле карнавала.

79

Всех веселей — твой карнавал, Стамбул,
О греческая древняя столица!
Пускай тюрбан софийский свод пригнул
И грек напрасно в храм святой стремится
(Рассказом бед полна моя страница!).
Как в дни свободы, пусть разгулен хор,
Хотя притворны радостные лица,—
Нигде мой слух так не пьянел и взор,
Как тут, где цвет и звук чаруют весь Босфор!

80

На берегу сумбур толпы горластой;
Меняя тоны, музыка ревет;
Порой плеск весел различаешь частый
И жалобу смеющуюся вод.
Владычица приливов свет свой льет
Сочувственно, а ветер вал подгонит —
Она с престола, с голубых высот,
В изгиб волны лучистый лик уронит,
И берег, кажется, в двойном сиянье тонет.

Скользят, сверкая в пене, челноки;
 На берегу гречанки выются в пляске;
 Кто спать захочет, если дрожь руки
 И томный взор полны таймой ласки?
 Кто устоит пред радостью развязки,
 В пожатье робком ощутив ответ?
 Любовь, любовь! Из роз твои повязки!
 Как ни брызжат мудрец иль циник.— нет:
Твой час, и только он, испулит годы бед!

Но в толчее веселой маскарада
 Уже ли ни в ком старинный стон не скрыт
 Под гробовой холстиною наряда?
 Кому в прибое жалоба звучит
 О прежних днях, оплаканных навзрыд?
 Кто средь толпы бездумно-беззаботной
 Пьет горечь дум, презрение и стыд?
 Как мерзок им беспечный смех животный!
Тряпье бы пестрое сменить на саван плотный!

Так эллин должен чувствовать!.. Но где
 Хотя один, с душою патриота?
 Врать о войне и хныкать о беде,
 И, мир храня из рабского расчета,
 Тирану льстить с улыбкой — их забота.
 Любовь к отчизне? Этот груз тяжел
 Для тех, кто меч сменил на серп илота,
 Презрев и кровь свою и ореол,
Что, выродкам в позор, над предками расцвел.

Когда отвага Спарты обновится,
 Когда гречанки народят мужчин,
 Когда средь Фив Эпаминонд родится,
 Когда душа придет к сынам Афин —
 Тогда Эллада встанет из руин,
 Но лишь тогда! Державы стойкой семя
 Живет века и гибнет в час один;
 Кто ж блеск вернет разбитой диадеме
И доблесть воскресит, смиряя Рок и Время?

Но, даже в скорби, нет милей страны
 Былых богов и рати богоравной!
 Ей вечный мирт и горный снег даны —
 Любимице природы, своенравной.

Но сравнены с ее землею славной,
 С геройским прахом и алтарь, и храм:
 Их плуг дробит, нет красоты державной.
 Что создано — все отдано векам;
 Лишь Слава не умрет, владычеству там;

Лишь где-то одинокая колонна
 Над сестрами упавшими грустит;
 Лишь храм Паллады на скале Колонна
 В волнах воздушным очерком блестит;
 Лишь гроб героя стынет, позабыт,
 И серый камень, окаймлен травой,
 Векам, слабея, противостоит.
 Здесь пилигрим замедлит шаг порою,
 Вглядится и «увы!» произнесет с тоскою.

Но та же нежность рощ и свежесть нив,
 И той же синью дикость гор одета;
 Минервы нет, но сочен плод олив,
 И сладок мед сокровищниц Гимета.
 Свободная, средь воздуха и света,
 Пчела снует, лепя душистый дом;
 Феб золотит немеркнувшее лето
 И мраморы Мендэли. Все в былом:
Искусство, Вольность, Честь—но дивный мир кругом!

Все, где ни стань, овеяно священным;
 Земля — не прах здесь, а страна чудес.
 Где мир, что мнился музам вдохновенным
 И в сказках жил, не до конца исчез.
 Глядишь до боли: юный сон воскрес
 И явью стал, манящей неуклонно;
 Здесь каждый холм, ущелье, дол и лес
 Презрели власть жестокого закона:
Афины рухнули — жить славе Марафона!

Здесь то же солнце, хоть и в рабстве грек,
 И та ж земля, хоть предана оковам;
 Вот поле битвы, грань его и брег
 С безбрежной славой, где мечом суровым
 Грек совладал с врагом многоголовым,
 С ордой персидской, в день великий тот,
 Где «Марафон» волшебным стало словом:
 Скажи его — и взором предстаёт
Стан, войско, бой, разгром и Славы гордый лёт!

Вот перс бежит, без стрел, с бессильным луком,
И ярый грек с копьем кровавым — вслед;
Сомкнулись горы по морским излучам,
И смерть кругом: нигде спасенья нет.
Все было так. Но никаких примет:
Где памятники Азии разбитой
И Вольности, питомице побед?
Осколки ури, кой-где курган разрытый,
Да прах, твоим конем, небрежный путник, взвитый.

91

И все ж к останкам величавых лет
Все пилигримы сохранят влечение;
Ионийский ветер от путников привет
Мчатъ будет в край боев и песнопенья;
Язык бессмертный, славные свершенья,
Вы — хмель юнцам любых племен и рас,
О, старцев гордость, юных поученье!
Вас мудрый чтит, певец впивает вас,
Коль вместе с Музою начнет Паллада сказ.

92

Домой спешит, кто побродил по свету,
А там — семья и мил родной очаг;
Кто ж одинок — взгляни на землю эту
И к ней, столь близкой, всей душой приляг!
Да, Греция — не край веселых благ,
Но родину забудет сын печали,
Задумчиво влача неспешный шаг
В дельфийских рощах, где богам внимали,
Иль глядя на поля, где перс и эллин пали.

93

Но пусть пройдет он по земле святой,
Где волшебством любая дышит яма,
Руин не тронув дерзкою рукой:
Уже и так все грабят их упрямо.
Не для того стоит святыня храма;
Чтить мы должны, что древле чтил народ;
Так родину избавит он от срама
И под родной вернется небосвод,
Где, в чистых радостях, любовь и жизнь вдохнет.

94

Ты ж, на досуге длинными стихами
Привыкший развлекаться с давних пор,
Знай: голос твой погаснет в общем гаме:
Певцов новейших слишком громок хор.

Но пусть они ведут тщеславный спор;
Ты суету и не заметишь эту:
Что кружковой восторг или укор?
Нет тех сердец, чей отзыв льстит поэту;
Кого ему пленять, когда любимых нету?

95

Ушла и ты, любима и любя, —
С кем молодость и юный пыл связали;
Все лучшее узнал я от тебя,
Тебя мои пороки не пугали.
Что жизнь моя? Ты отлетела в дали,
Ты странника не дождалась домой,
Он плачет, вспомя жизнь в ее начале.
Зачем те дни — в былом, не предо мной?
К чему возврат, коль вновь скитаться — сиротой?

96

Любимая любовнейшей любовью!..
Как тупо скорбь нависла над былым
И ужас дум теснится к изголовью!
Но Время все ж над образом твоим
Не властно. Смерть все то, что звал моим,
Взяла: и мать, и друга, и поболе,
Чем друга. Ливень стрел неистощим.
И горе с горем, слиты в общей боли,
Все крохи радости в моей убили доле.

97

Что ж, вновь нырнуть в толпу, кого бежит
Душевный мир? Входить с презреньем в залы,
Где пир идет, где праздный смех гремит
И сердцу жжет, кривясь щекою впалой,
Где никнет ум, уже давно усталый?
Насиловать лицо свое и взгляд,
Рисую радость, пряча гнева жало?
Улыбки — те лицо избороздят,
И в судороге губ — скользнет насмешки яд.

98

Какое горе в старости всех горше,
Каких рубцов зазубренной края? —
Всех милых сердцу в книге жизни стерши,
Стать одиноким на земле, как я!
Пред судией склоняюсь, не тая
Надежд разбитых, — разлучен со всеми.
Клубись, теки бесцельных дней струя,
Коль радостей меня лишило время
И в юности влачу годов преклонных бремя.

Песнь третья

1

Дочь, птенчик, Ада милая! на мать
Похожа ль ты, единственно родная?
В день той разлуки мне могла сиять
В твоих глазах надежда голубая,
Зато теперь... — Вскочил я, дрожь смирая:
Вокруг вода бушует, в вышине
Крепчает ветер. Вновь плыву, не зная —
Куда. Вновь тает брег родной в волне,
Но в том ни радости уже, ни скорби мне...

2

Вновь я плыву! да, вновь! И волны снова,
Как бы скакун, что к ездеку привык,
Меня стремят. Привет им, — в буйстве рева!
Пусть мчат меня — скорее, напрямик,
Куда-нибудь! Пусть мачты, как тростник,
Сгибаются и парус хлещет рваный —
Я должен плыть: я над волной поник,
Как ветвь склоненного со скал бурьяна:
Сноси ж удары волн и ярость урагана!

3

Я в юности моей воспел его,
Своих же дум угрюмого изгоя,
Вновь тему взяв наброска моего,
Ее несущ, как ветер, тучи роя,
Несет их. В Песне той явил давно я
Морщины долгих дум и русла слез,
Что, схлынув, место создали нагое,
Где ни единый цветик не пророс,
Где жизнь влачит шаги, а путь — песок занес.

4

С дней юности — веселой, грустной, страстной —
В душе и лире я сорвал струну;
В обеих — фальшь. И, может быть, напрасно
Пытаюсь петь, как пел я в старину.
Но и унылый — все же напев тяну:
Хочу избыть я бред себялюбивых
Отрад и мук, накиннув пелену
Забвенья... Пусть в стихах неприхотливых
Нет радости другим, — мне нравится мотив их.

5

Кто в мире бед до срока одряхлел,
Постигнув жизнь в ее корнях и яви;
Кто, все предвидя, сердцем охладел
К любви, печали, гордости и славе;

Кого уже не ранит, окровавя,
Нож тайных мук, — тот знает, почему
Душа бежит в пустынный грот в дубраве:
Там тени милых населяют тьму
И в келье духа льнут, нетленные, к нему.

6

Здесь творчество, и в творчестве — вторая,
Двойная жизнь, сгущенность бытия:
Воображенью форму придавая,
В ней жизнь мы сами черпаем, как я.
Что я? Ничто! Но ты, мечта моя,
Душа души, ты — все. С тобой, незримый,
Но зоркий, в дальние лечу края;
С тобою слит, огнем твоим слепимый,
Вновь слышать мир могу сквозь чувств померкших
дымы.

7

Притихни, мысль!.. Так много долгих дум
Изведал я, в таком раздумье черном
Я клокотал, что стал усталый ум
Фантазий и огня кипящим горном.
Неукротимый, с сердцем непокорным,
Яд влил я в жизнь. Нет к прошлому дорог.
Все ж я не тот. И все ж — стою упорным;
Бессильно время: я всю боль сберег
И горький плод грызу, не жалуясь на рок.

8

Но, впрочем, хватит: все ушло с годами;
На прежних чарах черствая печать...
Вновь Чайльд-Гарольд является пред нами
С желанием — не чувствовать, не знать,
Весь в ранах (не дано им заживать,
Хотя и мучат). Время, пролетая,
Меняет все. Он стал — годам подстать:
И пыл и силы жизнь ворует злая,
Чей колдовской бокал уже остыл играя.

9

Гарольд свой кубок залпом осушил;
На дне — полынь. Он от ключа иного —
Светлей, святей — в него напиток влил
И думал снова наполнять и снова.
Увы! На нем незримая окова

Замкнулась вдруг, тесна и тяжела,
Хоть и беззвучна. Боль была сурова:
Безмолвная, она колола, жгла,
И с каждым шагом, — вглубь ползла ее игла.

10

Замкнувшись в холод, мнимым недотрогой
Он вновь рискнул пуститься к людям, в свет.
Он волю закаленной мнил и строгой,
Мнил, что рассудком, как броней, одет:
Нет радости, зато и скорби нет,
Он может стать в толпе отъединенным
И наблюдать, — неузнанный сосед, —
Питая мысль. Под чуждым небосклоном
Так он бродил, в творца и в мир его влюбленным.

11

Но кто б смирить свое желанье мог
Цветок сорвать расцветшей розы? Кто же,
Румянец видя нежных женских щек,
Не чувствует, что сердцем стал моложе?
Кто, Славу созерцая, — в звездной дрожи,
Меж туч, над бездной, — не стремится к ней?
Вновь Чайльд в кругу бездумной молодежи,
В безумном вихре не считая дней;
Но цели у него не прежние, — честней.

12

Потом он понял, что людское стадо —
Не для него, не властен бог над ним;
Свой ум склонять он не умел измлада
Перед чужим умом, хотя своим
Гнал чувство с юных лет. Неукротим,
Он никому б не предал дух мятежный:
Никто не мог бы властвовать над ним.
И, в скорби горд, он жизнью мог безбрежной
Дышать один, толпы не зная неизбежной.

13

Где встали горы, там его друзья;
Где океан клубится, там он дома;
Где небо сине, жгучий зной струя,
Там страсть бродить была ему знакома.
Лес, грот, пустыня, хоры волн и грома —
Ему сродни, и дружный их язык
Ему ясней, чем речь любого тома
Английского, и он читать привык
В игре луча и вод — Природу, книгу книг.

Он, как халдей, впивался в звезды взглядом
И духов там угадывал — светлей
Их блеска. Что земля с ее разладом,
С людской возней? Он забывал о ней.
Взлети душой он в сферу тех лучей,
Он счастье знал бы. Но покровы плоти
Над искрою бессмертной — все плотней,
Как бы ревнуя, что она в полете
Рвет цепи, что ее — вы, небеса, зовете.

15

И вот с людьми он стал угрюм и вял,
Суров и скучен; он, как сокол пленный
С подрезанным крылом, изнемогал, —
А воздух был и домом и вселенной.
И в нем опять вскипал порыв мгновенный:
Как птица в клетке в проволочный свод
Колотится, покуда кровью пенной
Крыла, и грудь, и клюв не обольет,
Так в нем огонь души темницу тела рвет.

16

И в ссылку Чайльд себя послал вторую;
В нем нет надежд, но смолк и скорбный стон,
И, осознав, что жизнь прошла впустую,
Что и до гроба он всего лишен,
В отчаянье улыбку втиснул он,
И, дикая, она (так в час крушенья,
Когда им смерть грозит со всех сторон,
Матросы ром глушат, ища забвенья)
В нем бодрость вызвала, и длит он те мгновенья...

17

Стой!.. Прах Империи ты топчешь тут!
Добыча катастрофы тут зарыта!
Что ж? статуи огромные встают?
Победная колонна в землю вбита?
Их нет! Но правда здесь звучит открыто:
Оставьте почву той, какой была.
Здесь жатва кровью, как дождем, омыта;
Но что же, битва, миру ты дала?
Победу жалкую, что троны возвела?

18

Перед Гарольдом поле с черепами:
То Франции могила, Ватерло!
Здесь Власть назад взяла свой дар, и знамя
Неверной Славы к недругам ушло.

В последний раз подбитое крыло
 Напряг орел и, в ливне стрел, кровавый,
 Топыря коготь, рухнул тяжело.
 Таков конец мечты, трудов, державы!
 Он полз, а мир срывал обломки цепи ржавой.

19

Возмездие!..Пусть гложет удила,
 Роняя пену, Галлия — но в мире
 Свободней ли? Верх над Одним взяла
 Мощь Всех. Зачем? Урок любой порфире?
 Как! Вновь о Рабстве, склеенном кумире,
 В век просвещенья мы вопрос найдем?
 Мы, свергнув Льва, должны бряцать на лире
 Волкам? И вновь у тронов ниц падем?
 Нет! Докажи сперва, а восхваляй потом!

20

Иль не бахвалься: «Пал тиран!» — Слезами
 Напрасно светлый омрачался взгляд;
 Цветы Европы вырваны с корнями
 До хищника, что вторгся в вертоград.
 Напрасны ужас, цепи, смерть, распад,
 Чей долгий гнет гнев распалил в народе,
 Родив восстанье. Гений Славы рад,
 Лишь если миртом меч обвит. Гармодий
 В Афинах меч такой взметнул, служба свободе!

21

Ночь напролет гремел блестящий бал:
 То собрала бельгийская столица
 Красу и Доблесть. Пламень лостр сиял
 На дамские и рыцарские лица...
 Сердца блаженно быются. Вереница
 Волшебных звуков зыблет сладкий сон,
 И взор любви в ответный взор стремится.
 Все весело, как свадебный трезвон,—
 Но тише: дальний гул, как похоронный стон.

22

Слыхали?!. Нет: то буря взвыла где-то,
 То воз прогрохотал по мостовой...
 Танцуем же! Ликуем до рассвета!
 Кто спать пойдет, коль быстрою стопой
 Часы мчит Юность в танец вихревой?
 Но — тише! снова этот гул знакомый,
 Как будто эхо в туче грозовой,
 Но ближе — полный смертною истомой!
 К оружию! Скорей! То — пушек ред и громы!

В оконной нише в пышном зале том
 Сидел злосчастный Брунsvик одиноко;
 Среди бала первым различил он гром,
 И смерть в нем слышал с чуткостью пророка,
 Все улыбались: это ж так далеко;
 Он сердцем слышал роковой сигнал,
 Отца его в кровавый гроб до срока
 Позвавший. Кровью мстить он пожелал —
 И в битву ринулся, и в первой схватке пал.

24

Рыдания и слезы всюду в зале...
 Волнение к крайней подошло черте.
 И бледность лиц, что час назад пылали,
 Румянясь от похвал их красоте,
 И судорожные прощанья те,
 Что душат жизнь в сердцах, и вздохи эти
 Последние: как знать, когда и где
 Опять блеснут глаза, друг друга встретя,
 Коль тает ночь услад в несущем смерть рассвете?

25

Коней седлают спешно: эскадрон
 Равняется, и с грохотом крылатым
 Упряжки мчатся: боевых колонн
 Ряды спешат сомкнуться строем сжатым;
 Гром дальних пушек стелется раскатом;
 Здесь дробь тревоги барабаны бьют,
 Еще до зорьки сон спугнув солдатам;
 Толкуются горожане там и тут,
 Губами бледными шепча: «Враги идут!»

26

«Клич Кэмрена» пронзительно и дико
 Звучит, шотландцев боевой призыв,
 Грозивший саксам с Элбинского пика;
 Как, в сердце ночи, резок и криклив
 Лихой волынки звонкий перелив!
 И снова горцам радость битв желанна:
 В них доблесть дышит, память пробудив
 О мятежах, бурливших неустанно,
 И слава Дональда — в ушах всех членов клана!

27

Арденнский лес листву склоняет к ним,
 Росинки слез роняет им на лица,
 Как бы скорбя, что стольким молодым,
 Презревшим смерть,— увь! — не возвратиться:

Им всем вторая не блеснет денница,
Им лечь в бою примятою травой;
Но ведь трава весною возродится,
А их отваге, пылкой, молодой,
Врага сломив, сойти в холодный перегой.

28

Вчерашний день их видел, жизнью пьяных:
В кругу красавиц их застал закат;
Ночь принесла им звук сигналов бранных;
Рассвет на марше встретил их отряд,
И днем — в бою шеренги их стоят.
Дым их застлал; но глянь сквозь дым и пламя:
Там прах людской заполнил каждый скат,
И прах земной сомкнется над телами:
Конь, всадник, друг и враг — в одной кровавой яме!

29

Воспел их бард возвышенной меня,
Все ж одного хочу воспеть солдата,
Затем, что мне он дальняя родня,
Что я задел его отца когда-то,
Что славой храбрых песнопенье свято,—
А он был храбр!.. Средь смертной маяты,
Под ливнем стрел, губивших без возврата,
Подставил буре, павшей с высоты,
Грудь благородней всех, мой Говард юный, ты!

30

Слез вызвал ты, сердец разбил немало;
Что скорбь моя?.. Когда же я стоял
Под деревом, чья зелень оживала
На месте том, где ты, сраженный, пал,
И вокруг меня простор полей дышал
Могучим обещаьем урожая,
И птичий хор слетался на привал,
И шла Весна, весь мир одушевляя,—
Забыл я эту жизнь, о мертвых вспоминая.

31

Тебя я вспомнил с тысячью других,
Оставивших ужасный след кровавый
В душе и в мысли близких и родных;
Забвенью б научить их, боже правый!..
Увы! Труба Архангела, не Славы
Тех воскресит, любимых! Славы звон
Смягчит на миг, но не зальет отравы
Бесплодных сожалений. Блеск имен
Двойною горечью венчает скорбный стон.

32

В улыбке — хмурь, но и улыбка в хмури;
Дуб долго тлеет, прежде чем падет;
Корабль плывет, хоть мачту сбили бури;
Стропила сгнили, но не рухнул свод;
Снесло зубцы у крепостных ворот,
Но всё стоят руинною изрытой;
Цепь много дольше узника живет;
Играет луч, хоть солнце тучей скрыто;
И сердце бедное все бьется, хоть разбито.

33

Как зеркало, в осколки раздробясь,
На тысячу зеркал себя разложит
И тот же образ, тех же линий вязь,
Тысячекратно отразив, размножит,—
Так сердце позабыть никак не может
Разбившись; мрак в нем кровью не согрет,
Его — тоска бессонной болью гложет,
Оно встречает старость в цвете лет
Без внешних признаков: той муке — слова нет.

34

Но есть и жизнь — жизнеспособность яда —
В отчаянии нашем; корень тот
Питает ветви смертные; тут надо
Скорей бы умереть; но жизнь сожрет
Любых страданий самый мерзкий плод,
Как яблоки, что древле выростали
Над Мертвым морем,— засуха их жжет...
Будь мерой жизни счастье — мы б едва ли
(Равная году час) и шестьдесят набрали.

35

Счел Псалмопевец наших лет число;
Не мало их. Но, если верить были
Твоей, завистливое Ватерло,—
Их слишком много. О твоей могиле
Твердят мильоны, вечно будет в силе
Твоя легенда — внуки затвердят:
«Здесь общий меч народы обнажили;
Здесь, в этот день, и наш стоял отряд».
И это — все, что впредь столетья сохранят.

36

Тут сломлен величайший, но не худший,
Чей властный дух, из антитез сплетен,
То воспарял вослед мечте могучей,
То к мелочам упорно был склонен.

Весь — крайность! Будь к середине ближе он,
 Не утерять бы иль не добыть трона:
 Он дерзостью взнесен и сокрушен,
 И все ж на сцену рвется неуклонно —
 Роль Громовержца взять и мир встряхнуть смятенный!

37

Мир покорив, ты сдался в плен ему!
 Но пред тобой дрожит он и поныне:
 Твой образ блещет каждому уму,
 Хоть ты — ничто, затерянный в пучине,
 Игрушка Славы, жалкой той рабыни,
 Чьей лести внемля, сам себя ты стал
 Мнить богом — и величием святых
 Царей ошеломленных оковал,
 Тебя признавших тем, чем ты себя назвал.

38

В высоком, в подлом, выше или ниже
 Людей, ты гнул народы, их душа;
 Ты шел по спинам королей, и ты же
 Был беглецом, из боя прочь спеша.
 Престолы созидаю и круша,
 Своим страстишкам вторил ты безвластно;
 Чтецу сердце лгала своя ж душа:
 Не понял ты, к войне стремясь всечасно,
 Что и для высших звезд Рок искушать опасно.

39

Но дух твой бодро перенес отлив:
 С врожденной философией глубинной
 Ты, мудрость или гордость проявив,
 Влил в недруга как бы настой полынный.
 Пусть ненависть обрушилась лавиной
 Глумления — ты усмехнулся ей,
 Был взор твой полон твердостью старинной.
 Удачей предан, матерью твоей,—
 Ты несогбен стоял под натиском скорбей.

40

Ты поумнел: в дни счастья, с воспаленным
 Тщеславием, ты был и груб и прям.
 Клеймя людей презреньем заслуженным,
 Да, был ты прав; но лучше злым умам
 Ты вовсе пищи не давал бы сам,
 Грозя твоим же слугам оробелым,
 Покуда в плен сам не попал к врагам!
 Мир ставкой ставить — было жалким делом:
 Все вынести сполна ты взял себе уделом.

Стой ты, как башня, и пади один
 С обрыва скал — тогда, в броне презренья,
 Ты б легче снес удар. Но, властелин,
 На трон тебя взвело людское мнение,
 Ты силы черпал в общем восхищенье!
 Ты, думалось, как Александр пройдешь,
 Отвергнув диогеново глумленье
 (Ты пурпура с себя не совлечешь),—

Венчанным циника земля не бочка все ж!

42

Для быстрых душ недвижность — ад, и в этом
 Твоя погибель. В сердце есть ином
 Как бы огонь, любым враждебный метам,
 Стремящийся покинуть тесный дом,
 Лететь через пределы напролом.
 Он, вспыхнув раз,— родник извечной жажды
 Великих дел, и с ним не сладить: в нем
 Горячка роковая та, что каждый
 Дотла сжигает дух, в нем запылав однажды.

43

Она плодит безумцев, чей приплод —
 Безумье. То — монархи, воеводы,
 Создатели систем и сект, весь род
 Софистов, бардов. Эти сумасброды
 Мутят всех душ таинственные воды,
 Дурача всех, хоть сами не умней.
 К ним — зависть! Боже! Жалкие уроды,
 Сплошь в язвах... Грудь им вскрой,— и то,
 что в ней,
 От жажды властвовать отучит вмиг людей.

44

Они смятением дышат: жизнь их — в буре:
 Они летят, пока не упадут;
 В них страсть разить разожжена до дури,
 Так что, когда опасности уснут
 И годы в тихий вечер перейдут,—
 Им смерть грозит, придушенным тоскою.
 Так пламя гаснет в несколько минут,
 Коль нет угля; так меч, ненужный бою,
 Бесславно ржавеет, снедаем сам собою.

45

Кто на горы взберется, тот найдет,
 Что главный пик — весь в тучах, снежноглавый;
 Кто одолел и подчинил народ,
 Да глянет вниз — в бурление злобной лавы.

Пусть там, *вверху*, блистает солнце славы,
А там, *внизу*, — поля, моря, леса,
Но *вокруг* — утесы, лед и величавый
Рев бури снежной, рвущей волоса:
Награда дерзкому, кто рвался в небеса!..

46

Но — в сторону! Мир Мудрости бесспорной —
В ее созданных иль в твоих делах,
Природа-мать! Кто равен животворной
На благодатных рейнских берегах?
Глядит Гарольд. Слились в его глазах
Красоты все: утесы, доли, воды,
Леса, поля и лозы на холмах;
И мшистые угрюмых замков своды
Прощанье шлют со стен, где умирают годы.

47

Стоят они, как гордый дух стоит,
Надломленный, но все ж — в толпе — могучий.
Там пусто; в щелях ветер лишь гудит
Да темные заходят в гости тучи.
Там юности бил ключ в былом кипучий:
На башне — знамя, под стенами — бой.
Но в ключьях знамя в прах сошло сыпучий,
Кто бился — скрыт кровавой пеленой,
И схватка не вскипит над мрачною стеной.

48

В ограде стен, под этими зубцами,
Ярилась Власть. Любой гордец-барон
Разбойничал с вассалами-бойцами,
Могуществом не меньше упоен,
Чем славные мужи иных времен.
Что ж нет им лавров? Или тесно было?
В продажных ли историках урон?
Или не разукрашена могила?
В них та же рдела страсть, гуляла та же сила.

49

В их феодальной, в мелкой их борьбе —
Что подвигов бесславно отгремело!
Любовь, в эмблемы на любом гербе
Свой гордый знак вплетавшая умело,
Сквозь панцырь сердца проникала смело,
Но — дикая: за нею шел раздор;
Порой венчалось разрушеньем дело,
За женщину решался кровью спор,
И в красном Рейне стыл руины свежей взор.

50

Но ты, поток, отрадно полноводный!
Благословенье берегам — твой бег!
Они бы век цвели красой природной,
Оставь свои творенья человек.
Когда бы он не оголял твой брег
Серпом раздора, то в долине этой,
У светлых вод, — не надо б райских нег:
Земля — Эдем!.. С какой еще приметой
Ты мне бы рай открыл уже теперь? — Став Летой.

51

Твой брег дрожал от тысячи боев;
Забыли их и славу их забыли;
Резня валила грудами бойцов,
Но где они? где тропы к их могиле?
Вчера здесь кровь; сегодня волны смыли
Ее; все чисто, и лучи опять,
Сверкая, пляшут в брызгах водной пыли...
Но, властных вод как ни стремится гладь,
Ей черных снов моих из сердца не умчать.

52

Так Чайльд шептал, путь продолжая, — снова
Душой доступен веянью красот,
Собравших птиц для гимна заревого
В дол, где и сильный радость обретет.
Хоть лоб угрюм, и скорбно сомкнут рот,
И чувств огонь спокойствием и хладом
Давно сменен, но сердце — все живет,
Не навсегда бесчувственно к отрадам,
Чей тайный луч порой владеет мрачным взглядом.

53

Да и любовь не все порвала с ним,
Хотя себя спалили страсти сами:
Душа не может взором ледяным
Встречать улыбку; кто был нежен с нами,
С тем нежны мы, хоть всеми суетами
Пресыщены. Так чувствовал и он:
Была душа — к ней он летел мечтами
И верил ей, храня блаженный сон,
С ней — в светлые часы — всем сердцем сопряжен.

54

Любить он научился (не без спора
Признаешь это свойственным ему),
Беспомощность младенческого взора
Еще живет в нем. Как и почему

Пришла любовь к столь мрачному уму,
Презревшему людей,— не все равно ли?
Но было — так. Кто стал *один*, тому
Умерших чувств не воскресить по воле,
Но это — он хранил, других не зная боле.

55

Итак, он связан с нежною душой;
Церковных уз прочнее то слиянье:
Любовь была и чистой, и святой,
Хоть без венца. Без маски, без кривлянья
Она снесла людские поруганья,
Опасностями вдвое укрепясь,
Что удвоают женские терзанья.
Тверда любовь, и нерушима связь —
И песня в честь нее с чужбины попеслась:

Драконий хмурится утес
Над полноводным лоном Рейна,
Вздывая башню. Купы лоз
К реке, скользящей тиховойно,
Ползут средь зелени холмов,
Где в гроздьях зреет пыл рейнвейна;
В волнах дробясь белолилейно,
Сверкают стены городков.
Я б радостью пьянел двойною
Здесь, если б *ты* была со мною.

Крестьянки дарят мне цветы,
С улыбкой синью глаз играя,
В раю гуляя. С высоты
Ряд серых башен, возникая
В листве, и скал нависших ряд,
И арка стройная у края,
В упадке гордость сохраняя,
На виноградный дол глядят.
Чего же нет в долине Рейна?
В моей руке — твоей, лилейной!

Мне лилий дали; их я шлю
Тебе; я знаю: им увянуть
В пути; но все ж прими, молю,
И удостой хотя бы глянуть.
Так было сладко для меня
Мечтать, что, тронув их рукою,
Ко мне ты полетишь душою
И, к ним, поникшим, взор клоня,
Поймешь, что, собранных у Рейна,
Их сердце шлет благоговейно.

Душа волшебной той страны,
Река стремится свой бег бурливый;
Красот бесчисленных полны
Ее неожиданные извивы.

Здесь рад бы жить гордец любой,
Смирив надменные порывы...
Где б край нашелся столь счастливый,
Мне и природе дорогой,
Когда бы вздох твой тиховойно
С моим слился в долине Рейна?

56

Близ Кобленца — пригорок; небольшая
Там пирамида скромная стоит,
Зеленый нежный холмик украшая;
Под камнем тем героя прах зарыт,
Врага! Но да не будет позабыт
Смельчак Марсо! Над ранней той могилой
Слезу смахнет суровый инвалид,
Завидуя тому, кто, полный силы,
За Францию погиб, за честь отчизны милой.

57

Был славен краткий путь его. Над ним
Две армии враждебных горевали.
Здесь помолиться должен пилигрим
О том, чтоб мир вкусил он без печали,
Борец Свободы! Мы найдем едва ли
Таких, как он, кто сдерживал размах
Карающей и беспощадной стали,
Ему врученной. Он сберег в боях
Всю белизну души — и все кругом в слезах.

58

А вот Эренбрейтштейн, чей вал разъятым,
От взрыва черен, смотрит с вышины,—
Почти такой, как был, когда гранаты
Отскакивали от его стены.
О башня славы! Здесь, отражены,
Враги бежали — вслед она глядела;
Но мир свершил задание войны:
От летних ливней кровля та истлела,
Что и чугунный град века сносить умела.

59

Прощай же, Рейн прелестный! Странник рад
Помедлить здесь, продлить очарованье:
Ты радуешь и нежной пары взгляд,
И горечь одинокого скитанья.
Прерви бессонный коршун истязанье
Души — он здесь бы сделать это мог:
Природа здесь — не скорбь, не ликованье,
Глушь, но не дедь, величье, но не рок,
И для земли она — что осень в должный срок.

Прощай, прощай! Но повторять бесплодно:
 Прощанья нет с подобною страной;
 В свои цвета окрашен ум холодный;
 И взор, расстаться медлящий с тобой,
 Так благодарен, Рейн любимый мой,
 В последний миг скользя в твоих долинах!
 И ярче страны встанут предо мной,
 Но нет нигде столь слитых и единых
 Красы, и нежности, и славы дней старинных.

61

Небрежное величье; цвет садов,
 Сулящий плеск; река в каемке пены;
 Утесов мел; блеск белых городов;
 В глуши лесов готические стены
 Да башни скал, что вечно неизменны
 В насмешку зодчим. И народ кругом,
 Чьи лица так же мирны и блаженны,
 Как вся страна, где блага быют ключом,
 Хотя звучит вблизи Империй падших гром.

62

Но длится путь. Вот Альпы надо мною,
 Дворцы природы. Строй их стен взошел
 Ввысь, в тучи втиснув темя ледяное;
 В чертогах льдистых возведен престол
 Для Вечности; там копятся и в дол
 Слетают молнии снегов — лавины.
 Здесь человека давит ореол
 Величия: земные исполины,
 Людей внизу забыв, здесь к небу льнут вершины.

63

Но прежде чем дерзну на горы лезть,
 Нельзя не обозреть поля Мората,
 Где дали бой патриотизм и честь.—
 Трофей резни, губившей без возврата.
 Но нет стыда за тех, кем поле взято;
 Гора костей столетье там торчит,
 Как памятник: бургундцы там когда-то
 Сплошь полегли, и не был прах зарыт —
 И у стигийских вод стон призраков звучит.

64

Две бойни спорят: Ватерло и Канны;
 Двойной маяк — Морат и Марафон:
 Их лавр — венец, чистейшей славой данный,—
 Геройством граждан-братьев заслужен.

Не нанимал их развращенный Трон,
 Не гнало Честолюбье; скорбным стоном
 Никто не отвечал им, угнетен
 Каким-нибудь драконовским законом,
 Вручающим права царям обожествленным.

65

У мрачных стен, как призрак древних лет,
 Сереет сиротливая колонна —
 Былых крушений уцелевший след —
 И диким взором смотрит изумленно,
 Подобно деве, в камень обращенной,
 Но мыслящей. И — чудо, что она
 Не рухнула средь общего циклона,
 Когда краса эпохи сметена,—
 Когда Авентик пал, страшивший племена.

66

Здесь Юлия — будь это имя свято! —
 Как жрица, небу юность отдала;
 Больное сердце ж, мукою объято,
 Она, как дочь, в отцовский гроб снесла.
 Суд глух к слезам; она же их лила,
 И жизнь отца, и в ней свою спасая,
 И умерла затем, что не спасла...
 Здесь бюстов нет; гробница тут простая
 Стоит — единый дух, единый прах скрываая.

67

Таким не позабыться именам,
 Таким делам не утонуть в тумане,
 В глазах земли они и трон и храм;
 Раб и тиран равно в забвенье канет.
 Вершина же добра не перестанет
 Сиять и, с горем распростаясь былым,
 В лик солнца с высоты бессмертья глянет
 Подобно Альп вершинам снеговым,
 Нетленно-девственным в выси над всем земным.

68

Лик Лемана меня манит хрустальный,
 То зеркало далеких звезд и гор,
 Где повторен в недвижности зеркальной
 Во всех чертах их цветовой убор.
 Но слишком людно здесь, чтоб мог я взор
 Направить на высокое, как надо;
 Нет, замкнутый, я отыщу затвор
 Для тайных мыслей, с прежней их отрадой,—
 Когда я загнанным в людское не был стадо.

Бежать людей — в том нелюбви к ним нет:
 Не всем делить их беды и работы;
 Не от презренья дух в броню одет,
 Укрыв родник в глубиннейшие гроты:
 В кипенье толп вариться нет охоты,
 Чтоб жертвой стать заразы, а потом
 Жалеть себя, ныряя в извороты
 Обид и склок, зло возмещая злом,
 Среди бездарностей, что рвутся напролом.

70

Тут, вмиг, мы можем наши годы кинуть
 В пасть угрызений; разрывая грудь,
 Вся наша кровь слезами может хлынуть
 И целый мир в цвет ночи окунуть.
 Во тьме бродящим — жизненный их путь
 Становится лишь бегством безнадежным:
 Моряк смелейший хочет в порт свернуть,
 Но в вечности — ладья с пловцом мятежным
 Плывет без якоря вдаль по волнам безбрежным.

71

Не лучше ль одному прожить весь век,
 Любя земли величие земное,
 Где синей Роны искрометный бег,
 Где озеро прозрачно-голубое
 Ее питает, точно мать — родное
 Свое дитя, глуша капризный крик
 Лишь поцелуем?.. Так и жить — в покое,
 Вдали толпы, не молкнушей на миг,
 Где всякий обречен: кто — давит, кто — поник.

72

Я не в себе живу; я лишь частица
 Того, что вокруг; меня вершины гор
 Волнуют, а столица столица —
 Мне пытка. Здесь ничто не ранит взор
 Среди природы. Лишь один позор:
 Колечком быть в ее цепи телесной,
 Одной из тварей, — а душа в простор
 Стремится: в горы, к звездам, в свод небесный,
 В ревуший океан, чтоб с ними слиться тесно.

73

И, поглощенный ими, я — живу!
 А позади, в пустыне многолюдной,
 Мир агоний и бреда наяву,
 Куда за грех, должно быть, безрассудный

Я брошен был — в борьбе томиться трудной.
 Но отрастают крылья вновь — и вот
 Уже способны резать ветер чудный,
 Крепчая с ним, чтоб реять средь высот,
 Презрев холодный прах, что цепью к духу льнет.

74

Когда же дух вполне освободится
 От оболочки мерзостной своей
 И жизнь мясная вовсе прекратится
 (Став жизнью мух счастливых и червей),
 И станет прах простой землей, и в ней
 Сольются элементы — неужели
 Все, что теперь меня слепит, ясней
 Не станет? — Мысль, не скованная в теле?
 И Духи Мест, чью жизнь мечты делить умели?

75

Иль горы, волны, небеса — не часть
 Моей души, как я — их часть? Влеченье
 К ним — в чистую не перешло ли страсть
 В моей груди? Не прав ли я, презренью
 Даря всему, что не они? Кипенью
 Мук вынося, чтоб чувства не предать
 Во имя флегмы, — светского растленья
 Холодных душ, глядящих вниз и вспять,
 Чьи мысли не дерзнут вовеки просиять?

76

Но я от темы отошел; недурно
 Вернуться к ней. Теперь мы позовем
 Тех, чьи раздумья поглотила урна.
 И вот — один, чей прах был сплошь огнем.
 Рожденный здесь, — где чистый воздух пьем
 Мы, путники, — тот человек покоя
 Не знал вовек; одно кипело в нем:
 Желанье славы, вздорное и злое;
 Ее лоя, в себе ломал он все живое.

77

Апостол боли здесь увидел свет —
 Дикарь Руссо, софист-самомучитель,
 Страсть расцветивший, выжавший из бед
 Хмель красноречья. Здесь его обитель,
 Где он страдал, где понял он, учитель,
 Красу безумья. В кипень дум и дел
 Он пролил краски неба, душ властитель, —
 И каждый взор, что в пламя слов глядел,
 Слезой чувствительной мгновенно заблестел.

Его любовь была экстрактом страсти,—
 Как дуб, зажженный молнией, сгорал
 В эфирной выси у мечты во власти:
 Жизнь есть любовь, и он другой не знал.
 Но не живую женщину он звал,
 Не мертвую, что в наши сны стучится:
 В нем — красоты слагался идеал
 И жизнь обрел — чтоб каждая страница,
 На вид безумная, могла огнем пролиться.

Он *этим* жизнь в грудь Юлии вдохнул,
 Одев ее простым и ясным светом;
 Он *этим* в поцелуе том сверкнул,
 Что зною губ нежнейшим был приветом,
 Лишь дружбою в ответ любви согретым;
 Но в ласке беглой был палящий жар,
 И душу трепет обжигал при этом;
 Да; грустный вздох, возможно, лучший дар
 Чем обладание — для грубых душ угар.

Всю жизнь он бился с мнимыми врагами
 И гнал друзей. Он Подозренью храм
 Воздвиг в душе, ища заклать в том храме
 Всех близких — повод измышляя сам,
 В слепом упорстве бешен и упрям.
 Безумцем став (нет дела бесполезней
 Искать причин, неуяснимых нам) —
 Безумцем став от горя и болезней,
 Он мудрым выглядел в своей безумной бедне.

Как Пифия, приняв безумье в дар,
 Он изрекал, оракул вдохновенный,
 Пророчества, что в мир внесли пожар,—
 Испепелявший царственные троны.
 Не Франция ль простерлась угнетенной,
 Поверженная тиранией в прах,
 Дрожа в ярме? Но голос иступленный
 Его собратий, к ней дойдя, в сердцах
 Сменил неистовством чрезмерно долгий страх.

Они ужасный памятник создали —
 Обломки суеверий, что росли
 Спокон веков; завесу разорвали,
 Все скрытое явив глазам земли.

Но и добро легло за злом в пыли;
 Осталась лишь руина, из которой
 На той же почве новые взошли
 Дворцы и тюрьмы, занятые скоро:
 Тщеславию наглому нужна была опора.

Но это длить и выносить нельзя!
 Мощь обрели народы и — явили!
 Ей благу бы служить, не все разя;
 Но, радуясь новорожденной силе,
 Мир бойней стал. Сердца — жалеть забыли,
 Заледенев. А люди, жизнь влача
 Под вечным гнетом, в темноте и в гнили,
 Ведь не орлы, товарищи луча!
 Не диво, что они порою бьют сплеча.

Без шрамов разве заживают раны?
 Кровь — раны сердца дольше всех струят,
 Рубцуясь грубо. Собственные планы
 Разрушив, побежденные молчат,
 Не покорясь. В своей берлоге сжат,
 Гнев притаил дыханье: нужно людям
 Дождаться дня возмездий и расплат.
 День тот идет, придет! Мы всё рассудим,
 Но, мстя и милуя, мы справедливы будем!..

Спокойный ясный Леман! Гладь твоя
 На дикий мир, где жил я, не похожа
 И мне велит, спокойствие струя,
 Средь смут земных искать иного ложа
 И чистых вод. Не муча, не тревожа,
 Меня твой челн, крыло подняв, повлек
 Прочь от сует. Рев бурь любил я, множа
 Восторг; но в плеске нежных струй — упрек
 Сестры заботливой: как жить я в грозах мог?

Ночная тишь. Всё, между склоном горным
 И пляжем, смутно, зыбко, но светло
 И различимо. Лишь массивом черным
 Восходит Юра, горбясь тяжело
 Крутым хребтом. Мы — ближе, и дошло
 К нам с берега дыхание живое
 Цветов едва раскрытых; вот весло
 Роняет капли; вот, в ночном покое,
 Кузнечик нам пост прощание ночное.

Ночной гуляка, он всю жизнь готов
 Петь и резвиться; что ему забота?..
 Вот птичий вскрик из глубины кустов,
 И снова тишь повсюду и дремота.
 Вот на холме как будто шепчет кто-то.
 Иллюзия! Ведь капельки росы
 Безмолвствуют, на грудь земли без счета
 Стекая в эти звездные часы,
 Чтоб их любовь могла взрастить ее красоты.

88

О звезды — лирика небес!.. Державы
 И люди блеском вашим золотым
 Свой мерят рок. Беда ль, что в жажде славы,
 Когда порыв души неукротим,
 Стремимся мы к пределам неземным
 И с вами стать хотим одной семьею?
 Вы — красота, вы — тайна. Вас мы чтим,
 И к вам любовью мы полны такою,
 Что славу, счастье, власть и жизнь зовем Звездой!

89

Тишь на земле и в небе — но не сон:
 Так, чувством полны, мы таим дыханье,
 Так немые те, кто в думу погружен.
 Тишь на земле и в небе. Звезд мерцанье,
 Недвижность вод и берег-изваянье —
 Всё жизнью напряженной полно,
 Всё — часть единого существованья:
 Луч, воздух, лист; и каждое звено
 Сознаньем благодати творца напоено.

90

Тут чувство бесконечности рождается,
 В пустыне, где ты *меньше* одинок,
 Где очищеньем истина струится,
 Смягчая дух: то некий тон — исток,
 Душа и сердце музыки, намек
 На вечную гармонию, — победный,
 Как пояс Афродиты, что облек
 Мир в Красоту. Он призрак Смерти бледный
 Смирил бы, если б тот не уползал, бесследный.

91

Прав древний перс, отведший алтарям
 Высокие места, крутые пики,
 Над миром вставшие, — достойный храм,
 Не замкнутый стеной, где дух великий

Нам ближе, чем в соборах, для владыки
 Воздвигнутых людьми. Приди, сравни
 Кумирни греков, готов базилики
 И капища Природы! Там храни —
 Не в тесноте церквей — твоих молитв огни!

92

Вдруг изменилось небо — и как резко!
 Ночь, буря, тьма явили грозный лик,
 Но в той грозе очарованье блеска,
 Как в черном взоре женском. Каждый пик,
 Любой утес грохочет: вперепрыг
 Катится гром. Не туча грозовая —
 Все горы зычный обрели язык,
 И Юра — отклик, мгlistый плащ пронзая,
 Веселым Альпам шлет от края и до края!

93

Все это — ночь! О царственная ночь!
 Ты не для сна! Позволь мне причаститься
 Твоим восторгам, уносящим прочь,
 Дай мне грозы и грома стать частицей!
 Гладь озера, как море, фосфорится;
 Вот крупный дождь по скатам заплесал;
 И снова мрак; и снова вереница
 Громов ликует, точно дав сигнал
 Землетрясению родиться в недрах скал.

94

Между двух скал живая мчится Рона;
 Те скалы — как любовники, враждой
 Оттолкнутые: глубь меж них — бездонна;
 Не слиться им; с разбитым сердцем — стой.
 Хоть во враждебных душах, в той и в той,
 В любовь уходят ненависти корни, —
 Любовь прошла, цвет жизни смяв пятой,
 И вот — года стоят в пустыне горной,
 В сплошной зиме, в своей вражде упорной.

95

Там, где пробит проворной Роны путь, —
 Стоянка бурь. В игре освирипелой
 Там не одна, там все хотят сверкнуть,
 И вперекрест их огневые стрелы
 Порхают. Самой бешеной и смелой
 По нраву тот, между двух скал, разлом —
 Чтоб виться там: в простор тот онемелый
 Ей радостно метнуть огонь и гром —
 Доругить и дождечь таящееся в нем.

Твердь, кряж, река, вихрь, озеро, блеск молний,
 Ночь, тучи, гром — и также сердце тут,
 Чтоб вам внимать покорней и безмолвной,
 Забыв о сне! Далекий гул и гуд
 В душе как похоронный звон плывут
 Над всем ее томлением бессонным.
 Но где же, бури, горный ваш приют?
 Иль те же вы, что в сердце воспаленном?
 Иль гнезда есть у вас орлиные по склонам?

97

Когда б раскрыть и воплотить я мог
 Все, что во мне; дать мысли выраженья;
 Ум, душу, сердце, волю, чувств поток,
 Больших и мелких, страсти и стремленья,
 Все, что я снес, познал, постиг — мученья
 И радости — влить в слово, но в одно,
 Я «молния» бы крикнул в то мгновенье.
 Но нет: мне жить безгласным суждено,
 И мысль нема, как меч, что в ножны лег давно.

98

И вновь — заря в росе и в ароматах,
 Румяная; и резвый смех с холмов
 Шутливо гонит стаю туч косматых,
 Звуча, как будто в мире нет гробов.
 И день встает. И жизнь опять свой зов
 Нам шлет. Но я пока не покидаю
 Твоих, мой светлый Леман, берегов:
 Здесь много есть, над чем я размышляю;
 Здесь надо подождать — я это твердо знаю.

99

Кларан уютный, колыбель Любви!
 Сам воздух твой — дыханье мысли страстной;
 Любовь — в твоих деревьях, в их крови;
 В снегах и льдах ее же цвет прекрасный,
 Куда закат волною плещет красной,
 Чтоб задремать любовно. Здесь любой
 Утес расскажет о Любви несчастной,
 Сюда бежавшей от борьбы мирской,
 Что льстит надеждами и жжет насмешкой злой.

100

Кларан! Любовь бессмертная тропами
 Твоими шла, здесь восходя на трон
 По ступеням нагорий. Жизнь и пламя
 Богиня здесь метнула в каждый склон

И в каждый грот; здесь каждый цвет зажжен
 Ее лучистым взором — и дыханьем
 Душистым и горячим напоен;
 Богини власть полна здесь обаяньем
 И горных бурь сильней с их грозным содроганьем.

101

Все дышит им: и черных сосен строй,
 Даривших тень ему, и водопады,
 Чей шум он слушал, и, в лозе густой,
 Тропинка вниз, где волны, встрече рады,
 Свой поцелуй несут, как дар прохлады,
 К его ногам, и лес, как ряд колонн,—
 В живой листве седых стволов громады,—
 Шумит, как радость, юный, там где он
 Стоял, средь тысячи существ уединен,

102

Уединен — средь пчел и птиц несметных,
 Среди созданий пестрых, полных сил,
 Чей гимн ему — сердечней слов приветных,
 Средь плеска вольных и бесстрашных крыл.
 Тут говор струй, что так для слуха мил,
 Каскадов шум, ветвей живых извивы
 И дух весны, что в почках воплотил
 Идею красоты, еще стыдливой,—
 Все соткала Любовь в единый лад счастливый.

103

Кто не любил, здесь будет обучен
 Науке этой. Кто загадке нежной
 Причастен был — вдвойне полюбит он:
 Сюда Любовь бежала от мятежной
 Борьбы людей, от праздной, безнадежной
 Их скорби. У Любви двойной исход:
 Жизнь или смерть; увянет иль безбрежной,
 Благословенной негой расцветет,
 В чьей вечности — лучи внемировых высот!

104

Руссо не ради вымысла мечтами
 Нам населил весь этот уголок:
 Созданьям духа чистым страсти сами
 Здесь отвели приют. Здесь юный бог,
 Психее пояс развязав, облек
 Мир прелестью. Здесь так уединенно,
 Отраднo, тихо: здесь во всем намек
 На нежность, чувство, музыку; здесь Рона
 На ложе прилегла, и Альпы смотрят с трона.

Ферней! Лозанна! Вы — приют людей,
 Чьи имена вам дали ваше знамя:
 Два смертных к славе мировой своей
 Шли здесь бесстрашно страшными тропами.
 Здесь этими гигантскими умами
 В сомненьях дерзких нагромождены
 Идей массивы; снова гром и пламя
 Небесная метнула б высота,
 Когда б возня людей ей не была смешна.

106

Один — огонь, изменчивость; ребенок
 По прихотям, но — с дьявольским умом.
 Был весел он, дик, мудр, серьезен, тонок;
 Философ, бард, историк были в нем.
 Все типы он вместил в себе одном —
 Протей талантов. Но его врожденный
 Талант — глумленье надо всем кругом:
 Все впрах круша, он бурей разъяренной
 Летел, давая глупцов и сотрясая троны.

107

Второй — глубок, неспешен и пытлив,
 Над книгами годов провел немало,
 Жил в размышленьях, мудрость накопив.
 Его клинка отточенное жало
 Торжественной иронией пронзало
 Торжественные кредо. Чародей
 Насмешки, он бесил врагов. Дышала
 Их злоба страхом, в ад гнала людей —
 Ответ еретикам на дерзость их идей.

108

Но — мир их праху! Жизнь за все успела
 Им отплатить, и нам ли быть судом?
 Судить и осуждать — не наше дело.
 Придет пора, когда мы всё пойдем,
 Иль страх наш и надежда вечным сном
 Задремлют на одной подушке: тленье —
 Вот наш удел, и нет сомненья в том.
 Но, коль воскреснем (как сулит ученье),
 То кару правую стяжаем иль — прощенье.

109

Но прочь от книг людских! Читай опять
 Слова творца — в Природе, книге вечной.
 Пора и песню, плод мечты, кончать,
 Что стала мне казаться бесконечной.

Вон стая туч к альпийской грани млечной
 Плывет — и мне пора итти туда
 И видеть все, куда стопой беспечной
 Смогу ступить, где в горных царствах льда
 Грозу в объятия зовет земля всегда.

110

А там, а там — Италия! Мгновенно
 Твои века шлют в душу сноп лучей —
 С поры, грозившей игом Карфагена,
 До мудрецов последних и вождей,
 Чьи лавры — честь истории твоей.
 Ты трон и гроб империй. Ум, палимый
 Желаньем знать, водой твоих ключей
 Насытится, что бьют неудержимо
 Струею вечною с холмов державных Рима.

111

Я до сих пор в поэме шел вперед,
 Продлив ее при знаменьях унылых.
 Да, чувствовать, что ты уже не тот,
 А быть таким, как должен быть, — не в силах
 Терзать себя; с надменным страхом в жилах
 Таить любовь и ненависть, и пыл
 Страстей и чувств, и боль надежд остывших,
 Все то, что мысль тиранит свыше сил, —
 Задача трудная. Но — ничего. Решил!

112

А те слова, что тканью песни стали,
 Быть может, просто плутовской наряд,
 Раскраска сцен, навек ушедших в дали;
 Я их ловил, на миг развлечься рад,
 Себе и ближним улаждая взгляд.
 Лавр нужен юным. Я не так уж молод;
 Улыбку ль мне, иль хмурый взор дарят.
 Я этим не польщен и не уколот:
 Стоял — и стой один, восторг вокруг иль холод.

113

Я мира не любил, как он меня:
 Не млея под его дыханьем смрадным;
 Божкам не льстил, колена преклоня,
 Щек не сквернил улыбкой и насадным
 Хвалам не вторил эхом заурядным.
 Среди, но вне толпы, я был — чужой
 Под саваном раздумий безотрадным,
 Ей чуждых. Но и слейся я с толпой —
 Мой ум остался б чист, сам властвуя собой.

И мир и я друг друга не любили.
 Простимся ж мирно: я не обуян
 Враждой. Я верю: где-то есть и были
 Слова — дела; надежды — не обман;
 Мораль кротка и не всегда капкан
 Для слабых; я готов предать огласке,
 Что впрямь иной скорбит при виде ран,
 Что двое-трое жизнь ведут без маски,
 Что счастье не мечта и доброта не сказки.

О дочь моя! Я именем твоим
 Открыл главу; им и закончить надо.
 Вовек тебе останусь я родным,
 Хоть на тебя нельзя мне бросить взгляда.
 Лишь ты — в тенях далеких лет — отрада.
 В твои виденья будущие — мой
 Войдет напев, забытый мной измлада,
 И трюнет сердце музыкой живой,
 Когда мое замрет в могиле ледяной.

Твой ум растить; стеречь твой смех ребячий —
 Зарю забав; следить в потоке дней,
 Как ты растешь, ловя твои удачи
 В познании диковинных вещей;

Брать на руки тебя; к щеке твоей,
 Столь нежной, лгнуть отцовским поцелуем...
 Все отнять судьбою злой моей.
 Я, от природы этим всем волнуем,
 Не знал подобных чувств и все-таки служу им!

Пусть Ненависть тебе вменяют в долг,
 Ты будешь, дочь, любить меня. Пусть нмя
 Мое запретным станет, чтобы смолк
 Сам звук его, рожден устами злыми,
 Пусть ляжет гроб меж нами — нерушимой
 Меня любить ты будешь! Кровь мою,
 Коль это можно, с жилами твоими
 Пусть разлучат — ты будешь, говорю,
 Любить! и все сильнее, идя к небытию!

Дитя любви, рожденное в печали,
 В мученьях вскормленное! Вот черты
 Отца. Тебе избегнуть их едва ли:
 Они — вокруг. И все ж твои мечты
 Светлее будут: кротче будешь ты!
 Спи в колыбели сладко, без волнения:
 Я через море, с горной высоты
 Тебе, любимой, шлю благословенье,
 Каким могла б ты стать для моего томленья!

Песнь четвертая

1

Венеция. Мост Вздохов. Я стоял:
 Дворец налево и тюрьма направо;
 Из вод как будто некий маг воззвал
 Громады зданий, вставших величаво.
 С улыбкой умирающая Слава,
 Паря на крыльях десяти веков,
 Глядела вспять, где властная держава
 С Крылатым Львом над мрамором столпов
 Престол воздвигла свой на сотне островов.

2

Из волн морских она Кибелой влажной
 В тиаре башен гордых предстает
 В воздушных даях, царственной и важной,—
 Владычица богам подвластных вод.

Восток в подол ей лил из года в год
 Алмазный дождь. Любой ее невесте
 Приданым был пиратских воин доход.
 Она, в порфире, пиновала вместе
 С монархами, — и те искали этой чести.

3

Но смолкло эхо тассовых октав:
 Гребцы теперь безмолвны неизменно;
 Дворцы уныло смотрят, обветшав,
 И редко где прольется кантилена.
 Те дни прошли, но Красота негленна:
 Державам — прах, Природы ж вечен лад;
 Ей все мила Венеция — блаженный
 Приют былых веселий и услад,
 Всениталийский пир, всемирный маскарад!

Но есть иные чары здесь — дорожке
Истлевшей славы и толпы теней,
Что плачут над былой столицей дождей,
Былую власть оплакивая с ней.
Риальто может рухнуть — но трофей
Наш не погибнет: Шейлок и Отелло,
И Петр. Замковых не изъять камней
Из купола! Пускай бы все истлело,—
Мы ими напомним тот берег опустелый!

Творенья мысли — не из глины. В нас
Они живут, бессмертные, истоком
Лучей несметных и ведут рассказ
О лучшей доле. Все, что нам, в жестоком
И скучном рабстве смертной жизни, Роком
Запрещено, они дарят мечтой,
Развевая злобу в сердце одиноком;
В нем жухлый цвет опрыскан их водой —
И вновь на пустыре игра листья живой.

Вот он — приют для юных и для старых:
Тех шлет Надежда, этих — Пустота.
Родник страниц — в их пережитых чарах,
Хотя бы той, что мною начата.
А вещи есть — реальность их крута,
И ярче сказки цвет их и приметы,
Прекрасней неба, где царит мечта,
Где страшные созвездья и планеты
По воле диких муз поэтами воспеты.

Явь или сон — те вещи видел я:
Предстали правдой, стали сном обманном —
И только спом!.. Могла бы мысль моя
Вернуть их; дух остался неустанным
В создание форм, подобных тем, желанным,
Что я искал, что находил я вдруг.
Но — прочь! Рассудок — враг виденьям
странным.

Фантазии надменные — недуг;
Иные голоса и мир иной вокруг.

Я знаю языки — и на чужбине
Кажусь не чужестранцем. Ум, вполне
Устойчивый, не дрогнет и в пустыне.
Нетрудно отыскать в любой стране

Счаг и в суете и в теплине.
Моей страной горды ее народы
Не без причин. Ужель покинуть мне
Приют мой, остров мысли и свободы,
И плыть, ища свой дом, в неведомые воды?

Мой край, быть может, я любил. Туда,
В чужой земле освобождаясь от тела,
Вернется дух — коль мы вольны тогда
Избрать алтарь. И нет мечте предела,
Что средь потомков буду жить всецело
И песнь в родимом слове прозвучит.
Но если я мечтаю слишком смело
И слава, точно счастье, отгорит,
Едва блеснув, и хлад забвенья преградит

Мне доступ в храм, где славные останки
Чтут люди, — пусть! Пусть лавры суждены
Иным, высоким! Мне слова спартанки
Да будут эпитафией даны:
«У Спарты есть и лучшие сыны».
Я чувствами не дорожу людскими:
Не мной ли те шипы возвращены,
Что я собрал? Я в кровь истерзан ими.
Но мог ли мой посев плодами стать иными?..

По мужу плачет Адрия-вдова:
Забит обряд венчанья каждогодный,
А «Буцентавр», наряд ее вдовства,
Давно заброшен, ветхий и негодный.
И Лев стоит — насмешкою бесплодной —
На Пьянце, где, в сиянье прежних дней,
Сам император плакал всенародно,
А короли глядели всё жадней
На блеск приданого владычицы морей!

Где плакал шваб, теперь австриец правит
И топчет прах, где первый — ниц лежал;
Цепь — городá, где были троны — давит;
Провинциями стали царства; пал
Ряд наций, — точно снеговой обвал
С вершины гор, жарой подточен летней, —
С вершины власти... О, на час бы встал
Он, Дáндоло, чей меч был всех приметней
Над Византией, — вождь восьмидесятилетний!

Как встарь, коней Сан-Марко медь ясна,
Сверкает их уборов позолота;
Но Дории мечта сбылась сполна:
На них — *узда*. Пал город жертвой гнета,
Веков тринадцать вольности со счета
Смахнув. Морской травой к родному дну
Припал он. Лучше вновь уйти в болото,
От иноземца кануть в глубину,
Чем рабский срам влачить, вкушая тишину.

14

Слыл новым Тиром город юной славы,
Чья кличка злая связана со Львом:
«Piantaleone»; с ней он след кровавый
Провел везде. Плодя рабов кругом,
Свободный сам, стоял он пред врагом,
Форпост Европы против оттоманов.
Вторую Трою, Кандию, и гром
Лепанто вечно волны славят, прынув!
Их именам ни лет не страшно, ни тиранов.

15

Осколками стеклянных статуй лег,
Распался прахом ряд умерших дождей,
Но, с гробом схожий, пышный их чертог
Великолепьем ослепляет все же.
Их сломан скиптр; и ржавый меч их — тоже
В руках врага. Прохожих чуждый вид,
Проулков грусть и опустелость лоджий —
Все о вторженье вражьем говорит,
И скорбным облаком прекрасный град повит.

16

Когда гнала афинян в Сиракузы,
Надев ярмо и цепи им, Война —
Их выкупила только песня Музы
Аттической, в тот край принесена.
Гляди: все стало; песнь гремит одна;
И вражий вождь, — едва она пропета, —
Бросает повод; сталь обнажена;
Он рубит узы и велит за это —
За волю и за гимн — благодарить поэта.

17

Венеция! В ярме ты много лет,
Свободы голос замер бездыханно,
Жива лишь песня: Тассо, твой поэт,
Всегда упреком будет для тирана.

Ты, Англия, царица океана,
Не оставляй морской волны детей,
Чей рок суров, не заживает рана, —
Задумайся и над судьбой своей,
Хоть и спокойна ты там, за стеной морей!

18

Венецию любил я с детства: мнился
В ней полный чар замороженный мир,
Что из морей подобно смерчу взвился,
Базар сокровищ, непрерывный пир!
Мне Отвэй, Радклиф, Шиллер и Шекспир
Ее в душе отпечатали сладко;
Она не та — и все же мой кумир;
В ней, может быть, милей черты упадка,
Чем дней величия хвастливая повадка!

19

В ней призраки я поселить бы мог;
Но и теперь здесь вдоволь матерьяла
Для глаз, для дум — чей светлый ключ глубок:
Пожалуй, больше, чем душа искала.
И лучшие мгновенья, что вплетала
В узор свой жизнь моя, расцветчены
Венецией!.. Есть чувства — и немало:
Ни Пытка им, ни Время не страшны —
Не то *мои* застыть должны б, умерщвлены.

20

Ведь от природы строй альпийских елей
Всех выше там, где камень горный гол;
Их корни — в скалах, где бесплодны щели,
Где землю ветер беспощадно смел;
Они стоят: и, смотришь, мощный ствол
Смеется бурям, позабыв ушибы,
Достойный гор, где гордо он расцвел
И жизнь обрел в гряди гранитной глыбы,
Гигантом став... Вот так умы расти должны бы!

21

Жизнь — ель над бездной. Корень свой она,
И с ней терпенье, погрузила властно
В бесплодный дух. Пускай трещит спина —
Свой тяжкий выюк верблюд влачит безгласно.
Волк молча дохнет. Дан нам не напрасно
Такой пример. Коль зверь лесной иль скот
Страдает, но молчит — ужель неясно,
Что мы должны, как благородный род,
Дух закалив, терпеть. А жизнь — лишь день: пройдет!

Страданье убивает иль убито
 Самим страдальцем: значит, все равно:
 Конец! Иным дорога вновь открыта,
 Надежда вновь кружит веретено,
 Вновь нить бежит. Иному суждено,
 Седым и бледным, увядать до срока,
 Надежду потеряв, итти на дно.
 Тем — бог, война, труд, благо, бич порока,
 Смотря, что им дано — взлететь иль пасть глубоко.

И все же побежденная беда
 Нас бередит, как скорпионье жало;
 Едва заметна, а щемит всегда.
 Какой пустяк зажжет в душе, бывало,
 Боль острую; тоску, что сердце жала,
 Вновь оживит — мотив иль просто звук,
 Весна иль ветер, летний вечер алый,
 Цветок иль океан... Как током, вдруг
 Ударит по цепи душевных наших мук.

Как, почему? — неведомо. Где тучи,
 Откуда в душу молниям упасть?
 И все ж — удар, и след ожога жгучий
 Неизгладим. Хотя над нами власть
 Вещей обычных, и заглохла страсть,
 И мысли спят — вдруг из-за покрывала
 Рой призраков, каких нельзя заклясть:
 Уже остывших, тех, что смерть украла,
 Любимых, отнятых... Как много их! Как мало!

Отвлечся дух... Его назад зову —
 Руиной встать среди руин, что годы
 Повергли в прах, и грезить наяву
 О том, как царства меркнут и народы,—
 В краю, воздвигшем грозной власти своды,
 Навек прекрасном. *Это* не умрет:
 Он — форма в дивной мастерской природы,
 Где отлиты свобода, честь, народ,
 Геройство, красота — цари земли и вод,

Республика монархов, люди Рима!..
 Италия! Ты — мира чудный сад,
 Спокон веков — приют всего, что зримо
 Искусство и Природа сотворят.

И в запустенье ты ласкаешь взгляд:
 Твой траур трав — прекрасен; ни единый
 Твоих трущоб не стоит вертоград;
 Твой славен прах; и над любой руиной —
 Чистейший ореол их прелести старинной.

Встал месяц; но еще не ночь: закат
 С ним делит высь, волною необъятной
 Топя Фриульских Альп лазурный скат.
 Ни облачка; но буйных красок пятна
 Сплошной слились Иридою Закатной,
 И стало небо — радужный цветник.
 То в Вечность день уходит невозвратный,
 А справа в синем воздухе возник
 Блаженным Островом — Дианы кроткий лик.

С ней — звездочка, и неба половиной
 Они владеют. Все ж лучей прибой,
 Сверкая, летя в дальние вершины
 Ретийских гор, как будто меж собой
 День с Ночью делят воздух голубой.
 Но вот Природа вводит лад законный,
 А Брента ловит плавною струей
 Вечерней розы пурпур благовонный,
 Что летя к ней и льнет, волною повторенный.

И все лицо небес, на ширь воды
 Роняющее тихо краски рая,—
 И пир зари, и тихий свет звезды,—
 В магическом разнообразье тая,
 Все изменилось. Тени ткань густая
 Скрывает горы. Дня последний путь —
 Агония дельфина: тот, страдая,
 Во все цвета окрашивает грудь;
 И самый яркий тот, с каким ему тонуть.

Есть в Аркуа могила. На колоннах
 Встал саркофаг, и в нем лежит века
 Певец Лауры. Тысячи влюбленных
 К нему сюда влечет издалика
 Его прекрасно спетая тоска.
 Ярмо срывая с родины унылой,
 Он стал творцом родного языка;
 Слезой напевной лавр (созвучье милой)
 Омыв, он сыном стал у славы легкокрылой.

И в Аркуа сложил он ношу лет,
В деревне горной. Прах его, хранимый
Крестьянами,— их гордость, спору нет,
Почтенная! Они идущих мимо
Всех приглашают: всем необходимо
Взглянуть на гроб и дом певца. Их вид
Достойно прост, и чувство пилигрима
При этом больше в лад стихам звучит,
Чем если б мавзолее был выше пирамид.

32

Поселок мирный, где он жил, как будто
Для тех и создан, кто уже готов
Жизнь завершить и, в поисках приюта
От лжи надежд, укрылся меж холмов
В густой тени раскидистых дубов,
Глядящих вдаль, где разметались грады
Кипучие,— но их напрасен зов,
Их яркий блеск уже не манит взгляды:
Тут в солнечном луче достаточно отрады,—

33

Являющем холмы, листву, цветы,
Сверкающем в струях ручья, над коим,
Светлее струй, скользят часы мечты
С томленьем их и сладостным покоем,
Ленивые,— но дух целить дано им!
С людьми общенье учит жизни; что ж,
Уединенье — смерти учит! Роем
Льстецы не выются там; смолкает ложь
Тщеславия. Один — ты с богом спор ведешь

34

Иль с бесами, лишаящими воли
Чистейший ум: их лакомый кусок —
Сердца, обитель вечных меланхолий,
Чья ткань мягка,— основа и уток,—
Они живут средь мрака и тревог
И мнят, что им судьба определила
Страдания на беспредельный срок;
Им солнце — точно кровь, земля — могила,
Могила — ад, и ад глядит вдвойне уныло...

35

Феррара!.. Нет уединенья в ней,
Хоть здесь трава по улицам пустынным;
Все чудится: над городом князей
Проклятье, и проклятье над старинным

Приплодом Эсте, вечным господином
Феррарских стен, что, мелочно жесток,
Лишь произволом тешась беспричинным,
Ласкал и гнал носивших тот венок,
Которым только Дант в былом венчаться мог.

36

Торквато — слава Эсте и позор им.
Вот песнь его! А здесь, в норе, он жил!
Он дорого свой лавр купил, с которым
Его Альфонсо в яму засадил!
Но все ж тирану нехватило сил
Дух угасить в измученном поэте,
Хоть гения в геенне он гноил
Средь сумасшедших. Злые тучи эти
Вихрь Славы смёл. Поэт, чье имя средь столетий

37

Встречает слезы и восторг,— живет!
А ты бы сгнил в забвенье, в прахе тленном,
Куда сошел весь твой хвастливый род,
Когда б звоном ты не был неотменным
В судьбе певца,— и мы тебя Презренным
Клеймим, припомня нрав сварливый твой,
Альфонсо!.. Будь не князем ты надменным
(А этот блеск ведь не срощен с тобой!),
Твой узник стонущий тебя б не взял слугой:

38

Ты! Ел и пил, был презираем скрыто
И умер. Всё. Не так ли дохнет скот?
Лишь хлев был шире да пышней корыто...
А он! Чело — сиянье славы льет
Тогда, и ныне и из рода в род,
Слепя врагов,— так спорил с дерзкой силой
Сам Буало, чья зависть не даст
Признать ничто, кому одно лишь мило
Скрипенье галльских лир, несносных, как точило!

39

Мир тени скорбной Тассо! Он весь век
Мишенью был для Злобы воспаленной
И все же стрел отравленных избег.
О победитель песни современной!
Пусть каждый год рождаются миллионы,
Но сколько их людской прилив ни мчи,
Толпой, всегда страстями омраченной,
Не встанешь ты: собрав хоть все лучи,
Второго солнца нам не засветить в ночи.

Ты был велик: но, прежде осиянны,
Другие Ад воспели в свой черед
И Рыцарство. Сперва отец Тосканы
С божественной комедией встает;
Там — Флорентийцу равный «южный Скотт»,
Поэт, создавший новый мир стихами
Магическими; страстно он поет,
Как «северный Арьосто», верность даме,
Любовь, и подвиги, и рыцарское знамя.

41

Был молнией со статуи певца
Венок железных лавров сорван. Право,
Гроза права! Бесспорный лавр венца,
Что возлагает на поэтов Слава,
Не уязвим для грома. Но оправа
Поддельная бесчестит блеск чела.
Тут — знайте, суеверцы, — не расправа,
А благость неба! Молнии стрела
Двойною святостью поэта облекла!

42

Италия, Италия! Тобою
Дар роковой получен — красоты,
Что стал твоей извечною бедою.
Стыд и печаль твои мрачат черты;
Огнем твои анналы налиты...
О боже! Если б ты не столь прекрасной
Была, но мощной, — страх внушила б ты
Грабителям, что стаей самовластной
Льют кровь твою, смеясь твоей тоске безгласной.

43

Ты знала б мир и тишину тогда,
Грознее став и менее желанной,
И не кляла б свою красу. Орда
Врагов разноплеменных неустанно
С Альп не валила б, жаждой обуяна,
Пить воду с кровью, грабя берега
Покорной По. Будь ты себе охрана,
Не швабский меч, — богата иль нага, —
Ты не была б рабой ни друга, ни врага.

44

Я в юности плыл там же, где когда-то
Плыл римлянин, друг мудрости живой,
Друг Туллия бессмертного. Крылато
Скользил мой барк по зыби голубой;

За мной была Эгина; предо мной —
Мегара; слева был Коринф; а справа —
Пирей. Глядел я, сев на борт крутой,
На цепь руин, травой одетых ржавой,
Тех, что и он видал, скорбя над павшей славой.

45

Не возродив руин, средь пустырей
Воздвигло Время варварские зданья,
Чтоб тем дороже были и грустней
Последний луч померкшего сиянья,
Поникшей мощи слабое дыханье...
И Римлянин гробницы градов смог
Понять — в печальном их очарованье —
И нам оставил ряд негленных строк
О странствии своем — свой нравственный урок.

46

Те строки... а в строках *моих* тетрадой:
Его страна причислена к другим
Державам, чей оплакал он упадок,
А я — разгром. Развалины, пред ним
Лежавшие, — лежат. И так же Рим,
Увы, всевластный Рим во прахе этом
Простерт, грозю сломен! Мы стоим
Пред титаническим его скелетом,
Пред пеплом древних эр, еще слегка согретым.

47

Италия! Пора всем странам встать,
Чтоб кончились навеки твои мученья.
Ты, мать искусств, была оружия мать,
Наставница, ты в прошлом — Попеченье.
Отчизна веры нашей! Поколенья
В тебе искали ключ от райских врат.
Да не снесет Европа преступленья
И, орды варваров погнав назад,
Свободу даст тебе. Тогда ее простят.

48

Но Арно манит сердце к белым стенам
Афин Этрусских, чьи дворцы дарят
Нас новым чувством, болсе блаженным:
В кольце холмов обрел прекрасный град
Свои оливы, хлеб и виноград;
Смеется жизнь под рогом Изобилья;
Вдоль Арно Торг взрастил на новый лад
Блеск Роскоши, и вновь, свершив усилие,
Воскресший свет Наук зарей раскинул крылья.

Есть мрамор там: любви богиня! Весь
 Полн воздух красотой. Амброзиальный,
 Он нас пьянит: с ним часть бессмертья здесь
 Нам вручена; покров небес фатальный
 Полуоткрыт. И облик идеальный
 Нам Гения дает понять размах
 В сравнении с Природой. Изначальной
 Завидно искре, в радостных сердцах
 Язычников простых, вдохнувших душу в прах!

50

Глядим — и взор отводим, полны чувства,
 Ослеплены и пьяны. Дух пленен
 Навек! За колесницею Искусства
 Идет — и плен благословляет он.
 Прочь все слова: прочь низменный жаргон
 Скульптурных лавок и педантской чуши,
 Чьей мишурой дурак лишь восхищен!
 У нас — глаза, и кровь, и пульс, и души,
 И подтвердят они Дарданца суд пастуший!

51

Такою ли Парис тебя видал
 Или Анхиз, восторг познав сугубый?
 Иль ярче лик божественный блистал,
 Когда сам Бог Войны пленен был, грубый,
 И, глядя на тебя, как на звезду бы
 Глядел, — прильнул к тебе и негу щек
 Пил сладостно, твои же лили губы
 Дымящей лавы огненный поток,
 Который лоб, глаза и рот ему обжег.

52

Горя и тая в бессловесной страсти,
 Где у божественности, в свой черед,
 Для этих чувств ни слова нет, ни власти, —
 Людьми те боги стали: смертный род
 Блаженство то же знает! Пусть гнетет
 Нас плоть земная: человеческий гений,
 Те миги вспоминая, создает
 Из бывшего или просто из видений
 Твой слепок — всех богов надмирных вдохновенней!

53

Пусть мудрый перст ученых обезьян
 Преважно указывает, сколь прекрасно
 Всезнайством их постигнут нежный стан,
 Изгиб изящный, контур сладострастный;

Конечно, их старания напрасны;
 Но не хочу, чтобы дыханье их
 Зловонное мутило образ ясный, —
 То зеркало, где лучшей сон затих,
 Что небо шлет, как луч, глубинам душ людских.

54

Укрыт священным сводом Санта-Кроче
 Прах, что собой ту церковь освятил, —
 Бессмертный прах, коль говорить короче,
 Хоть все в былом, а здесь, в глуби могил,
 Частицы лишь в хаос ушедших сил.
 Альфьери здесь и Анджело постели
 Последние; и звездный опочил
 Тут Галилей, несчастный с колыбели;
 И Макьявелли тут уснул в родной скудели.

55

Четыре те ума могли бы мир
 Пересоздать: ведь и стихий — четыре.
 Италия! Пусть десять тысяч дыр
 Века прожгли в твоей святой порфире,
 Лишь ты нашла, единственная в мире,
 Дух творчества в руинах. Искони
 Твой прах пропитан реющим в эфире
 Божественным живым лучом. Взгляни:
 Подобный древним встал Канова в наши дни!

56

Но где ж останки трех этрусков — Данта,
 Петрарки и, едва ль не ровни им,
 Поэта прозы (дар его таланта
 Все Сто Новелл любовных)? Где храним
 Тот прах? Его нельзя смешать с другим
 Как их — с толпой! Так что ж молчит Искусство?
 Им — тлеть в пыли? Стал камень дорогим?
 В родной стране нет мрамора для бюста?
 Не в ней ли лечь навек им повелело чувство?

57

Флоренция, стыдись! Почил твой Дант,
 Как Сципион, с отчизною в разлуке:
 Раздором партий изгнан был гигант,
 Поэт, чье имя будут внуков внуки
 Твердить с восторгом — в запоздалой муке
 Раскаянья. Тот гордый лавр, каким
 Венчан Петрарка, — не чужие ль руки
 Взрастили? Жизнь и слава — всё другим;
 Сам гроб разграбленный — и то не стал твоим!

Был родине завещан прах Боккаччо —
Он — средь великих? Меж церковных стен
Над ним хорал вздыхает, сладко плача?
Ведь он Тоскане дал язык сирен,
Чьи звуки — песня, музыкальный плен,
Поэзия? О нет! В его могиле
Святоши рылись, жадный сонм гиен,
Украли гроб и кладбища лишили,
Чтоб люди *этот* прах и вздохом не почтили!

59

Титанов этих в Санта-Кроче нет —
Поэтому их помнят неизменно:
Так Брута бюст за Цезарем вослед
Не понесли, тем оттенив мгновенно
«Честнейшего!» Счастливей ты, Равенна,
Оплот державы рухнувшей: изгой
Флоренции в тебе уснул блаженно;
И Аркуа хранит свой гроб святой.
Рыдай, Флоренция, зовя их всех домой!

60

Что нам до пирамиды драгоценной,
Где мрамор, яшма, оникс и порфир
Игрою красок прах скрывают бранный
Купцов-князей? Росы минутный пир,
При ранних звездах, свежесть льет и мир
В густую зелень над могилой тою,
Чей мавзолеей — лишь в тихом звоне лир,
И дерн мы осторожней мнем стопою,
Чем топчем мрамор плит над князьей головою.

61

Для глаз и сердца вещи есть милей
Здесь, во дворцах Искусства, где Ваянье
С сестрою спорит радужной своей;
Но не по мне все их очарованья.
Ведь я привык сливать мои мечтанья
С Природою, в полях, а не с холстом
В музеях. Да! Плачу́ всем сердцем дань я
Божественным твореньям — но о том
Мне трудно говорить: в оружии моём

62

Иной закал... Брожу близ Тразименских
Озерных вод, в теснине, роковой
Для безрассудства римлян. Карфагенских
Вождей я вижу, тот кровавый бой,

Врага в капкан поймавший — меж водой
И кряжем гор. Отчаяньем сменилась
Отвага тут: за строем падал строй;
Ручьи от крови вздулись, и курилось
Ущелье знойное, где гряда тел скопилась,

63

Как бурей горной вывернутый лес.
И было таково ожесточенье,
Что для бойцов на миг весь мир исчез,
И лишь резнею было полно зренье —
Но без следа прошло землетрясение!
Никто не чувствовал, что грозный зев
Разверзт Природой тем, кто пал в сраженье,
Под саваном щита оцепенев.
Вот он, в чадлу борьбы, народов дикий гнев!

64

Для них Земля вертлявой стала баркой.
Мча в Вечность их. Пусть океан вспенен,
Им некогда заметить в схватке жаркой
Пляс бури. Смолк естественный закон:
Хоть ужас вокруг — никто не утрашен;
А стаи птиц, в смятенье бесполовом
Срываясь с гнезд, взлетают в небосклон;
Стада бегут по зыбким долам с ревом;
И человеческий страх теряет власть над словом.

65

Теперь — не то: покой и тишь вокруг;
Серебряная скатерть вод; просторы
Не меч браздит, а только мирный плуг;
Сень мощных рощ, — где трупов стлы горы.
Раскинулась. Но все ж ручей нескорый,
С ничтожной струйкой, с ложем узким, взлел
Название у крови, дождь которой
Когда-то землю эту напитал, —
И *Сангвинетто* был, теперь прозрачный, ал.

66

Но ты, Клитумн!.. Где может повториться
Живой кристалл, чистейший твой родник,
Зовущий нимф глядеться и омыться,
Твою струю поколебав на миг?
Ты луг вспоил, где млечно-белый бык
Пасется. Ты — сам бог воды спокойной;
Твой всех светлей и всех прозрачней лик.
Нет! струй твоих не обагрят войны,
Купальня — зеркало любой наяды стройной!

А на счастливом берегу твоём —
 Миниатюрный храм, на плавном склоне
 Холма: он память о тебе, быллом,
 Хранит. Внизу — поток; и в тихом лоне
 Мерцают рыбок серебристых брони,
 Резвящихся в стеклянных глубях вод;
 Вот, сорванные где-нибудь в затоне,
 Плывут купавы стайкой: их несет
 На отмель, где волна рассказ невнятный вьёт.

Благослови дух этих мест, прохожий!
 Тебе в лицо повеет ветерок —
 Знай: это он. Найдешь среди бездорожий
 Красноречивой зелени клочок,
 Вдохнешь всем сердцем, хоть на краткий срок
 Прохладу эту, смоешь на мгновенье
 Пыль жизни жалкой, прах сухой тревог,
 Самой Природы восприяв крещение,—
 Ему воздай хвалу за это очищенье!

Гул водяной! Со скал летя стремглав,
 Водой скалу долбит, гремя, Велино.
 Рев водяной! Как молния ниспав,
 Колеблет бездну пенная лавина.
 Ад водяной! Свист, вой, кипит стремнина
 В извечной пытке — и мельчайший пот
 Агоний этих дымкой паутинной
 Над Флегетоном к черным скалам льнет
 (Чей строй ужасный встал вокруг ревущих вод)

И водной пылью всходит в небо, снова
 Оттуда сеясь благостным дождем
 Из облака извечно-дождевого.
 И там всегда — апрель; земля кругом —
 Сплошной смарагд. Но как широк пролом!
 Как бесится стихия в злобе страстной,
 Со скал на скалы прядая прыжком,
 Круша утесы, что, дробясь безвластно
 Под яростной пятой, разверзли ход ужасный

Крутящейся колонне водяной,
 Скорей похожей на зародыш моря,
 Исторгнутый потугой мировой
 Из чрева гор, чем на исток — в просторе

Бегущих рек, тех, что скользят, узоря
 Спокойный дол. Стой, погляди назад:
 Вот он,— как Вечность в грозовом уборе,—
 Крушащий все меж каменных громад,
 Взор сладким ужасом чарующий каскад,

Чудовищно прекрасный! Но, от края
 До края, там, над буйством вод, с утра
 Ирида реет, радугой играя,—
 Надеждою у смертного одра.
 Нетленных красок райская игра,
 Покуда все вода, беснуясь, гложет,
 Льет нежный блеск, прозрачна и добра,
 И ярость мук сиянья не тревожит:
 Так на Безумие глядеть Любовь лишь может.

Я вновь среди лесистых Апеннин;
 То — Альпы-дети. Если бы с Большими
 Знаком я не был — с грохотом лавин,
 С косматой чашей сосен над крутыми
 Утесами,— я б восторгался ими,
 Дети. Но мне Юнгфрау пик сверкал
 Фатой снегов. Нагой Монблан с седыми
 Зубцами льдов навстречу мне вставал.
 Я слышал гул громов среди Химэрских скал,—

Средь «Громогорья», средь «Акрокеравны»,
 У греков. Над Парнасом лёт орлов
 Я видывал — в такой выси державной,
 Как будто бы манил их славы зов.
 Пред Идою троянцем я, без слов,
 Стоял. Пред Атласом, Афоном, Этной,
 Олимпом — жалок этот ряд холмов;
 Одна Соракта кажется приметной,
 Хоть лирик нужен ей, бесснежной и бесцветной,

Чтобы воспетой средь равнины встать,
 Как грозный вал, что, с пеной на вершине,
 Замедлил рухнуть... Эхо пробуждать
 Цитатами классической латыни
 Здесь может всякий, помнящий поньше
 Учебник школьный. Я ж по горло сыт
 Зубрежкой, в школе жертвой став рутины;
 И отвращенье властно мне твердит
 С дней мерзкой юности, что не восторг, а стыд —

Сор ворошить, которым набивали
 До тошноты мне память. Ум, созрев,
 Стал размышлять над всем, что в нас влагали,
 Но столь глубока была юной мысли гнев,
 Что он увял, классический посев,
 Досрочно. Будь свободен ум, он дивной
 Искал бы речи той, не охладев.
 Но не изгнать недуг мой неизбывный:
 Противное тогда — мне до сих пор противно.

Итак, прощай, Гораций! Признаю,
 Что я не прав; но это род проклятья —
 Знать, но не слышать лирику твою
 И не любить, хоть мог ее понять я.
 Ты — моралист, постигший все занятья
 Ничтожной жизни; мастер и мудрец
 Художества; сатирик, без изъята
 Будивший совесть, не язвя сердец...
 Все ж на Соракте мы простимся наконец!

Рим! Край мой! Город сердца непреложный!
 Пусть на тебя, империй павших мать,
 Осиротев, глядят сердца, ничтожный
 Свой стон в груди научены скрывать.
 Что наши скорби? Надо услышать
 Вой сов меж кипарисов, на ступени
 Дворцов и храмов разоренных стать
 Вам, чьи терзанья — дело двух мгновений!
 Мир, что у ваших ног, — скудели вашей брэнней!

Рим — Ниобя наций: нет детей
 И нет венца, и стона нет в печали.
 В худых руках пустая урна; в ней
 Святой был прах — века его умчали.
 Склеп Сципиона пуст; в любом подвале,
 В любой гробнице больше не найдешь
 Былых жильцов. Что, Тибр мой старый? Вдали
 По мраморной пустыне ты течешь?
 Разлейся, желтый, скрой ее тоску и дрожь!

Гот, Церковь, Годы, Войны, Воды, Пламя
 Терзали гордый семихолмный град,
 Чьей славы звезды гасли за звездами,—
 И варвар-вождь верхом въезжал на скат

Капитолийский. Рушились подряд
 За храмом храм, следа не оставляя.
 Руины сплошь! Блуждая наугад,
 Обломки в лунном свете попирая,
 Кто скажет: «Это — здесь», коль всюду ночь
 двойная?

Двойная ночь — Веков с отродьем Тьмы,
 Невежеством, — скрывает всё и скрыла,
 И ошупью дорогу ищем мы.
 Морям есть карты, сочтены светила,
 Наука их подробно расчертила;
 Но Рим — пустыня; спотыкайся там,
 О память! Иногда не сдержим пыла
 И рукоплещем: «Эврика!» Но нам
 Предстал миражем лишь руин обманный хлам.

Увы, надменный город! Где вы, триста
 Триумфов? День, когда дерзнул совлечь
 Брут цезаревой славы нимб лучистый,
 Ножом сломив непобедимый меч?
 Где песнь Марона? Цицерона речь?
 Сказ Ливия картинный? Только ими
 Жив Рим, а остальному — прахом лечь...
 Увы, Земля! Где пламя глаз, какими
 Глядела ты, когда была свобода в Риме?

О Сулла грозный, колесница чья
 Была самой Фортуною водима!
 Врагов страны разил ты, а твоя
 Была обида скрыта и таима,
 Пока твои орлы непобедимо
 Над Азией не взмыли. Взор твой мог
 Смирять сенат. Но истым сыном Рима
 Ты был (хотя любой познал порок),
 С улыбкой мира сняв невиданный венок —

Диктаторский! Предвидел ли ты, славный,
 Что в некий день все то сойдет на-нет.
 Чем стал бессмертен ты? Что Рим державный
 Чужим отдаст величье стольких лет,
 Рим, слышавший Вечным? Только для побед
 Водивший рать и с каждым веком гуще
 Надменной тенью осенявший свет,
 Пока полмира не покрыл гнетущий
 Мрак быстрых крыльев? Рим! Что прозван
 «Всемогущий»!

Но Кромвель Суллу превзойти сумел.
 Мудрейший узурпатор, он сенаты
 Сметал, как тот, и трон срубить велел
 Для плах, бунтарь бессмертный! Но уплаты
 Злодейством требует судьба, когда ты
 Для вечной славы власть берешь на миг.
 Путь Кромвеля таит урок богатый:
 В единый день он двух побед достиг
 И с облегченьем в гроб, глава двух царств, поник.

86

Да, третьего — вся власть, хоть не корона,
 Ему досталась; это же число
 Его легко с насильственного трона
 Назад в родную землю низвело.
 Фортуна не явила ль, нам назло,
 Что слава, власть и все, что нас манило
 На трудный путь и душу страстью жгло,
 В ее глазах печальней, чем могила?
 Так думай все мы — всё иным бы в мире было.

87

А ты все цел в величье наготы,
 Кумир ужасный! Гомон иступленный
 Убийц ты слышал: видел с высоты
 Кровь Цезаря, что у твоей колонны,
 Покрыт плащом, пал жертвой, принесенной
 На твой алтарь — бессмертных и людей —
 Царицей Немезидой непреклонной.
 Он пал? Как ты? Кто ж вы — цари царей,
 Марионетки ли судьбы, скажи, Помпей?

88

И ты, добыча молнии, волчица,
 Чьи медные сосцы вспоили Рим,—
 Лишь памятник искусства, но сочтется
 Из них нектар победы, и, к тугим,
 Сам Основатель припадает к ним!
 О мать бойцов! Хоть римский бог сердитый
 Тебя копьем ударил огненным
 И осмуглил — тобой не позабыты
 Права твои: щенкам бессмертным быть защитой?

89

Не позабыты! Но питомцев нет:
 Железные погибли. Над гробами
 Воздвиглись грады. Люди, грозным вслед,
 Творя все то, чего боялись сами,

Кровь лили, бились, теми же путями
 Шли, обезьяны! Но никто из них
 Не смог и вровень стать с богатырями.
 Один лишь был. Еще он средь живых,
 Но, побежден собой и раб рабов своих,

90

Помешанный на власти,— нечто вроде
 Ублюдочного Цезаря,— за ним
 Он плелся. Римский гений по природе
 Был не таков: был менее земным;
 При всех страстях, рассудком ледяным,
 Чутьем бессмертным он кидал в оковы
 Сны сердца, нежен, но неодолим;
 Порой он прял перед Омфалой новой,
 Пред Клеопатрою, то, вновь сверкнув, суровый—

91

Шел — видел — побеждал! Но тот, второй,
 Своих орлов, как сокола ручного,
 Учивший обгонять военный строй,
 И, победив, к победе шедший снова,—
 Был сердцем глух; он собственного слова
 Не слушал. Как был странно создан он!
 Он груз влачил тщеславия больного,
 Рисуясь им. Чем был он увлечен?
 Он мог бы цель назвать? Раскрыть свой тайный
 сон?

92

Всем иль ничем желая быть, не мог он
 Ждать, чтоб его сравнял с другими гроб.
 Но — краткий срок,— и с Цезарем бы лег он,
 Чей топчем прах! Для *того* на лоб
 Вождь возлагает лавры, морем злоб,
 И слез, и крови землю заливая?
 Для *того* опять ревет потоп,
 И нет ковчега, и прибой, сникая,
 Встает опять? Господь! Где радуга благая?

93

И что за клад сулит нам пустошь дней?
 Жизнь коротка, слаб разум, чувства бедны,
 И лгут веса — обычан людей.
 Перл истины в глубинах скрыт, бесследный;
 Все тяготит суд мнений всепобедный:
 Он тьмой застлал весь мир; добро и зло
 Случайны здесь; от страха люди бледны:
 Что, если им *свое* на ум пришло?
 Не преступленья ль мысль? Не слишком ли светло?

И так ползут путем, безликим и постылым,
 Отец и сын — гния из рода в род,
 Гордясь природой поправной — к могилам.
 И по наследству ярость их идет
 К другим рабам, влачащим тот же гнет,
 Дерясь не за свободу, за оковы.
 И гибнуть в том же цирке в свой черед
 Они как гладиаторы готовы,
 Где гибли их друзья, — листва одной дубровы.

95

Речь не о вере: здесь душе с творцом
 Решать вопрос. Речь о вещах известных,
 Одобренных и видимых кругом:
 Речь о цепях, вдвойне тяжеловесных,
 О замыслах тиранов повсеместных,
 Владык земли, — сих обезьян Того,
 Кто их от сна встряхнул на тронах тесных,
 Смяв гордость их. Когда бы ничего
 Не сделал больше он — бессмертен лавр его!

96

Что ж, деспотам лишь деспоты преграда?
 И нет борца у Вольности, как тот,
 За кем — чиста, с оружием, как Паллада, —
 Колумбия рванулась вдруг вперед?
 Иль дух такой лишь в девственных растет
 Лесах, под шум каскадов, где Природы-
 Кормилицы смеялся нежный рот
 Младенцу Вашингтону? Иль народы
 В Европе лишены уже семян свободы?

97

Кто кровью пьян, того злодейством рвет.
 И оргия французов — роковою
 Была для всех, в любой стране, свобод.
 Презренное Тщеславье с чередою
 Кровавых дней — алмазною стеною
 Меж человеком встали и Мечтой,
 С комедией — в итоге — площадною.
 Предлог для рабства вечного, пятой
 Цвет жизни мнущего, — для бездны роковой!

98

Но стяг твой, Вольность, все же вьется, рванный,
 Грозой летя ветрам наперекор;
 Твой рог надтреснут, но, сквозь ураганы,
 Его призыв нам слышен до сих пор.

Цвет облетел с твоих дерев; топор
 Оставил на коре свои надрубь;
 Но соки есть, и семя в недрах нор
 Спит даже там, под северною шубой;
 И лучшая весна даст плод уже не грубый...

99

Кряж древней башни круглой предо мной;
 Грозна твердыня — камень старой кладки:
 Здесь армии разбился бы прибой.
 Одна стоит; зубцы не все — и шатки;
 И плющ тысячелетний в беспорядке
 По ней ветвится — вечности венки
 Всему, что время бросило в упадке.
 Какой же клад в том замке под замок
 Ушел? Гроб женщины в подвале тайном лег.

100

Но кто она, царица мертвых, в схожей
 С дворцом гробнице? Хороша ль была?
 Царь или — выше — Римлянин с ней ложе
 Делил? Герою ль жизнь она дала?
 Какая дочь ее красу взяла?
 Жила, любила, умерла — какою?
 В таком гробу простых людей тела
 Тлеть не дерзнут. Как видно, честью тою
 Почтили смертную с бессмертною судьбою.

101

Из тех она, кем только муж любим,
 Или не только? Страсти незаконной,
 По слову хроник, был не чужд и Рим.
 Была ль сходна с Корнелией, с матроной?
 С царицей Нила ль, слишком благосклонной?
 Дарила ль радость? Воевала ль с ней,
 Стремясь быть чистой? Сердца зов смущенный
 Внимала ли? Иль мудро от скорбей
 Любовных пряталась? Ведь страсть всего большей.

102

Иль юной умерла? От мук сломилась
 Потяжелей, чем этот мавзолей
 Над прахом кротким. Облако сгустилось
 Над красотой; и скорбь во тьме очей
 Пророчила рок избранных людей:
 Смерть раннюю. Но прелестью закатной
 Она светилась; был дарован ей
 Блеск лихорадки, Веспер безвозвратный,
 Осенний пурпур щек — чахоточные пятна.

Или в летах скончалась, пережив
Красу, родню, детей,— среброволосой,
Но в длинных прядях все же сохранив
Тень прежних дней, когда крутые косы,
В убранстве их, молвой многоголосой
Рим восхвалял, замороженный весь?
Но ни к чему догадки и вопросы.
Одно мы знаем: прах Метеллы здесь,
Супруги богача. Здесь боль его иль спесь!

104

Когда стою перед тобой, гробница,
Мне чудится: я знал в глуби времен
Твою жилищу. Прошлое струится,
Как музыка знакомая, но тон —
Иной, торжественный, как в небосклон
Ушедший гром на крыльях мертвой тучи.
Сидеть бы тут, где камень окаймлен
Плющем, пока игрой мечты кипучей
Во плоть оденется крушенья хлам пловучий,

105

Чтоб из лежащих по скалам досок
Надежды челн я сколотил и снова
Бороться с бурным океаном мог,
С прибором волн, средь грохота и рева
Дробящихся о берег тот суровый,
Где все, что я любил, схоронено.
Но, будь из этой рухляди готово
Суденышко,— куда пойдет оно?
Где дом? надежда? жизнь? Лишь здесь мне жить дано.

106

Так войте ж, ветры! Пусть ваш хор отныне
Мне музыкою будет; по ночам
Его смягчит вопль сов на Палатине,
Вот как сейчас, где, с тьмою пополам,
День вялый льнет к родимым их местам
И птицы Ночи, серыми зрачками
Горя во тьме, топырят крылья там,
Перекликаясь... В столь печальном храме
Что мелочь наших бед? Мои ль считать пред вами?

107

Плющ, кипарис, желтофиоль, бурьян
Сплелнсь в одно; бугры земли, где были
Палаты; арка рухнувшая; стан
Колонны сбитой; фрески в пятнах гнили —

В норах, чью темень совы возопнили
Ночной... Руины храмов? бань? арен?
Кто скажет? Нам ученые открыли
Премудрые, что там — остатки стен...
Вот он — Державный Холм! Величья бранный тлен!

108

Вот смысл людских анналов! Повторенье
Всего, что было много раз в былом:
Свобода, дальше — Слава, их паденье,
Богатство, гниль и варварство потом!
Из всех страниц Истории прочтем
Одну страницу; здесь она,— гляди же,—
Где Деспотизм слепил в единый ком
Все наслажденья, теша взор бесстыжий,
Слух, душу, сердце, страсть... Довольно слов! Иди же,

109

Дивись, хвали, плачь, смейся, презирай:
Все чувства здесь. Душа! В такой ограде
Ты — маятник: то боль, то смех встречай!
Века и царства скучились на пяди,
И жалкий холм, что вытоптан до глади,
Стал пирамидой тронов мировых;
Игрушка Славы в пламенном наряде
Блеск подбавляла в свет лучей дневных...
Где ж кровель золото и дерзкий зодчий их?

110

Речь Туллия слабей, чем стои печали
Безвестных, в землю вдавненных колонн.
Где лавры те, что Цезаря венчали?
Могильный плющ мне как венок сплетен!
Чья арка тут, чей столп тут вознесен?
Трояна, Тита? Нет: руины эти —
Триумф всесокрушающих Времен!
Апостолы стоят на парапете
Над урной царственной, чей прах в нетленном свете,

111

В лазурном небе Рима погребен —
Соседом звезд! И, звездами хранимый,
Там жить достоин дух великий. Он
Последним был из миродержцев Рима;
За ним — все вниз пошло неотвратимо,
Все рушилось. Как мелок рядом с ним
Сам Александр! Он жил непогрешимо,
Вином и кровью не был он багрим,
Державно-доблестный. И мы Трална — чтим!

Но где Утес Триумфа, на котором
Рим обнимал героев? Где скала
Тарпейская — предел всем разговорам,
Та, что лечить изменников могла
Одним броском? Не здесь добыча шла
В дележку? Здесь. А в поле том, у склона,
Столетия распрь дремота облекла;
То — форум; там пылали непреклонно
Бессмертные досель призывы Цицерона!

113

О поле славы, крови, мятежей!
Народ страстями тут пылал когда-то
От первых дней борьбы за власть до дней,
Когда весь мир добычей стал захвата.
Но скоро здесь была Свобода смята
Анархией. Среди непрерывных смут
Топтал права безмолвного сената
Любой солдат — и в дни народных бед
Свой голос продавал за несколько монет!

114

Но мысль бежит от тысячи тиранов
К тебе, трибун последний, Рима сын!
Ты родине надеждой стал, воспрянув,
Стыд искупив бесчисленных годин,—
Риенци, друг Петрарки! Лист один
На ветхом древе пусть возрастит свобода:
То лавр на гроб твой, смелый паладин,
Вождь форума, борец за власть народа!
Ты новым Нумой стал, увы — лишь на полгода...

115

Эгерия! Создание мечты,
Покой нашедшей только на прелестной
Твоей груди! Кем ни была бы ты —
Воздушной ли Авророю небесной,
Безумной нимфы скорбью ли безвестной,
Красавицей ли, может быть, земной,
Внушавшей страсть, несвойственную тесной
Душе людей,— был светлый образ твой
Прекрасным вымыслом, что плотью стал святой!

116

Мох твоего источника доселе
Во влаге райской гротом охранен;
Гладь вод века изморщить не успели,
И в ней твой взор, столь кроткий, отражен.

Твореньями искусства свежий склон
Теперь не смят; не замкнута темница
Из мрамора, где ключ вкушал бы сон:
Он от разбитой статуи струится
Вперед, где плюц ползет и жимолость ветвится

117

Причудливо. Зеленые холмы
В цвету весеннем. В травах легкий шорох —
Бег быстрогоглазой ящери. И мы
Привет пришельцам слышим в птичьих хорах,
Цветы, в оттенках пестрых и узорах,
Зовут помедлить, и стремятся в пляс
Под легким ветром их волшебный ворох;
Фиалки светят темной синью глаз,
И поцелуй небес им дарит блеск сейчас.

118

Здесь, в уголке живя замороженном,
Эгерия, росу стяхая с плеч,
Сходила ты к любовнику по склонам!
Синь полночи скрывала тайну встреч
Завесой звезд, и ты могла прилечь
К любимому. И дальше? Сокровенный
Грот создан был, чтоб в нем звучала речь
Богини страстной: он, приют священный,
Служил обителью для страсти вдохновенной!

119

Кто груди грудь, небесную к земной,
Не ты ль сердца сближала биться рядом?
Восторг бессмертный дав Любви простой,
Ее ты сочетала с райским ладом
Своею прелестью, — земным уладам
Небесную гармонию придав,
Легко ты разлучила стрелы с ядом —
С той сытостью, что чувства губит, смяв.—
Исторгла из души все корни сорных трав!

120

Увы! Мы тратим чувство молодое,
Пустыню увлажняя, где торчат
Волчец и терн, густея в темном зное;
Лаская взор, их заросли таят
Лишь смерти ядовитый аромат, —
И это все, что нам рождает Страсти,
Летя сквозь дебри мира наугад
В мечте напрасной о небесном счастье,
Чей запрещенный плод вовек не в нашей власти.

О ты, Любовь! незримый серафим!
 В тебя мы только верим, Неземная,
 И, мученики веры, кровь струим,
 Лица и взора твоего не зная
 Вовск. Мы населили кущи рая
 Своей мечтой и создали тебя,
 В твой образ нашу жажду облакая,
 Горя душой. Ты в ней живешь — губя:
 Терзая, мучая, паля, круша, дробя.

122

Дух — красотой, им созданною, болен,
 Влюблен в черты, что порождает бред.
 Где образ тот, кем скульптор приневолен?
 Лишь в нем самом: таких в Природе нет.
 Где чары те, которых с юных лет
 Мы ждем, затем преследуем — мужами?
 Где Рай, что ни художник, ни поэт
 Не воплотят, что в муках создан нами
 И выше всех страниц, где б мог сверкнуть цветами?

123

Любовь — кошмар, горячка юных дней;
 Лечение — хуже: блекнет блеск узорный
 Одежд кумира; видишь все ясней,
 Что лишь в уме жил этот призрак вздорный
 Прекрасного. И все же чарой черной
 Мы скованы, и нет пути назад:
 Кто сеял ветер — бурю жнет. Упорный
 Алхимик чувства мнит, что вот он — клад,
 Сокровище, а сам — бедней, чем был, стократ.

124

Мы рано вянем; мы слабы и хилы;
 Нет счастья; жажда не утолена;
 Но и в конце и на краю могилы
 Зовет нас тень, как встарь звала она.
 Но — поздно! И душа отягчена
 Двойным проклятьем. Что ни правит нами —
 Любовь, тщеславье, жадность — суть одна:
 Тлен, названный иными именами;
 И Смерть — лишь черный дым, в котором гложет
 пламя.

125

Любимой и достойной не найти:
 И встреча, повод, рок слепой, в могучей
 Тоске по счастью, могут отместить

Ту неприязнь, что кажется нам жгучей,
 Отравленной обидами. Но Случай —
 Воздушный, все уродующий бог —
 Приходит к нам с бедою неминуемой,
 И жезл его, что посохом стать мог,
 Испепелив мечту, лишь стелет прах у ног.

126

Жизнь наша — ложь природы: нет в ней лада
 Гармонии; жесток ее закон —
 Клеймо греха; весь мир наш — древо яда,
 Анчар, что весь отравой напоен;
 Он в землю врос, поднялся в небосклон;
 Чумной росой смертей, болезней, гнета,
 Всех зримых бед нас окропляет он, —
 Но и горчайшим бедам нету счета
 В душе, навек больной, где длится их работа.

127

Но будем смело размышлять. Позор —
 Отказ от права мыслить! В нем, в едином,
 Прибежище, приют наш с давних пор;
 В нем был я и останусь господином!
 Как этот дар небесный ни глуши нам,
 Как ни терзай запреты, цепь, чорьма
 (Чтоб ненароком над умом невинным
 Свет истины не воссиял) — ума
 Коснется луч! Слепцам снимают муть бельма!..

128

На арках — арки! Будто все трофеи
 И все триумфы боевые Рим
 Собрал в одно, в огромном Колизее
 Их воплотив. И свет луны над ним —
 Его лампада: должен неземным
 Быть факел в этом руднике старинном
 Раздумий, что века неистощим;
 И, свод небес залив ультрамарином,
 Ночь италийская дарует их глубинам

129

Слова — и нам о горнем говорит,
 Плывая над мощными стенами теми,
 Их славу тенью простирая. Скрыт
 В земных вещах, каких коснулось Время,
 Бессмертный дух: пусть годы множат бремя,
 Но, где коса их сломена, царят
 Власть и волшебба руин; пред ними всеми
 Что пышность наших нынешних палат?
 Пусть подождут, пока века их освятят!

О Время! Всех умерших украситель;
 Орнаментатор всех руин; сердец,
 Облитых кровью, врач и утешитель;
 Ошибки мысли правящий мудрец;
 Проверщик чувств; философ, а не лжец
 И не софист, как прочие; нескорый
 Судья, но приходящий наконец!
 О Время-мститель! Вот мольба, с которой
 Я возношу к тебе дух, сердце, руки, взоры:

131

Здесь, меж руин, где ты воздвигло храм,
 Где так не по-земному одиноко,
 Мой скромный дар причти к другим дарам —
 Руины лет моих, добычу рока.
 Коль был я черств, закрой и слух и око;
 Но, если я и в счастье был простым,
 Став гордым лишь пред злобою жестокой,
 А всё ж бессильной — вечно будь храним
 В душе моей мой меч, гроза врагам моим!

132

О Немезида! Ты не забывала
 Класть на весы преступные дела;
 Здесь в древности молитвам ты внимала;
 Ты фурий на Ореста навела,
 Чтоб вечным воем стая их гнала
 Того, кто мать сразил: он, жертва ада,
 По праву мстил, но кровь — родной была...
 Здесь ты царила. Встань из тьмы и хлада:
 Вопль сердца слышишь ты? Из праха — встань!
 Так надо!

133

То мой ли грех, или вина отцов,
 Что тяжкая нанесена мне рана;
 Но, будь оружие честным, — я готов
 Оставить кровь струиться беспрестанно.
 Теперь же — нет! Кровь не окрасит рдяно
 Земную пыль, — тебе посвящена!
 Мети за меня! Сам, поздно или рано,
 Я метил бы, но... пусть я во власти сна —
 Ты пробудиться вдруг и отомстить должна!

134

И если я кричу, то не от боли:
 Кто видеть мог, хотя б на краткий срок,
 Чтоб я чело склонял в упадке воли,
 Чтоб от конвульсий дух мой изнемог?

Я шлю векам заметы этих строк;
 Я стану — прах, но буду все ж звучать я,
 И сбудется, пусть этот миг далек,
 Пророчество мое: стремлюсь послать я
 На головы людей горой мое проклятье!

135

Проклятье то — Прощение!.. В борьбу
 (Свидетели — высь неба, грудь земная!)
 Не я ль вступал, чтоб отвратить судьбу?
 Не я ль страдал, мучителям прощая?
 Не мне ль пронзили сердце, мозг сжигая,
 Надежды смяв, сместив жизнь Жизни вкось?
 Коль я держусь — то персть во мне иная,
 Не глина та, которой тлеть пришлось
 В ничтожных душах тех, кто виден мне насквозь.

136

Я ль не видал, на что они способны,
 От мелкой лжи и до прямых обид,
 От клеветы, рычащей в пене злобной,
 И до злословья, что в углах шипит,
 Где в каждом слове зуб гадючий скрыт?
 А Янусы, с их вздохом, грустным взглядом,
 Что лгут *молчаньем*, искренни на вид,
 Пожатыем плеч перед безмозглым стадом
 Внушая дурням мысль, пропитанную ядом!

137

Но все ж я жил — и не напрасно жил.
 Пусть ум ослабнет, кровь утратит пламя,
 Плоть мукам сдастся, но глубинных сил
 Не истребить ни пыткой, ни годами!
 Все им звучать, хоть я в могильной яме,
 Им, неземным, иль как их ни зови!
 Как отзвук лиры — им владеть сердцами,
 Смягчив их камень и будя в крови
 Боль запоздалую упущенной любви!

138

Однако к делу... Здравствуй, безымянный
 И страшный призрак! Здесь, в ночных тенях,
 Всевластен ты, внушая нам, нежданнный,
 Одно благоговение — не страх.
 Твое жильё — здесь, в рухнувших стенах,
 В плаще плюща: влагаешь ты, вне слова,
 Столь ясный смысл в торжественный сей прах,
 Что сами мы, частицей став былого,
 Стоим, незримые, всё созерцая снова.

Здесь люд горячий в общий гул сливал
 Стон сострадания с ревом одобрений,
 Здесь человек другого убивал.
 За что? А так: на цирковой арене
 Таков закон; к тому же развлечений
 Ждут цезари. А что же в этом? Ведь
 Различья мало — в битве иль на сцене
 Пасть: там и там червям готова снедь,
 И наша жизнь — театр, где лицедеям тлеть.

140

Лежит, я вижу, гладиатор: руку
 Упер в песок; суровое чело,
 Приемля смерть, преодолагает муку,
 Но никнет, миг за мигом, тяжело;
 Кровь на боку, где лезвие вошло,
 Последняя, по каплям, выпадает,
 Как редкий дождь, что бурей нанесло.
 Цирк вокруг бойца плывет; он умирает —
 А в честь убийцы вопль звериный не смолкает.

141

Он слышит, но не внимлет. Взор его
 С душою вместе, далеко витая:
 Что жизнь ему, и приз, и торжество?
 Пред ним — шалаш на берегу Дуная:
 Там детворы его играет стая,
 И там их мать, дакиянка... И вот
 Отец — зарезан, римлян забавляя!..
 Ужель неотомщенным он умрет?
 Восстань и хлынь сюда — свой гнев насытит, Гот!

142

Там, где Резня дышала рдяным паром
 И шумный люд проходы забивал,
 Журча ручьем медлительным иль ярим,
 Рыча каскадом, рухнувшим со скал,
 И общий взрыв насмешек иль похвал
 Был — смерть иль жизнь (потеха черни шалой),
 Там — голос мой; арены пуст овал,
 Рой бледных звезд над массой обветшалой
 Стен, где шагам в ответ глубь галлерей звучала.

143

Что за руина! Из ее камней
 Дворцы воздвиглись, встали стены где-то;
 Но обойди развалину: где в ней
 След грабежа, бесспорная примета?

Хищенье ль шло? Или расчистка это?
 Увы! Немедля видим мы разгром,
 Вплотную встав у мощного скелета;
 Зияют язвы: их не скроешь днем:
 Луч озаряет все, что кануло в былом.

144

Когда ж луна всплывет, полна истомы,
 До верхних арок, чуть замедлив там,
 И светят звезды в древние проломы,
 И бриз ночной ласкается к ветвям,
 Раскинутым по серым тем стенам,
 Как лавр по плечи Цезаря, и в свете
 Все тонет мягком, с тьмою пополам, —
 То мертвых чары воскрешают эти —
 Прошли герои здесь: мы топчем прах столетий!

145

«Раз Колизей стоит, стоит и Рим;
 Но Рим падет вослед за Колизеем,
 За Римом — Мир». Так землякам своим
 Твердили бритты: мнилось в той стене им
 Величие — в дни саксов (их мы смеем
 Звать «древними!»). Но, как и прежде, там
 Стоят все Три (и мы благоговеем):
 Рим, ветхий Цирк, не сдавшийся попам,
 И Мир, притон воров иль что угодно вам.

146

Прост, прям, суров, возвышен непреклонный,
 Открывший днесь Юпитеру с Христом,
 Храм всех богов, веками пощаженный!
 Спокоен ты. А вокруг тебя разгром
 Венцов и слав, и человек влеком
 Сквозь тернии во прах. Промчались мимо
 Года с косою и деспоты с жезлом,
 А ты стоишь, святыня, нерушимо,
 Храм вер, приют искусств — о Пантеон, свет Рима!

147

Ты памятник прославленных искусств
 И славных дней, в упадке — величавый;
 Ты для художеств — образец, для чувств —
 Священный ключ. Кто любит семиглавый
 Державный Рим, к тому сиянье Славы
 Низвергнется сквозь купольный прозор;
 Для набожных ты церковь веры правой;
 А гениальность чувствующий взор
 На бюстах отдохнет, известных с давних пор.

А вот — подвал. Что скрыли своды эти?
 Не вижу ничего. Вглядишься опять!
 Два существа, две тени в тусклом свете;
 Такие бред способен порождать.
 Но нет; все стало четко, все видать:
 Старик, с ним свежая и молодая
 Красавица с высокой грудью, мать,
 Чья кровь — нектар. Что здесь она, такая,
 В плаще распахнутом? что блещет грудь нагая?

149

Чистейшей влагой жизни грудь полна,
 И мы, у сердца, в сердце брать умели
 Наш первый лучший мед, когда жена,
 Святая мать, в невинном взоре, в теле
 И даже в криках, что на самом деле —
 Не боль, находит счастье выше сил,
 Столь женское, — любуясь, в колыбели
 Как первенец невинный взор открыл...
 Но кто предскажет плод? У Евы Каин был...

150

Но старость тут от юности вкушает
 Чудесный дар. Здесь дочь устам отца
 Долг крови, ей врожденной, возвращает.
 Нет! Он не встретит смертного конца,
 Пока два теплых, нежных два сосца,
 Послушные огню любви священной,
 Струят великий Нил, что образца
 Египетского выше. Пей, о пленный!
 Пей и живи! В раю нет влаги столь блаженной!

151

К нам древний миф дошел про Млечный путь,
 Но наша повесть чище сказки звездной;
 В преданьях ей дано нежней сверкнуть:
 Гордится ею, свой закон железный
 Презрев, Природа более, чем бездной
 Своих миров! О светлая любовь,
 Кормилица! Ни капли бесполезной:
 Дочь отдает отцу и жизнь и кровь!
 Так дух, свободным став, уходит в Космос вновь.

152

Гляди: встает громада Адриана,
 Державный сколок с древних пирамид.
 Лишь буйная фантазия тирана,
 Взяв образец на Ниле, взгромоздит

Столь тяжкое уродство — тайный стыд
 Художника — гигантский дом для праха
 Ничтожного! С усмешкою глядит
 Мудрец на кров подобного размаха —
 Творенье жалкое надменности и страха!

153

Но вот собор, огромный дивный храм
 (Дианы храм казался б кельей рядом);
 Алтарь Христу, гроб страстотерпцев там.
 Я льнул когда-то восхищенным взглядом
 К разрушенным эфесским колоннадам,
 Где спит гиена и шакал скулит;
 Видал софийский купол: над фасадом
 Вздвигался он, лучами весь облит,
 Где ныне молится захватчик-исламит;

154

Но ты — один: и в древности, и ныне
 Какой бы храм с тобой равняться мог,
 Достойнейшая господа святыня?
 С тех пор, как, на Сион прогневаясь, бог
 Поверг его, какой земной чертог
 Ему воздвигнут столь же величаво?
 В тебе — всему придел иль уголок;
 Власть, Красота, Величие, Сила, Слава —
 Всё, всё в тебе, ковчег нетленный веры правой!

155

Войдешь — тебя величие не гнетет.
 Храм стал не меньше. Но одно сознанье,
 Что он велик, бросает дух в полет,
 И для него лишь это годно зданье,
 Где нерушимы наши упованья,
 Надежды на бессмертье. В некий миг,
 Коль будем мы достойны созерцанья,
 Войдя сюда, мы глянем в божий лик,
 И не сразит нас бог, восславлен и велик.

156

Идешь — и выше кажется строенье;
 Так цепи Альп изящней и стройней
 Рисуются по мере восхожденья.
 Собор растет в гармонии частей,
 Весь — музыка в огромности своей.
 Блеск мрамора; картин сверканье; пламя
 Златых лампад и — купол! Он мощней
 Всех на земле дворцов, хотя пятами
 Те врылись в твердый грунт, а он — меж

облаками

Всё не охватишь. Надо по частям
 Овладевать единством, столь огромным.
 Так — много бухт являет море нам,
 Зовя взглянуть; вбирай же взором скромным
 То, что вблизи, держа под неумным
 Надзором дух, пока ему язык
 Пропорций быть не перестанет темным;
 Так — шаг за шагом. И предстанет вмиг
 Вся слава, что сперва не сразу ты постиг.

158

Вина — в тебе. У наших восприятий
 Рост медленный; чем более полна
 Душа, тем тяжелей на ней печати:
Не выразишь. Так, ошеломлена
 Всем блеском храма этого, она
 Теряется; пугливый взор обманут;
 И ждать природа мелкая должна,
 Покуда, вровень храму, не воспрянут
 Способности души и на величье глянут!

159

Тут, озаренный, медлишь ты; в тебе
 Не радость глаз, увидевших картины
 Прекрасные, не чувство, что в мольбе
 Льнет к алтарям иль всходит на вершины
 Искусств, безвестных в древние години
 И недоступных прежним мастерам;
Высокое разверзнет здесь глубины —
 И золотой песок собираешь там,
 Поняв, как много дать Идея может нам!

160

Смотри Лаокоона в Ватикане;
 Агонией душа просветлена:
 Любовь отца и казнь земных созданий
 С терпением бессмертных сплетена.
 Борьба напрасна: столь напряжена
 Драконья хватка; skleпаны все звенья
 На старике, и ядом цепь полна;
 Огромный змей торопит удушенье
 Живыми кольцами — и множатся мученья.

161

А вот, зажав непогрешимый лук,
 Бог жизни и поэзии, бог света;
 Он — Солнце во плоти; и блеск вокруг
 Струит чело, победою согрето.

Стрела умчалась и сверкает где-то
 Божественным возмездьем. Взор его
 И сжатость губ (презрения примета) —
 Всё власть, и мощь, и молний торжество,
 И, стоит лишь взглянуть, предстанет Божество!

162

Но — сон Любви в его изящном теле,
 Бред одинокой нимфы, чьи мечты
 К бессмертному любовнику летели,
 Безумные. И созерцаешь ты
 Виденье идеальной красоты,
 Когда к нам в душу сходит Неземное
 И образы слетают с высоты,
 Лучи бессмертья, — и, в их звездном рое,
 Ждем, чтоб они слились в творение такое.

163

И если в небе Прометей украл
 Огонь, живущий в нас, — его деянье
 Тот искупил творец, кто изваял
 Из мрамора столь дивное созданье
 С нетленной славой. Пусть само ваянье
 Вел человек — идея шла с небес.
 Тут Время прозябло состраданье:
 Под прахом лет ни локон не исчез
 И лишь раздут огонь в том чуде из чудес!

164

Но где же он, герой моей поэмы,
 В былом ее скреплявший Пилигрим?
 Он что-то медлит, он давно вне темы,
 И — нет его; здесь мы простимся с ним.
 Он кончил путь: его виденья — дым;
 Он сам — ничто. Но если был он боле,
 Чем плод мечты, и близок всем другим,
 Кому даны и жизнь и чувство боли, —
 Простимся: тень его бледнеет в смертном поле,

165

Где Разрушенье в саване своем
 Смешало все: и сущности, и тени,
 И жизнь, — и мгла вселенская кругом.
 Мир сквозь нее — лишь сонмы привидений;
 Слой туч укрыл все светлые ступени,
 И даже Слава — сумрак: лишь подчас
 Мерцает венчик прежних озарений
 На грани тьмы. Но те лучи для глаз
 Грустней, чем ночь; они, с пути сбивая нас,

Шлют в бездну любопытных — затеряться
 Среди других, где каждый обречен
 На составные части распадаться,
 Гнусней, чем гнить; о славе видеть сон
 И пыль стирать с ничтожнейших имен.
 Как хорошо, что нам судьба судила
 Забвение промчавшихся времен!
 Уж слишком тяжко давит то, что было,
 На сердце... Кровь, как пот, давно нас оросила.

167

Но — слышишь! — звук над бездной той встает,
 Протяжный ропот, низкий, жуткий, странный —
 Такой, когда кровоточит народ
 Глубокой и неисцелимой раной.
 В грозе и тьме провал зияет рваный;
 Кишат в нем тени; между них — одна,
 Вся — царственна, хотя и не венчанна;
 То — мать; в тоске, прекрасна и бледна,
 К беспомощной груди ребенка жмет она.

168

Где ты, вождей и королей потомок?
 Надежда стольких наций, ты мертва?
 Что не другая в склеп, в тоску потемок
 Легла — не столь любимая — глава?
 В ту злую ночь, став матерью едва,
 Над сыном кровь из сердца ты струила;
 Смерть уняла ту скорбь — но острова
 Державные их радости лишила:
 Все упованья их твоя взяла могила.

169

Любима всеми, ты чужда судьбе
 Крестьянок: их благополучны роды.
 Враг королей заплачет о тебе,
 И сердце омраченное Свободы
 В одну печаль сольет свои невзгоды:
 Ей, на тебя молившейся, венец
 Твой Радугой сиял! А муж твой! Годы
 Он одиноким проведет, вдовец,
 Чей брак продлился год и кем рожден мертвец.

170

Из власяницы был наряд венчалный;
 Плод брака — труп; дочь наших островов
 Золотокудрая — лишь прах печальный.
 Любовь миллионов! Ей мы даль годов

Вверяли. Мнилось: мы из тьмы гробов
 Ее дитя увидим, пред которым
 Склонятся наши, благодарных слов
 Ей не жалея. Все светило взорам,
 Как звезды пастухам. Но было — метеором.

171

Не ей — нам горе: мирно спит она.
 Любви народной дым; придворных льстивых
 Слова; всё, что монархия должна
 Внимать из уст оракулов фальшивых
 (Надгробный звон), пока народный взрыв их
 Не заглушит, безумный; странный рок,
 Свергающий державцев горделивых,
 Слегую власть их взвеса в должный срок,
 По справедливости им подведя итог.

172

Ее ждала судьба, возможно, та же.
 Но нет! Не верит сердце. Молода,
 Добра душой, врагов не встретя даже,
 Невеста, мать — она ушла *туда*.
 Как много связей порвалось тогда!
 Но короля и мужика сплотила,
 Как цепью электрической, беда;
 Землетрясеньем этой скорби сила
 Встряхнула всю страну, что так ее любила...

173

Вот — Неми. Средь холмов и роц легло
 В такую глубь, что ветер разъяренный,
 Корчующий дубы и тяжело
 Взметающий валы воды зеленой,
 Бросая пену в небо, — тут, смиренный,
 Щадит его зеркальный водоем:
 Спокойней ненависти затаенной,
 В глубоком, вечном холоде своем,
 Оно свернулось там; так спит змея — клубком.

174

Вблизи, в долине родственной, Альбано
 Сияющая плещется волна.
 Там — вьется Тибр. Там — волны океана
 Бьют в Лациум, где древле шла война.
 Виргилием воспетая, она
 Сулила Риму власть. Вон там — от Рима
 Спасался Туллий. Там, где гор стена
 Замкнула даль, в долине, им любимой,
 Поэт усталый жил, — и дни летели мимо.

По я забыл: у храма Странник мой;
 Нам, так и быть, уже расстаться надо;
 Наш труд свершен. Но как уйти домой,
 На океан не бросив хоть бы взгляда?
 Нам вест средиземная прохлада,
 И видно вновь, с высот Албанских гор,
 Все то же море, юных дней отрада,
 Чья ширь от Кальпе нам ласкала взор
 И до Эвксинских вод, чей сумрачный простор

176

Льнет к Симплегадам синим. Эти годы,
 Немногие, так длились! Их печать
 На нас обоих. Слезы и невзгоды
 Нам дали не *свершить*, а лишь *начать*.
 Все ж довелось недаром нам страдать;
 Награда есть, и вот она: в эфире
 Сверкает солнце, радуя опять,
 И милы вновь земли и моря шири,
 Как будто нет людей, все омрачивших в мире.

177

О, если бы в пустыне жить — с одной
 Прекрасною Душой, с подругой милой,
 И, всем простив и род забыв людской,
 Ее одну любить со страстной силой!
 Стихии! Вашей вьюгой светлокрылой
 Я ввысь приучен рваться! Что же вам
 Ее не дать мне? Иль ошибкой было
 Мечтать, что есть такая, где-то там,
 Хоть встречу с ней судьба дарует редко нам?

178

Есть радость меж лесистых бездорожий,
 И счастье близ пустынных берегов,
 И общество, где не мелькнет прохожий,—
 У вод морских, и музыка — их рев.
 Мне ближний мил, милей — Природы зов:
 Я забываю в разговоре с нею,
 Чем был и стал,— и с Космосом готов
 Соединиться, и в душе лелею
 Все то, чему нет слов, но что скрывать не смею!

179

Клубись, клубись, лазурный океан!
 Что для тебя пробег любого флота?
 Путь от руин от века людям дан,
 Но — на земле; а ты не знаешь гнета.

Обломки кораблей — твоя работа:
 Здесь человек своих не сеет бед;
 Лишь сам он в глубину, бездонную для лота,
 Идет: пузырясь, исчезает след;
 И прах непогребен, неведом, неотпет.

180

Твои тропы не топчет он; просторы
 Не грабит; ты вздымаешься — и вот
 Он сброшен: силу подлюю, с которой
 Он рушит мир, презрела вольность вод.
 Его ты мечешь в самый небосвод,
 Вопящего, кружа в игре прибора,
 К его богам: пусть он туда снесет
 Мольбу о бухте; и потом волною
 Вернешь его земле: пускай лежит в покое.

181

Те пушки, что гремят грозы грозней
 Над градами и потрясают страны,
 В столицах в дрожь вгоняя королей,
 И те дубовые левиафаны,
 Чей жалкий зодчий мнит, что океаны
 Ему подвластны, богу войн и кар,—
 Твои игрушки; их тебе, туманный,
 Судьба нередко оставляет в дар —
 И где Армады спесь? где приз твой, Трафальгар?

182

Ты — тот же; а прибрежные державы?
 Что ныне Рим, Эллада, Карфаген?
 Ты льнул к ним в годы вольности и славы,
 Льнешь и теперь, когда их взяли в плен
 Пришлец и варвар; всюду прах и тлен,
 Пустыня... Ты один без измененья,
 Коль не считать веселой пляски пен;
 Лазурный лик не тронуло теченье
 Веков; клубишься ты, как на заре творенья.

183

Сам бог в великом зеркале твоём
 В час бури отражен. И ты — спокойный
 Иль бешеный, шторм или штиль кругом,
 Белея льдом иль в солнце зоны знойной
 Сгущая синь,— все тот же трон достойный
 Незримого. Лик Вечности ты смог
 Отобразить. Таит твой ил застойный
 Чудовищ бездны. Ты весь мир облек
 И, страшный, зыблешься, бездонен, одинок.

Тебя любил я, Море! В пору юных
 Забав я жаждал по груди твоей
 Скользить как пена, — и нырять в бурунах
 Мне было счастьем. Если средь зыбей,
 Пугая, ветер задувал свежей,
 То страх был сладок: ведь волна о сыне
 Заботится, а я был сыном ей
 И доверял бушующей пучине,
 И гриву белую ей гладил я — как ныне.

Мой кончен труд; умолкла песнь: она
 Лишь замирает в отзвуках; и время
 Развеять чары длительного сна,
 Задуть мой факел — пламенное семя

Полночной лампы. Я бы мог в поэме
 Сильнее быть, но что писал — писал...
 Не прежний я: с видениями теми
 Я раздружился, чувствовать устал,
 И внутренний огонь неверен, бледен, мал.

Прощайте! Я замедлил с этим словом
 И медлю. Но — прощайте! Коль с моим
 Скитальцем шли вы по путям суровым
 Вплоть до конца и сказанное им
 Запомнили, сдружившись хоть с одним
 Воспоминаньем, — то ремни сандалий
 Недаром затянул мой Пилигрим...
 Прощайте же! *Ему* — его печали,
 Коль есть они, а *вам* стихи уроком стали.

Г Я У Р

Фрагмент турецкой повести

*Есть образ в памяти, есть боль — и не пройдет
Ни средь веселия она, ни средь забот;
Ни ярче, ни темней она вовек не станет;
С ней радость не пьянит, страдание не ранит.*

М у р.

*Сэмюэлю Роджерсу, эсквайру,
как слабый, но искреннейший знак преклонения
перед его талантом, уважения к его душевным
качествам и благодарности за его дружбу,
посвящает это произведение*

преданный слуга его

Б а й р о н.

Лондон, май 1813

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта повесть, состоящая из несвязанных отрывков, основана на обстоятельствах, теперь менее обычных на Востоке, чем прежде, — потому ли, что дамы более осторожны, чем в «доброе старое время», потому ли, что христианам больше везет или они менее предприимчивы. В законченном виде рассказ содержал бы историю невольницы, за неверность брошенной, по мусульманскому обычаю, в море и отомщенной молодым венецианцем, ее любовни-

ком. Происходит это в то время, когда Семь Островов принадлежали Венеции, и вскоре после того, как арнауты были изгнаны из Морей, где они так долго хищничали вслед за вторжением русских. Измена майнотов, которым не позволили разграбить Мизирту, помешала русскому предприятию и повлекла опустошение Морей; жестокость, проявленная всеми сторонами, была несравненной ни с чем, даже в анналах правоверных.

Нет ветра: море спит у скал,
Где мавзолеей героя встал
Афинского; челнам вдали
Он первым шлет привет земли,
Что спас тот воин, — и к чему?
Ведь нет преемника ему!

.....
О край блаженный! Вечно там
Смеется солнце островам;
С высот Колонны лишь взглянуть —
Они вливают радость в грудь,
Зовя к пустыне их прильнуть.
Там щеки моря в сеть морщин
Вбирают отсветы вершин,

Когда прилив в кольцо берет,
Смеясь, Эдем восточных вод.
А если быстрый бриз порой
Хрусталь надколет голубой
Иль свет с веток цвет густой —
Какой чудесный аромат
Пойдет с долин и с горных гряд!
Ведь Роза, аромат струя,
Цветет, султанша Соловья,
И к ней летит, царице дев,
На сто ладов его напев;
И Роза внемлет, заалев.
Царица песни и садов,
Ни бурь не зная, ни снегов,

Вдали от наших зим, она,
Всегда весной окружена,
За радость жизни фимиам
Шлет благодарно к небесам,
И те улыбкою дарят
Душистый вздох, цветной наряд.
Там и еще цветы цветут;
Там тень — любовников приют;
Там гроты, что к себе манят
Покоем; но порой пират
Меж скал ладью таит и ждет,
Когда вблизи челнок пройдет
С веселой лютней и когда
Сверкнет вечерняя звезда;
Тут хищник, весла заглушив,
Лишь тень окутает залив,
Кидается на жертву вдруг —
И стоном прерван лютни звук.
Как странно! Там, где без числа
Дары природа собрала,
Создав из этих берегов
Рай, обиталище богов, —
Там человек, влюбленный в гнет
И в боль, пустыню создает,
Топча цветы, что не взрастил, —
Дары благих природных сил;
И без его забот, одна,
Цветет прекрасная страна,
Боясь его руки, моля,
Чтоб он щадил ее поля!
Как странно! Там, где всюду мир,
Бушует злобы дикий пир,
И похоть черная и страсть
Хранят над светлым краем власть;
Как будто натиск адских сил
Тут серафимов победил
И захватил престол небес,
Из преисподней выйдя, бес.
Страна для счастья создана,
Но деспотам обречена!

Кто на усопшего глядел,
Пока еще не отлетел
День, первый из загробных дней,
Последний день земных скорбей,
И Тленья властные персты
С лица не стерли красоты, —
Тот видел ангельский покой,
В лице блаженно разлитой,
Чертеж морщин, что мягко лег
Вдоль грустных и спокойных щек;
И, если б не застылост веки,
Укрывших смех и гнев навек,
Не лоб, холодный, как гранит,
Чья неподвижность леденит
Глядящего (как будто он
Сам стать таким же обречен,

Но отвести не смеет глаз), —
Когда б не это, хоть на час
Он бы поверил в сладкий бред,
Что нет тирана, смерти нет!
Столь светел первый след ее,
Вещающий небытие!

Вот так и эти острова:
Здесь — Греция; она мертва;
Но и во гробе хороша;
Одно страшит: где в ней душа?
Ведь красота, что в ней жила,
Не вся в последний вздох ушла,
Но в ней — оттенок страшный тот,
Который только смерть дает:
В ней ответ жизни отжитой,
Вкруг тленья — нимб, зловеще золотой,
Прощанье чувства с милою землей!
Угас огонь, рожденный в небесах,
И не согреет искра бедный прах!

Край храбрых! Он в веках живет!
Там каждый дол, там каждый грот —
Гроб славы иль борьбы оплот!
Великий склеп! Ужель туда
Сошла отвага навсегда?
Последыш тех, кто вольным был,
Презренный раб! Вскинь робкий взор:
То не теснина ль Фермопил?
А тот залив, а тот простор,
Та синь, та зыбь, грань тех вершин —
Ужель не остров Саламин?
Забывший блеск страны своей,
Восстань и ею овладей!
К гробам отцов лицо клоня,
Сыщи хоть искру их огня.
Знай: кто в бою погибнет, тот,
Как предки, славу обретет;
О ней услыша, дрогнет Гнет,
И сыновья на смерть пойдут,
Но славы той не предадут:
Ведь бой за Вольность все грозней
И кровь отцов зовет детей;
Свобода ждет, триумф за ней!
Мир в этом убедить могла
Ты, Греция: твои дела
Бессмертны! Пусть царей таит
Мрак безымянных пирамид;
Твои герои обрели
В горах своей родной земли
Мощней надгробье, хоть оно
Среди руин лежит давно. —
Ведь в песнях муз погребены
Твои великие сыны!
Что вспоминать, каким путем
Народ свободный стал рабом?
Не злобный враг тебя пограл,

А сам ты стал и слаб и мал,
И самоуниженья зло
Тебя до рабства довело.

Кто ныне здесь расскажет нам
Про стародавние дела?
Какие передаст векам
Преданья Муза, если там,
Где доблесть древняя жила,
Героев нет?.. Тех дней сыны
Рождались, доблести полны,
И слава их звала;

Теперь — от люлек до гробов —
Здесь лишь рабы, рабы рабов,
Тупые слуги зла!

В них щедро низость разлита,
Они — подобие скота,
Но диких доблестей в них нет,
Но вольности — исчез и след;
Во всех портах ты их найдешь;
Вошла в пословицу их ложь;
Лукавством всюду славен грек,
Лишь хитрость он сберег навек.
Ничто ему Свободы зов —
Сломать и сбросить гнет оков,
С ярмом, наследием веков!
Довольно мне жалеть о вас!..
Я скорбный поведу рассказ;
Тот первый, кто ему внимал,
Не без причины тосковал...

.....
Скала, роняя тень густую,
Мрачит стихию голубую,
И мниг рыбак, что там свой бот
Скрыл островной пират, майнот;
И рад гребец удвоить путь,
Чтобы засаду обогнуть.
Дневной работой утомлен,
Стеснен уловом, все же он
Упорно, не спеша, гребет,
Пока Леоне не блеснет,
Чьей мирной пристани лучи
В восточной светятся ночи.

.....
Кто на коне сквозь мрак летит
Под ляг удил, под стук копыт?
Удар подков о горный склон
Пещерным эхо повторен —
Удар в удар, за звоном звон.
Как будто пеною морской
Скакун был взмылен вороной;
Хоть в море стихло буйство волн,
Но всадник мчался, бури полн.
Пусть грянет шторм, свиреп и хмур,—
Все ж он светлей, чем ты, Гяур!
Кто ты? Мне мерзок твой народ,
И знак в тебе я вижу тот,

Что даже время не сотрет:
Ты юн, но бледное чело
Дыханье страсти обожгло;
Хоть ты укрыл нечистый взор,
Хоть пролетел, как метеор,—
Все ж ты из тех, кому осман
Песет иль плен, иль ятаган.

Вдаль-вдаль стремясь, хлеща коня,
Он чем-то поразил меня;
Хотя, как полуночный бес,
Он промелькнул и вдруг исчез,—
Все ж странный облик, дикий вид
Доселе мною не забыт,
И долго мне была слышна
Дробь вороного скакуна...
Ездок дал шпоры; вот утес
Зубцы над пронастью вознес.
Его он огибают; вот
Он ускользнул за поворот;
Должно быть, страшен чуждый взгляд
Тем, кто столь бешено летят,
И слишком ярки звезд лучи
Тем, кто свой путь стремят в ночи.
Он мчится; вдруг назад, в простор,
Метнул он взор, последний взор;
На миг полет коня сдержал,
На миг ему дал отдых; встал
На стременах; глядит, застыв,—
Что видит он среди оливо?
Там полумесяц на холме,
Мечеть; огни лампад во тьме
Дрожат; и хоть издалека
Пальбы не слышно мултука,
Но пламя вспышек сквозь туман
Вещает радость мусульман:
В ту ночь окончен рамазан,
В ту ночь байраму рад осман,
В ту ночь... Но сам ты кто, чужак,
С челом, одетым в скорбь и мрак?
Чем вид, тебе представший, мог
Сдержать коня могучий скок?
Стоит он... Страх в его глазах.
Но ненависть сменяет страх,
И, не румянцем заалев,
Как преходящий быстро гнев:
Лицо — как мрамор гробовой
С его холодной белизной.
Нахмурен лоб, недвижен взор;
Вдруг руку он в тоске простер,
Как бы не зная: длить свой путь
Или обратно повернуть?
Стоять соскучась, вороной
Заржал. Упавшей вдруг рукой
Гяур кинжал задел кривой.
Спугнул оцепененье звон,
Как стоны сов стоняют сон;

Он шпоры дал — вперед, вперед,
Как будто с жизнью кончен счет.
Как брошенный джеррид, от шпор
Рванулся конь во весь опор,
Утес минуя; дробь копыт
Над морем больше не звучит,
И за скалой исчез совсем
Христианина гордый шлем.
Да, лишь на краткий миг узду
Скакун почувал на ходу;
На миг лишь замер, недвижим,
Седок, как будто смерть за ним
Гналась, но в этот беглый миг
Вихрь Памяти его настиг,
В душе взметнув на краткий срок
Года злодейств, года тревог.
Вся боль былого в миг такой
Владеет страстною душой.
Но что тогда почувал он?
Каким виденьем потрясен?
Момент, когда пытал он рок,
Как вечность — кто б измерить мог?
Ничтожный в записях Времен,
Для мысли жутко долог он!
Ведь нет предела мысли той,
И Совесть лишь, в себе одной,
Поймет ее — ту боль, тот бред,
Где ни надежд, ни граней нет.

Тот час прошел; Гяур пропал;
Бежал ли он один, иль пал?
Будь он проклятьем поражен!
За грех Гассана послан он
Сменить ему дворец на склеп;
Он как самум пронесся; где б
Тот вестник скорби и судеб
Ни мчался, все он жжет, и вниз
Клонится даже кипарис.

Что у могил всех дольше слезы льет
И неустанно траур свой несет!

Нет больше в стойлах скакунов;
В дому Гассана нет рабов;
Один паук по стенам вьет
Волокна серые тенет;
Приют мышей — гарем пустой,
И в башенке сторожевой
Нетопырей гнездится рой.
Голодный, жаждой обуян,
Пес воет; пересох фонтан —
Опустел беломраморный водосем,
И сорные травы пылятся в нем.
Когда-то резво он играл
И зной полдневный умерял;
Взлетя, серебряным дождем
На землю падал он потом
И свежее сверкал росой
В траве зеленой и густой.

Как нежно в трепете струи,
Шептавшей что-то в забытьи,
Мерцали звездные рои!
Как часто, мальчиком, Гассан
Резвился там, где бил фонтан;
Как часто, мать обнявши, он
Тут засыпал под нежный звон;
Как часто он прекрасных дев
Тут слушал сладостный напев,
И каждый мелодичный тон
Был плеском влаги повторен;
Но стариком — вовек ему
Тут не встречать ночную тьму,
Воды иссохшей не вернуть:
Кровь пролита, что грела груди!
Здесь никогда не прозвучит
В словах восторг, иль гнев, иль стыд;
И голос горя, женский стон,
Печальный возглас похорон
Давно умолкли. Тишина.

Лишь под ветром стучат решетки окна.

Ревет ли буря, град ли бьет —
Ничья рука их не замкнет.
В пустыне радостно найти
След человеческий на пути,—
Так здесь и голос, полный слез,
Нам утешенье бы принес,
Сказав: «Не все ушло; слышна
Еще тут жизнь, хотя б одна!»
Там комнат много; жадный Рок
Хотя одну сберечь бы мог.
Глубь раззолоченных палат
Еще не всю изъел Распад;
Но Тленье смотрит из ворот;
К ним ни факир не подойдет,
Ни дервиш — в их тени стоять
И подавняя ожидать,
Ни путник, чтобы на пути
Святые «хлеб и соль» найти.
И Бедность, и Богатство тут,
Не глядя, стороной идут:
Исчезли Щелкость и Привет
С тех пор, как здесь Гассана нет,
И кров гостеприимных зал
Берлогой Разрушенья стал.

Нет гостей, нет рабов с той поры, как ему
Рассекла христианская сабля чалму!

.....

Тут шум шагов настиг меня...
Идут, безмолвные храня...
Всё ближе... Вот чалмы видны,
Вот серебром блестят ножны,
Вот предводитель... Как богат
Зеленый шелковый халат;
Эмир, должно быть... «Эй, кто там?» —
«Вам это скажет мой селям:

Я турок... Тот мешок большой,
Что с осторожностью такой
Несете вы, должно быть полн
Ценнейшим грузом... Вот мой челн».

«Ты прав... Везти нас будь готов
Вдаль от безмолвных берегов.
Челн отвяжи; нет, парус прочь:
Удобней весла в эту ночь.
Правь к той скале, где глубина
Спит, неподвижна и черна...
Довольно, стой!.. Здесь отдохнуть
Ты можешь... Быстро пройден путь.
Но думаю, что долгод он
Был той...»

То сброшено, пошло ко дну;
Круги смутили тишину;
Я вслед глядел: увлечено,
Казалось, было в глубь оно
Водоворотом; то луны
Дробился блеск в игре волны;
Глядел я: тихо шло на дно,
Как малый камешек, пятно,
Сверкая, тая, как алмаз,
Что, исчезая, дразнит глаз.
И тайны все схоронены,
И даже духи Глубины
В дворцах коралловых своих
Волне открыть не смеют их.

Там, где луга простер Кашмир,
Царица бабочек, в эфир
На крыльях пурпурных взлетя,
Вслед за собой зовет дитя,
С цветка к цветку стремится полет;
Когда ж ребенок устаает,
Она скрывается в простор,
Ему же — слезы застыт взор.
Так взрослых мальчиков влечет
Цветистой красоты полет;
Лови! Игра надежд и страх;
Начало — бред, конец — в слезах.
Поймал — судьба равно горька
И девушки и мотылька;
Игра детей, каприз мужской
Отнимут радость и покой.
Забавы жаждешь, но достиг —
И прелесть исчезает вмиг:
Прикосновение вмиг сотрет
Пыльцы сверкающий налет,
И, утерявшей блеск и власть,
Дают лететь — или упасть.
С большим крылом, с больной душой —
Где жертве обрести покой?
Как смятой бабочке опять

От роз к тюльпанам улетать?
И Красота найдет ли где
Покой в поруганном гнезде?
Нет: мотыльки, играя, взгляды
К тем, кто погиб, не обратят,
Грех девушка простит любой,
Но не грозящий ей самой,
И не оплачет никогда
Сестры потерянной стыда!

Ум, обжигаемый грехом, —
Как в жарких углях скорпион:
Лег пояс пламенный кругом,
И пленника палит огнем,
Пока, в мучении своем,
В безумье приведен,
Он сам свой не приблизит рок
И жало, что врагам берет,
Что верный яд в себе таит,
Что вмиг все боли утолит,
В мозг иступленный не вознит!
Преступный дух, терзаем он,
Как в жарких углях скорпион;
В мученьях совести, во мгле,
Он чужд и небу и земле;
Мрак и тоска — земля и твердь;
Вокруг — огонь и в сердце — смерть!

Гассан угрюм; забыл гарем:
На женщины не глядит совсем,
Охотой занят; но тоска
Мешает радостям стелка;
Он был иным, когда жила
В его дворце его Лейла.
Ужель теперь Лейла там нет?
Дать мог бы лишь Гассан ответ.
Молва по городу слышна,
Что скрылась в ту же ночь она,
Как рамазан ушел в закат
И с минаретов блеск лампад
Всею Востоку возвестил,
Что час байрама наступил.
Пошла в купальню. Тщетно там
Искал Гассан взбешенный сам:
Пажом грузинским наряжаясь,
Она от ярости спаслась,
Чтобы на грудь Гяура пасть
Там, где коран утратил власть!
Муж чуял нечто, но она
Казалась так нежна, скромна,
И доверял он ей, рабе
(Что заслужила смерть себе!),
И, сохраняя в сердце мир,
Пошел в мечеть, потом на пир...
Таков был евнухов рассказ,

Не уберечь своих алмаз.
А по словам других, в ту ночь
Видали многие, что прочь
Гяур умчался, при луне,
Один на черном скакуне,
Кровавая шпору, весь дрожа, —
Один, без девушки-пажа.

.....

Кто нежных глаз ее гагат
Опишет? Их вообразят
Лишь те, кто лани знали взгляд.
Их глубина была черна,
Грустна, но вся душой полна,
Когда, как Джаамшидов лал,
Из-под ресниц их взор сверкал.
Когда б ее хоть сам пророк
Ожившей глиною нарек,
С ним согласиться б я не мог,
Хоть подо мной бы Эль-Сират
Дрожал над адом и Джиннат,
Где пляшут гурии, маня,
В густые рощи звал меня!..
Кто прочитал бы взор Лейла,
В том сразу вера б умерла,
Что женщина — лишь прах, что ей —
Быть услаждением страстей:
В ее глазах и сам муфти
Бессмертное бы мог найти;
Ей на средину нежных щек
Сронил гранатовый цветок
Свой вечно алый лепесток,
И гиацинтовая волна
Ее волос, как пелена,
Рабыням услаждая взгляд,
До самых ниспала пят,
А с белизной прекрасных ног
Лишь горный снег сравнится б мог,
Когда, упав из тучи, он
Еще землей не осквернен...
Как лебедь в водном хрустале,
Она скользила по земле,
Черкешенка, чей край — Кавказ;
Как лебедь, что крылом взмахнет
И вскинет голову тотчас,
Едва лишь у заветных вод
Какой-нибудь чужак пройдет, —
Так, гордо выпрямаясь, не раз
Красой надменною своей
Она смиряла дерзость глаз,
С восторгом устремленных к ней.
Победной грации полна,
Она с любимым столь нежна;
Но кто ж влечет ее мечты?
Скажи, Гассан! Увы! Не ты!

.....

Гассан, в бреду ревнивых мук,
Пустился в путь. С ним двадцать слуг;
Как мужу следует, любой —
С ножом, с мушкетом за спиной.
Их вождь, на битву снаряжен,
Был палашом вооружен,
В ущельях Парны тот клинок
Над арнаутами, как рок,
Сверкал: едва ль хотя один
Ушел живым из тех долин;
Два пистолета с ним больших
(Паша носил когда-то их),
Но, хоть богат стволов наряд —
Пират потупит жадный взгляд...
Был слух: Гассан искал себе
Жену — взамену той рабе,
Вдвойне презренной, что ушла,
Что страсть Гяуру отдала!

.....

Закатный луч среди горных скал
В струях источника сверкал;
Для горца радостна всегда
Ключа студеной вода;
Здесь грек-торговец может путь
Прервать и сладко отдохнуть:
Он в городах, среди владык,
За кошелек свой каждый миг
Дрожит, а здесь, укрыт, один,
Уже не раб он — господин;
Тут выпьет он вина стакан,
Запретного для мусульман.

.....

Татарин первым между скал
Колпак свой желтый показал;
За ним другие чередой
Идут стесненною тропой.
Ввыси — утесов острее,
Где точит клювы коршунье:
Быть может, этой ночью мгла
Его приманит на тела.
Внизу — поток; кипуч зимой,
Он высыхает в летний зной;
Вдоль русла черного растет
Бурьян, чтоб сохнуть в свой черед.
Крутой тропы бежит изгиб
Среди гранитных серых глыб —
Снесло годами иль грозой
Их с гор, одетых вечной мглой...
Вовек никто без покрывал
Пик Лиактуры не видал...

.....

Пред ними роща. «Бисмиллах!
Опасный кончен путь в горах;
Уже равнина близко, там

Мы можем шпоры дать коням».
 Чауш едва сказать успел,—
 Внезапный выстрел прогремел:
 Татарин рухнул, недвигим!
 Поспешно бросив повода,
 С коней все сходят, но троим
 В седло не вспрыгнуть никогда:
 Враг бьет на выбор, сам незрим,—
 Кому же мстить? Стрелять — куда?
 В мушкет поспешно вбив заряд,
 Одни стреляют наугад,
 Укрывшись за коня;
 Другие, прячась за скалой,
 Предпочитают встретить бой,
 Чем жертвой пасть огня
 Еще невидимых врагов,
 Ползущих где-то меж кустов.
 Презрев огонь, Гассан один
 Путь продолжал в глубь теснины,
 Пока блеск выстрелов вдали
 Не показал, что отсекли
 Разбойники последний путь,
 Которым можно ускользнуть.
 Тут, с распушённой бородой,
 С глазами, полными грозой,
 Сказал он: «Пусть огонь везде —
 Я не в такой бывал беде».
 Враг, затаившийся меж скал,
 Джигитам сдаться приказал,
 Но взор Гассана, жест и речь
 Для них страшней, чем вражий меч,—
 Никто, испугом обуян,
 Не отстегнул свой ятаган,
 Никто не произнес: «Аман!»
 Враги, оставя свой приют,
 Уже в открытую идут,
 И копь горячий из леска
 Несет галопом седока.
 Чья мечет злобная рука
 Блеск иноземного клинка?
 «То он! То он! Я узнаю
 И взор, скрывающий змею
 Предательства, и бледный лоб,
 И черного коня галоп!
 Отступник веры ложной, он
 Пусть арнаутом наряжен,
 А все ж наряд обманный тот
 Его от смерти не спасет!
 То он! Глаур! Душа ждала
 Тебя, любовника Лейла!»

Когда река стремниной бурной
 Свергается в морское лоно,
 Навстречу ей прилив лазурный
 Встает волною разъяренной
 И далеко назад несет
 Круженье пен и ярость вод;

Когда, под зимний свист и вой,
 На берег прядает прибор
 И в брызгах, в грохоте, волна,
 Ужасной белизны полна,
 Грознее молнии блеснит,
 И гром по берегам летит —
 Реке подобно и волне,
 Что, встретясь, бешеной вдвойне,
 И люди рвутся в ярый бой,
 Гонимы злобой и судьбой;
 Клинков скрещенных лязг и звон,
 Далекий крик и близкий стон,
 Незримых пуль свистящий град
 В ушах у воинов звучат;
 И боевых громов раскат
 Заполнил дол, где в мирный час
 Пастуший бы журчал рассказ.
 Бойцов немного, но они
 И жизнь забудут в миг резни!
 Влюбленных юные сердца
 Объятый жаждут без конца,
 Но ни Любви, ни Красоте
 Не превзойти объятья те,
 В которых Ненависть и Гнев
 Сплетут врагов, осатанев,
 Когда, в бою сцепившись вдруг,
 Они уж не разымут рук.
 Друг — не на век; любовь — как сон;
 С врагом и в смерти враг сплетен!

.....
 Вот сабля сломана, но ал
 От крови пролитой металл;
 Но отсеченная рука
 Эфес неверного клинка
 Еще сжимает в корче; в грязь,
 Под острой саблей раздвоясь,
 Турбан слетел; халат — в клочках
 И ал, как луч на облачках,
 Что, зарумянясь поутру,
 Шторм обещают ввечеру;
 И каждый куст, где трепетал
 Клок палампора,— тоже ал.
 В груди не счастье кровавых ран —
 Лежит поверженный Гассан
 Спиной к земле, лицом в закат,
 Но все грозит открытый взгляд
 Врагу, как будто смертный рок
 В нем ненависть убить не мог.
 И враг склонен над мертвецом —
 Со столь же мертвенным лицом.

«Да, спит Лейла, взята волной;
 Гассан лежит в крови густой.
 Кинжал точила мне Лейла,
 Чтобы хоть сталь родить могла

Страдание в сердце, полном зла.
Он звал Пророка... Как Пророк
Смирить бы месть Гяура мог?
Молился он, но, зная, мольба
Была невнятна иль слаба:
Безумец злой! Как мог Алла
Твой слышать стон — не стон Лейла?
Собрав отряд, я день ко дню
Ловил убийцу в западню;
Гнев утолен; конец ему;
И прочь итти мне — одному!»
.....

Верблюд, брелка звонком, насется...
Гассана мать глядит в окно
Узорное; над лугом вьется
Вечерней дымки волокно,
И в небе звездочка смеется...
«Что ж сына нет? Уже темно».

Ей не сидится в киоске; она
С башни глядит сквозь решетку окна:
«Что медлит он? Уже ли злой
Мешал коням спешить домой?
Он — жених, что же медлит с подарком он?
Иль сердце остыло, иль конь утомлен?
Несправедлива я... Уже
Видать на горном рубеже
Татарина; проехав склон,
Уже долиной скачет он;
С ним и подарок у седла;
Как сына я винить могла?
Гонца — пусть помнит госпожу —
За трудный путь я награжу».

С коня он сходит у ворот,
Но, с ног валясь, едва идет;
С тоской и мукой смотрит он,
Вконец, должно быть, утомлен;
На пыльных полах кровь видна, —
Должно быть, шпорил он скакуна;
Вот он за пазуху полез, —
Ангел смерти! — достал он разрубленный фес,
Халат в крови, в крови тюрбан!
«Госпожа! На страшной жене Гассан
Теперь женат. Я — пощажен,
И мне кровавый дар вручен.
Пал в битве сын твой, мир и честь!
Гяуру же, убийце, — месть!»
.....

Из камня грубого тюрбе
Да стих корана на столбе,
Где мох разросся, где трава
Укрыла скорбные слова, —
Вот всё, что меж пустынных глыб
Напомнит: здесь Гассан погиб.
Там спит осман, честнее тех,

Кто в Мекке чистых ждал утех,
Кто рот вином не осквернял,
Кто вмиг колена преклонял,
Когда в молитвенном кругу
Звучало грозно: «Алла-Гу!»
В своей стране родимой он
Был чужеземцем поражен;
Он смертью храбрых пал; она
Доселе не отомщена,
По крайней мере — кровью; но
Ему в раю быть суждено.
Там черным солнцем — взором дев —
Он грезит, слыша их напев;
Они, взметнув зеленый плат,
Героя ласками дарят:
Тот, кто с гяуром пал в бою,
Всех выше награжден в раю!
.....

Тебе же — корчиться ужом,
Гяур, под мстительным ножом
Монкира или, жертвой мук,
Скитаться, в пламени, вокруг
Престола Эблиса, и в грудь
Тебе огонь проложит путь;
Чей схватит слух, чей дух поймет,
Как пламя внутреннее жжет?
Но прежде, взят из гроба, в мир
Ты будешь послан как вампир!
Мертвец, домой вернешься вновь —
Сосать своих потомков кровь;
Ты будешь в сумраке ночей
Пить жизнь жены и дочери,
Пир проклиная гробовой,
Которым труп твой сыт живой!
Семья ж, завидя мертвеца,
Узнает в упыре отца;
Кляня их, ими проклят ты,
Ты губишь жизни их цветы;
Лишь дочь, венец твоих утех,
Твой искупая смертью грех,
Благословит тебя, отца,
Тем в сердце влив тебе свинца!
А все ж ты должен до конца
Глядеть, как блекнет цвет лица,
Как меркнет взор, как неживой
Он заплывает синевою;
Рукой нечистой, в смертный срок,
Ты вырвешь кос поблекших клоч
(Чью — в жизни — золотую придь
У сердца мог бы сохранять)
И навсегда сокроешь их
Залогом вечных мук твоих!
Скрипя зубами, бледность губ
Согрев родною кровью, — труп, —
Ты в гроб уйдешь, где света нет,
Где лишь Афритов слышен бред,

Но страшен будет даже им
Мертвец с проклятием двойным!..

.

«Кто одинокий тот монах?
Его в стране моей родной
Видал я: раз, взметая прах,
Он пролетел передо мной
На самом бешеном коне,
Каких случалось видеть мне.
Лицо?.. Казалось мне оно
Такой тоской искажено,
Что век забыть не суждено.
Тоска и ныне вдоль чела
Печатью смерти залегла.
«Вот летом год пойдет седьмой,
Как в монастырь пришел он к нам:
Здесь обрести хотел покой,
Найти забвение грехам.
Но чужд исповедальне он
И не творит земной поклон,
Когда взлетают к небесам
И антифон и фимиам.
Он вечно в келье. Нам темна
Его и вера и страна.
Он к нам приплыл из дальних стран,
Где люди веруют в коран,
Но сам на турка не похож,
Христианин в нем виден все ж;
Сказал бы я: он ренегат,
Чей дух раскаляем объят,
Когда бы храм он посещал
И от причастья не бежал.
Он внес в обитель щедрый вклад,
Чем покорен был наш аббат,
Но, будь я приор, он и дня
Не оставался б у меня
Иль заключенья б не избег,
В темнице запертый навек.
Нередко бредит он во сне
О деве, отданной волне,
О мести злой за боль обид,
О том, что турок был убит.
Порою, стоя на скале,
Он руку видит в черной мгле
Кровавую: она ему
Видна бывает одному,—
И та рука его зовет
В могилу прыгнуть — в бездну вод».
Под серым куколем укрыт,
Взор неземным огнем горит;
О прошлых днях ведет рассказ
Блеск широко раскрытых глаз;
Кто видел их неверный цвет,
Тот слал ему проклятье вслед,
Затем, что в них таился жар
Каких-то несказанных чар,

Неукрошенный дух и страсть,
Что любит власть и знает власть.
Как птица, встретя взор змси,
Бессильно бьется в забытьи,
Так взор его глазам людским
Несносен и — неотвратим.
Монах, с ним встретясь на пути,
Спешит в испуге отойти,
Как если б взор его и смех
Других ввергали в темный грех.
Не часто смехом он дарил,
И этот смех всегда язвил
Того, кто полон мукой был.
Как искривлялся бледный рот!
Как будто думы горькой гнет,
Презренье, тайная беда
Смех запрещали навсегда.
И хорошо, коль так: оно,
Веселье это, рождено
Не радостью... Еще грустней
В лице — следы былых страстей;
Оно — не маска; натиск лет
Не вовсе потушил в нем свет;
В нем не исчезло выраженье
Души, знававшей просветленье
Сквозь мрак и ужас преступленья.
Толпа в чертах его нашла
Лишь зло и воздаянье зла.
Мыслитель зоркий в них найдет
Высокий дух и гордый род.
Хоть даром все расточено,
Задавлено, осквернено
Несчастьем и злодейством — все ж
Не всем ты, рок, дары дашь
Такие, а посетитель их
Рождает страх в сердцах людских!..
Пред разоренным шалашом
Едва ли путники стоят,
Но башня, где война и гром
Зубец отбили за зубцом,
К себе приковывает взгляд:
Там плещ колонн, там плесень плит
О славе прошлой говорит!

«Закутан в рясу, он притвором
Во храм проходит меж колонн;
Пугая взоры, мрачным взором
За мессой наблюдает он;
Но лишь раздастся звучный хор,
Он возвращается в притвор,
Где тусклый озарит свет
Его угрюмый силуэт;
Он идет конца, не преклонясь,
Молитве внемлет, не молясь.
Гляди: в тени он куколь снял,
И хлынул прядей черный вал,
Змеясь вокруг бледного чела,—

Как бы Горгона отдала
Ему своих чернейших змей,
Что страшный лоб венчают ей.
Он по-монашески одет,
Но отклонил святой обет
И не стрижет своих волос;
Из гордости он нам принес
Дары — но кто видал из нас,
Чтобы молился он хоть раз?
Лишь стоит гимну загреметь,
Он начинает каменеть,
Бледнеет; видно по глазам,
Что вызов шлет он небесам!
Святой Франциск! Пусть он уйдет!
Иначе божий гнев с высот
Ужасным знаменьем падет!
Коль во плоти перед святым
Являлся бес, то вот таким;
Подобный взор, клянусь душой,
Ни небом создан, ни землей!»
Любви все нежные сердца
Подвластны — но не до конца.
Они боятся страстных мук,
Тоски, отчаянья, разлук.
Лишь твердый сердцем ощутит
Боль, что вся жизнь не исцелит.
Сначала грубая руда
Перегореть должна, тогда
Сверкнет металл. В горниле он,
Собой оставшись, размягчен —
Но, закаляясь, разить готов
Иль быть защитой от врагов,—
Твоя в нем воля: он, металл,
Или броня, или кинжал.
Но бойся, коль твоя рука
Отточит лезвие клинка!
Так горн любви и женский взгляд
Стальную душу размягчат:
Она от женских примет рук
Навеки форму, цвет и звук;
Сгибать нельзя: сломаешь вдруг!

Ты одинок, ты отстрадал,
Нет мук, но гнет не легче стал:
Терзаться лучше болью той,
Чем беспредельной пустотой.
Коль нет вблизи души родной —
Что нам и в радости самой?
Дух, одичав, исхода ждет,
И ненависть — ему исход.
Он точно труп, который вдруг
Червей почувствовал вокруг,
Когда они кишат на нем,
А он, окован смертным сном,
Не в силах, напрягая грудь,
Их мерзкий плен с себя стряхнуть.

Он — как в пустыне пеликан,
Который, чтоб кормить птенцов,
Грудь проклевав свою, готов
Лить щедро жизнь из алых ран,
Лить кровь, — а поглядит потом:
Нет никого в гнезде пустом.
Несчастен охлажденный ум,
И пытка сладостней ему,
Чем пустота бесплодных дум
И чувств, не нужных никому.
Кто вечно ровный небосвод —
Без туч и звезд — перенесет?
Когда ладью покрывший вал
Метнет пловца за гребень скал
В тишь бухты, то ему страшней,
Чем рев, чем бешенство зыбей,
Та тишина, в которой он
Бесплодно гибнуть обречен.
Отрадней сразу гибнуть нам,
Чем распасться по кускам!

«Отец, ты мирно прожил дни,
Молясь всечасно, четкам счет
Ведя... Грехи других — они
Зачем тебе? Ты без невзгод,
Без горя жил за годом год,
Не зная даже мелких бед...
Тебя страшил безумный бред,
Борьба невзвучанных страстей
У грешников, у тех людей,
Чьи скорби и грехи — в тиши —
Лежат на дне твоей души.
Я жил в миру. Мне жизнь дала
Не мало счастья, больше — зла;
Любовью занят и войной,
Я скуки не знавал земной;
Живя с друзьями, идя в бой,
Всегда я отвергал покой.
Теперь любви и злобы нет,
Надежды — прах, и слава — бред.
Пусть я в темнице бы, тайком,
Жил ядовитым пауком,
Чем дни безликие считать
И размышлять да созерцать.
Все ж я покоя жду душой,
С тем, чтоб не знать, что он — покой
Рок поспешит мне взор смежить, —
Усну, не видя в забытии,
Как жил я, как хотел бы жить,
Сколь ни черны дела мои.
Что память? Нег умерших склеп;
Судьбу их разделить и мне б!
Да, с ними умереть бы вдруг,
Чем жить среди непрестанных муч!
Снес пытку дух. Достало сил
Не вскрыть своей рукою жил,

Как римлянин минувших дней
Иль нынешний ловец теней.
Смерть я бестрепетно встречал
И радостно бы в битве пал,
Когда б на ратные дела
Не страсть, а слава позвала!
Не из тщеславья шел я в бой —
Что лавр мне, свежий иль сухой?
Пусть он других пленяет там,
Покорных славе иль деньгам.
Ты цель, достойную меня,
Поставь — и я, среди огня,
Средь блеска сабель и стрельбы,
Пойду дорогою судьбы
За ту, кто сердцу дорога,
Разить презренного врага!
Я сделал бы (к чему тут спор?)
Лишь то, что делал до сих пор.
Отважный смерть презрел, а тот,
Кто слаб — дрожит, а трус — ползет.
Бог дал мне жизнь — и пусть берет.
Ничто была мне смерть, поверь,
И в годы счастья, а теперь?!

Брат, я любил, любил ее!..
Боготворил!.. То не слова,
Я чувство доказал мое:
В крови вот это лезвё,
Сильнее в мире нет родства...
За смерть любви моей в обмен
Из сердца вражьего взята
Кровь эта... Не склоняй колен:
Здесь нет греха, душа чиста.
Пойми: убитый был врагом
Святой религии твоей,
И печень раздувалась в нем
Всегда при слове «назарей».
Несблагодарный! Сотни ран
От верной стали христиан
Да в сердце сабли острый край —
Вернейший путь в турецкий рай,
И пери долго без того
Там поджидали бы его!..
Любовь порой отыщет путь,
Где волк не смеет проскользнуть,
Не справедливо ль, что она
За мужество награждена?
И я (где, как — не все равно ль)
Был награжден за страх, за боль.
И все же — корчусь на огне:
Зачем в ней страсть была ко мне?
Она погибла. Про судьбу
Ее молчу, но все на лбу
Моем ты можешь прочитать,
Где Каина легла печать
Навек!.. Постой: убил не я,

Хотя во всем — вина моя.
Я так же бы убил, как он,
Будь я изменой оскорблен.
Он был обманут — он убил;
Я был любим — я отомстил;
Хоть прав, казнь, он был вполне:
Ему измена — верность мне!
Мне сердце отдала она,
Над чем власть мужа не вольна.
Увы! Я опоздал, не спас!
Но сделал все, как пробил час:
Врага мечом пронзить сумел.
Не смерть его — ее удел
Во мне ту тьму запечатлел,
Что потрясла тебя... Он знал
Свою судьбу, когда меж скал
Вел на гибель свой отряд,
И слух тагира предсказал,
Что грянет пуль смертельный град!
Он пал в бою, сраженный вдруг,
Не испытыв предсмертных мук:
Воззвав о помощи к Алле,
Он распростерся на земле.
Узнав меня, со мной посмел
Сразиться он, и я глядел,
Как он лежал, как он хладел...
Как барс, весь в ранах от копыя,
Все ж он не так страдал, как я
Теперь страдаю... Без конца
В чертах презренного лица
Искал я мук душевных — нет!
В нем только гнев оставил след.
О, дорого дала бы Мечь,
Чтоб в нем отчаянье прочесть,
Найти раскаянье в глазах,
Бессильное хоть малый страх
Из смертных страхов отвести,
Загладить, искупить, спасти!

У северян и кровь как лед,
Да и любовь их не любовь;
Моя же лавою течет,
Зажженной в сердце Этны, кровь!
Мне мерзок щербет про союз
Сердец, про сладость нежных уз;
Но если взор воспламенен,
И спазмой губ удержан стон,
И мозг в огне со всех сторон,
И гнев зовет, и мстит кинжал —
Коль это все любовь — я знал
Ее! Моя любовь была
Такой и так же больно жгла.
О, мне ль вздыхать и мне ль терпеть?
Я жаждал: взять иль умереть!
Хоть смерть близка, но что мне тлен?
Я был любим, я был блажен!

Я сам мой рок; что смертный одр?
Хоть все ушло, но дух мой бодр.
Когда б не дума о Лейла,
Вновь чашу радости и зла
Я взял бы, если б жизнь дала!
Скорблю я, пастырь мой святой,
Не о себе, а лишь о той,
Кто спит на дне, в холодной мгле...
Ах, будь могила на земле,
Моя растерзанная грудь
В гробу могла бы к ней прильнуть!
В ней свет и жизнь воплощены,
И ею сны и дни полны,
И Памяти всегда она
Звездю Утренней видна!

Любовь зажглась на небесах
Бессмертным пламенем. Ее,
Небесную, нам дал Аллах
Омыть земное бытие.
Молясь, мы всходим к небесам,
В любви же — Небо сходит к нам.
Да, богом послана она,
Чтоб озарилась глубина
Души нечистой и расцвел
Над ней небесный ореол.
Пускай моя любовь черна,
Пускай людьми заклеймена,
Но, правый гнев сдержав в груди,
Любовь Лейла не осуди!
Она была мне как маяк
Чистейший. Где он? Всюду мрак!
Свети он мне — я был бы рад
Итти на гибель в самый ад!
Дивиться ли, что, потеряв
Свет счастья и надежд навек,
Не стерпит муки человек?
Он, жизнь кляня и честь поправ,
Творит ужасные дела,
Чтоб лишь прибавить к боли зла!
Коль сердце кровью все истечь
Смогло — ему не страшен меч;
С вершины счастья дух упал,
Не все ль равно, в какой провал!
Со злобным коршуном я схож?
Да? отвращенье и боязнь
Тебе, старик, внушаю? Что ж!
Мне суждена и эта казнь!
Да, коршун я; как он, меж скал,
Мой путь я кровью означал;
Но, словно голубь, лишь одну
Я знал любовь — одну жену.
Зверья презренный нами род
Нам верности пример дает:
Лесной певец в своем гнезде
И гордый лебедь на воде —
У них одна, всегда, везде,

Подруга... Пусть иной глупец,
Смеясь над верностью сердец,
В повесах шальных будит смех —
Мне гадко от его утех:
Я думаю, что лебедь тот
Его безмерно превзойдет;
Что лжец презренный несравним
С душой, обманутою им.
Чужда мне эта грязь была;
Одна любовь моя — Лейла!
Восторг и радость, боль и страх,
Все — на земле и в небесах!
Второй подобной в мире нет,
А если есть — за целый свет
Я не взгляну в ее черты:
Она — двойник, она — не ты!
Вся жизнь, испятнанная злом,
И смертный одр клянутся в том.
И поздно: лишь Лейла одной
Моей безумной быть мечтой!

Я пережил ее, но связь
Распалась меж людьми и мной:
Змея вокруг сердца обвилась,
Зовя на все итти войной.
В тоске равнин, в безличье дня
Мир, прежде милый для меня,
Впитал мрак сердца, и в простор
Кидал я с омерзеньем взор...
Теперь ты знаешь полный круг
Моих грехов и долю мук.
Но к покаянью не зови:
Смерть — близко; лед в моей крови.
Тебе ль, верь я словам святым,
Былое сделать небывлым?
Не упрекай: мою тоску
Не исцелит духовнику;
Пойми же боль души моей,
Пойми и молча пожалей.
Но обещаю вернуть Лейла —
И в прах паду я, чтоб дбшла
Твоя молитва до небес,
Где любят звук продажных месс!
В берлоге львицу успокой,
Чьих львят унес охотник злой,
Но утешать меня не смей:
Нет издевательства больней.

Давно, когда, весной дыша,
Сиял мой дол родной вокруг
И душу слушала душа,
Был у меня — он жив ли? — друг,
Пошли ему вот этот знак,
Безумной юности залог,
Чтоб знал он: я ушел во мрак.
Хоть он, как я, душою строг.
А все ж — пусть опозорен я —

Близка ему судьба моя.
Он — странно! — мне мой путь предрек;
Смеялся я (тогда я мог
Смеяться), а из уст его
Мне говорило божество!
Теперь я вспомнил те слова,
Что слух затронули едва.
Скажи ему, что был он прав,
Что все исполнилось, — и он
Тем горько будет поражен.
Хоть я средь горестных забав
Забыл про золотые дни,
Скажи, что в гробовой тени,
Уже невнятным языком,
Я помолился бы о нем;
Но Небо гневом бы сожгло,
Стань о беззломном плакать Зло!
Я друга не прошу щадить
Мой прах: он добр, чтоб осудить;
И что мне в имени моем?
Я не прошу его о том,
Чтобы не плакал он тайком:
Такая просьба оскорбит, —
Не друга ль друг слезой почтит?
Ему кольцо его верни,
Сказав, кем был я в эти дни:
Руина телом и душой,
Обломок страсти отжитой,
Пергамент сморщенный, листок,
Что ветер горя поволок!

.....

О мой отец, то не был бред,
Игра воображенья, нет!
Ведь нужен сон для сонных грез,
А я не спал, я жаждал слез;
Их не было: как бы кинжал
Мой мозг пылающий разъял,
Как и теперь. Хотя бы одной
Я был обрадован слезой!
Их нет. Отчаянье сильней
Всей воли яростной моей.
Не трать святых молитв: не им
С проклятьем совладать моим;
Врата спасенья мне открой,
Не рай мне нужен, а покой...
И вот я увидел Лейла!
Да, мой отец, она жила,
Светясь под белой пеленой,
Подобная звезде ночной,
Там, в облачке... но рядом с ней
Казалась ярче и ясней...
Звезда — едва горит она,
А завтра ночь — вдвойне темна,
Но я не встречу со звездой:
Кто я? — лишь ужас гробовой...
Я брежу; то душа моя

Спешит за грани бытия...
Я увидел Лейла, монах!
Забыл о всех былых скорбях!
Вскочил — ее схватить, обнять,
К больной груди моей прижать!
И обнял — что же обнял я?
Коснулась тени грудь моя;
Не билось сердце мне в ответ...
Лейла! То ты была иль нет?
Ты, но иная: дразнишь; вдруг
Представь глазам, бежишь от рук!
Но пусть ты холоднее льда,
Что в том? Я ждал тебя года,
Иди ж в объятья — навсегда!
Увы! Мне призрак не обнять,
Мне только руки простирать!
Но здесь она! Здесь, близ меня,
Рукой молящею маня...
Вот черный взор, вот кос волна...
Все ложь! Не умерла она!..
А он — он умер! Я видал,
Его зарыли возле скал,
Где он погиб... Из-под плиты
Ему не выйти... Как же ты
Пришла сюда? Сказали мне,
Что ты исчезла в глубине
Холодных вод!.. О гнусный бред!
Его не повторю я, нет!
Но если ты из волн пришла
Покой в земле искать, Лейла, —
Коснись измученной груди
Рукою влажной, охлади
Мне лоб... Но — сон ты или явь —
Меня, молю я, не оставь,
Не покидай или с собой
Умчи туда мой дух больной,
Где спят и ветер и прибой!

.....

Вот, исповедник, мой рассказ,
Все муки сердца, всю грозу
Тебе я вверил в смертный час...
Тебя за кроткую слезу
Бесслезный взор благодарит...
Пускай вне кладбища зарыт
Мой будет прах; не надс плит
И надписей; в траве, забыт,
Пускай лишь крест над ним стоит, —
И мимо путник поспешит...»

Он умер... Кто, откуда он —
Монах в те тайны посвящен,
Но должен их таить от нас...
И лишь отрывочный рассказ
О той, о том нам память сохранил,
Кого любил он и кого убил.

БОРСАР

Повесть

I suoi pensieri in lui dormir non ponno.
Tasso «Gerusalemme. Liberata», canto X.

Ego тревоги в нем уснуть не могут.
Tasso. «Освобожденный Иерусалим», песнь X.

ТОМАСУ МУРУ, ЭСКВАЙРУ

Дорогой Мур, посвящаю вам это произведение, последнее, которым я обремению терпение публики и вашу снисходительность, замолкая на несколько лет. Поверьте, что я с восторгом пользуюсь случаем украсить мои страницы именем, столь прославленным как твердостью политических принципов его носителя, так и общепризнанными многообразными талантами его. Поскольку Ирландия числит вас в рядах испытаннейших своих патриотов и чтит вас, бесспорно, первым из своих бардов, а Британия повторяет и подтверждает эту оценку, позволяйте тому, кто считает потерянными годы, предшествовавшие знакомству с вами, присоединить скромное, но искреннее свидетельство дружбы к голосу нескольких народов. Это по крайней мере докажет вам, что я не забыл радости общения с вами и не отказался от надежды возобновить его, когда ваш досуг и ваше желание побудят вас вознаградить друзей за слишком долгую разлуку с вами. Ваши друзья говорят, — и я уверен в этом, — что вы заняты созданием поэмы, действие которой происходит на Востоке; никто не мог бы сделать это лучше вас. Там вы должны найти несчастья вашей родины, пламенное и пышное изображение ее сынов, красоту и чувствительность ее дочерей; когда Коллинз дал своим ирландским эклогам название «восточных», он сам не знал, насколько верно было, хотя бы отчасти, его сопоставление. Ваша фантазия создает более горячее солнце, менее мглистое небо; но вы обладаете непосредственностью, нежностью и свособразием, оправдывающими ваши притязания на восточное происхождение, которое вы один доказываете убедительнее, чем все археологи вашей страны.

Нельзя ли прибавить мне несколько слов о предмете, о котором, как принято всеми думать, говорят

обычно пространно и скучно, — о себе? Я много писал и вполне достаточно печатал, чтобы оправдать и более долгое молчание, чем то, которое предстоит мне; во всяком случае я намерен в течение нескольких ближайших лет не испытывать терпения «богов, людей, столбцов журнальных». Для настоящего произведения я избрал не самый трудный, но, быть может, самый свойственный нашему языку стихотворный размер — наше прекрасное старое, ныне находящееся в пренебрежении, героическое двустешие. Спенсера строфа, возможно, слишком медлительна и торжественна для повествования, хотя, должен признаться, она наиболее приятна моему слуху. Скотт — единственный в нашем поколении, кто смог полностью восторжествовать над роковою легкостью восьмисложного стиха, и это далеко не маловажная победа его плодовитого и мощного дарования. В области белого стиха Милтон, Томсон и наши драматурги сверкают, как маяки над пучиной, но и убеждают нас в существовании бесплодных и опасных скал, на которых они воздвигнуты. Героическое двустешие, конечно, не очень популярная строфа; но так как я никогда не избирал тех или других размеров, чтобы угодить вкусам читателя, то и теперь вправе отказаться от любого из них без всяких излишних объяснений и еще раз сделать опыт со стихом, которым я до сих пор не написал ничего, кроме произведений, о напечатании которых я не перестаю и не перестану сожалеть.

Что касается самой этой повести и моих повестей вообще, — я был бы рад, если б мог изобразить моих героев более совершенными и привлекательными, потому что критика высказывалась преимущественно об их характерах и делала меня ответственным за их деяния и свойства, как будто последние были

моими личными. Что ж — пусть: если я впал в мрачное тщеславие и стал «изображать себя», то изображение, повидимому, верно, поскольку непривлекательно; если же нет — пускай знающие меня судят о сродстве; а не знающих я не считаю нужным разубеждать. У меня нет особенного желания, чтобы кто-либо, за исключением моих знакомых, считал автора лучше созданий его фантазии. Но все же, должен признаться, меня слегка удивило и даже позабавило весьма странное отношение ко мне критики, поскольку я вижу, что многие поэты (бесспорно, более достойные, чем я) пользуются прекрасной репутацией и никем не заподозрены в близости к ошибкам их героев, которые часто ничуть не более нравственны, чем мой Гяур, или же... но нет: я должен признаться, что Чайльд-Гарольд — в высшей степени отталкивающая лич-

ность; что же касается его прототипа, пусть, кто хочет, забавляется подыскиванием для него любого лица.

Если бы тем не менее был смысл произвести хорошее впечатление, то огромную услугу оказал бы мне тот человек, который приводит в восхищение как своих читателей, так и своих друзей, тот поэт, кто признан всеми кружками и является кумиром своего, — если бы он позволил мне здесь и всюду подписаться

его вернейшим,

признательным

и покорным слугою, —

Байроном.

2 января 1814

Песнь первая

*...nessun maggior dolore,
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria...*

Данте.

*...нет большей скорби,
Чем вспоминать о времени счастливым
Среди несчастий...*

Данте.

I

«Наш вольный дух вьет вольный свой полет
Над радостною ширью синих вод:
Везде, где ветры пенный вал ведут, —
Владенья наши, дом наш и приют.
Вот наше царство, нет ему границ;
Наш флаг — наш скипетр — всех склоняет ниц.
Досуг и труд, сменяясь в буйстве дней,
Нас одаряют радостью своей.
О, кто поймет? Не раб ли жалких нег,
Кто весь дрожит, волны завидя бег?
Не паразит ли, чей развратный дух
Покоем сыт и к зову счастья глух?
Кто, кроме смелых, чья душа поет
И сердце пляшет над простором вод,
Поймет восторг и пьяный пульс бродяг,
Что без дорог несут в морях свой флаг?
То чувство ищет схватки и борьбы:
Нам — упоенье, где дрожат рабы;
Нам любо там, где трус, полуживой,
Теряет ум, и чудной полнотою

Тогда живут в нас тело и душа,
Надеждою и мужеством дыша.
Что смерть? покой, хоть глубже сон и мрак,
Она ль страшна, коль рядом гибнет враг?
Готовы к ней, жизнь жизни мы берем,
А смерть одна — в болезни ль, под мечом;
Пусть ползают привыкшие страдать,
Из года в год цепляясь за кровать;
Полумертва, пусть никнет голова;
Наш смертный одр — зеленая трава;
За вздохом вздох пусть гаснет жизнь у них;
У нас — удар, и нету мук земных;
Пусть гордость мертвых — роскошь урн и плит,
Пусть клеветник надгробья золотит,
А нас почитит слезою дружный стан,
Наш саван — волны, гроб наш — океан;
И на попойке память воздана
Нам будет кружкой красного вина;
Друзья, победой кончив абордаж,
Доля добычу, вспомнят облик наш
И скажут, с тенью хмурою у глаз:
«Как бы убитый ликовал сейчас!»

II

Так на Пиратском острове, средь скал,
Когда костер бивачный полыхал,
Гремела речь о доле удальца,
Ложась как песня в грубые сердца!
Рассыпавшись по золоту песка,
Кто пел, кто пил, кто кровь счищал с клинка,
Достав из общей груды свой кинжал,
И, видя кровь, никто не задрожал.
Те руль строгали, те чинили бот;
Иной бродил задумчиво у вод;
Иные птицам ставили силки
Иль мокрый невод стлали на припек;
Кто с алчным взором на море глядел,
Где, показалось, парус забелел;
Те — о былых вели победах речь
Или гадали в жажде новых встреч;
Но что гадать? Всё — дело вожака,
Всё им укажет властная рука.
Но кто вожак? прославленный пират, —
О нем везде со страхом говорят.
Он чужд им, он повелевать привык;
Речь коротка, но грозен взор и лик;
И на пирах его не слышен смех,
Но всё ему прощают за успех;
Вином он кубок не наполнит свой
И не разделит чаши круговой;
Его еда — кто всех грубей, и тот
Ее с негодованьем оттолкнет:
Лишь черный хлеб, да горстка овощей,
Да изредка — дар солнечных лучей —
Плоды, вот весь его убогий стол,
Что и монах бы за беду почел.
Но, от усад животных далека,
Суровостью душа его крепка:
«Правь к берегу». — Готово. — «Сделай так». —
Есть. — «Все за мной». — И разом сломлен враг.
Вот быстрота и слов его и дел;
Покорны все, а кто спросить посмел —
Два слова и презренья полный взгляд
Отважного надолго усмират.

III

«Корабль! Корабль!» Надежды светлый знак.
В трубу глядят — откуда он? Чей флаг?
Нет, не добыча! Все ж ему привет:
То наш корабль; гляди: на мачту вздет
Кровавый флаг. Дуй крепче, аквилон,
И до заката бросит якорь он.
Обогнут мыс; он входит в наш залив,
Надменный штевень в пену волн вонзив.
Как гордо взмыли крылья парусов,
Вовек не знавших бегства от врагов;

Он по волнам несется как живой
И все стихии звать готов на бой.
Кто б не презрел свист пуль и штормов бег,
Чтоб капитаном встать на людный дек?

IV

Бежит по борту якорный канат,
И паруса уже вдоль рей лежат;
Легко качается корабль. Народ
Глядит, как опустили быстрый бот,
Сошли в него; всяк на весло налег,
Гребут, и киль врезается в песок;
Приветный крик, и вот на берегу
Рукопожатья в дружеском кругу,
Распрессы, смех и шутки без конца —
И скорый пир уже манит сердца!

V

Толпа растет: весть облетела всех:
Но в оживленный говор, грубый смех
Тревогой нежной женский голос вдруг
Врывается: «Где муж? любимый? друг?
Кто жив, кто мертв? Успех у нас всегда,
Но с милыми мы встретимся когда?
Мы знаем — в бурях, средь опасных дел
Все были храбры, — кто же уцелел?
Пусть поспешат, чтоб успокоить нас
И поцелуем скорбь изгнать из глаз!»

VI

«Где атаман? Мы с рапортом к нему, —
И встрече нашей, видно по всему,
Недолгой быть, как вы ни рады нам.
Веди, Жуан, к начальнику, а там,
Покончив, мы попойку заведем
И вам расскажем все и обо всем».
Ползут пираты по уступам скал,
На мыс, где стан дозорной башни встал;
Там заросли, там дикие цветы,
Там свежий ключ, спадая с высоты
Серебряной струею на гранит,
Встречает жизнь и путников поит.
Они ползут... Кто близ пещеры той
Стоит, один, глядя в простор пустой,
Склонясь на меч, задумчив и далек?
Как посох пастуха, всегда клинок
В его руке... «То Конрад! Как всегда —
Один. Жуан, скажи, что мы сюда
Пришли. Он видел бриг. Скажи, что есть
У нас безотлагательная весть.
Самим нам страшно, — знаешь, как он лют,
Когда внезапно мысль его спугнут».

VII

Жуан пошел и доложил. Вожак
Все выслушал и властный сделал знак
Приблизиться. Идут. На их привет
Ни слова и сухой кивок в ответ.
«Вам, атаман, письмо: наводчик тот,
Грек, о добыче весть нам подает
Иль об угрозе. Все же мы должны
Еще...» — «Молчать», — прервал он. Смущены,
Попятившись, они стоят; потом
Догадками меняются тайком
И робко ловят атаманский взгляд,
Где прочитать решение хотят.
Но атаман лицо отводит вбок —
Укрыть игру волнений и тревог.
Прочел письмо. «Бумаги дай, Жуан.
Гонзальво где?» —

«На бриге, атаман». —
«Пускай не сходит; вот — снесешь приказ.
Все по местам! Готовьтесь в путь сейчас.
Сам в эту ночь веду я в битву вас». —
«Сегодня?» —

«Да. Пусть солнце лишь зайдет:
С закатом ветер крепче дуть начнет.
Плащ и кольчугу! Через час — вперед.
Рог не забудь. Пусть вычистят мою
Пистоль, чтобы не выдала в бою:
Там ржавчина скопилась на курке;
Пусть кортик абордажный по руке
Приладят мне: эфес там слишком мал,
Сильней, чем враг, меня он утомлял;
Пусть пушечным сигналом в должный срок
Оповестят, что сборов час истек».

VIII

Безропотно они спешат, опять
Морскую ширь готовы рассекать.
Покорны все: сам Конрад их велет.
И кто судить его приказ дерзнет?
Загадочен и вечно одинок,
Казалось, улыбаться он не мог;
При имени его у храбреца
Бледнели краски смуглого лица;
Он знал *искусство власти*, что толпой
Всегда владеет, робкой и слепой.
Постиг он приказаний волшебство,
И, с завистью, все слушают его.
Что верно спаяло их, — реши!
Величье Мысли, магия Души!
Затем успех, которым он умел
Всех ослепить, и обаянье дел
Отчаянных, что слабым он сердцам
Тайком внушал, стяжая славу сам.
Всегда так было, будет так всегда:

Лишь одному плод общего труда!
Закон природы! Но пускай илот
Простит тому, кому достался плод:
О, знай он гнет блистательных цепей,
Он с долей примирился бы своей!

IX

Несхож с героем древности, кто мог
Быть зол, как демон, но красив, как бог, —
Нас Конрад бы собой не поразил,
Хоть огненный в ресницах взор таил.
Не Геркулес, но на диво сложен,
Не выделялся крупным ростом он;
Но глаз того, кто лица изучил,
Его в толпе мгновенно б отличил:
Глядящего он удивлял, — но что
Таилось в нем, сказать не мог никто.
Он загорел, но тем бледней чело,
Что в черноту густых кудрей ушло;
Порой, непроизвольно дрогнув, рот
Изобличал тайных дум полет,
Но ровный голос и бесстрастный вид
Скрывают всё, что он в себе хранит.
Кто б мог без страха на него смотреть?
Его лицо морщин покрыла сеть,
Как будто он таил в душе своей
Горение неведомых страстей.
Да, это так! Единой вспышкой глаз
Он любопытство пресекал тотчас:
Едва ли кто, коль глянет он в упор,
Мог вынести его пылливый взор.
Заметив, что за ним следят, стремясь
Понять лица и тайн душевных связь,
Он так на любопытного глядел,
Что тот бледнел и глаз поднять не смел.
И что бы выведать в нем удалось?
Он взором сам умел пронзять насквозь
С усмешкой дьявольскою на устах,
Чья ярость скрытая рождает страх;
Когда ж в нем гнев вздымался незначай,
Вздыхало Милосердие: «*Процуй!*»

X

Злых дум извне не ловит взор и слух:
Внутри, внутри змеится злобный дух!
Любовь — ясна, а Злобу, Зависть, Месть
Порой в усмешке можно лишь прочесть,
Дрожанье губ да бледности налет
На строгом лбу — вот все, что выдает
Глубины страсти. Но подметит их
Лишь тот, кто сам невидим для других.
Тогда — хруст пальцев, торопливый шаг,
Полуопущенные веки; знак

Безмолвного терзанья — робкий вздох,
Оглядка: не подкрался ль кто врасплох.
Тогда — душа в любой черте видна,
Кипенье чувств, поднявшихся со дна,
Чтоб не исчезнуть, — мука, жар, озноб,
Лицо в огне, в поту холодном лоб;
И каждый может увидеть, какой
Ужасный дан его душе покой!
Гляди, как жжет, вливая в сердце бред,
Воспоминанье ненавистных лет!
Нет, никому не увидеть вовек,
Чтоб сам раскрыл все тайны человек!

XI

Но не природа Конраду дала
Вести злодеев, быть орудьем зла;
Он изменился раньше, чем порок
С людьми и небом в бой его вовлек.
Он средь людей тягчайшую из школ —
Путь разочарования — прошел;
Для сделок горд и для уступок тверд,
Тем самым он пред ложью был простерт
И беззащитен. Проклял честность он,
А не бесчестных, кем был обольщен.
Не верил он, что лучше люди есть
И что отраднo им добро принесть.
Оттолкнут, оклеветан с юных дней,
Безумно ненавидел он людей.
Священный гнев звучал в нем как призыв
Отмстить немногим, миру отомстив.
Себя он мнил преступником, других —
Таковыми же, каким он был для них,
А лучших — лицемерами, чей грех
Трусливо ими спрятан ото всех.
Он знал их ненависть, но знал и то,
Что не дрожать пред ним не мог никто.
Его — хоть был он дик и одинок —
Ни сожалеть, ни презирать не мог
Никто. Страшило имя, странность дел;
Всяк трепетал, но пренебречь не смел:
Червя отбросит всякий, но навряд
Змеи коснется, затаившей яд.
Червь отползет: он повредить не мог;
Она ж издохнет, оплетаясь вокруг ног,
Но жало все ж она вонзит свое,
Несчастному не скрыться от нее!

XII

Нет злых вполне. И он в душе таил
Живого чувства уцелевший пыл;
Не раз язвил он страстные сердца
Влюбленного безумца иль юнца,
Теперь же сам свою смирял он кровь,
Где (даже в нем!) жила не страсть — любовь.

Да, то была любовь, и отдана
Была одной, всегда одной она.
Прекрасных пленниц он видал порой,
Но проходил холодный и чужой;
Красавиц много плакало в плену, —
Он не увлек в покой свой ни одну.
Да, то была любовь, всегда нежна,
Тверда в соблазнах, в горестях верна,
Все та ж в разлуке и под вихрем бед
И — о, венец! — нетленна в смене лет.
Что крах надежд ему, что боль обид,
Когда она с улыбкою глядит?
Стихал мгновенно ярый гнев при ней,
И стон смолкал, — пусть раны жгли сильнеей.
Ждал жадно встреч он, твердо ждал разлук,
Стараясь лишь не уделить ей мук.
Та страсть была все та ж, всегда и вновь,
И если есть любовь — то вот любовь.

XIII

Он был преступен — мы его клеймим! —
Но чистой был любовью он палим;
Ее одну, последний дар, не мог
В душе холодной заглушить порок!..
Он подождал, пока за поворот
Последний из пиратов не уйдет.
«Вот странно... Мне опасность не страшна,
Что ж кажется *последнею* она?
Нет, прочь предчувствия! Не мне вдохнуть
В моих людей смущение и жуть!
Итти навстречу? Да... ведь смертный час
Иначе здесь, в ловушке, встретит нас.
План есть; лишь брось фортуна добрый взор —
Оплачут погребальный ваш костер!
Спи, враг! Прекрасных снов! Тебя заря
Будила ли, таким огнем горя,
Как ночь борьбы (лишь ветер мчись быстрее!),
Что вдохновляет мстителей морей?
Теперь к Медоре. Камень лег на грудь;
Когда б она могла легко вздохнуть!..
Ведь я был храбр. Но храбры все порой:
Пчела, и та за улей мстит родной;
И мы и зверь отвагою полны,
Когда отчаяньем принуждены, —
Заслуга ль в ней? Моя ж мечта была,
Чтоб горсть бойцов — всех пред собой гнала.
Не ради крови мною предводим
Отряд мой, — мы умрем иль победим!
Меня страшит не смерть моя, а то,
Что не вернется, может быть, никто:
Я к смерти равнодушен с давних пор,
Но очутиться в западне — позор!
Моя ль то хитрость, мой ли верный путь —
Последней ставкой власть и жизнь метнуть?
О рок!.. Вيني порыв свой, а не рок:
Он, может быть, поможет в должный срок!»

Так думал он, пока не достиг
Старинной башни, увенчавшей пик.
В тени портала он замедлил вдруг,
Заслышав нежный, вечно сладкий звук;
Сквозь жалюзи высокого окна
Прекрасной птицы песнь была слышна:

«В моей душе, куда ни глянет свет,
Я тайну нежную храню давно.
Лишь редко сердце, твоему в ответ,
Забьется — и опять молчит оно.

Там, в глубине, лампы гробовой
Горит огонь, незрим, бессмертен, жгуч;
Отчаянье над ним стусуилось тьмой,
Но все он светит — бесполезный луч.

О, вспомни обо мне, о, не забудь
Мой бедный гроб, мой прах не обходи!
Одну лишь боль моя не стерпит грудь —
Узнать, что нет меня в твоей груди.

Скорбеть о мертвых и бойцу не стыд;
И я надежду робкую таю,
Что вдруг ко мне слеза твоя слетит —
Единый дар за всю любовь мою!»

Он в комнату прошел вдоль галлерей,
Когда уже умолкла песня в ней.
«Медора! Что за песню ты нашла?» —
«Без Конрада и я невесела.
Тебя все нет, мне не с кем говорить,
И надо в песне душу мне излить.
Пусть в звуках нежность прозвучит моя,
Ведь сердце то ж, хоть все безмолвна я.
О, сколько раз, в ночи, во тьме, одной,
Мне чудилось, что бури слышен вой;
В том бризе, что ласкает паруса,
Мне урагана мнились голоса;
Он погребальной жалобой звучал,
Когда твой бриг — я знала — пенил вал.
Бежала я маяк разжечь скорей,
Погасший у небрежных сторожей;
Спать не могла я, и вставал рассвет,
И гасли звезды — а тебя все нет.
О, как меня под ветром бил озноб,
И взору день был темен, точно гроб;
Глядишь-глядишь, а бриг, как ни зови,
Все не летит на стон моей любви.
Жду; полдень; наконец — вдали бушприт!
О счастье! Но, увы, он прочь скользит.
Вот новый! Боже! Дождалась я — твой!
Когда ж конец тревогам?.. Конрад мой,
Ужель совсем тебе не мил покой?
Ты так богат; ужель мы не найдем
В краю, прекрасней этого, свой дом?»

Ты знаешь, мне не страшен целый свет,
Но я дрожу, когда тебя здесь нет,
За жизньнюю дрожю — не за мою — твою,
Что ласк бежит и жаждет быть в бою.
Как странно: сердце, нежное со мной,
Идет на мир и на себя — войной!»

«Да, странно. Но, растоптано давно,
Как жалкий червь, мстит, как змея, оно!
К нему не снидет благодать неба вновь,
В нем нет надежд, одна твоя любовь.
А твой упрек... знай, я вдвойне палим:
Любовь к тебе есть ненависть к другим.
Связь эту разорви, и, полюбя
Других людей, — я разлюблю тебя.
Но не страшись. Былос — вот залог,
Что и в грядущем ты мой светлый рок.
Теперь же, о Медора, твердой будь:
Сейчас пора мне — ненадолго — в путь».

«В путь! Сердце точно чуяло во сне,
Что вновь солжет мечта о счастье мне!
Сейчас? Но как же? Ведь едва ли миг,
Как подошел и кинул якорь бриг;
Второго нет еще, и отдохнуть
Им надо, прежде чем пуститься в путь.
Нет, шутишь ты; иль хочешь укрепить
Мой дух заране, порешив отплыть?
Не мучь меня. Пойми: в игре такой
Отчаянье родится, не покой.
Молчи, любимый! Поспеси со мной
За скудный стол, что с радостью живой
Сбирала я, чтоб быть тебе слугой.
Гляди, что за плоды я собрала!
Ища, перебирая все, рвала
Я лучшие. За ледяным ключом
Я трижды гору обошла кругом.
Да, ночью свежим будет твой шербет:
Как блещет он в сосуде, в снег одет!
Сок пьяных лоз тебя не веселит,
К вину суровой ты, чем исламит;
Я — рада, хоть воздержанность твою
Все принимают за эпитимью.
Идем; фонарь серебряный зажжен,
Сирокко злого не боится он;
Идем; тебя моих служанок рой
Потешит пляской, песней иль игрой,
Иль я сама, гитару взяв мою,
Любимой песней душу напою,
Иль Ариосто мы рассказ вдвоем
О брошенной Олимпии прочтем.
А ты бы хуже был, уйдя теперь,
Чем тот, забывший клятву, злобный зверь,
Изменник... Твой блеснул улыбкой взор,
Когда я сквозь безоблачный простор
Брег Ариадны показала с гор,
Когда шутила, с болью пополам,

Что воплотиться горестным мечтам,
Что так же море Конрад предпочтет...
И Конрад обманул: он — здесь, он — вот!»

«Да, здесь я, здесь и буду здесь опять,
Пока надеждам суждено сиять
И жизни цвести. Но мигот быстрый лёт,
Неудержим, разлуку нам несет.
Что толковать, в какой плыву я край?
Всему конец в мучительном «прощай».
Я все б открыл, но некогда. Итак —
Не бойся: ждет нас неопасный враг,
А здесь на страже опытный отряд,
Что не боится никаких осад;
И без меня ты будешь не одна,
Толпою жен и дев окружена;
И помни, что опять нам быть с тобой,
Нас безопасный, сладкий ждет покой.
Чу! Рог! Жуан зовет. Пора итти.
Дай губы. И еще! Еще! Прости!»

Взвилась, метнулась вновь к нему на грудь,
Что тяжко силится передохнуть,—
И он не смеет ей взглянуть в глаза,
Где спряталась бесслезная гроза;
В его руках прекрасных кос волна
Плеснула, дикой прелести полна;
Любовью переполнено сверх сил,
Чуть билось сердце то, где он царил!
О! выстрел пушки грянул в небосклон:
Закат; и солнце проклинаят он.
Безумно стан он обнял дорогой;
Вновь льнет она с безмольною мольбой!
Ее на ложе снес он, жарких глаз
Не отводя, как бы в последний раз;
Он знал: в ней все, что в мире он обрел.
Устами жаркими коснулся лба.— Ушел?

XV

«Ушел?» — как часто страшный тот вопрос
Тут прозвучит средь одиноких слез!
«Лишь миг назад здесь был он!..» На утес
Она спешит через портал и там
Дает свободу хлынувшим слезам.
Течет струя их, так светла, чиста,
Но не хотят сказать «прощай» уста:
Как мы ни верим, ни хотим, ни ждем —
Отчаянье в том слове роковом.
На все черты прозрачного лица
Легла печаль; не будет ей конца;
Заледенел лазурный кроткий взор
И неподвижно устремлен в простор —
Вдруг вдалеке встает как призрак он,
И меркнет взор, слезами затемнен.
Из-за ресниц они плывут росой —
И так им часто льется в час ночной.

«Ушел!» — и к сердцу руки поднесла,
Потом их к небу кротко подняла;
Взглянула: пену океан клубил
И парус мчал; глядеть не стало сил;
Через портал пошла назад она:
«Нет, то не сон; я брошена одна!»

XVI

Поспешно вдоль утесистых громад
Шел Конрад вниз, не поглядев назад:
Боялся, огибая поворот,
Увидеть он с тропы, что вниз ведет,
Тот одинокий, живописный дом,
Что слал привет ему в пути морском,
А в нем — она, печальная звезда,
Чей нежный свет ему сиял всегда;
Нельзя глядеть, да и мечтать нельзя:
Покой манит, но — гибелью грозя.
Все ж замер он на миг, желанья полн
Не жертвовать покоем ради волн.
Но нет — нельзя! Пусть льется слезный
дождь —
Сдержав волненье, не отступит вождь!
Он слышит бриз попутный, видит бриг;
Все силы духа он собрал в тот миг,
Ускорив шаг. Когда ж его ушей
Коснулся шум погрузки, скрип снастей,
Все звуки суеты береговой,
Слова команды, весел плеск живой;
Когда на мачту юнга влез пред ним,
И вздулся парус выгибом тугим,
И каждый с побережья замахал
Платками тем, кто будут пенить вал,
И взмыл кровавый флаг, — как холодно он
Был слабостью недавней удивлен!
С огнем в глазах и с сердцем ледяным,
Он чувствует, что стал собой самим;
Летит он, мчится — и замедлить смог
Лишь там, где скалы сходят на песок,
Безумный шаг; но не затем, чтоб грудь
Могла вольней прохладный бриз вдохнуть,
А чтоб вернуть медлительную статью
И пред толпой смятенным не предстать:
Он знал искусство покорять сердца
Надменной маской холодного лица;
Он сух и замкнут — и нескромный взгляд
Его черты отводят иль страшат:
Его движенья, непреклонный взор
Всегда учтивы, но таят отпор;
И всякий знал: не слушаться нельзя.
Когда ж хотел он чаровать, — скользко
В сердца людей той музыкаю слов,
Что шла от сердца, — всякий был готов
Ему внимать, бессилен и смущен,
Дарами доброты обворужен.

Но к этому он редко снисходил:
Он не пленять — повелевать любил.
Дурным страстям предавшись, с юных дней
Ценил он страх, а не любовь людей.

XVII

Его конвой уже стоит в рядах,
С Жуаном во главе. «Все на местах?» —
«Все; погрузились; лишь один баркас
Ждет атамана».—

«Плащ и меч». — «Тотчас».

И в перевязь он продевает меч,
Скрепив ее, и плащ струится с плеч.
«Позвать мне Педро». Тот пришел. Быстрой,
С учтивостью, хранимой для друзей,
Раскланялся с ним Конрад. «Вот листок,
Где несколько доверья полных строк;
Прочти. Удвой охрану. Как придет
Ансельмо в гавань, пусть и он прочтет.
Три дня (при ветре) — и закончим путь,
Здесь жди нас на заре; спокоен будь!»
Пожав пирату руку, он идет
И горделиво прыгает в вельбот;
Плеснули весла, рывок окружены
Мерцаньем фосфорящейся волны;
Достигли судна; он взшел на ют;
Свисток залился: все к снастям бегут;
Он видит, как послушен бриг; он прыть

Своих людей снисходит похвалить.
На юного Гонзальво он глядит —
Но что он вздрогнул? Что печален вид?
Увы! Он видит замок над хребтом,
И снова ожил миг разлуки в нем:
А видно ли Медоре судно их?
Ее вдвойне любил он в этот миг!
Но до утра ему немало дел,
Сдержался он и больше не глядел,
Сошел в каюту и с Гонзальво там
Дал волю планам, замыслам, мечтам;
Приборы взял, опору моряка,
И карту развернул у ночника;
До полночи они беседу длят,
Но на часы не смотрит зоркий взгляд.
Меж тем свежеет ветер, и вперед
Корабль, как сокол, свой стремится полет.
Скользят хребты вдоль пенной полосы,
Земля близка, и дороги часы;
И вдруг в трубу замечен узкий вход
В залив, где скрыт Паши галерный флот;
Все сочтено; огней дозорных стан
Чуть светит у беспечных мусульман.
Бриг проскользнул, невидим вдалеке,
И стал в засаде, как бы в тайнике,
Среди крутых и прихотливых скал,
Чей резкий очерк небо пронизал.
Без сна все, за работу: близко цель;
Все рвутся в бой — на суше, на воде ль.
Склонясь над зыбью, атаман их вновь
Спокойно речь ведет, и речь — про кровь!

Песнь вторая

Conosceste i dubiosi desiri?

Dante.

Вам двойственные ведомы желанья?

Данте.

I

В порту Корони шхун проворных рой;
В домах огни за ставнею резной:
Сеид-паша устроил пир ночной.
Ведь он в цепях пиратов привезет —
И празднует победу наперед;
Султанскому фирману верный, в чем
Поклялся он Аллахом и мечом,
Весь флот, все войско он готовит в бой;
Бахвалются бойцы наперебой,
Считают пленных, делят горы благ,
Хотя еще не побежден их враг.
Лишь в путь, а завтра (каждый убежден)
Пиратов — в цепи, в пламя — их притон!
Пока ж дозор пусть дремлет, коль готов

И наяву, как в грезах, бить врагов.
Кто мог, тот на побережье поспешил
Воинственный излить на греков пыл:
Пристало чалмоносным храбрецам
Грозить блестящей саблею рабам!
Врываются в дома — но без резни,
И потому столь благостны они,
Что все разрешено им в эти дни!
Лишь иногда обрушится удар —
Для практики: бой завтра будет яр.
Всю ночь гульба; кто жизнью дорожит,
Обязан тот хранить веселый вид
И потчевать непрощенных гостей,
Проклятия тая до лучших дней.

II

Повит чалмой, высоко сел Сеид;
Толпа вождей вокруг него сидит.
Плов съеден, и посуда убрана;
Сеид велел себе подать вина,
Хоть на вино у мусульман запрет;
Гостям подносят ягодный шербет;
Дым чубуков клубится меж гостей;
Под дикий бубен пляшет рой алмей;
Вожди лишь утром сядут на суда:
Во мраке ведь коварнее вода,
А после пира сладостней покой
Здесь, на шелках, чем там — над глубиной.
Пируем же, пока не пробил час,
А там коран помчит к победе нас!
Но все ж те орды, что собрал паша,
Опорой мнит хвастливая душа.

III

Робея, в зал тревожно раб идет,
Что сторожить обязан у ворот;
Склонясь, земли коснулся он на миг
И лишь тогда смел развязать язык.
«К нам от пиратов убежал дервиш;
Он хочет все тебе открыть. Велишь?»
Паша взглянул; согласье раб прочел
И молча беглеца святого ввел.
Темнозеленый запахнув халат,
Тот еле шел, уставя скорбный взгляд;
Постом он — не годами — изнурен,
От голода — не страха — бледен он.
Под острой шапкой черная волна
Его кудрей — Алле посвящена;
Широкая одежда облекла
Грудь, что лишь горьких радостей ждала;
Смирен, но тверд, спокойно он взирал
На возбужденный любопытством зал,
Что замер весь, предугадать спеша
Все, что позволит рассказать паша.

IV

«Откуда ты?» —

«Взял в плен меня пират,
Но я бежал». —

«Когда и где ты взят?» —

«От Скалановы плыл в Хиос саик;
Но отвратил от нас Алла свой лик:
Груз, что турецких ожидал купцов,
Разбойник отнял, дав нам — гнет оков.
Я смерти не боялся: я богат
Был только тем, что путь свой наугад
Мог направлять, куда хочу... челнок

Свободу эту мне вернуть помог.
Я выбрал ночь, бежал — и вот я здесь,
А близ тебя мне мир не страшен весь!»

«Ну, как злодеи? Сильно ль укреплен,
С награбленным богатством, их притон?
Известно ль им, что мы пришли сюда
С огнем для скорпионьего гнезда?»

«Паша! Ведь пленник рвется к одному:
К свободе. Как шпионом быть ему?
Я слышал лишь привольных волн прибой,
Что не хотел умчать меня с собой.
Я видел лишь лазурный небосклон,
Был слишком синь и слишком ясен он
Рабу. Я знал, что надо цепь разбить,
Чтоб ветром воли слезы осушить.
По бегству моему ты сам суди,
Ждут ли беды пираты впереди.
Я, сколь ни плачь, не мог бы убежать,
Когда б они умели охранять.
Страж, не выдавший, как их раб бежит,
И приближенье войск твоих prospит...
Без сил я; хлеб и отдых мне нужны:
Был долгим пост, свирепым гнев волны;
Позволь уйти мне. Мир тебе и всем.
Даруй покой мне, отпусти совсем».

«Стой, я еще спросить хочу, дервиш.
Сказал я! Сядь. Ты слышишь? Что стоишь?
Я должен знать... Тебе поесть дадут:
Насытишься, коль мы пируем тут.
Когда поешь, мне ясный дашь ответ,
Но помни: тайн передо мною нет!»

Но что дервиш волненьем обуян?
Так зло на шумный он взглянул Диван:
Он не спешит поесть, он все стоит
И, мрачный, на соседей не глядит;
Тень омрачила исхудалый лик
Зловещая, исчезнув в тот же миг.
Но молча сел он, как ему велят,
И снова стал его спокоен взгляд.
Внесли еду — не прикоснулся он,
Как будто плов был ядом напоен,
И странно это было для того,
Кто столько суток был лишен всего.

«Ешь! Что с тобой? Иль трапеза моя —
Цир христиан? Иль рядом — не друзья?
Ты соль отверг — священный тот залог,
Что притупляет сабельный клинок,
Что племена умеет примирять,
Что укрошает вражескую рать!»

«Ведь соль — для вкуса: есть же клялся я
Одни коренья, пить — лишь из ручья:
У дервишей есть правило притом —
Хлеб не делить ни с другом, ни с врагом;

Пусть это странно — но обычай тот
Опасности меня лишь предает;
Ни ты, ни сам султан меня вовек
Не склонят есть, коль рядом человек:
Забить устав — пророка обмануть,
И, гневный, в Мекку заградит он путь».

«Пусть будет так, коль ты аскет такой.
Один вопрос, и после — мир с тобой.
Их много?.. Что?! Уже заря встает?
Комета? Солнце над простором вод?
Там море пламени! Вперед! Вперед!
Предательство! Где стража? Меч мой? Весь
Пылает флот, а я далёко! здесь!
Дервиш проклятый! Вот ты кто! Средь нас
Лазутчик гнусный! Смерть ему! Тотчас!»

Дервиш вскочил, весь в зареве, и сам,
Преобразясь, внушает страх сердцам.
Дервиш вскочил — где мир в его лице?
Он — воин на арабском жеребце:
Сорвав колпак, халат он сбросил с плеч,
Блеснули латы на груди и меч!
С плюмажем вороненый шлем блистал,
Но взор горел мрачнее, чем металл!
Он был страшней, чем адский дух Африт,
Чей меч смертельный наповал разит.
Смятенье, крик: там — пламя в высоте,
Здесь — факелы в безумной суете,
Все спуталось, бегут вперед, назад,
Звон стали, вопли, ужас, дым и смрад,
И на земле как бы разверзся ад.
Рабы бегут — напрасно; слепнет взор,
В крови весь берег, и в огне простор.
Напрасно им кричит паша: «Вперед!
Взять сатану! От нас он не уйдет!»
Смятенье видя, Конрад гонит прочь
Нахлынувшую было в сердце ночь;
Он смерти ждал; пираты корабли,
Сигнала не дождавшись, подожгли!
Смятенье видя, он схватил свой рог
И кратко звук пронзительный извлек.
Звучит ответ: «Отряд мой недалек;
О храбрецы! Как мог подумать я,
Что не пойдут на выручку друзья!»
Он руку вздел — клинок сверкает в ней.
Он бьет, льет кровь, тревоге мстя своей.
Он ужас множит, лют, неукротим,
И все бегут постыдно пред одним.
Летят чалмы разрубленные прочь,
И из врагов никто мечом помочь
Себе не может. Потрясен Сеид,
Он пятится, хоть все еще грозит:
Хоть и не трус он, но удара ждет,
Столь возвеличен общим страхом *тот*.
Вдруг, вспомня флот пылающий Сеид
Рвет бороду и, свет кляня, бежит.

Ждать — смерть: гарем врагами окружен;
Пираты рвутся внутрь со всех сторон;
Там — бред: бросают сабли, стон и вой,
Все на коленях — тщетно! Кровь рекой!
Корсары мчатся в тот парадный зал,
Куда их рог сигнальный призывал,
Где слышат вопли и мольбы они —
Как знак удачно конченной резни.
Там их вожак: один, свиреп, глядел
Он сытым тигром среди кровавых тел.
Привет был краток, кратче был ответ:
«Неплохо, но паши среди мертвых зал,
Немало сделано, но больше — ждет;
Что ж город вы не подожгли, как флот?»

V

И факелы хватают все в ответ:
Дворец в огне, пылает минарет.
Восторгом злым взор Конрада зардел
И вдруг погас: до слуха долетел
Вопль женщины; как погребальный стон
Пронзил вождю стальное сердце он.
«В гарем! Но помнить: я убью тотчас
Того, кто женщин тронет! И у нас
Есть жены. Рок оплатит мстью им.
Мужчина — враг: жестоки будьте с ним;
Но женщины мы падали и шадим.
Как мог забыть я? Небо не простит,
Коль мой приказ им жизнь не охранит!
За мною все! Грех этот — время есть —
От наших душ успеем мы отвесь!»
По лестнице летит он, рвет замок,
Не чувствуя огня у самых ног;
Хоть там от дыма не передохнуть,
По всем покоям проложил он путь.
Бегут, нашли, спасают, сквозь костер
Несут красавиц, отвращая взор,
Их страх гася, даря заботы все,
Что надлежат беспомощной красе:
Так атаман умеет нрав смирять
И руки, в брызгах крови, укрощать!
Но кто ж она, кого он сам несет,
Когда уж рухнул обгорелый зал?
Она — любовь того, кому он мстит,
Гарема свет, раба твоя, Сеид!

VI

С Гюльнар он сдержан; кратко, второпях,
Ей говорит, чтоб позабыла страх.
Все ж прерванный тем благородством бои
Врагам дал время совладать с собой.
Погони нет: у всех яснее взор;
Сплотиться можно, можно дать отпор.

Паша глядит: впервые ловит взгляд,
Как малочислен Конрадов отряд;
Стыдится он ошибки: столько зла
Им паника внезапно принесла!
«Алла! Алла!» — крик бешенством звучит.
Мечь или смерть! Стал иступленьем стыд.
За пламя — пламя, кровь за кровь! Должна
Отхлынуть прочь прилившая волна!
Бой снова разразился, дик и яр;
Кто напал, должны принять удар.
Опасность понял Конрад: перед ним —
Друзья слабеют, враг неукротим
«Прорвать кольцо! Дружней!» С бойцом боец
Сомкнулись — бьются — дрогнули! Конец!
Кругом теснимы, без надежд — и все ж
Пираты рубятся и гибнут сплошь.
Уже раскидан их упорный строй!
Враг смял его и топчет под пятой!
Они уж в одиночку бьются так,
Что, падая, не уклоняют шаг
И опускают на врага сплеча
Предсмертный взмах усталого меча!

VII

Пока еще ряды свои сомкнуть
Враг не успел, чтоб драться с грудью грудь,
Гарем был во главе с Гюльнар укрыт,
По воле Конрада, от всех обид
В турецком доме; стонам и слезам
Уже умолкнуть можно было там.
Свой ужас вспоминая и пожар,
Дивилась темноокая Гюльнар,
Что с ней учтивы, что пирата взор
Был мягок и приветлив разговор.
Пират, на ком еще дымитесь кровь,
Нежней Сеида, в чьей душе — любовь?
Паша, любя, считал: раба должна
Такою честью быть упоена;
Корсар же с ней старался нежным быть,
Как с женщиной, кого он должен чтить.
«Желанье — грех, бесплодное — вдвойне,
Но хочется корсара видеть мне:
Благодарить мне ужас не дал мой
Его за жизнь, забытую пашой!»

VIII

Старался он поймать, рубя мечом,
Хоть смертный вздох простершихся кругом;
Отрезан, дрался он что было сил:
Враг за победу страшно заплатил;
Изрублен, смерть он знал, но не пришла,
И он — в плену до искупленья зла.
Он пощажен, чтоб в муках жить: готовь,
О мщение, терзанья вновь и вновь,

Остановись, но после выпей кровь —
По каплям! Чтоб Сеид, ненасытим,
Знал, что он жив, но смерть все время с ним!
Гюльнар глядит: то он ли? Час назад
Законом был и жест его и взгляд!
Да, он! В плену, и все ж, неукропчен,
О смерти лишь теперь тоскует он.
Ничтожны раны, — как он их искал!
Он руки бы убийцам целовал!
Дух не снесет ли этих ран роса...
Он не договорил: «на небеса?»
Ужель дыханье будет в нем одном,
Кто, в жажде смерти, бился ярим львом?
Всю боль узнал он, что наш дух гнетет,
Когда удача взор свой ответит,
Когда — воздать желая по делам! —
Она грозит ужасной мукой нам.
Всю боль он терпит, но, как прежде, горд
И злобы полн, — он остается тверд.
Храня суровый и надменный вид,
Не пленником — владыкой он глядит:
Он слаб, в крови, — но раскаленный взор
Никто не может выдержать в упор.
Хотя звучат проклятия вокруг —
Угрозы тех, кто мстит за свой испуг,
С ним лучшие почтительны: бойца
Всегда влечет величье храбреца:
Конвой, ведущий пленника в цепях,
В лицо ему глядел, смиряя страх.

IX

Явился врач, но не лечить — взглянуть,
Довольно ль жизни кроет эта грудь:
Нашел, что он снесет и груз оков
И вытерпит жар пыточных щипцов,
А завтра — завтра поглядит закат,
Как будет на колу сидеть пират,
А там заря, с улыбкой цвета роз,
Увидит, как он муку перенес.
Всех казней в мире эта казнь страшней;
Мученья — жажда обостряет в ней,
Дни тянутся, а смерть — все нет ее,
И над тобой кружится коршунья.
«Пить! пить!» — Но Ненависть глядит смеясь:
Пить не дают; коль жертва напилась —
Ей смерть. Ушли и врач и страж. И вот,
В оковах, казни гордый Конрад ждет.

X

Как описать вихрь чувств, борьбу ума?
Едва ли жертва знала их сама!
Был хаос духа, смута и разлад,
Когда все чувства, мысли все глушат

Друг друга, и, как будто демон злой,
Глумится Угрызенье над душой
(Но не Раскаянье) и, запоздав,
Твердит: «Я говорило; ты неправ».
Напрасный звук! Коль дух неукротим,
В ней все — мятеж: скорбь — слабым лишь
одним!

И в час, когда с собой наедине
Душа, горя, раскроется вполне,
Нет страсти, что отпор дала бы им —
Смятенным чувствам, чуждым и пустым.
К душе на смотр по тысячам дорог
Спешит туманных образов поток:
Сны гордости ушли, в слезах — любовь,
Померкла слава, скоро брызнет кровь;
Несбывшаяся радость; темный гнев
На тех, кто торжествует одолев;
Скорбь о былом; судьбы столь спешный шаг,
Что не узнать: с ней — небо? адский мрак?
Поступки, речи, мысли, сотни раз
Забывтые, но яркие сейчас,
Воскреснувшие в памяти дела,
Что дышат терпким ароматом зла;
Мысль, что душа разведена до дна
Грехом, хоть эта язва не видна;
Здесь все, что взору обнажит тайком
Разверстый гроб; здесь сердца страшный ком,
Сведенный мукой; гордость, чей порыв
Душой владеет, зеркало разбив
Пред ней. Отвага с гордостью вдвоем
Прикроют сердце, павшее щитом!
Все знают страх, но кто свой трепет скрыл,
Тот честь, хоть и притворством, заслужил.
Трус, похвалился, бежит, а храбрцу
Пристало смерть встречать лицом к лицу;
О Неизбежном думой закален,
На полдороги ближе к смерти он!

XI

Велед паша, чтоб заперт был пират
В высокой башне в тесный каземат.
Дворец сгорел, и крепостной затвор
Укрыл пашу, и узника, и двор.
Казнь Конрада не устрашает; он
Казнил бы сам, будь им Сеид пленен.
Один, пытливо, в сердце он читал
И в нем, преступном, бодрость обретал.
Одну лишь мысль не мог он перенести:
«Как встретит весть Медора, злую весть?»
О, лишь тогда цепями он гремел,
Ломая руки, свой кляня удел!
Но вдруг утих — самообман? мечта? —
И усмехнулись гордые уста:
«Что ж, пусть казнят, когда угодно им:
Мне нужен отдых перед днем таким!»

Сказав, с трудом подполз к цыновке он
И вмиг заснул — каков бы ни был сон.
Была лишь полночь, как начался бой:
Раз план созрел — он должен быть судьбой;
Резня не любит медлить: в краткий срок
Злодей свершит все, что свершить он мог.
Лишь час прошел — и в этот час пират
Покинул бриг, носил чужой наряд,
Был узан, дрался, взвил пожара гул,
Губил, спасал, взят, осужден, уснул!

XII

Он мирно спит, не дрогнет очерк век;
О, если б это был покой навек!
Он спит... Но кто глядит на этот сон?
Враги ушли, друзей утратил он.
То не спустился ль ангел с высоты?
Нет: женщины небесные черты!
В руке лампада, но заслонена
Она рукой, чтоб не согнала сна
С его на муку обреченных глаз,
Что, раз открывшись, вновь уснут сейчас.
Глубокий взор и губы цвета роз,
Блеск жемчуга в изгибах черных кос,
Легчайший стан и стройность белых ног,
Что лишь со снегом ты сравнить бы мог...
Как женщине пройти среди янычар?
Но нет преград, коль в сердце юный жар
И жалость кличут, — как тебя, Гюльнар!
Ей не спалось: пока паша дремал
И о пирате пленном бормотал,
Она с него кольцо-тамгу сняла,
Что, забавляясь, много раз брала,
И с ним прошла чрез полусонный ряд
Тамге повиновавшихся солдат.
Устали те от боя и тревог:
Пирату всяк завидовать бы мог
Уснувшему; иззябши, у ворот
Они лежат; никто не стережет;
На миг привстали посмотреть кольцо
И, без вопросов, клонят вновь лицо.

XIII

Она дивилась: «Как он мирно спит!
А кто-то плачет от его обид
Или о нем. И мне тревожно здесь;
Иль колдовством он стал мне дорог весь?
Да, он мне спас и жизнь и больше: честь,
От нас от всех успев позор отвести.
Но поздно думать... Тише... Дрогнул сон...
Как тяжело дышит! О, проснулся он!»
Поднялся Конрад, ослепленный вдруг,
С недоуменьем он глядит вокруг;

Он шевельнул рукой — железный звон
Его уверил, что пред ним не сон.
«Коль здесь не призрак, то тюремщик мой
Неотразимой блещет красотой!»

«Меня, пират, не знаешь ты. Твоя
Добром не так богата жизнь, и я
Одна из тех, кого ты в страшный час
И от огня и от насилия спас.
Не знаю я, что мне в тебе, пират.
Но я не враг: не пытки ищет взгляд».

«Ты добрая. Когда меня казнят,
Твой только взор восторгом не блеснет.
Что ж: побежден, я гибну в свой черед.
Их и твою любезность я ценю,
Коль исповедь к такой красе склоню!»

Как странно! Миг отчаянья согрет
Шутливостью! В ней облегченья нет,
Не отменить ей роковой исход;
В улыбке — боль, и все ж она цветет!
Не мало мудрых было до сих пор,
Кто с шуткою ложились под топор!
Но горек и насильствен этот смех.
Хоть и обманет, кроме жертвы, всех.
Что б Конрад ни испытывал, — легло
Веселое безумье на чело,
Его разгладив; голос так звучал,
Как если б напоследок счастье звал.
То было не по нем: так редко он
Был не задумчив иль не разъярен.

XIV

«Ты осужден, корсар, но я пашой
Могу владеть, когда он слаб душой.
Ты должен жить, — хочу тебя спасти,
Но поздно, трудно: слаб ты, чтоб уйти.
Пока одно берусь устроить я:
Чтоб казнь была отложена твоя;
Просить о жизни можно не сейчас,
А всякий риск двоих погубит нас».

«Я б не рискнул; душа закалена
Иль пала так, что бездна не страшна.
Что звать опасность, что меня манить
Бежать от тех, кого мне не сломить?
Ужель как трус (коль победить не мог)
Бегу один, а весь отряд полег?
Но есть любовь... душа горит; слеза —
В ответ слезе туманит мне глаза.
Привязанностей мало дал мне рок;
То были: судно, меч, она и бог.
Забыл я бога, бросил он меня:
Паша свершает суд его, казня.
Мольбой не оскверню его престол,

Как трус, что голос в ужасе обрел:
Я жив, дышу, мне жребий не тяжел!
Меч отдала врагу моя рука,
Не стоившая верного клинка.
Мой бриг потоплен. Но моя любовь!..
Лишь за нее могу молиться вновь!
Лишь для нее хотел я жить — и вот
Ей сердце гибель друга разобьет
И красоту сотрет... Когда б не ты —
Я не встречал ей равной красоты!»

«Ты любишь?.. Это безразлично мне...
Теперь, потом ли... Я ведь в стороне...
Но все же... любишь! Счастливы сердца,
Что преданы друг другу до конца,
Что не томятся тайной пустотой
Бесплодных грез, как я в тиши ночной!»

«Ужель его не любишь ты, Гюльнар,
Кому тебя вернул я сквозь пожар?»

«Любить пашу свирепого? О нет!
Душа мертва, хоть силилась ответ
В себе найти на страсть его... давно...
Увы! Любить свободным лишь дано!
Ведь я раба, — пусть первая из всех, —
Счастливой я кажусь среди утех!
Вопрос: «Ты любишь?» — колет, как стилет
Я вся горю, не смея крикнуть «нет!»
О! тяжко эту нежность выносить
И в сердце отвращение гасить,
Но горше думать, что не он — другой
По праву б мог владеть моей душой.
Возьмет он руку — я не отниму,
Но кровь не хлынет к сердцу моему;
Отпустит — вяло упадет рука:
Коль нет любви — и злоба далека.
Целуя, губ он не согреет мне,
А вспомнив, корчусь я наедине!
Когда б любовь я знала, может быть
Я ненависть могла бы ощутить,
А так — все пусто: он уйдет — не жаль,
С ним рядом я — а мысль несется вдали.
Боюсь раздумья: ведь во мне оно
Лишь отвращенье закрепить должно.
Я не женой пашы, хоть я горда, —
Рабыней быть хотела б навсегда.
О, если бы его любовь прошла,
И, брошена, я б вольною была!
Еще вчера я так желать могла.
Теперь же с ним хочу быть нежной я,
Но лишь затем, чтоб спала цепь твоя.
Чтоб жизнь тебе за жизнь мою вернуть,
Чтобы открыть тебе к любимой путь, —
К любви, какой моя не знает грудь.
Прощай: рассвет. Хоть дорого плачу —
Не будешь нынче отдан палачу!»

XV

Его ладони к сердцу поднеся,
Звеня цепями, побледнела вся
И, как чудесный сон, исчезла с глаз.
Вновь он один? Была ль она сейчас?
Кто светлый перл к его цепям принес?
Да, то была святейшая из слез —
Из чистых копей Жалости святой,
Шлифованная божеской рукой!

О, как опасна, как страшна для нас
Порой слеза из кротких женских глаз!
Оружье слабых, все ж она грозит:
Для женщины и меч она и щит;
Прочь! Доблесть никнет, меркнет мысль, когда
В слезах к нам сходит женская беда!

Кем сгублен мир, кем посрамлен герой? —
Лишь Клеопатры кроткою слезой.
Но триумвиру слабость мы простим:
Пришлось не землю — рай терять иным,
Вступая с сатаною в договор,
Чтоб лишь прелестный прояснился взор!

XVI

Встает заря, бросая нежный свет
На гордый лоб, — но в ней надежды нет.
Кем к вечеру он станет? Мертвецом;
И будет ворон траурным крылом
Над ним махать, незрим для мертвых глаз;
И солнце сядет, и в вечерний час
Падет роса, отрадна для всего
Живого, но — увы! — не для него!

Песнь третья

Come vedi — ancor non m'abandonna.

Dante.

Как видишь — он еще меня не предал.

Данте.

I

Пышней, чем утром, вдоль Морейских гряд
Лениво сходит солнце на закат;
Не тускло, как на Севере, оно:
Полнеба чистым блеском зажжено;
Янтарный луч слетает на залив,
Отливы волн зеленых озлатив,
И озаряет древний мыс Эгин
Прощальной улыбкой властелин;
Своей стране любовно льет он свет,
Хоть алтарей ему давно там нет.
С гор тени сходят, вьются вдоль долин,
Твой рейд целуя, славный Саламин!
Их синий свод, скрывая небосклон,
От взоров бога пурпуром зажжен,
А вдоль вершин веселый бег коней
Роняет отблеск, радуги нежней,
Пока, минув Дельфийскую скалу,
Бог не отыдет на покой, во мглу.

Так и Сократ в бледнеющий простор
Бросал — Афины! — свой предсмертный взор,
А лучшие твои сыны с тоской
Встречали мрак, венчавший путь земной

Страдальца. — Нет, о нет: еще горят
Хребты и медлит благостный закаг!
Но смертной мукой затемненный взор
Не видит блеска и волшебных гор:
Как будто Феб скрыл тьмою небосклон,
Край, где вовек бровей не хмурил он.
Лишь он ушел, за Кифероном, в ночь, —
Был выпит яд, и дух умчался прочь,
Тот, что презрел и бегство и боязнь,
И, как никто, и жил и встретил казнь!

С вершин Гимета озаряя дол,
Царица ночи всходит на престол;
Не с темной дымкой, вестницею бурь, —
Лик беспорочно сиял лазурь.
Блестят колонны, тень бросая вниз,
Мерцает лунным отблеском карниз,
И, знак богини, тонкий серп ушел
Над минаретом в зыбкий ореол.
Вдали темнеют заросли оливы,
Нить кроткого Кефиса осенив;
К мечети льнет унылый кипарис,
Блестит киоска многоцветный фриз,
И в скорбной думе пальма гнется там,
Где поднялся Тезея древний храм.

Игра тонов, блеск, сумрак — все влечет,
И равнодушно лишь глупец пройдет.

Борьбу стихий забыв, Архипелаг
Едва доносит сонный лепет влаг;
А в переливах медленной волны —
Сапфирно-золотые пелены
И острова, чей строг и мрачен вид,
Хоть океан улыбки им дарит.

II

Не о тебе рассказ, но что влечет
К тебе мой дух? Величье ль древних вод?
Иль просто имя магией своей
Сердца чарует и манит людей?
Прекрасный град Афины! Кто закат
Твой дивный видел, тот придет назад
Иль всюду, вечно будет изнывать,
Как я, кому Циклад не увидеть.
Тебе не чужд моей поэмы лад,
Твоим был остров, где царит Пират;
Верни ж его и вольность с ним — назад!

III

В последний раз лучом задев маяк,
Закат померк, и вот — полночный мрак
В душе Медоры: третий день печаль;
Хотя попутным ветром вест даль,
Нет Конрада, и нет вестей о нем;
Ансельмо бриг еще вчера пристал,
Но Конрада нигде он не встречал...
Была б развязка страшная иной,
Когда б корсар взял этот бриг с собой!

Свежеет бриз. Весь день ждала она,
Что будет мачта ей вдали видна;
Теперь, тоскуя, тропкою с высот
Она на берег в тьме ночной идет
И бродит там, хоть брызгами прибой
Одежды мочит ей, гоня домой.
Бесчувственно она стоит, глядит —
И холод лишь ей душу леденит.
Все глубже ужас, беспросветней тьма:
Явись он вдруг — она сошла б с ума!

Вдруг перед ней полуразбитый бот,
Как бы ее! нашедший, пристаёт.
Без сил гребцы; кто — ранен, но никто
В рассказах кратких не сказал про то:
Всяк, затаясь, предоставлял потом
Угадывать, что стало с вожаком.
Кой-что и знали, но боялись весть
До слуха их владычицы довесть.

Но ясно все. Не дрогнула она,
Отчаянья глубокого полна:
В ней, хрупкой, был великий дух — такой,
Что действует, лишь овладев собой.
С надеждой жили трепет, слезы, страх;
Теперь конец — все обратилось в прах.
Но сила из дремоты говорит:
«Любимый умер,— что ж еще грозит?»
Но силы той в простой природе нет:
С ней сходен лишь горячки жаркий бред.

«Безмолвны вы... Я не спрошу... Зачем?
Всё поняла... Пусть каждый будет нем...
Но все же... все ж... не разомкнуть мне губ!..
Я знать хочу... скорее... Где же труп?»

«Как знать? Едва спаслись мы; но твердит
Один из нас, что не был он убит;
Что в плен был взят; что был в крови, но — жив».

Она не слышит: чувства, как прилив,
Плотину воли смыли; ужас в ней
Не смел прорваться, был он слов сильней.
Вдруг, пошатнувшись, рухнула она,
И ей была б могилою волна,
Когда бы руки грубые гребцов
Ее не подхватили средь валов.
В слезах, ее водою моряки
Кропят, обвеивают, трут виски.
Она очнулась. Женщины к ней зовут
И, горестно с ней распростясь, идут
К Ансельмо в грот, чтоб рассказать тому,
Что краткий блеск победы канул в тьму.

IV

Кипит совет. Все требуют отбить
Начальника! Дать выкуп! Отомстить!
Все рвутся в бой, как будто сам вожак
Указывает им, где скрылся враг.
Что б ни случилось — с ним все души в лад:
Жив он — спасут, погиб он — отомстят.
Беда врагу, коль затаили месть
Те, в ком жива и сила их и честь!

V

В гареме, в тайной комнате, сидит,
Решая участь узника, Сеид.
Любовь и злоба — вперемежку в нем:
То он с Гюльнар, то с Конрадом вдвоем.
Гюльнар — у ног, готовая согнать
С его чела угрюмую печать,
И черные глаза ее горят,
Стремясь привлечь его смягченный взгляд;
Но он лишь четки движет вновь и вновь,
Как бы по каплям жертвы точит кровь.

«Паша! Твой шлем победою повит;
Сам Конрад взят, а весь отряд убит.
Ему уделом смерть — и поделом!
Но все ж — тебе ль его считать врагом?
Ты так велик! Не лучше ли сперва
Ему дать откупиться? Есть молва,
Что он несметно, сказочно богат!
Ты мог бы взять, паша, бесценный клад!
Потом же — нищ, гоним и угнетен —
Твоей добычей снова станет он.
А так — остатки шайки заберут
Сокровища и в дальний край уйдут».

«Гюльнар! Когда б он мне сулил тотчас
За каплю крови каждую — алмаз,
Когда б за каждый волос предложил
Любую из золотиносных жил,
Когда б дары арабских сказок он
Здесь разложил — все ж был бы он казнен!
И даже казни б не отсрочил я,
Раз он в цепях, раз власть над ним — моя!
Ему я пытку все изобретал,
Чтоб, мучась, он подольше смерти ждал!»

«Нет, нет, Сеид! Он слишком прав, твой гнев,
Чтобы простить, вину врага презрев.
Хотела я, чтоб ты в свою казну
Богатства взял: без них он — как в плену;
Без власти, без людей, без сил, пират,
Лишь ты захочешь, снова будет взят».

«Он *будет* взят!.. Я даже дня ему
Не дам, злодею, ныне — моему.
И для тебя — раскрыть пред ним тюрьму,
Прелестная заступница? Ведь ты
Ему воздать за проблеск доброты
Великодушно хочешь? Ведь он спас
Вас всех — конечно, не взглядевшись в вас!
Ведь должен чтить я столь высокий дух!..
К словам моим склони твой нежный слух;
Тебе не верю; речь твоя и взгляд
Во мне лишь подозренья укрепят.
Когда с тобой покинул он гарем,
Ты не мечтала ль с ним уйти совсем?
Ответь! Молчи! уловкам всем конец:
Ты вспыхнула — предательский багрец!
Поберегись, красавица! Поверь:
Не только он в опасности теперь!
Ведь с ним!.. Но нет!.. Да будет проклят миг,
Когда тебя он в пламени настиг
И вынес, обнимая!.. Лучше б!.. Нет!
Меня томил бы горькой муки бред!
Теперь же лживой говорю рабе:
Как бы я крыльев не подстриг тебе!

Смотри же, берегись; я не шучу,
Я за измену страшно отплачу!»

Он встал и вышел, отвратив глаза;
В них гнев блеснул, в прощании — гроза!
Ах, плохо знал он женщину: ее ль
Смирит угроза и удержит боль?
Он мало сердце знал твое, Гюльнар,
Где нынче — нежность, а чрез миг — пожар!
Обидны подозренья; ей самой
Неведомо, что в жалости такой —
Зерно иное; мнилось ей: она,
Раба, рабу сочувствовать должна
Иль пленнику; неосторожно вновь
Она в паше разгорячила кровь;
Он, в бешенстве, был с нею груб, и вот
В ней буря дум — ключ женских бед — растет.

VI

Дней и ночей меж тем тянулась нить —
Жуть, мрак, тоска... Сумел он победить
Уверенностью темную боязнь:
Ведь каждый час нес худшее, чем казнь;
Ведь каждый шаг мог шагом стражи быть,
Что явится его на казнь влачить;
Ведь каждый оклик, что порхнет над ним,
Мог быть последним голосом людским!
Смирил он ужас, но надменный дух
Все жить хотел, был к зову гроба глух.
Он был истерзан, слаб — и все же снес
Боренье, что битв страшней и гроз.
В кипенье боя, в яростных волнах
Едва ли с мыслью будет сплавлен страх;
Но быть в цепях, сознав ужасный рок,
Коснеть в когтях изменчивых тревог,
Глядеть в себя, ошибок числить рой
Непоправимых, гнуться пред судьбой,
О невозвратном сожалеть, дрожать
Пред неизбежным и часы считать,
И знать, что друга нет, кто б людям мог
Сказать, что твердо встретил он свой рок
И рядом враг, бесстыдный клеветник,
Рад грязью бросить в твой последний миг;
А попытка — ждет; пусть духу не страшна,
Но тело может одолеть она;
А лишь простонешь, вскрикнешь лишь едва —
На мужество утрачены права.
Здесь — гроб, а рай — не для твоей души:
Владеют им святые торгаши;
Земной же рай, не лживый рай небес,
Навек — в разлуке с милою! — исчез.
Вот чем терзался в эти дни пират,
И мысли те страшней, чем самый ад.
Боролся он — и так или не так, —
Но выдержал, а это не пустяк!

VII

День первый ми́нул, а Гюльнар все нет;
Еще два дня — все то же. Вновь рассвет.
Но, видно, чар немало у Гюльнар,
А то бы дня не встретил вновь корсар.
Четвертый день ушел за небосклон,
И ночь примчала за собой циклон.
Как бы впервые шторм ревел над ним,
Так он внимал просторам ветровым!
И дикий дух, желаний диких полн,
Весь откликался на призывы волн.
Среди стихий, бывало, мчался он,
Их буйством и безумием пленен,
И тот же гул звучит средь этих стен,
Звучит, зовет, и... там — простор, здесь — плен!
Свирепым ветром завывала тьма,
Еще свирепей рушились грома,
И за решеткой молнии зигзаг
Прорезывал порой беззвездный мрак.
Подполз к бойнице он и кандалы
Подставил молниям — пусть бьет из мглы!
Так, руки вздев, просил себе корсар
У неба искупительный удар.
Но и молитву дерзкую и сталь
Гроза презрела и умчалась вдаль;
Гром тише, смолк... И вновь пират померк,
Как будто друг его мольбы отверг!

VIII

Уже за полночь легкий шаг на миг
Скользнул у двери, стих... и вновь возник;
Ключ ржавый скрипнул, завизжал засов —
Она! Кого он столько ждал часов!
Он грешен — и все ж дивный ангел с ним,
Что мнится лишь отшельникам святым!
Но, в первый раз входя сюда, она
Была не так пуглива и бледна;
Тревожный темный взор ее, без слов,
Сказал: «Ты к смерти должен быть готов.
Казнь близко, и не будут медлить с ней;
Есть выход — страшный, — но ведь кол страшней!»

«Я не хочу спасенья; от меня
Ты это слышала назад три дня;
Я не меняюсь. Что тебе во мне?
Свой приговор я заслужил вполне.
Немало всюду дел за мною злых,
Так пусть паша мне здесь отмстит за них!»

«Что мне в тебе? Но ведь... Ты от судьбы
Меня спас худшей, чем удел рабы!
Что мне в тебе? Иль ты, как в страшном сне,
Слеп и не видишь нежности во мне?
Мне ль говорить? Хоть вся душа полна,
Но женщина молчать о том должна...

Но... пусть злодей — ты смог меня смутить:
Боясь, жалея, стала я... любить!
Мне о другой не говори, молю:
Я знаю — любишь, тщетно я люблю.
Она прекрасней, пусть, но. и любя,
Она рискнула б жизнью для тебя?
Будь ты ей дорог, как ты дорог мне,
Ты б не был тут, с тоской наедине!
Жена корсара — с ним разит врага!
Лишь неженки сидят у очага!
Не время спорить, надо жизнь сберечь:
На ниточке висит над нами меч;
Будь снова смел, свобода впереди;
Вот — на кинжал, встань и за мной иди!»

«В цепях? Конечно, самый верный путь —
Вдоль стражи незаметно проскользнуть!
Для бегства ли воздушный твой наряд?
Кинжалом ли врага в бою разят?»

«Оставь сомненья! Стража за меня:
Я всех купила, золотом маня;
Скажу лишь слово — нет твоих цепей;
Пройти сюда могла б я без друзей?
Я провела даром эти дни:
Мои же козни — для тебя они!
Месть деспоту злодейством не зови;
Твой враг презренный должен пасть в крови!
Ты вздрогнул? Да, я стать иной хочу:
Оттолкнута, оскорблена — я мщу!
Я незаслуженно обвинена:
Хоть и рабыня, я была верна!
Да, смейся. Но не смел смеяться — он!
Мой дух тобой не так был потрясен!
Но он — сказал, хоть я была чиста!
Так пусть над ним свершится кара та,
Что злобные нам предрекли уста!
Меня купив, пожалуй, заплатил
Он дорого, коль сердца не купил;
Он смел сказать, — хоть я чиста душой, —
Что, победи ты, я б ушла с тобой!
Он лгал, ты знаешь. Но пускай пророк
Обиду терпит, коль ее предрек.
Не я тебе спасла три этих дня:
Изобретал он, мрачный взор клоны,
И казнь тебе и муку для меня!
Да, мне грозит он, но пока горит
В нем страсть — меня, как прихоть, он щадит.
Когда ж остынет, стану не нужна —
Тогда в мешке меня возьмет волна!
Что ж я — игрушка? и могу дитя
Лишь позолотой забавлять, блестя?
Тебя, любя, спасала я; тебе
Явить хотела душу я в рабе;
Пашу б я пожалела. Но теперь
И жизнь и честь пожрать он хочет, зверь
(Сказав, он не отступит ни пред чем);

И я решилась! Я твоя! Совсем!
Ты можешь все подозревать, корсар,—
Верь: гнев и нежность в первый раз в Гюльнар!
Ты б не боялся, если б знал меня,
В душе восточной много есть огня!
Он — твой маяк: укажет он средь волн,
Где в гавани стоит майнотский челн.
Но в том покое, где пройдем мы,— спит
И должен не проснуться — он, Сеид!»

«Гюльнар, Гюльнар! Увядшей славы лик
Теперь лишь, страшный, предо мной возник!
Сеид мой враг; он шел на остров мой
С открытой, хоть безжалостной, душой;
Вот почему мой бриг сюда приплыл.
Мой грозный меч моей грозе грозил,
Меч — но не тайный нож! Ужели тот,
Кто женщин спас, уснувшего убьет?
Я жизнь твою не для того сберег;
Не дай мне думать, что смеялся рок.
Теперь прощай; да будет мир с тобой!
Ночь коротка — последний отдых мой!»

«Что ж, отдыхай! Лишь солнце сгонит мглу,
Весь корчиться ты будешь на колу.
Готов он, я видала... Поутру,
Знай, ты умрешь, но раньше я умру.
Все — жизнь, любовь и ненависть Гюльнар —
Тут ставкою. И — лишь один удар!
Без этого нам не уйти: вослед
Погоня будет... Муки долгих лет,
Твои тревоги, мой девичий стыд —
Все тот удар сотрет и огвратит!
Меч — но не нож? Как знаешь, а пока
Пусть будет верной женская рука!
Лишь миг один — конец, корсар, беде;
Мы встретимся на воле иль нигде!
А дрогну — завтра озарит восход
Мой саван, твой кровавый эшафот».

IX

Она исчезла; опоздал ответ,
Но пламенно корсар глядел ей вслед,
Потом оковы подтянул, как мог,
Чтоб не звенели, волочась у ног,
И (нет засова, путь ему открыт)
Вслед за Гюльнар, закованный, спешит.
Куда ведет извилистый проход?
Повсюду мрак; никто не стережет.
Вот слабый свет стал вдалеке мерцать,
Итти ль к нему? иль от него бежать?
Он наугад идет. Вдруг холодок
Предутренный коснулся ветром щек;
Вот на открытой галлерее он;
В последних звездах блекнет небосклон;
Но он не смотрит: на него другой

Струится свет из двери запертой:
Сквозь щель лампы брезжит огонек,
Но различить он ничего не мог.
Скользнула вдруг фигура из дверей,
Метнулась, стала — то Гюльнар! Он к ней,
Глядит: о счастье! с нею нет клинка!
Смягчилась, значит, гневная рука!
Но с ужасом вдруг взор ее, горя,
Взлетел туда, где лет багрец заря!
Она волос откинула волну —
Ей грудь скрывающую пелену:
Казалось, что недавно лишь она
Была над чем-то страшным склонена,
К чему-то прикоснулась, и у ней
Остался след кровавый меж бровей;
И Конрад вздрогнул, мукой полон вновь:
То был знак злодеянья верный — крови!

X

Он был в боях; он думал, глядя в тьму,
О пытке страшной, что грозит ему;
Он знал соблазны и возмездья; он
Мог быть навек в цепях похоронен;
Но, зная битвы, ужас, муки, плен,
Вихрь всех страстей, — ни разу в глуби вен
Он льда того не чуял, как сейчас —
Пред алой точкой меж горящих глаз!
След крови, чуть заметная черта —
Но вся в Гюльнар померкла красота!
Пред кровью не дрожал он, но такой,
Что в битвах пролита мужской рукой!

XI

«Конец! Проснуться не успев, он пал!
Корсар, он мертв!.. Ты дорого мне стал.
Но ни к чему слова теперь. Вперед!
День наступает. В бухте лодка ждет.
Те, кто мне предан, — тоже с нами в путь:
К твоим бойцам они хотят примкнуть.
Я мой поступок оправдать смогу
Не здесь, на ненавистном берегу!»

XII

В ладони хлопнув, ждет; вдоль галлерей
Все слуги — греки, мавры — мчатся к ней,
С корсара цепи молча снять спешат;
Вновь волен он, как ветер горных гряд,
Но на душе столь тяжкий гнет и груз,
Как будто в ней железо этих уз.
Молчат. Гюльнар безмолвно знак дает;
Открыт ведущий к морю тайный ход.

Покинут город; вот у ног — прибор,
Играя, брызжет в берег золотой.
Гюльнар покорный, Конрад брел вослед:
Не все ль равно — в плену он или нет?
Он холоден, как в дни, когда паша
Мечтал о пытках, ревностью дыша.

XIII

В бот сели. Бриз помчал их в кипень волн.
Корсар сидел, воспоминаний полн,
Пока вблизи громадой не возник
Мыс, где недавно укрывался бриг.
Ах! с ночи той в такой ничтожный срок
Вместилась вечность крови, и тревог,
И ужаса! Когда же скрылся мыс,
Он замер весь, лицо склоняя вниз.
Он вспоминал Гонзальво, свой отряд,
Триумф минутный, счастья лживый взгляд.
И вдруг, о милой думая, корсар
Взглянул: пред ним — преступница Гюльнар!

XIV

Та не могла снести прямой, в упор
Уставленный и леденящий взор;
В ее глазах жестокий блеск погас,
И разом слезы хлынули из глаз.
Моля, она склоняется у ног:
«Пусть мстит Алла, но ты простить бы мог!
Чем стал бы ты, не будь повержен зверь?
Кляни меня, но только не теперь!
Я не такая; за три этих дня
Мой ум померк; не добивай меня!
Я, не любя, не занесла б кинжал,
И ты — мертвец — меня б не проклинал!»

XV

Она ошиблась: он себя винил,
Что ей беду невольно причинил;
Но тяжело немы, сплошь в кровавой тьме,
Бродили чувства в сердце, как в тюрьме.
Вокруг кормы играя синью волн,
Попутный бриз все дальше гонит челн;
Вдали вдруг точка, пятнышко, пятно:
То парус, бриг — и пушек там полно;
Челнок замечен с вахтенных мостков;
Прибавили немедля парусов;
Бриг величаво мчится, все скорей,
И грозно смотрят жерла батарей.
Вдруг — блеск! Ядро, давая перелет,
С шипеньем тонет в глуби темных вод.
Выходит Конрад из оцепененья. Взор
С восторгом устремляется в простор:

«То он — мой алый флаг! Я не один!
Я не покинут средь морских пучин!»
Он машет им. Там узнают сигнал:
Убавив ход, спускают мигом ял.
«Наш Конрад! Конрад!» — с палубы гремит,
И дисциплина крик не заглушит!
С восторгом все и с гордостью глядят,
Как всходит вновь на свой корабль пират;
В любой улыбке блещет торжество;
Всем хочется в объятьях сжать его.
А он, забыв несчастный свой поход,
Как вождь, привет им гордо отдаст,
Ансельмо руку жмет он — и опять
Готов сражаться и повелевать!

XVI

Порыв утих; всех втайне мучит стыд,
Что не был силой атаман отбит:
Все ждали мести. А узнай они,
Что женщина свершила в эти дни —
Стать ей царицей: им была всегда
Разборчивость надменная чужда.
Перед Гюльнар они столпились в ряд,
С улыбкой вопрошающей глядят;
Она слабее женщин и сильней,
И знает же робость в ней;
На Конрада она с мольбой глядит
И, на лицо спустив чадру, молчит;
Скрестив ладони, кротко ждет она:
Раз он спасен, судьба ей не страшна.
Хоть все в ней буйно: ненависть и дрожь,
Добро и зло, любовь, коварство, нож —
В ней женщина не исчезала все ж!

XVII

И дрогнул Конрад: гнусно дело рук,
Но грешница жалка в минуты мук.
Нет слез таких, чтоб грех ее омить,
И небу должно суд над ней творить.
Свершилось! Пусть вина тяжка — он знал:
Лишь для него ту пролил кровь кинжал,
И принесла его свободе в дар
Все на земле, все в небесах Гюльнар!
Потупиться ее принудив, взор
К рабыне черноокой он простер;
Совсем иной теперь была она:
Робка, слаба, смиренна и бледна,
И в этой смертной бледности — багрец,
Кровавый след запечатлел мертвец!
Он руку взял, дрожит (теперь!) рука,
Нежна в любви, а в гневе жестока:
Он сжал ее — дрожит! И в нем самом
Нет сил, нет звука в голосе глухом.

«Гюльнар!» Безмолвна. «Милая Гюльнар!»
 Она взглянула взором, полным чар,
 И ринулась в объятия к нему.
 Чудовищем бы надо быть тому,
 Кто б в *этом* ей приюте отказал!
 Добро ль в том, зло ль, но Конрад крепко сжал
 Ее в объятьях. И, не будь томим
 Тревогой он; — сошла б измена к ним!
 Тут и Медору б гнев не охватил:
 Их поцелуй столь братски-нежен был,
 Что — первый и последний! — он не мог
 Взять Ветреность у Верности, хоть жег
 Дыхание Гюльнар, как ветер тот,
 Что навевает крыльями Эрот!

XVIII

В вечерний час их остров встал из вод.
 Скала, казалось, им улыбки шлет;
 Над гаванью стоит веселый гул;
 Огонь сигнальный, где всегда, блеснул;
 Скользят по волнам шлюпки, и дельфин,
 Резвясь, их обгоняет среди пучин;
 Крикливых чаек резкий стон — и тот,
 Казалось, всем приветствие несет!
 За ставнями, что озарились вдруг,
 Фантазия друзей рисует круг;
 Огонь священный, пламенный очаг,
 Надежды взор, простертый в бурный мрак!

XIX

Огни в домах, на маяке горят;
 Медоры башню разглядел пират;
 Глядит он — странно! Видят все: одно
 Ее во мрак погружено окно!
 Как странно! В первый раз ему привет
 Не шлет Медора. Иль завешен свет?
 Он первым сходит в поданный челнок,
 Гребцов торопит... О, когда б он мог,
 Как легкий сокол, развернуть крыла,
 Помчаться на вершину, как стрела!
 Гребцы хотят передохнуть — и вот,
 Не в силах ждать, он выпрыгнул — плывет,
 На берегу — и быстрою стопой
 Бежит наверх знакомою тропой.
 Он у дверей; прислушался: весь дом
 Внутри безмолвен. Все во тьме кругом.
 Он стукнул громко, но знакомый шаг
 Не прозвучал в ответ на этот знак.
 Весь холодея, стукнул он опять,
 Но слабо: руку еле смог поднять.
 Открыли; женщина — увь! — не та,
 Которую обнять влечет мечта.
 Она молчит; и дважды он хотел
 Задать вопрос, и все ж не смог, не смел!

Он выхватил у ней лампаду; вдруг
 Та выскользнула из неверных рук,
 Разбилась; а другого ждать огня,
 Не то же ли, что наступленья дня?
 Но, вглядываясь в темный коридор,
 Мерцанье слабое приметил взор;
 Увидел Конрад, в тот войдя покой,
 Все, что уже угадано душой!

XX

И стон, и дрожь, и ужас подавив,
 Он замер возле, взор в нее вперив.
 Глядел он, в пытке, как мы все, боясь
 Признаться, что надежда унеслась.
 Столь хороша она была живой,
 Что смерть не совладала с красотой;
 Держала стебель хладного цветка,
 Сжимая нежно, хладная рука,
 Как бы живая, как в притворном сне,
 Чтоб зарывавший смерть узнал вдвойне.
 Под снегом век, под трауром ресниц
 Укрылось то, что повергает ниц:
 Всего яснее Смерть в глазах видна,
 Сиянье духа гасит в них она!
 Двух синих звезд прозрачный блеск угас,
 Но рот еще прекрасен и сейчас:
 Вот-вот сверкнет улыбкою живой,
 И нужен лишь на миг ему покой.
 Но белый саван, но недвижность кос,
 Столь светлых, пышных, — а давно ль меж роз
 Они струились и срывал венки
 С них шаловливый летний ветерок...
 Но бледность щек — все гроба кличет тьму.
 Она — ничто. Так что ж быть здесь ему?

XXI

Вопросов нет. Ответ на все — одна
 Лба хладно-мраморная белизна.
 Не все ль равно *как* умерла она?
 Страсть юных лет, надежды лучших дней,
 Ключ нежности и ласки — с нею, с ней,
 С единственной, кого любить он мог, —
 Исчезли вмиг. Он заслужил свой рок,
 Но мука — жгла. Для чистых душ есть путь,
 Куда не смеет грешник и взглянуть.
 Гордец, чья радость только на земле,
 В дни горьких мук в земной же рыщет мгле.
 Пусть малое все гибнет *здесь* для них,
 Но кто носил утрату грез своих?
 Как часто гордый маскирует взор
 Все виды мук, таймых с давних пор;
 И скрыта боль в улыбке той как раз,
 Которой щеголяют напоказ.

XXII

Кто глубже скорбь в своей груди таит,
Тот всех скупей о скорби говорит;
Все думы в нем сливаются в одной,
И тщетно в них ему искать покой;
Нет слов раскрыть всю жизнь души до дна,
Правдивость речи горю не дана.
Пират застыл, оледенен тоской,
Найдя на миг в том холоде покой;
Так слаб он, что — как в детстве — вновь слеза
Ему смочила дикие глаза;
Вся немощь сердца в тех слезах была,
И все же мук душа не излила.
Никто не видел этих слез поток;
Будь не один — он их сдержать бы мог:
Он их сдержал, он твердо стер их с вежд,
Уйдя без дум, без счастья, без надежд.
Блеснет заря — пирату темен день,
Ночь спустится — и с ним навеки тень.
Нет мглы темней, чем сердца мрак густой,
И взор тоски — средь всех слепых слепой!
Та слепота бежит любой зари,
И ненавистны ей поводыри!

XXIII

Родясь для блага, он злодеем стал;
Обманут рано, долго верил, ждал;
Ток чистых чувств, как влага та, что в грот,
Чтоб сталактитом затвердеть, течет,
Сквозь толщу лет пробившись, замутнел
И, наконец, застыл, закаменел.

Но молния скалу дробит порой —
И Конрад снес удар тот грозовой!
Цветок у камня сумрачного рос;
В тени укрыв, его хранил утес;
Обоих беспощадный гром разит —
И лилию и вековой гранит!
Чтоб рассказать о нежности цветка,
Не сохранила смерть ни лепестка;
И тут же, на земле бесплодной, он,
Суровый друг, чернеет, раздроблен!

XXIV

Рассвет. Кто, дерзкий, Конрада смутит
Покой? Ансельмо все ж к нему спешит.
Его нет в башне, нет на берегу;
Обшарили весь остров на бегу, —
Бесплодно... Ночь; и снова день настал —
Лишь эхо отзывалось им средь скал.
Обыскан каждый потаенный грот;
Обрывок цепи, закреплявшей бот,
Внушал надежду: бриг за ним пойдет!
Бесплодно! Дней проходит череда,
Нет Конрада, он скрылся навсегда,
И ни один намек не возвестил,
Где он страдал, где муку схоронил!
Он шайкой лишь оплакан был своей;
Его подругу принял мавзолей;
Ему надгробья не дано — затем,
Что трупа нет; дела ж известны всем:
Он будет жить в преданиях семейств
С одной любовью, с тысячью злодейств.

ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК

СОНЕТ К ШИЛЬОНУ

Свободной Мысли вечная Душа,—
Всего светлее ты в тюрьме, Свобода!
Там лучшие сердца всего народа
Тебя хранят, одной тобой дыша.

Когда в цепях, во тьме сырого свода,
Твоих сынов томят за годом год —
В их муке зреет для врагов невзгода,
И Слава их во всех ветрах поет.

Шильон! Твоя тюрьма старинной кладки —
Храм; пол — алтарь; по нем и там и тут
Он, Бонивар, годами шаг свой шаткий

Влачил, и в камне те следы живут.
Да не сотрут их — эти отпечатки!
Они из рабства к богу вопиют!

ШИЛЬОНСКИЙ УЗНИК

I

Взгляните на меня: я сед,
Но не от хилости и лет;
Не страх внезапный в ночь одну
До срока дал мне седину.
Я сгорблен; лоб наморщен мой,
Но не труды, не хлад, не зной —
Тюрьма разрушила меня.
Лишенный сладостного дня,
Дыша без воздуха, в цепях,
Я медленно дряхлел и чах,
И жизнь казалась без конца.
Удел несчастного отца —
За веру — смерть и стыд цепей —
Уделом стал и сыновей.
Нас было шесть — пяти уж нет.
Отец, страдалец с юных лет,

Погибший старцем на костре,
Два брата, падшие во пре,
Отдав на жертву честь и кровь,
Спасли души своей любовь.
Три заживо схоронены
На дне тюремной глубины
И двух сожрала глубина;
Лишь я, развалина одна,
Себе на горе уцелел,
Чтоб их оплакивать удел.

II

На лоне вод стоит Шильон:
Там, в подземелье, семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет,
Луч, ненароком с вышины

Упавший в трещину стены
И заронившийся во мглу.
И на сыром тюрьмы полу
Он светит тускло-одинок,
Как над болотом огонек,
Во мраке веющий ночном.
Колонна каждая с кольцом;
И цепи в кольцах тех висят;
И тех цепей железо — яд;
Мне в члены вгрызлося оно;
Не будет век истреблено
Клеймо, надавленное им.
И день тяжел глазам моим,
Отвыкнувшим с столь давних лет
Глядеть на радующий свет;
И к воле я душой остыл
С тех пор, как брат последний был
Убит неволей предо мной,
И, рядом с мертвым, я, живой,
Терзался на полу тюрьмы.

III

Цепями теми были мы
К колоннам тем пригвождены,
Хоть вместе, но разлучены;
Мы шагу не могли ступить,
В глаза друг друга различить
Нам бледный мрак тюрьмы мешал:
Он нам лицо чужое дал —
И брат стал брату незнаком.
Была услада нам в одном:
Друг другу голос подавать,
Друг другу сердце пробуждать
Иль былью славной старины,
Иль звучной песнею войны —
Но скоро то же и одно
Во мгле тюрьмы истощено;
Наш голос страшно одичал,
Он хриплым отголоском стал
Глухой тюремные стены;
Он не был звуком старины
В те дни, подобно нам самим,
Могучим, вольным и живым!
Мечта ль?.. но голос их и мой
Всегда звучал мне, как чужой.

IV

Из нас троих я старший был;
Я жребий собственный забыл,
Дыша заботою одной,
Чтоб им не дать упасть душой.
Наш младший брат — любовь отца...
Увы! черты его лица

И глаз умильная краса,
Лазоревых, как небеса,
Напоминали нашу мать.
Он был мне всё — и увядать
При мне был должен милый цвет,
Прекрасный, как тот дневный свет,
Который с неба мне светил,
В котором я на воле жил.
Как утро, был он чист и жив,
Умом младенчески-игрив,
Беспечно весел сам с собой...
Но перед горестью чужой
Из голубых его очей
Бежали слезы как ручей.

V

Другой был столь же чист душой,
Но дух имел он боевой:
Могуч и крепок, в цвете лет,
Рад вызвать к битве целый свет
И в первый ряд на смерть готов,
Но без терпенья для оков...
И он от звука их завял!
Я чувствовал, как погибал,
Как медленно в печали гас
Наш брат, незримый нам, близ нас;
Он был стрелок, жилец холмов,
Гонитель вепрей и волков —
И гроб тюрьма ему была;
Неволи сила не снесла.

VI

Шильон Леманом окружен,
И вод его со всех сторон
Неизмерима глубина;
В двойную волны и стена
Тюрьму совокупились там;
Печальный свод, который нам
Могилой заживо служил,
Изрыт в скале подводной был;
И день и ночь была слышна
В него биющая волна
И шум над нашей головой
Струй, отшибаемых стеной.
Случалось — бурей до окна
Бывала взброшена волна,
И брызгов дождь нас окроплял;
Случалось — вихорь бушевал;
И содрогалась скала;
И с жадностью душа ждала,
Что рухнет и задавит нас:
Свободой был бы смертный час!

VII

Середний брат наш — я сказал —
Душой скорбел и увядал.
Уныл, угрюм, ожесточен,
От пищи отказался он:
Еда тюремная жестка;
Но для могучего стрелка
Нужду переносить легко.
Нам коз альпийских молоко
Сменила смрадная вода;
А хлеб наш был, какой всегда —
С тех пор как цепи созданы —
Слезами смачивать должны
Невольники в своих цепях.
Не от нужды скорбел и чах
Мой брат; равно завял бы он,
Когда б и негой окружен
Без воли был... зачем молчать?
Он умер... я ж ему подать
Руки не мог в последний час,
Не мог закрыть потухших глаз;
Вотще я цепи грыз и рвал —
Со мною рядом умирал
И умер брат мой, одинокий;
Я близко был — и был далек.
Я слышать мог, как он дышал,
Как он дышать переставал,
Как вздрагивал в цепях своих
И как ужасно вдруг затих
Во глубине тюремной мглы...
Они, сняв с трупа кандалы,
Его без гроба погребли
В холодном лоне той земли,
На коей он невольник был.
Вотще я их в слезах молил,
Чтоб брату там могилу дать,
Где мог бы дневный луч сиять;
То мысль безумная была,
Но душу мне она зажгла:
Чтоб волен был хоть в гробе он.
«В темнице (мнил я) мертвых сон
Не тих...» Но был ответ слезам
Холодный смех; и брат мой там
В сырой земле тюрьмы зарыт,
И в головах его висит
Пук им оставленных цепей:
Убийца достойный мавзолеей.

VIII

Но он — наш милый, лучший цвет,
Наш ангел с колыбельных лет,
Сокровище семьи родной,
Он — образ матери душой
И чистой прелестью лица,

Мечта любимая отца,
Он — для кого я жизнь щадил,
Чтоб он бодрей в неволе был,
Чтоб после мог и волен быть...
Увы! он долго мог сносить
С младенческого тишиной,
С терпеньем ясным жребий свой;
Не я ему — он для меня
Подпорой был... Вдруг день от дня
Стал упадать, ослабевал,
Грустил, молчал и молча вял.
О боже! боже! страшно зреть,
Как силится преодолеть
Смерть человека... я видал,
Как ратник в битве погибал;
Я видел, как пловец тонул
С доской, к которой он прильнул
С надеждой гибнущей своей;
Я зрел, как издыхал злодей
С свирепой дикостью в чертах,
С богохуленьем на устах,
Пока их смерть не заперла;
Но там был страх — здесь скорбь была,
Болезнь глубокая души.
Смирненным ангелом, в тиши,
Он гас, столь кротко-молчалив,
Столь безнадежно-терпелив,
Столь грустно-томен, нежно-тих,
Без слез, лишь помня о своих
И обо мне... Увы! он гас,
Как радуга, пленяя нас,
Прекрасно гаснет в небесах;
Ни вдоха скорби на устах;
Ни ропота на жребий свой;
Лишь слово изредка со мной
О наших прошлых временах,
О лучших будущего днях,
Об упованье... но, облят
Сей тратой, горшею из трат,
Я был в свирепом забвении.
Вотще, кончаясь, он свои
Терзанья смертные скрывал...
Вдруг реже, трептнее стал
Дышать, и вдруг умолкнул он...
Молчаньем страшным пробужден,
Я вслушиваюсь... тишина!
Кричу, как бешеный... стена
Откликнулась... и умер гул...
Я цепь отчаянно рванул
И вырвал... К брату... Брата нет!
Он на столбе — как вешний цвет,
Убитый хладом — предо мной
Висел, с поникшей головой.
Я руку тихую поднял;
Я чувствовал, как исчезал
В ней след последней теплоты;
И мнилось, были отняты

Все силы у души моей;
Все страшно вдруг сперлося в ней;
Я дико по тюрьме бродил —
Но в ней покой ужасный был,
Лишь веял от стены сырой
Какой-то холод гробовой;
И, взор на мертвого вперив,
Я знал лишь смутно, что я жив.
О! сколько муки в знанье том,
Когда мы тут же узнаем,
Что милому уже не быть!
И миг сей мог я пережить!
Не знаю — вера ль то была,
Иль холодность к жизни жизнь спасла?

IX

Но что потом сбылось со мной —
Не помню... свет казался тьмой,
Тьма — светом; воздух исчезал;
В оцепенении стоял,
Без памяти, без бытия,
Меж камней холодных камнем я;
И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне;
Все в мутную слилось тень;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей:
То было — тьма без темноты;
То было — бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой.

X

Вдруг луч внезапный посетил
Мой ум... то голос птички был.
Он умолкал; он снова пел;
И мнилось, с неба он летел;
И был утешно-сладок он.
Им очарован, оживлен,
Заслушавшись, забылся я,
Но ненадолго... мысль моя
Стезей привычною пошла,
И я очнулся... и была
Опять передо мной тюрьма,
Молчанье то же, та же тьма;
Как прежде, бледною струей

Прокрадывался луч дневной
В стенную скважину ко мне...
Но там же, в свете, на стене
И мой певец воздушный был;
Он трепетал, он шевелил
Своим лазоревым крылом;
Он озарен был ясным днем;
Он пел приветно надо мной...
Как много было в песне той!
И все то было про меня!
Ни разу до того я дня
Ему подобного не зрел;
Как я, казалось, он скорбел
О брате и покинут был;
И он с любовью навестил
Меня тогда, как ни одним
Уж сердцем не был я любим;
И в сладость песнь его была:
Душа неволью ожила.
Но кто ж он сам был, мой певец?
Свободный ли небес жилец?
Или, недавно от цепей,
По случаю к тюрьме моей,
Играя в небе, залетел
И о свободе мне пропел?
Скажу ль?.. Мне думалось порой,
Что у меня был не земной,
А райский гость; что братний дух
Порадовать мой взор и слух
Примчался птичкою с небес...
Но утешитель вдруг исчез;
Он улетел в сиянье дня...
Нет, нет, то не был брат... меня
Покинуть так не мог бы он,
Чтоб я, с ним дважды разлучен,
Остался вдвое одинок,
Как труп меж гробовых досок.

XI

Вдруг новое в судьбе моей:
К душе тюремных сторожей
Как будто жалость путь нашла;
Дотоле их душа была
Бесчувственной желез моих,
И что разжалобило их,
Что милость вымолило мне,
Не знаю... но опять к стене
Уже прикован не был я;
Оборванная цепь моя
На шее билася моей;
И по тюрьме я вместе с ней
Вдоль стен, кругом столбов, бродил
Не смея братних лишь могил
Дотронуться моей ногой,
Чтобы последняя земной
Святыни там не оскорбить.

XII

И мне оковами прорыть
Ступени удалось в стене;
Но воля не входила мне
И в мысли... я был сирота,
Мир стал чужой мне, жизнь пуста,
С тюрьмой я жизнь сдружил мою:
В тюрьме я всю свою семью,
Все, что знал, все, что любил,
Невозвратно схоронил,
И в области веселой дня
Никто уж не жил для меня;
Без места на пиру земном,
Я был бы лишний гость на нем,
Как облако при ясном дне,
Потерянное в вышине
И в радостных его лучах
Ненужное на небесах...
Но мне хотелось бросить взор
На красоту знакомых гор,
На их утесы, их леса,
На близкие к ним небеса.

XIII

Я их увидел — и оне
Все были те ж: на вышине
Веков создание — снега,
Под ними Альпы и луга,
И бездна озера у ног,
И Роны блещущий поток
Между зеленых берегов;
И слышен был мне шум ручьев,
Бегущих, бьющих по скалам;
И по лазоревым водам
Сверкали ясны облака;
И быстрый парус челнока
Между небес и вод летел;
И хижины веселых сел,
И кровы светлых городов
Сквозь пар мелькали вдоль берегов...
И я заметил островок:
Прекрасен, свеж, но одинок
В пространстве был он голубом;
Цвели три дерева на нем,
И горный воздух веял там
По мураве и по цветам,
И воды были там живей,
И обвивались нежней
Кругом родных берегов оне,
И видел я: к моей стене

Челнок с пловцами приставал,
Гостил у берега, отплывал
И, при свободном ветерке
Летя, скрывался вдалеке;
И в облаках орел играл,
И никогда я не видал
Его столь быстрым — то к окну
Спускался он, то в вышину
Взлетал — за ним душа рвалась;
И слезы новые из глаз
Пошли, и новая печаль
Мне жала грудь... мне стало жаль
Моих покинутых цепей.
Когда ж на дно тюрьмы моей
Опять сойти я должен был —
Меня, казалось, обхватил
Холодный гроб; казалось, вновь
Моя последняя любовь,
Мой милый брат передо мной
Был взят несутью землей;
Но как ни тяжело ныла грудь —
Чтоб от страданья отдохнуть,
Мне мрак тюрьмы отрадой был.

XIV

День приходил, день уходил,
Шли годы — я их не считал;
Я, мнилось, память потерял
О переменах на земли.
И люди, наконец, пришли
Мне волю бедную отдать.
За что и как? О том узнать
И не помыслил я — давно
Считать привык я за одно:
Без цепи ль я, в цепи ль я был,
Я безнадежность полюбил;
И им я холодно внимал,
И равнодушно цепь скидал,
И подземелье стало вдруг
Мне милой кровлей... там все друг,
Все однодomeц было мой:
Паук темничный надо мной
Там мирно ткал в моем окне;
За резвой мышью при луне
Я там подсматривать любил;
Я к цепи руку приучил;
И... столь себе неверны мы! —
Когда за дверь своей тюрьмы
На волю я перешагнул —
Я о тюрьме своей вздохнул.

Б Е Ц О

1

Известен всем (невежд мы обойдем)
Веселый католический обычай
Гулять во-всю перед святым постом,
Рискуя стать лукавому добычей.
Грехи смелей, чтоб каяться потом!
Без ранговых различий и приличий
Всё испытать спешат и стар и млад:
Любовь, обжорство, пьянство, маскарад.

2

Когда сгустится ночь под небосклоном
(Чем гуще тьма, тем лучше, господа!).
Когда скучней супругам, чем влюбленным,
И нет у целомудрия стыда,
Тогда своим жрецам неугомонным
Веселье отдается без труда.
Визг, хохот, пенье, скрипки и гитары,
И нежный вздох целующейся пары.

3

Вот маски: турок, янки-дудль, еврей,
Калейдоскоп невиданных уборов,
Лент, серпантина, блесок, фонарей,
Костюмы сряпчих, воинов, актеров —
Все, что угодно прихоти твоей,
Все надевай без дальних разговоров,
И только рясу — боже сохрани! —
Духовных, вольводумец, не дразни.

4

Уж лучше взять крапиву для кафтана,
Чем допустить хотя б один стежок,
Которым оскорбилась бы сутана,—
Тогда ты не отшутисься, дружок,
Тебя на угли кинут, как барана,
Чтоб адский пламень ты собой разжег,—
И по душе, попавшей в когти к бесу,
Лишь за двойную мзду отслужат мессу.

5

Но кроме ряс, пригодно все, что есть,—
От королевских мантий до ливреи,
Что можно с местной Монмут-стрит унести.
Для воплощенья праздничной затеи;
Подобных «стрит» в Италии не счесть,
И лишь названья мягче и звучнее.
Из площадей английских словом «пьяцца»
Лишь Ковент-Гарден вправе называться.

6

Итак, пред нами праздник, карнавал.
«Прощай, мясное!» — смысл его названья.
Предмет забавно с именем совпал:
Потом надолго рыба — гвоздь питанья.
Чем объяснить — я прежде сам не знал —
Перед постом такие возлиянья?
Но так друзья, прощаясь, пьют вино,
Пока свистка к отплытью не дано.

На сорок дней прости-прощай, мясное!
 О, где рагу, бифштекс или паштет!
 Все рыбное, да и притом сухое;
 И тот, кто соус любит с детских лет,
 Подчас со зла загнет словцо такое,
 Каких от музыки ввек не слышал свет,
 Хотя и склонен к ним британец бравад,
 Привыкший рыбу уснащать приправой.

8

К несчастью, вас в Италию влечет,
 И вы уже готовы сесть в каюту.
 Отправьте ж друга иль жену вперед,
 Пусть завернут в лавчонку на минуту,
 И, если уж отплыл ваш пакетбот,
 Пускай пошлют вдогонку, по маршруту,
 Чилийский соус, перец, тмин, кетчуп.
 Иль в дни поста вы превратитесь в труп.

9

Таков совет питомцу римской веры,—
 Пусть римлянином в Риме будет он.
 Но протестанты — вы, о леди, сэры,
 Для вас поститься вовсе не закон.
 Вы только иностранцы, форестьеры,
 Так поглощайте мясо без препон
 И за грехи ступайте к черту в лапы!
 Увы, я груб, но это кодекс папы.

10

Из городов, справлявших карнавал,
 Где в блеске расточительном мелькали
 Мистерия, веселый танец, бал,
 Арлекинады, мимы, пасторали
 И многое, чего я не назвал,—
 Прекраснейшим Венецию считали.
 Тот шумный век, что мною здесь воспет,
 Еще застал ее былой расцвет.

11

Венецианка хороша донныне:
 Глаза как ночь, крылатый взлет бровей,
 Прекрасный облик эллинской богини.
 Дразнящий кисть мазилки наших дней.
 У Тициана на любой картине
 Вы можете найти подобных ей
 И, увидав такую на балконе,
 Узнаете, с кого писал Джорджоне,

Соединивший правду с красотой.
 В дворце Манфрини есть его творенье:
 Картин прекрасных много в зале той,
 Но равных нет по силе вдохновенья.
 Я не боюсь увлечься похвалой,
 Я убежден, что вы того же мненья.
 На полотне — художник, сын. жена,
 И в ней сама любовь воплощена.

13

Любовь не идеальная — земная,
 Не образ отвлеченной красоты,
 Но близкий нам — такой была живая,
 Такими были все ее черты.
 Когда бы мог — ее, не рассуждая,
 Купил, украл, забрал бы силой ты...
 Она ль тебе пригрезилась когда-то?
 Мелькнула — и пропала без возврата.

14

Она была из тех, чей образ нам
 Является неведомый, нежданый,
 Когда мы страстным преданы мечтам
 И каждая нам кажется желанной,
 И, вдруг воспламеняясь, по пятам
 Мы следуем за нимфой безымянной,
 Пока она не скрылась навсегда,
 Как меж Плеяд погасшая звезда.

15

Я говорю, таких писал Джорджоне,
 И прежняя порода в них видна.
 Они всего милее на балконе
 (Для красоты дистанция нужна),
 Они прелестны (вспомните Гольдони)
 И за нескромным жalousи окна.
 Красоток тьма, — без мужа иль при муже, —
 И чем они кокетливей, тем хуже.

16

Добра не будет: взгляд рождает вздох,
 Ответный вздох — надежду и желанье.
 Потом Меркурий, безработный бог,
 За медный скудо ей несет посланье,
 Потом сошлись, потом застал врасплох
 Отец иль муж, проведав, где свиданье.
 Крик, шум, побег, и вот любви тропа:
 Разбиты и сердца и черепа.

Мы знаем, добродетель Деэдемоны
От клеветы бедняжку не спасла.
До наших дней от Рима до Вероны
Случаются подобные дела.
Но изменились нравы и законы,
Не станет муж душить жену со зла
(Тем более — красотку), коль за нею
Ходить, как тень, угодно чичисбею.

Да, он ревнует, но не так, как встарь,
А вежливей — не столь остервенело.
Убить жену? Он не такой дикарь,
Как этот черный сатана Отелло,
Заливший кровью брачный свой алтарь.
Из пустылков поднять такое дело!
Не лучше ли, в беде смирясь душой,
Жениться вновь иль просто жить с чужой!

Вы видели гондолу, без сомненья.
Нет? Так внимайте перечню примет:
То крытый челн, легки его движенья,
Он узкий, длинный, крашен в черный цвет.
Два гондольера в такт, без напряженья,
Ведут его, — и ты глядишь им вслед,
И мнится, лодка с гробом проплывает.
Кто в нем, что в нем — кто ведает, кто знает?

И день-деньской снует бесшумный рой,
И в час ночной его бы вы застали.
То под Риальто пролетят стрелой,
То отразятся в медленном канале,
То ждут разъезда сумрачной толпой,
И часто смех под обликом печали,
Как в тех каретах скорбных, утаен,
В которых гости едут с похорон.

Но ближе к делу! Лет тому не мало,
Да и не много — сорок — пятьдесят,
Когда все пело, пило и плясало,
Явилась поглядеть на маскарад
Одна синьора. Мне бы надлежало
Знать имя, но, увы, лишь наугад,
И то, чтоб ладить с рифмой и цезурой,
Могу назвать красавицу Лаурой.

Она, хоть уж была немолода,
Еще в известный возраст не вступила,
Покрытый неизвестностью всегда.
Кому и где, какая в мире сила
Открыть его поможет, господа?
Известный возраст тайна окружила.
Он так в известном окрещен кругу,
Но невпопад — я присягнуть могу.

Лаура время проводить умела,
И время было благосклонно к ней.
Она цвела — я утверждаю смело,
Вы лет ее никак не дали б ей.
Она везде желанной быть хотела,
Боясь морщин, не хмурила бровей,
Всем улыбалась и лукавым взором
Мутила кровь воинственным синьорам.

При ней был муж — всегда удобен брак.
У христиан ведь правило такое:
Прощать замужним их неверный шаг,
Зато бесчестить незамужних вдвое.
Скорей же замуж, если что не так, —
Хоть средство не из легких, но простое.
А коль греха не скрыла от людей,
Так сам господь помочь не сможет ей.

Муж плавал по морям. Когда ж, бывало,
Вернувшись, он вблизи родной земли
По сорок дней томился у причала,
Где карантин проходят корабли,
Жена частенько у окна стояла,
Откуда рейд ей виден был вдали.
Он был купец и торговал в Алеппо.
Звался Джузеппе, или просто Беппо.

Он человек был добрый и простой,
Сложенем, ростом — образец мужичин.
Напоминал испанца смуглотой
И золотым загаром цвета глины,
А на морях — заправский волк морской.
Жена его — на всё свои причины —
Хоть с виду легкомыслена была,
Особой добродетельной слыла.

Но лет уж пять, как он с женой расстался.
Одни твердили — он пошел ко дну,
Другие — задолжал и промотался
И от долгов удрал, забыв жену.
Иной уж бился об заклад и клялся,
Что не вернется он в свою страну,—
Ведь об заклад побиться все мы прытки,
Пока не образумят нас убытки.

28

Прощание супружеской четы
Необычайно трогательно было.
Так все «прости» у роковой черты
Звучат в сердцах пророчески-уныло
(И эти чувства праздны и пусты,
Хоть их перо поэтов освятило).
В слезах склонил колени перед ней
Дидону покидающий Эней.

29

И год ждала она, горюя мало,
Но вдруг себя представила вдовой,
Чуть вовсе аппетит не потеряла,
И невтерпеж ей стало спать одной.
Коль ветром с моря ставни сотрясало,
Казалось ей, что воры за стеной
И что от скуки, страха или стужи
Теперь спасенье только в вице-муже.

30

Красавицы кого ни изберут,
Им не перечь — ведь женщины упрямы.
Она нашла, отвергнув общий суд,
Поклонника из тех — мы будем прямы,—
Кого хлыщами светскими зовут.
Их очень любят, хоть ругают дамы.
Заезжий граф, он был красив, богат,
И не дурак пожить, как говорят.

31

Да, был он граф, знаток балета, скрипки,
Стиха, владел французским языком,
Болтал и на тосканском без ошибки,
А всем ли он в Италии знаком?
Арбитром был в любой журнальной сшибке,
Судил театр, считался остряком,
И «seccatura!»¹ графское бывало
Любой премьере вестником провала.

¹ Скука (итал.)

Он крикнет «браво», и весь первый ряд
Уж хлопает, а критики — ни слова.
Услышит фальшь — и скрипачи дрожат,
Косясь на лоб, нахмуренный сурово.
Проронит «фи» и кинет строгий взгляд,
И примадонна зарыдать готова,
И молит бас, бледнее мела став,
Чтобы сквозь землю провалился граф.

33

Он был импровизаторов патроном,
Играл, и пел, и в рифмах был силен.
Рассказчик, славу делавший салонам,
Плясал, как истый итальянец, он
(Хоть этот их венец, по всем законам,
Не раз бывал французам присужден).
Средь кавальеро первым быть умел,
Он стал героем своего лакея.

34

Он влюбчив был, но верен. Он не мог
На женщину глядеть без восхищенья.
Хоть все они сварливы, есть грешок,
Он их сердцам не причинял мученья.
Как воск податлив, но как мрамор строг,
Он сохранял надолго увлеченья
И, по законам добрых старых дней,
Был тем верней, чем дама холодней.

35

В такого долго ль женщине влюбиться,
Пускай она бесстрашна, как мудрец!
Надежды нет, что Беппо возвратится,
Как ни рассудишь — он уже мертвец.
И то сказать: не может сам явиться,
Так весточку прислал бы наконец!
Нет, муж когда не пишет, так, поверьте,
Он или умер, иль достоин смерти.

36

Притом южнее Альп уже давно,—
Не знаю, кто был первым в этом роде! —
В обычаи двоемужье введено,
Там cavalier servente² в обиходе,

² Услужливый кавалер, чичисбей (итал.).

И никому не странно, не смешно.
Хоть это грех, но кто перечит моде!
И мы, не осуждая, скажем так:
В законном браке то внебрачный брак.

37

Когда-то было слово *cicisbeo*¹.
Но этот титул был бы ныне дик.
Испанцы называют их *cortejo*²,
Обычай и в Испании проник.
Он царствует везде, от По до Тахо³,
И может к нам перехлестнуться вмиг.
Но сохрани нас бог от этой моды,—
Пойдут суды, взыскания, разводы.

38

Замечу кстати: я питаю сам
К девицам и любовь и уваженье,
Но в *tête-à-tête*⁴ ценю я больше дам,
Да и во всем отдам им предпочтенье,
Причем ко всем народам и краям
Относится равно мое сужденье:
И знают жизнь и держатся смелей,
А нам всегда естественность милей.

39

Хоть мисс, как роза, свежестью сверкает,
Но неловка, дрожит за каждый шаг,
Пугливо-строгим видом вас пугает,
Хихикает, краснеет, точно рак.
Чуть что, смутясь, к мамаше убегает,
Мол, я, иль вы, иль он ступил не так.
Все отдает в ней нянькиным уходом,
Она и пахнет как-то бутербродом.

40

Но *cavalier servente* — кто же он?
Свет очертил границы этой роли.
Он быть рабом сверхштатным обречен,
Он вещь, он часть наряда, но не боле,
И слово дамы для него — закон.
Тут не ленись, для дел большое поле.
Слугу, карету, лодку подзывай,
Перчатки, веер, зонтик подавай.

¹ Чичисбей (итал.).

² Кортехо, любовник (испан.).

³ Тахо (испан.).

⁴ С глазу на глаз (франц.).

Но пусть грешит Италия по моде!
Прощаю все пленительной стране,
Где солнце каждый день на небосводе,
Где виноград не лепится к стене,
Но пышно, буйно вьется на свободе,
Как в мелодрамах, верных старине,
Где в первом акте есть балет — и задник
Изображает сельский виноградник.

42

Люблю в осенних сумерках верхом
Скакать, не зная, где мой плащ дорожный —
Забыв или у грума под ремнем
(Ведь в Англии погоды нет надежной!).
Люблю я встретить на пути своем
Медлительный, скрипучий, осторожный,
Доверху полный сочных гроздий воз
(У нас то был бы мусор иль навоз).

43

Люблю я винноградника-птицу,
Люблю закат у моря, где восход
Не в мути, не в тумане возгорится,
Не мокрым глазом пьяницы блеснет,
Но где заря, как юная царица,
Взойдет, сияя, в синий небосвод,
Где дню не нужен свет свечи заемный,
Как там, где высь коптит наш Лондон темный.

44

Люблю язык! Латыни гордый внук,
Как нежен он в признаньях сладострастных!
Как дышит в нем благоуханный юг!
Как сладок звон его певучих гласных!
Не то что наш, рожденный в царстве выюг
И полный звуков тусклых и неясных,—
Такой язык, что, говоря на нем,
Мы харкаем, свистим или плюем.

45

Люблю их женщин — всех, к чему таиться!
Люблю крестьянок — бронзу смуглых щек,
Глаза, откуда брызжет и струится
Живых лучей сияющий поток.
Синьор люблю — как часто взор мне снится,
Чей влажный блеск так нежен и глубок.
Их сердце — на устах, душа — во взоре,
Их солнце в нем, их небеса и море.

Италия! Не ты ль эдем земной!
И не твоей ли Евой вдохновенный
Нам Рафаэль открыл предел иной!
Не на груди ль прекрасной, упоенный,
Скончался он! Недаром даже твой —
Да, твой язык, богами сотворенный,
И он бессилен передать черты
Доступной лишь Канове красоты!

Хоть Англию клянет душа поэта,
Ее люблю, — так молвил я в Кале. —
Люблю болтать с друзьями до рассвета,
Люблю в журналах мир и на земле.
Правительство люблю я (но не это),
Люблю закон (но пусть лежит в столе),
Люблю парламент и люблю я пренья,
Но не люблю я преть до одуренья.

Люблю я уголь, по недорогой,
Люблю налоги, только небольшие,
Люблю бифштекс, и все равно какой, —
За кружкой пива я в своей стихии.
Люблю (не в дождь) гулять часок-другой,
У нас в году два месяца сухие.
Клянусь регенту, церкви, королю,
Что даже их, как все и вся, люблю.

Налог на нищих, долг национальный,
Свой долг, реформу, обедневший флот,
Банкротов списки, вой и свист журнальный
И без свободы множество свобод,
Холодных женщин, климат наш печальный
Готов простить, готов забыть их гнет,
И нашу славу чтить — одно лишь горе:
От всех побед не выиграли б тори!

Но что ж Лаура? Уверяю вас,
Мне, как и вам, читатель, надоело
От темы отклоняться каждый раз.
Вы рады ждать, но все ж не без предела,
Вам досадил мой сбивчивый рассказ!
До авторских симпатий нет вам дела,
Вы требуете смысла наконец,
И вот где в затруднении певец!

Когда б легко писал я, как бы стало
Легко меня читать! В обитель муз
Я на Парнас взшел бы и немало
Скропал бы строф на современный вкус.
Им публика тогда б рукоплескала,
Герой их был бы перс или индус,
Ориентальность я б, согласно правил,
В сентиментальность Запада оправи.

Но, старый денди, мелкий рифмоплет,
Едва-едва я по ухабам еду.
Чуть что — в словарь, куда мой перст ни
ткнет,
Чтоб взять на рифму стих мой непоседу.
Хорошей нет — плохую в оборот,
Пусть критик сзади гонится по следу!
С натуги я до прозы пасть готов,
Но вот беда: все требуют стихов.

Граф завязал с Лаурой отношенья.
Шесть лет (а это встретишь не всегда)
Их отношенья длились без крушенья,
Текли чредою схожею года.
Одна лишь ревность, в виде исключенья,
Разлад в их жизнь вносила иногда,
Но смертным, от вельможи до бродяги,
Всею суждены такие передраги.

Итак, любовь им счастье принесла,
Хоть вне закона счастья мы не знаем.
Он был ей верен, а она цвела,
Им в сладких узах жизнь казалась раем.
Свет не судил их, не желал им зла.
«Чорт вас возьми!» — сказал один ханжа им
Вослед, но чорт не взял: ведь чорту впрок,
Коль старый грешник юного завлек.

Еще жила в них юность. Страсть уныла
Без юности, как юность без страстей.
Дары небес: веселье, бодрость, сила,
Честь, правда — все, все в юности сильней.
И с возрастом, когда уж кровь остыла,
Лишь одного не гасит опыт в ней,
Лишь одного, — вот отчего, быть может,
Холостяков и старых ревность гложет.

Был карнавал. Строф тридцать шесть назад
 Я уж хотел заняться сим предметом.
 Лаура, надевая свой наряд,
 Вертелась три часа пред туалетом,
 Как вертится, идя на маскарад,
 И вы, читатель, я уверен в этом.
 Различие нашлось бы лишь одно:
 Им шесть недель для праздника дано.

Принарядясь, Лаура в шляпке новой
 Собой затмить могла весь женский род,
 Свежа, как ангел с карточки почтовой,
 Или кокетка с той картинки мод,
 Что нам журнал, диктатор наш суровый,
 На титуле изящно подает
 Под фольгой — чтоб раскрашенному платью
 Не повредить линияющей печатью.

Они пошли в Ридотто. Это зал,
 Где пляшут все, едят и пляшут снова.
 Я б маскарадом сборище назвал,
 Но сути дела не меняет слово.
 Зал — точно Воксхолл наш, и только мал
 Да зонтика не нужно дождевого.
 Там смешанная публика. Для вас
 Она низка, и не о ней рассказ.

Ведь «смешанная» — должен объясниться, —
 Откинув вас да избранных персон,
 Что снизойдут друг другу поклониться,
 Включает разный сброд со всех сторон.
 Всегда в местах общественных теснятся,
 Презренье высших презирает он,
 Хотя зовет их «светом» по привычке.
 Я, зная свет, дивлюсь подобной кличке.

Так — в Англии. Так было в те года,
 Когда блистали денди там впервые.
 Тех обезьян сменилась черед,
 И с новых обезьянат уж другие.
 Тираны мод — померкла их звезда!
 Так меркнет все: падут цари земные —
 Любви ли бог победу им принес,
 Иль бог войны, иль попросту мороз.

Полночный Тор обрушил тяжкий молот,
 И Бонапарт в расцвете сил погас.
 Губил французов лютый русский холод,
 Как синтаксис французский губит нас.
 И вот герой, терпя и стыд и голод,
 Фортуну проклял в тот ужасный час
 И поступил весьма неосторожно:
 Фортуну чтить должны мы непременно.

Судьба народов ей подчинена,
 Вверяют ей и брак и лотерею.
 Мне редко благосклонствует она,
 Но все же я хулить ее не смею.
 Хоть в прошлом предо мной она грешна,
 И с той поры должен еще за нею,
 Я голову богине не дурю,
 Лишь, если есть за что, благодарю.

Но я опять свернул — да ну вас к богу!
 Когда ж я впрямь рассказывать начну?
 Я взял с собой такой размер в дорогу,
 Что с ним теперь мой стих ни тпру, ни ну
 Веди его с оглядкой, понемногу,
 Не сбей строфу! Ну вот я и тяну.
 Но если только доползти сумею,
 С октавой впрядь я дела не имею.

Они пошли в Ридотто. (Я как раз
 Туда отправлюсь завтра. Там забуду
 Печаль мою, рассею хоть на час
 Тоску, меня гнетущую повсюду.
 Улыбку уст, огонь волшебных глаз
 Угадывать под каждой маской буду,
 А там, бог даст, найдется и предлог,
 Чтоб от тоски укрыться в уголок.)

И вот среди пар идет Лаура смело.
 Глаза блестят, сверкает смехом рот.
 Кивнула тем, пред этими присела,
 С той шепчется, ту под руку берет.
 Ей жарко здесь, она б воды хотела!
 Граф лимонад принес — Лаура пьет
 И взором всех критически обводит,
 Своих подруг ужасными находит.

У той румянец желтый, как шафран,
 У той коса, конечно, накладная,
 На третьей — о, безвкусица! — тюрбан,
 Четвертая — как кукла заводная.
 У пятой прыщ и в талии изъян.
 А как вульгарна и глупа шестая!
 Седьмая... Хватит! Надо знать и честь!
 Как духов Банко, их не перечесть.

Пока она соседок изучала,
 Кой-кто мою Лауру изучал,
 Но жадных глаз она не замечала,
 Она мужских не слушала похвал.
 Все дамы злились, да! Их возмущало,
 Что вкус мужчин так нестерпимо пал.
 По сильный пол — о, дерзость, как он смеет! —
 И тут свое суждение имеет.

Я, право, никогда не понимал,
 Что нам в таких особах, — но об этом
 Молчок! Ведь это для страны скандал,
 И слово тут никак не за поэтом.
 Вот если б я витией грозным стал
 В судейской тоге, с цепью и с берстом,
 Я б их громил, не пропуская дня, —
 Пусть Вильберфорс цитирует меня!

Пока в беседе весело и живо
 Лаура светский расточала вздор,
 Сердились дамы (что совсем не диво!),
 Соперницу честил их дружный хор.
 Мужчины к ней теснились молчаливо
 Иль, поклонясь, вступали в разговор,
 И лишь один, укрывшись за колонной,
 Следил за нею, как замороженный.

Красавицу, хотя он турок был,
 Немой любви сперва пленили знаки.
 Ведь туркам женский пол куда как мил,
 И так завидна жизнь турчанок в браке!
 Там женщины покупают, как кобыл,
 Живут они у мужа, как собаки:
 Две пары жен, наложниц миллион,
 Все взаперти, и это все — закон!

Чадра, гарем, под стражей заточенье,
 Мужчинам вход строжайше воспрещен.
 Тут смертный грех любое развлеченье,
 Которых тьма у европейских жен.
 Муж молчалив и деспот в обращенье,
 И что же разрешает им закон,
 Когда от скуки некуда деваться?
 Любить, кормить, купаться, одеваться.

Здесь не читают, не ведут бесед
 И споров, посвященных модной теме,
 Не обсуждают оперу, балет
 Иль слог в недавно вышедшей поэме.
 Здесь на ученье строгий лег запрет,
 Зато и «синих» не найдешь в гареме
 И не влетит наш Бозерби сюда,
 Крича: «Какая новость, господа!»

Здесь важного не встретишь рыболова,
 Который удит славу с юных дней,
 Поймает похвалы скупое слово
 И вновь удить кидается скорей.
 Все тускло в нем, все с голоса чужого.
 Домашний лев! Юпитер пескарей!
 Среди ученых дам себя нашедший
 Пророк юнцов, короче — сумасшедший.

Меж синих фурий он синее всех,
 Он среди них в арбитах вкуса ходит.
 Хулой он злит, надменный пустобрех,
 Но похвалой он из себя выводит.
 Живьем глотает жалкий свой успех,
 Со всех языков мира переводит,
 Хоть понимать их не сподобил бог,
 Посредствен так, что лучше был бы плох.

Когда писатель — только лишь писатель,
 Сухарь чернильный, право, он смешон.
 Чванлив, ревнив, завистлив — о создатель!
 Последнего хлыща ничтожней он.
 Что делать с этой тварью, мой читатель?
 Надуть мехами, чтобы лопнул он!
 Исчерканный клочок бумаги писчей,
 Ночной огарок — вот кто этот нищий!

Конечно, есть и те, кто рождены
 Для шума жизни, для большой арены,
 Есть Мур, и Скотт, и Роджерс — им нужны
 Не только их чернильница и стены.
 Но эти — «мощной матери сыны»,
 Что не годятся даже в джентльмены,
 Им лишь бы чайный стол, их место там,
 В парламенте литературных дам.

О бедные турчанки! Ваша вера
 Столь мудрых не впускает к вам персон.
 Такой бы напугал вас, как холера,
 Как с минарета колокольный звон.
 А не послать ли к вам миссионера
 (То шаг на пользу, если не в урон!),
 Писателя, что вас научит с богом
 Вести беседу христианским слогом.

Не ходит метафизик к вам вешать,
 Иль химик — демонстрировать вам газы,
 Не пичкает вас бреднями печать,
 Не стряпает о мертвецах рассказы,
 Чтобы живых намеками смущать;
 Не водят вас на выставки, показы,
 Или на крышу — мерить небосклон.
 Тут, слава богу, нет ученых жен!

Вы спросите, зачем же «слава богу». —
 Вопрос интимный, посему молчу.
 Но, обратившись к будничному слогу,
 Биографам резон мой сообщу.
 Я стал ведь юмористом понемногу —
 Чем старше, тем охотнее шучу.
 Но что ж, — смеяться лучше, чем браниться,
 Хоть после смеха в душу скорбь теснится.

О детство! Радость! Молоко! Вода!
 Счастливых дней счастливый избыток!
 Иль человек забыл вас навсегда
 В ужасный век разбоя, казней, пыток?
 Нет, пусть ушло былое без следа,
 Люблю и славлю дивный тот напиток!
 О царство леденцов! Как буду рад
 Шампанским твой отпраздновать возврат!

Наш турок, глаз с Лауры не спуская,
 Глядел, как самый христианский фат:
 Мол, будьте благодарны, дорогая,
 Коль с вами познакомиться хотят.
 И, спору нет, сдалась бы уж другая,
 Ведь их всегда волнует дерзкий взгляд.
 Но не Лауру, женщину с закалкой,
 Мог взять нахальством чужестранец жалкий.

Меж тем восток светлеть уж начинал.
 Совет мой дамам, всем без исключенья:
 Как ни был весел и приятен бал,
 Но от бесед, от танцев, угощенья
 Чуть свет бегите, покидайте зал,
 И сохрани вас бог от искушенья
 Остаться — солнце всходит, и сейчас
 Увидят все, как бледность портит вас!

И сам когда-то с пира или бала
 Не уходил я, каюсь, до конца.
 Прекрасных женщин видел я немало
 И дев, пленявших юностью сердца.
 Следил — о время! — кто из них блистала
 И после ночи свежестью лица.
 Но лишь одна, взлетев с последним танцем,
 Одна могла смутить восток румянцем.

Не назову красавицы моей,
 Хоть мог бы: ведь прелестное создание
 Лишь мельком я встречал, среди гостей.
 Но страшно за нескромность порицанье,
 И лучше имя скрыть, а если к ней
 Вас повлекло внезапное желанье —
 Скорей в Париж, на бал! — и здесь она,
 Как в Лондоне, с зарей цветет одна.

Лаура превосходно понимала,
 Что значит отплясать, забыв про сон,
 Ночь напролет в толпе и в шуме бала.
 Знакомым общим отдала поклон,
 Шаль приняла из графских рук устало,
 И, распрощавшись, оба вышли вон.
 Хотели сесть в гондолу, но едва ли
 Не полчаса гребцов проклятых звали.

Ведь здесь, подстать английским кучерам,
Гребцы всегда не там, не в нужном месте.
У лодок также давка, шум и гам —
Вас так помнут, что лучше к ним не лезьте!
Но дома «бобби» помогает вам,
А этих страж ругает с вами вместе,
И брань стоит такая, что печать
Не выдержит, — я должен замолчать.

Все ж, наконец, усевшись, по каналу
Поплыли граф с Лаурою домой.
Был посвящен весь разговор их балу,
Танцорам, платьям дам и — боже мой! —
Так явно назревавшему скандалу.
Приплыли. Вышли. Вдруг за их спиной —
Как не притти красавице в смятенье! —
Тот самый турок встал, как привиденье.

«Синьор! — воскликнул граф, прищурив глаз. —
Я вынужден просить вас объясниться!
Кто вы? Зачем вы здесь и в этот час?
Быть может... иль ошибка здесь таится?
Хотел бы в это верить — ради вас!
Иначе вам придется извиниться.
Признайте же ошибку, мой совет».
«Синьор! — воскликнул тот, — ошибки нет,

Я муж ее!» Лауру это слово
Повергло в ужас, но известно всем:
Где англичанка пасть без чувств готова,
Там итальянка вздрогнет, а затем
Возденет очи, призовет святого
И вмиг придет в себя — хоть не совсем,
Зато уж без примочек, расшнуровок,
Солей, и спирта, и других уловок.

Она сказала... Что в беде такой
Могла она сказать? Она молчала.
Но граф, мгновенно овладев собой:
«Прошу, войдемте! Право, толку мало
Комедию ломать перед толпой.
Ведь можно все уладить без скандала.
Достоинно, согласитесь, лишь одно:
Смеяться, если вышло так смешно».

Вошли. За кофе сели. Это блюдо
И нехристи и христиане чтут,
Но нам у них бы взять рецепт не худо.
Меж тем с Лауры страх слетел, и тут
Пошло подряд: «Он турок! Вот так чудо!
Беппо! Открой же, как тебя зовут.
А борода какая! Где, скажи нам,
Ты пропадал? А впрочем, верь мужчинам!

Но ты и вправду турок? Говорят,
Вам служат вилкой пальцы. Сколько дали
Там жен тебе в гарем? Какой халат!
А шаль! Как мне идут такие шали!
Смотри! А правда, турки не едят
Свинины? Беппо! С кем вы изменяли
Своей супруге? Боже, что за вид!
Ты желтый, Беппо. Печень не болит?

А бороду ты отрастил напрасно.
Ты безобразен! Эта борода...
На что она тебе? Ах, да, мне ясно:
Тебя пугают наши холода.
Скажи, я постарела? Вот прекрасно!
Нет, Беппо, в этом платье никуда
Ты не пойдешь. Ты выглядишь нелепо!
Ты стриженный! Как поседел ты, Беппо!»

Что Беппо отвечал своей жене —
Не знаю. Там, где камни древней Трои
Почиют ныне в дикой тишине,
Попал он в плен. За хлеб да за побой
Трудился тяжко, раб в чужой стране.
Потом решил померяться с судьбою,
Бежал к пиратам, грабил, стал богат
И хитрым слыл, как всякий ренегат.

Росло богатство, и росло желанье
Вернуться под родимый небосклон.
В чужих краях наскучило скитанье,
Он был там одинок, как Робинзон.
И, торопя с отчизною свиданье,
Облюбовал испанский парус он,
Что плыл на Корфу. То была полакка, —
Шесть человек и добрый груз tobacco ¹.

¹ Табак (итал.).

С мешком монет — где он набрать их мог! —
 Рискуя жизнью, он взошел на судно.
 Он говорит, что бог ему помог.
 Конечно, мне поверить в это трудно,
 Но хорошо, я соглашусь, что бог,
 Об этом спорить, право, безрассудно.
 Три дня держал их штиль у мыса Бон,
 Но все же в срок доплыл до Корфу он.

Сойдя, купцом турецким он назвался,
 Торгующим — а чем, забыл я сам, —
 И на другое судно перебрался.
 Сумев мешок свой погрузить и там.
 Не понимаю, как он жив остался.
 Но факт таков: отплыл к родным краям
 И получил в Венеции обратно
 И дом, и веру, и жену понятно.

Приняв жену, вторично окрещен,
 (Конечно, сделав церкви подношение),
 День проходил в костюме графа он,
 Языческое скинув облачение.
 Друзья к нему сошлись со всех сторон
 Узнав, что он не скуп на угощение,
 Что помнит он историй всяких тьму
 (Вопрос, конечно, верить ли ему).

И в чем бедняге юность отказала,
 Все получил он в зрелые года.
 С женой, по слухам, ссорился немало,
 Но графу стал он другом навсегда.
 Листок дописан, и рука устала.
 Пора кончать. Вы скажете: о да!
 Давно пора, рассказ и так уж длинен.
 Я знаю сам, но я ли в том повинен!

ПРОРОЧЕСТВО ДАНТЕ

*Вечер жизни таинственных полон прозрений,
И грядущих событий к нам тянутся тени.*

Кэмпбелл.

ПРЕДИСЛОВИЕ

При посещении Равенны летом 1819 года автору внушили, что если он писал на тему о заточении Тассо, то должен отозваться и на изгнание Данте; гробница последнего — главнейшая достопримечательность города как для местных жителей, так и для иностранцев.

«На намек я отвечаю» — и результатом является предлагаемая читателю поэма из четырех песен в терцинах. Если ее поймут и одобряют, я намерен дополнить ее новыми песнями и довести до естественного конца — до наших дней. Читатель должен предположить, что Данте обращается к нему в период

между завершением «Божественной комедии» и смертью, незадолго до последней, и пророчествует о судьбах Италии в грядущие века. Разрабатывая этот сюжет, я исходил из пророчеств Кассандры у Ликофрона и Нереея у Горация, а также из библейских. Избранная мною строфа — дантовская терцина, кажется никем еще не применявшаяся в нашем стихосложении, если не считать м-ра Гэйлея, отрывочек из перевода которого я видел в примечаниях к «Калифу Ватену». Таким образом, если не ошибаюсь, поэму можно рассматривать как стихотворный эксперимент...

Песнь первая

Я в бренном мире вновь! Давно был мною он
Покинут и забыт. Опять я бремя тела
Земного чувствую, так рано разлучен

С бессмертной тенью той, что облегчать умела
Земные скорби мне; что в божью твердь меня
Внесла — из темных бездн, которым нет предела,

Где удручал мне слух, рыдая и стена,
Стан осужденных душ, терзаясь в муке вечной,
Из областей иных, светлее, где огня

Вкусивший человек в рой ангелов беспечный
Вступить достоин, в сонм, где Беатриче свой
В дух пролила мне свет, и в сферу бесконечной

Предвечной троицы, единой, всеблагой,
Великой, истинной, таинственной и грозной,
Всемировой души, введен был гость земной

И Славой пощажен, хотя дорогой звездной
Он мчался, чтоб предстать пред лучезарный трон.
О Беатриче! Дери, смягчен росой слезной,

Покрыв твой милый прах под мрамором колонн
Уже давно. Была ты чистым серафимом
Моей любви святой, и, ею озарен,

Я стал для прелестей мирских неуязвимым.
Мы в небе встретились, где без тебя свой брег
Дух мой по сферам бы искал необозримым,

Подобно голубю, что утерял ночлег
И крылья утомил. Без твоего сиянья
Рай был бы для меня несовершен вовек.

С моей десятою весной существованья
Ты стала жизнью мне, любовью, хоть едва
Я это слово знал,— всей сущностью сознанья.

И в старых ты моих глазах досель жива,
Померкших в годы войн гражданских, в дни гонений,
В дни слез (лишь по тебе: для бед — душа мертва,

И не согнут меня под натиском мучений
Тираны-партии и толп безумный хор,
Хоть годы я провел средь распрей и борений —

Бесплодно и теперь лишь мой духовный взор
Летит порой к стенам Флоренции прекрасной,
Сумев преодолеть мглу Апеннинских гор;

Мой град гордился мной; теперь, изгой несчастный,
И смерть слышу не там; и все же никогда
Мой дух не сломится, возвышенный и властный!).

Но солнцу и без туч приходит череда
Зайти. Ложится ночь. Я стар делами, днями
И созерцаньями — и долгие года

С Распадом всех родов встречался я глазами.
Мир отпустил меня, как принял,— в чистоте,
И хоть не наделил ни лавром, ни хвалами,

Я лестью не хотел служить земной тщете.
Лгут люди, время же несет возмездье; может,
Мне имя водрузит оно на высоте,

Хотя не для того был скорбный век мой прожит,
Чтоб список пополнять тех суетных глупцов,
Кто роется в грязи, кого тщеславье гложет,

Кто ловит вздор молвы в разверстость парусов,
Чтоб по болоту плыть, и честью мнит и славой
К завоевателям, к злодеям всех родов

Примкнуть, войдя в реестр истории кровавой.
Я ждал, чтоб город мой был волен и велик!
Флоренция моя! В моей судьбе неправой

Ты — как Ерусалим, над кем сам бог поник
В слезах,— «и все же он не пожелал». Как птица,
Что кличет птенчиков, к тебе стремил я клик,

Тебя к родным крылам зовя,— но разъяриться
Ты предпочла: змеей ты яд влила в меня,
В грудь, где одна жила любовь к тебе, блудница!

Отняв мое добро, ты жертвою огня
Мне предредила стать! Родной страны проклятья,
Как горьки вы тому, кто, взора не клоня,

Рад гибнуть за нее, к ней простерев объятья,
Но смерти от нее не заслужил, как я,—
Все, даже гнев и зло, любя в ней без изъятья!

Быть может, день придет и родина моя
Поймет вину и, вновь гордясь той перстью нищей,
Что по ветру пустить решил ее судья,—

Очаг разрушив мой,— откроет мне кладбище!
Но не попустит бог! Пусть прах мой ляжет там,
Где смерть найдет! Пусть град, где дом мой,— пепе-
лице,

Мне дав дыхание и — злобен и упрям —
Послав меня дышать изгнанием и позором,
Не прикоснется вновь к бунтующим костям.

Мне ль устыженным быть неправым приговором!
Да! Отнял он мой кров, но не получит он
Еще имущество — мой гроб! Он, гневом скорым

И долгой злобою до пят вооружен,
Грудь отвергал, чья кровь лишь для него кипела,
Дух, что испытан был бедой со всех сторон,—

Того, кто странствовал, трудился, бился смело
И гражданином был всем сердцем верным — и,
По гвельфским проискам, был осужден всецело

И казни обречен рукой его судьбы!
Все это — не забыть. Флоренцию сначала
Забудут! Слишком жгут обиды все мои

И раны точат кровь — чтобы душа молчала,
Чтоб мог я все простить, хотя б родной мой град
Успел раскаяться! И все же, хоть немало

Я снес,— к нему, как встарь, любовью я объят .
Из-за тебя, моя голубка Беатриче.
Я с плеч слагаю месть у прежде милых врат

Родного города: превыше всех величий
Там прах твой чистый лег, родной землей покрыт,
Средь града злобного, алкавшего добычи,

Став дароносицей! Твой гроб — вот верный щит
Моим врагам! Хотя, как Марий близ Минтурны
И карфагенских стен разрушенных, обид

И ярости в душе я чую пламень бурный
И жалкого врага впиваю смертный стон,
Да сгинет это все перед твоею урной

И да не будет взор победой ослеплен!
Вот слабость крайняя истерзанного духа,
Что свыше смертных сил несчастьем удручен

И, смертным будучи, одну отраду слуха
Находит: в слове «мечь»! На ложе мне таком
Отрадно спать, и кровь о крови шепчет глухо,

И пробужденье вновь манит обманном сном
О торжестве побед, о том, что враг раздавлен,
Топтавший нас, что Смерть и ужас над врагом

Средь плах пронесется! Да буду я избавлен,
Господь, от дум таких! Тебе я предаю
Всю боль моих обид, *тобой* да обезглавлен

Враг будет мой! Щитом ляг *ты* на грудь мою,
Как прежде был щитом в опасностях, в томленьях,
Среди гражданских бурь, в походах и в бою,

В моих растраченных заботах и мученьях
Из-за Флоренции! К тебе я от нее
Взываю. Я тебя узрел в твоих владеньях

Недавно,— славою сверкал ты, бытиё
Чистейшее; тебя ничье не зрело око,
Но обратить к тебе дозволил ты — мое!

Увы! как тяжело, вернувшись в мир до срока,
Вновь землю чувствовать и все земное с ней:
Ад разложения и низменность порока,

Тоску душевную и бешенство страстей,
Мглу бесконечных дней и мрак ночей бессонных.
Полвека прожито: сплошь кровь: еще мрачней

Остаток малый лет, беспомощных, согбенных,
Без проблеска надежд! Но гнет мой легче стал:
Снеся крушение, я на бесплодных склонах

Скалы Отчаянья, глядя на жадный вал,
Терпя терзания, не звал тоскливым взором
Челн, убегающий от столь ужасных скал,

Не окликал его: кто б вопль мой над простором
Услышал? Чужды мне и век, и человек.
Но, струны лирные настроив стройным хором,

Сложу я песнь! И в ней я сберегу навек
Те смуты мелкие, хотя на них в анналах
Никто б не поглядел из-под суровых век,

Не бальзамируй стих злодейство жалких, малых,
Безжалостных людей! Таков суровый рок
Сердец, подобных мне,— при жизни одичалых

От горестей и мук, борений и тревог,—
Чтоб смерть застала их на ложе одиноком!
А после — тысячи идут со всех дорог,

Теснясь к могиле их, взглянуть единым оком
На прах, от коего остался только звук,
И камню честь воздать, чтоб в отзвуке далеком

(Умершим — неслышна!) звучала слава вкруг.
Моя — мне дорого достанется! Могила —
Ничто, но так тускнеть среди повседневных мук,

Смирная гордый дух, какой влекут светила,
В общенье с мелкими сынами суеты!
Быть зрелищем толпы; как мне судьба судила,

Быть странником,— когда и волк бескит в кусты,
Где выскреб логово,— без родины и дома,
Без дружбы, чьи в душе бальзамы разлиты!

Мне одиночество монаршее знакомо,
Но не знакома власть, какую скинтр дает;
Я стал завистник птиц в туманах окоёма:

Они до Апеннин стремят свободный лёт,
До Арпо; может быть, на град неумолимый
Слетят, где меж детей моих *она* живет,

Вскормившая их мать, мой спутник нелюдимый
И ледяной, что в дар мне гибель принесла...
Все это чувствовать душою, вновь палимой,

Вновь горько созерцать!.. Судьба урок дала
Жестокий мне. И все ж, во мраке безысходном,
Я не искал уйти ползком от власти зла.

Я стал изгнанником, но не рабом: свободным!

Песнь вторая

Дух светопламенный далекого Былого,
Когда с деаньями слова согласно шли
И озаряла мысль для зрения людского

Судьбу праправнуков, встававшую вдали
Над бездною времен и хаосом событий,
Где полу жизнь влачат все образы земли,

Что станут смертными,— пророческих наитий
В жрецов Израиля вдыхавший гневный пыл,
Ты и во мне живешь, высокий дух! Внемлите!

Но гул и гром борьбы мне голос заглушил,
Как было некогда с Кассандрой; средь пустыни
Я вопию — никто и глаз не обратил.

Что ж, их вина! Мой долг я исполнял донныне,
И в том награда мне,— одна, и выше нет!
Италия моя! В крови твои святыни,

И ты сама в крови! Доколе? В безднах лет
Твои грядущие мне озарил несчастья
(Велев мои забыть) могильно-тусклый свет.

Одна есть родина — и к ней хочу припасть я
Еще теперь: мой прах в твоей груди уснет,
А дух мой — в языке, что с древнеримской властью

До атлантических распространился вод.
Но я иную речь тебе создам — певучей,
Стройней, пленительней, в которой расцветет

И жар воинственный, и вздох любви летучий,
Где звук и смысл живут, сливаясь в плавный лад,
Светлей небес твоих, в сверкании созвучий;

В ней гордую мечту поэты воплотят;
Европу ты зальешь раскатом соловьиным;
Любой другой язык, с твоим поставлен в ряд,

Тебе чириканьем покажется, глубинным
Гортанным варварским набором. Твой язык
Тосканским бардом дан, опальным гибеллином,

Кто под твоими же обидами поник!..
О, горе, горе! Взор проник во тьму столетий:
Там годы сонные, еще скрываая лик,

Как темный океан, клубятся в мутном свете
Валами тяжкими, покуда ураган
Еще не тронул их. Но спят на всей планете

Недвижно бури; туч не собран грозный стан;
Землетрясение лежит еще в утробе
Земли, и хаосом еще не обуян

Наш бранный мир. Но рок всё уготовал в злобе;
Стихии — слова ждут его: «Да будет мрак!»
И гробом станешь ты, Италия, и — в гробе!

Да, на тебя свой меч обрушит хищный враг,
Страна прекрасная! Ты возрожденным раем
Сынам адамовым дана, обитель благ,—

Ужели мы тебя вторично утерям?
Лишь солнцем озарен простор твоих полей,
Но ты бы житницей могла стать, тучным краем

Для всех! Твоя лазурь других небес густей,
И в ней созвездия прекраснее, и лето
Воздвигло свой дворец средь пышности твоей!

В тебе Империя, властительница света,
Взросла; в тебе плебей низверг тиранов злых,
Твоя столица, Рим, трофеями одета!

Героев колыбель, святилище святых,
Храм славы ты — сперва земной, потом небесной.
В простор твоих долин маня мечты и стих,

Их убеждаешь ты, что образ твой телесный
Всех грез пленительней. И лишь горячий взгляд
Снега альпийские, скалы стремнины тесной, —

Где сосны дикие смарагдовый наряд
Кидают в ураган, им упиваясь,— минет —
Восторг его пьянит; как бы у райских врат

Он молит милости: его да не отринет
Глубь солнечных долин! Но станет им милей
Жизнь, если твой народ оковы рабства скинет!

А так — любой тиран над волею твоей
Царит; Гот был уже; орд, столь же озверелых,
Жди! Разрушение сонм варварских вождей

На трон посадит твой, разграбив город целый.
Великий гордый Рим! Уж Палатин святой
Окутан в черный дым, где душно до предела.

Весь Рим в крови. Резня и кдстрища в густой
Слились багрец, мрача твой небосвод, столь синий;
Завален трупами, пурпурною волной,

Шафранный плещет Тибр. Бессильные святыни
Покинув, с воплями епископы бегут,
Бегут монахини, столь верные донныне,

Служение свое оставя. Там и тут
Народы дикие — ломбарды, аллеманы,
Сыны Иберии — тебя, добычу, рвут!

Их человечней те, что трупы жрут и, раны
Разбередив и свой насытя голод, вновь
Уходят,— коршуны, лисицы, волки, враны.

А этих дикарей не утоляет кровь:
Им пыток надобно; их голод Уголино
Терзает — и опять добычу им готовы!

И девять раз луне предстанет та картина!
Изменник-принц погиб; вокруг его знамен
Осиротелая в бой ринулась дружина,

И возле римских врат мятежник схоронен.
К могиле две судьбы склонились обреченно:
Останься ж он в живых — Рим пощадил бы он.

О Рим! Ты Францию от Бренна до Бурбона
Терзал, сам жертвой став ее. Вовек, вовек
Не шли к твоим стенам враждебные знамена,

И траура бы мог избегнуть тибрский брег!
Когда враги из Альп идут в долину Пада,
Дробите, скалы, их, топите, воды рек!

Зачем лишь путникам лавин грозит громада,
Вися над головой? Что мутный Эридан
В болотах ленится? Ужель ему отрада

Залить в полях посев, пожрать труды крестьян?
А орды варваров — добыча не достойней?
Камбиза поглотил песчаный океан;

Был морем фараон захлестнут перед бойней,
Что он Израилю готовил. Что же вам,
Хребты и воды, спать из года в год спокойней?

И вам, о римляне? трепещущим сынам
Тех победителей, кем победитель Ксеркса
Был побежден,— народ, к нетленным чьим гробам

Не льнет Забвение! Ужель германец — перса
Страшней, и кражи Альп доступней Фермопил,
И строй утесов их разъялся и низвергся

Перед вторжением? Иль римлянин открыл,
А не они, проход врагу в теснинах горных,
Склонясь пред волею кипящих злобой сил?

Самой природой здесь ряды твердынь упорных
Даны, чтоб смять поход победных колесниц;
Сама чужда войне, для мужей необорных

Она помощница всем тем, кто у границ
Сражается, отцов и матерей отрада,
И кто сильнее тех, что пасть готовы ниц.

Твердыни им — ничто. Нора червя, что яда
Не расточил, прочней и безопасней тех
Стен алмазновых испуганного града,

Где в трепете сердца.— Что ж? Ответшал доспех?
Исчезла храбрость? Нет! Авзония доселе
Хранит сердца, клинки и руки, чтобы всех

Изгнать насильников. Но распри там успели
Раздоров и вражды посеять семена,
И чужестрапец-враг ту жатву жнет на деле.

Моя прекрасная, столь падшая страна!
Гробницей стала ты надеждам. Твой гонитель
Ликует, но удар — и цепь раздроблена

Тысячелетняя! Зачем же медлит мститель!
Тебя и твой народ сомненья и раздор
Разъединяют — вот кто истый твой губитель!

Что ж надо, чтобы смыть губительный позор?
Чтоб красота твоя в лучах освободенья
Сверкнула, расцвела? Чтоб кряж Альпийских гор
Вновь неприступным стал? Одно лишь: *Единенье!*

Песнь третья

Всю грудь черных зол. не гибнущих вовеки,—
Мечи и Варварство. Монархов и Чуму, —
Ряды бездонных чаш, откуда хлещут реки

Мук и отчаянья, — что взору моему
В его провиденье предстали, я не в силах
Изобразить: пускай я океан возьму

Себе на полотно, и то б я не вместил их!
Но дальше! Все уже начертано судьбой
Среди далеких солищ, на молодых светилах.

Подобно знамени, над райскою стеной
Тысячелетних бед развернут лист кровавый,
И нашей скорби вопль клубящейся волной

Сквозь гимн архангелов взлетает величавый.
Но кровь Италии, сей распятой страны,
Недаром пролита перед престолом Славы

И Милосердия. Как жалоба струны,
Зефиром зыблемой, и твой, страна родная,
Взлетая, слабый стон достигнет вышины,

Где, внемля ангелам, сияет мысль благая.
А я, ничтожнейший из всех твоих сынов,
Я, прах земной, кого бессмертие, сливая

Боль и познание, очистило, готов
Снести и смех толпы и дикой власти силы!
И пусть порыв грозы, разгулен и суров,

В дугу сгибает всех, кто робки, слабы, хилы.—
Тебе лишь, край родной, печальной лиры стон
Навек я отдаю; тебе мой дар унылый

Предвиденья... Прости, коль я не вдохновлен,
Как прежде, и тебя не облеку блистаньем!
Я предскажу твой рок, а дальше — в смертный сон

Уйду: к чему мне жить с подобным прорицаньем?
Дух мне велел взглянуть и возгласить, — а там
Пусть радует меня он жизни окончаньем,

И сердце, на тебя излившись, пополам
Расколется. И все ж пред черной плащаницей
Твоих грядущих бед помедлю я, — воздам

Хвалу тем светочам, что вяются вереницей,
Прорезав ночь твою. Там метеоров рой
И горстка звезд горят. А над твоей гробницей!

Сверкает статуя нетленной Красотой!
Твой пепл рождает вновь на удивленье миру
Умы великие: еще твой прах святой

Таит клинок, резец, палитру, циркуль, лиру —
Ученых, воинов, художников, певцов,
Родных тебе, как блеск — твоих небес эфиру!

Им — завоевывать, им — пенить зыбь валов,
Мирам, открытым вновь, свое даруя имя, —
И лишь *тебя* спасти ты не найдешь сынов!

Те только лаврами тебя дарят своим,
И слава только им дана, а не тебе.
О, вечно ли почет тебе делить с другими?

Насколько ж выше тот, кто родине-рабе
Свободу возвратит (быть может, в колыбели
Уже лежит он), кто, себя отдав борьбе,

Спаситель смертный, вновь венец твой, что доселе
Топтали варвары, возложит на чело
Твое! И солнце вновь сверкнет в твоей купели

Зарей духовною, что мглой обволокло,
Что с давних лет мрачил Аверна вздох тлетворный!
Тот ядовитый вздох струится тяжело

В грудь всех, чей дух растлен неволею позорной.
Но мглу извечных бед прорежут голоса;
Земля услышит их; певцы тропой просторной

Пойдут за мною вслед; и те же небеса,
Что птицам петь велят, внушат и песнь поэтам,
И звуков сладостных природная роса,

В созвучья снизана, блеснет сердцам согретым.
Сколь полон будет хор! Все станут петь любовь;
Иной — свободу петь пред угнетенным светом;

Но лишь немногие на орлих крыльях вновь
Сумеют воспарить, чтоб солнцу орлим взором
Глядеть бестрепетно в глаза. Но скольких кровь

Холодная к земле потянет: сладким хором
Они столпяты вокруг ничтожнейших владык
Им расточать хвалы, клейменные позором!

Речь, полная прикрас, покажет лживый лик
Певца, распутного, как девка площадная,
Кто, честь свою забыв, пред золотом поник,

Путь проституции за долг свой принимая!
Кто гостем во дворец вошел, — рабом уйдет:
Он душу потерял, она уже — чужая,

Добыча деспота. Сомкнись тюремный свод
Над узником, и вмиг он мужество утратит:
Кастрированный дух огня уж не вернет.

Бард вдохновением за близость к трону платит.
Он должен *правиться*. О гнусный рабский труд —
Пленять и восхвалять, покуда силы хватит!

Он гримирует стих под княжий вкус, минут
Высчитывает ход, ловя князей досуги,
Свободен лишь в хвалах, в другом — всегда *среди*
пут;

Он ищет новых тем, седея от натуги,
Найдя, кромсает их; на лъстивость осужден,
Корпит над песнею в хроническом испуге.

Мятежника небес — боится Мысли он:
В его мозгу она предстала бы изменой.
Как тот афинянин, заикою рожден,

Он в рот камней набрал — и нем пред правдой
пленной...
Но, вслед сонетчикам, придет один — Поэт!
Их князь, он песнею сравняется нетленной

Со мной! Певец любви, любовью много лет
Терзаем, слезы он овеет вечной славой:
Царем-любовником его признает свет;

И новый гимн его, такой же величавый,
В честь Вольности к нему восторги привлечет!
А дальше, в новый век, на берег Пада правый

Два явятся певца, славнейшие, чем тот.
Но, первому даря улыбки, мир окажет
Им лишь презрение, их будет гнать, сирот,

Пока их бедный прах близ моего не ляжет.
Один из них найдет для лиры новый лад
И миру подвиги и рыцарство покажет;

Его фантазия — как радужный каскад;
Бессмертный пламень взял он с неба, и, не зная
В крылах усталости, мечты его кружат

Везде! Как бабочка, летевшая из рая
И пойманная вдруг, на искристых крылах
В нем Радость плещется! Природы песнь живая

С Искусством сопряглась в его прозрачных снах!
Другой, его нежней, на прах Ерусалима
Свой дух тоскующий весь изольет в слезах.

Он будет петь бойцов, чью кровь неутолимо
Земля Голгофы пьет. Возвысит лира строй
Средь иорданских ив, печалью дум томима,

И стон сионских арф напомнит, ярый бой,
Триумф блистательный благочестивых, ада
Игру коварную, — дабы обет святой

Забыли храбрые, — хоругвь на стенах града
Багрянокрестную, где первый крест зардел
В крови спасителя! Вот тема, чья награда
Святая — в ней самой! Но сколь его удел
Уныл: утрата сил, свободы, даже славы,
Что крали у него, — меж тем как двор умел,

Скользя угодливо, пятнать молвой лукавой
Блеск имени его и заточенье звал
Заботою о нем: что-де за дверью ржавой

Он ни безумия, ни срама не знавал,
Христов лауреат, князьями награжденный!
Мне суд Флоренции изгнание даровал,

А он был обречен Феррарой беззаконной
Есть черствый хлеб в тюрьме! Несправедливый рок!
Ведь я же партии язвил стрелой каленой,

Взнуздать стремился их. А он чем вызвать мог
Свирепость эту? Он, глядевший кротким взором
На мир, прославивший бессмертным нимбом строк

Ничтожнейшую тварь, покрывшую позором
Свой трон? Чем заслужил такую он судьбу?
Полюбит он — и страсть суровым приговором

Отяготит того, кто жив в своем гробу!
Но будет так. И он, и брат его по лире,
Бард рыцарства, неся высокий лавр на лбу

И нищету влача, пройдут в широком мире
И, без надежд, умрут — и добрый мир возьмет,
Не обронив слезы, в их нищенской порфире

Наследство дивное, что человеческий род
Богатством одарит — огнем души поэта!
Их родина себе двойной венец найдет,

Векам неведомый. И в Греции расцветает
Такого не было: в ряду олимпиад
Двух равных не найти, хотя она воспета

Одним, кто был сильней... И так благодарят
Поэтов люди?.. Так блеск мысли, чувств волнение,
Бушующая кровь и быстролетный взгляд,

Что ловит жизнь вокруг, грядущего рождение, —
Награждены? Ужель дыханье бурь должно
Безжалостно срывать с тех песен оперенье

И голос их глушить? Так, видно, суждено:
То птицы райские, и создано иначе
Их тело: из огня и радости оно;

Они по родине тоскуют в сладком плаче
И рады отлететь, когда поймут, что мгла
Ничтожных дел земных — тревоги, неудачи —

Молниецветные пятнает им крыла
И предстоит им смерть или паденье. Ядом
Бывает сломлен дух, коварным ядом зла,

И коршуны страстей, что вечно выются рядом,
На жертву прядают и в клочья рвут ее,
Когда, прервав полет, падет певун под градом

Несчастий... Все же есть, кого и коршунье
Не тронуло: все те, кто понял мощь терпенья,
Кто негибаем, кто все существо свое

Умел взнуздать. О, труд! О, тяжелой цепи звенья!
Кто мог ее снести? И все ж — такие есть!
О, если б я среди них пребыл, снеся мученья!

Суровый это путь, но тем светлее честь:
Что перед нею блеск любой распутной славы?
Ведь ближе вечный лед сумели к небу взнесть

Вершины Альп, чем пик вулкана огнеглавый —
Великолепие, что бездной рождено:
Извергнув, бешено, на миг потоки лавы,

Он озарит всю ночь, а там опять темно!
Нет ярче пламени, и нет его мгновенней:
Блеснув, опять в провал низвергнется оно,

Чтоб вечно клокотать в груди горы, — в геенне!

Песнь четвертая

Среди поэтов есть и те, что не вверяли
Своей мечты перу, — не лучшие ль из всех?
Они прошли сквозь жизнь, любили, умирали,

С толпой не поделись; божественных утех
Не выдали они и к звездам отлетели
Неувенчанные, но сколь счастливей тех,

Кто пал в борьбе страстей, стремясь к ничтожной
цели,

Кто славу трудную со слабостями слил,
Чей в лаврах гордый лоб, но сплошь рубцы на теле!

Немало есть певцов, свой обуздавших пыл.
Ведь что поэзия? Не жажда ль воссозданья
Сверхоущений зла иль блага? Взмахи крыл

К иному бытию, за грань существованья.
Страсть Прометеем стать и дерзко для людей
Похитиг вновь огонь с небес и, в воздаянье

За принесенный дар, под тяжестью цепей,
Вкусить отчаянья, поняв, но слишком поздно,
Что пищей коршунам стать должен Прометей,

К скале прикованный над бездной моря грозной.
Пусть так! Мы всё снесем. Поэты суть — все те,
Чья мысль, исполнена дыханьем силы звездной,

Иль отвергает плоть, иль мчит ее к мечте,
Какой бы формою ни облеклись творенья.
И в бюсте мраморном, подвластном Красоте,

В чертах его порой не меньше вдохновенья
И правды, чем явить любой поэт бы мог
В своих созданиях (Гомер лишь — исключенье).

Кисть вдохновенная порою даст мазок,
Что правдой потрясет иль холст обожествленный
Оденет в Красоту, всевластную, как рок.

Священной красоты должны мы чтить каноны:
Она всегда для нас — божественный кумир,
В ней отсвет есть небес, хотя преображенный.

Что даст нам большее высокий рокот лир,
Роящий образы, где отражен державный
Строй духа, их неся и облетая мир?

Так пусть художнику путь открывают славный!
А он в опасностях свой бедный век влачит,
Пока, непризнанный, падет в борьбе неравной.

Дар Творчества — увы! — с Отчаянием слит.
Но вижу в будущем: Искусству быть на троне,
Как в древней Греции, где Апеллес царит

И Фидий, в солнечном сверкала небосклоне.
И вы научитесь в руинах воскрешать
Красу античных форм в прекрасном их каноне,

И духу римскому — явить себя опять
В твореньях римских рук, но довершенных вами,
И храмам, выше всех античных, возблестать

Средь мировых чудес! Еще пред небесами
Гордится куполом суровый Пантеон —
А новый гордый свод на новом ляжет храме,

Но, с первым сходствуя, еще громадней он!
Все племена в тот храм войдут склонить колени:
Вовек такой портал им не был растворен,

Не звал сложить грехи на мощные ступени
Такого алтаря, подобья райских врат!
А смелый Зодчий тот, тот вдохновенный гений,

Кто должен выстроить громаду из громад,
Во всех родах искусств предстанет властелином!
Когда, из мрамора его резцом изъят,

Возникнет Моисей, кто вызвал словом львиным
Из плена свой народ и морю шел вразрез;
Когда с его кистей взовьется адским криком

Огонь вокруг грешников перед судом небес
(Я сам их так видал, и так увидит всякий);
Когда вдоль дивных стен блеснет его отвес,—

Знай: на мечтах его мои починут знаки,
Его стремнинам — я родник был, гибеллин,
Три царства вечности прошедший в бурном мраке!

Так веку, что мой взор провидит среди годин,
Под лязганье мечей и звоны шлемов бранных
Стать Веком Красоты! Хоть будет селянин

Стонать под гнетом бед, изнемогая, в ранах,
Но гений родины подыметя из недр
В кровавых отсветах, в пороховых туманах,

Пустыню осень,— великолепный Кедр!
Врожденный фимиам и свежесть мощной кроны
Он в небо вознесет и людям кинет, — щедр!

Монархи, среди борьбы за крепости и троны,
От крови отвратясь, усталый взор метнут
На мрамор и холсты; им, исторгавшим стоны,

Крушившим красоту, предстанет дивный труд
И вырвет похвалу, и хоть на миг величье
Всего, что сгублено, они тогда поймут!

Но, похвалы любя, спешит менять обличье
Искусство; в нем тиран найдет игру эмблем,
И папы — мог давно их замысел постичь я —

Увидят в нем раба; а сам художник, всем
Служить готовый, рад продать им, как блудница,
Все лучшее свое — жизнь красок и поэм.

Слуга народа — тот, хоть в нищете влачится,
Душой свободен все ж. А кто монархам льстит,
Тот сытый раб, холоп, что у дверей стучится

В ливрее золотой, забыв и честь и стыд.
О Власть, что все живет, владеет всем и правит!
Как слепок твой земной, что образ твой сквернит,

С тобой столь мало схож! Как племена он давит
И смеет утверждать, что ты его ведешь,
Что низостью своей твою он волю славит!

Как может быть, что те, кто неземную дрожь
И светы горних сил душою чуткой ловят,
Кто славой рождены, — должны терзаться? Что ж

Все те, кому века бессмертные готовят,
Должны всю жизнь терпеть и нищету и страх
Иль стыдною тропой, — где камни прекословят! —

Ползти наверх — с клеймом, но в золотых цепях?
А если им дано средь пошлости всевластной
Достоинно выстоять, презрев блестящий прах, —

Зачем пред их душой встает искъс опасный,
Боренье тайное невзвезданных страстей?..
Флоренция! Хотя твой суд мой кров прекрасный

Смёл — я любил тебя. Но месть в душе моей,
Но месть в моем стихе чем доле, тем упорней!
Чем глубже боль обид — проклятья тем сильней!

Мой стих в твою судьбу глубоко впустит корни,
Переживя твой блеск, свободу, мощь и зло,
Но худшее из зол, рожденных в адском горне, —

Гнет мелких деспотов, забравших власть. Число
Их все еще растет. И гнет тот больше давит,
Чем цепи королей. Тщеславье в них влило

Все виды низостей. Подобный деспот лвит
Жестокость, ненависть, предательство, весь яд
Коварств и лжи, — и все в единый слиток сплавит!

В кровосмешении рожденный Смертью Ад
Ему сопутствует, и вождь презренной клики —
Тирану коня, султану худший брат!

Он — обезьяна, зверь, но в человеческом лике!..
Флоренция! Мой дух изгнанием удручен,
Годами о тебе вздыхал, как пленник дикий,

Бежать мечтающий, хоть тяжко оскорблен
Тобой. Всех узников несчастнее изгнанник:
Ему тюрьмою — мир, стеною — небосклон;

Чрез горы и моря не может жалкий странник
Проникнуть в дальний край, единственный, родной,
В свое отечество, кому он — хоть избранник

Судьбы безжалостной — принадлежат душой!
Где мог бы умереть!.. Флоренция! Когда я
В обители небес душе найду покой,

Меня оценишь ты и честь воздашь мне, злая,
Пустою урною, куда мой прах вовек
Не перейдет!.. Увы! За что судьба такая?

«Что сделал я тебе, народ мой?» Человек
С тобой в жестокости соперничать не в силах:
Других ты гнал, а мне — мне душу ты рассек!

За что? Я — гражданин; всю кровь, что бьется в
жилах,

Я отдавал тебе в дни мира и войны —
И на меня войной пошел ты!.. Пусть! Я милых

Да не увижу крыш, да не пройду стены,
Меж нас воздвигнутой, да сгину одиноко,
В года грядущие, что избранным видны,

В их тьмы и ужасы вперив с тоскою око
И вопия глухим про грозную судьбу!
Но страшный час придет, как древле, — и пророка

Велит им Истина признать в его гробу!

ИРЛАНДСКАЯ АВАТАРА

*Ирландия, как слон, которого бьют по пяткам,
становится на колени, чтобы принять жестокого
ездока.*

Курран.

Еще Брунсвика дочь не лежит в саркофаге,
Ее праха земля еще не приняла,
А Георг устремился в порыве отгаги
К той стране, что ему, как невеста, мила!

Промелькнула короткая эра свободы
И померкла, как радуга, вспыхнув бледней,—
Средь столетий глухих лишь недолгие годы
Не давили ее, не глумились над ней.

Там, как прежде, ирландец-католик в окобах.
Еще замок стоит, нет парламента там,
Из страны угнетенной от скал известковых
Направляется голод к пустым берегам.

Там стоят эмигранты, свой дом покидая,
И на берег пустынный печально глядят:
Пусть была им тюрьмою земля их родная,
Но слезами невольно туманится взгляд.

Вот является он, королевский мессия,
Словно Левиафан, приплывает он вдруг;
Пусть готовит банкеты ему дорожное
Легион поваров, и лакеев, и слуг!

Пусть парады, балы королевской персоной,
Молодая, украшает румяный старик —
Если б только трилистник ирландский зеленый
С серой шляпы и в старое сердце проник!

Если б только весна юных чувств благородных
Расцвела в этом сердце, засохшем давно,
То твое раболепство торжество всенародных,
Может, было б свободой тогда прощено.

То безумье иль низость? На лбу его много
И морщин и грехов. Он лишь глины комок,
Если б даже и был он подобием бога —
Раболепства такого снести б он не смог!

Вопль приветствий! И, спеси надменной в угоду,
Расточают ораторы льстивую речь,
Но твой Граттен не так говорил про свободу,
Возмущенье хотел он словами разжечь.

Самый лучший из лучших, был Граттен твой славен,
Так возвышен и прост, и так скромн был он!
Демосфену был он красноречием равен,
И в искусстве ораторском непревзойден.

Туллий был не один, Рим накапливал силы
Постепенно для роли своей мировой,
Но твой Граттен восстал, словно бог из могилы,
Средь веков, как спаситель единственный твой!

Все сердца зажигал он огнем Прометей,
Кровожадных зверей укрощал, как Орфей.
Тирания пред ним содрогалась, немая,
И Продажность разил он сверканьем речей!

Но вернемся к рабам и тирану! Пусть внемлет
Торжеству и веселью средь Голода, Мук!
Только рабство ликует, свобода приемлет,
Если цепь на неделю ослабят ей вдруг.

В нищете жалким блеском дворец золотите!
(Так скрывает свое разоренье банкрот.)
Снизшел к тебе, Эрнн, король, твой властитель,
Так целуй его ноги, не видя щедрот!

Иль вдруг дрогнут у идола ноги из глины
И свобода исторгнута будет в бою —
Ведь, как волки, всегда короли-властелины
Отдают лишь из страха добычу свою...

Любят хищники кровь, короли ж без изъятья
Любят царскую власть, раболовный восторг.
Оттого все они заслужили проклятья —
Грозный Цезарь и жалкий, презренный Георг!

Фингал, ленту носи! Прославляй же, О'Коннел,
Совершенства его!!! А презренье долой,
То ошибка была, и народ это понял,
И «да здравствует плут, государь молодой!»

Бедный Фингал, иль лентой своей ты оковы
Миллионов католиков скроешь от глаз?
Эрин, Эрин, сковать тебя крепче готовы
Те рабы, что поют ему гимны сейчас!

«Нужен дом королю!» — дань грошей твоих медных
Собирай с бедняков, чтоб восстал, наконец,
Над тюрьмою для нищих и домом для бедных
Вавилонскою башней высокий дворец!

Подавайте Вителлию яства когортой,
Пусть обжора по горло набьет пищевод!
Из глупцов-самодуров Георг он четвертый —
Так застольный хор пьяниц тирана зовет.

Пусть от блюд и столы подогнутся со стоном,
Стонет весь твой народ. Угощение готовь!
Пусть же льются на пиршестве вина пред троном
Так, как льется народа ирландского кровь!

Идол твой не один! Рядом с ним восседаю,
Появился и новый Сеян! Посмотри!
Все презреньем клеймят и кланут негодяя,
Все смеются над ним. Это твой Кэстлери!

Это сын твой! Краснеть бы тебе и стыдиться!
Ведь родную страну заточил он в тюрьму,
А ты хочешь чудовищем этим гордиться,
За убийства улыбками платишь ему!

Нет в нем пылкости, мужества. Светлый твой гений
Не дал искры мерзавцу, всего он лишен,
И сама ты, Ирландия, в муках сомнений,—
Как ты вдруг породила такого, как он!

Если так — по пословице старой народной
Змей в Ирландии не порождает земля,—
Но смотри — ядовитой змеею холодной
Он, пригревшись, лежит на груди короля.

О Ирландия! Разве ты мучилась мало
И не надала низко на дно нищеты?
А теперь еще глубже ты в пропасть упала,
И с восторгом тирана приветствуешь ты!

Я за право твое поднимаю свой голос,
Как свободный, хочу, чтоб, свободу любя,
Ты с оружием против насилья боролась,
Трепет сердца последний отдам за тебя!

Ты сынов благородных растила в заботах,
Ты не родина мне, но тебя я люблю.
Я скорбел об ушедших твоих патриотах
И оплакивал их, но теперь не скорблю.

Шеридан твой, и Граттен, и Курран спокойно
Там лежат на чужбине английской вдали,
Но в боях красноречья они так достойно
Защитали свободу ирландской земли.

Крепок сон их в английских холодных могилах.
Гнет насилья на дальних родных берегах,
И рабы, что целуют оковы, не в силах
Осквернить их цепями нескованный прах!

Хоть сынов твоих доблесть страдает от гнета
И свобода чужда берегам их родным —
Есть возвышенное и есть пылкое что-то
У ирландцев в сердцах! Слава — мертвым твоим!

Если что и удержит меня от презренья
К шумным толпам народа, что жалок, и хмур,
И так рабски-покорно выносит гоненья,—
Это славный твой Граттен и гений твой Мур!

Сентябрь, 1821

ВИДЕНИЕ СУДА

сочинил

КЕВЕДО РЕДИВИВУС,

вдохновленный одновременным творением автора «Уота Тайлера»

*«Сам Даниил в суде, сам Даниил!»
Спасибо, жид, что подсказал мне слово.*

Шекспир, «Венецианский купец».

I

Святой апостол Петр сидел у двери рая;
Заржавел ключ его, и стал тугим замок:
Петр мало в наши дни работал отпирая.
Хоть рай был пустоват, но выпал некий срок
(С двумя восьмерками в конце числа — такаа
У галлов дата есть) — чорт очень приналет
И объявил аврал, как говорят матросы,—
И много душ пошло с дороги под откосы.

II

Там пели ангелы, не попадая в тон,
Охрипли, затянув от века аллилуйю;
Работы мало им: луну на небосклон,
Иль солнце вытащить, или звезду любую,
А сели, жеребцом, комета под уклон
Помчится, расшальясь, сквозь бездну голубую,
Слегка хлестнуть ее, иначе раздробит
Планету вдруг хвостом, как шлюпку шалый кит.

III

Убрались ангелы-хранители обратно,
Найдя, что на земле торчать им толку нет;
Рукой махнув на мир, уснули — и приятно
Работал на небе лишь черный кабинет,
Где, регистрируя все то, что здесь развратно,
Писец не попевал за ростом зол и бед:
Все перья выщипал из крыл своих, бедняжка,
Но уписать не мог: столь нагрестили тяжко.

IV

Его занятия настолько возросли,
Что был он вынужден, конечно против воли
(Точь-в-точь — архангелы, министры сей земли),
Искать товарищей в своей унылой доле,
Небесных перов звать, чтобы помочь пришли,
А то он выдержать едва ли сможет доле.
Послали клерками из райских куш густых
Шесть ангелов ему и дюжину святых.

V

То было важное бюро и в сферах рая;
Но службу в нем нести считалось тяжело:
Катился гром войны от края и до края,
Корон, надетых вновь, что день росло число,
Вседневно тысячи ложились, умирая,
Но увенчала всё резня при Ватерло;
Тут перья бросить им пришлось от омерзенья,
Столь загрязнил листы кровавый прах сраженья.

VI

Об этом — вскользь. Не мне писать о бойне той,
Коль в страхе — ангелы, коль даже Вельзевула
Его ж деяние схватило тошнотой,
По горло сытого средь адского разгула;
В исконной жажде зла он собственноручной
Те отточил мечи — но и его шатнуло
(В заслугу дьяволу одно б зачесть я рад,
Коль полководцев он обоих взял бы в ад).

VII

Настал короткий мир; но мир тот был обманчив,
Он землю населял и ад, но пренебрег
Обителью блаженств: он волю дал тиранам,
Менявшим имена, но не дела; им срок
Придет когда-нибудь! Пока же (Иоанном
Еще предсказанный) тот «зверь, десятирог
И седмглав» царит над всеми и над нами.
(Но паш не головой пугает нас — рогами.)

VIII

Лишь первый год сиял свободы луч второй,
Когда Джордж Третий вдруг почил. Не очень
властный,
Он друг тиранам был; потом померк душой,
И солнце разума и день утрата ясный.
Как лучший фермер, он лужок лелеял свой,
Но худшим королем был над страной несчастной:
Оставил подданных под погребальный звон
Как сам — безумными, как сам — слепыми он.

IX

Скончался. — Смерть его не слишком нашумела,
Но с помпой все прошло: не жаль для похорон
Атласа, и парчи, и бронзы; хуже дело
Со стоном скорби: сплошь был лицемерным стон,
Хоть и оплаченный нескучно и умело;
Был и потоп стихов, элегий грустный тон
(За деньги!); факелы, плащи, знамена, крепы,
Герольды — готики весь реквизит нелепый

X

Для старых мелодрам надгробных. Из глупцов,
Сгрудившихся глазеть на шествие такое,
Кто мертвого жалел? Все взоры блеск рядов
Вобрал, и всю печаль — убранство гробовое.
Чья мысль хотела бы проникнуть под покров?
Когда же пышный гроб в могилу лег в покое,
Казалось дьявольской насмешкою судьб,
Что столько золота с гнильем уходит в склеп.

XI

Так стань же прахом, плоть! Она скорей бы вдвое
Истлела, как должна, когда б своим путем
Естественная смесь вошла во все земное
В слиянье с воздухом, землею и огнем.

Но все аптечные бальзамы и настои
Лишь портят этот прах, рожденный нагишом,
Как миллионы тех, лишенных ранга, мумий...
С бальзамом дольше гнить — вот вывод всех
раздумий.

XII

Он мертв. Уйдя с земли, навек он в землю лег,
Навек зарыт; когда б не гробовщик со счетом,
Не надпись на плите и не бумаги клочок
С последней волею, — конец земным заботам.
Но кто бумагу ту спросить у сына б мог?
Ведь сын всех навыков отцовских стал оплотом,
Коль не считать любви, загадочной вполне,
К сварливой и весьма уродливой жене.

XIII

«Бог, короля спаси!» Ужели бог наш — скряга,
Чтобы спасать таких? Но пусть! Коль хочет он
Спасать — тем лучше. Я совсем не чту за благо
Всегда карающий, безжалостный закон.
Я даже думаю (нет, какова отвага!),
Что мир наш лучше бы от зла был охранен,
Когда бы сократить (пускай не без изъятия)
Ретивость адскую — пыл вечного проклятья.

XIV

Я знаю, что дика для многих мысль моя,
Что богохульственна; я знаю: мукам ада
За веру в общий рай подвергнут буду я;
Я знаю догматы; я знаю, что отрада
В доктринах утопать — превыше бытия;
Что «только в Англии» искать спасенья надо,
Что сотни всех иных церквей и синагог —
Лишь рынок дьявольский у проклятых дорог.

XV

Всех, боже, и меня — спаси! Я всею статью,
Ты знаешь, я так слаб, что любо сатане;
И не трудней навек меня обречь проклятью,
Чем рыбу подцепить сачком на мутном дне
Или овцу свести на бойню; но, с печатью
Грехов и суеты, не та душа во мне,
Чтоб, как жаркое, сесть на этот вечный вертел,
Что всех почти людей по смерти обессмертил...

XVI

Святой апостол Петр сидел у райских врат
И над ключом дремал, как вдруг над ним с размаха
Промчался дикий шум, какого он подряд
Лет это не слыхивал: вихрь, пламя, буря праха;
Столь сильной штукою был небосвод разъят,
Что всякий не-святой там вскрикнул бы от страха;
Но он, вскочив, сказал, моргнув разок-другой:
«Наверное — беда еще с одной звездой».

XVII

Но прежде, чем опять предался он покою,
В глаза ему крылом заехал херувим.
Апостол Петр зевнул и нос потер рукою,
«Святой вратарь, очнись», — тот молвил и над ним
Стал крыльями махать, сверкавшими красою
Небесною, назло павлинам всем земным.
Апостол отвечал: «Ну, хорошо; что надо?
Не Люцифер ли к нам, гремя, слетел из ада?»

XVIII

«Нет, — херувим сказал. — Джордж Третий мертв». —
«Позволь,
А кто он, этот Джордж? И почему он третий?» —
«Кто — Джордж? Кто — Третий? Кто! Он англий-
ский король!» —
«Прекрасно. Короли его на этом свете
Не затолкают... Но — он с головою, что ль?
С последним королем заминка вышла... Эти
Мне короли!.. Тому б не стать и на крыльцо,
Когда б он голову нам не швырнул в лицо.

XIX

«Он, как мне помнится, был на французском троне;
А голову свою, лишённую венца,
Он мне в лицо совал, блаженства в райском лоне
Ища, как мученик! Видали наглца?
Будь у меня мой меч, которым я в Сионе
Оттяпал ухо, я б его спустил с крыльца!
Не меч был — ключ при мне. Подумал я: «Повыше б
Его поднять», — и вмиг башку из пальцев вышиб.

XX

«Король тут испустил такой дурацкий крик,
Что поднял всех святых: сбежались и выпустили!
Теперь скула к скуле, он с Павлом сед, приник!

С тем Павлом, с выскочкой... Едва ли в большей
силе

Был сам Варфоломей, чья кожа здесь на шлык
Пошла (а на земле ее не оценили),
Хоть на почет имел он большея права,
Чем эта глупая пустая голова.

XXI

«Будь на плечах она — тогда иное дело,
Тогда бы разговор пошел у нас другой,
А так — сочувствие святыми овладело
(Оно ведь действует, как чарой колдовской),
И этот глупый шар опять на ствол умело
Поставили — пускай!.. На небеса припой
Неплох... Но, видимо, у нас в раю решили
Всё портить мудрое, что на земле свершили».

XXII

А херувим в ответ: «Не дуйся, Петр, он цел,
Король наш: голова и прочее на месте.
Немного смыслил он, и каждый, кто умел,
Его на ниточке, как плясуна из жести,
Кружил. Он даст ответ — таков его удел —
Суду; а наша роль — скромна, сказать по чести;
Не нам вести допрос; обязанность у нас —
Покорно выполнять полученный приказ».

XXIII

Пока беседа шла, промчался ураганом
Рой ангелов среди испуганных светил,
Подобно лебедю, что режет в лёте плавном
Поток серебряный (зри Инд, и Ганг, и Нил,
И Твид, и Темзу); он с незрячим стариканом
(Чья и душа слепа) летел в сверканье крыл
И сник у райских врат, а пассажир трясучий,
Окутан саваном, присел на ближней туче.

XXIV

Но некий грозный Дух, совсем другой на вид,
Летевший по пятам за столь блестящей свитой,
Взвил крылья, черные, как туча, что гремит
Над мертвой отмелью, обломками покрытой;
Как море бурею — был лоб его изрыт,
И мысли тайные гордыней ядовитой,
Предвечной злобою мрачили взор и лик,
И тьма рождалась там, куда тот взор проник.

К вратам приблизившись столь пышною особой
 (Куда ни он, ни Грех вовеки не войдет),
 Он поглядел на них с такой свирепой злобой,
 Что убоился Петр остаться у ворот
 И яростно потряс ключом («а ну, попробуй!»),
 Хотя апостольский прошиб беднягу пот.
 Но это, верно, был не пот, а *ихр* или
 Другой нетленный сок, в святой бегущий жиле.

XXVI

Тут даже ангелы слились в один комок,
 Как птицы, ястреба завидя с небосклона,
 И ужас перышки им до корней обжег;
 Они забрали в круг, как в пояс Ориона,
 Свой бедный ветхий груз, а он понять не мог,
 Что с ним, хотя они хранили неуклонно
 Придворный ритуал (кого ты ни спроси —
 Все знают: ангелы — суть тори в небеси).

XXVII

Пока все это шло, тех врат огромных створы
 Раскрылись надвое, и петли и крюки
 Сиянье кинули в небесные просторы,—
 Всецветной радуги крутые языки;
 И зернышко земли нагнал тот пламень скорый,
 Взметнув над Полосом полотнища, клоки
 Сияний северных, что Пэрри надо льдами
 Видал, ведя корабль «Мельвильскими водами».

XXVIII

В распахнутых вратах, в сверкании, возник
 Величественный Дух, весь — воплощенье света;
 Он славу излучал среди победных пик
 Как знамя, что в бою сиянием одето.
 Но бедные мои сравненья в этот миг
 Влачатся по земле; мы — глина; глина эта
 Гнетет мечту. Одно нас может вознести:
 Бред Анны Сауткот и Боба Саути.

XXIX

То был сам Михаил, архангел и рубака:
 Обличье ангелов прекрасно знаем мы;
 Ведь зарисовывал нам не один писака
 То князя райских сил, то князя адской тьмы;
 К тому ж иконы есть. Но я скажу, однако,
 Что с образами их не мирятся умы:
 Идею мы храним иных бессмертных воинств;
 Но пусть уж знатоки коснутся их достоинств.

Добром и славою сияя, Михаил —
 Создание того, кем и добро и слава
 Порождены,— в портал ворвался бурей крыл
 И стал. И сонм святых, блиставших седолаво,
 И юных ангелов, склоняясь пред ним, застыл
 (Под словом «юные» я разумею, право,
 Не годы — вид: Петру гораздо меньше дней,
 Но духи выглядят немного посвежей).

XXXI

Святых и ангелов кружок склонился тесный
 Перед владыкою-архангелом, вождем
 Всей рати ангельской, чей облик бестелесный
 С господним сходствовал; кто не вскормил притом
 Гордыни дерзостной в своей груди небесной
 И, сколь ни вознесен и ни любим творцом,
 Лишь в службе господу свой лучший видел
 жребий,
 Кто знал, что он — всего вице-король на небе.

XXXII

Тут перед ним предстал безмолвный гордый Дух.
 Архангел в дьяволе тотчас узнал собрата:
 Их мощь была такой, что ни один из двух
 Не позабыл врага, кто другом был когда-то;
 Но в их глазах горел упрек (подспуден, глух,
 Хоть и бессмертен) в том, что дружба их разъята,
 Что в поединке их стравил насильно рок,
 Что «поле» им—весь мир, а схватке—вечный срок.

XXXIII

Но место было здесь нейтральное. Мы знаем
 Из книги Иова, что вправде сатана
 В год раза два иль три являться перед раем:
 Что ангельская рать (и род людской) должна
 Терпеть его порой; мы там же прочитаем,
 Что крайне вежлива, хотя и холодна,
 Беседа двух Начал — Добра и Зла. Но это
 Немного в стороне от нашего предмета.

XXXIV

Не богословский же я здесь пишу трактат,
 Чтоб устанавливать, толкуя текст еврейский,
 Кто Иов? Символ лишь, или из жизни взят?
 Ведь мой рассказ правдив. В истории библейской
 Я только тех ищу умеренных цитат,
 Что и намек на ложь должны изгнать злодейский.
 Прочь подозрения! Он точен, мой рассказ,
 Как все видения, что посещают нас.

Два духа были здесь в нейтральном месте — перед
Вратами рая. К ним (подобным самому
Крыльцу султанскому) приходит Смерть и мерит
Дела и души шлет в сиянье и во тьму.
Вот почему враги (читатель мне поверит)
Хранили мирный вид. Объявляя — ни к чему,
Но Их Блистательность с Их Жупельностью рядом
Весьма приветливым вдруг обменялись взглядом.

XXXVI

Склонился Михаил — не так, как светский фат,
Но в полном грации не-западном поклоне,
К груди, где у людей сердца (как говорят),
Превежливо прижал сверкавшие ладони;
Как равный с дьяволом он обойтись был рад,
Но чорт заносчивый, озлобясь в адском лоне,
С былым приятелем, — сравненья применю. —
Был горд, как нищий гранд с богатым парвеню.

XXXVII

Свой сатанинский лоб склонив на миг, надменный,
Он, выпрямясь, стоял, нахмурен и упрям,
Готовый доказать, что праведной геенны
Не вправе избежать король Джордж Третий: там
Он должен казнь принять, историей забвенный,
Подобно всем другим усопшим королям,
Что были и умней и лучше, но своими
Все ж «вымостили ад стремленьями благими».

XXXVIII

Тут начал Михаил: «К чему тебе слепой,
Что умер и теперь предстал пред богом? Злого
Что сделал он, бродя дорогою земной,
Коль требуешь его? Ответь, и, если слово
Нас убедит твое, тогда бери: он твой,
Раз долга своего не выполнял земного
Как смертный и король. Что ж, говори! Мы ждем.
А нет — оставь его итти своим путем».

XXXIX

Князь воздуха в ответ: «И здесь, и пред вратами
Создателя, кому ты служишь, Михаил,
Мой подданный — все ж мой. Скажу двумя словами:
Коль в мире он, как плоть, усердно мне служил,
То и как дух — он мой. Пусть он излюблен вами
За то, что вкус к винцу и любострастный пыл
За ним не значились, и все ж он, на престоле,
Народом правя, был моей покороен воле».

«На землю нашу глянь, верней — мою. Назад
Немало лет ее господь твой звал своею;
Но я ль, ее отбив, планете жалкой рад?
Ему ль завидовать, что я землей владею?
Свой утвердя престол среди звездных мирнад,
Он лучше вовсе бы и не возился с нею,
С мирком ничтожнейшим, где мало есть людей,
Достойных в ад попасть — помимо королей, —

XLI

«И то лишь в качестве земельного налога,
Что должен я взимать, как сюзерен; когда б
Я и хотел губить — их племя столь убого,
(Как вам известно), столь всяк зол из них и слаб,
Что лишним было бы карать их слишком строго:
Их ад — в самих себе, собой казнится раб
Страстей и похоти; они так низко пали,
Что бог их не спасет, и я сгублю едва ли».

XLII

«Сказал я: погляди — и говорю опять;
Когда тот червь слепой, безумец, жертва гнили,
В расцвете юности стал троном обладать,
Тогда и он, и мир совсем иными были.
Почти весь круг земель и вся морская гладь
Его за короля признали. В буряхплыли
Два острова его по безднам лет. Простым
И грубым доблестям был этот край — родным».

XLIII

«Он юным сел на трон, сошел — в седираххладных;
Глянь на страну: какой ее он получил —
И под конец, читай в анналах неприглядных,
Как фавориту он державный руль вручил,
Как жаждой золота — пороком пищихжадных
И душ презреннейших — он душу омрачил;
А относительно иного — погляди же
Вдаль на Америку, на Францию поближе».

XLIV

«Он — верно! — пешкой был и только (не секрет
И в чьих руках!). А кто на троне пешкой голой
Торчал... пусть в ад идет! Найди в глубинах лет,
С тех пор как род людской изведаль гнет тяжелый
Монархов, в свитках тех, где скрыт кровавый бред
Войн и убийств, — найди среди цезаристской школы
Питомца худшего! Правленье назови,
Где больше стыло б тел в запекшейся крови!»

«Он вечно пес войну свободе и свободным:
Чужой ли, подданный, народ ли, индивид
Посмеют возгласить в порыве благородном:
«Свобода!» — третий Джордж как первый враг стоит.
Несчастьем частных лиц, несчастьем всенародным —
Какой другой монарх столь прочно знаменит?
В семье же был он добр, воздержан, мил: нет нужды
Скрывать достоинства, что многим принцам чужды.

XLVI

«Супругом верным он, я знаю, был; притом
Скромнейшим фермером; отцом к тому же нежным;
Все это не пустяк, коль стал ты королем:
Явить умеренность, сев на пиру безбрежном
Апиция, — не то, что в келье за столом
Монаха; все приму, что душам безмятежным
Угодно видеть в нем; все чудно, но народ,
При этих качествах, с ним обретал лишь гнет.

XLVII

«Снял Новый Свет ярмо. Но Старый, с прежним
стоном,
Все терпит, что король и присные его
Придумали. Сидят по европейским тронам
Наследники его пороков, ничего
Не взяв из добрых свойств. Монархам развращенным,
Ленивым деспотам, урока одного,
Знать, мало: ждут еще! Они на тронах блещут,
Всё позабыть успев. Но пусть они трепещут!

XLVIII

«Пять миллионов душ, бесхитростный народ,
Кто славу создал вам, храня завет свой строго,
Молил вернуть хоть часть былых его свобод:
Свободу прославлять не только имя бога,
Но также и святых... Наверное, как лед
Сердца у вас, коль вы от райского порога
Не гоните врага, кто смел, закон поправ,
Католиков лишить всех христианских прав.

XLIX

«Молиться, правда, он не запрещал; но вместе
Закон естественный им отказался дать
О равноправии, унизив их из мести
Пред всеми, кто решил святых не почитать».
Святой апостол Петр тут привскочил на месте,
Крича: «Бери его! Твоя на нем печать!
Коль Гвельфа этого, пороков гнусных груду,
При мне допустят в рай, — пусть сам я проклят буду!

«Скорее Церберу мою я должность слам,
Бзяв пост его себе (а должность не плохая!),
Чем допущу ханжу, кто не попал в Бедлам,
Гулять среди праведных в полях лазурных рая!» —
«Святой! — воскликнул чорт, — весьма подходит вам
За верных отомщать, обидчика карая.
А что до Цербера, — коль разговор всерьез, —
Согласен я, чтоб наш попал на небо пес».

LI

Вмешался Михаил: «Вы, дьявол! вы, святитель!
Прошу: умерьте пыл, вы перешли предел.
Апостол, вспомните: здесь райская обитель!
Простите, сатана, что снизойти посмел
Он до вульгарных слов: порой и райский житель
Забиться может здесь, в чаду судебных дел.
Есть что добавить?» — «Нет». — «Так будьте же
любезны
Своих свидетелей сюда призвать из бездны».

LII

Поворотился чорт. Он смуглою рукой
Дал знак — от молнии шатнулась туч громада
В просторах, что объять не в силах ум людской,
Хоть бес и над землей порой не скрыт от взгляда;
И адский гром прошел над сушей и водой
Планет, и рывкнули все батареи ада
Совместно с пушками (сам Мильтон нам открыл,
Что пушки — лучшее творенье адских сил).

LIII

То был сигнал для душ, от века осужденных,
Но с привилегией: без грапей и преград
Летать среди миров, на всяких небосклонах —
Средь бывших, нынешних, грядущих. Строгий ад
В регистрах числил их, скитальцев беззаконных,
Бездомными: лети, куда глаза глядят,
Покорна прихотям (не стану их считать л),
Лети, душа, в себе свое несая проклятье.

LIV

Как рыцарство, такой их радовал почет,
Как ключик золотой на чреслах камергера,
Как право получить в театр «свободный вход»,
Как чужь масонская, добавлю для примера.
Мои сравнения из праха мысль берет,
Затем, что сам я прах. А этих духов сфера
Куда значительней метафор всех моих;
Пусть не обидятся бессмертные на них!

Пока сигнал дошел от неба до геенны,
В пять миллионов раз превысив долгий путь
Меж солнцем и землей (расчет у нас мгновенный):
Во сколько времени луч может достигнуть
До Лондона, туман рассеяв неизменный,
Чтоб жестяной петух мог золотом сверкнуть
На флюгере?— в году раз пять случится это,
Когда не чересчур суровым будет лето),

LVI

Полуминуто лишь я отсчитать бы мог.
Я знаю, что лучи, в дорожных медля сборах.
Потратят на полет гораздо больший срок;
Их телеграф — отнюдь не из чрезмерно скорых;
Не состязаться им вдоль мировых дорог
С гонцами дьявола в его родных просторах;
И солнце тратит год, свои лучи гоня,
Чтоб к финишу успеть, а сатана — полдня...

LVII

В пучинах мировых величиной в полкрону
Возникло пятнышко и все росло (видал
В Эгейском море я, как мгла по небосклону
Ползла таким пятном, готовя ярый шквал),—
Росло, меняло вид, валилось вбок с разгону
Воздушным кораблем, что буйно в безднах гнал
Иль был *гоним* (едва ль грамматике по нраву
Такая двойственность, что портит мне октаву,

LVIII

Решай, читатель, сам). И стало впрямь пятно
Огромной тучею... свидетелей! Едва ли
Видать кому-нибудь здесь на земле дано
Такую саранчу, что в небе увидали!
В пространствах сделалось от стаи той темно;
Как гуси дикие, все разом гоготали
(Коль можно сравнивать народы и гусей),
Реченье оправдав: «Сорвался ад с цепей».

LIX

Словами крепкими голстяк Джон Буль бранился,
Всё наперед кляня, как встарь; «Юсусом» вслух
Божился Пэдди наш; вопросами давился
Шотландец медленный; каким французский дух
Изящным термином внезапно изъяснился —
Вам кучер объяснит, не я; орал за двух
Горячий Джонатан, уже готовясь к бою:
«Должно быть, вновь идет наш президент войною!»

Там видеть вы могли б голландцев и датчан,
Испанцев — словом, все цвета, обличья, лики,
Занятя, возрасты,— от смуглых тантян
До парней Сольсбери. И каждый нес улики,
Желаньем засудить монарха обуян, —
Как в картах вилы треф идут войной на пики.
Всех вызвал суд глядеть, что королей подчас
На муки вечные шлют, как меня и вас.

LXI

При виде этих толп стал Михаил весь бледным,
Как может ангел лишь; потом сменил цвета
Всех зорь Италии, рдел отблеском победным
Форельей чешуи, павлиньего хвоста,
В витражах готики огнем заката медным,
Ночной зарницею, что в тучах разлита,
Прозрачной радугой или парадом шалым
Штук тридцати полков — в зеленом, синем, алом!

LXII

Он сатане сказал, испуга не тая:
«Мой добрый старый друг (позвольте другом зваться:
Мы, в разных партиях издавна состоя,
Врагами личными всё ж не должны считаться;
Лишь политически мы боремся; и я,
Что б ни произошло, всегда готов признаться
В моем почтенье к вам, вы знаете!), к чему ж
Вам огорчать меня, скликав столько душ?»

LXIII

«Мой добрый Люцифер! Зачем велит досада
Вам горько извращать значенье слов монах?
Я не просил созвать полмира и пол-ада
В свидетели: суду двух честных и прямых
Довольно; а теперь все наше время надо —
Нет! — вечность нашу всю употребить на них,
Внимая сторонам. Кто ж даром силы тратит?
Всех слушать — нашего бессмертия нехватит».

LXIV

«Мне, право, все равно,— ответил сатана,—
Коль разбирать предмет с приватной точки зренья!
Полсотни лучших душ, чем этот старина,
Я емг могу добыть без спора и волненья;
А если требую, чтоб мне была дана
Душа величества усопшего, то рвенье
Мое — формально лишь. Вам жаль расстаться с ней?
Пожалуйста: в аду довольно королей».

LXXV

И призраком подошел, седой, высокий, тощий
(Казалось, призраком был и при жизни он),
С проворной поступью и выраженьем мощи,
Но было не понять — кто он и где рожден:
Менялся в росте он, был то круглей, то плоче,
То дикой радостью, то грустью облечен;
В чертах его лица, что вечно строй меняли,
Вы нечто стойкое заметили б едва ли.

LXXVI

Но чем внимательней толпа на них глядит,
Тем более черты туманны, зыбки, шатки;
Сам дьявол, кажется, его заметя вид,
Смутился: эта тень — как сон — играет в прятки;
Но в давке кое-кто уверенно кричит,
Что узнаёт его, что вовсе нет загадки:
Тот в нем отца признал, а тот спешит сказать,
Что дух таинственный — кузену тетки зять.

LXXVII

Одни в нем герцога признал, другой барона,
Иной оратора, священника, судью,
Иным — он акушер, набоб; но неуклонно,
Пришлец загадочный, менял он суть свою
Быстрее всех домыслов; толпа глядит смущенно,
Столь переменному не веря бытию,
Хоть он совсем вблизи. Он весь был иллюзорен,
Весь был фантазией — текуч, летуч, проворен.

LXXVIII

Лишь только удалось ему название дать,
Как — presto! ¹ — он уже совсем другой, несхожий,
И новые черты, не затвердев, опять
Вмиг изменяются — и в смене зыби, дрожи
Родного сына в нем не угадала б мать
(Когда б он мать имел); следить — себе дороже:
Глаз утомляется безумной пестротой,
Стремясь найти лицо в «Железной маске» той!

LXXIX

Порой как Цербер он желал вдруг появляться
«Единым в троице» (как мудро изрекла
Нам мистрисс Невпопад); то нам начнет казаться,
Что нет и одного; то вспыхнет вокруг чела

¹ Быстро (итал.).

Сиянье пышное, то станет расстилаться
Вокруг него туман, как лондонская мгла.
Вот Берк он, вот он Тук, вот гул молвы задорной
Филиппом Френсисом его зовет упорно.

LXXX

Но есть гипотеза, — и я ее нашел! —
Хоть до сих пор еще скрывал из опасенья
Тем людям повредить, кем окружен престол,
Министра оскорбить иль пэра: осужденье
Вмиг омрачило бы их гордый ореол...
Ну — слушай, публика! Вниманье и терпенье!
Тот славный Юниус, кого весь мир читал,
По-моему, совсем и не существовал!

LXXXI

Не вижу, почему б и не писать нам писем
Без приложенья рук, раз письма каждый миг
Строчат — без головы? Тут мы вопрос возысим:
Не так же ль без нее десятки пишут книг?
Мучительный предмет! Попробуй, увлекись им:
Намучишься вконец, ища за словом — лик.
Так Нигер всех томит, задав проблему свету:
Есть устье у него? Есть автор или нету?

LXXXII

«Ну, кто же ты и что?» — архангел спросил.
«Об этом скажет вам заглавная страница, —
Ему ответила тень тени, — я хранил
Полвека мой секрет не с тем, чтоб им делиться
Теперь». — «Ответь же нам, — продолжил Михаил, —
В чем уличен тобой Джордж Рекс и где граница
Догадок и улик?» Сказала тень: «Ну нет!
Пусть прежде он пришлет на письма мне ответ.

LXXXIII

«Укоры строк моих — и мрамор саркофага,
И бронзу надписи над ним переживут!» —
«Ты не находишь ли, что некая... отвага,
Чрезмерная кой-где, твой затемняла суд?
Во всем ли был ты прав? Иль прав и он, бедняга,
Порой? Не горечь ли дышала там и тут
И гнев?» — «Что?! Гнев? — фантом вскричал
неукротимый, —
Нет! ненависть к нему: я край любил родимый!

LXXXIV

«И что я написал — то написал! Должны
Вы сами разрешить: я или он в ответе».
И Umbra pomini (слова еще слышны)
Уже растаяла, как дым в небесном свете.
А Михаилу чорт сказал: «Приглашены
Должны быть Вашингтон, Джон Тук и Франклин
третий».

Но тут раздался шум и крик: «Пусти! пусти!»
Хоть из теней никто не пробовал пройти.

LXXXV

Расталкивая всех плечами и локтями
(С поддержкой ангела, чья должность — помогать),
Свирепый Асмодей явился пред рядами;
На нем усталости была видна печать;
Свой груз он сбросил с плеч. «Кто там доставлен
вами? —

Спросил архангел. — Как? Не призрак?!» — «Разо-
брать

Я это сам могу. — инкуб ответил смело, —
Он *станет* призраком, коль я возьмусь за дело!

LXXXVI

«Будь проклят ренегат! Я левое крыло
Почти что вывихнул; как будто он творенья
Свои тащил с собой, так было тяжело...
Но к делу. Я витал (ну, так, для развлеченья)
Над Скидло, где всегда льет дождь. До глаз дошло
Сиянье ночника. Спускаюсь — вот явленье!
Кропает пасквиль он, наш парень! И какой!
И на историю и на завет святой!»

LXXXVII

«Поскольку первая — творенье ада в целом,
А библия — про вас, мой добрый Михаил,
То оба мы должны заняться этим делом,
Вы ж понимаете. Ну, я его скрутил
И — в суд, немедленно! Я разом овладел им,
Я полетел, как вихрь, я в пять минут покрывал
Все расстояние между землей и раем.
Его жена, клянусь, еще сидит за чаем».

LXXXVIII

Взял слово сатана: «Он мне давно знаком,
И с некоторых пор я жду его в геенне;
Он славен глупостью в своем кружке пустом,
Другого не найти тщеславней и презренней.

Но стоило ль его тащить к нам под крылом,
Мой милый Асмодей, — такую мразь? Сомнений
Нет никаких, что он (без путевых затрат,
Тобою сделанных) сам притащился б в ад.

LXXXIX

«Коль здесь он, в чем вина его, скажи нам прямо». —
«В чем? — рывкнул Асмодей, — он отбивал ваш
хлеб!»

Решенья ваши он предвосхищал для срама!
Он дрянью свою строчил, как секретарь Судеб!
Взрети такой дурак ослицей Ралаама —
Где б чушь закончилась? Прошу, скажите —
где б?!»

Ездокнул архангел: «Суд не нарушает правил.
Придется выслушать, что пленник твой составил».

XC

Тут бард, обрадовав, что слушатели есть
(А в грешном мире сем он их встречал не много),
Стал кашлять, и кряхтеть, и гмыкать, чтоб навесьть
На голос важный тон, звучащий скорбно, строго
(Известный публике несчастной, коль прочесть
Решит поэт стихи, и — потечет эклога),
Но тут же, в первом же гекзаметре, застрял.
Как видно, сразу ритм свой рахизм являл.

XCI

Едва он дактили, страдающие шпатов,
Пришпорив кое-как, погнал в речитатив —
Средь бедных ангелов по их рядам крылатым
Тревожный ропот вдруг поднялся, как прилив,
И Михаил вскошил, в стихе хромом и смятом
Ни слова дельного еще не уловив,
И крикнул: «Стой, мой друг! Стой, пощади
собрание!
Non Di, non homines ...¹ сам знаешь окончанье».

XCII

Стон по толпе прошел. Как видно, каждый стих
Ее переполнял изрядным отвращеньем:
По службе ангелы слышали вдоволь их,
Всё время посвятив хвалам и песнопеньям;
В ушах у призраков и так мотив не стих
Стышков прижизненных, кто ж столь богат тер-
пеньем,
Чтоб снова слушать их? Король воскликнул вдруг:
«Что, что? Вновь Пай? Опять? Прогнать! Зовите
слуг!»

¹ Не боги, не люди (лат.).

Так целых три строки он прочитал — с раскатом,
Но на четвертой все — бегом, куда кто мог,
Метнулись скопищем, с испуга бесноватым,
Кто дух амброзии, кто — серы распустив,
Чтоб только заглушить «пронзающий мотив».

СШ

«Стих героический» звучал сильней заклятья;
Крылами ангелы зажали уши; рой
Бесовский с воплями промчался в ад; сказать я
Вам не могу, куда, чуть сдерживая вой,
Рванулись призраки (все мненья без изъята
Равно беспочвенны в проблеме темной той);
Подпрыгнув, Михаил трубу схватил, но скулы
Ему свело, и он издал глухие гулы.

СIV

Но тут апостол Петр (его строптивый нрав
Известен всем) ключом взмахнул на строчке новой
И сшиб поэта вниз; как Фазтон, стремглав
Слетел он в озеро, но не погиб; покровы
Иные рок ему готовит, намотав

Нить паутинную на тот венок лавровый,
Которым будет наш лауреат венчан,
Когда Реформою охватят англичан.

CV

Сперва уйдя на дно, — как все его творенья, —
Он очень быстро всплыл (так ведь и быть должно:
И пробка и гнилье — от самого гниенья —
Стремятся всплыть наверх и не идут на дно;
Так точно и пузырь болотный). Нет сомненья,
Что книгой скучною в своей норе давно
Торчит он и опять «Видениями» грезит...
Как Вильборн говорил: «Чорт в пуритане лезет».

CVI

Чтоб завершить рассказ про сон правдивый мой,
Скажу, что он пропал, мой телескоп, который
Все заблуждения рассеял предо мной
И показал мне то, на что я ваши взоры
Направил здесь. Теперь — что Джордж? Хоть и
слепой,
Он в свалке проскользнуть сумел через затворы
В рай, — и когда умолк всеобщий гам и гром,
Он сотый, — видел я, — разучивал псалом.

БРОНЗОВЫЙ ВЕК

(В отрывках)

5

...Москва! Для всех захватчиков предел!
Тщеславный Карл в нее войти хотел,
А Бонапарт вошел — и что ж? Она
Горит, со всех концов подожжена.
Солдат, фитиль схватив, огню помог,
Мужик сует в огонь соломы клок,
Запасы предаст огню купец,
Аристократ скигает свой дворец.
Москва, Москва! Пред пламенем твоим
Померк вулканов озаренный дым,
Поблек Везувий, чей слепящий пыл
С давнишних пор к себе зевак манил;
Сравнится с ним огонь грядущих дней,
Что нетребит престолы всех царей!

Москва, Москва! Был грозен и жесток
Врагу тобой преподанный урок!
Крылом пурги смела ты вражий строй,
И падал в снег развенчанный герой.
Ты недругов трепещущую плоть
Снешила клювом стужки приколоть,
Пришить к земле... Пусть Франция не ждет
К себе воjak, закончивших поход:
Напрасно виноградарей страна
Зовет своих сынов, — щедрей вина
Лилась их кровь, ее сковал мороз,
И мумией к снегам пришлец прирос!
Тьму поражения не развеет свет
В былые дни одержанных побед.
Из лап войны захватчик вырвать смог
Один лишь свой разрушенный возок!

6

В ином краю сверкнула искра вновь,
Испанца смуглого вскипела кровь:
Тот гордый дух, погнавший мавров вспять,
От сна восьми веков сумел восстать,
На той земле, где солнца луч горяч,
Там, где «испанец» значило «палач»,
Где шел Кортес войскам Пизарро вслед,
Там вправду обновился Новый Свет!
Вновь стал он юным, оживился вдруг
В поникшем теле тот высокий дух,
Тот гордый дух, что гнал персидский флот
От берегов Эллады... Вновь живет
Эллада. Грозно распрямляют стан
Илот Европы, раб восточных стран;
На Атосе и Андах — в двух мирах —
Взвивается Свободы светлый стяг!
Гармодий-эллиин поднял древний меч,
Чужих господ чилиец сбросил с плеч,
Спартанцы прежней доблести полны,
Кацики снова Вольности сыны!
Тираны скрылись — плещется, вольна,
Атлантики суровая волна!
Проливом Кальпе волны длят свой бег:
Вот Галлии неукротенный брег,
Кастилию мятежный вал омыл,
Авзоню порывом вдохновил,
Отхлынул — но с Эгейскою волной
Слился, припомнив Саламинский бой:
Стихия вод слабей сердец людских —
Тираны усмирить не смогут их!

Не только в том, седом как лунь, краю,
 Где Вольность летопись ведет свою
 С начала дней, где изо тьмы слепой
 Выходят инки странною толпой,
 Забрешил свет, — нет! То чужую рать
 Испанец яростный спешит изгнать!
 Не Карфаген и не коварный Рим
 Его полям грозят мечом своим,
 И не вандал, не злобный визигот
 Насильем отмечают свой приход,
 Не старика Пелайо грозный зов
 Скликает в битву древних храбрецов.
 Те всходы сжаты, только мавр о них
 Вздохнет порой среди песков своих.
 Лишь в песнях, что поет крестьянский люд,
 Абенсеррагов образы живут;
 Исчезли Зегри — изгнаны они
 На берега, что были им сродни,
 Исчезла вера их, и меч, и власть,
 Но тут явилась худшая напасть:
 Король-фанатик и палач-монах,
 И вот на инквизиции кострах
 Пылают люди, чтоб нажраться мог
 Каголицизма яростный молох,
 Чтобы глядел он взором ледяным
 На тех, что умирают перед ним!
 Монарх то строг, то слаб, а иногда
 И строг и слаб; бездельем знать горда;
 Унижены дворянские сыны,
 А пахари вконец разорены.
 Народ бежит с заброшенных полей,
 Изломаны кормила кораблей,
 Пришли в расстройство стойкие войска,
 Померкла сталь толедского клинка,
 И Новый Свет не шлет своих даров
 Тому, кто пролил кровь его сынов.
 Язык чудесный, что для всех времен
 Был столь же близок, как латыни звон,
 Забыт. Какой Испанская страна
 Была! Не такова теперь она:
 Встает, домашних деспотов круша,
 Кастильцев нумантийская душа!
 Встань, матадор! Тоскует сталь клинка,
 Вновь слышен рев Фаларова быка;
 Восстань, отважный рыцарь! Снова ввысь
 Взметнулся клич: «Испания, сплотись!»
 Стеною встань! Твоя стальная грудь
 Наполеону преградила путь!
 Война, война, пустынные поля
 И кровью обгаренная земля;
 В пустынной сьерре партизан отряд,
 Что за врагом, как коршуны, следят;
 И Сарагоссы славная стена,
 Что доблестью людской озарена;

Бойцы, что рвутся в бой, забывши страх,
 Меч амазонки в девичьих руках;
 Нож Арагона, пламенный металл
 Кастильских копий, рыцарский кинжал
 Толедо, Каталонской стороны
 Стрелки и андалузцев скакуны;
 Готовый вспыхнуть, как Москва, Мадрид,
 И в каждом сердце ожил храбрый Сид!
 Восстань, француз, свободу возлюбя,
 Ты вызволишь испанцев и себя!

9

Гордись, Верона! Радостью горя,
 Сняньем тронцы святой не зря
 Ты озарилась! О, когда б ослеп
 Твой люд, забыв «Всех Капулетти» склеп
 И Скалигеров... Твой «Великий Пес» —
 «Кан Гранде» — тщетно задирает нос
 Пред мопсами в коронах! Твой Катулл,
 Чьих нежных струн звучит в столетях гул
 Амфитеатр, что римлян восхитил,
 Вал, за которым Дант в изгнание жил
 (Он, обрета весь мир меж стен твоих,
 Так и не вышел за пределы их), —
 Что это все пред ними? О, когда б
 Царей не выпускала ты из лап!
 Ставь монумент позору своему,
 Насилью, мир повергнутому в тюрьму!
 К чему тебе театр? Вот съезд господ:
 Какая там комедия идет!
 Сверкают звезды высочайших лиц —
 На них народ взирает из темниц,
 Италия! Под злобный лязг цепей
 Рукоплещи, в ладони громко бей!

10

Ах, что за блеск! Вот венценосный фат,
 В войне и вальсах грозный автократ!
 В рукоплесканья громкие влюблен,
 И флирт и самовластье ценит он;
 Лицом калмык, манерами казак
 И, если стужки нет, большой добряк;
 Он либерально тает от тепла,
 А чуть мороз, не человек — скала!
 Великий друг всех истинных свобод,
 Он только их народам не дает.
 Как мило он о мире держит речь,
 Как греков в рабство хочет он завлечь!
 Как Польше он вернул на сейм права,
 Ее свободу придушив сперва!
 Как он испанцев (лишь для пользы их!)
 Готов учить рукой полков своих.
 Какой бы он достойный принял вид,

Когда б случилось посетить Мадрид!
 Такой визит легко заслужит тот,
 Кто в дружбе с ним иль во вражде живет...
 Ты подражаешь теске — и с тобой
 Лагарп твой мудрый — Аристотель твой.
 В Иберию ты скифов поведешь,
 Но в том краю ты то же обретишь,
 Что Македонец в Скифии, — как раз
 Припомнишь, как на Пруте царь увяз...
 Найдешь поклонниц — дам преклонных лет,
 Но среди них Екатерины нет!
 В Кастилии, в краю пещер и скал,
 Как бы медведя лев не растерзал!
 При Хересе был Гот испепелен,
 Сразишь ли тех, кем Бонапарт сражен?
 Освободи рабов, сломай свой кнут:
 Пути насилья к славе не ведут!
 Испанский край богат — земля его
 Тучна и без навоза твоего!
 Враг от ее обилья не вкусит:
 Там зоб еще у коршунов набит.
 Что ж! Падалью ты птиц кормить привык:
 Ты не солдат, а трупов поставщик!
 Я Диоген — и встал ты между мной
 И солнцем мира, застя свет дневной;
 Я Диоген — но сделался б червем
 Охотней, чем таким, как ты, царем!
 Кто раб, тот раб — свободен Диоген,
 А бочка — попрочней синопских стен!
 Напрасно только в поисках людей
 Он свой фонарь наводит на царей.

12

Но где ж монарх? Откушал? Иль живот
 Долг несваренно снова отдает?
 Или паштет, ведя подпок хитро,
 Перевернул державное нутро?
 Восстанье в войске? Дерзкий заговор?
 Или обжорством вызванный запор?
 Иль повар-карбонарий не с добра
 Жаркое недожарил? Доктора
 Днету прописали? — Видит свет,
 Всему виной твой царственный обед!
 Добряк Луи — классический король,
 «Желанного» тебе желанна роль?
 Оставив все, что в Хартвелле обрел:
 Стихи Горация, лукуллов стол, —
 Ты правишь, но народ стерпел бы плеть,
 Ему твоих нотаций не стерпеть!
 Ты не для трона создан, гастроном!
 Престол твой — за обеденным столом.
 Эпикурец ты, презревший злость,
 Хозяин добрый и приятный гость.
 Поэтов ты не знаешь назубок,
 Но в соусах зато большой знаток;
 Ученый муж, остряк и сибарит,

Ты мил, когда желудок твой варит,
 Но ты не в силах управлять страной, —
 Дай бог с подагрой справиться одной!

13

Сын Альбиона, я ль не воспою
 Прекрасную Британию свою?
 «Ремесла... войско... вольность и восторг...
 Довольство... остров... и король Георг...
 Строй белых скал — защита в дни войны...
 И подати — оплот родной казны...
 И Веллингтон, что в битвах поседел
 И острым носом шар земной поддел!
 Гром Ватерло... коммерция (но, ах!
 Ни слова о налогах и долгах).
 И Кэстлери (не плакали, боюсь,
 Когда себя прирезал этот гусь!),
 И моряки — таким не страшен шторм, —
 Но и для рифмы вы насчет Реформ
 Не заикайтесь!» — вот вам список тем,
 Но их не стоит воскрешать совсем;
 Они воспеты в целой уйме книг,
 Я вам подсовывать не стану их!
 Иную тему я сейчас возьму,
 Подвластную и рифмам и уму.

14

Ах, родина! Пером иль силой слов
 Смогу ли заклеить тупых ослов,
 Тех, что, едва остыв от дней войны,
 Как хворью, мирным днем удручены?
 Что суждено им книгою судеб:
 Охотиться иль цены гнать на хлеб?
 Но хлеб, как лавры, слава, честь и троп
 В цене, лендлорды, падать обречен!
 Вы рухнете, когда падет цена, —
 Вам Бонапарта власть была б нужна!
 Пускай он узурпатор, но зачем
 Его вы свергли? Он — ваш Триптолем!
 Он, руша мир, вздув цены на зерно,
 Доход лендлордов поднял заодно;
 А стоило ему в снегах застрять,
 Как цены книзу поползли опять!
 Зачем на дальний остров загнан он?
 Он был нужнее, занимая трон!
 Он кровопийца был, транжир и мот,
 Но ведь французы оплатили счет;
 Зато был хлеб в цене, барыш хорош,
 У фермера водился лишний грош;
 Где арендатор с толстым кошельком,
 Простак, что был вам столько лет знаком?
 Где завершавший сделку добрый эль?
 Доход с болот — «пригоднейших земель»?
 Где прежний торг? Где на аренду спрос?
 Двойная рента? Что за чорт принес
 Вам этот мир! в палате патриот

О премиях крестьянам зря орет!
В опасности лендлордов интерес
(Желанье, чтоб доход все выше лез!);
Бойтесь вы остаться на бобах,
Коль нищий фермер будет при деньгах.
Министры наши! Вам доверья нет,
Коль ренту не поднимет кабинет!
Не то лендлорд (он патриот вполне!)
Убавит булки в весе (не в цене)...
Где «хлеб и рыба» — сей довольства знак?
Остыла печь и океан иссяк;
Где миллионы? После всех потерь
Умеренность нам свойственна геперь,
А расточитель пусть туда идет,
Куда его Фортуна поведет;
Его утешить сможет лишь одно:
Он жнет, что им посеяно давно!
Так вот он, этот сеятель войны,
Вояка на полях своей страны,
Что, лемех превратив в наемный меч,
Поля питает кровью дальних сеч!
Укрывшись сам, сей хлебопашец шлет
Собратьев на войну... зачем? Доход!
Он пил и ел и клялся, что умрет
За Англию, — но тянет жить доход!
Как примирить потерь военных счет
С любовью к Англии? Подняв доход!
Что ж он не возместит казны расход?
Нет, к чорту все! Да здравствует доход!

Их бог, их цель, их радость в дни невзгод,
Их жизнь и смерть — доход, доход, доход!
Исав сменял на суп свои права,
Уж лучше бы подумал он сперва!
Насытившись, хотел вернуть их он,
Но нерушим Израиля закон.
Так наш лендлорд — кровавый живоглот,
О пустяковых ссадинах орет!
Пусть хоть землетрясение — стены в прах!
Упал бы только курс чужих бумаг...
Пусть рухнет банк — им нации не жаль,
Пусть биржа будет фондов госпиталь!
Не в силах церковь (Ниобея-мать!)
О милой «десятине» не рыдать;
Священник благодатью осенен:
Доходы ловко умножает он!
Власть, церковь, трон, дельцов разрядов всех
Грызущихся, везет один ковчег;
Попам и банкам славно стричь овец —
Столпотворенье! Англии конец.
А для чего? Чтоб был и цел и сыт
Аграрий — этот алчный паразит!
Стунай же к тварям этим — и дивись
Терпенью их, у них, лентяй, учись!
Запоминай надменный их урок:
«В цене ли кровь и как высок налог».
Но щекотлив для них один вопрос:
«По чьей вине британский долг возрос?»

ДРАМЫ и МИСТЕРИИ

МАНФРЕД

Драматическая поэма

*Есть на земле и в небе то, что вашей
Не снилось философии, Горацио.*

Шекспир.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Манфред.	Фея Альп.
Охотник за сернами.	Ариман.
Аббат Сен-Мориса.	Немезида.
Мануэль.	Парки.
Герман.	Духи и др.

Действие происходит в Верхних Альпах, частью — в замке
Манфреда, частью — в горах.

АКТ ПЕРВЫЙ

СЦЕНА I

Манфред один. Готическая галлерей. Полночь.

Манфред

Долить ночник, но и тогда его
На всю мою бессонницу нехватит.
Забудусь я — не сон моя дремота,
Но продолженье думы неотвязной,
Перед которой я бессилен; в сердце —
Бессонный страж; сомкну глаза — и
внутри
Они глядят; и вот живу, дышу,
Храню обычный облик человека.
Но горе есть наставник мудрых; скорбь —
Познание; кто знает больше, тот
Всех глубже ранен истиной суровой,

Что Древо Знания — не Древо Жизни.
Науку, философию, истоки
Чудесного и всю земную мудрость
Я изучил, и власть обрел мой ум.
Повелевать, как подданными, ими —
Бесплодно все! Добро я делал людям
И даже от людей встречал добро —
Бесплодно все! Имел врагов; ни разу
Повергнут не был, многих же поверг —
Бесплодно все! Добро и зло, и жизнь,
И власть, и страсть — все, что в других
я вижу, —
Исчезло все, как дождь в песках, в тот
самый
Неизреченный миг! Мне страх неведом,
Но ведомо проклятье — страх утратить,
Желаний и надежд неясный трепет,

И тайную к чему-нибудь любовь...
Ну, к делу!..

Вы, Таинственные Силы,
Владетели вселенной беспредельной,
Кого искал при свете и во тьме я,
Витающие вокруг земли в тончайшем
Эфире, вы, кому жилищем служат
Вершины недоступных гор и недр
Земли, и гроты в безднах океана,
Покорствуйте волшебным письменам,
Мне давшим власти! Зову я вас! Явитесь!

Пауза

Нет их. Так именем того, кто первый
Меж вами, знаком, пред которым вы
Дрожите, непреложным повеленьем
Бессмертного — зову я вас! Явитесь!
Явитесь!

Пауза

Нет их. Духи недр и высей.
Не ускользнуть вам от меня! Я властью
Сильнейших чар, волшебной тиранией,
Что родилась на проклятой звезде,
Клочке каленом рухнувшего мира
В блуждающем среди пространств аду,—
Проклятием, чей гнет мне душу давит,
И думой, что во мне и вокруг меня, —
Повелеваю вам! Сюда! Явитесь!

В темном конце галлерей возникает звезда; она недвижна;
слышно пение.

Первый дух

Смертный! Кинул я, на зов,
Мой чертог меж облаков;
Мглой вечерней создан он,
Летним солнцем позлащен,
И лазурь влита в багрец,
Украшая мой дворец.
Хоть и грех в твоей волшбе,
На луче звезды к тебе
Я спустился с высоты.
Смертный! Что велишь мне ты?

Голос второго духа

Монблан — князь гор; с незапамятных пор
Царит он над их грядой
На троне скал, в мантии туч,
В короне снеговой.
Охвачен лесами стан его,
В руках у него Обвал,
Но прежде чем гром поидет кругом,
Он ждет, чтоб я приказал.
Льды ледников века веков
Громадой ползут крутой,
Но это я дал им ход

И я говорю им: стой!
Я — дух этих мест и мог бы окрест
Всех гор потрясти хребты
И трепет влить в пещеры недр!..
Чего же требуешь ты?

Голос третьего духа

В синих безднах подводных,
Где волна не плеснет,
Где неведомы ветры,
И кракена живет,
Где ракушки наяла
Вяжет в зелень кудрей, —
Горней бурей грянул
Голос чары твоей.
В мой коралловый замок
Он хлестнул как прибой, —
И немедля желанья
Духу Моря открой!

Четвертый дух

Там, где землетрясенье
Уснуло средь лав,
И озера асфальта
Клокочут, взыграв;
Там, где Анды корнями
В грудь мира впились,
А вершинами всходят
В небесную высь, —
Там рожденный, я зов твой
Словил средь зыбей;
Вот я, чарам покорный,
Раб воли твоей!

Пятый дух

Я Всадник ветра. Власть моя —
Стремить полет штормов,
И ураган покинул я
Горячим от громов.
Мчал ураган чрез океан,
На зов твой, буйный лет;
Плыл мирно флот, но в бездну вод
Он до зари сойдет.

Шестой дух

Мое жилище — полуночный мрак;
За что ж меня терзаешь светом, маг?

Седьмой дух

Знай, что звездой судьбы твоей
Я управлял с начала дней.
Едва ль вокруг солнца, сквозь эфир,
Столь чистый плыл и дивный мир;
Он вольно мерный бег стремил;
Прелестней не было светил.
Теперь он мчится напролом
Огня бесформенным клубком,

С е д ь м о й д у х

(возникая в облике прекрасной женщины)
Гляди!

М а н ф р е д

О боже!.. Если так... и ты
Не бред и не насмешка... я бы мог
Стать вновь блаженным! Обниму тебя я,
И снова мы...

Видение исчезает.

Ах, сердце пополам!

(Падает без чувств.)

Г о л о с, п о ю щ и й з а к л и н а н и е
Лишь луна из волн взойдет,
И светляк в траве блеснет,
И могилы вышлют свет
Огонькам трясин в ответ;
Лишь звезда, скатясь, потухнет,
И вдогон ей филин ухнет,
И вольет безмолвье тьма
В лес, недвижимый у холма, —
В этот час я над тобой
Властью встану колдовской.

Сколь ни будь глубок твой сон,
Не сойдет на душу он:
Не прогнать иных видений,
Не избыть иных сомнений!
Пленник силы роковой,
Век не будешь сам собой;
Ты как в саван облечен,
Облаками облачен, —
И томиться век тебе,
Подчинясь моей волшбе.

Лишь пройду незримо я,
Внемлет миг душа твоя
Некой тайны властной весть,
Что с тобой была и есть;
Темным ужасом объят,
Если глянешь ты назад —
Изумишься: нет меня,
Точно тени в блеске дня,
И моих влияний гнет
В сердце тайною войдет.

В ритмах чар со всех сторон
Ты проклятьем окрещен;
Дух воздушный, в рог трубя,
Сеть накинул на тебя;
Ветер, плачущий навзрыд,
Сердцу радость воспретит;
Ночь откажет наотрез
В тихой благодати небес:
День же так сверкнет, что ты
Снова запролишь темноты.

Из слез твоих притворных мной
Добыт убойственный отстой,
И в сердце вскрыт, как пламя жгуч,
Чернейшей крови черный ключ;
В улыбке поймана твоей
Змея, клубившаяся в ней;
С губ сорвана та прелесть их,
Чей вред страшнее всех других;
Был мной испытан яд любви,
Но всех губительнее — твой!

Твоим душевным льдом, твоей
Улыбкой змия, ложью всей,
Сиянием глаз твоих святым,
Двуличьем спрятанным твоим,
Твоим умением выдавать
Свою за человеческую статью,
Твоим злорадством над бедой
И тем, что Каин родич твой, —
Велю тебе! Заклятию в лад,
В себе самом носи твой ад!

Над головой твоей фиал
Мной пролит: жребий судный пал:
Нет у сна и смерти нет —
Вот он, рок твой, в смене лет;
Смерть почувешь, призовешь,
Но лишь страх придет и дрожь.
Вот! Уже ты околдован;
Вот! Беззвучной цепью скован;
Впился звук волшбы моей
В мозг тебе! Отпыне — тлей!

С Ц Е Н А И I

Гора Юнгфрау. Утро.
М а н ф р е д один на утесах.

М а н ф р е д

Исчезли духи, вызванные мной,
Изученные чары обманули,
Измучило желанное лекарство.
Нет, помощи я сверхземной не жду;
Былое не подвластно ей; покуда ж
Тьма не вберет былого, мне не нужно
Грядущее!.. О мать моя, Земля!
Ты, юный День! Вы, Горы, — для чего
Вы так прекрасны? Мне вас не любить!
А ты, вселенной блещущее Око,
Отверстое на все и всем отрада, —
Не сердцу моему сияешь ты.
А вы, утесы, где на самом гребне
Я встал и вижу в бездне, вдоль потока,
Строй сосен рослых поросль кустов
Сквозь головокруженье глубин. Шаг,
Прыжок, движение, даже вздох могли бы
На каменном их лоне грудь мою

Навеки успокоить! Что ж я медлю?
Я чувствую порыв, но я недвижим,
Опасность вижу, но не отступаю,
В мозгу мутится, но тверда нога.
Власть некая владеет мной, и держит,
И беспощадно обрекает — жить.
Да; если это жизнь — таить в себе
Подобное бесплодье духа, быть
Своей душе гробницей: ведь давно уж
Я оправданий не ищу себе —
Предельное бессилье зла. Эй ты,
Крылатый, тучи режущий посол,

Пролетает орел.

Ты выше всех полет счастливый правишь,
Тебе бы на меня слететь — я стал бы
Добычей, пищей для орлят... Умчался,
Куда и взор не достигнет, и сам
Пронзает высь, и глубь, и даль глазами
Всезрящими. Прекрасен! Как прекрасен
Весь этот взору предстающий мир!
Как величав и в сути и в явлениях!
Но мы, его царями числясь, — мы,
Смесь божества и праха, что не может
Ни взмыть, ни пасть, двойной природой
нашей

Внося раздор в его стихии, — дышим
Дыханием гордыни и позора
В борьбе надменной воли и страстишек,
Покуда не восторгествует Смерть и мы
В то превратимся, что назвать не смеем
Самим себе и людям. О! Розжок!

Вдали слышна пастушеская дудка.

Свирели горной музыка простая,
Патриархальность мифом тут не стала
Пастушьям, вольный воздух слил рожки
И нежный звон коровьих колокольцев;
Я пью душой их отзвуки! О, если б
Незримым духом сладких звуков стать,
Гармонией живущей, вздохом песни,
Бесплотным счастьем, — жить и умирать
С блаженным звуком, жизнь мне давшим!..

Снизу появляется охотник за сернами.

О х о т н и к

Так!

Сюда скакнула серна. Быстропожка
 Меня надула. Вряд ли я добычей
 Труд окуплю опасный. Это кто?
 По виду не собрат мой, а взбрался
 Туда, куда не всякий влезет горец,
 А лишь охотник лучший. Он в хорошей
 Одежде, видом мужествен и горд,
 Как вольный селянин, отсюда видно;
 А ну-ка подойду...

М а н ф р е д
(не замечая его)

Но быть таким,
От мук седым, быть точно эти сосны,
Добыча вьюг, без веток, без коры,
Гнилым стволом на проклятых корнях,
Что чувствует одно лишь разложение, —
И быть таким, таким навеки, помня,
Что был иным! Быть в бороздах морщин,
Мгновением прорытых — не годами,
И не часами; в час — века терзаний
Я пережил! Вы, глыбы грозных льдов,
Лавины, рушащиеся под ветром
Горами снега, руштесь и убейте!
Вверху, внизу я непрестанно слышу
Ваш гром. Но вы минуете меня,
Вы валитесь на то, что жаждет жизни, —
На юный лес цветущий, на шалаш,
На деревушку поселян безвредных.

О х о т н и к

Мгла начинает из долин всплывать.
Скажу ему, чтоб он сошел, иначе
Дорогу потеряет он и жизнь.

М а н ф р е д

Мгла стелется над ледниками; тучи
Клубятся подо мной, белы и желты,
Подобно пене оксанов Ада,
Чьи волны быют о брег живой, покрытый,
Как галькой, грешниками... Дурно мне.

О х о т н и к

Поосторожней подойти, не то,
Шаги услыша, вздрогнет он. И так он
Шатается уже.

М а н ф р е д

Низверглись горы,
Слой туч прорвав и потряся паденьем
Своих сестер альпийских, завалив
Обломками зеленые долины;
Потоки запрудив одним ударом,
Что воду превратил в туман, ключи
Принудив рыть другие русла. Так
Состарившийся сделал Россберг. Что же
Я у подножья не стоял?

О х о т н и к

Приятель!

Поосторожней: шаг — и смерть! Любовью
К творцу молю вас отойти от края.

М а н ф р е д
(не слыша его)

Хорошая была бы мне могила,
Спокойно бы лежали кости в недрах

И не были б разбросаны по скалам
В забаву ветру, как теперь, — теперь,
Когда я спрыгну. Ширь небес, прощай!
И не гляди с таким укором: ты ведь
Не для меня. Прими же прах, Земля!

Манфред делает движенье, чтобы спрыгнуть со скалы. Охотник внезапно хватается за него и удерживает.

О х о т н и к

Стой, сумасшедший! Неохота жить —
Но чистых гор не пачкай грешной кровью!
Ступай со мной; не отпускай тебя.

М а н ф р е д

Тоска на сердце... Не держи меня...

Сил больше нет... Волчком кружатся горы
Вокруг меня... в глазах темно... Кто ты?

О х о т н и к

Потом скажу. Теперь идем со мной.
Все гуще тучи. Вот сюда. Держись;
Сюда ногой, сюда, держись — вот палка;
За куст возьми; теперь дай руку мне;
Бери меня за пояс, легче, так.
До хижины за час мы доберемся.
Вперед. Мы скоро грунт найдем надежный,
Да и, пожалуй, тропку, ручейком
Промытую с зимы. Сюда, так, ловко!
Ты мог бы стать охотником. За мной.

Пока они с трудом сходят с утесов, занавес опускается

А К Т В Т О Р О Й

С Ц Е Н А I

Хижина в Бернских Альпах.

Манфред и охотник за сернами.

О х о т н и к

Нет, нет, помедли; рано уходить;
Твой дух и тело слабы, и нельзя им
Друг другу верить; погоди часок;
Оправишься — я провожу тебя.
Тебе куда?

М а н ф р е д

Не все ль равно? Дорогу
Я знаю сам; мне проводник не нужен.

О х о т н и к

Твой вид и платье говорят про знатность;
Ты из князей, чьи замки вниз глядят
Со скал в долины. Твой который? Я ведь
Лишь их порталы знаю; образ жизни
Не часто вниз меня приводит — греться
У очагов огромных в старых залах,
С вассалами кутя. Но все тропинки,
Ведущие от наших гор к их башням,
Я знаю с детства... Твой, скажи, который?

М а н ф р е д

Неважно.

О х о т н и к

Так; за спрос простите, сударь.
Что хмуриться? отведайте винца:
Старинное. Не раз оно мне жилы
Отогревало в ледниках; теперь
Твои согреет. За твое здоровье!

М а н ф р е д

Оставь, оставь! Кровь на краю кувшина!..
Ужель земле ввек не вососать ее?

О х о т н и к

Что это значит? Разум твой мутится.

М а н ф р е д

Кровь... кровь моя! Горячий светлый ключ —
В отцовских жилах он кипел, и в наших,
В дни юности, в едином нашем сердце,
Где расцвела запретная любовь.
Но пролилась и предстает опять,
Багря туман, мне заслонивший небо,
Где нет тебя — и мне не быть вовек!

О х о т н и к

Слова, как бред, и грех, как сон безумный,
Что населяет пустоту!.. Но как бы
Ты ни страдал — утеха есть: молитвы
Святых людей и кроткое терпенье.

М а н ф р е д

Терпенье и терпенье!.. Это слово
Для вьючных мулов, не для хищных птиц;
Его твоей породе проповедай,
А я — другой!

О х о т н и к

Хвала творцу! Да я
С тобой не поменялся бы за славу
Вильгельма Телля! Но беду — терпи,
А дикие порывы бесполезны.

М а н ф р е д

А не терплю я? Погляди: живу.

О х о т н и к

Но это — судорога, а не жизнь.

Той радуги, что над тобой висит.
Прекрасный дух! На ясном лбу твоём,
Где светлая душа отобразилась,
Бессмертие сама собой являя,
Читаю я твоё прощенье сыну
Земли, кому таинственные силы
Порой общенье дозволяют с ними,
Его заклятьям внемля, что тебя он
Дерзнул призвать и видеть.

Ф е я

Сын Земли!

Тебя я знаю; знаю силы, властью
Снабдившие тебя. Ты много мыслил;
Добро и зло творил, не зная меры,
И обрекал и обречён страдать...
Я этого ждала. Чего ты хочешь?

М а н ф р е д

Глядеть на красоту твою, не больше.
Лицо Земли свело меня с ума,
Меж тайн её убежища искал я,
Проник в жилища властвующих ею,
Но не могли они помочь. Искал я
То, что они бессильны дать; но больше
Я не ищю.

Ф е я

Чего же ты просил,
Что не во власти самых полновластных,
Владык незримого?

М а н ф р е д

Благодаянья.

Но повторять не стоит. Бесполезно.

Ф е я

Но я не знаю. Не смыкай уста.

М а н ф р е д

Мне это пыткой будет — но пускай;
Я выговорю муку. С юных лет
Был чужд мой дух душе людей; не мог я
Глядеть на землю человеческим взором;
Их честолюбье не было моим;
Их цели жизни не были моими;
Мои же радость, горе, страсть и сила
Им были чужды. С ними схожий внешне,
Не знал любви я к дышащему мясу,
Но между всех творений праха близких
Была одна, кто... но о ней потом.
Итак, с людьми и мыслями людскими
Общался мало я; взамен того
Пустыне дикой был я рад; любил я
Пить острый воздух высей ледяных,
Где птицы гнезд не вьют и мотылек
Не вскинет крылья над нагим гранитом;
Любил нырять в поток, кружиться в вёртне

Новорожденных воли речной стремнины
Или в прибое океана — где бы
Торжествовал избыток юных сил.
Любил в ночи следить луны движенье,
Течение звезд или блистанье молний
Ловить, пока в глазах не потемнеет,
Иль созерцать и слушать листопад,
Порхающий в вечерней песне ветра.
Так проводил я время, одинокий.
Но лишь встречал кого-нибудь из тех,
Подобных мне и, значит, ненавистных,
Я чувствовал, что пал я до него,
Что сам я — прах. В скитаньях одиноких
Ушел тогда в пещеры Смерти я,
Ее делам ища причин; из тлена
Сухих костей и черепов извлек я
Запретнейшие выводы. Я ночи
Стал проводить за тайною наукой
Старинных дней; в годах, путем труда,
Искусов страшных, тех эпитимий,
Что сами власть над воздухом даруют,
Над духами земли и неба,—теми,
Что населяют бесконечность, — взор мой
Я к Вечности привычным сделал, так,
Как сделали предшественники-маги,
И тот, кто вызвал из ключей в Гадаре
Эрота с Антэротом,—как тебя
Я вызвал. Но с познанием и жаждою
Познания росла, и власть, и радость
Прозрений, самых светлых; но тогда...

Ф е я

Что? Продолжай.

М а н ф р е д

О, я недаром длил
Рассказ, бахвалясь пустяками, ибо
Я подошел к ядру душевных мук.
Но к делу. Мной не назван ни отец,
Ни мать, ни друг, ни милая — никто,
С кем был я связан узами людскими:
Я этих уз не знал. Жила, однако,
Одна...

Ф е я

Что ж дальше? Не щади себя.

М а н ф р е д

Она была похожа на меня —
Лицом, глазами, волосами — даже
Тембр голоса был мой, как говорили,
Но лишь — нежней и мягче — в лад красе.
Была в ней та же одинокость мысли,
Любовь к запретным знаниям; ум, способны
Объять весь мир; но были и другие,
Несвойственные мне, дары: улыбка,
Участливость и жалость — их не знал я,—
И нежность,— к ней лишь был я нежен,—и

Смиренье, чуждое мне. Все дурное
В нас общим было, доброе — лишь в ней.
Любя — сгубил ее.

Ф е я

Своей рукою?

М а н ф р е д

Нет: сердцем; сердце в ней разбив. Оно,
В мое взгляды, увяло. Кровь я пролил,
Чужую кровь и этим — кровь ее.
Глядел я — и не мог унять.

Ф е я

И ради

Создания, чье племя презрел ты,
Чей уровень ты превзойти стремился,
К нам путь найдя, ты отвергаешь дар
Высокого познания и снова
В трусливую сползаешь смертность? Прочь!

М а н ф р е д

Дочь воздуха! Пойми: с того мгновенья...
Но что слова? На сон мой погляди,
Постереги бессонницу, сядь рядом!
Я не один в моем уединеньи:
В нем фурии кишат. Всю ночь зубами
Вплоть до зари во тьме я скрежещу,
А днем клянусь себя. Я о безумье
Молил, как бы о счастье — нет его!
Смерть вызывал я, но в борьбе стихий,
Меня минуя, волны шли: безвредной
Была опасность. Хладная рука
Безжалостного демона держала
Меня на волоске — и он не рвался!
В простор фантазии, в воображеньи,
В богатства духа (в творчестве когда-то
Я Крезом был) я ринулся, но точно
Волной отлива отнесло меня
В водоворот моей бездонной мысли.
В толпу людскую я ушел, забвенья
Ища не там, где мог его найти,
Что я и понял.—Знания мои,
Искусство чар, добытое столь трудно,—
Бесплодны здесь. Отчаяньем окован,
Живу — чтоб жить всегда!..

Ф е я

Могу, быть может,

Помочь тебе?

М а н ф р е д

Да, воскресив умерших
Или меня к умершим низведя.
Коль можешь, сделай, в миг любой, как
хочешь,
С любою мукой — только бы конец!

Ф е я

Здесь область не моя. Но если ты
Дашь клятву слушаться меня, быть может
Я помогу тебе в моих желаньях.

М а н ф р е д

Не дам я клятвы. Слушаться? Кого?
Мне подчиненных духов? Быть рабом
Моих же слуг? Нет, никогда!

Ф е я

И это —

Весь твой ответ? Подумай. И помедли,
Отказывая мне.

М а н ф р е д

Я все сказал.

Ф е я

Довольно! Мне исчезнуть?

М а н ф р е д

Исчезай!

Фея скрывается.

М а н ф р е д

(один)

Мы все — шуты у времени и страха.
Дни к нам ползут, от нас ползут, — живем!
И жизнь клянem, и умереть боимся.
Из дней, что мы влачим в ярме проклятом,
Чей груз гнетет измученное сердце,
Что в скорби гаснет или бьется в муке,
Иль в радости с конечной агонией,—
Из этих дней, минувших и грядущих
(А в жизни настоящих нет), как мало,
Безмерно мало дней, когда б душа
Смерть не звала, хоть и дрожа пред нею,
Как пред водою ледяной, — пусть холод
Всего на миг. Еще одну попытку
Мне позволяют чары: вызвать мертвых,
Спросить: Что это, чем боимся быть?
Ответ неумолимейший: «Могила»—
Не значит ничего. А не ответят?..
Но дал ответ Пророк умершей ведьме
Эндорской. И спартанскому царю
Ответил и судьбу предрек бессонный
Дух византийской девы: он убил
Любимую, не ведая убийства,
И умер непощенным, хоть и Зевса-
Заступника о помощи молил
И вызвал аркадийских ведунов —
Заставить негодующую тень
Простить его иль мщенью срок назначить;
Двусмыслен был ее ответ, но сбывся.
Ах, не родись я — та, кого люблю я,
Была б жива; а не люби я — та,

Кого люблю, прекрасной и счастливой
Была бы и дарила счастье! Где же
И что она? За мой страдая грех,
Он иль ужас мой, или ничто!
Час близок, чары будут не напрасны,
Но в этот миг страшит меня дерзание.
До сей поры не отступал я, глядя
На духов, злых и добрых, а теперь —
Дрожу и в сердце странный чую холод.
Но я могу сломить и отвращенье
И ужас человечесий. Ночь близка.

(Уходит.)

СЦЕНА III

Вершина горы Юнгфрау.
Входит Первая парка.

Первая парка

Встает луна, кругла, ясна, блестяща;
Здесь, по снегам, где ни единый смертный
Не проходил, мы ходим еженощно,
Следов не оставляя; в море диком,
В зеркальном океане горных льдов,
Скользим по твердым их бурунам, схожим
С разметанною пеной урагана,
Замерзшей вдруг, с водоворотом мертвым.
Крутой и фантастичный этот пик,
Изваянный землетрясеньем неким,
Где тучи отдыхают, посвящен
И пиришествам и навечерьям нашим.
Сестер я жду: мы в замок Аримана
Должны лететь; там нынче ночью праздник.

Голос

(поющий вне сцены)

Низвергнут с престола,
Лежал властелин,
Как в спячке тяжелой,
Забит и один.
Но цепи и сны я
Дала разорвать:
С ним толпы людские,
Он — деспот опять.

Мне он кровью миллионов оплатит старанье,
Он разгромом народа отметит за изгнание.

Второй голос

Плыл парусник в море, летел как стрела;
Но снесла паруса я и мачту снесла
От палуб, от кузова — нет ничего;
Нет бедняги оплакать обломки его,
Одни лишь, за волосы схваченный мной,
Был спасен: он достоин заботы такой;
Предатель на суше, на море пират,
Он служить мне своими злодействами рад.

Первая парка

(в ответ)

Спит город. Но вскоре,
С зарею рыдая,
Подыметесь горе:

Тиха и уныла
Пришла Моровая
И сотни сгубила.

И тысячи сгубит.
Живой от больного
Бежит, хоть и любит.
Но Мора дыханье
Коснется любого.
В тоске и в терзанье

В отчаянье, в злобе
Забьются народы.

Блажен, кто во гробе:

Закрытые очи
Не видят невзгоды...
И зло этой ночи —

Крушение царства, — моя в нем печать:
И это свершила и буду свершать.

Входят Вторая и Третья парки.

Все три

У нас в руках сердца людей,
Наш бег — по их гробам;
Мы дух — чтобы отнять скорей
Даем своим рабам.

Первая парка

Привет! Где Немезида?

Вторая парка

Чем-то важным
Задержана, не знаю чем; сама я
Захлопоталась.

Третья парка

Вот она.

Входит Немезида.

Первая парка

Сегодня
И сестры запоздали. Где была ты?

Немезида

Я задержалась: воскрешая троны,
Женя глупцов, династии спасая,
Мстя за людей врагам их и потом
Раскаяньем терзая; мудрецов
Бесила до безумия; тупиц
В оракулы рядила — править миром
Затем, что власть немного устарела

И смертные дерзают размышлять,
И взвешивать венцы, и о свободе
Болтать — плоде запретном... Но пора нам:
Мы задержались. В путь! На облака!

Уходят.

СЦЕНА IV

Замок Аримана. Ариман на троне, огненном шаре,
оруженном духами.

Гимн духов

Хвала, хозяин! Царь земле и небу,
Ты попираешь облака и воды,
И скиптр стихий в твоей руке: потребуй,
И превратится в хаос мир природы;
Вдохнешь, и море сотрясется бурей;
Поговоришь, и тучи грянут громом;
Посмотришь, и померкнет луч в лазури;
Подвинешься, пойдет земля разломом.
В твоих следах клокочет огонь вулканов,
И тень твоя — зараза Моровая;
Твой путь кометы пролагают, прянув,
И страшен гнев твой, звезды сожигая.
Тебе война приносит жертвы вечно,
И данью Смерть обложена всечасной;
И жизнь, со всею мукой бесконечной,
И дух любой, и все тебе подвластно!

Входят парки и Немезида.

Первая парка

Честь Ариману! Мошь его земная
Растет; мои свершили сестры всё,
Что он велел; и я мой долг свершила.

Вторая парка

Честь Ариману! Мы, склоняя людям
Их головы, склоняемся пред ним.

Третья парка

Честь Ариману! Ждем, что он изволит
Одобрить нас.

Немезида

О царь царей! Твои мы;
Живое — наше, всё почти; и наше —
Все неживое. Чтобы наша власть
Росла, и с ней твоя, заботы нужны, —
И мы не спим. Последние твои
Все в точности исполнены веленья.

Входит Манфред.

Дух

Кто это? Смертный? Жалкий дерзкий червь!
На землю! Ниц!

Второй

Он мне известен: это
Могучий маг, своим искусством грозный.

Третий дух

Ниц, раб! Не видишь? Здесь и твой и наш
Владыка! Трепещи и покоряйся!

Все духи

Ты, сын земли! Прах, обреченный праху,
Склонись — не то беда!

Манфред

Я знаю, но,
Как видите, колен не гну.

Четвертый дух

Научим!

Манфред

Я научён. Земных ночей немало
Балялся я лицом к нагой земле,
Посыпав пеплом голову. Познал я
Всю тяжесть униженья, ибо я
Пред собственным отчаяньем склонялся,
Колени гнул пред собственной бедой.

Пятый дух

Дерзнешь ли ты пред троном Аримана
Не сделать то, что делает весь мир,
Его не видя в грозной славе? Ниц!

Манфред

Пусть Ариман падет пред Высочайшим,
Всевластной Бесконечностью — Творцом,
Его создавшим не для обожанья.
С ним — я склонюсь.

Духи

Что?! Растоптать червя!
В клочки его!

Первая парка

Прочь! Отпустите: мой он!
Царь сил незримых! Этот человек —
Иной, чем все: вся стать его и то,
Что здесь он, подтверждают это. Муки
Такие ж у него, как у бессмертных,
У нас. Его познания, власть и воля,
Насколько это совместимо с прахом,
Гнетущим, суть эфирную, — такие,
Что редкий прах снесет. Его порывы —
Иные, чем у жителей земли.
Но в них постиг он то, что нам известно:
Что нет в познание счастья и наука —
Лишь прежнего неведения обмен
На новое неведение. Но это
Еще не все: те страсти, что присущи
Земле и небу и владеют каждым

Дыханьем, каждой тварью, до червя, —
Ему пронзили грудь; он стал в итоге
Таким, что я, безжалостная, все же
Прощаю тем, кто пожалел его.
Он — мой; и твой, возможно; но с душою
Подобной нет ни одного здесь Духа,
Никто над ним не властен.

Немезида
Но тогда

Зачем он здесь?

Первая парка
Пускай он сам ответит.

Манфред

Вы знаете, что знаю я. Без власти
К вам не проник бы я. Но власть сильнее
Здесь есть. И я пришел ее просить
Моим исканьям дать ответ.

Немезида
Чего же

Ты хочешь?

Манфред

Ты не в силах мне ответить;
Вели предстать умершим; их спрошу.

Немезида
Великий Ариман! Ты снизойдешь
К желаньям человека?

Ариман
Да.

Немезида
Кого же

Воззвать из гроба?

Манфред

Ту, кто не в гробу:
Астарту.

Немезида
Дух ли ты, или Призрак,
Чем бы ты ни была, —
Коль ничтожнейший признак
Сохранить ты могла
От начальной природы,
Снова ставшей землей, —
Кинь могильные своды
И предстань предо мной.
То же сердце и тело,
Что носила, живя,
Что в могиле истлело,
Вороти от червя!

Предстань! Предстань! Предстань!
Я кличу, я, чья длань тебя свела за

грань!

Появляется тень Астарты и останавливается посередине.

Манфред

И это смерть? Румянец на щеках;
Но вижу: он зловещего оттенка,
Чахоточный, как мертвый тот багрец,
Которым осень красит лист погибший.
Она, она! О боже, что же боюсь я
Взор на нее поднять? Астарта! Нет!
Сил нет спросить! Вели сказать ей: пусть
Она простит или проклянет!..

Немезида

Словом, гроб твой разъявшим,
Вновь звучу над тобою:
Говори с вопрошавшим
Или с вызвавшей — мною!

Манфред

Молчи!

В молчанье этом — больше чем ответ.

Немезида

Здесь власть моя иссякла. Князь эфира,
Один ты можешь ей велеть; вели!

Ариман

Тень, повинуйся скипетру.

Немезида

Безмолвна!

Не нам она — иным покорна силам;
Бесплодны, смертный, все твои старанья:
Безвластны мы.

Манфред

Услышь меня, Астарта!

Услышь меня, любимая! Скажи мне!
Так исстрадался я и так страдаю!
Взгляни: ты меньше изменилась в гробе,
Чем я, живя. Меня любила ты,
Как я тебя, — чрезмерно. Не для муки
Взаимной мы родились, хоть и смертный
Был грех в такой любви, как наша!..О,
Скажи, что я тебе не ненавистен,
Что за обоих выношу я кару,
Что ты блаженна и что я — умру!
Все, что здесь мерзко мне, сговором тайным
Меня связало с жизнью, что внушает
Мне ужас перед вечностью, где будет
Все то же, то же! Нет покоя мне!
Чего прошу, чего ищу, не знаю;
Лишь чувствую, кто ты, кто я. Хочу я
Пред гибелью услышать вновь твой голос,
Что музыкой мне был. О, говори!
Тебя я звал в безмолвии ночном,
Я птиц будил, дремавших в роще сонной,
Зверей в горах; мне гроты откликались
Бесплодным эхо — именем твоим,
Столь им знакомым. Твари, духи, люди

Мне отвечали, но молчала ты!
О, говори же! Выше звезд глядел я,
Высматривая в небесах тебя!
О, говори! Тебе искал подобья
Везде я и напрасно. Говори!
Глянь: бесы поглотить меня готовы,
Но не боюсь: я поглощен тобой.
О, говори! хоть гневно — говори!
Что хочешь, дай лишь вновь тебя услышать,
Хоть раз, хоть раз!

А с т а р т а

Манфред!

М а н ф р е д

Еще! еще!

Твой голос! В этом звуке жизнь моя!

А с т а р т а

Манфред! Земным твоим терзаньям завтра
Конец. Прощай.

М а н ф р е д

Лишь слово: я прощен?

А с т а р т а

Прощай.

М а н ф р е д

Скажи: мы встретимся?

А с т а р т а

Прощай.

М а н ф р е д

Еще, молю, скажи, скажи, что любишь!

А с т а р т а

Манфред!

Призрак Астарты исчезает.

Н е м е з и д а

Ушла; ее не вызвать вновь,
Но сбудутся слова. Вернись на землю.

Д у х

Он корчится! Что значит смертным быть
И заглянуть за смертные пределы!

В т о р о й д у х

Гляди: он овладел собой и воле
Свои мученья подчинил! Когда бы
Он был одним из нас, он мог бы стать
Могучим духом.

Н е м е з и д а

Есть еще вопросы
К Великому Властителю и к нам?

М а н ф р е д

Нет.

Н е м е з и д а

Значит, мы расстанемся на время.

М а н ф р е д

И, значит, встретимся? Где? На земле?
Но все равно, где хочешь. За услугу
Твою — я твой должник. Теперь — прощайте

(Уходит.)

А К Т Т Р Е Т И Й

С Ц Е Н А I

Зал в замке Манфреда
Манфред и Герман.

М а н ф р е д

Который час?

Г е р м а н

Час до заката. Вечер
Прелестным обещает быть.

М а н ф р е д

Скажи,

Ты в башне приготовил всё, что надо,
Как я велел?

Г е р м а н

Всё, господин, в порядке;
Вот ключ и вот ларец.

М а н ф р е д

Прекрасно. Можешь
Теперь идти.

Герман уходит.

М а н ф р е д

(один)

Покой меня овел,
Неизъяснимый мир. Он до сих пор
Всеми был чужд, изведанному в жизни.
Когда б я не считал химерой вздорной

Всю философию, пустейшим словом
Школярского жаргона, оглуплявшим
Любое ухо, счел бы я, что мной
Открыта золотая тайна древних,
Κλῶν¹, и сердцем впитан. Ненадолго, —
Но хорошо и раз его познать.
Обогатил я душу новым чувством,
И надо занести в мои заметки,
Что в этой жизни есть оно. — Кто там?

Возвращается Герман.

Герман

Аббат из Сен-Мориса хочет вас
Приветствовать.

Входит аббат Сен-Мориса.

Аббат

Мир дому, граф Манфред!

Манфред

Благодарю, святой отец; для замка —
Честь ваш приход, а для живущих в нем —
Благословенье.

Аббат

Дай бог!.. С вами, граф,
Поговорить хочу глаз на глаз.

Манфред

Герман,
Ступай. В чем дело, мой почтенный гость?

Аббат

Без предисловий. Сан мой, рвенье, возраст,
Намеренья благие мне дают
Права; соседство, хоть мы незнакомы,
Послужит мне герольдом. Станный слух,
Безбожного характера, разнесся,
Твое, веками доблестное, имя
Черня — а чистым перейти к потомству
Оно должно.

Манфред

Я слушаю; что дальше?

Аббат

Идет молва, что ты знаком с вещами,
Запретными для знания людей;
Что ты в сношениях с жителями тьмы,
С нечистыми сынами преисподней,
Бродящими в долине смертной тени.
С людьми (они ведь братья по творенью)
Ты редко, знаю, делишься своими
Раздумьями; твое уединенье —
Монашеское, будь оно святым.

¹ Доброта, добродетель (древнегреч.).

Манфред

Кто ж это говорит?

Аббат

Мои собратья
Благочестивые, крестьянин робкий,
Любой вассал твой. На тебя с тревогой
Все смотрят. Жизнь в опасности твоя.

Манфред

Возьми ее.

Аббат

Спасать, а не убить
Пришел я и в душе не стану рыться.
Но, если слух правдив, еще не поздно
Покаяться; вступи опять в общенье
И с церковью, и с небом — через церковь.

Манфред

Я выслушал. Ответу: кто бы я ни был,
Теперь ли, в прошлом, — тайной это будет
Меж мной и небом. Смертных мне не надо
В посредники. Иль я нарушил ваши
Уставы? Докажи и покарай.

Аббат

Сын мой! О покаянье и прощенье,
А не о каре говорю я. Выбор
Ты сделай сам. Коль о прощенье речь,
То наш канон и вера мне вручают
Власть — облегчить подъем из тьмы греха
К надеждам светлым и высоким мыслям.
Но кара — дело неба. «Мне отмщение» —
Сказал господь, — и со смиреньем я,
Слуга его, глаголам грозным вторю.

Манфред

Старик! Ни власть людей святых, ни счастье
Молить, ни очищение покаяньем,
Ни скорбный взор, ни пост, ни агония,
Ни худшее — врожденные терзанья
Глубокого отчаянья того,
Что гложет сердце вне боязни ада,
Но так, что может и оно одно
Рай сделать адом, — это все не в силах
Изгнать из духа вольного сознание
Грехов, неправд, падений и возмездья
В себе самом. И нет загробной муки,
Способной так воздать, как воздает
Нам самоосужденье!

Аббат

Пусть, но это
Минует все и благостной надеждой
Заменится, взирающей спокойно
На тот блаженный край, какой доступен
Взыскующему, лишь бы искупил он
Земные, пусть ужасные, грехи.

Начало искупленья же — в сознание
Необходимости его. Сознай —
И все, что церковь льет в сердца, прольется,
И все, что я простить могу, — прощу.

М а н ф р е д

Когда шестой кончался римский цезарь,
Себя мечом пронзив, чтобы избежать
Публичной казни пред лицом сената,
Недавнего раба его, — солдат,
Являя верность, попытался платьем
Унять из горла хлынувшую кровь,
Но был оттолкнут; цезарь, умирая,
Но с блеском власти в меркнущих глазах,
Сказал: «Нет, поздно; разве это верность?»

А б б а т

К чему ты клонишь?

М а н ф р е д

С цезарем отвечу:

«Нет, поздно!»

А б б а т

Нет! Не поздно никогда
Себя с душою примирить и душу
Слить с небом. Или нет надежды? Странно:
Любой, изверившийся в небе, все же
Себе создаст хоть на земле мечты,
За них как за соломинку хватаясь.

М а н ф р е д

Да, мой отец! И я, когда был юн,
Знал светлые мечты и вдохновенья,
Хотел усвоить ум других людей
И просвещать народы, и подняться —
Куда, не знаю, — и упасть, быть может,
Но так упасть, как горный водопад,
Что, прыгнув с ослепительной вершины,
В самой вспененной бездне, восходящей
Туманными столпами в облака,
Чтобы оттуда вновь дождем пролиться, —
Лежит, вовек могуч... Но все прошло;
В мечтах я обманулся.

А б б а т

Почему же?

М а н ф р е д

Я укротить себя не мог. Кто хочет
Повелевать — тот служит, льстит и кланчит,
И сторожит, высматривает все,
Живет ходячей ложью, чтобы стать
На первом месте среди толпы ничтожеств.
Не снизошел я, чтобы в этом стаде
Вращаться... даже вожаком волков...
Лев одинок, и одинок я тоже.

А б б а т

Но что ж не жить, не действовать с людьми?

М а н ф р е д

В моей природе — отвращенье к жизни;
Я не жесток, но всюду натывался
На разрушенье. Раскаленным ветром,
Дыханьем беспощадного самума,
Жильца пустыни, чьи пески нагие
Ему не подставляют ни куста, —
Самума, что кружит средь волн бесплодных
И никого не ищет, но при встрече
Случайной губит, жизнь моя прошла.
И то, что на пути моем встречалось —
Я погубил; того уж нет.

А б б а т

Увы!

Боюсь, что я и сан мой неспособны
Тебе помочь. Но ты еще так молод,
И я б хотел...

М а н ф р е д

Вглядишься в меня! Средь
смертных

Есть на земле такие, что стареют
В дни юности и умирают рано,
До зрелых лет, и не кровавой смертью.
Иных — разврат, иных — ученье губит.
Тех — мука точит, тех — тяжелый труд,
Недуг, безумье; а иных сражают —
Разбитые, увядшие сердца.
Последняя болезнь, меняя виды
И прозвища, уносит больше жертв,
Чем перечислено в реестрах Рока.
Вглядишься в меня! Все это испытал я,
Хотя довольно было б одного
Недуга. И не надо удивляться,
Что я такой; дивись, что стал таким,
Мог стать — и все же на земле живу!

А б б а т

Но выслушай меня...

М а н ф р е д

Старик, я чту

Твой сан и годы; знаю, что с благою
Пришел ты целью; но напрасно все.
Я не хочу быть грубым, я щажу
Тебя, а не себя, прервав так резко
Наш разговор, и потому — прощай!

(Уходит.)

А б б а т

Быть мог бы он твореньем благородным;
Вся та в нем есть энергия, какая
Могла бы дать стихиям стройный образ,

СЦЕНА III

Горы. В отдалении замок Манфреда.
Терраса перед башней. Сумерки.
Герман, Мануэль и другие слуги Манфреда

Герман

Довольно странно... Много лет все ночи
Он напролет без сна проводит в башне,
Всегда один. Я часто в ней бывал,
И все мы там бывали, но ни башня
Сама, ни вещи в ней не позволяют
С уверенностью догадаться, чем же
Он занят. Я уверен: потайная
Там комната, и я охотно б отдал
Все жалованье за три года, лишь бы
Проникнуть в тайну.

Мануэль

Это риск немалый.
Доволен будь и тем, что знаешь ты.

Герман

Ах, Мануэль, ты стар и мудр, и много б
Мог рассказать. Ты в замке сколько лет?
Давно!

Мануэль

Служил я до рожденья графа
Его отцу. Он был совсем другой.

Герман

Отец и сын нередко не похожи;
Но в чем несходство?

Мануэль

Не в чертах лица;
И склад ума и нрав совсем иные.
Граф Сигизмунд был горд, но прост и
весел:
Гоец и бражник, не сидел над книгой
Один и ночи проводил не в мрачной
Бессоннице, а за веселым пиром
И радостней, чем день. Он не бродил,
Как волк, по скалам и лесам, не бегал
Ни от людей, ни от забав людских.

Герман

Чорт! Ладно жили! Снова б так зажить
В стенах вот этих старых, что как будто
О светлых днях забыли.

Мануэль

Эти стены
Сперва должны сменить владельца! Много
В них странного я видел.

Расположись они мудрей; теперь же
В нем хаос грозный: слиты мрак и свет,
И дух и плоть, и страсть и разум чистый,
И все мятется без начал и граней,
Бесплодно иль губительно. Он гибнет,
Хоть и не должен... Вновь я попытаюсь:
Такой — достоин искупленья. Долг мой
Ни перед чем не отступать для блага.
За ним!.. Но осторожно, хоть и твердо.

(Уходит.)

СЦЕНА II

Другая комната.
Манфред и Герман.

Герман

Велели вы притти к заходу солнца;
Оно заходит за гору.

Манфред

Ах, так?

Взгляну.

(Подходит к окну зала.)

Величественный шар! Кумир
Природы первозданной, расы мощной
Гигантов здравых — сыновей, рожденных
От ангелов и девушек земных,
Прекраснейших, чем ангелы, навеки
Отторгнутые ими от небес.
Сверхсветлый шар! Боготворимый прежде,
Чем тайна вскрылась твоего творенья!
Ты первый вестник власти всемогущей;
Ты радовал на склоне гор сердца
Халдейских пастухов, что изливали
Себя в молитвах! Зримый бог, ты нам
Незримого отображаешь, тенью
Став для него. Ты, средоточье звезд
И царь всех звезд! Ты землю сделал сносной,
Ты умягчаешь облики и души
Всего, что движется в твоём сиянье.
Царь зим и весен! Повелитель стран
И всех, кто в них живет: вдали, вблизи ли —
Везде наш дух тобой окрашен, так же,
Как облик наш. Восходишь ты во славе,
Сияешь в ней, заходишь в ней! Прощай!
Тебя мне больше не видеть! Мой первый
Взор изумленья и любви был — твой.
Прими последний. Не сверкнешь ты больше
Тому, кому дар жизни и тепла
Был более чем роковым... Зашло...
И я вослед...

(Уходит.)

Герман

Будь же другом,
Порасскажи — дежурство скоротаем.
Ты, помню, намекал, что где-то здесь
Случилось нечто — возле этой башни.

Мануэль

Вот ночь была! Такие ж, как теперь,
Припоминаю сумерки и вечер,
И облако такое же, как нынче,
Застыв над пиком Эйгера, алело,
Точь-в-точь все было так. Дул слабый вестер
Порывами, и начинал блестеть
Снег на горах под месяцем всходящим.
Был граф Манфред, как нынче, в башне;
что там

Он делал — мы не знали; но была
С ним спутница его ночных раздумий
И странствий, та, кого из всех существ
Одну, казалось, он любил, как, впрочем,
И должен был по узам крови; был он
Ей, госпоже Астарте...

Тсс! Кто там?

Входит Абат.

Абат

Где господин ваш?

Герман

Здесь, вот в этой башне.

Абат

Мне говорить с ним нужно.

Герман

Невозможно.

Он очень занят, и никто не может
К нему войти.

Абат

Я на себя возьму
Вину, коль в этом есть вина, но должен
Его я видеть.

Герман

Вы уже видали
Его сегодня.

Абат

Герман! Не перечить!
Стучи и доложи, что я пришел.

Герман

Не смею я.

Абат

Как видно, сам я должен
Своим быть вестником.

Мануэль

Святой отец,
Помедлите.

Абат

В чем дело?

Мануэль

Отойдемте,
И я вам расскажу.

Уходят.

СЦЕНА IV

Внутренность башни.

Манфред

(один)

Сверкают звезды, горные снега
Сияют в лунном свете. Как прекрасно!
Побывать еще с Природой! Образ ночи
Всегда мне был привычнее лица
Людского. В звездном сумраке ее,
В ее уединенно-нежной дымке
Я изучил язык иного мира.
Мне помнится: когда был молод я
И странствовал, такой же ночью был я
Один внутри развалин Колизея —
Руины главной царственного Рима.
Деревья вдоль обрушенных аркад
Чернели, зыблясь в синей полуночи;
Сквозь трещины сияли звезды; лай
Чуть доносился из-за Тибра; ближе —
Из кесарских чертогов — слышен был
Протяжный крик совы, и, с ним сливаясь
Прерывистая песня часовых
Росла и молкла вместе с мягким ветром.
В проломе стен ряд кипарисов мнился
У края неба, а меж тем стрела
К ним долетела б. В кесарских палатах,
Доставшихся ночным крикливым птицам,
Средь павших укреплений встала роща,
Обвив корнями очаги владык,
И цепкий плющ разросся вместо лавра.
Но, кровью гладиаторов омытый,
Стоит руиной благородной цирк,
А Цезаря и Августа покои
Лежат безликой грудой на земле...
И ты, луна спокойная, сияла
На это все обильным нежным светом,
Мягча суровость грубых разрушений,
Как будто бы заделывая вновь
Столетиями проломленные бреши.
Ты сохраняла красоту везде,
Где есть она; где нет ее — рождала;
И точно в храме сердце наполнялось
Немым восторгом пред величием древним:

Прах — но державный, что из урн поныне
Душою нашей правит...

Та же ночь!
Не странно ль, что о ней теперь я
вспомнил?

Но мысли — часто замечал я — дико
Мянутся в нас как раз в тот миг, когда им
В порядке б течь...

Входит А б б а т.

А б б а т

Мой добрый граф! Мое
Опять прошу простить мне появленье,
И пусть внезапно моего усердья
Смиренного вас не обидит; зло в нем?
Да на мою падет главу; добро?
Да снизойдет на вашу; я сказал бы —
На сердце, если б мог молитвой тронуть
Его, спасти высокий дух заблудший...
Но есть надежда.

М а н ф р е д

Ты меня не знаешь;
Мой кончен путь, и счет сведен деяньям.
Но удались: опасно тут. Ступай.

А б б а т

Ужель грозить мне вздумал ты?

М а н ф р е д

О нет!

Сказал я просто, что близка опасность:
Поберегись.

А б б а т

Чего?

М а н ф р е д

Гляди сюда;

Что видишь?

А б б а т

Ничего.

М а н ф р е д

Гляди еще.

И пристально. Теперь скажи, что видишь?

А б б а т

То, что должно страшить, но не страшит...
Какой-то смутный и ужасный призрак,
На адского похожий бога, встал
Из-под земли; лицо плащом прикрыто;
Он облаком окутан тяжким; вот он
Меж нами встал; но страха нет во мне.

М а н ф р е д

И нет причин бояться: он не тронет,
Но старцу вид его один грозит
Параличом. Уйди!

А б б а т

Нет! Никогда,
Покуда с бесом не сражусь! Зачем он
Пришел?

М а н ф р е д

Зачем?.. Ах, да, зачем?.. Его я
Не вызывал; он сам пришел, незванный.

А б б а т

Увы! Погибший смертный! Что за гости
К тебе приходят! За тебя дрожу я!
Зачем глядите друг на друга вы?
Вот! Он открыл лицо! На лбу змеяется
Рубцы от молний, а в глазах сверкает
Бессмертье бездны адской!.. Бес, изыди!
Прочь!

М а н ф р е д

Объясни: зачем пришел?

Д у х

Идем!

А б б а т

Скажи мне, тварь неведомая, кто ты?

Д у х

Его хранитель. Нам пора; идем.

М а н ф р е д

О, я готов на все, но повелений
Не признаю, Кем прислан ты сюда?

Д у х

Узнаешь после. Ну, идем!

М а н ф р е д

Подвластны

Мне были те, кто посильней тебя;
Твоих владык сгибал я. Прочь отсюда!

Д у х

Твой пробил час. Идем, я говорю!

М а н ф р е д

Я знал и знаю: пробил час. Но душу
Тебе, такому, не вручу я! Прочь!
Я жил один, я и умру один.

Д у х

Тогда собратьев я зову! Явитесь!
Появляются другие духи.

А б б а т

Прочь, демоны! Прочь, говорю! Где власть
У благочестья, — власти нет у бесов!
Я изгону вас именем...

Д у х

Старик!

Мы сами знаем нашу цель и сан твой;
Не расточай святых имен без пользы,
Они напрасны: смертный — обречен.
В последний раз велю ему: за мной!

М а н ф р е д

Не повинуюсь! Жизнь моя уходит,
Я чувствую, и все ж — не повинуюсь!
Не выйду я; пока дышу — презреньем
На вас дышу; пока я силен — бьюсь,
Хоть вы и духи. Вы меня возьмете,
Лишь растерзав клок за клоком.

Д у х

Упрямец!

И это — маг, проникший в мир незримый,
Почти сумевший с нами равным стать!
Тебе пристойно ль так за жизнь цепляться?
Так жизнь любить, принесшую тебе
Лишь муки?

М а н ф р е д

Лжешь, лукавый демон, лжешь!

Последний час настал — я это знаю,
Но не хочу на миг его продлить.
Борюсь я не со Смертью, а с тобою
И с этими — вокруг. Былую власть
Не ты мне дал, не этот сброд, а знанье
Высокое, терпенье, испытанья,
Труд полуночный, сильный ум, наука
Тех древних дней, когда земля видала
Людей и духов рядом, не считая,
Что духи — выше. Сила есть еще
Во мне! Не повинуюсь вам, гоно вас
И презираю!

Д у х

Но твои злодейства

Должны тебя...

М а н ф р е д

Их не тебе судить!

Злодейству ли карать злодейство? Быть ли
Судьей — убийце? Сгинь! Вернись в твой ад!

Ты надо мной не властен — *вижусь* это,
Ты мной не овладеешь — *знаю* это!
Что я свершил, то я свершил — и муку
Моей души не увеличишь ты.
Бессмертный ум наш — сам таит возмездье
За добрые свои и злые мысли,
Он сам — родник и завершение зла,
И с ним сроднен навеки; оболочку
Земную сбросив, чуждый зыбким краскам
Явлений мира брэнного, он полон
Терзанья или восторга, созерцая
Свои деянья... Ты не искушал,
Да и не мог ты искушать меня!
Твоею жертвой не был я; добычей —
Не стану! Сам себя сгубил, и сам я
Хочу карать. Не вышло, бесы!.. Прочь!
Не вы, а Смерть ко мне простерла руку.

Духи исчезают.

А б б а т

Ах, как ты бледен... Побелели губы...
Грудь ходуном... в гортани хрип... Молись!
Внеси молитву к небу хоть бы в мыслях!
Молись, молись — не умирай таким!

М а н ф р е д

Конец... Темно... тебя не различаю...
Все закружилось и плывет... земля
Как бы уходит подо мной... Прощай,
Дай руку.

А б б а т

Холод... Подступает к сердцу...

Одну молитву! Ах!.. Но что с тобой?

М а н ф р е д

Совсем не трудно умирать, старик.

(*Умирает.*)

А б б а т

Конец! Душа ушла в свой путь надземный.
Куда? Боюсь подумать, но — ушла!

МАРИНО ФАЛЬЕРО, ДОЖ ВЕНЕЦИАНСКИЙ

Историческая трагедия в пяти актах

Dux inquieti turbidus Adriæ.
Вождь возмущенный буйственной Адрии.
Гораций.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Марино Фальеро, дож Венеции.
Бертуччо Фальеро, племянник дожа.
Лиони, патриций и сенатор.
Бенингенде, председатель Совета Десяти.
Микеле Стено, один из трех старшин Совета Сорока.
Израэль Бертуччо, начальник арсенала
Филиппо Календаро
Даголино
Бертрам
Ночной синьор (Signore di Notte), чиновник Республики.
Первый гражданин.

} заговор-
щники.

Второй гражданин.
Третий гражданин.
Винченцо }
Пьетро } офицеры при дворце дожа.
Баттиста }
Секретарь Совета Десяти.
Стража, заговорщики, граждане.
Совет Десяти, Джунта и пр.
Анджолина, жена дожа.
Марианна, ее подруга.
Служанки и пр.

Венеция, 1355 год.

АКТ ПЕРВЫЙ

СЦЕНА I

Приемная во Дворце ложей.

Пьетро, входя, обращается к Баттиста.

Пьетро

Гонец вернулся?

Баттиста

Нет еще. Его

Я посылал не раз, как вы велели;
Но Синьория слишком затянула
Свой спор по обвиненью Стено.

Пьетро

Слишком!

И дож находит.

Баттиста

Как же неизвестность

Вносит он?

Пьетро

Да так: крепился, терпит.
Сидит за дожеским столом, над грудой
Дел государственных, прошений, актов,
Депеш, вердиктов, рапортов, доносов,

Как бы в работу погружен. Но только
Услышит скрип открытой где-то двери,
Или подобие шагов далеких,
Иль голосá, глаза он вмиг возводит
И вскакивает с кресла и, помедлив,
Садится вновь, вновь устремляя взор
В бумаги. Но, как наблюдал я, он
За целый час не шевельнул страницы.

Баттиста

Он, говорят, взбешен. И вправду: Стено
Довольно гнусно оскорбил его.

Пьетро

Будь Стено беден — да; но он — патриций,
Он молод, весел, горд и смел...

Баттиста

Не строго,

По-вашему, его осудят?

Пьетро

Хватит,

Коли осудят справедливо. Нам ли
Решенье «Сорока́» предвосхищать?

Входит Винченцо.

Баттиста

А вот оно! Что нового, Винченцо?

Винченцо

Суд кончен, но не знаю приговора.
Глава Совета, видел я, печатью
Скреплял пергамент с приговором, дождю
Готовясь отослать, — я и примчался.

СЦЕНА II

Комната дожа

Марино Фальеро, дож, и его племянник
Бертуччо Фальеро.

Бертуччо

Сомнения нет: признают ваше право.

Дождю

Да; так же, как авогадоры. Те
В суд «Сорока» мою послали просьбу,
Винновного отдав друзьям судить.

Бертуччо

Друзья на оправданье не решатся:
Подобный акт унизил бы их власть.

Дождю

Венеции не знаешь? И Совета?
Но поглядим...

Бертуччо
(к входящему Винченцо)

А, новости! Какие?

Винченцо

Я послан к их высочеству сказать,
Что суд решение вынес, и как только
Закончатся формальности, доставит
Его немедля дождю. А пока
Все «Сорок» шлют свое почтенье князю
Республики и просят не отвергнуть
Их уверенья в преданности.

Дождю

Да!

Почтенье их и преданность известны...
Сказал ты: есть решение?

Винченцо

Да, ваше

Высочество. Глава суда печатью
Скреплял его, когда меня послали;
Чрез миг, не позже, с должным извещеньем
К вам ляжутся — осведомить и дожда,
И жалобщика, двух в одном лице.

Бертуччо

Не мог ты, наблюдая, угадать
Решенье?

Винченцо

Нет, синьор: известна вам
Таинственность судов венецианских.

Бертуччо

О да! Но все ж найти кой в чем намек
Способен быстроглазый наблюдатель:
Спор, шопот, степень важности, с которой
Уходят судьи... «Сорок» — тоже люди,
Почтеннейшие люди, признаю,
Но мудры пусть они и правосудны
И, как могилы ими осужденных,
Безмолвны — все же по лицу, хотя бы
Того, кто помоложе, взор пытливей,
Такой как твой, Винченцо, мог прочесть бы
И произнесенный приговор.

Винченцо

Но я, синьор, ушел немедля; я
Минутки не имел для наблюденья
За судьями, за видом их. Поскольку
Стоял я рядом с подсудимым Стено,
Я должен был...

Дождю

(перевивая)

А он каков был с виду?

Винченцо

Притихший, но не мрачный; он покорно
Решенья ждал любого... Вот идут,
Несут вердикт на рассмотрение дожа.

Входит Секретарь Совета Сорока.

Секретарь

Высокий суд Совета Сорока
Главе чинов венецианских, дожу
Фальеро, шлет почтенье и подносит
Его высочеству на утверждение
Сентенцию суда по делу Стено,
Патриция; в чем обвинялся он,
Микеле Стено, также чем наказан, —
Изложено в рескрипте настоящем,
Который честь имею вам вручить.

Дожд

Ступайте; ждите за дверьми.

Секретарь и Винченцо уходят.

Возьми

Бумагу эту. Буквы как в тумане;
От глаз бегут.

Бертуччо

Терпенье, милый дядя!
Что волноваться так? Не сомневайтесь:
По-вашему все будет.

Дожд

Ну, читай.

Бертуччо

(читает)

«Совет постановил единогласно:
Микеле Стено, как признал он сам,
Виновен в том, что в карнавал последний
На троне дожа вырезал такие
Слова...»

Дожд

Ты что? их будешь повторять?
Ты хочешь повторить их, ты, Фальеро?
Повторишь то, что наш позорит род
В лице его главы, кто, в ранге дожа,
Меж граждан — первый?.. Приговор прочти!

Бертуччо

Простите, государь; я повинуюсь.

(Читает.)

«Подвергнуть Стено строгому аресту
На месяц.»

Дожд

Дальше.

Бертуччо

Это все, мой дож.

Дожд

Как ты сказал? Все?! Что я, сплю? Неправда!
Дай мне бумагу!

(Читает.)

«Суд постановил

Подвергнуть Стено...»

Поддержи, дай руку...

Бертуччо

Очнитесь, успокойтесь! Гнев бесплоден...
Врача позвать позвольте.

Дожд

Стой, ни шагу.

Прошло...

Бертуччо

Вы правы: наказание слишком
Ничтожно для такого оскорбления,
И чести нет Совету Сорока,
Коль так легко обиду он карает
Постыдную, что князю нанесли
И также — им, как поданным... Но можно
Найти исход: вновь жалобу подать
Совету или вновь авогадорам:
Те, видя нарушение правосудья,
Теперь уж не отклонят вашей просьбы,
Дадут вам торжество над наглцом.
Не правда ли? Но что вы так недвижны?
Я вас молю: послушайте меня!

Дожд

*(кидает на пол дождевую тиару и хочет
топтать ее, но, удержанный племянником,
всклицивает)*

О, Сарацин! Прорвись к Святому Марку —
Приму его с почетом!

Бертуччо

Ради бога

И всех святых, мой государь...

Дожд

Уйди!

О, если б генуэзец гавань занял!
О, если б гунн, разбитый мной при Заре,
Бродил вокруг дворца!

Бертуччо

Речь непристойна

Для герцога Венеции.

Дожд

Кто герцог

Венеции? Дай мне его увидеть
И попросить о правосудье!

Б е р т у ч ч о

Если

Забыли вы свой ранг и долг его —
Долг человека вспомните, смирите
Порыв свой. Дождь Венеции...

Д о ж

(прерывая)

Такого —

Нет! Это — слово! Хуже: звук, приставка!..
Презрительнейший, гонимый, жалкий нищий.
Не получив подачки, может хлеба
Искать у сердца добрей. Но тот,
Кто правосудья не нашел в Совете,
Чей долг со злом бороться, тот бедней
Отверженного попрошайки: раб он!
Таков теперь и я, и ты, и род наш —
Вот с этих пор. Мастеровой немты
В нас пальцем ткнет; аристократ спесивый
В нас плюнуть может — где защита нам?

Б е р т у ч ч о

Закон, мой дождь...

Д о ж

Его дела ты видел!

Просил я лишь защиты у закона,
Взывал не к мести — к помощи закона,
Искал судей, назначенных законом;
Как государь, я к подданным воззвал,
К тем, кто меня избрали государем,
Двойное право дав мне быть таким.
Права избранья, ранга, рода, чести,
Годов, заслуг, седых волос и шрамов,
Трудов, забот, опасностей, усилий —
Всю кровь, весь пот восьмидесяти лет
Я бросил на весы против позора,
Гнуснейшей клеветы, обиды наглой
Дворянчика ничтожного — все мало!
И я — терпи!

Б е р т у ч ч о

Я так не говорил;

И если бы второй ваш иск отвергли,
Уладим дело мы иным путем.

Д о ж

Вновь иск!.. И ты — сын брата моего?
Ты — отпрыск рода славного Фальеро,
Племянник дождя? Той ли крови ты,
Что трех дала венецианских дождей?
Но прав ты: нам теперь смириться надо.

Б е р т у ч ч о

Князь мой и дядя! Не волнуйтесь так!
Согласен я: подла обида; подло,
Что не нашла она достойной кары;
Но ваша ярость превышает меру
Любой обиды. Оскорбили нас?

Мы просим правосудья. Нам не дали?
Возьмем! Но будем действовать спокойно:
Месть полная — дочь полной тишины.
Я втрое вас моложе, и люблю я
Наш древний род, чту вас, его главу,
Кто молодость мою берег и нежил;
Но я, ваш гнев и горе разделяя
И негодуя с вами, все ж боюсь,
Что ярость ваша, точно вал Адриатический,
Сметя преграды, пеной лишь плеснет.

Д о ж

Я говорю... а надо ли?.. отец твой
Все понимать умел без объяснений...
Иль ты способен чувствовать лишь боль
Телесную? А где душа? Где гордость?
Где страстность? Где святое чувство чести?

Б е р т у ч ч о

Сомненье в нем впервые слышу. Всякий
Другой, не вы, и повторить не смог бы!

Д о ж

Пойми же всю обиду: хам природный,
Наглец и трус, оправданный мерзавец
Просунул жало в пасквиль ядовитый
И честь — о боже! — честь моей жены,
Наисвятую долю чести мужа,
Оклеветав, предал молве презренной:
Чернь изощряться будет в грязных толках,
В бесстыдных шутках, в поношеньях гнусных;
А знать, с улыбкой утонченной, сплетню
Распустит, просмакует ложь, в которой
Я — ровня им, любезный рогоносец,
Терпящий... нет, гордящийся позором!

Б е р т у ч ч о

Но это — ложь; вы знаете, что ложь,
И знают все.

Д о ж

Но римлянин сказал:
«Супруги Цезаря и подозренье
Касаться не должно» — и с ней расстался.

Б е р т у ч ч о

Но в наши дни...

Что Цезарь не стерпел,
То стерпит князь Венеции? Дандоло
Отверг венцы всех цезарей, гордясь
Тиарой дождя, той, что растоптал я,
Как опозоренную.

Б е р т у ч ч о

Это верно.

Д о ж

О да!.. Я зла не выместил на бедной
Невинной женщине, столь очерненной
За то, что старца избрала в мужья,

Того, кто другом был ее отцу
И всей семье... Как будто в женском сердце
Есть не любовь, а только вождельне
К безусым шалопаям... Я не мстил ей
За мерзостный навет клеветника;
Я ждал суда страны моей над ним,
Какого вправе ждать любой бедняк,
Кому нужна жены любимой верность,
Кому очаг его семейный дорог,
Кому честь имени ценнее жизни,
Кому дыханье клеветы и лжи
Все это отравило!..

Б е р т у ч ч о

Но какое
Вас удовлетворило бы возмездье?

Д о ж

Смерть!.. Разве я — не государь, на троне
Поруганный и сделанный забавой,
Посмешищем для подданных моих?
Как муж не оскорблен я? Не унижен
Как человек? Не осрамлен как дож?
В таком деянье разве не измена
Вплелась в обиду? И преступник — жив!
Да запятнай он надписью такую
Не княжий трон, а табурет мужицкий —
Он кровью тут же залил бы порог,
Пронзен ножом крестьянским!..

Б е р т у ч ч о

Ну, и этот
Не проживет до ночи! Предоставьте
Заботу мне, а сами успокойтесь.

Д о ж

Нет, стой, племянник: это было б к месту
Вчера; сейчас — гнев на него утих.

Б е р т у ч ч о

Как вас понять? Не возросла ли вдвое
Обида с этим подлым приговором?
Он — хуже оправданья: признавая
Вполне вину, он кару устранил.

Д о ж

Удвоена обида, но не им!
Назначил суд ему арест на месяц;
Нам подчиниться должно «Сорока».

Б е р т у ч ч о

Им? Позабывшим долг пред государем?

Д о ж

Ах, так! Ты понял, наконец, мой мальчик:
И гражданин, что правосудья ищет,
И государь, что правый суд вершит, —
Обобран я, обоих прав лишенный
(Здесь я и государь и гражданин);

И все же — волоска не тронь у Стено
На голове: носить ее недолго!

Б е р т у ч ч о

Не дольше суток, если разрешите
Мне действовать... Поверьте, успокоюсь,
Что не мерзавца я хотел шадить,
Хотел, чтоб вы сдержали гнев и ярость,
И мы могли бы обсудить вернее,
Как с ним покончить.

Д о ж

Нет, пускай живет —
Пока... Цена столь низкой жизни — нуль
В минуту эту. В древности одною
Довольствовались жертвой за грехи,
Злодейства ж искупали гекатомбой!

Б е р т у ч ч о

Закон — желанья ваши; все ж хочу я
Вам доказать, что родовая честь
Моей душе вовеки драгоценна.

Д о ж

Не бойся: в должный миг и в должном
месте
Докажешь. И не горячись, как я:
Теперь мне стыдно бешенства былого;
Прости меня.

Б е р т у ч ч о

Вот это дядя мой!
Политик, полководец, повелитель,
Глава страны и государь себе!
Дивился я, что в ваши годы вы
Всю осторожность позабыли в гневе;
Хотя причина...

Д о ж

Думай о причине!
Не забывай! Когда уснешь — и то
Пускай она сквозь сон чернеет; утром
Пускай висит меж солнцем и тобою
Зловещим облаком, что в летний день
Грозит веселью. Для меня она —
Такая... Но — ни слова, ни движенья;
За дело сам примусь, но дела хватит
И для тебя. Теперь ступай: хочу я
Один побыть.

Б е р т у ч ч о

(подымая и кладя на стол тшару дождя)
Пока я здесь — молю
Принять убор отвергнутый, покуда
Еще короной он не заменен.
Теперь иду и умоляю вас
Не забывать о верности и долге
Того, кто вам и кровная родня,
И в согражданстве подданный покорный.

(Уходит.)

Д о ж

(один)

Прощай, мой славный...

(Берет в руки тиару.)

Вздорная игрушка!

В себе тая все тернии короны,
Ты не даришь истерзанному лбу
Всевластного величия монархов.
Презренный раззолоченный пустяк,
Тебя надену маскарадным шлемом.

(Надевает ее.)

Как больно мозгу под тобой! И кровь
Стучит в виски под тяжестью постыдной...
Ужель не станешь диадемой ты?
Ужели у сторукого сената,
У Бриаря, не сломаю скиптра,
Которым превращен в ничто народ
И в куклу — дож? Я выполнял дела
Ничуть не легче, выполнял для них,
Так отплативших! Что ж, и мы отплатим!
О, год бы только, день бы юных сил,
Когда душе повиновалось тело,
Как верховому благородный конь, —
Я б ринулся на них, я без труда
Поверг бы их, патрициев спесивых;
Теперь чужих кругом ишу я рук
На помощь голове седой; она же
Измыслит им не геркулесов подвиг,
А путь полегче. Но теперь в ней хаос
Туманных мыслей; первая работа
Воображенья — вывести на свет
Неявственные образы, чтоб разум
Мог не спеша произвести отбор...
Войск мало...

Входит Винченцо.

Винченцо

Просит гражданин какой-то
У вашего высочества приема.

Д о ж

Я болен; никого — будь он патриций —
Я не приму. Пусть просьбу шлет в Совет.

Винченцо

Я, государь, так и скажу; и дело
Пустое, видно: он простолюдин;
Сдается мне, он капитан галеры.

Д о ж

Что? Говоришь ты: командир галеры?
Так, значит, офицер, я полагаю?
Впусти; возможно, он с казенным делом.

Винченцо уходит.

Д о ж

Повыпытать кой-что у капитана!..
В народе, знаю, ропот с той поры,
Как нас под Сапиендой генуэзцы
Разбили; с той поры, как стал народ
В стране нулем, а в городе — похуже:
Машиною для угожденья знати
В ее патрицианских наслажденьях.
Войскам давно, наобещав, не платят;
Солдаты ропшут; намекни — восстанут,
Чтоб грабежом свое добро добыть.
Священники... На них не положусь я:
Они меня не терпят с той поры,
Как я, осатанев от нетерпенья,
Нанес удар епископу в Тревизо,
Чтоб он ускорил шествие; и все же
Привлечь их надо; я задобрю папу
Уступкой своевременной. Но должно
Мне торопиться: в мой закатный час
Для жизни света остается мало.
Снять гнет с народа, отомстить обиду —
И хватит, пожил; в тот же миг охотно
Усну меж предков. А не выйдет — лучше б
Три четверти моих восьми десятков
Провел я там, где вскоре — и неважно
Когда — погаснет все. Так лучше было б:
Тогда бы мне не угрожало стать
Игрушкой архитиранов этих...
Размыслим: здесь из наших войск наличных
Три тысячи; стоят...

Входят Винченцо и Израэль Бертулло.

Винченцо

Простите, ваше
Высочество: вот капитан, просивший
Вниманья вашего.

Д о ж

Ступай, Винченцо.

Винченцо уходит.

Сюда, синьор. Что просите?

Израэль

Защиты.

Д о ж

А у кого?

Израэль

У бога и у дожа.

Д о ж

Увы, мой друг! У этой пары мало
В Венеции почета и влиянья.
В Совет ступайте.

Израэль

Это бесполезно:

Обидчик мой — сам член Совета.

Д о ж

Кровь на лице у вас; откуда это?
Вижу

И з р а э л ь

Моя! За честь Венеции не раз я
Лил кровь. Но от руки венецианца —
Впервые. Бил патриций.

Д о ж

Жив?

И з р а э л ь

Недолго б

Он жил, не будь в моей душе надежды,
Что вы, мой дож, сам воин. оградите
Того, кому закон и дисциплина
Связали руки. Если же не так —
Умолкну я.

Д о ж

Но действовать начнете?
Не правда ли?

И з р а э л ь

Я — человек, мой дож.

Д о ж

И ваш обидчик — тоже.

И з р а э л ь

Да, по кличке:

В Венеции ж он — больше; он — патриций.
Он поступил со мною, с человеком.
Как со скотом; но скот взбеситься может;
И червь кусается.

Д о ж

Кто ваш обидчик?

И з р а э л ь

Барбаро.

Д о ж

А причина или повод?

И з р а э л ь

По службе я начальник арсенала,
Там чинятся галеры: прошлый год
От генуэзцев им досталось. Нынче
Влетел ко мне Барбаро именитый,
Ругаясь, что рабочие мои,
Казенным заняты делом, смели
В его дому чего-то не доделать.
Вступился я. И он — кулак свой поднял!..
Вот кровь, глядите! Пролилась впервые
Она без чести...

Д о ж

Вы давно на службе?

И з р а э л ь

Настолько, что осаду Зары помню,
Где дрался я, где гуннов бил мой вождь,
Мой генерал, теперь мой дож, Фальеро.

Д о ж

Так мы товарищи?.. Я в платье дожа
Недавно; видно, в арсенал назначен
Ты до меня, я в Риме был, конечно.
Тебя не мог узнать я. Кто назначил?

И з р а э л ь

Последний дож. Мне званье капитана
Сохранено, а новый пост мне дан
В награду за бесчисленные шрамы
(Как соизволил он сказать). Кто б думал,
Что эта милость приведет меня
Беспомощным истоцм к другому дожу
И по такому делу!..

Д о ж

Сильно ранен?

И з р а э л ь

Неизлечимо в отношении чести.

Д о ж

Скажи, не бойся: уязвленный в сердце,
Какого б ты искал врагу возмездья?

И з р а э л ь

Назвать не смею, но добьюсь его.

Д о ж

Чего же здесь ты ищешь?

И з р а э л ь

Правосудья.

Мой генерал стал дожем и не будет
Глядеть, как топчут старого солдата.
Сиди на троне дожа не Фальеро,
Я эту кровь другой бы кровью смыл.

Д о ж

Ты правосудья ищешь у *меня!*
Его не в силах дож венецианский
Ни дать, ни получить: лишь час назад
Торжественно мне отказали в нем.

И з р а э л ь

Как так, мой дож?

Д о ж

Приговорили Стено
В тюрьму, на месяц.

И з р а э л ь

Как? Того, кто смел
Ваш трон испачкать грязными словами,
Чья срамота для всех ушей ясна?

Д о ж

Видать, и в арсенал дошел их отзвук,
В лад молоткам звуча добротной шуткой
Мастеровых или припевом к скрипу
Галерных весел в песне площадной
Любого каторжника, кто ликует,
Строфой веселой тешась, что не он —
Дождь осрамленный, глупый старикашка!

И з р а э л ь

Возможно ль? Месячный арест и только!
Для Стено!

Д о ж

Ты слышал про оскорбленье;
Теперь ты знаешь кару. У меня ли
Искать защиты? К «Сорока» ступай.
Они, как видишь, Стено покарав,
Осудят, несомненно, и Барбаро.

И з р а э л ь

Ах, если б я посмел открыть вам чувства!..

Д о ж

Открой: меня уж оскорбить нельзя.

И з р а э л ь

Так вот: одно скажите слово — и
Свершится месть! Не за мою обиду
Пустую, за удар, хотя и подлый.
Ведь я ничто, — за низкое бесчестье,
Что вы как дождь и воин понесли.

Д о ж

Ты слишком пылок: власть моя — декорум;
Тиара — не корона; а народ мой
Пробудит жалость, как тряпье бродяги;
Нет, больше: у того свои лохмотья,
А это — жалкой марионетке одолжили,
Вся власть которой — этот горностай.

И з р а э л ь

Ты стал бы королем?

Д о ж

Да — у народа
Счастливого.

И з р а э л ь

Ты хочешь стать монархом
Венеци?

Д о ж

Да, разделив державу
С народом, чтоб вовек не быть рабами
Разросшейся патрицианской гидры,
Чьи головы с отравленного тела
На всех нас дышат ядом и чумой!

И з р а э л ь

Ты сам патриций родом и карьерой...

Байрон. Избр. произведений

Д о ж

Не в добрый час родаясь! Мое рождение
Стать помогло мне дождем — для обид;
А жизнь провел я как солдат, служба
Стране с ее народом, не сенату,
Лишь в благе их награду чести видя.
В боях лил кровь я; войско вел к победам;
Вершил и рушил мир в посольствах частых,
Всем пользуясь для выгоды страны;
Я шесть десятков лет моря и земли
Браздил, на пользу родины трудясь —
Венеции, — и, видя издалека
Ее шпили над синевой лагуны,
Я счастлив был, что вновь я вижу их!
Но не для кучки малой, не для секты,
Не для сословья лил я кровь и пот.
Зачем — ты хочешь знать? У пеликана
Спроси, зачем он истекает кровью,
Грудь растерзав? Владей он речью, он бы
Ответил так: «Для всех моих птенцов!»

И з р а э л ь

Но знать взвела тебя на трон.

Д о ж

Взвела!

Я не просил. Я в цепи золотые
Попал, с посольством воротаясь из Рима.
Не отклонял я прежде никакой
Работы или службы государству,
И нынче, старец, не отверг поста,
По виду столь высокого, на деле ж
Презренного, коль тягости учесть.
Что это так, ты сам, мой бедный, видишь,
Коль нам с тобой защиты нет во мне.

И з р а э л ь

Обоим есть она, лишь пожелайте,
И тысячам таких же угнетенных,
Сигнала ждущих. Дать его согласны?

Д о ж

Что за загадки?

И з р а э л ь

Их, рискуя жизнью,
Я разъясню; но удостойте слушать
Внимательно.

Д о ж

Я слушаю.

И з р а э л ь

Не только
Я или вы гнет унижений терпим,
Не нас одних ногами топчут: стонет
Весь наш народ, обиды осознав.
Наемные войска сплошь недовольны:

Им жалованье задержал сенат;
А наши моряки и ополченцы
С друзьями плачут: мало, кто найдется,
Чьи брат, отец, дитя, жена, сестра
Не стали жертвой гнусного насилья
Патрициев. А вечная война
С далекой Генуей, питаюсь кровью
Плебеев нищих, золотом, что жмут
Из их прибытков, их не бесит разве?
Еще теперь... Но я забыл: быть может,
Я, все сказав, обрек себя на смерть?

Д о ж

Так пострадавший, ты боишься смерти?
Тогда молчи; живи, снося побои
Тех, за кого ты пролил кровь.

И з р а э л ь

О нет.

Скажу я все, что б ни было! Но если
Венецианский дож — доносчик, стыд
И срам ему! Он потеряет больше,
Чем я.

Д о ж

Меня не бойся. Продолжай.

И з р а э л ь

Так знай, что есть скрепленный клятвой
тайной

Союз друзей, отважных, верных братьев,
Изведавших все беды и о судьбах
Венеции скорбящих. И по праву:
Они служили ей во всех краях
И, разгрома врагов иноплеменных,
От внутренних ее хотят спасти.
Немного нас, но и не слишком мало
Для славной цели. Есть оружие, средства,
Надежда, храбрость, вера и терпенье.

Д о ж

Чего вы ждете?

И з р а э л ь

Часа, чтобы грянуть.

Д о ж

(в сторону)

Он с колокольни Марка грянет — час!..

И з р а э л ь

Вот: жизнь моя, и честь, и все надежды —
В твоих руках, но твердо убежден я,
Что если общи корни у обид,
То общей быть должна и месть. Коль
прав я,
Будь нам теперь вождем, потом — монархом.

Д о ж

А сколько вас?

И з р а э л ь

Сначала ты ответь,

А после я.

Д о ж

Вы что, синьор? Грозите?

И з р а э л ь

Нет, заявляю. Сам себя я предал;
Но в тайниках дворцовых и подвалах,
В ужасных клетках «под свинцовой кровлей»
Нет пыток тех, которые могли бы
Одно лишь имя вырвать у меня!
«Колодцы» ваши и «Свинцы» бессильны;
Кровь у меня там выжмут, не измену;
По «Мосту вздохов» страшному пройду,
Ликуя, что последний стон мой будет
Последним эхо над волною Стикса,
Текущего меж палачом и жертвой,
Между темницей и дворцом... Найдутся
Живые — думать обо мне и мстить!

Д о ж

С такими планами и властью — что же
Ты о защите просишь? Сам добиться
Ты можешь правды.

И з р а э л ь

Объясню я: тот,

Кто просит покровительства у власти,
Тем проявив доверье и покорность,
Едва ли будет заподозрен в тайных
Намереньях разрушить эту власть.
Когда б смиренно я стерпел побои,
То вид угрюмый мой и брань сквозь зубы
Приметили б шпионы «Сорока».
А с громкой жалобой, хотя б и резкой
По выраженьям, я ничуть не страшен,
Не подозрительен. Но, впрочем, есть
Еще причина...

Д о ж

Именно?

И з р а э л ь

Я слышал,

Что дож безмерно возмущен решением
Авогадоров, передавших дело
Микеле Стено на разбор в Совет.
Я вам служил, я чту вас — и глубоко
Почувствовал, какая в той обиде
Опасность: вы из тех людей, кто платят
Сторицей за добро и зло. Решил я
Проверить вас и к мести подстрекнуть.
Я все сказал. Что я не лгу — порукой
Мой риск.

Д о ж

Ты, правда, многим рисковал;
Но так и надо — ради крупной ставки.
Скажу одно: твоей не выдам тайны.

И з р а э л ь

И это все?

Д о ж

Не зная дела глубже,
Что я отвечу?

И з р а э л ь

Думаю, что можно
Довериться тому, кто жизнь доверил.

Д о ж

В чем план ваш, кто вы, сколько вас — я должен
Узнать; число удвоить можно, план же —
Точней продумать.

И з р а э л ь

Нас уже довольно;
В союзники нам нужно только вас.

Д о ж

Но хоть вождей представь мне.

И з р а э л ь

Я представлю,
Лишь клятву получив в залог за тайну,
Которую мы вам в залог дадим.

Д о ж

Когда и где?

И з р а э л ь

Сюда, сегодня ночью,
Двух привести могу я главарей;
Опасно больше.

Д о ж

Стой; подумать нужно.
А если я приду к вам из дворца,
Доверясь вам?

И з р а э л ь

Извольте, но — один.

Д о ж

С племянником.

И з р а э л ь

Ни с кем! Ни даже с сыном!

Д о ж

Зверь! Сына смел назвать! Под Сапиенцой
За родину коварную он пал!..
О, будь он жив, а я в гробу! Иль лучше

Воскресни он, пока не стал я прахом!
На помощь я не звал бы незнакомцев
Сомнительных!..

И з р а э л ь

Но эти незнакомцы
Все на тебя глядят с сыновним чувством,
И сам ты им доверься, как отец!

Д о ж

Ну, жребий брошен!.. Где назначим встречу?

И з р а э л ь

Я в полночь, в маске, буду там, где ваше
Высочество велите ждать мне вас,
Оттуда мы пройдем в другое место,
Где вам присягу принесут и вы
О наших планах выскажетесь.

Д о ж

Поздно

Луна восходит?

И з р а э л ь

Да, но небо тускло,
Мгла, пыль: сирокко дует.

Д о ж

Значит, в полночь.

Близ церкви, где мои починут предки,
Ты знаешь: церковь Иоанна — Павла,
Апостолов; вблизи, в канале узком,
Найдешь одновесельную гондолу.
Жди там.

И з р а э л ь

Я буду там.

Д о ж

Теперь ступай.

И з р а э л ь

Уверен я, что герцог не отступит
В решение славном. Я иду, мой дож.
(Уходит.)

Д о ж

Так; в полночь, к церкви Иоанна — Павла,
К могилам предков честных я приду...
Зачем?! держать ночной совет с кружком
Смутьянов низких, главарей крамолы.
И деды не покинут ли гробницу,
Где, до меня, легли уже два дожа,
Чтоб к ним столкнуть меня? Ах, если б так!
Меж чистыми и я почил бы чистым!
Увы! Не к ним — к другим лечу я мыслью

Мне имя запятнавшим,— то, что славой
Равно с любимым из консульских имен
На римских мраморах! Но древний блеск
Ему верну в анналах я,— всем подлым
В Венеции с восторгом отомстив

И дав другим свободу! Или черным
Его оставлю клевете веков,
Что вечно беспощадны к побежденным
И Цезаря и Катилину мерят,
Взяв проблем камнем доблести — успех!

АКТ ВТОРОЙ

СЦЕНА I

Комната во Дворце дожей.

Анджоллина (жена дожа) и Марианна.

Анджоллина

И дож ответил?..

Марианна

Что он срочно вызван
На заседание. Но оно, должно быть,
Закончено: я видела недавно
Сенаторов, садившихся в гондолы;
Да вон, гляди: последняя скользит
Меж барками, столпившимися тесно
В сверканье вод.

Анджоллина

О, если б он вернулся!
Он очень был расстроен в эти дни;
Года, безвластные над гордым духом,
Не властны даже и над плотью смертной,
Что, кажется, в душе находит пищу,
В душе столь быстрой и живой, что вряд ли
Прах послабее вынес бы. Но годы
Не властны и над горем, над обидой.
Обычно у людей его закала
Гнев и тоска при первой страстной вспышке
Развиваются, а в нем навеки
Все остается. Мысли, чувства, страсти,
Дурные и хорошие, ничуть
Не дышат старостью. На лбу открытом
Рубцы раздумий — мысли многолетней,
Не дряхлости. В последние же дни
Как никогда взволнован он. Скорей бы
Он возвращался! Я одна умею
Влиять на дух его смятенный.

Марианна

Верно.

Его высочество разгневан страшно
Бесстыдством Стено, что вполне понятно.
Но нет сомненья, что уже обидчик
Приговорен за свой поступок наглый
К суровой каре — и огненные будут
Честь женщины и знатность крови чтить!

Анджоллина

Да, оскорбленье тяжко; но меня
Не клевета, столь грубая, тревожит,
А потрясенье, вызванное этим
В душе Фальеро, пламенной, и гордой,
И строгой... да, ко всем, за исключением
Одной меня. И я дрожу при мысли
О том, что будет.

Марианна

Пессименно, дож
Подозревать не может вас.

Анджоллина

Меня?!

И Стено не дерзнул! Когда, пробравшись
Как вор, в мерцанье лунном, он на троне
Ложь нацарапывал свою, то совесть
Его терзала, тени на стенах
Стыдились клеветы его трусливой!

Марианна

Его бы круто проучить!

Анджоллина

Проучен.

Марианна

Как? Есть уже решение? Осудили?

Анджоллина

Я знаю то, что он изобличен.

Марианна

И в этом все возмездье для мерзавца?

Анджоллина

Мне трудно быть судьей в своем же деле
И угадать, какою карой можно
Воздействовать на дух развратный Стено;
Но если суд не глубже потрясен,
Чем я, презренной клеветой этой —
Виновного отпустят на свободу
Влачить свое бесстыдство или стыд.

Марианна

А жертва за поруганную честь?

А н д ж о л и н а

Та честь плоха, которой нужны жертвы,
Которая зависит от молвы.
«Она лишь имя» — римлянин пред смертью
Сказал; и верно, если шопот может
Ее создать и погубить.

М а р и а н н а

Но сколько
Вернейших жен глубоко б оскорбились
Таким злословьем! Дамы ж подступней
(В Венеции их много) завопили б,
Неумолимо требуя суда!

А н д ж о л и н а

Они бы этим доказали только,
Что слово ценят, а не свойство. Первым
Не так легко сберечь невинность, если
Ей нужен ореол; а утерявшим —
Лишь видимость невинности нужна,
Как нужны украшения и наряды,
А не сама она; им важно мнение.
Им хочется, чтоб верили в их честь,
Как хочется красивыми казаться.

М а р и а н н а

Для знатной дамы странны эти мысли.

А н д ж о л и н а

Их мне отец внушил; они да имя —
Вот все наследство.

М а р и а н н а

Нужно ль вам наследство —
Жене главы республики и князя?

А н д ж о л и н а

Будь я за мужиком — и то другого б
Я не ждала, полна к отцу любовью
И благодарностью за то, что руку
Мою он отдал другу своему
Старинному — Валь-ди-Марино, графу
И ныне — дожу.

М а р и а н н а

Руку — но и сердце?

А н д ж о л и н а

Одно не отдается без другого.

М а р и а н н а

Но столь большая разница в летах
И — доскажу — в характерах несходство
Сомненье вызывают в людях: вправду ль
Такой разумен брак и счастье прочно?

А н д ж о л и н а

Но людям люди судят; я же сердцем
Покорна долгу; он многообразен,
Но не тяжел.

М а р и а н н а

Вы любите Фальеро?

А н д ж о л и н а

Все то люблю я, что любви достойно
И благородно. Я отца любила:
Он научил меня распознавать,
Что следует любить и как беречь
Прекрасные дары природы нашей
От низкой страсти. Руку он мою
Фальеро отдал, зная, что он храбр,
Великодушен, благороден, — истый
Солдат, и гражданин, и друг. Все это
В нем есть: отец был прав. А недостатки
В нем те, что свойственны высоким душам,
Повелевать привыкшим. Горд он очень;
В нем пыл страстей неукротимых — плод
Патрицианства и тревожной жизни
Политика и война. В нем остро
И чувство чести; в должных рамках это —
Достоинство, а вне границ — порок;
И этого боюсь я в нем. Он крайне
Был вспыльчив прежде; этот недостаток
Настолько был обуздан благородством,
Что робкая республика вручала
Ему всегда важнейший пост — от первых
Боев и до последнего посольства,
Откуда к нам вернулся дожем он.

М а р и а н н а

А прежде брака — неужели сердце
Для юного красавца не забилося
Ни разу, для того, кто парой стал бы
Красавице, как вы? Ни разу после
Не встретился такой, кому могла бы
Дочь Лоредано, будь она свободна,
Женою стать?

А н д ж о л и н а

На первый ваш вопрос
Ответ — мой брак.

М а р и а н н а

А на второй?

А н д ж о л и н а

Не нужен

Ответ.

М а р и а н н а

Прошу простить; не обижайтесь.

А н д ж о л и н а

Я не в обиде, я удивлена:
Как может сердце, связанное браком,
Гадать, кого б оно *теперь* избрало,
Забыв свой первый выбор?

М а р и а н н а

Первый выбор
Как раз внушает мысль порой, что можно б
Разумней выбрать, воротись былое.

А н д ж о л и н а

Возможно. Мне такие мысли чужды.

М а р и а н н а

Смотрите: дож. Уйти мне?

А н д ж о л и н а

Да, пожалуй,
Так лучше; он, повидимому, в мысли
Ушел глубоко... Так задумчив он!

Марианна уходит. Входят Дож и Пьетро.

Д о ж

(в раздумье)

Есть в арсенале некий Календаро,
Филиппо; восемьдесят человек
В его команде, и большим влияньем
На них он пользуется. Он, я слышал,
Смел, дерзок и отважен; популярен
И сдержан в то же время. Хорошо бы
Его привлечь. Почти уверен я,
Что Израэль Бертуччо сделал это,
Но следует...

П ь е т р о

Простите, государь,
Что вас я прерываю; но сенатор
Бертуччо, ваш племянник, поручил мне
Соизволения попросить у вас
Ему назначить время для беседы.

Д о ж

Пусть на закате... стой: соображу...
Нет; передай, — в два ночи.

Пьетро уходит.

А н д ж о л и н а

Государь мой!

Д о ж

Прости, родная! Что ж не подошла ты,
Дитя мое? Тебя я не заметил.

А н д ж о л и н а

Вы размышляли. И притом ушедший
Ваш офицер, возможно, с важной вестью
Явился от сената.

Д о ж

От сената?

А н д ж о л и н а

Как мне мешать посланцу и сенату?
Они вам служат.

Д о ж

Мне — сенат?! Ошибка!
Ведь это мы сенату служим все.

А н д ж о л и н а

Венецией не герцог разве правит?

Д о ж

Он будет править. Но оставим. Темы
Есть веселей. Как чувствуешь себя?
Гуляла? Нынче пасмурно, но тихо;
Веслом легко работать гондольеру.
Или подруг ты принимала? Или
За музыкой все утро провела
Одна? Скажи: чего бы ты хотела,
Что дать еще способен дож безвластный?
Немного блеска? Развлечений скромных
На людях или дома? Сердцу скрасить
Унынье дней, потраченных на мужа,
Столь старого и занятого столь.
Скажи — все будет.

А н д ж о л и н а

Вы всегда добры;
Но нечего просить мне и желать —
Лишь видеть вас почаще и — спокойным.

Д о ж

Спокойным?

А н д ж о л и н а

Да, мой добрый дож! Зачем вы,
Всех сторонясь, блуждаете один?
У вас на лбу печать суровой думы,
И если разгадать ее нельзя,
То все же видно...

Д о ж

Все же видно? Что же?
Что видно в ней?

А н д ж о л и н а

Что сердце неспокойно.

Д о ж

Но это вздор, дитя! Забот вседневных,
Ты знаешь, очень много у того,
Кто правит шатким этим государством.
Нам Генуя грозит извне; внутри —
Есть недовольство; вот я и задумчив,
И менее спокоен, чем всегда.

А н д ж о л и н а

Но эти же причины были прежде,
А были вы тогда не тот, что нынче.
Простите мне, но в сердце вашем тяжесть
Иная, чем заботы о стране.
Для опыта и дарований ваших
Легки заботы; нет — необходимы,
Ум охраняя от застоя. Вас ли

Взволнуют вражды козни и опасность?
Вас, кто вовек пред бурей не склонялся,
Кто восходил, ни разу не споткнувшись,
К вершинам власти — и достиг вершин,
И, стоя там, глядел спокойно в бездны,
Не ощущая головокруженья?!
Пусть в порт ворвется генуэзский флот
Или мятеж плеснет на площадь Марка —
Не дрогнете. А если пасть придется,
То — как и перед битвой — с ясным лбом!
Теперь — другого рода ваши чувства;
Страдает гордость, не патриотизм.

Д о ж

Увы! Я гордость утерял: лишили!

А н д ж о л и н а

Да, гордость — грех, что ангелов низверг.
Ему всех легче поддается смертный,
Кто с ангелами схож природой духа:
Тщеславен низкий; лишь великий горд.

Д о ж

Был гордым я, *твоею* честью гордость
Храня в душе. Но — перестань об этом.

А н д ж о л и н а

Ах, нет! Всегда деля со мною радость,
Позвольте мне участвовать и в ваших
Печалях. Я ведь никогда ни слова
О ваших государственных делах
Не спрашивала. Но теперь, я знаю,
У вас тревога личная. Позвольте ж
Мне облегчить иль разделить ее.
С тех пор, как Стено вам злословьем глупым
Смутил покой, вы крайне изменились;
Хочу смягчить вас, чтоб вы стали прежним.

Д о ж

Стал прежним?! Знаешь приговор для Стено?

А н д ж о л и н а

Нет.

Д о ж

Под арест на месяц.

А н д ж о л и н а

Разве мало?

Д о ж

Немало! для галерника, кто спяну
Под плетью на хозяина ворчит;
Но не для хама, кто с расчетом мерзким
Пятнает честь и женщины и князя,
И где? на троне! на твердыне власти!

А н д ж о л и н а

По-моему, довольно, что патриций
Изобличен во лжи и клевете;
Потеря чести — хуже наказанья.

Д о ж

Но у таких нет чести! Только жизнь
Презренная! Но суд не отнял жизни!

А н д ж о л и н а

Не смерти ж вы хотите за обиду.

Д о ж

О нет — *теперь*; пускай живет, покуда
Он *жив*; на смерть утратил он права!
Его прощенье — приговор для судей;
Теперь он чист, вина легла — на них.

А н д ж о л и н а

О, поплатись безумный этот лгун
За вздорный пасквиль кровью молодого —
Душа моя ни радости не знала б,
Ни сна без тяжких сновидений.

Д о ж

Разве

Суд неба не назначил кровь за кровь?
А клеветник — он более убийца,
Чем льющий кровь. *Боль* иль *позор* удара
Смертлейшей ранит чувство человека?
Людской закон за честь не кровью ль платит,
И не за честь — за меньшее, за деньги?
Кровь за измену — не закон ли наций?
Ужель ничто — наполнить ядом жилы,
Где кровь текла здоровая? Ничто —
Тебе и мне обрызгать грязью имя
Столь чистое? Ничто — унижить князя
Перед лицом народа? Уронить
Почтенье то, с каким взирают люди
На юность женщин и мужскую старость?
На вашу честь и наше благородство?
Об этом пусть бы кроткий суд подумал!

А н д ж о л и н а

Бог нам велит прощать своих врагов.

Д о ж

А бог *своих* простил? Не проклял разве
Он сатану?

А н д ж о л и н а

Не нужно слов безумных!
Господь равно простит и вас и ваших
Врагов.

Д о ж

Аминь! Прости им бог.

А н д ж о л и н а

А вы?

Д о ж

И я, когда на небе встречусь.

А н д ж о л и н а

Только?

Д о ж

Что им мое прощенье? Дряхлый старец;
Унижен, презрен, высмеян... Что им
Мое прощенье или гнев мой? Оба
Равно ничтожны... Слишком долго жил я...
Но бросим это... Ах, дитя мое!
Дочь Лоредано храброго, жена
Моя обиженная! Ах, не думал
Отец твой, дочь за друга выдавая,
Что сраму предаст ее! Увы!
Срам без вины, срам — беспорочный! Если б
Твоим супругом был другой, *любой*,
Не дож венецианский, — эта мерзость,
Позор и грязь не пали б на тебя!
Столь юной быть, прекрасной, доброй, чистой
И так страдать! И мщенья не найти!

А н д ж о л и н а

Но я отомщена любовью вашей,
Доверьем, уваженьем. Знают все,
Что чисты вы, что я верна. Чего ж мне
Еще желать, вам — требовать?

Д о ж

Могло бы
Все лучше быть. Но, что бы ни случилось,
Останься доброй к памяти моей.

А н д ж о л и н а

К чему вы это говорите?

Д о ж

Так...

Твое, коль не людское, уваженье
Хочу хранить и мертвый, как живой.

А н д ж о л и н а

Что за сомненья? Разве я не чту вас?

Д о ж

Поди сюда и выслушай, дитя.
Отец твой был мне друг. Случайно стал он
Обязан мне за некие услуги,
Скрепляющие дружбу честных. После,
На смертном ложе, нашего союза
Он пожелал — но вовсе не платя мне:
Со мной давно расцелся дружбой он.
Нет! Красоте твоей осиротелой
Хотел он дать убежище от бед,
Что здесь, в гнезде порока скорпионьем,
Бездомной бесприданнице грозят.
Не стал я спорить, ибо с этой мыслью
Встречал он легче свой последний миг.

А н д ж о л и н а

Мне не забыть вопрос ваш благородный,
Не чувствую ли в юном сердце склонность
К друтому, с кем счастливей быть могла б;

А предложенье ваше о приданом,
Завидном для любой венецианки?
А ваш отказ от прав, отцом врученных?

Д о ж

Да, не был то каприз безумный старца,
Порыв обманный дряхлого желанья,
Алкающего красоты девицей,
Невесты юной. Страсти я смирял
И в молодости огненной; и старость
Не пожрана проказой сладострастья,
Пятнающей седины у развратных,
Веля им пить последние подонки
Восторгов, изменивших им давно,
Иль покупать себе жену-рабыню,
Бессильную отвергнуть эту честь,
Но чувствующую себя несчастной.
Наш брак иной: тебе свободный выбор
Я предоставил; ты же — подтвердила
Отцовский.

А н д ж о л и н а

Да! И подтвердила б так же
Пред небом и землей! И не пришлось мне
Жалеть себя; но вас, порою, — да:
При виде ваших горестей последних.

Д о ж

Я знал, что я с тобой суров не буду;
Я знал, что мне тебя томить недолго;
Что скоро дочь любимого мной друга,
Достойная отца, — умна, богата, —
В расцвете полном женственности, будет
Свободна вновь для выбора, пройди
Чрез годы испытанья умудренной.
Наследовав мой титул и богатства,
Ценой эпитимьи не очень долгой
Со старым мужем, не боясь ни клеуз
Судейских, ни завистливой родни,
Она, дочь друга старого, сумеет
Найти того, кто по годам ей ближе,
А верным сердцем предан так, как я.

А н д ж о л и н а

Мой государь! Я лишь отцовской воле,
Его предсмертным словом освященной,
Да сердцу внемлю, выполняя долг
И верностью супругу отвечаю.
Надежд надменных я чужда; приди он,
Ваш смертный час, — я это докажу.

Д о ж

Я верю, зная искренность твою...
Любовь же из романов я считал
И в юности иллюзией — непрочной
И часто роковой. Я в самых страстных
Моих годах приманки в ней не видел,
Коль есть любовь такая, — и не вижу.

Но уваженье, нежное вниманье,
Забота о твоём благополучье,
Уступчивость желаньям невинным,
Содействие достоинствам, незримый
Надзор за недостатками пустыми,
Что юности присущи, — осторожный,
Не резкий, чтобы, исправляясь, ты
Самой себе приписывала выбор;
Доверье, дружба, ласковость и гордость
Не красотой твоей, а поведением,
Любовь отца, а не безумье страсти —
Вот чем я думал заслужить твою
Привязанность.

А н д ж о л и н а

Она всегда была.

Д о ж

Да, верно. Видя разницу в годах,
Ты все ж меня избрала. Верил я
Отнюдь не внутренним моим иль внешним
Достоинствам, — я им не доверял бы
И в двадцать пять, не в восемьдесят лет, —
Я верил чистой крови Лоредано,
В тебе текущей, и твоей душе,
Творенью бога, истинам отцовским,
Усвоенным тобою, вере, чести
И честности — им верил, как своим!

А н д ж о л и н а

Вы были правы; я вам благодарна
За эту веру: с ней все больше крепнет
Почтенье к вам.

Д о ж

Где чувство чести есть
Врожденное и с детства развитое,
Там брак — скала; где нет его, — где мысли
Приманок ищут, жажда удовольствий
Ничтожных гложет сердце или похоть
В нем корчится — я знаю хорошо:
Там нечего мечтать о чистом чувстве;
Нет чистоты, коль кровь заражена,
Хотя бы муж всем отвечал желаньям;
Будь он мечтой поэта воплощенной
Иль в мраморе изваянной красой,
Будь полубогом, будь Алкидом в полном
Величье мужественности — бесплодно:
Пустое сердце не привяжет он.
Лишь добродетель созидаёт браки:
Изменчив грех, невинность неизменна.
Одно паденье — навсегда паденье:
Разнообразья ждет порок, но солнцем
Стоит невинность, жизнь, и свет, и славу
Даруя всем, кто на нее глядит.

А н д ж о л и н а

Так чутко, зорко разбираясь в людях,
Зачем (простите) весь вы отдаётся

Ужаснейшей из роковых страстей,
Смущая мысли ненавистью стойкой
К ничтожнейшему Стено?

Д о ж

Ты ошиблась.

Я возмущен не Стено; если б им —
Давно бы он... Но нет, оставим это.

А н д ж о л и н а

Но что же так волнует вас теперь?

Д о ж

Венеции поруганная слава,
Где поправы закон и государь.

А н д ж о л и н а

Ах, но зачем смотреть на дело так?

Д о ж

Не так смотрел я до тех пор. Позволь
Договорить мне... Взвесив это все,
Женился я. Никто не осудил
Намерений моих; мой образ действий
Их оправдал, а твой — был выше всяких
Похвал. Я и родня тебя дарил
Свободой, уваженьем и доверьем.
Дочь рода, нам дававшего князей,
Свергавшего чужих князей, была ты
Вполне достойна первой стать из дам
Венеции.

А н д ж о л и н а

К чему ведете вы?

Д о ж

К тому, что негодяйдохнул заразой
На это все, — разнузданный тот хам,
Кого, среди пира, вывести велел я
За безобразье, чтобы впредь умел
Себя вести он в герцогских покоях!
И негодяй на стенке след оставил —
Зловредный яд обугленного сердца,
И тот разлился общею отравой,
И честь жены и мужа в гнусной шутке,
Трепали все! И дважды негодяй
(Кто оскорбил уже девичью скромность
Бесстыдством в отношении свиты юной
Твоей — в присутствии знатнейших дам),
За то, что был — и по заслугам — выгнан
Мстит, очернив супругу суверена, —
И правый суд его друзей не видит,
В чем тут вина!

А н д ж о л и н а

Но ведь ему — тюрьма.

Д о ж

Тюрьма таким — замена оправданья,
А он отбудет смехотворный срок

В своем дворце. Но с ним покончил я.
Теперь с тобой.

А н д ж о л и н а

Со мной, мой государь?

Д о ж

Да, Анджолина. Ты не удивляйся:
Я медлил с этой тягостью, но чую:
Мне жить недолго. Надо, чтобы ты
Усвоила наказ мой; в этом свитке
Найдешь его.

(Вручает ей бумагу.)

Не бойся: все на пользу
Тебе. Потом, в удобный час, прочтешь.

А н д ж о л и н а

Мой государь! Живым и мертвым вас
Я буду чтить. Но пусть подольше длятся
Дни ваши — и счастливей, чем теперь!
Гнев стихнет, вновь вы станете спокойным,
Каким вам должно быть, каким вы были.

Д о ж

Я стану тем, кем должен,— иль ничем!
В те дни или часы, что остаются
Для оскверненной старости Фальbero,
Не озарится благостным покоем
Его закат! И ответы былого,
Небесполезной, небесславной жизни,
Смягчающие приближенья ночи,
Мой смертный час уже не усладят.
Чего желать мне? Лишь оценки должной
Всей крови той, и пота, и трудов
Душевных, мной затраченных во славу
Моей страны. Ее слугой — слугой.
Хоть я и вождь,— сойти к моим отцам
Хотел я с именем таким же светлым,
Как и у них. Мне отказали в этом!
Погибнуть бы под Зарой!

А н д ж о л и н а

Там спасли вы
Страну. Живите — и спасете вновь.
Второй подобный день ей будет лучшим
Упреком и — отпущением для вас.

Д о ж

Полобный день бывает раз в сто лет;
Немногим меньше прожил я; фортуне
Достаточно *однажды* мне послать
То, что она дарит любимцам редким
В немногих странах и не каждый год.
Но что болтать? Венеция забыла
День тот, и мне пора забыть. Прощай,
Голубка Анджолина: в кабинете
Ждет много дела, а часы бегут.

А н д ж о л и н а

Но помните, кем были вы.

Д о ж

Не стоит!

Припомнив радость — радость не продолжишь,
А вспомнив горе — воскресишь его.

А н д ж о л и н а

Еще: как вы ни заняты, молю вас
Для отдыха минуту отыскать:
Вы так тревожно в эти ночи спали,
Что вас нередко я будить хотела,
Но не решалась, веря, что природа
Осилит мысли, мучившие вас.
Час отдохнув, к работе вы вернетесь
Со свежей силой, с ясной головой.

Д о ж

Спать не могу я — и нельзя, хоть мог бы;
Как никогда быть начеку я должен.
Но — несколько еще ночей бессонных,
И славно я усну, но где?.. Неважно!
Прощай, мой друг.

А н д ж о л и н а

Позвольте мне минутку
Побыть близ вас, всего минутку! Я
Вас не могу таким оставить.

Д о ж

Что же,

Пойдем, дитя; прости мне; создана ты
Для лучшей доли, чем делить мою,
Что меркнет нынче в глубине долины,
Где смерть сидит в плаще из тьмы всеильной
Когда уйду я (может быть, скорей,
Чем даже годы указуют, ибо
Кругом, внутри и вне идет брожение,
Грозящее так населить кладбища,
Как ни война не в силах, ни чума),
Когда *ничем* я стану, пусть хоть имя
Того, чем *был* я, с нежных губ твоих
Слетит порой, в душе возникнув тенью
Того, кто просит памяти,— не слез!..
Идем, дитя, идем. Дела не терпят.

Уходят.

СЦЕНА П

Уединенное место близ арсенала.
Израэль Бергуччо и Филиппо Календаро.

К а л е н д а р о

Ну, Израэль, как жалоба? успешно?

И з р а э л ь

Вполне.

К а л е н д а р о
Возможно ли! Его накажут?

И з р а э л ь
О да.

К а л е н д а р о
Арестом или штрафом?

И з р а э л ь
Смертью.

К а л е н д а р о
Ты или бредишь, или мстить решил
Своей рукой, по моему совету.

И з р а э л ь
Да, на глоток, хотя и сладкой, мести
Сменить мечту великого возмездья
За родину? Надежды — на изгнание?
Смяв одного, ста скорпионам дать
Моих друзей язвить, родных, сограждан?!
Нет, Календаро! Капли этой крови,
Бесславно пролитой, он всею кровью
Своей искупит — и не он один!
Месть наша не за личную обиду:
Так себялюбцы мстят или безумцы,
Но не борцы с кровавой тиранией.

К а л е н д а р о
Ну, мне таким терпением не хвалиться.
Будь я свидетелем твоей обиды,
Я б наглеца убил, не то задохся б
В усилиях тщетных бешенство сдержать!

И з р а э л ь
Спаси господь! Тогда бы все пропало;
Теперь же дело двинется.

К а л е н д а р о
У дожа
Ты был; что он сказал?

И з р а э л ь
Что на Барбаро
И на ему подобных нет управы.

К а л е н д а р о
Я ж говорил: не допроситься правды
Из этих рук.

И з р а э л ь
Но просьбы укрепляют
Доверие, отводят подозренья.
Смолчи я — каждый ббир за мной следил бы,
Решив, что я задумал втайне мечь
Безмолвную и мрачную.

К а л е н д а р о
А что бы
Тебе к Совету обратиться? Дож —

Простая кукла: он своих не может
Добиться прав. Зачем к нему ходил ты?

И з р а э л ь
Потом скажу.

К а л е н д а р о
Что ж не теперь?

И з р а э л ь
Потерпишь
До полночи. Проверь своих ребят
И всем друзьям вели собрать отряды:
Удар, возможно, нанести придется
В ближайшие часы. Мы долго ждали
Удобного мгновения, и его,
Быть может, завтра солнце нам укажет:
Вдвойне опасно дольше медлить. Пусть
Все точно явятся на сборный пункт
И при оружьи, исключая тех
Среди Шестнадцати, кто ждать сигнала
С бойцами будут.

К а л е н д а р о
Это — речь! С ней в жилы
Мне снова жизнь влилась! От совещаний
Да проволочек я устал. Проходят
За днями дни, всё прибавляя звеньев
Оковам нашим тяжким и обид
Все новых — нам самим и нашим братьям,
И новых сил — тиранам нашим наглым.
Ударить бы на них, и — будь что будет,
Неважно мне, — свобода или смерть!
Я изнемог, одной из двух заждавшись!

И з р а э л ь
Свободны будем — в жизни или в смерти:
Цепей в могиле нет... Готовы списки?
В шестнадцати дружинах наших точно
По шестьдесят бойцов?

К а л е н д а р о
Неполны две:
По двадцати пяти нехватка в каждой.

И з р а э л ь
Что ж, обойдемся. Кто их командиры?

К а л е н д а р о
Старик Соранцо и Бертрам. И оба,
Сдается, в бой не рвутся, не как мы.

И з р а э л ь
Твой пылкий нрав за холод принимает
Спокойствие: но в собранной душе
Порой отваги больше, чем в крикливом
Мятежнике. Не сомневайся в них.

К а л е н д а р о

Я в старике уверен: но Бертрам...
Он вял и мягок, что весьма опасно
В таких делах, как наше. Он, я видел,
Как мальчик, плакал над чужой бедой,
Пренебрегая собственной, сильнейшей.
Ему в недавней драке стало дурно
При виде крови, пущенной мерзавцу.

И з р а э л ь

У храбрых часто нежны взор и сердце,
И больно им кровавый долг свершать.
Бертрама знаю я давно — и редко
Встречал людей честнее.

К а л е н д а р о

Может быть!

Но слабости боюсь я — не измены;
Но так как ни подружки, ни жены
Нет у него, чтоб действовать на жалость,
Он выстоит, пожалуй. К счастью, он —
Бобыль и дружит только с нами. Дети
Или жена с собой его сравнивали б
В решимости.

И з р а э л ь

Подобная обуза

Не для людей с высоким назначеньем
Республику очистить от гнилья.
Наш долг — забыть для *одного* все чувства,
Наш долг — все страсти гнать во имя цели.
Наш долг — смотреть лишь на страну родную,
И смерть считать прекрасною — наш долг,
Коль жертва наша к небу вознесется
И в мир свободу вечную сведет!

К а л е н д а р о

Но если гибель...

И з р а э л ь

В смерти за идею

Нет гибели! Пусть плаха выпьет кровь,
Пусть головы на солнце сохнут, руки
Повиснут пусть на башнях и вратах —
Дух будет реять всюду! Минут годы,
Других постигнет тот же черный рок,
Но будет мысль расти неудержимо,
Глубокая, и, сокрушив иные,
Мир приведет к свободе наконец!
Кем были б мы без Брута? Он погиб
За вольность Рима, но пример бессмертный
Оставил — имя, символ чистоты,
И душу, воскресающую всюду,
Всегда, лишь деспот власть возьмет и рабство
Плодит. Он с другом заслужили славу
Последних римлян. Так начнем же род
Венецианцев истых, внуков Рима!

К а л е н д а р о

Не с тем бежали предки от Аттилы
На илистые эти острова,
Где строй дворцов отбил у моря топи,
Чтоб одного сменить на сто тиранов.
Уж лучше гунну кланяться, не этим
Раздутым шелковичным червякам!
Гунн был хоть муж и меч держал, как скипетр,
А эти черви женственные власть
Над нами и над войском держат словом,
Волшбой какой-то.

И з р а э л ь

Мы волшбу разгоним —

И скоро!.. Говоришь ты, все готово?
Обычного обхода я не делал,
Ты знаешь почему; но твой дозор
Мою заботу заменил, конечно.
Советом отданный приказ — ускорить
Ремонт галер — прекрасным был предложом
Внести побольше наших в арсенал
Как новых мастеров по снаряженью
И новобранцев, набранных поспешно
В матросы. Все ли снабжены оружием?

К а л е н д а р о

Все, кто внушал доверье. А другие
Пусть подождут в неведение, пока мы
Не грянем. Вот тогда — вооружу их.
В пылу и спешке некогда им будет
Раздумывать — придется уж примкнуть
К товарищам.

И з р а э л ь

Ты правильно решил.
Всех ты заметил этих?

К а л е н д а р о

Да; учёл я

Немало и начальникам дружинным
Предосторожность эту предписал.
Насколько вижу, сил у нас довольно,
Чтоб вышло дело, коль начнем не позже,
Чем завтра. До начала — каждый час
Нам тысячько опасностей грозит.

И з р а э л ь

В обычный час всех собери шестнадцать,
За исключением Николетто Блондо,
Соранцо, Марко Джудо. Эти трое
Пусть в арсенале смотрят за порядком,
Пока дадим условленный сигнал.

К а л е н д а р о

Исполним.

И з р а э л ь

Прочим — быть вели, где нужно.
Я должен им представить новичка.

К а л е н д а р о

Что? Новичок? Он тайну знает?

И з р а э л ь

Да.

К а л е н д а р о

И ты рискнул доверить жизнь друзей
Чужому, незнакомцу? Безрассудство!

И з р а э л ь

Я рисковал одной моею жизнью.
Уверен будь. А помощь незнакомца
Удвоить может нашу безопасность,
Коль согласится он. А коль отступит —
Он в нашей власти: мы придем вдвоем;
Не ускользнет. Да он и не отступит.

К а л е н д а р о

Смогу судить, лишь повидав его.
Он что — из наших?

И з р а э л ь

Да, по духу — наш,
Хоть родом знатен. Он из тех, кто может
Взойти на трон или низвергнуть трон;
Кто подвиги свершал и видел много
Превратностей; не деспот, хоть и вскормлен
Для деспотии; смел в бою и мудр
В совете; благороден, хоть надменен.
Скор, сдержан. Но притом столь полон страсти,
Что если оскорбить его в заветном
И нежном чувстве (что и было с ним),
То и у греков не найдешь тех фурий,
Какие грудь ему каленым когтем
Сейчас дерут, чтоб он способен стал
На все для мести!.. Он вольнолюбив
К тому же; видя, что народ бесправен,

Сочувствует его страданиям. В общем —
Такой нам нужен, да и мы ему.

К а л е н д а р о

Какую ж роль ему ты намечаешь?

И з р а э л ь

Главы, быть может.

К а л е н д а р о

Как, и ты ему
Уступишь руководство?

И з р а э л ь

Да, конечно.

В чем цель моя? В победе нашей общей.
А власти не ищю я. Опыт мой,
Пожалуй, ловкость — вот за что решили
Вы все избрать меня вождем, покуда
Получше нет. И если я нашел
Того, кого ты сам бы счел достойней,
Ужели я из чувства самолюбья
И в жажде краткой власти — общим благом
Рискну во имя личных интересов,
Не уступлю тому, кто превосходит
Меня как вождь? Нет, Календаро! Плохо
Ты знаешь друга! Но — решите сами.
Прощай пока, до встречи в должный час.
Позорче будь, и все пойдет прекрасно.

К а л е н д а р о

Мой Израэль достойный! Ты всегда
Был храбр и верен, в голове и сердце
Тая те планы, что всегда готов я
Исполнить. Мне иных вождей не надо.
Не знаю, как товарищи решат,
Но я с *тобой*, как прежде, так и ныне,
Во всех делах. Теперь — прощай, а в полночь,
Как ты сказал, мы встретимся опять.

Уходят.

АКТ ТРЕТИЙ

СЦЕНА I

Местность между каналом и церковью Сан-Джованно
и Сан-Паоло. Перед церковью статуя всадника.
Недалеке на канале притаилась гондола.
Входит дож, один, переодетый.

Д о ж

Я поспешил. Но близок час, и голос
Под сводом ночи прогремев, шатнет
Дворцы вот эти предсказаньем грозным,
До основанья мрамор сотряся,
И спящих от ужасных грез пробудит,
От смутного, но страшного предчувствья

Грядущих бед... Да, гордый город! Время
Кровь черную твою очистить: с ней
Ты стал чумным баракком тирании!
Мне выпало исполнить это дело;
Я не хотел, и вот наказан; видел:
Растет патрицианская чума,
И сам, проспав опасность, заразился.
Я осквернен — и смыть волной целебной
Обязан пятна. Вот великий храм!
Здесь предки спят, чьих статуй тень ложится
На пол, нас отделяющий от мертвых;
И те сердца, где кровь бурлила наша,
Теперь лишь горстка пепла; что когда-то

Героев создавало, стало пылью;
Щепотка праха потрясала мир!
Храм тех святых, кто род наш охраняют
Двух дождей склеп, моих отцов, погибших
Один в бою, другой среди трудов;
Склеп целой вереницы полководцев
И мудрецов, чьи подвиги и раны —
Наследье мне! Разверзнитесь, гроба!
Пусть мертвецы заполнят все приделы,
На паперть выйдут — глянуть на меня!
И храм, и род свидетелями будут,
Чем я подвигнут на такое дело;
Честь их герба, и благородство крови,
И славный титул — все посрамлено
Во мне. Не мной — неблагоприятной знатью;
Мы бились, чтоб до нас ее поднять,
Не выше нас. В особенности ты,
Отважный Орделафо! Ты погиб,
Где дрался я. — под Зарой; гекатомбы
Врагов, уложенные мной, потомком,
Подобной ли награды заслужили?
О тени! Улыбнитесь мне! Коль есть
Меж нами связь, моя задача — ваша:
Во мне и ваша честь, и ваше имя,
И судьбы рода. Дайте мне удачу —
И город наш я сделаю свободным
И вечным, и поставлю имя рода
Достойным вас и ныне и в веках!

Входит Израэль Вертуччо.

Израэль

Кто это?

Дождь
Друг Венеции.

Израэль

Да, он...

Привет, мой дождь; пришли вы раньше срока.

Дождь

Готов идти на вашу сходку я.

Израэль

Слуга ваш! Я горжусь и счастлив, видя
Столь быстрое согласие. С нашей встречи
Сомнения у вас исчезли, видно.

Дождь

Нет. Но все же я отдам остаток жизни
На это дело. Жребий пал в тот миг,
Когда про вашу я узнал измену.
Не вздрагивай! Я *точен*. Мягким словом
Я не прикрою черное деянье,
Хоть сам готов свершить его. Когда
Ты соблазнял меня и я не бросил
Тебя в тюрьму, уже тогда я стал
Сообщником преступнейшим. Ты можешь
Предать меня, как мог и я тебя.

Израэль

Мой дождь, я слов не заслужил столь странных.
Я не шпион; мы оба не шпионы.

Дождь

«Мы оба»!.. Да, ты вправе говорить
О нас... Но к делу. Если дело выйдет —
Венеция, свободной и цветущей,
Когда уже мы будем спать в гробах,
Пошлет к могилам нашим поколенья
Своих детей — ручонками кидать
На прах освободителей цветы,
Тогда деянье наше оправдают
Его итоги, и войдем, два Брута,
В грядущие анналы. Если ж нет
И мы падем, устроив заговор
И кровь пролив, хотя бы с чистой целью,
То мы — навек изменники, мой милый!
И ты и я, твой государь недавний,
Твой сомятежник через шесть часов!

Израэль

Не время рассуждать об этом; я бы
Нашел ответ. Пойдемте же на сходку;
Коль будем медлить, нас увидеть могут.

Дождь

Нас видели и видят.

Израэль

Видят?! Кто?
Найду я — и клинок мой...

Дождь

Спрячь, не нужно:
Не человек следит. Взгляни туда;
Что видишь?

Израэль

Только статую бойца
На гордом скакуне — при тусклом свете
Луны туманной.

Дождь

Этот воин — прашур
Моих отцов, и памятник ему
Воздвиг наш город, им спасенный дважды.
По-твоему, он видит нас иль нет?

Израэль

Воображение, государь! Нет глаз
У мрамора.

Дождь

Но есть они у смерти.
Знай: дух живет в таких вещах и видит,
И действует — незрим, но ощущаем.
И если чары могут вызвать мертвых,

То в нашем деле эти чары есть.
Такие деды, как мои, не в силах
Покоиться, коль вождь, последний в роде,
У их гробов святых со злобной чернью
Затеял сговор.

Израэль

Надо было взвесить
Все это раньше, чем примкнуть к великой
Борьбе. Вы сожалеете, я вижу?

Дожд

Нет! но *страдаю*, и нельзя иначе.
Вмиг не погасишь ореол всей жизни,
В ничтожество не сократишься вмиг,
Чтоб убивать из-за угла не медля...
Но не страшись. В страданье этом, в ясном
Сознании причин его — залог
Спокойствия для вас. И в клике вашей
Ни одного мастерового нет
С моей обидой и моею жаждой
Возмездия! Те средства, что я должен
Избрать благодаря тиранам злобным,
Деянья те, которыми я мщу,
К ним ненависть внушают мне двойную!

Израэль

Идите. О! Бьет час.

Дожд

Идем, идем!
Надгробный звон! Венеции иль наш?

Израэль

Верней сказать — победный звон свободы
Ликующей. Сюда; недалеко.

Уходят.

СЦЕНА II

Дом, где собираются заговорщики.
Даголино, Доро, Бертрам, Феделе
Тревиано, Календаро, Антонио делла
Бенде и др.

Календаро

(входя)

Все здесь?

Даголино

С тобою — все, за исключением
Трех арсенальных. Израэля нет,
Но ждем его вот-вот.

Календаро

А где Бертрам?

Бертрам

Я здесь.

Календаро

Не смог ты свой отряд пополнить
До нужного числа?

Бертрам

Нет, кой-кого

Наметил я, но не рискнул доверить
Им тайну: раньше надо убедиться,
Достойны ли они доверья.

Календаро

Тайну

Им и не надо знать. Кто, кроме нас
И самых избранных друзей, о деле
Вполне осведомлен? Все полагают,
Что их сенат призвал негласно, чтобы
Со знатными разделаться юнцами,
Беспутством оскорбившими закон.
Но коль начнут и стать презренной кровью
Сенаторов гнуснейших обгарят,
То и других пойдут разить с разгону,
Вслед за вождями, следуя примеру.—
А я такой подам, что им придется,
Из самолюбья и спасая жизнь,
Всех истребить, не медля ни минуты.

Бертрам

Всех — ты сказал?

Календаро

А ты б шадил? Кого же?

Бертрам

Я? Я шадить не вправе. Я спросил,
Подумав, что найдутся и меж гнусных
Те, чьи года и качества позволят
Их пожалеть.

Календаро

Да, жалостью, какой

Заслуживают те куски гадюки
Разрубленной, что корчатся под солнцем
В последней спазме ядовитой жизни.
Нет! Я скорее пожалел бы каждый
Зуб ядоносный в челюстях змеи
Раздувшейся, чем одного из этих!
Любой из них — звено единой цепи,
Часть общего дыханья, плоти, массы.
Они живут, пьют, жрут, плодятся, давят,
Пируют, лгут и убивают — вместе!
Пусть и подохнут как *один*!

Даголино

Останься

Один в живых — опасен он, как все.
Суть не в числе их — тысяча иль десять;
Мы выкорчевать *дух* патрицианства
Должны; один лишь уцелеет росток

От старого ствола — он укрепит
В земле и разрастется вновь листовою
Угрюмою и горький плод родит!
Должны, Бертрам, мы тверды быть.

К а л е н д а р о

И за тобой слежу, Бертрам.

Б е р т р а м

Не верит мне?

К а л е н д а р о

Не я; иначе ты бы
Нам о доверье здесь не толковал.
Тебе мы верим, но мягкосердечность
Сугает нас твоя.

Б е р т р а м

Вам всем известно,
Кто я и что. Как вы, и я восстал
На угнетенья. Пусть я мягок сердцем,
Как многие здесь думают, — согласен.
Но храбр я или нет, об этом скажешь
Ты, Календаро, кто видал меня
В *работе*. А возможные сомненья
Готов я выбить из тебя.

К а л е н д а р о

Изволь!

Но лишь покончив с нашим общим делом:
Не дракой частной прерывать его.

Б е р т р а м

И не драгун, но врезаться могу я
В толпу врагов не хуже, чем любой
Из вас. Иначе — почему б меня
Избрали командиром? Но, конечно,
Я мягок по природе. Не могу я
Без дрожи думать о сплошном убийстве;
Вид крови, бьющей из седых голов,
Не кажется мне триумфальным; в смерти
Людей, врасплох захваченных, не вижу
Я славы. О, я знаю, слишком знаю,
Что *так* должны мы поступить с людьми,
Чьи действия взывают к мести. Но,
Коль есть меж ними те, кого бы можно
Спасти от смерти — ради нас самих
И нашей чести, — уменьшить потоки
Той крови, что пятнает наше дело,
Я был бы счастлив; что же тут смешного,
Что подозрительного?

Д а г о л и н о

Успокойся,

Бертрам; тебе мы верим: но — мужайся.
Не мы хотим, а дело нудит нас

К таким деаньям. Но омоет пятна
Родник Свободы!

Входят Израэль, Бертуччо и дож.

Здравствуй, Израэль.

З а г о в о р щ и к и

А, здравствуй, здравствуй! Запоздал ты, храбрый
Бертуччо. Кто с тобой?

К а л е н д а р о

Пора назвать

Пришельца; все товарищи готовы
Его принять по-братски; я сказал им,
Что новый друг тобою завербован;
Твой выбор будет нашим, столь мы верим
Твоим решеньям. А теперь пускай он
Откроется.

И з р а э л ь

Поближе, новый друг.

Дождь сбрасывает план.

З а г о в о р щ и к и

К оружию! Измена! Это дождь!
Обоим смерть! Предателю-вождю
И деспоту, кто нас казнил.

К а л е н д а р о

(обнажая меч)

Стой, стой!

Шагни — убью! Стой! Слушать Израэля!
Как? В ужас вы пришли, увидя старца,
Без стражи, без оружия, одного?
Но говори, Бертуччо! Что за тайна
Здесь кроется?

И з р а э л ь

Пусть быют... самих себя,
Неблагодарные самоубийцы,
Чья жизнь, надежды, счастье — в наших жизнях!

Д о ж

Рубите! Будь страшна мне смерть — иная,
Страшней, чем ваши мне сулят клинки, —
Я б не пришел... О, мужество святое,
Дитя испуга, что дает вам храбрость
На старца беззащитного напасть!
Вот смельчаки, решившие низвергнуть
Трон и сенат! Их повергает в ужас
Один патриций! Бейте ж: вы способны.
Мне все равно!.. Об этих мощных душах
Ты говорил мне, Израэль? Взгляни!

К а л е н д а р о

Клянусь, он пристыдил нас! Заслужили!
Доверье ль ваше к верному Бертуччо
Сталь занесло над гостем и над ним?
Меч в ножны! Слушать!

Израэль

Говорить противно.

Должны бы знать, что сердце, как мое,
К измене неспособно. Вами данной
Мне властью делать все, что нужно делу,
Не злоупотреблял я никогда,
И, значит, приведенный мной на сходку,
Кто б ни был он, уже свой сделал выбор:
Стать братом нашим или жертвой.

Дождь

Кем же

Я должен стать? Вы действуете так,
Что выбор мой едва ль вполне свободен.

Израэль

Мой дождь! Мы с вами вместе бы погибли,
Не присмирей безумцы эти. Но
Уже им стыдно дикого порыва,
Понурились!.. Я вам не лгал о них.
Скажите им.

Календарь

Да, да, скажите! Все мы
Поражены — и слушаем.

Израэль

(заговорицам)

Вам нет
Опасности — скорее вы у цели;
Послушайте; поймете, что я прав.

Дождь

Глядите: вот я, безоружный старец,
Беспомощный, как тут сказали; был я
Еще вчера — на троне, государем
Ста островов, или казался им.
Одетый в пурпур, я скреплял декреты,
Указы власти — не моей, не вашей,
А власти наших подлинных господ —
Патрицьев. Что был я там — понятно.
Зачем я здесь? Об этом тот из вас,
Кто всех сильней унижен, презрен, поправ,
Так, что не знает, не червяк ли он,
Ответит за меня, коль сердце спросит
Свое, его приведшее сюда.
Вам, как и прочим, мой позор известен;
Ваш суд — иной, не тот, что приговором
Обиду на обиду взгромоздил...
Избавьте от рассказа... Здесь — да, в сердце —
Моя обида, но слова, поток
Бесплодных жалоб, мной уже пролитый,
Лишь подчеркнули б старческую слабость,
А цель моя — умножить силу сильных,
Их к действию понудить, а не к битве
Оружьем баб. Но что вас понуждает?

Несчастья лиц — плод общего разврата
Страны, что ни республика, ни царство,
Где ни народа нет, ни короля,
Где все пороки древней Спарты — без
Ее умеренности и отваги.
Вожди спартанцев воинами были,
А наши — сибариты. Мы ж — илоты,
И я — всех ниже, самый жалкий раб,
Хоть, напоказ, всех ярче наряженный;
Так древний грек, в забаву для детей,
Напавал рабов... Вы здесь — низвергнуть
Уродливое это государство,
Карикатуру власти, привиденье,
Что можно кровью лишь изгнать. Тогда
Мы воскресим закон и справедливость,
В республике свободной воплотим
Не безначалие, а равноправье,
Все рассчитав, как бы колонны храма,
Распределив упругость и нагрузку,
Соединив изящество и прочность,
Так, что нельзя ни части шелохнуть
Без нарушенья общей симметрии.
При столь великой смене быть хочу я
Одним среди вас — коль верите вы мне.
А нет — убейте: мне возврата нету,
Мне легче пасть от рук сограждан вольных,
Чем день прожить в обличи тирана
Слугой тиранов. Не такой я, нет,
И прежде не был, — летопись прочтите.
Я на мое правление сошлюсь
Во многих городах; они вам скажут,
Я — угнетатель или человек,
Сочувствовавший людям, мне подвластным.
Будь я лишь тем, кого искал сенат, —
Разряженной фигурой в побрякушках,
Безмолвным манекеном государя,
Бичом народа, скрепщиком указов,
Союзником всегдашним «Сорока»,
Врагом всех мер, коль нет на них согласия
Совета Десяти, льстецом сената,
Щитом, шутком и куклой — о, тогда,
Хам, плонувший в меня, не поощрялся б!
Причина бед моих — любовь к народу;
Об этом знают многие, другие —
Узнают после. Ныне ж — вам вручаю,
Что ни случись, остаток дней моих,
Остаток сил — не жалкой силы дождя,
А человека, кто великим был,
Покуда не унизился до трона.
Но сохранил еще и ум и личность;
Я ставлю славу (а она была)
И жизнь (недорогую близ могилы),
Надежду, сердце, душу — ставлю на кон!
Вам и вождям я отдаюсь таким,
Как есть. Примите ж иль отбросьте князя,
Кто будет гражданином иль ничем
И кто свой трон для этого покинул!

К а л е н д а р о

Да здоровствует Фальеро! Вольной будет
Венеция!

З а г о в о р щ и к и

Да здоровствует Фальеро!

И з р а э л ь

Ну что, друзья? Не войску ли он равен
Для нас?!

Д о ж

Не время для похвал, не место
Для ликований. Ваш я?

К а л е н д а р о

Да, и первый

Меж нас, как первым в государстве был!
Будь нам вождем, будь генералом нашим.

Ф а л ь е р о

Вождь, генерал... Я вел полки под Зарой;
Я правил Кипром и Родосом; дожем
Венецианским был... Мне ль опуститься,
Начальствуя над кучкой... патриотов?
Я званья родовые не для новых
Сложил с себя, а чтобы равным стать
Сообщникам моим. Но к делу. План ваш
Известен мне от Израэля — дерзкий,
Но исполнимый при моем участье
И при незамедлительном начале.

К а л е н д а р о

Линь прикажи. Не правда ль, братья? Всё
Готово для внезапного удара.
Когда ж начнем?

Д о ж

С зарей.

И з р а э л ь

Так рано?

Д о ж

Рано?

Скорее поздно. С каждым часом больше
Опасность — и особенно теперь,
Когда я с вами. Вам ли неизвестен
Сенат и «Десять»? Их шпионы — очи
Патрициев, кому страшны рабы их
И я вдвойне сомнителен как дож?
Я говорю: разить не медля надо
И в сердце гидры. Головы — потом.

К а л е н д а р о

К твоим услугам меч мой и душа.
Дружины, все по шестьдесят, готовы;

С оружием все, как Израэль велел,
И ждут в местах, назначенных для сбора,
Великого удара. Пусть же каждый
Из нас отправится на пост. Но что
Сигналом будет нам?

Д о ж

Когда ударят
На Санто-Марко в колокол большой,
Звонящий лишь по приказанию дожа
(Последнее из жалких прав моих), —
Все к Марку!

И з р а э л ь

Дальше?

Д о ж

Каждая дружина
Пускай особой улицей идет,
На площадь проникая. По дороге
Пускай кричат, что генуэзский флот
У гавани замечен на рассвете;
Дворец, придя на площадь, окружите;
Двор — мой племянник во главе моих
Вассалов, храбрых и вооруженных,
Займет. Под звон колоколов кричите:
«Враг в наших водах, Санто-Марко, враг!»

К а л е н д а р о

Теперь я понял. Дальше, государь мой?

Д о ж

Вся знать сбегится на совет, не смея
Не внять сигналу грозному, что грянет
С высокой башни нашего святого,
И эту жатву тучную не медля
Мы соберем — мечом, а не серпом.
А опоздавших или не пришедших
Легко мы уберем поодиночке,
Раз большинство поляжет здесь.

К а л е н д а р о

Скорей бы
Миг наступал! Смертельным будет каждый
Удар!

Б е р т р а м

Я снова, государь, простите,
Задам вопрос, мной заданный уже
До появления Израэля с вами,
Союзником великим, кто сулит нам
Успех и безопасность. В них мне брезжит
Пощада для иных из наших жертв.
Ужели все должны погибнуть в боине?

К а л е н д а р о

Кто попадется мне или моим —
Мы пощадим, как нас они щадили.

Заговорщики

Всем смерть! Болтать о жалости не время!
А нас они жалели, хоть притворно?

Израэль

Все это хныканье, Бертрам, нелепо
И оскорбляет нас и наше дело!
Как не понять, что пощаженный будет
Мстить за погибших и для мести жить?
Как отличить невинных от преступных?
Все их дела — одно, одно дыханье
Единой плоти: все они срослись,
Чтоб нас давить. Уже того довольно,
Что мы детей их пощадим; и то
Сомнительно: щадить ли все отродье?
Порой охотник одного тигренка
Из выводка оставит, но не будет
Щадить самца и самку полосатых,
Чтоб не погибнуть в их когтях. Но, впрочем,
Я поступлю, как дож Фальеро скажет;
Пусть он решит — щадить нам? и кого?

Дождь

Не спрашивайте. Испытать не надо.
Решите сами.

Израэль

Вам известны лучше
Их личные достоинства; мы знаем
Общественный разврат их, гнет их гнусный —
И ненавидим. Если есть меж ними
Достойный жить — скажите, назовите.

Дождь

Отец Дольфино был мне другом; с Ландо
Я бился рядом; был с Корнаро вместе
В посольстве в Геную; я спас Веньеро —
Спасу ль его опять? О, если б мог я
Их — и равно Венецию — спасти!
Они, отцы их — были мне друзьями,
Пока не стал я государем их;
Теперь отпали все, как лепестки
Цветка увядшего, и — сохлый стебель,
Один, кого укрою? Что ж! Я ими
Оставлен вянуть; пусть же гибнут все!

Календарь

Их жизнь несовместима со свободой!

Дождь

Известна вам вся тяжесть наших общих
Обид, но неизвестно вам, какой
Смертельный яд для всех истоков жизни.
Для связей человеческих, для добра —

В установленных скрыт венецианских!
Я с этими людьми дружил, любил их,
И тем же мне они платили; вместе
Служили мы и бились; мы делили
Восторг и горе, слезы и улыбки;
Нас кровь роднила, и скрепляли браки;
С годами наши почести росли.
Когда ж по их — не моему — желанью
У них я князем стал, тогда прощай,
Воспоминанья общие и мысли,
Прощай, все узы нашей дружбы давней,
Столь сладкие для деятелей старых,
Чей след — в анналах, чьи деянья стали
Сокровищем остатка дней, и старцы
При встречах видят блеск полустолетья
На братском лбу; и тени стольких близких,
Теперь почивших, возле них кружат,
Нашептывая о прошедших днях,
И мертвыми не кажутся, покуда
Хоть двое из лихой, беспечной, храброй
Семьи, с одной душой, хранят еще
Вдох об ушедших и язык, чтоб славить
Завещанные мрамору дела...
О, горе мне! На что решился я?

Израэль

Мой дож! Вы так взволнованы! Но время ль
Теперь об этом размышлять?

Дождь

Терпенье!

Не пячусь я. Но проследим со мной
Постыдные пороки нашей власти.
Лишь стал я дожем, — *их же* волей стал, —
Прощай, былое! Для всего я умер,
Вернее — для меня они. Где дружба?
Где нежность? Где очаж? — Все сметено...
Я отчужден: моя пятнает близость;
Я не любим: такого нет закона;
Я ущемлен: политика сената;
Я высмеян: патрицианский долг;
Я поправ: это право государства;
Я беззащитен: так верней, спокойней;
Вот так я стал у подданных рабом,
Вот так я стал врагом друзей! Шпионы
Мне стали стражей, ризы — властью, пышность —
Свободой, инквизиторы — друзьями,
Тюремщики — советом, жизнью — ад!
Остался мне один родник покоя —
И он отравлен ими. Боги дома
Разбиты — и на алтаре сидят
С ухмылкой наглой Клевета и Мерзость!

Израэль

Глубоко оскорбили вас! Но вы
Им отомстите — не позднее суток.

Д о ж

Я все терпел; терзался, но терпел,
Покуда в чашу горечи не пала
Последней каплей дерзкая обида
И поощренье встретила, не плеть.
Вот лишь когда я те отбросил чувства,
Что в них давно погасли — с той поры,
Когда они мне присягали лживо!
Да, в этот миг они презрели друга,
Венчая дождя. Так ребенок лепит
Игрушку, чтобы, поиграв, сломать!
С тех пор я знал лишь происки глухие
Сената против дождя, тайный рост
Взаимной ненависти и боязни;
Дрожала знать, за власть свою цепляясь,
И тиранию ненавидел дождь.
И нет меж нами *личных* отношений,
Нет прежних уз: порвали их *они*.
Я вижу в них сенаторов, повинных
В самоуправстве, — и пускай как должно
Поступят с ними.

К а л е н д а р о

А теперь — за дело!
Все по местам. Пусть будет эта ночь
Последней ночью слов; я схватки жажду!
Меня звон Марка сонным не найдет!

И з р а э л ь

Все на посты! Спокойствие и зоркость!
Мысль — о страданиях наших и правах!
Лишь ночь пройдет, и нам не знать угрозы!
Сигнал — и все вперед. К моей дружине
Иду я. Пусть никто не медлит в деле.
А дождь вернется во дворец — готовить
Все для удара. Разойдемся мы
Для новой встречи в славе и в свободе!

К а л е н д а р о

При встрече — голову Микеле Стено
Я на мече преподнесу вам, дождь.

Д о ж

Нет, нет, его оставим напоследок;
Не отвлекайся мелкой дичью в гоне
За красным зверем. Оскорбленье Стено —
Лишь результат распущенности общей,
Разврата, порожденного в глубинах
Порочной знати. Он не мог, не смел бы
Рискнуть на это в лучшие года.
Мой личный гнев я растворил в заботе
О нашем общем и великом деле.
Я наказания требую рабу
У гордого хозяина. Откажет?
Он сам обидчик, и ответит — сам!

К а л е н д а р о

Но он — причина нашей связи с вами,
Что освящает наше начинанье;
Ему я благодарностью обязан
И жажду отплатить как должно. Можно?

Д о ж

Ты руку рубишь — голову рублю я;
Ты к школяру — к учителю я с розгой;
Ты Стено мстишь — сенат караю я.
Могу ль я медлить ради личной злобы
С огромным, полным, всесторонним мщением,
Палачим все, как тот огонь небесный,
Что пал когда-то, — и горячий пепел
Двух городов был залит Мертвым морем?

И з р а э л ь

Ступайте ж на посты. Я задержусь
И дождя провожу до места встречи,
Удостоверюсь, нет ли где шпионов,
За ним следящих. А потом бегу
К моим бойцам, сжимающим оружие.

К а л е н д а р о

Прощай же — до рассвета.

И з р а э л ь

Всем успеха!

З а г о в о р щ и к и

Все будем в срок. Вперед! Прощайте, дождь!

Заговорщики приветствуют дождя и Израэля Бертуччо и удаляются во главе с Филиппо Календаро. Дождь и Израэль Бертуччо остаются.

И з р а э л ь

Ну, враг — в тенетах и не ускользнет!
Теперь ты — подлинный монарх, чье имя
Славнее славных обретет бессмертье.
Свергал царей народ свободный; цезарь
Пал не один; диктаторов крушили
Патриции; патрициев — плебейский
Пронзал клинок. Но был ли князь, вступивший
С народом в заговор свободы — жизнью
За вольность подданных своих рискуя?
Спокон веков князья трудились втайне
Во вред народу, цепь с него снимая
Лишь для того, чтоб дать оружие против
Народов братских, — чтоб ярмо рождало
Ярмо, — и смерть и рабство лишь дразнили
Пасть ненасытного Левиафана!
Теперь — о нашем деле; риск велик,
Награда — больше. Что же вы недвижны?
Вы миг назад весь были — нетерпенье!

Д о ж
Итак, все решено? И все погибнут?

И з р а э л ь
Кто?

Д о ж
Близкие мои по крови, дружбе,
Трудам и дням,— сенаторы.

И з р а э л ь
Вы сами
Произнесли им правый приговор.

Д о ж
Пожалуй, правый, *для тебя* — бесспорно.
Ты патриот, плебейский Гракх, оракул
Мятежников, трибун народный; что же
Тебя хулить? Ты действуешь, как должен.
Ты попраи ими, притеснен, унижен,—
Как я,— но с ними ты не вел бесед,
Ты хлеба с ними не делил и соли,
Ты кубка их не подносил к губам,
Не рос ты с ними, не смеялся вместе,
Не плакал, в их кругу не пировал;
Не отвечал улыбкой на улыбку,
Не требовал улыбки их в обмен,
Им не вверялся, не хранил их в сердце —
Как я! Взгляни: я — сед, и так же седы
Старейшие в сенате; но, я помню,
Их кудри были черными как смоль,
Когда мы вместе за добычей гнались
Меж островов, отбитых у неверных!
И видеть всех — утопленных в крови?
Сталь в их груди — мое самоубийство!

И з р а э л ь
Дож, дож! Такая слабость недостойна
Ребенка! Если вы не впали в детство,
Верните нервам крепость, не срамите
Вас и меня. Клянусь, я предпочел бы
Успеха в нашем деле не добиться,
Чем видеть мужа чтимого упавшим
С высот решимости в такую дряблость!
В боях вы кровь видали, лили кровь
Свою и вражью; вам ли страшны капли
Из жил вампиров старых, отдающих
Лишь выпитую у миллионов кровь?!

Д о ж
Прости мне! Все шаги и все удары
Я с вами разделю. Нет, я не дрогнул,
О нет! Но именно моя *решимость*
Все совершить — меня волнует. Пусть же
Они пройдут, томительные мысли,
Кому лишь ты — свидетель равнодушный
Да ночь... Наступит миг — и это я
Набат обрушу и ударом гряну,
Что обезлюдит не один дворец,
Что подсечет древа родов древнейших,

Развеет их кровавые плоды,
Цветы их обрекая на бесплодие;
Я так хочу, так должен, так свершу я. —
Клянусь! Ничто не отвратит мой рок!
И все ж, подумав, кем я должен стать
И кем я был — я трепещу!.. Прости мне!

И з р а э л ь
Бодритесь! Я подобных угрызений
Не знаю вовсе. Что меняться вам?
По доброй воле действуете вы.

Д о ж
Да, *ты* не знаешь. Но и я! Иначе
Тебя на месте б я убил, спасая
Жизнь тысяч.— и убил, не став убийцей.
Не *знаешь* ты, как бы мясник, на бойню
Идя, куда патрициев согнали!
Всех вырезав, ты светел станешь, весел,
Спокойно руки алые обмыв.
Но я, тебя с друзьями превзойдя
В резне ужасной,— чем я должен стать,
Что чувствовать, что видеть? Боже, боже!
Ты прав, сказав, что я «по доброй воле»
Затеял все; но и ошибся ты:
Я *вынужден*. Но ты не бойся: я —
Вам соучастник, самый беспощадный!
Ни доброй воли нет во мне, ни чувства
Обычного — они б мешали мне;
Теперь во мне и вокруг меня — геенна,
И, точно бес, кто верит и трепещет,
Я, с отвращеньем, действую!.. Идем!
Ступай к своим, а я — моих вассалов
Спешу собрать. Не бойся: всю разбудит
Венецию набат, за исключением
Сенаторов зарезанных. И солнце
Над Адрией не встанет в полном блеске,
Как всюду вопль раздастся, заглушив
Роптанье волн ужасным криком крови.
Решился я. Идем.

И з р а э л ь
Готов всем сердцем!
Но обуздай порывы этих чувств,
Не забывай, что сделали с тобою,
И помни, что плодом расправы этой
Придут века дольства и свободы
Для города раскованного! Истый
Тиран опустошит страну любую,
Не зная вовсе мук твоих — при мысли
О каре для предателей народа,
Для горстки! Верь, что жалость к ним преступна
Не менее, чем снисхожденье к Стено.

Д о ж
Ну, человек, ты дернул ту струну,
Что рвет мне сердце!.. Так! Вперед, за дело!
Уходят.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

СЦЕНА I

Дворец патриция Лиони. Лиони, сопровождаемый слугой, входит и снимает маску и плащ, которые венцианская знать носила в общественных местах.

Лиони

Я отдохнул; я так устал от бала:
Он всех шумнее был за эту зиму,
Но, странно, не развлек меня. Не знаю,
Что за тоска вошла мне в душу, но
И в вихре танца, взор во взор с любимой,
Ладонь в ладонь с прекрасной дамой сердца,
И то меня давила тягость; холод
Сквозь душу в кровь сочился, проступая
На лбу как бы предсмертным потом. Я
Тоску пытался смехом гнать — напрасно.
Сквозь музыку мне ясно и отдельно
Звон погребальный слышался вдали,
Негромкий, как прибой адрифский, ночью
Вливающийся в шопот городской,
Дробясь на внешних бастионах Лидо...
Я и ушел в разгаре бала, с целью
Добиться дома от моей подушки
Покоя в мыслях или просто сна...
Возьми, Антонио, плащ и маску; лампу
Зажги мне в спальне.

Антонио

Слушаю, синьор.

Чем подкрепиться?

Лиони

Только сном, но сна мне

Ты не подашь.

Антонио уходит.

Надеюсь, он придет.

Хоть на душе тревожно. Может быть,
Мне воздух свежий успокоит мысли:
Ночь хороша; левантский ветер мгlistый
В свою нору уполз, и ясный месяц
Взошел сиять. Какая тишина!

Подходит к раскрытым жалюзи.

Как не похоже на картину бала,
Где факелы свой резкий блеск, а лампы
Свой мягкий разливали по шпалерам,
Внося в упрямый сумрак, что гнездится
В огромных тусклооких галлереях,
Слепящий вал искусственного света,
В котором видно все, и все — не так.
Там старость пробует вернуть былое
И, проведя часы в работе трудной
Пред зеркалом, правдивым чересчур,
В борьбе за молодой румянец, входит
Во всем великолепии украшений,

Забыв года и веря, что другие
Забудут их при этом лживом блеске,
Потворствуя тайне, но — напрасно.
Там юность, не нуждаясь в этих жалких
Уловках, цвет свой неподдельный тратит,
Здоровье, прелесть — в нездоровой давке,
В толпе гуляк, и расточает время
На мнимое веселье вместо сна,
Пока рассвет не озарит поблекших
И бледных лиц и тусклых глаз, которым
Сверкать бы должно долгие года.
Пир, музыка, вино, цветы, гирлянды,
Сиянье глаз, благоуханье роз,
Блеск украшений, перстни и браслеты,
Рук белизна и вороновы крылья
Волос, и груди лебединый очерк
И ожерелий Индия сплошная,
Но меркнущая перед блеском плеч,
Прозрачные наряды, точно дымка,
Плывущая меж взорами и небом,
Мельканье ножек маленьких и легких —
Намек на тайну нежной симметрии
Прекрасных форм, столь чудно завершенных,—
Все чары ослепительной картины,
Где явь и ложь, искусство и природа
Пьянили взор мой, с жадностью впивавший
Вид красоты, как пилигрим в пустынях
Аравии, обманутый миражем,
Сулящим жажде светлый блеск озер.
Все бросил я. Вокруг — вода и звезды;
Миры глядятся в море, сколь прекрасней,
Чем отблеск ламп в парадных зеркалах;
Великий звездный океан раскинул
В пространстве голубую глубину,
Где нежно веет первый вздох весенний;
Высокий месяц, плавно проплывая,
Дает воздушность камню гордых стен,
Дворцов и башен, окаймленных морем;
Колонны из порфира и фасады,
Чей на Востоке был захвачен мрамор,
Впродоль канала алтарями встали
И кажутся трофеями побед,
Из вод взлетевшими, и столь же странны.
Как те таинственные массы камня,
То зодчество титанов, что в Египте
Нам указывает эру, для которой
Иных анналов нет... Какая тишь!
Какая мягкость! Каждое движенье,
В согласье с ночью, кажется бесплотным.
Звучит гитара: то бессонный кличет
Любовник чуткую подругу; тихо
Окно открылось: он услышан, значит;
И юная прекрасная рука,
Сама как бы из лунного сиянья,

Столь белая, дрожит, отодвигая
Ревнивую решетку, чтоб любовь
За музыкой вошла,— и сердце друга
Само звенит, как струны, в этот миг.
Вот фосфористый всплеск весла, вот отблеск
Фонариков с бортов гондол проворных,
И перекликом дальних голосов
Хор гондольеров стих на стих меняет;
Вот тень скользит, черная, на Риальто;
Вот блеск дворцовых кровель и шпилей...
Вот все, что видно, все, что слышно в этом
Пеннорожденном землевластном граде!
Как тих и нежен мирный час ночной!..
Спасибо, ночь! Ужасные предчувствия,
Каких не мог рассеять я на людях,
Ты прогнала. Благословлен тобою,
Твоим дыханьем, кротким и спокойным,
Теперь усну я, хоть в такую ночь
Сон — оскорбление для нее...

Слышен стук в дверь.

Стучат?

Что это? Кто пришел в такое время?

Входит Антонио.

Антонио

Синьор, там некто, с неотложным делом,
Приема просит.

Лиони

Кто же? Незнакомец?

Антонио

Лицо он в плащ укутал, но манеры
Его и голос чем-то мне знакомы;
Спросил я — кто он, но лишь вам открыться
Готов упрямец. Он упорно просит,
Чтоб вы ему позволили войти.

Лиони

Так поздно... Подозрительное рвенье...
Но вряд ли есть опасность: до сих пор
Патрициев не убивали дома;
Но, хоть врагов и нету у меня,
Однако осторожность не мешает.
Введя его, уйди, но позови
Твоих подручных сторожить за дверью.
Кто б это был?

Антонио уходит и возвращается с Бертрамом,
закутанным в плащ.

Бертрам

Синьор Лиони! Дорог
Нам каждый миг — и мне и вам. Ушлите
Слугу; нам надо с глазу на глаз быть.

Лиони

Бертрам как будто... Можешь удалиться,
Антонио.

Антонио уходит.

Ну, что нужно вам так поздно?

Бертрам

(открывая лицо)

Благодеянья, добрый мой патрон!
Бедняк Бертрам от вас их много видел;
Еще одно — и счастлив буду я.

Лиони

Тебе, ты знаешь, с детства помогал я
В любых твоих житейских достижениях,
Приличных званью, и теперь готов бы
Все обещать заранее, но странный
Приход ночной, настойчивость, поспешность
Мне подозрительны. Я чую тайну.
Скажи, в чем дело? Что произошло?
Внезапная пустая ссора? Лишний
Глоток вина и драка и кинжал?
Обычная история. И если
Убит не дворянин, суда не бойся,
Но все ж беги: в порыве первом гнева
Друзья и родственники могут мстить
В Венеции смертельнее закона.

Бертрам

Синьор, спасибо, но...

Лиони

Но что? Ты руку
Дерзнул поднять на знатного? Тогда —
Спеш, беги, но и молчи: тебя я
Сам не убью, но и спасти не стану!
Кто пролил кровь патриция...

Бертрам

Пришел я
Кровь эту сохранить, а не пролить!
Но я спешу, минута промедленья
Нам жизни может стоить: меч двуострый
Взамен косы уже заносит время,
И в скляницу его взамен песка
Насыпан пепел гробовой. Молю вас:
Сидите завтра дома!

Лиони

Почему?

Что мне грозит?

Бертрам

Не спрашивай об этом,
Но заклинаю вновь: не выходи,
Что б ни случилось. Рев толпы, крик женщин,
Ребячий плач и стон мужской, бряцанье
Оружия, треск барабанов, вопли

Рожков и гуд колоколов повсюду
Смятенье разнесут! Не выходи,
Пока набат не смолкнет, да и после;
Меня дождись.

Л и о н и

Я повторю: в чем дело?

Б е р т р а м

Я повторю: не спрашивай! Во имя
Твоих святых на небе и земле,
Твоих великих предков и надежды
Им следовать и породить потомков,
Равно достойных рода и тебя,
Во имя счастья в прошлом и в грядущем,
Во имя страха пред земным и горним,
Во имя всех благодеяний мне,
За что пришел я уплатить сторицей,—
Останься дома! Вверь себя пенатам;
Верь мне и, поступив, как я сказал,
Найдешь спасенье. А иначе — гибель!

Л и о н и

Да я уже погиб от изумленья!
Ты явно бредишь! Что грозить мне может?
И кто враги мне? Если ж есть они,
Ты почему в союзе с ними? Ты!
И если так, то почему ты медлил
С предупреждением?

Б е р т р а м

Не скажу, не смею.
Что ж, выйдешь, вопреки предупреждению?

Л и о н и

Я не рожден пустых угроз бояться,
Особенно вслепую; на Совете,
Будь он назначен в поздний час иль ранний,
Я появлюсь.

Б е р т р а м

Не говори так, нет!
В последний раз: решил ты завтра выйти?

Л и о н и

Решил. Ничто не помешает мне!

Б е р т р а м

Тогда — пусть бог тебя спасет. Прощай.
(Направляется к выходу.)

Л и о н и

Стой! Не забота о себе велит мне
Тебя вернуть; нам так нельзя расстаться;
Тебя я знаю с детства...

Б е р т р а м

Да, синьор!
Вы — покровитель мой с тех дней беспечных,
Когда, ребята, позабыв о званьях,

Верней, забыв об их прерогативах
Застывших, мы играли — и делили
Забавы, смех и слезы. Ваш отец
Был моему патроном; я же вам
Был ближе, чем молочный брат; мы годы
Росли вдвоем. О годы счастья! Боже!
Как рознятся от наших дней они!

Л и о н и

Не я, а ты забыл их.

Б е р т р а м

Никогда мне
Их не забыть! Что ни случись, всегда я
Тебя бы спас! Когда мы возмужали,
Ты посвятил себя, согласно званью,
Делам правленья; скромный же Бертрам —
Занятым столь же скромным. И однако
Меня ты не оставил. Если счастье
Мне не всегда служило, то виною
Не ты, столь часто помогавший мне
В борьбе с потоком всяческих невзгод,
Грозящих слабым. Крови благородней
Нельзя найти, чем в сердце благородном
Твоем, столь добром к бедняку плебею.
Ах, будь в сенате все, как ты!

Л и о н и

А в чем же
Ты можешь обвинить сенат?

Б е р т р а м

Ни в чем.

Л и о н и

Я знаю: есть мятежные умы
И шептуны, разносчики измены,
Что выползают из подполий темных
Проклятья в ночь шептать из-под плаща,—
Озлобленная сволочь, дезертиры,
Распутные кабацкие буяны...
С подобными ты не водился; впрочем,
Тебя давно я потерял из виду;
Но ты всегда жил скромно и делил
Твой хлеб с достойными, всегда казался
Доволен. Что с тобой случилось? Бледен;
1 лаза запали; жесты беспокойны...
Видать, в душе тоска, и стыд, и совесть
Ведут войну.

Б е р т р а м

Падн тоска и стыд
На тиранию подлую, что воздух
Венецианский отравила, граждан
В безумье приводя, как бы чумных,
Кто бешенством исходят, умирая!

Л и о н и

Мерзавцами ты с толку сбит, Бертрам;
Не так ты прежде говорил и думал;
Какой-то чад в тебя бунтарство влил;
Но ты не должен гибнуть; ты ведь кротким
И добрым был; ты чужд поступкам низким,
Что подлецы тебе хотят привить.
Скажи мне все, открой — меня ты знаешь.
Что вы затеяли, о чем я должен
Быть предварен, я, друг твой старый, сын
Того, кому был другом твой отец,
Так что наследной стала наша близость
И должно ей к потомкам перейти
Такою же и даже углубленной?..
Итак: что ты задумал, коль бояться
Тебя я должен и укрыться дома
Девницей робкой?

Б е р т р а м

Прекрати вопросы.
Уйти я должен.

Л и о н и

Я же — быть убитым?
Так ты сказал, любезный мой Бертрам?

Б е р т р а м

Убитым? Что сказал я об убийстве?
Никто о нем не говорил! Неправда!

Л и о н и

Ты не сказал. Но волчий взор твой, прежде
Мне не знакомый, — он горит, являя
Убийцу! Если жизнь нужна *моя* —
Бери: я безоружен — и беги!
В зависимость я не поставлю жизнь
От прихотливо-милостивых тварей,
Таких, как ты и те, кем ты подослан!

Б е р т р а м

За кровь твою — готов свою отдать я;
За волос твой — я тысячу голов
Поставил ставкой, столь же благородных,
Нет, благородней даже, чем твоя!

Л и о н и

Ах, даже так? Ну, извини, Бертрам;
Едва ли я достоин быть изъятым
Из этой пышной гекатомбы. Все же
Ответь: *кому* грозят, и *кто* грозит?

Б е р т р а м

Венеция — самой себе; она ведь —
Как бы семья, растерзанная распрей;
И все погибнет завтра — до заката!

Л и о н и

Ужасным тайнам нет конца!.. Как видно,
Я или ты, иль оба мы стоим

Теперь над бездной; будь же откровенен —
И невредим и славен будешь. Лучше
Спасать, чем резать, да еще в ночи.
Стыдись, Бертрам, не для тебя такое!
Взглянуть бы, как ты пред толпой смятенной
На пику взденешь голову того,
Чье сердце было для тебя открыто!
И это, видно, рок мой, ибо я
Клянусь, какою ни грози ты мне
Опасностью, что я из дома выйду,
Коль не изложишь всех причин и следствий
Того, что привело тебя ко мне.

Б е р т р а м

О, как тебя спасти?! Бегут минуты,
И гибнешь ты! Ты, благодетель мой,
В любой беде мой верный друг! О, дай мне
Тебя спасти, изменником не став,
Честь не утрати!..

Л и о н и

Разве честь у места
В сообществе убийц? И разве можно
Не государству изменить?

Б е р т р а м

Союз наш
Является единством, и для честных
Он тем прочней, что слово им закон;
И думаю, что нет гнусней измены,
Чем внутренняя, та, что нож вонзает
Товарищу доверчивому в грудь.

Л и о н и

А кто в *меня* вонзит клинок?

Б е р т р а м

Не я;
Способен я на все — лишь не на это;
Ты должен жить; мне жизнь твоя дороже,
Чем тысячи других, и я рискую
Не только ими — больше: жизнью жизнью,
Свободою потомков, чтоб не быть
Убийцей, как меня клеймишь ты! Вновь
И вновь молю я: за порог — ни шагу!

Л и о н и

Напрасно молишь: выйду — и не медля.

Б е р т р а м

Так погибай Венеция, — не друг!
Открою все — скажу — предам — разрушу!..
Каким я стал из-за тебя мерзавцем!

Л и о н и

Ничуть: спасителем страны и друга!..
Ну, говори! Награды, безопасность —
Все будет, все, чем дарит государство

Достойнейших своих сынов. Дворянство —
И то я гарантирую тебе
За искренность раскаяния.

Б е р т р а м

Нет!

Раздумал я. Я не могу. Тебя я —
Люблю, в чем не последняя порука
Приход последний мой. Но, долг исполнив
Перед тобой,— перед страной исполню!
Мы больше не увидимся. Прощай!

Л и о н и

Ах, так?! Антонио, Педро! Дверь держите,
Чтоб не ушел. Схватить его!

Входят Антонио и другие вооруженные слуги и хватают
Бертрама.

Л и о н и

Полегче,

Не причинять вреда. Мой плащ и меч!
Гондолу с четырьмя гребцами, живо!
Мы поспешим к Джованни Градениго
И вызовем Корнаро. Ты не бойся,
Бертрам: в насилье этом и твое,
И общее спасение.

Б е р т р а м

Куда же

Меня потащат?

Л и о н и

Прежде — к «Десяти»,

А после к дожу.

Б е р т р а м

К дожу?

Л и о н и

Да, конечно:

Ведь он — глава.

Б е р т р а м

С зарей — возможно.

Л и о н и

Это

Что значит? Но — дознаемся!

Б е р т р а м

Уверен?

Л и о н и

Да, если меры кротости помогут.
А нет — ты знаешь трибунал «Десятки»,
И казематы в Санто-Марко есть,
И пытки.

Б е р т р а м

Примени их до рассвета:

Он близок. А еще грозить мне будешь —

Так сам погибнешь медленной смертью,
Что для меня замыслил.

Возвращается Антонио.

А н т о н и о

Все готово,

Гондола ждет.

Л и о н и

За пленником следить.

Еще, Бертрам, поговорим при встрече
С Маньифико — с мудрейшим Градениго.

СЦЕНА II

Дворец дожей. Комната дожа. Дож и его племянник
Бертуччо Фальеро.

Д о ж

Все наши домочадцы налицо?

Б е р т у ч ч о

Уже в строю и жадно ждут сигнала
В палаццо нашем возле Санто-Поло.
Жду приказаний.

Д о ж

Было бы неплохо

Еще созвать из моего поместья
Валь-ди-Марино наших крепостных
Побольше, но, пожалуйста, слишком поздно.

Б е р т у ч ч о

И к лучшему, мой дож: наплыв неожиданный
Вассалов наших вызвал бы тревогу
И подозренья. И крестьяне наши
Хоть горячи и верны, но и грубы
И склонны к ссорам; им не сохранить бы
Той дисциплины тайной, что нужна,
Покуда мы врага не слошим.

Д о ж

Верно;

Но грянет лишь сигнал — как раз *также*
Нужны бы люди в нашем деле нам.
У городских рабов своя предвзятость:
Приязнь к одним и ненависть к другим
Проявятся то яростью чрезмерной,
То милосердьем пагубным. Крестьяне ж,
Горячие мои вассалы, были б
Вполне покорны графу своему,
Его врагов никак не различая;
Им безразличны Фоскари, Корнаро,
Марчелло, Градениго: не привыкли
Они дрожать, их слыша имена,
Ни гнуть колен перед сенатом. Воин
В доспехе бранном — вот их сюзерен,
А не фигура в мантии.

Б е р т у ч ч о

Нас — хватит;
А в ненависти всех бойцов к сенату
Ручаюсь вам.

Д о ж

Прекрасно. Жребий брошен.
Но все же в наступающей битве, в поле,
Моим крестьянам поручи меня;
Они впускали солнце в тучу гуннов,
Тогда как звук своих же труб победных
Гнал бледных горожан дрожать в шатрах;
Коль нет отпора, эти горожане
Сплошь — лвы, как на знаменах. Но в бою
Серьезном ты, как я, весьма хотел бы
Иметь в тылу железный строй крестьян.

Б е р т у ч ч о

Дивлюсь, что вы, так думая, рискнули
Ударить вдруг.

Д о ж

Удар такой и должно
Вдруг наносить иль никогда. Едва я
Изгнал терзанья ложные и слабость,
Томившие меня, хотя недолго,
Приливом давних и изжитых чувств,
Я поспешил с ударом, чтоб, во-первых,
Вновь не поддаться им, а во-вторых,
Не знал я, можно ль очень полагаться
На верность и отвагу тех людей,
Хоть верю Израэлю с Календаро:
Вдруг кто-нибудь сегодня нам изменит,
Как тысячи вчера сенату? Если ж
Они *начнут*, в руках согрев афесы,—
Придется им себя спасать. Удар —
И в каждом встанет Каин первородный,
Чья воля, затаенная в душе,
До времени обузданная, ринет
Их всех, как волчью стаю. Кровь, блеснув,
Толпе внушает жажду новой крови,
Как первый кубок открывает пир.
Когда *начнут*, поверь, труднее будет
Их сдерживать, чем подстрекать. Покуда ж
Любой пустяк, обмолвка, шорох, тень —
Способны их поворотить обратно...
Ночь на исходе?

Б е р т у ч ч о

Близится рассвет.

Д о ж

Тогда пора уже в набат ударить?
Все на местах?

Б е р т у ч ч о

Теперь должны быть все.
Но я им запретил звонить, покуда
Я сам с приказом не приду от вас.

Д о ж

Так... Неужели ж никогда заря
Не сгонит звезд — ишь, разблестались в небе!
Спокоен я и тверд; и то усиле,
С которым я мое решенье принял
Оздоровить республику огнем,
Теперь взбодрило дух мой. Трепетал я,
Гыдал при мысли об ужасном долге;
Но, прочь прогнав бесплодные волненья,
Растущей буре я гляжу в лицо,
Как рулевой с галеры адмиральской.
Но (веришь ли?) мне напряженья больше
Понадобилось, чем когда народы
Свою судьбу читали в близкой битве,
Где я фалангу вел и где на гибель
Шли тысячи!.. Чтоб грязную, гнилую
Кровь выпустить из жил ничтожной горстки
Тиранов чванных — сделать то, чем добыл
Бессмертие Тимoleon,— был нужен
Закал потверже мне, чем посреди
Опасностей и трудностей военных.

Б е р т у ч ч о

Я счастлив, что бывшая мудрость ваша
Смирила гнев, терзавший вас, покуда
Вы не решились.

Д о ж

Так всегда бывало
Со мной. Встает волнение при первом
Мерцанье замысла, когда страстям
Помехи нет в их власти; но настанет
Час действовать — и я спокоен так же,
Как мертвецы вокруг меня. И это
Известно оскорбителям; они
Рассчитывали на мое уменье
Владеть собой, лишь первый сникнет взрыв.
Они забыли, что порой не ярость,
Не импульс, а холодное раздумье
Из мести доблесть создает. Пускай
Законы спят — не дремлет справедливость;
И месть *лица* порою к *общей* пользе
Ведет, и в этом — оправданье мне...
По-моему — светает; да? взгляни:
Глаз юный зорче; утренняя свежесть
Уже слышна, и, кажется мне, море
Сереет сквозь решетку.

Б е р т у ч ч о

Верно; утро
Уже всплывает в небе.

Д о ж

Так ступай же!
Пусть бьют в набат не медля, и при первом
Ударе с Марка ко дворцу веди
Все наши силы; здесь я с вами встречусь.
И в тот же миг Шестнадцать поведут

Сюда свои отряды, каждый порознь:
Но главный вход сам захвати: «Десятку»
Я не могу доверить никому,
А чернь патрицианская насытит
Беспечные клинки подручных наших.
Не забудь наш лозунг: «Санто-Марко!
К оружию, люди! Генуэзцы вторглись!
Марк и свобода!» А теперь — начнем!

Б е р т у ч ч о

До встречи, дядя, в подлинном державстве
И вольности или — нигде! Прощайте.

Д о ж

Нет, подойди, обнимемся, Бертуччо!
Спешу: светает быстро; поскорее,
Придя к бойцам, уведомя, как дела,
Пришли гонна, а там — пусть буря грянет
Набатов с башен Марка!

Бертуччо Фальеро уходит.

Д о ж

(один)

Он ушел.

И каждый шаг кому-то стоит жизни.
Свершилось! Ангел смерти воспарил
Над городом и медлит хлынуть гневом,
Как бы орел, что, высмотрев добычу,
На миг повиснет в воздухе, слержав
Движение крыл могучих, и потом
Низвергнется и меткий клюв вонзает...
О день, из вод ползущий! Поспешу!
Я не хочу разить во тьме, мне нужно
Не промахнуться. О лазурь морская!
Тебя нередко, видел я, багрила
Кровь генуэзцев, гуннов, сарацин
И — веницейцев, пусть победоносных.
Беспримесным теперь твой будет пурпур,
Не примирит нас варварская кровь
С твоим ужасным багрецом: погибнут
И враг и друг в междоусобной бойне!
Затем ли жил я восемьдесят лет,
Я, прозванный «Спасителем отчизны»,
Я, перед кем миллионы шапок в воздух
Летели вдруг и клик десятков тысяч
Молил у бога счастья мне и славы,
И долгих дней, — чтоб день *такой* увидеть?!
Но этот день, с отметой черной, будет
Введением в тысячелетие блеска!
Дождь Дандоло жил девяносто лет,
Свергая троны, но венец отвергнув;
И я сложу венец и возрожу
В стране свободу. О! Какой ценою!
Но оправдает все благой конец.
Что капля человеческой крови? Впрочем,
Кровь деспотов — не человеческая: *наша*
Питает их, Молохов воплощенных,

Пока мы в гроб не кинем их, привыкших
Других в могилы класть!.. О мир! О люди!
Что сами вы и святость ваших целей,
Коль мы должны резней карать злодейство?
Разить, как будто смерть лишь так приходит
И меч не может подождать годок?
Зачем же я с порога рокового
В безвестный мир спешу герольдов слать?..
Прочь мысли эти...

Пауза.

О! Как будто ропот
Далеких голосов? И мерный шаг
Военной маршировки? Или звуки
В ответ желаньям шлюты фантомы нам?
Не может быть; сигнал еще не грянул...
Что медлят с ним? Гонец Бертуччо должен
Быть на пути ко мне, а сам племянник
Уже, быть может, на тяжелых петлях
Со скрипом дверь распахивает в башню,
Где колокол, огромный и угрюмый,
Висит, — оракул смерти дождя или
Вторжения, — гремя лишь в эти дни
Ужасной вестью. Пусть же он послужит,
Вещая ужас, но — в последний раз,
Устои башни потрясутся!.. Молчит он?
Я вышел бы, но здесь мой пост; я должен
Быть центром разнородных сил, обычных
В таких союзах, охранять единство
И в столкновенье слабых ободрять.
Коль схватке быть, она всего свирепей
Здесь разгорится, во дворце, и, значит,
Здесь должен быть мой пост как вожака.
Вот! Он идет, идет, гонец Бертуччо,
Племянника отважного! Какие
Известия? Он выступил? Спешит он?..
Они!.. Погибло все!.. Но — поборюсь!

Со стражками входит Ночной синьор.

Н о ч п о й с и н ь о р

Ты, дож, мной арестован за измену.

Д о ж

Я? Князь твой? За измену? Кто дерзнул
В приказ такой свою укрыть измену?

Н о ч н о й с и н ь о р

(показывая приказ)

Вот ордер от собрания «Десяти».

Д о ж

Но где они и почему собрались?
Совет законен, только если дож
В нем председатель; в этом — долг мой. Твой же —
Дорогу дать мне или проводить
В зал заседанья.

Н о ч н о й с и н ь о р

Невозможно, герцог:
Совет собрался не в своей палате —
В монастыре Спасителя.

Д о ж

Итак,
Ты смеешь мне перечить?

Н о ч н о й с и н ь о р

Государству
Служу я и служить обязан верно:
В моем приказе — воля тех, кто правит.

Д о ж

Без подписи моей он незаконен,
А примененный, как *теперь*, являет
Бунт! Хорошо ль ты цену жизни взвесил
Твоей, берясь за столь мятежный акт?

Н о ч н о й с и н ь о р

Я действовать обязан, а не спорить,
Я прислан стражем для твоей особы,
А не судьей, чтоб слушать и решать.

Д о ж

(в сторону)

Я должен время выиграть; с набатом
Пойдет не то. Спешу, спешу, племянник,
Спешу: судьба трепещет на весах,
И горе побежденным — мне ль с народом,
Сенату ли с рабами...

Звонит большой колокол Св. Марка.

О! Гремит!

Гремит! Ночной синьор, ты слышишь? Вы же,
Наемники, ваш дрогнул жезл продажный?
То ваш надгробный звон. Расти ж, ликуй!
Чем, гады, выкупите жизнь?

Н о ч н о й с и н ь о р

Проклятье!

С оружием встать у входа! Все погибло,
Коль страшный звон не смолкнет. Офицер
Напутал что-то или вдруг наткнулся
На гнусную засаду. Эй, Ансельмо,
Бери твой взвод и — прямоком на башню.
Всем остальным со мною быть.

Часть стражей уходит.

Д о ж

Несчастный!

Коль жизнью подлой дорожишь — моли:
Ей срок теперь не долее минуты,
Да рассылай разбойников твоих:
Им не вернуться.

Н о ч н о й с и н ь о р

Пусть. Они погибнут,
Как я погибну — исполняя долг.

Д о ж

Дурак! Орлу знатней нужна добыча,
Не ты с твоею шайкою. Живи,
Коль смерть сопротивленьем не накличешь.
И (если стерпит темная душа
Сиянье солнца) быть учись свободным.

Н о ч н о й с и н ь о р

А ты учись быть узником: он смолк —
Сигнал измены, гнавший стаю гончих
За их патрицианской дичью. Звон
Был погребальным, но не для сената!

Колокольный звон прекращается.

Д о ж

(после паузы)

Все тихо. Все погибло...

Н о ч н о й с и н ь о р

Вправду ль я
Бунтарского сената раб мятежный?
Не выполнил ли долг я?

Д о ж

Смолкни, тварь!

Ты цену крови заслужил достойно,
Хозяева тебя вознаградят.
Но прислан ты стеречь, не пустословить,
Как сам сказал; так исполняй же службу.
Но молча, как приличествует. Помни:
Хоть я и пленник твой, но государь.

Н о ч н о й с и н ь о р

Я не намерен отказать вам в чести,
Присущей рангу. Здесь я повинуюсь.

Д о ж

(в сторону)

Теперь осталось лишь одно мне: смерть.
Так близок был успех!.. О, я охотно,
Я гордо пал бы в миг триумфа, но
Так все утратить!..

Входят другие Ночные синьоры
с арестованным Бертуччо Фальеро.

В т о р о й н о ч н о й с и н ь о р

Он схвачен выходящим
Из башни, где, по порученью дожа,
Велел он к мятежу подать сигнал,
В набат ударив.

Н о ч н о й с и н ь о р

Подступы к дворцу
Надежно ль охраняются? и все ли?

В т о р о й н о ч н о й с и н ь о р

Все, но теперь в том нет нужды: вожжи
Уже в цепях, а кой-кого и судят;
Приверженцы бегут, иных — схватили.

Б е р т у ч ч о
О дядя!

Д о ж
Против рока не пойдешь!
Наш род лишился чести!

Б е р т у ч ч о
Кто бы мог
Подумать это? На мгновенье раньше б!..

Д о ж
Мгновенье *то* — меняло лик столетий,
А *это* — шлет нас в вечность. И пойдем,
Как мужи, чей триумф не весь в удаче,
Кто могут встать лицом к лицу с любовью
Судьбой, не дрогнув. Не томись: он краток.
Миг перехода. Я б один ушел,
Но, так как нас вдвоем отправят, верно,
Умрем достойно предков и себя!

Б е р т у ч ч о
Я, дядя, вас не устыжу.

Н о ч н о й с и н ь о р
Синьоры,
Вас охранять приказано мне порознь,
Пока совет вам не назначит суд.

Д о ж
Нам — суд! Они издевку длить решили
До казни? Что ж, их сила; с ними тоже
Разделались бы мы, хоть с меньшей помпой.
Все это ведь игра убийц взаимных:
Смерть — по очкам; но выиграл сенат
С фальшивой костью. Кто же наш Иуда?

Н о ч н о й с и н ь о р
Я отвечать не вправе.

Б е р т у ч ч о
Я отвечаю:
Бертрам какой-то; показанья он
Давать еще не кончил в тайной Джунте.

Д о ж
Бертрам, бергамец! Мерзким же орудьем
Мы запаслись для смерти иль победы!
Такая тварь, в грязи двойной измены,
Честь обретет, награды и бессмертье —
С гусями римскими, чей гогот поднял
Весь Рим, триумф добыв им ежегодный,
А Манлий, галлов сбросивший, был сам
С Тарпея свергнут...

Н о ч н о й с и н ь о р
Он хотел изменой
Взять власть над Римом.

Д о ж
Рим он спас и думал
Спасенный город преобразовать...
Но это вздор... Синьоры, мы готовы.

Н о ч н о й с и н ь о р
Прошу пройти, Бертуцчо благородный,
Во внутренние комнаты.

Б е р т у ч ч о
Прощайте,
Мой дядя! Встретимся ль еще — не знаю,
Но, может быть, наш прах соединим.

Д о ж
И так же души: им, в полете вольном,
Свершить все то, что бранный косный прах
Не мог свершить. Не позабудут нас,
Громивших трон преступной тирании,
И — день придет — с нас будут брать пример!

А К Т П Я Т Ы Й

С Ц Е Н А I

Зал заседаний Совета Десяти, пополненного по случаю суда над соучастниками крамолы Марино Фальеро несколькими добавочными сенаторами, что составляет так называемую Джунту.

Стражи, офицеры и пр. Израэль Бертуцчо и Филиппо Календаро — подсудимые. Бертрам. Лиони и другие свидетели и пр. Председатель Совета Десяти Беннинтенде.

Б е н н и н т е н д е
Теперь, когда доказаны столь явно
Бесчисленные преступления этих
Злодеев закоснелых, остается

Изречь вердикт. Печальная повинность
Для подсудимых и суда. Увы!
На мне она, и путь служебный мой
В грядущем будет неразрывно связан
С воспоминаньем грязным о гнуснейшей
И сложно разработанной измене
Стране свободы и закона, славной
Твердыне христианства против греков-
Еретиков, арабов, диких гуннов
И франков, столь же варварских. Наш город
Дарам индийским путь открыл в Европу;
Для римлян был убежищем последним
От орд Аттилы и, король морей,

Над Генуей надменной торжествует.
И трон такого града подрывала
Злодеев горсть, рискуя подлой жизнью!..
Так пусть они умрут!

Израэль

О, мы готовы:
Нам пытки помогли. Убейте нас.

Бенинтенде

Коль можете сказать нам что-нибудь,
Смягчающее вашу кару — Джунта
Готова слушать; если есть признанья —
Мы ждем: они, возможно, вам помогут.

Бертуччо Фальеро

Нам — слушать, а не говорить.

Бенинтенде

Измена

Вполне ясна по показаньям ваших
Сообщников, по всем деталям дела.
Но мы хотим полнейшего признанья
Из ваших уст. У края страшной бездны
Всепоглощающей — одна лишь правда
Полезна вам и в том и в этом мире.
Итак, что вас подвигло?

Израэль

Справедливость.

Бенинтенде

А цель?

Израэль

Свобода!

Бенинтенде

Слишком кратко, сударь.

Израэль

Так жизнь учила. Ведь воспитан я
Солдатом, не сенатором.

Бенинтенде

Ты вздумал,

Суд раздражив отрывистостью дерзкой,
Решенье оттянуть?

Израэль

О, будьте кратки

Вы так, как я, и верьте: эту милость
Я вашему прощенью предпочту.

Бенинтенде

И это весь ответ?

Израэль

Спроси у дыбы,

Что вырвала она у нас, — иль вздерни
Вторично: кровь еще найдется в жилах,

Найдется боль в изломанных плечах!
Но — не посмеешь: если мы умрем
(А в нас нехватит жизни вновь насытить
Страдаьем обожравшуюся дыбу),
Пропал спектакль, которым вы хотите
Пугнуть рабов, чтоб рабство укрепить!
Стон агонии — не слова признанья,
Нет правды в воплях: боль душе велит
Для передышки лгать. Итак, что ж будет:
Вновь пытка? или смерть?

Бенинтенде

Скажи мне: кто

Был с вами в соучастии?

Израэль

Сенат.

Бенинтенде

Что это значит?

Израэль

Спросишь у народа
Несчастливого, кому злодейства знати
Мятеж внушили.

Бенинтенде

Дожа знаешь ты?

Израэль

Да, с ним я Зару брал, когда вы здесь
Чины речами добывали; жизнью
Своей мы рисковали: вы — чужой
И в обвиненьях и в защитах ваших...
Известен дож и славными делами,
И тем, что оскорбил его сенат.

Бенинтенде

С ним совещались вы?

Израэль

Твои вопросы

Меня измучили сильней, чем пытка!
Прошу ускорить приговор.

Бенинтенде

Успеем.

Теперь, Филиппо Календаро, ты.
Что можешь возразить на обвиненье?

Календаро

Я к разговорам не привык; едва ли
Осталось мне добавить что-нибудь.

Бенинтенде

Когда мы вновь к тебе применим дыбу,
Изменишь тон!

К а л е н д а р о

О да, весьма возможно:
И первой это удалось, но только
Тон изменился, не слова. Но впрочем...

Б е н и н т е н д е

Что?

К а л е н д а р о

Придает значение закон
Признаниям под пыткой?

Б е н и н т е н д е

Несомненно.

К а л е н д а р о

Кого бы я ни обвинил в измене?

Б е н и н т е н д е

Конечно; он предстанет пред судом.

К а л е н д а р о

И этот оговор его погубит?

Б е н и н т е н д е

Когда признание полно и подробно,
То смерть оговоренному грозит.

К а л е н д а р о

Так берегись же, гордый председатель!
Я вечностью, разверстой для меня,
Клянусь — *тебя*, лишь одного тебя
Изменником изобличить под пыткой,
Коль вновь я буду вздернут!

О д и н и з Д ж у н т ы

Председатель!

Не лучше ль приговор определить?
У этих ничего мы не добьемся.

Б е н и н т е н д е

Несчастные! Готовьтесь к близкой смерти.
Злодейства ваши, наш закон, угроза
Для всей страны — не позволяют медлить.
Конвой! Сведи их на красноколонный
Балкон, откуда дож на бой быков
Глядит в четверг на масляной, и там —
Предать возмездью. Пусть на месте казни
Останутся трепещущие трупы
Народу напоказ! Да снизойдет
Господня милость к душам их!

Д ж у н т а

Амины!

И з р а э л ь

Прощайте же, синьоры! Не придется
Сойтись нам вновь!

Б е н и н т е н д е

И, чтоб они не стали
Мятежную толпу мутить пред казнью,
Заткнуть им рты заранее! Конвой,
Веди их.

К а л е н д а р о

Как! Нам даже не позволят
С друзьями попрощаться? Завещанье
Оставить исповеднику?

Б е н и н т е н д е

Священник

Ждет вас в передней. А насчет друзей —
Им тяжело прощаться с вами; вам же
Нет в этой встрече пользы никакой.

К а л е н д а р о

Нам рот всю жизнь, я знаю, затыкали,
Хотя бы тем, кто были слишком робки,
Чтоб думать влух, рискуя жизнью; но
Не знал я, что и в смертный миг отнимут
У нас ту жалкую свободу слова,
Какая умирающим дана!
И все же...

И з р а э л ь

Пусть идут своей дорогой!

Что пользы в нескольких словах? А гибель
Почетней без поблажек палача!
И громче наша кровь возопиет
К благовому небу, жаалуясь на них,
На их свирепость, чем могли бы томы
Записанных предсмертных наших слов!
Им страшен голос наш, но им, поверь,
Страшней молчанье наше! Пусть трепещут!
Их мысли — с ними; наши мысли — к небу
Мы вознесем!.. Ведите, мы готовы.

К а л е н д а р о

Когда б меня ты слушал, Израэль,
Не так бы все пошло, и трус тот бледный,
Подлец Бертрам...

И з р а э л ь

Неужно, Календаро!
Зачем теперь об этом рассуждать?

Б е р т р а м

Ах, если б вы со мною примирились
Пред смертью! Я ведь не хотел — сломили!
Простите мне, хоть сам себе вовек
Я не прощу! О, не смотрите гневно!

И з р а э л ь

Умру, простив тебя.

К а л е н д а р о
(плует на Бертрама)
Умру — прокляв!

Уходят Израэль Бертуччо, Филиппо Календаро, стража и др.

Б е н и н т е н д е

Теперь, покончив с этими двумя
Преступниками, перейдем к суду
Над величайшим в летописях наших
Предателем — Фальеро, нашим дожем!
Все ясно и доказано, но с делом
Такого рода мы должны спешить.
Ввести его, чтоб выслушал решение?

Д ж у н т а

Да, да!

Б е н и н т е н д е

Авогадоры! Дожа к нам
Распорядитесь привести.

О д и н и з Д ж у н т ы
А прочих

Когда судить?

Б е н и н т е н д е

Потом, когда покончим
С вождями. Многие бежали в Кьюццу,
Но тысячи им посланы вдогонку;
На островах и на материке
Все меры приняты, чтоб за границу
Никто не ускользнул бы с клеветой
Изменнической на сенат высокий.

Входит дож, окруженный стражамн.

Б е н и н т е н д е

Дожд (по закону все еще вы дож
До той поры, когда тиару дожа
Сорвут с главы, что не умела с честью
Носить убор, славнейший всех корон),
Вы заговор замыслили злодейский,
Чтоб ниспровергнуть равных вам, кто вас
Возвел на трон, и утопить в крови
Родную славу!.. Дожд, авогадоры
В покоях ваших предьявили вам,
По нашему приказу, все улики;
Столь много их, что ни один изменник
На очной ставке пред такою тенью
Кровавой не стоял! В свою защиту
Что скажете?

Д о ж

Что говорить, когда
Моя защита — обвиненье вам?
Злодеи — вы, но вы и прокуроры,
И судьбы вы, и палачи. Власть ваша,
И действуйте.

Б е н и н т е н д е

Да; так как ваши все
Сообщники признались — нет надежды.

Д о ж

А кто они?

Б е н и н т е н д е

Их много; вот вам первый,
Стоящий перед вами и судом,
Бертрам, бергамец. Есть к нему вопросы?

Д о ж

(с презрительным взглядом)

Нет.

Б е н и н т е н д е

Два других: Филиппо Календаро
И Израэль Бертуччо подтвердили
Свое участие в заговоре вашем.

Д о ж

А где они?

Б е н и н т е н д е

На должном месте: держат
Ответ пред небом за дела земные.

Д о ж

Ах, значит, умер он — плебейский Брут?
И быстрый Кассий арсенала? Как же
Был ими встречен приговор?

Б е н и н т е н д е

О вашем
Подумайте, он близок. Ну? защита?

Д о ж

Пред низшими не стану защищаться!
И вам я не подсуден. Где закон?

Б е н и н т е н д е

В столь чрезвычайных случаях мы вправе
Любой закон поправить и дополнить.
Да, наши предки не предусмотрели
Таких злодейств, — как древний Рим забыл
В своих таблицах указать возмездье
Отцеубийцам; предки не карали
Вину, о коей не было и мысли
В великих душах. Кто предвидеть мог бы,
Что вопреки природе посягнет
Сын на отца и князь на государство?
Злодейство ваше породит закон,
Опасный для предателей высоких,
Изменой восходящих к самовластью,
Которым мало скипетра, покуда
В двуострый меч не превратится он!
Вам не довольно было трона дожа?
И власть над всей Венецией мала?

Д о ж

Власть над Венецией!.. Да это вы —
Предатели! Вы, вы мне изменили!
Я, равный вам по крови, выше вас
По деятельности, оторван вами
От дел моих высоких в дальних странах,
В морях, на поле брани, в городах,
И жертвой, венценосной, но бессильной,
Закованной, на тот алтарь повергнут,
Где вы — жрецы! Не знал, не жаждал я,
Во сне не видел вашего избранья!
Я в Риме был тогда; я подчинился,
Но, воротясь, нашел, помимо зоркой
Ревнивости, с которой вы привыкли,
Смеясь, мешать благим мечтам князей,
Проделанную вами в дни межвластья,
Пока в столицу ехал я, урезку
И искаженье жалких прав, какие
Остались дожу! Это все я снес
И впредь сносил бы, если б мой очаг
Запятнан не был вашей клеветой.
А клеветник — вот он, средь вас, достойный
Судья в суде таком!..

Б е н и н т е н д е

(прерывая его)

Микеле Стено —

Член «Сорока»; находится он здесь
По должности. Советом «Десяти»
Приглашены сенаторы на Джунту,
Чтоб нам помочь в суде, столь небывалом
И трудном. Он освобожден от кары,
Ему назначенной, поскольку дож,
Кто должен быть защитником закона,
Но сам его хотел попать, — не вправе
Другим искать возмездья по статутам,
Какие сам отверг и осквернил!

Д о ж

Ему возмездья! Легче мне, что здесь он
Сидит, средь вас, мою смакуя гибель,
А не под издевательским арестом,
Что подлый, лживый, лицемерный суд
Назначил карой! Грязь его вины —
Сиянье рядом с вашею заступой!

Б е н и н т е н д е

Но как возможно, что великий дож,
Три четверти столетья знавший только
Почет, позволил, точно мальчик пылкий,
Чтоб ярость одолела в нем все чувства,
Страх, мудрость, долг — из-за такого
вздора,
Как дерзость раздраженного юнца?

Д о ж

От искры пламя вспыхнет, и от капли
Прольется кубок; мой же — полон был:

Вы угнетали и народ и князя.
Обоим ждал свободы я, обоим —
Стубил. А будь успех, была бы слава,
Победа, мщенье, и такое имя,
Что спорить бы Венеция могла
С историей Афин и Сиракуз
В дни их свободы прежней и расцвета,
А я — с Гелоном или Фразибулом!
Я проиграл; за проигрыш расплата —
Теперешний позор и смерть. Но время
Рассудит все — в свободной или в погибшей
Венеции; тогда — увидят правду!
Не медлите! Пошады не ишу я,
Как не дал бы! В игре рискнул я жизнью
И проиграл; берите ж: я бы взял!
Стоял бы я меж вашими гробами;
Вкруг моего столпитеесь — растоптать,
Как вы, при жизни, сердце мне топтали!

Б е н и н т е н д е

Итак, признались вы? и, значит, суд наш
Был справедливым?

Д о ж

Признал я неудачу;
Фортуна — женщина; ее дарами
Был с юности осыпан я; мой промах
В том, что, старик, былым улыбкам
верил.

Б е н и н т е н д е

Так нет сомнений в нашем беспристрастье?

Д о ж

Патриции! Достаточно вопросов!
Готов я к худшему, но кровь не вовсе
Во мне остыла, я не одарен
Терпением. Прошу вас: прекратите
Допрос дальнейший, превратить грозный
Суд в словопренье. Каждый мой ответ
Вам будет оскорбителен — всем вашим
Бесчисленным врагам на радость. Правда,
Нет эхо у суровых этих стен,
Но уши — есть; и есть язык; и если
Один у правды путь — сквозь них прорваться,
То вы, боясь меня, судя, казня,
Вы сами в гроб все доброе и злое,
Что я скажу, безмолвно не снесете:
Груз тайны этой не для ваших душ;
Пускай уснет в моей, чтоб вам избегнуть
Двойной грозы, коль меньшая прошла.
Желая дать размах защите, так бы
Ее повел я: ведь слова — дела!
А слово смертника вдвойне живуче
И — мстит порой; так бросьте в гроб мое,
Коль пережить меня хотите, — вот мой
Совет! Вы часто гнев мой возбуждали
При жизни, дайте ж мирно умереть,

Молю. Не защищаюсь, не борюсь я,
Прошу лишь о молчанье для себя
И жду решения.

Бенинтенде

Полнота признанья
Снимает с нас тяжелую повинность
Прибегнуть к пытке, чтоб добиться правды.

Дожд

Что пытка! Вы меня вседневной пытке
Подвергли, сделав дождем. Добавляйте ж
Терзанья плоти: дряхлая — уступит
Тискам железным; но в душе найдется,
Чем утомить машины ваши все!

Входит офицер.

Офицер

Высокие синьоры! Догаресса
Желает быть на заседание Джунты.

Бенинтенде

Отцы сенаторы, вы разрешите?

Один из Джунты

Она, быть может, с важным сообщением
Пришла, и мы поступим справедливо,
Приняв ее.

Бенинтенде

Нет возражений?

Все

Нет.

Дожд

Сколь он хорош, закон венецианский!
Впустить жену, надеясь, что она
Свидетельствовать будет против мужа!
Какая честь для чистых наших дам!
Но им, сидящим тут, мараť привычно
Честь каждого — и как не внять признанью?
Ну, гн-сий Стено, коль жена предаст,
Прошу и ложь тебе, и суд пристрастный,
И казнь мою, и жизнь твою в грязи!

Входит догаресса.

Бенинтенде

Синьора, как ни странна ваша просьба,
Наш правый суд ей внял и терпеливо
Вас выслушает с должным уваженьем
К вам лично, к рангу вашему и к роду,
Какая вас ни увлекала б цель.
Но вы бледнеете... Эй, там, к синьоре!
Скорее кресло!

Анджоллина

Слабость на мгновенье...
Прошло... Прошу простить, но я не сяду

В том помещенье, где мой государь
И мой супруг стоит.

Бенинтенде

В чем ваша просьба?

Анджоллина

Зловещий слух,— но верный, если правда
Все, что я вижу,—до меня донесся,
И я пришла с решимостью узнать
Все худшее. Простите, что врываюсь.
И если... не могу сказать... вопрос мой...
Но вы уже ответили безмолвно,
Взор отverted и сумрачно склоняясь!
О боже мой! Здесь тишина могилы!

Бенинтенде

(после паузы)

Избавь себя и нас от называнья
Ужасной нашей, но неотвратимой
Повинности пред небом и людьми!

Анджоллина

Ответь! Не верю, нет, невероятно!..
Он осужден?

Бенинтенде

Увы!

Анджоллина

И он преступен?

Бенинтенде

Синьора! Лишь понятное смятенье
Всех ваших мыслей извиняет вам
Вопрос ваш; а иначе недоверьем
Глубоко оскорбили б вы верховный
И правый суд. Спроси у дожа! Если
Отвергнет он улики, можешь верить,
Что он, как ты сама, безгрешен.

Анджоллина

Да?

Муж мой! Мой князь! Друг бедного отца!
В боях могучий и в совете мудрый!
Пусть он возьмет слова назад! Молчишь?

Бенинтенде

Пред нами он свою вину признал
И, видишь, пред тобой не отрицает.

Анджоллина

Но не умрет он! Старца пощадите,
Чью жизнь к неделям боль и стыд сведут!
Сотрет ли день злоумыслов бесплодных
Шестнадцать лустров, полных славных дел?

Бенинтенде

Наш приговор исполнится немедля
И несмягченным — таково решение.

А н д ж о л и н а
Его — вина, но ваше — милосердьё.

Б е н и н т е н д е
Оно правосудно здесь.

А н ж д о л и н а
Синьор!
Кто правосуден только, тот жесток!
Будь правый суд для всех, казнили всех бы.

Б е н и н т е н д е
Но казнь ему — спасенье государству.

А н д ж о л и н а
Как подданный, служил он государству,
Ваш генерал, спасал он государство,
Ваш суверен, он ведал государство.

О д и н и з С о в е т а
Он, как изменник, предал государство.

А н д ж о л и н а
Не будь его, где было б государство?
Что было б рушить иль спасать? И вы,
Кем на смерть обречен освободитель,
Стонали б на галерах мусульманских,
Бряцали б цепью в гунских рудниках!

О д и н и з С о в е т а
Здесь есть такие, что умрут, синьора,
Но жить не станут в рабстве.

А н д ж о л и н а
Если *здесь*
И есть такие, *ты* — не в их числе:
Кто мужествен, тот милосерден к павшим...
Что ж, есть надежда?

Б е н и н т е н д е
Нет, и быть не может.

А н д ж о л и н а
Ну, если так, тогда умри, Фальеро!
Умри, не дрогнув, старый друг отца!
Винновен ты в великом преступленьё,
Но зверством их ты обелен почти.
Я б их просила, умоляла б их,
Я кланчила б, как нищий кланчит хлеба,
Вопила бы, как им вопить пред богом,
Который им их милостью воздаст,
Будь нам с тобой пристойно это или
Не возвещай суровость глаз холодных,
Что в сердце судей — беспощадный гнев!
Прими ж удел твой, как пристойно князю!

Д о ж
Я вдоволь жил, чтоб научиться смерти!
Твои ж мольбы пред этими людьми —

Лишь стон овечки перед мясником
Иль в бурю крик магросов; я не взял бы
И вечной жизни от злодеев этих,
Чей гнет чудовищный хотел я снять
Со стонущих народов!

М и к е л е С т е н о
Только слово
К вам, дож, и к этой благородной даме,
Кого я тяжко оскорбил. О, если б
Я мог стыдом, печалью, покаяньём
Стереть неумолимое былое!
Но — невозможно! Так простимся ж кротко,
По-христиански: сокрушенным сердцем
Молю вас — не простить, но пожалеть,
И шлю за вас, пусть робкие, молитвы!

А н д ж о л и н а
Судья верховный, мудрый Бенинтенде,
Прими ответ мой этому синьору.
Пусть грязный Стено знает, что слова
Его могли на миг вложить в меня,
В дочь Лоредано, жалость — и не больше —
К таким, как он. Дай бог презренью прочих
Быть столь же кротким! Честь мою ценю я
Дороже сотни жизней, если б их
Прибавили к моей, но не хотела
Одну чужую погубить за то,
Что осквернить нельзя, — за чувство чести,
Которому не мнение других,
Не слава, а оно само награда!
Мне клевета — не болсе, чем ветер
Скале, но есть чувствительнее души, —
Увы! для них подобные слова,
Как вихрь для вод; для этих душ бесчестье
И даже тень его страшней, чем гибель
Здесь и за гробом; люди, чей порок —
Дрожать перед насмешкою порока;
Кто, устояв пред зовом наслаждений,
Под гнетом горя, вдруг слабеют, если
На имя гордое, на эту башню
Надежд, ложится тень; они ревнивей
Орла к высотам светлым... Пусть же все,
Что видим здесь, и чувствуем, и терпим,
Отучит раздраженных негодяев
Тех задевать, кто выше их. Порою
Льва мошкара безумит; рана в пятку
Повергла в смерть храбрейшего из храбрых;
Позор жены повлек паденье Трои;
Позор жены царей изгнал из Рима;
Муж оскорбленный предал Клузий галлам,
Что вслед за тем сломили было Рим;
Бесстыдный жест Калигулу убил,
Хотя весь мир сносил его жестокость;
Обида девы маврам отдала
Испанию; две лживых строчки Стено
Здесь каждого десятого сгубили,

Чуть не сгубив сенат восьмисотлетний,
Тяну с дожа сняли — с головой,
Цепей добавив скорбному народу!
Пусть он гордится, жалкий Переодяй,
Как та блудница, сжегшая Нереполь,—
Такая слава для него как раз!
Но пусть навязывая нам молитвы,
Не оскорбляет он предсмертный час
Того, кто *был*, кем бы ни стал, героем!
Добра не ждать из родника такого;
Нам он не нужен ни теперь, ни впредь;
Пусть он живет с самим собою — с

бездной

Падения. Прощают человека,
Но не змею. Прощенья нет для Стенс
И гнева нет. Такие только жалят,
А высшие страдают — вот закон.
Ужаленный гадокой, умирая,
Раздавит гада, но без чувства злобы:
Он *должен* жалить; а иные души —
Такие ж гады, как могильный червь!

Д о ж

(к *Бенинтенде*)

Синьор! Кончайте то, что мните долгом.

Б е н и н т е н д е

Сейчас; но прежде просим догарессу
Покинуть зал: ей будет слишком тяжко
Присутствовать и слушать.

А н д ж о л и н а

Да, я знаю;

Но все должна я вынести: ведь в этом
Мой долг. И только силою меня
Отторгнут от супруга! Приступайте!
Не бойтесь криков, слез и вздохов; сердце
Разбиться может, но безмолвно; знаю,
Что все перенесу! Читай!

Б е н и н т е н д е

Марино

Фальеро, дож венецианский, граф
Валь-ди-Марино и сенатор, в прошлом
Командующий армией и флотом,
Патриций, многократно облеченный
Доверьем государства вплоть до высшей
Магистратуры, — слушай приговор!
Изобличенный множеством свидетельств,
Уликами и собственным признанием
В предательстве, в измене государству
Неслыханной, ты осужден на смерть.
Твои владенья отойдут в казну,
А имя будет вычеркнуто всюду,
И лишь при благодарственных молебнах
За дивное спасенье наше — вспомнят
Его в календарях, с чумою рядом,
С землетрясением, с внешними врагами,

С дьяволом, чтоб милость божью славить,
Укрывшую и родину и нас
От лютои твоей. То место, где бы
Как дож ты был изображен в соседстве
С прославленными дожами, оставят
Пустым, задернув траурным покровом
С такою скорбной надписью на нем:
«*Nic locus est Marini Falieri,
Decapitati pro criminibus*»¹.

Д о ж

«За преступленья». Пусть, но все напрасно:
Позорный мрак над именем моим,
Что должен скрыть мои черты, притянет
Глаза людей властей, чем сто портретов
Соседних, с их мишурным блеском,—

ваших

Рабов покорных, палачей народа!
«За преступленья обезглавлен». Спросят:
А в чем они? Не лучше ль их назвать,
Чтоб зритель мог, на правду опираясь,
Их оправдать или *понять* хотя б?
Дожд — заговорщик! Почему?! Пусть люди
Узнают это. Вам ли прятать вашу
Историю?

Б е н и н т е н д е

Ответит время. Внуки

Пусть наш оценят приговор. И вот он:
Как дож, в порфире и в тиаре, ты
Прошествоешь на Лестницу гигантов,
Где ты и все князья венчались властью,
И там, где дож берет венец впервые,
С тебя венец впервые сдернут и —
Отрубят голову. И милость неба
С тобой да будет!

Д о ж

Так решила Джунта?

Б е н и н т е н д е

Да, так.

Д о ж

Стерплю!.. А казнь когда?

Б е н и н т е н д е

Немедля.

И с богом примириться поспеши:
Ты через час уже пред ним предстанешь.

Д о ж

Я с ним уже: он раньше кровь увидит
Мою, чем души палачей моих...
Все земли конфискуете?

¹ «Здесь — место Марино Фальеро, обезглавленного за преступления» (лат.).

Бенинтенде

Да, все,
И движимость, и ценности; оставим
Две тысячи дукатов: завещаю их.

Дождь

Жестокость! Я желал бы сохранить
Поместье близ Тревизо, что Лаврентий,
Ченедский граф, епископ, дал мне в лен
Потомственный, — чтоб завещать его
(Мои владенья в городе, дворец
И ценности предоставляю фиску)
Моей супруге и родне.

Бенинтенде

Родня

Прав лишена; в ней старший, твой
племянник,
Сам под угрозой смерти, хоть совет
Отстрочил суд над ним покуда. Если ж
Хлопочешь ты о догарессе вдовой,
Не бойся: не обидим!

Анджоллина

Я, синьоры,

Добычи вашей не возьму! Отныне
Себя я посвящаю только богу
И кров найду в монастыре.

Дождь

Идем!

Ужасным будет час, но он пройдет...
Чего мне ждать еще, помимо смерти?

Бенинтенде

О, ничего! Покайся и умри.
Священник в облаченье, меч отточен,
И оба ждут. Но только не надейся
Поговорить с народом: много тысяч
Уже столпилось у ворот, но мы
Их заперли. Авогадоры, Джунта,
Мы, «Десять», и старшины «Сорока»
Одни увидят рок твой. С этой свитой
Проществует на место казни дождь.

Дождь

Дождь?!

Бенинтенде

Дождь. Ты жил и должен умереть
Как государь. Покуда не отделил
Меч голову от тела, голова
С тиарой дождя будет нераздельна.
Лишь ты забыл достоинство твое
В союзе с бунтом черни, но не мы:
В тебе мы и на плахе видим князя.
Твои друзья презренные погибли
Собачьей или волчьей смертью; ты же
Как лев падешь в кругу ловцов, хранящих

Высокое сочувствие тебе,
Жалеющих о неизбежной смерти
Того, чей гнев был царственно свиреп.
Теперь — иди, готовься, но не медли;
Тебя мы сами отведем туда,
Где мы тебя впервые окружили
Как подданные верные твои,
Как твой сенат. И там, на том же месте,
С тобой навек простимся мы. Конвой!
Сопутствуй дождю до его покоев.

Уходят.

СЦЕНА II

Покой дона.

Дождь под стражей и догаресса.

Дождь

Теперь, когда священник удалился,
Тянуть не стоит жалкие минуты.
Еще надрыв — прощание с тобой, —
И высыплю последние песчинки
Подаренного часа. Я покончил
Со временем.

Анджоллина

Увы! И я была

Причиною всего, хотя невольной;
Наш черный брак, наш траурный союз,
Тобой отцу обещанный на смертном
Его одре, смерть предрешил *твоею*.

Дождь

О нет; во мне самом таилось нечто,
Грозившее великой катастрофой;
Дивлюсь, что медлила она, хотя
Ее мне предсказали.

Анджоллина

Предсказали?

Дождь

Уже давно — настолько, что не помню,
Но в летописях есть об этом, — я
Еще был молод — и служил сенату
Как подеста и комендант в Тревизо.
В день праздника медлительный епископ,
Что нес дары святые, пробудил
Мой безрассудный юный гнев нелепой
Медлительностью и ответом чванным
На мой упрек. И я его ударил,
Так что упал он со святою ношей.
Встав, он воздел трепещущую руку
В благочестивом гневе к небесам
И, указав на выпавшую чашу,
Сказал мне, обратясь: «Настанет миг,
И бог, тобой повергнутый, повергнет
Тебя; твой дом покинет слава; мудрость

Исчезнет из души твоей; в расцвете
Всех сил ума владеть тобою станет
Безумье сердца; страсти обуяют
Тебя тогда, когда в других они
Молчат или мягко сходят в добродетель;
Величие, краса других голов
Сойдет к твоей, чтоб снять ее; почет
Твое паденье возвестит, седины —
Твой срам, и общим результатом — смерть,
Но не такую, что прилична старцу!»
Сказав, ушел он. Этот час настал.

Анджоллина

Но как же ты, с таким предупреждением,
Рок не пытался отворотить, хотя бы
Епитимью отбыв за свой поступок?

Дождь

Слова, сознаюсь, мне запали в сердце,
Так что нередко в суматохе жизни
Я вспоминал их — некий призрачный звук,
Вливавший дрожь в мои больные сны.
Я каюлся; но не в моей природе
Итти назад: что быть должно, то будет,
И — не боялся я. И даже больше:
Ты помнишь, — да и все об этом помнит, —
В тот день, когда из Рима прибыл я
Уже как дождь, туман необычайный,
Невиданный пред Буцентавром встал,
Как облачный тот столп, что из Египта
Евреев уводил, и кормчий, сбившись,
Привел корабль не к Рива-делла-Палья,
Как надо было, а к святому Марку,
К той колоннаде, где казнат обычно
Преступников, — и там сошли мы. Вся
Венеция была потрясена
Зловещим этим предзнаменованием.

Анджоллина

Ах, бесполезно вспоминать об этом
Теперь.

Дождь

Я все же радуюсь при мысли,
Что это все — веленья Рока: легче
Богам поддаться, а не людям; лучше
Уверовать в судьбу, а в этих смертных,
По большей части жалких, точно прах,
И столь же слабых, видеть лишь орудье
Верховных сил. Ведь сами по себе
Они не годны ни на что; не им
Быть победителями человека,
Кто побеждал для них.

Анджоллина

Свои минуты
Последние отдай иным порывам,
Смягчись и, примиренный даже с ними,
С презренными, на небо возлети.

Дождь

Я примирен уверенностью твердой,
Что день придет — и дети их детей,
И этот гордый град в лазури водной,
И все, на чем их власть и блеск держались,
Все станет разореньем и проклятьем,
И новые под свист народов рухнут
Тир, Карфаген, приморский Вавилон.

Анджоллина

Так говорить не время; буря страсти
И в смертный миг тебя стремится
Не обольщайся: ты врагам безвреден.

Дождь

Я — в вечности уже, гляжу я в вечность
И так же ясно, как в последний раз
Столь нежное твое лицо я вижу,
Я вижу дни, о коих говорю, —
Судьбу вот этих стен, объятых морем,
И всех, кто в стенах!

Страж

(выступая вперед)

Дождь венецианский!
Прошу вас: «Десять» ожидают ваше
Высочество.

Дождь

Прощай же, Анджоллина!
Последний поцелуй!.. Прости мне, старцу,
Мою любовь, столь роковую; память
Люби мою; я не просил бы столько,
Живя, но ты теперь смягчиться можешь,
Дурных во мне уже не видя чувств.
К тому ж плоды всей долгой жизни — славу,
Богатство, имя, власть, почет — все то,
Что возвращает даже на могилах
Цветы, — утратил я! Нет ничего —
Ни дружбы, ни любви, ни уваженья, —
Что хоть бы эпитафию могло
Исторгнуть у родни тщеславной! В час я
Жизнь вырвал с корнем прошлую; изжито —
Все! Только сердце чистое твое
И кроткое осталось мне; и часто
Оно, храня безмолвную печаль...
Как ты бледнеешь!.. Ах, она без чувств!
Не дышит!.. Пульса нет!.. Конвой! на помощь!
Я не могу ее оставить... Впрочем,
Так лучше: вне сознания нету мук.
Когда она из мнимой смерти встанет,
Я буду с Вечным. Кликните служанок.
Еще взглянуть! Как лед рука! Такой же
Быть и моей, когда очнешься!.. Будьте
С ней бережны; спасибо! Я готов.

Входят слуганки Анджолины и окружают бесчувственную госпожу. Дождь и стража уходят.

СЦЕНА III

Двор во Дворце дожей. Внешние ворота закрыты, чтобы не проник народ.

Входит дож в парадном облачении, сопровождаемый Советом Десяти и другими патрициями, в присутствии стражи, пона процессия не достигает верхней площадки Лестницы гигантов, где дожди приносят присягу. Палач уже находится там со своим мечом.

По прибытии председатель Совета Десяти снимает дожескую тиару с головы дожа.

Д о ж

Дож стал ничем, и я опять — Марино Фальеро наконец; приятно быть им, Хоть на минуту. Здесь я был увенчан И здесь же — бог свидетель! — с облегченьем Снимаю этот роковой убор, Сияющую погребушку эту, Безвластия насмешливый венец.

Один из «Десяти»

Дрожнись, Фальеро?

Д о ж

Старческая слабость.

Бенинтенде

Фальеро! Нет ли у тебя к сенату Просьб, согласуемых с законом?

Д о ж

Что же:

О милости к племяннику прошу,
О справедливости к жене; ведь смертью,
Такою смертью, думаю, сквитался
Я с государством.

Бенинтенде

Мы уважим просьбу,
Хотя твоя неслыханна вина!

Д о ж

Неслыханна! Да тысячи владык
В истории злоумышляли *против*
Народа! За свободу же его
Погиб один лишь, и один погибнет.

Бенинтенде

И кто они?

Д о ж

Спартанский царь и дож
Венецианский: Агис и Фальеро!

Бенинтенде

Что хочешь сделать или сказать еще?

Д о ж

Могу ль я говорить?

Бенинтенде

Ты можешь; помни,
Однако, что народ — за воротами
И голос твой к нему не долетит.

Д о ж

Я воззову ко Времени, не к людям,
И к Вечности, уже причастный к ней.
О вы, стихии, в коих растворюсь я,
Пусть голос мой как дух над вами реет;
Ты, синий вал, стремивший флаг мой; ветер,
Любовно им игравший, надувая
Крылатый парус, что летел к победам
Бесчисленным; ты, родина, которой
Дарил я кровь мою, и ты, чужбина,
Что эту кровь из щедрых ран пила;
Вы, плиты, кровь с которых, не всосавшись,
Взойдет горé; ты, небо-восприемник;
Ты, солнце, факел этой казни; ты,
Кто зажигает или гасит солнца!
Глядите! Я — виновен. А они —
Безвинны?! Гибну я; но мненье — будет!
Грядущие века встают из бездны
Явить моим глазам, еще открытым,
Что станет с гордым градом, над которым
Вовек висит проклятие мое!
Да, зреет втайне день, когда ваш город,
Твердыня, отогнавшая Аттилу,
Падет — и подло, без борьбы падет —
Перед Аттилою-ублюдком, меньше
Потратив крови на свою защиту,
Чем эти жилы пролили в боях
И здесь прольют в миг казни. Продадут
Его и купят, и с презреньем на него
Воззрит владелец. Станет он уездом
Империи, ничтожным городком,
С сенатом раболопным, с нищей знатью,
Со сводниками вместо горожан.
Когда еврей в твои дворцы проникнет,
Венеция, и гунн в твои приказы,
И грек на рынки, усмехаясь втайне;
Когда на узких улицах патриций
Заклянчит хлеба, выставляя титул,
Чтоб вызвать жалость к мерзкой нищете,
А кучка тех, кто сохранят обломки
Наследных благ, придет вилить хвостом
Пред варваром-наместником — на месте,
Где их отцы блистали, государи,
Где их отцы казнили государя;
Когда с гербом, что сами запятали,
С прабабкою распутной, что гордилась,
Блудя с плечистым гондольером или
С наемником, — они триумф позора
Сквозь три звена ублюдков пронесут;
Когда их всех, рабов презренно-падших,
Подарит победитель побежденным
И трусы в них двойную трусость презрят,

И сверхпорочный презрит в них пороки,
Чью грязь и мерзость ни единый кодекс
Не нарисует и не назовет;
Когда от Кипра, что теперь подвластен,
Последней данью к дочерям твоим,
Честь позабывшим, отойдет распутство,
Чтоб их разврат в половицу вошел;
Когда весь тлен земель поработанных
В тебя вползет: порок без блеска, грех,
Где нет намек на любовь, но только
Привычный грубый блуд, разврат

бесстрастный

И холодно изученная похоть,
Искусно извратившая природу;
Когда все это ляжет на тебя,
И скучный смех, безрадостные игры,
Без чести юность, без почета старость,
Скорбь, скудость, слабость, с коими в
борьбу

Не вступишь ты, роптать — и то не смея,
Тебя в последний из задворков мира
Преобразят — тогда, сквозь агонию,
Средь всех убийств, *мое* припомни ты!
Ты, логово пьянчуг, что пьяны кровью
Князей! Геенна вод! Содом приморский!
Богам тебя я предаю подземным!
Тебя и род змеиный твой!

(Поворачиваясь к паллу.)

За дело,

Ты, раб! Руби, как я рубил врагов!
Как деспотов рубил бы я! Сильней —
Как проклял я! Руби — одним ударом!

Дождь сам опускается на колени, и когда палач заносит меч,
занавес падает.

СЦЕНА IV

Площадь и плошадка у св. Марна. Толпа народа у
решетчатых ворот доместского дворца; ворота закрыты.

Первый гражданин
Ну, у ворот я!.. Вижу, вижу: «Десять»
В парадных платьях окружили дождя.

Второй

Как ни толкаюсь, не могу пробиться!
Что там? Хотя б услышать что-нибудь,
Когда глядеть нельзя народу, кроме
Тех, кто добрался до самой решетки.

Первый

Один подходит к дождю: вот снимает
Тиару с головы его; а он

Возводит к небу острый взор; я вижу —
Глаза блестят и шевелятся губы.
Тшш!.. Только шопот... Далеко — проклятье!
Не слышно слов, но голос нарастает.
Как дальний гром. Ах, если б разобрать
Хотя бы фразу!

Второй

Тише! Может быть,
Уловим звук.

Первый

Нет, ничего не выйдет,
Не слышу. О как волосы седые
По ветру плещут, будто пена волн!
Вон, вон — пал на колени он, и все
Сомкнулись вокруг, всё скрыли; о, я вижу:
Меч в воздухе сверкнул! Ах, он упал!

Народ рожшет.

Третий

Итак — убит он, несший нам свободу!

Четвертый

С простым народом был всегда он добр!

Пятый

Умны они, что заперли ворота!
Знай мы заране, что готовят,— мы бы
С оружием сюда пришли, взломали б
Решетки!

Шестой

Ты увери, что он мертв?

Первый

Я видел меч упавший. Эй, что это?

На балконе дворца, выходящем на площадь св. Марна,
появляется председатель Совета Десяти с окровавлен-
ным мечом и трижды потрясает им над народом.

Председатель

Возмездие свершилось над великим
Изменником!

Ворота распахиваются; народ устремляется к Лестнице
гигантов, где состоялась казнь; передние кричат отставшим.

Голоса

Скатилась голова
Кровавая по Лестнице гигантов!

Занавес падает.

ДВОЕ ФОСКАРИ

Историческая трагедия

Отец смягчается, но правитель решает.

Шеридан, «Критик».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Франческо Фоскари, дож венецианский.
Джакомо Фоскари, сын дожа.
Джакомо Лоредано, патриций.
Марко Меммо, глава Совета Сорока.

Барбаригго, сенатор.
Другие сенаторы, Совет Десяти, стража, слуги
и пр.
Марина, жена молодого Фоскари.

Место действия: Дворец дожей в Венеции.

АКТ ПЕРВЫЙ

СЦЕНА I

Зал во Дворце дожей.

Входят и встречаются Лоредано и Барбаригго.

Лоредано

Где узник?

Барбаригго

Отдыхает после пытки.

Лоредано

Вчера судом указан час допроса,
И он настал. Идем в Совет — созвать
Участников — и поторопим вызов
Преступника.

Барбаригго

Зачем? Пусть хоть недолго

Истерзанное тело отдохнет.

Он изнемог вчера от пыток; если
Возобновить их, он умрет.

Лоредано

И что ж?

Барбаригго

Не меньше вас люблю я правосудье
И ненавижу Фоскари кичливых,
Отца и сына, — весь их род зловредный,
Но бедный грешник больше снес, чем снес бы
И стоик.

Лоредано

Не сознавшись в преступленьи.

Барбаригго

Да он, возможно, не свершил его.
Хоть герцогу Миланскому писал он,
Как сам признал; но пыткой этот промах
Искуplen.

Лоредано

Поглядим.

Барбариго
Вы, Лоредано,
В семейной злобе далеко идете.

Лоредано
Как далеко?

Барбариго
До истребленья.

Лоредано
Это
Вы скажете, когда искоренят их.
Идем в Совет.

Барбариго
К чему? Не все собрались.
Еще двоих придется подождать.

Лоредано
И дожа — председателя?

Барбариго
О нет;
Он первый, с римской твердостью, приходит
На этот суд несчастный над его
Единственным, последним сыном.

Лоредано
Верно!
Последним!

Барбариго
Вы без сердца!

Лоредано
Дождь взволнован?

Барбариго
Скрывает.

Лоредано
Я заметил... Негодяй!

Барбариго
Вчера старик, слышал я, на пороге
Своих покоев изнемог: упал
Без чувств.

Лоредано
Пробрало!

Барбариго
Вы тому причина
Отчасти.

Лоредано
Быть хотел бы *целиком!*
Моих отца и дяди — нет!

Барбариго
Читал я
Над их могилой надпись: «Жертвы яда».

Лоредано
Дождь как-то заявил, что государем
Не чувствует себя, куда жив
Пиетро Лоредано. Оба брата
Слегли тотчас. И вот он — *государь*.

Барбариго
Несчастный все ж!

Лоредано
И поделом ему,
Творцу сирот!

Барбариго
И вас осиротил он?

Лоредано
Да.

Барбариго
Есть улики?

Лоредано
Тайные деянья
Князей и доказать, и покарать —
Не так легко. Но у меня улики
Такие, что и суд не нужен.

Барбариго
Все ж
Вы по закону действовать хотите?

Лоредано
По всем законам, что оставит он.

Барбариго
Но наш закон скорей, чем в прочих странах,
Везде предоставляет. Правда ль,
Что записали вы в конторской книге
(Сей библии богатой нашей знати):
«Дождь Фоскари — мой дебитор за смерть
Отца и дяди, Марко Лоредано
И Пьетро»?

Лоредано
Записал.

Барбариго
И эту запись
Не вычеркнуть?

Лоредано
Лишь подведя баланс.

Барбариго
Но как?

Двое сенаторов проходят по сцене, направляясь в зал
Совета Десяти.

Л о р е д а н о
Теперь состав Совета полон.
За мною!

(Уходит.)

Б а р б а р и г о
(один)

За тобой! Я слишком долго
Шел за тобой дорогой разрушенья,
Как за волной волна, равно губя
Корабль, трещащий под напором бури,
И бедняка, что в кузове разбитом,
Водою заливаемый, вопит!
Отец и сын могли б смягчить стихию,
А я преследовать их должен! О!
Зачем, как вал, не слеп я, не бесстрастен?
Ведут его! Замолкни, сердце: здесь
Твои враги и, значит, жертвы. Что же
Болезнь за тех, кто сокрушал тебя?

Стража вводит Джакопо Фоскари,

С т р а ж
Пусть отдохнет. Синьор, не торопитесь.

Д ж а к о п о
Спасибо: слаб я... Но тебе влетит.

С т р а ж
Рискну.

Д ж а к о п о
Ты добр. Я жалость в первый раз
Встречаю.

С т р а ж
Может быть, в последний — если
Власть нас увидит.

Б а р б а р и г о
(приближаясь к страже)
Визку — но не бойся:
Ни обвинять не стану, ни судить.
Хоть срок прошел, жди вызова. Поскольку
Я член «Десятки» — ждать спокойно можешь;
С последним зовом вместе мы войдем.
Но наблюдай за узником.

Д ж а к о п о
Чей голос?
Ах, Барбариго! Враг моей семьи,
Один из судей.

Б а р б а р и г о
Чтоб уравновесить
В суде врага (коль враг он), ваш отец
Сидит судьей.

Д ж а к о п о
Да, он судья.

Б а р б а р и г о
И, значит,
Закон наш вовсе не жесток, позволив
Отцу судьейю быть в столь важном деле,
Как безопасность родины.

Д ж а к о п о
И сына...
Мне дурно. Умоляю: подведите
Меня к окошку, воздуху морского
Вдохнуть...

Входит офицер и что-то шепчет Барбариго.

Б а р б а р и г о
Пусть подойдет. Не должен больше
С ним говорить я. Я и так нарушил
Свой долг беседой краткой. А теперь
Меня зовут в Совет.

(Уходит.)
Стража подводит Джакопо к окошку.

С т р а ж
Окно открыто,
Синьор. Ну, как вы?

Д ж а к о п о
Как ребенок! О
Венеция!

С т р а ж
А ваши руки?

Д ж а к о п о
Руки!
Как часто здесь они меня стремили
По глади голубой, когда в гондоле,
В одежде юного гребца, скользил я
Среди моих соперников веселых,
И столь же знатных, на мальчишских гонках
И наслаждался, состязаясь в силе!
А вокруг — толпа красавиц, из народа
И знати, нас подбадривала блеском
Улыбок, пожеланьями, плесканьем
Платков и плеском рук до самой цели!
Как часто, став сильнее и смелее,
Я рассекал рукою гневный вал;
Ладонью влажной стряхивал с волос
Клочки прибоя; с губ сдувал со смехом
Струй поцелуи дерзкие, как пену
Из чаши винной, и, с волной вздымаясь,
Тем больше радовался я, чем выше
Меня кидало; часто, разрезываясь,
Нырля я вглубь, в хрусталь зеленый моря,
Меж раковин и водорослей плыл,
Невидимый, — пока пугались люди;
С находками выныривал потом,

Тем доказав, что дна достиг; ликуя,
Вновь плыл я, волю дав дыханью, долго
Задержанному, вновь клубил волну
И пснуг, вновь стремился вдаль, как птица
Морская! Был я мальчиком тогда...

С т р а ж

И станьте мужем. Мужество теперь
Как никогда вам нужно.

Д ж а к о п о
(*глядя сквозь решетку*)

О родная

Венеция, прекрасная моя!
Дышу я! Ветер твой, адриийский ветер!
Как нежит он лицо мне! В нем — родное
Для жил моих, и он прохладу в жилы
Спокойную вдувает. Не похож он
На знойный вихрь Циклад ужасных, вокруг
Моей тюрьмы Кандийской завывавший,
Мне иссушая сердце!

С т р а ж

Вновь румянец
У вас я вижу. Небо шлет вам силы
Перенести все то, что ждет вас. Мне
Подумать страшно...

Д ж а к о п о

Неужели снова
Меня сошлют? Нет, нет! Пускай терзают.
Я вынесу.

С т р а ж

Признайтесь — и от пытки
Избавят вас.

Д ж а к о п о

Я дважды сознавался
И дважды сослан был.

С т р а ж

А в третий раз
Убьют вас.

Д ж а к о п о

Пусть. Зато и похоронят
В родной земле: быть лучше прахом здесь,
Чем на чужбине жить!

С т р а ж

Возможно ль край тот
Любить, что ненавидит вас?

Д ж а к о п о

Меня
Не край преследует, а дети края;
Земля ж родная, точно мать, в объятья

Меня возьмет. Прошу одно: могилу
В Венеции; пускай тюрьму — но здесь!

Входит офицер.

О ф и ц е р

В суд узника.

С т р а ж

Синьор, приказ!

Д ж а к о п о

Я много
Приказов этих слышал... трижды был я
Подвергнут пытке.

(*Стражу.*)

Дай мне руку.

О ф и ц е р

Вот

Моя, синьор. Я должен быть близ вас.

Д ж а к о п о

Вы! Тот, кто пыткой моей вчерашней
Руководил! Прочь! Я один дойду!

О ф и ц е р

Как вам, синьор, угодно. Ведь не я
Приказы отдаю, и я не смею
Не слушаться, когда Совет велит мне...

Д ж а к о п о

Меня на дыбу вздернуть! Я прошу:
Не прикасайтесь хоть сейчас. Вам скоро
Вновь отдадут приказ, а до тех пор —
Подальше! Гляну лишь на ваши руки —
И корча поистерзанным моим
Проходит, вывихи предошущая,
И пот холодный на висках, как если б...
Идем. Я пытку снес. И вновь снесу.
Как выглядит отец мой?

О ф и ц е р

Как всегда.

Д ж а к о п о

И *все* так: небо, и земля, и море,
Блестящий город наш, его соборы,
Веселость Пьяццы и веселый гомон
Разноязычный, слышный даже здесь,
Где правят неизвестные, где судят
И губят неизвестных, не считая!
Вплоть до отца родного — все обычно!
Нет к Фоскари участия ни в ком,
Кончая Фоскари самим! Идемте.

Джакопо, офицер и прочие уходят.
Входят Меммо и другой сенатор.

М е м м о

Ушли! Мы опоздали... Что, «Десятка»
Сегодня долго будет заседать?

С е н а т о р

Я слышал, подсудимый в показаньях
Своих упорствует. Вот все, что знаю.

М е м м о

И то уж много. Тайны этой залы
Ужасной так же не известны нам,
Патрициям знатнейшим, как и плебсу.

С е н а т о р

Коль не считать обычных слухов, конх
Ни доказать, ни опровергнуть, точно
Тех рассказней о призраках, что бродят
Вокруг руин. Как и о тайнах гроба,
Мы так же мало знаем о делах
Правительства.

М е м м о

Но день за днем мы ближе
К нему. И я надеюсь быть одним
Из «Десяти».

С е н а т о р

А дожем?

М е м м о

Нет! Поскольку
Смогу избежать!

С е н а т о р

Это высший пост.
Его желать — законно, и законно
Его добиться знатным кандидатам.

М е м м о

Пусть их! Я к честолюбию не склонен,
Хоть и патриций. Лучше буду я
В «Десятке» полновластной и сплоченной,
Чем стану позолоченным нулем,
Хотя бы и блистательным. Но кто там?
А! Молодого Фоскари жена.

Входит М а р и н а в сопровождении сл у ж а н и и.

М а р и н а

Как? Пусто? Нет: вон двое. Впрочем, это
Сенаторы.

М е м м о

Почтеннейшая дама,
Приказывайте.

М а р и н а

Я?! Вся жизнь моя
Была мольбой лишь, вечной — и бесплодной!

М е м м о

Я понимаю вас, но не отвечаю.

М а р и н а

(горячо)

Да! Здесь на дыбе только отвечают,
А спрашивают...

М е м м о

(прерывая ее)

Вспомните, синьора,

Где вы!

М а р и н а

У свекра во дворце.

М е м м о

У дождя.

М а р и н а

Да, и в темнице сына дождя, помню!
Не будь других воспоминаний, свежих
И горестных, благодарила б я
Блистательного Меммо за указку
Достоинств этого дворца!

М е м м о

Спокойней!

М а р и н а

(глядя вверх)

О, я спокойна. Но, великий боже,
Как ты спокоен, видя этот мир?!

М е м м о

Супруг ваш будет, может быть, оправдан.

М а р и н а

Уже оправдан — небом. Но не будем,
Синьор сенатор, говорить о нем.
Чинovníк вы; дож — также; сын его
И муж мой — у позорного столба
Вот в этот миг. И оба там они
Лицом к лицу — судья и подсудимый.
Он обвинит его?

М е м м о

Надеюсь, нет.

М а р и н а

А нет, — другие обвинят обоих.

М е м м о

Они способны.

М а р и н а

Воля их и власть
Едины в беззаконье. Муж погиб мой!

М е м м о

О нет: судья в Венеции — закон

М а р и н а
Будь это верно, не существовала б
Венеция! Но пусть живет, лишь только
Не умирали б честные до срока
Природного. «Десятка» же спешит,
И надо подчиняться. О! Крик боли!

Доносится слабый крик.

С е н а т о р
Да!

М е м м о
Это крик...

М а р и н а
Нет, нет, не мужа вовсе
Не Фоскари.

М е м м о
Но голос...

М а р и н а
Не его!
Чтоб он кричал! Нет, нет! Отец, быть может,—
Не он, не он! Умрет он, а не крикнет.

Снова слабый стон.

М е м м о
Опять!

М а р и н а
Да, он как будто! Не могу
Поверить! Но пускай кричит: я все же
Его люблю. Но нет, нет, нет: безумной
Должна быть мука, чтобы крикнул он!

С е н а т о р
Но, так за мужа мучась, как хотите,
Чтоб молча он такую пытку снес?

М а р и н а
У всех нас — пытки. Не бесплодным я
Оставила род Фоскари великий,—
Хотя б убили сына и отца.
Не меньше, чем промучатся они,
Жизнь покидая, мучилась я, детям,
Потомкам их, давая жизнь. Но мне
Отрадны были муки, хоть могли бы
Исторгнуть вопль. Но я молчала: если
Родышь героев, не встречай их стоном.

М е м м о
Теперь все смолкло.

М а р и н а
Может быть, конец —
Но нет: вернее, он собрал все силы,
Презрев убийц.

Торопливо входит о ф и ц е р.

М е м м о
Кого вам, друг?
О ф и ц е р
Врача.
Сознания лишился подсудимый.

(Уходит.)

М е м м о
Синьора, вам уйти бы!
С е н а т о р
(намереваясь сопутствовать ей)

Умоляю,
Пойдемте!

М а р и н а
Прочь! К нему пойду.

М е м м о
Синьора!
Опомнитесь! Туда никто не смеет
Входить, за исключением «Десяти»
И приближенных.

М а р и н а
Знаю! И входящий
Выходит не таким, каким вошел,
Иль вовсе не выходит. Но меня
Не остановишь этим!

М е м м о
Это значит
Себя подвергнуть грубому отпору
И худшей неизвестности!

М а р и н а
Но кто же
Меня не впустит?

М е м м о
Те, кто должен.

М а р и н а
Значит,
Их долг — топтать людские чувства, рвать
Людские связи, с демонами злобой
Соревновать, какие в некий день
Им воздадут многообразьем казней!
Иду.

М е м м о
Нельзя.

М а р и н а
Попробую. Не страшен
Отчаянню деспотизм. В душе
Такая сила, что пройти б могла я
Сквозь строй военный, Мне ль помеха горсть

Тюремщиков? Дорогу мне! Здесь — дожа
Дворец; мой муж — сын дожа, он — *невинный*
Сын дожа! И они услышат это!

М е м м о
Но это лишь судей озлобит.

М а р и н а
Что же
За судьи те, кто поддаются гневу?
Они равны убийцам! Ну, дорогу!
(*Уходит.*)

С е н а т о р
Несчастливая!

М е м м о
Отчаянье само...
Ее и на порог не пустят.

С е н а т о р
Если ж
И пустят — мужа не спасти. Смотрите:
Вновь офицер.
Офицер, в сопровождении другого лица,
проходит по сцене.

М е м м о
Не думал я, что «Десять»
Жалеть способны и помочь позволят
Страдальцу.

С е н а т о р
Я не знаю, есть ли жалость
В том, чтобы в чувство привести беднягу,
Кого от смерти обморок избавил,
Последнее убежище от мук.

М е м м о
Но почему бы сразу не казнить?

С е н а т о р
У них не та политика; ему
Оставят жизнь, раз не боится смерти;
Его сошлют, поскольку целый мир,
Вне родины, ему тюрьма сплошная
И воздуха чужого каждый вздох —
Яд медленный ему и убивает
Бескровно.

М е м м о
Все улики подтверждают
Его вину; но он не сознается.

С е н а т о р
Признал он только, что писал в Милан,
С расчетом, что письмо сюда доставят,
Не герцогу, — и вызовут его
В Венецию.

М е м м о
На суд.

С е н а т о р
И все ж — домой.
Чего и жаждал он, как сам признался.

М е м м о
И взятки подтвердились?

С е н а т о р
Не вполне.
Убийство ж опровергнуто предсмертным
Признанием Эриццо, кто убил
Последнего главу «Десятки».

М е м м о
Что же
Его не оправдают?

С е н а т о р
Их спросите;
Известно всем, что Альморо Донато,
Как я сказал, убит был Николаем
Эриццо, и притом из личной мести.

М е м м о
Нет; в этом странном деле что-то есть,
Помимо оглашенных обвинений.
Вон двое из «Десятки». Удалимся.
Входят Лоредано и Барбариго.

Б а р б а р и г о
(*обращаясь к Лоредано*)
Нет, это слишком; верьте мне, нельзя
Суд продолжать в такой момент.

Л о р е д а н о
И, значит,
Суду прерваться, правосудно смолкнуть
Лишь потому, что баба ворвалась
На заседание?

Б а р б а р и г о
Нет, не потому;
Вы видели, что было с подсудимым.

Л о р е д а н о
Он разве не очнулся?

Б а р б а р и г о
На мгновение —
До новой пытки.

Л о р е д а н о
Но ведь не пытали.

Барбариго
Ворчать не стоит: большинство Совета
Не с вами было.

Лоредано
Как же! Вам спасибо
И дурню дожу: ваши голоса
Мое и провалили предложение.

Барбариго
Хоть я судья, но долг суровый нап —
Вести допрос под пыткой и при ней
Присутствовать — внушает мне желанье...

Лоредано
Чего?

Барбариго
Чтоб вы *порою* ощущали,
То, что всегда меня гнетет.

Лоредано
А, бросьте!
Вы как ребенок в чувствах и решениях!
Вздых вас волнует, всхлип колеблет вас,
Плач размягчает. Вот уж превосходный
Судья! Вот уж сановник, подходящий
К моей политике!

Барбариго
Но он не пролил.
Слезы.

Лоредано
Он дважды вскрикнул.

Барбариго
Тут святой бы,
Венец небесной славы видя, вскрикнул,
Столь утонченно и бесчеловечно
Его терзали. Но пошады он
Не попросил: ни слова не исторгли;
А те два крика были не мольбой
И не преддверьем просьб, а воплем боли.

Лоредано
Он все же что-то бормотал сквозь зубы,
Но нечленораздельно.

Барбариго
Я не слышал;
Вы ближе были.

Лоредано
Я-то слышал.

Барбариго
Все же
Вам стало жаль его, мне показалось;

Вы первый о враче заговорили,
Когда он изнемог.

Лоредано
Я побоялся,
Что он и не очнется.

Барбариго
Но ведь я
Слышал не раз, что смерть отца и сына —
Желанье ваше страстное.

Лоредано
Умри он
Не обвиненным, не признав вины, —
Его б жалели.

Барбариго
Как? Вы и за гробом
Хотите мстить?

Лоредано
А вы хотите, чтобы
Его богатства к детям перешли,
Умри до приговора он?

Барбариго
И детям
Война?

Лоредано
Всему их роду! Всем — покуда
Их или нас не станет!

Барбариго
Так; ни мука
Его жены, смертельно бледной, ни
Конвульсии подавленные старца,
Его отца, на царственном челе
Лишь дрожью легкой плывшие, ни капли
Тяжелых слез, стираемые вмиг
Со строгостью суровой, — вас ничто
Не трогало?

Лоредано уходит.

Как Фоскари в страданье,
Так он безмолвен в ярости. Меня ж
Молчание бедняги взволновало
Сильней, чем мог бы вопль!.. Вот ужас был
Когда жена в отчаянье ворвалась
В судебный зал и увидала то,
Что нам, привычным, трудно было видеть!
Не стоит думать, а не то забуду,
Врагов жалея, прежние обиды
И месть, задуманную Лоредано
За нас обоих, выпущу из рук.
Но буду сыт я меньшим воздаяньем,

Чем жаждет Лоредано,— и его бы
Смягчить я должен ярость. Но сейчас
У Фоскари есть передышка все же
Благодаря вмешательству старейшин
Совета: и жена, ворвавшись в зал,

Их потрясла, и сам страдалец. Вот он:
Ведут! Как слаб он, как измучен! Я
Затравленность его не в силах видеть!
Пойду; смягчу, быть может, Лоредано.
(*Уходит.*)

АКТ ВТОРОЙ

СЦЕНА I

Зал во Дворце дожей.
Дождь и сенатор.

Сенатор

Акт подписать сейчас угодно вам,
Или до завтра отложить?

Дождь

Сейчас;

Его вчера прочел я; остается
Лишь подписать. Перо мне дайте.

(*Дождь садится и подписывает бумагу.*)

Вот.

Сенатор

(*глядя на бумагу*)

Но вы не подписали.

Дождь

Разве? Ах,

Глаза с годами слабы стали, видно...
Я не заметил, что перо — сухое.

Сенатор

(*обмакивая перо в чернила и кладя бумагу перед
дождем*)

У вас, мой дождь, рука дрожит; позвольте...

Дождь

Благодарю, готово.

Сенатор

Утвержденный

Советом Десяти и вами акт
Венеции дарует мир.

Дождь

Давно уж

Не наслаждалась им она. Пускай бы
Он столько ж длился, как война.

Сенатор

Да, тридцать

Четыре года непрерывных войн
С ломбардцами и турками. Стране
Пора передохнуть.

Дождь

Ее нашел я

Царицею морей и оставляю
Владычицей Ломбардии. Приятно,
Что я сумел венец ее украсить
Жемчужинами Брешии и Равенны;
Бергамо вместе с Кремой также наши;
Владения на суше возросли
При мне, а власть над морем не ослабла.

Сенатор

Бесспорно так; и родина должна быть
Вам благодарной...

Дождь

Может быть.

Сенатор

...О чем

И — возвестить.

Дождь

О, я не притязаю.

Сенатор

Простите, дождь мой...

Дождь

Что?

Сенатор

Мне крайне жаль вас...

Дождь

Меня?

Сенатор

И вашего...

Дождь

Ни слова!

Сенатор

Должен

Сказать я! Вам и вашим всем я слишком
Обязан в прошлом и теперь, чтоб кровью
Не обливалось сердце...

Д о ж
В этом ваша
Задача?
С е н а т о р
В чем?
Д о ж
Болтать о том, чего
Не знаете вы? Но — трактат подписан.
В Совет его снесите.

С е н а т о р
Повинуюсь.
Еще мне поручили вас просить
Час указать для нового собрания.

Д о ж
Мне все равно: сейчас или потом;
Как им удобно: я — слуга страны.

С е н а т о р
Они хотели дать вам отдохнуть.

Д о ж
Я отдыхать не стану, если это
У государства хоть бы час отнимет.
Пусть когда угодно соберутся;
Я буду там, где должен, и таким,
Как был всегда.

Сенатор уходит; дож остается в задумчивости.
Входит слуга.

С л у г а
Мой дож!

Д о ж
В чем дело?

С л у г а
Просит
Синьора Фоскари ее принять.

Д о ж
Проси войти.
Слуга уходит.
Несчастная Марина!
Входит М а р и н а.

М а р и н а
Я помешала вам, отец.
Д о ж
Не можешь
Ты мне мешать, дитя, раз я не занят
Делами государства.

М а р и н а
Я хотела
Поговорить о нем.

Д о ж
О муже?
М а р и н а
Да,
О вашем сыне.

Д о ж
Слушаю, дитя.
М а р и н а
Советом не дано ль мне разрешение
Побыть при муже несколько часов?

Д о ж
Дано.

М а р и н а
И отнято.

Д о ж
Но кем?

М а р и н а
Советом.
Когда мы к Мосту вздохов подошли
И я хотела следовать за мужем,
Угрюмый страж меня остановил;
В Совет послали; так как заседанье
Закончилось, а разрешение было
Словесное, меня прогнали прочь,
Сказав, что до второго заседанья
Должны быть между мной и мужем стены
Тюрьмы.

Д о ж
Да, верно; расходясь поспешно,
Формальность эту упустили судьи,
И вряд ли раньше ты получишь пропуск,
Чем вновь они сойдутся.

М а р и н а
А тогда
Начнется снова мука! И должны мы
Возобновленьем пытки покупать
Свидание меж мужем и женой,
Чью связь благословил господь! О боже!
Ты видишь ли?

Д о ж
Дитя, дитя...

М а р и н а
(резко)
Не смейте
Так звать меня! У вас не будет скоро
Детей; вы недостойны их, — бесстрастно
О сыне говорящий, над которым
Спартанец бы заплакал кровью! В Спарте
Не плакали над павшими в бою;

Но сказано ль, что там глядели только
На медленную казнь детей — и руку
Спасенья не протягивали им?

Д о ж

Я плакал бы, будь в силах плакать. Если б
Мой каждый волос юной жизнью был,
И шапка дожа мировой короной,
И перстень дожа, знак венчанья с морем,
Всевластным талисманом — все б я отдал,
Спасая сына.

М а р и н а

Да ведь надо меньше.

Д о ж

Ну, видно, ты Венеции не знаешь,
Как, впрочем, все да и она сама:
Все тайна в ней. Пойми: кто губит сына,
Тот и отцу желает смерти. Если
Паду я, сын мой не спасется. Цель
У них одна, хотя пути различны;
И эта цель... но — далеко еще!

М а р и н а

Сломили вас.

Д о ж

Нет, не совсем: я — жив.

М а р и н а

А долго ль сын ваш будет жив?

Д о ж

Немало,

Что б ни было сейчас, да и надеюсь —
Счастливей, чем отец. Безумный мальчик!
Он, в женском нетерпении вернуться,
Все погубил задержанным письмом!
Большое преступление — какого
Не извинить ни дожу, ни отцу.
Помедли он еще в Кандийской ссылке,
Я б мог... но он разрушил все надежды!
Его вернут.

М а р и н а

В изгнаешь?

Д о ж

Да, конечно.

М а р и н а

И я с ним буду?

Д о ж

Но твою ведь просьбу

Об этом дважды отклонял Совет,
И вряд ли третью он теперь уважит,
Когда твой муж свою вину удвоил
И тем удвоил строгость у судей.

М а р и н а

Их строгость? Их свирепость! Шайка старых,
Одной ногой в гробу стоящих бесов,
Седых и лысых, с дряблыми руками,
С потухшим взором, чуждым слез, помимо
Слез дряхлости, — чья голова трясется,
А сердце — камень, — и они, в интригах,
Вершат судьбу людей, как будто жизнь
Не более, чем мертвые их чувства
В их проклятой груди!

Д о ж

Но ты не знаешь...

М а р и н а

Нет, знаю, знаю! Знаете и вы,
Что это — бесы! Разве могут люди,
Что материнским молоком питались,
Любили или думали, что любят,
Вступали в брак, детей качали, плача
При их болезнях и смертях, и были
Людьми, или казались, — разве могут
Творить все это с вашими родными
И с вами, кто поддерживает их?

Д о ж

Тебя простить я должен: ты не знаешь,
Что говоришь.

М а р и н а

Вы — знаете, но только
Не чувствуете.

Д о ж

Вынес я довольно;
Слова меня не трогают.

М а р и н а

Еще бы!

Кровь сына созерцали вы без дрожи,
Так что вам женские слова? Не больше,
Чем слезы.

Д о ж

Женщина! Взрыв этой скорби
Ничто в сравненье... Бедная Марина!
Мне жаль тебя.

М а р и н а

Вы сына покалейте,
А не меня. Что жалость *ваша*? Сердцу
Ведь это слово чуждо; как же с губ
Оно слетело?

Д о ж

Я стерплю укоры
Неправые. Когда бы ты прочла...

М а р и н а

Где? На лице, в глазах, в поступках? Где я
Должна твое сочувствие увидеть?

Д о ж

(показывая вниз)

Там.

М а р и н а

Где, в земле?

Д о ж

Да, там, куда стремлюсь я.

Когда земля, хоть с мраморной плитой,
Придавит грудь мне (это будет легче
Всех дум моих), тогда поймешь меня.

М а р и н а

И пожалею?

Д о ж

Сожаленье! Этим

Презренным словом, под которым люди
Ликующее торжество таят,
Никто пятнать мое не смеет имя:
Оно, покуда я его ношу,
Останется таким, как было прежде.

М а р и н а

Но без детей несчастных, чье спасенье
Вне воли иль возможности твоей.
Тобою пресечется род.

Д о ж

О, если б!..

И лучше б сыну не рождаться вовсе —
Для нас обоих. Род наш опозорен.

М а р и н а

Ложь! Нету сердца чище, благородней,
Верней, к любви способней, чем его, —
И не было! Пусть гонят, травят, мучат,
Гнетут — не опозорен он, не сломлен,
И, мертвого, живого ли, его
Я не сменю на князя, на героя
Легенд и хроник, хоть бы мир ему
Подвластен был!.. Он опозорен! Он!
Венция — вот, вот кто опозорен!
Знай это, дож! Ее позор тягчайший —
В его терзаннях, не в делах его!
Изменники и деспоты — вы все!
Люби вы родину, как ваша жертва,
Пошедшая в цепях на муку, чтобы
Прервать изгнание, — вы бы в прах упали
Пред ним, моля простить вам страшный грех!

Д о ж

Он вправду был таким. Я вынес легче
Кончину двух других моих детей,
Отъятых небом, чем позор Джакопо.

М а р и н а

Вновь это слово!

Д о ж

Он ведь осужден?

М а р и н а

Но ведь безвинно?

Д о ж

Я надеюсь, время

Сотрет пятно. Был гордостью моею
Мой сын... но поздно!.. Плакал я от счастья,
Когда родился он; но эти слезы
Беду вещали...

М а р и н а

Не повинен он;

Ну, будь не так, ужель родная кровь
Должна от нас бежать в минуты бед?

Д о ж

Я не бежал. Но я отец — и дож;
Мой долг с меня республика не снимет;
Об этом дважды я просил — отказ!
Смиряюсь...

Входит слуга.

С л у г а

Вам посланье от Совета.

Д о ж

С кем?

С л у г а

С благородным Лоредано.

Д о ж

С ним!..

Проси.

Слуга уходит.

М а р и н а

Уйти мне?

Д о ж

Может быть, не нужно,
Коль речь о муже. Если ж нет...

Входит Лоредано.

Я к вашим,

Синьор, услугам.

Л о р е д а н о

Я от «Десяти».

Д о ж

Прекрасный выбор.

Л о р е д а н о
 Это — *их* был выбор
 Меня послать.

Д о ж
 Их мудрость и учтивость
 Равно достойны похвалы. Итак?

Л о р е д а н о
 Решили мы...

Д о ж
 «Мы»?

Л о р е д а н о
 «Десять» — в полном сборе.

Д о ж
 Как? Вы опять собрались? Без меня?

Л о р е д а н о
 Совет падит и возраст ваш и чувства.

Д о ж
 О, это новость! Так ведь не бывало.
 Благодарю!

Л о р е д а н о
 Вам хорошо известно,
 Что «Десять» вправе собираться — с дождем
 Или без дожа.

Д о ж
 Да, давно известно,
 Когда еще мне быть не снилось дождем;
 Меня, синьор, вы не учите: я
 В Совете был, когда юнцом вы были.

Л о р е д а н о
 Да, мой отец еще был жив тогда;
 И он, и дядя-адмирал об этом
 Мне говорили. Ваша светлость помнит
 Обоих... Оба умерли внезапно.

Д о ж
 Да, если это было так... но лучше
 Так умереть, чем длить в страданиях жизнь.

Л о р е д а н о
 О да; но люди склонны жизнь дожить.

Д о ж
 А им не удалось?

Л о р е д а н о
 Об этом больше
 Могила знает. Смерть была *внезапной*,
 Как я сказал.

Д о ж
 А это разве странно,
 Что вы так напираете на слово?

Л о р е д а н о
 Совсем не странно. Смерть была вдвойне
 Естественной, я думаю. А вы?

Д о ж
 Что мне о смертных думать?

Л о р е д а н о
 Что у смертных —
 Смертельные враги.

Д о ж
 Я понял вас.
 Моими — были ваш отец и дядя,
 И вы — вполне наследник их.

Л о р е д а н о
 Об этом
 Вам лучше знать.

Д о ж
 Конечно. Ваш отец
 И дядя были мне врагами. Гнусный
 Я слышал слух; читал на их гробнице
 Слова о яде; надписи над гробом
 Нередко лгут, и эта лжет.

Л о р е д а н о
 Кто смеет
 Так говорить?

Д о ж
 Я! Был отец ваш, правда,
 Мне враг (лютей, чем быть способен сын),
 И я — ему; но я был враг открытый:
 Ни заговоров, ни интриг в Совете
 Не применял я и тайком на жизнь
 Не посягал — ни ядом, ни кинжалом.
 Тому порукой то, что вы — в живых.

Л о р е д а н о
 Я не боюсь.

Д о ж
 И нет причин. Но будь я
 Не тем, что есть, а тем, кого во мне
 Вы видите, давно б вы не могли
 Бояться... Злобствуйте; мне безразлично.

Л о р е д а н о
 Я не слыхал, чтоб недовольство дожа
 Патрицию грозило смертью — в рамках
 Закона, разумеется.

Д о ж
 Но я —
 Побольше дожа (или был побольше)
 По крови, по характеру, по средствам.
 Об этом знают все, кого страшило

Мое избранье, кто потом хотел бы
Меня низвергнуть. Верьте: если б я
Вам придавал такую цену, чтобы
Исчезновенья вашего желать,—
Сказки я слово, вмиг нашлись бы люди,
Чтоб мигом вас убрать. Но я всегда
Строжайше чтит легальность, и не только
Закон, которым вы (один из многих)
Меня теснили,— что нетрудно было б
Преодолеть мне, будь я склонен спорить.—
Я чтит, как чтит священник своей алтарь,
Декреты, силу, славу, процветанье
Республики, всем жертвуя — покоем,
Здоровьем, безопасностью и кровью,
Всем, кроме чести. Но вернемся к делу,
Синьор.

Л о р е д а н о

Совет решил не продолжать
Допроса и суда, поскольку с пыткой
Растет у подсудимого упорство
(Хотя закон предписывает пытку
До полного признанья, но Совет
Достаточным считает и признанье
Письма в Милан), и Фоскари Джакопо
Вновь отослать в изгнанье на галере,
Его сюда привезшей.

М а р и н а

Слава богу!

Его хотя бы не потащут снова
В ужасный этот суд! О, если б муж мой
Со мной признал, что нет судьбы счастливей
Не только для него, но и для всех —
Отсюда выбраться.

Д о ж

Слова такие

Венецианке неприличны.

М а р и н а

Верно:

В них — *человеческое* чувство! Мне
Позволят разделить его изгнанье?

Л о р е д а н о

Совет об этом умолчал.

М а р и н а

Еще бы!

Столь мягким быть! Но и запрета нет?

Л о р е д а н о

О нем не говорилось.

М а р и н а

Эту милость

Мне, значит, вы испросите, отец?

(К Лоредано.)

И вы, синьор, содействуете просьбе
Моей — поехать с мужем?

Д о ж

Попытаюсь.

М а р и н а

А вы, синьор?

Л о р е д а н о

Синьора, все зависит
От доброй воли «Десяти».

М а р и н а

От «добрый»!
Удачное словцо для тех решений...

Д о ж

Дочь! Помни, где ты!

М а р и н а

Где? Пред государем

И подданным.

Л о р е д а н о

Что? Подданным?

М а р и н а

О! Вот как

Задело вас! По-вашему, вы — равный
Ему? О нет, будь он крестьянин даже!
Вы — князь, патриций; что же я тогда?

Л о р е д а н о

Патрицианка.

М а р и н а

И жена такого ж

Патриция. Что ж помешает мне
Свободно говорить?

Л о р е д а н о

Почтенье к судьям
Супруга вашего.

Д о ж

И уваженье

К любым словам властей венецианских.

М а р и н а

Оставьте эти догмы вашим робким
Ремесленникам и купцам, далматским
И греческим рабам, немым мещанам,
Двуличной знати, сбирам и шпионам,
Галерникам и всем другим, кому
Полночные убийства, потопленья,
Темницы ваши под дворцовой крышей
Или в подвалах тайные собранья
И приговоры тайные и казни
Внезапные, ваш «Мостик вздохов», ваши

Удушливые камеры и дыбы
Рисуют вас людьми иного мира —
И худшего! Для них вы берегите
Уставы ваши. Я — вас не боюсь!
Я знаю вас; мне всю свирепость вашу
Процесс над бедным мужем показал!
И можете меня терзать, а впрочем,—
Уже терзали, мучая его.
Мне ль вас бояться, будь я даже робкой,
Чего, конечно, нет?

Д о ж

Она безумна!

М а р и н а

Нет! Только безрассудна, не безумна.

Л о р е д а н о

Синьора! Вашу речь лишь до порога
Снесу я, помня только то, что было
По делу службы между мной и дожем.
Что отвечать прикажете, мой дож?

Д о ж

И за отца отвечу и за дожа...

Л о р е д а н о

Сюда я прислан к дожу.

Д о ж

Передайте,

Что своего пришлет посланца дож
Иль сам прибудет. А отец...

Л о р е д а н о

Я помню
Лишь моего. Прощайте. У синьоры
Блестательной целую руку. Дожу —
Почтительный поклон.

(Уходит.)

М а р и н а

Что ж, вы довольны?

Д о ж

Я — то, что видишь.

М а р и н а

То есть — тайна.

Д о ж

Людам

Все тайна. Кто способен мир постичь,
Коль не творец его? А горстка тех
Умов глубоких, долго изучавших
Презреннейшую книгу — человека, —
Ее кроваво-черные страницы,
И ум его, и сердце, — те постигли
Лишь магию, которая разит
Своих адептов. Все грехи людские

Суть наши. Наши блага — дар фортуны;
Здоровье, знатность, красота, богатство —
Случайность. И, кляня судьбу, не должно
Нам забывать, что отнято у нас
Лишь то, что нам подарено. А наше
Добро — лишь нагота, тщеславье, жадность,
Наследие, с каким бороться надо!..
Его в народе меньше — там, где голод
Нуждою низкой душил всех, — и этот
Закон исконный, что за скудный хлеб
Обильным потом платишь, умиряет
Все страсти, кроме страха околець.
Все низко, лживо, ложно; все — лишь прах,
От княжьей чаши до гончарной миски.
Вся наша слава — человеческий выдох,
А жизнь — того ничтожней; счет ей — дни,
А им — недели; все существование —
Игра чего-то, что вне нас! И все мы,
От высшего до низшего, рабы;
Бесплодна воля наша и зависит
Равно от стебелька и от грозы;
Мы мним себя вождями — нас ведут,
И прямо в смерть, которая приходит
Без нашей воли. так же, как рождение;
Приходит мысль, что в некоем древнем мире
Грешили мы и здесь — наш ад; но, к счастью
Не вечен он.

М а р и н а

Мы на земле не можем
Судить об этом.

Д о ж

Как же мы, земные,
Друг друга судим? Как я призван стать
Судьею сына? Да, моей страной
Я честно правил и победоносно:
В мое правление вдвое возросли
Ее пределы — поглядеть на карту.
В награду же Венеция готова
Меня осиротить.

М а р и н а

Ну, а Джакомо?
Я все прошу, лишь бы остаться с ним.

Д о ж

Останешься; они тебе не могут
В том отказать.

М а р и н а

А если и откажут,
С ним убегу я.

Д о ж

Это невозможно;
Да и куда?

М а р и н а

Не знаю; все равно —
В Египет, к туркам, в Сирию — туда.
Где мы дышать могли бы не в оковах,
Жить не в кольце шпионов, не под властью
Палаческих указов.

Д о ж

Как! Ты хочешь
Из мужа сделать ренегата? сделать
Изменника?

М а р и н а

Не он, а государство,
Гонящее своих сынов честнейших. —
Вот кто изменник. Тирания хуже
Любой измены. Подданный ли только
Бунтует? Нерадивый князь, который
Доверье рушит, — более разбойник,
Чем предводитель шайки.

Д о ж

Я не вижу,
Чтоб я доверье рушил.

М а р и н а

Нет; но ты
Блюдешь закон, в сравнении с которым
Драконов кодекс милосердным был.

Д о ж

Но я не создал, я нашел закон.
Как подданный, я многое желал бы
В нем изменить; как дож, я никогда
Не изменю, хотя б для блага близких,
Закон отцов!

М а р и н а

А разве он их внукам
На гибель создан?

Д о ж

Но с законом этим
Возвысилась Венеция, сравнялась
Деяньями, живучестью, влияньем
И даже славой (ибо римский дух
Был нами явлен) с Римом, с Карфагеном
В их годы лучшие, когда народ
В лице сената правил.

М а р и н а

А вернее —
Стонал под игом олигархов.

Д о ж

Пусть;
Но покорил весь мир. В таких державах
Отдельный человек, — будь он богатым

И знатным или бедняком, — ничто,
Коль надо проводить неотвратимо
Политику великих целей.

М а р и н а

Значит,
Вы — дож, а не отец.

Д о ж

Я — гражданин.
Не будь у нас в прошедшем (и, надеюсь,
В грядущем) граждан моего закала,
Венеция бы градом не была.

М а р и н а

Будь проклят град, где все живое душат
Законы!

Д о ж

Если б столько, сколько лет мне,
Имел я сыновей, я всех бы отдал,
Хоть с горестью, республике — служить ей.
На суше и на море иль пойти
(Что может быть и что, увы, случилось)
В изгнание, в темницу иль на казнь
И все стерпеть, что повелеть изволит.

М а р и н а

И это есть патриотизм? Но я
Считаю это варварством грубейшим.
Позвольте мне свиданье с мужем. «Десять»,
Мудрейшие и бдительные, вряд ли
Бороться с бедной женщиною станут,
Ей запретив зайти на миг в тюрьму.

Д о ж

Я это на себя беру; отдам приказ,
Чтобы тебя впустили.

М а р и н а

Что сказать
От имени отца должна я сыну?

Д о ж

Чтоб он законам покорился.

М а р и н а

Только?
И с ним вы не увидите пред ссылкой?
Ведь это, может быть, в последний раз.

Д о ж

В последний раз! Мой мальчик, мой последний!
Тебя еще увижу я! Скажи,
Что я приду.

Уходят.

АКТ ТРЕТИЙ

СЦЕНА I

Темница. Джакомо Фоскари.

Джакомо
(один)

Нет света; бледный отблеск на стенах,
Чье эхо знало только звуки скорби:
Плач узничества долгого, шаги
С железным звоном, смертные стенанья,
Проклятия отчаянья. За этим
На родину вернулся я, с надеждой,
Хоть слабою, что время, даже мрамор
Грызущее, изгнало из сердец
Их ненависть! Но я не знал людей;
И вот — мое изнемогает сердце,
Что билось за Венецию мою
С тоской голубки по гнезду, когда
Она взвивается высоко в воздух,
Летя назад к нагим птенцам. Какие
Тут буквы на стенах неумолимых?

(Подходит к стене.)

Смогу ль их разглядеть? Ах! Имена
Несчастных, до меня здесь бывших; даты
Мученья их; короткие слова
О долгом горе. Каменной страницей
Сохранена их повесть. Бедный узник
Рассказ чертил свой на стене тюремной,
Как на коре любовник чертит имя
Подруги, со своим его сплетя.
Увы! Имен знакомых здесь немало,
Погибших, как мое! Прибавлю имя:
Оно подходит к летописи грустной,
Которую страдалцы лишь прочтут.

(Нацарапывает свое имя.)

Входит служитель «Десяти».

Служитель

Вот вам сада.

Джакомо

Прошу, поставьте на пол.
Есть не хочу, но сохнут губы. Есть ли
Вода?

Служитель

А вот.

Джакомо

(выпив воды)

Спасибо. Лучше мне.

Служитель

Мне велено сказать вам, что дальнейший
Допрос отложен.

Джакомо

Надолго?

Служитель

Не знаю.

Приказано мне также допустить
Сюда супругу вашу.

Джакомо

Ах, так, значит,
Они смягчились! Я уже надежду
Утратил. Что ж, пора!

Входит Марина.

Марина

О мой любимый!

Джакомо

(обнимая ее)

Жена! Мой друг единственный! О, счастье!

Марина

Мы больше не расстанемся.

Джакомо

Как! Разве
Со мной тюрьму ты хочешь разделить?

Марина

Все! Пытку, гроб — но лишь с тобой! Могилу
Всего поздней, конечно: там друг друга
Мы знать не будем. Все, лишь не разлука:
Я первую едва пережила!
Ну, как ты? Как истерзанные руки?
Увы! что спрашивать! Ты бледен...

Джакомо

Это

От радости увидеть вновь тебя
И так неожиданно: кровь рванулась к сердцу,
И щеки стали, как твои: ты тоже
Бледна, моя Марина!

Марина

Это сумрак
Темницы этой вечной, никогда
Не знавшей солнца; это тусклый факел
Служителя, дающий больше мрака,
Чем света, в испарения тюрьмы
Вливая дым смолистый, застывая
Все, даже взор твой. Нет: сверкает он.
Ах, как сверкает!

Д ж а к о п о

Да и твой! Но факел
Слепит меня.

М а р и н а

А мрак меня. Как мог ты
Здесь видеть что-нибудь?

Д ж а к о п о

Я ничего
Сперва не видел; время и привычка
Меня потом сдружили с темнотою,
И серый сумрак, проползая в щели,
Проточенные ветром, был отрадней
Моим глазам, чем гордый блеск полудня,
Снявшего над башнями чужими,
А не венецианскими... За миг
До твоего прихода я писал.

М а р и н а

Что?

Д ж а к о п о

Собственное имя. Вот: в соседстве
С другим, того, кто был передо мной,
Коль записи тюремные правдивы.

М а р и н а

А что с ним стало?

Д ж а к о п о

Эти стены прочно
Хранят молчанье о людских концах,
Лишь намекают смутно. Эти стены
Суровые построены для мертвых
Иль обреченных. «Что с ним?» — ты спросила.
И то же скоро спросят обо мне,
В ответ услышав страшные догадки,
Коль не расскажешь *ты*.

М а р и н а

Я? О тебе?!

Д ж а к о п о

А что жс? Обо мне заговорят!
Не вечно длится деспотизм безмолвья,
И, как ни прячь, пробьются стоны жертвы
Сквозь пелены хотя б живых гробов!
Я не за память, а за жизнь боюсь —
И все.

М а р и н а

Ничто не угрожает жизни.

Д ж а к о п о

Ну, а свободс?

М а р и н а

Духом будь свободен.

Д ж а к о п о

Высокие слова! Но лишь слова;
Волнующий аккорд, но мимолежный;
Дух — много, но не все. Он дал мне силу
И смерти не бояться, и сквозь пытку
(Ужасней смерти, если смерть есть сон)
Пройти без жалоб — или с криком, стыдным
Не для меня, а для судей моих.
Но дух — не все: есть вещи пострашнее...
Хоть эта келья тесная, где годы
Я проживу!..

М а р и н а

Увы! И эта келья —
Одно твое владенье средь владений,
Чей государь — отец твой.

Д ж а к о п о

Эта мысль
Едва ль мне облегчит мою темницу.
Мой рок обычен: заключенных много,
Но не вблизи отцовского дворца!..
А все ж не слаб я сердцем, и надежда
В меня wpłyвает с пыльными лучами,
Несущими единственный наш свет.
Они, да факел сторожа, да странный
Светляк, упавший как-то прошлой ночью
В ту паутину страшную, — вот все,
Что мне светило здесь. Увы! Я знаю,
Как дух поддерживает нас: я это
Сам доказал; но поникает он
От одиночества. Моя душа
Стремится к людям.

М а р и н а

Я с тобою буду.

Д ж а к о п о

Ах, если б так! Но на такую милость
Они не шли и не пойдут. Один я
Останусь; ни людей, ни даже книг —
Подобий ложных лживой жизни. Я
Просил мне дать хотя бы те клочки,
Что носят имя хроник и анналов,
Что люди завешают как портреты, —
Отказ! И мне лишь стены изучать,
В чьих пятнах и щербинах больше правды
О подлинной Венеции, чем в зале
(Здесь по соседству), где висят портреты
Несчетных дождей с перечнем их дел.

М а р и н а

К тебе пришла я сообщить решение
Совета о твоей судьбе.

Д ж а к о п о
Оно

Известно мне: гляди!
(Показывает свои руки, как бы напоминая о перенесенной пытке.)

М а р и н а
Нет, нет! не это.
Не будет больше зверства.

Д ж а к о п о
Что же будет?

М а р и н а
На Кандию вернешься.

Д ж а к о п о
Значит, гибнет
Последняя надежда. Я бы вынес
Тюрьму — но здесь, в Венеции; стерпел бы
И пытку, ибо в воздухе родном
Есть нечто, подымающее дух,
Как бы корабль, что с бурей спорит, гордо
На гребни волн взлетая и плывя
Своим путем. Но там, вдали, на этом
Проклятом острове, среди неверных,
Рабов и пленных, дух обломком судна
На части распадался. Возвратясь
Я медленную смертью там погибну.

М а р и н а
А здесь?

Д ж а к о п о
Здесь — быстро; так или так, по быстро...
Ужель меня лишат гробницы отчей,
Как дома и наследства?

М а р и н а
Муж мой! Мне
С тобою вместе разрешили ехать,
И я полна надежд. Любовь твоя
К стране неблагодарной и тиранской —
Лишь страсть, а не патриотизм. А я,
Будь ты спокоен и дыши свободно,
Не стану придираяться к недостаткам
Земель и стран. Скопление дворцов
И тюрем наших тоже ведь не рай,
И жалкими изгнанниками предки
Сюда бежали.

Д ж а к о п о
Жалкими! О да!

М а р и н а
Ты знаешь также, что, от гуннов скрывшись
На топких островах, явив свой древний
И гордый дух — все, что осталось им
От Рима, — Рим они воздвигли снова,

Морской! И если может привести
Беда к добру — зачем твоё унынье?

Д ж а к о п о
Покинь я родину, как патриархи,
Ища другой отчизны и гоня
Свои стада, будь изгнан из Сиона,
Как иудей, или как наши предки
Из радостной Италии на эти
Пустые островки, я бы оплакал
Родимый край и думал бы о нем,
Но и призвал бы всех, кто был со мною,
Себе вторую родину создать.
Тут я изгнание спес бы, но — не знаю...

М а р и н а
А почему же нет? Удел такой
Мильонам выпал, и судьба такая
Ждет мириады.

Д ж а к о п о
Да, но мы слышали
О подвигах и о труде лишь тех,
Кто *выжили* в чужом краю. Но кто
Сочтет сердца, погибшие безгласно
Во время или после бегства? Жертвы
Болезни той, что воспаленным взорам
Изгнанника несчастного рисует
Морскую глубь травой лугов родных
Так ясно, что едва сдержать он может
Желание пройти по тем лугам?
Той музыки, чьи звуки и напевы
Так вскармливают черную печаль
Тоскующего горца, кто лишен
Родимых туч и скал в покрове снежном,
Что он глотает сладкий яд мечты
И гибнет... Это — слабость? Это — сила,
Я говорю, сестра всех чистых чувств!
Кто родины не любит, ничего
Не любит он.

М а р и н а
Так повинуйся ей!
Она ж тебя ссыласт.

Д ж а к о п о
Да! и это
Лежит на мне проклятьем материнским.
Изгнанники твои переселялись
Народами — рука в руке; в пути
Шатры их были рядом. Я — один.

М а р и н а
Теперь со мною будешь ты.

Д ж а к о п о
Любимая! А дети?

Марина!

М а р и н а

Я боюсь,
Что гнусная политика властей
(Для них любые узы — только нити,
Что можно оборвать по усмотренью)
Детей нам не позволит взять.

Д ж а к о п о

А сможешь
Ты их оставить?

М а р и н а

Да. С большою мукой,
Но я *смогу* оставить их, детей,
Чтобы тебя учить не быть ребенком.
Умей, как я, смирять любые чувства
Пред высшим долгом. На земле должны мы
Уметь страдать.

Д ж а к о п о

Я не страдал?

М а р и н а

О, слишком:
От злой несправедливости, и в досталь,
Чтоб научиться не бежать судьбы,
Которая в сравненье с тем, что было,
Есть милость.

Д ж а к о п о

Ах! Ты, вижу, никогда
Венеции родной не покидала;
Не видела, как в даялах тают башни
Ее прекрасные, покуда киль
Не глубь морскую бороздит, а сердце;
Тебе не рдел над кровлями родными
Закат, столь тихий в пурпуре и славе,
И, пробудясь от этих грез тревожных,
Ты не осознала: это сон!

М а р и н а

Я это разделю с тобой. Теперь же
Подумаем, как нам покинуть этот
Многолюбимый град (в который ты
Влюблен как будто) и чертог роскошный,
Которым награжден ты. Наших деток
Поручим дождю и моим дядьям.
Должны до ночи мы отплыть.

Д ж а к о п о

Так скоро!
С отцом я повидаюсь?

М а р и н а

Да.

Д ж а к о п о

А где?

М а р и н а

Здесь иль в его покоях — я не знаю.
О, если б ты сносил твое изгнанье,
Как он — беду!

Д ж а к о п о

Не порицай его.
Я сам порой роптал, но он иначе
Не мог. Малейший знак его участия
Навлек бы подозренье «Десяти»
На голову его седую, мне же
Прибавил бы терзаний.

М а р и н а

Что? Прибавил?
Каких же мук ты был лишен?

Д ж а к о п о

Могли
Услать меня, не дав с тобою встречи
Или с отцом, как было в прошлый раз,
Когда меня изгнали.

М а р и н а

Это правда.
И, значит, я — должница государства,
Вдовине должница, если мы вдвоем
Помчимся по волнам свободным — дальше,
Все дальше, хоть на край земли, — оставив
Проклятый, злобный и...

Д ж а к о п о

Не проклинай!
Коль я молчу, кто смеет клясть мой город?

М а р и н а

Кто? Ангелы и люди! Кровь миллионов
Курящаяся! Стои рабов в цепях
И узников! Родители и дети,
И вдовы и сироты! Весь народ,
Подвластный десяти плешивым старцам!
И, наконец, твое *молчанье*! Если
Нет слова у тебя в его защиту,
Кто станет восхвалять его, как ты?

Д ж а к о п о

Давай готовиться к отъезду, если
Так надо. Кто там?

Входит Лоредано в сопровождении саужителеей

Л о р е д а н о

(служителям)

Можете итти,
Но факелы оставьте здесь.
Оба служителя уходят.

Д ж а к о п о

Привет
Синьору благородному. Не ждал я
Вас видеть в этом бедном помещенье.

Л о р е д а н о

Я здесь не в первый раз.

М а р и н а

В последний были б,
Коль по делам бы воздавалось людям.
Зачем вы здесь? Нас оскорблять? Шпионить?
Иль стать заложником?

Л о р е д а н о

Ни то, ни то,
Синьора. Вашему супругу должен
Я объявить решение «Десяти».

М а р и н а

Любезность эта запоздала. Муж
Решенье знает.

Л о р е д а н о

Как?

М а р и н а

Я сообщила
(Не с тонкостью, присущей вашим чувствам)
Ему о снисходительности ваших
Товарищей. Он знает. Если вы
Пришли за благодарностью, примите
И — прочь! Темница и без вас мрачна,
И гадов хватит в ней, таких же мерзких,
Хоть менее опасных.

Д ж а к о п о

Успокойся!

К чему слова такие?

М а р и н а

Пусть поймет,
Что понят он.

Л о р е д а н о

Как женщина, синьора
Все вправе говорить.

М а р и н а

Я сыновей,
Синьор, имею, и они получше
Вас отблагодарят.

Л о р е д а н о

Желаю вам
Их мудро воспитать. Итак, решение
Вам, Фоскари, известно?

Д ж а к о п о

Возвратиться

На Кандию?

Л о р е д а н о
Навеки.

Д ж а к о п о

Срок недолгий.

Л о р е д а н о

Навеки — я сказал.

Д ж а к о п о

Я повторяю:
Недолгий срок.

Л о р е д а н о

Тюрьма в Кансе на год,
Потом, в пределах острова, свобода.

Д ж а к о п о

Свобода эта для меня равна
Тюрьме начальной. Верно, что жене
Разрешено со мной уехать?

Л о р е д а н о

Верно,
Коль хочет.

М а р и н а

Кто ж добыл нам эту милость?

Л о р е д а н о

Кто не воюет с женщинами.

М а р и н а

Муча
Мужчин. Но все ж я шлю ему спасибо
За дар — единственный, какой могу
Принять я от него и от подобных.

Л о р е д а н о

Он с тем же чувством примет благодарность

М а р и н а

И пусть она ему послужит столько ж —
Не больше!

Д ж а к о п о

Вы закончили, синьор?
Нам некогда; присутствие же ваше,
Вы видите, синьору беспокоит,
По знатности вам равную.

М а р и н а

Нет, выше.

Л о р е д а н о

Как выше?

М а р и н а

Просто: род мой — благородней!
Ведь выраженье «благородный конь»
О чистой крови говорит; поскольку
В Венеции лишь бронзовые кони,
Об этом я узнала от сограждан,
В Аравии бывавших и в Египте;
Не то же ль «благородный человек»?
Не древностью оценивают род,
А качествами. Род мой не моложе,
Чем ваш, но лучше по своим плодам.
Не хмурьтесь, а ступайте поглядеть
На генеалогическое древо
С его листовой и сочными плодами
И покраснейте, предков там найдя,
Что покраснели б за такого внука,
Холодного и лютого злеца!

Д ж а к о п о

Марина! Вновь!

М а р и н а

Да, вновь! *Всегда* Марина!
Ведь он пришел полакомиться видом
Несчастий наших, злобу теща. Пусть
Он их разделит!

Д ж а к о п о

Это очень трудно.

М а р и н а

Легко! Уже он разделяет их.
Пусть лоб его как мрамор, пусть усмешкой
Кривятся губы — муку терпит он!
Служитель сатаны боится правды,
Как сам его хозяин. Я на миг
Его души огнем коснулась — тем же,
В каком гореть он будет. Ишь — дрожит!
В его руке изгнание, цепи, смерть
Для всех, кого невзлюбит он, но это —
Его оружие, а не щит: ведь я
Ему пронзила сердце ледяное!
Мне гнев его не страшен. Пусть умрем,
А он живет, но жизнь его ужасна:
Он с каждым днем все ближе к своему
Владыке — искусителю!

Д ж а к о п о

Безумье!

М а р и н а

Возможно, так. Но *кто* нас обезумил?

Л о р е д а н о

Ну, дальше! Мне забавно.

М а р и н а

Это ложь!
Пришли вы насладиться торжеством,
Полюбоваться нашим горем! Слышать
Бесплодные мольбы и стоны, видеть
Потоки слез — обломок тот, в который
Сын дожа вами превращен, мой муж!
Пришли топтать поверженного — дело,
Пред коим и палач отступит, так же
Как люди перед ним! Что ж, вы довольны?
Несчастны мы, насколько вы интригой
Могли достичь и злобою желать!
Ну, как *теперь* вы?

Л о р е д а н о

Как скала.

М а р и н а

Под молнией!
Бесчувствен камень, но дрожит не меньше.
Муж мой, идем! Оставим негодяя,
Достойного жильца подобной кельи,
Где он людей томил и где ему
Сидеть всего приличней самому!

Входит дождь.

Д ж а к о п о

Отец!

Д о ж

(обнимая его)

Джакопо! Сын мой, сын мой милый!

Д ж а к о п о

Вы здесь, отец! Как я давно мое
От вас не слышал имя... *наше* имя.

Д о ж

Ах, мальчик! Если бы ты знал...

Д ж а к о п о

Отец, роптал... Я редко,

Д о ж

Я чувствую, что так.

М а р и н а

Взгляните!

(Указывает на Лоредано.)

Д о ж

Вижу. Что же?

М а р и н а

Осторожность!

Л о р е д а н о

Сама синьора очень осторожна
И всем внушает эту добродетель.

М а р и н а

Не добродетель это, негодяй,
А образ действий пред лицом порока.
Не так же ли предупреждают тех,
Кто ногу ставит на тропу гадючью?

Д о ж

Дочь, это лишнее. Мне Лоредано
Давно известен.

Л о р е д а н о

Вы его получше

Узнаете.

М а р и н а

Да! Ну а *хуже* — вряд ли.

Д ж а к о п о

Отец! К чему последние часы
Терять на праздные упреки? Это —
Последнее свиданье наше, правда?

Д о ж

Взгляни: я сед.

Д ж а к о п о

А мне седым не стать,
Я знаю. Обними меня, отец.
Тебя любил я и люблю — сильнее.
Храни детей: тебе твой сын последний
Вручает их; пусть будут вам они.
Чем я был в прошлом, но не тем, что ныне.
А *их* мне можно увидеть?

М а р и н а

Не *здесь!*

Д ж а к о п о

Они отца повсюду могут видеть.

М а р и н а

Они отца там увидеть должны,
Где к их любви не примешался б ужас,
Оледеня молодую кровь.
Им вкусно есть и сладко спать, не зная,
Что их отец — отверженец травимый
Твой рок, возможно, станет их наследством,
Но пусть *наследством* лишь, а не подарком
Теперь. Их чувства для любви открыты,
Но и для страха. Эта злая сырость,
Волна мутнозеленая, что плещет
Над головою нашей, этот склеп,
Затерянный в гнилой воде, что дышит
Отравою сквозь трещины, — все это
Их может потрясти. Не им дышать
Подобным воздухом, хотя мы все,
И вы, синьор, почтенный Лоредано,
Как наиболее достойный, — дышим
Здесь без вреда.

Д ж а к о п о

Об этом я не думал.
Но ты права. Итак, уеду я,
Не повидав детей?

Д о ж

Нет, нет: они
Тебя в моих покоях ожидают.

Д ж а к о п о

И *всех* покину?

Л о р е д а н о

Да.

Д ж а к о п о

Ни одного
Взять не могу?

Л о р е д а н о

Они принадлежат
Республике.

М а р и н а

Я полагала — мне.

Л о р е д а н о

В заботах материнских — да.

М а р и н а

В печальных.
Болезнь — лечить; смерть — хоронить и плакать;
А жизнь — из них вы сделаете все,
Что нужно вам: сенаторов, солдат,
Изгнанников, рабов. А дочерьми
С приданным будете вы подкупать
Патрициев. Вот каковы заботы
Республики о детях!

Л о р е д а н о

Вам пора.
И есть попутный ветер.

М а р и н а

Как об этом
Узнали здесь вы, где вовек не дул
Привольный ветер с буйною свободой?

Л о р е д а н о

Он дул, когда я шел сюда. Галера
Стоит не дальше, чем полет стрелы
У «Рива ди Скьявони».

Д ж а к о п о

Вас, отец,
Прошу вперед пройти и приготовить
Детей для встречи с их отцом.

Д о ж

Мужайся!

Д ж а к о п о
Попробую.

М а р и н а
Простись! Хотя б с тюрьмою
Проклятою и с тем, чьей кроткой власти
Обязан ты миновавшим заключеньем.

Л о р е д а н о
И нынешней свободой.

Д о ж
Это правда.

Д ж а к о п о
О да: но цепь сменяю цепью новой,
Тягчайшей. Он об этом знал; об этом
И хлопотал. Я, впрочем, не ропщу.

Л о р е д а н о
Часы не ждут, синьор.

Д ж а к о п о
Увы! Не знал я,
Как тяжело покидать и этот кров.
Но, чувствуя, что каждый шаг отсюда —
Шаг от Венеции, я и на эти
Гнилые стены озираюсь и...

Д о ж
Не плачь, мой мальчик!

М а р и н а
Пусть! Не плакал он
Под пыткой, но здесь не стыдно плакать:
Он этим сердце облегчит свое,

Столь доброе. И эти слезы я
Отру (найду минуту!) или с ними
Свои смешаю. Плакала б сейчас,
Но не доставлю негодяю радость.
Пора итти. Ведите, дож!

Л о р е д а н о
(служителю)

Эй, факел!

М а р и н а
Светите нам, как бы на погребальный
Веда костер, с угрюмым Лоредано-
Наследником.

Д о ж
Ты слаб, мой сын; дай руку.

Д ж а к о п о
Ах! Юноше поддержкой старец! Мне,
Опоре вашей!

Л о р е д а н о
Вот моя рука.

М а р и н а
Не прикасайся, Фоскари: ужалит!
Синьор, подальше! Знайте: если б руку
Вы протянули нам, упавшим в пропасть,
Навстречу мы б не подняли своих!
Идем, Джакопо; обопришь на руку —
Дар алтаря. Она тебя спасит
Была не в силах, но всегда поддержит.
Уходят.

А К Т Ч Е Т В Е Р Т Ы Й

С Ц Е Н А I

Зал во Дворце дожей.
Входят Лоредано и Барбаригго.

Б а р б а р и г о
Вы верите в подобный план?

Л о р е д а н о
Конечно.

Б а р б а р и г о
Жесток для старца он

Л о р е д а н о
Вернее — благ,
С него снимая тягость управленья.

Б а р б а р и г о
И сердце разбивая.

Л о р е д а н о
Старцы черствы.
Он видел: сердце сына разрывалось.
И дрогнул лишь в тюрьме, а то — ни разу

Б а р б а р и г о
На вид — ни разу, правда. Но такая
В его бесстрастье боль была, что взрыв
Отчаянья померк бы. Где сейчас он?

Л о р е д а н о
В покоях личных, со своим отродьем.

Барбариго
Прощаются?
Лоредано
В последний раз. А скоро
И власть — прощай!
Барбариго
Когда уедет сын?
Лоредано
Тотчас, лишь кончат. Надо им напомнить.
Барбариго
Оставьте! Что вам лишняя минута?
Лоредано
Дела торопят важные, не я.
Сегодня — первый день изгнания сына
И день последний власти старика.
Вот месть моя!
Барбариго
Жестокая чрезмерно.
Лоредано
Напротив. Жизнь за жизнь — вот это мера
Возмездия покоя веков. Они же —
В долгу за смерть моих отца и дяди.
Барбариго
Но дож ведь это отрицал?
Лоредано
Конечно.
Барбариго
Но подозренье ваше прочно?
Лоредано
Да.
Барбариго
Коль мы своим влиянием в Совете
Низложим дожа, пусть произойдет
Все это с должным уваженьем к сану,
Заслугам и годам его.
Лоредано
С какою
Хотите церемонией, лишь только б
Он пал. Мне все равно: пусть на коленях
Ползет Совет (как Барбаросса к папе)
Молить его, чтоб он явил любезность
Отречься.
Барбариго
Ну, а если он откажет?
Лоредано
Другого изберею, и он — ничто.

Барбариго
А как закон?
Лоредано
Закон? Закон — «Десятка»;
Не захотят — я сам тогда закон.
Барбариго
Рискнув собой?
Лоредано
Здесь риска нет, поверьте;
Вся власть у нас.
Барбариго
Дождь об отставке дважды
Просил — и отказали.
Лоредано
Тем удобней
Уступка в третий раз.
Барбариго
Без просьбы?
Лоредано
Значит,
Мы тронуты былыми, если шли
Они от сердца. Пусть благодарит;
А если нет — накажем лицемерье.
Идем; Совет собрался. Тверды будьте
На этот раз. Я доводов довольно
Набрал, чтобы не устоял Совет
И дож свалился: я учел все мысли,
Все мненья. Лишь бы вы нам не мешали
Обычной щепетильностью — и дело
Пойдет на лад.
Барбариго
Коль я уверен буду,
Что, низложив отца, его, как сына,
Травить не станут, я вас поддержу.
Лоредано
Его не тронут, говорю я; пусть он
Восьмидесятипятилетний возраст
Продлит, как может. Нужен трон его.
Барбариго
Век у низложенных князей недолог.
Лоредано
У стариков, почти столетних, тоже.
Барбариго
Так почему не подождать немного?

Л о р е д а н о

Мы ждали вдоволь, но — заклялся он.
Идем! В Совет!

Уходят.

Входят Меммо и сенатор.

С е н а т о р

Зовут на заседание
«Десятки». А зачем?

М е м м о

Сама «Десятка»
Ответит. Ей не свойственно заране
Всем возвещать намеренья свои.
Нас вызвали — и хватит.

С е н а т о р

Всем не надо,
Но нам? Я знать хочу.

М е м м о

Вы, подчинившись,
Узнаете. Не то узнать придется,
Что надо было подчиниться.

С е н а т о р

Я
Не против, но...

М е м м о

Здесь «но» — уже измена;
Оставьте «но», чтоб не пройти по Мосту,
Которым не идут назад.

С е н а т о р

Молчу.

М е м м о

В чем тут сомненья? «Десятка» пригласили
Нас, двадцать пять сенаторов, помочь им
В их совещанье, в том числе и нас.
Должны гордиться мы, что нас избрали
Присутствовать в Совете столь высоком.

С е н а т о р

Да, да! Молчу!

М е м м о

Поскольку мы, как все
(Я разумею знать), войти мечтаем
В децемвират, то нам, как новичкам,
Большая школа — побывать в Совете
И тайны видеть.

С е н а т о р

Стоящее дело.

М е м м о

И может жизни стоить нам, коль будем
Болтать о них. А жизнь ведь тоже стоит
Кое-чего, хотя б моя и ваша.

С е н а т о р

В святилище я места не просил,
Но, призванный, хотя и против воли,
Исполню долг.

М е м м о

Идя на зов «Десятки»,
Не будем же последними.

С е н а т о р

Вы правы;
Хотя не все собралось, но — войдем.

М е м м о

Пришедших раньше и встречают лучше
В советах важных; что ж нам отставать?

Уходит

Входят: дож, Джакомо Фоскари и Марина.

Д ж а к о п о

Отец! Я должен ехать, я поеду;
Но я молю добыть мне разрешение
Когда-нибудь вернуться, хоть бы очень.
Был долгим срок. Но пусть его укажут:
Он будет маяком для сердца. Пусть
Усилят кару, как хотят, но только
Дадут вернуться.

Д о ж

Подчинись, мой сын,
Веленьям родины. Мы не должны
Глядеть вперед.

Д ж а к о п о

Но вправе поглядеть я
Назад. Молю вас думать обо мне.

Д о ж

Увы! Ты был всегда моим любимым,
Тем более ты дорог мне теперь,
Последним став из многих. Но, потребуй
Моя страна из гроба вынуть кости
Твоих трех братьев и послать в изгнанье,
И тени их в отчаянье б витали,
Противясь, — я бы выполнил мой долг,
Из всех — важнейший.

М а р и н а

Муж мой! Едем! Надо ль
Затягивать мученья?

Д ж а к о п о

Нас не звали
Еще; не поднят на галере парус;
Вдруг ветер переменится?

М а р и н а

Но это
Наш рок, и сердце *из* не переменит.
Галера и на веслах выйдет в море.

Д ж а к о п о

О вы, стихии! Где же бури ваши?

М а р и н а

В сердцах людских. Увы! Чем успокоить
Тебя?

Д ж а к о п о

Едва ль так умолял моряк
Святых послать ему попутный ветер,
Как я молю хранителей святых
Венеции,— которую люблю я
Любовью более священной,— вызвать
Из глубины адрийской ярость волн
И Австра пробудить — владыку бури,
Покуда труп разбитый мой не кинут
На брег родной, в песок бесплодный Лидо,
Чтобы мой прах с землей любимой слился,
Которой не увижу я вовек!

М а р и н а

И для меня ты этого желаешь?

Д ж а к о п о

Нет, нет — не для тебя, столь доброй, кроткой!
Живи подольше — для детей, которых
Ты, преданная мужу, покидаешь
На время. Для меня для одного
Пусть вост вихрь небесный над заливом,
Трепля корабль, пока, бледны от страха,
Не поглядят матросы на меня,
Как на Иону финикийцы, и
Не выбросят меня за борт как жертву
Безумью волн. Вал, что убьет меня,
Добрей, чем люди, будет: труп мой все же
На родину примчит он, к той могиле,
Что выкопают рыбаки в песке,
Где более растерзанное сердце
Вовек не успокаивалось! Что же
Оно не разорвется? Для чего я
Живу?

М а р и н а

Чтоб научиться побеждать
Бесплодные волнения. Ты страдал,
Не крикнув. Неужели же изгнание
Мучительней тюрьмы и пытки?

Д ж а к о п о

Вдвое,
Нет — втрое, вдесятеро! Но, конечно,
Права ты; надо вынести. Отец,
Благословите!

Д о ж

Если б это было
Тебе на пользу! Но — благословляю.

Д ж а к о п о

Прости...

Д о ж

Кого?

Д ж а к о п о

Мать — за мое рождение,
Меня — за жизнь, себя — за то, что была
Моим отцом (как я прощаю вас).

М а р и н а

Но что ты сделал?

Д ж а к о п о

Ничего. Злодейств
Не помню за собой. Страдания помню,
Но их я столько вытерпел, в сравнение
С другими, что приходится признать
Свою греховность. Если так — пусть муки
Претерпенные здесь, предотвратят
Загробные.

М а р и н а

Не бойся: это — участь
Врагов твоих.

Д ж а к о п о

Надеюсь — нет.

М а р и н а

Ах, так?

Д ж а к о п о

Я не могу желать им *все*, что вынес.

М а р и н а

Все *им*, свирепым бесам! Червь бессмертный
Пусть их пожрет сто тысяч раз!

Д ж а к о п о

Раскаяться они.
Ведь могут

М а р и н а

Отвергнет небо
Раскаяние дьяволов!

Входит офицер и стража.

Офицер

Синьор,
Галера ждет; поднялся ветер; мы же
Готовы проводить вас.

Джакопо

Я готов.

Еще раз дай, отец, мне руку.

Дождь

Вот;

Но как дрожит рука твоя!

Джакопо

Нет: *ваша*

Дрожит, отец. Прощайте же!

Дождь

Прощай!

Ты все сказал, что надо?

Джакопо

Все.

(*К офицеру.*)

Прошу вас

Дать руку мне, синьор.

Офицер

Вы побледнели...

Вот, обопритесь... все бледней... На помощи
Воды!

Марина

Он умирает!

Джакопо

Нет, пойду я...

Не вижу — странно... Где же дверь?

Марина

Пустите!

Я поддержку его — мою любовью!

О, боже! Сердце еле бьется.

Джакопо

Свету!

Где свет?.. Мне дурно.

Офицер подает ему воду.

Офицер

Может быть, ему

Поможет воздух?

Джакопо

Нет, едва ль... Марина!

Отец! Где ваши руки?

Марина

Смерть вот в этой
Ладони влажной и холодной! Боже!
Мой Фоскари, ну как тебе?

Джакопо

Прекрасно!

(*Умирает.*)

Офицер

Он умер!

Дождь

Он свободен.

Марина

Нет! Не умер!

Должна быть в этом сердце жизнь! Не мог он
Меня покинуть!

Дождь

Дочь!

Марина

Молчи, старик!

Теперь не дочь я: ты утратил сына...
О Фоскари!

Офицер

Должны убрать мы тело.

Марина

Прочь, палачи! Ваш мерзкий долг закончен,
Как эта жизнь; ему предел — убийство,
Что и закон ваш гнусный признает!
Оставьте прах тем, кто его сумеют
Почтить.

Офицер

Я должен известить Совет,
Чья воля...

Дождь

Передайте там, в Совете,
Что я, их дождь, считаю этот прах
Им неподвластным более. При жизни,
Как подданный, он *им* принадлежал,
Теперь он — *мой*, загубленный мой мальчик!

Офицер уходит.

Марина

Мне — жить!

Дождь

И дети ведь живут, Марина.

Марина

Да, да! И я должна помочь им стать
Рабами государства и погибнуть,

Как и отец их... Будь благословенно
В Венеции бесплодые женщины! Если б
Была моя бесплодна мать!

Д о ж
О, дети

Несчастные мои!

М а р и н а
Как! Наконец

И *вы* почувствовали, *вы*! А где же
Ваш стоицизм державный?

Д о ж
(*опускаясь у тела на пол*)
Здесь!

М а р и н а
Да, плачьте!

Нет слез у вас, я думала, а вы
Их берегли, пока ненужны стали.
Но — плачьте! А ему уже не плакать
Вовек. вовек!

Входят Лоредано и Барбариго.

Л о р е д а н о
Что здесь?

М а р и н а
Явился, дьявол,
Смерть оскорблять? Прочь, сатана: здесь место
Священное; здесь мученик лежит;
Здесь храм! Ступай назад, в обитель пыток!

Б а р б а р и г о
Синьора, мы не знали о беде.
Мы просто проходили из Совета.

М а р и н а
Так проходите.

Л о р е д а н о
Ищем дождя мы.

М а р и н а
(*показывая на дождя, склонившегося над телом сына*)
Он занят. Занят делом ваших рук.
Довольны вы?

Б а р б а р и г о
Родительского горя
Мы не смутим.

М а р и н а
Сперва его создав,
Потом уйдя.

Д о ж
(*подымаясь*)
Я слушаю, синьоры.

Б а р б а р и г о
Потом!

Л о р е д а н о
Но дело важно.

Д о ж
Если важно,
Я повторяю: слушаю.

Б а р б а р и г о
Отложим —
Хотя бы как челнок в волнах металась
Венеция. Я ваше горе чту.

Д о ж
Спасибо. Если вести ваши скверны,
Скажите их: меня ничто не тронет
Сильней, чем *это* зрелище. А если
Приятны — говорите, не *бойсь*,
Что вы меня *утешите*.

Б а р б а р и г о
Хотел бы!

Д о ж
Я говорю не *вам*, а Лоредано;
Он понял.

М а р и н а
Ах! я этого ждала!

Д о ж
Чего?

М а р и н а
Вот: кровь пошла из мертвых губ
Джакопо. Труп кровоточит в соседстве
С убийцей!

(*К Лоредано.*)
Ты, убийца по закону,
Гляди, как смерть сама изобличает
Твои деянья, трус!

Д о ж
Дитя мое!
Ты фантазируешь от горя.
(*Своим слугам.*)

Тело
Убрать отсюда. Через час, синьоры,
Я выслушаю вас.

Дождь, Марина и слуги, уносящие тело, уходят

Б а р б а р и г о
Не будем больше
Его тревожить.

Л о р е д а н о

Он ведь сам сказал,
Что взволновать его нельзя.

Б а р б а р и г о

Слова!
Скорбь ищет одиночества; жестокость —
Его прервать.

Л о р е д а н о

Печаль — уединением
Питается; призыв к земным делам —
Вот лучший способ отогнать виденья
Другого мира. Занятому делом
Нет времени для слез.

Б а р б а р и г о

И потому-то
Вы старика хотите отстранить
От всяких дел?

Л о р е д а н о

Таков декрет Совета
И Джунты; кто дерзнет противостать
Закопу?

Б а р б а р и г о

Человечность.

Л о р е д а н о

Сын-де умер?

Б а р б а р и г о

Да — и не погребен.

Л о р е д а н о

Знай это раньше,
Решение могли бы мы отсрочить,
Но исполнение задержать нельзя.

Б а р б а р и г о

Я не согласен.

Л о р е д а н о

Вы согласие дали
На главное; все прочее — на мне.

Б а р б а р и г о

Но что за спешка с отречением?

Л о р е д а н о

Частным
Нет места чувствам при осуществленьи
Заданий власти. То, что государством
Сегодня решено, нельзя назавтра
Откладывать из-за случайных дел.

Б а р б а р и г о

У вас есть сын.

Л о р е д а н о

Да, есть; и был отец.

Б а р б а р и г о

Неумолим?

Л о р е д а н о

Неумолим!

Б а р б а р и г о

Но пусть он
Хоть похоронит сына, прежде чем
Декрет узнает.

Л о р е д а н о

Если воскреснет он
Отца и дядю — я согласен. Люди,
Хотя бы старцы, могут быть или слыть
Ста сыновей отцами, но не в силах
Пылику предков вызвать из земли.
Неравны жертвы: сыновья его —
Скончались просто; мой отец и дядя —
От быстрой и таинственной болезни.
Ни к яду не прибег я, ни к насмным
Искусникам преступной медицины,
Чтоб вечное ускорить исцеленье.
Все четверо его детей мертвы,
Но зельями себя я не забрызгал.

Б а р б а р и г о

А он себя?

Л о р е д а н о

Бесспорно.

Б а р б а р и г о

Он по виду —
Одно чистосердечье.

Л о р е д а н о

Думал так

И сам Карманьюоло.

Б а р б а р и г о

Иностранец?
Предатель?

Л о р е д а н о

Да. Однажды на заре
Дожд из Совета шел, где порешили
Убить Карманьюоло; тот, столкнувшись
С его высочеством, спросил, шутя:
«Какой привет вам нужен? доброй ночи
Иль добрый день?» И дож ему ответил:
«Да, я всю ночь не спал, и мы о вас
(Прибавил он с любезною улыбкой)
Немало говорили». Не солгал он:

Шла речь — за восемь месяцев до смерти
Несчастливого — об этой смерти. Дождь
Знал приговор — и улыбался жертве,
За восемь месяцев, со смертоносным
Коварством! Так умеют лицемерить
Лишь в восемьдесят лет! Карманьюоло
Погиб, храбрец. И дети дождя — также.
Но я не улыбался им!

Барбариго
Он другом

Вам был — Карманьюоло?

Лоредано

Был он стражем
Венеции. Сначала враг ее,
Он стал ее спасителем и — жертвой

Барбариго

Так воздают спасителям держав!..
А дождь, кого теперь мы низлагаем,
Не только спас наш город, но немало
Нам покорила других.

Лоредано

У римлян (мы ведь
Им подражаем) был венец наградой
Тому, кто город взял и кто в бою
Спас гражданина: подвиги — равны.
По этой мерке, если сопоставим
Все города, захваченные дождем,
И граждан тех, кого сгубил он (явно
Иль тайно), — то баланс ему отнюдь
Невыгоден, считая лишь убитых,
Как, например, моих родных.

Барбариго
На этом

Стоите вы?

Лоредано

А что же может сдвинуть?

Барбариго

То, что меня. Но вы в своей вражде —
Как мрамор. Но, когда свершится все —
Низложен дождь, все дети мертвы, имя
Запятнано, угнетена семья,
Триумф за вами, — будете вы спать?

Лоредано

Крепчайшим сном.

Барбариго

Нет! И поймете это,
Еще с отцом и дядей не уснув.

Лоредано

Они не спят в безвременной могиле,
Пока старик не ляжет в гроб. Ночами
Они, нахмурясь, льнут к моей постели
И кажут на дворец, взывая к мести!

Барбариго

Мечта и бред! Нет фантастичной страсти
И призрачной, чем ненависть. Любовь,
Ей противоположная, и та
Не порождает столько привидений,
Как это сумасшедшие души!

Входит офицер.

Лоредано

Эй, ты, куда?

Офицер

По приказанью дождя:
Для Фоскари устроить погребенье.

Барбариго

Частенько открывался в эти годы
Их склеп.

Лоредано

Он скоро будет полон — чтобы
Навек закрыться.

Офицер

Я могу идти?

Лоредано

Ступай.

Барбариго

Как дождь утрату переносит
Последнюю?

Офицер

С отчаяньем, но твердо.
При людях он молчит, но я заметил,
Что губы шевелятся, и слышал
Раз или два из комнаты соседней,
Как он шептал чуть слышно: «Сын мой, сын мой».
Итак, иду.

(Уходит.)

Барбариго

Он может возбудить
Участье всей Венеции.

Лоредано

Ах, верно!

Спешить нам надо. Созовем послов,
Кому Совет вручил свое решение
Для передачи дождю.

Барбариго

Протестую!
Сейчас не время!

Лоредано

Как хотите. Я
Вопрос поставлю на голосованье,
И поглядим, кто победит из нас.

Уходят.

АКТ ПЯТЫЙ

СЦЕНА I

Покои дожа.

Дожд и слуги.

Слуга

Мой дожд, к вам — делегаты; но сказали,
Что, если вам другой удобен час,
Они придут согласно вашей воле.

Дожд

Все для меня равны часы. Зови.

Слуга уходит.

Офицер

Мой дожд! Приказ исполнен ваш.

Дожд

Какой?

Офицер

Печальный: пригласить...

Дожд

Ах, верно, верно;

Я стал забывчив; старцем становлюсь,
Равняюсь по годам; бывало, с ними
Боролся я; теперь за ними верх.

Входит делегация в составе шести членов
палат и председателя Совета Десяти.

Председатель

Сперва Совет желает изъявить
Сочувствие утрате вашей скорбной.

Дожд

Ни слова! О, ни слова!

Председатель

Дожд не примет

От нас почтенья?

Дожд

Принял; с тем же чувством,
С каким оно порождено. И дальше?

Председатель

Совет и Джунта — двадцать пять знатнейших
Патрициев, избранников сената,
Обдумав положение государства,
Учтя заботы тяжкие, теперь
Чрезмерные для ваших лет, столь долго
Служению отчизне посвященных,
Воззвать решили, с должным уважением,
К вам, к вашей мудрости (что, несомненно,
Согласна с нами будет), чтобы вы
Вернули перстень дожа, тот, который
Со славой вы послали много лет,

И, в знак признательности и вниманья
К заслугам вашим и годам, в удел
Вам двадцать тысяч золотых дукатов
Назначено, чтоб вы в отставке жить
Могли с достойным государя блеском.

Дожд

Я правильно расслышал?

Председатель

Повторить?

Дожд

Нет. Это все?

Председатель

Да, все. Двадцать четыре
Часа дается для ответа.

Дожд

Мне

Секунд не надо столько.

Председатель

Мы уходим.

Дожд

Постойте! То, что я хочу сказать,
Ведь сутки не изменят.

Председатель

Говорите!

Дожд

Когда я дважды выражал желанье
Отречься — мне отказывали в том
И вынудили, сверх того, поклясться,
Что настояний не возобновлю.
И клятву дал я исполнять до гроба
Обязанности, на меня отчизной
Возложенные. И — в согласье с честью
И совестью — я не нарушу клятвы
Моей.

Председатель

Не вынуждайте нас прибегнуть
К декрету вместо вашего согласия.

Дожд

Бог дни мои продлил, чтоб испытать
И покарать меня. Но вы не вправе
Корить меня за годы: каждым часом
Стране служил я и отдать готов
Ей жизнь, как отдал все, что было жизни
Дороже мне! Но сан мой мне вручен

Республикою *в целом*. Лишь тогда я
Отвечу вам, когда узнаю волю
Всеобщую.

Председатель
Нам очень неприятен
Такой ответ — и бесполезен вам.

Дождь
Всему я покорюсь, но сам навстречу —
Ни шагу, нет! Указ? — пускай указ!

Председатель
И с этим мы должны в Совет вернуться?

Дождь
Я все сказал.

Председатель
Тогда, с почтеньем должным,
Мы удалимся.

Делегация уходит. Входит слуга.

Слуга
Госпожа Марина
У вас приема просит, государь!

Дождь
Мои часы к ее услугам.

Входит Марина.

Марина
Дождь мой!
Вторгаюсь я... Быть может, вы хотели
Один побить?

Дождь
Один! Да я — один,
Будь мир вокруг! Отныне и навеки!
Но — стерпим все.

Марина
Все вынесем — для тех,
Кто жив еще. О муж мой!..

Дождь
Плачь! Кто в силах
Тебе помочь?

Марина
Он мог бы долго жить,
Столь созданный для безмятежной жизни,
Любимый, любящий! Кто счастья больше
Мог дать и взять, чем бедный мой Джакомо,
Родись он на чужбине? Нам мешало
Быть полностью блаженными лишь то,
Что он — венецианец.

Дождь
И — сын дожа.

Марина
Да! Все, что служит прочим людям к счастью,
Пусть ложному, и честолюбью льстит —
Игрой судьбы ему смертельным стало.
Страна родная и народ любимый,
И государь, чьим первцем он был...

Дождь
Кто скоро уж не будет государем.

Марина
Как?

Дождь
Сын мой ими отнят, а теперь
Берут венец, носимый слишком долго,
И перстень. Пусть! К чему мне побрякушки?

Марина
Тираны! В *это* время!

Дождь
Миг удобный.
Лишь час назад я б ощутил удар.

Марина
Ну, а теперь — смирились вы? О, мщенье!
Но тот, кто мог бы, во-время спасенный,
Отцу опорой стать в подобный миг —
Теперь бессилен!

Дождь
Против государства
Не смел бы встать он, хоть бы сотню жизней
Имел взамен...

Марина
Той, что исторгла пытка?
Пусть в этом весь патриотизм. Но я —
Я женщина; мне родина и дом —
Мой муж и дети. Я его любила!
О, как любила... И пришлось мне видеть
Его терзання, от которых древний
Святой бы дрогнул! Умер он. И я,
Кто кровь ему бы отдала, — лишь слезы
Могла струить. О, если б отомстить
Его убийцам! Ладно! У меня
Есть сыновья — и вырастут!

Дождь
От горя
Безумствуешь!

Марина
Я думала — кончину
Его снесу, когда он пал, раздавлен!

Я думала, что легче видеть труп,
Чем узника,— и вот мое возмездье!
Ах, с ним бы лечь в могилу!

Д о ж

Я хочу
Еще раз на него взглянуть.

М а р и н а

Пойдемте.

Д о ж

Он...

М а р и н а

Брачный одр ему теперь гробницей.

Д о ж

Он — в саване!

М а р и н а

Идем, идем, старик!

Уходят.

Входят Барбаригго и Лоредано.

Б а р б а р и г г о

(слуге)

Где дож?

С л у г а

Он вышел только что с синьорой,
Вдовою сына.

Л о р е д а н о

А куда

С л у г а

В покой

К умершему.

Б а р б а р и г г о

Уйдем.

Л о р е д а н о

Никак нельзя;

Забыли вы: нам Джуита приказала
Ждать здесь ее и с нею быть во время
Переговоров. Скоро все придут.

Б а р б а р и г г о

И сразу дожу сообщат решение?

Л о р е д а н о

Он сам хотел покончить все скорей,
Он скор в ответах, ну и мы не медлим.
Честь воздана, отпущены дукаты,—
Чего ж еще?

Б а р б а р и г г о

Скончаться дожем. Он
Недолговечен... Всячески хотел я

Спасти его достоинство и спорил
С намереньями вашими — напрасно.
Зачем же вам сюда меня тащить?

Л о р е д а н о

Чтоб некто, с нами несогласный, был
Свидетелем, коль разлетится сплетня,
Что большинство Совета испугалось
Открытых действий, проявив насилье.

Б а р б а р и г г о

И также, полагаю, чтоб унижить
Меня — за то, что возражал я. Вы
Художник, Лоредано, в деле мщенья,
Или, верней, поэт: прямой Овидий
В искусстве *ненависти*. Вот причина,
Что я (предмет второстепенный, но —
Сквозь лупу смотрит ненависть) насильно
Чтоб отменить ретивость вашу, призван
К участию в Джуите вашей.

Л о р е д а н о

Как *моей*?

Б а р б а р и г г о

Да, *вашей*! Там кивок ваш ловят, ваши
Твердят слова, проводят ваши планы!
Не *ваша* ли она?

Л о р е д а н о

Такая речь.

Весьма опасна. Счастье, что они
Не слышат вас.

Б а р б а р и г г о

Такая речь раздастся

Гораздо громче! Все пределы власти
Перейдены; и в самых жалких странах
Встает в подобных случаях народ
Измученный — и мстит.

Л о р е д а н о

Вы вздор несете.

Б а р б а р и г г о

Вы докажете это. Вот — явились.

Входит делегация в прежнем составе.

П р е с е д а т е л ь

Дож извещен, что пожелали мы
С ним говорить?

С л у г а

Я доложу немедленно.
(Уходит.)

Б а р б а р и г г о

Дож возле тела.

Председатель

Если так — отложим
До похорон Пойдем. Успеем завтра.

Лоредано

(шопотом к Барбариго)

На ваш язык бы — адского огня,
Что богача палит неугасимо!
За болтовню б его я с корнем вырвал,
Чтоб вы сквозь кровь хрипели бы, и только!

(К прочим, громко.)

Мудрейшие синьоры, умоляю:
Спешить не надо.

Барбариго

Надо пожалеть.

Лоредано

Вон дож идет.

Входит дож.

Дождь

Я здесь, как вы велели.

Председатель

Пришли мы повторить вопрос.

Дождь

А я —

Ответ.

Председатель

Какой?

Дождь

Тот самый, что уже

Вы слышали.

Председатель

Так слушайте указ —
Решительный и неизменный.

Дождь

К сути,

Прошу вас, к сути: мне давно известны
Вступленья мягкие к суровым актам —
Итак?

Председатель

Не дож вы больше; вы свободны
От клятвы государя; ризы князя
Должны сложить. Учтя заслуги ваши,
За вами сохраняем мы феодал,
Назначенный на прошлом заседании.
В три дня должны покинуть вы дворец,
Иначе личной собственностью вашей
Поплатитесь.

Дождь

Я с гордостью скажу,
Что для казны в том пользы будет мало.

Председатель

Мы ждем ответа, дож.

Лоредано

Мы ждем ответа,
Франческо Фоскари!

Дождь

Когда б я считал
Для государства пагубным мой возраст,
Я не был бы таким благодарным,
Чтобы свое достоинство поставить
Над родиной. Но так как жизнь моя
Ей, родине, была бесполезна.
То я мечтал отдать ей также дни
Последние. Но если дан указ —
Я подчиняюсь.

Председатель

Если срок трехдневный
Вам короток — мы восемь дней даем
В знак уваженья.

Дождь

Мне восьми часов,
Восьми минут не надобно. Вот перстень,
Вот шапка дождя.

(Снимает кольцо и головной убор.)

Адриа теперь

Вновь обвенчаться может.

Председатель

Вам не нужно
Так торопиться.

Дождь

Я, синьор мой, стар;
Чтобы поспеть куда-нибудь, я должен
Итти заблаговременно. Я вижу
Лицо мне незнакомое. Сенатор,
Главою «Сорока» одетый, кто вы?

Меммо

Сын Марко Меммо.

Дождь

А! Мне другом был
Отец ваш. Но *отцы* и *сыновья*...
Эй, слуги!

С л у г а
Государь?

Д о ж

Нет государя!

(Показывая на делегацию «Десяти».)

Вот государи государя. Живо!
К отъезду собирайтесь!

П р е с е д а т е л ь

Но зачем
Так спешно? Это вызовет скандал.

Д о ж

В ответе — вы.

(Слугам.)

Живей! Одна есть ноша,
Которую поберезжней несите,
Хоть ей уже не причинить вреда.
Я, впрочем, присмотрю.

Б а р б а р и г о

О теле сына

Он говорит.

Д о ж

Позвать мне дочь, Марину.

Входит М а р и н а.

Собирайся: плакать мы должны не здесь.

М а р и н а

Но будем всюду.

Д о ж

Да! но и свободно,
Без этих соглядатаев ретивых
За властью. Вам уйти, синьоры, можно:
Что вам еще? Уходим мы; дворца
Не унесем, не бойтесь. Эти стены
Старей меня раз в десять, хоть и стар я;
Они, как я, служили вам — и мы бы
Могли кой-что порассказать. Но я
Их не зову упасть на вас, иначе б
Они вас раздавили, как столпы
В святилище Дагона — филистимлян,
Врагов Самсона! Моего проклятья
Хватило бы: его причина — вы!
Но я смолчу. Прощайте же, синьоры!
Желаю, чтобы лучше дож был новый,
Чем нынешний.

Л о р е д а н о

Дождь *нынешний* — Паскуале
Малипиеро.

Д о ж

Нет! Пока не выйду
Я за порог!

Л о р е д а н о

Звон с колокольни Марка
Сейчас его избранье возвестит.

Д о ж

Земля и тверды! Вас этот звон заполнит!
И я, живой, услышу! Первый дож,
Кому пришлось внимать колоколам
Преемника! Фальеро, мой преступный
Предшественник, счастливей был: его
Такому оскорбленье не подвергли!

Л о р е д а н о

Сочувствие изменнику?

Д о ж

Нет: зависть
К его кончине.

П р е с е д а т е л ь

Если вы решили
Дворец покинуть именно сейчас,
Прошу хотя бы выйти тайным ходом
К причалу на канале.

Д о ж

Нет. Сойду я
По тем ступеням, по которым к власти
Я восходил — по Лестнице гигантов,
На чьей площадке я надел венец!
Меня *туда* звели мои заслуги,
И, мечь врагов, *оттуда же* низведи!
Тридцать пять лет назад я там поднялся,
Прошел впервые в этот зал, откуда
Лишь мертвым думал удалиться — мертвым,
В бою, быть может, павшим за сограждан,
Но изгнанным не думал быть. Пойдем!
Мой сын и я — мы удалимся вместе:
В могилу — он, а я — искать ее!

П р е с е д а т е л ь

Как! На глазах у всех?

Д о ж

Я всенародно
Был избран, всенародно и паду!
Пойдем, Марина?

М а р и н а

Вот моя рука.

Д о ж

А вот костыль; иду с двойной опорой.

Председатель
Но так нельзя: народ увидит это.

Дождь
Народ! Его здесь нет, как вам известно,
Не то со мной и с ним бы вы не смели
Так поступать. Здесь *чернь*, чьи взоры вас,
Быть может, пристыдят, но ни на ропот,
Ни на проклятья не дерзнет она!

Председатель
Вы говорите сгоряча, иначе...

Дождь
Вы правы: я чрезмерно говорлив;
Чужда мне эта слабость; впрочем, вам
Она послужит оправданьем: видно,
Что впал я в дряхлость; ваш поступок, значит,
Законен, хоть закон — против него...
Прощайте!

Барбаригго
Вам нельзя отбыть без свиты,
Приличной рангу. Мы, с почтеньем должным,
Проводим дождя в собственный дворец.
Не так ли, братья?

Голоса
Да, конечно.

Дождь
Нет!
Как свита — не пойдете вы. Я дождем
Сюда вошел, а выйду гражданином;
Чрез ту же дверь, но — просто гражданином.
Вся эта пышность — лишняя обида
Истерзанному сердцу, подлый яд,
Что предлагают как противоядь.
Торжественность — для государей; я же —
Никто; но нет: до этого порога
Я — государь. Ах!

Лоредано
Слышите?
Звонит большой колокол св. Марка.

Барбаригго
Звонят!

Председатель
На башне Марка, возвещая выбор
Малипиеро.

Дождь
Звон я узнаю.
Его я слышал; это было тридцать
Пять лет назад! И я уже тогда
Не молод был!

Барбаригго
Присядьте, государь!
Вы весь дрожите.

Дождь
Похоронный звон
Над бедным мальчиком моим... Как сердце
Болит...

Барбаригго
Присядьте.

Дождь
Нет: я до сих пор
Сидел на троне здесь. Пойдем, Марина!

Марина
Готова я.

Дождь
(*делает несколько шагов и останавливается*)
Пить хочется. Кто даст мне
Воды?

Барбаригго
Я!

Марина
Я!

Лоредано
Я!

Дождь
(*берет кубок у Лоредано*)
Лоредано, ваш я
Возьму сосуд: ведь вам всего пристойней
Дать мне испить.

Лоредано
Но почему?

Дождь
Я слышал,
Хрусталь венецианский не выносит
Отравы, разбиваясь, если яд
В него вольют. Ваш кубок — цел.

Лоредано

И что же?

Дождь
Или поверье лжет, иль вы невинны.
Но ни тому не верю, ни тому.
Пустая сказка...

М а р и н а

Странны ваши речи...
Вам надо сесть; уйти успеем. Ах!
У вас такой же вид, как был у мужа!

Б а р б а р и г о

Он упадет! Держите! Кресло! живо!

Д о ж

Звонят!.. Уйдем отсюда... Мозг в огне!..

Б а р б а р и г о

Молю вас: обопритесь.

Д о ж

Государя

Встречают стоя смерть!.. Мой бедный мальчик!..
Прочь руки!.. Этот звон!..

(Падает и умирает.)

М а р и н а

О боже, боже!

Б а р б а р и г о

(к Лоредано)

Вы своего добились!

П р е с е д а т е л ь

Позовите

На помощь! Эй!

С л у г а

Все кончено.

П р е с е д а т е л ь

Тогда

Его мы погребем достойно званью,
И роду, и заслугам перед нашей
Республикой, которой он служил
Так ревностно, как мог в такие годы.
Согласны, братья?

Б а р б а р и г о

Он избег несчастья,
Быв государем, подданным скончаться:
Пусть будет он похоронен, как дож!

П р е с е д а т е л ь

Что ж, все согласны?

В с е

(кроме Лоредано)

Да!

П р е с е д а т е л ь

Так мир ему!

М а р и н а

Прошу простить, но это ведь насмешка!
Довольно шуток с этим бедным прахом:
Лишь миг назад, когда в нем жизнь была,
(Раздвинувшая вам владенья ваши
И вашу власть своей возвысив славой),
Его вы из дворца изгнали, с трона
Низвергли — столь безжалостно и холодно!
И вот теперь, когда он глух к почету
(Которого не принял бы живой),
Решили вы пустой и праздной помпой
Почтить его — кого топтали вы!
Вам царственные похороны будут
Упреком, а не честью.

П р е с е д а т е л ь

Мы, синьора.

Не так легко берем назад решенья.

М а р и н а

Да, если надо истерзать живых.
Но думаю, что даже вы не властны
Над смертными (хотя иным, конечно,
Попасть придется в руки тех существ,
Чья власть подобна вашей). Поручите
Мне этот прах, как поручали мне же
Остаток дней его, столь кротко вами
Урезанный. То — мой последний долг
И может быть мне грустным утешеньем:
Причудлива печаль и любит смерть
И ризы гробовые.

П р е с е д а т е л ь

Вы решили

Взять погребенье на себя?

М а р и н а

Решила.

Хоть он истратил все, служба стране,
Но у меня приданое осталось;
На эти средства я похороню
Его и... с ним...

(От волнения умолкает.)

П р е с е д а т е л ь

Оставьте средства детям.

М а р и н а

Ах, да: они — спасибо вам — сироты.

П р е с е д а т е л ь

Мы вашу просьбу отклоняем. Тело
С обычной помпой выставят — и в землю

Его проводит новый дож, одетый
Не дожем, а сенатором.

М а р и н а

Я знаю,
Что иногда убийцы погребают
Убитых, но не слышала досель
О столь великолепном лицемерье
У тела жертв. Я знаю вдовьи слезы;
Я много пролила их (вновь спасибо);
Наследников видала в платье черном;
Он их лишен; их роль теперь вы сами
Сыграть хотите. Что же — ваша воля,
Как воля неба грянет в некий день.

П р е с е д а т е л ь

Синьора, понимаете ли вы,
С кем говорите и опасность речи
Подобной?

М а р и н а

Первое — ясней чем вы,
Последнее — не хуже вас. Не страшно.
Еще нужны вам похороны?

Б а р б а р и г о

Нет,
Не слушайте безумных слов ее:
Вся обстановка служит извиненьем.

П р е с е д а т е л ь

Мы не заметим их.

Б а р б а р и г о

(к Лоредано, который что-то пишет на таблетках)

Что так усердно
Ты пишешь на таблетках?

Л о р е д а н о

То, что он
Мне уплатил.

П р е с е д а т е л ь

А что за долг?

Л о р е д а н о

Старинный
И подлинный: природе долг — и мне.

З а н а в е с

САРДАНАПАЛ

Трагедия

Знаменитому Гете

Иностранец дерзает поднести почтительный дар литературного вассала сеньеру, первому из современных писателей, создавшему литературу своей страны и прославившему литературу Европы.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Сарданапал, царь Вавилонии, Ассирии и пр.
Арбас, мидянин, помогающий престолу.
Белез, халдеец, прорицатель.
Салемен, шуриц царя.
Алтада, дворцовый чиновник.
Панья.
Зам.

Сферо.
Балеа.
Зарина, царица.
Мирра, ионийская рабыня, возлюбленная Сарданапала.
Женщины из гарема Сарданапала, стражи, слуги, халдейские жрецы, мидяне и т. д.

Действие в царском дворце в Вавилонии.

АКТ ПЕРВЫЙ

Зал во дворце.

Салемен.

Салемен

Он оскорбил царицу, — он ей муж;
Он оскорбил сестру мою, — он брат мой;
Он оскорбил народ, — ему он царь,
И должен быть я подданным и другом:
Нельзя ему погибнуть так. Мне ль видеть,
Что род Немрода и Семирамиды
Иссяк, — что власть тринадцати столетий
Закончится, как песня пастуха?
Ему проснуться б! Ведь не всю отвагу
Беспечную в изнеженной душе
Изъел разврат; еще в ней скрыта сила:
Хоть смята жизнью — не убита; пала,
Но не погибла в безднах сладострастья.
Родясь в шатре, он трона б мог достиг;

Но, будучи рожден монархом, что он
В наследство сыновьям оставит? — Имя,
Которое отвергнут сыновья!
Но все же есть исход. Он искупил бы
И лень и стыд, на правый путь вернувшись:
Ведь так легко с него он своротил,
А неужели управлять народом
Труднее, чем бесплодно тратить жизнь?
Труднее войском править, чем гаремом?
Он вянет в низких радостях; он гасит
Свой дух и разрушает плоть делами,
Что ни здоровья не дают, ни славы —
Как их дают охота и война.
Ему проснуться должно. Но разбудит
Его — увы! — лишь гром.

Из внутренних покоев доносится нежная музыка.

Чу! Лютни, лиры,

Кимвалы... Похотливое бряцанье
Игривых струн и сладкий голос женщин
И тварей тех, кто этих женщин хуже,
Должны его разгулу эхом быть,
Затем что царь, сильнейший из монархов.
В венце из роз, валяется, небрежно
Отбросив диадему, чтоб ее
Взял первый, кто схватить ее посмеет.
Вот, показались... Душным ароматом
Уже несет от раздушенной свиты;
Вот жемчуга разряженных наложниц —
Хор и совет его — уже сверкают
Вдоль галлерей; и меж распутниц — он!
Он! Женщина лицом и платьем — внук
Семирамиды! Он! Не царь — царица!
Все ближе он... Остаться? Да! И встретить,
И повторить, что говорят о нем
Все честные... Идут рабы; ведет
Их государь, сам подданным их ставший!

Входит Сарданапал, женственно одетый; голова его
увенчана цветами, одежда небрежно развевается; его
сопровождает свита из женщин и юных рабов.

Сарданапал

(обращаясь к некоторым из свиты)

Гирляндами беседу над Евфратом
Украсить, осветить и все доставить
Для пиршества парадного. Мы в полночь
Там будем ужинать. Наладить все.
И пусть галерею готовят. Веет
Прохладный ветер, выбля гладь речную.
Мы отплывем. А вам, прекрасным нимфам,
С кем я делю досуг мой сладкий, должно
Увидеться со мной в тот час блаженный,
Когда сберемся мы, как звезды в небе,
Чтоб вам светлей, чем звезды, заблестать,
До тех же пор свободны вы. А ты,
Ионянка возлюбленная, Мирра,
Уйдешь или останешься?

Мирра

Властитель!

Сарданапал

«Властитель!» Жизнь моя! Что за холодный
Ответ! Проклятие царей — такие
Ответы! Госпожа себе и мне,
С гостями ль ты уйдешь, или меня
Вновь опьянишь?

Мирра

Как повелит мой царь.

Сарданапал

Не говори так! Нет мне счастья выше,
Чем исполнять твою любую прихоть.

Не смею я шептать мои желанья,
Боясь твоей покорности: ты слишком
Спешишь мечтою жертвовать другим.

Мирра

Я остаюсь. Я счастлива, лишь видя,
Что счастлив ты. Но только...

Сарданапал

Что же «только»?

Преградю меж нами может быть
Твое лишь, дорогое мне, желанье.

Мирра

Мне кажется, настал обычный час
Совета. Мне бы лучше удалиться.

Салемен

(выступая вперед)

Ионянка права: ей здесь не место.

Сарданапал

Кто говорит? Ты, брат мой?

Салемен

Брат царицы,

Тебе же, царь мой, преданный слуга.

Сарданапал

(обращаясь к свите)

Как я сказал, вы все теперь свободны
До полночи, когда прошу явиться.

Свита удаляется.

(К повернувшейся уходит Мирра.)

Как? Разве ты уходишь, Мирра?

Мирра

Царь,

Ты не сказал: «Останься».

Сарданапал

Я прочел

Желанье это в ионийском взоре,
Который так я знаю!

Мирра

Царь, ваш брат...

Салемен

Брат по жене, наложница! Меня ты
Зовешь, не покраснев?

Сарданапал

Не покраснев?

Ни глаз, ни сердца у тебя! Она
Зарделась, как закат в горах Кавказа,
Оттенки розы льющий на снега, —
И ты ее коришь, слепец холодный,
Того не видя!.. Как, ты плачешь, Мирра?

С а л е м е н

Пусть плачет: есть о чем поплакать ей,
Из-за кого другие горше плачут.

С а р д а н а п а л

Будь проклят, кто ее довел до слез!

С а л е м е н

Не проклинай себя: и так мильоны
Тебя кланут.

С а р д а н а п а л

Забылся ты! Смотри,
Я вспомню, что я царь!

С а л е м е н

О, если б!

М и р р а

Царь мой,

И вы, мой князь, позвольте мне уйти.

С а р д а н а п а л

Ну что ж — иди, коль нежный дух твой ранен
Столь грубо. Только помни: мы должны
Вновь свидеться. Мне легче трон утратить,
Чем радость — быть с тобой.

Мирра уходит.

С а л е м е н

Смотри, чтоб разом

Не утерять и трон, и радости!

С а р д а н а п а л

Брат!

Я — видишь? — сдержан, слыша речь такую,
Но все ж не выводи меня за грани
Натуры мягкой.

С а л е м е н

Именно за грани

Натуры слишком мягкой, слишком дряблой
Хочу повлечь тебя и разбудить,
Хотя б себе во вред!

С а р д а н а п а л

Клянусь Ваалом,

Меня тираном хочет сделать он!

С а л е м е н

А ты — тиран! Не только там тиранство,
Где кровь и цепи. Деспотизм порока,
Бессилье и безнравственность излишеств,
Безделье, безразличье, сладострастье
И лень — рождают тысячи тиранов,
Что за тебя свирепствуют, стократ
Превосходя злодейства одного
Жестокого и властного монарха.
А ложный блеск твоих причуд развратных —

Не меньше яд, чем тирания слуг,
И подрывает пышный твой престол
И все его опоры. Враг ворвется ль,
Иль разразится внутренний мятеж —
И то, и то губительно. Народ твой
Врага не сможет отразить, а к бунту
Скорей примкнет, чем усмирит его.

С а р д а н а п а л

Кто дал тебе стать голосом народа?

С а л е м е н

Забвение обид сестры-царицы;
Любовь к племянникам-малюткам; верность
Царю (она понадобится вскоре
Ему на деле); память о Немвроде;
И то еще, чего не знаешь ты.

С а р д а н а п а л

А что?

С а л е м е н

Тебе неведомое слово.

С а р д а н а п а л

Скажи; люблю учиться.

С а л е м е н

Добродетель.

С а р д а н а п а л

Неведомое?! Да оно завязло
В ушах — противней воя черни, хуже
Трубы визгливой! Лишь его твердит
Сестра твоя!

С а л е м е н

Ну, прочь от скучной темы;
Послушай о пороке.

С а р д а н а п а л

От кого?

С а л е м е н

От ветра хоть бы: в нем народный голос.

С а р д а н а п а л

Ты знаешь: добр я и терпим; скажи мне:
Чем движим ты?

С а л е м е н

Бедой, тебе грозящей.

С а р д а н а п а л

Какой?

С а л е м е н

Твои народы (их немало
В твоем наследье) все тебя хулят.

Сарданапал
Меня? Чего ж хотят рабы?

Салемени

Царя.

Сарданапал

А я?

Салемени

Для них — ничто; по мне, ты мог бы
Стать чем-нибудь.

Сарданапал

Крикливые пьянчуги!

Чего им нужно? Мир... довольство...

Салемени

Мира

Так много, что — позор; довольства ж —
меньше,

Чем полагает царь.

Сарданапал

А кто виной?

Лжецы-сатрапы, правящие дурно.

Салемени

И царь отчасти, кто вовек не глянет
Поверх дворцовых стен, а если выйдет,
То лишь затем, чтоб летний зной избыть
В одном из горных замков... О Ваал,
Великую империю ты создал
И богом стал иль славою как бог
Сверкал века! А царь, твоим потомком
Слывущий, никогда не поглядел
Как царь на царство, нам тобой, героем,
Добытое, — твоим трудом, и кровью,
И гибелью! А для чего? Платить
Налоги для пиров, для лихоимства
Любимцев!..

Сарданапал

Знаю! Надо, чтоб я стал
Воителем? Созвездьями клянусь,
Оракулом халдеев, заслужили
Рабы неугомонные, чтоб я
Их проклял и повел навстречу славе!

Салемени

А почему же нет! Семирамида,
Хоть женщина, водила ж ассирийцев
На светлый Ганг?

Сарданапал

О да. Но как вернулась?

Салемени

Как *муж* и как герой. Отбитой, но —
Непобежденной. С двадцатью бойцами
Отход свершила в Бактрию.

Сарданапал

А сколько

Осталось пищи коршунам индийским?

Салемени

Молчит история.

Сарданапал

Ну, так я скажу!

Ей лучше б выткать двадцать платьев, сидя
В своем дворце, чем с двадцатью бойцами
Бежать, покинув мириады верных
Стервятникам, волкам и людям. (Люди ж
Свирепей прочих.) И вот это — слава?
Мне лучше быть безвестным навсегда!

Салемени

Воителям не всем такой удел.
Семирамида, ста царей праматерь,
Из Индии бежала, но зато
Мидян включила, персов и бактрийцев
В державу ту, которой управляла,
Которой править *мог бы* ты

Сарданапал

Я — *правлю*,

Она лишь покоряла.

Салемени

Скоро будет
Нужнее меч ее, чем скипетр твой.

Сарданапал

Был некий Вакш; о нем я от моих
Гречанок слышал; был он божеством,
Но греческим, — чужим для наших капищ, —
И захватил он Инд золотоносный,
О коем ты болтаешь, где была
Побеждена Семирамида.

Салемени

Слышал;
И этот человек, ты видишь, богом
Прослыл за подвиг.

Сарданапал

Я не человека
Сейчас почту, а бога. Виночерпий!

Салемени

Что царь задумал?

Сарданапал

Должен быть почтён
Наш новый бог и древний покоритель.
Вина!

Входит виночерпий.

Сарданапал

Подать мне кубок золотой,
В алмазах весь, что чашею Немврода
Слышет. Беги, наполни, принеси.

Виночерпий уходит.

Салемен

Вслед за бессонной оргией не время
Вновь пить

Возвращается виночерпий, неся вино.

Сарданапал

(беря кубок)

Мой благородный родич! Если
Не лгут нам греки — варвары с далеких
Окраин царства нашего, — то Вакх
Завоевал всю Индию, не так ли?

Салемен

Да, и за это назван богом.

Сарданапал

Нет,

Не так. Следы его завоеваний —
Два-три столпа (я их достать бы мог,
Не пожалей затрат на перевозку),
Все, что осталось от потоков крови,
Им пролитой, держав, им сокрушенных,
Сердец, разбитых им! А в этом кубке
Его бессмертье — в той лозе бессмертной,
Чью душу первым выжал он и дал
На радость людям, как бы в искупление
Свершенных им блистательных злодейств.
Без этого он был бы просто смертный,
В простом гробу, и, как Семирамида, —
Чудовищем в людской личине, с блеском
Обманной славы. Он вину обязан
Божественностью; дай ему в тебя
Влить человечность! Братец мой ворчливый,
Хлебнем за греческого бога!

Салемен

Дай мне

Все царство — я не надругаюсь так
Над верой предков!

Сарданапал

Для тебя — герой он,

За то, что пролил море крови, но
Не бог — создавший чары из плода,
Что гонят скорбь и старость молодят,
И вдохновляют юность, и забвенье
Дают усталым и отвагу робким,
Сменяя новым скучный этот мир.
Ну, за тебя я пью и за него,
За подлинного человека: он

Все сделал, доброе и злое, чтобы
Дивить людей.

(Пьет.)

Салемен

Не рано ль начинаешь

Твой пир?

Сарданапал

А что ж? Пир всех побед приятней:
Пьют, а не плачут. Впрочем, цель моя
Была иной: коль за мое здоровье
Не хочешь выпить — продолжай.

(К виночерпию.)

Мой мальчик.

Иди,

Виночерпий уходит.

Салемен

Дай с тебя стряхнуть мне спячку,
Пока мятеж тебя не пробудил.

Сарданапал

Мятеж? Какой? И чей? Причина? Повод?
Я царь законный; род мой искони
Был царским. В чем я пред моим народом
Иль пред тобой виновен, что меня ты
Бранишь, а он бунтует?

Салемен

В чем виновен

Ты предо мной — я умолчу.

Сарданапал

Царицу,

Ты думаешь, я оскорбил?

Салемен

Что ж думать?

Да, оскорбил!

Сарданапал

Терпенье, князь! Послушай:

У ней — вся власть, весь блеск, присущий сану,
Почет, опека над наследным принцем,
Все блага, что царице надлежат.
Я стал ей мужем ради нужд престола,
Любил — как любит большинство мужей.
Но если вы считали, что я буду
С ней связан, как мужик халдейский с бабой, —
То вы людей, монархов и меня
Не знали.

Салемен

Стоит ли нам спорить? Род наш
До жалоб не снисходит, а сестра
Ничьей любви не станет помогать,
Хотя бы царской. И не примет страсти,
С распутными рабынями делимой.
Она молчит.

Сарданапал
Что ж разговорчив брат?

Салемени
Я — эхо всей империи твоей,
Чей трон непрочен под царем ленивым.

Сарданапал
Рабы неблагодарные! Роптать,
Что я не лил их кровь, что не водил их
В пески пустыни дохнуть, их костями
Не убелял побережий топких Ганга,
Не истреблял мечом законов диких,
Не гнул их на постройке пирамид
Иль вавилонских стен!

Салемени
Но это все
Достойней государя и народа,
Чем петь, плясать, блудить и пить, и тратить
Казну, и добродетель попирать.

Сарданапал
И у меня заслуги есть: я за день
Два города построил — Анхиал
И Тарс. А ведьма, бабушка моя,
Семирамида, жадная до крови,—
Она тотчас разрушила бы их!

Салемени
Твои заслуги чту я: ради шутки
Два города воздвиг ты, осралив
Их и себя постыдными стихами.

Сарданапал
Себя! Да оба города не стоят
Стихов таких, клянусь Ваалом! Можешь
Бранить меня, мой нрав, мое правленье,
Но не стихи с их правдою святой!
Вот эта надпись, где в словах коротких
Оценена вся жизнь: «Сарданапал,
Сын Анасиндаракса, царь, построил
За день единый Анхиал и Тарс.
Ешь, пей, люби. Все прочее не стоит
Щелчка».

Салемени
Достойная мораль и мудрость,
Народу возвещенная царем!

Сарданапал
Ну да! Прочесть хотел бы ты иное:
«Страшись царя; плати в его казну;
Служи в его фалангах; жертвуй кровью;
Пади во прах, встань и ступай: трудись».
Или такое: «Царь Сарданапал
Здесь умертвил своих врагов сто тысяч;
Вот их гроба — его трофей». Но это

Воителям оставлю я. С меня
Довольно, если подданным моим
Гнет жизни облегчу и дам в могилу
Сойти без воплей. Вольности мои
Народу не запретны. Все мы люди.

Салемени
Твоих отцов — богами чтили...

Сарданапал
В прахе
Могильном, где ни смертных, ни богов!
Оставь твердить об этом! Черви — боги;
По крайней мере кормятся богами
И дохнут, все сожрав. А боги-предки —
Простые люди. Вот я — их потомок;
Во мне — одно земное и ни капли
Божественного; разве только склонность,
Тебе столь неприятная: любить,
Быть милосердным и безумства ближних
Прощать, а также (человечья слабость) —
Свои.

Салемени
Увы! Подписан приговор
Великой, несравненной Ниневии!
О горе, горе!

Сарданапал
Что тебя страшит?

Салемени
Тебя враги подстерегают. Буря
Вот-вот ударит и сметет тебя,
Твой трон и нас! И для потомков Бэла
Все нынешнее станет *прошлым* завтра.

Сарданапал
Чего ж бояться нам?

Салемени
Измены дерзкой,
Тебе силки расставившей. Но можно
Еще спастись. Уполномочь меня
Печатью царской на борьбу с крамолой,
И головы твоих врагов сложу я
К твоим ногам.

Сарданапал
Так... Много?

Салемени
Что считать,
Когда *твоей* грозят? Дай власть мне; дай
Твою печать и вверь мне остальное.

Сарданапал
Нет, жизнь людей не принесу я в жертву.
Жизнь отнимая, мы не знаем — что мы
Даем и что берем.

С а л е м е н

И ты не хочешь
Взять жизнь врага, грозящего твоей?

С а р д а н а п а л

Вопрос нелегкий. Все же ответчу: нет!
Нельзя без казней разве? Но кого ты
Подозреваешь? Заклучи под стражу.

С а л е м е н

Не спрашивай, прошу тебя; не то
Ответ мой побежит в толпе болтливой
Твоих любовниц, облетит дворец,
Проникнет в город, и тогда — пропало.
Доверься мне.

С а р д а н а п а л

Доверюсь, как всегда.
Возьми печать.

(Дает ему перстень.)

С а л е м е н

Еще прошу...

С а р д а н а п а л

О чем?

С а л е м е н

Пир отменить, назначенный на полночь
В беседке над Евфратом.

С а р д а н а п а л

Отменить?!

Нет! Хоть бы все мятежники сошлись!
Пускай приходят с мерзостью любою —
Не отступлю! Из-за стола не встану
Ни мигом раньше, кубка не отвергну,
Ни розой меньше не возьму, ни часом
Не сокращу веселья! Не боюсь!

С а л е м е н

Но ты б вооружился, если надо?

С а р д а н а п а л

Пожалуй. У меня прекрасный панцырь
И меч, закалки той же; лук и дротик,
Что и Немроду подошли б, — немного
Тяжеловаты, но удобны. Кстати:
Как я давно не пользовался ими,
Хоть на охоте! Ты их видел, брат?

С а л е м е н

Да время ли для вздора и фантазий!
Возьмешь оружие в должный час?

С а р д а н а п а л

Возьму ли?

О, если чернь нельзя ничем полегче
Смирить — за меч возьмусь, пока она
Не взмолится, чтоб он стал прялкой!

С а л е м е н

Твердят, что прялкой стал твой скипетр. Люди

С а р д а н а п а л

Ложь!

Но пусть. У древних греков, о которых
Рабыни мне поют, болтали то же
О первом их герое, о Геракле,
Омфалу полюбившем. Видишь: чернь
Всегда и всюду рада клеветать,
Чтобы царей унижить.

С а л е м е н

Не болтали
Такого о твоих отцах.

С а р д а н а п а л

Не смели.

Труд и война уделом были их,
И цепь они на латы лишь сменяли.
Теперь у них — мир, и досуг, и воля
Пить и орать. Пускай! Мне все равно.
Одной улыбки девушки прекрасной
Я не отдам за все восторги черни,
Венчающей ничтожных! Что мне в реве
Презренных стад отъевшихся, чтоб я
Ценил их мерзкие хвалы иль дерзкой
Боялся брани?

С а л е м е н

Это люди — сам ты
Сказал; сердца их...

С а р д а н а п а л

И у псов сердца,
Но лучше, ибо преданней. Но к делу.
Ты взял печать; коль вправду будет бунт,
Уйми его, но не жестоко, если
Не вынудят. Мне гадко причинять
Или терпеть страданье. Мы и так —
И раб ничтожный, и монарх великий —
Страдаем вдоволь; груз природных бедствий
Не прибавлять друг другу мы должны,
А облегчать взаимно роковое
Возмездье, отягчающее жизнь.
Им это неизвестно или чуждо.
Я сделал все, чтоб легче было им:
Я войн не вел, я не вводил налогов,
Я не вторгался в их домашний быт,
Я позволял им жить по их желанью
И сам так жил.

С а л е м е н

Но забывал о долге
Царя; вот и кричат они, что ты
Быть государем неспособен.

Сарданапал

Ложь!

К несчастью, я лишь к этому и годен,
Не то последний бы мидиец мог
Меня сменить.

Салемен

И есть один мидиец,
Задумавший такое.

Сарданапал

Ты о чем?

Ты — скрытен; ты вопросов не желаешь,
А я не любопытен. Действуй сам;
Коль нужно будет, окажу поддержку,
Все утвержу. Никто сильнее меня
Не жаждал править мирными и мирно;
Но если гнев разбудят мой, то лучше б
Им грозного Немврода воскресить,
«Великого Охотника!» Все царство
Я превращу в загон, трава зверей,
Кто были, но не *пожелали* быть
Людьми! Они во мне иное видят,
Не то, что есть; но если стану тем,
Кого им *надо* — худшее свершится,
И пусть самих себя благодарят!

Салемен

Что? проняло?

Сарданапал

Кого ж неблагодарность
Не проняла б?

Салемен

Отвечу делом я.

Храни в душе проснувшуюся силу,
Она дремала, но не умерла,
И ты свой трон еще прославить можешь
И полновластно царствовать! Прощай.

(Уходит.)

Сарданапал

(один)

Прощай! Ушел с моим кольцом на пальце,
Заменой скипетра. Он так же крут,
Как я уступчив. Но рабам мятежным
Нужна узда!.. Не знаю, в чем опасность.
Но он открыл, пусть он и устранит.
Ужели жизнь, столь краткую, мне тратить,
Чтоб охранять ее от сокращения?
Она того не стоит. Это значит —
До смерти смерть: жить, опасаясь смерти,
Ища мятеж, подзревая близких
За близость их, а дальних за далекость.
Но если им дано меня смести
С лица земли и с трона — что такое.
Трон и земля здесь на земле? Я жил,

Любил и образ множил мой; а смерть —
Такое же естественное дело,
Как этот вздор. Да, я не лил морями
Кровь, чтобы имя превратить мое
В синоним смерти, ужаса и славы,
Но не раскаивалось. Жизнь моя —
В любви. И если кровь пролить я должен.
То — против воли. До сих пор ни капли
Не вытекло из ассирийских жил
Из-за меня: гроша я не истратил
Из всей казны на то, что хоть слезы
Могло бы стоить подданным моим.
Их я берег — и стал им ненавистен,
Не угнетал — и вот растет мятеж.
О люди! Им коса нужна, не скипетр;
Косить их нужно, как траву, не то
Взойдет бурьян и жатва недовольства
Гнилая почву тучную отравит
И житницу в пустыню превратит!..
Не стоит размышлять! Эй, кто там!

Входит слуга.

Раб,

Скажи гречанке Мирре, что мы жаждем
Быть с нею.

Слуга

Царь, она пришла.

Входит Мирра.

Сарданапал

(слуге)

Ступай.

(К Мирре.)

О милая! Мое ты сердце слышишь:
В нем образ твой возник, — и ты пришла!
Позволь мне верить, что меж нами есть
Оракул нежный, сладостным влияньем
Влекущий нас, когда мы врозь, — быть вместе.

Мирра

Верь: есть.

Сарданапал

Я знаю, но назвать не в силах.

Что это?

Мирра

Бог — на родине моей;
В душе моей — как будто чувство бога
Высокое! Но это чувство смертной;
Смиренье в нем, хотя и счастье, — или
Должно быть счастье, но...

(Умолкает.)

Сарданапал

Опять преграда
Меж нами и мечтой о счастье! Дай мне

Ее смести (встающую в твоей
Заминке), счастье дав тебе, и этим
Свое упрочить!

М и р р а
Государь мой!

С а р д а н а п а л

Вечно
«Мой государь», «мой царь», «мой повелитель»!
Смиренье, робость! Никогда улыбки
Не вижу — разве на пиру безумном,
Когда шуты, напившись, позабудут
Приличия, и с ними я сравняюсь
В скотстве! О Мирра! Все названья эти —
«Царь», «государь», «властитель», «повелитель» —
Могу я слышать и, в былом, ценил.
Верней — терпел в устах рабов и знати;
Когда же их лепечут губы милой,
Целованные мною, — в сердце холод
Проходит, ледяющее сознание,
Что ложь — мой титул, если чувство душит
В моей любимой! Хочется тогда
Сорвать с себя докучную тиару
И в хижине кавказской поселиться
С тобою, и венком сменить венец!

М и р р а

О, если б так!

С а р д а н а п а л

И ты того же хочешь?

А почему?

М и р р а

Неведомое мог бы

Ты там узнать.

С а р д а н а п а л

А что же?

М и р р а

Цену сердца;

О женском говорю.

С а р д а н а п а л

Но я извдал

Их тысячи и тысячи.

М и р р а

Сердец?

С а р д а н а п а л

Сердец.

М и р р а

Ни одного! Но час, быть может,

Придет.

С а р д а н а п а л

Придет! Послушай: Салемен

(Как он проведаль, знает лишь создатель

Державы нашей, Бэл) мне объявил,
Что мой престол в опасности.

М и р р а

Он сделал

Прекрасно.

С а р д а н а п а л

Ты ли это говоришь?

Ты! с кем он был столь груб, кого дерзнул сн
Изгнать издежкой дикой и заставил
Краснеть и плакать?

М и р р а

Я краснеть и плакать
Должна бы чаще. Хорошо, что он
Мне долг напомнил мой. Но про опасность
Упомянул ты, — для тебя?

С а р д а н а п а л

Какой-то

Мидийский темный заговор, и злоба
Войск и племен, и уж не знаю что:
Какой-то лабиринт угроз и тайн.
Ну, Салемен всегда такой, ты знаешь;
Но человек он честный. Перестанем,
Подумаем о пире.

М и р р а

Не о пире, —

Не время! Мудрых предостережений
Ты не отверг?

С а р д а н а п а л

И ты боишься?

М и р р а

Я —

Гречанка; мне ль бояться смерти? Я —
Рабыня; мне ль свободы устрашиться?

С а р д а н а п а л

Так почему бледнеешь?

М и р р а

Я — люблю.

С а р д а н а п а л

А я? Тебя люблю я больше жизни
Моей короткой, больше всей державы
Колеблемой, — но не дрожу я.

М и р р а

Значит,

Ты ни себя не любишь, ни меня:
Любя другого, и себя ведь любят —
Ради него... Все это безрассудно:
Нельзя терять впустую жизнь и трон!

С ар д а н а п а л
Терять! Но кто же, дерзкий, посягнет
На них?

М и р р а
А кто попытки убоится?
Коль сам себя забыл их царь — никто
О нем не вспомнит!

С ар д а н а п а л
Мирра!

М и р р а
О, не хмурься!
К твоей улыбке так привыкла я,
Что горше мне суровый вид, чем кара,
Быть может возвещаемая им.
Царю — я подданная, господину —
Рабыня, человека — я люблю,
Охваченная роковым влеченьем!
Гречанка, ненавижу я монархов;
Рабыня — цепи; ионийка, я
Унижена любовью к иноземцу
Сильнее, чем оковами. И все же
Люблю тебя! И если той любви
Хватило, чтобы душу переделать,
Ужель она откажется от права
Тебя спасти?

С ар д а н а п а л
Спаси! Ты так прекрасна!
Люби меня, люби, а не спасай!

М и р р а
А без любви — где сыщешь безопасность?

С ар д а н а п а л
Про женскую любовь я говорю.

М и р р а
Жизнь человек сосет из женской груди
И учится словам из женских уст;
И первый плач близ женщины смолкает,
И женщина последний слышит вздох:
Мужчины нарушают долг печальный
Быть при вожде в его последний миг!

С ар д а н а п а л
О, златоустая! Звучит твой голос
Как музыка — трагическою песнью,
Которую так любят у тебя
На родине, ты говорила. Плачешь?
Не надо!

М и р р а
Я не плачу. Но — молю —
Не говори о родине моей.

С ар д а н а п а л
Но ты сама нередко...

М и р р а
Правда, правда;
Мысль вечная невольно идет слова;
Но речь других о Греции — мне нож!

С ар д а н а п а л
Молчу... Меня спасти ты хочешь; как же?

М и р р а
Уча спасти не одного себя,
Но всю страну огромную от худшей
Из войн — братоубийственной войны.

С ар д а н а п а л
Но я, дитя, все войны ненавижу;
Живу я в мире, в радостях; чего же
Еще?

М и р р а
Ах, царь! С обычными людьми
Нужна нередко видимость войны,
Чтоб сущность мира охранить; царю же —
Порою страх внушать, а не любовь.

С ар д а н а п а л
Но я искал любви.

М и р р а
А не внушил
Ни страха, ни любви.

С ар д а н а п а л
Тебя ль я слышу?

М и р р а
Речь — о любви народа, себялюбца;
Народу нужен страх перед законом,
Не гнет: о нем не должен думать он;
А думает — пускай его считает
Защитою от худшего, от гнета
Страстей. А царь вина, цветов, пиров,
Любви — вовек не сыщет славы.

С ар д а н а п а л
Славы!
А слава — что?

М и р р а
Спроси отцов-богов.

С ар д а н а п а л
Они молчат. О них жрецы болтают,
Стремясь подачку выпросить на храм.

М и р р а
Взгляни в анналы тех, кто создал царство.

С ар да на п ал

Я не могу: они в крови. К тому же
Империя основана, а большей
Не нужно мне.

М и р р а

Ты эту сбереги.

С ар да на п ал

Ее мне все ж для наслаждений хватит...
Идем к Евфрату, Мирра: чудный вечер;
Галера ждет, и павильон разубран
Для пиршества ночного и такою
Сверкнет красой и блеском, что и звезды
Небесные увидят в нем звезду!
И, свежими увенчаны цветами,
Возляжем мы с тобой подобно...

М и р р а

Жертвам.

С ар да на п ал

Нет, как цари, как пастухи-цари
Былых времен, не знавшие венцов
Прекраснее цветочных, а победы —
Лишь мирные, бесслезные... Пойдем.

Входит П а н ь я.

П а н ь я

Вовеки жить царю!

С ар да на п ал

Ни часом дольше,
Чем он любить способен. Ненавижу
Такой язык: жизнь делает он ложью,
Праха вечностью маня! Ну, Панья, быстро

П а н ь я

Мне Салемен велел возобновить
Его мольбу к царю: хотя б сегодня
Дворца не покидать; он, возвратясь,
Даст объясненья смелости своей,
Которые, быть может, оправдают
Его вмешательство.

С ар да на п ал

Я, значит, в клетке?
Уже в плену я? Мне запрещен воздух?
Ответишь Салемену: хоть бы вся
Ассирия бурлила мятежом
Вкруг этих стен, — я выйду!

П а н ь я

Повинуюсь,

Но...

М и р р а

Выслушай, властитель! Много дней
И месяцев провел ты в сладкой неге
В глуби дворца, ни разу не представ

Перед народом, рвущимся к царю;
Ему не показался ты; сатрапов
Не проверял; богам не поклонялся;
Оставил все на произвол судьбы;
И все в стране — все, кроме зла, — уснуло!
И ты не хочешь день еще помедлить —
Лишь день, который, может быть, спасет?
Немногим верным не подаришь суток —
Для них, для предков, для себя, для малых
Наследников твоих?

П а н ь я

Она права.

Князь Салемен так торопил меня
Предстать перед твоим священным ликом,
Что я дерзну к ее словам добавить
Мой слабый голос.

С ар да на п ал

Нет!

М и р р а

Но для спасенья
Страны твоей!

С ар да на п ал

Оставь!

П а н ь я

Для всех, кто верен
Престолу, кто сомкнутся вокруг тебя
С твоей семьей!

С ар да на п ал

Все это бредни. Где
И в чем опасность? Это Салемен
Придумал — показать свое усердьё
И доказать, сколь он необходим.

М и р р а

Внемли совету, всем святым молю!

С ар да на п ал

Дела назавтра.

М и р р а

Или смерть сегодня.

С ар да на п ал

Так пусть придет неожиданно — средь веселья
И нежности, восторгов и любви!
Не лучше ль пасть, как сорванная роза,
Чем вянуть?

М и р р а

Так. Ты непреклонен. Ради
Спасения всего, что всех царей
В былом на подвиг звало, — не отложишь
Ничтожный пир?

Сарданапал

Нет.

Мирра

Ну, а для *меня*?

Для моего спасенья?

Сарданапал

Твоего?

О Мирра!

Мирра

Первый дар, что я прошу!

Сарданапал

Да, да! Возьми, хоть ты просила б царство!..
Для твоего спасенья — да! Ну, Панья,
Ты слышал? Прочь!

Панья

Иду!

(Уходит.)

Сарданапал

Мне странно, Мирра:

Что вызвало настойчивость твою?

Мирра

Страх за тебя. Ведь ясно, что не стал бы
Князь, родственник твой, требовать так много,
Не будь опасность велика.

Сарданапал

Но если

Я не боюсь, чего тебе бояться?

Мирра

Коль ты бесстрашен, за *тебя* боюсь!

Сарданапал

Ты завтра этим страхам посмеешься.

Мирра

Или, случись беда, сойду в обитель,
Где нету слез; и это лучше смеха.
А ты?

Сарданапал

Царем, как прежде, буду.

Мирра

Где?

Сарданапал

Там, где Ваал, Немврод, Семирамида.
Здесь я один, там буду с ними. Рок

Мне царство дал; пусть он и уничтожит;
Но буду лишь царем или ничем:
Низложенным не стану!

Мирра

Будь и раньше

Таким ты — кто б дерзнул восстать?

Сарданапал

А кто

Дерзает?

Мирра

Ты кого подозреваешь?

Сарданапал

Подозревать? На то шпионы. Что же
Мы тратим драгоценные минуты
На страх пустой, на болтовню? Рабы!
Для пира приготовить зал Немврода!
Уж если мне тюрьмою стал дворец,
Пусть нам в цепях не будет скучно! Если
Нельзя к Евфрату, в летний павильон
На берегах его прекрасных, здесь нам
Ничто уж не грозит. Эй, кто там? Слуги!

(Уходит.)

Мирра

(одна)

Чем он мне мил? Одних героев любят
В моей стране. Но нет отчизны мне:
Рабе — лишь цепи!.. Да, его люблю я,
И нет звена в оковах тяжелей
Люби без уваженья. Но — что делать!
Он лишь в любви нуждаться будет вскоре
И не найдет. Его теперь покинуть —
Подлей, чем свергнуть с высоты престола
(Что подвигом в моей стране сочли б).
Но это все — не для меня. Когда б я
Спасла его, то крепче полюбила б
Себя, мне это нужно: я ведь пала,
Любя изнеженного иноземца.
Но вижу: он дороже мне, поскольку
Он ненавистен варварам своим,
Врагам всего, в чей дух и кровь Эллады.
Вдохни в него я тот порыв, с которым
Фригийцы бились столько лет в теснине
Меж морем и Пергамом, — он попрал бы
Свою орду и восторжествовал!
Меня он любит, я — его; рабыня —
Хозяина; освободить его
Желаю от пороков. А не выйдет,
Не научу, как править — есть еще
Пути к свободе: научу, как должен
Царь уходить с престола! Но нельзя мне
С ним расстаться!..

(Уходит.)

АКТ ВТОРОЙ

Портал этого же зала.

Белез

(один)

Заходит солнце и как будто медлит,
К империи последний взор клоня!
Какой багрец средь облаков сгущенных,
Предвестье крови!.. Если не напрасно
Я наблюдал за вами, шар закатный
И звезды восходящие, читая
Веленья ваши, от которых Время
Само дрожит, неся судьбу народов,—
Последний час Ассирии пробил!
Как тихо! Не землетрясение — вестник
Великого крушенья, а закат.
Далекий диск халдею-звездочету —
Нетленная страница, где написан
Конец того, что минилось бесконечным...
О солнце! Ты, оракул верный жизни,
Источник жизни, символ божества,
Создавшего ее,— зачем вешаешь
Ты лишь беду? Зачем не возвестишь
Рожденья дней, достойных твоего
Всеславного из недр морских восхода?
Что не сверкнешь надеждой дням грядущим,
Луч гнева нам кидая? О, внемли!
Я твой поклонник, жрец твой и слуга;
Я созерцал восходы и закаты
И взор склонял перед лучом полдненным,
Не смея глянуть; я встречал тебя
И провожал; тебе молился; жертвы
Тебе сжигал; читал в тебе; страшился
И вопрошал, и ты мне отвечало,
Но лишь одним: я говорю, а ты
Уходишь,— не познание, а красу
Восторженному западу оставив,
Пир славы умирающей!.. А что же
Такое — смерть прекрасная? Закат.
И счастлив тот, кто, умирая, будет
С богами схож!..

Через внутреннюю дверь входит Арбас.

Арбас

Что так ушел в молитвы,
Белез? Иль хочешь проследить за богом,
Сходящим в мир еще безвестных дней?
У нас — ночное дело; ночь приходит.

Белез

Но не прошла.

Арбас

Пройдет; а мы готовы.

Белез

Да. Если бы прошла!

Арбас

Пророк не верит,
Хоть звезды о победе говорят?

Белез

Тревожит не победа — победитель.

Арбас

Гадай как хочешь. У меня же столько
Блестящих пик, что все твои планеты
Померкнут. Нас ничем уж не сломить.
Женоподобный царь (а это хуже,
Чем женщина) — все на реке, в кругу
Своих наложниц. На ночь в павильоне
Назначен пир. И первый кубок царский
Последним будет в племени Немврода.

Белез

А племя было мощное.

Арбас

Одрябло.

Но мы исправим дело.

Белез

Ты уверен?

Арбас

Их первый был охотником; я — воин;
Кого ж бояться?

Белез

Воина.

Арбас

Пожалуй,

Жреца скорей? Но, с мыслями такими,
Не лучше ли гаремного царя
Нам сохранить? Зачем дразнил меня?
Зачем втянул в твой заговор — да, твой,
Не менее чем мой!

Белез

Взгляни на небо.

Арбас

Гляжу.

Белез

Что видишь?

Арбас

Нежный сумрак летний

И сонмы звезд.

Белез
Средь них одна — всех раньше
Зажглась и ярче, и трепещет, будто
Покинуть хочет голубой эфир.

Арбас
И что ж?

Белез
Она твоей судьбою правит.

Арбас
(показывая на свой меч)

Моя звезда вот в этих ножнах; если
Она сверкнет — затмится блеск планет!
Подумаем, что делать, чтоб свершились
Вещанья звезд. Мы, победив, воздвигнем
Им алтари, дадим жрецов; ты будешь
Архижрецом какого хочешь бога.
Ведь боги, я заметил, справедливы
И храбрых чтут за набожных.

Белез
И также —
Наоборот. Видал ли ты, чтоб я
Бежал из боя?

Арбас
Нет; я знаю: в битвах,
Как вавилонский вождь, ты столь же тверд,
Сколь опытен как жрец халдейский. Хочешь
Теперь забыть в себе жреца и стать
Бойцом?

Белез
И совместить могу.

Арбас
Тем лучше.
Но я почти стыжусь, что нам придется
Так мало делать. С бабами сражаться —
Позор для победителя. Свалить
Отважного свирепого тирана,
Схватиться с ним, скрестив клинки — вот в этом
Геройство, победишь или падешь.
Но меч поднять на этого червя,
Услышать писк...

Белез
Не прав ты. В нем найдется
Кой-что. Борьбы тебе не избежать.
Но будь он и червем, его гвардейцы
Отважны, и ведет их Салемен,
Холодный, властный.

Арбас
Им не устоять.

Белез
Но почему? Они — бойцы.

Арбас
Конечно;
И лишь боец вождем их должен быть.

Белез
Но Салемен — боец.

Арбас
А царь — нисколько.
К тому же князь, из-за сестры, не терпит
Изнеженного властелина. Разве
Хоть раз его видал ты на пирах?

Белез
Нет; но в совете он всегда.

Арбас
И вечно
Осмеян: не довольно ль, чтобы стать
Мятежником? На троне — шут; сестра —
Унижена; сам он — оттолкнут. Мы ведь
Мстим за него.

Белез
Ему бы мысль такую
Внушить! Но — трудно.

Арбас
А нельзя ль его
Прощупать?

Белез
Что ж, в удобную минуту.
Входит Балеа.

Балеа
Сатрапы! Царь вам повелел прибыть
На пир сегодня.

Белез
Слышать — подчиниться.
Пир в павильоне?

Балеа
Нет; здесь во дворце.

Арбас
Как во дворце? Приказ иной был отдан.

Балеа
Теперь — такой.

Арбас
А почему?

Балеа
Не знаю.
Итти мне можно?

Арбас
Стой.

Белез
(Арбасу, тихо)

Пусть он уходит.
(К Балее.)

Что ж, Балее, благодари царя,
Край царской ризы поцелуй, скажи:
Его рабы поднять готовы крохи,
Что он обронит с царского стола
В час... В полночь?

Балее
В полночь; место — зал
Немврода.

Итак, вельможи, преклонясь,— иду.
(Уходит.)

Арбас
Не нравится мне эта перемена
Внезапная; здесь что-нибудь таится.

Белез
Он за день сам меняется сто раз.
Лень — прихотлива и в своих причудах
Порой проходит больше парасангов,
Чем полководец, обойти решивший
Врага. О чем задумался?

Арбас
Любил он
Веселый этот павильон; он летом
По нем с ума сходил.

Белез
Он и царицу
Любил и тут же — тысячи распутниц;
Все в свой черед любил он — лишь не мудрость
И славу.

Арбас
Все ж не нравится мне это.
И нам ведь надо план менять. Напасть
Легко на отдаленную беседку,
Средь сонной стражи и придворных пьяных,
Но зал Немврода...

Белез
Вот что? Гордый воин
Боялся, что легко взойдет на трон;
Что ж волноваться, если две или три
Ступеньки будут скользки сверх расчета?

Арбас
Боюсь ли я — ты в должный час узнаешь.
Ты часто видел: жизнь я ставил ставкой
И ею весело играл. Но здесь
Игра крупнее — царство.

Белез
Но ведь я
Уже предрек: ты овладеешь тронем.
Вперед — и побеждай.

Арбас
Будь я провидцем,
Я б это сам предрек себе. Но звездам
Повиноваться должно; я ни с ними,
Ни с их чтецом не смею спорить. Кто там?

Входит Салемен.
Салемен
Сатрапы!

Белез
Князь?
Салемен
Искал я вас обоих,
Но вне дворца.

Арбас
А почему?
Салемен
Не время.

Арбас
Не время?
Салемен
Да: еще не полночь.

Белез
Полночь?
Салемен
Вас что — не пригласили?

Белез
Ах, конечно.
Забыли мы.

Салемен
О царском приглашенье
Не забывают.

Арбас
Нам оно недавно
Передано.

Салемен
Тогда зачем вы здесь?

Арбас
По должности.
Салемен
Какой?

Белез
По долгу службы:
К царю открыт нам доступ; но царя
Мы не нашли.

Салемен
Я здесь по службе тоже.

Арбас
Нельзя ль узнать, в чем суть ее?

Салемен
Схватить
Изменников. Эй, стража!
Входят страж п.
Сдать мечи,
Сатрапы!

Белез
(подавая меч)
Вот палаш мой, господин.

Арбас
(обнажая меч)
Вот мой.

Салемен
(приближаясь)
Давай.

Арбас
Тебе клинок — и в сердце,
А рукоять не выпущу.

Салемен
(обнажая свой меч)
Что? Вызов?
Тем лучше: ни суда, ни милосердия.
Эй, стража, зарубить его!

Арбас
Да, стража.
Сам не посмеешь?

Салемен
Сам? Безумный раб!
Да что в тебе такое, перед чем
Отступит князь? Страшна твоя измена,
Не сила; зуб змеиный твой, не львиный, —
Ничто без яда. Зарубить!

Белез
(вмешиваясь)
Арбас!
В уме ли ты? Я ж отдал меч. Доверься,
Как я, суду царя.

Арбас
Скорей доверюсь
Я болтовне твоей о звездах или

Руке вот этой слабой, но умру
Царем души и тела, чтоб никто их
Не заковал.

Салемен
(стражам)
Слыхали, что сказал он,
Что я сказал? Не взять его, *убить!*

Воины кидаются на Арбаса, но тот защищается
так отважно и ловко, что они отступают.

Салемен
Ах, так! Сам стать я должен палачом?
Глядите, трусы, как падет изменник!

Входит Сарданапал со свитой.

Сарданапал
Стой — или смерти! Стой, говорю! Оглохли?
Иль пьяны? Где мой меч? Ах, да, безумец:
Я не ношу меча...

(К одному из стражей.)

Эй, малый, дай мне
Скорее твой.

(Сарданапал выхватывает меч у одного из воинов и
кидается между бьющимися, разделяя их.)

В моем дворце! Не знаю;
Что мне мешает надвое рассечь вас,
Рубак нахальных?

Белез

Справедливость, царь.

Салемен

Иль слабость.

Сарданапал

(занося меч)

Что?

Салемен

Руби, вторым ударом
Сразив изменника, кого, конечно,
Ты лишь для казни пощадил, — и буду
Я рад.

Сарданапал

Его?! Кто смеет обвинять
Арбаса?

Салемен

Я!

Сарданапал

Конечно!.. Ты забылся,
Князь. Кто тебе дал право?

Салемен

(показывая перстень)

Ты.

А р б а с
(смущенно)

Печать!

С а л е м е н
Да; царь ее признает.

С а р д а н а п а л
Снял я перстень
Не для того.

С а л е м е н
Для своего спасенья —
И так его я применил. Суди:
Сейчас я раб твой, миг назад — наместник.

С а р д а н а п а л
Убрать мечи!
Арбас и Салемен вкладывают мечи в ножны.

С а л е м е н
Мой — спрятан. Своего же,
Молю, не прячь: лишь он — твой верный
скипетр.

С а р д а н а п а л
Тяжелый! И эфесом давит руку.
(К стражу.)
Возьми свой меч. Ну, что все это значит?

Б е л е з
Ответ за князем.

С а л е м е н
Верность у меня,
У них измена.

С а р д а н а п а л
Как! Арбас — изменник,
Белез — изменник? Дико! Не поверю.

Б е л е з
Пусть он докажет.

С а л е м е н
Докажу, — лишь царь
У твоего собрата по измене
Отымет меч.

А р б а с
(Салемену)
Не реже твоего
Врагам царя грозивший.

С а л е м е н
А теперь —
Мне, брату, а потом — царю?

С а р д а н а п а л

Нелепость!
Он не дерзнет! Нет, слышать не хочу!
Все эти распри вздорные плодятся
От подленьких интриг и от наймитов,
Живущих клеветой на честных. Брат мой,
Ты в заблужденье.

С а л е м е н
Прикажи сперва
Ему отдать свой меч и тем явить
Свою покорность; я тогда отвечу
На все.

С а р д а н а п а л
Когда б я мог подумать... Нет...
Немыслимо... Арбас-мидиец — истый
Суровый верный воин, лучший вождь
Народов наших... Нет, не вправе я
Его обидеть, отбирая меч,
Врагам не отданный ни разу... Можешь
При нем остаться, вождь.

С а л е м е н
(снимая перстень)
Возьми твой перстень,
Монарх.

С а р д а н а п а л
Нет, сохрани его, но будь
Умеренней.

С а л е м е н
Во имя царской чести
Я взял его, а честь моя велит
Его вернуть. Отдай его Арбасу.

С а р д а н а п а л
Отдал бы, но ни разу не просил оп.

С а л е м е н
Он и без лживых просьб его добудет,
Поверь!

Б е л е з
Не знаю, чем так восстановлен
Князь против двух людей, для блага царства
Трудившихся усердной всех?

С а л е м е н
Молчи,
Мятежный жрец и вероломный воин!
В тебе одном все худшие пороки
Двух каст опаснейших. Побереги
Лукавство слов и мед проповедей
Для простаков. Преступный твой сообщник
По крайней мере смел и чужд кривляний,
Каким в Халдее ты обучен.

Белез

Слышишь,
Мой царь, сын Бэла, это поруганье
Молящейся твоим отцам страны?

Сарданапал

Ну, тут ему прости. Я разрешаю
Не поклоняться мертвым. Сам я смертен
И чувствую, что предки — тоже прах,
Как все кругом.

Белез

О царь, не думай так:
Они — на звездах и...

Сарданапал

И ты на звездах
Очутись, коль проповедь свою
Не прекратишь. Вот где измена!

Белез

Царь мой!

Сарданапал

Учить меня молиться истуканам?
Пусть он уйдет. Верните меч ему.

Салемен

Мой царь, мой брат, молю: помедли!

Сарданапал

Да,
Чтоб он долбил мне в уши мертвецами,
Ваалом и халдейской чепухой
О тайнах звезд?

Белез

Чти звезды, царь.

Сарданапал

О! звезды —

Я их люблю! Люблю следить за ними
На темносинем своде и сличать
С глазами Мирры; я люблю их отблеск
В текучем серебре евфратских вод,
Когда полночный ветер зыблет влагу,
Вздыхая в прибережных камышах.
Но — боги ли они, иль дома божьи,
Огни ль ночные просто, иль миры,
Иль свет миров, не знаю и — неважно:
В неведение моем такая сладость,
Что всей халдейской мудрости не надо.
К тому ж о них я знаю все, что знает
О мире смертный, то есть — ничего.
Я блеск их вижу, чувствую их прелесть;
Когда ж они блеснут моей могиле —
Исчезнут блеск и прелесть.

Белез

Но возникнет

Иное, лучшее.

Сарданапал

Коль ты позволишь,
Я отложу знакомство с этим лучшим,
Пока же — меч возьми назад и знай,
Что я бойца в тебе предпочитаю
Священнику, хоть не люблю обоих.

Салемен

(в сторону)

С ума сошел он от разврата. Надо
Его спасти, наперекор ему!

Сарданапал

Теперь, сатрапы, слушайте, и ты,
Мой жрец: тебе я много меньше верю,
Чем воину; не верил бы совсем,
Не будь наполовину ты солдатом.
Я с миром отпущу вас, не с прощеньем:
Оно — виновным; вас я не виню,
Хоть ваша жизнь от моего дыхания
Зависит и от страха, — что опасно.
Но я и добр и не пуглив — не бойтесь,
Живите. Будь я деспотом, давно бы
Две ваших головы сочлись кровью
Преступною с дворцовых врат высоких
В сухую пыль, в единственную долю
Моей земли, доставшуюся им,
Возжаждавшим короны. Но оставим.
Как я сказал, вины у вас не вижу —
Но прав ли в этом я? Получше люди,
Чем вы и я, вас обвинить готовы,
И, участь вашу вверх я строжим судьям,
С разбором всех улик, принес бы в жертву
Я двух людей, которые хоть в прошлом —
Но были честны. Вы свободны.

Арбас

Царь!

Такая милость...

Белез

(перебивая)

Лишь тебя достойна;
И мы, хоть невиновны, благодарность...

Сарданапал

Ее для Бэла, жрец, побереги,
А мне не нужно.

Белез

Так как мы невинны...

Сарданапал

Молчи: криклив — преступник. Вы невинны?
Так вам — обида; что ж благодарить,
А не скорбеть?

Белез

Да, если б власть земная
Лишь справедливость знала. Но невинный
Нередко должен милостью считать
Свое же право.

Сарданапал

Недурная мысль
Для проповеди, но не здесь. Припомни,
Когда ты будешь защищать монарха
В суде народа.

Белез

Но царей не судят.

Сарданапал

А *пересуды* есть. Внимая им
В твоих земных дознаньях иль читая
Их в небесах, в мерцанье звездной книги
Таинственной, заметь, что много есть
Вещей меж небом и землей похуже
Того, кто правит, но не убивает,
И, себялюбца, даже тех щадит,
Кто, власть добыв (хоть это нелегко),
Его не пощадили б. Ну, сатрапы,
Теперь располагайте и собою
И вашими мечами. Мне ж отныне
Ни вас, ни их не нужно. Салемени!
За мной!

Сарданапал, Салемени, стражи и свита уходят;
остаются Белез и Арбас.

Арбас

Белез!

Белез

Что думаешь теперь?

Арбас

Погибли мы.

Белез

Мы овладели царством.

Арбас

Как? Нас подозревают; меч над нами
Висит на волоске, упасть готовый
От дуновенья царского, хотя
Царь пощадил нас, почему — не знаю.

Белез

И не гадай. Отсрочка нам на пользу.
У нас есть время, наша сила — та же,
Ночь — та же, нами выбранная. Только
Незнание подозрений заменилось
Такой уверенностью в них, что медлить —
Безумье.

Арбас

Но...

Белез

Опять сомненья?

Арбас

Царь

Нас пощадил; нет, больше: оберег
От Салемена.

Белез

Надолго ль? До первой
Минуты пьяной.

Арбас

Иль, вернее, трезвой.
Но был он благороден; он по-царски
Вернул нам то, что утерjali мы
Столь жалко.

Белез

Столь отважно.

Арбас

Может быть.
Но — тронут я и дальше не пойду,
Что б ни было.

Белез

И целый мир утратишь.

Арбас

Что хочешь, но — не самоуваженье.

Белез

Позор, что жизнь нам даровал подобный
Царь-пряха.

Арбас

Все ж ее нам даровал он;
Вдвойне позор — дарителя убить!

Белез

Что хочешь думай: звезды предвещают
Иное.

Арбас

Пусть они сойдут на землю,
Снянем путь указывая мне,—
Не двинусь.

Белез

Это слабость. Это хуже,
Чем бред старух, что вскакивают ночью,
Во сне увидев смерть! Но дальше, дальше

Арбас

Он, говоря, казался мне Немродом,
Тем изваяньем царственным и гордым
Царя среди царей, владыки храма,
Где прочие — лишь украшенья.

Ты
Его чрезмерно презирал, а помнишь —
Я говорил, что есть величье в нем;
Что ж: он как враг тем благородней.

А р б а с

Подлей. Зачем он пощадил нас?

Б е л е з

Вот как?
Ты был бы рад погибнуть тут же?

А р б а с

Нет;
Но лучше смерть, чем жить неблагодарным!

Б е л е з

Ох! Ну и люди!.. Ты переварил
То, что зовут изменой, дураки же —
Предательством, и вдруг из-за того,
Что полоумный пьяница картинно
Встал меж тобой и Салеменом, ты
Сам превратился вмиг (найду ль сравнение?)
В Сарданапала!.. Нет имен презренней!

А р б а с

Лишь час назад за эту кличку дерзкий
Мне заплатил бы жизнью, но теперь
Тебе прощу я, как простил нам он,
На что Семирамида б не решилась.

Б е л е з

О да: царица не делилась властью
Ни даже с мужем...

А р б а с

И служить царю
Я должен верно.

Б е л е з

И смиренно?

А р б а с

Гордо —
Как честный. Я к престолу буду ближе,
Чем к небу ты; не столь, как ты, надменный,
Но более высокий. Ты же делай,
Что хочешь: у тебя законы, тайны,
Мерила зла и блага; я — лишен их
И только сердцу следовать могу.
Теперь меня ты знаешь.

Б е л е з

Ты закончил?

А р б а с

С тобою — да.

Б е л е з

И, может быть, покинув,
Предашь?

А р б а с

Так может думать жрец — не воин.

Б е л е з

Ну, пусть. Оставим спор, и — слушай.

А р б а с

Нет!
Твой тонкий ум опаснее фалаги.

Б е л е з

Коль так — я действую один.

А р б а с

Один?

Б е л е з

И трон для одного.

А р б а с

Трон занят.

Б е л е з

Больше

Чем пуст: на нем — ничтожество. Арбас!
Тебе всегда я помогал, тебя
Ценил, любил и вдохновлял и даже
Тебе служить готов был, чтоб спасти
Ассирию. Казалось, небо к нам
Благоволит; во всем была удача,
Пока твой дух столь жалко не ослаб.
Но, чем глядеть на скорбную отчизну,
Ее спасу иль жертвою тирана
Паду, а может, и спасу, погибнув,
Как иногда бывает. А с победой —
Слугою станет мне Арбас.

А р б а с

Тебе?!

Б е л е з

А что ж? Иль лучше быть рабом, *прощенным*
Рабом при *госпоже*-Сарданапале?

Входит Панья.

П а н ь я

Приказ царя, сатрапы.

А р б а с

Он исполнен,

Еще не прозвучав.

Б е л е з

А все же — в чем он?

Панья
Немедленно, сегодня в ночь, должны вы
Отправиться в сатрапии свои —
В Халдею, в Мидию.

Белез
С войсками вместе?

Панья
Приказ лишь о сатрапах говорит
С их личной свитой.

Арбас
Но...

Белез
Приказ исполним,
Скажи царю.

Панья
Я должен при отъезде
Присутствовать, а не носить ответы.

Белез
(в сторону)
Ого!

(Громко.)
Прекрасно; мы отбудем вместе.

Панья
Я вызову почетный караул,
По рангу вам присвоенный, и буду
Вас поджидать, но лишь не дольше часа.
(Уходит.)

Белез
Вот — *подчиняйся!*

Арбас
Подчинюсь.

Белез
Не дальше
Ворот дворца, что стал тюрьмою нам.

Арбас
А ты ведь прав! По всей стране огромной
Для нас зияют тюрьмы.

Белез
Нет: могилы.

Арбас
Когда б я думал так, мой добрый меч
Еще одну бы вырыл!

Белез
Дела хватят
Ему и так. Я не гляжу столь мрачно,

Как ты. Но нам уйти отсюда надо
Искусней. Ты согласен, что изгнание —
Наш приговор?

Арбас

А как понять иначе?
Уж такова политика восточных
Царей: прощенье и отрава, милость
И меч, отъезд и вечный сон. Немало
Сатрапов при его отце — он сам.
Я признаю, невинен в этой крови,
Иль был невинен...

Белез

Но таким *не будет,*
Да и *не может.*

Арбас

Ну, не знаю... Многим
Сатрапам при его отце вручались
Наместничества мощные — и многим
Пришлось в пути в могилу лечь. В дороге
Их постигал, не знаю как, недуг:
Столь долгод был и труден путь...

Белез

Лишь только б
На вольный воздух города нам выйти,
Наш путь мы сократим.

Арбас

Не у ворот ли
Он кончится?

Белез

На это не рискнут.
Они тайком нас умертвить решили —
Не во дворце, не в городских стенах,
Где знают нас, где нам друзья найдутся;
Когда бы нас убить хотели здесь,
Уже убили бы. Идем.

Арбас

Ах, знать бы,
Что не на жизнь он посягает...

Белез

Вздор!
Чего еще тираны ищут в страхе?
Идем к отрядам нашим и — вперед.

Арбас

В сатрапии?

Белез

Нет! К твоему престолу!
Есть время, воля, власть, надежда, средства;
Их полумеры нам дают простор.
Вперед!

Арбас

Едва раскаялся — и снова
Преступник я!

Белез

Самозащита — благо,
Оплот последний права. Ну, идем же!
Прочь от дворца, где мутный воздух душит,
А стены пахнут ядом, — прочь отсюда!
Нельзя давать им время передумать;
Уедем быстро — значит, мы покорны;
Уедем быстро — значит, наш попутчик,
Наш добрый Панья, свой приказ получит
За много миль отсюда. Поспешим.
Нет выбора иного. Ну, скорее!

Уходит; Арбас нехотя следует за ним.
Входят Сарданапал и Салемен.

Сарданапал

В порядке все, и кровь не пролилась —
Гнуснейшая пародия лекарства.
С изгнанием их нам не грозит опасность.

Салемен

Как путнику, кто по цветам ступает,
У чьих корней гадиока залегла.

Сарданапал

А что ж мне делать?

Салемен

Переделать все.

Сарданапал

Отнять прощенье?

Салемен

Укрепить венец
Качнувшийся.

Сарданапал

Но это тирания!

Салемен

Зато спасенье.

Сарданапал

Мы спаслись. Они
Ничем грозить не могут нам с границы.

Салемен

Они еще не там и никогда бы
Там не были, будь мой услышан голос!

Сарданапал

Тебя я слушал; почему ж нельзя мне
Их выслушать?

Салемен

Потом поймешь... Пойду
Покуда стражу вызвать.

Сарданапал

И на пире

Мы свидимся?

Салемен

Нет, государь, уволь:
Не бражник я; любой потребуй службы,
Лишь не при Вакхе.

Сарданапал

Надо ж иногда

Пображничать!

Салемен

И надо же кому-то

На страже быть при тех, кто слишком часто
Пируют. Можно удалиться?

Сарданапал

Да...

Еще минутку, милый Салемен,
Мой брат, мой лучший подданный и лучший
Князь, чем я царь. Тебе бы стать царем,
А мне — не знаю, все равно.... Не думай,
Что глух я к честной мудрости твоей
И к доброте, с которой терпишь ты,
Хоть и бранясь, мои безумства. Если
Я пощадил, не вняв твоим советам,
Жизнь тех людей, то ведь не потому,
Что несогласен был с тобой, а просто:
Пускай живут; исправятся, быть может.
Я их изгнал — и спать могу, а если б
Казнил — не спал бы.

Салемен

Ты успеть рискуешь

Навек, щадя изменников. Миг боли
Годами преступлений заменен!
Позволь убрать их.

Сарданапал

Нет, не искушай.

Я слово дал.

Салемен

Возьми назад.

Сарданапал

Оно ведь

Дано царем.

Салемен

Решать оно должно.

Полупрощенье, ссылка — лишь обида;
Прощать — вполне или вовсе не прощать!

С ар да на п ал

А кто ж, когда я их сместить задумал
Иль просто отдалить, кто настоял
Отправить их в сатрапии?

С а л е м е н

Да, верно...
Я позабыл. Когда они доедут...
Ну, что ж... тогда меня и упрекни.

С ар да на п ал

А если не доедут — безопасно —
Без всякого ущерба, — берегись!
Подумай о себе!

С а л е м е н

Позволь итти мне.
Их безопасность — обеспечим.

С ар да на п ал

Можешь;
И обо мне, прошу я, лучше думай.

С а л е м е н

Мой высший долг — всегда служить царю.

(Уходит.)

С ар да на п ал

(один)

Суровый человек. Утес! — настолько
Тверд и высок! Ни одного земного
На нем пятна. А я — из мягкой глины,
Цветами утучненной. Каждой почве —
Свои плоды. Коль я не прав — ошибка
Не очень тяготит мне чувство то,
Названия которому не знаю:
В нем часто боль мне, иногда отрада;
Оно как дух, считающий у сердца
Его биения, их не торопя,
И мне вопросы предлагая, коих
Ни смертный не посмел бы предложить,
Ни сам Ваал, божественный оракул,
Чей мраморный величественный лик
Порой, вечерней мглой омраченный,
Как будто хмурит брови и как будто
Вот-вот заговорит со мной. Но прочь
Пустые думы! Радости хочу я,
И вестника уже мне шлет она!

Входит М и р р а.

М и р р а

Царь! Небо сплошь затмилось; гром рокочет
В летящих тучах, и зигзаги молний
Ужасную сулят грозу. Ужели
Ты выйти хочешь?

С ар да на п ал

Говоришь — гроза?

М и р р а

Да, государь.

С ар да на п ал

Я сам не отказался б
Взамен картины мирной посмотреть
Борьбу стихий. Но это не подходит
К шелкам одежд и к нежным лицам наших
Друзей вечерних... Ты боишься, Мирра,
Как прочие, рычанья туч?

М и р р а

У нас

Их голос чтут вещаньем Зевса.

С ар да на п ал

Зевса?

Ах, наш Ваал! Он тоже правит громом,
А иногда, божественность являя,
Копье метнет, порою — в свой же храм.

М и р р а

Зловещий знак!

С ар да на п ал

Да, для жрецов... Ну, ладно:
Дворца мы не покинем этой ночью,
А пир устроим здесь.

М и р р а

Хвала Зевесу!

Услышал он мольбу мою, которой
Ты не внимал. К тебе добрее боги,
Чем ты к себе: они грозу послали
Преградой меж врагами и тобой.

С ар да на п ал

Дитя! Опасность, если есть — одна
И во дворце, и над рекой в беседке.

М и р р а

Нет! Эти стены высоки и прочны,
И под охраной. Одолеть должны
Изменники запутанность проходов
И прочность врат. В беседке ж нет защиты.

С ар да на п ал

И во дворце защиты нет, и в замке,
И на кавказском крыже, мглой укрытом,
Где лишь орлы гнездятся в недоступных
Расселинах, — коль есть измена! Стрелы
Найдут воздушного царя, а меч
Найдет земного. Но не бойся: эти
Два человека изгнаны отсюда
(Не знаю, справедливо или нет)
И далеко уже.

М и р р а

Ты не казнил их?

С ар д а н а п а л
Столь кроважна? Ты?

М и р р а
Не отступлю
Пред заслуженной карой посягавших
На жизнь твою! Иначе — я сама
Жить недостойна. То же говорит
И Салемен.

С ар д а н а п а л
Как странно! Доброта
И строгость — вместе на меня! И обе
Толкают мстить.

М и р р а
Для греков мщенье — доблесть.

С ар д а н а п а л
А для царя — ничуть; не нужно мести;
А если даже стану мстить — то равным,
Царям!

М и р р а
Те два царями стать хотели.

С ар д а н а п а л
По-женски это, Мирра; а причина —
Страх.

М и р р а
За тебя!

С ар д а н а п а л
Пускай, но — страх. Я знаю:
Твой пол, озлобься, мстительностью робкой
Бывает столь захвачен, столь упорно,
Что не хочу я подражать. Я думал,
Иная ты, — ведь нет в тебе ребячьей
Беспомощности азиатских жен.

М и р р а
Мой царь, я ни любовью не хвалюсь,
Ни свойствами моими. Я делила
Твой блеск — и разделю судьбу. Возможно,
Твоя раба окажется верней,
Чем мириады подданных. Но боги
Да охранят тебя! А мне довольно
Любимой быть, своим доверяясь чувствам,
Чем подтверждать любовь мою в несчастьях,
Каких она, быть может, не смягчит.

С ар д а н а п а л
Для истинной любви не страшны беды:
Они приходят истрепить ее
И, укрепив, бессильные уходят!..
Пойдем, пора: гостей нам нужно встретить,
Благоволивших посетить наш пир.
Уходят.

АКТ ТРЕТИЙ

Освещенный зал во дворце. За столом Сарданапал и его гости. За стенами буря; в течение пиршества время от времени слышен гром.

С ар д а н а п а л
Лей, лей! Все так как должно. Вот где царство
Мое: среди ярких глаз и лиц прекрасных
И радостных! Здесь места нет скорбям!

З а м
И всюду: там, где царь, там блеск веселья.

С ар д а н а п а л
Не лучше ль это всей гоньбы Немврода
Иль войн моей безумной бабки, царства
Хватавшей, чтоб не удержать.

А л т а д а
Хоть были
Они, как весь твой царский род, могучи.—
Никто не превзошел Сарданапала,
Чья радость в мирной жизни, ибо мир —
Единственная подлинная слава.

С ар д а н а п а л
И наслажденье, мой Алтада: слава —
Лишь путь к нему. Что ищем? Наслажденья!

Дорогу сократили мы к нему
И не идем по трупам, и могилой
Не отмечаем каждый шаг.

З а м
О нет!
Все счастливы; благословляем всеми
Царь мира, давший миру мир!

С ар д а н а п а л
Ты в этом
Уверен? Я слышал иное; слышал,
Что есть измена.

З а м
Говорящий это —
Изменник сам! Нелепость! Нет причины.

С ар д а н а п а л
Причины? Правда, нет. Наполни кубок!
Что размышлять? Нет никакой измены,
А если есть — она далеко.

А л т а д а

Гости!

Все на колени — и подыдем чашу
Во здравие царя. Царя? Нет: бога
Сарданапала!

З а м и г о с т и
(преклоняя колени)

Да живет затмивший
Отца-Ваала бог-Сарданапал!

В момент коленипреклонения — удар грома;
некоторые в смущении встают.

З а м

Зачем вставать? Ведь в громае боги-предки
Нам одобренье шлют.

М и р р а

Верней — угрозу.
Как терпишь, царь, безумное нечестье?

С а р д а н а п а л

Нечестье? Нет, коль предки были боги,
Потомок не унизит их. Но все ж,
Друзья, вставайте: благочестье ваше
Для громовержца припасите: мне
Любовь нужна, а не обожествленье.

А л т а д а

Но ведь оно — дань подданных твоих.

С а р д а н а п а л

Однако гром все громче. Ну и ночь
Ужасная!

М и р р а

Для всех, кто не имеет
Дворца — своих поклонников укрыть.

С а р д а н а п а л

Да, Мирра! Если б мог я превратить
Мою страну в приют для всех несчастных!..

М и р р а

Так ты — не бог, коль добрый свой порыв
Осуществить не можешь.

С а р д а н а п а л

Ну, а ваши
Благие боги — могут? Я не вижу.

М и р р а

Не говори так: мы их прогневили.

С а р д а н а п а л

Да, правда: им упреки не по вкусу,
Точь-в-точь, как людям. Да, друзья, вот мысль:
По-вашему, без храмов стали б люди
Молиться небу, вот такому, злому
И шумному?

М и р р а

Перс на горах возносит
Молитвы.

С а р д а н а п а л

Да, но в ясный день.

М и р р а

И я

Хочу спросить: будь твой дворец разрушен,
То много ли придет лыстцов лизать
Тот прах, где царь их распростерся мертвым?

А л т а д а

Прекрасная ионянка язвит
Народ наш, ей далекий. Ассириец
Лишь царским счастьем счастлив — и гордится,
Хвала царя.

С а р д а н а п а л

Простите, гости, резкость
Ионянки прелестной.

А л т а д а

Что, простить?

О царь! Ее мы первой за тобою
Особой чтим!.. Что это?

З а м

Верно, вестер
Далекой дверью хлопнул.

А л т а д а

Нет, похоже
На лязг металла. Вот опять!

З а м

Не дождь ли
По крыше хлещет?

С а р д а н а п а л

Ну, довольно. Мирра,
Любовь моя, настроила ты лиру?
Спой песню Сапфо, помнишь — той гречанки
Что бросилась...

Входит П а н ь я; его меч и разорванная одежда в крови.
Гости вскакивают в испуге.

П а н ь я
(стражсе)

Занять все входы! Мигом
На внешние ограды! Все к оружью!
Царю грозит опасность! Государь,
Прости поспешность: верность в нефь.

С а р д а н а п а л

В чем дело?

П а н ь я

Прав Салемен: предатели-сатрапы...

С ар да на п ал
Ты ранен? Эй, вина! Передохни,
Мой Панья.

П а н ь я
Нет: царапина. Я больше
Устал, спеша предупредить царя,
Чем в схватке.

М и р р а
Что ж мятежники?

П а н ь я
Лишь только
С Арбасом и Белезом мы дошли
До их казарм, они прервали путь.
Я власть хотел употребить, которой
Был облечен; тут кликнули они
Своих бойцов, и те восстали яро.

М и р р а
Все?!

П а н ь я
Много.

С ар да на п ал
Не жалею правдивых слов,
Мой слух жалея.

П а н ь я
Мой отряд ничтожный
Не изменил, и все, кто цел, верны.

М и р р а
И это — все, кто сохранили верность?

П а н ь я
Нет: есть бактрийцы; Салемен повел их
За мною вслед, охвачен подозреньем
К вождям мидийским. Много их; отважно
С мятежниками бьются, пядь за пядью
Отставая; сходятся к дворцу,
Чтоб окружить его — и государя
Спасти. Мне велено...

(Умолкает.)

М и р р а
Молчать не время!

П а н ь я
Князь Салемен велел молить царя
Доспех надеть и, хоть на миг, бойцам
Явиться лично. Появление это
Сейчас важней, чем войско.

С ар да на п ал
Эй, доспех!

М и р р а
Пойдешь?
С ар да на п ал
Пойду! Эй, там, щита не нужно
Он так тяжел; мой меч и легкий панцырь.
Повстанцы где?

П а н ь я
Свирепейшая схватка —
Шагов пятьсот от внешних стен дворца.

С ар да на п ал
Так я верхом могу сражаться. Сферо!
Подать коня! У нас и во дворах
Просторно, и через ворота можно
Полконницы арабской провести.
Сферо уходит за оружием.

М и р р а
Как я люблю тебя!

С ар да на п ал
Я знал.

М и р р а
Но только
Теперь узнала!

С ар да на п ал
(случе)
Мне еще копье.
Где Салемен?

П а н ь я
Как воин — в самой гуще
Сраженья.

С ар да на п ал
Поспеш к нему. Дорога
Еще свободна? Меж дворцом и войском
Возможна связь?

П а н ь я
Была возможна. Впрочем,
Я не боюсь: войска стояли твердо,
Построившись фалангой.

С ар да на п ал
Салемену
Скажи, чтоб он берег себя; что я
Собой рискну и — еду.

П а н ь я
В этом слове —

Победа!
(Уходит.)

С ар да на п ал
Зам! Алтада! За оружие!
Возьмете в арсенале. Наблюдайте,

Чтобы всех женщин в безопасном месте
Укрыли, в дальних залах. Стражу там
Поставить, приказав рубиться насмерть,
Но не бежать. Командуй, Зам; Алтада,
Возьми оружие и вернись: ты будешь
При мне.

Зам, Алтада и прочие, кроме Мирры, уходят.
Входит Сферо и другие с царским вооружением.

Сферо
Царь, твой доспех!

Сарданапал
(вооружаясь)

Дай панцырь. Так.
И перевязь. И меч. Я шлем забыл.
Где шлем? Вот этот? Он тяжел. Другой
Хотел я взять, обвитый диадемой.

Сферо
Царь, думаю, что слишком он заметен
Благодаря алмазам и подвергнет
Опасности священное чело.
Поверь, что этот — крепче, хоть беднее.

Сарданапал
Ты *думаешь*? Ты что — мятежник тоже?
Твой долг — покорность. Принеси... нет, поздно.
Пойду без шлема.

Сферо
Царь, надень хоть этот.

Сарданапал
Надеть Кавказ на голову! Да он мне
Виски расплющит.

Сферо
Царь! Последний воин
В бой не пойдет таким незащищенным!
Тебя узнают все: гроза прошла
И месяц — в полном блеске.

Сарданапал
Ну, тем лучше:
Я и хочу быть узнанным. Теперь
Подай копьё. Вот и вооружен я.
*Делает несколько шагов к выходу и обращается к
Сферо.)*

Забыл я; Сферо, зеркало подай.

Сферо
Что? Зеркало, властитель?

Сарданапал
Да, подвластный;
Из бронзы гладкой — наш трофей индийский.
Скорей!

Сферо уходит.

Тебе укрыться надо, Мирра;
Зачем ты здесь? Все девушки ушли.

Мирра
Здесь — место мне.

Сарданапал
Но я уйду...

Мирра
И я —
С тобою.

Сарданапал
В битву? Ты?

Мирра
Гречанок много
Ходило в битву... Твоего возврата
Здесь подожду я.

Сарданапал
На открытом месте?
Да ведь сюда скорей всего ворвутся,
Нас одолев; а если так, и я
Не возвращусь...

Мирра
Мы все же будем вместе.

Сарданапал
Где?

Мирра
Там, где будут все: в Аиде! Если,
Как верю я, за Стиксом берег есть...
А нет — в могильном прахе.

Сарданапал
Ты решишься?

Мирра
На все! Одно мне страшно: пережить
Любимого и стать бунтовщикам
Добычею... Вперед — и будь героем!
Возвращается Сферо с зеркалом.

Сарданапал
(глядясь в зеркало)
Идет мне панцырь... Перевязь? Прекрасно...
А шлем — ничуть.

(Примеривает шлем и бросает.)

Игрушки эти, видно,
К лицу мне; надо им устроить пробу.
Алтада! Где Алтада?

Сферо
Ждет у входа
С твоим щитом.

Сарданапал

Ах, да, забыл я: он
Мой щитоносец — по правам старинным
Своей семьи. Дай поцелуй мне, Мирра....
Еще... еще... Люби меня, люби —
Чтоб ни случилось. Стать вдвойне достойным
Твоей любви — нет большей славы мне!

Мирра

Ступай — и победи!

Сарданапал и Сферо уходят.

Вот и одна я!

Все, все ушли, и мало кто вернется!
Пусть я погибну, победил бы он!
А если он падет, и я погибну:
Его я не переживу. Мне сердце
Обвил он, как и почему, не знаю.
Не потому, что царь он: трон под ним
Колелблется, земля ему готова
Могилой заиять. И все ж — люблю!
Великий Зевс! Прости мне эту страсть
Чудовищную к варвару, который
Не ведает Олимпа! Да, люблю!
Теперь все больше!.. Что там? Крики битвы!
И, кажется, все ближе. Если так —

(вынимает маленький сосуд)

Даст мне свободу этот яд! В Колхиде
Узнал отец состав его коварный
И научил меня его хранить.
Мне он давно б вернул свободу, если б
Не полюбила я, почти забыв,
Что я — раба. Где все — рабы, и только
Один свободен, где гордятся рабством
И низших угнетают в свой черед,
Легко забыть, что цепи-украшенья —
Все ж цепи! Снова крики... Звон мечей;
И вот опять... опять...

Входит Алтада.

Алтада

Эй, Сферо! Эй!

Мирра

Его здесь нет. Тебе зачем он? Как
Идет борьба?

Алтада

Исход неясен: жарко!

Мирра

А царь?

Алтада

По-царски держится. Где Сферо?
К нему я послан за вторым копьем
И шлемом. Царь — с открытой головою
И слишком виден. И бойцы его
Узнали и враги. При лунном свете,

Развевая кудри, в шелковой тиаре,
Он — царственная цель. Все стрелы метят
В его лицо прекрасное, и в кудри,
И в ленту, их венчающую.

Мирра

Боги,

В моей стране гремящие, молло вас
Хранить его! Тебя он сам прислал?

Алтада

Нет, Салемен; тайком, чтоб не проведал
Беспечный царь. А царь — таков же в битве,
Как на пиру. Не в арсенале Сферо?
Там поищу его.

(Уходит.)

Мирра

Бесчестья нет —

Нет, нет бесчестья в том, что я люблю
Такого человека! Вот когда
Хотела б я, чтоб греком был он! Если
Алкид срамился, нарядясь в гиматий
Омфалы и вертя веретено,
То человек, всю жизнь проведший в неге
И вдруг Гераклом восстающий, в битву
Из-за стола кидающийся, точно
На одр любви, — достоин, чтоб гречанка
Его любила, чтобы грек-поэт
Воспел его и в греческой гробнице
Обрел он памятник!...

Входит сотник.

Что битва?

Сотник

Плохо...

Проиграна почти непоправимо.
Эй, Зам! Где Зам?

Мирра

Со стражей у дверей
Покоев женских.

Сотник уходит.

Мирра

(одна)

Он ушел. Сказал он
Одно: «Проиграна». На что мне больше?
Коротким этим словом трон и царь,
Тринадцативековый род и жизни
Бесчисленных людей, и счастье тех,
Кто выживут, — поглощены! Я тоже,
Клочочком пены, гибнущим с волной,
С великим вместе уничтожусь. Впрочем,
Мой рок — в моей руке: захватчик наглый
Меня к своей добыче не причтет!

Входит Панья.

Панья

За мною, Мирра; дорог каждый миг;
Одно: бежать немедленно!

Мирра

А царь?

Панья

Послал меня — подземными ходами
Тебя отправить за реку.

Мирра

Он, значит,

Жив!

Панья

И велел тебя спасать. Он просит,
Чтоб ты жила, ждала его, пока
К тебе прибыть он сможет.

Мирра

Он сдастся?

Панья

Нет, бьется до последнего, с упорством
Отчаянья; за каждую ступень
Он рубится.

Мирра

Так во дворце враги?

Да, крики их летят по древним залам:
Их в эту ночь впервые осквернил
Рев мятежа. Прощай же, род Немврода,
Ассирия, прощай! Едва ли имя
Останется твое!..

Панья

За мной! Бежим!

Мирра

Нет; здесь умру! Беги; скажи царю,
Что я его и в смертный миг любила.

Входят Сарданапал и Салемени с воинами.
Панья оставляет Мирру и присоединяется к ним.

Сарданапал

Коль так, умрем по крайней мере дома...
Сомкнуть ряды! Держаться! Я сатрапа
Надежного послал к отряду Зама;
Он свеж и предан; он сейчас прибудет.
Не все погибло. Панья, позаботься
О Мирре.

Панья возвращается к Мирре.

Салемени

Дух переведем, друзья,
И снова — за Ассирию — ударим!

Сарданапал

«За Бактрию» — скажи! Мои бактрийцы
Вернейшие! Отныне вам я стану
Царем, а это царство обратим
В провинцию.

Салемени

Идут! Они идут!

Входят Белез и Арбас в сопровождении мятежников.

Арбас

Вперед! Им не уйти! Руби, руби их!

Белез

Бей, бей! За нас и с нами — небо! Бей!

Они нападают на царя и Салемена с их бойцами, которые
защищаются до появления Зама с его отрядом. Мятежники
бегут, преследуемые Салеменом и другими. Когда царь
хочет присоединиться к преследователям, Белез преграждает
ему дорогу.

Белез

Стой, деспот! Я закончу битву!

Сарданапал

Чудно,

Задорный жрец мой, и пророк бесценный,
И благодарный подданный! Сдавайся!
Что руки мне мараТЬ в святой крови?
Тебя я сберегу для лучшей доли.

Белез

Твой пробил час!

Сарданапал

Не твой ли? Звездочет

Я молодой, но, наблюдая звезды,
Сумел на-днях найти твою судьбу
Под знаком Скорпиона. Это значит,
Что будешь ты растоптан.

Белез

Не тобой!

Бьются; Белез ранен и обезоружен.

Сарданапал

(занося меч для последнего удара)

Ну, кличь планеты! Не сойдут ли с неба,
Чтобы спасти волхва и честь свою?

Группа мятежников врывается и отбивает Белеза.
Они нападают на царя, которого освобождают его бойцы, вы-
тесняющие мятежников.

Сарданапал

Все ж негодяй удачно напрозорчил!..
Вперед, на них! Руби! Победа наша!

(Бросается в погоню.)

Мирра

(Панье)

Преследуй! Что стоишь? Зачем оставил
Товарищей, ушедших побеждать?

Панья

Царь повелел беречь тебя.

М и р р а

Меня?

Забудь меня; здесь дорог каждый меч.
Я не прошу и мне не надо стражи.
Коль ставка — мир, не время для забот
О женщине. Я говорю, иди,
Не то — позор! Нет? ну, так я пойду;
Я, слабое созданье, кинусь в битву
Свирепую; там охраняй меня.
Где охранять ты должен государя!

(Уходит.)

П а н ь я

Постой! Ушла... Коль с ней беда случится,
Не жить мне лучше. Для царя она
Дороже царства, хоть за царство он
Сражается. Мне ль от него отстать,
Кто в первый раз взял в руки меч? Эй, Мирра!
Вернись! Тебе я подчинюсь, хотя бы
Не выполнив приказ монарха.

(Уходит.)

Из противоположной двери появляются Алтада и Сферо.

А л т а д а

Мирра!

Ушла? Но здесь она была при схватке,
И Панья с ней. Случилось что-нибудь?

С ф е р о

Нет, были оба живы при изгнание
Последнего мятежника. Должно быть,
Они в гарем направились.

А л т а д а

Ну, если

Царь победит (а видно, так и будет)
И не найдет своей гречанки, нам
Придется хуже, чем повстанцам пленным.

С ф е р о

Пойдем искать: едва ль она далеко;
А коль найдем, царю подарок будет
Дороже трона.

А л т а д а

Сам Ваал столь яро

Не бился, завоеывая царство,
Как нежный внук, его спасая. Царь
Все предсказанья обманул — и вражьи
И дружеские. Точно знойный вечер,
Во мгле грозу таивший, разразился
Такою бурей, что растерзан воздух
И на земле — потоп! Непостижим он!

С ф е р о

Не больше, чем другие. Все мы — дети
Случайности. Идем искать рабыню,

Не то придется нам отвечат пытки
Из-за ее безумства и на казнь
Пойти безвинно.

Уходят.

Входит Салемен с воинами.

С а л е м е н

Счастье улыбнулось!

Дворец очищен; стал свободен доступ
К войскам, стоящим за рекой; они
Еще верны и к нам придут, конечно,
Услышав о победе. Только где же
Герой наш, победитель, царь?

Входят Сарданапал с приближенными
и Мирра.

С а р д а н а п а л

Я здесь,

Мой брат!

С а л е м е н

И цел, надеюсь?

С а р д а н а п а л

Не вполне.

Но вздор, пройдет. Дворец освобожден.

С а л е м е н

И город, верно. Войск у нас все больше.
Отряд парфян, воинственных и свежих,
В преследованье брошен из резерва,
И думаю, что отступивший враг
Уже бежит.

С а р д а н а п а л

Или по крайней мере

Спешит: за ним никак не мог поспеть я
С бактрийцами, а это люд проворный!
Ну и устал я! Дайте сесть.

С а л е м е н

Здесь троп.

С а р д а н а п а л

Там ни душой не отдохнешь, ни телом;
Мне — ложе бы, мужицкую скамейку,
Неважно что.

Ему подают сиденье.

Ну, вот; теперь вздохну.

С а л е м е н

Великий этот час был самым светлым
И славным из твоих часов!

С а р д а н а п а л

И самым,

Конечно, утомительным. Эй, кравчий!
Подай воды!

С а л е м е н
(с улыбкой)

Впервые слышит он
Такой приказ. И даже я, советник
Строжайший твой, тебе бы предложил
Питья краснее.

С а р д а н а п а л
Крови, без сомнения?

Ее пролито вдоволь. А вино —
Сегодня я узнал воде всю цену:
Три раза пил и трижды — с большею силой,
Чем дать могли бы грозди мне, — кидался
Я на врагов. Где воин тот, кто в шлеме
Мне воду приносил?

О д и н и з в о и н о в
Убит. Стрела

Ему пронзила голову в тот миг,
Когда он, выплеснув остаток влаги,
Шлем надевал.

С а р д а н а п а л
Убит! Ненагражденным!

Мне пить подав! О горе... Бедный раб!..
Его бы я озолотил, будь жив он:
Всем золотом не заплатить за счастье
Глотнуть воды: во мне горело все,
Да и теперь.

Ему подают воду; он пьет.

Уф! ожил! Я отныне
Из кубка буду пить в часы любви,
А в битве — воду лишь.

С а л е м е н
Твоя рука

В повязке, царь?

С а р д а н а п а л
Задел Белез отважный.

М и р р а

Он ранен!

С а р д а н а п а л
Пустяки. Хотя сейчас,
Когда остыл я, что-то разболелась.

М и р р а

Перевязал ты...

С а р д а н а п а л
Лентой диадемы.

Впервые это украшение мне
Не досаждало, а пошло на пользу.

М и р р а

(слугам)

Скорей — врача искусного! Молю:
Пойдем, перебинтую; будет легче.

С а р д а н а п а л

Пожалуй: руку дергает изрядно.
Но разве в ранах смыслишь ты? А впрочем,
Что за вопрос! Ты знаешь, князь, где встретил
Малютку эту я?

С а л е м е н

Средь прочих женщин,
Дрожащую, как серна.

С а р д а н а п а л

Нет! Как самка
Льва молодого, в женском иступленье
(В безумье то есть, ибо страсти все
У женщины доходят до предела)
В погоне за охотником, унесшим
Детеныша, она, сверкая взором,
Развевая косы, жестами и словом
Бойцов одушевляла.

С а л е м е н

В самом деле?

С а р д а н а п а л

Как видишь, не один я в эту ночь
Стал воином. Остолбенел я, видя
Ее прекрасное лицо Представь:
Блеск черных глаз огромных сквозь каскады
Волос развитых; голубые жилки
На лбу прозрачном; трепетные ноздри;
Раскрывшиеся губы; звучный голос,
Пронзавший грохот битвы, точно лютня,
Сквозь звон кимвалов слышная, — прерывный,
Но не покрытый общим гулом; руки
Взметенные, природной белизной
Затмившие клинок, что у бойца
Сраженного она взяла. Казалась
Она войскам пророчицей победы,
Самой Победой, к воинам своим
С приветствием слетевшей!

С а л е м е н

(в сторону)

Слишком сильно!

Опять припадок страсти. Все пропало,
Коль не отвлеку!

(Громко.)

О ране вспомни, царь.
Она болит, ты сам сказал.

С а р д а н а п а л

Болит!
Но обращать внимания не стоит.

С а л е м е н

Все меры мною приняты; теперь
Пойду, узнаю, как дела, и тотчас
Вернусь за приказаньями твоими.

Сарданапал
Прекрасно.

Салемен
(уходя)
Мирра!

Мирра
Князь?

Салемен
Сегодня ночью
Себя ты проявила так, что если б
Он не сестре моей был мужем... Впрочем,
Не время... Любишь ты царя?

Мирра
Люблю
Сарданапала.

Салемен
Но царем — ты хочешь,
Чтоб он остался?

Мирра
Пусть он будет тем,
Кем должен быть.

Салемен
Так вот — чтоб он остался
Царем твоим и всем, чем должен быть,
Чтоб сохранил он жизнь — не позволяй
Ему опять изнеженности прежней.
Ты властвуешь над ним сильней, чем мудрость
Здесь во дворце или мятеж, ревуший
Вне стен. Смотри ж, не дай ему упасть!

Мирра

Для этого мне голос Салемена
Не нужен. Я не отступлю, и все,
Что женщина беспомощная в силах...

Салемен

Она всевластна над подобным сердцем;
Владей им мудро.

(Уходит.)

Сарданапал

Мирра! Что за шопот
С моим суровым братом? Я ревную.

Мирра
(смеясь)

И есть причина. Нету в мире мужа
Достойнее, чем он — и женской страсти,
И преданности войска, и почтенья
Всех подданных, и милостей царя,
И восхищенья общего!

Сарданапал

Хвали!

Хвали, но не чрезмерно. Не хочу я,
Чтоб кто-нибудь, меня затмивший, вызвал
Все красноречье этих нежных уст.
Но ты права.

Мирра

Теперь пойдем, займемся
Твоею раной. Обопрись; поближе.

Сарданапал

Да, радость! Только рана — пустяки.

Все уходят.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Виден Сарданапал, спящий на ложе; сон его беспокоен; Мирра наблюдает за ним.

Мирра
(глядя на Сарданапала)

Подкралась я стеречь его покой;
Но где ж покой? Он мечется. Будить ли?
Нет, стих... О бог покоя, царь смеженных
Ресниц, и сладких грез, и сна — как бездна
Глубокого! О, будь похож на смерть,
Сестру твою, недвижную, немую!
Всего счастливей мы в безмолвном царстве
Твоей сестры, где пробужденья нет...
Вновь шевелится... вновь игра страданья
В чертах лица, — так зыблет вихрь внезапный
Гладь озера, дремавшего спокойно
В тени горы; осенний ветер так
Тревожит листья блеклые, печально

Прильнувшие к родным ветвям... Не время ль
Будить его? Но нет: никто не знает,
Что видит он во сне. Страдает он?
А если явь еще больней? Тревоги
Ужасной ночи, боль от раны легкой —
Вот вся причина; мне глядеть, пожалуй,
Тяжеле, чем ему страдать. Не надо:
Природа-мать сама его пусть лечит;
Я подожду, не стану ей мешать.

Сарданапал
(просыпаясь)

Нет, нет — хотя б размножили вы звезды
И дали в царство мне!.. Такой ценою
Над вечностью — и то царить не стану!
Прочь, древний ловчий перевозданных тварей,

И вы, травившие себе подобных
Как зверя, вы, кровавые при жизни
И ставшие кровавыми вдвойне
Богами, коль жрецы не лгут. Ты, призрак
Прабабки, весь покрытый липкой кровью
И топчущий индийских мертвецов,—
Прочь, прочь! Но где я? Где виденья? Где?..
Нет, здесь не тень! Ее узнал бы я
Средь всех теней, дерзающих являться
Из тьмы гробов, живых пугая!.. Мирра!

М и р р а

Увы! Ты бледен; пот на лбу сгустился
Ночной росой... Любимый, успокойся!
Твои слова — другого мира, ты же
Царь здешнего. Приди в себя — и будет
Все хорошо.

С а р д а н а п а л

Дай руку. Да... *рык!*
Да... плоть. Схвати, сожми сильнее, чтоб я
Себя собой почувствовал.

М и р р а

Меня же —
Твоей, как я всегда была и буду.

С а р д а н а п а л

Я чувствую. Вновь жизнь я узнаю.
Ах, Мирра! Был я там, где все мы будем.

М и р р а

Царь мой!

С а р д а н а п а л

В гробу я был, где червь царит,
Цари же... Я ошибся: там, я думал,
Нет ничего.

М и р р а

Да так и есть. Лишь трусам
Мерещится иное, что вовек
Не сбудется.

С а р д а н а п а л

О Мирра! Если сон
Рисует нам все это, что ж откроет
Нам смерть?

М и р р а

Не знаю, может ли опа
Явить нам зло, какого жизнь сама бы
Не показала жившим долго. Если
Есть некий брег, где дух живет — живет он
Как дух, не плоть. А если там хоть тень
Телесной глины, отделившей дух наш
От неба, приковавшей нас к земле —
То эта тень, чего б ни ужасалась,
Вовек не убоится смерти.

С а р д а н а п а л

Смерти

Я не боюсь. Но чувствовал я, видел
Мирьяды мертвецов.

М и р р а

Я тоже: прах
У наших ног — был некогда живым
И мучился... Но дальше: что ты видел?
Скажи, и прояснеет ум.

С а р д а н а п а л

Казалось...

М и р р а

Постой: ты болен, утомлен, измучен;
Душе и телу будет вред. Попробуй
Опять уснуть.

С а р д а н а п а л

Нет, не теперь: мне больше
Не надо сна, хоть ясно мне, что видел
Я только сон. Не рассказать ли? хочешь?

М и р р а

Любые сны, что смерть иль жизнь внушит,
Снесу, с тобой дела их, — в сфере мысли
Иль в яви.

С а р д а н а п а л

Мне казалось это явью;
Открыв глаза, я видел, что они
Бежали... да, бежали...

М и р р а

Говори.

С а р д а н а п а л

Я видел, — нет, мне снилось, — здесь, вот здесь,
Где мы с тобой, собрались гости. Сам я,
Хозяин, быть хотел лишь гостем, равным
Всем остальным в общении свободном.
Но слева от меня и справа — вместо
Тебя, и Зама, и друзей обычных —
Другие были. Слева был угрюмый
И мертволиций некто (я, казалось,
Его уже видал, но где — не знаю),
С лицом гиганта, с яркими глазами
Недвижными; до мощных плеч свисали
Густые космы, и колчан огромный
Торчал сквозь них, клубившихся, как змеи,
Пучками стрел в орлиных перьях. Кубок
Я пригласил его наполнить; он
Мне не ответил; сам я налил чашу,
Но он не взял и взор в меня вперил,
И дрожь по мне прошла под мертвым взором.
Как надлежит царю, я брови сдвинул,
А он не сдвинул, он глядел в упор,

Держался в стороне, меня покинув
Меж ловчим, первым в нашем роде, и
Мужеубийцей той, кого великой
Зовете вы.

С а л е м е н

Так и тебя зову
Теперь, когда ты с ней сравнялся духом...
Я предлагаю выступить под утро
И вновь ударить на бунтовщиков:
Мы их отбили, но не растоптали.

С а р д а н а п а л

Заря близка?

С а л е м е н

Два-три часа до света;
Поспи еще и отдохни.

С а р д а н а п а л

Ну, нет,
Не этой ночью! Долгие часы
В ужасных снах провел я.

М и р р а

Час, не больше.
Я здесь была. Тяжелый час, но — час.

С а р д а н а п а л

Нам лучше посоветоваться: завтра
Мы выступаем.

С а л е м е н

Да; но раньше я
О милости прошу.

С а р д а н а п а л

Изволь, что хочешь.

С а л е м е н

Не торопись, а выслушай. Но только
Наедине со мной.

М и р р а

Я выйду, князь.

(Уходит.)

С а л е м е н

Твоя раба достойна стать свободной.

С а р д а н а п а л

Свободной? Трон со мной делить достойна!

С а л е м е н

Терпенье, царь; трон занят, и о той,
С кем делишь ты его, и речь веду я.

С а р д а н а п а л

Как? О царице?

С а л е м е н

Именно. Поскольку
Опасно здесь, ее с детьми ты должен
Отправить в Пафлагонию, где Котта,
Наш родич, правит. Сыновья твои
Там уцелеют, сохранив права
На царство, если...

С а р д а н а п а л

Если я погибну,
Что может случиться... План хорош. Отправь их
С конвоем верным.

С а л е м е н

Все уже готово;
Галера по Евфрату их свезет.
Но пред отъездом ты не повидал бы...

С а р д а н а п а л

Детей? Боюсь душою ослабеть,
А бедные малютки станут плакать;
Чем их утешить, кроме обещаний
Пустых да неестественных улыбок?
Притворство не по мне!

С а л е м е н

И чувство тоже?
Не верю!.. Словом, пред разлукой вечной
Царица просит повидать тебя.

С а р д а н а п а л

К чему? Зачем? На все согласен я,
Что ей угодно, только не на встречу.

С а л е м е н

Ты женщин знаешь или должен знать:
Ты столь прилежно изучал их; если
Желанье их коснется жизни сердца,
Оно дороже чувству или мечте,
Чем внешний мир весь, целиком. Я также
Сестры не одобряю. Но она
Так хочет; мне она — сестра; ты — муж ей:
Окажем эту милость?

С а р д а н а п а л

Бесполезно;
Но пусть придет.

С а л е м е н

Пойду за ней.

(Уходит.)

С а р д а н а п а л

Так долго
Мы были врозь — и вновь сойтись! *Теперь!*
Когда мне вдосталь горя и заботы
Для одного, ужель делить мне скорби
С той, с кем любовь я перестал делить?

Возвращается Салемени с Заринной.

С а л е м е н

Сестра, смелей! Высокой крови нашей
Не унижай волненьем, вспомни — кто мы.
Мой государь, царица здесь!

З а р и н а

Оставь нас.

С а л е м е н

Как хочешь.

(Уходит.)

З а р и н а

С ним — одна! Как много лет,
Хоть молоды мы, провела я в скорбном
Вдовстве души. Он не любил меня...
Он изменился мало; изменился
Ко мне одной... Зачем же я все та же?
Молчит он; чуть взглянул он, и — ни слова,
Ни взора. А ведь был и взор, и голос
Столь мягок! Равнодушен, но не жёсток...
Мой государь!

С а р д а н а п а л

Зарина!

З а р и н а

Нет Зарины;

Не говори «Зарина»: это слово
Стирает долгие года и то,
Что удлиняло их!

С а р д а н а п а л

Теперь уж поздно

Былые сны припоминать. Не надо
Упреков — хоть в последний раз.

З а р и н а

И в первый —

Ты никогда не слышал их!

С а р д а н а п а л

Да, правда;

И этот мне укор больнее, чем...
Но человек не властен ведь над сердцем.

З а р и н а

И над рукой. Ты ж руку взял и сердце.

С а р д а н а п а л

Твой брат сказал, что ты искала встречи
Со мною, прежде чем уедешь вместе...

(Запинается.)

З а р и н а

С детьми; да, так. Благодарить хотела,
Что ты не отнял от души моей
Последнее, что ей любить осталось:
Их, наших, на тебя похожих, так же
Глядящих на меня, как ты глядел
Когда-то... Но они не изменились.

С а р д а н а п а л

И не должны! Я буду рад в них видеть
Сознание долга.

З а р и н а

Не слепой любовью

Я их люблю, как истинная мать,
Но также, как твоя жена: они —
Единственная наша связь.

С а р д а н а п а л

Не думай,

Что я к тебе несправедлив. Примером
Сама им стань — не я. Вверяю их
Тебе одной. Их воспитай для трона,
А если ускользнет он... Ты слыхала
О мятеже ночью?

З а р и н а

Почти забыла;

Что мне любое горе (не твое),
Коль я опять смогла тебя увидеть?

С а р д а н а п а л

Мой дрогнул трон (я говорю без страха)
И для детей, быть может, и утрачен;
Но им нельзя терять его из виду.
Я всем рискну, чтоб им его оставить,
А коль паду — пусть отобьют его
Бестрепетно и пусть владеют мудро,
Не так, как я, растративший всю власть.

З а р и н а

Они услышат от меня лишь то,
Что возвышает образ твой.

С а р д а н а п а л

Пусть правду

Услышат от тебя, а не от мира
Свирепого. В беде они узнают
Всю злобу толп к развенчанным владыкам,
Пойдут платить за все мои грехи.
О дети!.. Всё бы снес я, будь бездетным!

З а р и н а

Не говори так, нет! Не отравляй
Последнего покоя сожаленьем,
Что ты — отец! Коль победишь ты, будут
Они царить — и прославлять тебя,
Кто спас им трон, ценя его столь мало;
А если...

С а р д а н а п а л

Трон падет — весь мир им крикнет
«Вина отца!» — и с эхом их проклятье
Сольется.

З а р и н а

Никогда! Почтут они
Того, кто пал, как царь, и, погибая,
Был выше многих, царствовавших только,
За годы не свершая ничего
Для летописей.

С а р д а н а п а л

Летописи наши
Кончатся, боюсь. Но их конец,
Какая ни была бы середина,
Запомнится не меньше, чем начало.

З а р и н а

Все ж не рискуй и жизнь побереги;
Живи для тех, кому ты дорог.

С а р д а н а п а л

Дорог?
Кому? Рабыне, любящей по страсти
(Не из тщеславия: дрогнул трон, любовь же
Не дрогнула); друзьям, со мною пившим,
Так что в семью слились мы и они
С моею гибелью погибнут; брату,
Кого я оскорбил; забытым детям;
Жене...

З а р и н а

Кто любит.

С а р д а н а п а л

И простит?

З а р и н а

Об этом
Не думала. Как, не вина, прощать?

С а р д а н а п а л

Жена моя!

З а р и н а

О, будь благословен
За это слово! Не ждала я вновь
Его услышать — от тебя!

С а р д а н а п а л

Услышишь
От подданных! О! Те рабы, кого я
Кормил, поил, кто ожирели миром,
Разбухли счастьем, кто в своих поместьях
Царями стали, вышли на мятеж,
Ища убить виновника их жизни
Ликующей! А те, кого я презрел,
Мне верны! Вот чудовищная правда!

З а р и н а

Естественно; для грязных душ отравой
Становится добро.

С а р д а н а п а л

А в чистых душах
И зло — добром. Они счастливей пчел,
Берущих мед с целебных лишь цветов.

З а р и н а

Сбирай же мед, не спрашивая — чей он,
И радуйся: не всеми брошен ты.

С а р д а н а п а л

Да, так, поскольку жив я. А подумай:
Будь я не царь, как долго б мог я смертным
Быть, смертным *здесь*, конечно, а не *там*?

З а р и н а

Не знаю; но живи для наших... то есть
Твоих детей.

С а р д а н а п а л

О кроткая Зарина,
Обиженная мною! Да, я раб
Случайностей, игра любому вздору;
Негодный ни для трона, ни для жизни!
Не знаю, чем я должен быть, но вижу
Что я — не то; и пусть придет конец.
Но помни вот что: если не по мне
Любовь, такая как твоя, и ум твой,
И даже прелесть, хоть я увлекался
И меньшею, томясь любовью брачной
И ненавией всякие оковы
И для себя и для других (об этом
Свидетельствует и мятеж), услышь
Мои слова, последние быть может:
Никто, как я, так не ценил твои
Достоинства, хоть не умел и пользу
Извлечь из них. Так рудокоп, напав
На золотую жилу, понимает,
Что нет в ней прока: он ее нашел,
Но ею — высший властвует, велевший
Ему копать, но не делить богатства,
Сверкнувшие у ног; не смеет он
Поднять их, взвесить — должен только ползать,
Ворочая крутую землю...

З а р и н а

О!

Что мне просить, когда ты понял цену
Моей любви! Уйдем вдвоем — и я
И *мы* (позволь сказать) увидим счастье.
Ассирия — не вся земля. Мы новый
Отыщем мир — в себе, и с ним блаженство,
Не встреченное мной, да и тобой
Со всем твоим покорным царством.

Входит Салемен.

С а л е м е н

Должен
Вас разлучить я. Дорог каждый миг.

Зарина

Жестокий брат! Столь чудные мгновенья
Ты прерываешь!

Салемен

Чудные!

Зарина

Со мной

Он так был добр, что не могу и думать
Расстаться с ним!

Салемен

Так! Женское прощанье

Кончается решением остаться...

Я так и думал, уступая — против
Своих предчувствий. Но — тому не быть!

Зарина

Не быть?

Салемен

Останься и погибни.

Зарина

С мужем!

Салемен

Да — и с детьми.

Зарина

Увы!

Салемен

Сестра, послушай,

Как надлежит *моей* сестре: готово
Всё, чтоб тебя спасти с детьми, с последней
Надеждой нашей. Здесь не в чувствах дело,
Хоть важны и они; вопрос — о власти.
Мятеж на все пойдет, чтоб захватить
Детей царя и с ними уничтожить...

Зарина

Довольно, брат!

Салемен

Так слушай: если их

Мы вырвем из когтей мидийских, бунт
Утратит цель — уничтоженья рода
Немвродова. Погибнет царь, но дети
Останутся и, победив, отмстят.

Зарина

А мне одной остаться?

Салемен

Как? Лишив

Детей отца и матери, покинув
Сиротами — в чужой стране — одних?

Зарина

Нет! Сердце разорвется!

Салемен

Все сказал я;

Решай.

Сарданапал

Зарина! Прав твой брат, и должно
Принять нам неизбежность хоть на время:
Здесь все утратить можешь ты; уехав,
Ты лучшее спасешь, что нам осталось,
Мне и тебе, и верным тем сердцам,
Что бьются в нашем царстве.

Салемен

Торопитесь!

Сарданапал

Итак, иди! Коль свидимся — возможно,
Тебя достойней стану я; а нет —
Пойми, что я, не искупив ошибок,
Покончил с ними. Я боюсь: ты будешь
Сильней скорбеть об оскорбленной славе
И прахе ассирийского царя,
Всевластного когда-то, чем... Но, полно...
Растрогался!.. А надо твердым быть.
Моим грехам была причиной мягкость.
Скрой слезы; их *не мить* я не прошу:
Мне легче осушить исток Евфрата,
Чем хоть слезу столь преданной и нежной
Души; но дай *не видеть* слез. От них
Вновь исчезает мужество мое.
Брат, уведи ее.

Зарина

О боже! Снова

Лишусь его!

Салемен

(стараясь увести ее)

Сестра! Послушна будь!

Зарина

Уйди! Должна остаться я! Не трогай!
Как? Он умрет один, и жить я буду
Одна?

Салемен

Умрет он *не один*, и долго
Одна жила ты.

Зарина

Ложь! Он жив, я знала
И с образом его жила! Не троны!

Салемен

(уводя ее)

Прости, но должен братское насилие
Я применить.

З а р и н а

Нет, никогда! На помощи!
Сарданапал! И ты глядишь, как тащат
Меня?

С а л е м е н

Погибло все, коль упушу я
Минуту эту.

З а р и н а

Голова кружится...
Темно в глазах... Где он?
(*Падает без чувств.*)

С а р д а н а п а л
(*приближаясь*)

Оставь ее.
Она мертва — и ты ее убил.

С а л е м е н

Нет: обморок, последствия волнения;
Поможет воздух ей. Уйди, прошу я.
(*В сторону.*)

Воспользуюсь единственной минутой,
Чтоб к детям унести ее, сидящим
Уже на царской барке.

(*Уходит, унося ее.*)

С а р д а н а п а л
(*один*)

Вот что, вот что
Снести еще я должен, я, вовеки
Не причинявший боли никому
Намеренно. Ах, всё не так. Любили
Друг друга мы. О роковая страсть!
Зачем не разом в двух сердцах ты гаснешь,
Воспламенив их разом? О Зарина!
Я дорого плачу за ту беду,
Что на тебя обрушилась. Люби я
Тебя одну, я был бы для народов
Царем бесспорным. Ах, в какую бездну
Один неверный шаг с дороги долга
Ведет всех тех, кто требуют почтения
По праву благородства — и находят,
Пока не утеряют права!..

Входит М и р р а.

Как?

Ты здесь? Кто звал?

М и р р а

Никто. Я услышала
Издаലെка рыдания и стоны
И думала...

С а р д а н а п а л

Твоя не в этом служба,
Чтобы входить незваной.

М и р р а

Я могла бы
Слова припомнить ласковой, упреки
Нежнейшие, что я всегда рокою,
Боюсь мешать, что, вопреки желаньям
Моим и повеленью твоему
Входить всегда, при всех, я появлялась
Лишь позванной... Теперь уйду.

С а р д а н а п а л

Останься,
Коли пришла. Прости меня. От этих
Гревог я стал ворчлив. Забудь. Я скоро
С собою справлюсь.

М и р р а

С нетерпением жду
И с радостью увижу.

С а р д а н а п а л

За минуту
Перед тобой ушла из этой залы
Зарина, ассирийская царица.

М и р р а

Ах!

С а р д а н а п а л
Что ты вздрогнула?

М и р р а

Я? Разве?

С а р д а н а п а л

К счастью,
В другую дверь вошла ты — и царицу
Хоть мука встречи не коснулась.

М и р р а

Я
Умею сострадать ей.

С а р д а н а п а л

Это слишком:
Несвойственно природе, невозможно.
Не можешь ты ее жалеть, а ей ты...

М и р р а

Презренна как наложница-рабыня?
Не более чем я сама себе.

С а р д а н а п а л

Сама себе?! Ты, зависть прочих женщин?
Царица сердца у царя вселенной?

М и р р а

Будь ты царем у тысячи вселенных
(Хотя едва ль одну удержишь этч),
Я, став твоей любовницей, пала б
Не меньше, чем отдавшись мужику,
Нет, больше, будь он греком, тот мужик!

Сарданапал
Красно сказала!..

Мирра
И правдиво.

Сарданапал
Храбро

Все встают на павшего, в часы
Его несчастья; но, поскольку я
Держусь еще и не терплю упреков
(За то, быть может, что не прав нередко),
Не лучше ль мы расстанемся без ссоры?

Мирра
Расстанемся?

Сарданапал
Все люди расставались
Всегда, и нам ли исключеньем быть?

Мирра
Зачем?

Сарданапал
Чтоб ты спаслась. Ты с верной стражей
На родину вернешься, увозя
Дары такие, что хотя ты здесь
И не была царицей, но с приданным
Прибудешь царским.

Мирра
Перестань!

Сарданапал
Царица
Уехала; не стыдно и тебе.
Один паду. Подруги — лишь для счастья.

Мирра
Мне счастье в том, чтобы с тобою быть.
Не прогоняй!

Сарданапал
Подумай хорошенько,
А то уж поздно будет!

Мирра
Пусть! Тогда
Расстаться мы уже не сможем.

Сарданапал
Я ведь
И не хотел; я думал — ты хотела.

Мирра
Я?!

Сарданапал
О позоре говорила ты.

Мирра
И чувствую позор! Хотя не глубже
Любви.

Сарданапал
Беги!

Мирра
От прошлого не скрыться;
Честь не вернуть и сердце не спасти.
Нет, здесь я буду иль погибну. Если
Ты победишь, я буду жить, любуясь
Твоим триумфом. А судьбу иную
Оплакивать не стану: разделю!
Лишь час назад во мне ты был уверен.

Сарданапал
Всегда — в твоей отваге и покуда —
В твоей любви; но ты сама внушила
Сомнение. Твои слова...

Мирра
Слова!
Моло: суди мои поступки (ночью
Ты снизошел одобрить их) и все,
Что сделаю, каков бы рок твой ни был!

Сарданапал
Ну — оглегло. И, веря в наше дело,
Надеюсь на победу и на мир,
Единственный триумф, какой мне нужен.
Нет славы в войнах, нет в завоеванных
Величья. Драться за свои права —
Тяжеле сердцу, чем терпеть обиды
Врагов, меня замысливших сломить.
Вовек не позабуду этой почы,
Хотя бы дожил до других, подобных!
Мечтал внести я кротким управленьем
В кровавые анналы эру мира,
Зеленый сад взрастить в песках веков,
Чтобы к нему с улыбкой обращались
Потомки — и воздвигали или
Хотя б жалели, что не воззвратить
Век золотой Сарданапала!.. Раем
Мечтал я сделать царство, каждый месяц —
Порою новых радостей. Рев черни
Счел за любовь я, речь друзей — за правду,
А губы женщин — за награду мне!
Но это верно, Мирра? Дай мне губы!

(Целует ее.)

Теперь пускай и трон берут и жизни!
Тебя же — не отторгнут!

Мирра
Никогда!
Блеск и величье — все отнять способны
У братьев люди; царство гибнет; войско
Сдается; друг уходит; раб бежит;

Все предают — и те, кто больше всех
Обязаны; лишь сердце будет верным,
Что любит бескорыстно! Вот оно,
Проверь его!

Входит Салемен.

Салемен

Тебя искал я, царь..

Как! Вновь она?

Сарданапал

Не время для укоров!

Я вижу — у тебя дела важней,
Чем разговор о женщине.

Салемен

Из женщин

Важна мне та, кто спасена уже:
Царица отбыла.

Сарданапал

И что? Все ладно?

Салемен

Да; слабость миновала и сменилась
Молчанием бесслезным; на детей
Уснувших глянцев, бледное лицо
Она, с горящим взором, обратила
К стенам дворца, пока в сиянье звезд
Галеру не умчал поток, — но слова
Не вымолвила.

Сарданапал

Если б так все чувства
Во мне молчали!

Салемен

Поздно сожалеть,

И боль ничья от этих чувств не легче.
Я их спугну: пришел я с точной вестью,
Что мидяне с халдейцами, послушны
Вождем мятежным, вновь оружие взяли,
Ряды сплотили и опять готовы
Напасть. Как видно, с ними и другие
Сатрапы заодно.

Сарданапал

Еще мятеж?

Так первыми ударим!

Салемен

Нет, опасно,

Хотя мы и решили так сперва.
Коль завтра к полдню к нам придет подмога
(За нею верных я послал гонцов),
Нам хватит сил, чтобы рискнуть атакой
И разогнать их; а пока совет мой —
Ждать приступа.

Сарданапал

Но мне противно ждать!

Верней, конечно, биться за стеною,
Швырять врага в глубокий ров, глядеть,
Как он на кольях корчится, торчащих
Ему навстречу, — мне противно это,
Я пыл теряю. А на штурм идя, —
Будь враг на краже горном, — страстно жажду
Его сломить иль утонуть в крови!
Идем же в бой!

Салемен

Слова юнца-солдата!

Сарданапал

Я не солдат, я человек — и слова
«Солдат» я не терплю, и тех, кто званьем
Гордятся этим!.. Укажи мне место,
Откуда налететь на них.

Салемен

Ты должен

Себя беречь, не лезть в опасность. Жизнь
Твоя — не то, что жизнь моя и прочих;
Из-за нее и вокруг нее вся смута:
Начало смуты, и разгар, и убыль.
Продлишь одну — конец другой.

Сарданапал

Так пусть

Конец обеим! Лучше так, быть может,
Чем обе длить. Мне и от первой скучно.

Доносится звук трубы.

Салемен

Слышал?

Сарданапал

Так будем отвечать, не слушать!

Салемен

А рана?

Сарданапал

Перевязана; присохла;
Забыл о ней. Вперед! Ланцет врача
Вонзился б глубже. Раб, меня задевший,
Стыдиться должен, что рубнул так слабо.

Салемен

Пусть и теперь никто не бьет ловчей!

Сарданапал

Да, если победим; не то придется
Исполнить мне работу, от которой
Они могли б освободить царя.
Вперед!

Вновь трубные звуки.

Салемен

С тобой!

Сарданапал

Оружье мне, оружие!

Уходят.

АКТ ПЯТЫЙ

Тот же зал.

Мирра и Балеа.

Мирра

(у окна)

Ну, вот и день! И за какую ночью!
Как чудно было в небе после бури
С ее разнообразием прекрасным!
Зато как мерзко было на земле!
Мир и надежда, праздник и любовь,
В единый миг растоптанные злобой,
В людской смешались хаос, и досель
Не разделить его стихий: все время
Идет борьба! Как могут столь светло
Сиять лучи, из туч ваяя тучки,
Прелестнее безоблачных небес,—
Цепь снежных гор и башен золотых
И рябь волны пурпурной океана...
Земля волшебю повторилась в небе,
И кажется — навек, но так летуче,
Так мимолетно на нетленном своде,
Что лишь виденьем можно звать ее!
И все ж в душе живет виденье это
И душу греет, растворяясь в ней,
Так что закат с восходом стали часом
Любви и грусти; только равнодушный
Не видит царства этих двух сестер,
Нам сердце обновляющих настолько,
Что мы не сменим их укоров нежных
На все восторги буйные, чьим кликом
Когда-нибудь был воздух сотрясен!
А в их дворцы поклонник верный входит
Найти покой, передохнуть на миг,
Но в этот миг пролады и покоя
Так много неба он вдохнет, что сможет
Влачить обычный груз иных часов
И, как во сне, с их тягостью мириться,
Хоть, кажется, и делит он с людьми
Их долю наслаждений и печалей...
Любовь и грусть... два имени, но чувство —
Одно; и лишь в душевной вечной муке
Меняем звуки мы, а суть все та же
И неподвластна нашей жажде счастья.

Балеа

Ты так спокойна в мыслях, а меж тем
День этот, может быть, для нас последний.

Мирра

Я потому восход и стерегу,
И шлю глазам, что с ним вот-вот простятся,
Упрек: зачем так часто, слишком часто,
Они его встречали без восторга

И восхищенья, должного тому,
Кто не даст земле быть столь же брэнной,
Как плоть моя. Гляди: вот бог халдейский;
Когда гляжу — уверовать готова
В Ваала.

Балеа

Он теперь царит на небе,
Как на земле царил.

Мирра

Он стал сильнее:
В одном луче таит он больше славы
И силы, чем любой монарх земли.

Балеа

Бесспорно — бог он!

Мирра

Греки так же верят.
Но думаю порой, что гордый шар
Скорее — обиталище бессмертных,
Чем божество... Смотри: прорвал он тучи
И так в глаза мне засиял, что мир
Вокруг затмился. Нет, глядеть нельзя!..

Балеа

О! Слышишь звук?

Мирра

Нет; показалось только.
Бой — за стенами, не внутри дворца,
Как было ночью. С той минуты страшной
Стал крепостью дворец. Здесь, в самом центре,
В глуби дворов обширных, между зал
Величественных, равных пирамидам
(А это все брать надо шаг за шагом,
Чтобы сюда ворваться, как вчера),
Здесь далеки мы от грозы военной
Да и от славы.

Балеа

Но вчера ж сюда
Они проникли.

Мирра

Да, рывком; и тут же
Отбиты смело. Мужество и зоркость
Охраной служат нам теперь.

Балеа

Дай небо
Удачи им!

М и р р а

Молитва многих это
И ужас многих. Я полна тревоги;
Стараюсь гнать ее, — увы: напрасно.

Б а л е а

Царь, говорят, таким был в битве ночью,
Что устрасил мятежников не меньше,
Чем в изумленье верных слуг поверг.

М и р р а

Толпу тупую и дивить нетрудно
И устрашать: орда рабов. Но бился
Он храбро.

Б а л е а

Он Белеза не убил?
Его свалил он — от солдат я слышал.

М и р р а

Да, был он сбит, но спасся, чтоб, возможно,
Торжествовать над тем, кто победил
Его в бою, но пощадил злодея,
Из жалости венцом своим рискнув.

Б а л е а

Ты слышишь?

М и р р а

Да! Неспешные шаги.

Входят воины, неся раненого Салемена с обломком
копья в бок; кладут его на один из украшающих
залу диванов.

М и р р а

О Зевс!

Б а л е а

Теперь погибло все!

С а л е м е н

Неправда!

Убить раба, сболтнувшего такое,
Коль он солдат!

М и р р а

Он не солдат; не троньте;
Он — мотылек дворцовый при царе.

С а л е м е н

Ну, пусть живет.

М и р р а

И ты жить будешь, верю.

С а л е м е н

Хоть час прожить — узнать исход; но вряд ли.
Зачем меня вы принесли сюда?

С о л д а т

Приказ царя. Когда, копьем пронзенный,
Без чувств упал ты, царь велел тебя
Снести немедля в этот зал.

С а л е м е н

Неглупо:
Приняв за смерть мой обморок, войска
Могли бы дрогнуть... Но — напрасно это:
Слабею!

М и р р а

Дай на рану мне взглянуть;
Я смыслю в этом: в Греции нас учат
Их облегчать; при наших войнах вечных
Привыкли мы их видеть.

С о л д а т

Копье.
Надо вынуть

М и р р а

Нет, нет! Нельзя никак!

С а л е м е н

Ну, значит,
Конец!

М и р р а

Кровь хлынет, если сталь извлечь,
А с ней, боюсь, и жизнь уйдет.

С а л е м е н

Не страшно...
Скажите, где был царь, когда меня
Вы с поля битвы уносили?

С о л д а т

Там же,
Где ты упал. Он жестами и словом
Бодрил бойцов, что пятились уже,
Тебя сраженным видя.

С а л е м е н

Ты не слышал,
Кому команду царь вручил?

С о л д а т

Не слышал.

С а л е м е н

Беги ж к царю с моей последней просьбой —
Дать Заму власть, пока столь долгожданный,
Но запоздавший, подойдет Офратон,
Сатрап сузанский. А меня оставьте:
Нас мало, каждый воин на счету.

С о л д а т

Но, князь...

С а л е м е н
Ступай — сказал я! Здесь придвор-
ный —

И женщина; с кем лучше во дворце?
Раз вы не дали умереть мне в поле,
Не нужны мне у смертного одра
Бездельники. Прочь! Исполнять приказ!

Солдаты уходят.

М и р р а
Отважная душа! Ужель так скоро
Земля тебя лишится?

С а л е м е н
Ах, малютка!
Я б ничего другого не хотел,
Когда бы этим спас царя и царство!
Все ж я не пережил их.

М и р р а
Ты бледнешь.

С а л е м е н
Дай руку. Сталь меня лишь мучит, жизни
Не помогая, чтобы мог я быть
Еще полезным. Вырвал бы ее,
А с ней и жизнь, когда б услышал только,
Как бой идет.

Входят Сарданапал и воины.

С а р д а н а п а л
Мой милый брат!

С а л е м е н
Что битва?
Проиграна?

С а р д а н а п а л
(с безнадеежностью)

Я — здесь, как видишь.

С а л е м е н
Лучше б
Увидеть мертвым!
(Выбегивает копье из раны и умирает.)

С а р д а н а п а л
И увидят, если
(Последняя соломинка надежды)
Не подведет Офратон.

М и р р а
Передали
Тебе, что брат погибший твой просил
Дать Заму власть?

С а р д а н а п а л
Да.

М и р р а
Где же Зам?

С а р д а н а п а л
Убит.

М и р р а
Алтада?

С а р д а н а п а л
Умирает.

М и р р а
Панья? Сферо?

С а р д а н а п а л
Вот Панья жив. А Сферо убежал
Или в плену. Один я.

М и р р а
Значит — гибель?

С а р д а н а п а л
Здесь, во дворце, хоть мало нас, могли б мы
Держаться против сил врага, коль нет
Измены здесь. Но в поле...

М и р р а
Салемен ведь
И не хотел на вылазку итти,
Пока подмога не придет.

С а р д а н а п а л
Но л
Решил иначе.

М и р р а
Что ж, ошибка это,
Но смелая.

С а р д а н а п а л
И роковая... Брат мой!
Я отдал бы все царство (чьей красою
Ты был), мой щит и меч — остаток чести. —
Чтоб ты был жив. Но нет: не буду плакать;
Тебя оплачу так, как ты хотел!
Всего больней, что мог ты, умирая,
Подумать, будто я переживу
То, жизнь чему ты отдал: трон мой древний.
Спасу его — кровь тысяч, стоишь миллионов
За смерть твою возмездьем будут (слезы
Всех добрых отданы уже тебе).
А нет — мы скоро свидимся, коль души
Живут вне тел. В моей — читаешь ты
И веришь мне теперь. В последний раз
Коснусь руки, еще не охладелой,
И сердцем, горько бьющимся, прижмусь
К недвижному.

(Обнимает мертвого.)
Теперь снесите прах.

Воин

Куда?

Сарданапал

Ко мне в покой, под полог царский.
Подумаем потом о погребенье,
Достойном тела этого.

Воины уносят труп Салемена. Входит Панья.

Ну, Панья,

Расставил стражу? Приказанья отдал?

Панья

Все, государь, исполнил.

Сарданапал

А бойцы

Попрежнему отважны?

Панья

Государь?..

Сарданапал

Вот и ответ! Коль на вопрос царя
Вопросом отвечают — плохо дело!..
Так воины мои упали духом?

Панья

Смерть Салемена, встреченная криком
Ликующих мятежников, вдохнула...

Сарданапал

В них ярость, а не страх. Так надлежало б.
Но мы их подбодрим!

Панья

Сама победа

Нерадостна с такой утратой.

Сарданапал

Ах!

Кому она больней, чем мне?.. Но стены,
Где мы засели, — крепки, а вне стен
Резервы есть и сквозь врага пробьются,
И дом царя вновь сделают дворцом —
Не крепостью и не тюрьмой.

Вбегает офицер.

Сарданапал

По виду —

С дурною вестью. Говори.

Офицер

Не смею.

Сарданапал

Дивлюсь! Не смеешь? Миллионы смели
Восстать с оружием!.. Ну, не будь столь вежлив,
Не бойся огорчить царя. Стерплю я
И худшее, чем речь твоя.

Панья

Ну, дальше,

Слышал?

Офицер

Размыло часть прибрежных стен
Разливом неожиданным Евфрата:
Из-за недавних ливней в тех горах
Громадных, где исток его, где грозы
Столь часты, издулся он и залил берег,
И мчитя, укрепление разметав.

Панья

Зловещий знак! Веками говорилось,
Что «человеку не уступит город,
Пока в реке не обретет врага».

Сарданапал

Пророчество пустяк, но разрушенье...
Стены размыло много?

Офицер

Стадий двадцать.

Сарданапал

И это все доступно для атаки?

Офицер

Сейчас река свирепая не даст
Итти на приступ, но когда уймется
И лодки смогут переплыть ее —
Дворец падет.

Сарданапал

Тому не быть! Пусть люди,
Пророчества, стихии, даже боги
Восстали на того, кто не дразнил их,—
Вовек не стать жилью моих отцов
Берлогою, где б волчья стая выла!

Панья

Позволь туда пойти мне и чем можно
Обезопасить брешь, поскольку время
Позволит нам.

Сарданапал

Да, да, спеш и тотчас
Вернись и доложи подробно, полно
О ходе наводнения.

Панья и офицер уходят.

Мирра

Даже волны

Восстали на тебя!

Сарданапал

Я им не царь,
Малютка, и, бессильный покарать их,
Просгит им должен.

М и р р а

Мне отрадно видеть,
Что стоек ты при знаменье таком.

С а р д а н а п а л

Мне знаменья не страшны: сам все знаю
С полуночи прошедшей: все сказало
Отчаянье.

М и р р а

Отчаянье?

С а р д а н а п а л

Быть может,
Не точен я: когда мы все предвидим
И встречи ждем, должна решимость наша
Быть названа иначе, благородней.
Но что слова нам? Конечно уже
И со словами и с делами!

М и р р а

Нет!

Одно — осталось, высшее для смертных,
Венец всего, что было, есть и будет,
Единое для всех, сколь ни различны
Рождение, пол, язык, лицо, натура,
Цвет кожи, чувство, ум, страна и век;
Грань, общая для всех, куда влечемся,
Едва родясь, блуждая в лабиринте
Згадочном, носящем имя «жизнь»!

С а р д а н а п а л

А так как жизнь кончается, то можно
Утешиться. Коль страхи позади,
Улыбкой встретим то, что ужасало,
Как дети — тайну пугала открыв.

Возвращается П а н ь я.

П а н ь я

Все точно. Снял я часть бойцов со стен
Еще надежных и удвоил стражу
Вдоль всей стены размытой.

С а р д а н а п а л

Верный Панья,
Как надлежит, исполнил ты свой долг;
Но связь меж нами скоро прекратится.
Бери: вот ключ.

(Подает ему ключ.)

Он от каморки тайной
В моей опочивальне, сзади ложа.
(Оно теперь погнулось под славнейшим
Из прахов, там лежавших, хоть немало
Царей оно в свой золотой обвод
Вместило в прошлом; этот прах недавно
Был Салеменом.) Ты войдешь в тайник,
Сокровищами полный. Их возьми
Себе и дай товарищам; вас много,

Но хватит всем. Рабам верни свободу
И всем, кто во дворце живет, вели
Его покинуть через час, не позже.
Спустите барки царские; забавам
Они служили, пусть послужат вам
Спасением. Евфрат разлился буйно
(Сильней царя он), с ним не совладать
Врагам. Бегите и найдите счастье.

П а н ь я

С тобою, государь, когда возглавишь
Ты верных слуг.

С а р д а н а п а л

Нет, Панья, невозможно.
Ступай и предоставь меня судьбе.

П а н ь я

Царь, я всегда тебе повиновался,
Но тут...

С а р д а н а п а л

Так, значит, все теперь дерзают
Перечить мне? И дерзость во дворце
Измене внешней вторит? Без упрямства!
Я дал приказ, последний мой приказ;
Ты не исполнишь? Ты?

П а н ь я

Но время есть...

С а р д а н а п а л

Так; но клянись исполнить все, лишь только
Дам знак.

П а н ь я

С тяжелым сердцем, но — клянусь,
Как верный раб.

С а р д а н а п а л

Ну, так. Вели снести
Сюда сухой листвы, еловых шишек
И хворосту — всего, что разом вспыхнет, —
Кедровых дров, душистых смол и масел,
Больших досок, чтобы костер воздвигнуть,
И ладану, и смирны: я алтарь
Построю здесь для жертвоприношенья
Великого!.. Все разместить вокруг трона.

П а н ь я

Царь!

С а р д а н а п а л

Я велел; ты клялся.

П а н ь я

И без клятвы
Я верен.

(Уходит.)

М и р р а

Что задумал ты?

С а р д а н а п а л

Узнаешь!

То, что вовеки не забудет мир!

П а н ь я возвращается с вестником.

П а н ь я

Царь! Я спешил исполнить приказанье,
Но привели мне вестника; он просит
Принять его.

С а р д а н а п а л

В чем дело?

В е с т н и к

Царь Арбас...

С а р д а н а п а л

Уже увенчан?.. Продолжай.

В е с т н и к

Белез,

Первосвященник...

С а р д а н а п а л

Бога или беса?

Где новый царь, там новый храм. Но дальше;
Ты волю старших выболтать обязан,
А не давать ответа.

В е с т н и к

И сатрап

Офратон...

С а р д а н а п а л

Как? Он *наш* ведь!

В е с т н и к

(показывая кольцо)

Убедись,

Что он средь победителей: вот перстень

С а р д а н а п а л

Его печати! Достойная триада!
Ты во-время погиб, мой Салемен,
Чтоб не видать еще одной измены!
Твой лучший друг, мой подданный вернейший—
И вот!.. Ну, дальше.

В е с т н и к

Жизнь тебе даруют

И вольный выбор места для житья
В одной из дальних областей — под стражей,
Но не в тюрьме; и можешь мирно жить,
В заложники отдав трех юных принцев.

С а р д а н а п а л

(иронически)

О, сколь великодушен победитель!

В е с т н и к

Ответа жду.

С а р д а н а п а л

Ответа, раб? Давно ли
Рабы вершат судьбу царей?

В е с т н и к

С тех пор,
Как добыли свободу.

С а р д а н а п а л

Рупор бунта!

Хоть ты орудье только, но узнаешь,
Как за измену платят! Панья! Пусть
Он голову со стен уронит в лагерь
Мятежников, а труп — в реку. Ведите!

Панья и стражи хватают вестника.

П а н ь я

Я никогда еще твоих приказов
Так радостно не исполнял! Солдаты,
Веди его: изменнической кровью
Марать не станем царский зал, под небом
Его прикончим!

В е с т н и к

Только слово: званье
Мое священно, царь!

С а р д а н а п а л

Мое — не меньше,
Хоть и пришел ты с наглым предложеньем
Сложить его!

В е с т н и к

Я исполнял приказ;
Невыполненье было бы опасным
Не менее, чем исполненье.

С а р д а н а п а л

Значит,

Царь, час назад венчанный, — тот же деспот
Как те, кому пеленками был пурпур,
С рождения взнесенные на трон!

В е с т н и к

Царь, жизнь мою ты гасишь дуновеньем;
Но и твоя (не гневайся), быть может,
В опасности неменьшей; неужели
В последний час династии Немврода
Убьешь ты безоружного посла,
Безвластного слугу, — пренебрежешь
Тем, что не только меж людей священно,
Но и с богами образует связь?

Сарданапал

Он прав... Освободить! Последним делом
Моим не будет злое дело. Вот

(*подает вестнику золотой кубок,
взятый с ближайшего стола*)

Возьми, приятель, золотой мой кубок,
Пей из него и помни обо мне
Иль в слиток сплавь и думай лишь о весе
Да о цене.

Вестник

Двойная благодарность
За жизнь и дар, украсивший ее.
Но я ответ услышу?

Сарданапал

Да. Мне нужен
Час перемирья — все обдумать.

Вестник

Час?

Сарданапал

Не больше. Если господа твои
За этот час ответа не получают,
То, значит, я условия их отверг
И действовать они свободны.

Вестник

Буду
Посланцем верным, передам решение.

Сарданапал

Постой, два слова.

Вестник

В точности запомню
Их все.

Сарданапал

Снеси Белезу мой привет;
Скажи, что с ним я через год, не позже,
Увижусь вновь.

Вестник

Где?

Сарданапал

В Вавилоне, или,
Верней, оттуда *он* навстречу мне
Отправится.

Вестник

Все передам дословно.

(*Уходит.*)

Сарданапал

Ну, милый Панья, живо мой приказ!

Панья

Солдаты, парь, работают уже,
Да вот они!
Воины входят и складывают костер вокруг трона.

Сарданапал

Повилше, молодны,
Да поплотней. Сложите основание
Так, чтоб огонь не мог иссякнуть, слабый,
И чтоб ничья угодливая помощь
Его не угасила. Сердцевиной
Пусть будет трон: его пришельцам новым
Иначе не оставлю я, как вихрем
Огня неукротимого! Все стройте,
Как если б мы хотели сжечь оплот
Врагов извечных. Вот теперь недурно!..
Ну, Панья, как? Хорош такой костер
Для похорои царя?

Панья

О да; и царства!
Теперь тебя я понял.

Сарданапал

И бранишь?

Панья

Нет: но позволь мне запалить его
И разделить с тобою.

Мирра

Это мой
Священный долг.

Панья

Долг женщины?

Мирра

Коль воин
За государя гибнет, почему б
И женщине не умереть с любимым?

Панья

Так не бывает.

Мирра

Нет, бывает, Панья!
А ты — живи. Прощай: костер готов.

Панья

Но мне позор — царя на смерть оставить
С одною женщиною.

Сарданапал

Обо мне
Могилы все, что нужно ей, узнает
И без тебя. Ступай — и будь богат.

Панья

Живя в позоре!

С ар да на п ал

Помни: ты поклялся;
Священна клятва; взять назад нельзя.

П а н ь я

Коль так — прощай.

С ар да на п ал

Тайник обшарь получше

И не стыдись богатства унести;
Знай: что оставишь, то рабам оставишь,
Моим убийцам. Все снеся сохранно
На барки, дай мне знать трубой протяжно,
Что ты уходишь. Берег далеко,
Река ревет, здесь рога не услышать,
Коль с берега он зазвучит. Потом —
Бегите и, отплыв, оборотитесь,
Но все ж плывите по Евфрату вниз.
Достигнув Пафлагонии, где Котта
Укрыл царицу и моих детей,
Ей расскажи, что видел, отплывая,
И попроси не забывать того,
Что я сказал ей при ее печальном
Отъезде.

П а н ь я

Дай мне царственную руку,
В последний раз губами к ней прильнуть —
Мне и солдатам бедным, что с восторгом
С тобою умерли б!

Воины и Панья теснятся к парю, целуя ему руку
и край одежды.

С ар да на п ал

Друзья мои,

Последние и лучшие! Не будем
Друг друга растревлять. Простимся разом.
Прощание навек должно быть быстрым,
Не то — как вечность каждый миг, и жизни
Последние печальные песчинки
Пропитаны слезами. Уходите
И будьте счастливы! Меня теперь
Жалеть не надо: жалок был я прежде,
А будущее — все в руках богов,
Коль есть они (что вскоре я узнаю).
Прощайте же, прощайте!

Воины и Панья уходят.

М и р р а

Были честны

Они. Отраднo в смертный час взглянуть
На лица любящих.

С ар да на п ал

Да — и любимы,
Красавица моя!.. Но слушай. Если
Ты в этот миг (ведь мы стоим у бездны)
Испытываешь внутреннюю дрожь

Перед прыжком сквозь пламя в мир грядущий—
Скажи! Тебя не разлюблю — напротив! —
За то, что ты верна природе. Можешь
Спастиcь еще, не поздно.

М и р р а

Не пойти ли

Зажечь один из факелов, что грудой
Пред алтарем вааловым лежат
В покое смежном, под лампадой вечной?

С ар да на п ал

Поди. И в этом — твой ответ?

М и р р а

Увидишь.

(Уходит.)

С ар да на п ал

(одн)

Бестрепетна! О предки! К вам иля,
Очищенный от слишком грубой плоти
Огнем и смертью, не хочу предать
Чертог ваш древний гнусному вторженью
Рабов. И если я не сохранил
Незыблемым наследье ваше, все же
Я часть его блестящую — казну,
Дворец ваш и священные трофеи
Побед, и летописи, и оружие, —
Чтобы мятеж не ликовал средь них, —
К вам уношу с собою в той стихии
Всепоглощающей, подобной духу,
Снедающей дотла любую плоть
В своем горниле огненном. И пламя
Сверхцарственного моего костра
Не будет лишь столбом огня и дыма,
Минутным маяком на горизонте,
А после грудой пепла! Будет — светом,
Уроком для веков и для племен
Мятежных и царей сластолюбивых!
Века сотрут анналы и деянья
Народов и героев: трон за тронem,
Как мой, славнейший, обратят в ничто;
Но пощадят последнее деянье
Мое, загадкой вознесут его,
Для поклоненья всем, для подражанья
Немногим, всех уча бояться жизни,
К подобному концу ведущей!

Возвращается Мирра с горящим факелом в одной руке и
кубок в другой.

М и р р а

Вот

Наш факел — освещать дорогу к звездам!

С ар да на п ал

А кубок?

М и р р а

Наш обычай — возлиянья
Творить богам.

С а р д а н а п а л

А мой обычай — выпить
Среди людей. Я не забыл его.
Но и один я выпью чашу в память
Былых пиров веселых.
(*Пьет из кубка и, со звоном опрокинув его,
восклицает при виде вытекших капель.*)

Это — в честь

Достойного Белеза.

М и р р а

Почему

О нем ты вспомнил, а не об его
Собрате по измене?

С а р д а н а п а л

Тот — рубака,

Орудие простое, нечто вроде
Меча живого в дружеской руке;
А первый — мастер дергать нити куклы
Воинственной. Но прочь обоих! Мирра,
Скажи мне: вправду ты за мной идешь
Свободно и бесстрашно?

М и р р а

Мне ль, гречанке,
Не сметь пойти из-за любви на то,
Что не страшит индийских вдов, покорных
Обычаю?

С а р д а н а п а л

Тогда — сигнала ждем.

М и р р а

Он что-то медлит.

С а р д а н а п а л

А теперь прощай —
В объятии последнем!

М и р р а

Не в последнем.
Ждет нас еще одно.

С а р д а н а п а л

О да: в огне
Смешается наш пепел.

М и р р а

Столь же чистый,
Как и моя любовь к тебе... Мой прах,
Свободный от земных страстей и пятен,
С твоим сольется! Грустно мне одно.

С а р д а н а п а л

Скажи.

М и р р а

Здесь дружеской руки не будет —
Наш пепел в урну общую собрать.

С а р д а н а п а л

И лучше! Пусть его развеет ветер
В просторах неба, чем сквернит рука
Раба или предателя. Зажженный
Дворец и груды стен дымящих будут
Нам памятником благородней, чем
Кирпичные египетские горы
Над прахом их царей или быков;
Ведь неизвестно, кто в громадах гордых
Упрятан: царь или Апис, богобык.
Престранные надгробья, назначенье
Забывшие!

М и р р а

Тогда — прощай, земля!
И лучший край, Иония родная!
Будь вольной и прекрасной и не знай
Вовек несчастья! О тебе молитва
Последняя моя и мысль моя
Последняя — кроме одной...

С а р д а н а п а л

А это?

М и р р а

Мысль о тебе.

Доносится звук трубы.

С а р д а н а п а л

Трубят!

М и р р а

Пора!

С а р д а н а п а л

Прощай,

Ассирия! В тебе, стране отцов,
Я родину любил, а не державу;
Дал мир тебе и радость я — и вот
Награда мне! Теперь тебе и гробом
Я не обязан!

(*Восходит на костер.*)

Мирра!

М и р р а

Ты готов ли?

С а р д а н а п а л

Как факел твой.

Мирра поджигает костер.

М и р р а

Все занялось Иду!

Когда Мирра падает в огонь, занавес опускается

КАИН

Мистерия

*Змей был хитрее всех зверей полевых,
созданных господом богом.*

Бытие, III.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Мужчины:

Адам.

Каин.

Авель.

Духи:

Ангел господень.

Люцифер.

Женщины:

Ева.

Ада.

Цилла.

АКТ ПЕРВЫЙ

СЦЕНА I

Местность вне рая. Восход солнца.

Адам, Ева, Каин, Авель, Ада, Цилла совершают
жертвоприношение.

Адам

Бог! Вечный, вездесущий и всемудрый!
По слову твоему из мрака бездны
Свет над водами воссиял, — хвала!
За новый день хвала тебе, Егова!

Ева

Бог! Имя давший дню, разъявший утро
И ночь, дотеле слитые, и грань
Меж волн проведенный, и нарекший небом
Часть мира сотворенного, — хвала!

Авель

Бог! Создал ты стихии: воду, воздух,
Огонь и землю; создал ночь и день;

И — чтобы в них сиять и меркнуть — звезды;
И существа, чтоб радовались миру,
Любя творенье и творца! Хвала!

Ада

Бог! Вечный! Всетворец! Ты создал *эти*
Создания всех прекрасней, чтоб любили
Их больше всех после тебя! Позволь мне
Их и тебя любить! Хвала, хвала!

Цилла

О бог! Создав, благословив, любя
Все в мире, змию ты вползти позволил
В рай, — и отец мой изгнан был. Храни же
Нас впредь от зла. Хвала тебе, хвала!

Адам

Что ж ты безмолвен, перенец мой, Каин?

Каин

Нельзя молчать?

А д а м
Молился.

К а и н
Но вы ж молились?

А д а м
Да; пламенно!

К а и н
И громко. Я вас слышал.

А д а м
Надеюсь, также слышал бог.

К а и н
Аминь.

А д а м
Но ты, мой старший, все молчишь?

К а и н
Так лучше.

А д а м
Но почему?

К а и н
Мне не о чем просить.

А д а м
И не за что благодарить?

К а и н
Не вижу.

А д а м
А жизнь?

К а и н
Я разве не умру?

Е в а
Увы!
Плод ветви нам запретной для паденья
Созрел!

А д а м
И нам опять его поднять!
Зачем взрастил ты, боже, древо знанья?

К а и н
Зачем вы плод не сняли с древа жизни?
Тогда с творцом бороться б можно.

А д а м
Сын!
Не богохульствуй: змию вторишь!

К а и н
Что же:
Змий не солгал! Ведь было древо знанья
И было древо жизни: знанье — благо,
Жизнь — благо; слившись, породят ли зло?

Е в а
Мой мальчик! Я до твоего рожденья
Твердила то же, грешная! Не дай мне
Мое несчастье обновить в твоём.
Я каялась. Не дай мне рая видеть
Мне сына в тех тенетах, что в раю
Родителей сгубили. Будь доволен
И тем, что *есть*. Не требуй *мы* иного,
Теперь бы ты спокоен был. О сын мой!..

А д а м
Молитву кончив, разойдемся каждый
К своей работе; хоть она — возмездье,
А все ж легка: к нам юная земля
Щедра за малый труд.

Е в а
О сын мой Каин!
Смотри, как бодр отец твой и покорен;
Бери пример.

Адам и Ева уходят.

Ц и л л а
Ты не согласен, брат?

А в е л ь
К чему хранить столь мрачный вид? В том пользы
Нет никакой, но можно вызвать гнев
Предвечного.

А д а
Мой милый Каин, разве
И на меня ты хмуришься?

К а и н
Нет, Ада;
Нет. Я один хочу побыть немного.
Мне, Авель, что-то грустно. Но пройдет.
Пока иди, приду потом: вы, сестры,
Не ждите тоже, я не задержусь.
Вы так нежны, и я боюсь быть резким.
Приду я вскоре.

А д а
Если ж нет, вернусь я
Тебя искать.

А в е л ь
Да будет мир господень
С тобою, брат!

Авель, Цилла и Ада уходят.

К а и н
(один)

И это — жизнь!.. Трудись!
А почему обязан я трудиться?
Отец мой рай утратил; но при чем же
Тут я? Меня и не было на свете;
Я не искал рожденья; не люблю я
Того, что мне оно дало! Зачем

Отец послушал женщину и змия?
За что страдать он должен? Что случилось?
Там было древо,— для кого же, если
Не для него? Или зачем он рядом
Был поселен с прекрасным этим деревом?
Ответ у них один: «Так *он* изволил,
А *он* — всеблаг». А верно ли? Всеблагость
Всегда ль из всемогущества исходит?
Я по плодам сужу, а в них ведь горечь;
И я безвинно должен их вкушать...
Но кто там? Видом ангел, но суровый,
Печальнее чем эти существа
Бесплотные. Что ж я дрожу? Страшней ли
Он прочих духов? Ежедневно их
Я вижу — потрясающих мечами
Из пламени у врат, вокруг которых
Брожу я часто в сумерки, чтоб глянуть
На рай, мое законное наследье,
Покуда ночь не скроет стен запретных
И древ бессмертных, вставших над оградой,
Где херувимы стражу держат. Я
Их с огненным оружием не боялся,
Что ж мне робеть пред этим пришлецом?
Но он величественней их и столь же
Прекрасен, но ущербна красота:
Он был иль мог быть лучше. Полно скорби
Его бессмертье. Так ли это? Разве
Не человек лишь обречен скорбям?
Подходит...

Входит Люцифер.

Люцифер

Смертный!

Каин

Кто ты, дух?

Люцифер

Властитель

Над духами.

Каин

Коль так, зачем ты их
Покинул ради праха?

Люцифер

Мысли праха

Я знаю, сострадаю.

Каин

Как? Ты в мысли

Мои проник?

Люцифер

Да; это мысли всех,

Достойных мыслить. Это в вас частица
Бессмертия звучит.

Каин

Бессмертья?! Это

Нам не открыто. Древа жизни мы
Лишились по отцовскому безумью;
А плод познания слишком рано с древа
Мать сорвала, и смерть — весь этот плод!

Люцифер

Не верь: ты будешь жить.

Каин

О да: живу я,

Но я умру. Живя, не знаю, чем бы
Меня страшила смерть,— не будь врожденной
И жалкой, и презренной жажды жить,—
Неукротимой жажды. Мне противна
Она, и сам я мерзок, но — что делать!
Живу. А лучше б никогда не жить!

Люцифер

Ты жив и будешь вечно жить. Не думай,
Что жизнь твоя — вся в этой оболочке
Из праха. Прах погибнет, ты же будешь
Таким, как был.

Каин

Таким? А что ж не вышим?

Люцифер

Быть может, нам подобен станешь ты.

Каин

А вы?

Люцифер

Бессмертны.

Каин

Счастливы?

Люцифер

Могучи.

Каин

Вы счастливы?

Люцифер

Нет. Ну, а ты?

Каин

Взгляни:

Как я могу быть счастливым?

Люцифер

Прах ничтожный!

Ты смеешь мнить себя несчастным! Ты!

Каин

Да, я! А ты с твоим величием, кто ты?

Люцифер

Дух, пожелавший заменить творца;
Тогда бы ты не так был создан.

Каин

Да,

Ты выглядишь, почти как бог.

Л ю ц и ф е р

Не бог я.

Но раз не бог, быть не хочу никем, —
Собой лишь! Победил он? Пусть он правит.

К а и н

Кто?

Л ю ц и ф е р

Тот, кем создан твой отец, земля...

К а и н

И небо и все прочее. Так пели
И ангелы, и мой отец твердил.

Л ю ц и ф е р

Им должно так твердить и петь — под страхом
Нам уподобиться, мне и тебе,
Меж духами и меж людьми.

К а и н

Но кто мы?

Л ю ц и ф е р

Те, кто бессмертьем пользоваться смеют
И, глядя всемогущему Тирану
В предвечный лик, дерзают утверждать,
Что зло его не есть добро. И если
Он создал нас, как говорит (не знаю,
Не верю я!), то истребить не может!
Бессмертны мы! Бессмертны, чтобы мог он
Терзать нас! Пусть! Как ни велик он, все ж
В своем величье он не боле счастлив,
Чем мы в борьбе! Зла не рождает благодать,
А что другое породил он? Пусть он
Сидит на пышном, одиноком троне,
Творя миры, чтоб одному не быть,
Чтоб не томиться бытием своим
В пустынях вечности. И пусть на звезды
Он звезды громоздит, все ж одинок он —
Неистребимый, внепределный деспот.
Когда б себя он ниспровергнуть мог,
То не было б для нас прекрасней дара.
Но пусть царит, свои страдания множа!
Людей и духов связывает общность
Мучений, и, хотя несчетны муки,
Нам легче их переносить: ведь мы
Сочувствием объаты безграничным —
Мы все. Но *он*... Как он в выси несчастен,
В несчастье как беспокоен, вечно
Творя, творя... Возможно, в некий день
Себе создаст он сына (как тебе
Создал отца); но если так, поверь мне:
Сын этот будет в жертву принесен!

К а и н

Ты говоришь о том, что смутной думой
Во мне витало. Никогда не мог я
Согласовать мой опыт с поученьем.
Отец и мать о змиях мне твердят,

О древе, о плодах; я вижу только
Врата в их рай, а возле — херувимы
С мечами огненными, те, кто их
Изгнали и меня. Согбен под гнетом
Труда и дум, вокруг я вижу мир,
Где я кажусь ничем, тогда как мысли
Во мне такие, что могли бы миром
Владеть. Но втайне думал я, что это —
Моя беда. Смирился мой отец;
Мать расточила прежний ум, который
Познанья жаждал, пред проклятьем вечным
Не отступив; мой брат пасет овец
И первенцев-ягнят приносит в жертву
Тому, кто воспретил земле давать нам
Свой плод, коль пот не будет нами пролит;
Сестренка Цилла птиц опережает
Рассветным гимном; Ада же моя,
Столь близкая, — и та постичь не в силах
Владеющую мною мысль. Доныне
Я не встречал сочувствия ни в ком.
Тем лучше! С духами вступлю я в близость.

Л ю ц и ф е р

Когда б для этой близости душою
Ты не созрел, тебе я не предстал бы
Таким, как есть. Довольно было б змия,
Чтоб вас очаровать, как прежде.

К а и н

Значит,

Ты мать мою поверг в соблазн?

Л ю ц и ф е р

Соблазн мой —

Лишь в правде. Разве древо то — не древо
Познания? Иль не росли плоды
На древе жизни? Я ль велел не рвать их?
Запретный плод я ль вырастил доступным
Для двух существ невинных, с любопытством
Невинности? Я превратил бы вас
В богов. А *он*, изгнавший вас, изгнал
Затем, чтоб «вы, вкусив от древа жизни,
Не стали боги». Не его ль слова?

К а и н

Да; их услышал я от тех, кто в громе
Их услышал.

Л ю ц и ф е р

Кто ж демон? Тот ли, кто
Вам не дал жизни, иль другой, желавший
Вам дать бессмертье в радости и в мощи
Познанья?

К а и н

Им от двух плодов вкусить бы
Иль вовсе не вкушать!

Л ю ц и ф е р

Один отведан.

Другой доступен.

К а и н
Как?

Л ю ц и ф е р

Путем борьбы
И самоутверждения. Дух не может
Угашен быть, коль стал он сам собой
И средоточьем всех вещей; он создан
Царить.

К а и н
Не ты ль родителей прельстил?

Л ю ц и ф е р

Я? Жалкий прах! Прельщать их! Как? Зачем?

К а и н
Сказали мне: змий — дух.

Л ю ц и ф е р

Кто говорил так?
В выси так не начертано. Надменный
Творец до лжи такой не снизойдет.
Лишь мелкое тщеславье человека
И страх его вину паденья валят
На духов. Змий был только змий, не больше;
И соблазненным был он равен плотью,
Такой же брэнной; только был *мудрее*,
Их победив и угадав, что в знанье
Погибнет счастье крохотное их.
Мне ль принимать личину твари смертной?

К а и н
Но в твари демон был?

Л ю ц и ф е р

Нет. Он проснулся
В *них*, языком двужалым пробужден.
Я говорю: змий был змеей простою;
Спроси у херувима, что хранит
Запретный плод. Пройдут тысячелетья
Над смертным пеплом вашим и потомства
И в басню облекут ваш грех начальный,
Придав мне образ, для меня презренный.
Как все презренно, что колени клонит
Пред *ним*, создавшим жизнь для поклоненья
Пустой и скучной вечности его.
Но мы — мы видим правду и не скроем.
Доверились Адам и Ева гаду
И пали. Что же духам их прельщать?
Завидны ли тесноты рая духам,
Владыкам всех пространств? Но говорю я
О том, чего, вкусив и от познанья,
Ты не поймешь.

К а и н
Но, что бы ни назвал ты,
Я все могу иль жажду знать, владея
Способностью познанья.

Л ю ц и ф е р
И душой
Достаточно отважной, чтобы видеть?

К а и н
Что ж, испытай.

Л ю ц и ф е р
Дерзнешь взглянуть на смерть?

К а и н
Ее никто не видел.
Л ю ц и ф е р

Всем придется.

К а и н
Отец в ней видит ужас; плачет мать,
О ней услышав; Авель взоры к небу
Возводит; Цилла смотрит вниз и шепчет
Молитву; Ада на меня безмолвно
Глядит.

Л ю ц и ф е р
А ты?

К а и н
В невыразимых мыслях
Сгораю ум, едва услышу я
О всемогущей смерти, что, как видно,
Неотвратима. Как бороться с ней?
Я, мальчиком, со львом боролся в шутку,
И с ревом рвался из объятий он.

Л ю ц и ф е р
Безлика смерть, но поглощает все,
Что в земнородных ликах.

К а и н
А! Считал я
Смерть существом. Но *как не-существо*
Столь вредоносно существам?

Л ю ц и ф е р
Пускай
Ответит Разрушитель.

К а и н
Кто?

Л ю ц и ф е р
Создатель.—
Зови как хочешь: он творит, чтоб рушить.

К а и н
Я этого не знал, но думал, слыша
О смерти... Пусть неведомая, мне
Она ужасной мнится. Я нередко,
Ища ее, глядел в пустоты ночи,
И, видя взмахи огненных мечей
Под сенью стен эдемских над тенями
Гигантскими — угрозу херувимов,—
Ее приход подстерегал я. В сердце
Росла сквозь ужас жажда видеть ту,

Что сгубит всех нас: Но не приходила.
Тогда усталый взор я отвращал
От стен родного отнятого рая
И возводил в лазурь, к светилам горним,
К прекрасным! Что же, и они умрут?

Л ю ц и ф е р

Быть может, род ваш пережив надолго.

К а и н

Я рад; им вовсе умирать не надо б,
Таким красивым. Что такое смерть?
Она — боюсь и чувствую — ужасна!
Но что она? Нам, грешным и безгрешным,
Она была возведена, как зло.
Какое зло?

Л ю ц и ф е р

Опять вернуться в землю.

К а и н

И сознавать?

Л ю ц и ф е р

Я не могу ответить,

Не зная смерти.

К а и н

Быть землей спокойной

Еще не зло. О, если бы всегда я
Был только прахом.

Л ю ц и ф е р

Низкое желанье!

Адам был выше: он хотел познать.

К а и н

Не жить! Иначе б он от древа жизни
Вкусил.

Л ю ц и ф е р

Он изгнан был.

К а и н

Смертельный промах!

Сперва другой бы плод сорвать! Но мог ли
Он знать о смерти, не вкусив познания?
Увы! Я сам о ней почти не знаю
И все ж боюсь, неведомо чего!

Л ю ц и ф е р

А я все знаю. Истинному знанию
Неведом страх!

К а и н

Ты просветишь меня?

Л ю ц и ф е р

С условием.

К а и н

Каким?

Л ю ц и ф е р

Упасть на землю,

Мне поклониться — богу твоему.

К а и н

Но ты — не бог, пред кем склонен отец мой.

Л ю ц и ф е р

Нет.

К а и н

Равный?

Л ю ц и ф е р

Нет. Я с ним ни в чем не сходен.

И не хочу. Будь выше я, будь ниже —
Мне все равно: ни власть его делить,
Ни ей служить не стану. Я — особый.
Но я велик. Я множествами признан
И новых жду; будь между ними первым.

К а и н

Я никогда и пред отцовским богом
Лба не склонял, хоть брат нередко просит
С ним вместе жертвы приносить. Зачем же
Перед тобой склоплюсь?

Л ю ц и ф е р

Ты не склонялся

Пред ним?

К а и н

Не слышал ты? Иль сам не знаешь?
У своего всеведенья спроси!

Л ю ц и ф е р

Не чтущий бога чтит меня.

К а и н

Но я

Ни перед кем не преклонюсь.

Л ю ц и ф е р

И все же

Ты мой поклонник: не клонясь пред богом,
Клонялся предо мной.

К а и н

Что это значит?

Л ю ц и ф е р

Узнаешь после.

К а и н

Лишь открой мне тайну
Существованья моего.

Л ю ц и ф е р

Ступай

За мною вслед.

К а и н

Но мне на нивы нужно;
Я обещал.

Л ю ц и ф е р
 Что?
 К а и н
 Первые плоды
 Сбирать.
 Л ю ц и ф е р
 Зачем?
 К а и н
 Мы с Авелем их в жертву
 На алтаре приносим.
 Л ю ц и ф е р
 Не сказал ли
 Ты, что творцу не поклонялся?
 К а и н
 Да;
 Но Авель упросил меня, и жертва
 Его скорей, а не моя... и Ада...
 Л ю ц и ф е р
 Замялся ты...
 К а и н
 Она моя сестра;
 Мы близнецы; она меня слезами
 Принудила ей обещать, — и рад я,
 Чтоб слез ее не видеть, все спести,
 Любому поклониться...
 Л ю ц и ф е р
 Так за мною!
 К а и н
 Иду.
 Входит Ада.
 А д а
 Я за тобою, брат. Настал
 Час отдыха и радости, но скучно
 Нам без тебя. Ты не работал нынче;
 Я твой урок исполнила; созрели
 Твои плоды; как луч, их гревший, рдеют.
 Пойдем.
 К а и н
 Не видишь?
 А д а
 Вижу: ангел; часто
 Мы видим их. Наш отдых он разделит?
 Мы рады будем.
 К а и н
 С ангелом обычным
 Не схож он.
 А д а
 Значит, есть иные? Рады
 И новому, как тем: у нас гостили
 Они охотно. Он пойдет?
 К а и н
 Пойдешь?

Л ю ц и ф е р
 Со мной иди.
 К а и н
 Я должен с ним итти.
 А д а
 Оставля нас?
 К а и н
 Да.
 А д а
 И меня?
 К а и н
 Ах, Ада,
 Любимая!
 А д а
 Пойду с тобою.
 Л ю ц и ф е р
 Не смей.
 А д а
 Ты кто, встающий меж сердцами?
 К а и н
 Бог он.
 А д а
 Как ты узнал?
 К а и н
 Он говорил, как бог.
 А д а
 Змий так же говорил — и лгал.
 Л ю ц и ф е р
 Неверно!
 То древо не было ли древом знания?
 А д а
 Да, к вечной скорби нашей!
 Л ю ц и ф е р
 Да, но скорбь
 И есть познание; значит, он не лгал,
 А если и прельстил, то чистой правдой;
 А истина по сути быть не может
 Не благом.
 А д а
 Все, что мы пока узнали, —
 Беда и зло: изгнание из рая,
 И страх, и труд, и пот, и угрызенья
 Утраты, и бесплодные надежды...
 Нет, Каин! с этим духом не ходи;
 Дели наш гнет; лоби меня ответно,
 Как я.
 Л ю ц и ф е р
 Сильнее, чем отца и мать?
 А д а
 Да. В этом тоже грех?

Л ю ц и ф е р

Теперь не грех;
Но станет им в потомстве.

А д а

Как? Не смеет
Еноха, брата, дочь моя любить?

Л ю ц и ф е р

Твоей любовью к брату — нет.

А д а

О боже!

Им не дано любить, других рождая,
Чтоб и они любили? Их вскормила
Не эта ль грудь? Не в тот же ль день отец их
Не из того же ль лона появился,
Что я? Или друг друга мы не любим?
Иль, размножаясь, мы не умножаем
Тех, кто любить один другого будут,
Как мы их, как тебя, мой Каин, я?..
Нет, не ходи: дух этот нам чужой!

Л ю ц и ф е р

Грех, что назвал я, порожден не мною,
Да и не грех для вас; любовь такую
Сочтут преступной те, кто смеют вас
На смертном поле.

А д а

Разве грех — не грех
Сам по себе? Или от обстоятельств
Зло и добро? Коль так, мы все рабы...

Л ю ц и ф е р

И те, кто выше вас, — рабы. Рабами
И высочайшие могли бы стать,
Не предпочти они свободу муки
Терзаниям сладкоречивым лести
Средь звона арф, расчтливых молений
Пред всемогущим, именно затем,
Что всемогущ он; в них корысть и ужас,
А не любовь.

А д а

Но всемогущий также
Всеблаг.

Л ю ц и ф е р

Так было и в раю?

А д а

Лукавый!

Ты красотой не искушай! Ты змия
Красивее, но столь же лжив.

Л ю ц и ф е р

Правдив.

Спроси у Евы: не нашла ль познания
Добра и зла?

А д а

О мать! Вкушенный плод
Был вредоносней для твоих потомков,
Чем для тебя, хоть юность провела ты
В общении невинном и блаженном
С блаженнейшими духами в раю.
А нас, твоих детей, не знавших рая,
Встречают бесы и, слова господни
Присвоив, искушают наши души
С несатым любопытством их. Так змий
Тебя прельстил в твоём блаженстве полном,
В доверчивости беззаботной счастья!
Я этому бессмертному не в силах
Найти ответ; его презреть не в силах;
Я на него гляжу со страхом сладким
И не бегу; приманчивая сила
В его глазах, — и взор мой к ним прикован
Встревоженный; и быстро бьется сердце.
Меня страшит он — и влечет все ближе,
Все ближе... Каин, Каин, помоги!
Спаси!

К а и н

Не бойся, Ада: он — не демон.

А д а

Не бог он — и не божий; херувимов
И серафимов я видала; с ними —
Ничуть не схож он.

К а и н

Духи есть и выше:
Архангелы.

Л ю ц и ф е р

И выше есть.

А д а

Но те
Ведь не блаженны.

Л ю ц и ф е р

Коль блаженство в рабстве
Да: не блаженны.

А д а

Говорят, любовь —
Суть серафимов, херувимов — *знание*.
Он — херувим: ему любовь чужда.

Л ю ц и ф е р

Но раз любовь в познание высшем гаснет,
Кто ж он, кого нельзя любить, узнав?
Коль херувим всеведущий не любит,
То серафимы любят по незнанию.
Не слить любовь и знание! Участь ваших
Родителей, дерзнувших, — вот пример.
Любовь иль знание? выбирайте. Выбрал
Уже отец ваш, — преклонясь пред богом
Из страха.

А д а

Каин! Избери любовь!

К а и н

Любовь к тебе мне врождена. Но больше
Мне некого любить.

А д а

А мать с отцом?

К а и н

А нас они любили, плод срывая,
Изгнание повлекший?

А д а

Но тогда

Еще мы не рождались, а, родившись...
Как не любить нам их? и наших деток?

К а и н

Енох, мой крошка! И его сестренка
Лепечущая! Верь я в счастье их,
Я б мог... но нет: в трехтысячном колене
Не позабудут! Не возлюбят память
Того, кто семя зла и семя рода
Посеял одновременно! Вкусив
Плод знания и греха, своею скорбью
Не утолясь, они произвели
Меня, твоя, всех нас, — откуда горстку, —
И множества несметные — мильоны
И мириады тех, кто в мир придут
Наследовать страдания, вскамы
Накопленные! И отец им — я!
Твоя любовь и красота, мои
Любовь и радость, наш восторг, наш отдых —
Все, что мы любим в детях и друг в друге, —
Детей и нас ведет сквозь грех и боль
Коротких или долгих лет, с их скорбью,
С их редкими отрадами на миг,
В неведомое, в смерть! И древо знания,
По-моему, солгало: согрешив,
Они должны б узнать все то, что входит
В познание, и — тайну смерти. Что ж
Они узнали? Что они несчастны?
Чтоб это знать, излишни змий и плод!

А д а

Я, Каин, не несчастна, и когда бы
Ты счастлив был...

К а и н

И радуйся одна!

А мне нас умижающее счастье
Не нужно!

А д а

Не могу и не хочу я
Быть счастлива одна. Но счастье с миром
Могла б делить я, несмотря на смерть:
Я не боюсь ее, хоть и не знаю,
Хоть кажется она зловещей тенью,
Судя по разговорам.

Л ю ц и ф е р

Ты сказала:

Одна не будешь счастлива?

А д а

О боже!

Кто мог бы счастлив быть и добр один?
Уединенье мне грехом казалось
Без мысли о скорейшей встрече с братом,
С другим, с родителями и детьми.

Л ю ц и ф е р

Твой бог — один; и счастлив? Одинок он;
И добр?

А д а

Он не один, даруя счастье
И ангелам и людям. Разливая
Повсюду радость, он блажен. Есть выше ль
Блаженство, чем блаженством одарять?

Л ю ц и ф е р

Спроси отца — он так недавно изгнан —
Иль Каина, иль собственное сердце:
В нем нет покоя.

А д а

Нет, увы! Но ты,

Ты с неба?

Л ю ц и ф е р

Нет. А почему, — спроси
Источник всеобъемлющего счастья
(По-твоему), всеильного, благого
Творца всей жизни: это он, как тайну
Свою, хранит. Мы — все должны терпеть;
Но многие восстали — и бесплодно,
По слову серафимов; но попытка
Ничто нам не ухудшит. В духе — мудрость,
Что правый нам указывает путь, —
Как в синей дымке юный взор ваш манит
Предшественница радостной зари,
Звезда рассвета — ясная Денница.

А д а

Прекрасная звезда; ее люблю я
За красоту.

Л ю ц и ф е р

Склонись пред ней!

А д а

Отец мой

Склоняется перед Незримым только.

Л ю ц и ф е р

Но символы Незримого прекрасней
Всего, что видим, а Денница эта —
Вождь ратей звездных.

А д а

Говорил отец наш,

Что видел он и бога самого,
Создавшего его и мать.

Л ю ц и ф е р

А ты

Видла?

А да

Да, в твореньях.

Л ю ц и ф е р

Но не в сути?

А да

Нет; лишь в отце, кто сам — его подобье,
И в ангелах, похожих на тебя:
Они светлей, но менее прекрасны
И мощны. Будто полдень, полный светом
И тишиной, они глядят на нас.
Но ты — ночной эфир, где в белых тучах
Сквозит глубокий пурпур, и созвездья
Горят в глуби таинственного свода,
Несчетные, как бы скопленья солнц,
Но столь прекрасных, нежных, неслепящих,
Пленительных, что мы стремимся к ним,
Что взор мой полон слез... И ты таков же.
Ты выглядишь несчастным; но не дай нам
Таким же быть, — и о тебе поплачу.

Л ю ц и ф е р

О! Слезы! Знай: прольют их океан.

А да

Я?

Л ю ц и ф е р

Все.

А да

Кто все?

Л ю ц и ф е р

Мильоны, мириады,
Весь многолюдный мир, и мир безлюдный,
И ад, сверхмноголюдный ад, чье семя
В твоей груди.

А да

О Каин! Этот дух

Нас проклинает!

К а и н

Пусть его. За ним я

Последую.

А да

Куда?

Л ю ц и ф е р

Туда, откуда

Он через час вернется, но увидит
За час деянья многих дней.

А да

Как может

Такое быть?

Л ю ц и ф е р

А ваш творец в шесть дней

Из мира ветхого не создал новый?

Ужель не в силах я, его помощник,

В час показать, что он столь долго строил

Иль рушил вмиг?

К а и н

Веди!

А да

Но через час

Вернется он?

Л ю ц и ф е р

Конечно. Мы иззяты

Из времени в деянья наших: вечность

Я в час один могу вместить и час

Продолжить в вечность. Наше бытие

Неизмеримо человеческой мерой.

Но это — тайна. Ну, за мною, Каин.

А да

Вернется он?

Л ю ц и ф е р

Да, женщина. Оттуда

Он первый и последний меж людей

(За исключением *одного*) вернется

К тебе, чтобы тот мир, безмолвно ждущий,

Так заселить, как этот мир; покуда

Он пуст еще.

А да

Где обитаешь ты?

Л ю ц и ф е р

Везде в пространствах. Где ж еще? Где бог твой

Иль боги, там и я: мы поделили

Все — жизнь и смерть, года и вечность, небо

И землю, и все то, что ни земля,

Ни небо, но населено иль будет

Когда-нибудь населено. Все это

Мои владенья! С ним делю я царство,

Но властвую и там, где нет владений

Ему. Не будь я столь могуч, не мог бы

Я с вами быть. Здесь ангелы повсюду.

А да

Они ведь были и в раю, где лстывный

Змий мать мою прельщал.

Л ю ц и ф е р

Ты слышал, Каин.

Коль знанья жаждешь, дам тебе напиток,

Не требуя вкусить плодов, способных

Отнять последний дар, что победитель

Тебе оставил. Следуй же за мной.

К а и н

Сказал, иду я!

Люцифер и Каин уходят.

А да

(следует за ними, восклицая)

Каин! Брат мой! Каин!

АКТ ВТОРОЙ

СЦЕНА I

Бездна пространств.

К а и н

По воздуху, не падая, скользжу я;
Но я боюсь упасть.

Л ю ц и ф е р

Лишь верь в меня,
И сдержит воздух, мне покорный — Князю.

К а и н

Но ведь нечестье в этой вере?

Л ю ц и ф е р

Верь —

И шествуй; усомнись — и гибни! В этом
Закон другого бога, кто меня
Пред ангелами демоном назвал,
А те сказали это жалким тварям,
Кому доступен лишь мирок их чувств,
Кто рады пасть пред окриком и видеть
Добро и зло лишь там, где им прикажут,
Ничтожным! Мне таких не надо. Можешь
Меня признать иль нет, но покажу я
Тебе миры, вне твоего мирка,
И кару после жизни за сомненья
Не я назначу. Некий день придет,
И человек, по хлябям вод идущий,
Другому скажет: «Верь в меня, и воды
Тебя снесут»; и неведимым тот
Пройдет по волнам. Веры я не ставлю
Спасенья твоего условием; просто
Лети со мной над бездною, как равный,
И ты увидишь, не дерзнув отвергнуть
Иль отрицать, всю летопись миров,
Прошедших, настоящих и грядущих.

К а и н

О бог иль демон, кто бы ни был ты,
Вон то—земля?

Л ю ц и ф е р

Ты не узнал той глины,
Из коей создан твой отец?

К а и н

Как! Синий

Тот круг, что реет в глубине эфира,
И рядом с ним кружок, похожий цветом
На то, что ночью освещает землю?
И там наш рай? Но где же стены рая?
Где стража их?

Л ю ф и ц е р

Ты укажи мне место,
Где ваш Эдем.

К а и н

Как я могу? Мы мчимся

Быстрее луча; земля все меньше, меньше
И, тая, собирает ореол
Вокруг себя, похожий на сиянье
Той, самой светлой между звезд, какую
Я у границы рая созерцал.
Но мы летим, и оба диска эти
Сливаются с несметным роем звезд,
Нас окруживших; мчимся мы, — и гуще
Их мириады!

Л ю ц и ф е р

Если б это были

Миры громадней твоего, и твари
На них громадней, и число их больше
Числа пылинок на земле унылой,
И, будучи одушевленным прахом,
Скорбели б так же, предвещуя смерть,
Что б ты подумал?

К а и н

Я б умом гордился,

Постигшим это.

Л ю ц и ф е р

Если ж ум высокий

В плену у грубой плоти и, познав
Все это и стремясь к иному знанью,
Обширнейшему, все же подчинен
Грубейшим, мелким, мерзким вождельням,
Сплошь грязным, вздорным, а вершина счастья —
Лишь в сладком униженье, в том обмане,
Что расслабляет и грязнит, маня
Плодить все вновь тела и души, также
Назначенные тлеть, и лишь немного
Счастливец...

К а и н

Дух! О смерти мне известно

То, что она ужасна, по словам
Отца и матери моих, которым
Обязан я не менее, чем жизнью,
Наследьем этим страшным. Да, наследство
Печальное! Но, дух, коль все случится,
Как ты сказал (душа моя полна
Мучительным предугаданьем правды),
Здесь дай мне умереть: рождать несчастных,
Кто выстрадают и умрут, ведь это —
Смерть проливать и умножать убийства!

Л ю ц и ф е р

Но *весь* ты умереть не можешь: нечто
В тебе бессмертно.

К а и н

А! Другой об этом

Не говорил отцу, его из рая
Изгнав и начертав на лбу его
Знак смерти! Но по крайней мере дай
Во мне погибнуть смертной части, чтобы
Стал с ангелами схож я в остальном!

Л ю ц и ф е р

И я ведь ангел; хочешь быть таким же?

К а и н

Не знаю, кто ты. Вижу: ты могуч,
Явил мне то, что превышает силы
Врожденных мне способностей, но ниже
Моих желаний и моей мечты...

Л ю ц и ф е р

Но в чем желанья эти и мечты,
Столь гордые, хоть и живут с червями
Во прахе?

К а и н

Ну, а ты, чье пребыванье
В духовных сферах, столь высоких, ты,
Владеющий природой и бессмертьем, —
Что скорбным кажешься?

Л ю ц и ф е р

Да я и скорбен.

Поэтому и спрашиваю: хочешь
Бессмертным быть?

К а и н

Но ты сказал, что я,
Хочу иль нет, бессмертен. Я об этом
Не знал еще. Но если так — на счастье
Или несчастье — научи меня
Мое бессмертье предвкусить.

Л ю ц и ф е р

Но это

И до меня успел ты.

К а и н

Как?

Л ю ц и ф е р

Страдая.

К а и н

Так муки будут вечны?

Л ю ц и ф е р

Мы узнаем, —

Мы и твое потомство. Но взгляни:
Не правда ль, величаво?

К а и н

О прекрасный,

В мечтах невиданный эфир! О густки
Роящихся без меры и предела

Огней! Что вы такое? Что такое

Воздушная пустыня синей бездны,

Где вьетесь вы, как вьются, — видел я, —

Листы дерев в ручьях прозрачных рая?

Размерен ли ваш бег? Иль вы свободно

Проноситесь в безудержном разгуле

Сквозь мир воздушный беспредельной шири, —

При мысли о которой сердце ноет, —

Пьянея вечностью? О бог, о боги, —

Кто б ни был здесь! Как вы прекрасны все!

И как прекрасны и творенья ваши,

И прихоти, и я не знаю что!

Коль умирает атом, пусть умру я,

Как он, но пусть пойму величье ваше

И тайну вашу! Прах мой недостойн

Того, что вижу, но достойна мысль!

Дай умереть мне, дух, иль быть к ним ближе!

Л ю ц и ф е р

А ты не близок? Оглянись на землю!

К а и н

Но где она? Я вижу только рой
Огней несметных.

Л ю ц и ф е р

Глянь туда.

К а и н

Не вижу.

Л ю ц и ф е р

А все ж она мерцает.

К а и н

Ах, вон та!

Л ю ц и ф е р

Да.

К а и н

Трудно верить! Почему же часто
Видал я светляков или светлянок
В тенистых рощах и в траве зеленой,
Сверкавших ярче в сумраке, чем мир,
Несущий их?

Л ю ц и ф е р

Миры и светляки

Блестят, как видишь. Что ж о них ты скажешь?

К а и н

Что все они по-своему прекрасны;
И что в ночи, дарящей красоту им,
Светлянки ль малой яркое порханье,
Звезды ль бессмертной мощный лёт равно
Руководимы...

Л ю ц и ф е р

Кем иль чем?

К а и н

Открой мне.

Л ю ц и ф е р
Дерзнешь взглянуть?
К а и н
Откуда знать, дерзну ли,
Иль нет? Пока я ничего не видел,
На что глядеть не смел бы.
Л ю ц и ф е р
Так за мной!
Ты смертных видеть хочешь иль бессмертных?
К а и н
А твари — что?
Л ю ц и ф е р
И то, и то. К чему же
Тебя влечет?
К а и н
К тому, что здесь.
Л ю ц и ф е р
А в прошлом
Что мучило?
К а и н
Невиданное и
Незримое вовеки: тайна смерти.
Л ю ц и ф е р
Что, если покажу тебе умерших,
Как показал извечное?
К а и н
Да, да!
Л ю ц и ф е р
Ну так вперед! На мощных крыльях наших!
К а и н
О, как лазурь мы режем! Звезды меркнут!..
Земля! Где ты? Ее увидеть дай мне:
Ведь я — земной.
Л ю ц и ф е р
Она осталась сзади,
Став меньше в мире, чем на ней был ты.
Но от нее ты не уйдешь: ты скоро
Вернешься к ней, в привычный прах, — и в этом
Рок твоего и моего бессмертья.
К а и н
Куда ты мчишь меня?
Л ю ц и ф е р
К тому, что было.
В тот *призрак* мира, чей обломок жалкий —
Твой мир.
К а и н
Так, значит, мир не нов?

Л ю ц и ф е р
Не больше,
Чем жизнь. Она древней, чем ты, чем я,
Чем то, что выше нас. Иным вещам
Конца вовек не будет, а иные,
Считаюсь безначальными, имеют
Начало, столь же низкое, как ты;
И многое могучее угасло,
Столь малому давая путь, что мы
И не представим. *Время и пространство* —
Вот все, что есть и будет *неизменно*,
А измененья смерть несут лишь праху.
Ты — прах; тебе понятны судьбы праха,
Не более; и ты увидишь прах.
К а и н
Прах или дух, — все огляжу, что хочешь!
Л ю ц и ф е р
Тогда вперед!
К а и н
Огни так быстро гаснут,
А ведь росли при нашем приближенье,
Как бы миры.
Л ю ц и ф е р
Они и есть миры.
К а и н
С эдемами?
Л ю ц и ф е р
Возможно.
К а и н
И с людьми?
Л ю ц и ф е р
И люди есть и высшие.
К а и н
А змий?
Л ю ц и ф е р
Раз люди есть, конечно, — пресмыкаться
Ведь не двуногим только.
К а и н
Тают звезды!
Куда летим?
Л ю ц и ф е р
В мир привидений, где
Ушедших тени, призраки грядущих.
К а и н
Как тьма сгущается. Исчезли звезды.
Л ю ц и ф е р
Но ты ведь видишь.

Это страшный свет.

Ни солнца, ни луны, ни звезд несчетных.
Глубокая лазурь и пурпур ночи
Сгустились в сумрак жуткий, где я вижу
Громады тусклые, — не те миры,
Что нам в пути сверкали в ореолах;
Там жизнь была, там сквозь покровы блеска
Взор различал многообразье форм,
Долин глубины, гор огромных края;
Те — в искрометах, те — в равнинах водных,
Те — световым кольцом окружены,
И луны вокруг плывут, напоминая
Лицо земли моей прекрасной, — здесь же
Так мрачно все и страшно.

Л ю ц и ф е р

Да, но четко.

Ты жаждешь смерть увидеть и умерших?

К а и н

Не жажду, но коль есть и та, и те,
И грех отца на смерть обрек всех нас —
Его, меня, потомство, я хотел бы
Сейчас увидеть то, что неизбежно
Увижу в некий день.

Л ю ц и ф е р

Гляди!

К а и н

Здесь мрак.

Л ю ц и ф е р

И вечный мрак. Но мы сейчас раскроем
Его врата.

К а и н

Что за пары клубятся

Ужасные?

Л ю ц и ф е р

Входи.

К а и н

Но я вернусь?

Л ю ц и ф е р

Конечно! Кто ж наполнит царство смерти?
Оно пустоет и должно быть полно
Твоим потомством.

К а и н

Облака все шире

Расходятся и обвивают нас.

Л ю ц и ф е р

Иди.

К а и н

И ты!

Л ю ц и ф е р

Не бойся: в мир внемирный
Ты не проникнешь без меня. Вперед!

Исчезают в облаках.

Ад.

Входят Л ю ц и ф е р и К а и н.

К а и н

Как тихи эти мрачные миры!
Их много. И населены обильней
Тех светозарных и больших шаров,
Чья стая в небе столь была густою,
Что я их принимал за духов светлых,
За жителей небес непостижимых, —
Не за приюты для иных существ.
И лишь вблизи я разглядел в них груди
Матерни вещественной, способной
Дать место жизни, но не жить самой.
А здесь темно, здесь призрачно и мрачно;
Все говорит здесь о минувшем дне.

Л ю ц и ф е р

Здесь царство смерти. Хочешь пред собою
Ее увидеть?

К а и н

Не могу ответить,

Не представляя сущности ее.
Но если *то* она, о чем отец мой
Твердил в пространных проповедях... Боже!
Не смею и подумать!.. Будь он проклят,
Кто жизнь придумал, цель которой — смерть!
И косный прах, что жизнью став, не может
Не утерять ее, карая даже
Невинных!

Л ю ц и ф е р

Проклял ты отца?

К а и н

А он

Меня не проклял, породив меня?
Не проклял до рождения, отведав
Запретный плод?

Л ю ц и ф е р

Ты хорошо сказал.

Проклятие взаимно. Ну, а дети
Твои, твой брат?

К а и н

Пусть и они разделят

Его со мною. То, что я в наследство
Стяжал, лишь то и завещаю им...
О ты, бескрайный и угрюмый мир
Теней зыбучих, образов огромных;
Те — явственны, те — призрачны, но все
Могучи и печальны... Кто вы, что вы?
Живете ль? Жили?

Л ю ц и ф е р

И живут, и нет.

К а и н

Так что же смерть?

Л ю ц и ф е р

Творец вам не сказал ли,
Что это жизнь вторая?

К а и н

Нам одно
Сказал он: то, что все умрут.

Л ю ц и ф е р

Возможно,
Он тайну вам откроет в некий день.

К а и н

Счастливым день!

Л ю ц и ф е р

О да, весьма! Вы все
Узнаете среди несказанных, вечных
Мук и терзаний, что mirьяды новых
Пылинок бессознательных родятся
И душу обретут, чтоб умереть!

К а и н

Но что за тени мощные летают
Вокруг меня? У них иные лики,
Чем у созданий, реющих кругом
Заветного, запретного Эдема;
И с человеком сходства нет у них —
С Адамом, с Авелем, со мной, с моею
Сестрой-женою и с детьми моими.
И все ж, с людьми и ангелами разны,
Они, последним уступая, первых
Безмерно превосходят красотой,
Величием и гордостью, и мощью,
Но облик их неизъясним. У них
Нет серафимьих крыльев, лиц людских,
Ни тел зверей могучих, ни подобья
Любой живущей твари. Красотой
И мощью превосходят все живое,
Но столь ни с чем не схожи, что живыми
Назвать их не осмеливаюсь я.

Л ю ц и ф е р

Они, однако, жили.

К а и н

Где?

Л ю ц и ф е р

Где ныне

И ты живешь.

К а и н

Когда?

Л ю ц и ф е р

Они владели

Тем, что землей зовешь ты.

К а и н

Но ведь первый —

Адам!

Л ю ц и ф е р

Из вас: из них он и последним
Быть недостоин.

К а и н

Кто ж они?

Л ю ц и ф е р

Кем станешь

Ты сам.

К а и н

А были?

Л ю ц и ф е р

Живы, славны, мудры,
Величественны, добры, превышая
Настолько твоего отца, хотя бы
Еще в раю, насколько ты и сын твой —
Те шесть десятков тысяч поколений
Тупых и дряблых вырождков, какие
Населят мир; суди о них по плоти
Твоей.

К а и н

Увы! И *эти* все исчезли?

Л ю ц и ф е р

Да, с их земли, как ты с твоей исчезнешь.

К а и н

Но их землей была моя?

Л ю ц и ф е р

Была.

К а и н

Не та, что ныне: для таких созданий
Она мелка.

Л ю ц и ф е р

Ты прав: была прекрасней.

К а и н

Зачем же гибнуть ей?

Л ю ц и ф е р

Спроси того,

Кто губит.

К а и н

Как же пала?

Л ю ц и ф е р

Во внезапном

Разящем столкновении стихий,
Мир в хаос свергших, чтоб родился новый
Из хляби стихшей. Пусть перевороты
Такие редки, вечность знает их...
Идем — и созерцай бывшее.

К а и н

Ужас!

Л ю ц и ф е р

Но правда. Глянь на тени: плотью были
Они, как ты теперь.

К а и н

И стать я должен

Подобен им?

Л ю ц и ф е р

Творец твой пусть ответит...

Вот чем твои предшественники стали;
Чем *были*, сам почувствуй, сообразно
Ничтожным чувствам и ничтожной доле
Бессмертного разумного начала
И сил земных. Что общего меж вами?
Та жизнь, которая у них была,
И будущая смерть твоя. А свойства
Твои другие — те, что подобают
Ползучим тварям, зарожденным в топях
Вселенной мощной, слепленных в сырую
Планету для созданий, чье блаженство
Лишь в слепоте, чей рай был только раем
Неведенья, познание же запретно,
Как яд. Гляди ж на эти существа
Природы высшей в нынешнем и в прошлом.
А если тяжко — воротись, рой землю,
Трудись: тебя домчу я невредимым.

К а и н

Нет; здесь останусь.

Л ю ц и ф е р

Надолго?

К а и н

Навек.

Коль я с земли сюда вернуться должен,
Останусь лучше. Вид земного праха
Мне мерзок. Дай остаться меж теней.

Л ю ц и ф е р

Не можешь ты. Действительность предстала
Тебе виденьем лишь. Но, чтобы стать
Жильцом приюта этого, ты должен
Войти сюда, как все они вошли:
Ератами смерти.

К а и н

А сейчас какими

Проникли мы?

Л ю ц и ф е р

Моими! И, лишь гость,
Ты держишься одним моим дыханьем
Здесь, в мире бездыханном. Наглядись,
Но не мечтай остаться тут, покуда
Час не пришел твой.

К а и н

А они? На землю

Могли б вернуться?

Л ю ц и ф е р

Их земля исчезла

Навеки, в корчах извратясь настолько,
Что не признать им малого клочка
На еле затвердевшей корке. Был же...
О, как прекрасен *был* тот мир!

К а и н

И есть.

Я не с землей враждую, хоть и должен
Ее копать; я зол, что лишь трудами
Ее дары прекрасные беру,
Что не могу волнение дум несчетных
Насытить знанием, что меня страшат
И смерть, и жизнь.

Л ю ц и ф е р

Каков твой мир — ты видишь.

Но не постичь тебе хотя бы тени
Его былого.

К а и н

А вот эти твари

Чудовищные, призраки, что с виду
Глупее прочих, как они похожи
На существа свирепые земных,
Дремучих дебрей, на гигантов, ночью
Ревущих; но они страшней и больше
Раз в десять; выше райских стен; глаза их
Сверкают, как мечи у херувимов,
Что охраняют стены; их клыки
Торчат нагие, как стволы деревьев
Без веток и коры. Кто это?

Л ю ц и ф е р

Это —

Подобье мамонтов земных, что в недрах
Мирьядами лежат.

К а и н

А на земле —

Исчезли?

Л ю ц и ф е р

Да; не то ваш род ничтожный
Не стоило бы проклинать: столь быстро
Он был бы истреблен в борьбе с такими.

К а и н

В *борьбе*? Зачем?

Л ю ц и ф е р

Забыл ты приговор
Изгнания? Борьба со всеми, смерть
Всему живому, муки и болезни,
И горечь мириадам — вот он, плод
Запретной ветви.

К а и н

Звери не вкушали

Плода, а им за что же смерть грозит?

Л ю ц и ф е р

Сказал ваш бог, что созданы они
Для вас, как вы для бога. Почему же
Судьбе их быть счастливей? Все бы жило,
Не согреши Адам.

К а и н

Увы! И тварям
Несчастливым должно рок отца делить, —
Как делим мы, хоть яблока не ели,
Как мы, и смертью не купив познания!
То было древо лжи: что мы *узнали*?
Оно — за жизнь — сулило нам познание,
Познание, мы ж не знаем ничего.

Л ю ц и ф е р

А может, смерть даст высшее познание?
Она одна ведь несомненна; значит,
В ней — *верное* познание; и древо
Не лгало, смерть неся.

К а и н

О мир угрюмый!
Он виден мне — и непонятен.

Л ю ц и ф е р

Надо,
Чтобы настал твой час. Не в силах плоть
Вполне постичь явления духа. Все же
Ты хоть про этот мир узнал.

К а и н

О смерти
Я знал уже.

Л ю ц и ф е р

Но что за смертью — нет.

К а и н

Да и не знаю.

Л ю ц и ф е р

Ты узнал хотя бы,
Что есть иные формы бытия;
Ты утром этого не знал.

К а и н

Но тускло,
Неясно все.

Л ю ц и ф е р

Доволен будь и этим:
В твоем бессмертье станет ясным все...

К а и н

А те неизмеримые просторы
Лазури яркой, зыблемой вдали,
Подобной водам; их сравнил бы я
С потоком, протекающим из рая
Близ моего жилья, но в них — безбрежность
И безграничность, и эфирный отсвет;
Что это?

Л ю ц и ф е р

Есть подобье, — но поменьше, —
И на земле; твои потомки будут
Жить возле; это — призрак океана.

К а и н

Особый мир! Как солнце водяное!
А что за твари странные играют
В сверканье волн?

Л ю ц и ф е р

Их жители; в былом —
Левиафаны.

К а и н

А вон тот громадный
Змей, с мокрой гривой, с головой большой.
Что, встав из бездны, в десять раз превысил
Крупнейший кедр и, кажется, способен
Обвить любой из виденных миров, —
Он не из тех, что нежились когда-то
Под райским деревом?

Л ю ц и ф е р

Ева лучше знает,
Каков был змей, ее прельстивший.

К а и н

Этот
Чрезмерно страшен; тот был, несомненно,
Красивее.

Л ю ц и ф е р

А ты его не видел?

К а и н

Других (так именуемых) немало,
Но именно того, кто восхвалял
Плод роковой, — ни разу; сходных — тоже.

Л ю ц и ф е р

И твой отец не видел?

К а и н

Нет; отца
Прельстила мать, а змий прельстил ее.

Л ю ц и ф е р

Простак!.. Когда жена твоя иль жены
Твоих сынов прельстят вас чем-то новым,
Знай твердо: *их* прельститель — пред тобой.

К а и н

Твои советы запоздали: змиям
Жен больше нечем искушать.

Л ю ц и ф е р

Но женам —
Найдется чем в соблазн вводить мужей,
А жен — мужьям. Пусть берегутся дети!
Совет мой, несомненно, благ, поскольку
Он мне в ущерб. Ему не внемлют, правда,
В дальнейшем, так что риск мой невелик.

К а и н
Не понимаю.
Л ю ц и ф е р
Ну и к счастью. Мир твой
И сам ты — слишком юны. Ты себя
Несчастливым и порочным мнишь, — не так ли?

К а и н
Преступным — нет, но мук узнал немало.

Л ю ц и ф е р
Сын первородный первого из смертных!
Ты сын греха, и, значит, ты преступен;
Сын скорби — и страдаешь; и, однако,
Все это — рай в сравненье с тем, что вскоре
Узнаешь ты. А новые терзанья, —
Взять их вдвойне, — эдем в сравненье с пыткой
Сынов сынов сынов твоих, что будут
Размножены, как прах земной (затем,
Чтоб в этот прах себя добавить). Но
Пора на землю.

К а и н
И меня привел ты
Сюда, чтоб только это мне сказать?

Л ю ц и ф е р
Не ты ль искал познания?

К а и н
Да, в котором
Путь к счастью.

Л ю ц и ф е р
Если истина — путь к счастью,
Его обрел ты.

К а и н
Прав был бог отца.
Нам воспретивший роковое древо!

Л ю ц и ф е р
Он лучше бы его не насаждал.
Но и незнание зла не ограждает
От зла: оно живет само собою,
Оно во всем.

К а и н
Нет, не во всем, не верю!
Ведь я же блага жажду!

Л ю ц и ф е р
Кто не жаждет!
Зла ради зла кто стал бы помогать,
Шить горечь зла? *Никто*, ничто! Но в нем —
Всей жизни и безжизненности дрожжи.

К а и н
Но в те миры несчетные, что в славе
И блеске мы видали вдалеке,
Легя сюда, в мир призраков, не может
Проникнуть зло: они ведь так прекрасны!

Л ю ц и ф е р
Лишь *издали* ты видел их.

К а и н
Так что ж?
Даль уменьшает лишь величье их;
Вблизи они должны быть несказанны!

Л ю ц и ф е р
Взгляни вблизи на красоту земную
И рассуди.

К а и н
Глядел; и то, что знаю
Прекраснейшим — вблизи еще прекрасней.

Л ю ц и ф е р
То обольщение было. Что ж тебе,
Перед глазами будучи, казалось
Прекрасней отдаленной красоты?

К а и н
Моя сестра! Все звезды неба; синь
Глубокой ночи, озаренной шаром,
Подобным духу или царству духов;
Мгла сумерек; восход роскошный солнца;
Закат неописуемый, что слезы
В глазах рождает сладкие и сердце
Плывет за ним, на запад, в нежной зыби
Эдемов облачных; лесная тень;
Зеленая листва; напевы птицы —
Вечерние напевы, гимн любви,
Сливающийся с гимном херувимов,
Лишь день померкнет над стенами рая, —
Все, все ничто для глаз моих и сердца
В сравненье с Адой: на нее взгляну —
Не надо неба и земли!

Л ю ц и ф е р
Но бренность
В земной красе, — в заре, в цветке творенья;
Она — росток земных объятий первых
И даст росток. И все ж она — обман.

К а и н
Будь ты ей брат, не так бы думал.

Л ю ц и ф е р
Смертный!
Лишь тем я брат, кто не родит потомства!

К а и н
Тогда ты чужд нам.

Л ю ц и ф е р
Но, быть может, вы
Не чуждыми мне станете... Но если
Владеешь ты красой, превосходящей
В твоих глазах любую красоту, —
О чем скорбишь?

К а и н

А для чего живу я?

И почему несчастен *ты*? и все?

И даже *он*, творец: ведь он несчастным
Дал жизнь. А разрушение никогда
Не может быть отрадою. Отец мой
Твердит: он всемогущ. Тогда откуда
Зло, если он — добро? С таким вопросом
К отцу пришел я; он сказал, что зло
Есть путь к добру единственный; не странно ль,
Что с противоположной стороны,
Столь страшной, благо шествует? Недавно
Ужалил гад ягненка; сосунок
Лежал весь в пене, бедный, и тревожно
И жалобно над ним стонала матка;
Отец нарвал каких-то трав и к ране
Прижал; и тот, беспомощный бедняжка,
Вернулся к беззаботной жизни, снова
Припал к сосцам, а мать его, дрожа
От радости, ему лизала тельце.
«Смотри, мой сын, — сказал Адам, — как благо
Из зла растет».

Л ю ц и ф е р

А ты в ответ?

К а и н

Молчал я:

Ведь он — отец. Но я подумал: лучше б
Никто не жалил бедного ягненка,
Чем возвращать его к ничтожной жизни
Ценою мук невыразимых, даже
Противоядием смягченных.

Л ю ц и ф е р

Прежде

Ты говорил, что между всех любимых
Тебе всего дороже та, что грудью
С тобой одною вскормлена и кормит
Твоих детей.

К а и н

Конечно так: чем стал бы

Я без нее?

Л ю ц и ф е р

А чем являюсь я?

К а и н

Ты ничего не любишь?

Л ю ц и ф е р

Бог твой любит?

К а и н

Да; все, — как говорит отец. Но в судьбах
Земных существ я этого не вижу.

Л ю ц и ф е р

Не видишь также — я люблю иль нет;
Лишь смутно чуешь замысел великий —
Дать бытию растаять точно снег.

К а и н

Снег?! Что за снег?

Л ю ц и ф е р

Будь счастлив, коль не знаешь
Врага своих потомков; упивайся
Теплом страны, не ведающей зим.

К а и н

Существ, тебе подобных, ты не любишь?

Л ю ц и ф е р

А *самого себя* ты любишь?

К а и н

Да;

Но больше — ту, что скорбь мою смягчает
И, взяв любовь, дороже мне, чем я.

Л ю ц и ф е р

Ее ты любишь, красотой прельщенный,
Как Ева — яблоком красивым. Но
Исчезнет красота и с ней исчезнет
Любовь, как всякая другая жажда.

К а и н

Исчезнет красота? Но отчего?

Л ю ц и ф е р

От времени.

К а и н

Но время шло, однако

Адам и мать моя прекрасны оба, —
Не то что Ада или серафим,
Но все ж прекрасны.

Л ю ц и ф е р

Все должно поблекнуть
И в них и в ней.

К а и н

Жаль, если так. И все же

Не верю, что пройдет моя любовь.
А красота пройдет, — ее создатель
Утратит более, чем я, увидя
Погибшим столь прекрасное творенье.

Л ю ц и ф е р

Мне жаль тебя: ты любишь то, что гибнет.

К а и н

А мне тебя: ты ничего не любишь.

Л ю ц и ф е р

А брат твой — сердцу близок он?

К а и н

Конечно!

Л ю ц и ф е р

Его отец твой и твой бог так любят!

К а и н
И я.
Л ю ц и ф е р
Весьма похвально. И смиренно.

К а и н
Смиренно?
Л ю ц и ф е р
Он — второе чадо плоти,
Но он любимец Евы.

К а и н
Пусть хранит он
Ее любовь, что первым — змий обрел.

Л ю ц и ф е р
Ну, а любовь отца?

К а и н
А что мне в этом?
Нельзя любить мне общего любимца?

Л ю ц и ф е р
Егова тоже, благостный господь,
Столь щедро насадивший рай запретный,
На Авеля глядит с улыбкой.

К а и н
Бога
Я не видал; его улыбок тоже.

Л ю ц и ф е р
Но ангелов ты видел?

К а и н
Мало.

Л ю ц и ф е р
Вдосталь,
Чтоб увидеть, как люб им Авель. Жертвы
Все от него приемлются.

К а и н
И пусть.
Зачем об этом говоришь?

Л ю ц и ф е р
Затем,
Что ты недавно думал это.

К а и н
Думал!
Зачем же вновь напоминать мне...

(Останавливается, взволнованный.)

Дух!
Твой мир — вокруг; так о мнем — умолкни.
Ты дива показал мне; показал
Преадамитов мощных с той планеты,
Чей клоч стал нашею землею; звездных
Миров мирьяды мне открыл, где наш —
Не более, чем дальний тусклый спутник
Их вечной жизни; призраки той сферы,

Чье имя страшное отец принес нам —
Смерть; показал мне много, но не все.
Обитель бога покажи мне, рай
Его особый. Или — твой. Где это?

Л ю ц и ф е р
Здесь — и везде в пространстве.

К а и н
Но ведь есть же
Особый кров у вас, как и у всех?
Прах — на земле; в иных мирах — иное.
Любая бренность, коль живет, живет
В своей стихии; те, что перестали
Дышать, — свой кров нашли, ты сам сказал.
Где ж твой, где божий? Ведь у вас обитель
Не общая?

Л ю ц и ф е р
Нет. Мы царим совместно,
Но обитаем врозь.

К а и н
О, если б в мире
Был лишь один из вас! Тогда, быть может,
Единство цели привело б к согласью
Стихии, столь враждебные теперь.
Как вы, два духа, мудрых, бесконечных,
Противостали? Разве вы не братья
По сути, по природе и по славе?

Л ю ц и ф е р
А с Авелем не братья вы?

К а и н
Мы братья
И будем братьями. Но, будь иначе,
Дух ведь не плоть. Как духам враждовать?
Бессмертью с бесконечностью? Ввергая
В несчастье мир! Борьбою! И за что?

Л ю ц и ф е р
За власть!

К а и н
Не говорил ли ты, что оба
Бессмертны вы?

Л ю ц и ф е р
Да.

К а и н
А вот эта бездна
Лазурная,— она безгранна?

Л ю ц и ф е р
Да.

К а и н
Что ж вам обоим не царить? Иль тесно?
Зачем вражда?

Л ю ц и ф е р
Мы оба и царим.

К а и н
Один ведь зло свершает.

Л ю ц и ф е р
Кто же?

К а и н
Ты!
Помочь ты мог бы людям; что ж не хочешь?

Л ю ц и ф е р
Пусть *он* поможет, ваш творец; они —
Его созданыя, не мои.

К а и н
Оставь же
Нас, божьих тварей. Или покажи мне
Твое жилище иль его.

Л ю ц и ф е р
И оба
Я мог бы. Но придет пора, *навек*
В одно из них войдешь.

К а и н
Что ж не теперь?

Л ю ц и ф е р
Твой смертный ум не в силах ясной мыслью
Обнять и то немного, что я
Тебе открыл. А ты стремишься к тайне,
К двойной, к великой Тайне Двух Начал!
На скрытых тропах хочешь их увидеть!
Смирись ты, прах! Увидишь хоть одно —
Погибнешь тотчас.

К а и н
Пусть погибну, только б
Увидеть их!

Л ю ц и ф е р
Вот речь того, чья мать
Прельстилась яблоком! Да, ты погибнешь,
Глаз не раскрыв! Иное состоянье
Для зрелища такого нужно.

К а и н
Смерть?

Л ю ц и ф е р
Она — преддверье.

К а и н
Раз она откроет
Пусть к истине, — она страшна мне меньше.

Л ю ц и ф е р
Теперь тебя я провожу в твой мир;
Там умножай адамов род, ешь, пей,
Трудись, дрожи, плачь, смейся, спи, умри!

К а и н
Зачем же видел я все то, что ныне
Ты мне открыл?

Л ю ц и ф е р
Не ты ль просил познаныя?
И этим всем тебе я не помог ли
Познать себя?

К а и н
Ничтожество мое, —
Увы!

Л ю ц и ф е р
Итог познаний человека
В том, чтоб узнать, что суть его — ничто.
Итог сей детям преподай: от многих
Мучений их избавишь.

К а и н
Дух надменный!
Ты горд, но есть и над тобой, над гордым,
Владыка.

Л ю ц и ф е р
Нет! Клянусь я небом, где
Он правит; бездной, стаяй звезд несчетных
И жизнью, где мы правим оба, — нет!
Он победитель мой, но не властитель;
Все перед ним простерлось, но не я!
С ним я борюсь, как раньше в небе горнем
Боролся я! Сквозь вечность в безднах ада
Неизмеримых, в беспредельных царствах
Пространства, в бесконечности веков
Несчетных все оспаривать я буду,
Все, все! И будут на весах качаться
За миром мир и за звездой звезда,
И космосы, пока не прекратится
Великий спор, коль прекратиться может
В моем или в его небытии!
Но можно ль угасить бессмертье наше
И ненависть, взаимную навек?
Он победил; я побежден и назван
Злом. Ну, а в чем его *добро*? Когда бы
Я восторжествовал, *его* б деянья
Прослыли злом. А вам, столь юным смертным,
Едва пришедшим в мир ничтожный ваш,
Он много ли вручил даров?

К а и н
Не много;
И горькие меж ними есть.

Л ю ц и ф е р
Вернись же
К себе на землю, — остальных отвдай
Небесных благ его, пролитых вам.
Добро и зло — две сущности; даятель
Не создает их. Вам добро он дарит?
Благим его зовите. Дарит зло?
Не называйте зло *моим*, покуда

Источник неизвестен. И судите
Не по словам (хотя б их дух изрек),
Но по плодам, любим, что жизнь приносит.
Плод роковой одно вам дал добро:
Ваш разум. Да не устрашитесь он
Угроз тирана, что внедряют веру

Наперекор и опыту, и чувству.
Упорствуйте и мыслите; творите.
Мир внутренний, колыш внешный лжет, — и этим
К духовной вы приблизитесь природе,
Над собственной восторжествовав.
Исчезают.

АКТ ТРЕТИЙ

СЦЕНА I

Земля близ рая, как в первом акте.
Входят Каин и Ада.

А да

Тсс! Тише, Каин!

Каин

Хорошо; в чем дело?

А да

Енох, наш мальчик, спит на листьях тут
Под кипарисом.

Каин

Кипарис! Он мрачен;

Он, кажется, оплакивает все,
Что осеняет; для чего малютку
Под ним укрыла ты?

А да

Но он ветвями,

Как ночь, скрывает солнце, — точно создан
Сон осенять.

Каин

Да; долгий сон... последний...
Но все равно. Веди меня к нему.

(Подходит к ребенку.)

Как он прелестен! Полненькие щеки
Румянцем нежным спорят с лепестками
Роз, под него подостланных.

А да

Как чудно
Раскрылись губки! Не целуй, нет, нет;
Потом; успеешь. Скоро он проснется.
Час отдыха полднего истек,
Но не совсем, и жаль его будить
До срока.

Каин

Ты права; сдержу я сердце.
Он улыбается и спит. О, спи
И улыбайся, маленький наследник
Младенческого мира. Спи с улыбкой!
Еще невинны сон твой и улыбка
И радости! Ты не срывал плода,

Не знаешь наготы своей... Ужели
Придет пора, и ты за грех какой-то,
Не твой, не мой, заплатишься? Но спи!..
В улыбке щеки разгорелись; веки
Трепещут над ресницами густыми
И темными, как зыбкий кипарис;
И, в приоткрытых, в них лазурь смеется
Прозрачная! должно быть, грезит он.
О чем? О рае! Да, мечтай о нем,
Мой мальчик безнаследный! Рай — лишь сон:
Ни сам ты, ни сыны твои, ни мы
Вовек не увидим в край запретный счастья!

А да

Нет, милый Каин, не шепчи над ним
Тоскливых сожалений о минувшем.
Что вечно плакать об Эдеме? Разве
Другой создать не можем?

Каин

Где?

А да

И здесь,

И где захочешь. Если ты со мною —
Не нужен мне оплаканный Эдем.
Не ты ль со мной, наш сын, отец наш, брат
И Цилла, нежная сестра, и Ева;
Мы многим ей обязаны: и жизнью...

Каин

И смертью. Тоже — дар ее.

А да

Мой Каин!

Надменный дух, тебя с собой водивший,
Твою тоску усилил. Я ждала,
Что чудеса, обещанные им,
Виденья, о которых говорил ты,
Миров, былых и нынешних, насытят
Твой ум спокойствием познания. Вижу:
Твой спутник зло принес. Но благодарно
Ему я все прошу за то, что он
Так скоро воротил тебя.

Каин

Так скоро?

А д а

Лишь два часа прошло. Два *очень долгих*,
Но для меня, и *просто два* по солнцу.

К а и н

Я возле солнца был; миры я видел:
Одним оно светило и не светит,
Другим — светить не начинало. Думал,
Что годы протекли.

А д а

Часы, не больше.

К а и н

Так, значит, время вмещено в душе
И мерится лишь тем, что созерцаешь:
Отрадой, мукой, малостью, величием.
Я видел довременные творенья
Бессмертных, реял вокруг миров угасших,
Взирал на вечность и мечтал, что сам я
Черпну хотя бы капельку веков
В ее безмерности. Но вижу снова,
Как я ничтожен. Прав был дух, сказав,
Что я — ничто.

А д а

Зачем сказал он это?

Так не сказал господь.

К а и н

Да! он доволен,
Что создал нас ничтожеством. Прельстив
Нас, прах, сияньем рая и бессмертья,
Он прахом оставляет нас. За что?

А д а

Ты знаешь сам: за то, что согрешили
Отец и мать.

К а и н

Но мы при чем? Их грех, —
Так пусть он их карает смертью!

А д а

Стыдно

Так говорить. И эта мысль — чужая;
Ее внушил с тобою бывший дух.
Я б умерла, чтоб им прибавить жизни!

К а и н

И я, — когда б одною жертвой мог
Насытить ненасытного до жизни,
И наш малютка, розовый сонливек,
Ни смерти не познал бы, ни скорбей,
Не передал бы их своим потомкам.

А д а

Как знать, не искупится ли однажды
Наш род подобной жертвою?

К а и н

Закланьем

Безвинного за грешных? Искупленье!
Ведь мы невинны; что мы совершили,
Чтоб гибнуть нам за грех, до нас свершенный,
Иль в жертве искупительной нуждаться
За безымянный, непонятный грех,
Коль можно звать грехом стремленье к знанью?

А д а

Увы! Грешешь, мой Каин: речь твоя —
Кощунство.

К а и н

Так покинь меня.

А д а

Нет, нет,

Хоть бог тебя покинул бы!

К а и н

Что это?

А д а

Два алтаря; их Авель без тебя
Сложил, чтоб жертву богу принести,
Лишь ты вернешься.

К а и н

Почему он знает,

Что стану я участником сожжений,
Им каждый день свершаемых с умильным
Лицом, в смиренье низком, где боязнь
Сильней благоговенья? Стану делать
Подачки богу?

А д а

Авель прав, конечно.

К а и н

Один алтарь не нужен; что сожгу я?

А д а

Плоды земли, деревьев свежий цвет,
Ростки и почки, и цветы, и злаки —
Все дар, угодный богу, если только
В раскаянье и кротости свершен.

К а и н

Трудился я, пахал, лил пот под солнцем,
Снося проклятье, — что еще я должен?
Быть умиленным? В битве со стихией,
Которая без этого не даст
Нам хлеба? И благодарить? За что?
За то, что прах я, ползаю во прахе
И в прах вернусь? Коль я ничто, к чему же
Мне лицемерить за «ничто» и в муках
Счастливым притворяться? Покаянье?
Но в чем? В грехе отца? Ведь он уже
Искуплен тем, что претерпели мы,
И тем, что вытерпеть в веках грядущих
Потомству нашему предречено.
Не помышляет спящий наш малютка,

Что в нем — зачатки вечного несчастья
Для мириад! Не лучше ли его
Схватить во сне и раздробить о скалы,
Чем жизнь ему оставить?..

А да

Боже мой!
Не тронь дитя! Мое! Твое! О Каин!

Каин

Не бойся! Ни за звезды, ни за власть
Над ними я не прикоснусь к ребенку
Иначе как с отцовским поцелуем.

А да

Что ж так ужасна речь твоя?

Каин

Сказал я,
Что лучше б умереть ему, чем жить
Для стольких мук и бóльшие мученья
Потомкам завещать. Но если это
Тебя страшит, одно скажу я: лучше б
Он не родился.

А да

Нет, не говори!
Тогда бы где была моя отрада,
Как матери, его кормить, лелеять,
Любить? Тсс! Он проснулся... Милый мой!
(Подходит к ребенку.)

О Каин! Видишь, сколько жизни в нем,
Цветенья, силы, красоты и счастья!
Он на меня похож... и на тебя,
На *доброго*. Тогда *мы все похожи*,
Да, Каин? Мать, отец и сын друг в друге
Отражены, как в глади ясных вод,
Когда они спокойны и когда
Спокоен *ты*. Люби же нас, мой Каин!
Люби себя — для нас, кому ты дорог!
Гляди: смеется! протянул ручонки!
В тебя уставил ясные глаза:
Привет отцу! И радостью все тельце
Окрылено! Не говори о муках!
Бездетный херувим отрадам отчим
Завидует!.. Благослови его;
Не скажет он «благодарю», но сердцем
Откликнется.

Каин

Благословен будь, мальчик!
Коль смертное благословенье может
Проклятье змия снять с тебя.

А да

Должно!
Благословенье отчее сильнее
Коварства гада.

Каин

Бряд ли. И, однако,
Благословляю.

А да

Вот наш брат идет.

Каин

Да, брат твой Авель.

Входит Авель.

Авель

Здравствуй, Каин, брат мой!
Мир божий над тобою!

Каин

Здравствуй, Авель.

Авель

Ты, — говорила мне сестра, — скитался
С высоким духом неким вне пределов
Обычных. Не из тех ли он, с какими
Мы говорим, встречаясь, как с отцом?

Каин

Нет.

Авель

Так зачем общаться с ним? Что, если
Всевышнему он враг?

Каин

А людям друг.

А друг ли им всевышний, как назвал ты
Его?

Авель

Назвал? Ты странно говоришь!..
Оставь нас, Ада, ненадолго: жертву
Мы принести хотим.

А да

Прощай, мой Каин,
Но прежде сына поцелуй; быть может,
В его покое, в набожности брата
Ты вновь найдешь свой мир и благодать.

Ада уходит с ребенком.

Авель

Где ж был?

Каин

Не знаю.

Авель

Да? А видел?

Каин

Мертвых,

Бессмертных, беспредельных, всемогущих;
Все таинства всевластные пространства, —
Миров отживших и живущих сонмы,
Круженье исступленное светил,
Солнц, лун, земель, в их полнозвучных сферах
Так певших громом, что к земным беседам
Стал неспособен я... Оставь меня.

А в е л ь

В твоих глазах сверкает странный блеск,
В твоём лице пылает странный пламень,
В твоих речах таится странный отзвук...
В чём дело?

К а и н

В том... Прошу: оставь меня.

А в е л ь

Лишь помолясь перед совместной жертвой.

К а и н

Прошу: один молись и сожигай;
Ты люб творцу.

А в е л ь

Надеюсь я, мы оба.

К а и н

Ты больше; я об этом не скорблю:
Служить ему ты более достоин;
Так и служи один — или с другими,
Но без меня.

А в е л ь

Дурным бы сыном был я
Великого Адама, не почтив
Тебя как старшего и не призвав
Со мною вместе поклониться богу
И первым предстоять в богослуженье:
Твое ведь это место.

К а и н

Никогда я

К нему не рвался.

А в е л ь

Тем больнее мне.
Займи его. Твоя душа — под гнетом
Опасных чар. Вернет покой молитва.

К а и н

Нет! Не вернет ничто. *Покой!* Вовеки
Его в душе не знал я, хоть видал
Покой стихий. Оставь меня, мой Авель,
Иль дай уйти мне, чтоб молился ты.

А в е л ь

Ни то, ни то. Наш долг исполним вместе.
Не отвергай меня.

К а и н

Ну что ж... согласен.
Что делать надо?

А в е л ь

Избери алтарь.

К а и н

Ты избери; не вижу в них различья:
Дерн, камень.

А в е л ь

Выбирай.

К а и н

Вон тот.

А в е л ь

Он выше,

И старшему приличен. Приготовь
Твои дары.

К а и н

А где твои?

А в е л ь

А вот:

Ягнята-первенцы, их жир — смиренный
Пастуший дар.

К а и н

Нет у меня ягнят;
Я земледелец, и дарить могу я
Лишь плод земли, награду за труды.

(Собирает плоды.)

Взгляни на многоцветность их и зрелость!

Убирают алтари и возжигают на них огонь.

А в е л ь

Брат мой, молитву и сожженье дара
Ты должен первым совершить, как старший.

К а и н

Нет, в этом я неопытен; начни;
Посильно буду подражать.

А в е л ь

(коленопреклоненный)

О боже!

Создавший нас, вдохнувший в наши ноздри
Дыханье жизни, нас благословивший
И нас, детей преступного отца,
От гибели сберегший,— неизбежной,
Когда бы милосердие твое,
Твоя отрада, суд твой не смягчило,
Дав нам прощенье, будто новый рай,
Коль вспомнить грех великий! Бог единый
Добра и света, вечности и славы!
Зло — без тебя; с тобой — добро; и даже
Блужданья к цели благостной ведут,
Указанной твоим благоволеньем,
Неведомым, всевластным, непреложным!
От первого из пастухов смиренных
Плод первородный первых стад прими,—
Ничтожный дар,— но где же дар, достойный
Тебя?— прими как дань благодаренья,
Вносящую перед лицом небес
Тем, кто из праха сам во прах простерся
И жертву сожигает в честь тебя,
Вовек твое хвала и слава имя!

К а и н

(стоя в течение всей речи)

Дух! кто б и что б ты ни был! Ты всеиселен,
Возможно; благ, коль из твоих деяний
Зло устранить. Егова на земле!
Бог в небесах! И, может быть, иные
Носящий имена, поскольку свойства
Твои, как и дела, многообразны!..
Коль надо ублажать тебя мольбами,
Внимай! Коль алтари тебя смягчают
И жертвы услаждают,— вот бери!
Два существа их пред тобой повергли.
Кровь любишь? Вот алтарь пастуший справа
Курится кровью, в честь тебя пролитой
Ягненком первородным; плоть его
Кровавым фимиамом везет в небо.
Но если сладкие плоды земли
И нежных дней, на непорочном дерне
Разложенные перед ликом солнца,
Взлеявшего их, тебе приятны,
Хоть не страдало тело их и жизнь,
И в них — лишь образцы твоих творений,
А не мольба о снисхождении к нам,
И жертвенник без жертвы, мой алтарь,
Тебе угоден, кровью не омытый,—
Воззри на них! А тот, кто их приносит,
Таков, как создан: ни о чем не молит
С коленопреклонением. Он зол?
Карай его; ты всемогущ; как может
Спротивляться он? Он добр? Карай
Или щади, как хочешь! Все в тебе;
Добро и зло сильны твоей лишь волей,
А сами по себе безвластны. В чем же
Добро, в чем зло — не ведаю: ведь я
Не всемогущ и должен не судить
О всемогуществе, а покоряться
Его веленьям, быть рабом, как был.

Огонь на алтаре Авеля разгорается в столп ослепительного
пламени и восходит в небо, тогда как вихрь опрокидывает
алтарь Каина и раскидывает плоды по земле.

А в е л ь

(стоя на коленях)

О брат! Молись: ты прогневил Егову!

Как это знать?

К а и н

А в е л ь

Он разбросал плоды.

К а и н

Они — земные; пусть вернуться в землю;
Их семя вскоре новый плод взрастит.
Твой дар, паленый жир, угодней, видно:
Гляди, как небо пьет огонь кровавый!

А в е л ь

О жертве принятой моей не думай;
Вновь принеси твою, пока не поздно.

К а и н

Другого не воздвигну алтаря
И не позволю...

А в е л ь

(вставая с колен)

Что ты вздумал, Каин?

К а и н

Снести презренного льстеца небес,
Чадящего пособника унылых
Твоих молитв, — алтарь твой, с кровью агнцев,
Вскормленных млеком для кровавой жертвы!

А в е л ь

(становясь перед ним)

Не тронь! Не прибавляй к речам безбожным
Безбожных дел! Оставь алтарь; он свят
Бессмертную отрадою Еговы:
Он принял жертву!

К а и н

Он! Его отрада!

Высокая отрада — чад мясной
И запах крови дымной, и тоска
Стенящей матки над ягненком мертвым,
И мука жалкой несмышленной жертвы,
Что гибнет под ножом благочестивым.
Пусти! Кровавый памятник не должен
Стоять под солнцем, оскверняя мир!

А в е л ь

Брат, воздержись! Не оскверняй насильем
Мой жертвенник. Но если им для жертвы
Воспользуешься новой, можешь брать.

К а и н

Для новой жертвы! Прочь! Иль этой жертвой,
Пожалуй, станешь...

А в е л ь

Что?

К а и н

Пусти! Пусти!

Господь твой любит кровь, — так берегись;
Прочь!.. чтоб её не стало больше.

А в е л ь

Встану

Во имя бога я меж алтарем,
Ему угодным, и тобой!

К а и н

Коль жизнью
Ты дорожишь, — уйди. Я дерн раскину,
Верну земле... Не то...

А в е л ь

(сопротивляясь)

Мне бог дороже,

Чем жизнь!

Каин
(ударяя его в висок схваченной с алтаря головой)

Он любит жизни!
Так и отдай ему ее:

Авель
(падая)

Что ты сделал, брат мой?

Брат!..
Каин

Авель
Боже, дух смиренный мой прими!
Прости убийце: он не знал, что делал!
Дай, Каин... дай ... мне руку... Бедной Цилле
Скажи...

Каин
(выйдя из оцепенения)
Моя рука... Вся в красном... В чем?..

Долгая пауза.

(Медленно озирается.)

Где я? Один! Где Авель? Каин где?
Я разве — он? Встань, брат! Зачем лежишь ты
В траве? Не время спать. Но как ты бледен!
Что, что с тобой? Ты весь был полон жизни
Сегодня... Авель! Не шути, молю!
Удар был сильным, но ведь не смертельным!
Зачем ты мне противился? Ты шутишь?
Меня пугаешь, да? Ударил я,
И только. Шевельнись, о, шевельнись!
Так, хорошо. Дыши, дохни в меня!
О, бог мой, бог мой!

Авель
(чуть слышно)

Кто здесь кличет бога?

Убийца твой.
Каин

Авель
Тогда прости, господь,
Ему... Утешь бедняжку Циллу, Каин:
Брат у нее один теперь.

(Умирает.)

Каин

А я —

Без брата!.. Кто осиротил меня?..
Глаз не закрыл он; значит, он не мертв!
Смерть, точно сон, а сон смежает веки.
Раскрыты губы; значит, дышит он!
Не слышу, нет... А сердце, сердце! Дай мне
Ощупать, — бьется? Кажется... Нет! Нет!
Нет, страшный это сон... Иль стал жильцом я
Иного мира, худшего стократ.
Земля плывет... Что это? это влага?

(Проводит рукой по лбу и глядит на нее.)

Роса? Нет, кровь. Моя... моя — и брата!
И мной пролита! Что мне делать с жизнью,
Коль жизнь я отнял у моей же плоти?
Но он не может мертвым быть! И разве
Безмолвье — смерть? О нет! Очнется он!
Я буду сторожить его. Не может
Столь быть непрочной жизнь и так внезапно
Угаснуть; он и павший говорил.
Что я скажу ему? Мой брат! На это —
Нет! — не откликнется он: разве брат
Ударит брата? Но скажи хоть слово!
О, слово лишь промолви, нежный голос,
Чтоб мой я был способен выносить!

Входит Цилла.

Цилла

Я слышу тяжкий стон; что это значит?
Здесь Каин — над моим лежащим мужем.
Что здесь такое, брат? Он спит? О небо!
Что значат эта бледность, эта струйка?
Нет, нет, не крови! Кто мог бы кровь пролить?
Что это? Авель! Кто виной? Недвижен,
Не дышит. И рука скользит из пальцев
Моих — без жизни, точно камень. Каин!
Жестокий! Почему не подоспел ты
Предотвратить насилие? Кто б ни был
Напавший, ты могуч, ты мог бы стать
Меж ним и нападающим! Отец!
Скорей сюда! Мать! Ада! В мире — Смерть!

Цилла уходит, призывая родных.

Каин

(один)

А кто ее привел? Я! Тот, кому
Столь было мерзко даже имя это,
Что мысль о ней — до встречи с нею — в жизнь
Влила отраву. Я привел... и брата
Поверг в ее холодные объятия,
Как будто прав свирепых на него
Она и без меня не предьявила б!
Очнулся я, повергнутый в безумье
Ужасным сном. Но не очнется он!

Входят Адам, Ева, Ада и Цилла.

Адам

Я поспешил сюда на вопли Циллы.
Что вижу! Правда!.. О мой сын, мой сын!
(Обращаясь к Еве.)
Вот что свершили змий и ты, — гляди!

Ева

О, не напоминай! Змеиным жалом
Грудь пронзена! Мой Авель, мой любимый!
Возмездием превысил ты, Егова,
Грех материнский, сына взяв!

Адам

Но кто
Убил его? Ответь мне, Каин: ты ведь

Был здесь. Быть может, некий ангел злобный,
Еговою отвергнутый? Иль зверь
Из леса?

Е в а

Ах, зловещий свет блеснул
В уме, как молния... Вот головня,
Тяжелая, в крови... огнем алтарным
Обуглена... обагрена...

А д а м

Ответь!

Ответь, мой сын! Уверь нас, что в несчастье
Несчастливыми мы стали не вдвойне!

А д а

Ответь же, Каин, что *не ты* убийца!

Е в а

Он! Он поник преступной головой;
Свирепый взор свой он в ладони прячет
Багряные!

А д а

Ты оскорбляешь, мать!

Отвергни, Каин, страшную догадку:
Ее внушила скорбь!

Е в а

Егова, слушай!

Будь проклят он проклятьем вечным змия:
Он от него, а не от нас рожден!
Будь он вовек заброшен! Будь он...

А д а

Мать!

Не проклинай, не надо: он твой сын,
Не проклинай, не надо: он мой брат.
И муж!

Е в а

Тебя лишил он брата; Циллу —
Супруга; сына мать лишил! За это
Будь проклят он, навек исчезни с глаз!
Все связи рву я, как порвал и он
Связь кровную — вот эту. Смерть! О смерти!
Что ж не меня постигла ты? Ведь я же
Тебя ввела! Что ж не берешь?

А д а м

Нет, Ева,

Не доводи до богохульства скорбь!
Нам рок давно предвозвещен тяжелый,
И вот — сбылось; и мы должны терпеть
И богу показать, сколь мы покорны —
Служители его священной воли.

Е в а

(показывая на Каина)

Вот воля чья! Он начал, воплощенный
Дух Смерти, от меня рожденный, землю
Покойниками покрывать! Проклятье

Всего живого будь над ним! Сквозь дебри
Пусть он бежит, в терзаннях, как из рая,
Бежали мы, пока его отродье,
Как с братом он, с ним не поступит. Пусть
Меч огненный и крылья херувимов
Разят его и день, и ночь, и змеи
Устелят путь, и плод во рту истлеет,
И в листьях, где уснет он, пусть кишит
Сонм скорпионов! Снится пусть ему
Кровь! Днем пусть он дрожит от страха смерти!
И светлый ключ пусть превратится в кровь,
Когда свирепым ртом взмутит он влагу!
Пусть на него стихии ополчатся!
Пусть он живет в предсмертных муках! Смерть же
Пусть будет хуже смерти для него,
Убийцы первого! Братоубийца!
Прочь! Этим словом станет имя *Каин*
Для мириад племен грядущих, коим
Ты ненавистен будешь, их отец!
Да сохнет под тобой трава. И тени
Лес да не даст, земля — жилища, прах —
Могилы, солнце — света, небо — бога!

Ева уходит.

А д а м

Ступай от нас: не жить нам вместе, Каин;
Иди! Оставь мне мертвого. Отныне
Один я; нам не встретиться вовек.

А д а

Отец, не разлучайся так! Проклятьем
Не отягчай над ним проклятий Евы!

А д а м

Не проклял я: в его душе — проклятье.
За мною, Цилла!

Ц и л л а

Я при теле буду.

А д а м

Но мы вернемся, лишь уйдет обрешивший
На страшную заботу нас. Идем!

Ц и л л а

Дай бледный прах я поцелую, губы
Недавно жаркие... О сердце, сердце!

Адам и рыдающая Цилла уходят.

А д а

Ты слышал, Каин! Надо уходить.
Готова я; детей лишь взять. Еноха
Я понесу, ты — девочку. Уйдем
До сумерек, чтоб не брести пустыней
Во тьме ночной. Молчишь? Хоть слово мне
Скажи — *жене!*

К а и н

Оставь меня.

А д а
Но ты
Оставлен всеми.
К а и н
Что же медлишь? Разве
Не страшно жить с убийцею?
А д а
Мне страшно
Одно: с тобой расстаться, хоть ужасно
Деяние, лишившее нас брата!
Но я молчу: оно между тобою
И богом.

Г о л о с
(*восклиcaющий издали*)
Каин! Каин!
А д а
Слышишь?
Г о л о с
Каин!
А д а
То голос ангела!
Появляется ангел господень.

А н г е л
Где брат твой Авель?
К а и н
Я разве сторож брату моему?
А н г е л
Что совершил ты, Каин? Голос крови
Поверженного брата вопиет
С земли к творцу. Теперь землей ты проклят,
Разверзнувшей уста для братней крови,
Что пролил ты безумною рукой.
Как ни трудись, она тебе отныне
Плода не даст. Изгнанником ты будешь
Отныне и скитальцем по земле!

А д а
Но эту кару он снести не в силах;
С лица земли его сгоняешь ты,
И скроется он от лица господня.
Изгнанника, скитальца по земле
Убьет, возможно, первый встречный.

К а и н
Если б
Случилось так! Но кто меня убьет?
Земля еще пуста, еще безлюдна.

А н г е л
Убил ты брата. Кто же охранить
Тебя от сына может?

А д а
Ангел света!
Будь милосерд! Не говори, что эта
Страдающая грудь питает в сыне
Убийцу... своего отца!

А н г е л
Он стал бы
Лишь тем, чем стал его отец. Не Ева ль
Вскормила молоком своим того,
Кто пред тобой стоит, забрызган кровью?
Братоубийца может породить
Отцеубийца. Но так не будет. Бог наш
Велел мне это наложить клеймо
На Каина, чтоб невредимым он
Блуждал. Кто Каина убьет, седмижды
Тому отмстится! Подойди!

К а и н
Что сделать
Со мной ты хочешь?
А н г е л
Заклеймить твой лоб,
Чтоб ты избавлен был от покушений.

К а и н
Дай умереть.
А н г е л
Нельзя.
(*Налагает печать на лоб Каина.*)

К а и н
Как лоб горит!
Но мозг внутри сильнее пылает. Дальше
Что будет? Делай; ко всему готов я.

А н г е л
Со дня рожденья ты строптив и черств.,
Как та земля, какую рыть ты должен;
Убитый же был кротче стад своих.

К а и н
Я зачат был тотчас после паденья;
Дух матери еще влиянье змия
Хранил; отец оплакивал Эдем.
Да, я таков. Но не искал я жизни,
Не сам себя я создал. Если б смертью
Мог воскресить я этот прах! Ужели
Нельзя? Верни его к сиянью дня,
А я умру. Пусть бог опять вдохнет
Жизнь в своего любимца, а взамену
Возьмет мою, столь тягостную мне!

А н г е л
Кто исцелит убийство? Сделал? — сделал!
Ступай! Исполни меру дней в деяньях
Иных, чем это!

Ангел исчезает.
А д а
Скрылся он. Идем.
Енох, малютка наш, я слышу, плачет
В шатре.

К а и н

Он плачет, а о чем — не знает!
Я пролил кровь, а слезы лить не в силах,
Но все четыре райские реки
Мне душу не омоют!.. Сын — скажи мне —
Снесет мой вид?

А д а

Когда б не снес, то я...

К а и н

Угроз не надо, нет! Их много было...
Иди же к детям; я приду потом.

А д а

Тебя я не оставлю рядом с мертвым!
Иди со мной.

К а и н

О бездыханный, вечный
Мой обличитель! Кровью навсегда
Затмивший небо мне и землю! Что ты
Теперь — не знаю. Если ж видишь, чем
Стал я, простишь, надеюсь, то, что бог мой
И дух мой не простят вовек. Прощай!
Моей коснуться жертвы не дерзаю.
Я, сын того же лона, той же грудью
Вспоенный! С братской, с детскою любовью
Тебя так часто прижимавший к сердцу!
Я никогда тебя не встречу, даже
Не смею сделать то, что для меня
Ты сделал бы: укрыть твой прах в могиле...
В могиле — в первой, вырытой людьми!
И кем же вырытой? Земля, земля!

За все твои дары мне возвращаю
Тебе вот *это!*.. А теперь в пустыню!

Ада наклоняется и целует останки Авеля.

А д а

Ужасный и безвременный удел
Тебе достался, брат. Среди рыданий
Лишь я должна молчать. Мой долг отныне
Не слезы лить, а слезы осушать.
Но скорбь моя — двойная: о тебе,
Но и о нем, твоём убийце!.. Каин,
Готова я с тобой твой гнет делить.

К а и н

Мы путь направим на восток от рая:
Пустыня там, и мне она подстать.

А д а

Веди! Ты мой водитель. А господь наш
Твоим да будет! За детьми теперь.

К а и н

А *он*, простертый, был бездетным. Я
Пресек родник беззлобного потомства,
Что низошло б на ложе новобрачных
И кровь мою суровую смягчило б,
Своих детей с моими сочетав!..
Ах, Авель, Авель!

А д а

Мир ему!

К а и н

А мне?

Уходят.

ПРЕОБРАЖЕННЫЙ УРОД

Драма

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Неизвестный, в дальнейшем Цезарь. Берта.
Арнольд. Олимпия.
Бурбон. Духи, солдаты, римские горожане,
Филиберт. священники, крестьяне и пр.
Челлини.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СЦЕНА I

Лес.

Входят Арнольд и его мать Берта.

Берта
Пошел, горбач!

Арнольд
Я так родился, мать.

Берта
Прочь ты, кошмар! Ты, бред! Ты, недоносок
Средь семерых.

Арнольд
О, будь я впрямь таким,
Чтоб света не видать!

Берта
Да, чудно было б!
Но раз увидел — прочь, пошел работать!
Твоя спина не шире, но повыше,
Чем у других, — снесет вязанку.

Арнольд

Да,
Она снесет, но сердце!.. Вряд ли сможет
Нести тот груз, что вы вложили, мать!
Я вас люблю, верней любил; но в мире
Лишь вы могли б любить меня такого.
Меня вскормили вы,— не убивайте ж!

Берта

Вскормила, да: был первым ты; кто знал,
Родится ли другой, не столь поганый,
Как ты, игра природы!.. Ну, пошел!
Дров набери.

Арнольд

Иду. Но будь помягче,
Когда вернусь! Хоть братья и красивей,
И здоровей, и ловки, точно серна,
Приманка их.— не отгоняй меня!
Мы грудь одну сосали.

Б е р т а

Да, и еж

Сосет корову ночью, обижая
Телка, а утром вспухшие соски
Доярка видит и пустое вымя...
Не смей звать братьев братьями! не смей
Меня звать матерью! Да, ты родился;
У глупых кур, что подгребут ошибкой
Яйцо гадючье, вылупится гад!
Прочь, дикобраз!

(Уходит.)

А р н о л ь д

(один)

О мать!.. Ушла!.. Я должен

Исполнить приказанье. Сколь охотней
Трудился б я, имея хотя б надежду
На ласковое слово! Что ж мне делать?

(Начинает рубить сучья и ранит руку.)

Так! На сегодня кончена работа!..
Как быстро кровь проклятая бежит;
А дома наградят меня двойным
Проклятьем!.. Дома? Ни семьи, ни дома
Нет у меня; я не похож на прочих;
Их счастьем чужд я. Вправе ль кровь я лить
Подобно им? О, если б эти брызги
Рождали змей — язвить моих ехидн!
О, если б дьявол, с кем меня равняют,
Помог подобью своему! Коль образ
Делю я с ним, что ж власти не делу?
Иль воли мало?.. А ведь словом ласки
Мать примирить могла б меня навек
С уродством ненавистным. Надо рану
Скорей обмыть.

*(Направляется к роднику, чтобы обмыть рану;
внезапно отпрыдывает.)*

Да, люди правы. Зеркало природы
Не лжет ее созданию! Глянуть мерзко,
Противно думать... Экой тварью гнусной
Родился я. Сам ключ как будто дразнит
Меня моею рожей, точно демон
Засел в глуби отпугивать овец,
К воде пришедших...

Пауза.

Жить ли впредь обузой

Себе и миру? срамом для родившей
Меня на свет? Ты, кровь, течешь обильно
Из малого пореза; а пошире
Тебе открыт проход — не унесешь ли
С собой мои печали навсегда,
Чтоб в землю я вернулся — гадкий сгусток.
Ее частиц — и разложился там
На элементы, породив любого
Иного гада — не меня, — став миром
Для мириад рожденных вновь червей!..

Тесак мой! Я проверю: рассечет ли
Он сохлый ствол волчарника (мой образ
Со дня рожденья) так же, как срезал
Живые ветки в роще.

(Укрепляет тесак рукоятью в земле, лезвием кверху)

Он готов

И ждет моей груди... Ну, взгляд последний
На светлый день, не видевший уродов,
Подобных мне; на солнце, что напрасно
Сияло мне. Как весел птичий хор!
Но пусть; не жду я стонов надо мною,
Мне звонкий щебет будь надгробным звоном:
И палый лист — надгробием, и ропот
Ручья вблизи — элегией моей...
Ну, мой тесак, стой твердо: я бросаюсь!

В тот миг, когда он устремляется на клинок,
движение воды в водосеке приковывает его взгляд.

Вода без ветра взволновалась!.. Но
Ужели рябь мою изменит волю?
Нет!.. Вновь бурлит! И явно не от ветра,
А от какой-то внутренней, глубинной,
Упрямой силы недр земных... Что это?
Туман! И все?

Из источника встает облако; Арнольд всматривается
в него; оно рассеивается, и высокая черная фигура
выступает вперед.

Что нужно? Говори!

Ты дух или человек?

Неизвестный

Но в человеке

И дух, и плоть. К чему ж два слова?

А р н о л ь д

Видом

Ты человек, но можешь чортом быть.

Неизвестный

Так и людей зовут иных; обиды
Не вижу я ни в той, ни в этой кличке...
Но ты хотел свершить самоубийство;
Свершай!

А р н о л ь д

Но ты мне помешал.

Неизвестный

Слаба же

Твоя решимость, коль тебе мешаю!
Будь бесом я, как думаешь ты, вмиг
Моим навеки стал бы ты, исполнив
Твой замысел преступный. Но пришел я
Тебя спасти.

А р н о л ь д

Что демон ты, — я все

Не говорю, но появился ты,
Как демон.

Неизвестный

Но судить об этом может
Лишь тот, кто с ним знаком, а ты едва ли
В таком высоком обществе бывал.
А вид,— взгляни опять на отраженье
Твое в воде, и кто из нас двоих,
Сам посуди, похож на козлонога,
Пугающего мужиков?

Арнольд

Ты смеешь
Извить меня моим уродством?

Неизвестный

Если б

Я буйвола дразнил твоей ногою
Кривой иль дромадера превосходным
Твоим горбом,— животные в восторге б
От комплимента были. А ведь оба
Быстрой, сильней, проворней и упорней,
Чем ты, чем самый смелый и прекраснейший
Из всей твоей породы. Облик твой
Естественен. Природа виновата
Лишь в том, что расточила человеку
Дары, назначенные для других.

Арнольд

О, дай мне силу буйволовых ног,
Когда он пыль взрывает, лишь завидит
Врага, или проворство дромадера,
Неутомимость корабля пустыни
Свободного! — и как святой стерплю я
Твои насмешки дьявольские!

Неизвестный

Можно!

Арнольд

Ты можешь?

Неизвестный

Да, пожалуй. Что еще?

Арнольд

Ты надо мной смеешься!

Неизвестный

Вторить смеху

Всеобщему — невкусная забава...
Ну, человеческим языком (поскольку
Ты моего не знаешь): зверобой
Не кроликов преследует, а вепрей,
Волков и львов, а мелочь оставляет
Для горожан, что раз в году бредут,
Чтоб раздобыть для кухонной кастрюли
Всю эту дрянь. Я над тобой смеюсь?
К чему? Мишень получше есть.

Арнольд

Не трать же
Со мною время; я тебя не звал.

Неизвестный

Твои мне мысли близки. Не старайся
Меня прогнать: не так легко добиться
Моих услуг.

Арнольд

Услуг? Каких же?

Неизвестный

Хочешь,

Приму твой вид, тебе столь надоевший,
Ты мой возьмешь или другой, любой.

Арнольд

О, ты бесспорно — бес; лишь бес решился!
Мой вид принять.

Неизвестный

Я покажу тебе

Все лучшее, что создал мир,— на выбор!

Арнольд

А на каких условиях?

Неизвестный

Вот вопрос!

Ты час назад готов отдать был душу,
Чтоб выглядеть, как все, теперь же медлишь
Принять геройский облик.

Арнольд

Нет; но я

Сгубить не должен душу.

Неизвестный

Чья душа,

Коль впрямь душа такую шкуру стерпит?

Арнольд

Душа бывает гордой, несмотря
На оболочку... Назови условия;
Скрепить их надо кровью?

Неизвестный

Не твоей.

Арнольд

А чьей?

Неизвестный

Об этом потолкуем после.

Но я не жаден: сам в душе таишь ты
Великое. Своей лишь воли слушай,
Твори, что хочешь,— вот мои условия.
Доволен ты?

Арнольд

Ловлю тебя на слове.

Неизвестный

Приступим!

(Подходит к источнику и поворачивается
к Арнольду.)

Каплю крови дай.

А р н о л ь д

Зачем?

Не и з в е с т н ы й

Смешать с водой магической и чарам
Придать могущество.

А р н о л ь д

(*протягивая раненую руку*)

Бери хоть всю.

Не и з в е с т н ы й

Пока не надо. Здесь двух капель хватит.

Неизвестный берет в ладонь немного крови Арнольда и
страхивает в водоем.

Тени прекрасных,

Тени могучих,

Зову долга подвластных,
Встаньте в струях текучих!

Не противьтесь, явитесь,

Восстаньте из вод,

Как облачный витязь

Над Гарцем встает.

В былом вашем теле

Предстаньте глазам, —

И я по модели

Подобье создам!

Заструнитесь мерцаньем,

Точно радужный дым,

Покорны желаньям

Его

(*показывает на Арнольда*)

И моим!

Каждый демон свободный,

Демон герой,

Будь софист он холодный

Иль стоик прямой,

Будь любой победитель,—

Македонский юнец

Иль цезарь-губитель,

Кто рожден, как боец,—

Все вы, тени прекрасных,

Тени могучих,

Зову долга подвластных,

Встаньте в струях кипучих!

Из водоема встают призраки и чередой проходят
мимо Неизвестного и Арнольда.

А р н о л ь д

Что это?

Не и з в е с т н ы й

Римлянин с орлиным носом

И черными глазами; пораженный

Не знал он и для Рима покорял

Любые страны, самый Рим отдав

Своим одноименникам в наследье.

А р н о л ь д

Но призрак лыс! Мне ж красота нужна!
Придатком будь к его изыянам слава...

Не и з в е с т н ы й

Да, лоб его был в лаврах, не в кудрях;

Вглядишь, решай — принять или отвергнуть;

Но я могу лишь облик дать, не славу:

За славу бьются.

А р н о л ь д

Биться я готов,

Но не в личине Цезаря. Она мне,

Сколь ни прекрасна, не подходит! Пусть он

Уйдет.

Не и з в е с т н ы й

Видать, разборчивее ты,

Чем, например, сестра Катона или

Мать Брута, иль девчонка Клеопатра

В шестнадцать лет, когда не сердцем любят,—

Глазами!.. Но пускай. Исчезни, тень!

Призрак Цезаря исчезает.

А р н о л ь д

Возможно ли, чтоб сотрясатель мира

Исчез бесследно?

Не и з в е с т н ы й

Не бесследно. Сам он

Оставил вдоволь горя и гробов,

А славы столько, что навек запомнят.

А тень его — не больше, чем твоя,

Под солнцем, разве что немного выше

Да попрямей. Гляди другого.

Проходит второй призрак.

А р н о л ь д

Кто он?

Не и з в е с т н ы й

Красивейший, храбрейший из афинч.

Вглядишь получше.

А р н о л ь д

Он куда красивей,

Чем первый. Как хорош!..

Не и з в е с т н ы й

Таким был точно

Сын Клиния курчавый. Хочешь эту

Принять наружность?

А р н о л ь д

Я бы счастлив был,

Родясь таким! Но выбор отложу я,

Хочу других увидеть.

Тень Алиявиада исчезает.

Неизвестный

Вот, гляди.

Арнольд

Как! Этот низкий, смуглый, пучеглазый,
Широконоздрый маленький сатир?
Похожий на Силена? кривоногий?
Нет! Я собой останусь лучше!

Неизвестный

В мире

Он воплощал всю красоту ума,
Все добродетели. Но ты, я вижу,
Отвергнешь образ?

Арнольд

Нет, но лишь владею
Достоинствами.

Неизвестный

Обещать не буду:

Не властен; но попробуй,— не добьешься ль
В его личине, иль в своей.

Арнольд

Ну нет,

Я не для философии родился,
Хотя порой нуждаюсь в ней. Нет, прочь.

Неизвестный

Развейся, ты, упившийся цикутой!

Тень Сократа исчезает. Появляется другая.

Арнольд

А это кто с курчавой бородой,
С широким лбом и поступью Геракла?
Хотя скорей в бесслом взоре — Вакх,
А не чистильщик мрачный преисподней,
Склонившийся угрюмо на дубину,
Как бы узнав, сколь недостойны те,
Кого спасал он.

Неизвестный

За любовь он отдал

Весь древний мир.

Арнольд

Я не хуюлю его;

Я сам рискнул душой, не встретя в мире
Того, за что он отдал мир.

Неизвестный

Ну, если

Вы столь созвучны, ты возьмешь, быть может,
Его черты?

Арнольд

Нет; выбор мой; я буду

Придирчив, в целях увидеть побольше
Героев, недоступных без того,
К нам вышедших из мрачного аида.

Неизвестный

Прочь, триумвир: ждет Клеопатра.

Призрак Антония исчезает; появляется новый.

Арнольд

Кто он,

Вот этот — истый полубог, столь светлый,
Златоволосый, с этим гибким телом,
Чуть выше тела смертных, но с небесным
Изяществом, что, как сиянье солнца,
Сквозит в любом движенье? что исходит
Из плоти явно, но как будто отблеск
Чего-то несказанного? Ужели
Он *только человек*?

Неизвестный

Земля ответит,

Что сохранилось: прах ли от него,
Иль золото его добротной урны.

Арнольд

Чем он велик?

Неизвестный

Для Греции, в дни мира,

Позором был... был молнией в дни войны —
Деметрий Македонский, знаменитый
«Крушитель градов».

Арнольд

Ну, зови других.

Неизвестный

(обращаясь к тени)

Ступай на грудь к Эмпузе.

Тень Деметрия Поллоркета исчезает; возникает новая.

Ты не бойся,

Горбунчик мой: мы подберем, что нужно;
Коль тонкий вкус твой отвергает липы
Отживших, я хоть мрамор оживлю,
Но дам твоей душе наряд пристойный.

Арнольд

Есть, выбрал я: вот он!

Неизвестный

Хвалю твой выбор:

Богopodobный сын морской богини,
Курчавый сын Пелея, с волосами
Прекрасней и светлей янтарных волн,
Что вьет Пактол в песках золотоносных,
Смягченные в хрустальном роднике,
Волнистые, как зыбь воды под ветром,
Наследие Сперхсея, — глина на них!
Глянь на него! Таким он с Поликсеной,
С невестою-троянкою стоял

Пред алтарем, любовью полон нежной,
И мучась думой о слезах Приама,
О смерти Гектора, и страстью рдея
К печальной чистой деве, чья рука
В руке убийцы брата трепетала.
Таким стоял он в храме! Погляди ж,—
Таким он был, прекраснейший из греков,
Когда Парис в него пускал стрелу!

А р н о л ь д

Гляжу, как будто я — его душа,
Снешащая облеченная в тело!

Не и з в е с т н ы й

Выбор

Вссыма хорош: меняют верх уродства
Лишь на вершину красоты, коль верить
Пословице, что крайности близки.

А р н о л ь д

Скорей! Я жду!

Не и з в е с т н ы й

Ты с юной схож красотой
Пред зеркалом: обоим видно то,
Что грезится, не то, что есть.

А р н о л ь д

Мне ждать?

Не и з в е с т н ы й

Нет, незачем томиться. Но два слова:
Он ростом был в двенадцать футов; хочешь
Столь превзойти людей и быть гигантом
Или (библейским слогом) сыном быть
Анака?

А р н о л ь д

Я непрочь.

Не и з в е с т н ы й

Люблю отвагу,
Особенно в пигмеях! Всякий смертный
Из Голиафа очень бы охотно
В Давида превратился; но тебя,
Мой карлик, манит больше рост героя,
Чем героизм. Коль хочешь — я согласен.
Но знай: чем меньше от других людей
Ты отличаешься, тем легче будешь
Господствовать над ними; а гигантом
Ты всех натравишь на себя, как мамонт,
Воскресший вдруг. Их чортовы орудья,
Их кулевины и другое легче
Пробьют броню Ахилла, чем стрела
Прелюбодея пронизала пятку,
Которую Фетида позабыла
В Стикс окунуть.

А р н о л ь д

Ну, поступаай, как знаешь.

Не и з в е с т н ы й

Как тот, кого ты видишь, станешь ты
Красив и силен, и...

А р н о л ь д

Я не нуждаюсь.

В его отваге: все уроды смелы,
Им свойственно одолевать людей
Душой и сердцем, чтоб сравняться с ними,
Нет,— превзойти! Урод всегда прищипорен
В хромых движеньях, чтобы превзойти
Других людей в их повседневном деле,
В свирепой их борьбе, и этим скупость
Природы-мачехи смягчить. Бесстрашье
Он добивается улыбок счастья
И, как Тимур, татарин колченогий,
Порой удачно!

Не и з в е с т н ы й

Чудные слова!

Конечно, ты самим собой пробудешь!..
Ну, тень я отпущу,— модель той плоти,
Куда войдет столь смелая душа,
И без нее способная на подвиг.

А р н о л ь д

Не встретиться мне возможность превращения
Все сделал бы мой дух, чтобы дорогу
Себе пробить под страшным, смертным гнетом
Уродства, легшего, как бы гора,
На сердце мне, как на плечи мой горб,—
Бугор кротовый, мерзостный для взора
Других, счастливых! Женскую красу,
Что радует наш мир и мнится нам
Образчиком иной красоты, небесной,
Я созерцал бы с потаенным вздохом,
Но не любви,— отчаяния; будь я
Любовью полн, я б не искал ответной:
Меня на одиночество обрек
Нарост мой гнусный; нет, я снес бы все,
Когда бы мать меня не оттолкнула!
Медведица — и та щенка облизает,
Пригладит; мать меня сочла пропащим.
Забрось она меня, как было в Спарте,
Покуда не глотнул я жизни, стал бы
Я прахом дольным и счастливей был,
Чем ныне! Но живя, пусть самым жалким,
Презренным, мерзким, я б, возможно, вырос
Во что-нибудь при помощи упорства
И храбрости, что из таких, как я,
Растят героев. Ты видал недавно,
Что я моей распорядился жизнью,—
И, значит, я способен управлять
Людьми, которым смерть страшна!

Не и з в е с т н ы й

Меняться ли тебе?

Решай же:

А р н о л ь д

Но я решил.

Ты предложил моим глазам и сердцу
Блестящую и сладкую возможность.
Я мог и так бы стать любимым, чтимым
И грозным — для других, но не для близких,
А что мне в том?! Ты дал мне выбрать облик;
Я выбираю — этот! Поспеши!
Скорей!

Неизвестный

А л какой приму?

А р н о л ь д

Кто может

Личинами владеть, возьмет любую,
Хоть более прекрасную, чем внешность
Пелида, что пред нами; стань Парисом,
Его убийцей, или — выше! — богом
Поэтов, — тем, чей облик сам исполнен
Поэзии.

Неизвестный

О нет, я буду скромн,
И я люблю разнообразье.

А р н о л ь д

С виду

Ты темноват, но ничего.

Неизвестный

Я мог бы

Стать побелсй, но черный цвет мне мил;
Он откровенней, и к тому же не надо
Бледнеть от страха иль краснеть, стыдяся,
Но я его носил довольно долго,
И облик *твой* теперь приму.

А р н о л ь д

Мой?!

Неизвестный

Да!

Тебе даст внешность сын Фетиды, мне же —
Сын Берты. У людей различный вкус:
Твой у тебя, мой у меня.

А р н о л ь д

Скорей же,

Спеш!

Неизвестный

Сию минуту!

*(Берет земли, формирует ее на дерне и обращается
к тени Ахилла.)*

Прекрасный и славный
Призрак сына богини,
Кто уснул в пышнотравной
Троянской пустыне!
Я из глины, из красной,
Твой образ ваяю,

Как Адама — Всевластный,
Тот, кому подражаю!
Встань же, глина, алая,
Чтоб на щеки вот эти
Лег румянец, нежнее
Розы в первом расцвете!
Стань подобьем для крови,
Вод сияющих пламя!
Вы, фиалки, под брови
Лягте глазами!

Гиацинтные кисти,
Лоб кудрями обвейте
И вейтесь волнистей,
Внемля вѣтровой флейте!
Я для сердца ломаю
Мрамор хладный и грубый,
Но в голос вливаю
Трели с этого дуба!
Для плоти отсею
Чистейшей земли я,

Где кропили лилею
Росы благие,
Чтобы тело сияло
Ярче любого
Красотой небывалой
Меж творенья земного!
Стихии! Сбирайтесь,
Сливайтесь, проворны,
В единство смешайтесь,
Веленью покорны!
Ты, солнце, дыханье
В прах безжизненный вбрызгни!
Готово! Созданье
Вызвано к жизни!

Арнольд падает без чувств; его душа переходит
в тело Ахилла, которое появляется из земли. По мере того
как оно оформляется, призрак постепенно рассеивается.

А р н о л ь д

(в новом воплощении)

Любить я буду, и меня полюбят!
О, наконец-то жизнь! О дивный дух!

Неизвестный

Стой, стой! Куда мы денем оболочку,
Ком этой дряни, рвани безобразной,
В которой ты гулял?

А р н о л ь д

Да пусть хоть волки
Иль коршуны сожрут, коль им по вкусу!

Неизвестный

Ну, если так и не проймет их ужас,
То, значит, мир царит в лесах: добычи
Нет никакой!

А р н о л ь д

Да пусть лежит; неважно,
Что с ним случится.

Неизвестный

Это незяццо,
Неблагодарно: как-никак, а в *этом*
Твоя душа держалась много дней.

Арнольд

Да, как в навозной куче перл, который
Теперь оправлен в золото, как должно.

Неизвестный

Берут одежду новую обменом,—
Не грабежом; кто создает людей
Без женской помощи, тот обладает
Патентом должным и терпеть не может
Поддельщиков; бес лишь берет людей,
Не создает,— он лишь плоды собирает
Начального творенья; значит, надо
Найти кого-нибудь, кто взять решится
Твои останки.

Арнольд

Кто ж возьмет?

Неизвестный

Не знаю;

Придется мне.

Арнольд

Тебе?

Неизвестный

Как я сказал,
Пока еще в храм красоты не влез ты.

Арнольд

Да, да; я все забыл в приливе счастья,
Преобразясь так дивно!

Неизвестный

Через миг
Я прежний образ твой приму, чтоб вечно
Себя ты видел рядом, точно тень.

Арнольд

Нельзя ль избегнуть этого?

Неизвестный

Никак!

Но разве ты теперь уже боишься
Себя былого?

Арнольд

Поступай, как хочешь.

Неизвестный

*(обращается к прежнему телу Арнольда, распростер-
тому на песке)*

Косный прах! Ничем он
Смертных не приманит.
Что же! Скромный демон
В нем душою станет.

Глина он, но что ни глина,
То для духа все едино!
Эй, огонь, животворящий
Изнутри, извне, губящий
Все, помимо баснословных
Саламандр и душ греховных,
Что блуждают и воят,
Чтоб хоть каплей Вечно-Мстящий
Охладил им вечный ад!
Эй, огоны! В тебе, стихия,
Птица, рыба, зверь и гад
Гибнут разом (кроме змия,
Кто бессмертен); лишь в огне
Исчезает плоть вполне!
Ты, убийца и хранитель,
Первородный сын творенья,
Ты, последний истребитель
В день конца и разрушенья,—
Помоги мне в эту грудь,
В труп холодный и немотный
Жизнь вернуть!
Дай свершить мне воскрешенье!
С малой искоркой болотной
Встанет он для бытия,
А душой в нем буду я!

В лесу вспыхивает блуждающий огонек и опускается
на голову тела Арнольда. Неизвестный исчезает;
тело встает.

Арнольд

(в своем новом облике)

О ужас!

Неизвестный

(в прежнем облике Арнольда)

Как! Трепещешь ты?

Арнольд

Я вздрогнул
Слегка. Скажи, куда исчезло тело,
В котором был ты?

Неизвестный

В мир теней. А мы
Пойдем к живым. Ты путь куда направишь?

Арнольд

А ты — мой спутник?

Неизвестный

Почему же нет?
Сопровождал я и других — почище.

Арнольд

«Почище»?!

Неизвестный

О, ты, вижу, возгордился
И стал неблагодарен. Очень рад:
Такой прогресс! Две перемены сразу!

Повадки мира быстро ты усвоил!..
Но примиришь со мной: в твоих скитаньях
Я пригложусь. Решай: куда пойдём?

А р н о л ь д

Туда, где мир плотнее населен:
Я поглядеть хочу дела мирские.

Н е и з в е с т н ы й

Туда, сказать иначе, где война
И женщины. Найдем! Есть Новый Свет,
Испания, Италия; неплохо
И в Африку, где мавры. Но, по правде,
Ничтожный выбор: люди повсеместно,
Как принято, грызутся меж собой.

А р н о л ь д

Я слышал нечто славное о Риме.

Н е и з в е с т н ы й

Весьма удачно! Со времен Содомы
Прекрасней места не найти! И поле
Просторно там: гунн, франк, испанский отпрыск
Вандалов древних — все пришли резвиться
В сад мира солнечный.

А р н о л ь д

Но как добраться?

Н е и з в е с т н ы й

Как должно рыцарям — верхом, на борзых
Моих конях. Ох, кони! Лучше тех,
Какие в По свалили Фаэтона!
Эй вы, пажки!

Два пажа вводят четырех угольно-черных коней.

А р н о л ь д

Да, благородный вид.

Н е и з в е с т н ы й

А кровь какая! Ни средь нумидийских,
Ни средь арабских не найти таких!

А р н о л ь д

Могучий пар, клубящийся из гордых
Ноздрей, сжигает воздух! Пляшут искры,
Как светляки, вдоль грив, как на закате
Рой мошкеры простой над лошадами
Простыми!..

Н е и з в е с т н ы й

Ну, прошу в седло, милорд!
Вам служим — я и кони.

А р н о л ь д

Черноглазых

Твоих пажей как будем звать?

Н е и з в е с т н ы й

Ты можешь

Их окрестить.

А р н о л ь д

В святой воде?!

Н е и з в е с т н ы й

А что же?

Чем глубже грех, тем выше святость будет

А р н о л ь д

Они для бесов чересчур прекрасны.

Н е и з в е с т н ы й

Да, гадок чорт, а ваша красота
Не дьявольской природы.

А р н о л ь д

Тот, кто держит

Рог золотой и так румян, пускай
Зовется Гюон: очень он похож
На мальчика прелестного, который
В лесу пропал. Второй же, кто задумчив
И сумрачен и без улыбки смотрит,
Как ночь спокоен,— пусть зовется Мёмнон,
Как эфиопский царь, чье изваянье
Перед зарею арфою звучит.
А ты?

Н е и з в е с т н ы й

Имен я тысячу имею

И вдвое свойств; но, в облике людском,
Я должен выбрать и людское имя.

А р н о л ь д

Но более людское, чем моя
Фигура.

Н е и з в е с т н ы й

Цезарь — так я буду зваться.

А р н о л ь д

Но это имя царственное; носят
Его владыки.

Н е и з в е с т н ы й

Тем оно приличней

Для ряженого дьявола, которым
Ты счел меня, коль не считаешь папой.

А р н о л ь д

Ну, пусть: будь Цезарем. А я останусь,
Как был, Арнольдом.

Н е и з в е с т н ы й

Мы добавим титул:

Звучит весьма приятно «граф Арнольд»
И выглядит в записочке любовной
Приманчиво.

А р н о л ь д

И в боевом приказе!

Цезарь
(поет)

В седло! в седло! Скакун мой черный
Копытом роет, весь — огонь!
Едва ль найдется столь покорный
Наезднику арабский конь!

Он в горах не устает:
Выше горы — шибче ход;
Не замедлит он в трясиных,
Не сдержать его в равнинах;
Не погибнет он средь вод,
Пить к ручью не припадет;
Время в нем не гасит пламень,
Не споткнется он о камень
И не задохнется он,
В гущу боя погружен;
В стойле он не застоится;
Он без крыл грифоном мчится,
Окрылен игрой копыт!

Ну не чудный ли путь предстоит?
Веселей, веселей! Наши черные кони
Никогда не собьются в безудержном гоне!
Мы от Альп до Кавказа проедем, верней — пролетим,
Ибо вмиг эти горы за нами растают, как дым!

Вскакивают на коней и исчезают.

СЦЕНА II

Лагерь под стенами Рима.
Арнольд и Цезарь.

Цезарь

Ты во-время попал.

Арнольд

Да; но дорога
По трупам шла; глаза от крови мутны.

Цезарь

Протри — и прояснеют. Ты же воин;
Любимый рыцарь и соратник вольный
Отважного Бурбона, кто недавно
Был коннетаблем Франции и станет
Владыкой города, что правил миром
При цезарях, а ныне, — с переменой
Не скипетра, а пола, — стал *хозяйкой*,
Гермафродитом власти в старом мире.

Арнольд

А есть и новый?

Цезарь

Да, для вас: источник
Богатств и золота, и хвори новой.
Его *полмира* кличут *миром*: люди
Доверчивы к туманным показаньям
Глаз и ушей.

Арнольд
Я тоже верю им.

Цезарь

Верь: ведь приятней сладко заблуждаться,
Чем горько знать.

Арнольд

О пес!

Цезарь

Что, человек?

Арнольд

Проклятый дьявол!

Цезарь

Твой слуга покорный!

Арнольд

Скажи хозяин! Ты меня сквозь кровь
И сквозь разбрат завел сюда.

Цезарь

А где бы
Желал ты быть?

Арнольд

Средь мира мирным.

Цезарь

Где же
Такое место? Жизнь — всегда движенье,
От звезд и до червей. А в *потрясениях*
Всего полнее выражена жизнь.
Планета вертится, пока не станет
Кометой, и, сметая на лету
Другие звезды, гибнет. Жалкий червь
Живет чужою смертью, но покорно,
Как все другие, умирает сам,
Подвластный силе, жизнь и смерть несущей
И ты, как все, покорствуешь закону
Необходимости. Мятаж бесплоден:
Не удастся.

Арнольд

Ну, а вдруг удастся?

Цезарь

Так это не мятеж.

Арнольд

А наше дело
Удастся?

Цезарь

Штурм начнется рано утром;
Бурбон велел. Работы хватит.

А р н о л ь д

Горе!

И Рим — падет? Я вижу дом господень,
Собор Петра, его слуги; вон купол
И крест восходят в небеса, куда
Христос вознесся, крест, омытый кровью,
Оставя знаком славы и спасенья,—
Орудье пытки для него, для бога,
Единогo прибежища людей!

Ц е з а р ь

Все это есть и будет.

А р н о л ь д

Что?

Ц е з а р ь

Вверху —

Крест, а внизу — алтарь, и не один,
А по стенам — бомбарды, аркебузы
И прочее, и также люди, чтобы
Стрелять из них и убивать людей.

А р н о л ь д

А титанические эти своды,
Аркады вдоль нетленных стен, театр,
Где цезари и подданные их,
Также ж римляне, на бой глядели
Монархов леса и пустыни,— льва
С его соперником клыкастым, сыном
Безвестных далей; их для поединка
Загнали на арену; за нехваткой
Людских царей (весь мир был завоеван),
Был лес обложен данью смерти в пользу
Амфитеатра, где для мимолетной
Забавы резались дакийцы, чтобы
Пред смертью слышать: «Новых подавай!» —
И все погибнет?

Ц е з а р ь

Что? Собор? театр?

Или весь город? Все свалил ты в кучу;
Я с толку сбит.

А р н о л ь д

Начнется штурм при первом
Пегушьем крике.

Ц е з а р ь

Если ж завершится

При соловьях исчерпанных, это будет
Новинкою в истории осад:
Усталым людям надо поразвлечься.

А р н о л ь д

Какой закат прекрасный и спокойный!
Такой, возможно, был в тот день, когда
Рем перепрыгнул стену.

Ц е з а р ь

Помню: видел.

А р н о л ь д

Ты?

Ц е з а р ь

Я! Иль ты забыл, что я был духом,
Пока не влез в твое отрепье, имя
Приняв похуже? Я — горбун и Цезарь
Теперь. Что ж! Первый Цезарь был плешив
И в лаврах видел (говорит историк)
Скорей парик, а не венец. Таков
Наш мир; но нам грустить не стоит. Видел
Я Ромула (простого, как я сам);
Убил он брата-близнеца за то, что
Перескочил он ров (тогда еще
Стен не было); цементом Рима первым
Была кровь брата. Если завтра кровью
Потомков их зардеет желтый Тибр,
То это — вздор в сравнение с тою краской,
Что рóзлили по суше и по морю
Кровавые сыны братоубийцы
Своей веками длившейся резней.

А р н о л ь д

Но в чем вина потомков, столь далеких,
Живущих в мире и под мирным небом,
Под солнцем кротости?

Ц е з а р ь

А в чем вина
Тех, древним Римом истребленных? Слушай!

А р н о л ь д

Поют солдаты. В беззаботной песне
Им развлечение накануне стольких
Смертей, быть может,— их же смерти!

Ц е з а р ь

Поупражняйтесь в лебединой песне;
Есть лебеди и черные.

Им бы

А р н о л ь д

Ты, вижу,
Ученый.

Ц е з а р ь

Да, в грамматике я сведущ:
Я ведь учился, чтобы стать монахом;
Я был силен в этрусских письменах,
Теперь забытых, и, коль пожелаю,
Вам объясню иероглифы эти,
Как вашу азбуку.

А р н о л ь д

А что мешает?

Ц е з а р ь

Приятней алфавиты превращать
В иероглифы. Как министры ваши,
Священники, пророки, доктора,
Алхимики, философы... Они ведь

Воздвигли больше вавилонских башен,
Не разбегаюсь, чем запки те,
Кто, грязь потопа отряхнув, за дело
Взялись и — разошлись. И почему?!
Друг друга, видите, не понимали!
А те умней: тех вздор не разлучит;
Вздор — их опора, их талмуд, коран,
Их шиболет, краугольный камень
Их братства...

А р н о л ь д
(прерывая его)

Замолчи, насмешник вечный!
Солдатская частушка издавала
Звучит приятно, точно стройный гимн.
Послушаем.

Ц е з а р ь
Я херувимов слышал.

А р н о л ь д
И вой чертей?

Ц е з а р ь
Да,— и людей. Но тише:
Я музыку люблю.

С о л д а т ы
(поют вдали)

Мы по альпийским склонам
Ватагой черной шли;
С Бурбоном, с Бурбоном
Мы По пересекли.
Мы всех врагов побили,
Покончив с королем;
Нигде не отступили
И песню поем!
Хоть нет гроша в кармане,
Да здравствует Бурбон!
Мы в утреннем тумане
Ударим в бастион.
С Бурбоном, с ярым,
На штурм пойдем,
Всползем по стенам старым,
В ворота — напролом!
Пусть каждый твердо станет
На лестницу ногой,
Веселой песней грянет;
Лишь мертвый — немой.
Когда, Бурбона клича,
Мы бросим Рим во прах,
Несметная добыча
Найдется во дворцах!
Вверх «Лилии»: под ними
«Ключам» — пропасть!
И в семихолмном Риме
Мы попируем власть!
Пусть кровь везде струится

И Тибр алеет сплошь!
Пусть от сапог промчится
По древним храмам дрожь!
С Бурбоном, с Бурбоном,
С Бурбоном шагай!
Припевом всем колоннам
Огня поддай!
Наш авангард — испанский:
Разноплеменен строй;
Нам барабан германский
Гремит, зовя на бой;
Вот итальянцев пики
Их родине грозят;
А вождь — француз великий,
С кем не поладил брат!
С Бурбоном, с Бурбоном
Наш край родной и дом!
И в старый Рим с Бурбоном
Погрابتь мы войдем!

Ц е з а р ь

Не правда ли, веселенькая песня
Для осажденных?

А р н о л ь д
Да, весьма, с учетом
Ее припева. Но сюда идет
Со свитой сам командующий. Вот уж
Эффектный бунтовщик!

Входит коннетабль Бурбон «со своими» и проч.

Ф и л и б е р т
Что с вами, принц?
Вы сумрачны.

Б у р б о н
А почему бы нет?

Ф и л и б е р т
Все веселы перед такой победой,
Как наша.

Б у р б о н
Будь уверен я!..

Ф и л и б е р т
В солдатах
Не сомневайтесь: сквозь алмазный вал
И то прорвутся; голод лучше пушек.

Б у р б о н
За их подъем я не боюсь ничуть:
Их не отбить, когда Бурбон ведет их
И аппетит подхлестывает жгучий;
Будь стены эти старые горами,
А их защитники богам подобны
Мифическим, в моих титанов мощных
Я верю. Все ж...

Ф и л и б е р т

С людьми воюют люди.

Б у р б о н

Да, но у этих стен — столетья славы
И толпы славных. Древняя земля
И нынешняя тень владыки Рима
Населены героями. И мнятся:
Они, храня свой вечный град, со стен
Ко мне простерли призрачные руки,
В крови побед, и знак дают уйти!

Ф и л и б е р т

Ужель угрозы призраков бояться?

Б у р б о н

Угрозы нет, да я не испугался б,
Грози мне Сулла! Но они с мольбой
Заламывают мертвенные руки,
А дрожь их бледных лиц и глаз недвижность
Меня гнетут. Взгляни.

Ф и л и б е р т

Я вижу только

Высокие зубцы.

Б у р б о н

И там?

Ф и л и б е р т

Там пусто:

Все часовые мудро схоронились
За старым парашютом от шальной
Стрельбы ландскнехтов наших, — те охочи
Поупражняться вечером.

Б у р б о н

Ты слеп.

Ф и л и б е р т

Незримого не видя, слеп, конечно.

Б у р б о н

Тысячелетье выслало на стены
Своих героев. Вон Катон последний
Грудь распорол себе, не пережив
Свободы Рима, — той, что задушу я;
Вон первый Цезарь свой триумф пронесит
Вдоль бруствера.

Ф и л и б е р т

Так завоюйте город

Завоевателя — и станьте выше!

Б у р б о н

Да!.. Иль погибну.

Ф и л и б е р т

Здесь нельзя *погибнуть*.

В делах подобных смерть — заря нетленной
И вечной славы!

Подходят граф Арнольд и Цезарь.

Ц е з а р ь

Ну, а в знойный полдень
Вот этой славы вечно ли потеть?
Должны простые люди?

Б у р б о н

А! Привет вам,

Горбунчик едкий и его хозяин,
Краса бойцов, столь смелый, сколь прекрасный,
Столь благородный, сколь изящный! Дело
Мы вам найдем обоим на заре.

Ц е з а р ь

Но и себе, надеюсь, ваша светлость?

Б у р б о н

Да, и едва ль меня опередят,
Горбунчик мой!

Ц е з а р ь

Так звать меня вы вправе:

В бою держась, как генерал, в тылу
Вы видели мой горб; зато враги
Его не видели.

Б у р б о н

Ну, я нарвался:

Прекрасный выпад! Впрочем, грудь Бурбона
В боях была и будет впереди,
Как и твоя, — будь ты сам дьявол!

Ц е з а р ь

Будь я

Такой особой, я не потрудился б
Сюда притти.

Б у р б о н

Что так?

Ц е з а р ь

Ведь половина

Всех ваших смельчаков сама собою
К нему уйдет, а остальных отправят
Еще скорей, да и верней.

Б у р б о н

Горбатый

Ваш друг, Арнольд, в словах, как и в делах.
Беспорный змий.

Ц е з а р ь

Ошибка, ваша светлость!

Змий первый был льстецом, а я — нисколько.
В делах же я, когда ужалют, — жалю.

Б у р б о н

Ты храбр, — и этого мне хватит; скор
В ответах и ударах, превосходно!
Я сам солдат и также друг солдатам.

Цезарь

Они в дурной компании, мой принц!
Друзья им тяжелее, чем враги,
Поскольку неотвязней.

Филиберт

Эй, приятель!
Ты чересчур развязен для шута!

Цезарь

Иначе — правду говорю? Ну что же,
Я стану лгать! приятней ложь. Позвольте
Вас называть героем.

Бурбон

Филиберт,
Оставь его; он смел; в боях и штурмах
Он, черномазый, со спиной бугристой,
Был первым, твердо выносил лишения;
Его язык... но лагерь не дворец,
И колкости веселого плутяги,
По-моему, куда приятней грубых,
Тупых, тяжелых, сумрачных проклятий
Голодного, угрюмого раба,
Которому нажраться, да надраться,
Да выспаться, да горсть грошей добыть,
Чтоб возомнить себя богатым.

Цезарь

Если б
Столь были скромны все князья!

Бурбон

Молчи!

Цезарь

Но действуй!.. Вы же слов не берегите:
Недолг срок!

Филиберт

Ты что, болтун нахальный?

Цезарь

Болтаю! Как: пророки.

Бурбон

Филиберт!

Не приставай к нему! У нас найдется
О чем подумать!.. Граф Арнольд, я завтра
Пойду на штурм.

Арнольд

Я это слышал, принц.

Бурбон

И вы за мной?

Арнольд

Коль я не вождь, за вами.

Бурбон

Чтобы солдат взбодрить голодных, должен
На лестнице передовой их вождь
На первую ступень стать первым.

Цезарь

Так же

На верхнюю, надеюсь: доблесть в этом
Проявится вполне.

Бурбон

Возможно, завтра

Великая столица мира — наша!
Град семихолмный при любых условиях
Народами владел; пришел Аларих
На смену цезарям; сменили папы
Аларихов; но римлянин и гот,
И пастырь миром правили; и город,
Создание Ромула, твердыней был
Античной, варварской или церковной
Империи! Что ж, очередь за нами!
Не хуже драться будем, править — лучше!

Цезарь

Бесспорно: лагерь — школа прав гражданских!
Что будет с Римом?

Бурбон

Станет прежним он.

Цезарь

Как при Аларихе?

Бурбон

Нет, раб нахальный,

При Цезаре, чье имя носишь ты,
Как и другие псы!

Цезарь

И короли!

Прекраснейшая кличка для овчарок...

Бурбон

Вот демон с языком зменным! Будешь
Серьезным ты?

Цезарь

Перед сраженьем? Нет!

Не по-солдатски это! Пусть начальство
Задумывается, а нам, бродягам,
Подстать веселье. И о чем нам думать?
О нас пекутся боги в генеральском
Обличье. И гоните мысль от войск!
Начни рубаки думать, — вам придется
Брать крепость одному.

Бурбон

Язви! ты волен:

От этого дерешься ты не хуже.

Цезарь
Благодарю! Вот первая получка
На службе вашей светлости!

Бурбон
Ну ладно!
Ты завтра сам свой недобор пополнишь:
Моя казна — в тех башнях... Филиберт,
Нам на совет пора; и вас мы просим
Присутствовать, Арнольд.

Арнольд
К услугам вашим,
Мой принц, в совете ль, в битве ль!

Бурбон
Там и там
Я их ценю, и завтра вы займете
Важнейший пост.

Цезарь
А я?

Бурбон
Пойдешь за славой
Бурбона. Доброй ночи.

Арнольд
(Цезарю)
Приготовь
Оружие и жди в шатре.
Бурбон, Арнольд, Филиберт и др. уходят.
Цезарь
(один)
В шатре!
Ты думаешь — я выпущу тебя?
Иль мне сама горбатая покрывка,
В которой жил ты, надобна, — сама,
А не как маска? Вот они, людишки!
Вожди, герои — сливки всех ублюдков
Адамовых! Влагай в простую глину
Способность мыслить! Прах упрямый этот
И в мысли, и в деянья вносит хаос,
На элементы разложиться рад!
Что ж! Поиграем с куклами: и духу
Нехудо поразвлекься на досуге.
А надоест — я звездами займусь,
Что созданы, по мнению жалких тварей,
Для услажденья взоров; славно было б
Одну скатить на этот муравейник —
Его поджарить! Вот бы мураши
Забегали по угольям и, бросив
Чужие гнезда разорять, завывли б
Всемирную молитву! Ха, ха, ха!
(Уходит.)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СЦЕНА I

Под стенами Рима. Штурм; армия наступает, неся
штурмовые лестницы. Впереди — Бурбон с белой перевязью
на латах.

Хор духов в воздухе.

Духи

1

Хмур и грустен встал рассвет.
Что же песен птичьих нет?
Что ж на солнце пала тень?
Разве вправду это день?
Смотрит скорбный мир с тоской
На высокий град святой.
А кругом столь буйный гром,
Что святых пробудит в нем,
Прах героев воскресит
Там, где желтый Тибр бежит.
О, проснитесь, Семь Холмов,
Чтоб не дрогнуть до основ!

Слышен ровный тяжкий тон:
Поступь Марса в шаге толп!
В ногу все — одна стена:
Так прилив ведет луна!
Мерно к смерти строй идет,
Как напор высоких вод,
Чей настойчивый прибой
Осаждает мол крутой,
Там дробясь за рядом ряд!
Лязг оружия, отзвук лат!
Взором сумрачным бойцы
Зорко меряют стен зубцы!
Лестниц ряд — подстать эмсе
В полосатой чешуе!

3

Стен кольцо людской стеной
Ощетинено сплошной!
Пасти пушек там и тут;
Блещут копыя, тлеет трут;

Мушкетонов черный рот
Гром и смерть вот-вот метнет!
Средства древние войны,
С новыми сопряжены,
В схватке нового с былым
Саранчой обвили Рим.
Рем! Тебя твой брат убил;
Не страшней ли час пробил?
Рать с крестом, — и храм христов
Не как Рим ли пасть готов?

4

Ближе, ближе их движение;
Как растет землетрясение —
Прежде дрожью потаенной,
Точно море в зыби сонной,
А потом с таким размахом,
Что утесы рухнут прахом, —
Так войска идут вперед!..
О вождей бессмертных род,
Сонм героев величавых,
Первый цвет лугов кровавых,
Рим обвинших, чьи сыны
В мире братьев лишены!
Вам ли спать, грозе военной
Дав сорвать ваш лавр нетленный?
Вы, оплакав Карфаген,
Встаньте к битве: враг у стен!

5

Вражьи рати рвутся в бой:
Голод их манит едой;
Волчьей стаей, злобой, смелой,
Мчит их голод озверелый
К тем стенам. О град державный!
Жертвой ты ль падешь бесславной?
Пусть, как предки, бьется каждый!
Лучше гот был с дикой жаждой,
Чем бурбоновы бандиты.
Встань же, славою повитый,
Вечный град! Иль сжечь весь Рим
Прикажи сынам твоим.
Но не дай, чтоб грязный враг
Хоть один пограл очаг!

6

Тень в крови предстала там!..
Ищет Гектора Пергам;
Люб сынам Приама брат...
Ромул, яростью объят,
Мать презрел, подняв на брата

Грешный меч. И вот расплата:
Тень гигантская готова
Перепрыгнуть стену снова!
Первый, древний тот прыжок
Риму скорбный плен предрек;
Пусть он башней Вавилона
Встал, — стремленье непреклонно:
Рем твоим твердыням, Рим,
Мсть несет, неумолим!

7

Враг свирепый под стенами;
Грохот адский, дым и пламя.
Чудо мира! посмотри:
Смерть снаружи и внутри.
Сталь на сталь — со звоном, с блеском;
Лестницы, ломаясь с треском,
Груз железный валят в ров;
Боли стон, проклятий рев!
Рвутся! Пал боец? взамену
Новый встанет — лезть на стену!
Жарче схватка. Ров и склон
Кровью наций утучнен.
Рим! Хотя грозит паденье,
Дарит это удобенье
Урожай полям твоим.
Очаги же... бедный Рим!
Но и в муках дедам следуй:
Бейся, точно пред победой!

8

Не сдавайте все ж, пенаты,
Очагов остывших Атэ!
Тени славных! Снова в бой:
Вам Нерон грозит чужой.
Прежний, мать убив, багримый
Кровью римлян, сыном Рима
Все же был, — но, римских стен
не сломив, был сломлен Бренн!
Страстотерпцы! встаньте ныне
Охранять свои святини!
Боги павших алтарей,
Встаньте из руин! Грозней
Встаньте вы, отцы христовой
Церкви, штурм отбить готовы!
Тибр! Яви, волной вскипев,
Сил природы боль и гнев!
Все живое да восстанет
И, как лев травимый, прынет!..
Гробом став сынам своим,
Да пребудет Римом Рим!

Бурбон, Арнольд, Цезарь и другие
появляются у подножья стены.
Арнольд начинает устанавливать свою лестницу.

Б у р б о н
Постой, Арнольд: я первый.

А р н о л ь д
Нет, мой принц!

Б у р б о н
Стой, говорю! За мною! Мне приятен
Такой сподвижник, но не предводитель!
(Бурбон устанавливает свою лестницу и начинает
взбираться.)

Лезь, лезь, ребята!

Выстрел; Бурбон падает.

Ц е з а р ь
Шлеп!

А р н о л ь д
О силы неба!
Солдаты наши дрогнули!.. Мщенье, мщенье!

Б у р б о н
Пустое! Руку дай.

(Опираясь на руку Арнольда, Бурбон поднимается, но,
поставя ногу на перекладину лестницы, падает вновь.)

Конец, Арнольд!
Скрой смерть мою — все будет ладно; скрой!
Прикрой плащом мой прах, пускай солдаты
Его не видят.

А р н о л ь д
Унести вас надо,
И с помощью...

Б у р б о н
Нет, мой отважный мальчик:
Смерть надо мной. Но жизнь одна — пустяк.
Бойцов предводит все же дух Бурбона!
Но скрой от них, что я землею стал:
Пусть победят! Потом — решай, как знаешь.

Ц е з а р ь
Быть может, принц, вам крест облобызать?
Будь патер здесь... но рукоять меча
Заменит крест, как некогда Баярду.

Б у р б о н
Ты, злобный раб! Кого — теперь! — ты вспомнил!
Я, впрочем, заслужил...

А р н о л ь д
(Цезарю)
Молчи, скотина!

Ц е з а р ь
Как? Не сказать христианину «Vade
In расе»¹ в смертный миг?

¹ «Иди в мире» (лат.).

А р н о л ь д
Молчи!.. Как страшно
Тускнеет взор, на мир глядевший сверху,
Не видя равного!..

Б у р б о н
Арнольд, коль будешь
Во Франции... Но — слушай! шторм растет!
О, час бы лишний, миг, чтобы скончаться
Там, в городе!.. Спеши, Арнольд, спеши!
Не опоздай: Рим без тебя возьмут.

А р н о л ь д
И без тебя!

Б у р б о н
О нет! Войска веду я
Душою! Скрой мой прах и скрой от всех,
Что перестал дышать я! Ну, к победе!
Вперед!

А р н о л ь д
Тебя не брошу я.

Б у р б о н
Ты должен!
Прощай! Вперед! Мир будет покорен!

(Бурбон умирает.)

Ц е з а р ь
(Арнольду)
За дело, граф!

А р н о л ь д
Да, верно. Плакать — после.
(Прикрыв тело Бурбона плащом, взбирается по
лестнице.)

Ц е з а р ь
Бурбон! Бурбон! Бойцы, вперед! Рим наш!
Покойной ночи, принц! Вы были мужем!
(Цезарь следует за Арнольдом; оба достигают бру-
ствера; их сбрасывают.)

Ц е з а р ь
Вот кувырнулись! Пострадали, граф?

А р н о л ь д
Нет!
(Вновь поднимается по лестнице.)

Ц е з а р ь
Чудный волкодав, когда раздразнят!
Но здесь не детская игра... Вот бьется!
Вцепился в паранет, как будто обнял
Алтарь! Взобрался! Это кто? один
Из римлян?

Падает человек.

Первый птенчик из десятка!
Из гнездышка упал!.. Ну как, мой мальчик?

Раненый
Воды! Хоть каплю!
Цезарь
Тибр далеко; здесь
Лишь кровь одна струится.

Раненый
Умираю
За Рим!
(Умирает.)

Цезарь
Как наш Бурбон, — в обратном смысле.
О, смертный род! и все его порывы
Великие! Но должен моему
Юнцу служить я. Он уже, должно быть,
На форуме. К нему! Служить, служить!
(Цезарь взбирается по лестнице.)
Занавес опускается.

СЦЕНА II

Город. Защитники бьются с нападающими на улицах.
Жители бегут в смятении. Входит Цезарь.

Цезарь
Не отыскать его! Смешался, видно,
С отважным войском, что бегущих рубит
Иль добивает мужественных. Что же
Мы видим здесь? Вон кардинал иль два;
Но к мученичеству они не склонны:
Ишь, как дерут в чулках пурпурных! Сбрось их
Они, как шляпы сбросили, никто бы
И не позарился на стариков.
Но пусть бегут — не страшно в лужах алых
Чулки запачкать: грязь во всех канавах —
Багрец такой же.

Появляется группа сражающихся.
Арнольд во главе наступающих.

Вот, явился! Нежных
Двух близнецов ведет: Резню и Славу.
Эй, граф, стой!

Арнольд
Вперед! Не выпускайте!

Цезарь
Ну, не беснуйся! Если враг бежит —
Постройте мост из золота. Тебе я
Дал красоту, избавил от болезней
Телесных, но не от болезней духа:
Над ними я не властен. И хотя
Ты стал Ахиллом, но тебя я в Стиксе
Не выкупал и рыцарское сердце
Могу предохранить от вражьей стали
Не более, чем пятку. Будь же мудр
И вспомни, что ты смертен.

Арнольд
Кто же, смелый,
Сражался бы, неуязвимым будь?
Война была б забавой! Стану ль зайцев
Я бить, коль слышу львиный рык?
(Арнольд кидается в схватку.)

Цезарь
Прекрасный
Людской образчик! Ладно! Кровь играет?
Кровопусканье легкое умерит
В нем лихорадку.

Арнольд схватывается с римлянином, который бьется,
отступая к портнику.

Арнольд
Ты, сдавайся, раб!
Жизнь подарю!

Римлянин
Легко сказать!

Арнольд
И сделать!
Мои слова известны.

Римлянин
Как мои
Дела!
Схватка возобновляется. Цезарь приближается к ним.

Цезарь
Арнольд, уймись: перед тобою
Известный мастер, преискусный скульптор,
Владеющий к тому ж мечом и шпагой,
Да и мушкетом: это он убил
Бурбона у стены.

Арнольд
Ах, это он?!
Ну, так себе он изваял надгробье!

Римлянин
Я буду жить для памятников людям
Тебя почище.

Цезарь
Браво, Бенвенуто,
Мой мраморщик, резца и шпаги мастер!
Убить Челлини — потрудиться надо,
Как ты трудился над каррарской глыбой.
Арнольд выбивает оружие из рук Челлини и ранит его,
но легко. Тот выхватывает пистолет, стрелит,
затем отступает и скрывается в портнике.

Цезарь
Ну как? Хлебнул немного на пиру
Беллоны Красной?

А р н о л ь д
(пошатываясь)

Зацепило. Дай мне
Твой шарф... Ловкач не ускользнет!..

Цезарь

Где рана?

А р н о л ь д
В плече. Но правая рука, с мечом,
Цела,— и ладно! Пить хочу. Воды бы
В шлем зачерпнуть!

Цезарь

Вода в огромном спросе
Теперь у всех; но средств ее добыть
Немного.

А р н о л ь д

Жажда все растет. Однако
Я потушу ее!

Цезарь

Или себя.

А р н о л ь д

Тут шансы равные. И карту все же
Я выну. Но болтать не время. Можешь
Поторопиться?

Цезарь перевязывает его рану шарфом.

Почему, бездельник,
Ты сам не бьешься?

Цезарь

Ваши мудрецы
Старинные на род людской глядели,
Как зрители на олимпийских играх.
Найди я цель, достойную сраженья,—
Милоном встану.

А р н о л ь д

Против дуба?

Цезарь

Леса!

Я с множеством дерусь или ни с кем.
Ну, забавляйся, а моя забава —
Глядеть, пока трудолюбивый люд
Мне даром собирает жатву.

А р н о л ь д

Дьявол!

И был, и есть!

Цезарь

Ты ж человек!

А р н о л ь д

Конечно;

И проявлю себя.

Цезарь

По-человечьи.

А р н о л ь д

А именно?

Цезарь

Сам чувствуешь и видишь!

Арнольд удаляется, вмешавшись в битву между
разрозненными группами.
Занавес опускается.

СЦЕНА III

Собор св. Петра. Внутренность храма. В алтаре — папа.
Испуганная толпа священников и проч.
Горожане, преследуемые солдатами, ищут убежища.
Входит Цезарь.

Солдат-испанец

Бей всех, ребята! Обрывай лампы!
Хребет ломай тому попу с тонзурой:
Он с золотыми четками!

Солдат-лютеранин

Месть! Месть!

Грабеж потом, сначала мщенье: вот он —
Антихрист!

Цезарь

(вмешиваясь)

Что ты вздумал, еретик?

Солдат-лютеранин

Я? Сокрушить антихриста во имя
Христа святого. Я — христианин!

Цезарь

Да, но такой, что сам Христос отрекся б
От собственной религии, увидев
Подобных прозелитов. Лучше грабы!

Солдат-лютеранин

Я говорю: он — дьявол!

Цезарь

Тсс! Не то он

Тебя за своего, пожалуй, примет.

Солдат-лютеранин

Его спасти ты хочешь? Повторяю:
Он дьявол иль земной его наместник!

Цезарь

Коль так, зачем же с лучшими друзьями
Ты хочешь рвать? Умнее — быть потише.
Еще не пробил час его.

Солдат-лютеранин

Увидим!

(Кидается вперед; один из папских гвардейцев стреляет в него; он падает у подножия алтаря.)

Цезарь
(солдату)

Я ж говорил!

Солдат-лютеранин
И ты не отомстишь?

Цезарь

И? Нет! Известно: «Мщение от бога»: Как видишь, он посредников не любит.

Солдат-лютеранин
(умирая)

О! будь убит он мною, я вознесся б
В рай в вечной славе! Господи, прости мне
Нетвердость рук, его не поразивших,
Будь милосерд! Мы все же торжествуем:
Пал Вавилон! Великая блудница
Семи Холмов сменила гордый пурпур
На вретнице и прах.

Цезарь

С твоим впридачу.
Тебе везет, мой старый Вавилон!

Гардейцы отчаянно занимаются; папа в это время,
потайным ходом, проскальзывает в Ватикан
и в замок св. Ангела.

Цезарь

А славно быются! Ну, солдат! Ну, жреци!
Два главные сословия сцепились:
Раз — в ухо, в сердце — раз! Такой забавной
Я пантомимы не видал с тех пор,
Как бил евреев Тит. Но там победа
Была у римлян; здесь — наоборот.

Солдаты

Удрал! Держи!

Один из солдат
Они закрыли щель!

Сквозь трупы к двери не пробраться!

Цезарь

Рад я,

Что папа скрылся; этим он отчасти
Обязан мне. За буллы я согласен
Отдать полцарства! И платить готов
За индульгенции! Нет, нет, не должен
Погибнуть он! К тому же это бегство,
Как чудо, чудно в будущем докажет
Его непогрешимость.

(Обращаясь к солдатам-испанцам.)

Горлорезы!

Чего вы ждете? Этак ни колечка
Святого золота вам не оставят!
Католики — и вдруг домой вернутся

С такого пилигримства без реликвий!
Вон лютеране — те благочестивей:
Ишь как с престола все гребут!

Солдаты

Апостол!

Святая правда! Все добро упрут
Еретики!

Цезарь

Срам, срам! Вы помогите
Им обратиться к истине.

Солдаты рассеиваются; некоторые покидают храм;
приходят новые.

Ушли.

Пришли другие. Точно волны — в том,
Что вечностью зовут создания эти,
Себя считая зыбью океанской,
Когда они — лишь пузыри, и пена —
Их почва. Вот: еще!

Вбегает преследуемый Олимпия и вилается к алтарю.

Солдат

Моя она!

Второй солдат

Врешь! Я ее заметил! Не отдам,
Хоть будь она племянницею папы!

Быются.

Третий солдат

Решайте спор, а я возьму добро!

(Направляется к Олимпии.)

Олимпия

Раб дьявола! Живой не сдамся!

Третий солдат

Сдашься,

Живой иль мертвой.

Олимпия

(хватая тяжелое распятие)

Хоть Христа признай!

Третий солдат

Охотно, — золотого. Ты, девчонка,
С приданным, вижу.

(Приближается. Олимпия с неожиданной силой
швыряет в него распятие; он падает.)

Третий солдат

Господи!

Олимпия

Признал?!

Третий солдат
Раскрылся мозг! На помощь!.. Все темно!..

(Умирает.)

Другие солдаты
(подбегая)

Смерть ей,— сто жизней будь у ней! Убила
Товарища у нас!

Олимпия

Я рада смерти:
Жизнь получить от вас не пожелает
Подлейшая раба! Прими, господь,
Меня, во имя сына и мадонны,
Достоиную тебя, его, ее!

Входит Арнольд.

Арнольд

Что здесь? Проклятые шакалы! Стойте!

Цезарь

(в сторону, со смехом)

Ха, ха! Пришла законность. Но у псов
Права такие ж. Поглядим, что выйдет!

Солдаты

Она дружка у нас убила, граф.

Арнольд

Каким оружием?

Солдаты

Распятьем; череп
Ему снесла; вот он: лежит, как червь,
Не человек!

Арнольд

Так! Женщина достойна
Любви героя! Будь вы похрабрее,
Вы честь воздали б ей. Ну, убирайтесь!
Благодарите страх ваш: *этот* бог
Сберег вам жизнь. Коснулись волоска бы
Ее кудрей разметанных — я строй ваш
Не хуже римлян разрешил бы! Прочь!
Шакалы! Жрите львинные объедки,
Но прежде пусть вам лев позволит!

Солдат

(бормочет)

Лев и охотится один.

Пусть же

Арнольд

(поражая его)

Мятежники!

Бунтуй в аду, а на земле служи!

Солдаты выдвигаются на Арнольда.

Арнольд

Ах, так? Прекрасно! Покажу вам, сволочь,
Как вами управляют и — кто первый
Взошел на вал, когда внизу вы мялись,
Пока он флаг не водрузил на гребне,
Вас ободрив!

*(Арнольд убивает ближайших; остальные бросают
оружие.)*

Солдаты

Пощады! Пощадите!

Арнольд

Пощаде сами научитесь! Ясно —
Кто вас повел на вечный Рим?

Солдаты

Мы видим,

Мы узнаём! Простите нам ошибку
Минутную в пылу победы, с вами
Достигнутой.

Арнольд

Ступайте ж. Вам квартира
Назначена в дворце Колонна.

Олимпия

(в сторону)

В доме

Отца!

Арнольд

(солдатам)

Оружие снимите, — в нем
Нет больше нужды: город сдался. И
Держите руки чистыми, не то я
Найду струю красней, чем нынче Тибр,
И окрещу ослушника, — запомните!

Солдаты

(слагая оружие и удаляясь)

Исполнено!

Арнольд

(к Олимпии)

Вы спасены.

Олимпия

Да, если б

Со мной был нож. Но сто ворот у смерти,
И с алтаря, откуда я гляжу
На разрушенье, брошусь я и череп
О мрамор разmozжу, откуда ты
Ко мне взберешься! Бог тебя прости!

Арнольд

И божьему, и твоему прощенью
Я рад, но я тебя не оскорбил.

Олимпия

Нет! Лишь разграбил родину мою.
Не оскорбил! Лишь отдал дом отца
Во власть вора! Не оскорбил! Лишь кровью
Священников и граждан залил храм!
Не оскорбил! И спас меня затем лишь...
Но не бывать!

(Возводит глаза к небу, заворачивается в плащ и намеревается кинуться вниз с алтаря, со стороны, противоположной той, где стоит Арнольд.)

Арнольд
Стой! Стой! Клянусь тебе!

Олимпия
Избавь уже погубленную душу
От лживых клятв, чтоб не стошнило ад!
Тебя я знаю!

Арнольд
Нет! Не из таких я,
Как эти все...

Олимпия
Но я по ним сужу,
Господь суди, каков ты сам. Я вижу:
Ты кровью римлян обогрен; возьми же
Мою,— и это все, что ты возьмешь!
И здесь, на мраморе святого храма,
Где я крещеньем приобщилась к богу,
Ему же кровь отдам, не столь святую,
Как та вода святая, где крестили
Меня, но столь же чистую,— такую ж,
Как во младенце, им спасенном.

(Олимпия делает презрительный жест в сторону Арнольда и бросается на плиты у подножия алтаря.)

Арнольд Боже!
Теперь тебя я понял!.. Помогите!..
Мертва!..

Цезарь
(приближаясь)
Я здесь!

Арнольд
Ты!.. Но спаси ее!

Цезарь
Отважилась! Такой прыжок!

Арнольд
Скончалась!

Цезарь
Коль так, помочь я не могу: не властен
Я воскрешать.

Арнольд
Раб!

Цезарь

Раб или хозяин —
Неважно; впрочем, пара добрых слов
Всегда ко времени.

Арнольд
Слов!.. Можешь ей ты
Помочь?

Цезарь
Я попытаюсь. Брызнуть этой
Святой водой, пожалуй, и полезно.

(Принимает в шлеме воду из кропильницы.)

Арнольд
Она ведь с кровью!

Цезарь
Чище в целом Риме
Не сыщешь.

Арнольд
Как бледна и как прекрасна!
Как мертвенна! Но, мертвая ль, живая ль,
Ты — красота, и лишь тебя люблю!

Цезарь
Так и Ахилл любил Пентезилею.
С его лицом и сердце взял ты. Впрочем,
Оно в нем было поглубей.

Арнольд
Вздохнула!
Но нет: последний вздох, что жизнью отнят
У смерти.

Цезарь
Дышит!

Арнольд
Значит, правда, если
Ты говоришь.

Цезарь
Вот это верно! Дьявол
Правдивее, чем думают,— но внимают
Ему глупцы обычно.

Арнольд
(не слушая)

Сердце бьется!
Ах! Первый вздрог единственного сердца,
Чей трепет слить хотел бы я с моим,
На пульс убийцы отозвался!

Цезарь
Мудро,
Но поздно. Мы куда ее снесем?
Она жива.

Арнольд
И будет жить?

Цезарь
 Поскольку
 Доступно праху.
 Арнольд
 Значит, умерла?
 Цезарь
 Ну, ну! И ты ведь мертв, хоть и не знаешь.
 Она вернется к вашей мнимой жизни,
 Но применить людские надо средства.
 Арнольд
 Ее снесем мы во дворец Колонна;
 Там флаг мой.
 Цезарь
 Подымай.
 Арнольд
 Поосторожней!
 Цезарь
 Так осторожно, как лишь мертвых носят. —
 Не потому ль, что им толчки не страшны?
 Арнольд
 Но выживет она?
 Цезарь
 Да, да, не бойся!
 Но, пожалев об этом, на меня
 Не селуй.
 Арнольд
 Лишь бы выжила!
 Цезарь
 Дух жизни
 Еще в ней веет и воскреснуть может.
 Граф, граф! Я твой слуга во всем, но мне
 В новинку *эта* служба. Я не часто
 Работал так. Пойми ж, какого друга
 Нашел ты в том, кого ты кличешь «дьявол».
 Здесь на земле друзья нередко — черти,

Занавес опускается.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

СЦЕНА I

Замок в Апенниннах, в диной, но приятной местности.
 Хор крестьян поет под воротами.

Хор

1

Нет войны, и кругом
 Зацветает весна;
 Входит с милым в свой дом
 Молодая жена.

Но другу верен чорт. Несем. Полегче!
 Прекрасный полупрах, столь близкий к духу!
 Почти влюблен я, как во время оно
 В земных красавиц ангелы влюблялись.

Арнольд
 Ты?
 Цезарь
 Я! Не бойся: я ведь не соперник.

Арнольд
 Соперник!
 Цезарь
 Что ж, и мог бы страшным быть!
 Но с той поры, как семь мужей убил я
 У той, что стала Товию женой
 (И ладаном был выкурен), я бросил
 Интриги эти: выигрыш не стоит
 Забот, и страшно трудно от него
 Потом избавиться. Вот в чем загвоздка,
 Особенно для смертных.

Арнольд
 О, молчи!
 Вот: губы дрогнули, глаза открылись!

Цезарь
 «Как звезды!» Вот метафора — подстать
 Венере с Люцифером.

Арнольд
 Во дворец
 Колонна, говорю я!

Цезарь
 О, я знаю
 Дороги в Риме.

Арнольд
 Так вперед! Но тише!
 Уходят, унося Олимпию.

Счастье им —
 Радость нам!
 Каждый голос будь эхом их звонким сердцам!

2

Но вернулась весна, и фиалки ушли —
 Дети первые солнца и свежей земли.
 Это зимний цветок, и от горных снегов
 Он не гибнет, синее в просторах лугов:
 Он возводит свой влажный взор голубой
 К небу юному — с тою же голубизной!

Но приходит весна с миллионом цветов,
И любимый цветок исчезает с лугов;
Он испуган толпою: пришельцы смутят
Этот девственный цвет, неземной аромат.

Собирая цветы, в сердце образ храни
Их посланца в декабрьские хмурые дни,—
Предзвездной звезды для несчетных цветов
И предвестника долгих и светлых часов!
Между роз не забудь о фиалке простой,
О фиалке, фиалке святой!

Входит Цезарь.

Цезарь

(поет)

Не гулять на войне!
Рвут узду скакуны;
Шлем висит на стене;
Меч упрятан в ножны.
Ветерану — покой,
Но пылится броня;
Он зеваает с тоской,
Скучный замок броня;
Пьет,— но, если и пить,
Грустных дум не избыть:
Не покличет на бой
Грозный рог боевой!

Хор

Но ищейка ярится;
Вебрь в болотах залег;
Гордый сокол стремится

Свой сорвать клобучок;
На дворянской перчатке
Он — как шлемовой шпиг,
И летит без оглядки
Стая испуганных птиц!

Цезарь

О тень битвы кровавой!
Бледный образ побед!
Нет охотникам славы,
Им истории — нет!
В ней лишь Немврод великий,
Царь, охотник и вождь,
Чьи охотничьи клики
Были ужасом рощ.
Если лев величавый
Юной силой пылал,
С ним сразиться — забавой
Древний воин считал.
Лишь с дубиной охоту
Вел на мамонта он;
Подходил к бегемоту,—
Тот бскал, уstraшен!
С нашу башню в те годы
Ростом был исполин,—
Первый сын у природы,
Равный матери сын!

Хор

Нет войны, и кругом
Зацветает весна;
Входит с милым в свой дом
Молодая жена.

Счастье им —

Радость нам!

Каждый голос будь эхом их звонким сердцам!

Распевая, крестьяне ухоят.

.....
(Драма осталась незаконченной.)

**РЕЧИ, СТАТЬИ,
ДНЕВНИКИ и ПИСЬМА**

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПАРЛАМЕНТЕ

РЕЧЬ В ПАЛАТЕ ЛОРДОВ ПО ПОВОДУ БИЛЛЯ О СТАНКАХ ФЕВРАЛЯ 27-ГО ДНЯ 1812 ГОДА

После того как был оглашен порядок дня второго чтения билля, лорд Байрон поднялся с места и (первые) обратился к их светлостям с нижеследующей речью:

Милорды!

Хотя вопрос, предлагаемый ныне впервые вниманию ваших светлостей, является новостью для палаты, он отнюдь не новость для нашей страны. Не сомневаюсь, что над ним серьезно призадумывались очень и очень многие еще задолго до того, как он был представлен на рассмотрение сего законодательного органа, который один только своим вмешательством и может оказать в данном случае действительную помощь. В качестве лица, до некоторой степени связанного с пострадавшим графством, но почти неизвестного ни палате, ни ее отдельным членам, внимание коих я позволяю себе затруднить, я вынужден просить снисхождения у ваших светлостей, беря на себя смелость высказать несколько соображений по вопросу, который, признаюсь, глубоко беспокоит меня самого.

Входить в обсуждение подробностей происходящих бунтов было бы совершенно излишним; палате хорошо известно, что все самые грубые нарушения закона, кроме кровопролития, уже имели место, что владельцы станков, ненавистных бунтовщикам, и все лица, так или иначе связанные с ними, подверглись оскорблениям и насилиям. За то недолгое время, что я провел в Ноттингемпшире, не проходило дня без нового акта насилия, и в самый день моего отъезда мне сообщили, что накануне вечером было сломано еще сорок станков и при этом, как всегда, не было оказано никакого сопротивления, а виновные не были обнаружены.

Таково было положение в графстве в самое недавнее время, и у меня есть все основания полагать, что таково же оно и сейчас. Однако, поскольку мы безусловно вынуждены признать, что насилия эти дошли ныне до таких пределов, что не могут не вызывать истинной тревоги, столь же неоспоримо и то, что возникли они в результате исключительно бедственных обстоятельств: упорство, которое эти несчастные люди проявляют в своих злонамеренных действиях, со всей очевидностью показывает, что ничто, кроме самой беспросветной нужды, не могло довести эту большую и до сего времени честную и трудолюбивую массу людей до такого неслыханного бесчинства, столь опасного для них самих, для их семей и для всей общины. В то время, о котором идет речь, город и графство несли на себе тяжкое бремя крупных военных постоев, полиция была поднята на ноги, суды заседали по всей округе,— однако все эти усилия как военных, так и гражданских властей не привели ровно ни к чему. Не было ни одного случая ареста, когда виновный был бы действительно захвачен на месте преступления или взят на основании законных улик, достаточных для его осуждения. Однако, несмотря на всю тщетность усилий, полиция отнюдь не бездействовала: она обнаружила несколько закоренелых преступников, которые на основании самых неопровержимых улик признаны были виновными в тягчайшем преступлении — в бедности; гнусная вина этих людей заключалась в том, что они законным образом произвели на свет детей, которых они — по милости нашего времени — не в силах были прокормить.

Владельцам усовершенствованных станков нанесен большой ущерб. Машины эти были для них выгодным преимуществом, ибо они избавляли их от

необходимости держать значительное количество рабочих, которые теперь обречены на голодную смерть. Есть в частности один такой станок, на котором один единственный рабочий может выполнять работу нескольких человек, а тех, что оказываются лишними, просто выкидывают вон. Однако следует заметить, что изделия, производимые подобным образом, значительно ниже по своему качеству и не годятся для сбыта на отечественном рынке, они сделаны кое-как, наспех, в расчете на вывоз. На языке ремесленников такая работа получила название «паучьей нитки». Вместо того, чтобы радоваться подобным усовершенствованиям в своем ремесле, столь благодарным для человечества, ремесленники, вышвырнутые с работы, сочли себя в темноте своего невежества принесенными в жертву сим усовершенствованным машинам. В своем невинном простосердечии они вообразили, что сохранить жизнь и достаток многим трудолюбивым беднякам гораздо важнее, чем позволить разбогатеть нескольким лицам при помощи каких-то усовершенствованных машин, которые выбрасывают рабочих на улицу и обесценивают труд честного труженика. И действительно, следует признать, что в то время как увеличение машинного производства при том состоянии торговли, которым некогда по праву гордилась наша страна, могло быть выгодно для владельца мастерских, не нанося ущерба его рабочим — при нынешнем положении вещей, когда громадные запасы наших изделий гниют на складах и никаких перспектив вывезти их из страны нет, когда спрос на труд и на рабочих сильно понизился, станки подобного рода будут только умножать нищету и возмущение этих доведенных до отчаяния страдальцев. Однако истинная причина бедствий и возникших на этой почве беспорядков на самом деле кроется еще глубже. Когда нам говорят, что эти люди стаяли для того, чтобы своими руками уничтожить собственное благополучие и — более того — даже и самые средства к существованию, можем ли мы забыть о той жестокой политике, о разорительной войне последних восемнадцати лет, которая разрушила их благополучие. ваше благополучие, благополучие решительно всех людей в нашей стране. Эта политика, начало коей положили «мужи великие, которых нет уж более», пережила умерших и стала проклятием живых вплоть до третьего и четвертого колена! Никогда до сих пор эти люди не разрушали своих станков, пока они не стали для них бесполезными, хуже, чем бесполезными, пока они не превратились для них в истинное препятствие, о которое разбивались все их усилия заработать себе кусок хлеба. И можете ли вы удивляться, что в наше время, когда банкротства, мошенничества и чуть ли не преступления обнаружены в кругу не столь отдаленном от круга ваших светлостей — самый низший, но вместе с тем некогда и самый полезный слой народа забывает

долг свой под бременем своих бедствий и становится чуть-чуть менее преступным, чем иные из его высоких представителей? Но в то время как высокопоставленный преступник без труда находит средства обойти закон, мы считаем своим долгом изобретать новые казни, новые смертоносные капканы, дабы погубить несчастного ремесленника, которого голод заставил сбиться с пути. Эти люди рады были копать землю, но лопата была в чужих руках, они не стыдились просить подаяния, но ни одна душа не могла им. Их собственные средства к существованию отняты у них, все прочие виды заработка захвачены другими, и сколь ни прискорбны для нас, сколь ни заслуживают осуждения их безумства, вряд ли они могут являться для нас чем-то неожиданным.

Нам заявляют, что лица, коим станки были доверены во временное пользование, сами потворствовали их разрушению; если бы сие было подтверждено и доказано следствием, этих главных пособников преступления следовало бы покарать в первую очередь.

Однако я надеялся, что какие бы мероприятия ни были предложены правительством его величества на утверждение ваших светлостей, они в основном будут носить примирительный характер; если же это ни к чему не приведет — будет признано необходимым тщательно расследовать, всесторонне обсудить случившееся; я отнюдь не предполагал, что мы сованы сюда для того, чтобы безо всякого разбирательства и без всяких оснований выносить решения огулом и вслепую подписывать смертные приговоры. Но допустим даже, что эти люди не имели решительно никаких причин для недовольства, что все их жалобы, равно как и жалобы их хозяев, одинаково вздорны и что они поистине заслуживают самого худшего — какое неумение, какая тупость были проявлены при выборе средств для их вразумления! Зачем было на потеху всем пригонять отряды войск и какой собственно был смысл в том, что их туда пригнали? Насколько допускает различие во временах года, это было поистине сущей пародией на летние маневры майора Стэрджена. И, сказать по совести, все усилия и старания как гражданских, так и военных властей в точности напоминали старания мэра и муниципалитета Гаррета. Что за марши и контрмарши! Из Ноттингэма в Булвелл, из Булвелла в Бенфорд, из Бенфорда в Мэнсфилд! А когда, наконец, эти военные отряды торжественно добирались до места своего назначения, во всей пышности и славе и со всеми подобающими церемониями «великого победного похода», они поспевали как раз во-время, чтобы узреть воочию уже свершившееся преступление, удостовериться в исчезновении преступников и захватить в качестве военных трофеев обломки расколотых станков, после чего они маршировали обратно на свои квартиры под насмешливые выкрики старух и гиканье

мальчишек. Но если в свободной стране и естественно желать, чтобы армия наша не внушала чрезмерного страха — по крайней мере хоть нам самим,— я никак не могу понять, какая цель достигается тем, чтобы ставить ее в такое положение, в котором она неизбежно оказывается всеобщим посмешищем. Нет худшего довода, как хвататься за меч, и посему к этому должно прибегать как к самому последнему средству. На сей раз его пустили в ход первым, и счастье наше, что пока еще в ножнах; однако меры, которые нам сейчас предлагают, заставят его обнажиться. А между тем, если бы мы собрались своевременно, едва только начались эти беспорядки, внимательно рассмотрели и обсудили бы жалобы этих людей, равно как и их хозяев — ибо и у тех тоже были свои жалобы,— я убежден, что можно было бы изыскать средства вернуть этих ремесленников к их занятиям и водворить спокойствие в графстве. Теперь же на графство обрушилось двойное бедствие — постой праздных солдат и безумевшее от голода население. В каком же бесчувственном равнодушии пребывали мы доныне, если только сейчас впервые палате официально стало известно об этих беспорядках! Ведь все это разыгрывается в каких-нибудь ста тридцати милях от Лондона! А мы тем временем «беспечно ликовали, гордясь, что множится величие наше», мы сидели себе спокойно и радовались нашим триумфам за границей, не подозревая о свалившемся на нас отечественном бедствии. Но все города, завоеванные вами, все армии, которые обратили в бегство ваши полководцы, все это едва ли может радовать вас, если страна ваша потрясена внутренним раздором и вам приходится посылать ваших драгун и ваших палачей против ваших собственных сограждан.

Вы называете этих людей черню, разнузданной, невежественной, опасной толпой черни, и считаете, повидимому, что единственное средство усмирить *bellua multorum caputum*¹ — это отрубить ему несколько лишних голов! Но даже и толпу черни скорее можно вразумить уговором и твердостью, нежели вызывая в ней еще большее озлобление усиленными карами. А помним ли мы, сколь многим мы обязаны этой черни? Это та самая чернь, что обрабатывает ваши поля, прислуживает вам дома, из нее состояются ваши флот и армия. Это она позволила вам бесстрашно бросить вызов всему миру — и она способна бросить вызов и вам самим, если ваше небрежение и проистекающие из него бедствия доведут ее до отчаяния. Вы можете называть свой народ черню, но не забудьте, сколь часто голос черни выражает чувства народа. И еще я считаю своим долгом заметить: с какой готовностью спешите вы всегда на выручку к вашим пострадавшим союзникам, тогда как своих страдальцев вы

предоставляете заботам провидения или — прихода. Когда португальцы во время отступления французских войск подверглись разорению, не было человека, который не протянул бы им руку помощи, каждый давал сколько мог, и все эти даяния, все, что было собрано — от щедрот богача до лепты вдовицы,— все было отдано им, дабы они получили возможность заново отстроить свои деревни и наполнить свои амбары. А ныне, когда тысячи ваших соотечественников, сбившихся с пути, но гонимых бедствиями, изнемогают в борьбе с лютой нуждой и голодом, ваше милосердие, столь широко простертое вами за пределами родной страны, — казалось бы, ему сейчас самое время достойным образом завершиться у себя дома! Гораздо меньшая сумма, десятая доля того, что было отдано Португалии, позволила бы вам даже и в том случае, если людей этих невозможно вернуть к их труду (чему я никак не могу поверить без надлежащего расследования дела!), избавить их от кроткого милосердия штыка и виселицы. Но, несомненно, наши чужеземные друзья столь настоятельно нуждаются в нашей помощи, что облегчить нужду у себя дома не предвидится никакой возможности, хотя более вопиющей необходимости в этом еще никогда не бывало. Я посетил места военных действий в Испании и Португалии, побывал в самых угнетенных провинциях Турции, но нигде, даже под игом самой деспотичной, некрещеной державы я не видел столь безысходной, столь отчаянной нужды, какую я обнаружил, вернувшись к себе на родину — в самое сердце христианской страны. А какими же мерами вы пытаетесь помочь этому? После нескольких месяцев полного бездействия и еще нескольких месяцев таких действий, которые похуже всякого бездействия, наконец предлагается великое, превосходное, безошибочное средство, которое со времен Дракона и по сие время является излюбленной панацеей всех государственных лекарей. Пощупали пульс, покачали головой и, прописав больному обычный курс лечения — теплую водичку и кровопускание, теплую водичку вашей мягкосердной полиции и ланцеты ваших солдат, вы объявляете, что судороги эти должны окончиться смертью; таково безошибочное действие всех рецептов ваших политических Санградо. Но не говоря уже о явной несправедливости и совершенной бесполезности нового билля — неужели вам все еще мало статей, карающих смертной казнью, в вашем своде законов? Или все еще мало крови на ваших кодексах? И надобно проливать ее еще и еще, дабы она возопила к небу и обличила вас? И как же думаете вы ввести в действие этот билль? Можете ли вы упрятать целое графство в его тюрьмы? Или вы поставите виселицы на каждом поле и повесите на них людей вместо пугал? Или, — как-никак, ведь придется же вам привести в исполнение этот закон,— вы будете отправлять на казнь каждого десятого, объявите военное

¹ Многоголовое чудовище (лат.).

положение в графстве, обезлюдите и опустошите все кругом? И присоедините в качестве достойного дара к владениям его величества Шервудский лес во всей его прежней дикости, дабы он, как некогда, стал местом королевской охоты и убежищем объявленных вне закона? Но что все эти меры для обреченного на голодную смерть и отчаявшегося населения? Неужели умирающий с голоду бедняк, не испугавшийся ваших штыков, испугается ваших виселиц! Если смерть для него облегчение — а, повидимому, это единственное облегчение, которое вы можете ему предложить, — можно ли усмирить его угрозами? Или то, чего не могли добиться ваши гренадеры, сумеют довершить ваши палачи? Но если вы хотите идти по стезе закона, где же свидетели ваши? Те, что отказались выдать своих сообщников под угрозой каторги, вряд ли польстятся свидетельствовать против них ныне, когда им угрожает смертная казнь. При всем моем глубоком почтении к благороднейшим лордам, сидящим против меня, осмеливаюсь думать, что даже и они, после беглого рассмотрения дела и небольшого расследования, вынуждены будут отказать от своих намерений. Наше излюбленное государственное правило, столь чудодейственно оправдавшее себя в самых различных и еще совсем недавних обстоятельствах, — медлительность — было бы нам весьма небесполезно и ныне.

Когда у нас вносится законопроект о предоставлении каких-либо свобод либо об отмене ограничений — вы колеблетесь, вы совещаетесь на протяжении многих лет, вы медлите, стараетесь переубедить, вы действуете внушением, но вот закон о смертной

казни должно провести мигом, на скорую руку, нимало не задумываясь о последствиях. Исходя из того, что я слышал, и того, что я видел собственными глазами, я могу с уверенностью сказать, что принять этот билль при существующих обстоятельствах, без предварительного расследования, без обсуждения, — это значит усугубить возмущение несправедливостью и к небрежению прибавить еще и варварство. Составители этого билля могут гордиться тем, что унаследуют славу того афинского законодателя, чьи законы, как говорят, написаны были не чернилами, а кровью.

Но допустим даже, что закон этот прошел. Представим себе одного из этих людей, такого, каких я видел там, — изможденного голодом, отупевшего от отчаяния, проклинаящего жизнь свою, которую вы, ваши светлости, изволите расценивать едва ли не дешевле вязального станка, — представим себе этого человека, окруженного детьми, которым он, выброшенный на произвол судьбы, не в состоянии больше добыть куска хлеба... И вот его навсегда отрывают от семьи, которую он еще недавно поддерживал своим мирным трудом, а если теперь он этого больше не может сделать, так не по своей вине, и этого человека, — а таких будет десятки тысяч, из коих вы сможете выбирать ваши жертвы, — потащат в суд и будут судить за это первое правонарушение по новому закону. Мне кажется, для того, чтобы признать его виновным и осудить его на смерть, потребуются еще две вещи: это, по моему мнению, — двенадцать палачей на скамье присяжных и разве что сам Джеффрис в кресле судьи.

РЕЧЬ В ПАЛАТЕ ЛОРДОВ АПРЕЛЯ 21 ДНЯ 1812 ГОДА ПО ПОВОДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛОРДА ДОНОМОРА О НАЗНАЧЕНИИ КОМИССИИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ КАТОЛИКОВ

Лорд Байрон поднялся и произнес следующую речь¹:

Милорды, вопрос, подлежащий сегодня обсуждению палаты, обсуждался уже столько раз, столь всесторонне и обстоятельно и более чем когда-либо обстоятельно на нашем сегодняшнем заседании, что трудно было бы привести какие-либо новые доводы за или против. Но так или иначе, от одного заседания к другому трудности преодолевались, возражения снимались или отпадали, и кое-кто из прежних противников эмансипации католиков в кон-

це концов уступил необходимости удовлетворить их ходатайства. Однако, проявив такую уступчивость, они выдвигают новое препятствие: сейчас, говорят нам, не время, сейчас неподходящий момент; придет время, мы этим займемся. Я до некоторой степени готов согласиться с теми, кто говорит, что сейчас не самое подходящее время, — это время упущено. Ужели не лучше было бы для страны, если бы католики уже и ныне пользовались надлежащими им привилегиями, а представители их дворянства занимали подобающее им место на наших заседаниях вместо того, чтобы нам с вами собираться столько раз для того, чтобы без конца обсуждать их претензии. Поистине это было бы лучше.

¹ Речь Байрона дается здесь с незначительным сокращением.

Non tempore tali

Cogere concilium cum muro obsidet hostis ¹.

Неприятель грозит нашей стране, а страна в бедствии. Не время пререкаться из-за богословских доктрин, когда всем нам должно объединиться для защиты гораздо более важных вещей, чем какие-то там церковные обрядности. Не странно ли, право, что мы собрались здесь беседовать не о боге, которому мы поклоняемся, ибо в этом у нас нет разногласий, не о короле, которому мы подчиняемся, потому что мы все ему преданы, а о том, насколько различие в обряде богослужения, насколько не недостаток, а изыток веры (ибо только это и можно поставить в вину католикам), насколько чересчур ревностное служение богу могут воспрепятствовать нашим соотечественникам усердно служить своему королю.

Много у нас говорят о церкви и о государстве как в стенах этого здания, так и вне их, но хотя эти священные слова слишком часто пускают в обиход, преследуя при этом самые грязные цели в интересах той или иной клики, они не могут не задевать нашего слуха, сколько мы бы их ни слушали; все мы, я полагаю, суть приверженцы церкви и государства, церкви христовой и государства Великобритании, но, конечно, не государства гонения и деспотизма; не нетерпимой церкви, не воинствующей, ибо в таком случае возражения, которые выдвигались здесь против римского вероисповедания, были бы по справедливости заслужены ею в гораздо большей мере, поскольку католическая церковь отказывает нам только в своем духовном благословении (да и то сомнительно), тогда как наша церковь, или, вернее, наши служители церкви, отказывают католикам не только в духовной благодати, но и в каких бы то ни было земных благах. Вспомним слова великого лорда Питерборо, произнесенные в стенах этого здания или, быть может, в стенах иного здания, в котором собирались в то время наши лорды, — «я за парламентского короля и за парламентскую конституцию, но не за парламентского бога или парламентскую церковь». Сто лет прошло с тех пор, но эти слова и поныне не потеряли своей силы. Пора, наконец, оставить эти мелкие пререкания по пустякам, эти лилипутские мудрствования о том, с какого конца, тупого или острого, следует разбивать яйца.

Противники католиков делятся на две группы: одна утверждает, что католики уже и сейчас пользуются слишком большими правами; другие считают, что низшим сословиям во всяком случае нечего больше домогаться. Одни говорят нам, что католики все равно никогда не будут довольны; другие — что они и сейчас чересчур благоденствуют. Этот парадокс достаточно убедительно опровергается представленной нам ныне петицией, да и

всеми прежними петициями; с таким же успехом можно было бы утверждать, что негры отнюдь не желали получить свободу. Но это сравнение не совсем удачно, потому что вы уже освободили их от рабства, и не только без всякой петиции с их стороны, но даже вопреки всем петициям совершенно обратного характера со стороны их хозяев. Небольше охватывает чувство жалости к католикам за то, что им не посчастливилось родиться чернокожими. Но нам говорят, что католики довольны или что во всяком случае они должны быть довольны. В связи с этим я позволю себе остановиться на некоторых обстоятельствах, которые столь удивительно способствуют их довольству. Католикам, состоящим в армии, не разрешается свободно исповедовать свою веру; однако солдат-католик обязан присутствовать на протестантском богослужении. Таким образом, если его воинская часть находится вне пределов Ирландии или Испании, какая у него может быть возможность помолиться в своей церкви? Разрешение частям ирландского ополчения иметь своих священников было предоставлено в виде особой милости и только после многолетних настояний, хотя закон, утвердивший за ними это право, прошел в 1793 году. Но разве закон охраняет, как ему полагается, католиков в Ирландии? Может ли, например, католическая церковь приобрести клочок земли для постройки часовни? Нет, все церковные обители стоят на земле, арендованной или снятой по контракту у мирян, и контракты эти часто признаются недействительными и ничто не мешает их нарушить. Достаточно не подчиниться какому-нибудь незаконному требованию или пустой прихоти благодетеля-землевладельца, как тотчас же двери храма закрываются для прихожан. Это обычная история, и мы в качестве наиболее разительного примера приведем всего один случай, происшедший в графстве Уэксфорд, в Ньютон Барри. Местные католики, не имея своей церкви, сняли у крестьян два амбара, соединили их в один и устроили себе временную часовню, в которой они совершали богослужение. В это время, как раз напротив этих амбаров, квартировал некий офицер, у которого, надо полагать, голова была плотно забита теми вредными предрассудками, которые, судя по лежачим перед вами жалобам протестантов, давно уже благополучно изжиты среди более разумной части населения. Однажды, в воскресный день, когда католики по своему обыкновению собрались в мире и благоволении, дабы вознести молитву своему и вашему богу, двери их церкви оказались закрытыми и им тут же было приказано немедленно разойтись, под угрозой что, если они этого не сделают, им будет прочтен акт о мятеже и их разгонят штыками. Приказ этот был объявлен им начальником конной стражи в присутствии должностного лица местной администрации. Католики подали жалобу государственному советнику при-

¹ Не время собирать совет, когда неприятель у стен города (лат.).

канцелярии губернатора в Ирландии, занимавшему этот пост в 1806 году, но тот, вместо того чтобы удовлетворить их ходатайство, ограничился обещанием послать командиру полка письменное предупреждение и предложить ему принять меры к тому, чтобы подобные столкновения по возможности не повторялись. Нет надобности особо подчеркивать этот факт, он не представляет собой чего-либо исключительного; он только лишний раз доказывает, что законы, охраняющие католическую церковь, не будут иметь ровно никакой силы, пока ей не будет предоставлено право покупать землю для постройки своих храмов, а пока что католики брошены на произвол любого зарвавшегося офицера, который «желая удалю блеснуть перед всевышним», поносит своего бога и бросается на своих ближних. Любой подросток, любой мальчишка из двора, которому удалось сменить ливрейные галуны на эполеты (а такие нередко получали офицерский чин), может позволить себе подобное самоуправство против католиков, а то и еще что-нибудь похуже, опираясь при этом на свое право, предоставленное ему королем и облакающее его властью защищать своих ближних до последней капли крови, не делая никаких различий, равно как протестантов, так и католиков.

Пользуются ли ирландские католики всеми преимуществами суда присяжных? Нет; и они не будут ими пользоваться до тех пор, пока на них не распространится право занимать должность шерифа или заместителя шерифа.

Вот вам весьма показательный случай, имевший место на последней сессии в Эннискилене. Некий фермер обвинялся в убийстве католика Макворнага; трое заслуживающих полного доверия почтенных свидетелей показали, что они собственными глазами видели, как обвиняемый зарядил ружье, прицелился и уложил на месте Макворнага. Судья в своей речи должным образом подчеркнул эти показания. Но, к великому удивлению суда и негодованию всех присутствующих в зале, присяжные-протестанты оправдали убийцу. Лицеприятие, проявленное в этом случае, было столь очевидно, что судья Осборн счел своим долгом вынести оправданному, но не обеленному убийце условный приговор и связать его строжайшими обязательствами, дабы таким образом хотя бы на некоторое время лишить его права убивать католиков.

Соблюдаются ли по крайней мере законы, подтверждающие права католиков? Нет, они не принимаются во внимание ни в обыденной практике, ни в более серьезных делах. По последнему постановлению закона, к заключенным в тюрьмы католикам допускаются католические священники. Однако в графстве Ферманег судебная коллегия вернула на должность тюремного священника уволенного пастора, нарушив тем самым вышеупомянутый закон, несмотря на все доводы почтенного судьи Флет-

чера. Вот вам законы и правосудие для счастливых и благоденствующих католиков!

Где-то уже поднимался вопрос о том, почему состоятельные католики не жертвуют средств на семинарии для воспитания будущего духовенства. А почему вы прелятствуете им делать это? Почему все подобного рода деяния подлежат самоуправному, придирчивому, хищническому вмешательству оранжистских чиновников по благотворительным сборам?

Что же касается Майнутского колледжа, то со времени его основания, когда правительство Ирландии возглавлял благородный лорд Кэмден, покровительствовавший сему учреждению, и затем благородный герцог Bedfordский, который, подобно своим предкам, был другом свободы и человечества и не следовал своекорыстной политике наших дней, исключавшей католиков из числа своих ближних, не было случая, чтобы это заведение пользовалось какой-либо поддержкой.

Было время, однако, когда католическому духовенству шли навстречу, это было накануне Унии, когда без католических священников нельзя было обойтись, когда их участие было необходимо для сбора обращений от католических графств; тогда перед ними заискивали и всячески их ублажали, боялись их, льстили им, старательно убеждали, что «Уния для них сделает все», но едва только Уния осуществилась, как от них отвернулись с презрением, предоставив им прозябать попрежнему.

Все мероприятия в отношении Майнутского колледжа словно нарочно придумываются для того, чтобы досадить, создать препятствия, и все что ни делается, делается так, чтобы подавить в сердцах католиков всякое чувство благодарности; сено, скошенное на лугу, говяжий жир и баранье сало от убоя скота, который им разрешается держать, все это взято на учет, за все это они должны платить и отчитываться под присягой. Разумеется, подобную микроскопическую экономию можно приветствовать, особенно в наши дни, когда только таким паразитам, как ваши Хэнты и Чиннери, этим золотым жучкам, поедающим казну, удастся избежать зоркого ока министров. Но когда вы, после бесконечных совещаний, с такими препирательствами и с такой неохотой еле-еле выпускаете из рук ваши жалкие подачки, а затем похвалитесь на весь свет вашей щедростью, что остается делать католикам, как не воскликнуть словами Прайора:

Конечно, я в долгу у Дюна.
Но Дюнон, неведомо зачем,
Разблагостил это всем;
Ну что ж, теперь мы квиты с Дюноном.

Тут кто-то сравнивал католиков с нищим из «Жиль Блаза»; а кто сделал их нищими? Кто нажил себе богатство, ограбив их предков? И ужели вы не можете помочь нищим, которых пустили по миру

ваши деды? Но уж если вы решились притти им на помощь, нельзя ли сделать это как-то иначе, а не швырять им ваши подачки в лицо? Взгляните, сколь несоизмеримы эти нищенские благодеяния с щедрой помощью, оказываемой протестантским благотворительным приютом. Вы ассигновали на их содержание сорок одну тысячу фунтов стерлингов — вот это действительно поддержка! А каким образом проводится набор в эти приюты? Монтескье, говоря об английской конституции, замечает, что образец ее можно найти у Тацитав его описании системы правления германцев, где этот историк говорит так: «эта превосходная система была принесена ими из лесу». То же можно сказать и о наших благотворительных приютах: эта превосходная система заимствована у цыганских таборов. Набор в эти приюты производится совершенно таким же образом, как набор янычар при Амурате или кража детей цыганами в наши дни: для пополнения этих приютов влиятельные и богатые протестанты сминавают и похищают детей у своих ближних — католиков. Эта система приобрела широкую известность; достаточно одного примера, чтобы показать характер этой известности. У некоего мистера Карти (весьма состоятельного дворянина-католика) умирает сестра, после которой остаются две девочки сиротки; их немедленно забирают и в качестве прозелиток отдают в благотворительный церковный приют в Кулгрени. Дядя их, узнав о случившемся — ибо все это произошло в его отсутствие, — потребовал, чтобы ему вернули его племянниц, заявив, что он их должным образом обеспечит; однако ему было отказано в этом; потребовалось пять лет неустанных хлопот, и только благодаря вмешательству весьма высокопоставленных лиц удалось этому дворянину-католику выволить своих ближайших родственниц из духовного благотворительного приюта. Так вербуют прозелитов, дабы взрастить их с детьми протестантов, которых разве только нужда заставляет прибегать к этим богоугодным заведениям. А как их там обучают? Им выдается катехизис, в котором, если я не ошибаюсь, на сорок пять страниц имеется всего три вопроса касательно протестантской религии. Один из них такой: «Где обреталась протестантская религия до Лютера?» Ответ: «В евангелии». Остальные сорок четыре с половиной страницы — это проклятия мерзкому идолопоклонству папистов!

Разрешите мне спросить наших духовных пастырей и учителей, годится ли сие для наставления отроков на путь, которым им предстоит идти? Неужели это та самая религия, что обреталась в евангелии до Лютера, религия, которая проповедует нам мир на земли и славу в вышних богу?

Кого хотят вырастить подобными наставлениями, людей или дьяволов? Лучше было бы сослать этих детей куда угодно, чем проповедовать им такое учение; лучше было бы отправить их на острова Тихого океана, где их более человеечно научили бы стать

каннибалами; ибо это все же менее гнусно: научить человека пожирать убитых, чем преследовать живых! И вы еще называете это школой? Вернее было бы назвать это навозной кучей, в которой змея нетерпимости выращивает своих змеенышей, до тех пор пока у них не прорежутся зубы и не созреет яд, а тогда эти гады выползают, полные ярости, и жалят католиков. Но неужели это учение нашей англиканской церкви и наших священнослужителей? Нет, наиболее просвещенные служители церкви отнюдь не разделяют этих взглядов. Что говорит Пэйли? «Я не вижу причины, почему люди различных религиозных убеждений не могут сидеть на одной скамье, обсуждать дела на одном совете или сражаться рядом, плечом к плечу, с таким же успехом, как люди разных вероисповеданий обсуждают какие-нибудь спорные вопросы естественной истории, философии, этики».

На это мне могут возразить, что Пэйли нельзя считать строго ортодоксальным; до этого мне нет решительно никакого дела, но станет ли кто отрицать, что он был украшением церкви и самого рода человеческого и веры христианской.

Не буду останавливаться на сетованиях против церковной десятины, столь тяжело обременяющей крестьян; однако должно заметить, что бремя сие увеличивается процентными отчислениями сборщику, который в своих интересах старается обложить налогоплательщика как можно выше. И мы знаем, что во многих обширных приходах Ирландии единственными протестантами среди населения оказываются сборщики налогов со своими семьями.

Среди многих причин, вызывающих недовольство, которые было бы слишком долго перечислять, нельзя обойти молчанием причину неудовольствия в войсках — я говорю о существовании оранжистских лож среди солдат. Осмелится ли отрицать это офицеры? Но если подобные ложи существуют, ужели они способствуют или могут способствовать дружескому согласию среди солдатской среды — среды, которая таким образом оказывается разъединенной, хотя она и представляет собой единую массу в строю. И можем ли мы допускать существование такой узаконенной системы преследования? Или нас хотят заставить поверить, что католики могут и должны быть довольны такой системой? Но если это так, тогда они недостойны называться людьми, тогда они поистине недостойны быть не чем иным, как рабами, в которых вы обратили их. Факты, приведенные здесь, засвидетельствованы людьми, достойными самого высокого уважения, иначе я не позволил бы себе открыто говорить о них ни здесь, ни вообще где бы то ни было. Будь они преувеличены, много нашлось бы желающих опровергнуть их, но можно с уверенностью сказать, что не найдется никого, кто был бы в состоянии это сделать. Разумеется, мне могут заметить, что я никогда не был в Ирландии, на это я позволю себе возразить, что иметь кое-какие све-

дения об Ирландии, не посетив ее, столь же не трудно, как людям, родившимся в этой стране, воспитанным и излеченным ею, пребывать в полном неведении относительно самых насущных ее интересов.

Находятся люди, которые кричат, что католикам и так уже чересчур потакают. Посмотрите (возмущаются они), сколько мы для них сделали: мы предоставили им целый колледж, мы разрешаем им пищу, одежду и свободное пользование всеми четырьмя стихиями, мы позволяем им сражаться за нас до тех пор, пока у них есть возможность положить за нас свою жизнь; и они все еще недовольны! О великодушные и справедливые ораторы! Вот все, к чему сводятся ваши доводы, если соскоблить с них узоры красноречия. Эти люди напоминают мне рассказ об одном барабанщике, который получил приказ наказывать плетью своего приятеля, привязанного к алебардам; тот просил его стегать повыше, он стегал; пониже — он стегал; посредине, опять повыше, но как он ни старался угодить, тот продолжал доминать его своими воплями до тех пор, пока обзленившийся и выбившийся из сил барабанщик не бросил бича, воскликнув: провались ты к черту, никак тебе не угодишь, по какому месту ни стегай. Так вот и вы стегаете католиков повыше, пониже, и здесь, и там и потом удивляетесь, что они все недовольны. Правда, время, опыт и усталость, неизбежные и для тех, кто учиняет варварскую расправу, научили вас стегать несколько потише, но вы все же продолжаете пользоваться бичом и не откажетесь от него до тех пор, пока у вас не вырвут его из рук и он не пойдет хлестать по вашим собственным спинам и спинам ваших потомков.

...Но предположим, что ирландцы и впрямь довольны своим полным бесправием; предположим, что они могут, сколь ни трудно этому поверить, не желать для себя свободы, — ужели нам не следовало бы желать этого для самих себя? Разве мы ничего не выиграем, предоставив им права! Сколько упущенных возможностей, какая масса талантов, загубленных этой своекорыстной системой всевозможных запретов? Вам ли не знать цену ирландской помощи! Кому, как не ирландским войскам, вверена защита Англии? Сейчас, когда изголодавшийся народ поднимается в ярости отчаяния, ирландцы верны своему долгу. Но до тех пор, пока вы не ослабите узы и не дадите им вдохнуть свободы, вы не сможете ощутить в полной мере все преимущества этой силы, которая столь счастливо для вас стоит между гибелью и вами. Ирландия сделала немало, но она сделает еще больше. И сейчас единственная крупная победа на протяжении многих лет европейской катастрофы одержана ирландским полководцем. Правда, он не католик. Будь он католиком, мы с вами не были бы свидетелями его славных деяний; однако, я полагаю, никому не придет в голову утверждать, что католическая религия загубила бы его дарования или ослабила его патриотизм; вся разница в том, что он в таком слу-

чае побеждал бы как рядовой солдат, ибо ему, разумеется, не пришлось бы командовать армией.

Но так или иначе, он вдет бои на стороне чужеземных католиков; его благородный брат еще сегодня отстаивал их интересы с таким красноречием, достоинств коего я не позволю себе умалить ничтожной данью скромных своих дифирамбов, тогда как третий отпрыск этого рода, столь же не похожий на своих братьев, сколь недостойный равняться с ними, сражается против своих ближних, против католиков в Дублине при помощи циркуляров, указов, воззваний, арестов и изгнаний и всех тех ущемляющих орудий, которыми в междоусобной войне умеют орудовать наемные банды правительства, закованные в проржавленную броню своих устарелых законов.

Не сомневаюсь, что ваши светлости разделят новые высокие награды между спасителем Португалии и гонителем делегатов.

Поистине это странно постоянно наблюдать такое различие между нашей внешней и внутренней политикой. Всякий раз, когда католическая Испания, стойкая и преданная своей вере Португалия или не менее стойкий католический король одной из Сицилий (которую вы, кстати сказать, только что отторгли у него) нуждаются в помощи — тотчас же снаряжаются флот, армия, посольства с субсидиями, и мы либо ввязываемся в тяжкую войну, либо, чаще всего, заключаем неудачные соглашения и всегда, как в том, так и в другом случае, очень дорого расплачиваемся за своих союзников папистов. Но когда к нам взывают о помощи четыре миллиона наших соотечественников, которые за нас сражаются, платят нам налоги, работают на нас, мы считаем своим долгом поступать с ними как с врагами; и хотя «в доме отца их много обитателей», для них не находится убежища. Разрешите мне спросить вас, разве вы не ведете войны за освобождение Фердинанда VII, несомненного глупца и вдобавок к этому, по всей видимости, и ханжи? Ужели чужеземный король внушает вам больше сочувствия, чем ваши соотечественники? А ведь они отнюдь не глупцы, ибо они понимают ваши интересы лучше вас самих, и они не ханжи, ибо они платят вам добром за зло; но заточение, в котором они пребывают, хуже темницы узурпатора, ибо окопы, связывающие дух, дают сильнее, чем тюремные колодки.

Не буду распространяться о последствиях, к которым приведет ваше решение отказать петиционерам в их претензиях. Вы знаете, каковы будут эти последствия, вы почувствуете их, и не только вы, но и дети ваших детей, когда вы сами будете уже покоиться в земле. Прощай тогда Уния, это объединение, которое, как «*Lucus a non lucendo*»¹, никогда ни-

¹ «Роша, потому что не светит» — изречение, применяемое для того, чтобы показать абсурдность того или иного положения — игра латинских созвучных, но не связанных между собою слов *lucus* (роша) и *lux* (свет).

чего не объединяла, которая начала и свое существование с того, что нанесла смертельный удар независимости Ирландии, а завершит его, быть может, тем, что навсегда отторгнет Ирландию от нашей страны. Если это должно называть объединением — это объединение акулы со своей добычей: хищник проглатывает жертву, и они таким образом становятся едины и неделимы. Так Великобритания проглотила парламент, конституцию, независимость Ирландии и не желает оторвать ни единой привилегии, хотя бы для того, чтобы облегчить свой раздутый, расстроенный государственный аппарат.

А теперь, милорды, прежде чем я сяду на свое место, я попрошу господ министров его королевского величества разрешить мне сказать им несколько слов, не об их достоинствах, разумеется, ибо это было бы излишним, но о том высоком уважении, которым они пользуются среди народа в пределах нашего королевства. Уважение, кое они внушают, отмечалось высокочественными, хвалебными речами еще совсем недавно в этих стенах, когда поведение господ министров сравнивали с поведением благородных лордов из оппозиции.

Какая часть популярности приходится на долю моих благородных друзей (если я вправе позволить себе назвать их друзьями), я не берусь установить; но нелепо было бы отрицать популярность господ министров. Она, по правде сказать, немножко напоминает ветер, который «приходит и уходит и пути его неведомы никому», но они чувствуют ее, наслаждаются ею и гордятся ею.

Нет такого уголка во всем королевстве, даже в самых отдаленных его краях, где бы они при всей своей неприязательности и скромности могли укрыться от преследующей их славы. Углубятся ли они в центральные графства, — им устроит торжественную встречу ремесленники с отвергнутыми прошениями в руках и с петлей на шее — той самой петлей, которой их удавил недавний закон, они будут призывать милость и благословение божье на тех, кто так просто и так ловко избавил их от всех горестей этого мира, спровадив их в мир иной. Если господа министры отправятся в Шотландию и проедут из Глазго в Джон о'Грот — их повсюду будут встречать с таким же восторгом. Если они вздумают прокатиться из Порт-патрика в Донагади, они попадут в объятия четырех миллионов католиков, любовь которых гг. министры сегодняшней баллотировкой, должно быть, завоюют на веки вечные. Если господа министры, вернувшись в столицу, смогут без содрогания пройти под сводами Темпл Бар с его зияющими нишами, им все равно не избежать бурных приветствий цеховых мастеров и более робких, «не громких, но глубоких», однако не менее искренних возгласов и благословений обанкротившихся купцов и разорившихся акционеров. Если господа министры обратят свой взор к армии, сколько венков не лав-

ровых, а терновых готовится для героев Вальхерена! Правда, кой-какие свидетели еще уцелели, дабы подтвердить заслуги господ министров в этой операции; но тучи свидетелей вознеслись к небесам, покинув доблестную армию, которую господа министры так милостиво и богобоязненно послали на смерть, дабы набрать «благородное войско мучеников».

Но если во время этого триумфального шествия (в котором на их долю выпадет столько же камней, сколько досталось войску Калигулы, шествовавшему с таким же триумфом) они не узрят ни одного из тех памятников, которые благодарный народ воздвигает в честь своих благодетелей; если даже ни одна харчевня не сменит на своей вывеске голову сарацина на лик победителя Вальхерена, — им не придется сетовать о том, что их не увековечили в портретах, ибо они на каждом шагу встретят свои карикатуры — и станут ли они жалеть, что им не воздвигли статуй, когда повсюду будут сжигать и вешать их изображения.

Но слава господ министров распространилась далеко за пределами нашего небольшого острова; немало других стран, где деятельность господ министров, а тем паче их обращение с католиками сделали их весьма популярными. Если их так любят здесь — во Франции их просто боготворят. Нет другого такого мероприятия, которое столь претило бы чувствам и замыслам Бонапарта, как эмансипация католиков. Ничто так не благоприятствует его планам, как та политика, которую мы проводили, проводим и будем проводить в отношении Ирландии. Что представляет собой Англия без Ирландии и что такое Ирландия без католиков? Только опираясь на вашу тиранию, может надеяться Наполеон создать свою собственную. Угнетение католиков столь полезно его сердцу, что, надо полагать, поскольку он недавно разрешил возобновление торговли, к нам на остров по предстоящему соглашению доставят груды севрского фарфора и синих лент (товар в высшей степени ходкий и ценный в наше время) — синие ленты ордена Почетного легиона для доктора Дюидженана и его министерских приспешников. Вот какова эта справедливо заслуженная популярность — результат наших чрезвычайных экспедиций, которые так дорого обходятся нам самим и не приносят ни малейшей пользы нашим союзникам; результат наших удивительных расследований, которые только подтверждают невинность обвиняемого и возмущают народ, результат наших двусмысленных побед, прославляющих, как нам говорят, имя Британии и наносящих ущерб насущным интересам британского народа. Поистине это достойная награда за поведение, коего господа министры неуклонно придерживаются в отношении католиков.

Прошу прощения у палаты за то, что так долго затруднял ее внимание, и смею надеяться, что она простит оратору, который не так часто позволяет себе злоупотреблять ее снисходительностью.

Я самым решительным образом поддерживаю выдвинутое предложение и подаю за него свой голос.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОГО НАСЛЕДСТВА

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ В ЭДИНБУРГСКОМ ЖУРНАЛЕ «БЛЭЖВУД'С МЭГЭЗИН» № 29, 1819 г.¹

Равенна, марта 15-го 1820.

Жизнь писателя, как некогда выразился, если не ошибаюсь, Поп,— это вечная борьба на земле. Что до моего собственного опыта, то я решительно ничего не могу возразить против этого положения. И я, как и многие иные, погрузившись раз в это состояние войны, должен волей-неволей обретаться в нем и воевать. В некоем периодическом издании недавно появилась статья под заглавием: «Замечания о Дон-Жуане», которая до такой степени пропитана вот этим самым воинственным духом, распалюющим ее автора, что требует кой-каких замечаний и с другой, то есть с моей, стороны.

Прежде всего мне совершенно непонятно: по какому праву критик приписывает сие произведение, опубликованное без имени сочинителя, мне? Он, вероятно, ответит, что это определяется некоторой внутренней очевидностью, то есть, другими словами, там-де имеются некоторые отрывки, написанные как бы от моего имени либо в моей манере. Но разве это не мог сделать кто-нибудь другой, умышленно? На это он скажет: почему же я тогда сразу не опроверг этого? А на это я мог бы ответить так: из всех произведений, которые приписывались мне за последние пять лет — «Паломничество в Иерусалим», «Надеж коней бледных», «Оды гальскому краю», «Прощание с Англией», «Песни к мадам Лаваллет», «Оды святой Елене», «Вампиры»,— и чего-чего еще нет в этом синодике! — из всего этого я не сочинял и не читал ни единого слова, кроме заглавий в столбцах объявлений в журналах, и уж, конечно, не считал нужным отречься от оно, за исключением одной вещи, которая оказалась связанной с сообще-

нием о моем пребывании на Митиленском острове (где я никогда не жил) и позволила неким личностям, кои считают удобным развлекаться при помощи моего имени, зайти уж слишком далеко.

Итак, раз уж я не считал нужным брать на себя лишний труд и отречься от вещей, которые печатаются якобы от моего имени, не имея ко мне ни малейшего отношения, то стоит ли мне проделывать то же самое относительно вещи, напечатанной анонимно. Пожалуй, это показалось бы с моей стороны излишним усердием. Так что в отношении «Дон-Жуана» я не намерен ни отречься, ни признавать его своим. Всякий волен думать по этому поводу все, что ему угодно. Но если кто-либо, в допущении, что поэма сия будет печататься далее, почувствует себя до такой степени задетым ею, что пожелает получить негласно и персонально более определенный ответ — то он его получит. Я никогда не уклонялся отвечать за то, что написал, и не раз был жертвой клеветы только потому, что не считал нужным отрицать то, что приписывалось мне безо всякого основания...

Должен заметить, хоть и смешно и обидно повторять столько раз одну и ту же вещь, что мое положение, как писателя, до крайности затруднительно, поскольку меня из года в год принимают и выдают за одного из моих собственных героев. Это и несправедливо и нелепо. Никогда я еще не слышал, чтобы моего друга Мура принимали за огнепоклонника из-за его Гебры, чтобы Скотта отождествляли с Родериком Ду или Бальфуром Берлейским или чтобы, несмотря на всех колдунов в «Талаба», кто-нибудь когда-либо принял мистера Саути за чародея, тогда как мне едва-едва удалось отде-

¹ Статья Байрона дается в сокращении.

латься от отождествления хотя бы с Манфредом, который, как ядовито указал мистер Саути в одной из своих статей в «Квотерли», «повстречался с сатаной на Юнгфрау и напугал его до смерти». На это я могу ответить мистеру Саути, которому в его поэтических странствиях не так повезло с врагом рода человеческого, что Манфред действовал точно по указаниям святых заповедей: «Не уступай дьяволу, и он отыдет от тебя». Мне придется сказать еще два-три слова по поводу этой личности, — не дьявола, а его покорного слуги господина Саути, — но сейчас я позволю себе вернуться к статье эдинбургского журнала...

Автор ее пишет: «Тот, кто осведомлен — а кто же не осведомлен? — о главных происшествиях личной жизни лорда Байрона» и т. д. Разумеется, кто бы там ни был осведомлен о «главных происшествиях», но уж сам-то автор «Заметок о Дон-Жуане» о них не осведомлен, ибо тогда он выражался бы отнюдь не в таком тоне. То, на что он, видимо, намекает как на «главное происшествие», было на самом деле происшествием весьма второстепенным и вместе с тем естественным и почти неизбежным следствием обстоятельств, имевших место задолго до этого времени. Это было просто последней каплей, которая переполняет чашу, — а моя чаша давно уже была полна. Однако вернемся к его обвинениям: он обвиняет лорда Байрона в тщательной обдуманной сатире на характер и поведение его супруги. Из какой части «Дон-Жуана» критик все это вычитал — ему, конечно, лучше знать. Насколько я припоминаю женские характеры в этом произведении, там есть только один единственный, описанный шуточню, то есть такой, который можно так или иначе истолковать как сатиру на кого-либо. Но тут мне снова приходится нести кару за свои поэтические грехи, исходя из предположения, что поэма эта написана мной. Стоит мне вывести корсара, мизантропа, распутника, вожака повстанцев либо лязычника, — немедленно утверждают, что это-то и есть сам автор. И если в какой-то поэме, о которой еще совсем неизвестно, принадлежит ли она действительно моему перу, выведен отвратительный, казуистический и, можно сказать, недостойный женский образ педанта, то ясно, что это не кто иной, как моя жена. Но где же сходство? Если оно и существует, то только для тех, кто его выдумал. Что до меня, то я не вижу ни малейшего. В моих произведениях я редко выводил подлинных лиц под вымышленным именем. Те, о ком я говорил, назывались обычно у меня их собственными именами, и это нередко само по себе было гораздо более едкой сатирой, чем любая выдумка, которую старались к этому прицепить. Действительными обстоятельствами я, разумеется, пользовался весьма свободно как в серьезном, так и в шуточном повествовании, ибо они для поэзии и же, что пейзаж для живописца. Однако образы мои —

отнюдь не портреты. Могло бы даже случиться, что я описал бы кое-какие события, которым я был свидетель даже в своей собственной семье, точно так же как я мог бы изобразить ландшафт в собственном моем имени, если бы он гармонировал со всей картиной моего замысла. Но я никогда не позволил бы себе сохранить сходство с живыми участниками этих событий, разве только если мне удалось бы изобразить их в самом выгодном свете как в смысле проявления характера, так и по ходу действия, что в данном случае было бы весьма затруднительно. Далее мой ученый брат отмечает: «Напрасно лорд Байрон пытается каким бы то ни было образом оправдать свое поведение в этом деле; а раз уж он так откровенно и дерзко добивается расследования и осуждения, мы не видим причин, почему бы его соотечественникам не изобличить его прямо и во весь голос». Насколько откровенность безымянной поэмы и «дерзость» вымышленного персонажа, в котором критик прозревает леди Байрон, заслуживают столь страшного изобличения, этого я не знаю, да и, признаться, не интересуюсь этим. Но когда критик говорит мне, что я никоим образом не могу оправдать свое поведение в этом деле, — я согласен, ибо ни один человек не может оправдаться, пока ему неизвестно, в чем его обвиняют. А я никогда этого не знал. И бог свидетель, что единственным моим желанием было добиться какого-нибудь определенного обвинения, которое в доступной пониманию форме было бы изложено мне моим противником или кем-либо иным, а не навязано чудовищными сплетнями, порожденными молвой и загадочным помалкиванием казенных поверенных моей супруги. Неужели же критику мало всего того, что говорилось и делалось по этому поводу? Единодушный глас соотечественников, кажется, уже давным-давно вынес по этому вопросу приговор без суда и осуждения без обвинения. Разве уж я давно не подвергнут остракизму? Ведь только в отличие от старого обычая те судьи, которые меня изгнали, остались безымянными. Разве критик не знает, каково было общественное мнение и поведение в этом деле? Но если он не знает — я-то сам слишком хорошо знаю. Общество забудет и то и другое задолго до того, как я перестану помнить это.

Человек, изгнанный просками какой-нибудь клики, может утешаться, считая себя мучеником; его поддерживает надежда и то благородное дело, во имя которого он страдает, — настоящее либо воображаемое; человек, осужденный за долги, может утешаться мыслью, что со временем благоразумная осторожность выведет его из затруднений. Человек, осужденный законом, имеет какой-то срок своего изгнания либо мечту о том, что срок этот убавится, он может возмущаться несправедливостью закона или несправедливым приговором; но человек, изгнанный общественным мнением, безо всякого

вмешательства враждебной политики, или законного суда, или тяжких денежных обстоятельств, будь он виновен или невиновен, пожинает всю горечь изгнания безо всякой надежды, без гордости, без малейшего самоутешения. Так именно и обстояло дело со мной. На основании чего вынес свет свое осуждение, мне неизвестно, но оно было всеобщим и решительным. Обо мне и о моих близких ему мало было что известно, исключая то, что я писал так называемые *стишки*, был дворянином, женился, стал отцом семейства, что у меня были разногласия с женой и ее родственниками, но неизвестно из-за чего, ибо обиденные лица не пожелали изложить свои обиды. Светское общество разделилось на две части — на моей стороне оказалось скромное меньшинство. Благоразумные люди, естественно, оказались на более сильной стороне, то есть заступились за даму, как оно и полагается порядочным и учтивым людям. Пресса подняла непристойный гвалт, и все это стало до такой степени «злойбы дня», что незадачливое появление в печати двух стихотворений — скорее любезных по отношению к их адресатам — было возведено в своего рода преступление или подлое предательство. Общественная молва, а заодно и личная злоба готовы были обвинять меня в любом чудовищном пороке, имя мое, унаследованное мной от благородных рыцарей, которые некогда помогли Вильгельму Завоевателю завоевать Англию, было запятнано. И я чувствовал, что если бы все то, что шепчут, бормочут и недоговаривают, было правдой, то я был бы недостоин Англии, а если это ложь — Англия недостойна меня. И я удалился. Но этого оказалось недостаточно. В чужих странах, в Швейцарии, под сенью Альп, у голубых озер меня преследовала и гналась за мной все та же клевета. Я перешел по ту сторону гор, но и тут было то же. Я отправился еще дальше и обосновался у вод Адриатического моря, как затравленный олень, которого свора загоняет к воде. Если судить по предупреждениям некоторых друзей, оставшихся возле меня, травля, о которой я говорю, представляла собою нечто поистине небывалое, не выдерживающее никакого сравнения даже с теми случаями, когда, в силу неких политических соображений, вражда и клевета обостряются и раздуваются елико возможно. Мне советовали не ходить в театр, дабы меня не освистали, пренебречь моими обязанностями и не появляться в парламенте, чтобы не нарваться на оскорбление, и даже в день моего отъезда мой близкий друг, как он потом рассказывал мне сам, опасался, как бы я не подвергся насилию толпы, когда я буду садиться в карету. Однако эти советы не пугали меня, и я ходил смотреть Кинна в его лучших ролях и голосовал в парламенте согласно моим убеждениям; что же касается последнего опасения моих друзей, я не мог разделять его просто потому, что узнал о нем уже только после того, как

пересек Ламанш. Но если бы я даже и был осведомлен о нем раньше, я по природе своей мало чувствителен к людской злобе, хоть и могу чувствовать себя уязвленным людской ненавистью; от какого бы то ни было личного выпада я сумел бы защитить себя или проучить обидчика. Полагаю, что если бы мне пришлось иметь дело с разъяренной толпой, я также сумел бы постоять за себя и кое в ком нашел бы поддержку, как оно бывало и раньше в подобных случаях.

Я покинул отчизну, обнаружив, что я являюсь предметом всеобщей клеветы и пересудов; я, правда, не воображал, подобно Руссо, что весь род людской в заговоре против меня, хоть у меня, пожалуй, были не менее веские основания обзавестись подобной химерой. Но я обнаружил, что моя особа стала в значительной мере ненавистна в Англии, — возможно, что по моей собственной вине, — однако самый факт не подлежал сомнению. Будь на моем месте человек, пользующийся несколько большей общественной симпатией, вряд ли общество могло бы так бурно ополчиться против него, не располагая ни малейшими обвинениями, ни какими-либо изобличающими данными, подкрепленными свидетельством. Я с трудом могу представить себе, чтобы такое житейское, повседневное явление, как расхождение супругов, могло само по себе вызвать такое возмущение. Я отнюдь не собираюсь прибегать к обычным жалобам на то, что «кто-то там был преубежден», что меня «осудили, не выслушав», что это «несправедливость», «пристрастный суд» и т. д., — обычные сетования людей, которым пришлось или предстоит пройти через судебную процедуру. Но я был несколько изумлен, когда обнаружил, что меня осудили, не соизволив предъявить мне обвинительного акта и что отсутствие одного страшного обвинения или обвинений в чем бы то ни было возмещалось с избытком молвой, которая приписывала мне любое мыслимое или немыслимое преступление и признавала его за мной безоговорочно. Это могло произойти лишь с человеком, весьма ненавистным обществу, и тут уж я ничего не мог сделать, ибо все мое небольшое умение нравиться я исчерпал до конца. У меня не было поддержки ни в каких светских кругах, хотя мне потом стало известно, что один такой кружок был, но я не создавал его и в то время даже не знал о его существовании; не было поддержки и в литературных кругах. Что же касается политики, я голосовал с вигами, и значимость моего голоса в точности соответствовала тому, что значит голос любого вига в наши дни, когда страной правят тори, причем личное мое знакомство с лидерами обеих палат не выходило за пределы того, что допускается светским общением; я не мог рассчитывать на дружеское участие ни с чьей стороны, если не говорить о нескольких сверстниках и небольшом круге людей более почтенного возраста, которым мне посчастливилось оказать услугу в трудных

для них обстоятельствах. Это в сущности означает — быть в полном одиночестве, и мне вспоминается, как некоторое время спустя в Швейцарии мадам де Сталь сказала мне однажды: «Не следовало вам воевать со всем светом, ни к чему это не приводит, ибо всегда оказывается не под силу для одного человека: когда-то в юности я сама пробовала, — ни к чему это не приводит». Я вполне признаю справедливость этого замечания, однако свет оказал мне честь и сам начал эту войну; и, разумеется, если мир может быть достигнут только при помощи льстивого преклонения и угодничества, — я не способен заслужить его расположение...

Перехожу теперь к фразе, в которой говорится, что я изливаю свою злобу на возвышенных духом и высоко добродетельных людей — людей, «чи добродетели, поистине, не многим в дар даны». Под оными, как скромно я предполагаю, подразумевается знаменитый триумвират, известный под именем «озерных поэтов», сжали их рассматривать в совокупности, а сжали поодиночке — Саути, Вордсворт и Кольридж. Мне хочется сказать несколько слов о добродетелях, как общественных, так и личных, одного из этих субъектов. Для сего у меня имеются некоторые причины, которые вскоре станут ясны. Когда я покинул Англию в апреле 1816 года, чувствуя себе прескверно и душевно, и телесно, и во всех иных отношениях, я поселился в Колиньи, у Женевского озера. Единственным моим спутником был некий юный доктор, которому еще предстояло пробить себе дорогу в жизни. А поскольку он еще мало был знаком со светом, то, естественно, он желал видеть общество побольше того, чем к тому располагали мои теперешние привычки или мой прошлый опыт. По этой-то причине я и познакомил его с некоторыми лицами в Женеве, к которым у меня были рекомендательные письма, и, видя, что далее он может действовать самостоятельно, удалился совершенно от всякого общества, если не считать одной английской семьи, жившей в четверти мили от виллы Диодати, да редких визитов к мадам де Сталь по ее приглашению в виллу Коппе. Упомянутая мною английская семья состояла из двух дам и одного джентльмена и его сына — малютки одного года.

В это самое время или чуть попозже один из этих «возвышенных духом и высокодобродетельных» людей, как изволил выражаться эдинбургский журнал, путешествовал по Швейцарии. Возвратясь в Англию, он распустил слух, сочиненный, насколько мне известно, им самим, что джентльмен, о котором я сейчас говорил, и я живем в распутной связи с двумя сестрами, «основав некую лигу кровосмесительства» (привожу эти слова в том виде, в каком они до меня дошли); при этом он развлекался придумыванием по поводу сего всяческих вольных острот, которые весьма услужливо были повторены

публично другим членом того же самого пиитического собратства. Самый рассказ вызывает только одно крохотное замечание: дамы эти не были сестрами и ни в какой мере не состояли в родстве, разве что при помощи второго брака их родителей, вдовца и вдовы, а они обе происходили от первых браков. В 1816 году ни той, ни другой еще не было девятнадцати лет. Кровосмесительное обхождение вряд ли могло бы так уж не нравиться великому патрону *Пантисократии* (припоминает ли мистер Саути об этой превосходной затее?), но его не было.

Насколько этот человек, который, в качестве автора «Уота Тайлера», был обвинен лордом-канцлером в изменнической и кощунственной клевете и вслед за тем был изобличен в палате общин честным и даровитым депутатом от Норвича как *зловонный ренегат*, достоин быть судьей над другими, об этом уж пусть судят другие. Он сказал некогда, что за «подобное выражение» он «выжжет на челе Вильяма Смита клеймо клеветника» и что это клеймо переживет его эпитафию. Как долго просуществует эпитафия Вильяма Смита и что именно она будет гласить, я не знаю, но слова Вильяма Смита — это эпитафия самому Роберту Саути. Он написал «Уота Тайлера» и принял звание «поэта-лауреата». Он в «Жизни Кирке Уайта» обзывал журналистов «низкими ремесленниками», и сам стал журналистом. Он был одним из изобретателей прожекта, именуемого Пантисократия, в котором предлагалось владеть всем, вплоть до женщин, сообща (любопытно — «общие жены!»). И он же ныне выступает в качестве моралиста. Он порицал битву при Блэнхэyme и превозносил битву при Ватерлоо — он любил Мэри Уолстонкрафт и пытался опорочить ее дочь (одна из юных девушек, о которых говорилось выше). Он проповедовал измену и служит королю. Он был мишенью для «Антякобинца» и он же опора «Квотерли ревью». Он лизал руки, которые секли его, и ел хлеб своих врагов; внутренне корчась от презренья к самому себе, он старается спрятать омерзительное сознание своего падения под анонимным самохвальством и, тщетно домогаясь уваженья людей, навсегда утратил свое собственное. Что есть в таком человеке, чему можно было бы *завидовать*? И кто когда бы то ни было мог *завидовать завистнику*? Чему это — его происхождению, его имени, его славе или его добродетели — мог бы я завидовать? Я по своему происхождению принадлежу к аристократам, которых он ненавидел, и веду свой род по матери от королей, более древних, чем те, кого он нанялся воспевать. Ясно, что речь идет не о его происхождении. Как поэт, я за последние восемь лет не имел оснований опасаться какого-либо соперничества, что же до будущего — «о том, что грезится поэту», — оно открыто всем. Я только напомню мистеру Саути слова одного критика, заклятого врага всех шарлатанов и плутов, начиная с Макферсона: «Этими

мечтами тешили некогда Сеттл и Огтли». Будь этот критик жив, он уничтожил бы литературное существование Саути отныне и навеки. Что же касается меня, то могу заверить м-ра Саути, что ежели где бы то ни было он или его секта сохраняются в памяти людской, я почту за честь быть забытым. Что м-р Саути не вполне удовлетворен своим поэтическим успехом, этому вполне можно поверить, ибо он был настоящей кеглей для всех журнальных обозревателей — «Эдинбургское обозрение» сшибло его, а «Квотерли» поставило на ноги. Правительство сочло его полезным «по журнальной части» и даже решило порекомендовать его творения покупателям, в силу чего ипой раз его и покупают (я имею в виду его книги так же, как и самого автора). Вот почему его можно найти если не на столе, так на полке у многих правительственных чиновников. Что касается личных добродетелей господина Саути, то я о них не осведомлен, а вот насчет его «убеждений» я слышал достаточно; поскольку я всегда по мере своих сил старался приходить на помощь другим, то и в этом смысле я не боюсь сравнения. Что же касается до «заблуждения страстей», то всегда ли мистер Саути был уж до такой степени спокоен и непорочен? разве он *никогда* не желал жены ближнего своего? разве он никогда не позорил клеветой *дочери* жены ближнего своего? родное дитя той самой, к которой он возделел! Однако довольно об этом первоапостоле Вессократии. Что до возвышенного и добродетельного духом Вордсворта, то достаточно привести один анекдот касательно его чистосердечия. В беседе с господином... о поэзии он сказал следующее: «В конце концов я не дал бы и пяти шиллингов за все, что написал когда-либо Саути». Возможно, что эта прикидка говорит скорее о высокой его оценке пяти шиллингов, чем о низкой его оценке доктора Саути, но памятуя, что когда он нуждался, а у Саути был шиллинг, Вордсворт, говорят, обычно получал от него шесть пенсов, мне кажется, что в этом расчете есть что-то не совсем порядочное. Анекдот этот я слышал от людей, которые, ежели бы я огласил их имена, доказали бы безусловно, что источник его, несомненно, столь же поэтический, сколь и достоверный. За это я могу поручиться так же, как и за то, что именно мистер Саути является первоисточником вранья, о коем упоминалось выше.

О Кольридже я умолчу, — *почему?* пусть уж он сам догадается.

Я сказал об этих людях больше, чем собирался говорить о них здесь, будучи несколько раздражен замечаниями, которые вынудили меня заняться ими. На мой взгляд, эти люди ровно ничего собой не представляют ни как поэты, ни как человеческие личности; дарования у них мало, а достоинств и того меньше, я не вижу в них ничего, что бы могло препятствовать честным людям высказывать свое глубокое презрение к ним в прозе, в стихах или как бы

то ни было. У мистера Саути имеется его «Квотерли ревью», где он может дать волю своим чувствам, а у мистера Вордсворта — его постскриптумы к «Лирическим балладам», где два славных примера возвышенной поэзии приведены непосредственно из... него самого и из Мильтона. «Над своим, над сладким голосом — горлинка трепещет!» — иными словами, она наслаждается, слушая самое себя вкупе с мистером Вордсвортом, упивающимся своими собственными публичными выступлениями. «Что за божество хранит» этих субъектов, что мы должны благодарить перед ними? Кто это, неужели сам Аполлон! А разве они не заодно с теми, кто обозвал оду Драйдена «пьяным нитьем»? Кто открыл, что элегия Грея полна ужасных «ошибок» (смотри «Жизнь» Кольриджа, том I, заметка с благодарностью Вордсворту, который был столь любезен, что указал ему на это)? Не они ли опубликовали непревзойденную по мерзости прозу, дабы показать, что Поп — не поэт, а вот Вильям Вордсворт — поэт?

Посмотрим в других отношениях, что это — почтенные люди или люди, заслуживающие уважения? На чем, собственно, основываются их притязания? На откровенном признании собственного изменничества или на благоволении правительства? И кто же может уважать этих предателей своих собственных убеждений? Да они и сами в сущности прекрасно понимают, что наградой за их перебежничество может быть все что угодно, но уж никак не почет. Во все времена сохраняется уважение к политической устойчивости, и как бы времена ни менялись, постоянство чтут неизменно. Поглядите на Мура — долгонько Саути придется дожидаться, чтобы его встретили в Лондоне с таким же триумфом, с каким Мура встретили в Дублине! Даже если само правительство раскошелится и отпустит на это звонкую монету своей тайной агентуре. Ибо пыльные ирландцы встречали восторженной овацсией не только поэта, но и человека, патриота, подвергавшегося искушению, по оставшегося непоколебимым, гражданина, не обладающего богатством, но честного и неподкупного. Мистер Саути может восхвалять себя на весь свет, но он сам в глубине души презирает себя. И ярость, с которой он обрушивается на всех, оставшихся в ряду, из которого он спасся бегством, это, как выражается Вильям Смит, — «злоба ренегата», ругань уличной девки, которая стоит на перекрестке и осыпает бранью кого ни попадя, за исключением тех, кто пожелает дать ей заработать.

Отсюда и его политические и литературные извержения, происходящие четыре раза в год при помощи того самого, как он выражался некогда, «низкого ремесла». И его исключительная ярость по отношению к мистеру Ли Хэнту, хотя именно Хэнт сделал для репутации Вордсворта как поэта (кой он ныне пользуется) больше, чем все лэйксты

вместе взятые и все их взаимосамовосхваления за последние двадцать пять лет.

Ну, а теперь мне хочется сказать несколько слов о настоящем нашей английской поэзии. Что наше время есть время *упадка* английской поэзии, в этом вряд ли кто усомнится, если спокойно поразмыслит над этим предметом. Что среди современных поэтов имеются люди талантливые, это дела почти не меняет, ибо, как было тонко замечено, «величайший гений вслед за тем, кто образует вкус страны — это тот, кто его портит». Никто ведь никогда не отказывал в таланте Марину, который испортил вкус не только Италии, но и всей Европе чуть ли не на целое столетие. Главная причина нынешнего плачевного состояния английской поэзии заключается в нелепом и систематическом обесценивании поэзии Попа, в чем за последние несколько лет наблюдается нечто вроде какого-то эпидемического состязания. Началось это с Уортона и Черчилля, которых, должно быть, натолкнули на это герои «Дунсиады», а вернее, собственное твердое убеждение, что их репутация до тех пор будет равна нулю, куда самый лучший, самый мелодичный из поэтов — тот, кого, за неимением к чему придаться, упресли в разуме, не будет низведен до того уровня, который они полагают для него достаточным. Но даже и они не осмелились низвести его ниже Драйдена. Гольдсмит, Роджерс и Кэмпбелл — его наиболее даровитые ученики, и Хэйлей, как он ни слаб, а все же оставивший одну поэму, которая «себя предать забвенью не позволит», — вот люди, старавшиеся держаться на высоте этого чистейшего и безупречного стиля, а Крабб, лучший из современных поэтов, почти достиг высоты своего учителя. Следующим критиком был Дарвин, который очень скоро притих, напуганный одним единственным стишком в «Антиякобинце» («Любовь треугольников»), а за ним крушанцы, начиная с Мерри и до Джернингэма, которого уничтожил (если только ничтожество может быть уничтожено) Гиффорд, последний из здравомыслящих сатириков.

Тем временем мистер Саути услаждал публику «Уотом Тайлером» и «Жанной д'Арк» — к вящему прославлению драмы и эпоса, — ах, нет, прошу прощения! «Уот Тайлер» и «Жанна д'Арк» были еще в рукописи и только после того, как мистер Саути получил свою бочку с мальвазией, а господин Вордсворт был удостоен чести измерить ее глубину, великая революционная трагедия появилась перед общественным и канцлерским судом. Вордсворт торговал вразнос своими лирическими балладами и обдумывал предисловие, за коим с течением времени должен был последовать постскрипtum, оба склепанные из такой прозы, которая может доставить истинное наслаждение всем, кто читал авторские предисловия Попа или Драйдена, снискавших не меньшую славу красотой своей прозы, чем очарованием своего стиха. Вордсворт представляет собой прямую противополож-

ность мольеровскому мещанину (который всю жизнь говорил прозой, не подозревая о том), ибо он уверен, что он всю жизнь писал прозу и стихи, тогда как на самом деле ни то, ни другое из того, что он именуется этими словами, по совести сказать, не может быть никак отнесено ни к тому, ни к другому. Господин Кольридж, будущий *vates*¹, поэт и оракул «Морнинг пост» (честь, которой добивался также и мистер Фитцджеральд), предрекавший ранее падение Бонапарта, коему он сам весьма содействовал, дав ему прозвище «корсиканца», был затем уполномочен предрекать адские муки господину Питту и крушение Англии, — что ему как нельзя более удалось, ибо эти два сборника стихов, несомненно, лучшее из всего того, что он когда-либо написал — «Сатанинская эклога — Огонь, Голод и Резня» и «Ода уходящему году».

Три эти субъекта — Саути, Вордсворт и Кольридж, — все они вкупе питают вполне естественную антипатию к Попу, и за это я их уважаю, ибо это единственное самобытное чувство, которое им удалось сохранить неизменным. Однако к ним присоединились и те, кто отнюдь не объединялся с ними ни в чем другом, — обозреватели «Эдинбургского обозрения» и вся разношерстная масса современных английских поэтов, исключая Крабба, Роджерса, Гиффорда и Кэмпбелла, которые и словом и делом доказали свое единомыслие с Попом, и меня, который постыдно отошел от него на практике, но всегда любил и почитал поэзию Попа всей душой и надеется сохранить эти чувства до конца дней своих.

Но обозреватели «Эдинбургского обозрения», и лэйкысты, и Хэнт с его школой, и кто бы там еще ни был с его школой, и даже Мур безо всякой школы, и дилетантские лекторы из разных заведений, и престарелые джентльмены, которые переводят и подражают, и юные леди, которые слушают и повторяют, и баронеты, малюющие бессмысленные фронтисписы к скверным стишонкам, и благородные лорды, удастанывающие их приглашением к обеду в свои замки, и наибольшее число остроумцев, и великое множество ретроградов — все, все за последнее время объединились в этом пренебрежении, коего предки их устыдились бы так же, как будут стыдиться их потомки. А между тем что же мы получаем взамен? Озерную школу, которая началась с эпической поэмы, написанной за полтора месяца (как рекламировалась «Жанна д'Арк»), а кончилась балладой, которая сочинялась на протяжении двадцати лет, как старательно осведомляет творец «Питера Белла» тех немногих, кто пожелает об этом осведомиться. Поток расхлябанных и непонятных романтических поэм в подражание Скотту и мне, старавшихся сделать все, что можно из негодного нашего материала и ошибочного метода. Что мы получили взамен? Месдок, — ни эпос, ни лирика, Талаба, Кеххма, Гэбир

¹ Пророк, прорицатель (лат.).

и прочий вздор, написанный всеми размерами и ни на каком языке. Хэнт, который мог бы написать историю Римини на высоте Драйденовой новеллы, счел нужным пожертвовать своими гением и вкусом ради каких-то нечленораздельных измышлений Вордсворта, которые он вряд ли может разъяснить. Мур... но к чему продолжать?

Часть вышеупомянутых поэтов сумела все же сколотить небольшое число последователей. В каком-то номере «Конессёра» говорится: «Французы утверждают, что кот, поп и старуха втроем вполне способны

создать в Англии религиозную секту», то же самое количество животных — только с небольшой разницей в их внешнем виде — достаточно у нас и для того, чтобы создать поэтическую секту. Если мы, например, возьмем вместо попа сэра Джорджа Бомонта, а мистера Вордсворта вместо старухи, мы уже почти соберем потребное для сего множество; боюсь только, что мистер Саути вряд ли добровольно согласится на роль кота, ибо он слишком заметно обнаружил свою принадлежность к иной породе, которую это благородное животное явно не выносит.

ИЗ ПИСЬМА ИЗДАТЕЛЮ ДЖ. МЭРРЕЮ, ОПУБЛИКОВАННОГО В 1821 г. ПО ПОВОДУ КРИТИЧЕСКИХ РАССУЖДЕНИЙ БОУЛСА О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПОПА

... Дело в том, что в наше время великим *primus mobile*¹ Англии является пустословие: пустословие политическое, поэтическое, религиозное, моральное, но всегда и всюду *пустословие*, разрастающееся во всем многообразии всевозможных жизненных проявлений. Такая уж нынче мода, и, покуда она держится, она будет весьма крепко вести на поводу всех тех, кто не может существовать иначе, как вторя в тон, заданный временем. Я говорю *пустословие*, потому что это есть нечто чисто словесное, не имеющее ни малейшего влияния на самые поступки человеческие. Англичане не сделали ни умнее, ни лучше, они сейчас много беднее и больше враждуют и ссорятся между собой и, пожалуй, стали значительно менее нравственны, чем они были до того, как у нас вошел в силу сей словесный декорум. Истерическое негодование по поводу еще недоказанных и отнюдь не вполне достоверных любовных увлечений бедняги Попа кажется весьма добродетельным в полемическом памфлете; но любой человек, если он имеет некоторое представление о том, что такое жизнь, или хотя бы о том, чем она была для него в дни его юности, может только посмеяться над тем комическим вздором, на котором строится это обвинение «в распущенности», а вдумчивый, серьезный читатель сочтет изобретателя подобного сочинения либо фанатиком, либо ханжой, а может стать, и тем и другим сразу. Бывает иной раз эдакая удачная помесь...

... Итак, перейдем к «Неизменным принципам поэзии» м-ра Боулса. М-р Боулс и кое-кто из его единомышленников объявляют их неопровержимыми. Поистине они еще не удостоились никаких опровержений, по крайней мере со стороны Кэмпбелла, который, повидимому, был просто оглушен сим громким наименованием. Некому султану предложили

вступить в союз с королем Франции, потому что «он ненавидел слово Лига». Мистеру Кэмпбеллу нет надобности вступать со мной в союз, и я отнюдь не собираюсь ему его навязывать, но я тоже всей душой ненавижу слово «неизменные». Существует ли что-либо в мире человеческого, будь это поэзия, философия, остроумие, мудрость, наука, власть, слава, мысль, материя, жизнь или смерть, что можно было бы назвать «неизменным»? Из всех самых вызывающих книжных заглавий, какие только можно придумать, такое заглавие для брошюры является как нельзя более заносчивым и чванливым. Разумеется, это дело мистера Кэмпбелла отвечать на содержание сей брошюры, а в особенности защищать свой собственный «Корабль», который, как горделиво заявляет мистер Боулс, попал первым под его обстрел. Меня это в сущности не касается.

Но раз уж я начал (и, конечно, не потому, что мне этого очень хотелось, а потому, что имя мое то и дело поминают в этой перепалке), я буду действовать, как ирландец, который, затесавшись в драку, дубасит направо и налево, не щадя себя. Итак, я позволю себе сказать два-три слова по поводу «Корабля».

Мистер Боулс утверждает, что Кэмпбеллов «линейный корабль» заимствует всю свою поэзию не из «предметов, сделанных руками человеческими», но из «природы». «Уберите ветер, волны, солнце и прочее и прочее — и останется узкая полоска синей тряпки вместо флага и кусок обыкновенной парусины на трех столбах». Истинная правда! Уберите волны и ветер — и не останется никакого корабля не только поэтического, но и вообще никакого. Уберите еще и солнце, и тогда нам придется раздобыть свечку, дабы прочесть брошюрку господина Боулса. Однако поэзия «Корабля» зависит не от волн и прочего, напротив того — «линейный корабль» наделяет волны своей поэзией и усиляет поэзию, присущую им. Не отрицаю, что «волны и ветры», а тем наипаче

¹ Движущей силой (лат.).

«солнце» — предметы в высшей степени поэтические: мы знаем это по горькому опыту — сколько их описывают в стихах! Но когда бы волны несли на своих хребтах только одну пену, а ветры прибывали бы к берегам одни водоросли морские, а солнце не светило бы ни на флот, ни на пирамиды, ни на крепости — осталось ли бы все это для нас столь же поэтичным? Осмеливаюсь думать, что нет. Поэзия по меньшей мере питается этим взаимопроникновением человеческого и природного...

...Смотрел ли когда-либо мистер Боулс на море? Полагаю, что да, по крайней мере хоть на картинке. А когда же какой-либо живописец писал море безо всего, не изобразив тут же корабля, лодки, обломков кораблекрушения либо еще какого-нибудь живописного добавления? Будет ли само по себе море, как таковое, более привлекательным, моральным, поэтическим без корабля или с кораблем, который нарушает его величественное, но томительное однообразие? Будет ли буря более поэтична без корабля? В стихотворении Фолконера «Кораблекрушение» что для нас более интересно — буря или судьба корабля? И то и другое, разумеется. Но если бы не корабль, что собственно интересного представляла бы для нас буря? Мы обрели бы еще один образец обычной описательной поэзии, которая сама по себе никогда особенно высоко не ценилась.

...Мистер Боулс утверждает далее, что египетские пирамиды поэтичны только «в сочетании с безграничностью пустыни». И что пирамида тех же самых размеров, находясь в Линкольнсинфильде, отнюдь не была бы столь величественной. Да, разумеется, она будет *не столь* поэтична, но уберите пирамиду — не потеряют ли от этого кое-что и пустыня?

...Мне сдается, что собор святого Петра, Коллизей, Пантеон, Палатин, Аполлон, Лаокоон, Венера Медицейская, Геркулес, Умиравший Гладиатор, Микельанджелов Моисей и все лучшие произведения Кановы столь же поэтичны, как Монблан или Этна и даже, быть может, еще более. Ибо они суть непосредственное проявление духа и несут поэзию в самом замысле своем, а сверх того воплощают в себе нечто подлинно живое, что не может быть присуще неодушевленной природе, если только мы не являемся чистыми последователями Спинозы в смысле утверждения, что мир есть божество. Нельзя представить себе ничего более поэтического, нежели Венеция, — отчего это? от моря или от каналов?

— Грязь, водоросли и — из них сей гордый град... Что придает ей поэзию — канал, который бежит меж дворцом и тюрьмой, или Мост вздохов, который их соединяет? Что это — Канале Гранде или Риальто, опоясывающий его, церкви, возвышающиеся над ним, дворцы, что выстроились по берегам, гондолы, скользящие по воде, — придает городу такую поэзию, что он кажется поэтичнее самого Рима? Мистер Боулс, пожалуй, скажет нам, что

если бы не вода, то Риальто — это просто мрамор, дворцы и церкви — всего-навсего камни, а гондолы — грубая черная парусина, натянутая на изогнутые куски дерева с кусочком причудливо вырезанной блестящей железки на носу. А я осмелюсь заметить ему, что безо всего этого вода здесь была бы просто глинистой грязной канавой, и не будь на Венецианском канале этих искусственных сооружений, он был бы не более поэтичен, нежели Падингтонский ров, несмотря на то что он представляет собой совершенно естественную морскую лагуну со всеми своими естественными островками, на которых и вырос этот изумительный город. И самая Тарквиниева клоака в Риме не менее поэтична, чем Ричмондхилл, а иные считают, что и более. Уберите прочь Рим, пусть останется Тибр да семь холмов — природа времени Эвандра (из Энеиды Виргилия), и пусть мистер Боулс, или мистер Вордсворт, или Саути, либо еще кто-нибудь из этих *натуралистов* напишет поэму об этих холмах, мы тогда посмотрим, где больше поэзии — в их произведениях или в самом обыкновенном путеводителе, который сообщает вам маршрут от святого Петра до Коллизея и кратко рассказывает, что вы можете обозреть по дороге. Описание местности у Виргилия интересно тем, что это Рим, а не тем, что это земельные владенья Эвандра.

Далее мистер Боулс пытается опереться на Гомера в своих возражениях на замечания мистера Кэмпбелла о том, что Гомер был великий мастер описывать различные предметы, созданные руками человеческими. Мистер Боулс утверждает, что даже в описании этих предметов вся его поэтическая сила зиждется на том, что эти предметы связаны с природой. Так, например, по его мнению, щит Ахилла приобретает для нас поэтический интерес только благодаря имеющимся на нем изображениям. Но откуда же тогда приобретает свой поэтический интерес Ахиллово копье? или латы и шлем Патрокла? и дарованное небом вооружение — наколенники медные и другие доспехи сих эллинов — прекрасно обуты? Разве только что от ног, спины, груди, от тела человеческого, которое они облакают? В таком случае было бы много «поэтичнее» заставить греков драться нагишом. И тогда Гулли и Грегсен, которые с этой точки зрения гораздо ближе к природе, ибо они выходят бороться на арену в одних коротких штанах, оказываются много поэтичнее, чем Ахилл или Гектор в своих сверкающих доспехах и со всем своим героическим оружием.

...Поговорим еще об этом превосходстве голый природы над произведением искусства в смысле использования их для поэтических целей. В искусстве живописи талантливый художник-пейзажист показывает нам не точную копию того или иного пейзажа, а некую созданную им композицию. Природа в ее естественном виде не дает ему той настоящей картины, которая ему нужна. Даже когда он изображает на

полотне какой-нибудь знаменитый город, или прославленный горный вид, или еще какую-нибудь местность, его изображение всегда будет дано под особым углом зрения; свет, тени, перспектива и пр.— все это будет учтено им таким образом, чтобы оттенить красоту и затушевать недостатки. Поэзии природы *точь-в-точь* такой, как она есть, недостаточно для его замысла. Даже небо на его полотне не есть точная копия или портрет неба в природе,— это композиция разного неба, наблюдаемого им в разное время, а не кусок неба, скопированный им в какой-то определенный день. А почему это так? Да потому, что природа не так уж щедро расточает свои красоты. Она разбрасывает их там и сям крохами, показывает их случайно, внезапно, их приходится выбирать тщательно и накапливать с трудом. ...Искусство, или произведение рук человеческих, используемое для целей поэтических, нисколько не ниже, чем сама природа... В чем заключается несомненное превосходство «Кораблекрушения» Фолконера над всеми прочими Кораблекрушениями? В его изумительном искусстве выражаться языком своего ремесла; в описании судьбы моряка языком поэта-моряка. И этот морской язык в его передаче — он-то и придает такую реальность и такую мощь его стихотворению. А почему так выходит? Да потому, что он поэт, а в руках поэта ремесло служит красоте не меньше, чем сама природа...

На вопрос — может ли описание карточной игры быть столь же поэтично, как описание прогулки в лесу, если допустить, что то и другое будет написано с одинаковой поэтической силой, ответить можно так: материал, разумеется, абсолютно не эквивалентен, но тот художник, который сумеет дать поэтическое описание карточной игры, будет несравненно выше. Однако вся эта расстановка поэтов мистером Булсом по каким-то категориям — сущий произвол с его стороны. Независимо от того, существуют или не существуют различные категории поэзии, поэт всегда ценится за свое исполнение, а не за тот или иной избранный им жанр искусства...

На мой взгляд — самый высокий род поэзии, это поэзия этическая, равно как высочайшим из всех достижений земных должна быть Нравственная Правда. Я не касался в моих рассуждениях религии — это нечто, лежащее за пределами сил человеческих, и кто из смертных ни пытался взяться за эту тему, она всем оказалась не под силу, кроме Мильтона и Данте, да и сам Данте вложил всю мощь своего гения главным образом в описание человеческих страстей, хотя бы и в сверхъестественных обстоятельствах. Что делает Сократа величайшим из людей? Его Нравственная Правда, его учение этическое. Что никак не меньше, чем его чудеса, заставило признать Иисуса сыном Божиим? Его нравственные заповеди.

И если этика делает философа первым среди людей и даже сам бог не пренебрег ею, положив ее в основу

своего учения, как можно говорить, что этическая либо наставительная поэзия, как бы ее ни назвать, словом, поэзия, которая ставит себе целью сделать людей лучше и умнее, не является наивысшей категорией поэзии?

...У нас теперь в моде подчеркивать с особенной силой значение воображения и выдумки—двух самых что ни на есть заурядных качеств. Какой-нибудь ирландский мужичок с легким винным паром в голове удивит вас такой игрой воображения и выдумкой, каких вы не найдете ни в одной современной поэме.

...Еще один последний пример силы «искусственного» и даже его превосходства над природой в поэзии — и на этом я кончаю. Бюст Антиноя — есть ли что-нибудь в целом мире, подобное этому мрамору, если не считать Венеру? Можно ли найти еще такое же соединение всего поэтического, как в этом удивительном творении, полном совершенной красоты? И, однако, поэзия этого бюста взята отнюдь не из природы и не имеет ни малейших ассоциаций с морально возвышенным. Ибо что общего между мрамором и этим любимцем Адриана? Да и самое выполнение этого бюста отнюдь не естественно, а сверхъестественно, или даже, вернее, сверхискусственно, ибо никогда природа не создавала такого совершенства.

Итак, покончим с этим сплошным вздором о природе и «неизменных принципах» поэзии. Великий художник может сделать грудю камня величественной, как гора, а хороший поэт сумеет вложить в коловду карт больше поэзии, чем ее можно найти во всех лесных дебрях Америки.

Старания пиитической братии наших дней подвергнуть Попа остракизму объясняются очень просто,— совсем как черепки афинян против Аристиды: ей надоело слушать, что его называют справедливым, а кроме того, сии пииты борются за свое существование, ибо, если Поп остается на своем месте, они упадут на свое, то есть полетят вниз...

Не может быть более зловещего признака испорченности вкуса, как это отрицание Попа...

О его силе в изображении страстей, в описательной поэзии или в комической героике, я предоставляю разглагольствовать другим. Я говорю о том, в чем он сильнее всего, я говорю об этической поэзии; в этом ему нет равных. А на мой взгляд, это высочайший род поэзии, ибо здесь стихом достигается то, чего величайшие из людей стремились достигнуть прозой. Если существом поэзии должна быть *ложь*, выбросьте ее вон на помойку. Или изгоните ее из республики вашей, как это сделал бы Платон. Только тот, кто может сочетать поэзию с правдой и разумом, только тот и есть истинный поэт в самом подлинном смысле слова — создатель, творец. А почему это должно непременно обозначать — враль, сочинитель, выдумщик? Человек может делать и создавать более достойные вещи.

ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА

ОБРАЩЕНИЕ К НЕАПОЛИТАНСКИМ ПОВСТАНЦАМ

Англичанин, друг свободы, будучи осведомлен, что неаполитанцы разрешают и чужеземцам помогать доброму делу, просит оказать ему великую честь и принять от него тысячу луйдоров, каковые он берет на себя смелость предложить. Имея возможность только что собственными глазами наблюдать деспотизм, проявляемый варварами в захваченных ими областях Италии, он с энтузиазмом, естественным для цивилизованного человека, смотрит на благородную решимость неаполитанцев отстоять завоеванную ими независимость. Как член английской палаты пэров, он был бы изменником тем принципам, в силу коих царствующая фамилия Англии взшла на трон английский, когда бы не чувствовал благодарности за великий урок, преподанный недавно как народам, так и королям. Лепта, которую он хотел бы внести, невелика, какой всегда является лепта отдельного человека целой стране, но он на-

деется, что она будет не последней из тех, что страна эта получит от его соотечественников. Удаленность его от границы и сознание собственной неспособности оказаться полезным на службе у государства не позволяют ему предложить себя в качестве лица, достойного хотя бы самого скромного назначения, требующего, однако, опыта и таланта. Но если в качестве простого добровольца он своим присутствием не окажется лишним бременем для того, кто будет им командовать, он готов явиться в любой указанный неаполитанским правительством пункт, дабы подчиняться приказаниям своего командира, преодолевать вместе с ним любые опасности, не ставя перед собой никакой иной цели, как разделить судьбу доблестного народа, защищающего себя от так называемого «Священного союза» — союза тирании и ханжества.

ИЗ ДНЕВНИКА (1821 г.)

Равенна 4 января 1821 г.

Мне внезапно пришла в голову мысль: дай-ка я опять примусь за дневник. Последний раз я вел дневник в Швейцарии — во время моего путешествия в Бернских Альпах в 1816 году; я делал путевые заметки, чтобы послать их сестре; думаю, что они и сейчас хранятся у нее, потому что она писала мне, что они ей понравились. Другой раз в течение более продолжительного времени я вел дневник в 1813—1814 годах, его я тогда же отдал Томасу Муру.

Сегодня утром встал поздно, как всегда, — погода хмурая, хмурая, как Англия, — хуже. Снег, выпавший на прошлой неделе, тает сегодня от сирокко — два удовольствия сразу. Не мог даже поехать верхом в лес. Сидел дома все утро: глядел в камин, гадал, когда придет почта. Почта пришла, когда звонили Ave Maria¹, вместо половины второго, как полагается. Шесть номеров «Мессенжера» Галиньяни, письмо из Фаэнцы, а из Англии ничего. По этой

¹ То есть к вечеру.

причине пришел в очень скверное настроение (потому что письма должны были быть) и по той же причине плотно пообедал, затем, что когда я раздражен, я глотаю быстрей; но пил очень мало.

Был не в духе, читал газеты, раздумывал, натолкнувшись на описание одного убийства в отделе происшествий, над тем, что такое слава; там говорилось, что «мистер Уич, лавочник в Тенбридже, продал грудинки, муки, сыру и, по некоторым предположениям, изюму некоей цыганке, обвиняющейся в преступлении. На прилавке у него (я цитирую совершенно точно) была книга «Жизнь Памелы», которую он употреблял на *обертку* и т. д., и т. д., а грудинка была завернута в лист из «Памелы». Что бы сказал Ричардсон, тщеславнейший и счастливейший из живых писателей (я хочу сказать, счастливейший при жизни), — он, который вместе с Аароном Хиллом предсказывал провал Фильдинга (Гомера прозы по силе изображения человеческой природы) и Попа (чудеснейшего из поэтов) и издевался над ними по этому поводу, — что сказал бы он, если бы мог проследить, как страницы его книги, красовавшейся на туалетном столе французских королей (см. «Джонсон» Босуэлла), перешли на прилавок бакалейной лавочки, где в них завернули грудинку, купленную убийцей-цыганкой! ! !

Что бы он сказал? А что можно сказать, кроме того, что давным-давно сказал Соломон? В конце концов это всего лишь переход с одного прилавка на другой — с книжного на бакалейный или кондитерский. Что касается меня, то мне чаще всего приходилось читать стихи, когда ими были оклеены стенки моего дорожного сундука, так что я склонен считать сундучных дел мастера чем-то вроде могильщика писателей.

Написал, примерно за полчаса, пять писем, коротких и свирепых, всем своим негодным корреспондентам. Подали коляску. Слушал рассказы о трех убийствах в Фаэнце и Форли — одного карабинера, одного контрабандиста и одного адвоката, — все три нынче ночью. Первые двое — в драке, последний — по злоумышлению.

Недели три тому назад, почти с месяц — 7-го это было, — я подобрал на улице смертельного раненого офицера, он умер в моем доме; убийцы неизвестны; полагают, что это преступление на политической почве. Вчера вечером я получил письмо из Рима от братьев убитого, которые благодарят меня за то, что я облегчил его последние минуты. Бедняга! Мне было жаль его. Он был хороший солдат, но человек неосторожный. Было восемь часов вечера, когда его убили. Раздался выстрел, мои слуги и я выбежали на улицу и нашли его умирающим; на теле у него было пять ран, две из них — смертельные, повидимому самодельными пулями. Я осмотрел его, но на вскрытие на следующий день не пошел.

Коляску подали в восемь или около того. Отправился с визитом к графине Г. Застал ее за клавикордами, болтали до десяти, пока не вернулись из театра сиятельный граф, ее отец, и не менее сиятельный граф — ее брат. Пьеса Альфиери «Филиппо», говорят, прошла с успехом.

Два дня тому назад неаполитанский король проезжал через Болонью, направляясь на конгресс в Лайбах. Мне это сообщил мой слуга Луиджи. Я посылал его в Болонью купить лампу. Чем все это кончится? Время покажет.

Вернулся домой в 11 или даже раньше. Если дорога и погода поправятся, думаю покататься завтра верхом. Давно бы пора; вся последняя неделя прошла так — сегодня снег и сирокко, завтра мороз и снег, — унылая погода для Италии. Но эти два сезона — прошлый и нынешний — исключение. Читал жизнь Леонардо да Винчи Росси, размышлял, написал эти строки и иду спать.

6 января 1821 г.

Туман, оттепель, слякоть, дождь. Верхом ехать невозможно. Читал Спенса — анекдоты. Поп — молодчина. Всегда я о нем так думал. Отметил неточности в девяти апофегах Бэкона, и все исторические. Читал «Грецию» Мидфорда. Сочинил эпиграмму. Полистал немножко Гингенэ, о котором упоминается в сочинении лорда Голленда о Лопеде-Вега. Написал заметку к «Дон-Жуану».

В восемь отправился с визитами. Слушал немножко музыки — люблю музыку. Говорил с графом Пьетро Г. насчет итальянского комедианта Вестри-са, он сейчас в Риме; я не раз видел его в Венеции — превосходный актер; немножко манерен, но в настоящей комедии великолепен, а также и в сентиментально-трогательных вещах. Он часто заставлял меня смеяться и плакать, а этого от меня теперь не так-то легко добиться, особенно актеру.

Думал о том, каково было женщинам в древней Греции — довольно недурно в общем. А теперешнее их положение — обедки варварства, рыцарских и феодальных времен — искусственно и неестественно. Им надлежит заниматься домашним очагом, сытно кормиться и хорошо одеваться, но они в сущности не являются частью общества; кроме того, они должны быть достаточно образованны по религиозной части, но им отнюдь не полагается интересоваться ни поэзией, ни политикой, словом ничем, кроме книг поваренных либо божественных. Музыка, рисование, танцы, иногда садоводство; кое-кто даже занимается огородом. В Эпире я видел, как они чинили дороги — и довольно недурно. Впрочем, почему бы и нет? Сне возможно в той же мере, как, например, косить сено или корову доить.

Вернулся домой, опять читал Мидфорда. Играл с мастифом. Кормил его. Сочинил второй вариант эпиграммы, но сохранил те же обороты.

Сегодня вечером в театре, в последнем действии комедии, появляется король на троне — публика гогочет и требует у него конституции. Вот каково здешнее настроение умов и вот чем объясняются убийства! Не поможет! Должна быть всемирная республика — и пора бы ей быть!

Ворон стал прихрамывать; понять не могу, с чего бы это могло случиться; наверно, какой-нибудь болван отдал ему лапу. Сокол чрезвычайно оживлен, коты громадные, шумливые, обезьян я не видел с тех пор, как похолодало, — их не годится выносить в такую погоду. Лошадки, должно быть, повеселели сейчас: поеду кататься, как только позволит погода. Все еще висит проклятый туман. Зима в Италии — унылая штука; зато все остальные времена года бесподобны.

Какая тому причина, что я всю жизнь чувствую себя *ennuyé*¹ и даже, пожалуй, сейчас несколько меньше, чем когда мне было лет двадцать, сколько я могу припомнить. Не знаю, как на сие ответить, но полагаю, что это зависит от моей конституции, так же как и то, что я обычно просыпаюсь в самом подавленном состоянии — и это неизменно, на протяжении многих лет. Воздержание и гимнастика — и тем и другим я увлекался подолгу и с яростным упорством — оказывают на это ничтожное действие или вовсе никакого. Бурные переживания — наоборот, они как-то странно взвинчивают меня, но отнюдь не подавляют; содовая вода действовала на меня опьяняюще, вроде легкого шампанского, а вот вино и крепкие напитки погружали меня в мрачное, дикое и почти свирепое состояние. Если со мной никто не заговаривал, я бывал замкнут, молчалив и отнюдь не задирист. Плаванье тоже повышает мое настроение, но в общем оно все же далеко не веселое и с каждым днем все ухудшается. Это что-то безнадежное. Потому что я, пожалуй, сейчас не столь *ennuyé*, как в девятнадцать лет.

Мне тогда требовалось играть в азартные игры, пить, двигаться неведомо куда, иначе я чувствовал себя совершенно несчастным. Теперь же я могу спокойно пребывать в отупении — и все. Даже предпочитаю свое одиночество любому обществу, исключая общество дамы, у каковой я нахожусь в почетном рабстве. Но я ощущаю в себе нечто такое, что мне иногда кажется: если я когда-нибудь доживу до старости, как Свифт, «я начну умирать сверху». Только я не так страшусь сумасшествия или идиотизма, как он этого боялся. Напротив, я думаю, что оба эти состояния в их спокойных стадиях много лучше, чем то, что люди называют полным сознанием.

Все еще дождь, туман, снег, слякоть и самые непредвиденные комбинации, порожденные климатом, в котором жара и холод борются между собою. Читал Спенса, просматривал Роско, искал одно место, но так его и не нашел. Читал четвертый том Вальтера Скотта, вторую серию «Рассказов моего хозяина». Обедал. Читал «Газетта ди Лугано». Читал — не помню что. В восемь отправился на конферсанционе. Застал там графиню Гельтруде, Берри В., ее супруга и других. Графиня хорошенькая, черноглазая, ей только девятнадцать лет, столько же, сколько и Терезе, но Тереза красивее.

Граф Пьетро Г. отвел меня в сторону и сказал мне, что патриоты получили сообщение из Форли (в двадцати милях отсюда), что нынешней ночью правительство и его партия намереваются учинить расправу; что кардинал получил распоряжение произвести немедленно несколько арестов и что в связи с этим либералы вооружаются и расставили патрули на улицах, чтобы поднять тревогу и дать сигнал к сопротивлению.

Он спросил меня: «Что делать?» Я ответил: «Лучше драться, чем быть захваченным поодиночке», — и предложил дать убежище у меня в доме (он хорошо защищен) тем из них, кому угрожает немедленный арест, и защищать их, пока будет возможно, при их собственном участии и с помощью моих слуг (у нас есть оружие и патроны) или попытаться переправить их под покровом ночи в безопасное место. Когда мы возвращались домой, я предложил ему пистолеты, которые у меня были с собой, — он от них отказался, но пообещал дать мне знать тотчас же, если что случится.

До полуночи осталось полчаса, льет дождь. Как говорит Джиббетт, «прекрасная ночь для их затей, темно, как в аду, и дьявольский ветер». Если восстание не произойдет сейчас, то оно случится в недалеком будущем. Я был уверен, что их система расправляться с людьми скоро вызовет реакцию, — и вот сейчас это, повидимому, надвигается. Если надо будет драться, сделаю все, что смогу, хотя я несколько поотвык от этого занятия! Дело это — справедливое дело.

Просмотрел с полдюжины книг, искал нужный мне отрывок. Не могу найти. Жду с минуты на минуту, что загремит барабан и начнется мушкетная пальба (ибо они поклялись сопротивляться — и совершенно правы), но пока что ничего не слышно, кроме плеска дождя, а в промежутках — завывания ветра. Не хочется ложиться спать, потому что я терпеть не могу, когда меня будят; пожалуй, лучше посижу и дождусь перестрелки, раз уж она должна быть.

Прибавил огня в камине, достал оружие и двести книжки, пока что их можно будет полистать. Не знаю точно, сколько у них народа, но думаю

¹ Скучающим (*франц.*).

что даже здесь карбонарии достаточно сильны, чтобы сладить с солдатами. С двадцатью людьми мой дом можно защищать в течение двадцати четырех часов против того количества нападающих, которое правительство способно выставить *сейчас в этой горюде*, а тем временем весть о сопротивлении карбонариев разнесется по стране, и она восстанет, если только она когда-нибудь восстанет, в чем я не совсем уверен. Пока что можно почитать — я один, и делать мне нечего.

8 января 1821 г., понедельник.

Встал и обнаружил, что граф П. Г. уже у меня. Отослал слугу. Г. рассказал мне, что, по самым достоверным сведениям, правительство не отдавало распоряжения об арестах, ожидаемое выступление сан-федистов в Форли, противников карбонариев и либералов, не состоялось; пока его еще только опасаются. Он попросил у меня кой-какого оружия получше, и я дал ему. Сговорились, что в случае перепалки либералы соберутся здесь (у меня), он уже дал знать об этом Винченце Г. и еще кое-кому из главарей. Сам он и его отец отправляются *на охоту* в лес; но В. Г. придет ко мне, и, если что-нибудь случится, мы пошлем к П. Г. нарочного.

Я посоветовал им нападать порознь, отдельными группами и в разных местах (но одновременно), чтобы расчленили силы войсковых частей, которые, несмотря на свою малочисленность, будучи дисциплинированными, одолеют в правильном бою любую толпу (не имеющую выучки), если только она не разобьется на мелкие отряды и не будет атаковать их на нескольких участках сразу. Предложил устроить сбор здесь, если они хотят, — это сильная позиция: узкая улица, которую можно держать под обстрелом, и надежные стены.

Обедал. Примерял новый костюм. Письмо Мэрею с поправками к Бэконовым «Апофегам» и эпиграммой, — последняя не для опубликования. В восемь отправился к Терезе, графине Г. В половине десятого пришли граф П. и граф П. Г. Говорили о недавно выпущенной прокламации. Граф П. Г. виделся с ***, чтобы поразузнать у него насчет арестов. Он служит и нашим и вашим, и сейчас, пользуясь моментом, загребает карты обеими руками, — если он не поостережется, у него их окажется больше, чем нужно. *** утверждает (я не верю ему — они верят, кто прав — увидим), что приказа об арестах не было, и притворяется, будто он потрясен необыкновенным рвением неаполитанцев и неистовым духом здешних либералов. Все дело в том, что *** просто беспокоится о своем местечке (кстати сказать, довольно тепленьком) и старается заигрывать с обеими партиями. За последние три месяца он менял свои взгляды раз тридцать — мне это известно, потому что он переписывается со мной. Но он не кровожаден, — только алчен.

Похоже, что сейчас (как говорит Лидия Лэнгвинш) «похищение так-таки и не состоится». Жаль, что я этого не знал вчера ночью или, верней, сегодня утром, я бы лег спать на два часа раньше. Однако жаловаться не приходится, — несмотря на сирокко и на проливной дождь, я за эти два дня ни разу не зевнул.

Вернулся домой. Читал историю Греции, до обеда читал «Роб-Рой» Вальтера Скотта. Написал адрес на ответном письме к Алессио дель-Пинто, который благодарил меня за помощь, оказанную его брату (покойному офицеру, убитому здесь месяц тому назад) в его последние минуты. Написал ему, что я выполнил только долг человечности, — так оно и было на самом деле. Брат живет в Риме.

Подбросил в огонь несколько сгоболи (романольское слово) и напил сокола. Выпил сельтерской воды. *Мемор.* Получил сегодня гравюру или оттиск — история Уголино, итальянского художника; это, конечно, не похоже на сэра Джошуа Рейнольдса, но думало, если память мне не изменяет, что *не хуже*, потому что Рейнольдс не силен в истории. Оборвал пуговицу на своем новом костюме.

Интересно, как будут себя вести итальянцы, если начнется настоящее восстание. Мне иногда кажется, что они, как тот ирландец, которому кто-то продал кривое ружье, способны только «стрелять из-за угла»; по крайней мере к такого рода стрельбе сводились все их последние подвиги. И, однако, в этом народе есть и материал, и благородная энергия, нужно лишь дать им благое направление, но кто бы мог направить их? Неважно. Такие минуты рождают героев. Препятствия — это очаги высокого духа, а Свобода — мать немногих добродетелей, заложенных в человеческой природе.

9 января 1821 г., вторник.

Встал — день чудесный. Велел седлать лошадей. Но Лега (мой *секретарь* — это итальянизм, здесь так называют дворецкого или старшего слугу) пришел сказать мне, что художник кончил работу над фреской в комнате, которую ему было поручено отделать. Я пошел посмотреть перед тем, как поехал кататься. В общем и принимая во внимание разные обстоятельства, можно сказать, что художник сделал недурные копии с Тициана.

Обедал. Читал Джонсона «Тщета человеческих желаний» — все примеры, и то, как он их преподносит, — великолепно, так же как и последняя часть, за исключением одного-двух четверостиший. От вступления я не в таком уже восторге. Мне вспоминается замечание Шарпа, что первая строчка этой поэмы лишняя и что Поп (лучший из поэтов, по моему мнению) начал бы сразу, изменив только знаки препинания. «Взгляни на род людской — Китай и Перу...» Предшествующая строка «Дай волю на-

блюдательности...» и т. д., несомненно, тяжела, и ее можно отбросить. Но какая все же величественная поэма и как верно! Так же верно, как у самого Ювенала в его десятой сатире. Течение веков *меняет* все в мире — время, язык, землю, пределы морей, звезды на небе и все, что есть «вблизи, вокруг и под ногами» человека, за исключением самого человека, который всегда был и будет жалкой тварью. Бесконечное многообразие жизней ведет не к чему иному, как к смерти, а бесконечность желаний приводит всего-навсего к разочарованию. Все открытия, которые были сделаны, мало что прибавили к человеческому существованию. На смену одной искорененной болезни приходит новый мор; а Новый Свет немного принес Старому, за исключением сперва сифилиса, а потом уже свободы; *последняя* — драгоценный дар, особенно если вспомнить, что в обмен Америка получила рабство.

Однако неизвестно, не считают ли «монархи» первое лучшим подарком для своих подданных, чем второе.

В восемь вышел, слышал кое-какие новости. Говорят, неаполитанский король через курьеров, посланных им из Флоренции, объявил *державам* (так теперь называют этих каналов в коронах), что его конституция была вынужденной и т. д., и т. д. и австрийские варвары уже приглашены в качестве наемных войск и выступают в поход. Пусть «они придут, как убранный жертва», проклятые собаки! Будем надеяться, что мы увидим горы их костей, подобные гудам костей человеческих собак, которые я видел в Морате, в Швейцарии.

Слушал музыку. В девять — обычные гости, новости, *войны* или слухи о войне. Разговаривал с П. Г. и т. д., и т. д. Они решили *восстать* и делают мне честь, предлагая мне принять в этом участие. Я не отступлю. Хотя я и не думаю, чтобы у них было достаточно силы и энергии, чтобы многого добиться. Но *вперед!* Сейчас время действовать. И что такое я, если хоть единая искра того, что достойно прошлого, может, не угаснув, быть завещана будущему. Дело здесь не в одном человеке, не в миллионе, а в *духе* свободы, который должен распространиться. Волны, ударяющие о берег, разбиваются одна за другой, но океан все-таки побеждает. Он топит армады, точит скалы, и если верить нептуньянцам, он не только разрушал, но и создал мир. И точно так же, сколько бы ни приносилось в жертву отдельных лиц, великое дело будет крепнуть, сметать все, что не поддается, и удобрять (ведь морские водоросли — это удобрение) то, что плодоносно. Итак, не следует в таких случаях заниматься мелкими эгоистическими расчетами; и я сейчас рассчитывать не стану. Я никогда не был силен в расчете случайностей и не собираюсь заниматься этим теперь.

Читал письма. Поправлял трагедию и Горацийев *Перифраз*. Пообедал, и настроение улучшилось. Прошелся, вернулся, закончил письма, пять штук. Читал *Поэтов* и прочел одну историю из книги Спенса.

Алл. пишет мне, что папа, герцог Тосканский и король Сардинии также приглашены на конгресс, но от папы будет выступать его представитель. Итак, интересы миллионов находятся в руках примерно двадцати лоботрясов, собравшихся в местечке, именуемом Лайбах. Я был бы почти огорчен, если бы мои личные дела шли хорошо, в то время как судьбы народов находятся в опасности. Если бы положение человечества могло быть существенно улучшено (в частности, положение угнетенных итальянцев), я не придавал бы такого значения моему собственному я. Пошли, боже, нам всем лучшие времена и побольше философии!

Читая Тома Кэмпбелла, наткнулся на следующее рассуждение: говоря о Коллинзе, он утверждает, что читателю столь же мало дела до подлинности обстановки в его Эклогах, как до достоверности сказанья о Трое. Это неверно, нам *есть* дело до «достоверности сказанья о Трое». В 1810 году я целый месяц *изо дня в день* ходил гулять по этой равнине, и если что отравляло мне удовольствие, так это то, что негодяй Брайан взял под сомнение подлинность Гомерова сказанья. Правда, я прочел пародированного Гомера (первые двенадцать книг), потому что Гобхауз и прочие донимали меня своими учеными цитатами, а я люблю дразнить людей. Но это не мешало мне относиться с благоговением к великому оригиналу, живописующему правду *истории* (то есть подлинных событий) и *места*. Иначе он не доставил бы мне никакой радости. Когда я склоняюсь перед величавой гробницей, кто убедит меня, что в ней не покоятся останки героя? Самое ее величие уже это доказывает. Люди не трудятся над увековечением памяти недостойных и жалких мертвецов. И почему эти мертвецы не могут быть Гомеровыми мертвецами? А Том Кэмпбелл защищает неточности в изображении костюмов и в описаниях просто-напросто потому, что в его «Гертруде» обстановка столь же напоминает Пенсильванию, сколько и Пенманмор. Описания полны грубых ошибок, так утверждают все американцы, хотя они и хвалят отдельные места поэмы. Вот так-то самовлюбленность выползает тайком, как змея, и жалит все, что хотя бы ненароком ее уязвило.

12 января 1821 г.

Погода все еще стоит такая сырая и невыносимая, что даже Лондон с его самыми беспросветными туманами — просто благодать по сравнению с этой мглой и сирокко, которые длятся (с пере-

дышкой в один единственный день) с 30-го декабря 1820 года, перемежаясь только снегом да проливным дождем. Хорошо еще, что у меня есть некоторая склонность к литературе, но все-таки это ужасно скучно, что вот уж сколько дней нельзя покатыться в свое удовольствие ни на чем, кроме Пегаса. Дороги сейчас, пожалуй, даже хуже погоды; бесконечные лужи, земля размыта дождем, и вода все прибывает.

Читал Поэтов — англичан, я имею в виду — в издании Кэмпбелла. Масса *тафты* в предисловиях и вступительных фразах у Тома. Но в целом — труд похвальный. Впрочем, мне больше нравятся его стихи.

Мэррей пишет, что они там хотят *поставить* трагедию «Марино Фальери», — этакое дурачье! Она написана для чтения. Я уже ответил, что я не согласен на такую узурпацию (которая как будто считается вполне законной у директоров театров по отношению к любой напечатанной вещи, хотя бы и против желания автора), надеюсь, что они не осмелятся на такую штуку. Почему бы им не вытащить на свет кого-нибудь из несметного числа тех, кто жаждет театральной славы и от произведений которых трещат полки, вместо того чтобы насильно выволакивать меня из библиотеки? Я сочинил очень свирепый протест против всяких попыток такого рода, но пока еще надеюсь, что обойдется и без этого, потому что они сами сразу увидят, что вещь эта не для сцены. Это чересчур строго выдержано, все происходит за одни сутки, мало перемен по части места действия, никакой мелодраматике, никаких сюрпризов, трюков, провалов в люки, никаких поводов потрясать головой и гарцовать на месте. Кроме того, *нет любви*, величайшего из элементов современной пьесы.

Наконец я догадался, что изображает эта печать на письме Мэррея — это, должно быть, голова Вальтера Скотта — или сэра Вальтера — первого поэта, получившего титул со времен сэра Ричарда Блэкмора. Но рисунок плохо передает его черты. У Скотта, в особенности когда он читает вслух, очень вдумчивое выражение, а здесь этого нет.

Скотт, конечно, самый замечательный из современных писателей, его романы — это само по себе нововосшествие в литературе, и стихи его не хуже, чем у других, даже, пожалуй, и лучше (только они построены на ложной основе), и он только потому несколько утратил свою былую популярность, что ученым пошлякам надоело слушать, как Аристиды именуют справедливым, а Скотта — превосходным, вот они и подвергли его остракизму.

Люблю его еще за врожденное благородство, за необычайную приятность его беседы, за его добросердечие лично ко мне: желаю ему всяческого преуспевания, ибо он заслуживает этого! Не знаю книги, за которую я хватался бы с такой жадностью,

как за произведения Вальтера Скотта. Подарю сегодня вечером эту печать с его бюстом графине Г., ей будет приятно иметь у себя изображение такого прославленного человека.

Тот же день. Полночь.

Читал в итальянском переводе Гвидо Сорелли немца Грильпарцера — вот чортово имечко для запоминания потомству! однако ему все же придется научиться произносить его. Со всеми скидками на перевод, и тем более на итальянский перевод (хуже итальянцев нет на свете переводчиков, исключая только, когда они переводят классиков, как Аннибал Карро, например, — тут этот незаконно прижитый язык даже помогает им, потому что они, притворяясь законнорожденными, просто подражают своему праязыку), — так вот со всеми скидками, либо уступками на недостатки такого рода, трагедия «Сафо» превосходна, божественна! отрицать это никак невозможно. Этот человек совершил великое, написав эту трагедию. А кто он такой? Я его не знаю, но в веках его будут знать. Истинно высокий ум!

Должен признаться, однако, что я никогда не читал ничего Адольфа Мюльнера (автора «Преступления») и даже Гете, Шиллера и Виланда читал гораздо меньше, чем мне хотелось бы. Я знаю их только по французским, английским и итальянским переводам, а подлинный их язык мне совершенно неизвестен, разве что кроме ругательств, которым меня выучили кучера да таможенные чиновники во время своих перебранок. Я могу ругаться по-немецки, коли мне придет фантазия, самым могучим образом: «Сакрамент, Ферфлюхтер, Хундсфот» и так далее. Но, помимо этого, их разговорный выразительный язык мне почти совершенно неизвестен.

Однако женщины их мне нравятся (я однажды был безумно влюблен в одну немку, Констанцию), а также и то, что я читал или переводил из их сочинений, и то, что мне привелось видеть на Рейне — окрестности, народ — все, за исключением австрийцев, которых я ненавижу...

Грильпарцер величественен, античен, *не так прост*, как древние, но весьма прост для современника, временами немного слишком уж «мадам де-Сталь'ист», но все же большой и достойный писатель.

13 января 1821 г., суббота.

Набросал общий план и наметил действующих лиц для трагедии о Сарданапале, о которой я с некоторых пор думаю. Имена взял из Диодора Сицилийского (я знаю историю Сарданапала, знал ее еще с двенадцати лет) и перечитал кое-что в девятом томе ин-октаво «Греции» Милфорда, где автор несколько реабилитирует память этого последнего из ассирийских царей.

Обедал. Новости — *державы* собираются воевать с народами. Источник сведений как будто надежный. Пусть, — их в конце концов разобьют. Времена королей быстро идут к концу. Кровь будет литься, как вода, и земля пропитается слезами, но в конце концов народы победят. Я не доживу и не увижу этого, но знаю, что так будет.

Отнес Терезе итальянский перевод «Сафо» Грильпарцера, который она обещала прочитать. Она вступила со мной в спор, потому что я сказал ей, что любовь вовсе не самая возвышенная тема для истинной трагедии; и так как преимущество было на ее стороне — спор шел на ее родном языке, — она с естественным женским красноречием разбила все мои доводы. Я думаю, что она права. Надо ввести в Сарданапала больше любви, чем я намеревался. Конечно, *если* события оставят мне для этого досуг. Но только это «*если*» не сулит мира.

15 января 1821 г.

Погода чудесная. Принимал гостя. Катался верхом по лесу. Стрелял из пистолетов. Вернулся домой. Обедал. Порылся в «Греции» Мидфорда. Написал часть действия «Сарданапала». Вышел из дому. Слушал немного музыку. Слышал кое-какие политические новости. Еще несколько министров из других итальянских государств отправились на конгресс. Войны, кажется, не миновать, и, если так, это будет жестокая война. Разговаривал о некоторых важных вещах с одним из посвященных. В половине одиннадцатого вернулся домой.

Сейчас мне вспомнилась одна смешная история. В 1814 году мы с Муром («поэтом *par excellence*»¹, и он заслуживает такого названия) ехали вместе в карете на обед к лорду Грею, *Saro Politico*² победенных вигов. Мэррей Великолепный (знаменитый издатель) только что прислал мне яванскую газету, не знаю зачем и почему. Мы из любопытства раскрыли ее и обнаружили полемику (в вышеозначенной яванской газете) по поводу сравнительных достоинств Мура и моих. Будь я на Яве, я избавил бы их от труда спорить на эту тему. Но, как-никак, это слава в 26 лет! Александр в этом возрасте завоевал Индию. Однако я сомневаюсь, чтобы в его время на острове Яве стали спорить о нем или сравнивать его победы с победами Вакха Индийского. Это великая слава — быть названным рядом с Муром, еще большая, что меня сравнивали с ним, и величайшее удовольствие быть с ним; и действительно, это было странное совпадение, что мы ехали вместе обедать, в то время как из-за нас ссорились по ту сторону экватора.

¹ Прежде всего (франц.).

² Политический вождь (итал.).

Так вот, в тот же вечер я познакомился с художником Лоуренсом и слушал, как одна из дочерей лорда Грея (красивая, высокая девушка с одухотворенным лицом и врожденным патрицианством, таким же, как у ее отца и которое я так люблю) играла на арфе, играла так скромно, с такой неприужденностью, что она казалась самой музыкой. Так вот я предпочел бы беседу с Лоуренсом (чудесным собеседником) и игру этой девушки всей славе, и моей и Мура, вместе взятой.

Единственное удовольствие от славы это то, что она открывает путь к удовольствиям; и чем более интеллектуальны наши удовольствия, тем лучше для удовольствия, да и для нас. Однако все же это было приятно — насладиться нашей славой до обеда, а игрой этой девушки на арфе — после обеда.

21 января 1821 г.

Погожий ясный морозный денек, то есть мороз, конечно итальянский, потому что для их зимы если снег выпал, — и то уж слишком много. По этой причине здесь никто не умеет кататься на коньках — голландское и английское искусство. Ездил верхом, как всегда, и стрелял из пистолета. Пострелял прекрасно, сшиб четыре обыкновенных, даже скорее маленьких, бутылки четырьмя выстрелами за четырнадцать лошадиных шагов, при этом из двух простых пистолетов, да еще со скверным порохом. Это почти так же здорово в смысле стрельбы в цель (принимая во внимание различие в порохе и в пистолетах), как в 1809, 10, 11, 12, 13, 14 годах, когда я ухитрялся в двенадцати шагах расщеплять пулей трость, попадать в облачки, полукроны, шиллинги и даже в ободок на балдашнике трости — и при этом сразу, с первого выстрела. И все это просто с помощью простого глазомера и расчета, потому что рука у меня не твердая, на нее действует всякое колебание погоды. Эти доблести, о которых я здесь пишу, могут засвидетельствовать Джо Мантон, да и иные тоже, ибо первый научил меня совершать их, а другие видели, как я совершал оные.

Обедал, ездил в гости, вернулся домой, читал. Сделал заметку к одному высказыванию в переписке Гримма, где говорится, что «Реньяр и большинство комических поэтов были люди желчные и меланхолические и что господин Вольтер, очень веселый человек, ничего в сущности не писал, кроме трагедий и веселая комедия была единственным жанром, который ему совершенно не удавался, потому что тот, кто смеется, и тот, кто смешит, это два совершенно разных человека».

А я сейчас чувствую себя таким желчным, как самый наютменнейший комический писатель (вроде как сам Реньяр, который, после Мольера, написал несколько лучших комедий, а кончил, кажется,

тем, что наложил на себя руки),— и нет у меня духу продолжать эту трагедию «Сарданапал», которую я задумал. Вот уж несколько дней, как я перестал ее писать.

Завтра день моего рождения, иначе говоря — в двенадцать часов ночи, то есть ровно через двенадцать минут, завершится мои тридцать три года. Отправляюсь спать с тяжелым сердцем из-за того, что я прожил так долго, а сделал так мало.

Три минуты первого. «Полночь на башенных часах» — и вот уже мне стукнуло тридцать три!

Eheu fugaces, Posthume, Posthume,

Labuntur anni...¹

Но я жалею о них не столько из-за того, что сделал, а из-за того что мог бы сделать.

Дорогой жизни грязной и темной
Тридцать три года тащился я ровно —
Что ж мне осталось от этих лет?
Тридцать три года — вот и весь след.

24 января 1821 г.

Ехал домой, встретил несколько масок на Курсо. Vive la bagatelle². Немцы подходят к По, варвары у ворот, их господа на совете в Лайбахе (или как он там называется; немисливо передать это звукоизвержение человеческим языком), а они-то тут! — танцуют, поют, веселятся, «ибо завтра, может быть, умрут». Кто осмелится сказать, что Арлекин неправ?..

Обедал (чорт бы побрал это перо!). Мясо жесткое, нет в Италии сколько-нибудь съедобных бифштеков, разве что для человека, который способен съесть старого, пропекшегося на солнце вола вместе со шкурой.

Главные участники предстоящих событий, которые могут произойти через несколько дней, отправившись на охоту. Если бы это было нечто вроде «шотландской охоты», то есть предлог для того, чтобы собрать большой совет главарей и участников, тогда все было бы очень хорошо. Но это и в самом деле ни больше, ни меньше, как слюнявая, бессмысленная трескотня, вздорная стрельба по мелкой дичи, пустая трата пороха и дроби ради собственного удовольствия. Нечего сказать — «подходящая компания для того, чтобы вместе с ними рисковать головой», как говорит маршал Уэллс в «Черном кармике».

Если они выступят, «а сие сомнительно», то вряд ли им удастся собрать больше тысячи человек. Дело в том, что народ в этом не заинтересован, — заинтересованы только высшие и средние слои. Хорошо, если бы присоединились крестьяне, —

это прекрасный, дикий народ, настоящие двуногие леопарды. Но болонцы не пойдут, а романьольцы без них тоже не пойдут. А если они все же сделают попытку — что тогда? Что ж, они будут пытаться, а что может человек сделать большего? Когда человек пытается изо всех сил, многого можно добиться. Взять хотя бы голландцев в их борьбе против испанцев — тогдашних тиранов Европы, затем рабов и только с недавних пор «свободных» граждан...

26 января 1821 г.

Прекрасный день, редкие лохматые хвосты на небе, предвещающие перемену, но в общем небо ясное. Ездил верхом, стрелял из пистолета, настрелялся всласть. На обратном пути встретил старика. Подал милостыню, купил спасенья души на шиллинг. Если оно покупается, то я уже заплатил за него в этой жизни, ибо на своем веку роздал своим ближним больше, чем я сейчас имею, — иногда за пороки, а чаще, или во всяком случае более щедро, — за добродетели. Никогда в жизни не давал я любовнице столько, сколько давал честному человеку, придавленному нуждой. Впрочем, неважно. Негодяи, которые так долго преследовали меня (с помощью ***, которая завершила их усилия), будут торжествовать, и если мне когда-нибудь воздадут по справедливости, это случится тогда, когда рука, которая это пишет сейчас, будет уже столь же холодна, сколь и сердца, которые меня терзали.

Возвращаясь, встретил на мосту около мельницы старуху. Я спросил ее, сколько ей лет? Она сказала: Tre sposi¹. Я спросил моего грума (хотя и сам неплохо знаю итальянский язык), какого дьявола обозначают эти ее три креста? Он ответил: «Девяносто лет», — и прибавил, что ей еще на пять лет больше! Я переспросил его три раза, чтобы убедиться, что я не ошибся — действительно девяносто пять лет!!! И она еще довольно бодрая, — она слышала мой вопрос, потому что ответила мне, видела меня, так как подошла ко мне — и вовсе не производит впечатления дряхлой, хотя, конечно, время оставило на ней свой след. Сказал ей, чтобы она пришла ко мне завтра, я хочу поговорить с ней. Я люблю такие редкости. Если ей действительно девяносто пять лет, она должна помнить кардинала Альберони, который был здесь легатом.

Сходя с лошади, увидел лейтенанта Е., который только что прибыл из Фазнцы, позвал его завтра обедать, сегодня не позвал, потому что у меня сегодня на обед маленький тюрбо (пятница — поцусь неуклонно и набожно) и мне хочется съесть его целиком самому. Съел.

Вышел, застал Т., как всегда — музыка. Джентльмены, которые занимаются революцией и от-

¹ Увы. Постумий. Постумий.
Бегут быстрые годы... (Горацій).
² Да здравствует шутка (франц.).

¹ Три креста (итал.).

правились пострелять, еще не вернулись. Они не вернутся до воскресенья, иными словами будут в отсутствии пять дней, занимаясь пустяками, в то время как интересы целой страны поставлены на карту, да и сами они под подозрением.

Трудно иметь дело с людьми, среди которых столько бандитов и шутов,—но когда накип съимут или она перекипит, из этого может получиться прок. Если бы только Италия могла быть освобождена! Чем не пожертвуешь, чтобы осуществить эту мечту, покончить с этой вековой скорбью веков! Будем надеяться. Народ надеется вот уже тысячу лет. Простая случайность может привести к удаче, как в игре в кости.

Если бы среди неаполитанцев был хоть единый Массаниелло — они бы победили этих кровавых палачей от короны и от шпаги. Голландия в более трудных условиях победила Испанию и Филиппа; Америка разбила англичан, Греция — Ксеркса, и Франция побеждала Европу, пока не подчинилась тирану. Если только эти люди будут держаться твердо, ничто извне не сокрушит их.

28 января 1821 г.

«Газета ди Лугано» не пришла. Письма из Венеции. Похоже, что австрийские скоты захватили три или четыре фунта моего английского пороха. Мерзавцы! Надеюсь, что расплачусь с ними за этот порох пулями. Катался верхом до сумерек.

Обдумывал сюжеты четырех трагедий, которые хочу написать (если жизнь и обстоятельства позволят), а именно «Сарданапала», который уже начат; «Каина», метафизический сюжет — нечто в стиле «Манфреда», но в пяти актах, возможно с хорами; «Франческу да Римини» в пяти актах; впрочем, я не уверен, что не попробую взяться еще и за «Тиберию». Думаю, что я сумею найти истинный трагизм, по крайней мере мой трагизм в этой теме — мрачное уединение и старость тирана и даже его пребывание на Капри; надо смягчить подробности и показать отчаяние, которое должно было привести к этим крайне порочным наслаждениям. Ибо только мощный и мрачный дух, будучи сломлен, способен искать прибежища в таком населенном ужасами одиночестве, и к тому же он был старик и владыка мира.

* * *

Что такое поэзия? Ощущение прошлого мира и будущего.

* * *

Почему на самой вершине желаний и человеческих радостей светских, общественных, любовных, честолюбивых или даже радостей скупца, к ним всегда примешивается какал-то доля сомнения и гру-

сти—страха перед тем, что будет,—сомнения перед тем, что *есть*, оглядка на прошлое, которая заставляет нас гадать о будущем? (Лучший предсказатель будущего — это Прошлое.) Почему это так — я не знаю; разве что на вершине мы более всего подвержены головокружению и страх перед падением овладевает нами лишь тогда, когда мы стоим высоко над бездной — и чем выше, тем это страшнее и тем величественнее; и поэтому я не уверен, что страх не есть приятное ощущение; во всяком случае *Надежда* приятна, а бывает ли надежда без затаенного страха? А какое ощущение так радостно, как надежда? И если бы не надежда, где было бы будущее? — в преисподней. Не стоит говорить о том, где сейчас Настоящее, потому что большинство из нас это знает; а что касается Прошлого, то что же ярче всего живет в памяти? *Обманутая Надежда*. Ergo¹, во всех человеческих делах главное—это надежда, надежда, надежда. Любое обладание или иллюзия, что ты чем-то обладаешь, длится не более шестнадцати минут (хотя я, признаться, их и не считал). Откуда бы мы ни начали, мы знаем, что все кончится, и, однако, какой прок в том, что мы это знаем? Это не делает людей ни умней, ни лучше. Во время величайших ужасов, когда свирепствовал жестокий мор в Афинах, например, и во Флоренции (см. Фукидида и Макиавелли), люди вели себя еще более жестоко и безрассудно, чем когда бы то ни было. Все это загадка. Я чувствую многое, но я не знаю ничего, кроме

Размышления для речи Люцифера в трагедии «Каин»:

Когда бы смерть была лишь злом — безумец!
Жить разве я позволил бы тебе!
Живи, как я живу, как жил отец твой,
Как будут жить и правнуки твои.

Час ночи.

Читал только что Фридриха Шлегеля (брат другого Шлегеля) и не могу притти ни к какому выводу. Он, несомненно, обнаруживает большую силу слова, но нет у него ничего, за что бы можно было ухватиться. Он вроде нашего английского Хэзлитта, чья речь напоминает прыщи,—подымаются красные и белые припухлости (слабое подражание горам в атласе), но они не содержат ничего и не разрешаются ничем, кроме собственных выделений. Я его еще оттого не терплю (этого Шлегеля), что вечно кажется, будто он вот-вот что-то разъяснит, а глядишь — он гаснет, как закат, или тает, как радуга, оставляя за собой довольно живописный хаос, для которого, однако, вышеприведенные сравнения, пожалуй, слишком лестны.

¹ Следовательно (лат.).

Продолжаю читать Фридриха Шлегеля. Он не так глуп, как мне показалось, по крайней мере когда говорит о севере. Но он берется рассуждать о чем угодно и с таким апломбом, какого не позволил бы себе философ, а человек, обладающий здравым умом и чувством и сознающий свое невежество, постыдился бы. Этот господин явно старается произвести впечатление, подобно своему брату или Джорджу в «Векфильдском священнике», который пришел к выводу, что все, что можно сказать в доказательство истины, уже давно сказано, и потому соотряпал несколько парадоксов в доказательство обратного — остроумных, но фальшивых, как он сам говорит, против которых ученый мир не нашелся ничего возразить, «ровно ничего, сэр». «Ученый мир», однако, нашел, что возразить братьям Шлегелям.

Пора уже подумать о чем-нибудь другом. То, что он говорит о северных памятниках старины, это лучше всего.

29 января 1821 г.

Вчера эта девяностопятилетняя женщина была у меня. Она рассказала мне, что ее старшему сыну, останься он жив сейчас, было бы семьдесят лет. Сама она, иссохшая, маленькая, но бодрая, «слышит и видит» и трещит безумолку. У нее сохранилось еще несколько зубов — все на нижней челюсти — и один спереди. Лицо изрезано глубокими морщинами, а на подбородке торчит что-то вроде редкой седой бородачки, по меньшей мере такой же длины, как мои усы. Голова ее очень похожа на карандашный рисунок Попа, который он сделал со своей матери, — он есть в некоторых его изданиях.

Я забыл спросить ее, помнит ли она Альберони (здешнего легата), спрошу в следующий раз. Дал ей лундир, заказал для нее новую одежду и назначил ей еженедельный пенсион. До сих пор она перебивалась тем, что собирала в лесу сучья и сосновые шишки. Недурное занятие в девяносто пять лет! У нее было двенадцать человек детей, некоторые живы. Зовут ее Мария Монтанари.

Встретил в лесу компанию — членов сообщества, именуемого *Американи* (нечто вроде клуба либералов); все они были вооружены и распевали во всю глотку романольскую песню «*Sem tutti soldat' per la liberta*» («Все мы солдаты свободы»). Они приветствовали меня, когда поравнялись со мной, я ответил им и поехал дальше. Это показывает, каково настроение Италии в настоящий момент.

Сегодняшняя моя запись состоит из того, что я не написал вчера. День сегодня провел, как обычно. О писаниях Шлегеля составил себе несколько лучшее мнение, чем 24 часа тому назад, и постараюсь еще его улучшить, насколько возможно.

Говорят, пьемонтцы, наконец, восстали.

Читал Шлегеля. О Данте он говорит, что «этот величайший и самый национальный из всех итальянских поэтов никогда не пользовался большой любовью своих соотечественников». Это вранье! Издателей, комментаторов (а уж особенно подражателей) у Данте было больше, чем у всех итальянских поэтов вместе взятых. Не пользовался большой любовью! Да они говорят словами Данте, пишут и думают словами Данте, они грезят Данте сейчас (в 1821 году) до такой степени, что это могло бы показаться смешным, если бы он не заслуживал всего этого. В таком же стиле этот немец рассуждает о гондольерах на Арно; скажите, как он смело берется судить об Италии! Он говорит еще, что главный недостаток Данте — это, коротко говоря, отсутствие у него трогательных чувств. Трогательных чувств! А Франческа да Римини? А чувства отца в Уголино? А Беатриче? А «Ла Пиа»? Когда Данте нежен, трогательность его превышает трогательности всех других поэтов. Правда, когда он описывает христианский Гадес или Ад, у него мало поводов для трогательности, но кто же, кроме Данте, мог бы ввести хоть какую-нибудь трогательность в Ад? Разве она есть у Мильтона? Нет. А Рай Данте — это сама любовь, и слава, и величие.

Час ночи.

Я все-таки нашел, в чем немец прав, — это, когда он пишет о «Векфильдском священнике». «Из всех романтических историй в миниатюре (и возможно, что это лучшая форма для романтической истории) Векфильдский священник мне кажется наиболее восхитительной». Ему *кажется!* Мог бы сказать, что он уверен. Но для Шлегеля и то хорошо. Мне хочется спать, и, пожалуй, я отправлюсь на боковую.

«Верь и помни — завтра расплата».

30 января 1821 г.

Сегодня вечером П. Г. (по поручению карбонариев) передал мне новый пароль на следующие полгода... Похоже, что события быстро приближаются к развязке.

Беседовали о разных делах, касающихся движения и настоящего момента. Об этом умолчу; если из них что-нибудь выйдет, они будут говорить сами за себя. После этого мы говорили о Костюшко. Граф Р. Г. сказал мне, что видел польских офицеров в Италии, которые плакали при упоминании его имени.

Что-то, повидимому, происходит в Пьемонте — все письма и газеты задерживаются. Никто ничего не знает, а немцы стягивают свои силы в Мантуе. О решениях, принятых в Лайбахе, ничего не известно, такое положение вещей долго длиться не может. Нельзя себе представить, какое сейчас брожение в умах, не увидев этого воочию.

31 января 1821 г.

Несколько дней ничего не писал, кроме ответных писем. Сейчас, когда ждешь какого-то взрыва, нелегко садиться за стол и писать сочинения о высоких материях. Когда-то я мог делать это; прошлым летом я писал мою драму посреди самой сутолоки развода графини Г. и всего сопутствующего аккомпанемента. Тогда же я еще получил очень дурные сведения из Англии о том, что я проиграл серьезную тяжбу. Но то были только частные, личные дела, а сейчас совсем другое.

Думаю, что эта причина мешает мне писать; однако у меня есть некоторые подозрения, что дело просто в лени: особенно если вспомнить Ларошфуко, который говорит, что «лень часто побеждает их все», подразумевая все страсти. Если это правда, то вряд ли можно сказать, что «лень — мать всех пороков», потому что пороки коренятся в наших страстях, а то, что побеждает страсти (то есть именно лень), должно, следственно, быть добродетелью. Кто знает?

9 февраля 1821 г.

До обеда немножко писал; перед тем, как я поехал кататься, зашел граф П. Г. и сообщил мне о результатах собраний карбонариев в Ф. и в Б. **вернулся вчера поздно ночью. Все было подготовлено, исходя из предположения, что варвары перейдут По 15-го числа. Вместо того — потому ли, что получили сведения о готовящихся событиях, или по другой причине, они ускорили свое выступление, и этот переход уже совершился два дня тому назад. Теперь в Романье можно делать только одно — быть наготове и ждать выступления неаполитанцев. Все было готово, неаполитанцы сообщили свои инструкции и планы, причем все было рассчитано на *десятое и на одиннадцатое*, то есть на те дни, когда должно было начаться общее восстание, и все это в предположении, что варвары не смогут выступить раньше 15-го.

В настоящее время у них 50 или 60 тысяч войска; с этими силами у них столько же шансов завоевать мир, как и завладеть Италией в ее теперешнем состоянии. Артиллерия идет в хвосте, без прикрытия, и имеется план попытаться отрезать некоторые части. Все будет в большой степени зависеть от первых шагов неаполитанцев. Здесь дух народа прекрасный, лишь бы удалось его поддержать. Это покажут события.

Весьма возможно, что Италия будет освобождена от варваров, если только неаполитанцы будут держаться твердо и объединятся. *Здесь* как будто это уже достигнуто.

11 февраля 1821 г.

Писал, сделал выписку из писем Петрарки о заговоре дожа Марино Фальери, выписал то, что

поэт говорит об этом событии. Слышал сильную пушечную пальбу в направлении Коммаччио — то ли варвары празднуют день рождения своей главной свиньи, или день какого-то святого, не помню какого. Получил билет на первый бал, на завтра. На первый не пойду, но думаю пойти на второй, а также к Веглиони.

18 февраля 1821 г.

Слышал новость — неаполитанцы разрушили мост и убили четырех папских карабинеров, какие карабинеры пытались им воспрепятствовать. Помимо того, что это нарушение нейтралитета, жаль, что первая кровь, которая пролилась в этой германской соре, итальянская кровь. Однако война, повидимому, начинается всерьез! Если неаполитанцы убивают папских карабинеров, то уж тем более они не станут церемониться с варварами...

Сегодня я не получил никаких сообщений от своих друзей-карбонариев; а в то же время весь нижний этаж моего дома завален патронами и прочим. Кажется, они смотрят на меня, как на свой арсенал, которым можно пожертвовать, если придется. Что ж, пускай. Неважно, кто и что будет принесено в жертву, лишь бы Италия была освобождена. Это великая цель — истинная *пэззия* политики. Подумать только — свободная Италия!! Этого не было со времен Августа. Я считаю времена Цезаря (Юлия) свободными, потому что смута давала возможность каждому принять ту или иную сторону, а у партий были приблизительно равные силы. Но потом всем стали распоряжаться преторианцы или легионеры, и с тех пор! — но мы увидим, или по крайней мере кое-кто увидит, чья карта будет бита. Никогда не нужно терять надежду, даже в безнадежном положении; в семидесятилетнюю войну голландцам пришлось преодолевать больше, чем придется преодолевать итальянцам.

19 февраля 1821 г.

Вернулся домой solus¹, очень сильный ветер, — молнии, лунный свет, — одинокие прохожие, закутанные в плащи, женщины в масках, белые дома, облака, растекающиеся по небу, как молоко, выплеснутое из ведра, — все поэтично в высшей степени. Ветер попрежнему так и рвет: летят черепицы и дом качается, льет ливень, молния сверкает, настоящий швейцарско-альпийский вечер, и море рокочет вдали.

Был на конверсационе; все женщины перепуганы бурей. Они не могут идти на маскарад, потому что боятся молнии, — благочестивый резон!

Кругом еще бушует во-всю. Ах, эти подлые монархи! Хоть бы нам увидеть, как их разобьют,

¹ В одиночестве (лат.).

хоть бы у неаполитанцев нашлось столько мужества, как у голландцев в старину, как у испанцев в наши дни или как у немецких протестантов, шотландских пресвитериан, как у швейцарцев во времена Вильгельма Телля или у греков при Фемистокле,— ведь все это были маленькие, одинокие страны (за исключением лютеран и испанцев),—и тогда есть еще возрождение для Италии и надежда для всего мира.

20 февраля 1821 г.

Сегодняшние новости: неаполитанцы полны энергии. *Здесь* дух народа безусловно в прекрасном состоянии. Американцы (здесь патриотическое общество, одна из младших ветвей карбонариев) устраивают через несколько дней обед в *Лесу* и приглашают меня как одного из карбонариев. Это будет происходить в *Лесу* «Призрака-охотника» Боккаччо и Драйдена, и даже если бы у меня не было соответствующих политических убеждений (не говоря уже о моей старой склонности покутить, которая время от времени оживает), я бы пошел как поэт или, по меньшей мере, как любитель поэзии. Я надеюсь увидеть, как призрак «Остазио дели Онести» (Драйден превратил его в Гвидо Кавальканти — совершенно другой персонаж, как явствует из Данте) явится «среди пира, грозно требуя свою добычу». Во всяком случае явится он или нет, а я постараюсь выпить славу и проявить себя добрым патриотом.

В течение нескольких дней читал, но ничего не писал.

21 февраля 1821 г.

Как всегда, катался, ездил с визитами и т. д. Дела начинают запутываться. Папа намерен выпустить воззвание, направленное против патриотов, которые, по его словам, замышляют восстание. Результатом будет то, что через две недели поднимется вся страна. Воззвание еще не опубликовано, но уже отпечатано и готово для рассылки. *** частным образом прислал мне экземпляр —признак того, что он не знает, что делать. Когда он хочет быть в ладу с патриотами, он шлет мне какое-нибудь любезное сообщение или что-нибудь в этом роде.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ (1821-1823 гг.)

ТОМАСУ МУРУ

Равенна, 28 апреля 1821г.

Вы не представляете себе, до какой степени я разочарован и обманут в своих надеждах. И все это я пережил, подвергаясь еще и личному риску, который, кстати сказать, не совсем миновал. Однако

Мне лично кажется, что ничто, кроме самой решительной победы варваров, не может предотвратить всеобщее и немедленное восстание всего народа.

23 февраля 1821 г.

Почти то же, что и вчера,— ездил верхом и пр., делал визиты, ничего не писал, читал историю Рима.

Получил любопытное письмо от одного человека, который сообщает мне, что варвары относятся ко мне враждебно. Наверно, это шпион или мошенник. Но пусть даже это будет так, как он говорит. Среди тех, на кого они могут обратить свою враждебность, нет человека, который ненавидел бы и презирал бы их больше, чем я; никто не будет с большим усердием препятствовать их намерениям всякий раз, как к этому представится возможность.

24 февраля 1821 г.

Ездил верхом и пр., как обычно. Секретные сведения, доставленные сегодня с границы карбонариям, таковы, что хуже и быть нельзя. *План* провалился, вожаки преданы, как военные, так и гражданские,—и неаполитанцы не только не двинулись, но заявили папскому правительству и варварам, что они ничего знать не знают!

Так устроен свет; и так итальянцы всегда проигрывают, оттого что между ними нет единства. Что можно сделать *здесь* между двух огней, где мы отрезаны от неаполитанской границы,— это еще не решено. Я считал — лучше восстать, чем быть захваченными поодиночке; но как это осуществить теперь — не знаю. Гонимые разосланы к представителям других городов, чтобы узнать об их решении.

Мне все время казалось, что это сорвется, но мне хотелось надеяться, и я надеюсь и сейчас. Все, что я в состоянии сделать деньгами, связями или лично, я все сделаю и всем рискну ради их свободы; так я и сказал им (кое-кому из здешних главарей) полчаса тому назад. У меня здесь в доме имеется 2 500 скуди, то есть больше пятисот фунтов, что я им и предложил для начала.

ни время, ни обстоятельства не изменят ни моего возмущенного тона, ни того чувства негодования, которое во мне вызывает восторжествовавшая тирания. Настоящие события были не столько делом предательства, сколько трусости, хотя, вероятно, и то и другое сыграло свою роль. Если мы с вами когда-нибудь встретимся, мы поговорим на эту тему. В настоящее время, по вполне понятным

причинам, я не могу много писать, так как все письмо вскрывают. В мои они всегда найдут мои чувства, но ничего такого, что могло бы привести к гонению других.

Пожалуйста, запомните, что нигде сейчас так не ненавидят неаполитанцев, как в Италии, и не осуждают всю страну за пороки одной провинции. Это все равно, как если бы вы осуждали Великобританию за то, что корнуэльцы грабят корабли, потерпевшие крушение.

А теперь давайте поговорим о литературе — грустное отступление, но все-таки это всегда утешает. Если «с ремеслом Отелло покончено», поищем что-нибудь получше из того, что осталось; и если мы не можем способствовать тому, чтобы сделать человечество свободнее и умнее, будем развлекаться сами и развлекать тех, кто любит это. Что вы пишете? Я в промежутках кое-что кропал, и Мэррей теперь, надо полагать, уже печатает это.

Леди Ноэль была, как вы говорите, опасно больна; могу вас утешить, сообщив вам, что она уже снова опасно здравствует.

Я написал для вас еще заметки, страничку или две, и вел небольшой дневник, в течение примерно двух месяцев, пока не исписал тетрадь. Потом я забросил его, потому что тут пошли всякие дела, а кроме того, все было так мрачно, что я не мог бы вести записи без тягостного чувства. Все это я с радостью послал бы вам, если бы представился случай; но тетрадка, какой бы тоненькой она ни была, едва ли благополучно совершит путешествие по почте в этой инквизиторской стране.

Новостей у меня никаких. Как сказала мне несколько дней тому назад одна очень красивая женщина, сидя вечером в слезах за клавирами, — «увы, итальянцам не осталось теперь ничего другого, как вернуться к сочинению опер». Боюсь, что это и макароны — их единственное форте, а «костюм арлекина единственное достойное их одеяние». Однако и среди них есть люди высокого духа. Пишите, пожалуйста.

И примите мои уверения и пр.

ТОМАСУ МУРУ

Равенна, 5 июля 1821 г.

... У меня был приятель вашего мистера Ирвинга, очень славный малый, некто мистер Кулидж из Бостона, пожалуй, только слишком уж преисполненный поэзии и «энтузи-музи». Он пробыл у меня несколько часов; я был очень любезен с ним, и мы много разговаривали об Ирвинге, произведения которого я читаю с истинным наслаждением. Но я подозреваю, что он остался мной не очень доволен, потому что, вероятно, ожидал увидеть мизантропического джентльмена в штанах из

волчьего меха, отвечающего на вопросы угрюмыми междометиями, а не светского человека нашего круга. Я никак не могу растолковать людям, что поэзия — это выражение разбуженной страсти и что не существует постоянной страсти, так же как не бывает непрерывного землетрясения или вечной лихорадки. К тому же, как люди смогли бы бриться в таком состоянии? Я получил сегодня любопытное письмо от одной девушки из Англии (я никогда не видел ее), которая пишет, что она умирает от чахотки, но не может покинуть этот мир, не поблагодарив меня за радости, которые ей доставляла моя поэзия в течение многих лет и т. д., и т. д. Письмо подписано просто Н. Н. А., и в нем никаких высокопарных разглагольствований, никаких нравоучений. Просто она говорит, что умирает и что я так много доставлял ей радости в ее жизни, что она решается сказать мне об этом и просит *эжечь* ее письмо, чего я, кстати сказать, сделать *не могу*, так как считало, что это письмо, написанное при таких обстоятельствах, стоит больше, чем любой Геттингенский диплом. Я однажды получил письмо из Дронтхейма, из Норвегии (но не от умирающей женщины), письмо в стихах с такими же изъявлениями благодарности. Вот вещи, которые по временам заставляют верить в то, что ты поэт. Но если я должен считать, что *** и ему подобные — тоже поэты, то лучше уж не числиться в этой корпорации.

Я сейчас пишу пятый акт Фоскари, это третья трагедия за этот год, не считая *прозы*; отсюда вы можете видеть, что я отнюдь не бездельничая. А как вы, работаете? Опасаюсь, что ваша парижская жизнь оставляет вам мало времени для работы, а это жаль. Не могли бы вы так распорядиться вашим днем, чтобы соединить и то и другое? На руках у меня последний год была масса всевозможных общественных дел, и все же это не так трудно, — уделять несколько часов *музам*. Эта фраза так похожа на ***, что

Всегда и т. д.

Если бы мы были вместе, я бы стал печатать обе мои пьесы (периодически) в нашем общем журнале. Хорошо было бы именно так печатать все наши лучшие вещи.

ДЖОНУ МЭРРЕЮ

14 июля 1821 г.

Дорогой сэр, согласно вашему желанию я отправил по почте два пакета, адресованные Дж. Барроу, эсквайру, адмиралтейство и т. д. В одном находятся возвращаемые мною листы «Сарданапала», где я сделал те поправки, на какие у меня хватило времени. В другом трагедия — «Двое Фоскари» в

пяти актах, по поводу сюжета коей Фосколо или Гобхауз могут дать вам разъяснения; впрочем, вы можете найти это со всеми подробностями в истории Венеции П. Дарю, а также, может быть более кратко, в И. Р.— у Сисмонди. Упоминания об этом имеются также в *Радостях памяти*. Слово это — дактиль: Фбскари. Будьте добры ответить обратной почтой, это очень важно.

Я надеюсь, что «*Сарданапала*» не примут за политическую пьесу: это совершенно не входило в мои намерения, и я не интересовался ничем, кроме истории Азии. Венецианская пьеса — тоже строго историческая. Моей целью было изобразить в драматической форме, подобно грекам (скромное признание!), замечательное историческое событие, как они это делали с историей и мифологией. Вы увидите, что это совсем не похоже на Шекспира; и в некотором смысле пьеса от этого выигрывает, потому что я считаю его наихудшим образцом для подражания, хотя самым удивительным из писателей. Я ставил себе целью быть таким же простым и строгим, как Альфиери, и расправлялся, как мог, с поэтическим словарем, чтобы получилась разговорная речь. Беда в том, что в наше время нельзя говорить о королях и королевах без того, чтобы тебя не заподозрили в политических тенденциях или личных намеках. Ни то, ни другое не входило в мои намерения.

Я чувствую себя не очень хорошо, здесь происходят всяческие неприятности; без всякого суда и следствия отсюда, а также из других городов Папской области, изгнаны многие из лучших граждан, среди них много моих личных друзей, и сейчас здесь смятение и уныние. Писать о таких событиях так же больно, как и видеть их.

Вы очень скупо мне пишете.

Преданный вам Б.

РИЧАРДУ БЕЛГРЕВУ ГОПНЕРУ

23 июля 1821 г., Равенна.

В стране сейчас чинят жестокую расправу, все мои друзья изгнаны или арестованы, все семейство Гамба вынуждено было отправиться во Флоренцию — отец и сын из-за политики (а Гвиччюли потому, что ей угрожает *монастырь*, ибо отца ее здесь нет). Я решил переселиться в Швейцарию, так же как и они. Нельзя сказать, чтобы моя жизнь здесь тоже была в полной безопасности, но такое положение длится уже целый год, и поэтому это не главное из моих соображений.

Я посылаю с этой же почтой письмо мистеру Хенчу-младшему, женеvскому банкиру, с просьбой подыскать (если возможно) для меня, а также и для семьи Гамба (отца, сына и дочери) на Юрской

стороне Женевского озера два дома с обстановкой и конюшней (для меня по крайней мере) на восемь лошадей. Я возьму с собой Аллегру. Не могли бы вы помочь мне или Хенчу в этих поисках? Гамба во Флоренции, но они уполномочили меня решать за них. Известно вам или нет, что они великие патриоты и оба — сын в особенности — по-настоящему мужественные люди. Мне это известно, потому что я недавно видел их в очень затруднительном положении — не денежном, но затрагивающим их лично, и они вели себя геройски, не отступая и не сдаваясь.

Вы не можете себе представить, в каком угнетении находится сейчас вся страна: в Романье арестовано свыше тысячи человек всех сословий — одни изгнаны, другие брошены в тюрьму *без суда, следствия* или даже *обвинения!* Все говорят, что правительство точно так же поступило бы и со мной, если бы посмело действовать открыто. Причина, по которой я пока еще задерживаюсь здесь, — это то, что *все до одного* мои знакомые, почти что около сотни человек, подверглись изгнанию. Не могли бы вы присмотреть нам два дома с *обстановкой* и посоветоваться за нас с Хенчем? Обществом мы не интересуемся, мы стремимся только обеспечить себе временное спокойное убежище и личную свободу.

ДЖОНУ МЭРРЕЮ

Равенна, 4 сентября 1821 г.

Дорогой сэр, с субботней почтой я послал вам свирепое и неистовое письмо по поводу типографских опечаток в «*Дон-Жуане*». Считаю своим долгом обратить на это ваше внимание, хотя теперь моя ярость уже утихла и перешла в мрачное неудовольствие.

Вчера я принимал мистера Моумэна, вашего приятеля, именно потому, что он ваш приятель; и это много больше того, что я стал бы делать для англичан, исключая тех, кого я особенно уважаю. Я был гостеприимен — насколько это возможно в обстановке сборов, которые уже коснулись стульев и столов; ибо я через несколько недель уезжаю в Пизу, куда отправил и продолжаю отправлять мое имущество. Мне было досадно, что мои книги и все прочее было уже уложено, и я не мог послать вам кое-что из того, что я приготовил для вас: но все это было уже упаковано и приготовлено к отправке, понадобился бы целый месяц, чтобы докопаться до них. Я дал ему конверт с итальянской писаниной... Гобхауз разъяснит вам — и вы посмеетесь, да и он тоже, над *орфографией* в особенности. «*Мериканцы*», чьим «капо», или главарем, меня величают, значит — *американцы*, прозвище, под которым в Романье известна одна из ветвей карбонариев; точнее говоря, это люди из народа, которые составляют

собственно войска карбонариев. Первоначально это были лесные охотники, перенявшие свое наименование от американцев, но сейчас их организация объединяет несколько тысяч человек и т. д. Но всех секретов я не буду вам раскрывать, ибо в них могут проникнуть почтари. Почему они считали меня своим вожаком, я не знаю; вожакам этим «имя—легион», их множество. Во всяком случае сей пост более почетен, чем выгоден, потому что сейчас они подвергаются преследованиям, и, само собой разумеется, что я должен им помогать,— я так и делаю, насколько позволяю мои средства. Наступит время, когда они снова восстанут, потому что это дурацкое правительство ведет себя нелепо: они, повидимому, действительно *ничего* не знают, потому что арестовали и изгнали многих из своей *собственной* партии и оставили на свободе таких, которые далеко не относятся к числу их друзей.

Что вы думаете о Греции?

Пишите мне сюда, как обычно, пока вы не получите от меня нового сообщения. Я послал Муру через Моумэна свой Дневник, но это не для публики — по крайней мере большая часть, отрывки — может быть. Я перечел *Жуанов* — это великолепно. Ваш синод совершенно неправ, и постепенно вы в этом убедитесь. Мне жаль, что я не продолжаю их; у меня уже был готов план для нескольких *канто* — в различных странах и климатах. Вы ничего не пишете о приписке в моем письме, которая должна была объяснить вам, почему я согласился (по просьбе мадам Гвичьоли) отложить *Жуана*. Но вы так величественны, так великолепно и так погружены в труды, что можно подумать, что вместо того чтобы печатать для адмиралтейства Описание Долгот, вы изволите заниматься открытием оных.

Надеюсь скоро услышать от вас, что Гиффорду лучше. Мы не можем обойтись без него, ни вы, ни я. Прилагаю Заметку и буду очень вам благодарен, если вы не забудете подтвердить ее получение и напечатать ее.

Ваш Б.

ДЖОНУ МЭРРЕЮ

Равенна, 12 сентября 1821 г.

Дорогой сэр, я послал вам во вторник почтой тремя пакетами драму «Каин» (три акта) и прошу вас сообщить мне, когда вы ее получите. К последнему монологу Евы, в последнем акте (где она прокликает Каина), добавьте после заключительной строчки еще следующие строки:

Пусть гложет под твоей ногой трава,
В лесу ты не найдешь себе приюта,
В земле — убежища, могилы — в прахе,
У солнца — света и на небе — бога.

Вот достойное вас проклятье, в соединении с тем, которое уже послано — едва ли вы можете пожелать себе лучшего в вашей издательской деятельности. Но не забудьте добавить эти строки, которые так убедительно завершают монолог Евы.

Сообщите мне, что думает об этом Гиффорд (если пьеса дойдет благополучно); ибо сам я высокого мнения о поэтических достоинствах этой драмы: она написана в моем веселом метафизическом стиле, в духе «*Манфреда*».

Вам бы следовало по крайней мере похвалить мою плодovitость и многосторонность, если принять во внимание, сколько я написал за последний год с небольшим, когда моя голова была забита всякими другими житейскими делами. Но я не сомневаюсь, что вы воздержитесь от каких-либо похвал из опасения, что я запрошу с вас дорожку. И правильно, — держитесь деловой точки зрения! Сообщите мне, что пишут другие ваши бездельники, ибо полагаю, что вам не очень-то нравится выпускать всех ваших бродяг сразу. Можете пустить их вперед — меня это мало трогает.

Если посылка придет скоро, так что можно будет ее присоединить к двум другим драмам, напечатайте все это вместе, а если нет — печатайте отдельно, но в том же формате, для удобства покупателя. Пришлите мне поскорей корректуру — это длиннее, чем «*Манфред*».

Почему вы не печатаете моего *Пульчи* (лучшее из всего, что я написал) и итальянский текст к нему? Я бы хотел быть поближе к вам, — никогда ничего не выходит, если тебя нет на месте. И все стараются ставить препятствия, потому что у них есть возможность это делать. Если я когда-нибудь вернусь в Англию (чего я, однако, не сделаю), я напишу поэму, по сравнению с которой «*Английские барды*» и пр. будут парным молочком. Ваш нынешний литературный скоморошный мирок нуждается в подобной Аватаре; но я пока еще недостаточно желчен: еще один-два сезона, еще одно-два тьяканья — и я буду взвинчен до нужной точки, тогда уж получайте за все оптом!

Меня выводит из терпенья тот книжный хлам, которым вы меня пичкаете; если исключить романы Скотта и еще три или четыре вещи, я никогда не видел ничего подобного. Кэмпбелл поучает, Мур лентяйничает, Саути пустословит, Вордсворт пускает слюни, Кольридж напускает туман, Джоанна Бэйли жует жвачку, Боулс каламбурит, ссорится и хнычет. Милмэн был бы ничего, если бы он не пускался в такое ханжество и не подражал Саути; в этом малом есть поэзия, но он завистник и угрюм, как все завистники, и все-таки в наше время он один из лучших. Из Барри Корнуэлла со временем может выйти толк, если только его не погубит зеленый чай и похвалы из Пентонвиля и Парадиз-Роу. Беда этих людей в том, что они

никогда не жили ни светской жизнью, ни в одиночестве: у них не было среды, которая помогла бы им изучить мир суеты и мир спокойствия. Если их на один сезон и допускали в светскую жизнь, то только в качестве зрителей, — сами они не составляют части ее механизма. Но Мур и я — один волею обстоятельств, другой по праву рождения — принадлежим к этой корпорации, мы жили бниением ее пульса, ее страстями. Оба мы благодаря этому узнали больше, чем могли бы узнать любым другим способом.

Ваш Б.

P. S. Я видел на-днях одного из ваших собратьев, одного из членов вашего Союза монархов с Грэбстрит, Моумэна Великого, через которого я послал мой верноподданнический поклон вашей императорской особе. Надеюсь, что с завтрашней почтой от вас придет письмо, но вы — самый неблагодарный и самый нелюбезный из корреспондентов. Правда, вас можно извинить, — вас, конечно, одолевают аудиенции, которые вы неустанно даете политическим деятелям, пописывающим попикам и всякого рода бездельникам. Когда-нибудь я пришлю вам их *поэтический* каталог.

Пришла почта: письма нет, но не важно.

Как поживают миссис Мэррей и Гиффорд? Лучше? Хотел бы услышать, что хорошо.

Мои поздравления мистеру Геберу по поводу его избрания.

ДЖОНУ МЭРРЕЮ

Равенна, 24 сентября 1821 г.

Дорогой Мэррей, я раздумывал над нашей перепиской последнего времени и хочу предложить вам на будущее следующие пункты:

Во-первых: вы будете мне писать о себе, о здоровье, о благополучии, о благоденствии всех наших друзей, но обо *мне* (quod me¹) поменьше или ничего.

Во-вторых: вы будете посылать мне содовый порошок, зубной порошок, зубные щетки и т. п. антизубоболительные или химические препараты, как и до сего времени ad libitum² и с возмещением расходов.

В-третьих: вы *не* будете посылать мне никаких современных или (как их называют) *новейших* изданий на *английском языке*, кроме и за исключением любых произведений в прозе и стихах, принадлежащих перу (или резонно приписываемых оному) Вальтера Скотта, Крабба, Мура, Кэмпбелла, Роджерса, Гиффорда, Джоанны Бэйли, Ирвинга (американца), Хогга, Уилсона (того, который написал *Остров пальм*) или *каких-либо* особых, *единичных* художественных произведений, о которых известно, что они

отличаются высокими достоинствами; описания *путешествий и странствий* будут приняты благосклонно — при условии, что это не будут путешествия по *Греции, по Испании, по Малой Азии, по Албании* и по *Италии*, ибо я путешествовал в вышеперечисленных странах и то, что говорится о них, ничего не прибавит к тому, что мне уже известно, и не сообщит мне того, что я еще хотел бы о них знать. Кроме этого, *никаких* других произведений на английском языке.

В-четвертых: вы не будете присылать мне *никаких периодических изданий* — ни «Эдинбургского обозрения», ни «Квотерли», ни «Ежемесячников» и никаких обзрений, журналов, газет — английских или иностранных, какого бы они ни были характера.

В-пятых: вы не будете сообщать мне никаких мнений, каковы бы они ни были: *хорошие, дурные* или *безразличные*, — ни ваших собственных, ни высказанных вашими друзьями и прочими, — касательно любого моего произведения или произведений прошлых, настоящих или будущих.

В-шестых: все деловые переговоры между мной и вами будут протекать через посредство почтенного Дугласа Киннэрда, моего друга и поверенного, или мистера Гобхауза, моего alter ego³ и полномочного моего заместителя в моем отсутствии или присутствии.

Некоторые из этих предложений могут на первый взгляд показаться странными, но все они имеют основание. Количество книжного хлама, который я от вас получаю, неисчислимо, и все это отнюдь не занимательно и не поучительно. Обозрения и журналы — это, в лучшем случае, пустое и ненужное чтение: *кто помнит сегодня о нашуемшей в прошлом году статье*, появившейся тогда в каком-либо из существующих обзрений? Второй довод — если они относятся ко *мне*, то они только способствуют возрастанию моего *Эгоизма*; если они лестны, я не отрицаю, что похвала *приподнимает*, если нелестны — то ругань *раздражает*. Последнее может привести к тому, что я разражусь Сатирой, а от этого не будет добра ни вам, ни вашим друзьям: *они* могут улыбаться *сейчас*, а также и *вы*, но если я вас всех сожму в кулак, мне не трудно будет раздавить вас, как тькву; я поступал так с не менее сильными людьми, когда мне было двенадцать лет, а сейчас, когда мне тридцать три, не знаю, что помешает мне сделать из ваших ребер вертелы для ваших сердец, если у меня явится такое желание. Но такого желания у меня нет. Поэтому избавьте меня от этих укулов. Если будет сказано что-либо настолько непристойное, что потребует моего внимания, я услышу об этом от моих личных друзей, что же касается прочего, предлагаю вам оставлять меня в неведении.

¹ Что до меня (лат.).

² По своему усмотрению (лат.).

³ Второго я (лат.).

То же относится и к мнениям разных лиц, высказанным в разговорах или в переписке — *хорошим, дурным или безразличным*: они не *нарушают*, но *засоряют* течение моей мысли. Я достаточно чувствителен, но только когда меня *задевают*; а *здесь* я вне пределов досягаемости для коротких рук литературной Англии, за исключением немногих щупальцев полипа, которые достигают сюда через Ламанш в виде перепечаток.

В Англии все эти предосторожности были бы бесполезны: как хулители, так и льстецы достигли бы меня, несмотря ни на что; но в Италии мы мало слышим о литературной Англии и думаем о ней еще меньше, разве только иной раз что-нибудь проникнет к нам в куцей и искаженной хронике какой-нибудь жалкой газетки. Вот уже *два года*, как я не читаю газет, если их не навязывает мне какая-нибудь случайность (не считая двух-трех статей, которые я вырезал и послал вам почтой), и в общем я знаю об Англии не больше, чем все вы знаете об Италии, а это, видит бог, не так уж много, несмотря на все ваши путешествия и т. д., и т. д. Англичане-путешественники *знают Италию*, как вы знаете Герисей, — так ли уж это много? Если же появится что-либо чрезвычайно грубое или личное, что потребует моего внимания, мистер Д. Киннерд поставит меня об этом в известность, но из *похвал* я не желаю слышать *ничего*.

Вы скажете — зачем все это? Я вам отвечу: затем, чтобы сохранить мою мысль свободной и незатронутой всякими мелкими, пустяжными раздражениями от хулы или похвалы; чтобы предоставить моему дарованию идти своим естественным путем; пусть чувства мои будут подобны мертвецам, которые не знают и не чувствуют ничего того, что говорят или делают по отношению к ним люди.

Если вы сможете соблюдать эти условия, вы избавите себя и других от некоторых огорчений: не взвинчивайте меня, чтобы я не встал на дыбы, потому что, если это случится, это не обойдется пустяками. Если вы не можете соблюдать эти условия, мы прекратим переписку, но не дружбу, потому что я всегда остаюсь

вашим навеки преданным

Байроном.

Я пришел к этому решению не потому, что был раздражен против вас или ваших авторов, но исходя из того простого соображения, что если я читаю что-либо напечатанное обо мне, будь то похвала или ругань, это приносит мне вред. Когда я был в Швейцарии и в Греции, ни то, ни другое меня не достигало, — а как я там писал! В Италии я тоже за пределами досягаемости, но за последнее время, отчасти по моей вине, отчасти благодаря вашей доброте, — потому что вы старались посылать мне все новинки из *самых* что ни есть периодических, — у меня скопи-

лась масса журналов, которые лезли мне на глаза, раздражали меня своим жаргоном и отвлекали от более высоких целей. Вы еще прислали мне кучу поэтического хлама, руководствуясь соображениями, которые мне непонятны, разве только чтобы подстрекнуть меня написать новых *«Английские бардов»*. А этого я хотел бы избежать; потому что, если я это *сделаю*, это будет нечто весьма крепкое. — Мне хочется покоя, и пусть глупцы не донимают меня своим вздором.

АВГУСТЕ ЛИ

Альбаро, Генуя, 7 ноября 1822 г.

Дорогая моя Августа, я получил твое письмо от 25-го. Я совсем поправился, мне нездоровилось только, когда я был в Леричи. На четвертую ночь я немножко уснул и до того был измучен, что даже три легких толчка землетрясения, которые выгнали весь город на улицы, не могли меня разбудить, — ни они, ни вся подымавшаяся суматоха.

У нас здесь было наводнение, которое размыло всю окрестность между нами и Генуей (на протяжении примерно двух миль), но мы живем на пригорке, и нас только заливало потоками дождя и едва не пристукнуло молнией; наш нижний этаж был затоплен, а кругом открывался приятный вид: все окрестности в воде, люди вопяют, высунувшись из слуховых окон. Снесло два моста, а у наших соседей, сапожника, парикмахера и булочника, все добро было принесено в дань стихии, которая величественно неслась мимо, увлекая за собой множество башмаков, париков и имбирных пряников. Все это произошло так внезапно, что никто опомниться не успел. Подумай только, дорога через вершину холма превратилась в настоящий водопад и (как нам потом рассказывали) там, в двух шагах от дома, утонул ребенок — это в здешних-то местах, где вода в обычное время редкое благо.

Вслед за сим является монах-проповедник и объявляет во всеуслышание, что не далее как четвертого числа сего месяца наступит день страшного суда со всякими бурями и нивесть чем, в силу чего весь город (за исключением нескольких нечестивых зубоскалов) посылает ему всяческие дары, дабы он своими молитвами отвратил гнев господень; а местные власти даже послали предостережение капитанам судов, и те чуть ли не все до единого запаслись новыми канатами и якорями, дабы благополучно переждать светопреставление в гавани. Но на четвертое число выдался очень ясный день, и все те, кто понес расходы, страшно рассвирепели, требуя, чтобы им либо подали день страшного суда, либо вернули деньги; но монах, повидимому, придерживался правила, что «деньги обратно не возвращаются», и сказал, что он просто немного ошибся

сроком, а что день страшного суда непременно придет,— ежели не здесь, то в какой-нибудь другой части Италии.

Это несколько успокоило чающих. Ты, может быть, думаешь, что все это сказки, но тогда послушай дальше. Жители буквально припадали к стопам этого монаха на улицах. На некоторых, однако, его проповедь оказала мало действия, потому что третьего числа они задали бал, а один торговец в тот же самый день содрал с меня лишнее,— а когда я ему пригрозил этим самым монахом, он ответил, что именно потому-то он и пришел рассчитаться со мной третьего,— к четвертому ему нужно свести свой последний баланс.

Похоже.....

ЭДВАРДУ БЛЭКУАЙРУ

Альбаро, 5 апреля 1823 г.

Дорогой сэръ, я буду очень рад видеть вас и вашего приятеля-грека, и чем скорей, тем лучше. Я уже несколько дней поджидаю вас, и вы застанете меня дома. Не могу вам выразить, как глубоко интересует меня дело Греции. Только надежда увидеть Италию освобожденной удерживала меня здесь и не позволяла мне давным-давно отправиться в Грецию и сделать все, что может сделать отдельный человек для этой страны, которую даже и посетить великая честь.

Всегда преданный вам
Ноэль Байрон.

ЛОРДУ БЛЕССИНГТОНУ

23 апреля 1823 г.

Дорогой лорд, благодарю вас за ваши шутки на мой счет и на счет моих «ученых Фиванцев». Уверю вас, что мои намерения в этом отношении ограничиваются одним — преуспеть, сохранив в целостности мою собственную шкуру или, если уж придется расстаться с оной, мирно уснуть в одном из моих старых ущелий, где я любил мечтать когда-то во время моих прежних странствий. Серый греческий камень над собой я предпочел бы памятнику в Вестминстерском аббатстве; но сомневаюсь, чтобы мне удалось умереть так счастливо. Кусок земли «длиной в мое тело» — вот все, чем я мечтаю завладеть в этих краях. Что решат достопочтенный Дуг (Киннэрд) и его комитет, я не знаю, и еще меньше знаю, что я сам решу для себя (ибо я не силен в решениях). Но, если я смогу принести какую-нибудь пользу тем или иным способом, я буду счастлив это сделать и без всякого *éclat*¹. Я достаточно видал его на своем веку и знаю ему истинную цену. Я был бы рад, если бы вы состояли в этом комитете; мне кажется, вы сумели бы заставить их действовать; а то сейчас

¹ Шуму (франц.).

они несколько сонливы. Не решаюсь отобедать с вами завтра и, по правде сказать, вообще в ближайшие дни, ибо три званных обеда на прошлой неделе довели меня до такой брюзгливости и такой головной боли, что нужен по меньшей мере великий пост, чтобы я снова обрел хоть до некоторой степени ощущение независимости от бремени материальной природы. Но не премину заглянуть к вам в первый же погожий денек.

Всегда ваш
Ноэль Байрон.

АНРИ БЭЙЛЮ

Генуя, 29 мая 1823 г.

Сэр, теперь, когда я знаю, кому я обязан столь лестным упоминанием обо мне в книге «Рим, Неаполь и Флоренция», выпущенной в 1818 году г-ном Стендалем, я спешу принести мою благодарность (хотя бы и непрошенную или нежеланную) г-ну Бейлю, с кем я имел честь быть знакомым в Милане в 1816 году. Вы оказали мне слишком много чести теми словами, которые вам было угодно сказать обо мне в этой книге; но едва ли меньшее удовольствие, чем самые похвалы, доставило мне открытие (которое я сделал совершенно случайно), что они исходят от человека, чьим добрым мнением я поистине горжусь. Так много перемен произошло с тех пор, как мы с вами встречались в Милане, что я едва решаюсь вспоминать об этом времени. Из наших друзей одни умерли, другие в изгнании, а иные томятся в австрийских тюрьмах. Бедный Пеллико! Я надеюсь, что муза хоть отчасти утешает его в его железном одиночестве и когда-нибудь снова порадует нас, когда оба они — и она и ее Поэт — обретут свободу.

Из ваших книг я видел только *Рим* и пр. *Жизнь Гайдна* и *Моцарта* и брошюру о Расине и Шекспире. *Историю живописи* мне еще не посчастливилось достать.

В вашей брошюре есть одно место, по поводу которого я осмелюсь сделать некоторые замечания; это относится к Вальтеру Скотту. Вы говорите, что «его характер не таков, чтобы им восхищаться», хотя в то же время вы отзываетесь о его произведениях именно так, как они заслуживают. Я знаю Вальтера Скотта давно и достаточно хорошо, встречал его при таких обстоятельствах, когда именно и обнаруживается истинный характер человека — и смею заверить вас, что его характер — *достоин* восхищения и что Вальтер Скотт самый благородный, самый чистосердечный и самый располагающий из людей. До его политических убеждений мне нет дела: они расходятся с моими, и поэтому мне трудно о них говорить. Но он безусловно искренен в своих убеждениях, а искренность может быть смиренной, но не может быть раболепной. Поэтому я прошу вас исправить или выбросить это место. Быть может, эту мою заботливость вы сочтете маской фальши-

вого чистосердечия, поскольку и я тоже числюсь в писателях, но приписывайте это какому хотите побуждению, только поверьте, что Вальтер Скотт настолько хороший человек, насколько это вообще доступно для человека, ибо я убедился в этом на опыте.

Если вы окажете мне честь ответить на это письмо, то смею просить вас поторопиться, ибо возможно (хотя еще и не решено), что обстоятельства могут еще раз привести меня в Грецию. Мой теперешний адрес — Генуя, куда ваше письмо дойдет быстро и откуда его перешлют мне, где бы я ни находился.

Примите мои уверения — вместе с живым воспоминанием о нашем кратком знакомстве и надеждой когда-нибудь возобновить его — в вечной признательности преданного вам, вашего покорного слуги

Ноэля Байрона.

ДЖОНУ БОУРИНГУ

7 июля 1823 г.

Двенадцатого мы отплываем в Грецию. Я получил письмо от мистера Блэкуайра, слишком длинное, чтобы здесь его излагать, но вполне удовлетворительное. Греческое правительство ожидает меня незамедлительно. В соответствии с желанием мистера Б. и других моих греческих корреспондентов я осмелюсь, выражая мое глубокое уважение комитету, сказать, что пособие, хотя бы всего лишь 10 тысяч фунтов (как пишет мистер Б.), было бы в настоящий момент величайшей помощью греческому правительству. Считаю также нужным ходатайствовать о том, чтобы был проведен заем, под верное обеспечение, которое представят делегаты, уже находящиеся сейчас на пути в Англию. Тем временем, я надеюсь, комитет найдет возможным сделать что-нибудь существенное.

Я, со своей стороны, рассчитываю взять с собой наличными или аккредитивами свыше восьми, примерно около девяти тысяч фунтов стерлингов, — сумма, которую мне удалось собрать, использовав мои итальянские сбережения и мой кредит в Англии. Из этой суммы я должен отделить некоторую часть для собственных нужд и для нужд тех, кто со мной едет; остальное я готов употребить на дело — тем способом, который принесет наибольшую пользу, получив, разумеется, гарантию или хотя бы заверение в том, что деньги не пойдут на какую-либо частную спекуляцию.

Если я останусь в Греции, а это будет главным образом зависеть от того, насколько мое присутствие там окажется полезно и насколько желательным найдут его сами греки, короче говоря, если я буду им нужен, я не премину, во всяком случае во время моего пребывания там, отдавать из моих доходов, настоящих и будущих, столько, сколько потребует дело, другими словами — все, что я смогу уделить

для этой цели. Лишения я умею переносить — по крайней мере умел раньше, — к воздержанию я привык, а что касается выносливости, то когда-то я был неплохим путешественником. Каким я окажусь сейчас — не могу сказать, но посмотрим.

Я жду распоряжений комитета. Пишите в Геную — письма будут пересылаться мне, где бы я ни был, моими банкирами Уэббом и Барри. Мне было бы очень приятно получить до моего отъезда более *определенные* инструкции, но это, разумеется, на усмотрение комитета. Имею честь быть вашим покорным слугой и пр.

Имеется большая нужда в печатном станке, шрифтах и пр. У меня нет времени их добыть, но обращаю на это внимание комитета. Шрифты нужны, вероятно, греческие, по крайней мере — часть из них; там хотят выпускать газеты и, возможно, журнал, по всей вероятности на новогреческом языке с итальянским переводом.

ИОАННУ ВОЛЬФАНГУ ФОН ГЕТЕ

Ливорно, 24 июля 1823 г.

Достославный сэръ, я не в силах отблагодарить вас, как подобает, за те строки, которые мой молодой друг, мистер Стерлинг, передал мне от вас; да и было бы дерзостью с моей стороны обмениваться стихами с тем, кто на протяжении полувека представляет собой высочайшую вершину европейской литературы. Поэтому позволите мне выразить вам мою самую искреннюю признательность в прозе, и притом не слишком отделанной прозе, ибо я сейчас нахожусь снова на пути в Грецию, и кругом суетолока и суматоха, которые не оставляют мне времени для того, чтобы должным образом изъяснить вам мою благодарность и восхищение.

Я выехал из Генуи несколько дней тому назад, из-за сильного шторма был принужден вернуться обратно, затем отплыл снова и прибыл нынче утром в Ливорно, чтобы принять на борт несколько пассажиров-греков, которые направляются в свою борющуюся страну.

Здесь я нашел ваши строки и письмо мистера Стерлинга; я не мог бы пожелать для себя более счастливого предзнаменования и более радостной неожиданности, чем слова Гете, написанные его собственной рукой.

Я возвращаюсь в Грецию, чтобы узнать, не могу ли я принести этой стране хоть какую-нибудь пользу. Если я когда-нибудь вернусь обратно, я приеду в Веймар, чтобы засвидетельствовать чувства искреннего восхищения одного из многих миллионов ваших поклонников. Имею честь быть всегда и с величайшим уважением

вашим признательным почитателем и покорным слугой

Ноэль Байрон.

КЕФАЛОНСКИЙ ДНЕВНИК (1823 г.)

19 июня 1823 г.

*Встреваясь мертвых сон, — могу ли спать?
Тираны дают мир, — я ль уступаю?
Созрела жатва, — мне ли медлить жать?
На ложе — колкий терн; я не дремлю;
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...*

Матаксата, Кефалония, 28 сентября 1823 г.

Шестнадцатого (кажется, шестнадцатого) июля я выехал из Генуи на английском корабле *Геркулес*; капитан — Джон Скотт. 17-го разразился шторм; лошади, которых мы везли в трюме, от качки начали метаться, и, боясь их перекалечить, мы вернулись в тот же порт и пробыли там еще сутки, после чего вышли в море, держа курс на Ливорно. Затем мы продолжили путь через Мессинский пролив. Мы оставили за собой Эльбу, Корсику, Липарские острова, Стромболи, Сицилию, Италию и пр. и около четвертого августа бросили якорь в Аргостоли, главном порте острова Кефалония.

Я надеялся услышать здесь о капитане Блэкуайре, который был послан с поручением от лондонского греческого комитета к временному правительству Морей, но, к великому моему удивлению, я узнал, что он уже уехал обратно, хотя в своих последних письмах ко мне он горячо настаивал на том, чтобы я приезжал скорее, и говорил, что на ближайшее время намеревается остаться здесь. После этого я получил от него несколько писем, адресованных в Геную и пересланных мне на Ионийские острова; в этих письмах он объяснял причины своего неожиданного отъезда, а также (вопреки его прежним словам) убеждал меня *пока* не ехать в Грецию — по многим причинам, из коих иные были довольно основательны. Я послал лодку в Корфу, надеясь застать его там, но он уже отплыл в Анкону.

На острове Кефалония резидентом был полковник Нэпир, а полковник Деффи, командующий восьмым королевским полком, находился во главе гарнизона. Мы были приняты этими джентльменами, да и всеми офицерами и гражданскими лицами, с величайшим радушием и добротой, и если мы этого и не заслужили, то все же, надеюсь, не сделали ничего такого, что заставило бы их об этом пожалеть. Наши добрые отношения не нарушились и впоследствии, когда интерес новизны уже ослабел благодаря частым встречам.

Здесь мы узнали, и это вполне подтвердилось позже, что у греков полный разлад; что Маврокордато ушел в отставку или смещен (одно другого стоит) и что Колокотрони, при поддержке неведомо какой или чьей партии, стал главным лицом в Морее. Турки сосредоточили большие силы в Акарнании, а турецкий флот блокировал побережье от Миссолонги до

Киаренцы, а затем и до Наварина. Греческий флот, из-за недостатка денежных средств или по другим причинам, оставался в портах на Гидре, Ипсаре и Специи и, возможно, поскольку на этот счет здесь пока ничего неизвестно, пребывает там и до сих пор. Так как, вопреки моим ожиданиям, я не получил указаний из Пелопоннеса, а кроме того, ожидал писем от комитета из Англии, я решил остаться на некоторое время на Ионийских островах, тем более что пристать к противоположному берегу — значило подвергать себя риску конфискации судна со всем его содержимым, и капитан Скотт, вполне естественно, соглашался на это лишь при условии, что я дам ему гарантию возместить полностью все убытки, которые он может понести.

От нечего делать мы совершили экскурсию через перевал к св. Евфимии, причем нам пришлось карабкаться по таким ужасным тропам, каких я нигде не видывал, хотя я в течение нескольких лет путешествовал по самым диким местам. От св. Евфимии мы отправились в лодках на Итаку; мы обошли весь этот прекрасный остров, на котором я уже был когда-то, много лет тому назад. Радушие резидента, капитана Нокса, и его супруги ничуть не уступало радушию наших военных друзей в Кефалонии. Этот джентльмен, его супруга и кое-кто из их друзей проводили нас к источнику Аретузы; из-за него одного стоило предпринять это путешествие. Но и все остальное на этом острове не менее привлекательно для человека, который любит природу. Памятники искусства и предания я предоставляю знатокам древности; эти господа додумались до таких удачных открытий в этой области, что существование Трои ныне взято под сомнение, а существование Итаки (гомеровской Итаки) еще не признано.

Хотя был август месяц и нас предупреждали, что ходьба на солнце может принести вред, я, зная по опыту, что никогда не страдаю от жары, пока нахожусь в движении, не захотел терять столько дневных часов из-за какого-то лишнего солнечного луча; общество наше было довольно многочисленно, но никто, насколько я мог заметить, не испытывал никакого недомогания или дурноты, хотя один из наших слуг (негр) сказал, что жара такая, какая бывает только в Вест-Индии. Я оставил наш термометр на корабле, так что не знаю, сколько было градусов. Мы вернулись к св. Евфимии и оттуда отправились к Самосскому монастырю, на противоположный берег залива, а на следующий день вернулись в Аргостоли уже другой и несколько лучшей дорогой, чем та, по которой мы ехали к св. Евфимии. Все сухопутные переходы мы совершили на мулах.

Спустя несколько дней после нашего возвращения я узнал, что в Занте есть для меня письма, но прошло немало времени, прежде чем грек, которому они были поручены, доставил их по назначению. В конце концов я получил их благодаря обязательности полковника Нэпира. Чем было вызвано это промедление или задержка, так и осталось неизвестным.

Мои английские корреспонденты уведомили меня, что лондонский комитет поручает мне действовать в качестве его представителя при греческом правительстве, а также принять и распределить должным образом некоторые грузы, ожидаемые с судном, которое, однако, не прибыло и до сегодняшнего дня — 28 сентября.

Вскоре после приезда я нанял на свой счет отряд из сорока сулиотов во главе с их атаманами Фотомара, Джавелла и Драко. Возможно, что я нанял бы не сорок, а больше, но я обнаружил, что они ни в чем не согласны между собой, кроме решимости тянуть с меня елико возможно, хотя я и так платил им в месяц на целый доллар больше, чем они могли бы получить от греческого правительства; а когда они пришли ко мне, у них ровно ничего не было. Кроме того, я, уступая их просьбам, заплатил им за месяц вперед. Однако они, подстрекаемые, очевидно, плутами-торговцами, у которых они имели обыкновение забирать все в долг, пустились на то, что я называю вымогательством. В конце концов я созвал их всех, изложил им свой взгляд на это дело и отказался взять их с собой. Но я тут же предложил заплатить им еще за месяц вперед и дать на проезд до Акарнании, куда они теперь свободно могли добраться, так как турецкий флот ушел и блокада была снята.

Часть из них согласилась и уехала. Некоторое затруднение возникло при возвращении ими оружия властям Ионийских островов, но и это, наконец, было улажено, и сейчас они находятся вместе со своими соотечественниками в Этолии или в Акарнании.

Я также передал резиденту Итаки 250 долларов для тамошних беженцев и отправил в Кефалонию одну семью, бежавшую из Мореи и оказавшуюся в самом безвыходном положении; я обеспечил их жильем и пропитанием и поручил их заботам господ Корджаленью, богатых аргостольских торговцев, которым я был рекомендован моими корреспондентами.

Я настоял на том, чтобы было послано письмо Марко Боццари, командующему отрядом в Акарнании, к которому у меня тоже были рекомендательные письма. Его ответ был, вероятно, последним письмом, которое он подписал или продиктовал в своей жизни, потому что на другой день после того, которым было помечено письмо, он был убит в бою. Он оставил о себе память как о хорошем солдате и честном человеке, — редкое сочетание качеств, которые, по правде сказать, редко встречаются и порознь.

Затем я получил приглашение от графа Метакса, губернатора Миссолонги; он звал меня к себе. Но я считал, что при существующей борьбе партий мне надо сперва снестись с нынешним правительством и узнать, где, по его мнению, мне следует находиться, чтобы мое пребывание принесло как можно больше пользы или по крайней мере вызвало как можно меньше осложнений. Я приехал не для того, чтобы поддерживать какую-нибудь клику, а чтобы присоединиться к народному движению и иметь дело с честными людьми, а не с торгашами и грабителями (обвинения, постоянно возводимые греками друг на друга); поэтому требовалась большая осторожность, чтобы меня не сочли сторонником того или иного клана. Это было тем более трудно, что я уже получил приглашение от ряда соперничающих друг с другом партий, причем каждая уверяла, что именно она-то и есть самая правоверная. Однако я не вижу причин отчаиваться, хотя все иностранцы, которых мне здесь приходилось встречать, уезжают или уже уехали крайне разочарованные.

Всякий, кто едет сейчас в Грецию, должен рассуждать при этом, как миссис Фрай, когда она посещает Ньюгетскую тюрьму, то есть не рассчитывать, что встретишь здесь какую-то уже существующую честность, а действовать в надежде, что время и хорошее обращение постепенно преодолеют грабительские и мошеннические повадки, которым дали волю, распахнув двери этого узилища.

Когда греки почувствуют, что их ноги немного отошли от четырехвековых колодок, они перестанут ходить так, словно они таскают на себе кандалы. Сейчас цепи разбиты — это верно, но обрывки цепей еще позвякивают, а Сатурналия слишком еще жива в памяти, чтобы раб мог сразу превратиться в трезвого гражданина. Самое худшее в греках (приходится употреблять грубое, но единственное близкое к истине выражение) — это то, что они так безбожно врут; такой неспособности говорить правду мир не видал с тех пор, как Ева жила в раю. Один грек недавно критиковал английский язык за то, что в нем так мало средств для выражения отрицания, тогда как грек на своем родном языке благодаря его гибкости и скользкости имеет возможность так переделывать свое «нет» в «да» и обратно, что увливание может продолжаться до бесконечности и всегда останется лазейка для лжи. Это собственные его слова, и сомневаться в них можно разве только потому, что, как говорится, «Эпименид сам был критянин». Однако постепенно эти пороки можно исправить.

30 сентября 1823 г.

Пробыв здесь некоторое время в ожидании известий от греческого правительства, я воспользовался поездкой Брауна и Трелони в Триполицы (после ухода турецкого флота), чтобы послать письмо

существующим ныне представителям власти. Я стремился при этом не только получить точные сведения, которые позволили бы мне отправиться туда, где я мог бы находиться пусть не в полной безопасности, но по крайней мере с наибольшей пользой для дела; я надеялся также, на основании ответа, составить себе суждение об истинном положении вещей. Тем временем пришли письма от Маврокордато и правителя Гидры — последний приглашает меня к себе на остров, а первый намекает мне, что непрочь был бы со мной встретиться — там или где-либо в другом месте.

17 декабря 1823 г.

Мой дневник прервался внезапно, и я долго не брался за него, потому что в тот день, которым помечена последняя запись, я получил письмо от моей сестры Августы, в котором она сообщала о болезни моей дочки, и у меня пропала всякая охота вести дневник. Позже я узнал от нее же, что дочке моей лучше, а потом, что она и совсем поправилась. Если так — тогда у меня все хорошо.

Но, хотя я узнал это уже давно (девятого ноября), почему-то я все-таки не продолжал дневник, несмотря на то, что за это время произошло много любопытных событий, которые можно было бы записать. Почему я сейчас взялся за дневник, я и сам не знаю, разве только потому, что, когда я стою у окна и гляжу на это прекрасное селение, — спокойная, хотя и холодная ясность чудесного и прозрачного лунного света, заливающего острова, горы и море с далекими очертаниями Мореи, выступающей среди двойной лазури волн и небес, — все это успокаивает меня настолько, что я обретаю способность писать — занятие, которое для меня (как бы, казалось, ни трудно отказаться от него человеку, всю жизнь писавшему для публики) всегда было и есть тяжкий и мучительный труд. Я мог бы сослаться в случае нужды на свидетелей, но достаточно взглянуть на мой почерк. Это почерк человека, который думает много, торопливо, возможно, что и глубоко, но редко — с удовольствием.

Но — en avant¹. Греки преуспевают в своих общественных делах, но ссорятся между собой. Мне придется, вероятно, bon gré, mal gré² присоединиться к одной из группировок, чего я до сих пор старательно избегал в надежде объединить их все вокруг одного общего интереса. Маврокордато, наконец, появился в этих морях с эскадрой гидриотов, которую нам вряд ли пришлось бы увидеть, если бы я не пообещал дать 200 000 пиастров (10 пиастров равняется доллару, таков теперешний курс в Греции) в помощь Миссолонги; Маврокордато уже открыл военные действия, более или менее успешно, но не очень осторожно.

Четырнадцать (кто говорит — семнадцать) греческих кораблей напали на турецкий двенадцатипушечный корабль и захватили его. Это не совсем Фермопильская битва в океане, но p'importe³ греки (on dit⁴) нашли на борту 50 тысяч долларов — сумма, которая при настоящем положении вещей может оказаться для них весьма полезной, если они сумеют распорядиться ею разумно. Этот трофей, однако, был захвачен в нейтральной зоне, у берегов Итаки; турок (как говорят) преследовали и на берегу, и кое-кто из них был убит. Может возникнуть вопрос о допустимости или недопустимости такого рода действий, а решать это будет не слишком-то терпимый Томас Мэйтлэнд, который вряд ли способен в этом разобраться. Я дал деньги, о которых говорилось ранее, на вышеназванную эскадру. Это не очень много, но это вдвое больше того, с чем Наполеон, император из императоров, начал свою итальянскую кампанию — см. Ласказ, т. I.

Турки ушли от Миссолонги, никто не знает почему — ибо они оставили большое количество провианта и амуниции, а гарнизон не делал никаких вылазок или во всяком случае сколько-нибудь успешных. В этом году они так и не возобновили осаду Миссолонги, но бомбардировали Анатолико (что-то вроде деревушки близ Ахелуса, которую я хорошо помню, так как в 1809 году, в сопровождении пятидесяти албанцев, проезжал через все эти места, включая и Миссолонги). Иные говорят, что паша Вриони прослышал о мятеже под Скутари — кто говорит одно, кто другое. Я, с своей стороны, переписываюсь со многими главарями, но их сообщения расходятся одно с другим.

Сулиоты, как здесь, так и в других местах, питают ко мне добрые чувства или по меньшей мере непрочь водиться со мной (так как я помогал им и их семьям всем, чем мог, смотря по обстоятельствам); они явно выражают желание, чтобы я объявил себя их главарем (если можно так выразиться). Пока что я бы не хотел это делать, потому что и без того уже существует слишком много группировок и главарей. Но если это окажется необходимым — что ж! поскольку они слывут самыми лучшими и самыми храбрыми из всех, сейчас находящихся под ружьем, — может случиться, что я смогу и захочу или буду вынужден это сделать и возьму себе на подмогу отряд, с которым, мне кажется, можно кое-чего добиться и в самой Греции и за ее пределами (ибо и тут и там есть много такого, что не мешало бы исправить). Я мог бы содержать их на свои собственные средства (предполагая, что мои настоящие доходы и состояние останутся неизменными). Их всего не больше тысячи человек, а настоящих сулиотов не наберется и шестисот; но говорят, что каждый из них стоит (это кажется

¹ Вперед (франц.).

² Волей-неволей (франц.).

³ Все равно (франц.).

⁴ Говорит (франц.).

хвастовством, но так было недавно напечатано в газетах) пяти европейских мусульман и десяти азиатских. Так или иначе, они пользуются великим уважением, и я считаю их своими добрыми друзьями.

На материке солдата можно содержать на 25 пиастров в месяц (это несколько больше, чем два доллара), если он будет промышлять себе еду сам, или на пять долларов, если оплачивать его питание. Таким образом, примерно на 2—3 тысячи долларов в месяц (а доллар идет здесь за 4 шиллинга 2 пенса против 4 шиллингов 6 пенсов, как он котируется в Англии) я могу содержать от пятисот до тысячи этих воинов столько времени, сколько потребуется. А я обладаю большими средствами (предполагая, что они останутся неизменными), чем те, которые

нужны для этого. Мои личные потребности очень скромны (если не считать лошадей, потому что я неважный ходок), а сумма моих доходов оказалась бы весьма значительной в любой стране, кроме Англии. Эта сумма равняется тому, что получает президент Соединенных Штатов! (Английские министры, французский посол в Вене или при других больших дворах получают, кажется, 150 тысяч франков.) И я надеюсь получить еще примерно три миллиона франков от продажи моего поместья. Таким образом (прибавив еще то, что мы будем добывать согласно обычаям войны), я могу прокормить некоторое время довольно солидный клан, или племя, или орду; и так как у меня нет иных мотивов, кроме желания принести пользу Греции, я надеюсь, мы будем действовать успешно.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПИСЕМ (1823—1824 гг.)

ГРЕЧЕСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Кефалония, 30 ноября 1823 г.

Хлопоты о займе, столь затянувшиеся, и тщетное ожидание прибытия греческого флота, а также опасность, которой до сих пор подвергается Миссолонги, задерживают меня здесь и будут задерживать до тех пор, пока хотя бы некоторые из этих причин не будут устранены. Но как только будут получены деньги для флота, я отправлюсь в Морею, хотя не знаю, какую пользу может принести там мое присутствие при существующем положении дел. Здесь распространились слухи о новых раздорах, чуть ли не о гражданской войне. От всего сердца желаю, чтобы слухи эти оказались ложными или преувеличенными, ибо не могу себе представить худшего бедствия. Должен откровенно сказать, что если не будут восстановлены порядок и единение, все надежды на заем рухнут. И всякая помощь, на которую греки могли бы рассчитывать извне — и помощь не пустяшная, не такая, чтобы ею можно было пренебречь, — будет откладываться либо от нее и вовсе предпочтут воздержаться. А хуже всего то, что великие европейские державы, из коих ни одна не проявила себя врагом Греции, ибо все сочувствовали тому, чтобы Греция стала независимым государством, могут ныне притти к убеждению, что греки неспособны управлять своей страной, и решат сами навести порядок и сделают это таким образом, что все лучшие надежды, как ваши, так и ваших друзей, будут разрушены. Позвольте мне заявить раз навсегда, что я желаю Греции благополучия и ничего другого; я сделаю все, что в моих силах, дабы помочь ей достигнуть этого, но я не могу согласиться — и никогда не соглашусь, — чтобы английское общество или отдель-

ные его представители были введены в заблуждение насчет истинного положения дел в Греции. Остальное, господа, зависит от вас. Вы славно боролись; ведите себя достойно по отношению к вашим согражданам и по отношению ко всему миру, и тогда уже никто не сможет больше сказать, как говорили две тысячи лет подряд вслед за римскими историками, что Филопомен был последним из греков. Пусть даже клевета (а я, конечно, сознаю, как трудно от нее уберечься в такой тяжелой борьбе) не посмеет сравнивать греческого патриота, отдыхающего от своих трудов, с турецким пашой, которому его собственные победы приносят гибель.

Примите это изъявление чувств как верное подтверждение моей искренней приверженности вашим подлинным интересам.

Остаюсь неизменно преданный вам и т. д.

ТОМАСУ МУРУ

Кефалония, 27 декабря 1823 г.

Несколько времени тому назад я получил ваше письмо. Я был столь занят, что не мог написать вам так, как мне хотелось бы, и даже сейчас мне приходится писать наспех.

Через 24 часа я уезжаю в Миссолонги, чтобы присоединиться в Маврокордато. Раздоры партий (но это слишком длинная история) задерживали меня до сих пор здесь; но сейчас Маврокордато, их Вашингтон или их Костюшко, снова у дел, и я могу действовать со спокойной совестью. Я везу с собой деньги на содержание эскадры, и т. д., и я пользуюсь некоторым влиянием среди сулиотов, — предполагаю, что его достаточно для того, чтобы водворить

мир между ними и некоторыми инакомыслящими, ибо здесь масса разногласий, хотя и пустяковых. Повидимому, мы двинемся на Патрас или на укрепление в проливах, и я слышал, что греки, по крайней мере сулиоты, с которыми я состою как бы в родстве, ибо они едят мою хлеб-соль, рассчитывают, что я поведу их сам,— что ж, пусть так! Если лихорадка, истощение, голод или что-либо иное оборвет внезапно немолодые годы вашего собрата-певца, пошедшего по стопам Гарсилыасо де ла Вега, Клейста, Кёрнера, Жуковского (русского соловья, зри антологию Боурина), Терсандра или еще кого-нибудь,— неважно, прошу вас помянуть меня вашими «улыбками и вином».

Я надеюсь, что наше дело восторжествует, но случится это или нет, все же «веления чести должно соблюдать столь же строго, как и молочную диету». Надеюсь соблюсти и то и другое.

Преданный вам и т. д.

ПОЛКОВНИКУ ЛИСТЕРУ СТЭНХОПУ

*Скрофер (или что-то в этом роде),
на борту кефалонского баркаса.*

31 декабря 1823 г.

Дорогой Стэнхоп, мы только что прибыли сюда, я хочу сказать — часть моей свиты и я, кое с каким добром, которого лучше не перечислять в письме (ибо письмо могут перехватить); но Гамба, мои лошади, негр, мой дворецкий, типографские принадлежности и все комитетское имущество, а также около 8 тысяч долларов моих денег (но это неважно — у нас еще осталось, вы понимаете?) захвачены турецкими фрегатами. А мои спутники и я сам (мы находились в другой лодке) нынче ночью едва не погибли (мы оказались у них под самой кормой, нас окликнули, но мы не ответили и удрали), и утром это повторилось еще раз. И вот мы здесь — на небе солнце, погода ясная — в хорошеньком маленьком порту, но еще неизвестно, не явятся ли сюда за нами наши турецкие приятели на своих шлопках (а у нас — на борту — никакого оружия, кроме двух карабинов и нескольких пистолетов, и, как я подозреваю, не более четырех человек, способных сражаться); в особенности, если нам придется здесь застрять, ибо прямой путь на Миссолонги отрезан.

Хорошо, если бы вы послали, и как можно скорей, моего приятеля Джорджа Дрэка (Драко) и отряд сулиотов, чтобы вывести нас отсюда сушей или через рукава. Гамба и «Бомбарда», судно, на котором он находился, должно быть, отведены в Патрас, и нам придется принажать на турок, чтобы вызволить их обратно. Но куда же, черт побери, девался флот? Греческий, я разумею. Как он допустил нас выйти

в море, даже не предупредив о том, что мусульмане снова появились в этих водах.

Засвидетельствуйте мое почтение Маврокордато и скажите ему, что я здесь — и к его услугам. Мне здесь немного тревожно, не столько из-за себя, сколько из-за того греческого мальчишка, который находится при мне, потому что вы ведь знаете, что его ожидает, если мы попадем в руки турок,— а я предпочту скорей изрезать его на куски да и себя тоже, чем допустить, чтобы его забрали эти варвары. Мы все чувствуем себя превосходно.

Н. Б.

«Бомбарда» была в двенадцати милях от берега, когда ее захватили; по крайней мере так нам показалось (если ее действительно захватили, потому что это еще не наверно), а нам нужно было спастись от другого корабля, который стоял прямо между нами и портом.

ЧАРЛЬЗУ ХЭНКОКУ

Миссолонги, 13 января 1824 г.

Дорогой сэр, премного благодарен вам за ваше письмо от 5-го числа, а также Мюиру за его письмо. Вы, вероятно, слышали, что Гамба и мое судно вырвались из турецкого плена целыми и невредимыми; как и почему — никто не знает, ибо в этой истории, повидимому, скрыта какая-то мелодраматическая тайна. Не сомневаюсь, что капитан Вальсамаки рассказывает в Аргостоли на этот счет всяческие небывлицы. Я всецело приписываю их освобождение заступничеству св. Диониса Зантского или Мадонны на Скале близ Кефалонии.

Приключения моего парусника тоже не кончились в Драгоместри. Мы вышли под конвоем нескольких вооруженных греческих судов и в море встретили военный корабль «Леонидас», который должен был нас охранять. Но тут поднялась буря, нас дважды относило на скалы около Скрофа, и наши доллары еще раз чуть не погибли. Две трети нашей команды прыгали на берег с бугшприта. Скалы были довольно крутые, но вода у берега очень глубокая, так что после тяжелых усилий и многих проклятий судно удалось сдвинуть, и мы поплыли дальше, имея на борту одну треть команды, покинув остальных на пустынном острове, где они сидели бы и по сие время, если бы один из наших вооруженных парусников не подобрал их; сами мы не имели возможностей подойти к ним.

Передайте Мюиру, что доктор Бруно не проявил большого геройства в этом деле: он сбросил с себя платье, остался в одном фланелевом жилете и метался по палубе, как крыса в западне; а когда я пытался внушить одному мальчику-греку, что хотя

судно и может разбиться, но пассажирам никакой опасности не грозит и что я без труда сумею спастись сам и спасти его (несмотря на то, что он не умеет плавать), так как, хотя здесь и глубоко, волнение небольшое и ветер дует не к берегу (мы застряли просто по оплошности)— доктор воскликнул: «Спаси его? Да ну его к чорту, спасите лучше меня! возьмите меня первого». Сей вопль эгоизма вырвался у него с таким умиленным простодушием, что все, кто в эту минуту мог его слышать, расхохотались. А через секунду судно уже вышло на воду, стукнувшись всего два раза. Дно дало небольшую течь, но больше ничего не случилось, только капитан потом сильно нервничал.

Короче говоря, непогода преследовала нас все время, но ветер был попутный; семь или восемь ночей мы спали на палубе, по большей части в воде, но никогда мы себя так хорошо не чувствовали (впрочем, я говорю лично о себе), и я даже купался в море минут пятнадцать, вечером, четвертого числа (чтобы избавиться от блох и др.), после чего почувствовал себя еще лучше.

В Миссолонги нас встретили очень радушно, со всякого рода почестями; а зрелище салютующего флота и пестро одетой толпы было поистине живописно. Мы думаем в скором времени предпринять некую экспедицию, и я, вероятно, получу приказ присоединиться с моими сулиотами к армии.

Пока все идет хорошо. Гамба мы застали здесь, и все в полном порядке. Привет друзьям.

Всегда ваш

Н. Б.

ТОМАСУ МУРУ

Миссолонги, Западная Греция, 4 марта 1824 г.

Мой дорогой Мур, упреки ваши неосновательны, я получил от вас два письма и ответил на оба прежде, чем уехал из Ксфалонии. Я не «наслаждался покоем на одном из Ионийских островов», но был очень занят всякими делами, как вам могут подтвердить греческие делегаты (если они приехали). Не писал я также и «Дон-Жуана» и никакой другой поэмы; ваши сведения обо мне вы, я полагаю, почерпнули, как всегда, из какой-нибудь газеты.

Когда наступил момент, что мое пребывание здесь могло принести пользу, я приехал сюда; и говорят, что мое присутствие (наряду с кое-какими другими обстоятельствами) способствует, хотя бы по крайней мере временно, успеху дела. По дороге сюда я едва спасся от турок, а кроме того, еще и от кораблекрушения. Пятнадцатого или шестнадцатого февраля у меня случился припадок апоплексии или эпилепсии — доктора еще не решили, чего именно, — но

альтернатива, смею сказать, приятная. Моя особа, таким образом, пребывает между этими двумя приговорами, подобно тому, как гроб Магомета висит между двумя магнитами. Все, что я сам могу сказать по этому поводу, это, что они чуть не умилили меня кровопусканиями, поставив мне пиявки слишком близко к височной артерии, так что потом еле удалось остановить кровь даже с помощью ляписа. Сейчас я, видимо, поправляюсь, хотя и довольно медленно. Но в моих пожеланиях на будущее я хочу последовать примеру архиепископа Гренадского и сказать, подобно ему: «Получите сто дукатов у моего казначея, и желаю вам немного побольше вкуса».

Что касается общественных дел, то рекомендую вам прочитать отчеты полковника Стэнхопа и капитана Перри и всякие прочие отчеты. Дела по горло, кругом война, внутри смута, «каждую неделю убивают по человеку», как хвастался Боб Экр у себя в усадьбе. После того как между туземцами и чужеземцами произошла стычка и был убит один швед, а один сулиот ранен, артиллеристы Перри панически бежали. В самый разгар драки случилось еще сильное землетрясение; очутившись между этим бедствием и палашом, они обратились в бегство, несмотря на все наши попытки уговорить их. Турецкий корабль сел на мель у берега и т. д., и т. д.

Вы, я полагаю, либо печатаетесь, либо собираетесь это делать. Хотелось бы что-нибудь услышать о вас, а также и от вас. Всегда и во всех случаях любящий вас

Н. Б.

Передайте мистеру Мэррею, что я написал ему на-днях и надеюсь, что он получил или получит это письмо.

АДРЕАСУ ЛОНДОСУ

(без даты)

Дорогой друг, я испытал величайшее удовольствие, узнав ваш почерк. Как и для всякого образованного и способного чувствовать человека, Греция всегда была для меня драгоценной, обетованной страной доблести, искусств и свободы; а время, которое я в моей юности провел, блуждая среди ее развалин, нимало не охладило моей привязанности к этой стране героев. Кроме того, я связан с вами узами дружбы и благодарности за гостеприимство, которое вы мне оказали во время моего пребывания в этой стране. Ныне вы стали одним из ее первых защитников и лучших украшений. Сражаться за Грецию — плечо к плечу с вами, на ваших глазах, — будет для меня одним из счастливейших событий всей моей жизни. Итак, в надежде встретиться с вами снова —
всегда и пр. Н. Байрон.

ПИСЬМА О СМЕРТИ БАЙРОНА

ПИСЬМО ВИЛЬЯМА ФЛЕТЧЕРА
ДЖОНУ МЭРРЕЮ

Миссолонги, 21 апреля 1824 г.

Простите мне мою Дерзость, с которой я в Печальной Необходимости осмеливаюсь писать к вам, дабы Сообщить вам Грустное Известие о Моем Лорде Байроне, которого Нет Больше: он Отошел из этой Несчастной Жизни — девятнадцатого апреля после Болезни которая длилась только десять дней и началась у его Светлости с Нервной Лихорадки а кончилась Воспалением Мозгов оттого что во время не бросили Кровь потому что его Светлость отказывалась пока не стало Слишком Поздно я посылаю Достопочтимой миссис Ли Письмо Вложенное в ваше которое я полагаю вам лучше бы распечатать и объяснить миссис Ли потому что я боюсь что содержание того Письма будет слишком тяжело для нее и будьте добры известить леди Байрон и досточтимую мисс Байрон, Кровых я желал бы Повидать когда вернуться с вещами Моего Лорда и с его Дорогими Благородными Останками, постарайтесь передать это как можно помягче, потому что я боюсь Последствий и пожалуйста Сэр Засвидетельствуйте мое Почтение леди Байрон в Надежде, что Она разрешит мне повидать Ее как на то было Особо желание Моего Лорда и мисс Байрон. Также пожалуйста Прошу Простить за все Ошибки потому что я Еле понимаю что я Говорю и Делаю после двадцати Лет Службы у Моего Лорда который был мне Дороже отца и я слишком Расстроен сейчас дать Точный отчет всех Подробностей что я надеюсь сделать по приезде в Англию а также Сэр будьте Добры Передать письмо Достопочтенному капитану Джорджу Байрону, который будет теперь главой семьи и носителем Титула и я считал своим долгом известить его но вы Сэр сделайте Милость сообщите ему все подробности потому как я не имею времени а посланец уже готов пуститься в путь и будет ехать день и ночь пока не придет в Лондон, и посему прошу Сэр извините меня и надеюсь также что вы исполните все мои просьбы в которых я уверен вы Не Откажете мне.

Остаюсь Сэр вашим самым смиренным и покорным слугой. В. Флетчер слуга Покойного Л. Б. двадцать лет.

Я называю Сэр мое Имя и Должность, чтобы вы Припомнили меня и простили мне, когда вы вспом-

ните Сколько раз я бывал в вашем доме на Олбермал-стрит.

ПИСЬМО МАВРОКОРДАТО АВГУСТЕ ЛИ

Миссолонги, 1 мая 1824 г.

Милостивая государыня, скорбные чувства, которые переполняют мое отягощенное сердце, не позволяют мне найти нужные слова для того, чтобы выразить вам мое соболезнование. Ваша утрата — это утрата для всей Европы, это всеобщая утрата, в особенности же это громадная и непоправимая утрата для Греции, которая была второй отчизной тому, кто пришел ей на помощь в самые трудные ее минуты, кто поддержал ее в час ее отчаяния и кого она признала своим благодетелем. Наше настоящее положение не позволяет нам сейчас сделать все, что подобает, дабы почтить память великого человека, но наше сердце испытывает в этом великую необходимость, и слезы наши свидетельствуют о чувствах, которые в нем навеки запечатлены.

Но если траур охватил всю страну, если все греки проливают слезы, то жители этого города, сами бывшие свидетелями достоинств и благодеяний великого человека, которого они с гордостью уже считали своим согражданином, несравненно больше, чем все другие, чувствуют и вечно будут чувствовать безграничность своей утраты. Лишиться своего благодетеля после его смерти — это для них второе несчастье, и они умоляют о том, чтобы им было разрешено сохранить хотя бы часть останков своего согражданина. Об этом мы просим и в прилагаемом письме, с которым обращаемся к благородной дочери покойного, коей эти бесценные останки принадлежат по праву. Не осуждайте меня, милостивая государыня, за то, что я беру на себя смелость просить вашего посредничества: вы слишком понимаете благородные и великодушные чувства вашего брата и не отвергнете эту просьбу, которую так единодушно поддерживает весь народ, просьбу, находящую свое оправдание в тех чувствах, которыми она вызвана.

Примите выражения самого глубокого уважения, с коими имею часть быть

вашим смиренным и преданным
слугой

А. Маврокордато.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЛИРИКА И ЭПИГРАММЫ

(Стр. 25—57)

Стр. 25. При отъезде из Ньюстэдского аббатства. — *Ньюстэдское аббатство* — монастырь, основанный в Ньюстэде в 1170 г. После упразднения монастырей в 1540 г. Ньюстэдский замок был передан дворянской фамилии Байронов — предкам поэта. *Аскалон* — крепость в Палестине, игравшая большую роль во время походов крестоносцев в Палестину в средние века. Участие предков Байрона в крестовых походах не подтверждается историческими документами. *Креси*. — В сражении при Креси в Северной Франции в 1346 г. английская армия под командованием короля Эдуарда III нанесла поражение французской армии. *Руперт* — родственник английского короля Карла I. *Марстон* — битва при Марстон Муре во время английской буржуазной революции, где в 1644 г. войска Карла I были разбиты армией Кромвеля.

Подражание Катулле. — *Катулл* — древнеримский поэт (87—47 гг. до н. э.).

Стр. 27. Отрывок. — Стихотворение написано после разлуки Байрона с Анной Чоурт, вышедшей замуж в 1805 г. Байрон, влюбленный в Анну Чоурт, гостил в 1803 г. в Анслее — поместье ее родителей.

Любви последние прости. — *Астрея* — древнегреческая богиня справедливости.

Оскар из Альвы. — Стихотворение основано на старинной легенде. *Балтен* — шотландский праздник в начале мая, во время которого жгли дровья.

Стр. 32. Лэчин-и-Гэр. — *Лэчин-и-Гэр* (по-кельтски Лох на Гарр) — одна из вершин Каледонских Альп (горный хребет в Шотландии); Байрон жил близ Лэчин-и-Гэра в детстве. *Каледония* — древнее название Шотландии. *Куллоден* — селение в Северной Шотлан-

дии, близ которого в 1764 г. произошло сражение между шотландским ополчением и английскими войсками, закончившееся поражением шотландцев. *Бремар* — местность в Северной Шотландии. *Альбион* — Англия.

Строки, адресованные преподобному Бичеру... — *Бичер*, Джон Томас (1770—1848) — английский священник, знакомый Байрона. *Этна* — вулкан на острове Сицилии в Италии. *Фокс*, Чарльз (1749—1806) — английский политический деятель, один из руководителей партии вигов. *Чэтам* — графский титул Вильяма Питта старшего (1708—1778), английского политического деятеля, в течение долгого времени возглавлявшего английское правительство.

Стр. 33. Джорджу, графу Делавару. — *Делавар* (1791—1869) — товарищ Байрона по Харроу.

Стр. 34. К А н н е. — *Анна* — мисс Анна Хоусон, с которой Байрон встречался в 1806 г. во время пребывания в Саутуэлле.

Стр. 35. Ну что ж! Ты счастлива. — Стихотворение написано после встречи Байрона с Анной Чоурт и ее мужем Мастерсом в Анслее. *Лета* — в древнегреческой мифологии река забвения.

Стр. 36. Наполняйте стаканы! — *Пандора* — в древнегреческой мифологии женщина, которую бог Зевс послал на горе людям, дав ей ларец, содержащий различные несчастья. Когда ларец Пандоры был открыт, заключавшиеся в нем беды вылетели из него и расселись по всей земле. *Геба* — в древнегреческой мифологии богиня, которая была виночерпимею богов на Олимпе.

Стр. 37. Девушка из Кадикса. — *Кадикс* (точнее Кадис) — город в Южной Испании, центр провинции Кадис. *Эреб* — бог подземной тьмы в древнегреческой мифологии. *Болеро* — испанский танец.

Стр. 38. К Ф л о р е н с. — Эти стихи, как и стихотворение «В альбом» и «Стансы, написанные при проходе мимо Амвразийского залива», посвящены мисс Спенсер

Смит, с которой Байрон познакомился во время пребывания на Мальте. Мисс Спенсер Смит родилась в Константинополе; в юности она принимала участие в заговоре против Наполеона, организованном англичанами, и была арестована французской полицией, но впоследствии освобождена.

Стансы, написанные при прохождении мимо Амвракийского залива. — Амвракийский (иначе Артский) залив Ионического моря омывает западный берег Греции. Акций — мыс в Греции у выхода из Амвракийского залива. У Акции в 31 г. до н. э. произошло морское сражение между претендентами на власть в Риме — Октавианом и Антонием, который выступал в союзе с египетской царицей Клеопатрой. Историческое предание считает бегство Клеопатры причиной поражения Антония в этой битве. Орфей — в древнегреческой мифологии певец, вернувшийся из ада свою жену Эвридику, растрогав своим пением Персефону — богиню подземного царства.

Стихи, написанные после пересечения в плавание Дарданелл. — Леандр — по древнегреческому преданию, возлюбленный Геро — жрицы, богини любви Афродиты. Леандр и Геро жили на разных берегах Геллеспонта (древнее название Дарданелл). Леандр каждую ночь переплывал Геллеспонт, держа путь на свет фонаря, зажигаемого Геро. В одну бурную ночь фонарь погас, и Леандр погиб в волнах.

Стр. 39. Песня греческих повстанцев. — Это стихотворение является переложением песни, написанной греческим поэтом, борцом за независимость Греции, Константином Ригасом (Ригой). Ригас (1757—1798) был казнен турецкими властями. *Город семигорный* — Константинополь. *Спарта* — древнегреческое государство, расположенное на юге Греции. Спартанское войско отличалось высокими боевыми качествами. *Леонид* — спартанский царь, под руководством которого спартанская дружина, состоявшая из трехсот человек, в 480 г. до н. э. героически защищала Фермопильский проход от персов, вторгшихся в Грецию.

Перевод греческой песни. — *Флора* — богиня цветов и плодов у древних римлян. *Цикута* — ядовитое растение (болиголов).

Стр. 40. Прощание с Мальтой. — Мальта была одной из главных баз английского средиземноморского флота. В стихотворении «Прощание с Мальтой» Байрон выразил свое резко отрицательное отношение к английской армии и флоту, что звучало протестом против шовинистической пропаганды, организованной английским правительством. *Ступенек энусный ряд*. — Улицы Ла Валетты (главного города острова Мальты) состоят из рядов ступеней, высеченных в скалах. *Миссис Фрэйзер* — английская писательница, с которой Байрон познакомился на Мальте.

Энигафия Джозефу Блэкету. — *Блэкет* (1786—1810) — бездарный английский поэт,

сапожник по профессии; пользовался особым покровительством салонно-аристократических кругов, в частности Саути.

Стр. 41. Забыть тебя! — Стихотворение было написано Байроном на оставленной ему Каролиной Лэм (английская писательница, знакомая Байрона) записке, гласившей: «Не забудь меня!»

Стр. 42. Ода авторам билля против разрушителей станков. — *Эльдон*, Джон Скотт (1751—1838) — реакционный английский политический деятель, консерватор; с 1801 по 1827 г. был лордом-канцлером. Выступая с речью о событиях в Поттингеме (см. вступительную статью), Эльдон заявил, что они были последствием «ошибки». *Райдер*, Ричард (1766—1832) — министр внутренних дел Англии с 1809 по 1812 г.

Стр. 43. На посещение принцем-регентом королевского склепа. — *Принц-регент*. — Ввиду болезни английского короля Георга III (1738—1820) Англией с 1811 г. правил принц-регент Георг, в 1820 г. ставший королем. *Карл I* (1600—1649) — английский король, казненный во время английской революции XVII в. *Генрих VIII* (1491—1547) — английский король. Был женат шесть раз.

Валтасару. — По библейской легенде, вавилонский царь Валтасар во время пира увидел руку, чертившую на стене надпись: «мани, фекел, фарес». Древнееврейский пророк Даниил объяснил смысл этой надписи: она гласила, что царство Валтасара должно кончиться.

Дочь Иевфая. — По библейской легенде, вождь израильтян Иевфай дал обет, что если он победит врагов, то принесет в жертву первого, кто выйдет навстречу ему из его дома. Первой навстречу вышла его дочь, и он принес ее в жертву.

Стр. 44. Песнь Саула перед последней битвой. — *Саул* — по библейскому рассказу, первый царь еврейского народа. Библейские предания повествуют о мужестве и подвигах Саула.

Видение Валтасара. — Этот перевод русского поэта-революционера А. Полскаева был высоко оценен В. Г. Белинским.

Стр. 45. Поражение Септахериба. — Ассирийский царь *Сеннахериб* (705—681 до н. э.) осадил столицу воставшей Иудеи — Иерусалим, но, потерпев неудачу, удалился, взяв выкуп. Библейская легенда говорит, что ассирийское войско было истреблено ангелом.

На бегство Наполеона. — Стихотворение является откликом на бегство Наполеона с острова Эльбы и его поход на Париж в марте 1815 г., за которым последовал так называемый период «Ста дней» власти Наполеона.

Ода с французского. — Стихотворение названо переводом с французского, чтобы избежать придинок цензуры. Напечатано в 1816 г., во время шовинистической реакции в Англии, торжествовавшей после поражения Наполеона. *Ватерло* — поле битвы, про-

игранной Наполеоном 18 июня 1815 г. Потерпев поражение при Ватерло, Наполеон вынужден был отречься от престола. *Лабэдойер* (1786—1815) — французский военный деятель, перешедший во время «Ста дней» на сторону Наполеона и возведенный им в пары Франции. После поражения Наполеона был осужден военным судом и расстрелян. *Отважнейший из храбрых* — Ней (1769—1815) — маршал армии Наполеона, поддержавший его во время «Ста дней». После поражения Наполеона был объявлен изменником и расстрелян. *А ты, в плюмаже снежнобелом* — Мюрат (1771—1815), маршал армии Наполеона, неаполитанский король. В 1814 г. Мюрат изменил Наполеону, стремясь остаться королем Неаполя. Во время «Ста дней» Мюрат вновь перешел на сторону Наполеона. После поражения Наполеона был расстрелян. *Капет*. — В эпоху французской буржуазной революции Капестом называли короля Людовика XVI, затем, после 1815 года, — Людовика XVIII.

Стр. 46. Звезда Почетного легиона. — Стихотворение написано во время торжества реакции в Европе после поражения Наполеона. Орден Почетного легиона был учрежден по предложению Наполеона в 1802 г.; знак этого ордена — звездообразный крест. Байрон обращается к этому знаку как к символу побед Наполеона, которые он считал победами французской революции. *«Из трех цветов она слита»* — трехцветный французский национальный флаг (синяя, белая и красная полосы).

Стр. 47. Прощание Наполеона. — Стихотворение написано после отречения Наполеона от престола.

Прометей. — *Прометей* — в древнегреческой мифологии титан, похитивший огонь у богов и давший его людям. В наказание за это Прометей был прикован к скале, и орел прилетал через день клевать его печень. Образ Прометея привлекал внимание крупнейших писателей древности и нового времени. Маркс назвал Прометея «самым благородным героем и мучеником в философском календаре». Стихотворение Байрона «Прометей» было написано после победы реакции в Европе. Байрон выразил в этом стихотворении мужественную уверенность в том, что необходима борьба с тиранами. К образу Прометея — борца за счастье человечества — Байрон обращался в ряде своих произведений.

Стр. 48. Надпись на обороте разводного акта. — Байрон женился на Анне Изабелле Мильбанк 2 января 1815 г.

Послание к Августе. — «Послание к Августе», как и два последующих стихотворения, посвящено сводной сестре Байрона Августе Ли (1784—1851). Августа Ли была с юных лет близким другом Байрона. Она поддерживала Байрона в трудное для него время после разрыва с женой, когда светская чернь организовала травлю поэта. *Дед встречал на море*. — Дед поэта, адмирал Джон Байрон (1723—1786), получил прозвище «Джек — Плохая погода», потому что, по поверьям моряков английского флота,

корабль, на борту которого находился адмирал Байрон, непременно попадал в шторм. *Я вспомнил озеро у замка* — озеро в Ньюстэде. *Леманские воды*. — Леман — Женевское озеро в Швейцарии, близ которого в 1816 г. жил Байрон после отъезда из Англии.

Стр. 51. Сон. — В этом стихотворении Байрон говорит о своей любви к Анне Чоурт (см. примечание к стихотворению «Отрывок»), ее неудачном замужестве, о своей женитьбе и последовавшей за этим семейной драме. *Понтийский царь*. — Согласно старинной легенде, понтийский царь Митридат (120—63 до н. э.), боявшийся отравы со стороны врагов, непрерывно принимал яды и противоядия, чтобы приучить себя к их действию.

Стр. 54. Песня для луддитов. — *Как за морем кровью свободу свою...* — Байрон имеет в виду войну Североамериканских Штатов за независимость.

К бюсту Елены, изваянному Каповой. — *Канова*, Антонио (1757—1822) — знаменитый итальянский скульптор, высоко ценимый Байроном.

Томасу Муру. — *Мур*, Томас (1779—1852) — английский поэт, друг Байрона. Лучшие произведения Мура собраны в его книге «Ирландские мелодии» (1804 г.).

Стихи, написанные в шутку. — В этом стихотворении Байрона высмеяны произведения английских реакционных романтиков, вышедшие в 1815—1816 гг.: поэмы ведущих поэтов «озерной школы» — «Кристалль» Кольриджа и «Райльстонская лань» («Рильстон-Дое») Вордсворта; поэма попа-виршеплета Боулса «Миссионер в Андах»; произведения писателей, примыкавших к реакционному романтизму: «Ватерлоо и другие стихотворения» Д. Уэддерберна Уэбстера; «Маргарита Анжуйская» Маргариты Холфорд; «Ильдерим, Сирийская повесть» Галли Найта.

Стр. 55. Эпиграмма. — В этом стихотворении Байрон нападает на поэму английского реакционного романтика Вордсворта «Питер Белль» (напечатана в 1819 г.). Байрон указывает, что Вордсворт пользуется поддержкой лондонских аристократов — баронета Бьюмонта и лорда Лонсдаля, который обеспечил ему доходное место в акцизном управлении.

Эпиграфия Вильяму Питту. — *Питт*, Вильям (1759—1806) — реакционный английский политический деятель, принадлежавший к партии консерваторов («тори»), ярый враг французской революции.

Эпиграмма. — *Джон Буль* — прозвище англичан.

Эпиграмма на Вильяма Коббетта. — Поводом для этого стихотворения послужил перенос праха Томаса Пэйна (1737—1809) из Америки в Ливерпуль, организованный в 1819 г. Коббеттом. *Пэйн* — английский публицист и политический деятель, активно участвовавший в движении Североамериканских Штатов за независимость.

риканских Штатов за независимость и во французской революции. В своих произведениях Пэйн подвергал резкой критике государственный строй Англии и США и высказывал передовые демократические взгляды. *Коббетт*, Вильям (1762—1835) — английский публицист и политический деятель, один из руководителей радикального движения в Англии.

Из Марциала. — *Марциал* (41—104 н. э.) — замечательный римский поэт-сатирик, создавший в своих «Эпиграммах» яркую картину римской жизни.

Стр. 56. На смерть Джона Китса. — *Китс*, Джон (1796—1821) — талантливый английский поэт, противник пуританского ханжества. Реакционная английская пресса травила Китса, что, по мнению Байрона, привело к ранней смерти поэта. Байрон называет трех реакционных английских литераторов — Саути, Барро и Мильмена — в качестве возможных авторов статей, направленных против Китса.

На самоубийство британского министра Кэстлери. — *Кэстлери* (1769—1822) — реакционный английский политический деятель, который покончил с собой, перерезав себе ножом горло. Самоубийство Кэстлери знаменовало крах его политики, направленной против сторонников реформы. *Катон* Младший (95—46 до н. э.) — римский республиканец, боровшийся с Цезарем. После победы Цезаря Катон покончил с собой.

Песнь к сулиотам. — *Сули* — городок в Албании. *Сулиоты* — греко-алабанское горное племя, в XVIII и XIX вв. героически боровшееся за свою независимость против турецких угнетателей. *Бауа* — воинственный клич сулиотов. *Стратиоты* — воины.

Из дневника в Кефалонии. — *Кефалония* — остров в Ионическом море, где Байрон останавливался в конце 1823 г. по пути из Генуи в Миссолонги.

ПОЭМЫ И САТИРЫ

(стр. 61—212)

ПО СТОПАМ ГОРАЦИЯ

(стр. 61—70)

Поэма «По стопам Горация» является изложением эстетических взглядов Байрона. Название поэмы подчеркивает, что это произведение продолжает традиции поэтики английских писателей-классицистов XVII—XVIII вв. и демократических писателей эпохи Просвещения, которые в качестве образца специального стихотворного произведения на эстетические темы рассматривали «Послание к Пизонам («О поэтическом искусстве») римского поэта Горация (65—8 до н. э.).

Стр. 61. *Лоуренс* (1769—1830) — известный английский художник-портретист. *Дюбост* — французский ху-

дожник, изобразивший английского писателя и знатока искусств Хоупа, который его оскорбил, в виде животного. *Мосх* — древнегреческий лирический поэт II в. до н. э. Байрон называет именем Мосха своего друга, радикального английского общественного деятеля Гобхауза. *Дубравы Гранты...* *Кингс Колледж, волны Кама.* — Гранта — старинное название г. Кембриджа, расположенного на берегу реки Кэм. Кингс Колледж — один из колледжей Кембриджского университета.

Стр. 62. *Чосер*, Джеффри (1340—1400) — великий английский писатель-реалист, автор «Кентерберийских рассказов», один из создателей английского литературного языка. *Драйден*, Джон (1631—1700) — известный английский писатель-классицист. *Поп*, Александр (1688—1744) — выдающийся английский поэт, резко выступавший против реакционных писателей своего времени. Байрон высоко ценил Попа. *Альманзор* — герой трагедии Драйдена «Альманзор, или завоевание Гренады испанцами», являющейся образцом так называемой «жестокой трагедии». *Бомонт* (1586—1616) — английский драматург. *Бен-Бен Джонсон* (1572—1637) — известный английский драматург. Байрона привлекали реалистические тенденции поэтики Бен Джонсона. *Таунли* — действующее лицо в пьесе английских драматургов XVIII в. Ванбру и Сиббера «Рассерженный супруг». *Ревун* — Готспер, действующее лицо в пьесе Шекспира «Король Генрих IV». *Галь* — уменьшительное имя принца Генриха в той же пьесе.

Стр. 63. *«Лжец-слуга»* — пьеса знаменитого английского актера и драматурга Гаррика (1717—1779). *Мерлин* — пророк и волшебник в средневековой сказочной литературе Англии. *Перегрин* — герой романа английского писателя Смоллета (1721—1771) «Перегрин Пикль». Перегрин выведен в качестве действующего лица в пьесе Кольмана «Джон Буль», которая была поставлена в 1803 г. *Вильтс* — Вильтшир — графство в Южной Англии. *Дрокэнсир* — хвастун и враль, выведенный в пьесе английского драматурга Вилльерса (1627—1688) «Репетиция». *Констенс* — мать Артура, герцога бретонского, в пьесе Шекспира «Король Джон». *Боулс* (1768—1850) — английский поэт, произведения которого, являющиеся образцом пустой, аристократической поэзии, вызвали возмущение Байрона. *«Стремление к возвышенным трудам»* — первая строка одной из поэм Боулса. *Саути*, Роберт (1774—1843) — английский поэт-романтик, один из так называемых «лейкистов» — поэтов «озерной школы» (от англ. «lake» — озеро). Выступив в начале своего творческого пути с реакционно-романтической критикой правящих классов Англии, Саути затем перешел к их прямой поддержке и сделал карьеру официального британского поэта — прислужника торийской олигархии. С 1813 г. поэт-лауреат королевского двора, Саути воспевает в своих бездарных стихах английскую реакцию. Травит прогрессивных писателей, особенно Байрона и Шелли, на которых он писал политические доносы. Белинский и Чернышевский дают резко отрицательную характеристику поэзии

Саути, разоблачая ее реакционную направленность. *Будил слепец...* — Мильтон. *Не мелу от яркости, но луч в затмении* — перевод не совсем ясной строки Горация, вызывавшей много толкований. *Гарвей*, Вильям (1578—1657) — английский врач и естествоиспытатель, открывший явление кровообращения. *Тэвел* — наставник Тринити Колледжа в Кембридже, где обучался Байрон.

Стр. 64. *Макбет* — герой трагедии Шекспира «Макбет», убийца короля Дункана. Убийство Дункана Макбетом происходит за сценой. «*Как черный Губерт жмет младенцу очи*». — В пьесе Шекспира «Король Джон» придворный Губерт собирается выжечь глаза малолетнему герцогу Артуру. «*Ирину Джонсон удушил*». — Героиня пьесы английского писателя Сэмюэля Джонсона (1709—1784) «Магомет и Ирина», Ирина по первоначальному замыслу пьесы должна была быть повешена на сцене, но затем Джонсон отказался от этого сценического эффекта, вызвавшего возмущение зрителей. *Льюис* (1775—1818) — английский реакционный романист. *Дэннис* (1657—1734) — английский критик, выступавший против засилия итальянской оперы на английской сцене. *Гесперия* — Испания (по античной географии). *Эмбарго*. — Речь идет о континентальной блокаде Англии, объявленной Наполеоном в 1806 г. *Аллея мод* (Проход фатов) — место в Лондонской опере, где собирались молодые театралы, принадлежавшие к «высшему свету». *Плясал Давид*. — По древнееврейской легенде, царь Давид плясал перед ковчегом завета. *Панч с кумой Джоанной* — комические персонажи в английском кукольном театре. *Бенволио* — ханжа в «Двенадцатой ночи» Шекспира. Под именем Бенволио Байрон выводит ханжу, лорда Гросвенора, который требовал запрещения воскресных газет по религиозным соображениям и в то же время принимал активное участие в организации скачек в Лондоне, наживаясь на них. *Фут* (1720—1777) — английский актер и драматург, сатирический дар которого высоко ценил Байрон.

Стр. 65. *Гистрион*. — Гистрионами называли в древнем Риме актеров. «*Хрононегонтолог*» — пьеса английского драматурга XVIII в. Керри. *Эвфрозина* — в древнегреческой мифологии богиня веселья, одна из трех харит (граций). *Вальпол*, Роберт (1676—1745) — английский реакционный политический деятель (из партии вигов). Байрон говорит о законе, принятом английским парламентом в 1737 г. по предложению Вальпола. Этот закон подчинил пьесы английских драматургов цензуре лорда, управляющего дворцом короля (лорд-камергер). *Честерфилд* (1694—1773) — английский политический деятель и писатель, выступивший против закона Вальпола о театральной цензуре. *Эстифанья* — жена «меднолобого капитана» Михаеля в комедии Флетчера «Владеть женой и обладать женой». *Виллис* — известный английский врач-психиатр. *Мак-Хиз* — ловкий вор, герой «Оперы нищих» Гэя. *Кольер*, Джерсеми (1650—1726) — английский епископ, обвинявший английских драматургов в безнравственности. *Методист*. —

Методисты — англо-американская религиозная секта. *Друри* — театр в Лондоне, сгоревший 24 февраля 1809 г. *Кальвин*, Жан (1509—1564) — швейцарский религиозный и политический деятель, руководитель церковного движения, выражавшего идеологию крепнущей буржуазии (кальвинизм). *Сервет* — естествоиспытатель, общественный деятель XVI в. Был сожжен в 1553 г. в Женеве; по приказу Кальвина его жарили на костре живым два часа. *Солиму гимн...* — Солим — древнее поэтическое название Иерусалима. *Симеон* — английский религиозный деятель и писатель, руководитель протестантского движения в Кембридже в начале XIX в. *Эклога* — стихотворное произведение о пастушеской жизни. *Филипс* (1675—1749) — английский писатель, автор «Пасторалей». «*Гудибрас*» — сатира английского писателя Сэмюэля Батлера (1612—1680), направленная против пуритан. *Усек на две стопы*. — «Гудибрас» написан четырехстопным размером. До Батлера английские поэты писали эпические произведения обычно пятистопным и шестистопным ямбом.

Стр. 66. *Феспис*, или Теспид — древнегреческий драматург, считавшийся родоначальником трагедии. «... в Бристоле». — Здесь изготовлялись фальшивые алмазы. *Чемерица* — растение, настой которого считался целебным при психическом заболевании. *Лицин* — цырюльник Цезаря, сделанный им, как гласит предание, сенатором. *Бейс* — герой пьесы Вилльерса «Репетиция», который говорил, что он должен пускать себе кровь, прежде чем приступать к литературному творчеству.

Стр. 67. *Локк*, Джон (1632—1704) — английский философ. О невыгодности занятий поэзией Локк говорит в своем сочинении «Несколько мыслей относительно воспитания». *Беднее Ира* — древняя поговорка; Ир — нищий, описанный в поэме Гомера «Одиссея»... в чревах у китов. — По древнееврейской легенде, пророк Иова был проглотен китом. Из чрева кита Иова вышел живым. В подлиннике игра слов: «киты» — по-английски означает небывлица. *Лонгман* — английский писатель. *Твид* — река, разделяющая Англию и Шотландию. *Гевард* — посредственный английский писатель, чья пьеса «Карл I», по рассказам современников, пользовалась успехом только до тех пор, пока не стало известно, что Гевард является ее автором. *Эрскин* (1750—1823) — известный английский адвокат и оратор. *Джеффри*, Френсис (1773—1850) — английский реакционный литератор, основатель (с 1802 г.) и редактор журнала «Эдинбургское обозрение». В своих статьях Джеффри яростно нападал на прогрессивных английских писателей. «*Эклектик*». — Английские попы с ненавистью ополчились на Байрона в церковном журнале «Эклектическое обозрение». *Гордость Дунедина*. — Дунедин — древнее название Эдинбурга. *Вить не могу я...* — цитата из трагедии Шекспира «Макбет». «...ужель ты меч не вынешь». — Байрон вспоминает здесь необычайно резкую статью Джеффри о своей книге «Часы досуга» и издается над Джеффри, который не ответил на направлен-

ную против него и его союзников сатиру Байрона «Английские барды и шотландские обозреватели».

Стр. 68. *Скамандр* — река близ Трои. *Голмурд* — древний замок в Эдинбурге. *Эдина* — поэтическое название Эдинбурга. *Джесон* — чемпион Англии по бою, друг Байрона. «*Гнилые местечки*» — города в Англии, к началу XIX в. обезлюдившие, пришедшие в упадок, но продолжавшие посылать депутатов в парламент благодаря реакционному устройству английской избирательной системы. Известны случаи, когда избиратель в единственном числе являлся на собрание и избирал сам себя в парламент. *Талаба* — «Талаба-разрушитель» — мистическая поэма Саути. «*Мэдок*» — поэма Саути, полная челепых выдумок и экзотической мишуры. *Квито* — столица Эквадора. *Орфей* ... *за ухо водил зверей*. — Орфей, по преданию, силой своего пения укрощал диких зверей и приводил в движение скалы. *Амфион* — древнегреческий мифический певец и музыкант. По преданию, Амфион построил городскую стену, играя на лире: камни сами складывались в стену под звуки его игры. *Рен*, Кристофор (1632—1723) — английский архитектор, выстроивший собор св. Павла в Лондоне и ряд военных крепостей. *Тиртей* — древнегреческий поэт, вдохновлявший своими песнями спартацев в их борьбе с мессенянами. Байрон говорит здесь о поэзии Тиртея как об образце общественно значительной поэзии. *Ифома* — крепость в Мессении. В V веке до н. э. восставшие против Спарты мессеняне и лаконские илоты продержались в ней десять лет. Ифома, по преданию, была оплотом мессенян также и в легендарную первую мессенскую войну. Байрон здесь допускает анахронизм: во вторую мессенскую войну, когда Тиртей своими песнями вдохновлял спартацев, оплотом мессенян была не Ифома, а Эйра (см. Павсаний, «Описание Эллады», кн. IV).

Стр. 69. *Кровавые окрасит пятерни* — намек на баронетский герб, в котором была красная рука. *Поллион* (75 до н. э. — 4 н. э.) — римский писатель и политический деятель, в 40 г. до н. э. был римским консулом. В старости Поллион посвятил свою жизнь литературной деятельности. *Криспиновой породы* — католический святой Криспин был сапожником. Здесь Байрон имеет в виду Блэкета. *Дорийский*. — Дорийцы — одно из племен древней Греции. Дорийским стилем англичане обычно называют «простонародный» стиль. *Лопт*, Кэйпл (1751—1824) — английский реакционный литератор-критик. *Мидас* — в древнегреческой мифологии — фригийский царь, у которого были ослиные уши. «*Джонсон*» — имеется в виду словарь английского языка лексикографа Джонсона.

Стр. 70. *Фитц-рифмаческой гортани*. — *Фитц* — намек на реакционного английского писателя Фитцджеральда (1759—1829), в напыщенных стихах прославлявшего английское правительство и английскую армию. *Баджя* (1686—1737) — английский писатель, который покончил с собой, когда открылось, что он совершил подлог и присвоил чужое наследство. *Катон*

Младший — см. примеч. к стих. «На самоубийство Кэстлери». Ему посвящена пьеса «Катон» английского писателя Аддисона (в тексте у Байрона «Аттик».)

ПРОКЛЯТИЕ МИНЕРВЫ

(стр. 71—74)

Поэма «Проклятие Минервы» была написана Байроном во время его первого путешествия в Грецию, где он стал очевидцем разбойничьего поведения английского дипломата лорда Эльджина (1766—1842), который составил огромную коллекцию произведений древнегреческого искусства, ограбив памятники Афин. Варварское разграбление сокровищ греческого искусства вызвало глубокое возмущение Байрона.

Стр. 71. *Морейские горы* — горы Морейского полуострова (в древности называвшегося Пелопоннесом). *Гидры остров* и *Эгины скалы*. — Гидра — остров у восточного берега Морейского полуострова. Эгина — остров в Сароническом заливе в Южной Греции. *Саламин* — остров в Греческом архипелаге, близ которого произошло в 480 году до н. э. сражение между греческим флотом и флотом персов, вторгшихся в Грецию. Битва при Саламине принесла грекам блестящую победу. *Дельфийская скала*. — Дельфы — город в древней Греции, расположенный на склоне горы Парнас, где, согласно древнегреческим поверьям, обитал бог солнца Феб (Аполлон). *Мудрейший муж* — Сократ (469—399 до н. э.), древнегреческий философ, идеалист, идеолог противников афинской демократии. После победы демократического правления в Афинах Сократ был приговорен к смертной казни. По преданию, Сократ умер, выпив яд цикуты в час перед закатом. *Гиметовы высоты*. — Гимет — горная цепь в Аттике близ Афин. *Кефиз* — река в Аттике. *Тезей* — по древнегреческим преданиям, основатель Афин. *Паллада* (Афина) — богиня мудрости у древних греков; в мифологии древних римлян ей соответствует Минерва.

Стр. 72. *Геката* — богиня лунного света у древних греков. *Фидий* (V в. до н. э.) — великий древнегреческий скульптор. *Горгона* — в древнегреческой мифологии женообразное чудовище. *Кекропс* — по преданию, основатель и первый царь Афинского государства. *Перикл* (V в. до н. э.) — афинский государственный деятель, во время правления которого в Афинах были воздвигнуты замечательные здания и созданы наиболее известные произведения древнегреческого искусства. *Адриан* (76—138 н. э.) — римский император, построивший в Афинах несколько храмов и другие здания. *Аларих* (376—410 н. э.) — король вестготов, вторгшийся в Грецию и Италию и разграбивший культурные центры античности. *Шотландский пэр* — Эльджин был по происхождению шотландцем. *Беотия* — область древней Греции; беотийцев афиняне считали тупыми и грубыми. Байрон сопоставляет Беотию с Шотландией (Каледонией). Байрон вел ожесточенную борьбу с реакционными литераторами, группировавшимися во-

круг выходящего в Шотландии журнала «Эдинбургское обозрение». *Пикта-вора*. — Пикты — римское название шотландских племен.

Стр. 73. *Вест*, Бенджамин (1738—1820) — бездарный английский художник, пользовавшийся покровительством короля. Байрон был возмущен похвалами, которые Вест расточал Эльджину. *На лавку мрамора*, что лорд открыл. — Когда в особняке лорда Эльджина была выставлена его «коллекция», один из посетителей спросил: «Что здесь, лавка мрамора?» *Герострат* — житель города Эфеса в древней Греции, который, по преданию, сжег храм Дианы только для того, чтобы приобрести посмертную славу. *Взгляни на Балтику — в огне она, у вас идет с союзником война*. — В 1807 г. английский флот подверг обстрелу Копенгаген — столицу Дании, считавшейся союзником Англии. *Там голу подняло Возмущенье*. — Имеются в виду восстания, которые происходили в Индии в начале XIX века. *Баросса* — возвышенность в Испании, близ которой в 1811 г. произошло сражение между французской и объединенной англо-испанской армиями, окончившееся поражением французской армии (см. первую песню «Паломничества Чайльд-Гарольда»). «*Союзник-Лузитания*». — Лузитания — древнее название Португалии. Португальские части, входившие в состав английской армии, участвовали в сражении при Бароссе. *Один лишь — государство обанкротив*. — Байрон с негодованием говорит о политике английского правительства, возглавляемого премьер-министрами Портлендом и Персивалем. Английское правительство в угоду капиталистам выпустило в феврале 1811 г. огромное количество бумажных денег, что привело к инфляции и тяжелому экономическому кризису в Англии.

Стр. 74. — *И не добьется галл, чтоб он в оковы брита заковал*. — Речь идет о войне Англии с наполеоновской Францией. *Беллона* — богиня войны у древних римлян.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ЧАЙЛЬД-ГАРОЛЬДА

(стр. 75—135)

Предисловие.

Стр. 75. *Эпир* — древнее название области, занимавшей территорию Албании и Северной Греции. *Акарнания* — область Северо-западной Греции. *Иония* — область Малой Азии, издавна населенная греками. *Фригия* — древнее название центральной части Малой Азии. *Чайльд* (отрок) — в средние века в Англии титул юного дворянина. *Спенсерова строфа* — строфа из восьми строк, введенная в английскую поэзию Спенсером (1552—1599). «Паломничество Чайльд-Гарольда» написано спенсеровой строфой. *Витти*, Джемс (1735—1803) — английский поэт, автор поэмы «Менестрель», написанной спенсеровой строфой.

Стр. 76. *Ариосто*, Лодовико (1474—1533) — замечательный итальянский поэт и драматург, здесь упомянут как автор поэмы «Неистовый Роланд». *Томсон*,

Джемс (1700—1748) — английский поэт, упомянут здесь как автор поэмы «Замок праздности», написанной спенсеровой строфой.

Дополнение к предисловию.

Стр. 76. *Сент-Пале* — имеется в виду книга французского писателя Сент-Пале «Размышления о старинном рыцарстве» (1781 г.). *Роллан* — автор книги «Разыскания о правах дам во дворах любви» (XVIII в.). *Тамплиер*. — Тамплиеры — средневековый рыцарский орден. *Сэр Тристрем и сэр Ланселот* — герои средневековых рыцарских романов. *Графиня Салисбери*. — По старинной легенде, учреждение ордена Подвязки, основанного английским королем Эдуардом III в 1350 г., было связано с графиней Салисбери, подвязка которой будто бы являлась эмблемой этого рыцарского ордена. *Берк* (1729—1797) — реакционный английский политик, идеолог реакционного романтизма. *Баярд*, Пьер-дю-Тераиль (1476—1524) — французский полководец, прозванный «рыцарем без страха и упрека»; вокруг имени Баярда была создана легенда в духе средневековых рыцарских романов. *Бенкс* — герой книги «Путешествие Хоксворта, составленное на основании судебных журналов нескольких капитанов и записок Джозефа Бенкса» (1773 г.). В этом сочинении описывались необычайные похождения путешественника Бенкса. *Тимон* (V в. до н. э.) — афинянин, изображенный древними писателями мрачным человеконенавистником, которого привели к отчаянию мысли об упадке нравственности в современном ему обществе. Тимону посвящена трагедия Шекспира «Тимон Афинский». В одном из вариантов стихотворения «Воспоминания детства» (1806 г.) Байрон называет себя «Тимоном, которому нет еще девятнадцати лет». *Зелуко* — герой книги английского писателя Джона Мура (1729—1802) «Зелуко. Разнообразные мнения о человеческой природе, основанные на наблюдении жизни и нравов на родине и за границей» (издано в 1789 г.). В образе Зелуко Джон Мур изобразил сильную одинокую личность, ожесточившегося и нравственно опустошенного человека.

Песнь первая. Стр. 78. *Дев пафосских*. — Пафос — город в древней Греции, где находился храм Афродиты — богини любви и красоты. Пафосские девы — девы, посвятившие себя служению Афродите.

Стр. 80. *Синтра* — город близ Лиссабона, расположенный на северном склоне гор Синтра. *Таго* — река на Пиренейском полуострове, у места впадения которой в Атлантический океан стоит Лиссабон — столица Португалии. *Чье дно поэты золотом мостят*. — По утверждению древних поэтов, Таго нес с собою много золотого песка. *Чтоб силой лузитанцев оберечь*. — Осенью 1807 г. Португалия (древняя Лузитания) была оккупирована армией Наполеона. В 1808 г. португальцы восстали против французских оккупантов; английское правительство использовало в своих интересах национально-освободительное движение в Португалии, высадив там английские войска. Французская армия была вынуждена эвакуироваться из Португалии после поражения, нане-

сенного ей португальскими повстанцами и английской армией. *Элизий* — в античной мифологии — блаженная страна, местопребывание людей после смерти.

Стр. 81. *«Ватек»* — роман английского писателя Бекфорда (1759—1844), жившего два года в Португалии, в замке близ Синтры. Ватеком Байрон называет самого Бекфорда. *Конвенция* — договор, заключенный англичанами и французами в августе 1808 г. после поражения французов в Португалии. Согласно конвенции, англичане обязались перевезти французскую армию из Португалии во Францию: условия конвенции были чрезвычайно выгодны для французов. Радикальная английская оппозиция, выступавшая против политики английского правительства, воспользовалась заключением конвенции для ожесточенной критики торийских правящих кругов. *В замке Марьяльва*. — Байрон ошибочно считал, что конвенция была подписана в замке маркиза Марьяльва в Синтре. *Не побежденным здесь, а победившим горе*. — Байрон иронически говорит о дипломатическом поражении торийской военной клики. *Лишь кончился воинственный собор*. — Имеются в виду переговоры, предшествовавшие заключению конвенции. *Мафра* — город в Португалии, севернее Лиссабона. *Вавилонская блудница*. — Так, следуя установившейся антикатолической традиции, Байрон называет католическую церковь.

Стр. 82. *Размежевать Испанию с Сестрой*. — Сестрой Испании Байрон называет Португалию. *Здесь рыцари и мавры*. — Байрон говорит о так называемой «реконкисте» — многовековой борьбе испанского народа против мавров, завладевших в VII в. значительной частью Испании, но изгнанных испанцами в Африку в конце XV века. *Пелаг* — Пелайо, испанский король (VIII в.), боровшийся с маврами. *Когда за Каву мстя...* — По преданию, Кава, дочь испанского графа Хулиана (Юлиана), была оскорблена испанским королем Родриго, готов по происхождению. Хулиан, мстя за Каву, впустил мавров в Испанию.

Стр. 83. *Три войска здесь* — испанская, английская и французская армии. Байрон говорит о войне, которую испанский народ вел против армии Наполеона, вторгшейся в Испанию. Английское правительство использовало освободительное движение испанского народа в интересах Англии, боровшейся с Наполеоном. *Талавера*. — Бри Талавере в июле 1809 г. англо-испанские войска нанесли серьезное поражение армии Наполеона. Байрон, резко отрицательно относившийся к английской аванюре в Испании, указывает на беспечность огромных человеческих жертв, понесенных в этом сражении. *Албуэра* — самая кровопролитная битва между английскими и французскими войсками в Испании (май 1811). Сражение при Албуэре закончилось победой английских войск, понесших, однако, чрезвычайно тяжелые потери. *Севилья, отважно отразившая врагов*. — Севилья упорно оборонялась от французов вплоть до февраля 1810 г. *Тир* — финикийский город, который был взят Навуходоносором после долгого сопротивления

в 586 г. до н. э. и Александром Македонским в 332 г. до н. э. «*Viva el rey*» — «Да здравствует король!» (испан.) — лозунг тех участников испанского национально-освободительного движения, которые требовали отречения короля Карла IV, предавшего страну Наполеону, и воцарения его сына, Фердинанда VII. *Годой* — политический авантюрист начала XIX в., глава придворной клики в Испании, имевший огромную власть. Годой способствовал завоеванию Испании армией Наполеона. *Рогоносца Карла*. — Испанское общественное мнение приписывало возвышение Годоя благосклонному отношению к нему испанской королевле.

Стр. 84. *Берет у каждого значком украшен алым*. — Испанские патриоты, выступившие против французов и короля Карла IV, носили красные кокарды. *В горах Морены*. — Байрон говорит о том, как испанские патриоты, укрепившие горный кряж Сьерра-Морена, готовились к защите родины от французских захватчиков. *Испанка, пробудясь*. — Байрон восхищается героизмом сарагоской девушки Августины (прозванной Августина Сарагоса), с оружием в руках отстаивавшей свободу родины.

Стр. 85. *Парнас* — гора в Греции, излюбленное местопребывание муз, по древнегреческим преданиям. Байрон писал эти строфы в Греции у подножья Парнаса. *Пиериды* — музы, древнегреческие богини, покровительницы наук и искусств. *Дафна* — в древнегреческой мифологии нимфа, в которую был влюблен бог Аполлон. Спасаясь от преследований Аполлона, Дафна предпочла превратиться в лавр, но не покориться ему.

Стр. 86. *Матадор* — участник боя быков, наносящий быку последний удар шпагой.

Стр. 87. *Дуэнья* — в Испании компаньонка молодой женщины, непрерывно за ней надзирающая.

Стр. 88. *Как твой оплот стол...* — Войска Наполеона в течение двух с половиной лет безуспешно осаждали Кадикс, героически оборонявшийся от французских захватчиков. *В грудь предателю...* — Байрон говорит о казни губернатора Кадикса, маркиза Солано, изменника, отказавшегося организовать нападение на французский флот, стоявший в гавани Кадикса. *Пизарро, Франсиско* (1478—1541) — испанский завоеватель Перу. *Олива* — символ мира. *Кито* — город в Южной Америке (ныне Эквадор), где в 1810 г. началось восстание против испанской королевской власти — одно из первых проявлений национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против испанского владычества.

Стр. 89... *баросской бранной нивы*. — См. прим. к стр. 73, слово «Баросса». *А ты, мой друг*. — Эти стихи обращены к другу Байрона Джону Уингфилду, офицеру английской армии, умершему от лихорадки в Португалии.

П е с н ь в т о р а я. Стр. 90. *Острейший ум Афин* — Сократ. *Стигийский берег* — в древнегреческой мифологии преисподняя. Стигс — река, протекающая в преисподней. *Саддукей*. — Саддукеи — древнееврей-

ское политическое и религиозное течение, представители которого подвергали сомнению господствующее религиозные представления. *Бактрийских* ... — Бактрия — древнее государство, расположенное на территории современного Ирана. *Сын Сатурна* — в римской мифологии Юпитер, восставший против старшего поколения богов и основавший свое могущество после победы над ними. *Шотландия! Твое то было чадо!* — Речь идет о лорде Эльджине, разграбившем афинские памятники древности (см. прим. к поэме «Проклятие Минервы»). *Готы*. — Готы — племена германского происхождения; опустошили Европу в первых веках нашей эры. *Осман-турок* (по имени основателя турецкого государства Османа). — Турки, завоевав Грецию в XV в. варварски разрушали памятники древнегреческой культуры. *Коль смогла рука забрать Афин остатки вековые*. — Байрон возмущается разбойничьим поведением лорда Эльджина.

Стр. 91. *Аларих*. — Байрон говорит здесь о легенде, согласно которой древнегреческий герой Ахилл (Пелид, сын Пелея) и богиня Афина не дали Алариху разграбить Акрополь. *Кальпе* — название Гибралтара в древности.

Стр. 92. *Афон* — гора в Македонии, где находились многочисленные монастыри и обители отшельников. *Не звучат рыдания царицы-нимфы* — царица-нимфа Калипсо, описанная Гомером в «Одиссее». Одиссей понал на остров Калипсо, которая не хотела его отпускать, но была вынуждена протереть с ним по повелению богов. Эти строки относятся к пребыванию Чайльд-Гарольда на Мальте. Остров Гогдедо вблизи Мальты, по преданию, был островом нимфы Калипсо. *Флоренс* — мисс Смит (см. прим. к стихотворениям «К Флоренс», «В альбом»).

Стр. 93. *Искандер* — турецкое имя, соответствующее Александру. Байрон имеет в виду Александра Македонского, мать которого была родом из Эпира, и его «гезику», албанского государственного деятеля Георгия Кастриота (Скандербег) (1404—1467), боровшегося против турецкого владычества в Албании. *Повсюду минарет и полумесяц*. — Байрон говорит о распространении мусульманской религии в Албании. *Пенелопа*. — Чайльд-Гарольд проплывает мимо острова Итака в Ионическом море. В поэме «Одиссея» Пенелопа, жена Одиссея, ждала возвращения своего мужа на острове Итака. *Лесбиянка* — греческая поэтесса Сафо, родом с острова Лесбоса. Чайльд-Гарольд проплывает мимо Левкадской скалы, с которой, по преданию, влюбленная Сафо бросилась в море. *Лепанто* — город в Греции на берегу Коринфского залива. Близ Лепанто в 1571 г. произошло морское сражение между турецким и объединенным испано-итальянском флотом, окончившееся поражением турецкого флота. *Трафальгар* — мыс на испанском берегу Атлантического океана. Близ Трафальгара 21 октября 1806 г. произошло морское сражение между английским флотом и флотом Наполеона, которое привело к разгрому флота Наполеона.

Стр. 94. *Триумфир там флот повел* — Марк Антоний (см. прим. к стихотворению «Стансы, написанные при

проходе мимо Амвракийского залива». *Иллирия* — область на восточном побережье Адриатического моря, населенная племенами славянского происхождения. *Темпе* — долина в Фессалии в Греции, славившаяся своей красотой. *Вождь Албании* — Али паша (1741—1822), правитель Албании и Эпира, пользовавшийся неограниченной властью. *Монашка-Цица* — монастырь Цица, расположенный близ Янины.

Стр. 95. *Калойер* — греческий монах. *Додона* — древнегреческий город, где находился оракул бога Зевса. *Томерит* — гора в Эпире. *Лаос* — река в Северной Греции. *Тепилен* — город в Северной Греции, резиденция Али паши.

Стр. 96. *Дели* — кавалерист в турецкой армии. *Исламит* — мусульманин. *Теосец* — Анакреон, древнегреческий лирический поэт (VI в. до н. э.), Теос — древний город в Ионии, где родился Анакреон.

Стр. 97. *Ахелой* — река в Греции. *Этолия* — область Греции, расположенная к югу от Эпира. *Утракей* — залив, расположенный у побережья Этолии. *Паликары*. — Паликар — буквально «парень», «молодец», — применялось в смысле «воин». В эпоху национально-освободительного движения в Греции — греческий партизан, участник национально-освободительной борьбы против турок. *Фустанелла* — греческая национальная одежда. *Тамбурджи* — барабан, барабанщик. *Химарец* — албанец, житель Керавских гор. *Превеза* — город в Албании, принадлежавший в XVIII в. Франции. В 1798 г. Превеза была взята войсками Али паши.

Стр. 98. *Глур* — мусульманское название иноверца; испорченное арабское слово, означающее «неверящий в бога». *Эврот* — река в Южной Греции. *Фразибул* — древнегреческий политический деятель, боровшийся против реакционной группы тридцати тиранов за реорганизацию рабовладельческого афинского государства. Взятие города Филе Фразибулом предшествовало освобождению Афин в 403 г. до н. э. от власти тридцати тиранов. *Илоты* — первоначальное население Пелопоннеса, покоренное спартацами и обращенное в рабство. Байрон сравнивает с илотами греков, поработанных турками. *Сераль* — здесь резиденция турецкого султана в восточной части Константинополя (Сераль — персидское слово, означающее «большой дом», «дворец»). *Вахабиты* — мусульманская религиозная и политическая секта, стремившаяся к установлению имущественного равенства. В этом движении нашла свое выражение борьба арабских племен против турецкой империи. В 1803—1804 гг. вахабиты захватили Мекку и Медину — мусульманские священные города. Во время пребывания Байрона в Греции и Малой Азии вахабиты захватили Сирию и стали угрозой для существования Турецкой империи.

Стр. 99. *Эпаминонд* — фиванский политический деятель и полководец, поборник греческой свободы (418—362 до н. э.). *Гимет* — см. прим. к стр. 71; древнегреческие предания славили мед гиметских пчел. *Мраморы Мендели*. — В древности на горе Мендели добывался

мрамор для строительства общественных зданий в Афинах. *Марафон* — древнегреческий город; при Марафоне в 490 г. до н. э. греческие войска разбили персидскую армию, вторгшуюся в Грецию.

Песнь третья. Стр. 101. *Ада* (1815—1852) — дочь Байрона, жившая в разлуке с отцом после отъезда Байрона из Англии.

Стр. 103. *Свергнув Льва...* — Львом Байрон называет Наполеона. Байрон расценивает борьбу против Наполеона как войну с тираном, поработившим Европу. Но Байрон возмущен тем, что монархическая реакция торжествует в Европе после победы над Наполеоном; мелкие хищники (волки) сменили льва, поэтому борьба против Наполеона оказалась для народов Европы бесплодной. *Гармодий* — афинский юноша, убивший тирана Гиппарха в 514 г. до н. э. и павший в борьбе за освобождение Афин. ...*блестящий бал.* — Накануне предшествующей Ватерло битвы при Катр Бра (16 июля 1815 г., недалеко от Брюсселя) английское командование в Брюсселе устроило бал. *Брунsvик* — герцог Брауншвейгский, был убит в сражении при Катр Бра. Отец герцога Брауншвейгского был убит в сражении с Наполеоном при Ауэрбахе в 1806 г. *Кэмерен* (Джон Локель) — командир шотландского полка, убитый в сражении при Катр Бра. Дед Джона Кэмерена, Дональд Кэмерен Локель (1695—1748), был ранен в битве при Куллодене в 1746 г., сражаясь за Стюарта — шотландского претендента на английский престол. *Арденнский лес.* — Байрон ошибочно отождествлял лес Суаньи в Бельгии с Арденнским лесом в Люксембурге.

Стр. 104. *Хочу воспеть солдат.* — Байрон говорит о Фредерике Говарде, офицере английской армии, погибшем при Ватерло. Его отец был осмеян Байроном в сатире «Английские барды и шотландские обозреватели». *Тут сломлен величайший* — Наполеон.

Стр. 105. *Александр* — Александр Македонский.

Стр. 107. *Кобленц* — город Рейнской области в Германии; во время французской буржуазной революции XVIII в. Кобленц был центром дворянской эмиграции, боровшейся с революцией. *Марсо* (1769—1796) — генерал французской революционной армии, боровшийся с реакционным восстанием в Вандее. В 1794 г. Марсо занял Кобленц. *Эренбрейтштейн* — город близ Кобленца. В XVII и XVIII вв. считался одной из наиболее неприступных крепостей в Европе. В 1795—1796 гг. Марсо осадил Эренбрейтштейн.

Стр. 108. *Морат.* — В 1476 г. при Морате швейцарское крестьянское ополчение, сражавшееся за свободу Швейцарии, разбило армию Карла Смелого — герцога Бургундского. Останки бургундцев, павших в битве при Морате, хранились в особом здании («Доме костей»). Это здание было разрушено в конце XVIII в. солдатами французской армии — уроженцами Бургундии. *Канна.* — Сражение при Каннах в 216 г. до н. э. между войском римлян и карфагенской армией Ганнибала. Байрон противопоставляет сражения при Каннах и при Ватерло, являющиеся бесцельными для народа

кровапролитиями, битвам при Морате и Марафоне, в которых народ отстаивал свою свободу. *Авентик* — столица римской области Гельвации (современной Швейцарии). В 264 г. н. э. Авентик был разрушен племенем аллеманов. *Юлия* — Юлия Альпинула — молодая жрица; ее отец Альпин, глава восставших против римлян гельветов, был казнен римлянами после подавления восстания. По позднейшему преданию, Юлия умерла после неудачной попытки спасти своего отца.

Стр. 109. *Рона* — река в Швейцарии и Франции, впадающая в Леман (Женевское озеро). *Руссо* (1712—1778) — великий французский писатель и философ, идеолог революционно-демократических общественных групп в XVIII в., уроженец Женевы.

Стр. 110. *Юлия* — героиня романа Руссо «Новая Элоиза». «Новая Элоиза» была очень популярна в Европе XVIII — начала XIX вв. *Юра* — горный кряж в Швейцарии.

Стр. 111. *Базилики.* — Базилика — древняя христианская церковь (первоначально род древнеримских языческих храмов, превращенных в христианские церкви).

Стр. 112. *Кларан* — швейцарский город, описанный в романе Руссо «Новая Элоиза». *Психея* — у древних греков олицетворение человеческой души, возлюбленная бога любви Эроса.

Стр. 113. *Ферней* — поместье великого французского просветителя, писателя и ученого Вольтера (1694—1778). Ферней находится недалеко от Женевы. *Лозанна* — швейцарский город, где английский историк Гиббон (1737—1794) закончил свой труд «История упадка и разрушения Римской империи». Байрон ценит Гиббона как одного из крупнейших представителей английского Просвещения. *Один* — Вольтер; Байрон, давая высокую оценку Вольтеру и Гиббону, polemизировал с английскими реакционными романтиками, борющимися с идеологией французского и английского Просвещения. Байрон опирался на традиции антиклерикального творчества Вольтера в своей борьбе с поповствующими английскими реакционными романтиками. *Протей* — в древнегреческой мифологии старец-прорицатель, обладающий даром перевоплощений. *Второй* — Гиббон. *Карфаген* — государство в Северной Африке, соперничавшее с древним Римом. В результате так называемых Пунических войн между Римом и Карфагеном (III и II вв. до н. э.) Карфаген был разрушен.

Песнь четвертая. Стр. 114. *Мост вздохов* — мост в Венеции, соединяющий Дворец дождей — правителей Венеции — с тюрьмой; служил местом казни государственных преступников. *Крылатый Лев* — герб Венеции. *Кибела* — в древневосточной мифологии великая мать богов, изображавшаяся обычно в короне, имевшей вид крепостной стены. *Эхо тассовых октав.* — Байрон говорит о старинном обычае венецианских гондольеров (подочников) цеть стихи из поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим», написанной октавами (стихо-

творная строфа, состоящая из восьми строк). *Кантилена* — певучая мелодия, песнь.

Стр. 115. *Риальто* — группа венецианских островов, где была расположена биржа; в переносном смысле Риальто — венецианская торговля. *Шейлок*, и *Отелло*, и *Петр*. — Байрон говорит о произведениях английских писателей, посвященных Венеции: «Венецианский купец», «Отелло» Шекспира и «Спасенная Венеция» Отвеса (Петр — герой этой пьесы). *Эпитафией даны*... — По преданию, мать спартанского полководца Брасида сказала тем, кто восхвалял ее сына: «У Спарты есть много сынов, более достойных, чем он». *Адриа — вдова*. — Адрия — Адриатическое море, на котором расположена Венеция. По старинному обычаю, дож Венеции ежегодно выезжал в море на корабле, называвшемся «Буцентавр», и совершал обряд обручения с Адриатикой, бросая в море обручальное кольцо. *Пьяцца* — площадь св. Марка в Венеции. Посреди площади стояла колонна с изображением крылатого льва. Байрон говорит здесь об одном эпизоде борьбы императоров так называемой Священной Римской империи с римскими папами: в 1177 г. разбитый в битве при Леньяно император Фридрих Барбаросса был вынужден, встретясь с римским папой в соборе св. Марка в Венеции, униженно просить прощения. *Шваб* — Фридрих Барбаросса. *Австриец правит*. — Венеция с 1815 г. принадлежала Австрии. Байрон возмущается тем, что свобода великого итальянского города подавлена австрийской реакцией. *Дандоло* — дож Венеции, избранный в дожи в возрасте 85 лет в 1192 г. Во время правления Дандоло Венеция расширила свою территорию и достигла вершины могущества. В 1204 г. венецианские войска участвовали во взятии Константинополя крестоносцами.

Стр. 116. *Сан-Марко кони* — позолоченные медные кони греческой работы; были вывезены дожем Дандоло из Константинополя, разграбленного венецианцами и крестоносцами, и установлены в Венеции перед собором св. Марка. *Дориа* — генуэзский флотоводец, командующий вооруженными силами Генуи, которая вела войну с Венецией. Дориа, угрожая Венеции, сказал, что он обуздает коней, стоящих перед собором св. Марка. *Вновь уйти в болото*. — Венеция построена на островах, расположенных близ низменного берега Адриатики. *Piantaleone*. — Венецианцы имели в Италии прозвище *pantalon*, Байрон ошибочно считал, что это прозвище происходит от словосочетания *pianta leone* (по-итальянски — «водружает льва») и связано с тем, что венецианские купцы и моряки обычно водружали венецианский флаг с изображением льва на всех островах и берегах Средиземного моря, которые они посещали во время своих плаваний. На самом деле прозвище венецианцев *pantalon* связано с героем итальянской национальной комедии Панталоне, с венецианской одеждой панталоны и с распространенным в северной Италии именем *Pantaleone*. *Оттоманы* — турки. *Кандия* — иначе Крит — остров, принадлежавший Ве-

неции. Крит является ключевой позицией в восточной части Средиземного моря. Был захвачен турками в 1669 г. после войны, длившейся двадцать пять лет, во время которой венецианцы, защищавшие Крит, проявили необычайное мужество. *Лепанто* (см. прим. к стр. 93). — В сражении при Лепанто венецианский флот проявил особую доблесть. *Лоджий*. — Лоджия — открытая галерея. *Сиракузы* — древнегреческая колония в Сицилии. *Их выкупила только песня музы аттической*. — По словам древних историков, афиняне, попавшие в плен во время войны Афин с Сиракузами, могли добиться перемены в своем положении лишь благодаря своему знанию произведений великого греческого драматурга Эврипида, необычайно популярного в Сицилии. *Ты, Англия, царица океана*. — Байрон возмущен участием Англии в Парижском договоре 1814 г., согласно которому Венеция была передана Австрии. *Радклифф* (1764—1823) — английская писательница, автор романа «Удольфские тайны», действие которого происходит в Венеции. *Шиллер* (1759—1805) — великий немецкий поэт, автор повести «Духовидец», действие которой происходит в Венеции.

Стр. 117. *Фриульские Альпы* — так называемые Юльские горы, расположенные севернее Триеста и северо-восточнее Венеции. *Ирида* — олицетворение радуги, посланница богов в древнегреческой мифологии. *Ретийские горы* (Ретийские Альпы) — горы в Северной Италии и Тироле. *Брента* — река Северной Италии, берущая начало в Тироле. *Агония дельфина*... — По представлениям древних греков, дельфин перед смертью окрашивается в разнообразные, сменяющие друг друга цвета. *Аркуа* — итальянское селение, где находится гробница великого итальянского поэта Франческо Петрарки (1304—1374). *Певец Лауры*. — Сонеты Петрарки посвящены его возлюбленной — Лауре.

Стр. 118. *Феррара* — город в Северной Италии, расположенный к югу от Венеции, в течение ряда веков — столица одноименного феодального государства. *Эсте* — Род Эсте с XII в. правил Феррарой. *Торквато* — Торквато Тассо; по приказу феррарского герцога Альфонсо II Эсте был объявлен сумасшедшим и посажен в дом умалишенных. *Буало* (1636—1711) — французский поэт и теоретик классицизма, резко отрицательно отзывавшийся о Тассо.

Стр. 119. *Отец Тосканы* — Данте, величайший итальянский поэт (1265—1321), автор «Божественной комедии», тосканец родом. Данте считал, что основой литературного итальянского языка должен стать тосканский диалект. *Южный Скотт* — Флорентийцу Данте, по мнению Байрона, равен Ариосто, автор «Неистового Роланда». Байрон сравнивает Ариосто с Вальтером Скоттом, считая обоих мастерами увлекательного повествования. *Северный Ариосто* — Вальтер Скотт. *Был молнией*... — Байрон упоминает о действительно имевшем место случае, когда молния ударила в статую Ариосто, стоявшую на его могиле, и расплавила железный венок. Байрон говорит о суевериях древних, считав-

ших, что лавр ограждает от молнии; вместе с тем, согласно древним поверьям, удар молнии освящает место, на которое он направлен. *По* — река Северной Италии. *Римлянин... друг Туллия бессмертного.* — Сервий Сульпиций, римский политический деятель и писатель, друг знаменитого римского оратора и писателя Марка Туллия Цицерона. Байрон говорит о путешествии Сервия Сульпиция по Греции, во время которого Сульпиций писал Цицерону о впечатлении, произведенном на него развалинами древнегреческих городов. *Италия... отчизна веры нашей!* — Италия была центром распространения христианства в Европе. *Арно* — итальянская река, на которой стоит Флоренция. *Афин Этрурских* — Имеется в виду Флоренция. Этрурия — древнее название области Средней Италии, где расположена Флоренция, которую Байрон сравнивает с Афинами, так как Флоренция сыграла значительную роль в общественной и культурной жизни Италии.

Стр. 120. *Есть мрамор там...* — Речь идет о статуе «Венеры Медичи» (позднегреческая статуя Афродиты, относящаяся к II—I вв. до н. э.), находящейся в галерее Уффици во Флоренции. *Дарданца суд пастуший.* — По древнегреческим мифам, дарданец (троянец) Парис, в юности бывший пастухом, признал Афродиту прекраснейшей из богинь. *Анхиз* — отец легендарного Энея, влюбленный в Афродиту, являвшейся к нему в образе пастушки. *Бог Войны* — Арес, возлюбленный Афродиты. *Санта-Кроче* — церковь Санта-Кроче, где находятся гробницы многих великих людей Италии. *Альфьери здесь и Анджело постели.* — Альфьери Витторио (1749—1803) — замечательный итальянский драматург, которого высоко ценил Байрон за республиканские тенденции и художественные достоинства его творчества. *Анджело* — Микель Анджело (1475—1564), великий итальянский скульптор и живописец эпохи Возрождения. *Поэта прозы.* — Имеется в виду великий итальянский писатель, автор «Декамерона», Бокаччо (1313—1375). *Сципион* — римский полководец Сципион Африканский Старший, оклеветанный своими врагами и проведенный последние годы жизни в уединении, вблизи Литирна.

Стр. 121. *В его могиле святоши рылись.* — Гробница Бокаччо была разрушена в 1783 г. по распоряжению церковных властей. *Так Брута бюст.* — На похоронах Юнии — сестры Брута, убийцы Цезаря, римский император Тиберий (42 до н. э. — 37 н. э.) запретил нести изображение Брута (как это полагалось по римскому обычаю). Римский историк Тацит говорит по этому поводу, что слава Брута стала заметнее для римлян благодаря тому, что они не имели возможности видеть его изображение. *Счастливым ты, Равенна...* — Данте умер и похоронен в Равенне. *Праж... купцов-князей.* — Байрон говорит о богато украшенной усыпальнице Медичи — правителей Флоренции — в церкви св. Лаврентия во Флоренции. *Тразименских озерных вод* — Тразименское озеро в Этрурии. Здесь Ганнибал окружил и разбил в 217 г. до н. э. римские войска. По рас-

сказам некоторых римских историков, во время Тразименского сражения произошло землетрясение. *Сангвинетто* (буквально «окровавленный») — здесь река, близ которой происходило Тразименское сражение. *Клитумн* — итальянская река, на берегу которой был расположен римский языческий храм, позднее обращенный в христианскую церковь.

Стр. 122. *Велино* — итальянская река, образующая водопад Кадута делле Марморе. *Над Флегетоном.* — Флегетон — в античной мифологии огненная река в преисподней, окружающая место мучений — Тартар. *Громогорье* — Химерийские горы на Балканском полуострове, по-древнегречески называвшиеся Акрокеравийскими (Громовершинными). *Ида* — горы в Малой Азии. *Атлас* — горы в Африке.

Стр. 123. *Соракта* — гора, расположенная вблизи Рима. *Ниобея* — в древнегреческой мифологии жена фивского царя Амфиона, разгневавшая богов, которые в наказание уничтожили ее многочисленное потомство. Ниобея от скорби окаменела и превратилась в скалу, но продолжала чувствовать страдания, причиненные ей. *Тибр* — река, на которой стоит Рим. *Скат Капитолийский.* — На Капитолийской возвышенности в древнем Риме находились важнейшие храмы и святилища. *Где вы, триста триумфов?* — По свидетельству римских историков, за время существования Рима более трехсот раз праздновались триумфы победоносных полководцев (триумфом назывался торжественный въезд полководца на Капитолий). *Марон* — Вергилий. *Ливий Тит* — римский историк (59 до н. э. — 17 н. э.). *Сулла* — римский полководец и политический деятель (138—71 до н. э.). Байрон говорит здесь о том, что Сулла в 86 г. до н. э. не прервал войны с понтийским царем Митридатом, несмотря на поражение своих сторонников в Риме. В 81 г. до н. э. Сулла был провозглашен римским диктатором, но в 79 г. сложил с себя диктаторские полномочия и ушел от политической деятельности.

Стр. 124. *Кромвель*, Оливер (1599—1658) — английский политический деятель и полководец английской буржуазной революции XVII в. В 1653 г. Кромвель совершил государственный переворот и приобрел по существу королевскую власть, сделавшись лордом-протектором (правителем) Англии. Байрон говорит здесь о следующем совпадении: день 3 сентября был днем, когда Кромвель выиграл два сражения (в 1650 и 1651 г.), и вместе с тем днем его смерти. *Глава двух царств.* — Кромвель был правителем Англии и Ирландии. *Кумир ужасный!* — статуя римского политического деятеля Помпея (106—48 до н. э.), противника Цезаря, находящаяся во дворце Спада в Риме. Байрон отождествлял эту статую со статуей Помпея, у подножия которой, по рассказам древнеримских писателей, был убит Цезарь. *Добыча молнии, волчица.* — По преданию, Рим был основан Ромулом, вскормленным волчицей. Как пишет Цицерон, молния ударила однажды в изображение волчицы, находившейся на Капитолии. *Один лишь был* — Наполеон. *Омфала* — легендарная царица Лидии (об-

ласть в Малой Азии). Древнегреческий мифический герой Геракл, убивший своего друга, должен был в наказание три года служить Омфале. Геракл прятал в женской одежде шерсть, в то время как Омфала носила его палицу и лвиновую шкуру. *Клеопатра* — египетская царица (69—30 до н. э.). По преданию, Цезарь, влюбленный в Клеопатру, долгое время оставался в бездействии при ее дворе в Египте. *Шел, видел, побеждал*. — «Пришел — увидел — победил» — знаменитое донесение Цезаря римскому сенату о его победе над боспорским царем Фарнаком.

Стр. 125. *За кем... Колумбия рванулась вдруг вперед* — Симон Боливар, южноамериканский политический деятель, руководитель восстания, поднятого в начале XIX в. в южноамериканских колониях Испании. Восстание окончилось освобождением стран Южной Америки от власти Испании и Португалии. *Вашингтон*, Джордж (1732—1799) — один из руководителей войны за независимость Соединенных Штатов Америки; первый президент США. Байрон находился под влиянием буржуазной легенды, идеализировавшей Вашингтона. *Гроб женщины в подвале тайном лег* — гробница Цецилии Метеллы, жены римского вельможи Красса. *Корнелия* — дочь Сципиона Африканского, прославившаяся исключительными нравственными достоинствами. *Царицей Нула* — Клеопатрой. *Веспер* — древнеримское название планеты Венеры.

Стр. 126. *Палатин* — район древнего Рима, где находились многие дворцы и храмы. В новое время развалины древних дворцов и храмов покрывали все пространство Палатинского холма. *Траян* — римский император (98—117 н. э.). *Тит* — римский император (79—81 н. э.). *Апостолы стоят на парапете*. — На колоннах, водруженных в честь римских императоров, христиане впоследствии установили статуи апостолов.

Стр. 127. *Скала Тарпейская* — скала на Капитолии, служившая местом казни государственных изменников. Названа по имени Тарпея, сброшенного с нее в 384 г. до н. э. *Рисенци*, Кола ди (1313—1354) — итальянский политический деятель, стремившийся к установлению в Риме аристократической республики и объявленный в 1347 г. трибуном Римской республики после победы организованного им восстания. Правление Рисенци было прервано поражением аристократической Римской республики. *Новым Нумой*. — Нума Помпилий — по преданию, второй римский царь (715—672 до н. э.), создавший ряд важных государственных учреждений древнего Рима. *Эгерия* — по древнеримским преданиям, нимфа, жена Нумы; Нума руководствовался ее советами. Эгерия была нимфой источника, расположенного перед Капенскими воротами близ Рима.

Стр. 128. *Коллизей* — самый большой римский амфитеатр, место публичных зрелищ (постройка Коллизея окончена в 80 г. до н. э.).

Стр. 129. *Орест* — по древнегреческим сказаниям, сын Агамемнона и Клитемнестры. После убийства Агамемнона, совершенного при участии Клитемнестры,

Орест убил свою мать, мстя за отца. Орест был наказан за убийство матери карающими богинями — эриниями.

Стр. 130. *Дакия*. — Дакия — древнее название страны, занимавшей территорию современной Румынии. *Пантеон* — здание в древнем Риме, посвященное всем богам; позднее Пантеон был превращен в христианский собор.

Стр. 131. *Чья кровь нектар*. — Байрон говорит здесь о римском предании, согласно которому молодая женщина приходила тайком кормить грудью своего отца, заключенного в тюрьму. *Про Млечный путь*. — Согласно греческим мифам, бог Меркурий поднес Геркулеса к груди богини Юноны, но Юнона оттолкнула его, и капля ее молока, упавшая в пространство, стала множеством звезд, образующих Млечный путь. *Громада Адриана* — гробница римского императора Адриана, которую Байрон сравнивает с египетскими пирамидами. *Собор, огромный дивный храм* — собор св. Петра в Риме. *Сион* — гора в Палестине, на которой в древности была расположена Иерусалимская крепость; в переносном смысле в древнееврейской литературе Сионом назывался Иерусалим и вся Палестина в целом.

Стр. 132. *Лаокоон* — по древнегреческому сказанию, жрец Аполлона, вместе со своими сыновьями задушенный двумя гигантскими змеями. Смерть Лаокоона изображена в известной античной скульптурной группе. *...предстанет Божество*. — Байрон говорит о статуе Аполлона Бельведерского.

Стр. 133. *Где ты, вождей и королей потомок* — написано на смерть английской принцессы Шарлотты, умершей в 1817 г. *Неми и Альбано* — озера, расположенные к югу от Рима. *Туллий* — Цицерон. *Поэт усталый жил* — Гораций.

Стр. 134. *И до Эвксинских вод*. — Эвксил — древнее название Черного моря. *Симплегады* — скалы в Босфорском заливе. *Левиафаны*. — Левиафан — морское чудовище в библейской мифологии. *Армада* — испанский флот, направившийся в 1588 г. к берегам Англии для ее завоевания. На пути в Англию Армада была расчлещена ураганом.

ГЯУР

(Стр. 136—148)

Гяур — см. прим. к стр. 98.

Стр. 136. *Семь островов* — Ионийские острова: Корфу, Паксос, Левкада, Фиаки, Кефалония, Закинф, Китира, расположенные в Ионическом море. С XV в. принадлежали Венеции, которая потеряла их в 1797 г., когда Ионийские острова были завоеваны Наполеоном. *Арнауты* — турецкое название воинов-албанцев. Здесь говорится о сражениях между турками и албанцами, совершавшими набеги на Морюю (Пелопоннес), находившуюся под турецким владычеством. *Вслед за вторжением русских*. — Во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. в Морее произошло восстание против

турецкого владычества. Восставшие греки получили поддержку со стороны русского флота, находившегося в Средиземном море. *Майноты* — жители местности Майны в Морее. Майноты неутомимо боролись за свою независимость против турок, совершая набеги на берега Аттики, занятые турецкими гарнизонами. *Мавзолей героя встал*. — Могила Фемистокла (525—461 до н. э.), находившаяся у входа в афинскую гавань Пирей. Фемистокл — древнегреческий государственный деятель, сыгравший значительную роль во время войны Греции с Персией, окончившейся поражением персов. *С высот Колонны*. — Колонна — мыс в окрестностях Афин.

Стр. 137 ... *но деспотам обречена*. — Байрон говорит о страданиях греческого народа, закабаленного турецкими завоевателями. *Саламин* — см. прим. к стр. 71.

Стр. 138. *Льоне* — порт Пирей в Афинах. ... *пальбы не слышно мултук*. — Мултук — ружье. Мусульманский праздник Байрам возвещается выстрелами и огнями, зажженными в мечетях. *Рамазан* — время мусульманского поста, предшествующее Байраму.

Стр. 139. *Джеррид* — турецкое копые. *Эмир* — княжеский титул в восточных странах.

Стр. 140. *Кашмир* — область в Индии.

Стр. 141. *Джиамшидов лалл* — чаша Джиамшида — сказочная драгоценность, о которой часто говорится в фольклоре тюркских народов. *Эль-Сират* — в мусульманских верованиях мост над адом, по которому мусульмане идут в рай. *Джиннат* — мусульманский рай. *Муфти* (или муфтий) — высшее духовное лицо у мусульман. *Ущелья Парны* — Парнасские ущелья. ... *пик Лиакуры*. — Лиакура — новогреческое название Парнаса. *Бисмиллах!* — мусульманская священная формула: «Во имя аллаха!»

Стр. 142. «*Аман!*» — «Попадай!» *Клок палампора*. — Палампор — цветная одежда лиц высокого звания в мусульманских странах.

Стр. 143. *Тюрбе* — мусульманский надгробный памятник. «*Алла-Гу!*» — заключительные слова призыва к молитве у мусульман. ... *ножом Монкира*. — Монкир — в магометанских верованиях ангел, испытывающий умерших и наказывающий их. *Эблис* — сатана в магометанской мифологии. *Афритос слышен бред*. — Африты — злые духи по мусульманским поверьям.

Стр. 145. *Как в пустыне пеликан*. — Существовало поверье, согласно которому пеликан кормит своих птенцов собственной кровью.

Стр. 146. *Назарей* — мусульманское название христианина. ... *слух тагира*. — Тагир — передовой разведчик.

КОРСАР

(стр. 149—169)

Стр. 149 *Коллинз*, Вильям (1721—1759) — английский лирический поэт, автор сборника «Восточные эклоги».

Стр. 154. ... *о брошенной Олимпии прочтем*. — В поэме Ариосто «Неистовый Роланд» рассказывается история несчастной любви Олимпии, оставленной ее возлюбленным Бирено. *Брег Ариадны* — остров Крит. Ариадна — по древнегреческому сказанию, дочь критского царя Миноса.

Стр. 156. *Корони* — порт на берегу Коронского залива, на юге полуострова Пелопоннес. *Фирман* — указ турецкого султана.

Стр. 157. ... *рой алмей*. — Алмея — восточная тапцовщица. *Скаланова* — город и порт на берегу Эгейского моря. *Саук* — название судна на Ближнем Востоке. *Диван* — турецкий государственный совет, здесь — в смысле «сборище, общество».

Стр. 162. *Киферон* — горы в Греции. *Кефис* — река в Греции.

Стр. 163. *Циклады* (Киклады) — группа островов в Эгейском море.

БЕППО

(стр. 175—185)

Стр. 175. *Монмут-стрит* — улица в Лондоне, где в XVIII в. находились лавки старьевщиков. *Ковент-Гарден* — площадь в Лондоне, получившая в XVII в. итальянское название «пьяца» — площадь. «*Прощай, мясное*». — Итальянское слово «carnevale» («карнавал») буквально означает «прощай, мясо» (carne — мясо, vale — прощай).

Стр. 176. *Тициан* (1477—1576) и *Джорджоне* (1478—1510) — великие итальянские живописцы эпохи Возрождения. *Пляды* — в древнегреческой мифологии семь красавиц, превращенных в созвездие. Согласно преданию, одна из Пляд — Меропа — не видна на небе, потому что она стыдливо прячется. *Гельдони*, Карло (1707—1793) — итальянский драматург, автор ряда талантливых реалистических пьес из итальянской жизни. *Меркурий* — в древнегреческой мифологии бог торговли. Меркурий в римской литературе изображался как посланник богов, выполнявший их поручения. *Скудо* — итальянская монета.

Стр. 177. *Дездемона* — героиня пьесы Шекспира «Отелло». *Алеппо* — город в Сирии.

Стр. 180. *Регент* — см. прим. к стр. 43.

Стр. 181. *Тор* — бог грома в древнескандинавской мифологии.

Стр. 182. *Банко* — действующее лицо трагедии Шекспира «Макбет». Банко являлись духи его потомков. *Вильберфорс* (1759—1833) — английский религиозный и политический деятель. *Бозерби* (буквально «тот, кто досаждаст»). — Под этим именем Байрон высмеял английского поэта Созби, которого он считал автором анонимного послания, направленного против поэмы «Шильонский узник» и других своих произведений.

Стр. 184. «*Бобби*» — полисмен.

Стр. 186. *Беатриче* — Беатриче Портинари, которой посвящена книга Данте «Новая жизнь». Данте прославляет Беатриче в «Божественной комедии»; ее образ в этом произведении носит аллегорический характер: Беатриче — олицетворение любви — вводит Данте в рай.

Стр. 187. ... *в годы войн гражданских, в дни гонений.* — Данте, борющийся против реакционной флорентийской партии «черных», был осужден на изгнание из города Флоренции и с 1302 г. до смерти (1321) жил на чужбине. ... *ты жертвою огня мне предредила стать.* — По второму приговору, вынесенному в марте 1302 г., Данте был приговорен к сожжению на костре. ... *по гвельфским проискам.* — Гвельф — участник итальянской средневековой политической партии гвельфов. Гвельфы, являвшиеся сторонниками римских пап, выступали против гибеллинов, которые в борьбе с гвельфами опирались на германских императоров — противников римских пап.

Стр. 188. *Марий* (156—86 до н. э.) — римский полководец и политический деятель. После победы своего противника Суллы был вынужден скрываться сначала в болотах близ Минтуры (в Италии), а затем в развалинах Карфагена. После возвращения в Рим в 87 г. Марий жестоко расправился со сторонниками Суллы. *Где меж детей моих она живет* — жена Данте, Джемма Донати. Байрон, вкладывая в уста Данте обличения, направленные против его жены, опирался на недостоверные сведения, сообщенные Бокаччо в его жизнеописании Данте.

Стр. 189. *Кассандра* — по древнегреческой легенде, дочь троянского царя Приама, наделенная даром предсказания, но в то же время наказанная богами тем, что никто не верил ее пророчествам. *В языке, что с древнеримской властью...* — Имеется в виду латинский язык, на котором в древности говорили жители Италии и который имел распространение в других странах Западной Европы. *Но я иную речь тебе создам.* — Данте в трактате «О народном красноречии» обосновал значение национального итальянского языка в противовес классической латыни, на которой писали средневековые ученые и писатели. Своими произведениями Данте заложил основы литературного итальянского языка. *Империал* — древняя Римская империя, основным ядром ее территории была Италия. *Гот* — был уже. — Племена готов в V в. н. э. опустошили Италию.

Стр. 190. *Голод Уголино.* — Уголино Герардеска — неограниченный властитель итальянского города Пизы (XIII в. н. э.). После победы противника Уголино — архиепископа Убальдини — Уголино был заключен в «Башню голода», где он умер голодной смертью. Мучения Уголино описаны Данте в «Божественной комедии». *Изменник-принц* — Шарль Бурбон (1490—1527), французский полководец, был главнокомандующим (конне-

таблем) при короле Франциске I. Изменив ему и перейдя на службу к германскому императору, руководил осадой Рима в 1527 г., во время которой был убит. Имперское войско, осаждавшее Рим, состояло из немецких, испанских и итальянских наемников (см. пьесе «Преображенный урод»). ... *от Бренна до Бурбона.* — Брени — предводитель союза галльских племен, разрушивших Рим в 390 г. до н. э. *Эридан* — древнегреческое название реки По (Пад). *Камбиз* (VI в. до н. э.) — правитель древнего Ирана. По преданию, войско Камбиза погибло в песках во время похода в Северную Африку. *Ксеркс* (V в. до н. э.) — царь древнего Ирана. В 480 г. до н. э. войско Ксеркса вторглось в Грецию, но потерпело поражение. Байрон говорит здесь о том, что римляне впоследствии завоевали Грецию, которую не удалось покорить персам. *Авзония* — древнее поэтическое название Италии. *Одно лишь: Единенье.* — Италия в начале XIX в. состояла из ряда мелких государств. Байрон в своих письмах писал о необходимости объединения Италии для успеха освободительной борьбы против Австро-Венгрии (письмо Мэрею 16 апреля 1820 г.).

Стр. 191. *Им* — *завоевывать.* — В пояснении к этой строке Байрон перечисляет прославленных полководцев, итальянцев родом, которые служили в различных европейских армиях: Александра Фарнезе, герцога Пармского (1546—1592), Амброджио ди Спинола (1569—1630), Фердинандо Пескара (1496—1525), Евгения Савойского (1663—1736), Раймондо Монтекуколи (1608—1680). *Им* — *пенишь зыбь валов.* — Байрон имел в виду путешественников и исследователей новых земель, итальянцев по происхождению: Колумба (1430—1506), Америго Веспуччи (1451—1512), Себастьяна Кабота (1477—1557), открывшего Лабрадор. *Аверна вздох тлетворный.* — Аверн — Авернское озеро, расположенное к западу от Неаполя и считавшееся, по древнеримским преданиям, воротами преисподней. *Как тот афинянин, зыкою рожден.* — По преданию, древнегреческий оратор Демосфен, чтобы устранить недостатки произношения, говорил, держа во рту камни. *Поэт! Их князь...* — Петрарка.

Стр. 192. *Один из них найдет для лиры новый лад* — Ариосто. *Другой, его нежней* — Тассо.

Стр. 193. *Апеллес* — знаменитый древнегреческий живописец IV в. до н. э. *Фидий* — см. прим. к стр. 72. *Все племена в тот храм войдут склонить колени.* — Имеется в виду собор св. Петра в Риме, выстроенный по проекту Микель Анджело. *Моисей* — статуя работы Микель Анджело. ... *огонь вокруг грешников.* — Речь идет о фреске Микель Анджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле. ... *его стремнинам* — *я родник был, гибеллин.* — Микель Анджело высоко ценил Данте. Согласно рассказам биографов Микель Анджело, он проиллюстрировал все наиболее значительные места «Божественной комедии». По несчастной случайности эти иллюстрации были потеряны.

Аватара — в древнеиндийской мифологии воплощение бога в образе человека (о поэме «Ирландская аватара» см. предисловие). *Курран*, Джон (1750—1817) — ирландский общественный деятель-патриот, высоко ценимый Байроном. *Брунсвика дочь* — дочь герцога Брауншвейгского (Брунсвикского) Каролина (1768—1821), жена английского короля Георга IV. В 1820 г. Георг IV внес в парламент законопроект о разводе со своей женой, процесс принял политическую окраску, и под влиянием общественного мнения министерство было вынуждено взять законопроект о разводе обратно. Тотчас после смерти Каролины Георг IV совершил путешествие в Ирландию. *Ирландец-католик*. — Господствующей религией в Ирландии является католичество (в отличие от англиканской церкви в Англии). Ирландцы-католики оставались лишенными гражданских прав. В 1782 г. английское правительство, испуганное ростом освободительного движения в Ирландии, было вынуждено учредить самостоятельный ирландский парламент, но в 1800 г. этот парламент был уничтожен. Начало XIX в. было временем усиления жестокой эксплуатации ирландского народа английской администрацией. *Королевский мессия*. — Байрон иронически описывает торжественный прием, устроенный Георгу IV в Дублине, столице Ирландии, в августе 1821 г. *Трилистник* — национальная эмблема Ирландии. *Графтен*, Генри (1746—1820) — ирландский политический деятель, боровшийся за независимость Ирландии. *Туллий* — Цицерон. *Эрин* (буквально «Западный остров») — кельтское название Ирландии.

Стр. 196. *Фингал* — Артур Джэме Плавкетт, граф Фингал, представитель ирландского католического дворянства, был возведен в звание рыцаря ордена Патрика во время пребывания Георга IV в Дублине. *О'Коннел*, Даниэль (1775—1847) — ирландский политический деятель, буржуазный либерал. В 1821 г. О'Коннел предложил выстроить дворец для Георга IV, причем все ирландские крестьяне должны были нести повинность по строительству этого дворца. *Вителлий* — римский император, который за короткое время своего правления (в 69 г. н. э.) истратил на удовлетворение своих прихотей необычайно большие средства. *Саян* (ум. в 31 г. н. э.) — древнеримский военачальник, получивший почти неограниченную власть во время царствования римского императора Тиберия. *Это сын твой!* — Кэстлери, жестоко подавлявший освободительное движение ирландского народа, был родом из Ирландии. *Я за право твоё поднимаю свой голос* — см. парламентскую речь Байрона о правах католиков. *Шеридан*, Ричард Бринсли (1751—1816) — английский драматург, ирландец по происхождению. Как политический деятель, Шеридан участвовал в борьбе за права Ирландии. *Мур* — поэт. Т. Мур был родом из Ирландии. В 1821 г. Мур жил в Париже, где он напечатал «Ирландскую аватару» не-

медленно после того, как Байрон написал эту поэму (в Англии ее нельзя было напечатать по цензурным соображениям).

ВИДЕНИЕ СУДА

(стр. 197—208)

«Видение суда» является пародией и ответом на одноименную поэму Саути, написанную на смерть английского короля Георга III (1738—1820). В поэме «Видение суда» (1821) Саути прославлял Георга III и яростно нападал на Робеспьера и других революционных деятелей. В предисловии к своей поэме мракобеса Саути, травивший Байрона на протяжении многих лет, с ненавистью писал о Байроне и близких к нему поэтах, называя их «школой сатаны» в английской поэзии. В «Видении суда» Байрон разоблачает реакционную сущность поэзии Саути; в этой поэме Байрон дает беспощадную характеристику правления Георга III.

Кеведо (1580—1645) — замечательный испанский писатель XVII в. Называя себя «ожившим Кеведо» (Кеведо редививус), Байрон имел в виду шесть сатирических произведений Кеведо, написанных в форме «Видений». *Уот Тайлер* — поэма Саути, написанная им в юности, когда он был еще оппозиционно настроен по отношению к правящим классам Англии. «Уот Тайлер» был опубликован много лет спустя после написания, без ведома Саути, который давно уже превратился в мракобеса и придворного прислужника. Опубликование поэмы (в 1817 г.) вызвало общественный скандал. Байрон, называя Саути — автора ультрареакционного «Видения суда» — автором «Уота Тайлера», подчеркивает постыдный характер ренегатства Саути.

Стр. 197. *У галлов дата есть* — Байрон говорит о французской революции, происшедшей в 1789—1793 г. (после 1788 г. — года с двумя восьмерками), и об антицерковном движении, с ней связанном.

Стр. 198. *Зверь, десятирог*. — Речь идет о мифическом существе, описанном в одном из ранних произведений христианской литературы, так называемом «Откровении Святого Иоанна». *Первый год силл свободы...* — Георг III умер в 1820 г., в это время начинался новый подъем революционного движения в Европе. *И солнце разума и день утраля ясный*. — В 1811 г. Георг ослеп и впал в помешательство.

Стр. 199. *Была на французском троне*. — Речь идет о французском короле Людовике XVI, казненном в 1793 г. во время французской буржуазной революции. *Варфоломей*. — По христианской легенде, св. Варфоломей умер мученической смертью: палачи содрали с него кожу.

Стр. 200. *Ихор* — название крови богов в поэмах Гомера. *Пэрри*, Эдуард (1790—1855) — английский путешественник, зимовавший в 1819 г. на острове Мельвилль в Северном Ледовитом океане (у берегов Северной Америки). *Соуткот* (1750—1814) — английская писательница, автор «Книги чудес». *Не богословский же я здесь пишу трактат*. — Байрон высмеивает трактат англий-

ского богослова Джона Мэсона Гуда, папсчитанный в 1812 г. В этом трактате мракобес Гуд утверждал, что библейская «Книга Иова» основана на действительно имевших место событиях.

Стр. 201. *Как фавориту он державный руль вручил.* — Имеется в виду Джон Стюарт Бьют (1713—1792), реакционный английский политический деятель, премьер-министр Англии в 1762—1763 гг., оказывавший огромное влияние на Георга III. *Вдаль на Америку, на Францию.* — Георг III был лютым врагом движения за независимость в штатах Северной Америки и революционного движения во Франции.

Стр. 202. *Апичий* — знаменитый римский кутила (жил в I в. н. э.), имя которого вошло в поговорку. *Новый Свет.* — После войны за независимость (1775—1789) Северо-Американские Штаты отделились от Англии. *Католиков лишитъ всех христианских прав.* — Георг III выступал против отмены ограничений прав католиков в Англии. *Гвельф* — итальянская форма немецкой фамилии Вельф. Георг III, как и другие английские короли ганноверской династии, происходил из рода Вельфов.

Стр. 203. *Телеграф.* — В начале XIX в. этим термином называлась оптическая система сигнализации с помощью светофоров. *Сорвался ад с цепей* — цитата из поэмы Мильтона «Потерянный рай». *Пэдди* — прозвище ирландцев (от ирландского Падрайг — святой Патрик). *Сольсбери* — старинный город в Англии.

Стр. 204. *Уилькс* (1727—1797) — английский политический деятель и публицист. В своих памфлетах, статьях и речах бичевал реакционную политику английского правительства. В 1763 г. был арестован по обвинению в оскорблении Георга III. Суд над Уильксом кончился его оправданием, что имело большое политическое значение. В 1774 г. был избран лордом-мэром Лондона. В последний период своей жизни Уилькс изменил своим прежним прогрессивным политическим взглядам. *Графтон*, Август Генри (1735—1811) — английский политический деятель. В начале своей деятельности принадлежал к оппозиции и был близок с Уильксом. Впоследствии примкнул к придворной реакционной партии, травившей Уилькса. *Habeas corpus* — английский закон, на словах гарантирующий неприкосновенность личности. *Велиал* — олицетворение зла и мрака в библейской мифологии. *Юниус* — анонимный автор «Писем Юниуса». «Письма Юниуса» были опубликованы в 1769—1771 гг. в лондонском «Общественном журнале». Автор «Писем Юниуса» подвергал уничтожающей критике политику английского правительства, с негодованием говорил о Георге III, Графтоне и других реакционных деятелях. Одним из наиболее вероятных авторов «Писем Юниуса» считается Филипп Фрэнсис (1740—1818). Байрон живо интересовался «Письмами Юниуса» как талантливим публицистическим произведением, направленным против английской реакции. Саути

в своей поэме «Видение суда» с ненавистью писал о прогрессивных произведениях Уилькса и о «Письмах Юниуса».

Стр. 205. *Железная маска* — человек, содержащийся в заключении в Бастилии во времена Людовика XIV (1698—1703 гг.). Личность этого загадочного узника, привлекавшего внимание многих писателей и ученых, не установлена. *Мистрисс Невнопад* — действующее лицо пьесы Шеридана «Соперники». Мистрисс Невнопад вошла в поговорку как тип невежественного человека, пытающегося щегольнуть мнимой ученостью. *Берк*, Эдмунд (1730—1797) — английский писатель и политический деятель, один из предполагаемых авторов «Писем Юниуса». *Тук*, Джон Хорн (1736—1812) — английский писатель и политический деятель, выступавший в защиту Уилькса против английского правительства. Считался одним из возможных авторов «Писем Юниуса». *Так Нигер всех томит.* — Во время написания «Видения суда» вопрос об устье африканской реки Нигер, тогда еще не исследованной, вызывал оживленные споры.

Стр. 206. *Umbra nominis* («Тень имени») (лат.) — псевдоним автора «Писем Юниуса». *Асмодей* — злой демон в древнееврейской мифологии. *Инкуб* — злой дух. *Ренегат.* — Прозвищем «ренегат» Байрон заклеймил Саути, отступившего от своих юношеских убеждений. *Скиддо* — гора в Кубмерленде (область Северо-Западной Англии). Саути жил в 1803 г. в Кумберленде. *Страдающие шпатам.* — Шпата — болезнь, встречающаяся у лошадей. Характерный признак шпата — хромота. *Non di, non homines* — начало стихов Горация: «Посредственным быть стихотворцу не позволяют ни люди, ни боги». *Пай* (1745—1813) — реакционный английский поэт, совмещавший занятия поэзией с исполнением обязанностей полицейского чиновника. С 1790 до 1813 г. был придворным поэтом-лауреатом.

Стр. 207. *Стихи Вленгеймские* — раннее произведение Саути (как и «Уот Тайлер»), отражающее влияние идей французской буржуазной революции. Байрон сопоставляет эти произведения с «Паломничеством поэта к Ватерло», в котором ренегат Саути прославлял английскую реакцию. *Пантисократия* — Саути в молодости был сторонником идеи «пантисократии» — социального строя, при котором должна быть установлена общность имущества. *Уэсли*, Джон (1703—1791) — английский религиозный деятель, основатель секты методистов. Саути написал биографию Уэсли. *Альфонс* (1221—1284) — король Кастилии, известный своими научными и литературными трудами. По преданию, Альфонс, ознакомившись с чрезвычайно сложной астрономической системой Птолемея, принятой в средние века, сказал: «Если бы бог посоветовался со мной при сотворении мира, я бы не дал ему сделать столько глупостей».

Стр. 208. *Вильборн* — действующее лицо пьесы Мэс-синджера «Новый способ платить старые долги».

Стр. 209. *Тщеславный Карл* — шведский король Карл XII. «В ином краю сверкнула искра вновь». — Речь идет о национально-освободительном движении в испанских колониях в Южной Америке в начале XIX века. *Кортес*, Эрнандо (1485—1547)—испанский завоеватель, покоривший индейское государство Анахуак (позже — Мексика). *Пизарро* — см. прим. к стр. 88. *Вновь живет Эллада*. — Байрон говорит о восстании против турецкого владычества, вспыхнувшем в 1821 г. в Греции. *Гармодий — эллин* — см. прим. к стр. 103. *Чужих господ чилиец сбросил с плеч*. — В 1818 г. была провозглашена независимость Чили, освобожденной от власти Испании. *Кацики* — название вождей индейских племен Центральной и Южной Америки, боровшихся против испанских колонизаторов. *Кальпе* — см. прим. к стр. 91. *Кастилию мятежный вал омыл*. — В Испании в 1820 г. вспыхнула революция. *Авзонiu прорывом вдохновил*. — Авзония — Италия. В некоторых государствах Италии в 1820 г. вспыхнула революция. В 1821 г. восстание в Италии было подавлено австрийскими войсками.

Стр. 210. *Инки* — древние правители Перу. *Вандал*. — Вандалы — племена германского происхождения, вторгшиеся в Испанию в V в. н. э. *Визигот*. — Визиготы — латинское название вестготов — германских племен, которые в 415 г. н. э. вторглись в Испанию и постепенно ее завоевали. *Пелайо* — см. прим. к стр. 82. *Абенсерраги* — древний мавританский род в мавританском королевстве Гренаде, соперничавший с родом Зегри. Драматическая история этой династической распри пользовалась широкой известностью в европейской литературе. *Король-фанатик и палач-монах...* — Речь идет о засилье реакции и жестоких репрессиях в Испании после реставрации короля Фердинанда IV. *Нумантйская душа*. — Нумансия — город-государство в древней Испании, взятый в 133 г. до н. э. римским полководцем Сципионом Африканским после длительной осады. Героической обороне древних испанцев (иберов), защищавших Нумансию от римлян, посвящена патристическая трагедия Сервантеса «Нумансия». *Фаларов бык* — от имени Фаларида, властителя города Агригента (565—549 до н. э.). По древнегреческому преданию, Фаларид сжигал своих врагов в медном быке. Бык Фаларида стал в поэтическом языке олицетворением жестокости тирана. *Москва*. — Байрон говорит о пожаре Москвы в 1812 г. *Сид* — герой испанского средневекового народного эпоса, боровшийся за освобождение Испании от завоевателей — мавров. *Верона* — итальянский город, в котором в 1822 г. открылся конгресс государств, входивших в Священный союз. Целью Веронского конгресса была выработка мер для борьбы с растущим революционным движением в Европе (в Испании, Италии и Греции). *Капулетти* — веронский дворянский род, враждовавший с родом Монтеки (см.

трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта»). *Скалигеры* — род Мастино делла Скала, избранного в 1259 г. правителем Вероны; тиранически управлял Вероной в течение ста двадцати семи лет. *Кан Гранде* (в буквальном переводе с итальянского «Пес Великий») — правитель Вероны из рода делла Скала (ум. в 1329 г.), при правлении которого этот род достиг наибольшего могущества. *Твой Катулл*. — По преданию, Катулл родился в Вероне. *Венецосный фат* — русский император Александр I. *Великий друг всех истинных свобод* — иронический намек на либеральные реформы, возможность осуществления которых обсуждалась в начале царствования Александра I. *Как Польше он вернул на сейм права*. — По польской конституции 1815 г., Польша, вошедшая в состав России, получила право иметь свое национальное собрание — сейм. ... он испанцев... готов учить. — Речь идет о планах подавления революции в Испании, обсуждавшихся на Веронском конгрессе.

Стр. 211. *Ты подражаешь теке*. — Имеется в виду Александр Македонский, учителем которого был Аристотель. *Лагарн* (1754—1838) — швейцарский государственный деятель и писатель, живший в Петербурге в качестве наставника Александра I. *Прут*. — Речь идет о Прутском походе Петра I в 1714 г., во время которого русская армия столкнулась с превосходящими силами турецких войск. *Екатерина*. — По некоторым источникам, положение русской армии во время Прутского похода было облегчено тем, что турецкий визирь был подкуплен с помощью драгоценностей, принадлежавших Екатерине — жене Петра I. *Поклонниц-дам преклонных лет*. — Байрон говорит здесь об отношениях Александра I и баронессы Крюденер — проповедницы ультра-реакционного мистического «учения», обосновывавшего деятельность Священного союза. *Херес* — испанский город Херес де ла Фронтера, где в 711 г. арабы (мавры) разгромили армию вестготского короля Родериха. *Но где ж монарх? Откуда!* — Байрон говорит о «желанном» для реакционеров французском короле Людовике XVIII, обжорство которого вошло в поговорку. *Повар — карбонарий*. — Байрон говорит о страхе Людовика XVIII и его окружения перед карбонариями, особенно усилившемся после убийства в 1820 г. герцога Беррийского — одного из приближенных короля. *Хартвелл* — замок в Англии, где жил Людовик XVIII, находившийся в эмиграции до 1814 г. *Стихи Горация*. — Придворные биографы Людовика XVIII утверждали, что в эмиграции он занимался чтением Горация. *Веллингтон* (1769—1852) — английский полководец и реакционный политический деятель, принимавший участие в Веронском конгрессе. *Моряки — таким не страшен и торг* — цитата из стихов о Питте, сочиненных английским политиком Каннингом (1770—1827), пытавшимся маскировать свою реакционную деятельность либеральными речами. *Насчет реформ*. — Парламентская реформа, которой требовали английские радикалы. Каннинг выступал против реформы. *Цены гнать на хлеб*. — Цены на зерно в Англии упали после окончания войны

с Наполеоном, что привело к убыткам землевладельцев, так как стала падать земельная рента. *Триптолем* — в древнегреческой мифологии распространитель земледелия.

Стр. 212. *Исаа* — по библейскому рассказу, сын патриарха Исаака, продавший право первородства за чечевичную похлебку своему младшему брату Иакову. *Пусть рухнет банк — им нации не жаль.* — Байрон говорит о законе, принятом в 1819 г., согласно которому упразднялась введенная Питтом система расплаты бумажными деньгами. Английские консерваторы, считавшие, что падение земельной ренты связано с введением новой денежной системы, яростно нападали на этот закон. Английские радикалы (в частности, известный английский радикальный деятель Коббетт) в 1822 г. доказывали, что сохранение старой денежной системы нужно консерваторам для упрочения политической реакции в Англии, для усиления позиций землевладельцев. *О милой «десятине».* — Байрон говорит о многочисленных петициях, составленных в 1822 г., в которых английские землевладельцы требовали отмены десятины (налога в пользу церкви).

ДРАМЫ И МИСТЕРИИ

МАНФРЕД

(стр. 215—233)

Стр. 216. *Кракена* — морской змей.

Стр. 219. *Россберг*, или Розенберг, — гора; в 1806 г. произошел грандиозный обвал, при котором значительная часть горы Россберг обрушилась.

Стр. 220. *Вильгельм Телль* — швейцарский крестьянин, вождь народного восстания против владычества германского императора, управлявшего Швейцарией (XIV в.). Образ Вильгельма Телля — борца за народную свободу — привлекал многих писателей.

Стр. 222. ...из ключей в *Гадаре*. — Греческий философ Ямблих, по преданию, вызвал Эрота и Антерота (бога взаимной любви) в виде двух мальчиков из двух источников, названных именами этих богов, в сирийском городе Гадаре.

Стр. 223. *Ведьме Эндорской*... — По древнегреческому преданию, волшебница, жившая в городе Эндоре в Палестине, вызвала дух умершего пророка Самуила по просьбе царя Саула. *Спартанскому царю*. — Спартанский царь Павзаний в темноте принял за врага и убил византийскую девушку Клеонику, в которую он был влюблен. По преданию, Павзаний в древнегреческом городе Фигалии вызвал дух Клеоники, предсказавший ему будущее.

Стр. 224. *Ариман* — в мифологии древнего Ирана олицетворение зла. *Низвергнут с престола*. — Имеется в виду ссылка Наполеона на остров св. Елены. *Воскрешая троны*. — Байрон говорит здесь о торжестве реакции в Европе после поражения Наполеона в 1815 г.

Стр. 226. *Астарта* — в мифологии семитических народов Древнего Востока имя богини, считавшейся воплощением чувственной любви.

Стр. 228. *Аббат из Сен-Мориса*. — Это аббатство находилось в долине Роны, недалеко от гор. Вильнева.

Стр. 229. *Шестой кончался римский цезарь* — римский император Нерон.

Стр. 231. *Эйгер* — горная вершина в Бернских Альпах.

МАРИНО ФАЛЬЕРО, ДОЖ ВЕНЕЦИАНСКИЙ (стр. 234—281)

Стр. 234. *Совет Десяти* — орган государственной власти в Венеции, которому был поручен тайный надзор за всеми органами управления. К середине IV в. стал важнейшим политическим органом республики. *Совет Сорока* — высший правительственный совет Венеции, состоявший из представителей аристократии. *Джунта* — специально созываемый экстренный совет. *Синьория* — правительственная коллегия Венеции.

Стр. 235. *Авогадоры* — государственные обвинители.

Стр. 236. *Сарацин* — араб. *Гунн* — здесь гуннами Фальеро называет венгров. *Зара*. — В 1346 г. войска венецианцев разбили венгерскую армию при Заре.

Стр. 237. *Дандоло* — см. прим. к стр. 115.

Стр. 238. *Гекатомба* — древнегреческое название торжественного жертвоприношения.

Стр. 239. ... у *Бриарей*. — Бриарей — в древнегреческой мифологии сторукий великан с пятьюдесятью головами. *Сапиенца*. — Сражение при Сапиенце было в 1354 г. *Тревизо* — итальянский город, в котором Фальеро был высшим административным лицом. По рассказам историков, Фальеро однажды ударил епископа Тревизо.

Стр. 242. *Генуя* — итальянская республика, экономические и политические интересы которой постоянно приводили ее к войнам с Венецией. *Колодцы* — потайные темные камеры дворца дождей. *Мост вздохов* — см. прим., к стр. 114.

Стр. 244. *Катилина* (109—102 до н. э.) — римский политический деятель, организатор заговора, который был раскрыт Цицероном.

Стр. 249. *Алкид* — Геракл, герой древнегреческих сказаний, знаменитый своими подвигами.

Стр. 251. *Сбир* — полицейский в итальянских государствах XIV—XIX вв.

Стр. 252. ... славу *последних римлян* — славу Брута и Кассия, боровшихся с Цезарем. *Аттила* — вождь гуннов (тюркских кочевников, переселившихся в V в. н. э. в Европу). Когда Аттила завоевал Северную Италию, в середине V в., часть жителей северо-западного побережья Адриатического моря переселилась на острова, где позднее была основана Венеция.

Стр. 258. *Кипр* и *Родос* — принадлежали Венецианской республике.

Стр. 261. *Гракх*. — Братья Гракхи: Тиберий (163—133 до н. э.) и Кай (153—121 до н. э.) — древнеримские

политические деятели, боровшиеся с римской аристократией за земельную реформу, выгодную для большинства свободных граждан Рима.

Стр. 267. *Тимолеон* — житель древнегреческого города Коринфа, принимавший участие в умерщвлении своего брата Тимофана, который пытался стать тираном.

Стр. 270. *Манлий* — римский полководец и государственный деятель, защитивший Рим от напавших на него галлов. По преданию, во время нападения галлов на Рим Манлий был разбужен криком гусей. Манлий выступил на стороне плебеев против патрициев и был казнен. *Тарпей* — Тарпейская скала. См. прим. к стр. 127.

Стр. 273. *Кьюцца* — итальянский город к югу от Венеции.

Стр. 274. *Гелон* — царь Сиракуз (древнегреческой колонии в Сицилии); считался, по словам древних историков, образцом хорошего правителя. *Фразибул* — см. прим. к стр. 98.

Стр. 275. *Люстр* — условное обозначение для пятилетия.

Стр. 276. *Рана в пятку повергла в смерть*. — Имеется в виду Ахилл. *Позор жены повлек паденье Трои*. — По преданию, Троянская война началась из-за похищения Парисом Елены, жены Менелая. ...*царей изгнал из Рима*. — Последний римский царь Тарквиний был, по преданию, изгнан из Рима после того, как он обесчестил Лукрецию, жену своего родственника. *Обида девы маврам отдала Испанию* — см. прим. к стр. 82, «Когда за Каву мстя». *Подеста* — старший полицейский чин в Италии.

Стр. 279. *Буцентавр* — см. прим. к стр. 115 («Адрия-вдова»).

Стр. 280. *Агис* — спартанский царь (III в. до н. э.), погибший в борьбе с аристократией.

Стр. 281. *Содом* — древневосточный город, ставший олицетворением разврата.

ДВОЕ ФОСКАРИ (стр. 282—320)

Стр. 283. *Оба брата слегли тотчас*. — Венецианский адмирал Пьетро Лоредано и его брат Марко умерли в 1438 г. Дождь Венеции Франческо Фоскари (время правления 1423—1457) был заподозрен в убийстве братьев Лоредано на том основании, что между родами Фоскари и Лоредано существовала наследственная вражда.

Стр. 285. *Моей тюрьмы Кандийской*. — Джакомо Фоскари, обвиненный в убийстве венецианского аристократа Альморо Донато, был сослан в 1451 г. на остров Кандию (Крит), откуда он был привезен в 1456 г. в Венецию для следствия по обвинению в государственной измене. *И дважды сослан был*. — Джакомо Фоскари был приговорен к ссылке первый раз в 1445 г. по обвинению во взяточничестве и государственной измене.

Стр. 288. *Предсмертным признанием Эриццо*. — По венецианскому преданию, венецианец Эриццо перед

смертью признал себя виновным в убийстве Альморо Донато.

Стр. 290. *Жемчужинами Брешии и Равенны*. — Город Брешиа был завоеван Венецией в 1426, а Равенна — в 1440 г. *Бергамо вместе с Кремой*. — Бергамо захвачен Венецией в 1428, Крема — в 1453 г.

Стр. 297. *Драконов кодекс*. — Дракон — афинский законодатель VII в. до н. э., известный своими жестокими законами.

Стр. 303. *В Венеции лишь бронзовые кони* — см. прим. к стр. 116.

Стр. 304. *«Рива ди Скьявони»* — буквально «Славянская набережная» — набережная в Венеции.

Стр. 306. *Как Барбаросса к папе* — см. прим. к стр. 115 (слово «Пьяцца»). *А как закон?* — По венецианским законам, Совет Десяти не имел права требовать отречения дожа.

Стр. 308. *Иона* — см. прим. к стр. 67.

Стр. 311. *Карманьюоло* (1390—1432) — итальянский военный деятель, предводитель наемных дружин; служил в войсках Милана — противника Венеции, позже — в венецианских войсках; в 1432 г. был казнен по обвинению в государственной измене.

Стр. 317. *Вас раздавили, как столпы в святилище Дагона — филистимлян, врагов Самсона!* — Дагон — божество у филистимлян (средиземноморская народность, колонизовавшая побережье Палестины). По библейской легенде, древнееврейский герой Самсон, взятый в плен филистимлянами и ослепленный ими, отомстил своим врагам, обрушив на них храм Дагона и погибнув сам под развалинами.

САРДАНАПАЛ (стр. 321—370)

Сарданапал — легендарный ассирийский царь. Предания о Сарданапале, послужившие основанием для пьесы Байрона, связаны с последним ассирийским царем Синшарипшумом.

Ниневия — древний город на берегу реки Тигра в Месопотамии, столица древней Ассирии. *Мидянин* — житель Мидии — области, находившейся в западной части Ирана. *Халдеянин* — житель Халдси, древней страны, расположенной между слиянием Тигра с Евфратом и Персидским заливом. Халдеи считались в древности кастой жрецов, занимающихся астрономией и другими науками. Это представление было основано на смешении халдеев с вавилонянами, вследствие которого халдеями стали называть вавилонских жрецов.

Стр. 321. *Немврод* (Нимрод) — легендарный основатель Вавилона — столицы древнего Вавилонского государства. По преданиям, власть Немврода простиралась на всю Месопотамию. *Семирамида* — легендарная царица Ассирии.

Стр. 324. *Вакх* (Вакх-Дионис) — древнегреческий бог вина и виноделия. По древнему сказанию, Дионис

совершил поход в Индию и покорил ее (в этом сказании видит отражение похода Александра Македонского в Индию).

Стр. 327. *О Геракле, Омфалу полюбившем* — см. прим. к стр. 124 (Омфала).

Стр. 335. *Парасанг* — персидская мера длины (приблизительно соответствует 5 км).

Стр. 354. *А сыном, кто убил ее за грех...* — По преданию, Семирамида была убита своим сыном Нином.

Стр. 355. *Пафлагония* — древняя страна в Малой Азии.

Стр. 370. *Индийских вдов, покорных обычаю.* — Речь идет о древнем обычае самосожжения вдовы покойника у индусов. *Апис* — священный бык у древних египтян.

ПРЕОБРАЖЕННЫЙ УРОД (стр. 401—424)

Стр. 404. *Как облачный витязь над Гарцем встает...* — По немецким поверьям, тень огромного всадника встает над Брокенем — самой высокой горой Гарца. *Сестра Катона...* — Речь идет об отношениях сестры Катона Порция, матери Брута Сервилия и египетской царицы Клеопатры к Юлию Цезарю. *Сын Клиния* — Алкивиад (450—404 до н. э.) — древнегреческий государственный деятель.

Стр. 405. *Деметрий Македонский* — Деметрий Полиоркет, известный полководец древности (337—283 до н. э.). По рассказам древних писателей, в мирное время Деметрий вел распущенный образ жизни. *Эмпуза* — по древнегреческим поверьям, ночное привидение — людоед. *Сын Пеллея* (Пелид) — герой древнегреческих сказаний Ахилл. *Пактол* — река в Малой Азии, в древности богатая золотым песком. *Сперхей* — по поверьям древних греков, речной бог, которого Пелей просил оказать покровительство Ахиллу во время Троянской войны. Пелей обещал Сперхею обрезать в его честь кудри Ахилла по возвращении последнего в Грецию. *Поликсена* — дочь Приама. По одному из древнегреческих преданий, Ахилл, желавший жениться на Поликсене, безоружный пришел в храм Аполлона и был там убит сыном Приама Парисом.

Стр. 406. *Фетида* — мать Ахилла. По греческому преданию, Фетида окунула Ахилла в реку подземного царства Стикс, благодаря чему он стал неуязвимым. Единственным уязвимым местом осталась пятка, за которую его держала Фетида. Парис ранил Ахилла в пятку. *Забрось она меня, как было в Спарте...* — В Спарте, по рассказам древних, дети, неполноценные в физическом отношении, умерщвлялись тотчас после рождения.

Стр. 409. *Фаэтон* — в древнегреческой мифологии сын бога Солнца, которому было разрешено управлять солнечной колесницей. По вине Фаэтона солнечная колесница зажгла небо и землю. Боги принуждены были сбросить его в реку Эридон (древнее название реки По),

чтобы спасти мир от гибели. *Эфиопский царь, чье изваянье перед зарею арфой звучит* — статуя Мемнона (египетского царя Аменхотена III) звучит на рассвете благодаря взаимодействию нагревающегося воздуха и камня.

Стр. 410. *Грифон* — мифическое чудовище, соединяющее черты льва и орла. *Коннетабль* — см. прим. к стр. 190, слово «изменник-принц».

Стр. 412. *Шибболет* — слово, обозначающее на древнееврейском языке «колос». По особенностям в произношении этого слова жители одной из областей Палестины узнавали жителей другой области. «*Лилии*» — герб французского королевского дома. «*Ключи*» — символ власти римского папы.

Стр. 416. *Ицет Гектора Пергам.* — Пергам — укрепленная часть города Трои. *Атэ* — в античной мифологии дочь Зевса, приносящая гибель. *Брени* — см. прим. к стр. 190 (от Бренна до Бурбона).

Стр. 417. *Баярд* — см. прим. к стр. 76. Коннетабль Бурбон сражался в молодости под командованием Баярда.

Стр. 418. *Бенвенуто* — Бенвенуто Челлини (1500—1571), знаменитый итальянский скульптор и ювелир.

Стр. 419. *Милон* — древнегреческий атлет, отличавшийся необычайной силой.

Стр. 420. *... бил евреев Тит.* — Тит подавил восстание в Палестине в 70 г. н. э.

Стр. 422. *Пентезилея* — по древнегреческим преданиям, царица амазонок, сражавшаяся с греками на стороне троянцев и смертельно раненная Аполлоном. Ахилл рыдал над умирающей Пентезилеей, оплакивая ее красоту.

Стр. 423. *Товий* — по библейской легенде, древнееврейский праведник. Жена Товия семь раз выходила замуж, и каждый раз ее мужей убивал злой дух, пока его куриянами не изгнали из города Эктатана, где жила жена Товия.

В. Иванов.

РЕЧИ, СТАТЬИ, ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА (стр. 423—470)

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПАРЛАМЕНТЕ

Речь в палате лордов по поводу билля о станках

Стр. 429. *Санградо* — лекарь в романе Лесажа «Жиль Блаз», неизменно предписывающий больным теплую воду и кровопускание.

Стр. 430. *Шервудский лес* (в Ноттингемпшире) — в середине века служил убежищем для людей, преследуемых законом. В XIX в. лудиты условно называли свой центр «конторой в Шервудском лесу». *Джеффрис* (1648—1689) — английский судья, славившийся своими жестокими приговорами.

Речь в палате лордов по поводу назначения комиссии для рассмотрения претензий католиков.

Господствующей религией в Англии является так называемое «англиканство», в то время как в Ирландии подавляющее большинство населения принадлежит к католической церкви. Религиозные преследования католиков всегда служили средством экономического и политического порабощения ирландского народа со стороны правящих классов Англии. В начале XIX в. английское правительство, воспользовавшись напряженным положением в стране в связи с войной против Франции и рассчитывая на то, что это отвлечет внимание народных масс от политических вопросов, усилило преследование католиков.

Стр. 431. *Лорд Питерборо*, Чарльз Мордаунт (1658—1735) — английский адмирал, выступивший в начале XVIII в. в парламенте с речью о необходимости улучшения положения католиков, служивших в английской армии.

Стр. 432. *Оранжевистские чиновники* — оранжисты — сторонники английского королевского правительства в Ирландии. Во время национально-освободительного движения в Ирландии в 1780—1803 гг. оранжисты формировали банды, участвовавшие в подавлении повстанцев. *Майнцский колледж*. — Этот колледж был основан в 1795 г. в ирландском городе Майноте для обучения католиков. *Уния*. — Акт об Унии, то есть об уничтожении последних остатков ирландского самоуправления, был принят английским парламентом 1 января 1801 г.; подкупом и угрозами английское правительство добилося принятия этого акта ирландским парламентом, который, согласно Унии, перестал существовать. *Прайор*, Мэтью (1664—1721) — английский поэт, близко связанный со Свифтом.

Стр. 433. *Как набор лыжар при Амурате* — то есть насилию; в султанской Турции в янычары брали мальчиков, отнятых у родителей-христиан, и воспитывали их в лагерной обстановке. *Пэйли*, Вильям (1743—1805) — английский церковник и богослов. Известен как автор книги «Основа христианства». ... *оранжистские ложи* — полуполигальные организации оранжистов.

Стр. 434. ... *одержана ирландским полководцем*. — Имеется в виду Веллингтон. ... *его благородный брат* — Веллеслей, брат Веллингтона, с 1809 по 1812 г. министр иностранных дел. ... *третий отпрыск этого рода* — Генрих Веллеслей, младший брат герцога, реакционный католический деятель. ... *католический король одной из Сицилий*. — Речь идет о неаполитанском короле Фердинанде IV, который, несмотря на его союз с Англией и Австрией, в 1806 г. был изгнан французами из Неаполя. ... *Фердинанд VII* (1784—1835) — испанский король. Сносился с Наполеоном, но Наполеон заставил его уступить престол Иосифу Бонапарту. До 1814 г. находился в почетном плену во Франции. Палач и тюремщик испанского народа.

Стр. 435. ... *петлей, которой их удавил недавний закон*. — Байрон говорит о законе, предусматривающем смертную казнь рабочим и ремесленникам за разрушение станков, принятую в 1812 г. ... *под сводами Темпла Бар*. — Темпл Бар — ворота в Лондонское Сити. ... *для героев Вальхерена*. — Байрон говорит о неудачной английской экспедиции для захвата голландского острова Вальхерен в 1809 г., принесшей английской армии большие потери. *Джидженан*, Патрик (1735—1816) — английский юрист и политический деятель, выступивший в английском парламенте против эмансипации католиков.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОГО НАСЛЕДСТВА

Некоторые замечания по поводу статьи в эдинбургском журнале «В лэкувд'с мэгэзин».

Стр. 439. *Мадам де Сталь* (1766—1817) — французская писательница. ... *некий юный доктор* — Полидори, сопровождавший Байрона в его путешествиях по Швейцарии и Италии. *Пантисократия* — см. прим. к стр. 207. *Смит*, Вильям (1759—1829) — прогрессивный английский общественный деятель. ... *порיצал битву при Бленхейме*. — В битве при Бленхейме (Бавария) английские войска в 1704 г. разбили соединенные силы французов и баварцев. Бленхеймская победа — тема многих английских стихотворений XVIII в., проникнутых националистическими настроениями. «*Антижкобинец*» — английский реакционный журнал, специально субсидируемый Питтом Младшим для борьбы с прогрессивным направлением в английской литературе. «*Квотерли ревью*» — английский либеральный журнал. *Макферсон*, Джеймс (1736—1766) — поэт, фальсифицировавший кельтский народный эпос («Поэмы Оссиана», 1773).

Стр. 440. *Сэмл*, Елкана (1648—1724) — малоизвестный английский поэт, писавший главным образом на мистические темы. *Огльби*, Джон (1600—1676) — придворный поэт Карла II, переводчик Virgilia и Гомера, вымышленный Попом и Драйденом: «*Лирические баллады*» — сборник стихов, выпущенный совместно Вордсвортом и Кольриджем с предисловием Вордсворта, в котором он излагает основы поэтики реакционного романтизма. *Грей*, Томас (1716—1771) — английский поэт, автор сентиментальных стихов и элегий. *Ли Хэнт* (1784—1859) — английский литератор, либерал, добивавшийся близости с Байроном. Оклеветал Байрона после смерти поэта в книге «*Лорд Байрон и его современники*».

Стр. 441. *Марино*, Джамбатиста (1569—1625) — итальянский салонный поэт, писавший стихи во вкусе феодальной аристократии. Создатель искусственного поэтического языка-жаргона («маринизм»). *Уортон*, Томас (1728—1790) — английский поэт-лауреат. *Черчилль*, Чарльз (1731—1764) — английский поэт, известный своими эпиграммками. Оба выступали с яростными нападениями на Попа. «*Дунсиада*» — сатира Попа, на-

правленная против его литературных врагов. *Гольдсмит*, Оливер (1728—1774) — известный английский писатель и поэт, автор романа «Векфильдский священник» и поэмы «Покинутая деревня». *Роджерс*, Сэмюэль (1763—1815) — английский поэт, последователь Попа. *Кампбелл*, Томас (1777—1844) — английский поэт; сначала примыкал к либералам, впоследствии поддерживал консерваторов. *Хэйлей*, Вильям (1745—1820) — английский поэт, последователь Попа. *Крабб*, Джордж (1754—1832) — английский поэт, продолжатель линии просветительского реализма в английской литературе. *Дарвин*, Эразм (1731—1802) — дед знаменитого ученого Чарльза Дарвина, поэт и медик; современниками был прозван «поэтом флоры». *Крусканцы* — группа реакционных английских писателей, стремившихся насадить в литературе искусственный, салонный жаргон. *Гиффорд*, Вильям — английский литератор, редактор «Квотерли ревью». ...получил свою бочку с мальвазией — намек на судьбу герцога Кларентского, который вступил в союз с лордом Варвиком против своего брата короля Эдуарда IV, а потом переметнулся на сторону короля, но ничего этим не выиграл и в конце концов был казнен; по преданию, он был утоплен в бочке с мальвазией. *Фитцджеральд* — см. прим. «Фитц-рифмаческой гортани», к стр. 70. *Талаба*, *Кехама*, *Гебир*. — Байрон имеет в виду героев поэм Саути «Талаба-разрушитель» и «Проклятие Кехамы», а также поэму Лэндора «Гебир». Эти образы названы как пример абстрактного, далекого от жизни романтического «героя».

Стр. 442. *Бомонт*, Джордж (1753—1827) — художник и коллекционер картин, основатель английской Национальной галлерей.

Из письма издателю Дж. Мэррею по поводу критических рассуждений Боулса о жизни и творчестве Попа.

Мэррей, Джон (1778—1843) — друг и издатель Байрона. *Боулс* — см. прим. к стр. 63.

Стр. 443. *Гулли* и *Грегсен* — известные в то время боксеры.

Стр. 444. *Аристид* (прозванный Справедливым) — афинский политический деятель V в. до н. э.; потерпев поражение в политической борьбе, он был подвергнут ostracismu (изгнанию, решение о котором принималось путем голосования черепками — «остраконами»). *Как это сделал Платон*. — В своем проекте идеальной республики Платон не предусматривал места для поэтов.

ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА

Обращение к неаполитанским повстанцам

Неаполитанское восстание против австрийского владычества в Италии, начавшееся в марте 1820 г., было, в отличие от национально-освободительного дви-

жения в Романье (см. дневник Байрона), движением широких народных масс. Байрон возлагал на него большие надежды, понимая, что только движение народных масс может освободить Италию. «Обращение» было написано Байроном по-итальянски в Романье и передано им представителю неаполитанского правительства Джузеппе Гиганте, который был послан для установления связи с романьольскими карбонариями. Как сообщается в отчете австрийской полиции, на обратном пути Гиганте был арестован и проглотил имевшиеся при нем бумаги. Было ли среди них «Обращение» Байрона — неизвестно, но установлено, что оно не дошло по назначению. Черновик «Обращения» сохранился в архиве Терезы Гвиччоли.

Из дневника (1824).

Стр. 445. *Фанца* — город в Италии (провинция Равенна), один из центров движения карбонариев.

Стр. 446. *Ричардсон*, Сэмюэль (1689—1761) — английский писатель, автор романа «Памела, или вознагражденная добродетель». *Хилл*, Аарон (1685—1750) — английский литератор, поклонник и последователь Ричардсона. *Фильдинг*, Джон (1707—1754) — романист и драматург, крупнейший представитель английского реализма XVIII века. *«Джонсон» Босуэлла* — книга Босуэлла «Жизнь Джонсона» о выдающемся английском физике и лексикографе (1709—1784). Ниже идет речь о произведении Джонсона «Тщета человеческих желаний». *Графиня Г.* — Тереза Гвиччоли, урожденная Гамба, возлюбленная Байрона. Семья Гамба принимала активное участие в подготовке восстания карбонариев. *Пьеса Альфиери* — тираноборческая трагедия «Филиппо», противопоставляла образ бойца за свободу и независимость испанскому королю Филиппу II. *Альфиери* (1749—1803) — замечательный итальянский драматург. ... на конгрессе в Лайбахе. — В Лайбахе состоялся конгресс монархов, на котором Австрия было поручено подавить национально-освободительное движение в Италии. ... читал жизнь *Леонардо да Винчи Росси*. — Вероятно, имеется в виду Джузеппе Босси (1779—1815), итальянский живописец, написавший две книги о Леонардо да Винчи. *Спенс*, Томас (1750—1814) — английский передовой общественный деятель, разработавший проект земельной реформы с отменой собственности на землю и устройством общин. *Бэкон* (1561—1626) — английский философ-материалист. *Гингенз*, Пьер-Луи (1748—1816) — французский посол в Турине, автор многотомной «Литературной истории Италии» (вышла в 1811 г.). *Лорд Голленд* (1773—1840) — лидер вигской оппозиции в палате лордов. *Пьетро Г.* — Граф Пьетро Гамба, брат Терезы Гвиччоли, один из вождей равеннских карбонариев.

Стр. 447. *Роско*, Вильям (1753—1831) — английский историк и поэт, горячий приверженец французской революции. «*Рассказы моего хозяина*» — книга В. Скотта, вышедшая в Англии без указания автора. *Графиня Гельтруде* — Гельтруде Викари, подруга Терезы Гвиччоли.

Стр. 448. *Сан-федисты* — партия сторонников папского правительства, фанатиков и мракобесов. *Винченце Г.* — Винченце Галлина, один из руководителей романьольской организации карбонариев. *Граф П. Г.* — *виделся с ***.* — Байрон зашифровал здесь имя Джузеппе Вальтантони. Этот австрийский шпион входил в ложу карбонариев и имел доступ к секретным документам. Ему было поручено установить особый надзор за Байроном. *Позищение так-таки и не состоится* — строчка из комедии Шеридана «Соперники». *Уголино* — см. прим. к стр. 190 («Голод Уголино»). *Рейнольдс, Джошуа (1723—1792)* — английский художник. *Шарп, Ричард* — английский фабрикант, любитель литературы; у него в доме часто собирались поэты и литераторы (Мур, Роджерс, Вордсворт).

Стр. 449. ... *что его конституция была вынужденной.* — Байрон говорит о конституции, которую перепуганный Фердинанд I даровал восставшим неаполитанцам 6 июля 1820 г. «*Они придут, как избранная жертва*» — цитата из Шекспира («Генрих IV», ч. 1, акт IV, сцена 1). *Если верить непунианцам.* — Непунианцы — сторонники ошибочной геологической теории, согласно которой все горы на земле образованы действием воды. ... *читал Поэтов* — книгу Камбелла «Избранные произведения британских поэтов». ... *негодяй Брайан.* — Брайан — автор «Диссертации о Троянской войне и греческой экспедиции, описанной Гомером» (1796 г.) ... *прочел пародированного Гомера.* — Байрон говорит о шутовской переработке поэм Гомера, издававшейся в Англии. *Гобхауз* — см. прим. «Мосх» к стр. 61.

Стр. 450. *Блэкмор, Ричард (1650—1729)* — английский придворный врач и поэт. *Диодор Сицилийский* — древнегреческий историк, автор многотомного труда по истории Греции.

Стр. 451. *Грей, Чарльз* — английский либерал, член оппозиции, сторонник парламентской реформы. *Вакх Индийский* — см. прим. к стр. 324. *Лоуренс* — см. прим. к стр. 61. *Гримм, Фридрих (1723—1807)* — литературный деятель XVIII в., был близок к энциклопедистам.

Стр. 452. «*Черный карлик*» — повесть из «Рассказов моего хозяина». ... *который был здесь легатом.* — Легат — папский посол. *Массаниелло* — итальянский рыбак, возглавивший неаполитанское восстание 1647 г. против испанского владычества. *Читал только что Фридриха Шлегеля.* — В 1818 г. вышел английский перевод курса «Истории литературы», написанного одним из главарей немецкого реакционного романтизма — Ф. Шлегелем. *Хэзлитт, Вильям (1778—1830)* — английский писатель и критик. Байрон имеет в виду его литературно-критические заметки, написанные в манерном, капризно-эстетском тоне.

Стр. 454. ... *говорят, пьемонтцы, наконец, восстали.* — Восстание в Пьемонте началось только 10 марта 1821 г., вероятно, Байрон узнал об одной из отдельных вспышек возмущения, которые неоднократно повторялись в

1821 г. *Граф Р. Г.* — граф Руджисеро Гамба, младший брат Пьетро Гамба.

Стр. 455. ... *собраний карбонариев в Ф. и в Б.* — собрания карбонариев в Фаенце и Болонье, на которых были сделаны неудачные попытки объединить различные группировки заговорщиков.

Стр. 456. «*Призрак-охотник*» — шестая новелла пятого дня в «Декамероне», использованная Драйденом. *Воззвание ... отпечатано и готово для рассылки.* — Зашифрованное здесь Байроном лицо — граф Абборигетти, главный администратор провинции, прислал Байрону все папские указы и правительственные постановления до их опубликования.

Из переписки (1821—1823).

Стр. 456. ... *события были не столько делом предательства, сколько трусости.* — Либералы, стоявшие во главе неаполитанского восстания 1821 г., предали его, искугавшись широкого размаха народного движения.

Стр. 457. *Леди Нозль* — жена Байрона. ... *мистер Ирвинг* — Вашингтон Ирвинг (1783—1859) — североамериканский писатель.

Стр. 458. *Фосколо Уго (1778—1827)* — итальянский поэт и революционер, близко связанный с карбонариями. *И. Р.* — Вероятно, имеется в виду «История Итальянской республики» Сисмонди. *Гоппнер, Ричард Белгрив* — английский консул в Венеции, друг Байрона. ... *ей угрожает монастырь.* — Римский папа разрешил Терезе Гвиччольо развод с мужем только при условии, что она всегда будет жить вместе с отцом. Семья Гамба была выслана полицией с расчетом, что Байрон уедет вслед за ними; выслать самого Байрона полиция боялась. *Я возьму с собой Аллегру.* — Аллегра — побочная дочь Байрона. ... *конверт с итальянской писаниной* — анонимное письмо, в котором Байрону угрожали смертью.

Стр. 459. *Я перечел Жуанов* — I—IV Песни «Дон-Жуана». ... *моего Пульчи* — поэма итальянского поэта XV в. Пульчи «Морганте Маджоре», частично переведенная Байроном. *Бейли, Джоанна (1762—1854)* — английская поэтесса романтического направления. *Милман, Генри (1791—1868)* — автор исторических трактатов и нескольких томов стихов. *Барри Корнуэлл* — псевдоним английского писателя и юриста Проктера (1787—1874).

Стр. 460. *Грэб-стрит* — район в Лондоне, населенный второразрядными литераторами. *Гебер* — знакомый Байрона, избранный в парламент от Оксфордского университета. *Хогг, Джемс (1770—1835)* — английский писатель, реакционный романтик. *Уилсон, Джон (псевдоним Кристофер Норт) (1785—1854)* — поэт-романтик, близкий к лейкистам.

Стр. 462. *Блэкуайр, Эдвард* — член лондонского комитета помощи грекам. В 1823 г., по пути в Грецию, куда он был послан вместе с возвращавшимся греческим представителем, Блэкуайр посетил Байрона в Генуе,

привезя ему весть, что поэт избран членом лондонского комитета помощи грекам. *Блессингтон*, Чарльз (1782—1829) — английский лорд, встретившийся с Байроном в Италии. «... *ученых Фиванцев*» — цитата из Шекспира («Генрих VI», ч. III, акт V, сцена 2). *Анри Бейль* — настоящее имя Стендаля (1783—1842), замечательного французского писателя-реалиста. Стендаль сочувствовал карбонариям. *Пеллико*, Сильвио (1778—1854) — итальянский писатель и политический деятель. В 1822 г. был арестован и приговорен к смерти, которую ему заменили пятнадцатилетним заключением.

Стр. 463. *Боуринг*, Джон (1792—1872) — английский писатель и путешественник, секретарь лондонского комитета помощи грекам. В 1819—1820 гг. путешествовал по Европе и был в России, выпустил антологию русской поэзии.

Кефалонский дневник (1823).

По дороге в Грецию Байрон должен был задержаться на острове Кефалонии, контролируемом Англией (Ионические острова с 1815 г. находились под протекторатом Англии).

Стр. 464. *Маврокордато* — один из вождей греческого национально-освободительного движения, в 1822 г. был избран президентом Греции, но после ряда военных неудач был вынужден уйти в отставку; к этому его вынудили интриги борющихся политических партий. *Колокотрони* — командующий целононесской армией греков.

Стр. 465. *Миссис Фрай* — английская благотворительница, опекавшая заключенных в тюрьмах. *Эпименид сам был критянин*. — Эпименид (VII в. до н. э.) — жрец на острове Крите; ему приписывается стихотворение о лживости критян.

Стр. 466. *Ласказ, т. 1*. — Байрон ссылается на «Воспоминания о св. Елене» графа Ласказа. *Паша Вриони* — командующий турецкими войсками в Греции.

Из последних писем (1823—1824)

Стр. 467. *Филопомен* (III в. до н. э.) — вождь ахейн, политический деятель последних лет греческой независимости перед римским завоеванием, прозванный «последним греком».

Стр. 468. *Гарсильясо де ла Вега* — испанский поэт XVI в., служивший в войсках Карла V. Умер от раны, полученной в бою. *Клейст* (1715—1759) — немецкий писатель, погибший в битве при Кунерсдорфе. *Кёрнер* (1791—1813) — немецкий поэт-романтик, убитый в действующей армии в период изгнания французов из Германии. *Терсандр* — певец, сопровождавший Агамемнона, вождя греков в Троянском походе, погибший, по преданию, на поле боя. *Стэнхоп* — член лондонского комитета помощи грекам. В ноябре 1823 г. приехал в Кефалонию. *Хэнкок*, Чарльз — банкир на острове Аргостоли, сочувственно относившийся к национально-освободительному движению. *Мюир* — английский военный врач в Аргостоли. *Вальсамаки* — капитан греческого судна «Бомбарда». Пьетро Гамба в своих воспоминаниях утверждает, что они уцелели благодаря тому, что Вальсамаки в свое время спас жизнь капитану турецкого фрегата, захватившего «Бомбарду». «Бомбарда» была отведена к острову Патрас и освобождена при содействии английского консула. *Бруно* — врач Байрона.

Стр. 469. *Мой дорогой Мур, упреки ваши неосновательны*. — Мур писал Байрону, что, по слухам, Байрон будто бы вместо участия в борьбе греков оканчивает «Дон-Жуана», устроившись в удобной вилле. ...*примеру архиепископа Гренадского* — ссылка на роман Лесажа «Жиль Блаз» (кн. IV, гл. 4). *Капитан Шерри* — артиллерист и пиротехник, присланный в Грецию лондонским комитетом помощи грекам. ...*хвастался Боб Экр* — образ из комедии Шеридана «Соперники». *Лондос*, Андреас — один из деятелей греческого национально-освободительного движения.

В. Хинкис и Ю. Шведов

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Елистратова</i> — Джордж Гордон Байрон.	3
---	---

ЛИРИКА И ЭПИГРАММЫ

При отъезде из Ньюстэдского аббатства. <i>Пер. В. Иванова</i>	25
Подражание Катуллу (Елсне). <i>Пер. А. Блока</i>	25
Эмме. <i>Пер. И. Грушецкой</i>	25
Каролине. <i>Пер. Б. Лейтина</i>	26
Первое лобзание любви. <i>Пер. В. Иванова</i>	26
Отрывок. <i>Пер. А. Блока</i>	27
Любви последнее прости. <i>Пер. В. Иванова</i>	27
Оскар из Альвы. <i>Пер. Э. Левонтина</i>	27
Лэчин-и-Гэр. <i>Пер. В. Иванова</i>	32
Строки, адресованные преподобному Бичеру в ответ на его совет чаще бывать в обществе. <i>Пер. Л. Шифферса</i>	32
Воспоминание. <i>Пер. А. Родионова</i>	33
Джорджу, графу Делавару. <i>Пер. В. Рогова</i>	33
Когда б я мог в морях пустынных. <i>Пер. В. Лесика</i>	33
Стихи, написанные под старым вязом на кладбище Харроу. <i>Пер. В. Лесика</i>	34
К Анне. <i>Пер. В. Рогова</i>	34
Тщеславной леди. <i>Пер. Л. Шифферса</i>	34
Расставание. <i>Пер. С. Маршака</i>	35
Надпись на чаше из черепа. <i>Пер. Л. Шифферса</i>	35
Ну что ж! Ты счастлива. <i>Пер. Б. Лейтина</i>	35
Даме, спросившей автора о причине его отъезда из Англии. <i>Пер. Д. Файнберг</i>	36
Так ты оплачешь боль мою? <i>Пер. В. Иванова</i>	36
Наполняйте стаканы! <i>Пер. В. Лесика</i>	36
Тех дней забыть мне не дано. <i>Пер. Л. Шифферса</i>	37

Девушка из Кадикса. <i>Пер. Л. Мёя</i>	37
К Флоренс. <i>Пер. В. Лейтина</i>	38
В альбом. <i>Пер. М. Лермонтова</i>	38
Стансы, написанные при проходе мимо Амвракийского залива. <i>Пер. Т. Щепкиной-Куперник</i>	38
Стихи, написанные после пересечения вплавь Дарданелл между Сестосом и Абидосом. <i>Пер. И. Пузанова</i>	38
Эпитафия самому себе. <i>Пер. А. Арго</i>	39
Песня греческих повстанцев. <i>Пер. С. Маршака</i>	39
Перевод греческой песни. <i>Пер. В. Иванова</i>	39
Прощание с Мальтой. <i>Пер. В. Иванова</i>	40
Эпитафия Джозефу Блэкету. <i>Пер. А. Арго</i>	40
Не надо слов, не надо слов. <i>Пер. В. Иванова</i>	41
Забыть тебя! Забыть тебя! <i>Пер. В. Иванова</i>	41
К времени. <i>Пер. В. Иванова</i>	41
Перевод греческой любовной песни. <i>Пер. В. Иванова</i>	42
Ода авторам билля против разрушителей станков. <i>Пер. О. Чюминой</i>	42
Подражание португальскому. <i>Пер. И. Козлова</i>	42
На посещение принцем-регентом королевского склепа. <i>Пер. С. Маршака</i>	43
Валтасару. <i>Пер. В. Лейтина</i>	43

Еврейские мелодии

1. Она идет во всей красе. <i>Пер. С. Маршака</i>	43
7. Дочь Иевфая. <i>Пер. И. Козлова</i>	43
9. Душа моя мрачна. <i>Пер. М. Лермонтова</i>	43
10. Ты плачешь. <i>Пер. С. Маршака</i>	44
11. Ты кончил жизни путь... <i>Пер. А. Плещеева</i>	44
13. Песнь Саула перед последней битвой. <i>Пер. Д. Файнберг</i>	44
16. Видение Валтасара. <i>Пер. А. Полежаева</i>	44
17. Солнце бессонных. <i>Пер. С. Маршака</i>	45
22. Поражение Сеннахериба. <i>Пер. А. Толстого</i>	45
На бегство Наполеона с острова Эльбы. <i>Пер. А. Арго</i>	45
Ода с французского. <i>Пер. В. Луговского</i>	45
Звезда Почетного легиона. <i>Пер. В. Иванова</i>	46
Прощание Наполеона. <i>Пер. В. Луговского</i>	47
Прометей. <i>Пер. В. Луговского</i>	47
Надпись на обороте разводного акта в апреле 1816 г. <i>Пер. А. Арго</i>	48
Послание к Августе. <i>Пер. В. Лейтина</i>	48
Стансы к Августе. <i>Пер. В. Левика</i>	49
Стансы к Августе. <i>Пер. Б. Пастернака</i>	50
Стансы. <i>Пер. Н. Огарева</i>	50
Стансы для музыки. <i>Пер. А. Родионова</i>	50
Сон. <i>Пер. М. Зенкевича</i>	51
Тьма. <i>Пер. М. Зенкевича</i>	53
Песня для луддитов. <i>Пер. Н. Холодковского</i>	54
К бюсту Елены, изваянному Кановой. <i>Пер. А. Арго</i>	54
Томасу Муру. <i>Пер. Л. Шифферса</i>	54

Стихи, написанные в шутку. <i>Пер. В. Лихачова</i>	54
Томасу Муру. <i>Пер. М. Зенкевича</i>	54
Не бродить нам вечер целый. <i>Пер. С. Маршака</i>	54
Эпиграмм. <i>Пер. В. Мазуркевич</i>	55
Стансы. <i>Пер. С. Маршака</i>	55
Стансы, написанные по дороге между Флоренцией и Пизой. <i>Пер. Б. Лейтина</i>	55
Эпитафия Вильяму Питту. <i>Пер. Н. Холодковского</i>	55
В день моей свадьбы. <i>Пер. С. Маршака</i>	55
Эпиграмма. <i>Пер. Д. Файнберг</i>	55
Эпиграмма на Вильяма Коббетта. <i>Пер. С. Маршака</i>	55
Из Марциала. <i>Пер. С. Маршака</i>	55
На смерть поэта Джона Китса. <i>Пер. С. Маршака</i>	56
На самоубийство британского министра Кэстлери. <i>Пер. С. Маршака</i>	56
Песнь к сулиотам. <i>Пер. А. Блока</i>	56
Из дневника в Кефалонии. <i>Пер. А. Блока</i>	56
Последние слова о Греции. <i>Пер. Н. Холодковского</i>	56
В день моего тридцатилетия. <i>Пер. Л. Шифферса</i>	56

ПОЭМЫ И САТИРЫ

По стопам Горация. <i>Пер. Н. Вольпин</i>	61
Проклятие Минервы. <i>Пер. М. Зенкевича</i>	71
Паломничество Чайльд-Гарольда. <i>Пер. Г. Шенгели</i>	75
Гяур. <i>Пер. Г. Шенгели</i>	136
Корсар. <i>Пер. Г. Шенгели</i>	149
Сонет к Шильону. <i>Пер. Г. Шенгели</i>	170
Шильонский узник. <i>Пер. В. Жуковского</i>	170
Бенпо. <i>Пер. В. Левика</i>	175
Пророчество Данте. <i>Пер. Г. Шенгели</i>	186
Ирландская аватара. <i>Пер. М. Зенкевича</i>	185
Видение суда. <i>Пер. Г. Шенгели</i>	197
Бронзовый век (в отрывках). <i>Пер. В. Луговского</i>	209

ДРАМЫ И МИСТЕРИИ

Манфред. <i>Пер. Г. Шенгели</i>	215
Марино Фальсери, дож венецианский. <i>Пер. Г. Шенгели</i>	234
Двое Фоскари. <i>Пер. Г. Шенгели</i>	282
Сардапал. <i>Пер. Г. Шенгели</i>	321
Каип. <i>Пер. Г. Шенгели</i>	371
Преображенный урод. <i>Пер. Г. Шенгели</i>	401

РЕЧИ, СТАТЬИ, ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА

(*Пер. М. Богословской и С. Боброва*)

Выступления в парламенте	
Речь в палате лордов по поводу билля о станках	427
Речь в палате лордов по поводу назначения комиссии для рассмотрения претензий католиков	430

Из литературно-критического наследства

Некоторые замечания по поводу статьи в эдинбургском журнале «Глэкувд'с мэгэзин»	436
Из письма издателю Дж. Мэррею по поводу критических рассуждений Боулса о жизни и творчестве Попа	442

Дневники и письма

Обращение к неаполитанским повстанцам	445
Из дневника (1821 г.)	445
Из переписки (1821—1823 гг.)	456
Кефалонский дневник (1823 г.)	464
Из последних писем (1823—1824 гг.)	467
Письма о смерти Байрона	470

П Р И М Е Ч А Н И Я	473
--------------------------------------	------------

Художник
А. Ермаков

Редактор
Н. Банников
Технический редактор
Д. Ермоленко
Корректор
Р. Гольденберг

*

Сдано в набор 16/II—53 г. Подписано
к печати 23/VII—53 г. А03639. Формат
бум. $84 \times 108^{1/16} = 15,75$ бум. л. 51,66 печ. л.
Уч.-изд. л. $58,54 + 1$ вкл. = 58,62 л.
Тираж 25 000. Зак. № 130. Цена 17 р. 70 к.

*

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома Главиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Валовая, 28.

OCR Давид Типшевский, сентябрь 2021 г., Хайфа